

ЗВУК И СМЫСЛ

OPERA ETYMOLOGICA

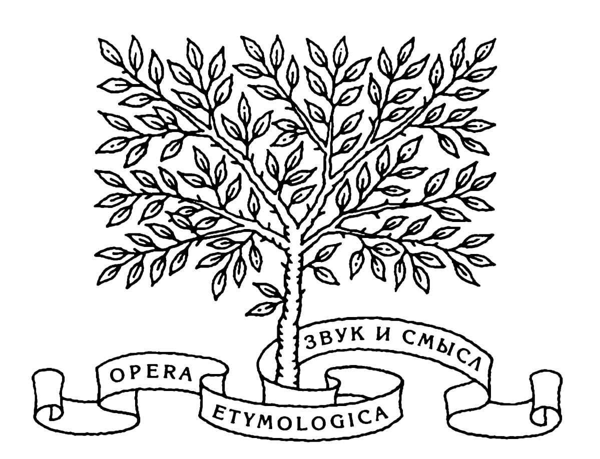
О. Н. Трубачев

Труды по этимологии

Слово·История·Культура

Том 2




ЗВУК И СМЫСЛ
OPERA
ETYMOLOGICA

О. Н. Трубачев

Труды по этимологии

Слово · История · Культура

В двух томах



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2004

О. Н. Трубачев

Труды
по этимологии
Слово · История · Культура

Том 2





ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2004

ББК 81.2
Т 77

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского государственного гуманитарного фонда
(РГНФ)
проект № 03-04-16307

Редактор-составитель тт. 1—2
И. Б. Еськова

Трубачев О. Н.

Т 77 Труды по этимологии: Слово. История. Культура. Т. 2. — М.: Языки славянской культуры, 2005. — 664 с. — (Opera etymologica. Звук и смысл).

ISBN 5-9557-0053-9

Книга выдающегося ученого-слависта академика О. Н. Трубачева «Труды по этимологии» содержит более ста его работ, первоначальный список которых составил (еще при жизни автора) один из его учеников А. Г. Григорян. Первоначально этот проект показался Олегу Николаевичу невыполнимым: разбросанные по разным отечественным и зарубежным источникам статьи (практически за 50 лет научной деятельности) найти и собрать воедино действительно было далеко непросто. Тем более приятно осознавать, что приложенные усилия не оказались напрасными. В процессе работы проект содержания будущей книги был значительно расширен с ориентацией на более полный охват фундаментальных для славистики и вообще для современного языкознания проблем, которые рассматривались ученым на фоне этимологического анализа колоссального лексического материала. С учетом этих проблем формировалась и рубрикация публикуемых статей. Бесценные по своему научному значению труды, собранные в двух томах настоящего издания, далеко не исчерпывают всех работ ученого в данной области, но в то же время дают представление о взглядах автора на решение важнейших проблем славянской этимологии, исторического языкознания и понимание культурно-исторического значения этимологических исследований.

Для лингвистов, филологов, историков, преподавателей филологических факультетов вузов, а также для всех интересующихся историей слова.

ББК 81.2

ISBN 5-9551-0053-9
9785955100531

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 3.
Славянская и индоевропейская этимология
(продолжение)

Часть 4.
Язык, история и культура

Разное

Часть III

СЛАВЯНСКАЯ И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ

(продолжение)

ЗАМЕТКИ ПО ЭТИМОЛОГИИ И ОНОМАСТИКЕ

(на материале балто-германских отношений)

Предлагаемый доклад имеет целью обратить внимание на некоторые возможности новой лингвистической интерпретации главным образом ономастического материала (этнонимов, географических названий и названий населенных мест) определенных территорий. При этом имеется в виду этимологизация отдельных изолированных образований наряду с наблюдениями над устойчивостью основного значения одного внешне изменяющегося топонимического ландшафта, а также попытка осмыслить в новой, более широкой связи один этимологически прозрачный «ряд». Можно думать, что все это дает возможность высказать также соображения более общего характера по ономастике и, в частности, о месте этимологии в исследовании ономастического (в широком смысле слова) материала.

Однако указывая на некоторый новый материал по существующим общим проблемам, доклад не претендует на решение самих проблем. Проблемы в известном смысле остаются старыми, мы стремимся лишь расширить здесь отдельные аспекты затрагиваемой проблематики, а именно: ономастический аспект балто-германских языковых отношений. В связи со специальным характером доклада в нем отсутствует информационный обзор балто-германских языковых отношений в целом и соответствующей литературы, тем более, что этот вопрос уже служил предметом обсуждения на первой, и особенно на второй научной сессии по вопросам германского языкознания, материалы которых опубликованы.

Выбор именно балто-германских отношений не явился здесь абсолютно умышленным, а продиктован характером изучаемого нами ономастического

балтийского материала, который, по-видимому, может быть лучше понят только с привлечением германских данных, в плане балто-германских отношений.

Первый вопрос — толкование этнонима *пруссы* (лит. *Prūsai*) — в достаточной мере актуальный, поскольку существующие этимологии не могут быть признаны удовлетворительными. Имеется в виду объяснение имени *пруссов* как первоначального прозвища, связанного с лит. *prūsti* 'мыть, умывать'; ср. аналогичное происхождение польского названия *Mazury* : *mazać* (А. Брюкнер); в еще большей степени относится этот упрек к малореальному сближению *prūsa-* с др.-инд. *puruṣa-* 'человек' (Я. Отрембский). Прежде чем обратиться к новой интерпретации данного этнонима, целесообразно учесть его специфику именно как этнонима и кратко упомянуть о типичных чертах, которые можно выделить при изучении известных нам совокупностей древних племенных названий соответственно у балтов, славян, германцев. Это, во-первых, употребление в различных частях определенного древнего языкового пространства одних и тех же апеллятивных основ в качестве этнонимов, видимо, первоначально без строгой этнолингвистической приуроченности. Таковы балт. **Galindai* на западе и востоке, слав. **Sьrbi*, **Slověne*, **Dudlěbi* (запад, восток, юг), герм. **Swēbjōz*, **Swējōz*, **Gut-* / **Gaut-* (север, юг). Во-вторых, это более или менее четкая словообразовательная структура значительной части остальных балтийских, славянских и германских этнонимов, характеризующая их как исконные слова. Может быть, за неимением более разработанной методики этимологического исследования племенных названий, целесообразно поставить перед изучаемым этнонимом пока эти вопросы. В случае с балтийским этнонимом **Prūsai* на них получим отрицательные ответы. Этот этноним представляется словообразовательно изолированным и темным на балтийской языковой почве. Если в других случаях возлагаются надежды на целый ряд критериев, то в данном случае решающее слово принадлежит этимологии. Балт. **Prūsai* нам кажется целесообразнее этимологизировать как заимствование.

Общим основанием для этого служит вторичное появление балтов на берегах Балтийского моря. Западнобалтийские племена, пруссы, проникли дальше других на запад, подойдя вплотную к районам, частично ранее освоенным германцами, в ряде мест — наслоившись на германцев. **Prūsa-* — западнобалтийский этноним. Собственно языковые, лексические следы контакта балтов с германцами здесь опускаются. Объективный след его носит такая устойчивая особенность топономастики низовьев Вислы, как преемственное сохранение здесь почти до нашего времени семантического признака 'лесной' при следующей смене внешней, языковой формы: готск. *Terv-ingi* 'лесовики', зап.-герм. **Wid-warjōz* (*vidi-varii* Иордана) 'жители леса'; ср. др.-

в.-нем. *witu*, ср.-н.-нем. *wid* 'лес', наконец, собственно прусские названия этих лесистых мест *Pomesania* (*Pomezania* < **pa-median-* 'Полесье'), *Pogusania* < **pa-gudian* 'под кустом' — в соответствии со старой этимологией этих двух последних названий [1]. Западногерманский характер носит в свете этого и старое название косы, отгораживающей современный Вислинский залив — *Wit-land*[2] 'лесная страна'. Западногерманский этнический элемент, уступающий по древности готскому, видимо, вполне реален в этой прибрежной балтийской полосе.

Учитывая сказанное, предлагается — в порядке гипотезы — обратить внимание на возможную связь балтийского **Prūsa-* и названия западногерманского народа фризов. Последнее представлено очень большим числом разнообразных вариантов: античные *Frisii*, Φρίσιοι, Φρείνιοι, *Frisiones*, др.-исл. *Frīsir*, англос. *Frȳsan* (*Frēsan*), фриз. *Frēsa(n)*, *Frisa*, ср.-нидерл. *Vriese*, др.-в.-нем. *Frieson*, ср.-в.-нем. *Vriesen*[3]. Хотя взаимоотношения этих вариантов обычно объясняются в плане чередования герм. ē : ī, тем не менее, нам кажется более авторитетным фонетический вариант англос. *Frȳsan* в его отношениях к англос. *Frēsan* и фриз. *Frēsa*. Эти отношения целесообразно истолковать как необратимый переход *Frēsan* < *Frȳsan* (< **Frūsja-*), т. е. потерю лабиализации умляута *u*, известную в германистике как яркая фризско-кентская фонетическая общность [4]. Таким образом, получаем право говорить о вероятности германской праформы *Frūsa-* / **Frūsja-*. Вернемся теперь к балтийскому племенному названию. Фонетически вполне допустимо производить балт. **Prūsa-* от герм. **Frūsa-*. Однако какими территориально более близкими аргументами можно подкрепить эту этимологию? В этой связи полезно привлечь одно из старых немецких названий Вислинского залива — *Frisches Haff*. Даже если признать некоторую позднюю экспансию основы *frisch* в названиях типа *Frisching* (река, впадающая в этот залив, современная *Прохладная*) и *Frische Nehrung*, старое *Witland*, то, по крайней мере, один случай *Frisches Haff* следует считать достаточно старым. Орденские документы отмечают *Frische hab* (1351 г.), *Vrische Mer* (1374 г.), *Frysche mehr Hap*

[1] См.: *A. Bach.* Deutsche Namenkunde. Bd. I. 1. Heidelberg, 1952. S. 190—191; Bd. II. 1. 1953. S. 181, 371; *E. Schwarz.* Germanische Stammeskunde. Heidelberg, 1956. S. 100; *G. Gerullis.* Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.

[2] См.: *M. Toeppen.* Atlas zur historisch-comparativen Geographie von Preussen. Gotha, 1858.

[3] *R. Much.* Friesen // Reallexikon der germanischen Altertumskunde / Hrsg. von J. Hoops. Bd. II. Strassburg, 1913—1915. S. 99.

[4] См.: *E. Schwarz.* Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Studien zur Ausgliederung der germanischen Sprachen. Bern; München, 1951. S. 237; *Э. Прокош.* Сравнительная грамматика германских языков. М., 1954. С. 19.

(1433 г.)[5]. *Frisches Haff* — старое название залива, омывающего земли древних пруссов с севера, едва ли содержит современное нем. *frisch* (герм. **freska-*) 'свежий'. Между ними, наверное, существует лишь связь вторичной ассоциации и народной этимологии. Против родства с *frisch* 'свежий' как будто говорит и название соседнего Куршского залива — нем. *Kurisches Haff* (лит. *Kuršiu marés*), базой для которого послужило этническое наименование, что можно в свою очередь допустить и для деэтимологизировавшегося *Frisches Haff*, в таком случае — из особого **Frūsiska-*, прилагательного от этнонима **Frūsa- / *Frūsja-*. Западнобалтийское **Prūsa-* может считаться усвоением (*f* > *p*) германского этнонима. Этническое, лингвистическое содержание исходного герм. **Frūsa- / *Frūsja-*, однако, не стоит модернизировать, понимая под ним лишь предков носителей современного фризского языка. Вспомним предостережение А. Брюкнера: «Большой ошибкой немецкой науки о древностях было и остается, по моему мнению, то, что она из одного лишь повторения названий, например, фризы, англы, ругии, готы и т. д., делает выводы о переселениях самих племен»[6]. Целесообразно остановиться на признании вероятности более широкого западногерманского характера искомого источника балтийского **Prūsai*[7]. Ранние следы западных германцев, в частности ингвеонов, на восточных и юго-восточных побережьях Балтики — самостоятельная проблема, на которой мы не можем здесь останавливаться. Сошлемся лишь на интересную интерпретацию латышского названия эстонцев *īgauni* как отражение германского *Ing(u)aevones* (мысль В. М. Иллич-Свитыча), т. е. «ингвеоны», правда, на территории несколько в стороне от привлекаемого нами района.

Второй вопрос, на котором хотелось бы здесь остановиться, это генезис двуосновных балтийских названий населенных мест на *-sēdja-*. В отличие от

---

[5] *C. Leyding.* Słownik nazw miejscowych okręgu Mazurskiego. Część II. Nazwy fizjograficzne (zlokalizowane). Poznań, 1959. S. 73.

[6] *A. Brückner.* Ursitze der Slaven und Deutschen // AfslPh. Bd. XXII. 1900. S. 238.

[7] На основании свидетельств Ипатьевской летописи и Хроники Дусбурга, К. Буга делает вывод, что *пруссы* — первоначальное название жителей Погезании, в южной части западнобалтийской территории на границе с поляками, которые первыми извлекли это название на свет божий («iškėlė ji, aikšten»). Впервые название *пруссов* упоминается в «Житии св. Адальберта» под 999 г.: *Pruzzorum*, *Pruzziae*. К. Буга полагает, что «название пруссов не является древним. Оно едва ли восходит далее IX—X вв. Если бы поляки познакомились с названием пруссов в VI—VII вв., то они говорили бы сейчас не *Prusy*, а **Prysy*» (*K. Būga.* Lietuvių kalbos žodynas, II sąsiuvinis. Kaunas, 1925. S. LXX; *J. Pląkis.* Die baltischen Völker und Stämme // Die Letten. Aufsätze über Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten. S. 49 и след.). Однако между первыми случаями упоминания имени и возможным временем его образования всегда следует разрыв. Можно полагать, что до IX в. соответствующая форма была известна на побережье.

первого случая, здесь нет необходимости в этимологизации в описанном выше смысле, чтобы объяснить внешне прозрачные названия, которые перечисляются ниже. Древнепрусские (по цитированной уже нами книге Г. Геруллиса): *Garpseden*, *Lypsaden*? (ср. варианты *Leypseyde*, *Lypseyde*), *Lixeden* (**Lig-seden*), *Marseden*, *Mossed*, *Nawunseden*, *Pyalsede* (*Pralsede*), *Pilsedyn*, *Possede*, *Waixedies* (*Waxeden Warseden*); литовские[8]: *Vienasėdžiai* (Зарасайский уезд), *Šilosėdžiai* (дважды — Тракайский уезд), *Varsėdžiai* (Таурагский уезд), *Traksėdis* (трижды — Таурагский уезд), *Alsėdžiai* (Тельшяйский уезд), *Medsėdžiai* (*Medsėdis*) более десяти названий — Тельшяйский уезд, Мажейкский уезд, Кретингский уезд; ср. еще *Медсери* Шавленской волости (Спрогис, 183), *Trimėsėdis* (Тельшяйский уезд), *Mosėdis* (Кретингский уезд), *Посед* — озеро в Коршовской волости (Спрогис, 255), *Аписедыс* — урочище в Корклянской волости (Спрогис, 14), — всего почти 30 названий со вторым компонентом *-sēdja-*; ср. прилагаемую карту; латышские[9]: *Jaunēži* (Сигулда, Огре), *Jaunserži* (Салдус, Добеле), *Jaunsērži* (Салдус), *Lanksēži* (трижды — Айзпуте, Лиепая, Венспилс), *Upsēži* и др. — всего не более десяти случаев; см. карту. Правильному пониманию оформления этого балтийского топонимического ряда содействовал бы возможно полный учет таких образований на территории старой Пруссии, Литвы и Латвии, а также поиски эквивалентных регулярных образований в окружающей небалтийской топонимии. Что касается соответствующих небалтийских топонимических эквивалентов, то в первую очередь стоит отметить отсутствие таковых в славянской топонимии: имеем в виду сложные названия, второй компонент которых имел бы следующую форму по славянским языкам: рус. **-сежи*, укр. **-сіжі*, польск. **-siedze* / **-siedzy*, чеш. **-seze*, болг. **-сежди* и т. д. Такие названия на славянской территории нам неизвестны.

Отсутствие среди славянских местных названий сложений со вторым компонентом праслав. **-sēdjo-* (мн. **-sēdji*, **-sēdje*) находится, конечно, в связи с отмечавшимся уже исследователями предпочтением в славянской топонимии аффиксации, а не словосложения в качестве основного структурного признака названий (ср. наблюдения В. А. Никонова над «славянским топонимическим типом»). Надо думать, что именно в этом заключается архаическая черта славянской топонимии (и гидронимии), в какой-то мере унаследованная от праиндоевропейского топонимического типа. Топонимия отдельных

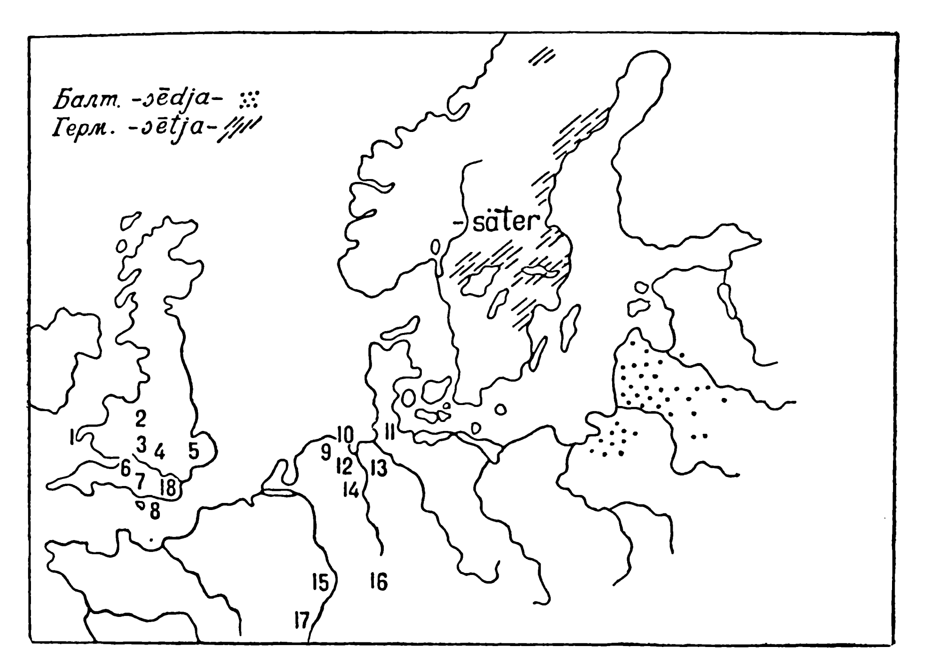
---

[8] Источником сведений послужили справочники: Lietuvos apgyventos vietos. Kaunas, 1925; Lietuvių kalbos rašybos žodynas. Vilnius, 1948; *И. Я. Спрогис*. Географический словарь Древней Жомойтской земли XVI ст. Вильна, 1888.

[9] *J. Endzelīns*. Latvijas PSR vietvārdi. I. daļa, 1—2 sējums. Rīgā, 1956; 1961; *J. Endzelīns*. Latvijas vietu vārdi. I. daļa, Vidzemes vārdi. Rīgā, 1922; *J. Plākis*. Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi. I. daļa, Kurzemes vārdi. Rīgā, 1936.

индоевропейских языков знает много примеров массового отклонения от этого первоначального типа, что объясняется внутренними структурными причинами или внешними импульсами. При этом далеко не всегда легко решить, какой именно причине мы обязаны оформлением более нового типа. Балтийскую, в частности литовскую, топонимию и гидронимию характеризует в течение всего исторического периода продуктивность именно словосложения, что как бы оттеняет вторичность появления этого способа на балтийской почве. Мы не далеки от мысли о вероятности в данном случае постороннего внушения, и прежде всего — субстратных и адстратных воздействий со стороны финского. Казалось бы, естественно применить это достаточно серьезное научное объяснение если не ко всем случаям, то, по крайней мере, ко всем разрядам, моделям топонимических образований балтийского. Однако проверка показывает, что балтийская топонимическая модель «сложение со вторым компонентом **-sēdja-*» сопротивляется этому стереотипному толкованию. Так, если нанести на карту хотя бы только те названия, которые нам известны и уже отмечались выше, то получится весьма интересная картина, объективный характер которой исключает подозрение в предвзятости наших суждений. Обращаясь к территориям прежде всего Литвы и Латвии (названия Пруссии труднее поддаются локализации), видим, что в Литве названия на *-sėdžiai* / *-sėdis* сосредоточены почти исключительно на Западе, в Жемайтии, тогда как на Востоке страны, в гораздо большей территориально Аукштайтии зафиксированы единичные, спорадически разбросанные случаи. Заселение Литвы осуществлялось с востока на запад. Карта названий на *-sėdžiai* / *-sėdis* в Литве показывает, что количество этих названий возрастает к западу. В целом эта топонимическая модель сложилась уже после освоения территории Литвы балтийским населением. Могут сказать, что апеллятивная основа *-sėdis* / *-sėdžiai* 'тот (те), кто сидит' (ср. лит. *sėdėti* 'сидеть') была мобилизована в процессе топонимического творчества в силу того внешнего по отношению к языку обстоятельства, что носители балтийских диалектов, продвигаясь на запад, оседали на новых землях. Но этого же можно было ожидать и в Восточной Литве, однако названий на *-sēdja* там почти нет. Подавляющее большинство этих названий встречается на Западе, вплоть до побережья. Влияние финского субстрата и образца представляется в свете сказанного маловероятным. На территории Латвии, которая была занята балтами позже Литвы, почти все немногочисленные названия на *-sēdja-* расположены тоже на Крайнем Западе, в Курземе. На правобережье Западной Двины, которое также представляет собой область вторичного освоения, этих названий нет. Не следует думать, что все эти названия являются результатом новообразования, хотя среди них, несомненно, есть и такие; ср., например, некоторые из многочисленных литовских *Medsėdžiai*. Вместе с тем, целый ряд названий

восходит, очевидно, к древности; ср. упоминания в XVI в., в словаре И. Спрогиса (все исключительно на Западе), а также еще более ранние упоминания всех одиннадцати прусских названий, не считая вариантов, приводимых Г. Геруллисом по орденским документам. Сводное картографирование распределения местных названий на *-sēdja-* на исторических балтийских территориях выглядело бы как не очень густая полоса, огибающая берег Балтийского моря. Эта территориальная перспектива должна нам помочь в определении генезиса балтийской топонимической модели «сложение со вторым компонентом *-sēdja-*», хотя совсем не обязательно понимать приводимые ниже данные как категорическое утверждение об одностороннем германском влиянии.



Сводная карта западногерманских названий на *-sētja-* и балтийских на *-sēdja*.

Германские названия на *setja*: 1 — *Tempsiter* (*Temsete*), 2 — *Morsete*, 3 — *Arosætan*, 4 — *Gilternsætan*, 5 — *Grantchester* (*Grantesete*), 6 — *Sumorsæte*, *Sumorsætan* (*Somerset*), 7 — *Dorsæte*, *Dorsætan* (*Dorset*), 8 — *Wihtsætan*, 9 — *Mōrsēti* (Фрисландия), 10 — *Worthsāti* (Wursten), 11 — *Holtsati* (*Holstein*), 12 — *Woltzeten* (близ Эмдена), 13 — *Waldsāti* (близ Бремена), 14 — *Holsten-Mündrup* (близ Оснабрюка), 15 — *Waldsation*, *Waldsassen* (Верхний Пфальц), 16 — *Waldsāzi* (близ Вюрцбурга), 17 — *Elasaȝȝeun* (*Elsaß*), 18 — *Estursete*.

Отметив отсутствие соответствия упомянутой балтийской модели в славянской топонимии, а также оценив критически возможность финского влияния, нельзя не упомянуть о наличии близких образований в германской топонимии, в основном на западногерманских территориях. Прежде всего следует сказать, что топонимия почти всех германских стран, построенная преимущественно по способу словосложения, знает также много сложений со вторым компонентом герм. **set-* (и.-е. **sed-*). Так, в Швеции и Норвегии топонимы на *-säter*, *-saeter* насчитываются тысячами, немало их и на островах и других территориях, подвергшихся норманской колонизации[10]. Но если эти последние названия, кроме топонимического сходства, не обнаруживают специальной фонетико-морфологической близости с балтийскими на *-sēdja* (скандинавские названия содержат *-setr* < герм. **setaz*, **setiz*, и.-е. **sedos*, *sedes*), то черты такой близости обнаруживают западногерманские названия на *-sētja-*. Сюда относятся англ. *Dorset*, *Somerset*, др.-англ. *Estursete* 'живущие на реке Стауэр', *Mersete* 'пограничные жители', *Tempsiter* (др.-англ. *Temsete* 'жители на реке Тим'), *Grantchester* (др.-англ. *Grantesete* 'жители на реке Гранта'), др.-англ. *Arosaetan*, *Gilternsaetan*, *Wihtsaetan* 'жители острова Уайт'; на материковых западногерманских территориях, главным образом на севере современной Западной Германии и прилегающих побережьях Северного моря, отчасти в глубине немецкой территории: *Holtsāti*, *Holtsāten*, ср.-в.-нем. *Holzsāezen* (современный *Holstein*), *Waldsāti*, местность к северо-востоку от Бремена, *Holsten-Mündrup* близ Оснабрюка, *Woltseten* близ Эмдена, *Waldsation*, *Waldsassen* в Верхнем Пфальце, *Waldsazi* к западу от Вюрцбурга, *Mōrsēti* в Фрисландии, *Worthsāti* (современный *Wursten*), др.-в.-нем. *Elisāzzeun* (современный *Elsass*)[11].

Сходство герм. *-sētja-* и балт. *-sēdja-* очевидно с первого взгляда и при более внимательной проверке оказывается полным. Общая для обоих образований продленная ступень корневого вокализма *-*sēd* и общее расширение суффиксальным *-j-* дополняются общностью преимущественного употребления во множественном числе и общей семантической характеристикой 'жители, обитатели какой-либо местности'. Семантическая общность распространяется в ряде примеров на все сложение; ср. з.-герм. *Holt-sāti*, *Wald-sāti*,

[10] *F. Hedblom.* De svenska ortnamen på säter. En namngeografisk undersökning. Lund, 1945.

[11] См.: *F. Kluge.* Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialekte. 2. Aufl. Halle, 1899. S. 19; *R. Much.* Völkernamen // Reallexikon der germanischen Altertumskunde / Hrsg. von J. Hoops. Bd. IV. Strassburg, 1918—1919. S. 429; *E. Schwarz.* Deutsche Namenforschung. II. Göttingen, 1950. S. 180; *A. Bach.* Deutsche Namenkunde. Bd. I, 1. Heidelberg, 1952. S. 194; *E. Ekwall.* The Consise Oxford Dictionary of English Place-Names. 4th ed. Oxford, 1960. S. XIII, 399.

Wad-sazi и лит. *Med-Sėdžia* 'лесные поселенцы'. И на германской, и на балтийской почве это были первоначально названия небольших групп людей, родов, ставшие позднее местными названиями. И там и тут они обычно не производятся от этнонимов. Германские образования представляются весьма древними, лишь случайно не нашедшими отражения в античной традиции, за исключением формы Φουςγισατις, согласно Р. Муху.

Считаем полезным иметь в виду при анализе ономастического аспекта балто-германских языковых отношений также и это схождение топонимических моделей (герм. *-*sētja*- : балт. *-*sēdja*-), независимо от того, будем ли видеть в нем балтийскую кальку германского прототипа на вновь освоенных балтами прибрежных территориях или чисто типологическое сходство, параллелизм, исключительный характер которого также весьма поучителен. В связи с изложенным приведем еще один любопытный германо-балтийский топонимический параллелизм, на который ранее не обращали внимания. Это, с одной стороны, германские местные названия со вторым компонентом *-*lauha*- (ср. нем. диал. *Loh* 'опушка леса, низкая древесная поросль, пастбище, луг'), распространенные в Нидерландах (*Eeklo*, *Hulsterloo*, *Boekeloo*, сюда же знаменитое *Waterloo* в Бельгии), Нижней Саксонии, Вестфалии, Гольштейне (постепенно убывает), Англии (*Ac-lea*, *Hes-lea* и др.). С другой стороны, это балтийские топонимы со вторым компонентом -*lauka*-, -*laukja*; ср. лит. *laukas* 'поле'.

В заключение напомним, что схождение в рассмотренных здесь случаях касается именно западногерманских и балтийских данных. Разумеется, поиски в этом направлении стоит продолжать и далее. Будучи реализовано на ономастическом материале, это наблюдение могло бы представить методологический интерес именно сейчас, когда всё более ощущается необходимость в детализации различных традиционных аспектов языковых отношений — балто-славянских, балто-германских и др.

ЗАМЕТКИ ПО ЛИТОВСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ

lytìs, jùk, aslà, kū̃dikis, nèt

Предлагаемые этимологии литовских слов в большинстве своем посвящены заимствованиям из соседних славянских языков, осуществленным в разное время. Таково, по всей вероятности, происхождение слов *aslà*, *kū̃dikis* и *nèt*. В отличие от них служебное слово *jùk*, несомненно, исконно, и славянский материал ограничивается здесь одной, правда, весьма существенной семантической параллелью, наводящей нас на мысль о новом этимологическом решении. Характер любопытного лексического соответствия носит и предполагаемая балто-германская близость слов в случае с лит. *lytìs*. Все эти заметки носят характер коррективов и дополнений к известному литовскому этимологическому словарю Френкеля.

Лит. *lytìs* 'форма, фигура, вид, внешность'

Помещаемое Френкелем в статье *laitótis* 'es gut haben, es sich wohl sein lassen' и сближаемое с лтш. *lìeta* 'вещь, дело, годность, ценность', *lìetât* 'использовать, употреблять', *līte* 'глыба, льдина', а далее — с др.-инд. *lī́yate* 'прижимается', греч. λεῖος, лат. *lēvis* 'гладкий', обращает на себя внимание своей словообразовательно-фонетической, а также семантической близостью к германским названиям члена, конечности: нем. *G-lied*, ср.-в.-нем., ср.-н.-нем. *gelit*, нидерл. *gelid*, др.-в.-нем. *gilid*, *lid*, др.-сакс., др.-фриз., ср.-англ. *lith*, нидерл. *lid*, англосакс. *liþ*, др.-исл. *lidr*, готск. *liþus*. Герм. **lĭ̄þ-*, производное с зубным суффиксом от герм. **lĭ̄-*, соответствует лит. *lytìs* 'форма, вид, пол',

как англ. *limb*, англос. *lim* 'член' с суффиксом *-m-* от того же корня — лит. *liemuõ* 'ствол, стан' [1].

Лит., лтш. *juk* 'ведь'

Связано с лит. *jùkti*, лтш. *jukt* 'привыкать', иными словами, эта частица *juk* может, по нашему мнению, продолжать личную глагольную форму **juku*, 1-е л. ед. ч. настоящего времени, ср. современное лит. *junkù* с назальным инфиксом (но лтш. *juku*!). Подтверждающую семантическую аналогию видим в эволюции значения (и формы) рус. *ведь* < *вѣдѣ* 'я знаю'. Объяснение близостью к др.-в.-нем. *joh* 'auch, aber, doch' [2] нам кажется менее удовлетворительным.

Лит. *aslà* 'глиняный пол крестьянского жилого дома, гумна; под печи; точильный брус'

Обычно этимологизировалось как исконно литовское слово, родственное, например, швед. *äril* 'пол' [3]. Мы считаем эту этимологию ошибочной по той причине, что при этом из всех значений литовского слова оказывается выделенным лишь одно, а именно — 'пол', древность которого молча постулируется исследователями. Однако уже само сличение с литовскими словарными данными дает более полную картину и делает этимологию, выдвигаемую нами ниже, совершенно очевидной для всех вообще употреблений этого слова. Нам представляется исходным как раз значение 'точильный брус, точильная поверхность'. В остальных значениях целесообразно произвести отбор, основанный на внутренних критериях и некоторых культурных моментах. Значение 'под печи' можно выделить как окказиональное. Одно из наиболее употребительных значений слова *aslà* — это 'пол', причем не всякий вообще пол, а плотно убитый глиняный пол. Вполне возможно, что первоначально *aslà* не имело значения 'пол жилого дома', а выступало как название пола только в гумне. Семантическая дистанция между названием глиняного пола, об который или на котором выбивают, выколачивают зерно из снопов, и названием бруска, которым, например, отбивают, наводят косу, серп, такова по своей непротиворечивости, что не мешает нам принять тождество этих названий, а следовательно, и единое *aslà* с исходным значением 'точильный брус'. Дальнейшая суть нашей этимологии лит. *aslà* крайне несложна: это слово заимст-

---

[1] Ср. *Fraenkel*. LEW. S. 334; *Kluge — Götze*[15]. S. 271.

[2] *Mūlenbachs — Endzelīns*. Latviešu valodas vārdnīca. S. II. C. 116; *Fraenkel*. LEW. S. 196.

[3] См., вслед за Бугой и Микколой: *Fraenkel*. LEW. S. 18.

вовано из польского *osła* 'точильный камень' или тождественной формы другого соседнего славянского языка.

Лит. *kū̃dikis* 'ребенок, младенец'

Продолжает оставаться, по нашему мнению, несмотря на неоднократные попытки этимологов, словом неясного происхождения. Во всяком случае две известные основные этимологии этого слова вызывают сомнения. Так, Буга считает слово *kū̃dikis* исконно литовским по происхождению и образованным от глагола, соответствующего лтш. *kûdît* 'гнать', которое родственно рус. *кидать* и т. д. Однако как раз литовский язык не знает соответствующего глагола, не говоря уже о проблематичности семантической связи 'ребенок' ~ 'гнать' (аналогия *vaĩkas* 'ребенок' : *véikus* 'быстрый, проворный', *veĩkti* 'делать, действовать' недостаточно убеждает в этом). По другой этимологии, *kū̃dikis* образовано от *kū̃das* 'худой, нежный, жалкий', славянского происхождения, или прямо заимствовано из слав. **xudьсь*[4]. Происхождение лит. *kū̃dikis* от слав. *xudъ* (рус. *худой,* польск. *chudy* и т. д.) или от *xudьсь* тоже не кажется достоверным. Как само *xudъ*, так и это последнее его производное (ср. польск. диал. *chudziec*, *chujec* 'некастрированный, плохо кастрированный кабан') по своей семантике плохо подходят как источники литовского названия ребенка.

Прежде чем перейти к новой попытке этимологизации литовского слова, обратим внимание на то обстоятельство, что отношения таких названий ребенка в литовском как *kū̃dikis* и *vaĩkas* характеризует определенная семантическая (возрастная) градация: *kū̃dikis* 'младенец, совсем маленький ребенок', *vaĩkas* 'подросший ребенок'. Ср. любопытный пример из авторской речи в одном из очерков П. Цвирки: «...jis čia kadaise *kūdikis*, paskum *vaikas* bėginėjo» 'он здесь когда-то бегал *малышом*, затем подростком'. Многочисленные производные названия подростка, взрослого парня произведены именно от *vaikas* (если говорить об этих двух словах) путем разнообразной суффиксации. Древность слова *kūdikis* в литовском остается для нас недостаточно ясной. Описанная как будто четкая современная семантическая градация 'младенец' — 'подросший ребенок' не обязательно всегда характеризовала отношения *kū̃dikis* — *vaikas*. Ср. употребление исключительно *vaikeliukas*, *vaikelėlis* в значении 'грудной младенец' во многих народных колыбельных песнях[5].

Нам кажется, что слово *kū̃dikis* пополнило литовскую лексику этого рода на определенном этапе, явившись первоначально генетически техническим

---

[4] См. сведения в словарях: *Fraenkel.* LEW. S. 304; *Berneker* I. S. 405.

[5] См. *A. R. Niemiir, A. Sabaliauskas.* Lietuvių dainos ir giesmės šiaur-rytinėje Lietuvoje. AASF. S. B. T. VI [б. г.]. S. 168, 171 и др.

термином — обозначением только что (прежде времени) родившегося существа. Его источник мы видим в славянском, а именно — в соответствующих названиях от основы **kyd-*, ср. укр. диал. *скидчá* 'ягненок-недоносок' (Гринченко IV. С. 134), рус. *вы́кидыш*. Конкретным источником лит. *kū̃dikis* могло послужить условно восстанавливаемое нами правосточнославянское **кыдьць*, совр. **кидец* в близком значении [6]. Такое объяснение влечет за собой необходимость ответить сразу на ряд вопросов, касающихся хронологии и исторической фонетики славянских элементов литовской лексики. Учитывая достаточно ранний характер перехода *ky* > *ki*, мы не можем относить заимствование лит. *kū̃dikis* к слишком позднему времени. Против этого говорила бы и обычная рефлексация слав. *y* > лит. *ui*: *muilas*, *smuikas*, *puikus*. У нас представлено слав. *y* > лит. *ū* или даже еще слав. **ū* > лит. *ū*.

Лит. *net* 'даже'

Согласно Френкелю [7], образовано путем усиления отрицания *ne* другой частицей. Однако нам кажется, что это объяснение правильно лишь постольку, поскольку речь может идти об ассоциативных, вторичных связях этого служебного слова. Выявить первоначальный источник слова как будто помогает сходство лит. *net* 'даже' с польск. *nawet* 'даже', что нельзя не признать многозначительным. Очевидно, в лит. *net* представлено заимствование. Оно не обязательно получено прямо из польск. *nawet*, тем более что непосредственной увязке этих двух слов препятствуют некоторые формально-фонетические затруднения. Скорее всего, лит. *net* произошло из блр. диал. *нат* (*на'т*) 'даже', сокращенного в устной речи из *нáват*, общенародной белорусской формы [8], в свою очередь заимствованной из польск. *nawet*. Польск. *nawet* 'даже', первоначально собственно словосочетание *na wet* 'напоследок' (где *wet* — из средневековой немецкой формы, соответствующей современному нем. *Wette* 'заклад, пари'), вошедшее в польский речевой обиход примерно в XVI в. [9], быстро распространилось в Белоруссии и на Украине, где оно стало единственным служебным словом в этом значении и подверглось основательной формальной ассимиляции, ср., например, укр. *нáвiть*. Для

[6] У В. Н. Топорова (О праславянском **kot-* // ВСЯ. Вып. 6. М., 1962. С. 173. Сноска 4) моя точка зрения отражена не совсем точно: «По мнению О. Н. Трубачева, лит. *kū̃dikis* 'маленький ребенок' не является славянским заимствованием и связано с глаголом, родственным слав. **kydati* (из **kūd-*) 'бросать, кидать' (сообщено устно)».

[7] *Fraenkel*. LEW. S. 489, там же ссылки на предшествующую литературу.

[8] См. *М. Байкоў, С. Некрашэвiч*. Беларуска-расiйскi слоўнiк. Мiнск, 1925. С. 188: *нат*; Белорусско-русский словарь / Под ред. К. К. Крапивы. М., 1962. С. 466: *нáват*.

[9] *Brückner*. Słownik etymologiczny. S. 607.

этих восточнославянских языков terminus post quem заимствования и распространения этого польского слова должен быть принят где-либо не ранее начала XVII в., если судить по употребленному в авторской речи Памво Берынды выражению *ла́комый на ве́ты на конфе́кты*, которым он толкует церковнославянское *ласкосръдый*[10]. Здесь еще сохраняются черты сугубо старопольского употребления, ср. значение *на веты* 'на десерт'.

Что касается современной формы лит. *net* в ее отношении к исходному блр. *нат,* то мы согласны признать здесь воздействие — с литовской стороны — народно-этимологических ассоциаций, а именно — осмысления в связи с формами на отрицание *ne-* (см. выше).

[10] Цит. по изд.: Лексикон словенороський Памви Беринди / Підготовка тексту В. В. Німчука. Київ, 1961. С. 57.

ИЗ СЛАВЯНО-ИРАНСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Эта работа не ставит перед собой цели рассмотрения славяно-иранских лексических (и тем более — языковых) отношений во всей полноте, что дает нам известную свободу, необходимую для того, чтобы сосредоточиться на возможно подробном изложении в ограниченных рамках статьи тех более общих соображений, которыми целесообразно, как нам кажется, пополнить существующую концепцию славяно-иранских отношений, а также на изложении тех новых фактических лексических материалов, накопившихся у нас, которые составляют основу выдвигаемых положений общего характера.

Не входя в детали истории изучения славяно-иранских лексических отношений в науке, ограничимся поэтому кратким резюме состояния этого вопроса к настоящему времени. Соответствующая литература очень невелика, и если опустить перечень более частных или реферативных исследований, которые главным образом лишь занимают ту или иную позицию в отношении основных исследований проблемы, то список этих последних будет совсем краток: это работы Розвадовского и Мейе[1]. Названные исследования обоих ученых обнаруживают четко антагонистическую интерпретацию фактов близости славянского и иранского словаря. Так, если Мейе считает, что славяно-иранские лексические контакты восходят к древнему соседству тех и других диалектов эпохи праиндоевропейского, то Розвадовский, отрицая сохранение следов этих праязыковых общений, считается лишь с определенными свидетельствами вторичного контакта и влияния иранского словаря на славянский.

[1] *J. Rozwadowski.* Stosunki leksykalne między językami słowiańskimi a irańskimi // RO. 1914—1915. I. S. 95 след.; *A. Meillet.* Le vocabulaire slave et le vocabulaire indo-iranien // RES. 1926. VI. P. 165 след.

Оба тезиса представляют бесспорную научную ценность, и все зависит в конечном счете от материала, который имеется в виду. Правда, в научной литературе в известном смысле более жизненным оказался тезис Розвадовского, что, возможно, объясняется также и тем, что это положение более гармонировало с новыми направлениями в науке и мыслями о вторичном языковом сближении, языковых союзах и с ростом внимания к пространственному аспекту в интерпретации языковых фактов. Следующие десятилетия не принесли ничего принципиально нового для изучения славяно-иранских лексических отношений, так что мы и теперь на вопрос о состоянии разработки этой проблематики в науке ответили бы достаточно полно, приведя два названных выше тезиса. Впрочем, ближайшее рассмотрение позволяет выделить не только то, что уже нами упомянуто и что, казалось бы, непримиримо разделяет Мейе и Розвадовского, но также и один такой важный момент, который хотя и не акцентируется сознательно, тем не менее одинаково присутствует в работах обоих ученых и красноречиво свидетельствует об их полном единодушии на этот счет. Это — молчаливое признание монолитности праславянского, или древнеславянского, языкового пространства, тем более явственное для нас, что авторы никогда специально не аргументируют его. Возможно, было бы упрощением считать, что эти ученые вообще игнорировали наличие в праславянском древних диалектов или, по крайней мере, диалектных особенностей. Мы имеем здесь в виду нечто другое: очевидно, что Мейе и Розвадовский полагали целесообразным в таком вопросе, выходящем за рамки собственно славянского, как славянско-неславянские отношения (конкретно — в вопросе славяно-иранских лексических отношений), принять весь славянский, так сказать, за единицу, как это нередко делают теперь с еще большей свободой при широких внешних сравнениях с индоевропейским. Таким образом, любой лексический факт, независимо от его реального, засвидетельствованного статуса, квалифицировался в сущности как общеславянский. Могут возразить, что таково было тогда состояние научных знаний и что факты, прямо противоречащие этой методике, были, по-видимому, еще неизвестны. В действительности оказывается, что это совсем не так и что, во-первых, локальный характер многих славянских лексических соответствий иранским словам был хорошо известен уже тогда, а во-вторых, всевластие научной концепции ни в чем так ярко не проявляется, как в стремлении преодолеть сопротивление тех фактов, которые в нее не укладываются. Мы будем иметь возможность наблюдать это последнее обстоятельство на примерах различных существующих интерпретаций интересующих нас фактов в дальнейших частях работы.

Итак, в известных нам разработках проблемы славяно-иранских лексических отношений славянский всегда фигурирует как монолитное, однородное

целое. Мы находим такое понимание у Мошинского [2] и в реферативном обзоре Зализняка [3]. Характерно, что последний автор, говоря о важности изучения славяно-иранских языковых связей с разных точек зрения (история тех и других языков, проблемы индоевропейского диалектного членения, относительное расположение германцев, балтов, славян, фракийцев, иранцев и финноугров в раннескифскую эпоху, следы иранской гидро- и топонимии на Юге России, славяно-иранские схождения в религиозно-этической терминологии, влияние иранской антропонимии на славянскую), ни словом не упоминает, хотя бы в форме постановки вопроса, о степени древней диалектной расчлененности славянского в эпоху славяно-иранских контактов, так что создается впечатление, будто этот фактор совершенно не имеет смысла принимать во внимание.

Касаясь фактора монолитности, resp. диалектной расчлененности, праславянского в проблематике славяно-иранских лексических отношений, мы считаем поучительным ознакомление с аналогичным фактором также для иранской стороны. Надо сказать, что изучение названного фактора во взаимоотношениях древних иранских диалектов, ближайших территориально к славянским, обычно проводилось в иранистике самостоятельно, вне всякой связи со славянским, и параллельное исследование такого плана для иранского и славянского является, по-видимому, делом будущего. Однако именно эта проблема иранистических исследований, несмотря на относительно слабую развитость иранской диалектологии и лингвистической географии, испытала на наших глазах значительную эволюцию, которая позволяет говорить о прогрессе взглядов в этой области языкознания. Почти до последнего времени господствовала, или во всяком случае преобладала, точка зрения, согласно которой очень близкие иранские наречия, на которых говорили хорезмийцы, согдийцы, прочие племена иранцев на северо-востоке, а на западе — аланы и современные осетины, восходят к единому скифскому языку как отрасли общеиранского. Такова, например, теория Готьо [4]. У нас близкие взгляды нашли выражение в трудах Абаева [5], который исходит из понятия скифского

---

[2] *K. Moszyński.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957. S. 82 след.

[3] *А. А. Зализняк.* Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // ВСЯ. 1962, № 6. С. 28 след. См.: *А. А. Зализняк.* О характере языкового контакта между славянскими и скифосарматскими племенами // КСИС. 1963, № 38. С. 3 след.

[4] *R. Gauthiot.* Essai de grammaire sogdienne. I^{ere} partie. Paris, 1914—1923. P. III, 23.

[5] *В. И. Абаев.* Осетинский язык и фольклор, 1. М.; Л., 1949 (см. специально с. 145 сл. «Скифо-аланские этюды»); *В. И. Абаев.* Превербы и перфективность. Об одной скифо-славянской изоглоссе // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964. С. 90 след.; *В. И. Абаев.* Фонема *l* в осетинском // Иранская филология. Л., 1964.

(иначе — северноиранского) как дифференцированного, в том числе — лексически, от прочих иранских, но внутренне однородного языка (впрочем, диалектное различие между скифским и сарматским признается). Главное же внимание Абаева как историка языка и этимолога направлено на идентификацию продолжений скифского (сарматского) языка в современном осетинском и его словаре. Надо сказать, что древние диалектные различия лежат, скорее, вне поля зрения исследователя. Между скифским и осетинским он устанавливает отношения тесной преемственности или даже исторического тождества, продолжая отечественную научную традицию (труды Миллера). Отсутствие тех или иных скифских элементов в осетинском словаре Абаев склонен соответственно этому толковать как утрату, а не изначальное отсутствие, ср., например, его замечание о том, что скиф. *baga-* 'бог' (известное также ряду других иранских языков) в осетинском не сохранилось [6]. В известном смысле уместной и своевременной явилась поэтому критика венгерского ираниста Харматта [7], который приходит к выводу о необходимости пересмотра соответствующих концепций Миллера, Ломмеля, Готьо, Абаева, практически опирающихся на теорию генеалогического древа и вторичности диалектных различий. Резюмируя современное состояние вопроса в науке, Харматта высказывает ряд интересных для нас — как непосредственно, так и в типологическом отношении — мыслей о возможности образования осетинского народа в результате напластования разных иранских племен, о несомненно древнем характере диалектной дифференциации иранского языкового пространства, а в связи с этим — о необходимости пересмотра понятия праиранского языкового состояния как осложненного диалектными различиями. Различное развитие древнеиранских фонем в разных иранских именах Северного Причерноморья примерно одного времени говорит, по мнению автора, о том, что там были представлены различные диалекты. Язык скифских (сарматских) племен Юга России не был, таким образом, гомогенным. Еще накануне начала нашей эры иранские племена Северного Причерноморья говорили на нескольких языках или диалектах, отличных друг от друга. Однако если с критикой Харматта по поводу прямой исторической идентификации языка сарматов, аланов и современных осетин можно полностью согласиться [8], то

С. 4 след.; *В. И. Абаев.* Скифо-европейские изоглоссы // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков (тезисы докладов). М., 1964. С. 72.

[6] Абаев. ОЯФ I, 159.

[7] *J. Harmatta.* Studies in the language of the Iranian tribes in South Russia // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. T. I. 1950—1951. S. 261 след.

[8] Ср. выявление, наряду со скифскими изоглоссами осетинского, также многочисленных его восточных связей: *H. W. Bailey.* Asica // Transactions of the Philological Society. London, 1945 (1946). P. 1—38.

его мнение о множественности особых иранских языков и диалектов на территории Древней Скифии, число которых он к тому же готов удвоить, представляется преувеличенным. Метод, при котором диалектная изоглосса фактически отождествляется с диалектом, едва ли может привести к правильному решению вопроса, которое достижимо лишь при изучении взаимосвязей изоглосс и их пучков. На это правильно указывал Згуста[9], пришедший в своей книге об антропонимии Северного Причерноморья к более умеренным выводам по скифосарматской диалектологии. Мы снова читаем у него, как еще у Фасмера[10], о двух диалектах — скифском и сарматском, точнее, соответственно — о западном и восточном. Правда, стремление представить географически более западный иранский диалект Северного Причерноморья как всегда более архаический, а восточный диалект — как перешедший от древнеиранского состояния к более позднему, среднеиранскому, не всегда, по-видимому, основывается на фактах. Вероятно, и концепция Згусты нуждается в проверке и поправках, как и другие, затронутые здесь теории, а истина лежит, как всегда, где-то посредине. Но основное направление поисков в этом разделе современной иранистики нельзя не признать правильным: ясно, что иранские племена, населявшие историческую Скифию и примыкающие к ней пространства с востока, говорили на диалектах, характеризовавшихся, наряду с чертами близкого родства, также особенностями и различиями (в том числе — в словаре), свидетельствующими о древней сложности диалектного состава северноиранских (скифосарматских) и вообще восточноиранских языков.

Насколько нам известно, этот современный прогресс научных взглядов в области иранской исторической диалектологии еще не коснулся исследования славяно-иранских лексических отношений, которое велось и ведется преимущественно славистами и индоевропеистами. При этом иранский аспект славяно-иранских отношений представляется в науке обычно еще более монолитным, чем славянский. Исходя из явно высказанного или молчаливого постулата о гомогенности иранского языкового пространства, а также принимая во внимание вероятную древность славяно-иранских лексических отношений, строили славяно-иранские лексические сравнения, как правило, таким образом, что иранским членом пары служило слово из языка Авесты, древнейшей письменной формы иранского. Это находило оправдание в ряде фактов (лингвистическая архаичность языка Авесты, относительное богатст-

---

[9] *L. Zgusta.* Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Die ethnischen Verhältnisse, namentlich das Verhältnis der Skythen und Sarmaten, im Lichte der Namenforschung. Praha, 1955. S. 246 ff., 270—271 (= Monografie Orientálního ústavu ČSAV, sv. 16).

[10] *M. Vasmer.* Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland. Leipzig, 1923.

во его засвидетельствованного словаря). Кроме того, такая практика находит в последнее время, по-видимому, новые оправдания, ср. мнение Моргенстьерне[11] о преимущественно восточноиранском характере словаря Авесты, — мнение, надо думать, не случайное, поскольку местом возникновения памятников Авесты считается Северо-Восточный Иран, т. е. область, граничащая с ареалом восточноиранских языков — таких, как афганский (пушту), памирские. Существенность этого обстоятельства для нас заключается в том, что именно к восточноиранским языкам принадлежат, наряду с живым осетинским, также вымершие языки скифов и сарматов (см. выше), непосредственно контактировавшие с праславянскими диалектами. Предпочтение авестийских эквивалентов в славяно-иранских лексических сближениях долгое время находило оправдание также в слабой изученности среднеиранских (хронологически) и новоиранских языков и диалектов и их словаря, почему обращение к древнеиранскому, кроме методологических мотивов, диктовалось также необходимостью. Если и сейчас еще положение здесь оставляет желать лучшего, то было бы, однако, несправедливостью утверждать, что оно не изменилось совершенно. Так, последние десятилетия оказались попросту революционными в области изучения среднеиранских языков (хорезмийский, сакский, согдийский), новоиранских языков (особенно многочисленные памирские языки и примыкающие языки индоиранского пограничного пояса, ср. труды ряда русских, советских ученых, норвежского ираниста Моргенстьерне). С точки зрения фактической, знание иранского словаря в науке резко возросло. Давно вышедший образцовый «Древнеиранский словарь» Бартоломе, охватывающий материал Авесты и древнеперсидского языка[12], уже не может вполне удовлетворить ни собственные потребности иранистики, ни славяно-иранские лексические разыскания. С точки зрения методологической, важно констатировать все более крепнущее убеждение, что древние ареалы многих слов были ярко диалектными и что древнеперсидский (со всеми остальными западноиранскими) и Древняя Авеста могли по ряду элементов словаря отличаться от восточноиранских, внутри которых в свою очередь можно допускать существование лексических различий, не сводимых к первоначальному единству. Интересно привести в связи с этим слова Моргенстьерне о том, что новоиранские языки и диалекты (помимо новоперсидского) «сохранили очень много древних элементов как в фонологической и морфологической, так и в лексической области, которые утрачены в новоперсидском или никогда не наличествовали в его основе. Стóит только вспом-

---

[11] *G. Morgenstierne.* Indo-Iranian frontier languages. Vol. II. Iranian Pamir languages. Oslo, 1938. P. XIV.

[12] *Chr. Bartholomae.* Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904 (2. unveränderte Aufl. Berlin, 1961).

нить о таких словах, как вахан. *nayd* 'ночь', шугн. *zārδ* 'сердце', белудж. *gwabz* 'оса', йидга-мундж. *pil-* 'выпускать газы', пушту *worai* (< **wāhr̥t-*) 'лето', парачи *sahök* 'заяц', ормури *hōnd* 'слепой', в центральных диалектах — *wač-* 'говорить' и многие другие»[13]. Отметим, что уже в этом кратком иллюстративном перечне некоторые слова — архаизмы это или инновации — имеют точные соответствия в славянском, балтийском, германском.

Возвращаясь к началу наших вводных рассуждений, мы можем на основании сказанного сформулировать традиционную постановку проблемы славяно-иранских лексических отношений как своего рода парное противостояние: монолитный славянский — монолитный иранский Северного Причерноморья. Как нам кажется, эта постановка славяно-иранской проблемы нуждается сейчас в пересмотре. В методологическом отношении должны быть разработаны новые аспекты славяно-иранских отношений и лексических связей, необходимы поиски с целью уточнения и конкретизации различных аспектов связей отдельных групп праславянских диалектов с иранскими диалектами. Рассмотрение славяно-иранских языковых отношений должно быть перенесено из традиционного общеславянского плана в план праславянской диалектологии и лингвистической географии. О том, что это не только благие пожелания, лишенные пока основы и возможности реализации, говорит, как мы постараемся показать в нескольких нижеследующих разделах работы, кроме ярко региональных новых примеров, также очевидное уже на первых порах разнообразие географического распространения так называемых «общеславянских» иранизмов, которые на деле часто оказываются элементами регионального, диалектного распространения. Актуальной задачей изучения славяно-иранских лексических (и вообще языковых) отношений является расширение привлекаемого материала — праславянской диалектной лексики, ономастики (в частности, антропонимии). Это последнее требование в неменьшей степени относится к иранскому материалу славяно-иранских лексических сближений, который желательно пополнять из всех доступных новых источников, проверяя и дополняя данные Авесты и в целом — древнеиранского по возможности восточноиранскими в собственном смысле материалами.

I

При той относительной немногочисленности критериев, которыми мы располагаем в изучении славяно-иранских отношений, понятна желатель-

[13] *G. Morgenstierne.* Neu-iranische Sprachen // Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung. IV. Bd. Iranistik, 1. Abschnitt. Linguistik. Leiden; Köln, 1958. S. 155.

ность сравнительного исследования таких самостоятельных проблем, как лингвистические и лексические связи иранского с финно-угорскими, германским и балтийским, что, возможно, окажется полезным для славяно-иранской проблемы и в отношении фактического материала (прямые и косвенные данные), и в типологическом отношении. Если прибавить сюда еще древние индоевропейские языки Балкан и Карпат, из которых фракийский или близкие к нему диалекты Дакии должны были также одно время общаться со скифскими иранскими диалектами, то этим будет примерно очерчен круг языковых контактов древних иранских диалектов в Европе. Ниже мы несколько подробнее изложим детали отдельных избранных нами проблем иранско-неиранских лексических отношений, которые могут представить интерес, как нам кажется, и сами по себе и как сравнительный фон, как бы оттеняющий собственно славяно-иранские отношения и показывающий одновременно сложность языковой ситуации на Юге Древней Восточной Европы. Все названные выше аспекты связей иранских диалектов в Европе относятся к глубокой древности. Однако славяно-иранские лексические отношения, интересующие нас, при всей сравнительной древности являются, по-видимому, самыми молодыми из перечисленных. Наиболее многоплановыми и древними из приводимых здесь контактных связей иранского бесспорно считаются затрагиваемые нами вынужденно лишь вскользь финно-угорско-иранские связи. Сопоставляя их со славяно-иранскими связями, надлежит отделить как менее интересные для нас в плане (относительной) хронологии контакты, с одной стороны, эпохи индоиранской древности, с другой стороны — аланско-(осетинско-)восточнофинские контакты как — соответственно — слишком ранние или слишком поздние, с точки зрения славянского и его лексических отношений с иранским. Это методологическое предостережение может пригодиться для правильной оценки отдельных (немногочисленных) броских совпадений славяно-иранских и финно-угорско-иранских лексических соответствий. Из этих совпадений выделим здесь только одно: праслав. **bogъ* и морд. *pavas*, *pas* 'бог', правдоподобно объясняемые как заимствования из иранского. Это как бы совместное заимствование славянским и мордовским одного и того же иранизма считают чрезвычайно красноречивым фактом [14]. Однако мордовское слово отражает архаическую иранскую форму **baγas* с сохранением конечного согласного, по-видимому, очень рано утраченного иранскими диалектами Северного Причерноморья. Правда, праслав. **bogъ* могло бы отражать как иран. **baγas*, так и иран. *baγa-*, хотя по ряду соображений более вероятно, что контакт славянских и иранских диалектов относится уже ко времени после отпадения *-s*. Наличие мордовской религиозной

---

[14] *K. Moszyński*. Op. cit. S. 86.

формулы *azorin'e pas*, которая, вероятно, целиком заимствована из иранского и отражает чрезвычайно архаическую, доиранскую огласовку **asura-* (ср. авест. *ahurō* 'господин, господь'), говорит нам, что финно-угорское слово *pas* заимствовано из иранского очень давно и в любом случае независимо от славянского. Это ограничение полезно иметь в виду во избежание переоценки известного в науке мнения, что немногочисленные заимствования из иранского, имеющие общеславянский характер, представлены все также в финно-угорских языках [15].

Интересным эпизодом языковых отношений оказываются г е р м а н о - и р а н с к и е лексические связи, временна́я протяженность и локализация которых, в том числе — относительно праславянских диалектов той эпохи, недостаточно ясна. Здесь могут быть упомянуты и относительно поздние готско-иранские (даже крымскоготско-аланские) лексические отношения, но наряду с ними и такие отношения, которые, судя по отражению в западногерманских или северногерманских языках, не могут уложиться в понятие специальных готско-иранских отношений, если перед нами не результаты вторичной широкой миграции самих слов в пределах германской языковой области. Известные отражения германо-иранских отношений носят достаточно сложный характер, включая в себя заимствования из иранского в германский, параллели в лексике и словообразовании и, наконец, заимствования из германского в иранский. Несколько более выяснены иранские заимствования в германском. Сюда относят герм. **hrussa-* (исл. *hross*, нем. *Roß*, англ. *horse* 'конь, лошадь'), ср. осет. *urs*, *vurs* 'жеребец', исл. *refr* 'лиса', ср. осет. *rūbas*, *robas* то же, герм. **paþa-* (нем. *Pfad*, англ. *path* 'тропа'), ср. авест. *paθ-* 'путь'. Более проблематичные иранизмы мы здесь опускаем. Очень правдоподобны устанавливаемые Бенвенистом факты отражения в гот. *hunda-faþs* 'сотник, центурион', *þúsundi-faþs* 'тысячник' влияния соответствующих иранских терминов военной организации, ср. др.-перс. *θata-pati-*, **hazahra-pati-*. Специальными готско-иранскими параллелями в лексике и словообразовании являются готск. *waurk* : авест. *varz-* 'делать'; готск. *waurstw* 'свершение' : авест. *varəštva* 'faciendus'; готск. *us*, *uz* 'ἀπό, ἐκ' : иран. *us-*, *uz-*. До недавнего времени заимствования из германского в иранский не были известны. Заслугой Абаева является очень перспективная этимология осет. *æluton* 'пиво' (было уже в скифском, ср. запись имени собственного Ἀλούθαγος в Ольвии) как древнего заимствования из герм. **aluþ*, ср. англосакс. *ealođ* [16].

---

[15] См.: *H. Jacobsohn.* Arier und Ugrofinnen. Göttingen, 1922. S. 203, сноска 2.

[16] Ср. из литературы: *V. Brøndal.* Mots «scythes» en nordique primitif // Acta Philologica Scandinavica. III. Aargang. Copenhagen, 1928. S. 1 след.; *E. Benveniste.* Interférences lexicales entre le gotique et l'iranien // BSL. T. LVIII. 1963. S. 41 след.; *K. Mo-*

2. Заказ № 2419.

Если мы обратимся к балто-иранским лексическим связям и состоянию их исследования в науке, то увидим, что концепция этих отношений резко отличается от концепций прочих обсуждаемых здесь связей иранского. Тогда как последние равномерно эволюционируют, постепенно детализируясь и накапливая факты, в концепции балто-иранских связей наблюдается в самое последнее время крутой перелом. Поскольку речь идет о сюжете, небезынтересном для славяно-иранской проблемы как принципиально, так и фактически, мы позволим себе остановиться на балто-иранских лексических связях, разумеется, с той степенью подробности, которую допускают специальные задачи настоящей работы. В начале 1910-х гг. Фасмер, говоря об иранских заимствованиях в славянском словаре, делает особый акцент на том, что, как бы ни был мал их перечень, ему не удается противопоставить сколько-нибудь равноценный список иранизмов в балтийском словаре. Редко какое-нибудь другое положение в индоевропеистике сохраняло свой вес столь же бесспорно, как традиционное положение об отсутствии вторичных общений и совместных инноваций балтийских и иранских языков. И 40 лет спустя Порциг в своей книге о членении индоевропейской языковой области (1954 г.) утверждает, что все схождения балтийского с арийским носят характер архаизмов, сохранившихся в периферийных районах. Однако уже в это время появляются в научном обиходе факты, говорящие об обратном. На первых порах это целый ряд разрозненных балто-иранских этимологических сближений, которые сами по себе недвусмысленно указывают на наличие специфической балто-иранской связи в словообразовании, лексике, терминологии, на существование неоспоримых односторонних заимствований наряду с этим (как правило — из иранского в балтийский). Правда, авторы обычно ограничиваются одной констатацией этих фактических преимущественных связей, не делая отсюда более общих выводов. Таковы сближения иран. *maiz-* 'сеять' : лит. *miežȳs*, лтш. *miezis* 'ячмень'; иран. *dānā* 'зерно' (др.-инд. *dhānā* то же) : лит. *dúona* 'хлеб'; авест., др.-инд. *yava-* 'зерно' : лит. *javaĩ* мн. 'хлеб в зерне' (правда, к этой последней паре примыкают некоторые соответствия в других языках, например в греческом); авест. *xšvid-* 'молоко-': лит. *sviestas* '(сливочное) масло'; осет. *bælon* 'голубь' : лит. *balandis*, лтш. *baluodis* 'голубь', н.-перс. *kabūtar* 'голубь' (широко представлено также в восточноиранских языках) : др.-прус. *keutaris* 'голубь'; согд. *čakt*, пехлев. *čakāt* 'лоб' : лит. *kaktà* 'лоб' в работах Бейли, Швентнера, Бранденштейна, Семереньи, Трубачева и др.[17].

---

szyński. Указ. соч. S. 120, 122; *В. И. Абаев.* ОЯФ I. С. 153, 338 след.; *В. И. Абаев.* Фонема *l* в осетинском. С. 8; Kluge[15]. S. 555: *Pfad.*

[17] *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 231 (с дальнейшей литературой).

Тем не менее уже этот фактический материал сам по себе знаменовал возможность новых точек зрения, новых обобщений. Последние приобрели особую реальность, когда в ходе углубленных поисков южных и особенно юго-восточных границ древнего ареала балтийских племен по следам в гидронимии Поднепровья удалось недавно обнаружить значительную группу речных названий балтийского происхождения по реке Сейм. Достаточно вспомнить, что именно в бассейне Сейма на ограниченном пространстве Фасмер открыл такие несомненные иранские названия, как Осмонь, Каменная Осмонька и др. Вблизи от них размещаются балтийские гидронимы Обеста, Клевень и мн. др. К северу, в бассейне Десны, находится также обнаруженная недавно балтийская Лопанка, связанная отношением калькирования, с одной стороны, с иранской Ропшей, с другой стороны — со славянской Лисичкой (имеются в виду одна речка Ропша — Лисичка с притоком Лопанкой). На этом и некоторых других примерах удалось показать контакт балтийских и иранских названий в рамках одного гидронимического ландшафта, а главное — выдвинуть и обосновать тезис о непосредственных балто-иранских контактах [18]. Этот тезис привлек внимание и был оценен положительно. Его сильной и весьма перспективной стороной является возможность почти абсолютной локализации балто-иранских контактов, по крайней мере какого-то одного их фрагмента, чего мы пока не в состоянии сделать ни для финно-угорско-иранских, ни для германо-иранских, ни, наконец, для славяно-иранских контактов древней поры. Тем не менее опыт изучения балто-иранских контактов, приведший к названному выше результату, представляет собой полезный ориентир также при изучении славяно-иранских контактов, хотя и те и другие, как мы считаем нужным подчеркнуть уже сейчас и как показывает весь известный к настоящему времени материал, совершались независимо и вне всякой связи друг с другом.

Балто-иранские общности в лексике, конечно, далеко не исчерпываются приведенными выше парами. Они могут быть продемонстрированы здесь на новых примерах такого рода, частью извлеченных из литературы, частью полученных нами при работе над данной темой. Материал балто-иранских лексических контактов, излагаемый ниже, довольно разнообразен по составу. Здесь есть лексические параллели, совместные инновации и схождения словообразования и семантического развития, терминообразования, охватывающие балтийские языки или их часть и иранские (как правило это восточно-иранские языки). Здесь есть также несколько примеров, для которых подходит однозначная интерпретация как заимствований из иранского в балтийский. К числу примеров первого рода относятся следующие сближения.

[18] *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев.* Там же. См. также карты 2 и 3 в Приложении.

Лит. *mẽtas* 'время', мн. *mẽtai* 'год', лтш. *mets* 'промежуток времени' (помимо алб. *mot* 'год') из всех прочих индоевропейских ближе всего соответствует такому типично восточноиранскому названию времени, как хорезм. *miθ* 'день', согд. *myδ* то же, йидга-мундж. *mix̌*, *mīx̌* 'день', ягн. *mēt*, *mēθ*, язг. *mīθ*, шугн. *mẹ̄θ*, сангличи *mēi* 'день', осет. *мет*, *мит* 'снег' < иран. **māθya-*, которое продолжает и.-е. **mē-t-i̯-o-*, тогда как балтийское слово — из и.-е. **me-t-o-* с близкими формантами от единого и.-е. **mē̆-* 'мерить' [19].

Лит. *piẽtūs* 'обед, время обеда, полдень' близко авест. *piθwa-* 'пища', сангличи *pəδf* 'мясо', осет. *fyd* 'мясо' < иран. **pitu-*, сюда же др.-инд. *pitú-* 'пища'. Далее сюда же относятся ст.-слав. **питати**, **питѣти**, **пишта**, но балт. **peitu-* и индоиран. **pitu-* объединяет прежде всего друг с другом общее наличие основы на *-u* [20].

Лит. *plónas* 'тонкий', а особенно лтш. *plâns* 'плоский, ровный', *plãns* 'глиняный или каменный пол', др.-прус. *plonis* 'ток, гумно' обнаруживают близость с рядом восточноиранских (памирских) слов, ср. сангличи-ишкашим. *frūn* 'полка, доска', вахан. *rün*, сарыкольск. *rūn*, которые восходят к иран. **frāna-* < **plāno-* [21].

Лит. *šálti* 'мерзнуть, замерзнуть', лтш. *sal̂t* 'замерзать' близко родственны осет. *sælyn* 'мерзнуть', *sald* 'холод', далее сюда же *-t-* производные авест. *sarəta-*, н.-перс. *sard* 'холодный' [22].

Лит. *aliótis* 'неистовствовать, делать глупости', лтш. *ãlêtiês* 'буйствовать, шуметь', *ãļa* ' безумец, дурак' прежде всего родственны авест. *ara-*, согд. *r'k* **āraka-* 'дикий, безумный', осет. *ærra* 'сумасшедший, безумный' [23].

Лит. *šū́das* 'дерьмо, помет', лтш. *sũds* 'помет, навоз, дерьмо', этимология которых признается Френкелем неясной, могут быть специально сближены, помимо глоссовых названий свиного помета и спермы — греч. ὑσ-κυθά · ὑὸς ἀφόδευμα, κυθνόν · σπέρμα (и то и другое — Гесихий) [24], также с авест. *xšudra-* 'semen', которое может продолжать вместе с балтийским и.-е. **k̂sud(h)-* / **k̂sūd(h)*.

---

[19] См.: *G. Morgenstierne.* Indo-Iranian frontier languages. V. II. Iranian Pamir languages. P. 24, 229; *А. А. Фрейман.* Хорезмийский язык. М.; Л., 1951. С. 104; Fraenkel I, 445 (здесь ничего не говорится об иранских соответствиях, с которыми литовское слово сближал еще в 1914 г. Юнкер, см. ссылку у Моргенстьерне, там же).

[20] M. Mayrhofer II, 278; В. И. Абаев. Ист.-этимол. словарь. I. С. 488—489; Fraenkel I, 588 (не приводит совсем иранских слов).

[21] *G. Morgenstierne.* Указ. соч. P. 392; Fraenkel I, 628—629 (иранских слов не упоминает).

[22] Fraenkel II, 961; *В. И. Абаев.* Фонема *l* в осетинском. С. 8.

[23] *H. W. Bailey.* Arya III // BSOAS. XXIV, 1961. P. 473 ff.

[24] Fraenkel II, 1030.

Лит. *kūšỹs*, лтш. *kūse*, *kūsis* 'Schamhaar, weibliche Scham', ср. н.-перс. *kus* 'weibliche Scham', др.-инд. *kukṣí-* 'чрево'[25].

Мы привели ряд важных балтийско-иранских лексических сближений, интерес и актуальность которых повышается тем внешним обстоятельством, что часть их совершенно не учитывается современным литовским этимологическим словарем Френкеля, хотя в иранистической литературе отдельные соответствующие этимологии выдвигались уже давно. Таким образом, инициатива в проявлении практического интереса к схождениям балтийских и (восточно)иранских языков принадлежит иранистам. Ниже мы познакомим читателя еще с одним любопытным, хотя и сложным проявлением близости, своеобразным параллелизмом терминообразования, который легче будет осмыслить на фоне других синонимических обозначений в индоевропейских языках.

Речь идет об отношении западнобалтийского и восточноиранского названий вечера. Начнем с того, что все древние названия вечера в индоевропейских языках выразительно диалектны, образуют четкие ареалы, как это выявили специальные исследования. Так, Френкель в статье, посвященной индоевропейским названиям вечера, выделяет три группы обозначений: 1. лит. *vãkaras*, лтш. *vakars*, ст.-слав. **вечеръ**; 2. греч. (ϝ)εσπέρα, ἕσπερος, τὰ ἕσπερα, лат. *vesper(a)*, ирл. *fescor* 'вечер', кимр. *gosper*, брет. *gousper* 'канун'; 3. др.-в.-нем. *ābant*, др.-сакс. *āband*, др.-англ. *ǣfen*, *ǣfnung*, англ. *evening*, др.-исл. *aptann*. Несколько особняком стоит арм. *gišer* 'ночь'[26]. Изучение балтийской и иранской лексики приводит нас к убеждению, что, во-первых, число групп индоевропейских названий вечера, приведенных выше, должно быть существенно пополнено и что, во-вторых, дополнительно приводимые ниже названия дают пищу для новых балто-иранских сближений. Важно отметить, что в рамках одного только балтийского мы наблюдаем очень сложную картину. Так, древнепрусский вообще, по-видимому, не знал того названия вечера, которое является единственным для восточнобалтийских: лит. *vãkaras*, лтш. *vakars*. Это нельзя толковать скудостью дошедших текстов древнепрусского, так как там практически засвидетельствовано свое особое название вечера, ср. др.-прус. *bītai* 'abends, вечером', наречие, правдоподобно объясняемое как «окаменелый» дат. п. ед. ч. от др.-прус. **bītan* 'вечер', среднего рода[27]. Таким образом, зона, образуемая ареалами праслав. **večerъ* и вост.-балт. **vakaras* (общность которых мы должны расценивать как сохранение одинаковых архаизмов), прерывается зоной отсутствия этого и близких названий вечера,

---

[25] Mūlenb. — Endz. II, 338; Fraenkel I, 321; Mayrhofer I, 219.

[26] *E. Fraenkel*. Zu den idg. Zeitausdrücken // ZfslPh. XXVI. 1958. S. 339 ff.

[27] *R. Trautmann*. Die altpreußischen Sprachdenkmäler. 2. Teil. Göttingen, 1910. S. 312.

куда мы отнесем западнобалтийский с др.-прус. **bītan* 'вечер'. Мы должны дополнить перечень Френкеля еще одной группой названий вечера, которая объединяет индоевропейские языки, вероятно, никогда не знавшие ни одного из трех приводимых Френкелем древних индоевропейских названий вечера. Френкель вообще не упоминает о др.-прус. **bītan*, хотя для интересующих его в данном вопросе балто-славянских отношений это слово представляет первостепенный интерес. Зона отсутствия форм, родственных и.-е. **u̯ekero-s*, **u̯esper-*, арм. *gišer*, включает, далее, также иранские языки. Но западнобалтийский и собственно восточноиранские объединяет не только такой отрицательный признак, как вхождение в зону отсутствия названных древних индоевропейских названий вечера, но и — в гораздо большей степени — характер тех местных, собственных названий вечера, которые развили западнобалтийский и восточноиранские языки, потому что мы здесь имеем дело, скорее всего, с инновациями (словообразования и семантики). Вопрос в значительной мере упирается в этимологию привлекаемых названий, которая сама в свою очередь обретает дополнительную вероятность в условиях проверки всеми названными сравнительными и типологическими критериями.

Др.-прус. **bītan* 'вечер' давно убедительно осмыслено как первоначальное **ab-ī-ta-*, ср. лат. *ob-itus (solis)* 'заход (солнца)', прочие его объяснения, приводимые, например, Траутманом, неверны. Из иранских мы выделяем преимущественно восточноиранские **abi-ayāra-*, откуда произошли согд. (манихейское) *βy'ryy*, *βy'r'k* 'вечер', хорезм. *biyāri* 'вечер', ягн. *vĭyóra* то же, язг. *biyir* 'вечер', шугн., руш. *biyōr* 'вчера', парачи *wyār* 'ночь'[28]. Правда, иранское название вечера **abi-ayāra* в первую очередь соотносится с иранским же названием дня, ср. авест. *ayar-* (сюда же осет. *izær* 'вечер' < др.-иран. **uz-ayara-*, согласно Абаеву, Ист.-этимол. словарь I, с. 561). Но несомненная связь иран. **ayara-* 'день' с и.-е. **ei-* 'идти' (сюда же с тем же *-r-*суффиксом нем. *Jahr* 'год' и другие родственные обозначения времени, ср. лат. *ae-u-om* 'век', гот. *ai-w-s* 'время, вечность', греч. αἰ-(ϝ)έν 'всегда' и, возможно, хеттск. *ei̯a-* как обозначение символа вечности[29]), далее — общее для древнепрусского и иранского названий вечера оформление этого корня **ī-* / **ei-* в данном терминологическом употреблении приставкой **ab(i)-*, а также не менее красноречивая общность упоминавшегося выше отсутствия и.-е. **u̯esper-*/ **u̯eker-* 'вечер' как раз в части балтийских (древнепрусский) и иранских (куда примыкает в этом последнем отношении также германский с его опять-таки

[28] *G. Morgenstierne.* Indo-Iranian frontier languages. V. I. Parachi and Ormuri. Oslo, 1929. P. 298; *А. А. Фрейман.* Хорезмийский язык. С. 65, 94; *М. С. Андреев, Е. М. Пещерева.* Ягнобские тексты. С приложением ягнобско-русского словаря. М.; Л., 1957. С. 345.

[29] *Вяч. В. Иванов.* Разыскания в области анатолийского языкознания. I // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964. С. 40 след.

отличными названиями вечера **abanda- / *abana-)* — все это составляет своеобразный, хотя и несколько проблематичный, балто-иранский лексико-словообразовательный параллелизм. Описанная параллель балтийского и иранского относится к лексико-семантической группе обозначений времени, как и названная нами несколько выше пара лит. *mẽtas* (лтш. *mets*) : иран. **māθya-*.

Факты наличия параллелизма и совместного новообразования в лексике, словообразовании, терминологии подтверждают мысль об общении древне-балтийских диалектов или их части с древнеиранскими диалектами (восточноиранской группой). Но не менее убедительным доказательством существования этих контактов должно служить наличие прямых заимствований из одних языков в другие. До сих пор примеры подобного рода почти неизвестны в скудной и без того литературе о балто-иранских лексических схождениях. Исследование в этой области по-настоящему еще и не начиналось. Из нижеследующего краткого списка иранских заимствований в балтийском только одно слово лит. *vãnagas*, лтш. *vanags* 'ястреб' уже довольно давно объяснялось как заимствование из иранского. Остальные предлагаемые примеры являются новыми. Итак, в качестве заимствований из иранского мы рассматриваем упомянутое лит. *vãnagas* / лтш. *vanags* (подробно — ниже, в V разделе нашей работы), далее — лит. *áit(i)-varas* (и варианты) 'летучий дух, кошмар; змей' (подробно о нем в иной связи также см. в V разделе). Сюда примыкают затем еще несколько слов и образований.

Лит. *nãmas*, мн. *namaĩ* 'дом, жилье', лтш. *nams* 'шалаш, летняя кухня, дом', как нам представляется, связано с иран. **nam-* (ср. авест. *nmāna-*, наряду с *dəmāna-*, 'жилье, дом' [30]), возможно, заимствовано из последнего и, таким образом, отражает ассимилятивный вариант индоевропейского названия дома, известный в остальном только из иранского, где он продолжает и.-е. **domo-*. Жем. *numaĩ* 'дом' при вост.-лит. *namaĩ* то же, объясняемое иногда как соответствующая ступень древнего аблаута (**ə* : **o*) [31], особенно близко подходит к иран. **nəm-*, ср. упомянутые выше формы Авесты, которые приводятся в литературе на правах исконно родственных параллелей. С другой стороны, памятуя несовершенство авестийской орфографии, а также возможность отражения индоиран. *a* (< и.-е. **o*) перед носовым в форме позиционного варианта *ə* [32], едва ли можно серьезно оспаривать реальность также иран. **nam-* в ряде диалектов (< **dam-*). Названные выше литовские ступени вокализма, быть может, местного, вторичного происхождения.

---

[30] См.: Bartholomae. Стб. 1090.

[31] Fraenkel I, 482.

[32] *H. Reichelt.* Awestisches Elementarbuch. Heidelberg, 1909. S. 67.

Лит. *spindė̃ti* 'блистать, сиять, сверкать, светить', *spindà* 'блеск, сияние', *spindùs* 'сияющий', лтш. *spîdêt* 'сиять, светиться', *spīda* 'блеск', далее — лит. *spintà* = *spindà* (выше), лит. *spìtras* 'подслеповатый, близорукий', *spitrė̃ti* 'еле видеть', *spytrė̃ti* 'слепнуть, делаться близоруким; напряженно смотреть, глазеть' содержат, как нам кажется, основу, заимствованную из иранского. Наиболее первоначальными при этом можно считать основы **spit-* / **spid-* / **spitr-*, непосредственное происхождение которых из соответствующих вариантов известной иранской основы со значением 'светить, свет' (или их производных) представляется вероятным. Ср. младоавест. *spita-* 'белый', др.-перс. *spiθra-* 'светлый'. Балтийские основы **spit-*, **spitr-* объясняются, таким образом, формально совершенно безукоризненно как заимствования из иран. **spit-*, **spitr-* / **spiθr-*, которые, кстати сказать, закономерно продолжают хорошо документированные индоевропейские формы **k̂u̯it-*, **k̂u̯itr-*. Наличие закономерных продолжений этих последних в балтийском в виде лит. *švìsti*, *švintù* 'светать', *šviẽsti*, *šviečiù* 'светить, освещать', *švaitýti*, далее *švitrùs*, *švytrùs* 'мерцающий, мигающий, сверкающий' служит в свою очередь важным аргументом в пользу нашего предположения о заимствовании балтийских форм на **spi(n)d-*, **spit-*, **spitr-* с близкими значениями 'свет, блеск, блестеть' из иранского. Более архаичными по форме являются при этом балт. **spit-*, **spitr-*, в то время как балт. **spid-* отражает как бы среднеиранское состояние, ср. озвончение *t* > *d* между гласными. Со стороны семантики предполагаемое заимствование также не встречает практически никаких препятствий. Значения 'подслеповатый, близорукий' и под. (лит. *spìtras*) могут считаться близкородственными значениям 'сверкать, мерцать, мигать', по отношению к которым они образуют значения второго порядка. Сделав эту вполне логичную оговорку, мы не можем не обратить внимание на своеобразное отношение парности лит. *švitrùs* / *švytrùs* 'мерцающий, мигающий, сверкающий' : лит. *spìtras* 'подслеповатый, близорукий'. Оба парных варианта тождественны по основе и словообразовательному оформлению, а также близки (диахронически) по значению, но отличаются тем, что один (*švitrùs*) — исконно балтийского, а другой — заимствованного, иранского происхождения (*spìtras*).

Вопрос происхождения многочисленных форм на *spind-* в балтийском довольно сложен. Здесь, очевидно, немало образований вторичных, поздних (к числу новшеств относится, по-видимому, инфигированное *-n-* в большинстве форм), в отдельных случаях допустимо считаться с влиянием форм лит. *spingė̃ti*, *spiñgti*, иного происхождения. Высказываемая обычно в этимологических словарях мысль о родстве разбираемых здесь балтийских слов с греч. σπινθήρ 'искра' [33], которое само должно быть признано изолированным и тем-

[33] Boisacq, 897—898; Fraenkel II, 871.

ным словом, едва ли решает проблему этимологии балтийских слов. Вместо отнесения последних к проблематичному и.-е. **spēĭ- / *spĭ-* 'блестеть' целесообразно считаться с возможностью иранского происхождения хотя бы части литовских и латышских форм.

Лит. *mantà* 'имущество, пожитки, состояние, скарб', о происхождении которого ведутся споры [34], представляет собой в общем относительно редкое и изолированное слово. Из числа попыток этимологизации, связанных с ним (гипотеза о позднем немецком заимствовании, о связи с и.-е. **men-* 'думать, помнить' и т. д.), мы остановились бы на несомненной связи слова *mantà* с многочисленными личными собственными именами типа лит. *Nor-mantas*, *Vil-mantas*, *Dau(g)-mantas*, *Algi-mantas*. Слово *mantà*, вернее, его основа, выступает в роли одного из компонентов этих двуосновных имен (ср. их порядок в имени *Mont-vila*). Большой интерес представляет вопрос о более древнем, первоначальном круге и составе литовских имен с этим компонентом. Вполне допустимо считать, что часть из них образована позже, уже в порядке соотнесения с апеллативом *mantà* 'имущество'. В то же время последнее имя нарицательное в свою очередь можно объяснять как своего рода сублимацию некоего второго компонента *-manta-*, первоначально образовывавшего имена со значением 'имеющий нечто, владеющий чем-то', ср. в принципе имя *Algimantas*: лит. *algà* 'награда, мзда, плата'. В этом случае напрашивается мысль об изофункциональности этого *-manta-* в старых литовских именах и форманта *-mant-* в иранских прилагательных вроде младоавест. *gaomant-* 'обеспеченный, изобилующий скотом, быками, изобилующий мясом' (др.-инд. *gómān* 'владеющий скотом'), *fšumant-* 'изобилующий скотом, домашними животными'. Коснувшись этих индоиранских образований, мы не можем не упомянуть того факта, что этот довольно характерный индоиранский формант известен, помимо варианта *-mant-*, также в варианте *-vant-*, ср. хотя бы младоавест. *haoma-vant-* = др.-инд. *sóma-vant-* 'содержащий сому, смешанный с сомой'. Перед нами сложный и, по-видимому, вторичный суффикс *-mant- / -vant-*, начало которого, как видно, зависело от конца оформляемой основы и который давал прилагательные описанной семантики: 'изобилующий тем, что означает имя' [35]. Если теперь перед нами, с одной стороны, невыясненное этимологически и лишенное вариантов литовское *-manta-* в роли преимущественно второго компонента сложных имен со значением обладания, богатства, а с другой стороны — иранское *-mant-*, в достаточной мере ясное, представленное в большем числе вариантов (*-vant-*) и близкое по функции, значению, то складывается впечатление о влиянии иранского на балтийский или о

[34] Fraenkel I, 408.

[35] См. еще: *Th. Benfey* // KZ VII, 1858. P. 112.

заимствовании соответствующей иранской именной (адъективной) модели и форманта.

Очевидно, что поиски различных следов контактов балтийской и иранской лексики будут продолжаться и что мы получим новые факты, свидетельствующие о совместных новообразованиях или заимствованиях из одного языка в другой. В итоге мы уже сейчас представляем себе балто-иранские лексические отношения как довольно значительный и плодотворный эпизод в истории обеих языковых групп, отраженный в целом ряде оригинальных явлений и образований, к которым мы еще не раз обратимся в дальнейших разделах и изучение которых крайне ценно для решения задачи исследования славяно-иранских лексических отношений [36].

II

Надеясь, что вышеизложенные общие наблюдения и конкретные этимологии окажут ту или иную пользу при работе над славяно-иранскими лексическими отношениями, мы обращаемся к этой своей основной задаче. Материал, фигурирующий в известных нам исследованиях под рубрикой «Славяно-иранские соответствия в области словаря», неоднороден и по аналогии германо-иранских и балто-иранских лексических схождений распадается на неравные группы: заимствования (из иранского в славянский), совместные славяно-иранские новообразования и параллели, рядом с которыми нередко приводят новообразования и параллели, охватывающие также индийский, балтийский (и др.), не делая строгого различия между теми и другими, хотя это уже не имеет отношения к материалу славяно-иранских отношений. В качестве основной характеристики состояния изучения славяно-иранских лексических отношений к нему применима упоминавшаяся выше концепция монолитности славянского.

Иными словами, славянские соответствия иранским словам (или славянские заимствования из иранского) мыслятся практически как общеславянские элементы лексики. Эта существенная неточность характеристики, выражающаяся в игнорировании отличий локальных славянских форм от действительно общеславянских или приобретших «общеславянский» характер со

[36] Не только в интересах полноты, но и по более серьезным мотивам мы сохранили бы также в общем ряду известных балто-иранских лексических связей сближение лит. *daina* ‘песня’ (лтш. *dalņa* ‘народная песня’): авест. *daena-* ‘религия’, др.-перс. **daina* ‘закон’, ср. особенно в семантическом отношении др.-инд. *dhena-* ‘голос, речь, молитва’; сюда же рум. (из дакского?) *doina* грустная народная песня (см.: Fraenkel I. S. 80; Mayrhofer II. S. 113). Ср. ряд лит. *mẽta* : ир. **māθya-* : алб. *mot* (выше).

временем, в соединении с неточностью или ошибочностью некоторых конкретных этимологий сильно искажает реальную картину следов славяно-иранских контактов в словаре славянских языков. Мы намерены дать скорее суммарную оценку накопленных наукой «общеславянско»-иранских сближений. Поскольку при этом в понятие славяно-иранских лексических отношений нами включаются единственно специальные славяно-иранские инновации и бесспорные заимствования, то естественно ожидать в результате сокращение существующих списков слов. Так, особой аргументации, вероятно, не потребует удаление из наиболее полного сводного списка славяно-иранских (-арийских) схождений и заимствований[37] слов ономатопоэтической природы (слав. **vękati* — ср.-перс. *vang* 'шум, крик', **v-ъpiti* — авест. *uθyemi* 'invoco'), куда примыкает, по-видимому, служебное слово междометного генезиса слав. *bo* — авест. *bā* (ср. также более широкие соответствия последних: арм. *bay,* греч. φὲ, φέ). Из списка славяно-иранских сближений должны быть точно так же выведены сближения ряда служебных слов — местоимений и наречий, которые лишь в отдельных случаях предполагают очень отдаленный и независимый параллелизм, в основном же все имеют более широкий круг соответствий также в других родственных языках (слав. **овъ** — др.-иран. *ava-*, *mene* — авест. *mana-*, *tebe* — индоиран. *tava*, *ni-čь-* — авест. *naē-čit*, *camъ* — авест. *hąma-*, *kъde* — авест. *kudā*, *kъ(n)* — согд. *ku*).

Несомненно, следует затем вычеркнуть из числа специальных славяно-иранских лексических схождений немалое количество слов полнозначной лексики, имеющих более широкие и достаточно полные родственные соответствия в других языках, поскольку их сохранение в названном перечне способно скорее исказить картину специфических славяно-иранских лексических связей. В соответствии с этим принципом мы удаляем из этого списка следующие сближения: слав. *briti* — др.-ир. **brin-*, *xvorъ* — авест. *xᵛara-* 'рана', *divo* / *divъ* — др.-перс. *daiva-, kry-* — авест. *xrū-*, *lězg* — авест. *rāz-* 'идти', *nebo* — авест. *nabah-*, *nьziti* — авест. *naēza* 'острие' (ср. еще лит. *niežěti* 'зудеть, чесаться'), *slovo* — авест. *sravah-*, *sluxъ* — авест. *sraoša-*, **sormъ* — авест. *fšarəma-* (ср. еще близкородственное лит. *šarmà* 'иней'), **sъ-dorvъ* — др.-перс. *duruva-*, *tajati* — осет. *tajun*, *tǫžiti* / *tęgnǫti* — авест. *θanǰaya*, *voržiti* — осет. *warz-* 'любить' (и то и другое — продолжения известного и.-е. **u̯erĝ-* 'делать'), **želdь* — н.-перс. *žāla* 'град', **žьrti* — авест. *gar-*, *svętъ* — авест. *spəntō*, *kupъ* — иран. *kaufa-*, *gora* — авест. *gairi-*, *větъ* — авест. *vaēθa-* 'устанавливать судебным путем'; точно так же проскрипции подлежат другие слова, имею-

[37] См. такой список в статье: *А. А. Зализняк.* Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода. С. 33 след. (Здесь собран материал Розвадовского, Мейе и других авторов.)

щие соответствия не только в иранском, но и в индийском, а подчас и в других индоевропейских языках, например такие, как *avě*, *bъrzъ*, *čisti / čьtǫ*, *xromъ*, **xybati*, *dьlgъ*, *gajati*, *gatati*, **goldъ*, *ędrъ*, *pěsъkъ*, *pьrvъ*, *sovati*, *šujь*, *tьnъkъ*, **ver(t)mę*, *vьsь* 'vicus'.

Список специальных славяно-иранских лексических соответствий должны покинуть, далее, слова (целая группа), попавшие в него исключительно по причине недостаточного учета их действительных внутриславянских связей словообразовательно-парадигматического характера. В связи с этим мы считаем фиктивными следующие сближения ввиду порочности их со славянской стороны: авест. *kārayeiti* 'проводит борозду' — слав. *čara* (славянское слово содержит продленный именной вокализм местного славянского происхождения, ср. связь с *čьrta*, *čьrsti* и др.), авест. *(pairi-)haraite* 'защищается' — слав. **xorniti* (славянский глагол — вторичного, отыменного образования, ср. **xorna*), ср.-перс. *jumbīnītār* — слав. *gybnǫti* (славянское слово — словообразовательно-семантическая инновация на базе *gъbnǫti* / *gubiti* 'сгибать'), авест. *kay-* — слав. *kajati* (вполне допустимо считать славянское слово с его особенностями вокализма местной инновацией < **koji-*, ср. *cě-na*), авест. *fraēθ-* 'гнить'— слав. *pьrěti* (сближение ошибочно, славянское слово неотделимо от *pariti* и родственных), авест. *sairya-* 'навоз, грязь' — слав. *sorъ* (славянское слово, вторичное производное на базе глагола *sьrǫ* / *sьrati*), осет. *tag* 'нить, волокно, ткань'— слав. *tъkati* (вторичный характер славянского слова на славянской почве очевиден в словообразовательно-семантическом отношении), авест. *gaya-* 'жизнь'— слав. *gojiti* 'заживлять, растить, питать'.

К сожалению, в немалой степени инвентарь славяно-иранских лексических сближений разрастался в результате неточных этимологий, прямых этимологических ошибок. Соответственно должны быть вычеркнуты из славяно-иранского списка ст.-слав. **санъ** (древний тюркизм), **кръчии** (также заимствовано из тюркского), **ради**. Любопытно, что Мейе, сближая ст.-слав. **ради** 'διά' и др.-перс. *rādiy* в сочетании *avahyarādiy* 'из-за этого', н.-перс. *rāy* 'из-за', характеризовал эту связь как одну из наиболее надежных в славяно-иранских лексических отношениях («le fait le plus saisissant»)[38]. Это сближение прочно укоренилось в литературе, оно фигурирует всегда как один из аргументов славяно-иранских лексических контактов, поэтому на нем здесь важно остановиться. Интересно, далее, что Мейе, продолжая считать эту славяно-иранскую пару одной из наиболее достоверных, вместе с тем характеризовал оба члена пары как темные слова: «Балтийский не знает этого слова, которое не встречается больше нигде и форма которого изолирована как в

[38] *A. Meillet.* Le vocabulaire slave et le vocabulaire indo-iranien. P. 166; см. еще: Bartholomae. Стб. 179, 1521; Vasmer II, 482.

славянском, так и в персидском»[39]. В славянском форма, тождественная ст.-слав. **ради**, встречается в рус. *ра́ди*, болг. *ра́ди*, сербохорв. *ра̄ди* то же и не известна западнославянским языкам, как отмечал и Мейе. Это слово отнюдь не изолировано в славянском, напротив, оно находит вполне вероятную этимологию именно на южнославянской почве как наречие, а по своему происхождению — адвербиализованный косвенный падеж, род.-дат.-местн. ед. ч. **radi* от *i*-основы **radь* 'дело, работа', ср. сербохорв. *рад* м. 'труд', *радити* 'трудиться, работать' (далее сюда рус. *радеть*, *нерадивый* и родственные слова в южных, восточных славянских языках и в чешском и серболужицких). Совершенно аналогично происхождение некоторых других предлогов 'ради' ср. **дѣлꙗ : дѣло, дѣлати**; лат. *causā* 'ради, из-за' (послелог) — твор. ед. ч. от *causa* 'дело', ср. франц. *à cause de* 'ради, из-за' : *cause* 'дело'. В итоге этого внутриславянского объяснения можно охарактеризовать **ради** как славянскую инновацию, не связанную с иранским словом. Не считаясь с трудностями, которые представляло неясное для него слово, Мейе помещал сближение ст.-слав. **ради** — др.-перс. *-rādiy* в числе трех наиболее строгих, по его мнению, славяно-иранских соответствий. В качестве второй такой пары соответствий он приводил слав. *-jь* (в местоименных прилагательных) — авест. *yi* (перед определением), третьей парой было слав. *samъ* — авест. *hāmō* 'тот же самый' наряду с *hamō*. Но независимость использования местоименного элемента в славянском и иранском (где он эволюционировал в совершенно особый показатель изафета в персидском) слишком очевидна, а авест. *hă̄mō* с неясным количеством корневого гласного не имеет достаточного веса для обоснования мысли об общности инновационного удлинения в иранском слове и слав. *samъ*. Такими ненадежными оказываются все три соответствия, отобранные Мейе для подтверждения тезиса о соседстве и общении славянского и иранского языков начиная с эпохи существования праиндоевропейских диалектных групп. Сам автор, между прочим, считал, что только эти перечисленные три сближения праиндоевропейской древности дают право на выдвижение некоторых других, менее доказательных славяно-иранских соответствий.

Исключая из настоящего обсуждения слова́ с неясной или проблематичной по своим иранским связям этимологией (рус. *дешевый*, *икра* 'льдина', слав. *slьza*, рус. *езга́ться* / *язаться*, укр. *лабу́з*, слав. *aščerъ*, *dьržati*, *rajь*, *vina*, *vatra*, *čaša*, *xoměstorъ*, *mědь*, *mogyla*, рус. *ирей*, *собака*), которые допускают нередко иную, более убедительную этимологию, помимо иранской[40], мы ви-

[39] *A. Meillet.* Там же.

[40] Слав. *sъto* хорошо объясняется без помощи иранского, слав. *věra* обнаруживает не иранские, а западные индоевропейские связи, слав. *zъlъ* имеет связи в балтий-

дим, что оставшиеся слова представлены, с одной стороны, небольшой группой «культурных терминов» (слав. *kotъ* 'загон, небольшой хлев', *čьrtogъ*, *gun'a*, *kordъ*, **korgujь*, *toporъ*), с другой стороны — стоящим особняком названием божества *bogъ*. Что касается «культурных» слов, приведенных выше, то иранское происхождение почти каждого из них может считаться весьма вероятным, причем можно сослаться на реальные авестийские, персидские или другие иранские формы названий дома, дворца, шерстяной одежды, ножа, коршуна и топора, которые лежали неподалеку от истоков этих слов. Однако под определение «общеславянского» более или менее подойдут только три из них — *kotъ*, *gun'a*, особенно *toporъ*, остальные остаются региональными: *čьrtogъ* — только южнославянское, **korgujь* — западно- и южнославянское, *а kordъ* если и встречается как у южных, так и западных и восточных славян, тем не менее своей формой выдает поздний характер своего «общеславянского» распространения. Вместе с тем *kotъ* и *toporъ* оказываются древнейшими, о чем косвенно говорит не только их распространение в славянском, но также и их известность далеко за его пределами: соответствующие иранские прототипы проникли — *kata-* вплоть до Скандинавии, а *tapara-* — до западнофинских языков. И как раз по этим словам, чрезвычайно легко и самостоятельно двигающимся и импортируемым из языка в язык культурным терминам из области названий орудий, оружия, построек, одежды, мы наименее всего уполномочены делать решающие заключения о собственно языковых связях, в чем сходятся все, кто исследует эту лексику. Мейе справедливо сдержанно оценивает, например, свидетельство такого древнего бесспорного иранизма, как слав. *toporъ*. То, что можно сказать о слав. *toporъ* и *kotъ*, еще в большей степени относится к словам **korgujь*, *čьrtogъ*, *kordъ*, менее распространенным, имеющим более позднюю фонетическую характеристику, которая допускает их интерпретацию как заимствований из среднеиранского, возможно, через древнетюркское посредство.

Таким образом, если мы подойдем к материалу славяно-иранских лексических связей исключительно с мерилом «общеславянского» характера слов, то, оставляя пока слав. *bogъ*, о котором несколько подробнее — ниже, у нас останется крайне ограниченное количество данных, к тому же нуждающихся в каждом отдельном случае в комментариях. На примерах культурных слов

ском (ср. также *-l-*!), изоглоссы слав. *mǫdrъ*, **bolgъ*, **xъmelь* носят более широкий, славянско-арийский характер (ср.: *K. Moszyński.* Указ. соч. S. 86), ср. и нем. *munter*, иранских соответствий слав. **xormъ* мы не знаем (а др.-инд. *harmyám* 'дворец', с которым его иногда связывают, позволяет предположить лишь иран. **zarmya-*, далекое от славянского), слав. **volsъ* — авест. *varəsa-* 'волос' говорит, пожалуй, лишь о сохранении общего архаизма.

мы наблюдаем ту особенность, которая в принципе может быть свойственна каждому «общеславянскому» слову такого рода вообще, что сообщает «общеславянским» словарным свидетельствам до некоторой степени относительную ценность, а именно возможность вторичного появления «общеславянского» характера в результате самостоятельного распространения слов, заимствованных первоначально ч а с т ь ю (пра)славянских диалектов. Далее, подходя к материалу славяно-иранских лексических связей с мерилом «общеславянского» характера слов, мы должны бы были согласиться с Мейе, который в упоминавшейся статье писал: «...следует, таким образом, признать — а этот факт важен с исторической точки зрения, — что славянский не заимствовал сколько-нибудь заметным образом слова из скифского» (с. 173). Есть, однако, гораздо более серьезные основания считать, что эта точка зрения находится в противоречии с материалом славяно-иранских лексических отношений, который далеко еще не исчерпан, в том числе и в своих древних компонентах, но носит иной характер. Исследование этого нового в науке материала требует иных аспектов и новых точек зрения, чем, главным образом, мотивируется предлагаемый пересмотр традиционной точки зрения на «общеславянский» характер славяно-иранских лексических связей. Сохранение старой концепции тормозило бы дальнейший прогресс в этой области сравнительно-исторического языкознания или создавало бы иллюзию, что здесь уже достигнуты пределы возможного. Мы не собираемся утверждать категорически бесперспективность дальнейшего выявления славяно-иранских соответствий с широким распространением в славянских языках. Более того, ниже специально обсуждается некоторый дополнительный материал по известным словам такого рода (главным образом, праслав. *bogъ* в связи со спорами о его происхождении) и отдельные новые примеры славяно-иранских лексических соответствий широкого распространения, после чего лишь мы перейдем к рассмотрению локальных славяно-иранских лексических соответствий и их оценки, а также некоторым выводам культурно-исторического содержания на этом новом материале.

Неоспоримо центральное место среди всей славяно-иранской лексики занимает славянское слово *bogъ*, известное всем славянским языкам. Оно успешно выдержало также предпринятый выше критический пересмотр полного списка славяно-иранских соответствий. Славяно-иранское лексическое схождение *bogъ* — *baga-* во многих отношениях можно назвать классическим. Близость форм и значений настолько очевидна, что об этом излишне говорить. Кроме того, иран. *baga-* 'бог' обнаруживает признаки типичной иранской семантической инновации, которая к тому же охватила, быть может, не все древние иранские диалекты и не в равной степени (так, древнеперсидский знает *baga-* 'бог', но уже Авеста практически не знает этого зна-

чения, употребляя тождественное слово в значениях скорее праарийского характера — 'доля, часть, жребий'; не знает иран. *baga-* 'бог', далее, осетинский, если говорить об одном из потомков скифосарматских языков, но более подробно о распространении в иранском см. ниже). Сущность этой важной иранской семантико-терминологической инновации становится особенно очевидной при сравнении с состоянием в близкородственном индийском, ср. др.-инд. *bhágaḥ* 'господин', 'податель благ', также употребляется как эпитет при именах второстепенных божеств. Таким образом, общее терминологическое значение 'бог' во всей полноте является уделом только иранского и славянского. Это важно иметь в виду, поскольку нередко исследователями, оспаривающими особую связь слав. *bogъ* — иран. *baga-*, допускается методологическая ошибка, состоящая в том, что по сути дела смешиваются воедино два разных случая[41]: 1) документированное наличие общего терминологического значения 'бог' и 2) вероятное более широкое распространение слов с тем же корнем, но без описанного значения. Если первый случай касается только славянского и иранского, то второй случай, охватывая и славянский (примеры — ниже), и иранский, включает также индийский с употреблением *bhágaḥ* в значениях 'господин, податель благ' в качестве эпитета при именах отдельных божеств, далее — 'счастье, богатство', фригийский с его глоссовым названием (именем? эпитетом?) Зевса βαγαῖος по Гесихию, греческий, где φαγεῖν означает 'поедать', сюда же др.-инд. *bhájati* 'распределяет, наделяет, участвует, вкушает'. Строго говоря, все примеры, относящиеся ко второму рассмотренному выше случаю, мало помогают в деле выяснения происхождения слав. *bogъ* и способны даже ввести в заблуждение, если мы не будем ясно отдавать себе отчет в их принципиальном отличии от первого случая с узко славяно-иранским значением 'бог'. Так, например, такие малоясные и сугубо внешние по отношению к славянскому материалу слова, как упоминавшееся фригийск. βαγαῖος, целесообразно вообще пока оставить в стороне.

Гораздо большую доказательную силу может иметь оценка словообразовательно-семантических связей слав. *bogъ* внутри славянского. Именно этот момент заставлял крупнейших исследователей проблемы относиться сдержанно к иранской этимологии слова *bogъ*, отвергать ее или занимать среднюю позицию, принимая влияние иранского религиозного термина в определенный период на исконно славянское образование. Внутриславянские взаимоотношения и возможность реконструкции семантической доистории слова *bogъ* на славянской почве, не прибегая к внешнему материалу, бесспорно,

[41] См., например: *I. Grafenauer.* Ali je praslovanska beseda Bog iranska izposojenka? // Slovenski etnograf. 5. Ljubljana, 1952. S. 237 след.

следует признать самыми сильными из числа антииранских аргументов, приводимых, например, Мейе; в наших глазах меньшим весом обладает другой довод Мейе, а именно то, что индоевропейцы в принципе не заимствовали название бога у соседей. Неясно, почему сравнения такого рода должны ограничиваться индоевропейцами, тем более что логичнее в плане типологических сравнений не подчинять материал и выводы генетическому плану. Финская мордва, как известно, заимствовала название бога, и именно из того же источника, что и славяне (если принять более распространенную этимологию слова *bogъ*).

Действительно, слав. *bogъ* не одиноко в славянском словаре (основной критерий для решения вопроса о заимствовании или исконном происхождении слова), но стоит в одном ряду с достаточно древними и многочисленными формами *u-bogъ*, *ne-bogъ*, *bog-atъ*, *sъ-božьje*. Эти названия богатства, богатого человека, а также человека, лишенного богатства, достояния, и семантически и формально допускают реконструкцию раннепраславянского **bogъ* 'богатство, достояние', как видел ясно уже Мейе. Значит, чтобы быть последовательными в анализе материала, мы должны при сравнениях оперировать более полными отношениями вроде следующей схемы:

	'богатство, достояние'	'бог'
слав.	**bogъ*	*bogъ*
иран. (Авеста)	*baga-*, *baγa-* (др.-перс.)	*baga-*
др.-инд.	*bhágaḥ*	

Примечание. Значение 'доля, часть' (например, Авеста), бесспорно, связано со значением 'богатство, достояние, счастье'. Ср. характерный параллелизм структуры слав. *sъ-bož-ьje* (: **bogъ*) и *sъ-čęst-ьje* (: *čęstь* 'часть'). Таким образом, и в славянском, и в иранском мы наблюдаем как бы полное воплощение тождественной семантической модели: 'богатство, доля, благо' → ('податель благ') → 'бог'. В древнеиндийском эта модель не осуществлена до конца. С другой стороны, как раз в этом отношении положение в славянском и иранском не представляет собой ничего особенно специфического, это, скорее, лишь пример известной и в других случаях семантической связи, почему нельзя отказать в правоте приводимым иногда авторами аналогиям вроде греч. μέρος 'доля' — Μοῖρα имя божества и под.

Следовательно, поскольку данный славяно-иранский параллелизм имеет признаки независимого характера и осуществляется в силу конкретных естественных обстоятельств (родство языков, наличие в них тождественных фактических предпосылок в виде этимологически родственных основ с близким исходным значением) с тождественным конечным результатом (слав. *bogъ* 'бог' — др.-перс. *baga-* 'бог'), мы не располагаем пока данными для утверди-

тельного ответа на вопрос, заимствовано ли слав. *bogъ* из иранского [42]. Сложность настоящего случая предельно ясно демонстрируется тем обстоятельством, что мы имеем здесь не только общую славяно-иранскую и н н о в а ц и ю (*bogъ* 'бог' — *baga-* 'бог'), но и по сути дела общее сохранение архаизма (**bogъ* 'богатство, доля' — авест. *baγa-* 'доля, жребий'), что также надлежит постоянно иметь в виду. Именно это последнее обстоятельство могло дать толчок, послужить чрезвычайно благоприятной предпосылкой для повсеместного быстрого распространения слова *bogъ* 'бог' в том случае, если последнее значение явилось плодом иранского влияния (что также отнюдь не исключено). Мы стремились показать сложность проблемы слав. *bogъ* в современной науке. Нам кажется также, что, продолжая ограничиваться небольшим кругом перечисленных апеллативов, трудно будет продвинуться дальше в решении этой проблемы. Нужно, вероятно, расширить исследуемый материал за счет различных случаев древнего у п о т р е б л е н и я слав. *bogъ* и иран. *baga-*, произвести затем конфронтацию славянского и иранского материала (на более широком фоне других языков) с целью выявить наличие или отсутствие точек соприкосновения и общностей. Важнейшей областью употребления термина 'бог', важной и для вопроса истории слав. *bogъ*, оказывается антропонимия, личные имена. Славянскими личными именами в последнее время очень успешно занимался Милевский, который дал несколько основательных исследований, рассматривающих славянскую антропонимию в ряду антропонимических систем других языков [43]. Среди древних двуосновных славянских антропонимов существовало определенное количество сложений с компонентом *Bogo- / Bogu-*, ср. польск. *Bogodar*, др.-рус. *Богухвалъ*, польск. *Boguchwał*, чеш. *Bohuchval*, польск. *Bogusław*, *Bogumił*, *Bogdan*, *Bogodan*, сербохорв. *Bógdān*, др.-рус. *Богоданъ*, *Богданъ*. Свидетельства антропонимии ценны своей исключительной консервативностью. В плане лингвистической географии славянские личные имена, согласно Милевскому, образуют вместе с индоиранскими восточную группу, куда, например, уже не

---

[42] См. и ту и другие точки зрения: *A. Meillet.* Указ. соч. P. 168; *J. Rozwadowski.* Указ. соч. S. 96; Vasmer I, 98; Sławski I, 40; Machek, 50; *А. Мейе.* Общеславянский язык. М., 1951. С. 406; *K. Moszyński.* Указ. соч. S. 82, 84, 92; *A. Vaillant.* Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Paris, 1950. P. 16; Mayrhofer II. 457— 458; Bartholomae. Стб. 921; *Вл. Георгиев, И. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев.* Български етимологичен речник. Св. 1. София, 1962. С. 61.

[43] Ср. специально: *T. Milewski.* Ewolucja morfologiczna indoeuropejskich złożonych imion osobowyoh // BPTJ. 1957. XVI. S. 37 след.; *T. Milewski.* Słowianskie imiona osobowe na tle porównawczym // Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 2. Językoznawstwo. Warszawa, 1963. S. 101 след.; *T. Milewski* [Рец. на кн.:] *L. Zgusta.* Die Personennamen der griechischen Städte der nördlichen Schwarzmeerküste // Onomastica. 1959. Roczn. V. S. 238 след.

входит литовская антропонимия. В восточной группе наибольшее число сходств, специальных инноваций сближает славянскую и иранскую антропонимии. По крайней мере, часть этих сходств — результат иранского влияния на славянский в скифскую эпоху. Особо выделяет автор в качестве продукта иранских влияний именно теофорные имена (включающие компонент со значением 'бог'), ср. приведенные выше. Важно отметить, что, например, балтийская антропонимия не знает теофорных имен, хотя вообще двуосновные имена представлены в ней обильно. Милевский приходит к выводу, что такое имя, как др.-рус. *Богухвалъ*, польск. *Boguchwał*, чеш. *Bohuchval*, получено в результате кальки или прямого заимствования иран. **Baga-χvarna-*, ср. перс.-мидийск. *Baga-farna-* 'славный перед богом'. Калькой иранского имени вроде мидийск. *Baga-data-* он объясняет праслав. **Bogo-danъ*. Так или иначе, мы получаем со стороны славянской антропонимии еще одно указание, которое усиливает вероятность древних иранских влияний, связанных с иран. *baga-* 'бог' и его отражениями в иранской антропонимии. В поисках непосредственных иранских источников и прототипов славянских имен с элементом *bog-* Милевский, естественно, обращается к скифосарматской антропонимии. Рецензируя в связи с этим уже известную нам книгу Згусты со сводом личных имен Северного Причерноморья, он высказывает точку зрения, что «скифосарматская антропопимия обнаруживала больше всего сходства с ближайшей к ней географически мидийской антропонимией из Северо-Западного Ирана» (с. 242 рецензии). Это мнение автор основывает, главным образом, на том, что и в скифосарматской и мидийской антропонимии большую роль играет основа *Baga-* 'бог', «совершенно отсутствующая в антропонимии Авесты, а в персидскую антропонимию проникшая из мидийской». Примерами служат мидийско-персидские имена *Baga-dāta-*, *Baga-buχša*, *Baga-farnā*, *Bagā-bigna-*. Точку зрения Милевского о западноиранской ориентации скифосарматской антропонимии можно еще оправдать весьма неполной изученностью старой иранской антропонимии в целом. Однако, как кажется, более серьезных аргументов в свою пользу это мнение не имеет. Как отмечали прежние исследователи (например Фасмер), в надписях понтийских городов встречается небольшой процент древнеперсидских (т. е. западноиранских) имен, но это не более как пришлые элементы. Сопоставление с древнеперсидской, мидийской и авестийской антропонимией будет и дальше сохранять свое значение, но главным образом лишь потому, что эти отрасли древней иранской антропонимии относительно лучше дошли до нас. Основные различимые лингвистические признаки скифосарматских остатков ясно указывают на иранский Восток, а не на Запад. Новые исследования постепенно пополняют новыми данными и наши сведения об иранской антропонимии как на Востоке, так и на Западе. Распространение личных имен на *Baga-* свя-

зано, по-видимому, с употреблением в местных иранских диалектах апеллатива *baga-*, хотя надо считаться и с возможностью самостоятельного распространения оформившегося имени. Слово *baga-* 'бог' не является типично восточноиранским термином. Оно было словом-инновацией, которое охватило одни диалекты и обошло стороной другие. Из восточноиранских языков *baga-* 'бог' не знают современный осетинский и древняя Авеста, как об этом уже говорилось выше. Напротив, западноиранские языки — древнеперсидский и, по-видимому, мидийский — с давних пор знают слово *baga-* 'бог'. Вместе с тем *baga-* 'бог' было широко распространено во многих языках скифской (восточноиранской) группы. Ср. согд. *βγ-* **βaγ* 'бог', 'господин'[44], сюда же манихейско-согд. *βγn-(vagn-)* 'храм' < **bagina-*[45], ср. оформление слав. *božьn-ica* 'храм'; сак. *vaga-*, *vaǵa-*, *vaka-* 'бог', ВАГО на кушанских монетах[46]. В этом ряду скифосарматские личные имена Βάγης, Βάγιος[47] — и то и другое в надписях из Горгиппии — получают объяснение как обычный восточноиранский элемент словаря, а отнюдь не западноиранский признак. Новые данные по старой иранской антропонимии с элементом *baga-* поступают в последнее время как из восточноиранской, так и из западноиранской языковой области. Ср. — как пример первого — согд. (с горы Муг в Таджикистане) *βγw'rz* = *Vaγ-warz* < иран. **Baga-varza-* 'боголюб'[48]; во втором случае ср. др.-перс. *Baga-gaya*, *Baga-vīra-* эламских табличек в Персеполисе[49].

Очевидно, что проблема слав. *bogъ* сохраняет свою актуальность и при новом подходе к изучению славяно-иранских лексических отношений. Предыдущие материалы и наблюдения должны некоторым образом служить прояснению этой сложной узловой проблемы. Данное нашему непосредственному наблюдению повсеместное распространение слова *bogъ* 'бог' в славянских языках исторической эпохи необязательно совпадает с ареалом его первоначального употребления в праславянских диалектах. В этом плане интересно взаимоотношение апеллатива *bogъ* и славянских антропонимов с этим элементом. В последнем случае интересно отделить древнейшие образования (к

---

[44] *R. Gauthiot.* Essai de grammaire sogdienne. I^ère^ partie. P. 129; *В. А. Лившиц.* Юридические документы и письма // Согдийские документы с горы Муг. М., 1962. Вып. II. С. 196.

[45] *T. Gershevitch.* A grammar of Manichean Sogdian. Oxford, 1954. P. 25.

[46] *H. W. Bailey.* Languages of the Saka // Handbuch der Orientalistik, erste Abteilung. IV. Bd. Iranistik. I. Abschnitt. Linguistik. Leiden; Köln, 1958. P. 136.

[47] *M. Vasmer.* Untersuchungen über die altesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland. S. 35; *В. И. Абаев.* ОЯФ I. С. 159; *L. Zgusta.* Указ. соч. S. 80.

[48] Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. С. 216.

[49] *E. Benveniste.* Notes sur les tablettes élamites de Persépolis // JA. 1958. T. CCXLVI. P. 52, 53. 1958.

которым, возможно, относится польск. *Boguchwał*, — см. выше) и определить их вероятный древний более компактный ареал, отграничив и то и другое от несомненных новых антропонимов с элементом *bog-* и их более широкого позднего ареала в различных славянских языках. Аналогичные свидетельства с иранской стороны в виде географически и диалектно более близких к славянским примеров апеллативного иран. *baga-* 'бог' и тождественного компонента в иранских антропонимах также должны систематически изучаться. Ввиду наличия в ряде языков скифской (восточноиранской) группы слова *baga-* 'бог' и личных имен с этой основой можно считать вероятным влияние на слав. *bogъ* со стороны части этих языков. Мы допускаем наличие в славянском словаре следов определенного религиозно-культурного влияния иранцев на славян, однако усматриваем эти следы не там, где их видели предшествующие исследователи (подробнее о новом материале см. ниже), кроме того, в нашем представлении фронт славяно-иранских общений древней поры был иным, менее протяженным. Для того чтобы стать действительным достоянием большого числа праславянских диалектов, иранизм должен был самостоятельно продвигаться, пересекая внутриславянские диалектные границы, что зависело от многих факторов, и в немалой степени — от собственного удельного веса слова. Следовательно, некоторые древние и особенно распространенные иранизмы в принципе должны были «путешествовать» по славянской языковой области. Известен один такой довольно яркий пример, однако мы вынуждены считаться с его своеобразием как племенного названия, т. е. одного из признаков племени, который передвигался вместе с племенем. Речь идет о древнем славянском племенном названии **xъrvati*, *хорваты*, которое носило древнерусское племя близ Перемышля и которое, далее, выступает в Древней Польше, Древней Чехии, у серболужичан, а главное — в функции названия крупного южнославянского народа хорватов. Историческое тождество и генетическое единство всех этих случаев несомненно. Присутствие этого имени практически у всех ветвей славянства чуждо какой бы то ни было мистики, его историческое закрепление за разными местными славянскими племенами — факт вторичный (переносы этнонимов известны). Этноним **xъrvati* имел один первоначальный центр, возможно, относительно близкий к местам обитания перемышльских хорватов в Древней Руси, после чего он перемещался вместе с племенем (или его частью) по славянской территории в западном, а затем — в южном направлении. Первоначальные лингвистические черты нивелировались в местном славянском окружении, так что на Западе славянства, кроме имени хорватов, практически ничего не осталось. Точно так же нет никакого вероятия в том, что употребление этнонима **xъrvati* на Востоке и Юге славянства, зафиксированное с начала письменной истории, носило бы более мотивированный характер. Для

нас здесь важен несомненный факт вторичного распространения по славянской языковой территории слова, иранское происхождение которого не вызывает споров. Слав. **хъrvati*, удачно идентифицированное с иранским личным именем Χορόαθος; в надписи из Танаиса еще Погодиным, а затем Соболевским[50], отражает иран. **harvatā-*, или (с эпентезой) **haurvatā-*, по-видимому, этноним с характерным скифосарматским плюральным суффиксом *-ta-*, осет. *-tæ* (ср. Σαρμαται, Σαυρομαται, *сарматы* с тем же суффиксом). С этим этнонимом, далее, можно сблизить, в том числе по форманту, в свете других известных фактов[51] авест. *haurvatāt-* 'целостность, сохранность, здоровье', собирательное существительное.

После этих методологически оправданных предостережений нам кажется уместным привести еще несколько новых ранее не выдвигавшихся примеров славяно-иранских соответствий, охватывающих несколько славянских языков в каждом случае. Первый пример (или по сути дела два параллельных примера) представляет довольно распространенное название хвойного дерева. Прaслав. **svьrkъ* представлено только в польск. *świerk*, *świrk* 'ель', сюда также относится словац. *svrčina*[52]. Более богато вариантами формы и значения праслав. **smьrkъ* / **smьrčь* / **smerkъ*: др.-рус. *смьрчь* 'кедр', русск-цслав. *смрьчь* 'можжевельник', *смрѣчъ* 'кедр', болг. *смърч* 'можжевельник', сербохорв. *смр̑ч* то же, укр. (диал., зап.) *смерéк*, *смерéка* 'пихта', сербохорв. *смр̏ека* 'можжевельник', словен. *smréka* 'пихта', чеш. *smrk* 'ель', словац. *smrek* то же, польск. *smrek* (заимствовано; см. Brückner, там же), в.-луж. *šmrěk* 'ель', н.-луж. *šmŕok* то же.

Все эти названия считаются словами неясного происхождения; существующие сравнения с арм. *mair* 'кедр, сосна' или с лит. *smarsas* 'жир, мазь', др.-исл. *smjǫr* 'масло, жир' или, наконец, со словом *смердéть* не могут быть признаны сколько-нибудь удовлетворительными[53]. По нашему мнению, перечисленные слова обнаруживают удивительную близость формы (**svьrkъ*, **smьrkъ* / **smerkъ*) и значения ('хвойное дерево', 'пихта, ель', 'можжевельник') с иранскими словами **sr̥va-*, **sr̥ma* или — в более поздней форме — **sarva-*, **sarma-*. Сюда относятся ср.-перс., н.-перс. *sarv* 'кипарис', *sarv i siyāh* 'juniper, можжевельник', далее, это слово вообще может применяться по отношению к разным деревьям, например др.-перс. *θarmi-*, наконец, сюда же

[50] *А. И. Соболевский.* Русско-скифские этюды // Изв. ОРЯС. 1921. Т. XXVI. С. 9.; *А. Мейе.* Общеславянский язык. С. 405; Vasmer III, 261. Предлагаемое нами здесь толкование в деталях сильно отличается от этимологии из иран. **(fšu-)haurvatā* 'страж скота' у Фасмера.

[51] Ср.: *H. W. Bailey.* Asica. P. 25—26.

[52] Brückner, 537: «...u innych Słowian tylko sm-».

[53] Младенов. 595; Vasmer II, 672 (где и остальная литература).

принадлежит осет. *talm* 'вяз', для которого Абаев предполагал заимствование из персидского ввиду наличия *t-* [54].

Значительные колебания формы праслав. **svьrkъ*, **smьrkъ*, **smerkъ* позволяют предположить заимствование из иранского, точнее, из разных иранских диалектных форм: **sr̥vaka-* / **sarvaka-* или **sr̥maka-* / **sarmaka-*, где *-aka-* — употребительный иранский именной суффикс. Отношения славянских и иранских форм содержат еще ряд неясных для нас моментов: так, порядок согласных в иранском и славянском наводит на мысль о метатезе в славянском, тем более что перемена мест сонорных *-rv-* > *-vr-*, *-rm-* > *-mr-* довольно вероятна. В общем же предлагаемое здесь впервые славяно-иранское сближение, как нам кажется, заслуживает внимания. Что касается дальнейшей предыстории иранского слова, которая в данной связи менее интересна, ей специально занимался Бейли, в частности, указывающий, что иран. *s-* здесь продолжает и.-е. *k̂* [55].

Второй пример, которым мы позволим себе завершить настоящий раздел, посвященный критике материала теории «общеславянско»-иранских лексических связей, представляет собой новое сближение из области названий металлов, также охватывающее несколько славянских языков. Рус. *свинéц*, рус.-цслав. *свиньць* 'plumbum', др.-рус. *свинець*, укр. *свинéць*, словен. *svínec* продолжают праслав. **svinьcь*, **svinъ*, обычно сближаемое с лит. *švìnas* 'свинец, цинк', лтш. *svins* то же [56]. Не без колебания сближают далее это название металла с корнем праслав. **svit-* / **svьt-*, лит. *švìsti* 'сделаться светлым, рассвести', и.-е. **k̂u̯ei̯-t-* / **k̂u̯i-t-* [57]. С другой стороны, нельзя не отметить вероятной близости как формы, так и значения праслав. диал. **svinъ* (рус. *свинец* и родственные) и вост.-иран. **spana-* 'железо' : осет. *(æ)fsæn* 'сошник, лемех', вообще — 'железо', хорезм. *ispani*, согд. *'spn-*, **aspan-* 'железо', памирские — шугн. *sepén*, ишкашим. *šᵊpūn*, сангличи *ᵊšpōn̦*, сарыкольск. *spin*, или в сложении с иран. **hu-* / **hau-* 'хороший, добрый' в качестве названия стали — авест. *haosafnaena-* 'стальной', афган. (пушту) *ōspīna*, *ōspana* 'железо', мундж. *yūspən* 'железо' [58]. Абаев предполагает родство иран. **spana-* с авест. *span-*, *spənta* 'святой' по культовым мотивам. Однако целесообразно, возведя иран.

---

[54] Абаев. ОЯФ I, 140.

[55] *H. W. Bailey.* A problem of Indo-Iranian vocabulary // RO. XXI. P. 68—69, сноска 53. 1957.

[56] Преображенский II, 259; Vasmer II, 592; Fraenkel II, 1045.

[57] Преображенский II, 259; Fraenkel II, 1045 (с сомнением).

[58] См. об иранских словах — без упоминания славянских: *G. Morgenstierne.* An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927. P. 107; *Абаев.* Ист.-этимол. словарь 1. С. 481; специально см.: *В. И. Абаев.* Об иранских названиях стали // Иранский сборник. К 75-летию проф. И. И. Зарубина. М., 1963. С. 203 след.

**spana-* к и.-е. **k̑u̯eno-*, указать на его близость к такому названию металла, как праслав. **svinъ* < **k̑u̯īno-* ('металл светлой окраски'? ср. др.-инд. *śvenī-*), отдавая себе, впрочем, отчет в различии их вокализма.

III

Отказавшись от разобранной в предшествующих разделах концепции монолитности праславянского в его связях с иранским и общеславянского характера славяно-иранских лексических отношений, мы, естественно, должны искать какие-то более ограниченные, локальные аспекты названных отношений. Поскольку речь идет об очень давних отношениях, следы которых во многом сгладились, особенно если иметь в виду первоначальные ареалы явлений, трудно ожидать, чтобы новые, более предпочтительные аспекты находились, так сказать, на поверхности языковых фактов. Определение их доступно лишь в результате специальной исследовательской работы. Справедливо, что аспект определяется логикой данного конкретного исследования и исходной точкой зрения исследователя. Но наличие совершенно конкретной темы «славяно-иранские лексические отношения» и достаточно четкой задачи — определение локального праславянского центра наиболее интенсивных славяно-иранских языковых общений и лексических контактов — служит объективным критерием отбора при проверке различных локальных праславянских аспектов. При условии, если названный локальный центр действительно существовал — а это должна показать проверка лексического материала, — прочие локальные аспекты, видимо, отпадут как находящиеся в стороне. Наши поиски целесообразно, по-видимому, начать с компромисса, т. е., сознавая вторичность исторического разделения славянского языкового пространства на западнославянскую, восточнославянскую и южнославянскую группы, а также вторичный характер состава каждой из этих групп, мы все-таки начнем рассматривать славяно-иранские отношения через призму этих вторичных диалектных группировок по причине удобства такой процедуры. К тому же, при всей компромиссности, этот метод в изучении славяно-иранских отношений означает некоторый шаг вперед, потому что при этом предпринимается конкретизация аспектов исследования, фактически отсутствовавшая до сих пор. Итак, мы ставим перед собой ряд более конкретных задач проверки славяно-иранских лексических отношений для южнославянского, для восточнославянского и для западнославянского. Подобной процедуре мы следуем в настоящее время при реконструкции праславянского словарного состава в целом, проводя последовательно эту реконструкцию для каждого славянского языка в отдельности. Прежде чем приступить к анализу, повторим, что настоящая работа — не монография о славяно-иранских лек-

сических отношениях, поэтому мы по возможности сосредоточиваемся на новых или наиболее важных фактах.

Славяно-иранские лексические связи для южнославянского, которым посвящен данный небольшой раздел, в нашем представлении, не носили сколько-нибудь активного и самостоятельного характера, о чем как будто говорит небольшой материал, находящийся в нашем распоряжении. Конечно, поскольку сплошная проверка всего южнославянского лексического материала под этим углом зрения не могла быть по понятным причинам произведена за время подготовки этой статьи, то возможны два вывода: либо представленный и проэтимологизированный в этом разделе материал неполон и недостаточен для выводов о степени интенсивности и характере собственно южнославянско-иранских лексических отношений, либо собранный здесь материал отражает более или менее удачно действительное положение, а именно периферийность южнославянского или предшествующих ему праславянских диалектов по отношению к району интенсивных славяно-иранских языковых общений. Мы оставляем пока вопрос открытым, но склонны считать последнюю возможность более вероятной. Об этом говорят следующие особенности соответствующего южнославянского материала и прежде всего — их несамостоятельность (в одном случае мы имеем дело с элементом, который стал благодаря миграциям известен на Западе, Востоке и Юге славянства, в другом примере опять-таки приходится считаться с тем, что славяно-иранское соответствие охватывает, кроме южных, также часть западнославянских языков), далее — их вероятная разновременность (здесь имеется в виду то, что лишь некоторые южнославянско-иранские соответствия представляют собой проблематичные отражения славяно-иранских контактов до славянской миграции на Балканы, тогда как другие южнославянско-иранские связи обязаны более позднему общению уже на территории новой родины). Эти конспективные замечания удобно проиллюстрировать примерами. Древний славянский этноним **xъrvati*, *хорваты* появился на южнославянской в собственном смысле территории, так сказать, в последнюю очередь, едва ли следует думать, что он изначально связан с современным хорватским народом или его прямыми предками. Во всяком случае этот этноним распространился с севера и востока, где он и был первоначально заимствован у иранцев (см. выше, раздел II). Второй пример, так же как и первый, показывающий своего рода несамостоятельность южнославянско-иранских лексических связей, интересен и сам по себе. Речь идет о сближении праслав. **xorna*: авест. *χvarəna-* 'еда, питье'. Обычно это славянское слово если и фигурирует в славяно-иранских сближениях, то, как правило, в одном ряду с праслав. **xorniti* (рус. *хоронить* и родственные), причем нередко — вторым номером. В дей-

ствительности же совершенно ясно, что *xorniti — чисто славянское новообразование, глагол, произведенный от славянского же имени *xorna. Можно, далее, ставить вопрос о произведении имени *xorna с формантом -n- от какой-то не сохранившейся в славянском первичной глагольной основы, которая в свою очередь получила бы право выступать в более далеких сравнениях с родственным неславянским материалом. Ясно одно, — что слав. *xorniti должно крайне ограниченно привлекаться в самостоятельных сравнениях с неславянскими формами ввиду своего инновационного характера. К тому же большинство этих сближений проблематично или носит совсем недопустимый характер вроде предположения о родстве с лит. *šérti* 'кормить (скотину)' (в славянском тогда было бы *ser- из и.-е. *k̂er-, а такое *s* не переходило в *x*, как мы знаем). В этимологиях этой славянской основы много неясного, помимо того нарушения словообразовательной иерархии и относительной хронологии, которое нами упомянуто выше. Поскольку в наши задачи здесь не входит детальное рассмотрение всех этих вопросов, мы остановимся на первичной засвидетельствованной славянской форме *xorna, выделив из числа ее значений ('охрана, защита', 'пища, еда, корм') именно значение 'пища, корм': болг. *храна́* 'пища', сербохорв. *хра́на* то же, словен. *hrána* 'пища, еда', кашуб. *charna* 'корм', словин. *χårna* 'корм', полаб. *chórna* 'пища'. При любом решении вопроса об отношении значений 'пища, кормить' ↔ 'охрана, хранить' нельзя игнорировать полную, лексемную близость праслав. *xorna 'пища' : авест. *χvarəna* 'еда, питье'[59]. Иранисты считают, что иран. *xvarna* было известно скифосарматскому, ср. осет. *xwar* 'хлеб в зерне', 'ячмень', а также иранские личные имена Северного Причерноморья Χοάργαρος, Χουάρσαζος, содержащие, по-видимому, эту основу[60]. Интересно отметить, что праслав. *xorna 'пища, корм' характеризует, кроме южнославянского, также некоторые западнославянские диалекты, но отсутствует полностью в восточнославянском.

Из совершенно другой, хронологически более поздней эпохи происходит такой бесспорный иранизм болгарской антропонимии, как *Аспарух* (со вторичными вариантами, объясняемыми тюркским сингармонизмом и для нас поэтому несущественными), имя предводителя тюрок-булгаров, овладевшего славянской Болгарией на Балканах (VI в. н. э.). Это имя правильно объясняется из иран. *Asparuk* 'светлый конь' или '(имеющий) светлых коней', ср. тождественное исторически иранское личное имя Ἀσφώρουγος из греческой надписи в Ольвии[61]. Тюркский хан мог в данном случае носить чисто иран-

[59] См. разные точки зрения: Vasmer III, 264.

[60] См.: Абаев. ОЯФ I, 190.

[61] *В. И. Абаев.* Указ. соч. С. 157. Менее вероятно объяснение иранского имени у Харматта и Згусты (*J. Harmatta*. Указ. соч. P. 300; *L. Zgusta*. Указ. соч. S. 75—76).

ское (скифосарматское) имя, но можно также предполагать у тюрок-булгаров наличие вплоть до прихода на Балканы иранской прослойки. И то и другое находит объяснение в том обстоятельстве, что эти тюрки пришли на Балканы через Северное Причерноморье. Последнее предположение о длительном сохранении ираноязычной прослойки среди тюрок-булгаров представляло бы, как нам кажется, перспективу вероятного истолкования такого изолированно стоящего слова, как болг. *стопа́н(ин)* 'хозяин'. Этот болгарский социальный термин (диалектно также в сербском) мы объясняем как заимствование из иран. **asta-pān-* 'защитник, покровитель дома', ср. авест. *asta-* 'дом, домашний очаг', согд. *'st-* **ast-* 'имущество, состояние', второй компонент представляет собой очень распространенную в иранском именную основу *-pāna-* 'охрана, защита; защитник', обычно в сложениях, о которых мы более подробно скажем далее, в V разделе. Другие этимологии болгарского слова сомнительны [62].

IV

Наука не располагает пока данными о древнем расположении восточных славян, противоречащими историческим, письменным сведениям об их расселении. Следствием этого состояния наших знаний можно считать мнение о том, что восточные славяне с древнейших времен, во всяком случае с момента своей консолидации в качестве отдельной ветви славянства, занимали наиболее восточное положение относительно других частей славянской языковой территории. С. Б. Бернштейн, обобщая теоретические взгляды на древнейшее диалектное членение праславянского, помещает западный диалект праславянского языка (куда входили диалекты-предки современных западнославянских языков) на Крайнем Западе славянской языковой области, а восточный диалект — на Востоке ее, в пространстве между Западным Бугом и Средним Днепром. По его мнению, предок позднейших восточнославянских языков — восточный поддиалект восточной ветви праславянского был с самого начала выдвинут дальше всех на восток. Таково, во всяком случае, размещение древних диалектов праславянского языка, в представлении автора, к началу нашей эры [63]. Можно согласиться с логичностью этих взглядов в том, что касается локализации древних восточных славян на крайней восточной периферии, с точки зрения древней письменной традиции (например, лето-

[62] См.: *St. Mladenov*. Zur slavischen Wortforschung // AfslPh. 1911. XXXIII. S. 16—19; *Младенов*. Етимологически и правописен речник… С. 610.

[63] *С. Б. Бернштейн*. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 68—70 (там же карта 4).

пись Нестора). Отсюда следует естественный вывод, что древние связи с неславянскими языками, примыкавшими к славянской территории с востока и юго-востока около рубежа нашей эры, должны были касаться прежде всего восточнославянского. Это мнение как будто является наиболее распространенным. Ср. слова Абаева: «Скифы являются также тем единственным иранским народом, который долго и непосредственно соседил со славянским, в особенности восточнославянским, миром»[64] (разрядка моя. — *О. Т.*). Значит, в своих поисках гипотетического локального центра славяно-иранских лексических отношений мы должны с особым вниманием отнестись к восточнославянскому материалу, тем более что к этому нас побуждают только что изложенные известные взгляды в науке. Итак, второй по порядку рассматриваемый нами локальный аспект славяно-иранских лексических связей — это славяно-иранские связи для восточнославянского.

Мы не станем приводить и разбирать здесь подробно те проблематичные лексемы, которые были нами уже однажды упомянуты в разделе II работы (например, *собака*). К тому же специфически восточнославянских слов, которые бы одновременно претендовали на древность, в известном материале славяно-иранских сближений оказывается немного. Те слова, которыми мы пополним прежний перечень, тоже не составляют сколько-нибудь значительного количества и качественно они также по меньшей мере неравноценны. Ниже (как, впрочем, и в других разделах нашей работы) мы делаем акцент на существующих, но по тем или иным причинам менее известных славяно-иранских сближениях, а также главным образом на новых славяно-иранских сближениях, предлагаемых здесь впервые. Следует, однако, сразу же отметить, что обязательным фоном и критерием при анализе нового славяно-иранского материала и его удельного веса служит весь известный нам из соответствующей литературы традиционный славяно-иранский материал. Восточнославянско-иранские сближения охватывают несколько слов, неоднородных по составу, семантической принадлежности и, наконец, по своей хронологии. Некоторые из них, правда, представляют собой относительно старые элементы лексики, но есть прослойка слов, без всякого сомнения поздних, и о них мы упомянем совсем кратко, поскольку наше внимание обращено преимущественно на другие объекты. За исключением одного пока известного нам случая, все остальные восточнославянско-иранские сближения могут быть истолкованы совершенно однозначно как заимствования из иранского. Анализ этих заимствований делает возможным отдельные наблюдения по относительной хронологии. Соответственно тому, что сказано выше,

[64] Абаев. ОЯФ I, 240.

восточнославянско-иранские сближения распадаются на (1) старые русские иранизмы, (2) старые украинские иранизмы и (3) поздние русские иранизмы.

Вероятно, старым элементом восточнославянского словаря является рус. *степь,* укр. *степ* — название равнинного, иногда низменного, безлесного пространства. В русской исторической лексикографии слово засвидетельствовано относительно поздно (обычно ссылаются на «Хождение» Котова, начало XVII в., как на источник, где это слово употреблено впервые). Эта поздняя дата будет впоследствии, бесспорно, отодвинута далеко вглубь, о чем говорит на первых порах хотя бы такой внешний факт, как употребление Шекспиром слова *steppe* 'степь' в тексте, написанном до 1600 г. («Сон в летнюю ночь»). Слово *степь* не имеет пока ни ясной этимологии, ни более или менее единой реконструированной праформы [65]. Важно иметь в виду, что недавно предложено специальное сближение этого восточнославянского слова с иранским на правах родственных образований. Хотя это сближение и не претендует на исключительную достоверность, тем не менее оно представляет интерес. Так, Бейли производит рус. *степь* вместе с осет. (дигор.) *t'æpæn* 'плоский, ровный', иран. *tap-* 'плоский' из общего и.-е. **(s)tep-* 'быть плоским, ровным, низким' [66].

Далее следуют односторонние заимствования.

Словом, допускающим довольно простое объяснение заимствованием из иранского, оказывается, по нашему мнению, рус. *сапóг,* др.-рус. *сапогъ,* ст.-слав. **сапогъ** 'ὑπόδημα'. Это название обуви, известное из восточнославянских только русскому языку, а также, вероятно, части древнеболгарских диалектов, нигде больше в других славянских языках не встречается, хотя, как видим, специально русским элементом словаря тоже не может быть названо. Существующие этимологии слова *сапог* нельзя признать убедительными. Это относится и к мнению о древнетюркском происхождении, высказанном недавно финским исследователем Вахросом [67], и к исконно славянской этимологии на базе слов *сопéть, соплó* и др. В связи с этим исследователи считают *сапог* неясным словом. В данный момент нам кажется совершенно очевидным заимствование др.-рус. *сапогъ,* ст.-слав. **сапогъ** из иран. **sapaga-*, среднеиранский вариант — к более первоначальному **sap-aka-*, куда непосредст-

[65] Vasmer III, 11.

[66] *H. W. Bailey.* Arya IV // BSOAS. 1963. XXVI. P. 83 след., 87.

[67] *И. С. Вахрос.* Наименования обуви в русском языке. I. Древнейшие наименования допетровской эпохи. Хельсинки, 1959. С. 168; Vasmer II, 578; см. еще материалы о слове *сапог: А. С. Львов.* Очерки по лексике памятников старославянской письменности // Исследования по лексикологии и грамматике русского языка. М., 1961. С. 96—98; *Ф. П. Филин.* Образование языка восточных славян. М., 1962. С. 286.

венно относятся вахан. **sap(ak)*, предполагаемое Моргенстьерне, вершик. *sapa* 'копыто', бурушаски *sap*, авест. *safa-*, сак. *saha-* 'копыто'[68], все — из древнего иранского названия копыта **sāpa-*, индоевропейского происхождения, ср., например, нем. *Huf* 'копыто' — из общего и.-е. **k̑āp-*. Монг. *sab* 'башмак', приводимое иногда в связи с русским словом (ср., например, Фасмер), само заимствовано из упомянутого иран. **sāp* 'копыто' и должно исчезнуть из числа слов, непосредственно связываемых со славянскими. Уже Мошинский включил *сапог* в список потенциальных иранизмов по формальному признаку — наличию суффикса *-og-*[69] и, как видим, поступил так не без основания, хотя дальнейшие доказательства у него отсутствовали. Иранская этимология объясняет все слово *сапог*, не оставляя неясностей ни в корне, ни в суффиксальной части, ни в вокализме, как это имело место при прежних этимологиях. Различные значения — 'сандалия' (др.-болг.), 'обувь с голенищем' (рус.) — оформились, возможно, уже на славянской почве.

Что касается связи значений 'копыто' ~ 'обувь', то она элементарна и очевидна, ср. хотя бы на русской почве *копыто* (животного) и *копытце*, старое название обуви. С точки зрения русского словаря слово *сапог* — старый элемент, но в масштабах рассматриваемых нами здесь в целом славяно-иранских лексических отношений оно не может считаться очень древним иранским включением, о чем свидетельствует наличие в нем уже озвонченного, среднеиранского *-g-* < *-k-*. Конец финского слова *saapas,* заимствованного из древнерусского, не говорит, разумеется, о соответствующем конце славянского слова-источника, но должен быть объяснен на финской почве.

Нам кажется допустимым высказать гипотезу об иранском происхождении также такого исключительно русского слова, как *штаны́*, обычно объясняемого как тюркизм, не говоря о прочих менее правдоподобных этимологиях[70]. Это plurale tantum с изначальным *-a-* (не из *-o-*!) может продолжать иран. **štāna-* 'нога, штанина, ногавица', ср. авест. *paiti-štāna-* нога и ряд близких форм в памирских языках.

Вероятным иранизмом представляется, далее, слово *баз* 'скотный двор', 'стойло', 'загон', отмечаемое как южновеликорусский диалектный элемент широкого распространения (ср., например, Даль² I, 38). Слово *баз,* не имеющее удовлетворительной этимологии[71], мы объясняем из иран. **baza-* < **upa-aza-*, собственно, 'загон', ср. авест. *upa-*, приставка, *az-* 'гнать'. Соответст-

---

[68] Иранские формы см.: *G. Morgenstierne.* Indo-Iranian frontier languages. Vol. II. Iranian Pamir languages. P. 458; *H. W. Bailey.* Languages of the Saka. P. 137.

[69] *K. Moszyński.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. S. 129 след.

[70] См.: Vasmer III, 429.

[71] Vasmer I, 39.

вующих осетинских форм (**baz? *bæz?*) не находим. Но ср. хотансак. *bāysa-* 'сад' (где *-ys-* < иран. *-z-*)[72].

Наконец, давно уже признано достоверным иранизмом рус. *мóрда* < иран. **mṛda- / *marda-*, ср. младоавест. *ka-mərəδa-* 'голова' (сложение), родственное др.-инд. *mūrdhá* 'острие, верхушка, голова, лоб', далее — др.-англ. *molda* 'макушка'[73].

Иранские элементы в русской, восточнославянской топонимии и гидронимии, а точнее — тех территорий, на которых в историческую эпоху расселились восточные славяне, составляют особую самостоятельную тему, и свои наблюдения по этой теме мы оставляем для другой работы.

Таким образом, старые специальные связи русского с иранским представлены несколькими словами (*степь, сапог, штаны, баз, морда*), почти все они являются односторонними заимствованиями, нередко — сравнительно позднего (в масштабах всех славяно-иранских связей) времени, и относятся к бытовым понятиям и предметам.

Еще меньше материала дают старые связи южновосточнославянского, собственно — украинского с иранским, вопрос о которых мы рассмотрим сейчас на примере двух слов. Первое из них — укр. *xáта* '(сельский) дом, мазанка'; в других частях восточнославянской языковой территории слово *хата* представляет собой проникновение из украинского, точно так же, как и польск. *chata*, заимствованное из того же источника. Укр. *хата* мы объясняем как заимствование из позднескифосарматского **xata* < иран. **kata-*, ср. авест. *kata-* 'комната, кладовая, погреб' (в том числе — как временное хранилище тел умерших)[74]. Примеры перехода начального *k-* > *x-* известны в осетинском[75], встречаются они и в других восточноиранских языках, ср. авест. *χan-* 'источник', ягн. *xan* 'оросительная канава, арык; ручей'[76] < иран. **kan-* 'то, что выкопано', ср. авест., др.-перс. *kan-* 'копать'. Невнимание к этой детали исторической фонетики иранских языков отрицательно сказалось на этимологизации украинского слова. Так, Фасмер, а за ним некоторые другие исследователи (например Славский)[77] только на основании этого диахронического расхождения отказываются от прямого сближения с иран. *kata-*, выдвигая маловероятную версию о древневенгерском источнике. Приведенные выше за-

---

[72] С. Конов объясняет это слово иначе, сближая с согд. *b'γ* (*S. Konow.* Khotansakische Grammatik. Leipzig, 1941. S. 119).

[73] Vasmer II, 156.

[74] См.: Bartholomae. Стб. 432.

[75] Ср.: *H. W. Bailey.* Asica. P. 30.

[76] *М. С. Андреев, Е. М. Пещерева.* Ягнобские тексты. С приложением ягнобско-русского словаря. С. 355.

[77] См.: Vasmer III, 233 (там и литература); Sławski I. S. 61—62.

мечания делают этимологию укр. *хата* < иран. **xata* свободной от сомнений. Интересна, между прочим, семантическая преемственность, которая существует между укр. *хата* 'мазанка, землянка', диалектно (Подолье) — 'могила на кладбище', и иранским, например авест. *kata-* 'комната, погреб, временное хранилище мертвых тел, морг'. При относительной давности появления слова *хата* в южной части восточнославянского (в украинском), оно обнаруживает признаки бесспорного позднего элемента как с иранистской, так и со славистической точки зрения. В иранистском плане оно отражает вторичную, местную иранскую форму **xata* < **kata-*. С точки зрения сравнительной грамматики славянских языков укр. *хата* заимствовано тогда, когда иноязычное *ă* уже могло отражаться в виде *а* в славянских диалектах (гарантией краткости *а* в иран. *xata* / *kata-* служит этимология этого слова из **kn̥ta* : *kan-* 'копать'). Если мы вспомним, что в более древнюю эпоху из иран. *kata-* заимствовано слав. *kotъ* 'хлев', довольно широко распространенное в разных славянских языках (см. выше, раздел II), то сопоставление слав. *kotъ* и укр. *хата* на славянской почве наглядно покажет нам все их различие в возрасте и в обусловленности синхронными фонетическими состояниями славянских диалектов в каждом отдельном случае: иран. *ă* > слав. *о* в первом примере и иран. *ă* > укр. *а* во втором примере, если говорить только о вокализме.

Второе слово из двух затрагиваемых здесь украинских примеров носит уже чисто проблематический характер. Речь идет об украинском фольклорном термине *вій* (род. *вія*). Это украинское название мифического существа Абаев, опираясь в основном на описание Гоголя в повести «Вий», сближает с некоторыми иранскими названиями, ср. осет. *wæjug* 'привратник загробного мира', авест. *Vayu-*, имя бога смерти. Получаемое таким путем сближение слав. **Vějъ* : иран. *Vayu-* автор характеризует как «скифо-украинскую мифологическую изоглоссу»[78]. Однако если мы внимательнее ознакомимся с местом данного украинского слова прежде всего в украинской лексике в плане значения и словообразовательной связи, то оказывается, что укр. *вій* — это 'мифическое существо с в е к а м и д о з е м л и' [разрядка моя. — *О. Т.*] (Гринч. I, 236, без указания источника). Это название нельзя отрывать от документированного укр. *вія* ж. 'ресница' (Гринч. I, 243, с цитатой из Квитки), *війка* то же (Гринч. I, 236: западноукраинское, из Верхратского). Единственная связь, которую следует принимать между этими словами, — это отношение *вій* 'мифическое существо' как обратного производного от упомянутого *вія* 'ресница'. Самостоятельное продолжение праслав. **vějъ* здесь по меньшей мере спорно, а семантическая характеристика укр. *вій* — 'имеющий веки / ресницы' — не позволяет нащупать ничего специфически общего с иран. *Vayu-*.

---

[78] *В. И. Абаев.* Дохристианская религия алан // XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1960. С. 6—7.

Сославшись на присутствие в современных русских говорах (особенно Поволжья) некоторого количества новоперсидских заимствований (вроде диал. *зи́мби́ль* 'вид плетеной корзинки или кошелки'), что уже прямо не относится к нашей теме, можно считать, хотя бы в принципе, круг собственных восточнославянско-иранских связей очерченным. Если даже говорить только о наиболее старых иранизмах восточнославянского, то и тогда это будут в основном довольно случайные термины, касающиеся степного быта или скотоводства или же вообще носящие характер подвижных «культурных» слов (ср. выше *степь*, *сапог*, *штаны*, *баз*, *хата*). Хронологические особенности этих слов были нами подвергнуты анализу ранее, и они в свою очередь говорят об относительно позднем характере этих языковых контактов. К тому же если мы еще раз обратимся к семантико-терминологическим признакам восточнославянских иранизмов ('загон для скота', 'землянка', 'вид обуви или одежды'), то получаем ощущение резкого отличия от того гипотетического уровня славяно-иранских лексических отношений, на котором было возможно сближение слав. *bogъ* : иран. *baga-* (см. выше, II раздел) и вообще то представление о древнем религиозно-культурном общении, которое связывают со славяно-иранскими отношениями. Говорит ли выявленный характер восточнославянских иранизмов о том, что упомянутого общения не было? — Нам думается, что такой вывод был бы неправомочным и что оба вопроса по меньшей мере не связаны тесно друг с другом. Более того, логичнее считать, что восточнославянско-иранские контакты ни в коей мере не следует отождествлять с древнейшими славяно-иранскими отношениями. Если число восточнославянских иранизмов и превосходит несколько, возможно, те единичные случаи, которые могут быть отнесены к южнославянским иранизмам (см. раздел III), то их удельный вес, выявленный выше, и относительная хронология не позволяют считать и восточнославянскую ветвь местом локального центра древних славяно-иранских лексических отношений. Мы представляем читателю право делать более категорические выводы, особенно в связи с приведенными в начале настоящего раздела распространенными взглядами относительно общений скифского с восточнославянским, собственные же более определенные выводы отложим до того момента, когда их сделает простыми и очевидными анализ материала, собранного в следующем разделе работы.

V

Нам осталось проверить третий локальный аспект изучаемых здесь отношений — славяно-иранские связи для западнославянского. Как и в предыдущих случаях, нужно и здесь считаться с возможной

3. Заказ № 2419.

неполнотой привлекаемого материала, а также с тем вытекающим отсюда далее обстоятельством, что среди более полного материала могут встретиться факты, нуждающиеся в противоположной интерпретации, как, впрочем, и факты, дополнительно подтверждающие нашу концепцию. Как бы то ни было, но в известных нам фактах лексики не встретилось ни одного такого, который требовал бы иной интерпретации. В этом сказалось замечательное единство излагаемого ниже материала. Выявление лексического материала почти однородной языковой принадлежности объясняет то, что наши поиски на западнославянской почве сосредоточиваются преимущественно в одном направлении. По этому и по ряду других признаков данный локальный аспект обнаруживает глубокие отличия от предыдущих. Отсюда вполне естественное наше стремление использовать эти свидетельства материала и соответственно сузить исследуемый локальный аспект. В итоге мы приходим к такой дальнейшей наиболее актуальной конкретизации западнославянского аспекта, как славяно-иранские лексические отношения для польского. Обратимся к этимологии слов.

Польск. *baczyć* 'видеть, смотреть, замечать, наблюдать', стар. 'размышлять, думать, испытывать, проверять, помнить, заключать, делать вывод, знать' [79]. Польское слово засвидетельствовано в письменности с начала XV в. Отношение его к близким формам окружающих славянских языков совершенно ясно. Все они встречаются только в языках, соседящих с польским, и, без всякого сомнения, вторичны по отношению к польской форме, заимствованы из нее. Прежде всего из польского заимствованы близкие восточнославянские формы — укр. *ба́чити* 'видеть', в текстах — с XVI в. [80], блр. *ба́чыць* то же. Вполне возможно, что польского происхождения и словац. диал. *báčiti se*. Обычно при этимологии польск. *baczyć* довольствуются реконструкцией более древнего **obačiti*, откуда польская форма получена благодаря ложной декомпозиции *o-bačiti*. Генезис гипотетического **obačiti* интересует исследователей, начиная с Бернекера, лишь постольку, поскольку в составе этого сложного слова выделяется корень *-ak-* из и.-е. **ōk*$^{u̯}$*-*, вариант с долготой от более распространенного **ok*$^{u̯}$*-*, слав. *oko* 'глаз' [81]. Этого объяснения придерживается большинство, исключение составляет Брюкнер, который, несомненно, ошибочно производит *baczyć* от *baki* 'глаза' [82]. Общей чертой выше-

[79] Słownik Warszawski I. S. 81; Słownik staropolski I. S. 51—53.

[80] *J. B. Rudnyćkyj*. An etymological dictionary of the Ukrainian language. Pt. 1. Winnipeg, 1962. P. 90.

[81] Berneker I, 23—24; Sławski I, 24.

[82] Brückner, 10. Едва ли может встретить поддержку особая этимология Махека *baczyć* < *patrzyć* путем ослабления артикуляции (*V. Machek*. Verbes slaves pour désigner les cinq sens // SbPFFBU. Ročn. IV. Č. 3. 1955. P. 32).

изложенной корневой этимологии польск. *baczyć* : *oko* является отсутствие интереса авторов к образованию праформы **obačiti* в том, что касается древности образования данного целого слова и его возможных параллелей за пределами славянского. Это выразилось, в частности, в том, что этимологи-полонисты подчас игнорируют даже соответствующие данные, уже опубликованные в научной литературе. Так, например, в польском этимологическом словаре Славского не учтено ценное сближение, выдвинутое уже довольно давно Френкелем, который справедливо обратил внимание на наличие параллелизма между польск. *ob-aczyć* 'sehen, bemerken, erblicken, sich besinnen' и авест. *aiwyāxšayeinti* 3-е л. мн. наст. 'они наблюдают' [83]. Эти факты целесообразно пополнить другими близкими образованиями и осмыслить всю совокупность данных в одной общей характеристике. Итак, мы имеем здесь, с одной стороны, праслав. диал. **obačiti*, восстанавливаемое на базе уединенного, но бесспорно древнего польск. *baczyć*, а с другой стороны — ряд иранских форм: авест. *aiwyāxšaya-* (наст.), *aiwyāxštrāi* (инф.) 'наблюдать', 'оберегать, блюсти', из среднеиранских — хорезм. *(')βyxy-* 'учить(ся), хранить в сердце' < **abi-axšaya-* [84], возможно, сюда же современное ягн. *yaxš* 'виднеться', если последнее не из **wi-axš-* [85]. Со стороны значения праславянское диалектное **ob-ačiti* ('видеть, смотреть, наблюдать, быть осмотрительным, размышлять') близко подходит к иран. **abi-āxšaya-*, выявляемому в ряде восточноиранских языков и обладающему практически всеми значениями польского слова: 'видеть', 'наблюдать, оберегать', 'помнить'. Формальные предпосылки, хорошо объясняющие эту семантическую близость, носят у польского и восточноиранского слов характер очень близкого параллелизма сочетания и употребления этимологически тождественных полнозначных и служебных морфем, ср. славянский предлог-приставка **ob(i)* и иранский преверб **abi* в сочетании соответственно со слав. *ak-* и иран. *āčš-* 'глаз, зрение'. Важный структурный параллелизм двух семантически близких слов дополняется еще одной важной чертой корня этого сложного слова: долгота гласного. И.-е. *ok^{u}-* было известно различным диалектам праиндоевропейского, и его отражение в славянском и иранском должно расцениваться как сохранение архаизма. Но употребление этого независимого архаизма в однотипном глагольном сложении с этимологически тождественной приставкой и тождественным семантическим развитием (см. выше) является уже совместной

[83] *E. Fraenkel*. Zur baltoslavischen Sprachgeschichte und Grammatik // AfslPh. 1925. XXXIX. S. 73.

[84] См.: *W. B. Henning*. Mitteliranisch // Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, IV. Bd. Iranistik. I. Abschnitt. Linguistik. Leiden; Köln, 1958. S. 116.

[85] См.: *М. С. Андреев*, *Е. М. Пещерева*. Ягнобские тексты. С приложением ягнобско-русского словаря. С. 365.

инновацией праславянского и части древнеиранских диалектов, точнее — польского и иранского. Для правильного представления об относительной хронологии этой инновации нужно иметь в виду, что в иранском возобладало очень рано особое местное название глаза, ср. авест. *čašman-*. Продолжение и.-е. *ok^{u}- 'глаз' было рано сведено в иранском на положение реликта, прослеживаемого в периферийных районах, ср. пашаи *ach'i*: 'глаз' (в Афганистане)[86], авест. *aš-* 'глаз', или в сложениях, ср. авест. *an-ākāh-* 'невидимый'. Реликтовый характер имело также сохранение в иранском и.-е. *ok^{u}- 'вид, зрение' (ср. последний пример), производного от ранее упомянутого *ok^{u}- 'глаз'. Следовательно, принимая в расчет реликтовое сохранение *ok^{u}- / *ōk^{u}- в иранском, мы должны определить иран. *abi-āxšaya- как инновацию весьма древнего периода, охватившую часть иранских диалектов. Близость и исключительность параллелизма праслав. диал. *ob-ačiti и иран. *abi-āxšaya- нужно толковать с учетом древности каждого из них, ср. отсутствие иных следов и.-е. *ok^{u}- в славянском, косвенно свидетельствующее о реликтовом характере корня славянского глагола. Контакт части праславянских (прапольских) диалектов и части древнеиранских (скифосарматских) диалектов, о чем мы еще не раз скажем в дальнейшем, мог сыграть свою роль и в параллельном образовании этих слов; можно даже допустить, что влияние исходило в какой-то мере от иранского (о чем, кажется, более определенно свидетельствуют наши дальнейшие сходные по семантике и по древности образования польско-иранские пары, которые в своей части представляют заимствования из иранского в западнославянский), однако у нас нет основания видеть в праслав. диал. *obačiti иранское лексическое заимствование в полном смысле. О том, что подобный польско-иранский параллелизм не представляет исключения, мы получим возможность судить в дальнейшем, при разборе некоторых древних совместных инноваций словообразования, морфологии и семантики с тем же выразительным ареалом, что и в случае с прапольск. *obačiti — вост.-иран. *abi-āxšaya-.

Польск. *patrzyć*, *patrzeć* 'смотреть, видеть' имеет, в отличие от *baczyć*, несколько соответствий в других славянских языках, правда, в сущности, исключительно западнославянских. Сюда относятся чеш. *patřiti* 'смотреть, видеть', 'принадлежать, относиться, касаться, подходить, годиться', словац. *patrit'* 'относиться, принадлежать к чему-либо, кому-либо' (книжн., стар.) 'смотреть, созерцать'. Остальным западнославянским языкам это слово неизвестно. Из прочих славянских приводят обычно еще уединенное хорв. *pätriti* 'принадлежать, gehören, pertinere', которое различные авторы знают только

[86] *G. Morgenstierne*. Indo-Iranian frontier languages. Vol. III. The Pashai language. Oslo, 1956. P. 4.

из одного района — хорватского Приморья, близ Риеки[87]. Миклошич еще приводит выражение из языка венгерских хорватов: *dvoril i patroval*[88]. Называемое далее в этом же ряду всеми этимологами укр. *пáтрати,* которое, кстати, имеет значения 'очищать птицу от перьев, очищать от шерсти свинью', 'потрошить', не имеет, по нашему твердому убеждению, ничего общего с предшествующими словами, этимологией которых мы займемся ниже. С другой стороны, можно было бы поставить вопрос о связи западнославянских слов с такими украинскими словами, как *пáнтрити, пантрувáти* 'смотреть, присматривать, высматривать; заботиться о чем', вероятно, из **патрити, *патрувати* (с инфигированным *-н-*), но связь эта, вполне очевидно, носила характер усвоения, украинизации польских *patrzyć, (wy)patrywać.* Значит, остается только несколько единичных хорватских примеров, вопрос о генезисе которых мы оставим пока открытым. Независимо от этимологии относящихся сюда слов, значения 'принадлежать, относиться, касаться' представляются значениями второго порядка, вторичными по отношению к значению 'видеть, смотреть'. Ср. близкую аналогию французского, где *regarder* 'смотреть на...' дает упомянутое значение второго порядка в выражении *cela ne nous regarde pas* 'это нас не касается', а также' более общие соображения о вторичности выделения значений 'принадлежать, касаться'. Если мы после этого обратимся к нашим славянским словам, то можем констатировать такую любопытную особенность географического распределения значений, как преобладание значения первого порядка 'смотреть' только в польском, далее, в чешском усиливается значение 'принадлежать, относиться, годиться', в словацком последнее значение решительно преобладает, а хорватские примеры знают уже только значение 'принадлежать'. Допуская версию о местной эволюции с утратой предшествующих значений, мы должны, конечно, считаться и с поздним межславянским заимствованием в последнем случае (чехизмы в хорватском литературном языке, во всяком случае, не редкость).

Таковы наши наблюдения над межславянскими отношениями в связи с польск. *patrzyć* 'видеть, смотреть', которое занимает положение наиболее авторитетной формы или, во всяком случае, является одной из древнейших. Бесспорно исконными здесь могут считаться только западнославянские формы, группирующиеся вокруг польской. В отличие от разобранного выше *baczyć*, с которым их объединяет близость древних значений 'видеть, смотреть', польск. *patrzyć* (и родственные западнославянские) вообще никогда не связывалось с иранским и — тем более — не фигурировало в списках славяно-иранских лексических схождений (последнее, к сожалению, относится и к

[87] Вук С. Караџић. С. 507; Iveković-Broz II, 17.
[88] Miklosich. S. 233.

baczyć). Касаясь предшествующих попыток этимологизации _patrzyć_ в литературе, можно упомянуть, что Миклошич ограничивается перечнем одних славянских слов, Брюкнер производит _patrzyć_ 'смотреть' от польск. _patry_ 'глаза', «гляделки» [89], хотя, безусловно, справедливо обратное, а Махек объясняет западнославянское _patriti_ из формы _*matr-_ типа русского или сербохорватского глагола 'смотреть' [90], что, не говоря уже об обычных пунктах преткновения (_m_ / _p_?), не может встретить поддержки ввиду столь полярной противоположности географических зон обеих форм. Ясно, что мы не можем принять ни одного из этих толкований.

Опираясь пока на наиболее ценный для нас итог анализа внутриславянских отношений форм, мы констатируем реальность существования древнего западнославянского или прапольского глагола _*patriti_ 'смотреть'. Обращает на себя внимание явная близость последнего к младоавестийскому инфинитиву _pāθrāi_ 'стеречь, охранять, защищать' [91]. Изучение характера этой близости целесообразно вести по линии выявления словообразовательно-этимологических связей того и другого слова соответственно в славянском и иранском. Что касается первого, то мы вынуждены пока заключить, что праслав. диал. _*patriti_ 'смотреть', реконструируемое описанным выше способом, неясно и изолированно с точки зрения славянского материала. Иное положение с авест. _pāθrāi_ — инфинитивом, который является формой дательного падежа единственного числа от имени деятеля с суффиксом _-tar-_ авест. _pātar-_ 'хранитель, защитник' или, скорее, от имени действия с суффиксом _-tra-_ авест. _pāθra-_ 'защита, охрана' [92]. В древних восточноиранских диалектах это имя, давшее упомянутый глагол в младшей Авесте, было известно, ср. согд. _p'δr_ _*pāθ_^{a}_r_ 'защита, охрана', другое чтение — _*pā́θ_^{o}_r_ [93], согд. (с горы Муг) _''pškr'k_ 'охранник, стражник, надзиратель' < иран. _*āpaθra-_ 'охрана, стража', с превербом _a-_, также согд. _p'š_ 'защита' [94]. Все звенья иранского словопроизводства ясны в данном случае шаг за шагом, вплоть до констатации происхождения этих глагольных, а до этого — именных образований (_-tar-_, _-tra-_) от глагольного в свою очередь корня _pā(y)-_ 'защищать, охранять'. Если мы обратимся с той же анкетой к слав. _*patriti_, то здесь нас на каждом шагу встре-

[89] Brückner, 399.

[90] _V. Machek._ Verbes slaves pour désigner les cinq sens. P. 32; Etymologický slovník... S. 357.

[91] Bartholomae. Стб. 888.

[92] _H. Reichelt._ Awestisches Elementarbuch. S. 199.

[93] _R. Gauthiot._ Essai de grammaire sogdienne. 1ère partie. P. 73,125.

[94] _А. А. Фрейман._ Три согдийских документа с горы Муг // Согдийские документы с горы Муг. Вып. 1. М., 1962. С. 82; _М. Н. Боголюбов, О. И. Смирнова._ Хозяйственные документы // Согдийские документы с горы Муг. Вып. III. М., 1963. С. 19, 89.

чает упорное сопротивление материала. Начнем с очевидного признания факта, что инфинитив образован от имени с суффиксальной группой *-tar-* / *-tra-* (соответственно было бы слав. *-ter-* / *-tr-*), не требующего на иранской почве доказательств. В славянском, напротив, имена деятеля на *-ter* / *-tr-* практически почти неизвестны даже на уровне индоевропейских архаизмов, не говоря о совершенном отсутствии собственных инноваций в этом разряде именного словообразования. Можно назвать, с бóльшими или меньшими оговорками, слав. *vĕtrъ* 'ветер', тогда как *bratrъ* интерпретируется уже в другом плане. Бенвенист, исследующий в своей известной монографии индоевропейские имена деятеля и имена действия на *-ter-* / *-tor-* [95], просто не упоминает славянский на том справедливом основании, что последний не знал продуктивных образований с этим формантом. Но если бы мы все-таки допустили проблематичное существование незасвидетельствованного праславянского имени **patrъ*, то следом за этим перед нами встало бы непреодолимое препятствие. Иран. *pātar-* 'защитник', *pātra-* 'защита, охрана' закономерно образованы с упомянутыми формантами от засвидетельствованной также в иранском основы *pā-* / *pāy-* (см. выше). Предполагать такую же последовательность самостоятельного производства таких же форм в славянском значило бы не только строить гипотезу на гипотезе, но и совершать насилие над фактами языка. Дело в том, что из всех древних детерминированных вариантов индоевропейской основы 'охранять, пасти' **pās-*, **pāsk-*, **pā-*, **pāy-* славянский достоверно знал только основу **pās-* [96], чем в корне отличался, например, от иранского, сближаясь с другими индоевропейскими. Ниже мы будем наблюдать критериумное значение этой особенности в связи с анализом других образований. Здесь же достаточно указать на факт существования в славянском особой глагольной основы **pas-* (*pasti* 'охранять, спасать', 'пасти') и особых именных производных со значением деятеля от последней (*sъpasъ, pastuxъ, pastyrь*), тогда как именное образование **pa-tr-* не может быть истолковано как плод самостоятельного исконно славянского образования. Смысл предшествующих наблюдений состоит в том, что праслав. диал. **patriti* 'смотреть' отражает иранское заимствование. Источником заимствования для названного славянского слова послужил древний иранский отыменный инфинитив вроде авест. *pāθrāi*, близкий последнему, как мы думаем, также по значению ('хранить, защищать'). Сопоставление праслав. **patriti* и близкого иранского глагола в семантическом отношении опять-таки укладывается в рамки очень вероятных, близких и хорошо проверенных семантических пе-

---

[95] *E. Benveniste*. Noms d'agent et noms d'action en indo-européen. Paris, 1948.

[96] Ср.: *В. В. Иванов*. К этимологии русского *пасти* // Сборник статей по языкознанию памяти М. В. Сергиевского. М., 1961. С. 105 след.

реходов, но к этому вопросу мы еще вернемся несколько позже, при анализе следующего слова, которое дает материал для сходных выводов. Что касается формальных отношений славянского и иранского слов, то они весьма поучительны в плане относительной хронологии. В отличие от генезиса **obačiti* (польск. *baczyć*, — см. выше), в настоящем случае мы имеем дело с хронологически более приуроченным и генетически более ясным образованием — с заимствованием из иранского. Информацию об относительной хронологии случая мы извлекаем из свидетельства иранского прототипа. В качестве последнего выступил охарактеризованный выше иранский глагол, не менее архаичный, чем авест. *pāθrāi*. Трансформируя последнюю форму в позднескифосарматское или даже историческое осетинское языковое состояние, мы получили бы **fært* или **fart-* (кстати, как будто неизвестное в указанном выше значении осетинскому). Если разница начала слова вроде *p- / f-* была бы на славянской языковой почве праславянской эпохи несущественна (в праславянском и то и другое было бы одинаково отражено как *p-*), то отражение сочетания согласного с плавным приобретает в этом случае особое значение, тем более что иран. **part- / *fart-* дало бы праслав. **port-* с последующим изменением в польское **prot-*. В действительности мы имеем праслав. **patriti*, которое отражает иран. **pātr-*. Известно, далее, что сочетания согласного с плавным имели в среднеиранском языковом состоянии (и позже) тенденцию к метатезе, например др.-иран. *-tr-* давало *-rt-*. Это коснулось в известный период времени в ряде иранских диалектов и интересующей нас основы, ср. манихейско-согд. *p'rδ* ʻохрана, стража' < *pāθra-*[97]. В широкой степени названная метатеза была свойственна скифосарматским диалектам Северного Причерноморья, в частности переход *-tr-* > *-rt-* выступил позднее как специфическая черта осетинского языка, который провел ее с исключительной последовательностью[98]. К сожалению, ни среди остатков местной иранской ономастики в античных надписях Северного Причерноморья, ни непосредственно в осетинском не сохранилось следов иран. **pātr-* или **part-*. Это последнее дошло до нас в памятниках некоторых других восточноиранских языков. Важным свидетелем существования иран. **pātr-* в скифосарматском мы считаем на основании всего изложенного также прапольское **patriti*. Как следует из предыдущих сведений по иранской исторической фонетике, славянская форма отражает архаическую древнеиранскую форму **pātr-* до метатезы. Если учесть, что колебанием *-tr- / -rt-* были уже охвачены скифосарматские имена, отраженные в надписях греческих понтийских городов задолго до начала нашей эры (ср. примеры далее), то станет ясным, что пра-

[97] *T. Gershevitch*. A grammar of Manichean Sogdian. P. 46.
[98] Абаев. ОЯФ I, 213 след.

слав. диал. **patriti* проникло из скифосарматского в славянский, бесспорно, еще в I тысячелетии до н. э. Такова, как нам кажется, правильная этимология польск. *patrzyć*, подтверждаемая сходной судьбой аналогичных терминов, разбираемых ниже.

Польск. диал. *szatrzyć* 'знать, смыслить, понимать толк, уметь', ст.-польск. *szatrzyć się* 'смотреть, быть осмотрительным, внимательным', сюда же польск. диал. *szatrać* 'видеть, помнить', имеет соответствие в чеш. *šetřiti* 'беречь, экономить, уберегать, блюсти, соблюдать'. Словац. *šetriť* 'экономить, щадить, жалеть' имеет признаки явного заимствования из чешского (исконно словацкое слово имело бы вид **šatriť*). Впрочем, Махек приводит и словацкую форму *šatriť* 'смотреть (за что-либо)'. В остальном в связи с этими словами упоминают еще несколько форм из западной группы южнославянских языков — словен. *ošatrati* 'околдовать, очаровать', *šatrija* 'колдовство' [99], сюда же принадлежат несколько старых хорватских терминов, связанных с магией и ведовством, собранных в специальной статье Курелацем: *šatriti* 'fascinare' (Белостенац, Ямбрешич), *ošatriti* 'infascinare' (Хабделич, Белостенац), *šatrija* 'incantamentum' (Ямбрешич) [100]. Перечисленные слова неизвестны остальным южным и западным славянским языкам и полностью отсутствуют в восточнославянских. Положение глагола *šatriti* и производных в словенском и хорватском содержит неясные моменты и нуждается в дополнительном изучении. Обращает на себя внимание, во всяком случае, их реликтовый характер и особая специализация значения 'колдовать (видимо, первоначально — взглядом)' < 'смотреть', причем опять-таки значение первого порядка ('смотреть') в словенском и хорватском не представлено. В остальном названный глагол справедливо признается исключительно польским и чешским словом. Существующие этимологии этого слова неудачны. Так, Брюкнер пытается связать польск. *szatrzyć* (и родственные) с названием горы в Литве — *Šatrija*, знаменитой колдовством [101], но этот ороним имеет совершенно иное объяснение, производить же от него славянское слово мы не видим никакой возможности. Махек сближает чеш. *šetřiti* и др. с лит. *skatýtis* 'оглядываться, проявлять внимание', лтш. *skatīt* 'смотреть' [102], но сравниваемые формы слишком далеки друг от друга фонетически и в словообразовательно-морфологическом отношении. С другой стороны, даже не зная этимологии этого славянского глагола, мы должны будем признать, что перед нами очевидно древнее слово праславянской эпохи. Об этом свиде-

[99] Miklosich. S. 337.

[100] *Fr. Kurelac.* Prěgled rěčij o vuhovstvu // Rad. JAZU. 1873. XXIV. S. 63.

[101] Brückner. S. 542.

[102] Machek. S. 497.

тельствуют и его интересные значения. Из них значения 'беречь, экономить, щадить', 'заботиться, блюсти' объясняются как производные, а первичными признаются значения 'смотреть, видеть', хорошо засвидетельствованные в польском и древнечешском. Ср. др.-чеш. *šetřiti sú i hleděli sú na mě* 'consideraverunt et inspexerunt me' (приводит Махек). Как мы уже говорили, вторичными должны быть признаны и словенско-хорватские значения 'колдовать, fascinare' < 'смотреть'. Таким образом, в итоге некоторого предварительного отбора форм и значений мы приходим к реконструкции праслав. диал. **šatriti* 'смотреть (возможно, особым образом)', первоначальный ареал которого связывается нами прежде всего с прапольскими и прачешскими диалектами. В этимологическом отношении **šatriti* представляется неясным с точки зрения славянской лексики и словообразования.

Мы сближаем праслав. диал. **šatriti* с незасвидетельствованным иранским отыменным глаголом **xšatraya-* от широко представленного во многих иранских языках имени *xšatra-* с уже знакомым нам именным формантом *-tra-*: авест. *xšaθra-* 'власть, господство', 'царство, владение', др.-перс. *xšaçam* 'царство' [103], манихейско-согд. *xšywr*, название четвертого дня, < **xšāθrawarya* [104], сюда же арм. *ašxarh* 'мир', заимствованное из среднеперсидской формы названия царства, хотансак. *kṣīra-* 'страна', тумшукское *xšera* то же [105], осет. *æxsar*, *xsart* как название высшей доблести во время войны [106]. В отличие от рассматривавшегося нами выше иран. **pātra-*, иранское слово *xšatra-* 'власть, сила, доблесть' в изобилии представлено в известных остатках скифосарматских диалектов, и прежде всего оно дошло до нас в составе иранских антропонимов Северного Причерноморья. Еще к доскифской древности восходит употреблявшееся в этом районе иранское имя киммерийского царя *Šandakšatru-* с иран. *xšatra-* в качестве второго компонента [107]. В скифосарматскую эпоху число антропонимов этого типа было значительно, что, бесспорно, объясняется культовой ролью иранского термина *xšatra-* (о чем — ниже). Ср. скифосарматские имена [108]: Ξάρθανος, Ξάρταμος, Σατράκης, Σατρα-

---

[103] Bartholomae. Стб. 542; *A. Meillet.* Grammaire du vieux perse. Paris, 1915. P. 84. О дальнейших родственных связях иранского слова см.: Pokorny I, 626; Fick I, 191—192; Mayrhofer I, 284—285.

[104] *I. Gershevitch.* Указ. соч. P. 46—47.

[105] *H. W. Bailey.* Languages of the Saka. P. 149; *S. Konow.* Указ. соч. S. 109 [Wörterverzeichnis].

[106] Абаев. ОЯФ I, 71.

[107] *M. Vasmer.* Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland. S. 5.

[108] См.: *M. Vasmer.* Указ. соч., passim; Абаев. ОЯФ I, 188—189; *L. Zgusta.* Указ. соч., passim.

βάτης, Ἀλέξαρθος, Φαρνόξαρθος, Καινάξαρθος, Δανδάξαρθος, Δοσυμόξαρθος, Διδιμόξαρθος, Ὀξαρδῶζις. Иранское имя *xšatra-* произведено от глагольной основы *xšā(y)-* 'мочь, иметь власть, силу, господствовать, царствовать', которая в свою очередь продолжает и.-е. **ksē(i̯)-* (иначе передается как **kþē(i)-*), помимо индоиранского, достоверно представленное в греческом, ср. κτάομαι 'стяжаю, приобретаю' и производные. Надежных продолжений этой основы в славянском мы не знаем. Относительно производного имени с суффиксом *-tr-* от этой основы известно, что оно является индоиранским новообразованием (сюда относятся, кроме перечисленных выше иранских форм, еще др.-инд. *kṣatrá-* 'господство'). Следовательно, сближая праслав. диал. **šatriti* и иран. **xšatraya- / xšatra-*, мы констатируем и на этот раз с иранской стороны полную выясненность словообразовательно-этимологических связей и исконно местный, уникальный характер отдельных образований (*xšatra-*), а со славянской стороны—лишь удивительную внешнюю близость с иранским, которую нельзя объяснить ни славянскими средствами, ни средствами какого-либо другого языка, кроме иранского. Итак, мы считаем, что и праслав. **šatriti* заимствовано из иранского, причем оно сохраняет отражение древней иранской формы *xšatr-*, еще не охваченной метатезой *-tr-* > *-rt-*. Большинство скифосарматских имен, перечисленных нами выше, уже проделало эту метатезу, несмотря на относительную древность их письменной фиксации. Аналогичное отражение в славянском дометатезной скифосарматской формы мы наблюдали на примере **patriti*, с той лишь разницей, что там мы были лишены скифосарматского и осетинского материала, который в изобилии имеется в случае с глаголом **šatriti.* Не только осет. *xsart,* но и большая часть скифосарматских антропонимов удалились от др.-иран. *xšatra-*, проделав метатезу *-tr-* > *-rt-*, которая последовательно была проведена и завершилась в языке понтийских иранцев уже в начале новой эры, как полагают исследователи. Тем ценнее для нас свидетельство прапольского глагола **šatriti*, который точно отразил древнейшее иранское состояние. Параллелизм происхождения праслав. диал. **patriti* и **šatriti,* проявляющийся также в общем отражении одной и той же упомянутой иранской черты, придает убедительность изложенным здесь этимологиям обоих славянских слов. Этот параллелизм выразился и в семантической судьбе обоих заимствованных слов. В основу праслав. **šatriti* легло иран. *xšatra-*, название древнейшего этического понятия, по-видимому, восходящее еще к домаздеистическим религиозным представлениям, что, как увидим ниже, хорошо согласуется и с отражением *xšatra-* в языке скифов и сарматов, не говоря об уже упомянутой индоиранской лингвистической древности данного образования. Употребление термина *xšatra-*, в частности, не затронуто тенденцией дуалистического противопоставления добра и зла, пронизывающей учение Заратуштры. Иран. *xšatra-* выступает в

Авесте как обозначение примитивного понятия власти, силы, не без магической окраски этой силы, проявляемой как добрыми божествами, так и демонами [109]. «Известно, что в мировоззрении иранцев играли важную роль такие слова и понятия, как *farna*, *xšaθra*, *arta*. Они мыслились как высшая, небесная сила, которая может проникать в человека и всю природу... Мы их не только встречаем в скифских именах, но удельный вес их именно таков, какого можно было ожидать; мы имеем *farna* в 15 именах, *xšaθra-* — в 9-ти, *arta* — в 4-х» [110]. В основу праслав. **patriti* легло иран. *pātra-* 'охрана, защита'— слово и понятие, не игравшее такой важной роли в религиозных представлениях и терминологии, как *xšatra-*, но в свою очередь существенное по своему значению в политической терминологии. Таким образом, два славянских слова с близкими значениями 'смотреть, быть осмотрительным, блюсти' восходят к двум различным иранским «терминам власти» — из религиозно-этической и из политической сфер. Первоначальное употребление исходных слов в иранском наложило неизгладимый отпечаток (не менее яркий, чем формальная связь и преемственность) также на значение и употребление названных славянских слов. Польск. *patrzyć* и *szatrzyć* также характеризуются высоким стилем употребления, преимущественно значениями морально-этического порядка. Эти свойства данных слов использовала и христианская религиозная терминология, ср. производное польск. *Opatrzność* 'провидение, Providentia', где в роли обозначения божественного промысла выступает не основа исконного **viděti*, а упомянутый иранизм **patr-*. Самостоятельность и оригинальность сфер употребления исходных иран. **pātra-* и **xšatra-*, с другой стороны, сказались и на отличии употребления заимствованных праславянских **patriti* и **šatriti*. В частности, то обстоятельство, что именно праслав. **šatriti-* развило значения 'беречь, уберегать', а особенно — 'колдовать, очаровывать' (см. примеры выше), мы увязываем с соответствующими потенциями, которые были заложены еще в иран. *xšatra-* в его религиозно-этическом значении. Праслав. **šatriti* имело определенное отношение к магии взгляда. Но, помимо отличий в исходных формах и сферах употребления, был существенный момент, объединявший **patriti* и **šatriti*, — это наличие значений 'смотреть' или (у **šatriti*) 'смотреть определенным образом'. В этом отношении оба слова явились как бы семантическими новообразованиями славянского, дальнейшим развитием исходных иранских значений, поскольку здесь представлена в общем достаточно вероятная и известная семантическая эволюция 'охранять, хранить' → 'смотреть', ср. такие примеры, как нем. *achten* 'обращать внимание, блюсти, чтить' → *beobachten* 'наблюдать, созерцать,

[109] *H. S. Nyberg*. Die Religionen des alten Iran. Leipzig, 1938. S. 133—134.
[110] Абаев. ОЯФ I, 195—196.

видеть'; франц. *garder* 'хранить, стеречь' (из герм. **wardan* то же) → *regarder* 'смотреть (на)'; франц. *veiller* 'бдить, стеречь' → *surveiller* 'наблюдать'; польск. *strzec* 'стеречь, охранять' → *spostrzegać* 'наблюдать'. Что касается **šatriti,* то здесь, возможно, действовал несколько специфический вариант того же отношения, а именно: иран. *xšatra-* 'власть, сила' → праслав. диал. **šatriti* 'dominer du regard' → 'смотреть определенным образом'.

К рассмотренным выше праславянским диалектным, а по сути дела прапольским глаголам **obačiti*, **patriti*, **šatriti,* которые все принадлежат к семантической рубрике 'смотреть, быть осмотрительным' и одновременно составляют новый ряд локальных славяно-иранских соответствий древнего периода, может быть отнесен еще один пример такого рода, правда, гораздо менее достоверный и вследствие этого занимающий во всей этой семантически близкой группе по праву последнее место.

Польск. *dbać* 'стараться, заботиться, обращать внимание, доверять, уповать', ср. чеш. *dbáti* 'заботиться, стараться, обращать внимание', словац. *dbať* 'заботиться о чем-либо, обращать внимание на что-либо'. Снова перед нами исключительно западнославянское и, по-видимому, старое слово. Из других славянских сюда относится еще только укр. *дбáти* 'радеть, стараться, заботиться, обращать внимание'. Эту близость целесообразно рассматривать как один из многих примеров контактной польско-украинской лексической близости и расценивать — аналогично большинству случаев такого рода — как заимствование из польского в украинский. Древних исключительных лексических польско-украинских общностей иного рода мы вообще не знаем. В порядке дальнейшего уточнения первоначального ареала данного слова отметим, что оно распространено только в части западнославянских языков, а именно в польском и в языках чехословацкой группы. Иначе говоря, снова наблюдается картина, внешне очень напоминающая распространение и употребление разобранных выше локальных терминов. Этимология этого слова неясна. Можно сослаться на противоречивые суждения, известные в литературе и одинаково неубедительные, чтобы признать справедливость такой характеристики. Брюкнер предполагает здесь корень **tьb-* / **tib-*, ср., с одной стороны, ст.-чеш. *tbati*, с другой стороны — польск. *wścibiać się* 'соваться' [111], но в вопросе о старочешской форме трудно решить, где кончается графическая условность и начинается этимологический принцип орфографии, к тому же противопоставление *t* и *d* в позиции перед *b* нейтрализовалось, бесспорно, и в старочешском. Славский, отвергая маловероятное объяснение *dbati* < *doba*, не очень убедительное и со стороны семантики, выдвигает не менее спорную мысль о *dbati* < **dba* < **bъda*, ср. **bъděti* 'бодрствовать,

[111] Brückner. S. 86.

бдеть' [112]. Махек считает, что *dbati* родственно лат. (глосс.) *dubāre* 'сомневаться', *dubitāre* 'колебаться (между двумя решениями), сомневаться' [113]. Возможно, как увидим далее, Махек подошел ближе всего к подлинной этимологии слова, но его вывод о родстве не представляется нам вероятным, потому что латинское слово является местным новообразованием латинского на базе латинского же прилагательного **dubus*, образованного, подобно некоторым другим типично латинским историческим адъективным образованиям (*pro-bus*, *super-bus*), с помощью формализованной морфемы *-bu-* < и.-е. **bhu-* 'быть, становиться' [114]. Поскольку все перечисленные только что образования были неизвестны славянскому, в том числе западнославянскому, мысль о родстве лат. *dubāre* и зап.-слав. *dbati* представляется нам не более как необоснованной гипотезой. Единственное более или менее достоверное, чем мы в настоящее время располагаем, — это слово с вероятной праславянской формой **dъbati* и польско-чехословацким ареалом, напоминающим уже рассмотренные случаи. Праслав. диал. **dъbati* можно сравнить с авест. *dəbaēš-*, *t̰baēš-*, *dvaēš-* 'враждовать, оскорблять, обижать', которое родственно др.-инд. *dvéṣṭi* 'ненавидит, враждует'. Далее, сюда же относится форма без расширения основы *-s-* авест. *dvaēθā* 'угроза'. Судя по структуре этого последнего именного производного с формантом *-t-*, иранский знал, кроме исторически засвидетельствованной глагольной основы **dvaiš-* / **dbaiš-* (см. выше), также более первичную нерасширенную основу **dvaya-* / **dbaya-*, значения которой относились к семантическому кругу вражды, угрозы, страха. Как известно, эти иранские формы являются регулярным развитием праиндоевропейского наследия, а именно продолжают и.-е. **du̯-ei̯-* 'бояться', откуда, помимо индоевропейских слов, произошло греч. δείδω 'я боюсь' и арм. *erknčim* то же, первоначально все это — из значения 'колебаться (между двумя решениями), сомневаться', т. е. этимологически, в конечном счете, здесь представлено родство с и.-е. **du̯ei̯* / **du̯ō* 'два' [115]. Возвращаясь к пашей мысли о близости праслав. диал. **dъbati* 'стараться, заботиться' и иран. **dbaya-* / **dvaya-*, мы снова наблюдаем здесь отношение темной славянской формы и ясной иранской, а главное — видим, что эту близость можно было бы истолковать единственно как заимствование из иранского в славянский. Славянские значения 'стараться, заботиться' некоторым образом сродни значениям 'бояться', которые лежат в основе засвидетельствованных иранских значений, и производны от последнего значения. С формальной стороны польские и чешско-

[112] Sławski I. S. 142—143.
[113] Machek. S. 81—82.
[114] Walde—Hofmann, 375—376.
[115] См.: Pokorny I, 227—228; Mayrhofer II, 87; Boisacq[4], 169.

словацкие формы двусмысленны и могли бы продолжать не только праслав. **dъbati*, но и праслав. **dъbajati*, что следует иметь в виду при сближении с иранской основой **dbaya-* / **dvaya-*. Славяно-иранское родство здесь исключено хотя бы по одной той причине, что тогда ожидалось бы слав. **dъvejati* / **dъvejiti* / **dъvojiti* в описанных выше значениях. Вместе с тем мы вполне понимаем, что предлагаемая этимология праслав. **dъbati* хотя и открывает некоторые новые перспективы в исследовании происхождения польск. *dbać* и родственных слов, содержит, однако, в себе больше гипотетического и проблематичного, чем предшествующие аналогичные случаи, в надежности которых трудно сомневаться.

Этимологии польск. *baczyć*, *patrzyć*, *szatrzyć*, *dbać* вскрыли целую группу важной глагольной лексики с основными значениями 'смотреть, быть осмотрительным, заботиться' и тесными связями с иранским словарем. Древность этих славяно-иранских пар бесспорна в каждом отдельном случае (включая последний, где, при всех прочих реальных сомнениях, вероятно происхождение именно из д р е в н е и р а н с к о г о **dbaya-*, с дифтонгом). Но генезис отдельных слов при этом различен, так как здесь есть и древние иранские заимствования (*patrzyć*, *szatrzyć*, *dbać*), есть также и проявления близкого словообразовательно-семантического параллелизма (*baczyć*). Наш материал локальных праславянско-иранских лексических связей не исчерпывается перечисленными примерами, хотя уже этих четырех случаев оказалось бы достаточно, чтобы говорить о заметности древнего общения иранских диалектов с частью западнославянских, и прежде всего прапольскими, по лексическим следам. Далее последует ряд примеров, касающихся не менее важных слов, и в первую очередь — польской лексики. Все эти примеры, как увидим, касаются очень древних взаимодействий. Среди них есть несомненные заимствования, выявимые довольно надежным образом. Однако было бы неправильно думать, что исследуемые лексические отношения ограничиваются заимствованиями. Это были, бесспорно, гораздо более тесные и длительные общения контактного характера, оставившие после себя не только заимствования из иранского в славянский, но и общие лексико-словообразовательные инновации. Одной из таких инноваций части праславянских и части древнеиранских диалектов было, по-видимому, следующее слово.

Польск. *trwać* 'продолжаться, длиться, упорствовать', чеш. *trvati* — с теми же значениями, словац. *trvat'* 'длиться, продолжаться, настаивать, упорствовать' представляет собой элемент лексики, в высшей степени характерный для польского и чешско-словацкой группы. Тождественных исконно родственных слов не знают ни остальные западнославянские языки, а также ни восточнославянские, ни южнославянские. Наличие некоторых близких форм за пределами польско-чешско-словацкого ареала, в его соседстве, объясняет-

ся как некая радиация из того же первоначального центра. Иначе говоря, н.-луж. диал. *trwaś* заимствовано из польского, точно так же как блр. *трваць*, укр. *тривáти* (несмотря на обманчивую самобытную внешность последнего). Брюкнер связывал это западнославянское слово с др.-инд. *trāyate* 'защищает', авест. *θrāti-* 'защита', ирл. *trath* 'время' [116]. Махек объясняет польское и чешское слова иначе — от прилагательного **trъvъ* (нигде не засвидетельствованного), которое он затем отождествляет с др.-инд. *dhruvá-* 'прочный, крепкий', далее — с лат. *dūrus*, откуда *dūrāre* 'длиться', и, наконец, с нем. *dauern* 'длиться' [117]. Мы не считаем возможным присоединиться ни к первому, ни ко второму ученому в вопросе о происхождении данного славянского слова. Этимологию Махека мы расцениваем как определенный регресс в изучении польск. *trwać*, чеш. *trvati*. Так, еще у Брюкнера правильно отмечено, хотя и в небрежной, беглой форме и без каких бы то ни было выводов, противостояние двух характерных славянских форм с двумя характерными ареалами: с одной стороны, польск. *trwać*, чеш. *trvati*, с другой стороны — ст.-слав. **траꙗти** 'durare', болг. *трáя* 'продолжаюсь', сербохорв. *трajamu* 'продолжаться, длиться', в.-луж. *trać*, н.-луж. *traś* то же, куда примыкает также др.-чеш. *tráti*, т. е. часть южнославянских языков и главным образом серболужицкие языки из числа западнославянских. Махек в известном смысле игнорирует это четкое различие территорий употребления двух славянских форм, поскольку он считает возможным все эти слова возводить к общему праслав. **trъvati* (там же). Мы, напротив, видим необходимость отнестись с вниманием к упомянутому яркому свидетельству географии слов. То, что в нижнелужицком отмечено диалектное *trwaś* (наряду с закономерно серболужицким *traś*), а в чешском, наоборот, — др.-чеш. *tráti* наряду с современным *trvati*, нужно расценивать как интерференцию, «zazębienie się» двух различных ареалов — праслав. **trъvati* и **trajati*. Различие обеих форм представляется нам исконным и несводимым на славянской почве к первоначальному единству. Не говоря о проникновении польской формы в нижнелужицкий, чешский ведет себя как типичная переходная область, причем трудно решить, какая из двух его форм — *tráti* (южнославянского типа) или *trvati* (польского типа) — является более исконной и первичной или же, наоборот, вторичной, заносной. Наиболее классическим и, по-видимому, бесспорно древним ареалом **trъvati* должен быть признан польский язык. Ясно, что как для **trъvati*, так и для **trajati* целесообразно искать собственные независимые параллели за пределами славянского, поэтому приведенное вначале сближение Брюкнера, игнорирующее древнее словообразовательное различие этих семантиче-

[116] Brückner. S. 578.
[117] Machek. S. 538.

ски близких слов, не может нас удовлетворить. Оставляя пока в стороне праслав: **trajati* как возможный объект особого этимологического исследования, мы находим более точные соответствия для праслав. диал. **trъvati* в виде авест. (наст.) *taurvaya-* 'преодолевать'. Иранское слово родственно др.-инд. *tárati*, *tiráti*, *turáti*, *tarute* 'переходит, переезжает, преодолевает, превосходит', *tū́rvati* 'превозмогает, одолевает, пересиливает' (= авест. *taurvayeiti* 'преодолевает'), далее — хеттск. *tarh-* 'побеждать, преодолевать', лат. *termo*, *-minis*, греч. τέρμα 'цель, конец, предел', νέκ-ταρ 'нектар', первоначально — 'преодолевающий смерть'[118]. Авестийская форма *taurvaya-* с эпентезой *-u-* дает возможность реконструировать др.-иран. **tarvaya-*, непосредственно продолжающее **tr̥va-* или **tr̥̄va-*, которое дало также др.-инд. *tū́rvati* (см. выше). Иран. **tarvaya-* < **tr̥̄va-* со значением, близким авест. *taurvaya-* 'преодолевать (врагов, сопротивление, все вообще)', точно соответствует праслав. диал. **trъvati* < **tr̥va-* со значением, близким польск. *trwać* 'длиться, продолжаться; упорствовать, настаивать'. С формальной стороны, иранскую и славянскую формы объединяет общее наличие детерминатива *-v-*, несвойственное большому числу индийских форм (см. выше) и неизвестное также родственным формам хеттского, греческого, латинского, продолжающим и.-е. **tr̥-*. Этот детерминатив *-v-*, расширивший местное продолжение упомянутого и.-е. **tr̥-*, явился на определенном этапе инновацией, охватившей, таким образом, кроме древнеиранских диалектов, также часть праславянских (прежде всего прапольские), тогда как довольно значительная часть праславянских диалектов осталась, подобно хеттскому, латинскому, греческому и древнеиндийскому (в большей части форм последнего), незатронутой новообразованием **tr̥-v-* и сохраняла более архаическое, с точки зрения индоевропейского, **tr̥-* > праслав. **trajati* (сербохорватский, болгарский, древнечешский, серболужицкие). Таким образом, мы приходим к предположению об общей прапольско-древнеиранской инновации в упомянутом смысле. Хотя теоретически возможность заимствования праслав. диал. **trъvati* < др.-иран. **tarvaya-* не исключается, что означало бы субституцию вроде праслав. **xъrvatъ*< иран. **harvata-* (о чем выше), все же бесспорные критерии для констатации заимствования у нас здесь отсутствуют, и с неменьшим правом мы говорим о близком, параллельном развитии как прапольской, так и иранской формы из общего **tr̥-v-*. Следовательно, нужно считаться с возможностью исконного родства и общей инновации. Прапольско-иранская близость по концу основы

[118] *H. Reichelt*. Awestisches Elementarbuch. S. 447; Mayrhoter I, 480; *P. Thieme*. Studien zur indogermanischen Wortkunde und Religionsgeschichte. Berlin, 1952 (= Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist. Klasse. Bd. 98. H. 5). S. 5 (I. Nektar).

может быть увеличена еще на одну деталь, если учесть возможность отражения в польск. *trwać* возможного древнего **trъvaja-ti* с последующим стяжением на западнославянской почве. В случае правильности такого варианта реконструкции мы получили бы особую близость праславянской и древнеиранской глагольных тем: **trъvaja-* — **tarvaja-*. Кроме описанных формальных черт общности, данный пример выявляет важнейшую лексико-терминологическую общность иранского с частью праславянского, поскольку сближение касается важного древнего этического и религиозного термина. С этой основой в разных индоевропейских языках связана идея победы, преодоления, важная также в ритуале и мифологии, ср. особый термин для обозначения средства бессмертия в греческом (νέκταρ < **nek̂-tr̥-* 'смерть преодолевающий'): емкая идея преодоления (пространства, сопротивления, врагов, вообще всего, чего угодно) связана с этой основой в индоиранском. Нетрудно заметить, сколь близко к последнему широкому употреблению основы **tr̥-v-* подходит значение западнославянского, польского слова с его тенденцией к еще более широкому обобщению и абстракции: 'преодолевать время', наряду с различимой идеей (пассивного) сопротивления, выдержки, упорства, настойчивости, ср. польск. *przetrwać wszystko* 'выдержать, превозмочь все'. Значительность прапольско-иранской общности выражается в примере с польск. *trwać*, как и в разобранных ранее *baczyć*, *patrzyć*, *szatrzyć*, *dbać*, не в последнюю очередь в той роли, которую слово играет в словаре польского языка, в фондовом характере слова. Эта черта — связь с обозначением важнейших морально-этических категорий, а далее — и с рядом мифологических представлений и социальных понятий — почти неизменно выступает во всех анализируемых нами в этой работе славяно-иранских соответствиях и интерференциях.

Польск. *tuszyć* 'вселять надежду', *otucha* 'надежда, упование, бодрый дух; доброе предзнаменование', чеш. *tušiti* 'надеяться' обнаруживают специфические семантические отличия от остальной совокупности форм, которые объединяются вокруг праслав. **tušiti* / **tuxnǫti* и показывают преимущественно значения 'тушить, подавлять (огонь и под.)', 'тухнуть, гаснуть': цслав. *потоухнѫти* 'унять, потушить', болг. *потушáвам* 'тушу', словен. *potúhniti*, *tûhnem* 'потухнуть, утихнуть', *potúšiti* 'потушить', рус. *тýхнуть*, *туши́ть*, укр. *туши́ти*, блр. *тушы́ць*. Слав. **tušiti* / **tuxnǫti* 'тушить (огонь)', 'успокаивать, делать тихим' имеет этимологически и семантически родственные соответствия в нескольких индоевропейских языках, ср. др.-прус. *tusnan* 'still', *tussīse* 'er schweige', лит. *tausýtis* 'утихать, стихать (о ветре)', ср.-ирл. *tó* 'тихий, молчаливый'. В этом же ряду обычно приводят др.-инд. *túṣyati* 'успокаивается, радуется, доволен', *tūṣṇī́m* 'тихо, молча', авест. *tušni-* 'мол-

чаливый' [119]. Однако нельзя не выделить того факта, что четко определенное моральное значение удовлетворения, надежды, упования обнаруживают из славянских языков главным образом польский и чешский [120], а из прочих индоевропейских—особенно индоиранский, ср. выше примеры из древнеиндийского и иранского. В последнем эта основа также употребляется преимущественно в отнесении к духовному миру человека, ср. авестийское имя собственное *Tušnā. maitiš* ж., название божества, буквально 'удовлетворенный ум'. Если признать у зап.-слав. **tušiti* 'надеяться, вселять надежду, означать доброе предзнаменование' (польск., чеш.) и у индоиран. **tuš-* 'успокаиваться, быть довольным' характер семантической инновации, развившейся на более широкой базе (см. выше), то контактная связь этих сходных новшеств — по крайней мере, между иранской ветвью и частью праславянского — в свете уже известных данных кажется допустимой.

Польск. диал. *pitwać* 'coire cum femina', 'резать с трудом, неловко тупым ножом', 'стряпать, потрошить', вост.-чеш. диал. *pitvati, pistvat, picvat* 'потрошить (животных, рыбу)', 'резать тупым ножом', сюда же в.-луж. *pitwać*, н.-луж. *pitwaś* 'рыться в чем-либо'. Названное слово, кроме польского, известно преимущественно в восточных диалектах чешского, в частности в ляшских, которые известны своим переходным польско-чешским характером. В отличие от большинства рассматриваемых здесь случаев, это слово отмечено также в серболужицких языках, хотя нужно считаться с возможностью вторичного проникновения из польского (чешский источник в последнем случае менее вероятен, так как речь может идти только о более отдаленных восточночешских говорах), что не исключено и для чешского, который знает данное слово только на периферии, граничащей с польской языковой территорией. Этимология слова не выяснена, а то, что сообщают авторы этимологических словарей, способно лишь внести путаницу в представления о развитии и иерархии отдельных форм, ср. у Брюкнера сближение слова *pitwać* с явно вторичными производными от него экспрессивными *pitrasić*, *pitraszyć*, *pietraszyć* с теми же значениями и далее с *pytać* как с первоисточником всех этих форм [121]. В отличие от Брюкнера, Махек, правда, ссылается на мнение Юнгмана о древности в соответствующих чешских словах написания с *-i-* (а

[119] *J. Zubatý* // BB 25. S. 101; *R. Trautmann*. Baltischslavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923. S. 332; Vasmer III, 158; Fraenkel II, 1068; Holub—Kopečný. S. 397; Mayrhofer I, 517—518, 521; иначе, правда, см.: Младенов. С. 643.

[120] Это правильно отметил уже Брюкнер (Brückner. S. 585); ср. также: Holub—Kopečný. S. 397; Machek. S. 543, где вообще опущены примеры со значением 'гасить' в других славянских языках и имеется соотнесение лишь с древнеиндийским и со слав. *tix-*.

[121] Brückner. S. 415, 450.

не -*y*-) и не повторяет версию о родстве с *pytati*, *pytać*, но считает в остальном слово *pitvati* неясным [122]. Его дальнейшее изложение собственной гипотезы мы опускаем здесь как маловероятное. Наш предварительный вывод после знакомства с существующими формами и состоянием их объяснения можно сформулировать как предположение о древности именно формы **pitvati*. У этого слова были принципиальные несводимые отличия от широко распространенного **pytati*, они заключались не только в коренном гласном (-*i*- : -*y*-), но и в оформлении конца основы (-*tva*- : -*ta*-), поэтому мы не можем считать эти слова родственными. Специфически локальное западнославянское, польско-чешское, **pitvati* имеет свою особую этимологию. Праслав. диал. **pitvati* со значениями, близкими значениям польских и чешских слов — 'резать тупым ножом, потрошить', — мы сближаем с авест. *pōiθwa*- 'раздроблять, раздавливать'. Древнеиндийский как будто не знает соответствующего глагола и имеет лишь название (кладеного) барана — *pétvaḥ*, возможно, связанное родством с иранским словом [123]. Авест. *pōiθwa*- представляет собой интенсив от формы **paiθwa*-, последняя продолжает в свою очередь доиранское **pei̯tu*-. К тождественной дославянской первооснове восходит, по нашему мнению, и праслав. диал. **pitvati*. Связь на этот раз между иранским и славянским такова, что, при близости форм и значений (см. выше), она не допускает мысли о заимствовании из типично иранской формы. Обе формы исконно родственны. Их отношение друг к другу помогают выяснить дальнейшие этимологические связи каждой формы. Гершевич (у Майрхофера) сближает авест. *pōiθwa*- с др.-инд. *pináṣṭi* 'толчет, дробит'. Абсолютно такую же интерпретацию можно применить к праслав. **pitvati* < **pei̯tu*- : **pis*- в слав. **pьxati* 'пихать, толкать'. Бесспорность единственно этой этимологии праславянского слова подтверждает, например, одно из специальных значений польск. *pitwać* — 'coire cum femina'. Последнее значение встречается в вульгарном употреблении и у продолжений **pьxati* в славянских языках, его древность независимо показывает основное значение родственного лит. *pìsti* 'coire'. Праслав. диал. **pitvati* и авест. *pōiθwa*- представляют собой, таким образом, скорее всего, общую инновацию (**pei̯tu*-) в виде особого дальнейшего расширения и.-е. **pi(s)*-, **pei̯(s)*-. Эта общая инновация, охватившая часть праславянских диалектов (прапольские, прачешские) и часть древнеиранских, носила лексический характер (ср. новые близкие значения 'резать тупым ножом, потрошить', 'раздроблять, раздавливать') и имела совершенно определенную сферу терминологического употребления: и славянское и иранское слово обозначает преимущественно действия, производимые над животными ('ре-

[122] Machek. S. 369.
[123] Mayrhofer II, 339.

зать тупым ножом, потрошить' ~ 'раздавливать [яички при оскоплении]'). Рассмотренные нами ранее следы славяно-иранских лексических общений с их этической окраской дополняются в итоге обозначением конкретного действия, ритуальный характер которого вероятен с различных точек зрения (в частности, ср. отражение иранского слова в выразительно культовом тексте — Авеста, Видевдат).

Польск. *żwawy* 'живой, проворный, резвый' Брюкнер производит от *ożuć*, *ożuwca* 'злословить, клеветник' (букв. 'тот, кто обжевывает': **žьvati* 'жевать'), ссылаясь на то, что *żwawy* раньше означало (XVI—XVII вв.) злоязычного человека и к современному значению пришло позже [124]. Однако следует иметь в виду реальную в условиях старопольского языка возможность сближения слова *żwać* 'жевать' и его фигурально употребленных производных со словом *żwawy*. Дело в том, что современное значение польск. *żwawy* 'живой, lebendig' представляется нам не эволюцией значения 'злоязычный', а отражением древнего значения названного слова. Однако ни польск. *żwawy*, ни его праславянскую форму **žьvavъjь* не удается, вопреки близости значений, связать с **žiti* 'жить'. Древний долгий гласный этого последнего глагола не знал апофоническнх вариантов на славянской почве, и этот единственный пример явно нуждается в особом истолковании. Возможность нового объяснения польск. *żwawy* 'живой', праслав. диал. **žьvavъjь* мы видим в вост.-иран. *ǰuv-* 'жить' — преобразовании др.-иран. **ǰīv-* 'жить', охватившем почти без остатка целый ряд восточноиранских языков: авест. *ǰv-*, сак. *ǰū-*, согд. *ǰw-*, *žw-*, афган. (пушту) *žwand* [125]. В Авесте же мы находим такое функционально и формально близкое польскому *żwawy* образование, как *ǰvaya-* 'lebendig'. Принимая во внимание типичный для восточноиранского характер этого звукового процесса, а также общую вероятность близких общений соответствующих иранских диалектов с соответствующими праславянскими, мы можем здесь говорить только о влиянии иранского на славянский. Описанные иранские формы вполне закономерно должны были отразиться в славянском как **žьv-*, **žьva-*.

Польск. *raróg* 'птица из породы соколов, сарыч; чудовище', чеш. *rároh* 'сокол, самый дикий, жестокий и проворный из соколов', словац. *rároh* 'кречет', за вычетом некоторых заимствований в соседних языках (ср. укр. *ра́ріг* — из польского), неизвестно остальным славянам. Из западных славянских языков это название охотничьей, хищной птицы характерно почти исключительно для польского и для чешско-словацкой группы. Более старым

---

[124] Brückner. S. 667.

[125] См.: *I. Gershevitch*. A grammar of Manichean Sogdian. P. 90; *K. Hoffmann*. Altiranisch // Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, IV. Bd. Iranistik. I. Abschnitt. Linguistik. Leiden; Köln, 1958. S. 8.

объяснениям слова от названия писка, крика или шума крыльев мы не колеблясь предпочтем яркую и перспективную иранскую этимологию Махека, опубликованную им уже свыше 20 лет назад [126]. Махек посвятил этому названию разностороннее исследование, выдержки из которого представляют для нас большой интерес: «Это слово засвидетельствовано, правда, только у западных славян ⟨...⟩, но, без сомнения, является праславянским» (с. 84). «*Rarogъ* замечателен тем, что от него произведено чеш. *rarach* 'злой дух, черт' и *rarášek*, название духа, который вызывает ветер и летает в его вихре, а также вихря, домового, который является в нескольких видах (черный кот, петух, змей, огнедышащая змея и т. п.), наконец — метеора. Далее мы цитируем из Коржинека, "Listy filologické" LX, 33: "Удивительно, что такое же мифологическое значение, как *rarášek* (*raráš, rarach*), имеет на славянском Западе название пресловутой жестокой и проворной хищной птицы *raroh*, и это является, по-видимому, довольно старым метафорическим значением, судя по географическому распространению, несмотря на то, что в текстах мы находим относительно мало следов. Польск. *raróg*, кроме значения 'птица', до сих пор означает еще 'cudak, dziwoląg, dziwak, dziw, djabelec', аналогично и укр. *páрir*; и словац. *rároh* по сегодняшний день значит также 'властелин злых духов'. Гоушка, "Časopis Čes. mus". XXVII, 486. приводит чешское поверье, согласно которому сокол летит в села к ведьмам с вестями от черта, "почему он называется также *rarášek*. Он влетает в дом через дымоход и вылетает через дымоход..." Таким образом, мифологическое представление, которое западные славяне, причем, вероятно, с древности, обозначают названием птицы *rarogъ*, и представление, для которого позднее на чешской почве возникло название *rarach*, в принципе было одно и то же» (с. 84—85 статьи Махека).

Далее Махек делает на основании наблюдений Коржинека и своих собственных следующий важный вывод: «Мифологические отношения слова *rarogъ* дают нам право предположить, что в нем заключено нечто большее, чем просто название кричащей птицы. В действительности речь идет о заимствовании, и притом — из Ирана, где название сокола равным образом занимает определенное место в мифологии» (с. 85). Махек обращает в связи с этим внимание на название древнеиранского божества — авест. *Vərəθrayna-*, трудно поддающегося описанию из-за множества его воплощений, но почти всегда наделенного бесстрашием, воинственностью, силой, красотой. Из этих воплощений божества особенно интересно одно, когда бог выступает в виде птицы, нападающей на добычу и раздирающей ее, — в виде быстрейшей из птиц под названием авест. *vārəgan-*, *vārəngan-*. Еще конкретнее значение

[126] *V. Machek.* Slav. *rarogъ 'Würgfalke'* und sein mythologischer Zusammenhang // Linguistica Slovaca. III. Bratislava, 1941. S. 84: *V. Machek.* Etymologický slovník... S. 415.

близкого согд. *w'γyn'k* **vāragnaka-* 'сокол'. Все это служит Махеку законным основанием для того, чтобы объяснить слав. *rarogъ* 'сокол' как заимствование из иран. *vāragna-* 'сокол', точно так же как и мифологический контекст славянского названия — из соответствующего иранского религиозно-мифологического источника. Ассимилятивные изменения придали славянскому слову тот вид, который оно имеет в западнославянских языках. Темное, с точки зрения славянской этимологии, слово *rarogъ* получает детальное объяснение средствами иранской этимологии. Махеку его этимология представлялась достаточно убедительной, но, во-первых, он как бы ощущал противоречие между только западнославянским распространением слова и его вероятным праславянским характером, во-вторых, слав. *rarogъ* как иранизм в западнославянском (польск., чеш., словац.) оставалось единичным примером, повисавшим в воздухе и даже прямо противоречившим основному духу современных славяно-иранских изучений. Разумеется, это противоречие нисколько не умаляет достоинства открытия Махека, напротив, подчеркивает его объективное значение. Столь же убедительно и ценно для науки другое сближение Махека, сделанное в той же работе, — лит. *vānagas* 'ястреб' : иран. *vāragna-* 'сокол', 'бог Vərəθraγna-', сделанное, заметим, бегло и к тому же тогда, когда балто-иранские контакты считались невозможной вещью, это сближение в наших глазах является единственной достоверной этимологией балтийского слова, заимствованного в древности из иранского независимо от славян и с другими преобразованиями. Сейчас наши представления о сложности состава праславянского словаря и количестве в нем старых локальных элементов постепенно углубляются. Только западнославянское *rarogъ* было, бесспорно, одним из таких элементов, никогда не известным прочим славянам, и мы трактуем его как праслав. диал. **rarogъ*. Что касается реальности древних западнославянско-иранских связей, то этому вопросу посвящена основная часть нашей работы, и в этом отношении слово *rarogъ* также перестает быть одиноким, включаясь в целый ряд лексем сходного происхождения. Этимологический и мифологический анализ слова *rarogъ* показывает интенсивность славяно-иранских общений в области религии (на уровне древних примитивных верований) и мифологии и одновременно может служить ответом, который удовлетворит любого скептика, сомневающегося вообще в реальности соответствующих влияний иранцев на славян. Однако этим эпизод со словом *rarogъ* еще не исчерпан ни в этимологическом, ни в мифологическом отношении. Напротив, дальнейшая проверка выявляет здесь совершенно новый материал, подтверждающий изложенную интерпретацию слова *rarogъ* и, как нам кажется, углубляющий наши знания не только в отношении славистики, славяно-иранских отношений, но и в плане собственно иранистическом.

Исследователи древнеиранской религии свидетельствуют о наличии в традиции описания бога *Vərəθrayna-* определенных драконоборческих мотивов. Этот могущественный, активный бог — порождение еще дозороастровской, индоиранской религии, в его чертах много неясного, забытого, конкретное подчас вытеснено или осмыслено как абстракция, что все вместе затрудняет реконструкцию древнего смысла. Сама методика выделения старых и новых черт в представлениях о божестве может невольно оказаться спорной. Мифический драконоборец *Vahagn* у армян, бесспорно, происходит из иранского мира не только по названию, но и по своим чертам драконоборца. С другой стороны, положение в самой иранской религии очень затемнено, и как раз *Vərəθrayna-* менее других божеств и героев наделяется чертами истребителя драконов. Характер иранских, в частности авестийских, свидетельств побудил некоторых ученых, изучавших традицию описания иранского *Vərəθrayna-* и индийского *Vṛtrahan*, оценить сдержанно сюжеты, связанные с драконом как вторичные или привнесенные извне. В соответствии с этим, например, древнее значение инд. *Vṛtra-han* толковалось как 'Widerstandsbrecher, ломающий сопротивление', тогда как осмысление *Vṛtra-han* как 'Vṛtra-töter, убивающий демона по имени Vṛtra' логично характеризовалось как поздняя конкретизация, а соответственно и весь культ божества *Vṛtra* — как вторичный продукт индийской фантазии. Таков был вывод Бенвениста и Рену, с которыми солидаризировался — применительно к иранскому материалу — Нюберг, не скрывающий, впрочем, своих сомнений в том, что касается реконструкции упомянутого древнего значения, в частности его абстрактности, а также ряда других моментов [127]. Принимая во внимание, что источники по древнеиранской религии сохранились крайне неполно, а те из них, которые дошли до нас, нередко чрезвычайно своеобразны и трудны для понимания, мы считаем полезным обращение к внешним данным, которые, будучи своеобразными петрификатами в иноязычном контексте, сохраняют наподобие арм. *Vahagn* существеннейшие и по-своему живые свидетельства о др.-иран. *Vṛθragna-*, показывая одновременно, что упомянутые видные религиологи были правы не во всех деталях. Дело в том, что древние иранцы знали в своих религиозных представлениях божество или демона по имени **vṛtra-*, **vṛθra-*, **varθra-*, **vāra-* или **pati-vāra-*. Эту уверенность мы черпаем из внешних данных, предвосхищая результаты их анализа, сообщаемые ниже. Предполагаемое нами имя — скорее всего, это было сложение **pati-vāra-* — мы могли бы буквально перевести также достаточно абстрактным значением

[127] См.: *H. S. Nyberg.* Die Religionen des alten Iran. S. 69 след.; см. также специально: *E. Benveniste, L. Renou.* Vṛtra et Vṛϑrayna. Études de mythologie indo-iranienne // Cahiers de la Société Asiatique. III. Paris, 1934.

'нападение, напасть', но должны подчеркнуть, что это доступное нам толкование ни в коем случае не адекватно тому вероятному действительному древнему значению этого названия какого-то примитивного злого божества, демона, мучителя (в духе неразвитых зачатков дуализма дозороастровских иранских религиозных верований). С точки зрения формы иран. **pati-vāra-* представляет собой сложение уже известного nomenactionis = nomen agentis **vr̥tra-* / **vāra-* (ср. вторую огласовку в иран. *vāra-gna*, — выше) с предлогом-приставкой *pati*, функционально равной др.-инд. *práti* 'против', которая широко выступает в индоиранских глагольных и именных сложениях. Иран. **pati-vāra-* мы реконструируем на основании двух независимых неиранских свидетельств. Во-первых, это польск. *poczwara* 'безобразное, отталкивающее существо, безобразие, ' чудовище, злой дух, страшное привидение, страшилище, кошмар', во-вторых — лит. *áitvaras* 'кошмар, летучий дух, привидение, домовой, змей, дракон'. Помимо случайного объяснения Брюкнера[128], польское слово сближалось также уже с названным литовским, но этому сближению придавался совсем иной смысл. Что касается литовского слова, то оно явилось объектом довольно многочисленных этимологий, в которых оно рассматривалось как исконное образование по большей части[129]. Между тем все эти этимологии оставляют довольно явное впечатление искусственности и неправдоподобия, так как оперируют всякий раз незасвидетельствованным в балтийском корнем или значением в качестве основного аргумента. Ни польское, ни литовское слова не удается вероятно объяснить местными языковыми средствами. Мы считаем, что и польск. *poczwara*, и лит. *áitvaras* были заимствованы из иран. **pati-vāra-* или его местных разновидностей. Главное, что объединяет польское слово с литовским, — это общая исходная иранская форма. Далее следует ряд различий, свидетельствующих о независимости, разновременности и, возможно, разной диалектной иранской основе форм, давших то и другое слово. Польск. *poczwara* может объясняться не из формы древнеиранского типа **pati-vāra-*, выведенной нами выше, а из формы «древнеосетинского» типа, проделавшей изменение, ассибиляцию *ti* > *c(i)*[130], иными словами, польск. *poczwara* отражает восточноиранское диалектное (скифосарматское) **pacvara* / **facvara*. Праслав. диал. (прапольск.) **počvara* мы объясняем как заимствование из иран. **pacvara*, причем *-cv-* было передано в славянском как *-čv-*, очевидно, ввиду невозможности в праславянской фонетике твердого *-cv-* или вообще *-cv-* вне строго определенной позиции. Литовское слово известно в вариантах *áitvaras*, *áitivaras*, *áičvaras*, каждый из кото-

---

128 Brückner. S. 424.

129 См.: Fraenkel I, 4.

130 См. примеры: Абаев. ОЯФ I, 214.

рых представляет для нас интерес. Прежде всего последний вариант в какой-то мере близок к праслав. диал. **počvara*, польск. *poczwara* и, видимо, отражает ассибилированное иран. *ti* > *c*, которое, кстати, вполне закономерно было воспринято литовскими диалектами как *č*, аналогии чему мы видим в многочисленных примерах передачи слав. *-c-* как *-č-* в литовском, ср. лит. *baznýčia* 'церковь, костел' < вост.-слав. *божница* или польск. *bożnica* и др. Общий не вполне ясный момент, распространяющийся на все литовские варианты нашего слова, это отсутствие *p-* в начале слова (видоизменение слова ввиду его «опасности» по мотивам табу?). Из прочих вариантов нам представляется самым авторитетным наиболее «полный» вариант *áitivaras*, который, с упомянутыми оговорками, можно считать заимствованием из достаточно древнего иранского прототипа **paiti-vara-*. Сведения, которые нам поставляет литовское слово, довольно поучительны и ценны для суждения об иранском слове. Это, во-первых, хорошая сохранность древнеиранской формы префикса, который был, по-видимому, ударным, судя по месту ударения литовского слова; во-вторых, это отражение эпентезы в иранском первоисточнике: *pati-* > *paiti-*, прослеживаемое во всех литовских вариантах. О реальности реконструкции на описанных основаниях вост.-иран. диал. **páiti-vara-* говорит поведение сложений с *pati-* в дошедших до нас восточноиранских языковых памятниках. Так, в хотансакском иран. *pati* эволюционирует очень различно в зависимости от ударения. Будучи проклитикой, оно подвергается стяжению в *pa*, *pi*, а под ударением иногда сохраняется полностью, ср. *patitsā-* [131]. Разнообразные видоизменения испытало иран. *pati* в осетинском, где чаще всего оно давало *fæ-* < *fæi-*, а также *fī-* и *fet-* (с последующей ассимиляцией *t* соседнему согласному) < **pait-* < **pati-* [132]. Последняя деталь заслуживает упоминания, тем более что наблюдения над историей форм осетинского хорошо согласуются с реконструкцией иранского прототипа лит. *áitivaras* и одновременно убедительно свидетельствуют о неправильности мнения об отсутствии эпентезы в языке древних иранцев Северного Причерноморья. Так, Фасмер на основании изучения остатков языка этого населения в греческой эпиграфике считал, что в скифском нет эпентезы *-i-*, проведенной, например, в Авесте [133]. Харматта со свойственным ему стремлением к несколько категоричным формулировкам утверждает следующее: «Среди древнеиранских языков можно указать на существование эпентезы *-i-* и *-u-* только в Авесте, и даже там она, вероятно, вызвана только небрежностью

[131] *S. Konow*. Khotansakische Grammatik. S. 65.

[132] *H. W. Bailey*. Asica. P. 12—13; *В. И. Абаев*. Ист.-этимол. словарь I. С. 431, 471, 475.

[133] *M. Vasmer*. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland. S. 20—21.

персидских и парфянских переписчиков»[134]. В различных иранских языках достоверно известны примеры эпентетического перемещения названных звуков, поэтому процитированная формулировка опирается по меньшей мере на неполный материал, и вопрос нуждается в пересмотре, в частности применительно к восточноиранским и у́же — скифосарматским диалектам.

Возвращаясь к восстановленному таким путем иран. **pati-vāra-*, обратим внимание на возможности его семантической реконструкции. Резервы этой последней заключаются в засвидетельствованных значениях польск. *poczwara* 'чудовище, злой дух, привидение, кошмар' и особенно лит. *áitivaras* 'кошмар, летучий дух, змей, привидение, домовой'. Это позволяет нам восстановить иран. **pati-vāra-* со значением 'дракон, летучий злой дух' как лексический вариант к иран. **vāra-*, **vr̥θra-*, термин, обозначавший, по-видимому, с древних времен в примитивных иранских верованиях злого духа, мифического врага, чаще — в виде летучего дракона. Таким образом, славяно-иранские (и балто-иранские) изучения помогают обнаружить и восполнить лакуну в научных концепциях древней иранской религии. Поправка эта заключается в том, что в древней иранской религии существовал образ злого духа, врага в виде дракона под названиями **vr̥θra-*, **vāra-*, **pati-vāra* и что термин **vāragna-*, *Vr̥θragna-* имел также древнее значение 'бог-драконоборец'. Таким образом, пара терминов иран. **vr̥θra-* / **(pati)vāra-* : *Vr̥θragna-* / *vāragna-* соответствовала паре конкретных воплощений примитивных злого и доброго начал в мифологии. Констатируя древнее парное отношение терминов в иранском, мы не можем не указать на то, что, например, польский сохранил оба члена этой парной корреляции иранских мифологических персонажей и соответствующих названий: *poczwara* 'чудовище, злой дух, кошмар' — *raróg* 'хищная птица, сокол, сарыч'. С течением времени четкость противопоставления и первоначальные значения не могли не сгладиться, напротив, нельзя не выразить удивления по поводу того, как хорошо сохранились существеннейшие элементы древних значений, делающие реальной реконструкцию как славянских, так и иранских отношений. При этом зап.-слав. *rarogъ* всегда выступает с основным значением 'хищная, охотничья птица, стремительный сокол' (последнее лучше сохранено чешским), тогда как значение 'летучий дух, привидение, кошмар', вообще 'аморфное страшилище' по-прежнему сохраняется за его антиподом, хотя перед нами, повторяем, не живая корреляция, а остатки древнего отношения парных терминов. Вполне естественны при этом вторичные смещения терминов в иные семантические плоскости, ср. появление у самóго *rarogъ* вторичных исторических значений 'домовой, дух' (особенно — у его варианта

[134] *J. Harmatta.* Указ. соч. P. 292.

rarach в чешском). Интересно отметить, что наибольшая полнота элементов представлена в польском языке, который является единственным (в отличие даже от чешского и словацкого) обладателем обоих членов пары терминов иранского происхождения *poczwara-* — *raróg*. За пределами польского мы уже не встречаем в славянском иранское название злого духа, врага. Иран. **pativāra* — **vāragna-* полностью отразилось в польск. *poczwara* — *raróg*, причем ясные следы мифологического употребления польских слов и соответствие их значений значениям иранских прототипов говорит о том, что дело не ограничивалось одним заимствованием слов, но целый сюжет древних иранских мифологических верований был во всем существенном позаимствован частью древних западных славян в эпоху интенсивных контактов с соседними древнеиранскими племенами. Значение этого реликта древней духовной культуры и древнего словаря западных славян, поляков, трудно переоценить, тем более что оно выходит за рамки славистической проблематики и может быть использовано для реконструкции иранских отношений. Вероятность предложенной интерпретации славянских языковых фактов контролируется и подтверждается независимо с двух сторон — со стороны иранского материала (словообразование, терминология, мифологические представления) и со стороны балтийского материала. Из предыдущего изложения следует, что балтийский в результате самостоятельных общении с иранским тоже усвоил пару терминов иран. **pativāra-* — **vāragna-*, отразив ее в виде лит. *áitivaras* 'летучий дух, змей' — *vãnagas* 'ястреб'. Нет ничего удивительного в том, что славяне и балты заимствовали у иранцев одни и те же термины. Из одинаковости этих актов отнюдь не вытекает, между прочим, аргумент в пользу совместности данных актов у славян с балтами. Иначе говоря, у нас не больше оснований думать об этой совместности в данном случае, чем из факта одинакового иранского происхождения зап.-слав. *rarogъ* и арм. *Vahagn* делать вывод о совместности этого последнего заимствования для славян и армян. На эти факты целесообразно посмотреть изнутри, через призму их мифологической, поэтической, культурной значимости. Безусловно, решающую роль играло то, что яркий сюжет, или, вернее, целый цикл верований, преданий о драконоборце *vāragna-*, неизменно поражающем врага — летучее чудовище, производил сильное впечатление, и все, кто общался с древними иранцами, охотно усваивали и сохраняли эти верования и эти названия.

Среди материала западнославянско-иранских лексических общений есть и термины социальной организации, точнее — политические термины, которыми мы и закончим рассмотрение всей этой группы слов.

Польск. *pan* 'господин, хозяин, владелец', чеш. *pán* то же, др.-чеш. *hpán* (несколько примеров), словац. *pán* 'господин, хозяин, барин' бытуют, как видим, в том же кругу языков, которыми мы привыкли оперировать в извест-

ных выше примерах. Их распространение было первоначально, безусловно, ограничено польским и чешско-словацкой группой. Укр., блр. *пан* (не говоря уже о русском литературном и просторечном *пан*) 'господин, (польский) барин' заимствовано из польского, оттуда же и лит. *põnas* 'господин, пан'. В.-луж. *pan*, фигурирующее, например, в песенных текстах XVIII в., совершенно явно ведет себя как неисконный элемент, заимствованный относительно недавно, вероятно, из чешского. Любая попытка реконструкции древней формы польского и чешско-словацкого названия господина должна считаться с древнечешской формой *hpán* (XIII в.), в соответствии с которой целесообразно реконструировать локальное праславянское **gъpanъ*. Поэтому этимологизация слов *pan*, *pani* (чеш. *paní*) в связи с греч. πότνια, др.-инд. *pátnī*[135], как и вообще в связи с общеславянским по распространению словом *gospodь*, представляется затруднительной как в формальном отношении, так и ввиду выразительной локальности польск. *pan*, чеш., словац. *pán*. Другая этимология или, по меньшей мере, две различные этимологии связывают польск. *pan* (и родственные) с таким административным термином, как ст.-слав. (Супр.) **жоупанъ**, болг. *жупáн*, др.-серб. *жупань,* сербохорв. *жу̏пāн*, словен. *župàn* 'наместник, начальник округа', чеш., словац. *župan* то же. При этом одна этимология исходит из понимания этого последнего слова как заимствованного аварско-тюркского термина и соответственно слова *pan* — как сокращения от того же титула[136]. Другая этимология также связывает зап.-слав. **gъpanъ* с южнославянским *жупан*, но видит в последнем исконный элемент, связанный чередованием гласных (**gŭ-* : **geu-*) с **gъpanъ*[137]. Заранее сделаем оговорку, что мы здесь не рассматриваем этимологию слова *жупан*, считая его совершенно особым по происхождению и не связанным с нашим материалом. Тем не менее мы вынуждены касаться этого слова в связи с отдельными вопросами. Нам кажется прежде всего, что отсутствует связь между словом *župan* и польск. *pan*, чеш., словац. *pán*. Изучая историческое и современное употребление того и другого названий, мы констатируем, что польск. *pan* никогда не употребляется как обозначение функционера, должностного лица, это же можно сказать и о чеш., словац. *pán*. В тоже время *župan* — это исключительное название государственного чиновника, наместника, административного начальника. Если, далее, говорить об ареалах обоих слов, то упомянутого административного титула, по-видимому, никогда не знал польский язык, являющийся вместе с тем классическим ареалом слова *pan* 'господин'. Можно думать, что и в чешском и словацком термин *župan*

[135] Machek. S. 351—352.
[136] Brückner. S. 393.
[137] Vasmer I, 432; II, 308.

явился занесенным извне элементом, ср. опять-таки четкое отличие употребления слов *župan* 'начальник, наместник' и *pán* 'господин, хозяин', а также количественное отличие *župan* (с краткостью) и *pán* (с долготой), неясное с точки зрения этимологии *župan* > *pán*. Все говорит о том, что оба слова не связаны друг с другом, поскольку они обнаруживают ряд принципиальных особенностей, очевидно древних и не сводимых к начальному единству. Версия о родстве зап.-слав. **gъpanъ* и *župan*, согласно которой между ними предполагается отношение аблаута (см. выше — Фасмер), подкрепляется сравнением с др.-инд. *gopā́* 'пастух, хранитель' и производными глаголами. Поскольку последнее имя означает, в сущности, 'коровий пастух', логично было бы видеть в славянских вариантах *gъ* : *žu-* отражения и.-е. *g^u̯ōu-*. В отношении варианта *gъ-* мы еще скажем об этом специально ниже. Что касается *žu(pan)*, то упомянутое индоевропейское название крупного рогатого скота, богато засвидетельствованное во всех индоевропейских языках, нигде не обнаруживает как раз ступени **g^u̯eu̯-*, о которой единственно можно было бы говорить в данном случае. Все сказанное сильно дискредитирует мысль об исконном родстве **gъpanъ* и *župan*. Несколько особый вариант исконно индоевропейской этимологии слова *župan* (не отличаемый, правда, Фасмером по недосмотру от предшествующего ее варианта) видит в *župan* производное от исконно славянского *župa* 'копь', 'могила, надгробие', но в древность такого производного на славянской почве верится с трудом. Не входя в детали, мы полагаем, что слово *župan* попало в некоторые славянские языки извне, причем пока целесообразно сохранить также уже известную версию об аварском происхождении данного административного титула. Его ареал со временем расширился, но первоначально он, наверное, более или менее совпадал с Паннонией, подвластной аварскому каганату, — местом обитания части древнеславянских племен. Таким образом, чем ближе мы подходим в реконструкции к собственно праславянскому периоду, тем дальше расходятся западнославянское название господина и южнославянское (паннонское?) название наместника *zapan*, почему мы считаем себя вправе, говоря о более древней судьбе западнославянского слова, оставить название *župan* в стороне.

Праслав. диал. **gъpanъ* (польск., чеш., словац.) мы объясняем как заимствование из ир.**gu-pāna-* / **gau-pāna-*, ср. афган. (пушту) *γōbə* 'коровий пастух', буквально — 'хранитель скота' [138]. Иранское слово представляет собой совершенно прозрачное сложение со вторым компонентом *-pāna-* 'защита, защитник, хранитель'. Сложения с этой основой исключительно популярны с древности во всех иранских языках. Ср. авест. *pəšu-pāna-* 'хранитель моста', *šōiθrō-pāna-* 'страж жилища', др.-перс. *xšaça-pāvā* 'сатрап, наместник, прави-

[138] См. о последнем: *G. Morgenstierne*. An etymological vocabulary of Pashto. P. 14.

тель', согд. *'rspan* **arspān* 'хозяин', *'γwšp'n*, христианско-согд. *xwšp'n* **xšupān* 'пастух' < иран. **fšu-pāna-*, согд. (с горы Муг) *prδγzp'n* **pardezpān* 'начальник парка, заповедника', афган. (пушту) *špə*, *špūn* 'пастух' < **fšu-pāna-*, ср. н.-перс. *šubān* то же, йидга-мундж. *xal'fān*, *xalifōn* 'кожаный мешок для муки' < *hwarθa-pāna-*; *xəš(u)wān*, *xušuwan* 'пастух', сангличи-ишкашим. *čə'pān* 'пастух', вахан. *špūn* 'пастух', язг. *cəpīn*, шугн. *x̌ẹbōniǰ*, рушан. *x̌abānuǰ*, бартанг., орошор. *x̌ẹbānuǰ* 'пастух', ягн. *aṅgušpāna* 'наперсток', буквально — 'хранитель пальца', парачи *xuwân* 'пастух', ормури *ṣ̌wān, ču'pân* то же. Эти иллюстрации, выбранные нами из словарей и списков слов ряда иранских языков и диалектов, показывают употребительность таких названий в восточноиранских языках. Названия, правда, несколько однообразны, или, скорее, одноплановы, но это вполне определяется семантикой организующей их основы *-pāna-* 'охрана, хранитель', хорошо известной и в свободном употреблении, ср. авест. *pāna-* 'покровительство, защита' и современное слово в восточноиранском языке ормури *pṓn* 'крыша'. Одноплановость перечисленных иранских примеров выражается в том, что они почти все — имена деятеля, причем, как правило, — названия пастуха, восходящие к иран. **fšu-pāna-* 'хранитель скота' (иран. **gau-pāna-* 'хранитель крупного рогатого скота' также засвидетельствовано в восточноиранском, но встречается реже — см. выше). К этим именам деятеля примыкают приведенные выше названия хранилищ, предметов, наконец, свободное употребление слова *pāna-* 'защита' (Авеста), восходящее еще к индоиранскому. С другой стороны, названиям деятеля иран. **gau-pāna-*, **fšu-pāna-* соответствуют в древнеиндийском однородные сложения с более архаичной простой основой *-pā-*: *gopā́-*, *paśupā́*, ср. столь же архаичное арм. *hoviw* < **ovi-pā-* 'овечий пастух'. Имена деятеля **gau-pāna-*, **fšu-pāna-* представляются, таким образом, характерными иранскими формами. Письменные следы языка скифов и сарматов на редкость скупы в отношении интересующих нас форм. Можно упомянуть проблематичные имена Πάβας (< **pāvan-*?), Σώπανος, Ὕπανος [139], из которых Σώπανος объясняется как генетив от греческого имени Σώ-παν, наряду с Πάν-σωος [140]. Иран. **gau-pāna-*, упомянутое нами выше, не сохранилось в известных остатках языка скифов и сарматов, но возможность его употребления в этих иранских диалектах весьма реальна. Известно, что скифы знали иран. *gau-* 'корова, бык, крупный рогатый скот', ср. имена Γάος, Ἀγαυοί [141]. Совершенно вероятно, что в их языке употреблялись и имена деятеля типа сложений со

---

[139] *M. Vasmer.* Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland. S. 47, 53—54.

[140] *L. Zgusta.* Указ. соч. S. 412.

[141] Абаев. ОЯФ I, 166.

вторым компонентом *-pāna-*, ср. предложенную выше, в разделе III, этимологию болг. *стопáнин* из иран. **asta-pāna-* из позднескифосарматского языка иранцев, пришедших с булгарами-тюрками. Наконец, скифы и сарматы должны были знать и иранскую основу **pā-* 'хранить, защищать', о чем говорят различные указания, одно из них дает этимология польск. *patrzyć*, сообщавшаяся выше. Как и в вопросе о происхождении слова *patrzyć*, в настоящей этимологии большое значение придается сравнению предпочтительных сочетаний древней основы **pā-* с формантами в славянском и иранском. Тогда как в славянском, на что уже обращалось внимание выше, можно говорить об отражении лишь и.-е. **pā-s-* (наряду с юж.-слав. *paz-*, которое еще ждет объяснения), в иранском как раз слабо отражены эти сочетания, в то время как господствующим является употребление чистой архаической основы **pā-* без детерминативов, совершенно неизвестное славянскому. Основа **pā-* выступает в иранском в древних именных производных с формантом *-tr-* (о чем — выше) и с формантом *-na-*. Ни одного из этих образований славянский не знает. Все это заставляет нас считать заимствование праслав. диал. **gъpanъ* из иран. **gupāna-* / **gaupāna-* единственно возможной этимологией польского и чешско-словацкого названия господина. Может показаться на первый взгляд непреодолимой диспропорция значений сближаемых слов: слав. 'господин' — иран. 'пастух, хранитель скота', однако знакомство с воззрениями древних иранцев, их системой понятий развеивает эти сомнения. Скот, особенно крупный рогатый скот, был основой материального благосостояния древних иранцев — как оседлых земледельцев, так и в еще большей степени кочевников. Охрана скота мыслилась, естественно, в связи с этим как первый долг любой власти. Не случайно легендарный царь Согдианы и Хорезма носил имя *Gōpat* 'хранитель скота' [142]. Специальное божество, восходящее еще к дозаратустровской древнеиранской религии — создатель скота (авест. *gəuš tašan*) — заботится о быках и коровах и заступается за них. То, что вменялось в обязанность богу, было самым священным и почетным делом для каждого земного владетеля, господина и государя. Зап.-слав. **gъpanъ* 'господин', кроме иранской формы и структуры, сохранило также след типично иранского взгляда на власть, обеспеченную материальными ценностями. Мы хотим сказать, что значение 'господин' определилось у прототипа слав. **gъpanъ* еще на иранской языковой почве. Совершенно закономерно, что эту семантико-терминологическую эволюцию проделало именно слово **gupāna-* 'пастух, хранитель быков', а не **fšupāna-* 'пастух мелкого скота, овец'. Последнее, напротив, оказалось чрезвычайно удобным для того, чтобы дать наиболее популярное и, так сказать, классическое название пастуха, чабана в среднеиран-

[142] *В. И. Абаев.* Скифский быт и реформа Зороастра // АО. 1956. XXIV. С. 48—49.

ских и новоиранских языках, приобретшее, не без участия тюркских народов, известность далеко за пределами иранского мира.

После того как мы разобрали термин, обозначающий господина, носителя власти, уместно сказать о названии исполнителя суда этой власти, которое в некоторых западнославянских языках также было заимствовано, вероятно, из иранского.

Польск. *kat* 'палач, исполнитель судебных приговоров', известное с XV в., имело также значения 'лихо, горе, черт', представленные до сих пор в диалектах; чеш. *kat* (с XIV в.) то же, словац. *kat* 'палач'. Укр., блр. *кат* заимствовано из польского. Польское и чешско-словацкое название палача, экзекутора является, по всей видимости, старым словом, поэтому считать его жаргонным заимствованием позднего типа едва ли можно. Обычно считают его словом с неясной этимологией. Сближение с рус. *катать*, польск. *kaczać*, *kocić*, др.-чеш. *káčěti*[143] допустимо, если исходить из концепции, что слово *kat* возникло с самого начала как обозначение пыточного мастера, и притом особой специализации — колесователя. Однако наличие значения 'колесовать' у славянского глагола *katati* по меньшей мере не доказано, производное от него имя деятеля *kat* тоже не очень вероятно, кроме того, в чисто внеязыковом плане изощренная пытка на колесе, типичная для западноевропейского средневековья, попросту была, скорее всего, чужда праславянам. А засвидетельствованное практически с самого начала письменной истории польск., чеш., словац. *kat* есть основание считать термином праславянской эпохи. Мы видим в праслав. диал. **katъ*, известном только западнославянским языкам, заимствование из иранского, ср. авест. *kāθa-* 'возмездие (на страшном суде)'. Такое сближение уже выдвигал Коржинек, но он придавал ему совершенно другой смысл, видя в слав. *katъ* древнее имя деятеля с суффиксом *-t-* от и.-е. **k^{u}ei- / *k^{u}ō(i)* 'мстить, наказывать, каяться, нести наказание', откуда слав. *cěna*, *kajati sę*[144]. Внешне правдоподобное, это объяснение представляет собой, однако, весьма проблематичную гипотезу. Мы можем считаться лишь с реальным фактом наличия в славянском детерминированных вариантов упомянутой древней основы — **koi̯- / *kai̯-*. Предположение о том, что славянский сохранил еще и более древнее **ka-* без детерминатива, менее вероятно. С другой стороны, иранский, бесспорно, знает оба варианта основы, ср. авест. *kaya-* 'каяться, мстить', но *kāθa-* 'возмездие'. Иранское отношение *kā-* : *kay-* в принципе напоминает известное опять-таки в иранском отношение *pā-* : *pay-*. В обоих случаях здесь сохраняются древнейшие недетерминированные варианты основ *kā-*, *pā-*, в чем проявляется бóльшая архаичность индоиранского

---

[143] См.: Sławski II, 98—99 (с литературой); Machek. S. 195 (*kat* = *chvat*).

[144] *J. M. Kořínek* // LF. LVII. S. 347.

4. Заказ № 2419.

сравнительно со славянским. Точно так же парность вариантов *kā-* : *kay-*, *pā-* : *pay-* характерна именно для индоиранского, но неизвестна в славянском. Утверждать после этого, что зап.-слав. *kat* произведено в славянском от исконно славянского **ka-*, как это делает Коржинек, едва ли возможно. Скорее всего, мы имеем тут дело с заимствованием. Окончательная специализация значения ('палач, экзекутор') наступила в этом случае, по-видимому, уже в славянском, хотя иранское значение (авест. 'возмездие на страшном суде') содержало для этого достаточные предпосылки. В итоге здесь состоялся столь обычный в языке переход nomen actionis → nomen agentis. Интересно было бы выяснить, в каком отношении находится польск. (стар. и диал.) *kat* 'горе, несчастье', с одной стороны, к авестийскому названию возмездия (ср. р.), а с другой стороны — к преобладающему значению 'палач' в западнославянском.

Окончив выявление и анализ западнославянско-иранских лексических соприкосновений, мы можем на основании этого конкретного материала сделать некоторые общие наблюдения и выводы. Нами рассмотрены праславянские диалектные слова **obačiti*, **patriti*, **šatriti*, **dъbati*, **trъvati*, **tušiti*, **pitvati*, **žьvavъjь*, **počvara*, **rarogъ*, **gъpanъ*, **katъ*. Языки, в которых преимущественно встречаются продолжения названных слов, это — польский и чешский со словацким. Учитывая большую общность в словаре между чешским и словацким, мы оперируем, главным образом, сравнением польского с чешским. Между этими двумя компонентами выделенного нами западнославянского ареала намечаются серьезные различия. Ряд приведенных древних локальных слов отсутствует в чешском (**obačiti*, **žьvavъjь*, **počvara*). Есть указания, что этот список лакун в чешском словаре мог бы быть еще расширен и что в древности чешский характеризовался неучастием в ареалах еще большего числа слов, распространившихся в нем впоследствии. Некоторые детали такого рода можно почерпнуть из предшествующего материала. Напротив, западнославянско-иранских лексических соответствий, которые бы имелись в чешском, но отсутствовали в польском, в нашем распоряжении не оказалось. Во избежание недоразумений напомним, что под славяно-иранским лексическим соответствием мы понимаем общее инновационное развитие или близость, основанную на древнем заимствовании из одного языка в другой. Таким образом, если мы представим себе пространственное размещение западнославянско-иранских лексических соответствий, то они как бы скопляются на польской языковой территории, а на чешско-словацкой территории представлены реже. Это приводит нас к идее о периферийной позиции чешского в отношении западнославянско-иранских лексических соответствий. Периферийность чешского в указанном смысле подтверждается тем, что по некоторым особо наглядным

по своей географии формам выступают достаточно сильные южнославянские связи чешского, ср. отношения праслав. диал. **trajati* — **trъvati*, рассмотренные нами выше.

Этимология преимущественно польских слов (из них большинство этимологизируется нами заново) и интерпретация их группового свидетельства явилась одной из главных целей настоящей работы по славяно-иранским лексическим отношениям. Выявление иранских элементов или соответствий иранским формам в польском словаре было возможно, естественно, на основании доступных автору сведений о лексике иранских языков. Обобщение лингвистических показаний иранских связей привлеченных польских слов в свою очередь может представить серьезный интерес для изучения собственно иранистических проблем, прежде всего — состава словаря в большинстве своем исчезнувших иранских племен Восточной Европы. Польский материал приобретает большое значение для выводов по относительной хронологии ряда форм иранских языков. Различные иранистические проблемы, видимо, целесообразно будет решать с учетом характера иранских прототипов или родственных соответствий польских слов, например вопросы взаимоотношений архаических и новых элементов, общеиранского и восточноиранского и т. д. Определенный материал по исторической фонетике, морфологии и словообразованию иранских языков, содержащийся в анализе польских слов, может заинтересовать ираниста: история иранской группы согласных *-tr-*, вост.-иран. **ǰuv-* < **ǰīv-*, группа *db-* как отражение древнего *du̯-*, ассибиляция *-ti-* > *-c(i)*, префикс *pati-* и его отражения в польск. *poczwara* ~ лит. *áitivaras*, а в связи с этим — вопрос об эпентезе в скифосарматских диалектах. Некоторые польские формы позволяют ставить вопрос об отражении иранских глаголов на *-aya-*, что также может быть использовано иранистами [145]. Решающее значение нужно придавать свидетельствам польского материала о составе лексики в иранских диалектах-источниках. Так, польские слова, перечень которых приведен несколько выше, говорят о наличии в скифосарматских диалектах следующих слов (в порядке польского перечня): **abiāxšaya-*, **pātraya-*, **xšatraya-*, **dbaya-*, **tarvaya-*, **tuš-*, **paitva-*, **ǰuvaya-*, **pativāra* / **pacvara*, **vāragna-*, **gupāna-*, **kāta-*. Любопытно, что только единичные из этих образований — и притом не слова, а основы — дошли до нас в эпиграфических

[145] Ср. хотя бы высказывание А. А. Фреймана (Хорезмийский язык. М.; Л., 1951. С. 38): «...обращает на себя внимание (в хорезмийских текстах. — *О. Т.*) довольно большое количество некаузативных глаголов по классу на *-aya-* (*δāriyam* и т. п.); это заставит внести некоторый корректив, диалектально уточнить демаркационную линию в известной карте распределения основ на *-aya-* и *-a-* в иранских языках, согласно которой класс на *-aya-* представлен в основном западноиранскими, а класс на *-a-* — восточноиранскими языками».

остатках скифосарматского; частично их дополняют показания живого осетинского языка. Но в основном параллели этим реконструированным иранским праформам или соответствиям польских слов удавалось отыскивать в каких-либо других иранских языках (по возможности — восточноиранских), уже на значительном расстоянии от вероятных мест западнославянско-иранских контактов. Это наглядно показывает нам, как ничтожно малы наши знания реального скифского словаря.

Авторитетность польских свидетельств для иранистики в немалой степени базируется на их статусе в рамках славянского словаря, поскольку можно считать вполне вероятным, что эти польские слова относятся к числу древних элементов славянской лексики независимо от своего ограниченного распространения (праславянские лексические диалектизмы). Но в рамках западнославянского, или еще у́же — польского, рассмотренная компактная группа слов играет, бесспорно, важную роль. Здесь обращает на себя внимание лексико-терминологический состав этой «иранской» лексики и фондовый ее характер с точки зрения польского словаря в целом. Достаточно сказать, что о с н о в н ы е выражения значений 'смотреть', 'быть осмотрительным', 'заботиться', 'длиться', 'вселять надежду', 'господин', 'палач' и некоторых других приходятся в польском словаре на «иранскую» лексику (иранские заимствования или славяно-иранские родственные соответствия). Выдающееся место среди этих заимствований, схождений и интерференций занимают отражения влияний или сближений в области морально-этических представлений, религиозных верований (ср. выше этюды о польск. *raróg* и *poczwara* и еще раньше — *szatrzyć*, *trwać*). Вообще нельзя пройти мимо того факта, что большинство исследованных славяно-иранских схождений на материале польского словаря относится к терминологии духовного мира человека, ср. отличное, конкретно-бытовое значение более поздних локальных иранизмов южнославянского и восточнославянского (см. выше, разделы III и IV). Сказанное придает очевидное значение предложенным этимологиям в плане истории славянской (праславянской) культуры в ее, по-видимому, достаточно самостоятельных и оригинальных местных вариантах (проблема, не только не разработанная, но еще и не поставленная по-настоящему). Выше мы говорили также о важности западнославянских лексических свидетельств такого рода для более полной реконструкции древнеиранской дозороастровской религии, поскольку наши данные подтверждают точку зрения о том, что скифы были всегда чужды зороастризму [146], вопреки мнению некоторых славистов о скифах-зороастрийцах, общавшихся со славянами.

---

[146] См.: *В. И. Абаев.* Дохристианская религия алан. С. 2—3; *В. И. Абаев.* Скифский быт и реформа Зороастра // Цит. изд. С. 52.

Очевидно, предстоит еще работа в области дальнейшей инвентаризации новых polono-iranica [147], поскольку работу в этом новом аспекте, проделанную в нашем исследовании, разумеется, нельзя считать окончательной. В остальном данное исследование имеет смысл рассматривать в одном ряду с другими исследованиями по праславянской географии слов и диалектологии, по составу праславянского словаря [148].

Естественная в таких случаях стертость древних отношений, в частности — их пространственной картины, означает для нас затруднительность однозначных выводов, например о локализации описанных контактов. В последнее время Абаев выступил с теорией субстратного, иранского (восточноиранского) происхождения фонемы *γ (h)* в части славянских языков [149]. Он пишет по этому поводу следующее: «...ареал распространения славянского *γ (h)* точно совпадает (если оставить пока в стороне чешский и словацкий) с ареалом скифской топонимики, скифской археологии и скифских влияний в Южной России. Достаточно сказать, что этот ареал включает бассейны трех больших рек, которые до сих пор сохраняют свои скифские названия: Дон, Днестр, Днепр» (с. 117). Однако изголосса *γ (h)* < *g*, в некотором роде привязанная к очерченному району, могла реализоваться в разные эпохи разными славянскими диалектами. Иными словами, в древности это могли быть какие-то другие диалекты, а не предки все тех же украинско-(белорусско-) южновеликорусских и чешско-словацких диалектов, что и в исторический период. Сам автор, кроме того, далее указывает на то, что «фонетические изоглоссы, как показывают наблюдения, очень стойко держатся на определенной территории, в то время как этнический состав населения на этой территории может многократно меняться. Так, в Индии и смежных областях Ирана мы имеем уже несколько тысячелетий стойкий ареал церебральных согласных» (с. 119).

---

[147] Определяя группу вскрываемых соответствий как polono-iranica, мы хотели бы подчеркнуть всю недостаточность этого предпочитаемого нами (главным образом ввиду его краткости) обозначения явления или группы явлений какой-то совокупности праславянских диалектов. Из западнославянских к части случаев polono-iranica примыкает только чешский (со словацким), с другой стороны, важно иметь в виду, что в polono-iranica практически почти не участвуют серболужицкие языки, что соответствует уже полученным в других работах результатам исследования праславянского диалектного лексического состава.

[148] См. наши работы: О праславянских лексических диалектизмах серболужицкого // Серболужицкий лингвистический сборник. М., 1963; Проспект этимологического словаря славянских языков. М., 1963; О составе праславянского словаря // Доклады советской делегации на V МСС. М., 1963; Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.

[149] *В. И. Абаев.* О происхождении фонемы *γ (h)* в славянском // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964. С. 115 след.

Отказываясь пока от точной локализации выявленных польско-иранских лексических контактов, мы считали бы, однако, неразумным игнорировать более скромные и одновременно более реальные возможности заключений на основе групповых свидетельств о различной преимущественной ориентации лексики отдельных частей праславянской языковой области.

Выводы данной работы можно представить в виде тезисов:

1. В иранских лексических элементах праславянского и в древних праславянско-иранских изолексах наблюдается древнее диалектное расслоение.

2. Преимущественный характер этого расслоения и его географический аспект: наиболее древние и кучные явления приходятся не на восточнославянские языки, исторически наиболее восточные из всех славянских, а на западнославянские, точнее — часть этих последних.

3. В то время как в восточных и южных славянских языках исследование открывает в лучшем случае некоторые единичные следы связей с иранским, иногда — вторичные по своему проникновению (болг. *стопанин*) или сравнительно поздние заимствования (как в русском и украинском), а также отдельные славяно-иранские параллели и соответствия, охватывающие практически все исторические славянские языки (**svьrkъ*, **smьrkъ*), в то же время в польском словаре перед глазами исследователя предстает внушительная количественно и в большей своей части архаическая, к тому же поддающаяся убедительной этимологизации группа лексики, связанной с иранским словарем, — polono-iranica.

* * *

Публикуемая в этом томе статья Василия Ивановича Абаева посвящается 2500-летию образования Иранского государства *. Следуя этому примеру, мы посвящаем настоящие славяно-иранские заметки другой славной дате — 1000-летию Польского государства (966—1966).

Корректурное примечание. О слове *ради* см. в последнее время: *О. Семереньи.* Славянская этимология на индоевропейском фоне // ВЯ. 1967, № 4. О польск. *patrzeć* и родственных см. также: *И. Леков.* Малко известни български съответствия на западнославянски (евент. и руски) думи // Slavia Occidentalis. 1933. Т. 12. С. 138 след.

* Речь идет о сборнике: Этимология 1965. М., 1967 (*прим. ред.*).

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ФАМИЛИЙ РОССИИ

(Русские фамилии и фамилии, бытующие в России)

Речь идет о словаре, который пока не существует и к составлению которого едва ли сможет приступить в ближайшее время наша или зарубежная антропонимическая наука. Для успешного решения этой задачи отсутствует самое необходимое: корпус всех русских фамилий в их современном состоянии с элементами их истории. Возникает вопрос: целесообразно ли в таком случае вообще стремиться к достижению столь трудно досягаемого результата? Нужен ли вообще этимологический словарь русских фамилий?

Нижеследующие заметки отчасти служат ответом на этот вопрос, поэтому не имеет смысла предвосхищать ответ в самом начале, когда еще не изложена вся аргументация. Сейчас отметим лишь, что было бы, по-видимому, нетрудно счесть данный вопрос вообще праздным, однако спешить с этим не следует. Широкому кругу читателей, включая нелингвистов, известно в общих чертах, что фамилии — из всех антропонимов самые поздние образования, что русские фамилии в своем большинстве оформились совсем недавно, что это, далее, обеспечивает этимологическую прозрачность и словопроизводную регулярность очень многим русским фамилиям (при этом в голову обычно приходят действительно ясные образования, примеры которых излишни). Вышесказанное способно, вероятно, зародить сомнения в срочной необходимости создания этимологического словаря, основным объектом которого служила бы русская фамилия, если она действительно русская.

Тем не менее мы беремся решительно утверждать, что такой этимологический словарь исключительно актуален. При этом актуальна не только ко-

нечная цель — квалифицированный возможно полный справочник языковых образований, касающихся практически всех людей, пользующихся данным языком, не в меньшей степени, чем сам язык. Актуальными можно, далее, считать различные вопросы метода исследования. Считая этот вопрос чрезвычайно важным, особенно на первых порах, на подступах к теме, мы остановимся здесь на нем в двух словах. Итак, что такое «этимологический словарь русских фамилий» и прежде всего — что такое «русская фамилия»? Можно, конечно, сказать, что под русской фамилией подразумевается употребляемое в функции фамилии адъективное по своей сущности и генезису образование с формантами *-ов*, *-ин*, реже — *-ский*, *-ых*/*-их* и др. (см. ниже изложение элементов структуры русских фамилий у Унбегауна). Но если взять фамильные образования на *-ов*/*-ев* — так сказать, наиболее типичный показатель русских фамилий, — то нетрудно заметить, что он оформляет огромное множество совершенно нерусских фамильных и родовых прозваний, в частности в русской передаче (например *Абаев* — при собственно осетинском *Абайты*), а в прошлом этот аффикс как бы обеспечивал форму официального существования соответствующих фамилий (например *Фанарджев* — при армянском *Фанарджян*). Очевидно, что, даже будучи оформлены «по модели русской фамилии», эти и им подобные имена останутся нерусскими. Быть может, в таком случае дело в иноязычном, нерусском характере их основ, а отсюда, наверное, следует, что русской фамилией надлежит называть фамилию, образованную упомянутым словообразовательным способом от исконно русской основы. Однако и эта формулировка вызывает протест, может быть, в еще большей степени, чем предпосланная ей. Потому что, приняв ее, мы были бы вынуждены признать «нерусскими» немало фамилий бесспорно русских, наконец, потому, что такая ригористическая формулировка шла бы вразрез с развитием любого живого языка, нормально питающегося заимствованиями и строящего свою ономастику, антропонимию при неизбежном участии заимствованного компонента. Значит, ригористическая концепция русской фамилии не может быть признана ни правильной, ни плодотворной. Кажется, что тип русской фамилии нельзя ограничить совершенно определенными или единственными структурно-словообразовательными признаками, не обеднив при этом само понятие русской фамилии. Нельзя подходить к национальному типу фамилии и с требованием генетической однородности или чистоты. Основным при подобной квалификации фамилии должен быть, как нам кажется, критерий узуальный, к чему мы еще будем возвращаться ниже, при характеристике конкретного материала. В итоге мы не видим здесь отличий от ситуации, в которой находится, например, исследование апеллативной лексики, где пуристический подход неуместен практически в отношении всех заимствований, особенно тех из них, смысл существования которых под-

твержден размерами их употребления (ср. только что упомянутый узуальный критерий). То обстоятельство, что мы и среди фамилий находим эту общелингвистическую ситуацию, в наших глазах лишь доказывает правильность развиваемой здесь более широкой концепции как наименее искусственной.

Пуризм в подходе к фамилиям был бы попросту абсурден, и это важно иметь в виду сейчас, с самого начала, когда еще не произведена даже лексикографическая кодификация русских фамилий, а их этимологизация является делом будущего. Будущий полный корпус русских фамилий, представляющийся нам пока лишь как desideratum, должен включить много генетически украинских и белорусских образований (*Шевченко*, *Кравченко*, resp. *Кривченя*). Если нам возразят, что эти фамилии должны найти свое законное место соответственно в словаре украинских фамилий и в словаре белорусских фамилий, то, по нашему мнению, предмет для споров здесь отсутствует. С равным основанием эти генетически нерусские, но исторически привившиеся на русской почве фамилии займут свое место в словаре русских фамилий. Может быть, эти и многочисленные другие инородные включения побуждают к пересмотру наших традиционных пониманий типа русской фамилии, знаменуют, наконец, неуклонную эволюцию самого этого типа к какому-то пока еще не выясненному результату. В таком допущении нет ничего противоестественного, напротив, история самих русских фамилий знает глубокие изменения структуры и состава. Но вернемся к констатации исторической естественности такого факта, как присутствие во многих случаях одних и тех же фамилий в словаре русских фамилий, в словаре украинских фамилий и словаре белорусских фамилий. Нас не должны также удивлять факты наличия одинаковых фамилий в словаре русских фамилий и в словарях немецких, французских, американских фамилий, хотя на сей раз речь идет о несравненно более отдаленных странах с резко отличными антропонимиями. Пример этот поучителен еще и потому, что в то время как восточнославянских словарей фамилий мы по-прежнему пока не имеем, словари и работы Брехенмахера, Доза, Смита и др. хорошо представляют немецкие фамилии, а также фамилии жителей Франции и США. Так, фамилию *Блок*, например, нельзя будет исключить из числа русских фамилий, столь же закономерно ее присутствие в составе немецких, французских фамилий (варианты *Block*, *Bloch*, ср. также об этом ниже). Не менее естественно и то, что среди американских, французских, немецких, русских фамилий находится фамилия *Шапиро* с ее многочисленными вариантами (им всем мы посвятим больше внимания далее).

Мы не стремились, таким образом, упростить реальной сложности отношений. Усомнившись в возможности дать строгое определение типа современной русской фамилии, а также в справедливости традиционных воззрений

на сущность русской фамилии, мы не скрываем того, что современная картина нам во многом еще неясна и что она более чем когда-либо нуждается в специальном изучении. Однако суть этих сомнений скорее конструктивна, чем деструктивна, она состоит в сознании необходимости более емких рамок привлечения и исследования материала. Эти рассуждения привели нас к той постановке проблемы, которая нашла выражение в заглавии данной статьи, где говорится об этимологическом словаре фамилий России, который будет заключать исследование русских фамилий и фамилий, бытующих в России. Полагая, что тем самым мы уже ответили на вопрос, «что такое этимологический словарь русских фамилий?», мы думаем, что этот последний так же закономерно должен включать фамилии вроде *Шапиро* или *Куинджи*, как, например, этимологический словарь французских фамилий невозможен без фамилии *Дрейфус*. Словарь, который может быть получен в результате осуществления излагаемой здесь более широкой концепции, должен быть назван не этимологическим словарем русских фамилий, а полнее — этимологическим словарем фамилий России, подобно тому, как уместно назвал этимологическим словарем фамилий Франции свой труд Доза, чей опыт мы охарактеризуем ниже более подробно.

Фамилии России — как собственно русские фамилии (мы не находим нужным заменять этот традиционный термин, хотя и обратили выше внимание на случаи условного его употребления), так и фамилии, устойчиво бытующие в России — представляют собой ценнейший и неисчерпаемый по богатству материал для изучения межъязыковых и международных контактов. Этим объясняется помещение настоящей работы в данном томе «Этимологии», посвященном в значительной степени географическому аспекту этимологии и межъязыковым контактам в проблематике происхождения слов различных языков. Лингвистический материал, объединяемый фамилиями России, содержит много интересного для этимологии и выяснения географических сфер взаимовлияния широкого круга языков. Занятия фамилиями России неизбежно уводят исследователя в большом числе случаев за пределы собственно русской проблематики и русского материала. Изучение иноязычной лексики при этом необходимо не в меньших размерах, чем при этимологических исследованиях апеллативной лексики. Вместе с тем обращение к ономастике, антропонимии других языков, полезное и желательное также и в апеллативной этимологии как дополнительный источник материала, приобретает здесь значение основного материала, особенно если вспомнить общепризнанную в настоящее время целесообразность предпочтительного непосредственного сравнения языковых образований одного уровня, т. е. гидронимов — с гидронимами, антропонимов — с антропонимами, при меньшей ценности прямого соотнесения, скажем, антропонима одного языка и апелла-

тива другого языка. Сказанное делает очевидным значение антропонимии других славянских языков при изучении русской антропонимии, русских фамилий. Ниже мы коснемся различных известных нам источников по фамилиям славянских стран. К сожалению, и лучшие из них далеки от желаемой полноты. Далее, несмотря на заметные успехи прежде всего польской и чешской антропонимии, этимологические словари фамилий отсутствуют до сих пор в Чехословакии и Польше, не говоря о других странах (хотя, например, ономастика в целом успешно развивается также в Болгарии). Следовательно, уже на первых шагах своих поисков аналогичных опытов по другим славянским языкам мы сталкиваемся с фактической неразработанностью материала и вынуждены поэтому искать дальше, не переставая надеяться на то, что когда-нибудь будут созданы этимологический словарь фамилий Польши, этимологический словарь фамилий Чехословакии и такие же труды по фамилиям южнославянских народов.

Гораздо большими успехами ознаменовано изучение национальной антропонимии, фамилий в ФРГ, ГДР и Франции. Что касается немецких фамилий, то нас здесь в первую очередь интересует «Этимологический словарь немецких фамилий» И. К. Брехенмахера [1], выросший на базе его же собственных многолетних исследований по немецким родовым именам. Этот капитальный труд, насыщенный огромным историческим материалом, ценен также как воплощение уникального опыта изучения фамилий. При каждой фамилии в словаре даются сведения из памятников письменности, что придает словарю большую документальную ценность. В основу словаря Брехенмахера легли свыше 100 тыс. извлечений из памятников и документов. Часто дается география фамилии, этимологизируемой в словаре. Интерес представляет, в частности, изложение мыслей о принципах работы с фамилиями в вводном разделе труда: «Почти все родовые имена (Sippennamen), которые имеют касательство к истории культуры, нуждаются в специальной монографии» (Zum Geleit. S. XI). «Мы можем прежде объяснить фамилию только по звуковому облику и опереться при этом на всеобщие этимологические законы; но напасть на верный след этимология имени может лишь тогда, когда мы знаем, где это имя сложилось» (Там же).

Словарь, в общем избегая откровенно ненемецкие образования, тем не менее включает ряд фамилий славянского происхождения, латинизированные фамилии эпохи Гуманизма и другие подобные иноязычные компоненты. Например: *Bailly* (франц.), *Bartni(c)k*, *Bartnicki*, *Bednař*, *Bednarsch*, *Beranek*,

[1] *J. K. Brechenmacher.* Etymologisches Wörterbuch der deuischen Familiennamen. Bd. I. Lief. 1—10 (A—J). Limburg a. d. Lahn, 1957—1960; Bd. II. Lief. 11—18 (K—S), 1961—1962.

Piaskowsky, *Piontek*, *Pokorny*, *Borkowski*, *Wentzlaff* (славянские, главным образом чешские и польские), *Nagy* (венг.). Обращает на себя внимание в общем немалое количество чисто литовских фамилий, включенных Брехенмахером в словарь немецких фамилий: *Baltruschat*, *Davidat*, *Davideit* и др. Их носители обычно документируются по письменным свидетельствам, вполне понятно, на восточных окраинах бывшей Германской Империи. Словарь содержит много данных, которые при внимательном чтении не могут не обратить на себя внимания слависта — этимолога и ономаста. Так, например, любопытно, что немецкая фамилия *Börs*, *Börsch* представляет собой краткую форму *Boris*, славянское личное имя, которое, оказывается, было широко распространено в Западной Померании (Поморье) — древней славянской области — еще в XIII—XIV вв., ср. *Boriz* под 1176 г. Равным образом там же и в ту же эпоху было распространено имя *Borislav*, которое автор правильно квалифицирует как полную форму имени *Boris*. Эта точка зрения, известная в славистической науке, но оспариваемая часто в пользу тюркской, дунайско-булгарской этимологии имени *Борис*, получает сильное подкрепление именно благодаря факту древнего парного существования полной и краткой форм на одной территории у части славян, практически никогда не знавшей никаких тюркизмов.

Помимо прямой пользы от изучения материалов данного неславянского этимологического словаря фамилий для славянской антропонимии, для этимологии русских фамилий, еще большую пользу следует ожидать от таких параллельных штудий также и для изучения типологии русских фамилий. Ср., например, интересное сходство, которым в наших глазах обладают немецкие фамилии типа *Polterian*, *Guderian*, *Rodrian* и русские фамилии типа *Черноиванов* и подобные, о которых будет подробнее сказано в своем месте ниже.

Словарь Брехенмахера построен весьма оригинально. Нужную фамилию в нем не всегда легко сразу отыскать из-за того, что в нем в полной мере отражена и использована немецкая языковая черта — характерное нечеткое различение звонкости—глухости, ср. хотя бы порядок расположения этимологически родственных форм на *p-* (часто — баварские) и на *b-* вперемежку друг с другом, в первых частях словаря. К числу недостатков данного словаря мы отнесли бы лаконичность этимологизации, а подчас слабость ее или вообще нередкое отсутствие этимологии, т. е. случаи, когда статья ограничивается документацией и первой датой употребления. Речь, разумеется, не идет при этом о трудных случаях, где такая практика заслуживала бы лишь похвалы. Иногда ощущается узость германской сравнительной базы, например для немецкой фамилии *Böswort* / *Bößwort* было бы полезно дать хотя бы английскую параллель. Несмотря на монументальность, труд Брехенмахера обнаруживает и важные пропуски, простительные ввиду необъятности материала.

В этом словаре нет, например, фамилии *Forbes* — немецкого преобразования славянского местного названия чешского типа *Borovas*, беспредложный локатив множественного числа от названия группы жителей или единоплеменников *Borovane* (В. Н. Топоров приводит в своем известном труде «Локатив в славянских языках» [М., 1961. С. 146], говоря о следах беспредложного местного падежа в чешском, только форму *Borkovaz*, под 1209 г., из «Regesta diplomatica»).

Другим замечательным словарем фамилий является принадлежащий перу А. Доза «Этимологический словарь фамилий и имен Франции» [2]. Будучи к моменту создания этого словаря автором ряда важных работ по французской антропонимии и топонимии, Доза известен также как виднейший специалист по истории, диалектологии и этимологии французского языка. Нужно признать, что эта широта интересов отразилась и на облике его этимологического словаря фамилий, в ряде моментов выгодно отличая его от аналогичного только что охарактеризованного нами выше труда Брехенмахера по немецким фамилиям. По объему и полноте словарь Доза уступает словарю Брехенмахера, так как содержит около 30 тыс. фамилий и имен (с вариантами), более скупо дается и документация из исторических и архивных источников, практически отсутствует датировка появления фамилии. Доза ограничивается локализацией, указанием на происхождение и первоначальное значение фамилии, т. е. ее этимологию. Впрочем, не оставляет никаких сомнений то, что сам автор был во всеоружии всех необходимых исторических сведений, хотя и не счел нужным включить их в данный словарь. Автор сознательно трактует это издание как краткий вариант этимологическою словаря фамилий Франции. Для нас поучительны рисуемые им более широкие перспективы возможного количественного охвата фамилий, скажем, такой страны, как Франция. Согласно Доза (Introduction. P. VII), всего в романской Франции предполагается не менее 80 тыс. фамилий; это число затем пришлось бы удвоить, включив баскские, бретонские, фламандские, эльзас-лотарингские (немецкие) фамилии.

Если мы, отвлекшись на короткое время от описания словаря Доза, попробуем использовать только что названные цифры, а также аналогичные сведения из словаря Брехенмахера для суждений о возможном объеме соответствующего русского материала, то прогностические суждения на этот счет могут быть следующими. Антропонимическое богатство немецкого народа, насчитывающего свыше 70 млн. чел., представлено в словаре Брехенмахера — разумеется, с неизбежной неполнотой — сотней тысяч фамилий, в

[2] *A. Dauzat.* Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France. Paris, 1951.

то время как для носителей французского языка, насчитывающих в Европе около 50 млн. чел., называется теоретическая цифра около 160 тыс. фамилий. Наблюдая уже на этих примерах крайнюю неуточненность — в основном по причине недостаточной информации, — мы могли бы, однако, принять определенную тенденцию к прямой пропорциональности в отношениях между числом представителей нации и числом фамилий (хотя существуют также данные, заставляющие учитывать влияние характера культуры, особенностей цивилизации и истории на большее богатство, разнообразие или же, наоборот, на большую однородность состава существующих фамилий). Можно высказать пока только предположение, что полное число русских фамилий, принимая во внимание также и то, что русская нация давно перевалила за 100 млн., составит не менее 100 тыс. фамилий.

«Этимологический словарь фамилий и имен Франции» Доза заслуживает самого пристального внимания как по своему методу, так и по своему фактическому, этимологическому содержанию. Доза кратко знакомит читателя с собственным исследовательским опытом этимолога-антропонимиста в предисловии к словарю, и высказываемые им там простые и ясные мысли заслуживают того, чтобы их повторить лишний раз. «Для того чтобы найти этимологию фамилии, нужно сначала локализовать ее происхождение. При отсутствии документов часто достаточно показаний фонетики и лексикологии для того, чтобы определить район возникновения, но это бывает не всегда точно. Этот критерий безошибочен, когда он действителен; он информирует нас о таких миграциях фамилий, о которых их носители не догадываются» [Introduction. P. XVII]. Тому, кто занимается этимологией фамилий России, эти слова скажут много, потому что он слишком часто столкнется с отсутствием документов и при этом в своей работе должен будет полагаться практически на одни фонетические и словообразовательно-лексические критерии, утешаясь тем, что в случае их истинности полученная на их основе этимология будет иметь особенное значение не только в лингвистическом, но и в культурно-историческом отношении.

Сравнительно краткий словарь Доза включает тем не менее немало фамилий нефранцузского происхождения. Прежде всего это немецкие (эльзас-лотарингские и др.) фамилии. Любопытно практически полное отсутствие фамилий славянского происхождения, богато представленных в словаре Брехенмахера. С другой стороны, труд Доза содержит очень много еврейских фамилий как ашкеназских (немецкого происхождения), так и произведенных из личных имен и прочих элементов древнееврейского, арамейского происхождения. В этом смысле словарь Доза очень полезен как прямой фактический справочник при исследовании состава фамилий России, и он был нами с благ.рностью использован как таковой. В связи с этим мы видим возмож-

ность высказать здесь попутно маленькую фактическую поправку по одному такому случаю. Речь идет о фамилии *Barnathan*, которую автор кратко характеризует: «Кажется, представляет собой сложение имени *Nathan* и какого-то темного элемента» [Р. 27]. В действительности перед нами совершенно ясная еврейская фамилия, ивритская по типу, с внутренней формой 'сын Натана', образованная с помощью арамейского элемента *bar* 'сын', ср. др.-евр. *ben* то же. Ашкеназско-еврейским синонимом упомянутой фамилии служит *Natanson*, *Nathanson*, известное также Доза (Р. 448), ср. бытующее и у нас *Натанзон*, *Натансон*, построенное уже из элементов идиша. Ниже мы еще встретимся с близкими отношениями фамилий-синонимов.

И бесспорно, как и в других подобных случаях, немало ценного, проясняющего характеристику отношений и типов фамилий России дает чтение Доза в плане типологии фамилий, к чему мы также еще обратимся в дальнейшем. Более специфические и сложные параллели из этого словаря уместнее использовать в связи с рассмотрением конкретных вопросов русского материала фамилий. Здесь можно ограничиться указанием на одну несколько специальную параллель, как бы предполагающую элементарную общность культурного контекста, ср. рус. *Третьяков*: *третьяк* (обл., диал.) 'третий по счету' или 'трехгодовалый' при франц. *Tiers*, *Thiers*, букв. 'третий (ребенок в семье)', 'владелец трети имущества'; к более общим параллелям использования лексико-семантического фонда при фамилиеобразовании относятся случаи франц. *Pasteur* — рус. *Пастухов*, *Perdrix* — *Куропаткин*, *Куроптев*, *Pie* — *Сорокин*.

* * *

В нашу задачу не входит решать здесь вопрос о лингвистическом положении фамилии; тем более нет надобности повторять о фамилии то, что можно о ней сказать как о собственном имени вообще; и то и другое представляют собой, так сказать, лингвистический знак во второй степени. Вместе с тем отличие фамильного имени от обычного личного имени состоит как правило в самобытности, не стесненной канонизацией, а также в том, что своей нередко ярко выраженной знаковости, асемантичности современная фамилия достигла в конце истории, началом которой служила, по всей вероятности, как раз тесная соотнесенность обозначения и обозначаемого, яркий смысл, поиски которого вполне оправданы при этимологизации фамилий.

Ниже подробно говорится о типе, структуре и составе фамилий России, которым в начале статьи нами были посвящены только пока предварительные замечания и уточнения дефиниций. Пока мы еще не приступили к более детальному рассмотрению русского и примыкающего к нему материала, бу-

дет нелишним обратить внимание на тот факт, что итогом культурно-исторической и языковой эволюции, длившейся в каждом языке столетия, общим достоянием европейской цивилизации, объединяющим народы совершенно разной языковой принадлежности, явилось в общем более или менее единое понятие фамилии, выработанное, как правило, независимо, параллельно в разных странах при общем сходстве ситуаций и эволюции. Влияния касаются здесь обычно частностей, фрагментов, тогда как принципиальные сходства правильнее объясняются параллелизмом и внутренними причинами. Поэтому к фамилиям разных народов применима некая общая классификация: 1) фамилии из крестных имен; 2) фамилии от названий профессий; 3) фамилии от местных названий (название деревни, поместного владения); 4) прозвища в качестве фамилий [3]. Эта классификация, указывающая главные категории, может удовлетворить в общих чертах исследователя практически любой европейской национальной антропонимии. Однако было бы неверно думать, что все категории в разных антропонимиях заняты равномерно, более того, будет ошибкой мнение, что все эти категории одинаково свойственны каждой антропонимии. Располагая сейчас только данными и наблюдениями, почерпнутыми из литературы и лишь частично проверенными лично, мы можем высказать мнение, что упомянутая выше классификация в конечном счете лучше всего соответствует составу и происхождению французских, английских, немецких фамилий. Из славянских она вполне подойдет для польских и чешских фамилий. Что касается русских фамилий (в довольно узком, традиционном смысле), то в них полно представлены будут 1), 2) и 4) категории, а 3) категория (фамилии от местных названий) будет представлена крайне специфично. При этом в старом фонде фамилий мы этой категории практически почти не найдем, кроме немногочисленных старинных дворянских фамильных прозваний, а в более новом фонде фамилий производные от местных названий носят слишком очевидную печать новых фамилий духовных лиц. Впрочем, среди относительно недавно документированных фамилий может встретиться даже довольно много образований от местных названий, но это обычно уже будут еврейские фамилии географического происхождения, довольно существенный разряд фамилий России, которого мы еще коснемся. Подобное конкретное варьирование классификационных составов фамилий относительно некоего наиболее полного и общего состава вроде описанного выше дает в руки существенный критерий определения происхожде-

---

[3] См.: *A. Vallet*. Notes sur la méthode de l'anthroponymie et sur les dictionnaires de noms de personne. Communication au Congrès International d'onomastique de Florence (1961) // RIO. XIII. № 4. 1961. P. 287; *G. M. Moser*. Portuguese family names // Names. Vol. VIII. № 1. 1960. P. 30 и след.

ния фамилии, например позволяет высказать довольно твердое суждение, что фамилия *Варшавский* не может быть старой русской фамилией, еще до того как прослежена со всей полнотой документальная история этой фамилии. Но о подобных примерах — ниже.

Совершенно очевидно, что заниматься русскими фамилиями сколько-нибудь эффективно нельзя, не ознакомившись с опытом славянской и русской антропонимии в целом, которая, правда, еще не создала этимологических словарей фамилий, как нам уже пришлось констатировать, но насчитывает отдельные более или менее успешные разработки. У истоков научной славянской антропонимии, как, впрочем, и топонимии, стоят труды Миклошича[4], опубликованные практически сто лет назад, но не утратившие своего значения и по сей день. Можно оценить их широкую, общеславянскую направленность, которая, правда, страдала от недостаточности материала, известного и собранного тогда еще в меньшей степени, чем теперь, когда мы по-прежнему считаем эту основную задачу сбора невыполненной. Примерно в те же годы, что и ономастические труды Миклошича, М. Морошкин выпустил в России собрание славянских личных имен[5] — труд, подчас несправедливо забываемый ныне и вместе с тем в ряде отношений замечательный. Такой авторитет современной славянской и польской ономастики, как Ташицкий, признает, что именослов Морошкина богаче, чем «Personennamen» Миклошича, и охватывает более широкий круг источников. Но, конечно, не следует забывать, что филологические особенности книги Морошкина, в частности манера подачи материала, подчас далеки от научных требований, что обязывает нас к осторожному и критическому использованию его данных. Тем не менее современный исследователь антропонимии, в частности фамилий, образованных от личных имен, не может пройти мимо этого богатого собрания материала. Некоторые данные, использованные нами также ниже, почерпнуты из Морошкина.

Бесспорно крупным событием в истории славянской антропонимии был выход в свет в 1903 г. «Словаря древнерусских личных имен» Тупикова[6], осуществленный под наблюдением А. И. Соболевского, который сам неизменно проявлял в разной форме интерес к русской антропонимии. Вся последующая история русской антропонимии не дала более крупного или хотя бы

[4] Ср. неизмененное более позднее переиздание: *F. Miklosich*. Die slavischen Personen- und Ortsnamen. Heidelberg, 1927.

[5] *М. Морошкин*. Славянский именослов, или Собрание славянских личных имен. СПб., 1867.

[6] *Н. М. Тупиков*. Словарь древнерусских личных собственных имен // Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. Т. VI. СПб., 1903.

столь же обстоятельного труда, как названный выше словарь Тупикова. Впрочем, вся славянская антропонимия в целом никогда не была особенно богата фундаментальными разработками и квалифицированными изданиями материала, даже если иметь в виду страны, добившиеся здесь заметного успеха, как, например, Польша. Здесь заслуга неуклонного развития антропонимии принадлежит прежде всего Ташицкому, который, начиная с 1920-х гг., плодотворно работает в этой области. Перу этого ученого принадлежит словарь древнейших польских личных имен, серия статей о польских именах и фамилиях [7]. Многолетняя работа в области собирания старопольской антропонимии, возглавляемая Ташицким в Кракове, получает свое завершение в широко задуманном словаре старопольских личных имен, который начал выходить из печати в 1965 г. [8] Из трудов последних лет в Польше можно назвать книгу Карплюк о славянских женских именах [9]. Уже многие годы в Польше издается специальный журнал «Onomastica», где освещаются также вопросы антропонимии. Польские лингвисты-ономасты периодически обращаются к изучению проблематики русской, в том числе древнейшей антропонимии. Представитель старшего поколения польских ономастов Роспонд выступил, например, недавно со статьей «Структура и классификация древневосточнославянских антропонимов (имена)» [10], которая импонирует широтой охвата проблем и в общем правильно выделяет актуальные аспекты исследования древнерусских имен (типология личных имен древней Руси, вопросы субституции, филологический анализ, семантика антропонима и др.), но, с другой стороны, не лишена недостатков в этимологической части. Так, мы не без удивления читали в этой статье толкования имени *Волосъ* как гипокористической формы от *Володимиръ*, *Володиславъ*, этимологии *Игорь* < *i-ti*, *Ольгъ* < **lьg-* 'легкий', которые, коротко говоря, едва ли знаменуют прогресс в этимологической антропонимии. Не менее странны стремления автора определить имя *Кий* как комбинацию Нестора. Как иначе можно объяснить вост.-слав. *Киев* и его многочисленные инославянские соответствия, если не из принадлежностной формы от данного вполне реального имени-прозвища?

Заслуживает внимания выпускаемый в Чехословакии с 1960 г. «Бюллетень Топонимической Комиссии» [11], издаваемый ведущими ономастами Чехословакии В. Шмилауэром и Я. Свободой. О трудах последнего мы еще

---

[7] *W. Taszycki.* Najdawniejsze polskie imiona osobowe // *W. Taszycki.* Rozprawy i studia polonistyczne. 1. Onomastyka. Wrocław; Kraków, 1958.

[8] Słownik staropolskich nazw osobowych / Pod redakcją i ze wstępem W. Taszyckiego. T. I. Zesz. I (*A — Bierwołt*). Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965.

[9] *M. Karpluk.* Słowiańskie imiona kobiece. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1961.

[10] ВЯ. 1965, № 3. С. 3 след.

[11] Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. Praha.

скажем ниже, что касается Шмилауэра, то он из номера в номер публикует свои периодические «сотни ономастических аннотаций», которые содержат немало данных по антропонимической литературе и очень помогают в работе. Много работал над вопросами славянской антропонимии выдающийся немецкий славист М. Фасмер (1886—1962), который, правда, не оставил обобщающего труда, но и в своем русском этимологическом словаре и в многочисленных статьях в разных журналах опубликовал множество новых данных и наблюдений по русским и славянским личным именам и фамилиям [12]. Вопросам антропонимии уделяли внимание и ученики Фасмера [13].

Постоянное внимание, в частности, к русской антропонимии характеризует Унбегауна, ср. прежде всего его опыт критической библиографии на эту тему [14], сжатое, но очень полезное пособие, охватывающее ряд статей и материалов малоизвестных авторов в разных русских и зарубежных изданиях. Там же дается краткая характеристика более крупных известных работ, упоминаемых также в нашей статье. Заметной публикацией последних лет является книга шведской исследовательницы Беклунд о новгородских личных именах [15], к которой нам еще придется обращаться по конкретным вопросам ниже. Эту работу отличает необычайная акрибия и основательность. Остается только пожалеть, что Беклунд ограничилась двумя десятками самых употребительных имен.

Современная русская литература по русской антропонимии крайне небогата. Если вести речь только о научных разработках, то это почти исключительно публикации ученых старшего поколения — Ляпунова, Чернышева, Селищева [16]. Известная посмертная публикация Селищева о русских фамилиях, именах и отчествах в немалой степени тяготеет по содержанию к дальнейшей части нашей статьи. Автор стремился продумать в деталях историческую эволюцию своего материала. Из недостатков, которые в немалой степе-

---

[12] См. библиографию работ Фасмера в сборнике в его честь: Festschrift für Max Vasmer. Berlin; Wiesbaden, 1956.

[13] *M. Woltner*. Zur Frage der Behandlung westeuropäischer Personennamen in Rußland // Festschrift fur M. Vasmer. S. 570.

[14] *B.-O. Unbegaun*. Où en sont les études d'anthroponymie russe. Bibliographie critique // RIO. II. № 2. 1950. P. 151 след.

[15] *A. Bæcklund*. Personal names in medieval Velikij Novgorod. I. Common names. Stockholm; Uppsala, 1959.

[16] *V. I. Černyšev*. Les prénoms russes: formation et vitalité // RES XIV. 1934; *В. И. Чернышев*. Несколько замечаний об украинских и русских личных именах // Мовознавство. Т. VI. Київ, 1948; *А. М. Селищев*. Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ // Уч. зап. МГУ. Вып. 128. Труды кафедры русского языка. Кн. 1. М., 1948. С. 128 след.

ни нужно отнести за счет чернового, незаконченного характера работы, назовем отсутствие географического плана, неиспользованным остался и инославянский материал. За вычетом этих работ, остаются книги и статьи популярного характера, появляющиеся в последнее время [17].

Более непосредственным образом из всех разновидностей личных имен нас, естественно, интересует состояние изучения фамилий — русских и прочих славянских. Здесь целесообразно остановиться на наиболее важных монографиях и статьях, существенных для изучения фамилий в историческом и компаративном плане. Основной монографией по польским фамилиям остается книга, которую написал этнограф Быстронь [18]. Польские фамилии, по наблюдению Быстроня, не образуют особой грамматической категории. Основной их классификацией он считает тройственную: 1) фамилии-прозвища, 2) фамилии от имен, 3) фамилии от местных названий. Существенным для польской действительности является замечание автора о ненаучности популярной сословной классификации польских фамилий, поскольку все известные типы фамилий могут быть встречены и среди старого дворянства. Полезны наблюдения над динамикой отдельных типов фамилий, например ни с чем не сравнимая экспансия «дворянских» фамилий на *-ski*. Кое-какой (правда, недостаточный) материал находим в этой книге об иноязычных включениях в составе польских фамилий (восточнославянские, литовские, немецкие, западноевропейские, еврейские, татарские фамилии). Немало статей по польским фамилиям опубликовали в разное время крупнейшие польские языковеды Нич [19] и Ташицкий [20] .

---

[17] *Л. Успенский.* Ты и твое имя. Л., 1962; *А. В. Суперанская.* Как вас зовут? Где вы живете? М., 1964; *А. А. Угрюмов.* Русские имена. Вологда, 1962; *Н. А. Петровский.* О словаре русских имен // РЯШ. 1953, № 3. С. 85; *Н. А. Петровский.* Еще раз о словаре русских имен личных // РЯШ. 1956, № 5. С. 115—117; *С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзяткiвська.* Словник власних iмен людей (українсько-росiйський i росiйсько-український). 2 вид. Київ, 1961. — Если иметь в виду источники по изучению имен, то отчасти ими могут служить различные издания православных церковных календарей.

[18] *J. St. Bystroń.* Nazwiska polskie. Wyd. 2. Lwów; Warszawa, 1936.

[19] *K. Nitsch.* O nazwiskach tzw. «polskich» i «szlacheckich» // JP VI. 1921. S. 116—120; *K. Nitsch.* Trudne nazwiska // JP. XVI, 1931. S. 48—50; *K. Nitsch.* Pogadanki o imionach i nazwiskach. I // JP. XXVI, 1946. S. 150—152; *K. Nitsch.* II. Nazwiska od ptaków i potraw // JP. XXVIII, 1948. S. 52—53.

[20] *W. Taszycki.* Pochodzenie nazwiska Żeromski // JP. XIV, 1929. S. 97 след.; *W. Taszycki.* Najpierw imię, potem nazwisko // Poradnik Językowy. 1949. Zesz. 3. S. 22; Bibliografia onomastyki polskiej (do roku 1958 włącznie) / Opracował W. Taszycki przy współudziale M. Karasia i A. Turasiewicza. Kraków, 1960 (: c. 62—92: Nazwy osobowe. a) Imiona, nazwiska, przezwiska).

За последние несколько лет в Чехословакии вышли две важные монографии по чешским фамилиям Свободы и Бенеша. Книга Свободы [21] рассматривает несколько специальный аспект: чешские фамилии в их отношении к древнечешским личным именам. Книга Бенеша [22] ставит перед собой более широкие задачи совокупного рассмотрения современных чешских фамилий в свете их истории, географии, словообразования, структурной и семантической классификации, частоты употребления. Очень интересно, в частности, как некая свободная типологическая параллель, полезная для использования в исследовании русских фамилий, то, как автор решает вопрос типа чешской фамилии с учетом чешской языковой и международной исторической ситуации: «Чешскими фамилиями я считаю фамилии, образованные чехами из чешских или заимствованных слов. (Фамилии, образованные из заимствованных слов, иногда по незнанию истории языка и возникновения родовых имен, а также истории производства считаются нечешскими именами.) Чешскими фамилиями считаю я и имена, возникшие в инонациональной среде, но приспособленные к чешскому произношению или оформленные чешскими суффиксами, или же приспособленные к типам чешских имен. К числу наших фамилий принадлежат и латинские и греческие имена эпохи Гуманизма. Было бы неверно не считать нашими фамилиями имена, возникшие из средневерхненемецких названий наших укреплений и городов соответствующей эпохи» (S. 5). В основу собраний автора положен материал адресного справочника города Праги. Широко использованы письменные памятники и архивные документы, воссоздающие историю фамилии. Из книги Бенеша мы узнаем, что еще в XVI в. даже в развитой Чехии широкие слои народа не имели устоявшихся фамилий, лишь XVII в. принес стабилизацию.

Свой исследовательский метод автор основывает на сочетании архивной документации и критического лингвистического анализа. Бенеш, между прочим, указывает и на необходимость обращения к словарям других славянских языков при объяснении некоторых чешских фамилий. Как увидим ниже, это правило не менее справедливо и для русского материала.

Фамилии южнославянских народов разработаны еще очень слабо. Наиболее известна работа хорватского языковеда Маретича об именах и фамилиях хорватов и сербов [23]. Из нее видно, с какими трудностями сталкивается исследователь сербохорватской антропонимии. Своеобразный культурный архаизм — текучесть фамилий, их смена из поколения в поколение — еще до

[21] *J. Svoboda.* Staročeská osobní jména a naše příjmeni. Praha, 1964.

[22] *J. Beneš.* O českých příjmeních. Praha, 1962.

[23] *T. Maretić.* O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba // Rad. Knj. LXXXI. 1886. S. 81 след.

конца XVIII в. сохранялся в сербской народной среде, тогда как в Хорватии, Славонии, Далмации, Черногории, Герцеговине значительно раньше утвердился «европейский» обычай стабильной фамилии. Маретич констатирует известный факт, что сербохорватские фамилии — это преимущественно фамилии на *-ić*, но обращает внимание на то, что только элемент *-ov-*, а не *-ić* делает имя фамилией (об этом полезно вспомнить ниже, когда речь пойдет о структуре русской фамилии); прочие элементы, оформляющие фамилии, сами по себе как правило деминутивны (*-ić*, *-ac*).

Исследование белорусских фамилий активизируется лишь в самое последнее время. Оно, бесспорно, чрезвычайно важно также в интересах углубленного изучения собственно русских фамилий. Здесь в первую очередь надо назвать работу Бирилло[24], который основывается на лично собранных в течение многих лет в условиях полевой работы белорусских фамилиях (свыше 17 тыс.). Белорусские фамилии формируются, в основном, с первой половины XVII в. и происходят, в основном, из отчеств. Этому предшествует фамилия-прозвище (XV—XVII вв.). Задачи изучения белорусских фамилий литовского и тюркского происхождения автор считает самостоятельными и в данной работе не рассматривает, хотя речь идет о чем-то чрезвычайно взаимосвязанном и тесно переплетенном. Так, по крайней мере часть белорусских фамилий типа *Бірыла* (*Бирилло*), *Гастэла* (*Гастелло*) обязана, видимо, литовскому влиянию, литовскому образцу своим возникновением, ср. хотя бы такое древнее и авторитетное имя, как лит. *Jogaila* и его славянский дублет — польск. *Jagiełło*, которые могут лежать у истоков такого антропонимического процесса (не говоря об иных возможных литовских образцах типа *Montvyla* и др.). Едва ли можно сбрасывать со счетов литовское влияние и для белорусских фамилий типа *Лабейка* (ср. также рус. *Воейков*). Ср. литовскую фамилию *Budreika*. Но сам автор думает, по-видимому, иначе, ср. с. 23, 25 его труда. Вместе с тем очень ценен опыт лингвистической географии белорусских фамилий — дело, достойное изучения и подражания. Фамилии на *-оў* (*-ов*) преобладают главным образом на Востоке Белоруссии, на *-овiч/-евiч* возрастают количественно к Западу. Весьма полезны словообразовательные и статистические наблюдения Бирилло, стремление осмыслить оригинальность белорусской антропонимии на родственном славянском фоне (ср. белорусские фамилии на *-еня*, неизвестные другим славянским). Вопросами белорусской антропонимии, в частности фамилиями, занимается довольно активно Гринблат, и ниже у нас еще будет возможность упомянуть его труды, правда, они уступают по уровню работе Бирилло и ведутся в ином плане.

---

[24] *М. В. Бірыла*. Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў (рускай, украінскай, польскай). Мінск, 1963.

На Украине и за границей ведется работа по исследованию фамилий украинского народа, правда, мы еще не имеем обобщающих и полных работ на эту тему. Ср. статьи Редько, Николаенко и др.[25], обзор литературы по украинским фамилиям начиная с конца XIX в. Борщака[26]. Борщак дает беглый перечень словообразовательных типов украинских фамилий, но при этом допускает немалую оплошность, пропустив фамилии на *-ів/-ов*, ср. хотя бы закарпатское *Тимків*, приводимое у Николаенко. Другой грубый промах Борщак допускает, интерпретируя фамилии на *-хно* как производные от глаголов, т. е. *Брахно* — от *брати*, *Махно* — от *махнути*, *Пихно* — от *пихнути*, *Сахно* — *сахнути*... Украинисту-антропонимисту следовало бы знать, что эти фамилии возникли как гипокористики от личных собственных имен (ср. также ниже).

Работа над изучением русских фамилий велась без какой-нибудь системы, со значительными перерывами и без должной интенсивности. Хорошее библиографическое введение в историю этих разработок, особенно что касается старых работ, дает Унбегаун в критико-библиографическом обзоре, упоминавшемся выше, в примеч. 14. Из старых работ, безусловно, заслуживает упоминания яркое, богатое материалом, хотя и не лингвистическое, а скорее культурно-социологическое исследование Карновича[27], которое привлекается далее и нами в конкретных этюдах. Нельзя оставить без внимания наблюдения Карновича над оригинальными отличиями русских дворянских фамилий от западноевропейских, над иноязычным вкладом в русские личные имена и фамилии, над хронологией оформления русских фамилий, очень свежо и сейчас звучат замечания автора о формах и конкретных примерах обрусения иноязычных фамилий и т. д.

Из числа исследователей советского времени стойким интересом к истории русских фамилий отличался известный славист Селищев, а также его ученик Чичагов. Посмертная статья Селищева 1948 г., упоминавшаяся выше, в примеч. 16, как бы предваряет обстоятельную монографическую работу Чичагова, вышедшую в конце следующего десятилетия[28]. Чичагов оставил

---

[25] *З. Г. Ніколаенко*. Прізвища, утворені від власних особових імен (на матеріалах Закарпаття) // Територіальні діалекти і власні назви. Київ, 1961. С. 268 след.; *Ю. К. Редько*. Словотворчі типи українських прізвищ, утворених від особових власних імен // Наукові записки Львівського держ. пединституту. Т. XII. Ч. III. Львів, 1959; *A. de Vincenz*. Le nom de famille houtzoule // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S. 1960. P. 191 след.

[26] *E. Borschak*. Les noms de familles ukrainiens // RIO. IV, № 3. 1952. P. 203 след.

[27] *Е. П. Карнович*. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. СПб., 1886.

[28] *В. К. Чичагов*. Из истории русских имен, отчеств и фамилий (Вопросы русской исторической ономастики XV—XVII вв.). М., 1959.

нам очень стройное исследование русской фамилии и ее видов на фоне всей русской антропонимии (или, в его словоупотреблении, ономастики), документально проследил отношение фамилий к отчествам, становление фамилий из отчеств, отступление прозвищ перед фамилиями как основной антропонимической категорией. Работа Чичагова проникнута лингвистическим историзмом, автор демонстрирует тонкое умение показать эволюцию форм и главным образом их употреблений. Но нельзя не заметить при всем этом ограниченности исследуемого материала, нельзя не видеть, как подчас одни и те же примеры, играющие важную аргументационную роль у Чичагова и Селищева, восходят еще к Карновичу. В таких исследованиях первостепенное значение имеет максимальный охват материала, приток свежего материала, в противном случае и лучшие из работ будут страдать схематизмом. Постоянное привлечение нового материала откроет новые неожиданные аспекты там, где обращение с некоторым количеством привычного классического материала позволяло удовлетворяться сложившейся схемой. Работа Чичагова, далее, страдает в отношении научной глубины и от того, что является слишком руситским исследованием; поясняя свою мысль, отметим, что даже старая книга Карновича практически подводит читателя к широкой типологической характеристике русских фамилий и их образования, чего нельзя сказать о книге Чичагова. Наконец, это последнее по времени заметное исследование по русской антропонимии делает особенно явным недостаток в этимологических исследованиях антропонимии.

* * *

Трудно ставить вопрос о систематической этимологизации русских фамилий тогда, когда нет русского исторического ономастикона, который бы включал и фамилии, нет и полного собрания ныне употребляемых русских фамилий. Понятно, что в таких условиях вопрос об источниках фамилий приобретает особую актуальность. Однако было бы крайностью утверждать, что такие источники отсутствуют, необходимо лишь иметь в виду их разнородность. В понятие источников фамилий могут быть, конечно, включены старые письменные тексты, особенно мало известные научной общественности до сих пор материалы русского народно-разговорного языка XVII—XVIII столетий, в издании которых наблюдается в последнее время прогресс. Но сейчас мы предпочитаем сузить понятие источников фамилий, ограничившись разного рода справочными изданиями и фондами и исключив не обработанные в этом смысле тексты. Основная форма справочника фамилий — алфавитный индекс. Известный исторический материал по русским фамилиям дает уже знакомый словарь Тупикова. Значительно более обширный мате-

риал, очень часто генетически нерусский, но затем включенный в состав весьма старых русских фамилий, дает на первых порах такое издание, как указатель к летописям, а именно: «Указатель к осьми томам Полного собрания русских летописей, изданных Археографическою комиссиею». Т. 1. СПб., 1868; вып. 2, 1869; вып. 3, 1875; т. II. СПб., 1898; «Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею». Т. XIV, 2-я пол. Указатель к Никоновской летописи (т. IX—XIV). Пг., 1918 (: 1. Указатель лиц). Важным источником старых русских фамилий могут служить различные родословные книги русского дворянства, издававшиеся еще Новиковым в XVIII в., позднее — П. В. Долгоруковым, а также редакцией «Русская старина». Таковы, в двух словах, наиболее видные или доступные категории исторических источников русских фамилий. Что касается источников современных фамилий, бытующих в России, здесь огромную пользу принесут различные издания телефонных книг разных городов России, желательно — разных исторических периодов, т. е. как современные, так и справочники 1930-х гг. и первых послереволюционных лет и дореволюционного времени, скажем, 1913, 1914 гг. Такой охват был бы идеален и гарантировал бы от пробелов, особенно если учесть естественную текучесть населения. Аналогичные информации можно черпать и из справочников типа «Весь Петербург», разных адресных книг. Несравненную по своей полноте информацию о фамилиях хранят архивы документации народонаселения, материалы адресных столов, актов гражданского состояния.

Как мы уже говорили, словарей русских фамилий практически еще не существует. Однако отдельные попытки в этом направлении предпринимаются. В Америке вышла сравнительно небольшая пробная работа такого рода: *M. Benson*. Dictionary of Russian personal names. With a guide to stress and morphology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1964. Этот словарь содержит около 23 тыс. избранных русских фамилий, снабженных ударениями, что весьма существенно. Выборка материала для данного словаря производилась из прозы XIX—XX вв., Большой Советской Энциклопедии и телефонной книги Москвы 1960 г. Любопытны критерии отбора: из телефонной книги брались в с е фамилии с русскими суффиксами *-ов*, *-ин*, все фамилии с другими русскими (и славянскими) суффиксами, вроде *-ович*, *-ский*, *-ко*, *-ик*, если они встречаются не менее двух раз, все прочие (исторически нерусские фамилии), если встречаются по крайней мере трижды. Естественно, в результате таких многократных ограничений материала, который сам по себе носит ограниченный и случайный характер (список квартирных абонентов московской городской телефонной сети), мы не могли ожидать сколько-нибудь полного словаря, а получили едва ли пятую часть реально существующего фонда русских фамилий и фамилий, бытующих в России. Собранный Бенсоном ма-

териал, конечно, полезен, и далее мы всякий раз при возможности пользуемся им, но определенная некритичность отбора вынуждает также сделать некоторые критические замечания. Явно по недосмотру попали в этот словарь вымышленные фамилии литературных персонажей *Вральман*, *Победоносиков*, которым место в особом словаре, но не среди реально существующих традиционных фамилий. Ударения подчас расставлялись совершенно произвольно, например *Ви́лльнев*, которое, видимо, по недосмотру принято за фамилию «с русским суффиксом *-ов/-ев*», тогда как перед нами не более как русская запись французской фамилии *Villeneuve*. Столь же сомнительно, как мы думаем, место ударения в фамилии *Барда́дин*, проставленное под влиянием якобы равнооформленных *Баку́нин*, *Баку́лин*, *Бавы́кин*. На самом же деле в фамилии *Барда́дин* представлена, так сказать, легкая адаптация на русской почве первоначально западной (возможно, белорусской) фамилии **Бардадын*, *Бардадым* (такой вариант нам реально известен), этимологически — из нарицательного слова, обозначавшего монаха-бернардинца. Есть видимые опечатки: например, на с. 79 стоит *Малиованов* — явно вместо действительного *Малоиванов*.

На этом мы ограничим свой краткий перечень источников фамилий. Кроме прямых источников, вроде описанных выше, могут быть привлечены также источники косвенные, такие, например, как «Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» в четырех томах И. Ф. Масанова (М., 1956). Немалый материал по антропонимии, фамилиям можно почерпнуть из многотомных списков населенных мест, выходивших в течение XIX в.

Выше нам приходилось упоминать вскользь об аспекте изучения фамилий в плане типологии как о чем-то новом. Мы, действительно, имеем в этом вопросе дело с неразработанным и даже совершенно еще не вскрытым должным образом материалом. Мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что из современных исследователей русских фамилий этой проблематикой занимался один Кипарский, давший несколько небольших, но действительно интересных работ на оригинальном материале. Речь идет о серии его статей за последние годы, посвященных «голубиным» фамилиям в России [29]. Отмечая довольно широкое распространение фамилий с внутренней формой ‘цвет / масть + часть тела’ в немецкой, итальянской, латышской, финской, румынской, современной еврейской антропонимии, Кипарский констатирует, далее, что у западных славян таких фамилий очень мало, напротив, у русских они есть в большом количестве, причем большинство их восходит к названиям

---

[29] *V. Kiparsky*. Ein russischer Familiennamentyp // Festschrift für M. Vasmer zum 70. Geburtstag. Wiesbaden, 1956. S. 230 след.; *V. Kiparsky*. Von Taubenrassen abgeleitete russische Familiennamen // ZfslPh XXVI. 1957. S. 151 след.; *V. Kiparsky*. Nochmals die von Taubenrassen abgeleiteten russischen Familiennamen // ZfslPh XXVII. 1958. S. 161 след.

пород голубей, ср. такую черту культуры, как древнее развитие декоративного голубеводства в России. Таким образом автор характеризует русские фамилии вроде *Чернохвостов*, *Белоусов*, *Вишнепокромов*, *Белобров*, *Белогруд*, *Белокрылов*, *Черноглазов*, *Черношеин* и мн. др. Мы согласны с Кипарским, что не все перечисленные фамилии обязаны своим происхождением только названиям пород голубей. Но его наблюдения и широта охвата материала представляют ценность вне всякого сомнения. Вероятно, он был первым, кто поставил вопрос о в о з м о ж н о с т и фамилии определенного типа на основе сопоставительных данных, ср. его предположение фамилии **Сухоголов*(*ов*) ввиду наличия фамилий вроде ит. *Testasecca*, лтш. *Sauszgall* в других языках, а также ввиду форм вроде *Сухобоков*, *Сухоносова* в русском. Ср. также название масти голубей *сухоголовый* 'с сухой (маленькой) головой'.

После сказанного мы можем обратиться непосредственно к типу русской фамилии в целом, с тем чтобы высказать некоторые более конкретные и вместе с тем более обобщенные замечания по типу и структуре русской фамилии в связи с изучением этого вопроса в литературе, а также в связи с действительным положением в русском и славянском антропонимическом материале.

К вопросу о типе русской фамилии обращался сравнительно недавно Унбегаун. В докладе на III Международном конгрессе по топонимии и антропонимии он рассматривает тип русской фамилии с точки зрения словообразовательно-морфологической структуры[30]. Основные мысли и целые выдержки из этого доклада должны представить для нас интерес: «Настоящее сообщение ставит перед собой цель дать ответ на следующий вопрос: по каким признакам можно опознать русскую фамилию? Другими словами: обладают ли русские фамилии морфологическим, формальным показателем, который был бы им присущ? Этот вопрос, который может показаться праздным в области французского, английского или немецкого, где фамилия в принципе не отличается от апеллатива, совершенно оправдан для русского. В самом деле, из всех славянских языков русский наиболее склонен к схематизации и систематизации...» (с. 433). Автор, отмечая решительное преобладание в русских фамилиях двух морфологических типов — на *-ов*/*-ев* и *-ин*, продолжает: «Все, что находится за пределами этих двух больших групп, — это лишь исключения и пережитки: существительные без обоих упомянутых суффиксов, фамилии на *-ский*, различные падежные формы прилагательных и т. д. Само собой разумеется, что мы имеем в виду только подлинно русские фамилии, т. е. ве-

---

[30] *B.-O. Unbegaun*. Structure des noms de famille russes // IIIe Congrès International de toponymie et d'anthroponymie (Bruxelles, 15—19 juillet 1949). Vol. II. Actes et mémoires. Louvain, 1951. P. 433 след.; ср.: *J. St. Clair-Sobell, J. Carlsen*. The structure of Russian surnames // Canadian Slavonic papers. Vol. 4. Toronto; London, 1959. P. 42 след.

ликорусские. Мы отвлекаемся при этом от фамилий нерусского происхождения, прижившихся в России, будь то украинские или белорусские фамилии» (Там же). Суффиксы *-ов* и *-ин* характеризуются как форманты прилагательных, принявшие патронимическую функцию, в связи с чем далее читаем: «Это возведение суффиксальных патронимик в ранг фамилий объединяет русских с другими славянами православного вероисповедания (болг. *Петров*, серб. *Петровић*, укр. *Петренко*). Славяне-католики, наоборот, или сохранили в качестве фамилии крестное имя либо прозвище (чеш. *Beneš*, уменьшительное от *Бенедикт*, *Ryba*, собственно 'рыба'), или же обобщили другие суффиксальные типы, например тип на *-ski* в польском, дворянский по происхождению (*Orzechowski* = 'владелец поместья *Orzechów*')» (с. 434). Далее следуют в общем полезные, но уже менее интересные для нас здесь наблюдения автора над эволюцией отношений отчества и фамилии, над более редкими фамилиями генитивного происхождения типа *Дурново* (фонетический вариант) и *Мертваго* (орфографический вариант), над областным типом *Черных*, при безраздельном господстве фамилий на *-ов*. Ничего нельзя возразить и против заключительной характеристики: «...огромное большинство или около того из числа русских фамилий — это прилагательные, но прилагательные, которые отличаются от обычных прилагательных либо обобщением суффикса, утратившего продуктивность во всех прочих сочетаниях ⟨...⟩ либо одновременно — ударением и фонетической аномалией (*Мертваго*)» (с. 436).

Выше мы уже говорили о неудобстве и неоправданности ригористической точки зрения, проводящей слишком острую грань между русскими фамилиями и фамилиями, прижившимися, бытующими в России. Мы полагаем, что практикой исследования это разграничение постепенно будет оставлено. Более серьезные возражения вызывает рисуемая Унбегауном картина в плане истории и относительной хронологии форм, как, впрочем, и типологической сущности их. Речь идет на этот раз уже о собственно русских, в понимании Унбегауна, образованиях, хотя ответ на вопрос об их характере и возрасте как типа дает инославянский материал. Унбегаун как будто склонен расценивать тип на *-ов* вместе с присущей ему характеристикой продуктивности как вторичный. Прочие типы или некоторые из них (см. выше) — это как бы избежавшие поглощения этим инновационным типом пережитки, реликты. Общность русского типа на патронимическое *-ов* (и под.) с болгарским, по мнению Унбегауна, имеет конфессиональную, т. е., видимо, вторичную природу. Попробуем обратиться к фактам южнославянской и западнославянской антропонимии.

Поскольку словообразовательная характеристика болгарских фамилий (гегемония типа на *-ов*, периферийное положение прочих типов) сильно напоминает вышеизложенную характеристику русских фамилий, сравнение бу-

дет не очень показательно ввиду близости сравниваемых величин. Гораздо многозначительнее выводы, которые можно почерпнуть из ситуации в сербохорватской антропонимии в силу большей разнородности последней. Дело в том, что в сербохорватских фамилиях с точки зрения их структуры по диалектам наблюдается примерно та же картина, что и в распространении различных языковых явлений, форм, лексем, насколько мы можем о нем судить по отдельным опытам лингвистической географии на материале сербохорватских диалектов: инновации — в центре штокавской территории, архаизмы — на ее периферии. Классическое соблюдение этого распределения и в структуре фамилий позволяет иначе взглянуть на историю и относительную хронологию типа *-ov*. Вот что пишет историк сербохорватского языка[31]: «...патронимическое *-ov* сейчас употребляется как архаизм в различных окраинных областях сербохорватского языкового пространства, в том числе в граничащей с Албанией Черногории...». В центре сербохорватской языковой территории гуще всего представлен патронимический суффикс *-ić*, что бесспорно говорит о его инновационной природе. По окраинам этот тип значительно менее продуктивен. В Воеводине, частях Черногории фамилии на *-ić* редки, на их месте выступают более или менее регулярно старые патронимические образования на *-ov* и *-in* (как в болгарском, русском и др.), ср. воеводинск. *Petrov*, *Tȍdorov*, *Žȉvānov*, *Pájin*, *Gájin* и др., черногорск. *Milov*, *Simov*, *Kovačev* — при собственно сербском, боснийском *Pètrović*, *Todórović*.

Кроме того, и в инновационном, типично сербохорватском оформлении фамилий на *-ov--ić* носителем патронимической функции явилось не *-ić* (исконно деминутивный формант), а *-ov-*, как отмечал еще Маретич (см. выше).

Можно ли, далее, согласиться с тем, что зона преимущественного употребления и развития патронимического *-ov* находится в связи и даже в зависимости от зоны распространения восточного, православного христианства (восточнославянский, болгарский, собственно сербский)? В действительности все обстоит далеко не так, как можно понять из доклада Унбегауна. Тип фамилий на *-ov* известен католическим словенцам (*Matičetov* и др.). Яркие свидетельства в пользу древности патронимического *-ov* находим в западнославянском, так, в чешских фамилиях, где, кстати, очень много следов такого употребления *-ov*, при отсутствии какого бы то ни было намека на православие, этот тип фамилий носит черты отступающей, архаической категории: *Hanušek Gráfuov syn* (1431 г.), *Martin Pošíkův* (1676 г.), *Jan Martinův* (1676 г.), особенно часто среди современных фамилий населения Юго-Восточной Чехии — *Martinů*, *Vítů* и мн. др. Не менее распространены столь же старые чеш-

[31] *I. Popović*. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 296, ср. особенно с. 438.

ские патронимические фамилии на *-in*: *Kubín*, *Hrabin*, *Višnin*[32]. Несколько реже выступают, впрочем, тоже совершенно несомненные примеры употребления фамилий и прозвищ на патронимическое *-ów* в Польше, особенно в южных горных окраинных районах[33]: *Maćków*, *Janów*, *Klimów* и др. Ясно, что мы имеем дело во всех этих случаях не с инновациями, а с очень старым обыкновением, архаизмом. Особенно яркое указание в этом смысле содержит материал украинской антропонимии. Для современных фамилий большей части Украины тип на *-ів* (*-ов*) мало характерен и редок, тогда как он хорошо известен, например, в Закарпатской Украине. Архаичность этого факта столь же вероятна, как и архаичность ряда других языковых особенностей этого окраинного района.

Таким образом, у нас нет ни малейших оснований ставить распространение патронимического *-ov*, *-in* в фамилиях в зависимость от распространения православия, больше того, мы не можем вообще считать патронимические собственные имена на *-ov* новым типом славянских собственных имен. Фамилии с таким оформлением известны практически всем членам славянской семьи языков. Естественно, мы не беремся утверждать, что антропонимические образования на *-ov* существовали как фамилии уже в праславянском. Но в своем новом качестве фамилий славянские патронимики на *-ov* продолжают, в сущности, старый праславянский патронимический тип. Активизация его на одной части славянской территории и замирание на другой — это уже дальнейшие главы его истории. В таком случае мы никак не можем отнести вместе с Унбегауном случаи вроде *Мертваго* или *Дурново* якобы к пережиточным сравнительно с новым победоносным типом *-ов*. В свете сказанного и *Мертваго*, и *Дурново*, и им подобные занимают подобающее им довольно скромное место случаев (не столь уж древней) формализации регулярных морфологических образований от личных прозвищ *Дурной*, *Мертвой*. Здесь не имеет смысла говорить о соперничестве с патронимиками на *-ов*, обладающими солидным праславянским прошлым. Бессуффиксальные имена существительные в роли русских фамилий не могут не наводить на мысль об исключительно позднем их появлении в составе собственно русских фамилий.

В итоге мы получаем в корне иную картину хронологии и славянской типологии русских фамилий, чем та, которую рисует Унбегаун, с противоположным распределением черт инновации и реликтов. Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов и то, что целесообразно рассматривать как вторую жизнь фактического архаизма, в чем нас убеждает изучение русских фамилий, русской антропонимии, включая ее новейшие образования.

---

[32] Чешские примеры взяты из кн.: *J. Beneš*. O českých příjmeních. S. 33—34.
[33] *J. St. Bystroń*. Nazwiska polskie. S. 10.

* * *

Из предыдущего логически следует, что, расширяя рамки изучаемого материала, перенося центр исследования из неоправданно ригористического плана русских фамилий в более емкий план фамилий России, мы должны будем подойти к проблеме с о с т а в а фамилий, не снимая и не преуменьшая ее сложности. Эта a priori бесспорная сложность состава фамилий России в соединении с неполнотой, несобранностью всего фонда этих фамилий дает достаточно ясное представление о трудностях, которые ждут здесь исследователя, и об актуальных направлениях работы. Перспективы изучения неразрывно связаны с методами работы. Как начальный этап работы — инвентаризация материала, так и конечная цель — этимология одинаково и постоянно зависят от учета моментов лингвистической географии, словообразования, а также общелингвистических и типологических моментов. Не последнее место в общем комплексе вопросов принадлежит филологии фамилий (ср. хотя бы проблему оценки разных вариантов написания фамилии, с выделением какографических вариантов).

Ниже мы коснемся некоторых из перечисленных здесь вопросов с преимущественным вниманием к составу фамилий, причем всякий раз — в плане этимологических связей как основном для нашей работы.

Сохраняет свою актуальность, едва ли вполне оцениваемую в современной небогатой научной литературе по русским фамилиям, проблема сохранения исконно славянского апеллативного лексического фонда в русских фамилиях. Оправданием такого недостаточного внимания может послужить, наверное, внешняя парадоксальность сохранения древних лексем в составе такой поздней антропонимической категории, как фамилии. На самом деле именно фамилии с их генезисом из прозвищных производных, относительной нестесненностью развития и практически неограниченным фондом, сравнительно, например, с ограниченными численно и подверженными неизбежно жесткому отбору со стороны права и со стороны жизненной практики личными собственными именами (к тому же, в нашей антропонимии — почти всегда иноязычными), — именно фамилии естественно подходили для сохранения древних исконных апеллативных основ. Такие примеры особенно интересны, если удается выявить апеллативные основы, утраченные словарем русского языка. Правда, наличие в русской фамилии апеллативной основы, неизвестной из русской лексики, но сохраняемой в лексике (или даже только в антропонимии, ономастике) другого славянского языка, уже оставляет какое-то вероятие заимствования из этого славянского языка в русский. Иногда также имеется возможность на основании одной только русской фамилии при поддержке лишь некоторых аналогий из области антропонимии и апеллативной лексики рекон-

струировать весьма старое по виду апеллативное образование, нигде из славянских языков нам пока не известное. Ниже, в этимологических этюдах, мы касаемся такого случая на примере фамилии *Шемякин* и некоторых близких. Здесь назовем еще два примера, каждый из которых обнаруживает свои отличия.

Первый пример — фамилия *Легоста́ев*, известная нам с таким ударением из словаря Бенсона (*M. Benson.* Указ. соч. P. 74). Средствами лексики современного русского литературного или даже общенародного языка нельзя объяснить данную фамилию, которую мы производим от русского прозвища **Легостай.* Правда, диалекты еще помнят соответствующую апеллативную лексему: ср. вологодск. *легостай* 'ветреный, опрометчивый' (Даль^2 II. С. 243). И если степень древности данного исходного апеллатива все еще неясна для нас из этого факта, особенно если учесть отсутствие точного древнерусского или русско-церковнославянского соответствия в этом случае, то существенную помощь и перспективу дает чешский материал. Ср. чеш. *lhostejný* 'равнодушный, безразличный', а особенно др.-чеш. *lhostajný* 'изнеженный, разнузданный', словац. *ľahostaj* 'воля', реконструируемое как праслав. **lьgostajь* (**lьgo-stajь*) 'беззаботность, беззаботное житье' [34]. Махек не знал русского соответствия, которое оставалось в тени. Фамилия *Легостаев* говорит в пользу древности слова *легостай* в согласии с прочими данными.

Второй пример — фамилии *Сезёмов*, *Сизёмов* (ударения см.: *M. Benson.* Указ. соч. P. 112—113), случай, особенно интересный как доказательство важности изучения фамилий в плане отражения в них плохо изученной или неизвестной старой, исконной лексики. Лексическая первооснова названных фамилий неизвестна нам из словаря современного русского языка и его диалектов. Можно полагать, что основа фамилий *Сезёмов* / *Сизёмов* в восприятии носителя русского языка сейчас не ассоциируется ни с каким специфически русским словом, скорее даже наоборот — может сойти за фамилию восточного происхождения ввиду созвучия со словом *сеза́м*, а также возможных других подобий. И, однако, в фамилиях, точнее — в фамилии *Сезёмов* / *Сизёмов* сохранилась патронимическая форма от древнего исконно славянского личного имени-сложения **se-zemъ* '(человек из) этой земли', ср. прежде всего такое важное соответствие в другом славянском языке, как чешские фамилии *Sezema*, *Sezima*. Именно с чешской фамилией (а не с рус.-цслав. **сеземьць** 'туземец', Срезн. III, стб. 324, XV—XVI вв., — как иначе оформленным в словообразовательном отношении) непосредственно сближает русскую фамилию такая древняя черта, как произведение от корня-основы **zem-*. Сведениями о сохранении в современной чешской апеллативной лексике продолжения праслав. **sezemъ* мы не располагаем.

---

[34] *Machek.* P. 266.

Бесспорно, существуют и другие случаи консервации в фамилиях давно исчезнувших апеллативных основ и слов. Вполне возможно, что подобный пример представлен в такой старой фамилии, как *Невостру́ев* с ее удивительно разнообразными вариантами: *Невстру́ев*, *Неустро́ев*, *Неустру́ев*, *Новостру́ев* (*M. Benson*. Указ. соч. P. 89, 90), которые представляют сюжет, достойный специального исследования.

Огромность иноязычного компонента в русских фамилиях и вообще в фамилиях России насчитывает всевозможные ситуации, но в основном распадается на две разновидности: русские фамилии от предварительно заимствованных иноязычных апеллативов и иноязычные фамилии. Данная обширная проблема имеет также внешнелингвистическую и вместе с тем культурно-историческую сторону, причем опять-таки все в основном сводится к двум возможностям: фамилии русских людей, образованные от иноязычных апеллативов, имен и прозвищ, resp. вторично включенные в состав фамилий России готовые иноязычные фамилии лиц нерусского происхождения. Понятно, что здесь возможны сложные, исторически обусловленные ситуации и в том и в другом случае, перед однозначной идентификацией вырастают иногда при этом непреодолимые трудности, особенно для отдаленных эпох. Еще Морошкин ссылается в связи с этим на мнение Срезневского: «Чужеязычность имен собственных еще не свидетельствует о чужеродстве тех, которые их носят»[35]. Ср. аналогичное суждение Тупикова и Карповича, которые указывают на то, что очень часто под личными именами и фамилиями иноязычного, татарского происхождения скрываются не выходцы из орды, а вполне русские люди. Это следует иметь также в виду и при чтении наших нижеследующих этимологических заметок. Тем, кто знаком с проблематикой чешских фамилий, известно, какой значительный процент составляют среди них чисто немецкие по виду фамилии, однако носители их в значительной массе — чехи, носящие фамильные имена иноязычного происхождения (ср. выше об этом у Бенеша).

С аналогичной ситуацией мы столкнемся в нашей Прибалтике, где среди фамилий полностью литовского населения много польских фамилий, среди латышских и эстонских фамилий немало фамилий немецкого происхождения. Помимо этих классических примеров, когда значительную роль играют социально-исторические моменты, существует множество случаев, когда закрепление иноязычного прозвища, иностранной фамилии имеет очень индивидуальную мотивировку.

Но, разумеется, очень часто иноязычная по происхождению фамилия безошибочно указывает на нерусское происхождение ее носителя. Чтобы не-

[35] *М. Морошкин*. Славянский именослов... С. 105.

5. Заказ № 2419.

сколько разобраться в этом море материала, нужно выделить некоторые наиболее важные иноязычные компоненты в составе фамилий России, лишь вкратце, помимо этимологии, описывая также историко-лингвистическую специфику таких компонентов, отчасти их динамику.

Несколько слов должно быть сказано об инославянских фамилиях в составе русской антропонимии. Из прочих славянских элементов в русских фамилиях наиболее заметным количественно с довольно раннего времени следует признать польский, идентифицируемый более или менее легко (*Пржевальский*, *Циолковский*, *Врубель* и др.). Русские фамилии постоянно питались также за счет притока фамилий украинского и белорусского происхождения, что также само по себе хорошо известно, хотя критерии идентификации украинских фамилий (или нередко тождественных им по типу южновеликорусских областных фамилий) лучше отработаны на практике, чем способы идентификации белорусских включений в фамилии России (ср. *Плешевеня*, *Кривченя*, *Гастелло*, анализируемая ниже фамилия *Подцероб*). Особую проблему, правда, опирающуюся пока на небольшой материал, образуют наши фамилии сербского происхождения. Слабо исследована, по-видимому, и социально-историческая сторона этого проникновения в антропонимию России фамилий и прозвищ сербов — в основном, вероятно, за счет населения, вышедшего из Сербии с XVIII в. и основавшего сербские военные поселения на Юге России. Как бы то ни было, для ряда наших фамилий может быть указана довольно вероятная сербская этимология: *Вучетич* < серб. *Вучетић*, патронимическое образование от апеллатива / прозвища *вуче* 'волчонок'; *Гурко* — первоначальная гипокористика, сокращенное образование от личного собственного имени, ср. упоминаемый в ПСРЛ (т. XII) под 6933 (1425) г. Гурко, деспот сербский, также *Гуркъ*, *Гургъ* (< греч. Γεώργιος); возможно, также *Лазо* — гипокористика от личного имени *Лазар*.

Чрезвычайно важна такая все еще не получившая должной разработки проблема русской антропонимии, как фамилии тюркского происхождения. В наших этимологических этюдах, помещенных в заключительной части этой статьи, уделено посильное внимание разным случаям из этой сферы. Ср. ниже о фамилиях *Аракчеев*, *Бегичев*, *Деникин*, *Коллонтай*, *Коротаев*, *Куинджи*, *Шахматов*. Как увидим, этимологический анализ одних только этих немногочисленных примеров показывает многообразие тюркского слоя в фамилиях России. Обследованные примеры обнаруживают разную степень словообразовательной и этимологической прозрачности, некоторые из них обладают оригинальной географией.

По-своему сложилась судьба немецких фамилий в России. В XVIII и XIX вв. их было значительное количество, тем более заметное, что это были, в основном, имена должностных лиц, дворянства. Немецких фамилий (не де-

лая различий между отдельными частями Германии) было у нас, по-видимому, всегда больше, чем всех прочих германских, а также французских, во всяком случае до Великой Французской революции. До XVIII в. и еще в течение XVIII в. немецкие фамилии часто подвергались стихийной русификации, изменяясь при этом до неузнаваемости (кстати, например, то же самое происходило с немецкими фамилиями и во Франции до революции XVIII в., когда первенствующую роль получила более строгая письменная фиксация иноязычной фамилии, а не прежняя приблизительная передача ее звукового облика). В этом пункте наблюдается любопытное различие трактовки в России немецких и тюркских (татарских) фамилий и имен с преимущественной сохранностью формы именно у последних. Возвращаясь к фамилиям немецкого происхождения, отметим, что в XX в., к нашему времени, их число у нас резко сократилось. И если в современных источниках фамилий России мы встретим немало внешне немецких по форме и структуре фамилий, то это будут в подавляющем большинстве еврейские фамилии, что значительно затрудняет правильную идентификацию современных немецких фамилий у нас. К особо трудным случаям относятся примеры омонимии чисто немецкой фамилии и лишь созвучной ей фамилии, сложившейся в практике языка идиш. Так, необходимо различать фамилию *Блок* I — из чисто немецкой фамилии *Block*, и фамилию *Блок* II, с вариантом *Блох*, весьма распространенную в разных странах и представляющую собой видоизменение собственно польского слова *Włoch*, в данном случае — как обозначение еврея, выходца из романских стран, ср. сюда же фамилию *Валлах*, а также фамилии евреев во Франции и Германии *Bloch*, *Bloc*, *Block*, отмечаемые с XVII в. [36]

То, что мы после фамилий немецкого происхождения переходим к фамилиям еврейского происхождения в России, вполне естественно, так как новоеврейская антропонимия строится в немалой части из генетически немецких элементов. Сложность состоит в своеобразии использования этих элементов, в тесном их переплетении с элементами древнееврейского и арамейского происхождения, наконец, в самой истории формирования, существования и преобразования еврейских фамилий. Все это почти не исследованные и даже нередко почти неизвестные у нас проблемы, кстати, весьма важные для более полного и реального знания современной антропонимии России. Понятно, что затронуть их здесь мы сможем лишь отчасти, поскольку тема настоящей статьи шире. Мы вынуждены даже опустить здесь обзор небезынтересной литературы по еврейским фамилиям разных стран. Правда, имеющие сюда отношение работы П. Леви, Роблена, Кеслера, Ноймана, Цунца, Клейна, Ад-

---

[36] *P. Lévy*. Les noms des israélites en France. Histoire et dictionnaire. Paris, 1960. P. 18, 110.

лера, Мизеса и других всякий раз, когда это требуется, цитируются нами ниже. Надо сказать, что это исключительно оригинальный и интересный материал со своими особыми типами (географический тип фамилий, фамилии-эпитеты, фамилии-аббревиатуры, фамилии от имен), со своей сложной диалектной спецификой. Здесь также много еще этимологически неясного. Вот несколько примеров географического типа еврейских фамилий.

Лифшиц / Лившиц / Липшиц / Liebschütz и др., обычно объясняется как образование от местного названия *Leobschütz* (Верхняя Силезия)[37] или сходного названия населенного пункта в Чехии[38]. Славянскими суффиксами оформлены принадлежащие также к названному географическому типу фамилии *Булáхов / Булахóвский* (ударение см.: *M. Benson*. Указ. соч. P. 29) — от немецкого местного названия *Bullach*, в Баварии. Распространенная фамилия *Ашкенáзи* с вариантами *Ашкинáзи*, *Аскнáзий* (*M. Benson*. Указ. соч. P. 19), ср. также формы *Askinazi*, *Askenazy*, *Aschkenasy*, *Aszkenasy*, *Eskenazi* и др. в различных странах Европы, происходит, как известно, от др.-евр. *Aškenaz*, имя внука Иафета, в древней традиции обозначавшее скифов или саков (Книга Бытия), в средневековье по созвучию перенесенное на саксонцев, затем — на немцев, т. е. 'еврей немецкого происхождения', ср. название целой восточноевропейской группировки евреев *Aškenazim*, а также такие еврейские фамилии, как *Allemand*, *Deutsch*, *Tedesco*[39].

Ниже, в наших этимологических этюдах, приводится еще несколько новых примеров географического типа фамилий еврейского происхождения, кстати говоря, очень многочисленного разряда этих фамилий.

Другой разряд еврейских фамилий образуют своеобразные фамилии-эпитеты, образованные подчас от разных декоративных апеллативов[40]. Так, фамилия *Адмони* представляет собой абсолютно употребленный апеллатив др.-евр. אַדְמֹנִי *admonī* прил. 'красный, румяный, рыжеволосый', сюда же вариант *Антимони*, а также случаи семантических соответствий, выраженных средствами языка идиш — *Ройтбарт*, *Ройтман*, наконец, средствами русского языка — *Краснобородов*. Фамилия *Жúвов* (так см. *M. Benson*. Указ. соч. P. 50. — Нам известно ударение *Живóв*), вполне русская по форме и корню, может, однако, быть одним из многочисленных случаев семантического

[37] *P. Lévy*. Указ. соч. P. 161; *M. Roblin*. Quelques remarques sur les noms de famille des Juifs en Europe Orientale // RIO. II. № 4. 1950. P. 292.

[38] *M. Mieses*. Die jiddische Sprache. Eine historische Grammatik des Idioms der integralen Juden Ost- und Mitteleuropas. Berlin; Wien, 1924. S. 315.

[39] *P. Lévy*. Указ. соч. P. 103; *M. Roblin*. Les noms de famille des Juifs d'origine ibérique // RIO. III. 1951. P. 65, 70.

[40] *F.-J. Heitz*. Attribution des noms aux Juifs en Alsace au moment de la Révolution // RIO.. VI. № 4. 1954. P. 299—300.

калькирования др.-евр. חיים ‘жизнь’, ср., с одной стороны, *Хаимович*, *Хаимсон*, *Haim*, *Heim*, с другой стороны, тоже кальки *Vivant*, *Vital*, *Vidal*, *Gutleben* — на романской, немецкой почве[41]. К фамилиям-эпитетам еврейско-немецкого происхождения принадлежат *Зискинд*, *Süsskind*, букв. ‘сладостное дитя’, *Залкинд*, *Salkind* (с 1372 г.), соответственно к нем. *selig* ‘блаженный’ и *Kind*[42].

Оригинальный тип среди фамилий еврейского происхождения составляют фамилии-аббревиатуры, причем некоторые из них весьма распространены, как, например, *Кац*, *Katz*, не имеющее ничего общего с названием кошки, но образованное из начальных букв ритуального титула др.-евр. כֹּהֵן צֶדק *kohen cedek* ‘жрец-праведник’ > כ"ץ *kac*, ср. также *Сегал* (с вариантами) в наших этимологических этюдах и другие подобные акронимы[43].

Многие еврейские фамилии представляют собой образования от личных имен, начиная от чистого абсолютного употребления имени как фамилии и кончая разными деминутивами от имен. Ср. *Орлик* (и, возможно, *Горелик*) < *Арон*; *Носик*, *Nossek* < *Nathan*[44] (в последнем примере отражено новоеврейское произношение звука ת [= др.-евр. *th* ‘тав’] как *s*); *Исерлин*, *Isserlein* — производное от *Isser*, *Isserl*, немецкой формы древнееврейского имени *Israel*[45].

Значительное количество еврейских фамилий образовано от названий занятий — как традиционных профессий, так и культовых функций. Таковы *Ка́ган*, *Кага́нов*, *Кагано́вич*, *Ко́ган*, *Ко́ганов*, *Кагано́вский*, *Ко́ген* (варианты и ударения см.: *M. Benson*. Указ. соч. Р. 57, 63), во Франции, Германии и т. д. — *Cahen*, *Caen*, *Cahn*, *Kah*(*a*)*n* (встречается с XV в.) < др.-евр. *kohen* ‘жрец, священнослужитель, иерей’[46]. *Хальфан*, а также оформленное в духе языка идиш *Халифман* толкуется двояко: как арамейское слово со значением ‘халиф’[47] и как др.-евр. *chalfon* ‘меняла’, ср. его семантический эквивалент — тоже в роли фамилии — евр.-нем. *Wechsler*[48]. *Леви*, *Левин* (хотя, разумеется, не все вообще примеры такой фамилии), *Левит*, *Левитин*, *Левитан*, в Западной Евро-

---

[41] Ср.: *Dr. Zunz*. Namen der Juden. Eine geschichtliche Untersuchung. Leipzig, 1837. S. 86; *A. Dauzat*. Указ. соч. Р. 598; *P. Lévy*. Указ. соч. Р. 143, 201.

[42] *Dr. Zunz*. Указ. соч. S. 51, 68, 69.

[43] *S. Birnbaum*. Praktische Grammatik der jiddischen Sprache für den Selbstunterricht. Wien; Leipzig [1915]. S. 176; *J. H. Neumann*. Some acronymic surnames // RIO. XVII. № 4. 1965. P. 268; *A. Dauzat*. Указ. соч. Р. 350.

[44] *G. Kessler*. Die Familiennamen der Juden in Deutschland. Leipzig, 1935. S. 22, 23.

[45] *Dr. Zunz*. Указ. соч. S. 92; *P. Lévy*. Указ. соч. Р. 150.

[46] *A. Dauzat*. Указ. соч. Р. 78; *M. Roblin* // RIO. II. № 4. 1950. S. 291 след.; III. 1951. S. 72; *P. Lévy*. Указ. соч. Р. 115.

[47] *A. Dauzat*. Указ. соч. S. 319.

[48] *P. Lévy*. Указ. соч. Р. 40, 144.

не — *Lewy*, *Lévi*, *Lévy*, *Lévite* и др., в том числе с артиклем — *Галеви*, *Halévy*, — из др.-евр. *levi*, *hal-levi* 'священнослужитель' [49]. *Перец*, *Перетц*, *Perets*, широко распространенные среди восточноевропейских евреев, связаны с библейским названием обрезания, тогда как среди марранов — сефардских (испанских) евреев, подвергавшихся христианизации, распространена созвучная, но особая фамилия *Perez* испанского происхождения, от *Pero* / *Pedro*, патронимическая по генезису, ср. *Lopez*, *Rodriguez* и др.[50] Под фамилией *Викторов* (по крайней мере в части случаев), особенно под таким характерным вариантом, как *Вигдоров*, скрывается, как о том свидетельствует еврейская фамилия *Avigdor*, *Abigdor* (известно с XIII—XIV вв.), производное от порт. *ouvigdor* 'судья' [51]. Вообще фамилии еврейского происхождения — прекрасный материал, подтверждающий сложность контаминаций и вторичных ассоциаций и уподоблений в фамилиях, разных по генезису. Например, не следует смешивать английскую фамилию *Бернс*, *Burnes* и вполне еврейскую фамилию *Бернéс* / *Барнéс*, *Bar-Nés* (с арамейским *bar*), букв. 'сын чуда' [52].

Примеры подкупающей внешний прозрачности должны настораживать этимолога в фамилиях больше, чем где-либо. Так, автор довольно удачной популярной книжки «Ты и твое имя» [53] обращает внимание читателя на фамилию-курьез *Конфисахар*, которую в Ленинграде носил к тому же работник кондитерского производства. Автор, искренне не претендуя на научную достоверность, допускает здесь связь с конфетами и сахаром (ср. фамилии *Сахар*, *Сахаров*), предполагая, что это — западная по образованию фамилия. Но тогда мы ожидали бы наличия основы *цукер-* (ср. *Цукерман*) как более вероятного географически и лингвистически. Некоторые другие обстоятельства, необычные моменты формы делают для нас мысль Успенского сомнительной. В форме *Конфисахар* скорее представлен сильно затемненный, какографический вариант польского слова *konwisarz*, *konwisar* — устаревшее название ремесленника, отливающего из металла посуду. Последнее слово восходит к ср.-в.-нем. *kanngieȝer* 'тот, кто отливает вещи, посуду из олова' [54]. Еврейско-немецкое *Канегиссер*, как отмечает и Успенский в указанном месте (у Успенского значение исходного немецкого слова дано неточно, см. с. 585 его книги), тоже фигурирует как фамилия (семантически ср. также еврейскую фамилию-кальку *Оловянников*). Аналогичного в конечном счете происхожде-

---

[49] *M. Roblin* // RIO. II. № 4. 1950. S. 291 след.; *A. Dauzat*. Указ. соч. P. 388—389; *P. Lévy*. Указ. соч. s. vv.

[50] *M. Roblin* // RIO. III. 1951. S. 72.

[51] *P. Lévy*. Указ. соч. P. 42, 99.

[52] *P. Klein*. Les changements de noms en Israël // RIO. III. № 4. 1951. P. 306.

[53] *Л. Успенский*. Ты и твое имя. С. 593—594.

[54] *Sławski*. II. S. 444—445.

ния и дублетное (к *Канегиссер*) *Конфисахар* < **Конвисар*, с той разницей, что последнее восходит прямо к польской форме. Конечно, неясные моменты до конца устранить не удается. Может быть, на форму *Конфисахар* повлияло древнее личное собственное имя *Isachar*.

Заканчивая свои беглые заметки о составе фамилий России, мы можем еще указать на такие бесспорно реальные (хотя и немногочисленные) ранние включения в их число, как различные фамилии балтийского, прежде всего литовского, происхождения. Можно сказать, что это еще совершенно не исследованный вопрос в русской антропонимии. Как мы заметили выше, вопрос о формах балтийского (литовского) влияния, например, на белорусскую антропонимию также еще не изучен должным образом, хотя там оно гораздо более стойкое и регулярное. Но и среди русских фамилий можно собрать, по-видимому, интересный материал. Вероятно, удалось бы вскрыть и отражение некоторых регулярных категорий литовской антропонимии. Например, литовскими в своей основе являются, на наш взгляд, такие старые русские фамилии, как *Воейков*, др.-рус. *Воейковъ*: 1) Дмитрий Ефимович В., стряпчий, упомянут в летописи под 7121 (= 1613) г.; 2) В., воевода. В 7142 (= 1634) г. идет на Литву под Себеж: (см. Указатель к осьми томам ПСРЛ... Вып. 2. СПб., 1869. С. 171). Ср. особенно древнерусскую фамилию *Борѣйковъ*, Василий, наместник Смоленский. 6903 (= 1395) г. (Указатель к осьми томам ПСРЛ... Т. I. СПб. С. 68), а также литовские апеллативы и фамилии типа *mušeika* 'драчун, драчунья'. В связи с вопросом о литовских фамилиях в составе фамилий России небезынтересен индивидуальный писательский прием Достоевского, наделявшего иногда своих литературных персонажей фамилиями явно литовского происхождения, хотя и обыгранными подчас в духе вторичных ассоциаций: *Свидригайлов*, *Голядкин*.

Прочие фамилии — такие, как финно-угорские (например, карельские вроде *Вахрушев*), кавказские, среднеазиатские — мы рассматриваем как маргинальные в составе фамилий России в силу явной их лингвистической и узуальной экзотичности. Здесь они не рассматриваются, а в будущем вопрос об их включении в исследование о фамилиях России должен решаться, по-видимому, только индивидуально.

Помимо проблемы состава фамилий России, отдельными наблюдениями и примерами здесь могут быть дополнены такие важные аспекты фамилий, как межславянская лингвистическая география (в соединении с моментами относительной хронологии) и типологический аспект.

Для более перспективного проведения исследований фамилий России, особенно собственно русского их ядра, исследований, в частности, направленных на выяснение типа этих последних, необходимо принципиальное расширение рамок исследования как в географическом, компаративном, так и

в типологическом плане. От расширения аспекта неизбежно должна измениться и оценка в принципе уже известного материала, не говоря о вскрытии новых, ранее неизвестных связей и отношений. Ограниченно русистский подход к материалу русских фамилий должен в интересах более глубокого познания русского материала уступить место межславянскому лингвогеографическому аспекту. Так, например, Селищев судит об именах на *-хно* как преимущественно новгородских [55]. Однако дальнейшие разыскания выявили, во-первых, что некоторых достоверно документированных в других частях древнерусской языковой территории форм в Новгороде как раз не знали; так, там не отмечена по известным источникам форма на *-хно* от *Юрий — Юхно*. Во-вторых, было найдено, что имена на *-хно* особенно употребительны в Новгороде лишь в XVI в., тогда как, например, в Южной Руси они отмечаются с XII в. [56] Ср. ст.-укр. *Махно*, *Пихно*, *Пахно* [57]. Широко представлены с раннего времени такие производные уже в роли фамилий на западнославянской территории, ср. чеш. *Jachno*, польск. *Blachno*, *Czachno*, *Jachno* (1508 г., от христианского личного имени *Jerzy*) [58]. В южнославянских языках имена (не говоря о фамилиях) с таким суффиксом представлены, в отличие от западнославянских, минимально, тогда как география восточнославянских имен и фамилий на *-хно* указывает на зависимость в ряде случаев от западнославянских прототипов (ср. такие факты, как возрастание численности именно на юго-западе восточнославянской территории, конкретное совпадение примеров *Juchno* = *Юхно*).

Для суждений о типе русской фамилии полезно отвлечься от генетически обусловленной базы славянского языкового материала и внимательно сличить известные русские фамилии с точки зрения их структуры, а также их производного характера, их становления с фамилиями других стран Европы, удовлетворительно отраженными в уже упоминавшихся выше источниках.

Любопытно в связи с этим провести типологическое сравнение условий возникновения русских фамилий, с одной стороны, и французских, немецких фамилий — с другой стороны. Для русских фамилий характерно прохождение следующих основных исторических стадий возникновения:

1) прозвище → 2) прозвищное отчество → 3) фамилия.

---

[55] *А. М. Селищев*. Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ. С. 143.

[56] *A. Bæcklund*. Personal names in medieval Velikij Novgorod. I. Common names. P. 77—78.

[57] *В. Сімович*. Історичний розвиток українських (здрібнілих та згрубілих) чоловічих хресних імен із окремішньою увагою на завмерлі суфікси // Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Sv. II. Přednášky. Praha, 1932. С. 698.

[58] *J. Beneš*. O českých příjmeních. S. 93.

В то же время аналогичная эволюция немецких, французских фамилий была проще и короче:

1) прозвище → 2) фамилия.

Эти достаточно хорошо известные черты развития прямо связаны с тем обстоятельством, что на Западе фамилиеобразование в целом прошло несколько раньше.

Несмотря на пополнение новыми типами, русские фамилии в значительной части — патронимические образования по своему генезису. Для Франции и Германии, например, характерно, напротив, употребление в широких масштабах в функции фамилий того, что Доза называет noms d'origine, т. е. фамилии, данные по месту происхождения или владению, как последствие феодального периода. Среди русских фамилий констатируем практически полное отсутствие этого типа, кроме относительно позднего и не очень значительного слоя дворянских (как правило двойных в этом случае) фамилий, как на это обращает не один раз внимание Карнович в уже цитировавшейся выше работе. С этим связано отсутствие в русских фамилиях многих семантических моделей, столь обычных для фамилий Западной Европы вроде нем. *Kaltenbrunner*, англ. *Coldwell*, венг. *Hidegkúti*, франц. *Frègefont*, собственно 'родом из местности с холодным источником / по имени Холодный источник'. Как мы уже и раньше отмечали, характерность именно этого признака для еврейских фамилий проступает как четкий отличительный признак на фоне собственно русских фамилий России.

Было бы ошибкой думать, что полезность типологических сравнений русских и западноевропейских фамилий сводится только к заключениям отрицательного характера, выявляющим одни несходства и различия. Некоторые новые конкретные наблюдения типологического характера, приводимые ниже, позволяют выделить также любопытные сходства эволюции и оформления в ряде однородных русских фамилий либо дают возможность на многочисленных разноязычных аналогиях лучше понять семантическую первооснову отдельных случаев среди русских фамилий.

Первый пример такого рода — русские фамилии типа *Черноиванов*, их природа и аналогии. Относительно образования этой фамилии споров быть не может: она произошла из прозвищного отчества *Черноиванов* 'сын Черного Ивана' от прозвища *Черный Иван*. Вместе с тем именно прозрачность структуры и генезиса данной фамилии делают ее очень удобной для того, чтобы, начав с нее, перейти затем к другим, построенным по тому же принципу, но уже гораздо менее ясным, скорее даже темным этимологически русским фамилиям, из которых отдельные вряд ли были раньше объектом этимологизации. Мотивы поисков в этом направлении были бы неполными, если бы мы не упомянули об одном заметном явлении в европейском фамилиеоб-

разовании, об одном типе фамилий, представленном в немецкой, французской антропонимии, а также наличествующем и в русских фамилиях. Речь идет о немецких фамилиях *Polterian*, *Guderian*, *Gudrian*, *Guderjahn*, *Rodrian*, *Groterian*, которые представляют собой генетически прозвища-сложения 'шумный, добрый, красный, большой и т. д. Иоханн'. Ср. нижненемецкие прозвища *der swarte Jan*, *der witte Jan* 'черный, белый Ян / Иоханн', т. е. — с трансформацией в русскую фамилию или фамильное прозвище — *Черноиванов*, *Белоиванов* (см. ниже). Немецкий материал на эту тему можно почерпнуть из известного этимологического словаря немецких фамилий Брехенмахера. Исследователь чешских фамилий Бенеш оставляет без внимания тип 'adiectivum + Jan' в чешском и его интересные немецкие и прочие параллели, только вскользь упоминая, вслед за Шмилауэром, о происхождении фамилии *Hopjan* < *Hoppe Jan*. Из числа немецких включений в чешскую антропонимию может быть здесь упомянута известная фамилия *Flajšhans*, собственно, чешская запись немецкого *Fleisch-hans* 'мясной Ганс', первоначальное прозвище. В сложениях такого рода не всегда фигурирует *Jan*, *Hans*, и поэтому наряду с *Junghans* мы находим фамилию *Jungandreas* 'молодой Андрей'. Однако такие сложные фамилии на *Jan*, *Hans* решительно преобладают, и именно они образуют особый тип фамилий, причем не только в немецкой антропонимии. И во Франции, хотя и в меньшей степени, притом не повсюду, мы найдем фамилии *Bonjean*, *Mangeonjean* и некоторые другие типа 'определение + Jean'. Но и здесь слиянию с определениями подвергались наиболее употребительные имена, вместе с тем наиболее нуждавшиеся в дифференциации.

Переходя к русским фамилиям, мы вправе уже заранее допускать вероятность существования среди них такого типа. Помимо уже называвшейся фамилии *Черноиванов* и другой, не менее ясной фамилии такого рода — *Малоиванов*, мы можем указать еще несколько дальнейших, в конечном счете однородных примеров. Их затемненность со стороны формы, возможно, свидетельствует о немалом возрасте этих образований. Во всяком случае констатируемая при этимологической идентификации нерегулярность формы интересна для исследования. Дело в том, что полученная нами выше, так сказать, косвенным путем русская фамилия **Белоиванов* в действительности нам из доступных материалов пока неизвестна, тем не менее о существовании именно такой формы и сложения говорит засвидетельствованная фамилия *Белова́нов* (*M. Benson*. Указ. соч. P. 23), этимологизируемая нами, следовательно, как *Бело-иванов*. Это не единственный случай. По такому же типу построены и ту же эволюцию формы проделали фамилии *Косова́нов* (*M. Benson*. P. 67) < **Косо-иванов*, *Торгова́нов* (*M. Benson*. P. 124) < **Торго-иванов*, далее, возможно, *Молдова́нов* (*M. Benson*. P. 85) < **Молодо-иванов* (с синкопой гласного в среднем слоге *молодо-*; впрочем, вероятность этого случая снижается из-

за наличия другой возможности толкования), наконец, *Чайва́нов* (*M. Benson*. P. 135) < **Чей-иванов*.

Второй пример имеет свои отличия, так как речь идет об одном случае в русских фамилиях, а не о целом ряде или типе, как это было в только что разобранном примере. При всем том только обращение к материалу разных национальных антропонимий Европы, вскрывающее всякий раз семантически очень близкие случаи, приводит к правильному пониманию русского образования, которое в противном случае остается случайностью, курьезом. Мы имеем в виду русскую фамилию *Водопья́нов* или, скорее, ее основу. То, что это старый антропоним, документировано летописным именем-прозвищем *Водопьянъ*, атаман казацкий, под 7070 (= 1562) г. (Указатель к Никоновской летописи. С. 33 = ПСРЛ. Т. XIV, 2-я пол. Пг., 1918). Типологический фон к русскому *Водопьян* / *Водопьянов*, особенно в плане семантики, образуют нем. *Trinkwasser*, фамилия, согласно Брехенмахеру, первоначально — прозвище непьющего человека, трезвенника, далее — ит. *Bevilaqua*, англ. *Drinkwater*, французские фамилии во всем их множестве диалектных и графических вариантов *Boileau*, *Boilleau*, собственно, *bois l'eau* 'пей воду' (засвидетельствовано с XIII в.), *Boilève*, *Boislève* (архаическая и областная форма), *Boulaygue* (диал., юж.). Доза, который приводит в своем этимологическом словаре фамилий Франции все эти формы, толкует их, правда, в противоположность Брехенмахеру, как ироническое прозвище пьяницы, 'выраженное антифразой: 'пей воду'. Сербохорватская антропонимия, согласно Маретичу, знает фамилию *Vodopija*, *Vodopić* (< *Vodopijić*), построенную по такому же принципу, как и предыдущие. Мы сознательно не выделяем здесь славянский материал из общего числа, видя в русской и сербохорватской близости не более как свободную типологическую параллель, не обязательно возводимую к общей праславянской форме. В целом, широкое сравнение привело нас в примере с фамилией *Водопьянов* к несколько широкой семантической интерпретации ('трезвенник', 'пьяница'), однако это дает материал для дальнейших поисков. Едва ли можно в любом случае судить о генезисе русских антропонимов *Водопьян* / *Водопьянов*, не принимая во внимание эти европейские параллели.

* * *

В виде последнего раздела этой статьи мы предлагаем ряд проб этимологизации различных фамилий России. Нижеследующие заметки хотя и расположены в алфавитном порядке, не имеют претензии считаться статьями будущего этимологического словаря фамилий или даже пробными словарными статьями такого словаря. Это объясняет и извиняет более развернутый стиль

и некоторую свободу от требований экономии, обычных для словарной статьи. Что касается этимологизируемого материала, то перед нами фамилии не только разные по происхождению, но и по этимологической сложности. Это отразилось также и на объеме наших заметок.

Алтухо́в, Альтухо́в. Данная фамилия представляет собой гиперкорректный вариант, ср. более первоначальную форму *Автухов* (см. Московская городская телефонная сеть. Список абонентов. Ч. II. Квартирные телефоны. 1954. С. 109). В основе этой фамилии лежит христианское календарное имя *Евти́хий* (греч. Εὐτύχιος), однако не сама эта книжная форма, а народно-разговорный вариант весьма раннего возраста, и преимущественно южнорусского, украинского распространения, ср. укр. *Яту́х* (*С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська*. Словник власних імен людей, 2 вид. Київ, 1961. С. 37). Ср. также украинскую фамилию *Явтухов* (*Ю. К. Редько*. Географія основних типів українських прізвищ // Питання ономастики. Київ, 1965. С. 82). Форма *Автухов* может быть объяснена непосредственно только из *Явтухов*, с утратой йотации в последней форме в условиях сандхи (т. е. практически в тех же условиях, в которых обычно в более раннее время йотация возникала). Возвращаясь к заглавным нашим формам *Алтухов* / *Альтухов*, мы объясняем их как гиперкорректное (как уже было сказано) произношение первоначального *Автухов* в условиях украинского языкового окружения, во всяком случае — в южновеликорусской полосе, где, во-первых, четко могло сознаваться взаимодействие украинско-русских соответствий в закрытом слоге вроде *вовк* — *волк* и, во-вторых, могли действовать вызванные теми или иными мотивами тенденции гиперкорректного восстановления «русского» *л* на месте украинского *в* даже там, где это оказывалось неверным исторически, как, например, в *Алтухов* < *Автухов*. Ср. *Алпатов*: *Евпат*. Вариант *Альтухов* (с мягкостью *л*) несет на себе как бы последний штрих эволюции, закончившейся полной деэтимологизацией образования. Таким образом, фамилия *Алтухов*, *Альтухов* определяется как южновеликорусская по преимуществу.

Аракче́ев, сюда же *Ракче́ев* (*M. Benson*. Указ. соч. P. 18, 104). Фамилия образована с известным среди русских фамилий патронимическим суффиксом от тюркского имени деятеля *аракычы* 'кто пьет водку, пьяница' (телеутск., алт., тат. См. *В. В. Радлов*. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1. СПб., 1893. Стб. 250).

Бе́гичев (*M. Benson*. Указ. соч. P. 23), др.-рус. *Бѣгичевъ*, Михайло, московский дьяк, 1608 г. (*Н. М. Тупиков*. Словарь древнерусских личных собственных имен. С. 552), *Бегичевъ*, 1609 г. (Указатель к восьми томам ПСРЛ.. Т. I. С. 49). Ср., далее, *Бегичь*, *Бигичь*, имя князя ордынского и посла ордынского, неоднократно в летописи, 1378, 1379, 1445 гг. (Указатель. Т. I. С. 49),

Бегичка, *Бигичка*, князь ордынский, 1378 г. (там же), как личное имя русского человека ср. *Бѣгичко Трофимовъ*, белевский казак, 1605 г. (*Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 131). В конечном счете восходит к распространенному тюрк. *бäе* 'бег, чиновник' (*В. В. Радлов*. Опыт словаря. Т. IV. СПб., 1911. Стб. 1580).

Г и́ л е л ь с (*M. Benson*. Указ. соч. P. 37) — фамилия еврейского происхождения с новоеврейским (генетически — германским) словооформлением: генитивно-посессивное *-s* (ср. *Михоэлс* и под.). Произведена от древнего библейского имени *Hillel* (см. о последнем: *Dr. Zunz*. Namen der Juden. Leipzig, 1837. S. 23), ср. др.-евр. הִלֵּל *hillel* 'хвалить' (*В. Гезениус*. Еврейская грамматика. СПб., 1874: Глоссарий. С. 248). Любопытно выступление в новое время синонимичного, т. е. тоже патронимического, образования, но осуществленного не средствами языка идиш, а по древнееврейскому способу от той же основы в духе аналитического оборота status constructus. Такова фамилия *Bar-Hillel* (США), где *Bar* — 'сын' по-арамейски. Популярность этой морфемы при регебраизации различных фамилий известна (ср. примеры: *P. Klein*. Les changements de noms en Israël // RIO. III. № 4. 1951. P. 306; *C. Adler*. Name changes in Israel // Names. Vol. II. №1. 1954. P. 39; менее вероятна мысль о происхождении морфемы *Bar* в составе еврейских фамилий из акронимического стяжения, имени-аббревиатуры, см.: *J. H. Neumann*. Some acronymic surnames // RIO. XVII. № 4. 1965. P. 272). Таким образом, при разности организации, фамилии *Гилельс* и *Bar-Hillel* семантически покрывают друг друга.

Г о д л е́ в с к и й, Г о р д л е́ в с к и й (*M. Benson*. Указ. соч. P. 38, 39) — фамилия распространенного среди еврейских фамилий географического типа. Образована с помощью суффикса *-ский* от названия местечка в Литве — польск. *Godlewa*, совр., лит. *Garliavà*. Ср. *Годлевский*, название хутора, бывш. Шавельского у. Ковенской губернии (см. Алфавитный список населенных мест Ковенской губернии. Ковна, 1903. С. 381).

Д е н и́ к и н (*M. Benson*. Указ. соч. P. 44). Судя по оформлению суффиксом *-ин*, эта фамилия произведена от основы на *-а* (или на *-о*), что подводит нас — пока без привлечения этимологических связей — к формам *Дейне́ка*, *Дейне́ко* (*M. Benson*. P. 43), тоже фамилиям, но уже типично украинского вида, без упомянутого суффиксального оформления. Круг близких форм замыкается, когда мы находим фамилию *Дейне́кин* (*M. Benson*. P. 43), на этот раз опять с русской суффиксацией. Тождество *Деникин* = *Дейнёкин* дает нам одновременно возможность как бы методом внутренней реконструкции выявить более полную форму основы — *Дейнек-*, которую мы объясняем как заимствование из тюркского, ср. в радловской транскрипции *däinäk* (тур.) 'палка, der Stock', *dägänäk* то же (*В. В. Радлов*. Опыт словаря. Т. III. СПб., 1905. Стб. 1655, 1659). К турецкому слову (совр. тур. *değnek*) восходит, возможно, и болгарская фамилия *Динеков*. О балканских отражениях этого ту-

рецкого слова см. недавно: *С. Стаховский*. Заметки о методологии этимологических исследований турецких заимствований в сербско-хорватском языке // Этимология. 1964. М., 1965. С. 65—66.

Коллонта́й (*M. Benson*. Указ. соч. P. 64) — фамилия с весьма сложной историей, которая вместе с тем может быть в существенных моментах прослежена и восстановлена. Ряд моментов истории и этимологии фамилии *Коллонтай*, которая, насколько нам известно, еще не служила предметом этимологизации, делают эту фамилию весьма интересной также с точки зрения географического перемещения форм и проблематики межъязыковых контактов. Начнем с того, что различные свидетельства говорят в пользу западного происхождения данной фамилии. Небезынтересно фактическое указание М. Я. Гринблата на то, что фамилия *Коллонтай* зафиксирована среди сельского населения Гродненского района Белорусской ССР (дер. Дуброва). Однако уже мнение автора о том, что данная фамилия является литовской по происхождению, без всякого сомнения, неверно; ясно, что одной территориальной близости Гродненщины к Литве совершенно недостаточно. См. *М. Я. Гринблат*. К вопросу об участии литовцев в этногенезе белорусов // Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. 1. Вопросы этнической истории народов Прибалтики. М., 1959. P. 532. Помимо этого в конечном счете ценного для нас факта территориальной приуроченности (западные районы Белоруссии), можно сослаться на то, что сейчас фамилия *Коллонтай* вообще воспринимается как западная по происхождению. Кроме отдельных носителей этой фамилии в наше время, здесь следует в первую очередь упомянуть, что эту фамилию носил видный деятель польского просвещения и культуры XVIII в. *Hugo Kołłątaj* (1750—1812). Его биографы сообщают, что он происходил «из литовской семьи», которая после взятия царем Михаилом Алексеевичем Смоленска в 1654 г. была вынуждена покинуть Смоленщину и переселилась на Запад, после чего осела на землях польской короны, на Волыни (см. изд.: Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki / Pod red. I. Chrzanowskiego, H. Gallego, St. Krzemińskiego. T. I. Warszawa; Kraków, 1906. S. 55).

Версия о «литовском» происхождении этой фамилии весьма стара, хотя, как увидим далее, это отнюдь не делает ее достовернее. Еще текст XVII в. — так называемые «Księgi babińskie» (1670 г.) — приводит фамилию в форме *Kołontay* в списке, в котором преобладают фамилии литовской шляхты (см.: *J. St. Bystroń*. Nazwiska polskie. Wyd. 2. Lwów; Warszawa, 1936. S. 282). Но заметим, что и среди последних встречаются фамилии самого разного происхождения, ср. такие выразительно тюркские имена, как *Burczak*, *Kuczuk*. Другой текст (Львов, 1754 г.), перечисляя польские дворянские роды, чьи фамилии не оканчиваются на *-ski*, приводит форму *Kolontaj*. Фамилия *Kołłątaj* как

необычная, но старая дворянская фамилия упоминается в специальном стихотворении XVIII в. на геральдическую тему (эти данные почерпнуты из кн.: *J. St. Bystroń*. Указ. соч. S. 287, 289).

Бытование исследуемой фамилии на восточных окраинах Речи Посполитой как бы поддерживало традиционную литовскую версию происхождения этой фамилии. Но, с другой стороны, хорошо известно, каким своеобразным значением наполнялись термины *Litwa*, *litewski* в польской традиции минувших веков, когда они употреблялись сплошь и рядом для обозначения коренных поляков, проживавших на восточных территориях исторического Польского государства. Наконец, совершенно не аргументирована лингвистическая часть версии о литовском происхождении фамилии *Коллонтай*. Совершенно очевидно, что с точки зрения литовского языка эта фамилия представляется этимологически темной и чужеродной, а также изолированной в словообразовательном отношении. В этой ситуации будет закономерным предположение о существовании такой языковой среды, с точки зрения которой фамилия *Коллонтай* обретает внутреннюю прозрачность и перестает быть случайным образованием. Ни восточнославянский, ни польский, ни литовский, как уже было сказано, не могут быть сочтены языковой средой, породившей данный антропоним. Лишь одна фамилия обнаруживает своеобразную близость структуры к *Kołłątaj*, а именно *Tałataj*, встреченная нами в одном из списков старых польских дворянских фамилий XVIII в., уже упоминавшемся нами выше, по изданию Быстроня. Впрочем, и эта последняя фамилия столь же непрозрачна и изолированна. Это значит, что направление поисков должно быть изменено.

В III томе «Полного собрания русских летописей» упоминается под 6851 (= 1343) г. татарин-ордынец *Калантай*, который клевещет на митрополита Феогноста, пришедшего в Орду, грабит его, схватывает и мучит, говоря: давай дань полѣтнюю (Указатель к первым осьми томам ПСРЛ. Отдел первый. Указатель лиц. Т. II. СПб., 1898. С. 6). В старой татарской антропонимии мы находим на основании только этих источников ряд одинаково построенных имен, ср. *Елортай*, князь ордынский (1288 г.). Сюда же примыкают имена древнерусской знати и русских служилых людей, ср. *Урустай*, князь минский, переехавший на службу в Москву (1408 г.); князь *Иван Иванович Пронский-Турунтай*, упоминается как наместник в Пскове (1541, 1547 гг.); *Стенка Турунтай*, якутский казачий пятидесятник, 1684 г. (*Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 461). Ср. также следующий этюд — по этимологии фамилии *Коротаев*. Тюркское происхождение и однородное образование вышеназванных имен несомненно. Ср. тюрк. *kулунтаі* 'жеребенок', особенно узб. *kулунтåі*, уйгур. *kулантаі* 'дикий осел', kулан 'дикая лошадь', далее — туркм. *торум* 'верблюжонок по второму году', тур. *торун* 'верблюжонок по третьему году',

тюрк. *тайлаk* 'верблюжонок по второму году' (см. сведения об этих словах: *В. В. Радлов*. Опыт словаря. Т. II. СПб., 1899. Стб. 974—975; *А. М. Щербак*. Названия домашних и диких животных в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 90, 95, 106—107). Фамилии и имена *Коллонтай*, *Tałataj*, *Турунтай* получают объяснение из тюркских названий животных определенного возраста *кулунтåі* / *кулантаі*, *таілаk-таі*, *торунтаі*. Антропонимы от названий животных вообще характерны для тюрок.

Интересно также другое: такие имена, как *Kołłątaj*, *Talataj* и др. (ср. выше), чье татарское происхождение может теперь считаться доказанным, в силу исторических обстоятельств оказываются в пределах польско-литовского государства и рано включаются — особенно *Kołłątaj* — в число польских фамилий. Единственная известная нам «русская» форма *Колонтаевъ* является лишь русской адаптацией уже полонизированной фамилии *Kołłątaj*, ср. упоминание о королевском дворянине по фамилии *Ѳедоръ Колонтаевъ*, 1508 г. — Акты Западной России. II. С. 47 (*Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 637). Что касается восточных окраин Польского государства, то здесь фамилия *Колонтай*, *Коллонтай* очень прижилась. Ср., кроме сообщаемых выше фактов, неоднократное упоминание местного шляхетского рода *Колонтай* начиная с 1595 г. в актовых книгах Кременецкого земского суда (Кременецький земський суд. Описи актових книг. Вип. I. Київ, 1959; вип. II — 1965; вип. III — 1965; passim). На другом конце Украины отмечены даже гидронимы, образованные от данной фамилии, в бассейне Ворсклы и Сейма: *Колонтаев*, *Колонтаева*, *Колонтаевка*, укр. *Колонтáïв* (*M. Vasmer*. Wörterbuch der russischen Gewässernamen. Bd. II. Berlin; Wiesbaden, 1963. S. 416). Собственно русской гидронимии они неизвестны.

Фамилия *Коллонтай* представляет, таким образом, редкое явление в русской антропонимии, потому что, будучи неоспоримо татарской (ордынской) по происхождению, она, в отличие от большинства русских фамилий татарского происхождения, попала в число фамилий России не прямо, а окольным путем, успев на промежуточном этапе сильно ассимилироваться на землях Речи Посполитой (Белоруссия, Украина, Литва, Польша). Современное написание фамилии *Коллонтай* до сих пор носит след орфографии польских дворянских фамилий — нерациональное двойное *л*.

Коротáев, Карантáев (*M. Benson*. Указ. соч. P. 59, 66), также *Каратаев*. Эта фамилия объясняется не из императивной формы *коротай* : *коротать*, как можно было бы предположить на основании аналогий вроде *Катаев* < *катай*, *Ширяев* < *ширяй*. Сближение *Коротаев* : *коротать* осуществилось скорее по народной этимологии. Фамилия *Коротаев*, ср. *Иванъ Коротаевъ*, в Новгородской области, 1594 г. (*Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 646), объясняется как производное от личного имени *Коротай*, 1557 г., *Картай*,

пошехонский крестьянин, 1679 г. (*Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 255), сюда же белорусская фамилия *Каратай* (см. *М. В. Бірыла*. Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў (рускай, украінскай, польскай). Мінск, 1963. С. 21). Что касается имени *Коротай* / *Каратай*, в котором Бирилло неоправданно выделяет суффикс *-ай*, то мы считаем это имя целиком заимствованным из татарского, ср. тюрк. *kara* 'черный', *taj* 'жеребенок'; *каратай* известно как название определенной этнической группировки в Поволжье, оно обозначало отатарившуюся мордву (см. *Vasmer*. I. S. 528, или в нашем переводе: *Фасмер*. II. М., 1966. С. 194). Антропонимия, а также этнонимия от названий животных характерна для тюркских народов, ср. предыдущий этюд по этимологии фамилии *Коллонтай*, с которой фамилию *Коротаев* объединяет также близость апеллативной основы, в данном случае тюрк. *karataj* 'жеребенок черной, вороной масти'.

Куи́нджи, как и *Алтунджи*, *Демерджи*, принадлежит к числу татарских фамилий выходцев с Украины. Такие фамилии образуют иногда свои словообразовательные ряды, ср., например, *Маштабей*, *Кочубей* (сложения с *-бей*). В нашем примере и в близких (см. выше) представлены тюркские имена деятеля (названия ремесленников) на суффикс *-džy* (тур. *-ci*). Ср. тюрк. (в радловской транскрипции) *кујумџу*, *кујунџу* (тур.) 'золотых и серебряных дел мастер, литейщик' (*В. В. Радлов*. Опыт словаря. Т. II. СПб., 1899. Стб. 907). В соответствии со сказанным, ударение *Куи́нджи* в фамилии известного русского живописца неисконно, оно сменило первоначальное **Куинджи́*, которое затем было видоизменено несколько «на итальянский манер» — с перенесением ударения на предпоследний слог (как в итальянских фамилиях на *-i*).

Мя́тлев (*M. Benson*. Указ. соч. Р. 87) образовано от древнерусского прозвища *Мятль*, ср. летописное упоминание о *Мятле Порховском*, убитом в 1441 г. в новгородском войске (Указатель к осьми томам ПСРЛ. Вып. 3. СПб., 1875. С. 136; *Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 320). Достаточно рано оформилась и фамилия *Мятлев*, ср. *Иванъ Мятлевъ*, московский помещик, около 1575 г. (*Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 715). В основе названных имени и фамилии лежит др.-рус. *мятьль*, название верхней одежды, слово германо-латинского происхождения, ср. нем. *Mantel* 'плащ, пальто' (см. об апеллативе: *Vasmer*. II. S. v. *мятель*). Своеобразие случая фамилии *Мятлев* состоит, очевидно, в том, что здесь не иноязычный апеллатив был употреблен как прозвище (а затем и фамилия) русского человека, что бывает нередко, а человек нерусского, немецкого происхождения, прибыв в Россию под этим немецким прозвищем, подвергся затем (он сам и его прозвище) обрусению. О Мятлевых известно, что они потомки выходцев из Германии (см. *Е. П. Карнович*. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. СПб., 1886. С. 236). Тот же немецкий апеллатив (правда, форма с умлаутом) дал, например, чеш-

скую фамилию *Mentlík* (*J. Beneš*. O českých příjmeních. Praha, 1962. S. 241). Впрочем, наиболее полное соответствие древнерусскому имени *Мятль* в форме и в относительной хронологии представляет другая чешская фамилия — *Mátl*, отражающая, как и русская форма, раннюю рефлексацию (или субституцию?) сочетания гласного с носовым согласным в конце слога.

Паустóвский (*M. Benson*. Указ. соч. P. 95) — образование на *-ский* по распространенному среди еврейских фамилий географическому типу от названия населенного пункта *Паустов*, в Бессарабии (см. Списки населенных мест Российской империи, III. Бессарабская область. СПб., 1861. С. 42: Сорокский уезд). Фамилиеобразование осуществлено здесь по славянской (польской) модели, также весьма популярной в фамилиях евреев Восточной Европы, ср. синонимичную ей конструкцию германского происхождения с формантом *-er* (см. ниже примеры фамилий еврейского происхождения на *-ер*), также широко представленную среди еврейских фамилий географического типа. Что касается названия бессарабского местечка *Паустов*, давшего начало фамилии *Паустовский*, то в его основе лежит народная форма церковного календарного имени *Фавст* (из лат. *Faustus* или через греческое посредство) с раннеславянским субституционным отражением иноязычного *f* : *p*. Ср. иную (тоже народную) передачу *ф* > *х* в фамилии *Хаустов*, в конечном счете восходящей к тому же личному имени *Фавст* / *Фауст*.

Певзнер (Московская городская телефонная сеть. Список абонентов. Ч. II. Квартирные телефоны. 1954. С. 327) — довольно распространенная фамилия еврейского происхождения, которая ввиду очевидного наличия словообразовательного форманта *-ер* может быть уже заранее охарактеризована как очевидно однотипная с фамилиями географического типа, построенными по идишско-немецкой модели (ср. *Винер*, *Берлинер*, *Туровер*, *Познер*, *Вормсер* / *Wormser* / *Wurmser* и под.). Некоторая трудность идентификации корневой морфемы *Певзн-ер* проистекает, возможно, от происшедших в ней изменений. В связи с этим мы допускаем, что форма Певзнер неисконна и через белорусско-украинское состояние (типа блр. *Пеўзнер*) восходит к идишско-польской форме **Pełzner*. Эта последняя непосредственно происходит из нем. *Pils*(*e*)*ner* 'пльзенский, житель Пльзеня, Пильзена'. Переход *ł* > *u̯*, *w* хорошо известен как диалектное явление в восточноевропейском идише, особенно на Севере, и совершается он в конце слога или слова не без влияния украинского и белорусского (см.: *M. Mieses*. Die jiddische Sprache. Berlin; Wien, 1824. S. 98 след.; *M. I. Herzog*. The Yiddish language in Northern Poland: its geography and history. Bloomington, 1965. P. 225). В истории расселения ашкеназского еврейства из Германии в Восточную Европу известно раннее распространение на территории Чехии и направление затем оттуда значительных групп еврейского населения в Польшу (*M. Mieses*. Указ. соч. S. 314;

M. Weinreich. Yiddish, Knaanic, Slavic: the basic relationships // For Roman Jakobson. The Hague, 1956. P. 626). Таким образом, фамилия *Певзнер* сохраняет память о давней связи с крупным городом в Западной Чехии.

Подцероб. Эта относительно редкая фамилия представляется в своей современной форме неясной. Можно лишь предположительно говорить о наличии здесь образования с приставкой *под-*. Исторические материалы проясняют структуру имени и дают возможность более уверенно искать дальше. Ср. *Подтереба*, Трофим, сотник Острянский, 1670 г., Акты Южной и Западной России. X. С. 253 (*Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 366). Ср. также апеллативное др.-рус. *потеребъ* 'росчисть' (Срезн.). Но особенно ценно для нас, конечно, вышеупомянутое старое западнорусское свидетельство об имени *Подтереба*. Сличение его с современной фамилией *Подцероб* позволяет выявить в последней типично белорусские черты — цеканье и отвердение мягкого *р*. На Белоруссию указывает и документированно западное место употребления имени *Подтереба*, см. выше. Последняя форма, записанная традиционным правописанием, не передает, правда, действительного белорусского произношения фамилии, которое довольно точно отражено в современной форме *Подцероб*. Но особенно точное белорусское соответствие и апеллативный эквивалент мы находим в блр. диал. *пацярóб* м. 'выцераблены лясок, хмызняк', т. е. 'выкорчеванный лесок, кустарник' (см. *М. Гуліцкі*. З лексікі вёскі Зарытава [Брестской обл. — *О. Т.*] // Матэрыялы для слоўніка народнадыялектнай мовы / пад рэд. Ф. Янкоўскага. Мінск, 1960. С. 127). Ср., далее, блр. *церабіць*, диал. *цірабіць* 'корчевать, расчищать'.

Пóзнер (*M. Benson*. Указ. соч. P. 99) — фамилия еврейского происхождения географического типа, неоднократно уже упоминавшегося и ранее, собственно, евр.-нем. *Pozner* = нем. *Posener* 'познанский, из Познани', ср. полный семантический эквивалент, но выраженный славянским (польским) способом, — фамилия *Познанский* (см. *J. St. Bystron*. Nazwiska polskie. Wyd. 2. Lwów; Warszawa, 1936. S. 214; *M. Roblin*. Quelques remarques sur les noms de famille des Juifs en Europe Orientale // RIO. II. № 4. 1950. P. 292; *P. Lévy*. Les noms des Israélites en France. Paris, 1960. P. 179).

Сатунóвский (*M. Benson*. Указ. соч. P. 111: *Сатанóвский*, что следует толковать как испорченный какографический вариант, см. ниже). Эта фамилия также принадлежит к известному географическому типу и является производным со славянским суффиксом *-ский* от местного названия на юге Бессарабии: *Сатунов*, в бывш. Аккерманском уезде, ср. еще *Сатунов-Троян*, в бывш. Бендерском уезде (Списки населенных мест Российской империи, III. Бессарабская область. СПб., 1861. С. 18, 28). Это чисто молдавское местное название, собственно, молд. *сату ноу* 'новое селение', поэтому нельзя согласиться с М. В. Сергиевским, когда последний относит название *Сатунов-*

Троян к «чисто русским явно нового происхождения» (*М. В. Сергиевский*. Топонимия Бессарабии и ее свидетельство о процессе заселения территории // ИАН ОЛЯ. Т. V. Вып. 4. 1946. С. 346). Известный, помимо формы *Сатуновский*, вариант фамилии *Шатуновский* вторичен в том смысле, что он обязан своим возникновением, как кажется, тенденции гиперкорректности, приведшей к ложному восстановлению *ш* вместо *с*, поскольку, например, в литовском диалекте идиш такая черта, как переход *š* > *s*, регулярно представлена и вполне может сознаваться, что влечет за собой и сознательные попытки избавиться от «неправильности» произношения.

Сага́лин, *Сага́лов*, *Сагало́вич*, *Сега́л*, *Сега́ль*, *Се́глин*, *Сига́л*, *Сига́лов*, *Шага́лин*, *Шага́лов* (*M. Benson*. Указ. соч. P. 109, 112, 113, 139). Может показаться, что здесь собраны совершенно не связанные друг с другом фамилии, тем не менее перед нами не более как варианты (десять вариантов) одной фамилии еврейского происхождения, которую объясняют как имя-аббревиатуру, акроним, составленный из начальных букв культового термина *segan leviyeh* 'левит, слуга, помощник левита' (см.: *J. H. Neumann*. Some acronymic surnames // RIO. XVII. № 4. 1965. P. 269; *P. Lévy*. Les noms des israélites en France. Paris, 1960. P. 192). Авторы приводят еще такие варианты этой фамилии в разных странах, как *Siegel*, *Segelman* и др., обращая внимание на их тенденцию уподобиться апеллативам и фамилиям иного происхождения, например нем. *Siegel* 'печать'. Бытующие среди фамилий России варианты фамилии *Сегал* охвачены, пожалуй, не в меньшей степени тенденцией народно-этимологического сближения с инородными образованиями. Так, например, *Шагалов* и подобные варианты вполне могут внешне сойти за производные от рус. *шаг*, *шагать*, хотя это исторически неверно, поскольку разница между *Сагалов* и *Шагалов* упирается лишь в лингвогеографическую проблему распределения и вариации *š* и *s* в разных еврейских диалектах Восточной Европы (ср. *Сатуновский* : *Шатуновский*). Сознательный момент в выборе той или иной разновидности тоже играл какую-то роль, опираясь, возможно, на упомянутые внешние ассоциации с русским словарем. Еще одним вариантом фамилии *Сегал* etc. можно признать, думается, чеш. *Sgall*.

Солжени́цын (*M. Benson*. Указ. соч. P. 116) может быть объяснено довольно просто из первоначального **Соложени́цын* с синкопированием второго предударного слога, что указывает на южновеликорусское наречие и самое фамилию позволяет трактовать как исконно южновеликорусскую. Синкопа *-о-* в упомянутых условиях привела к деэтимологизации всей структуры фамилии, которая в остальном организована вполне регулярно: производное с патронимическим суффиксом *-ин* от имени *соложеница*, ср. причастие страд. прошедшего времени *соложен*(*ый*) или название действия *соложенье* : *солодить* 'приправлять солодом (например тесто)'.

Фу́рцев (*M. Benson*. Указ. соч. P. 130) надо рассматривать в связи с такими фамилиями, как *Фу́рсов*, а также *Фи́рсов* (*M. Benson*. P. 129, 130), которые все являются вариантами одной фамилии, а тем самым и имени одного происхождения — *Фирс*, официальная форма церковных календарей, собственно греч. θύρσος 'вакхический жезл, фирс'. Передача греческого ипсилона церковнославянской ижицей (ѵ), сплошь и рядом смешивавшейся с *у*, породила вариант данного имени с гласным *у*, оказавшийся весьма жизнеспособной, а впоследствии — народной формой, ср. южное *Хурсъ*, приводимое из «Актов Киевской комиссии» М. Морошкиным в его «Славянском именослове» (СПб., 1867. С. 203). Бесспорно вторичная черта *-рц-* (< *-рс-*), известная и по некоторым другим примерам, объясняется как наддиалектно-просторечный переход.

Шапи́ро, *Шапи́р*, *Шапи́ров*, *Шафи́ров*, *Шафи́ркин*, *Шафи́ро*, *Сапиро*, *Сапир*, *Сапгир*, *Сафи́р*, *Сапфи́ров*, *Штейнсапир* (часть форм см.: *M. Benson*. Указ. соч. P. 110—111, 129, 140), ср., далее, из форм, распространенных в других странах Европы и Америки: *Sapir*, *Sapira*, *Schapira*, *Chapira*, *Chapiro*, *Schapiro*, *Safir*, *Safirstein* (*P. Lévy*. Указ. соч. P. 187). Необычайное множество вариантов фамилии как бы предвещает сложность условий для этимологии. Это усугубляется серьезными формальными различиями самих вариантов, число которых может быть, как увидим ниже, увеличено до угрожающих размеров, включая и такие, которые просто не могут быть сведены к однозначной этимологии. Такой вывод, заметим, отнюдь не означает неудачу этимологизации, а, напротив, подводит нас к правильному пониманию реальной сложности случая. Этимология фамилии *Шапиро* (и вариантов) предстает перед нами как поучительная глава из области этнической истории, истории межъязыковых связей в виде довольно своеобразного переплетения моментов общеязыкового и индивидуального характера. Речь идет о довольно старой еврейской фамилии, которая появляется уже в середине XVII в. в России в современной форме *Шапиро* (*P. Lévy*. Указ. соч. P. 187; *Е. П. Карнович*. Указ. соч. С. 144—145). Известно мнение о том, что в основе этой фамилии лежит древнееврейское слово со значением 'прекрасный, быть прекрасным' (*P. Lévy*. Там же; ср. еще популярную книгу: *Л. Успенский*. Ты и твое имя. Л., 1962. С. 590). Это объяснение можно было бы принять в несколько уточненной версии, а именно со специальным указанием на арамейскую ономастику, которая, как известно, существовала и существует в еврейской антропонимии наряду с древнееврейскими элементами, а подчас даже вытеснив последние. Ср. в этом случае два личных имени, давно принятых у европейских евреев — женское שפירא *Saphira*, собственно 'прекрасная' (как таковое употреблено, например, в 1679 г.), и мужское שפיר *Saphir* (см. *Dr. Zunz*. Die Namen der Juden. Eine geschichtliche Untersuchung. Leipzig, 1837. S. 25, 89, 123). Эта возможность подкупает простотой и приемлемостью своего семантического объяснения

(антропоним-орнамент: 'красивый') и объяснения формы, так как получают мотивацию такие варианты, как *Шапиро* / *Шапира* и *Шапир* / *Сапир*. В какой-то части эту этимологию или ее элементы надо будет сохранить до конца.

Другая, в последнее время особенно популярная этимология данной фамилии производит ее от названия немецкого города Шпайер в рейнских провинциях. Правда, эта географическая этимология опирается обычно на ряд довольно единообразных вариантов, связь которых с *Шапиро* либо как-то объясняется, либо постулируется, а именно: фамилии *Spaier*, *Speier*, *Speyer*, *Spira*, *Spir*(*e*), *Spiro*, *Szpiro*, *Szpira*, *Speir*, *Spaier*, *Spajer*. Формы такого рода начиная с 1400 г. отмечены в Аахене, Франкфурте на Майне, Меце (см.: *A. Dauzat*. Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France. Paris, 1951. P. 557; *P. Lévy*. Указ. соч. P. 195). Правда, все перечисленные фамилии и варианты известны почти исключительно среди западноевропейских евреев и на Востоке Европы практически отсутствуют. С другой стороны, давно замечено, что форма *Шапиро* (и варианты) как раз характерна для Восточной Европы. Последующие расселения ашкеназского еврейства разнесли ее довольно широко, ср. отмеченные случаи фамилии *Шапира* на Ближнем Востоке, *Chapiro* — во Франции и т. д., но это уже позднейшие события (ср.: *Idelsohn* // Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. LVII. Breslau. S. 521; *M. Mieses*. Die jiddische Sprache. S. 301). Важно, что исторически старейший случай фамилии *Шапиро* засвидетельствован именно на Востоке Европы, в России (XVII в.). С этим, видимо, связана своеобразная лингвистическая легенда о том, что *Шапиро* — это славянская форма немецкого названия города *Шпайер*; так, по крайней мере, считают цитированные выше Доза и Леви: «*Chapiro* ⟨...⟩ forme slave de Spire (Rhénanie)». Но каждому слависту элементарно очевидно, что все формы названия данного немецкого города могли быть беспрепятственно сохранены или довольно точно отражены в славянских языках: *Шпайер*, *Шпейер*, *Спира*, *Спера*, *Шпира*. Важно то, что славянский принципиально терпим к сочетаниям двух согласных в начале слова и что преобразование типа **Шпира* > *Шапира* — совершенно не в духе славянского. Недостаточная обоснованность такой славянской этимологии формы *Шапиро* объясняет возможность появления совершенно противоположных объяснений этой же самой формы. Так, один автор считает формы *Šapîrô*, *Šapîrå*' производными от названия города Шпайер, подвергнутыми затем гебраизации формы (*P. Klein*. Les changements de noms en Israël // RIO. III. № 4. 1951. P. 307—308). Это несомненный анахронизм, потому что трудно говорить о гебраизации или даже регебраизации современного типа для фамилии, известной в этой форме уже в XVII в.

Мы тоже считаем, что фамилия *Шапиро* сложилась на восточноевропейской и даже в каком-то смысле на славянской почве, о чем — ниже. Об этом

говорит и старая география формы *Шапир(о)* и близких. Вместе с тем мы склоняемся к тому мнению, что в основе этих восточноевропейских форм лежит название сапфира. Только в этом случае мы получаем возможность объяснить приемлемым образом наибольшее число восточноевропейских форм, стоящих в заглавии настоящего этюда. Эта третья по счету этимология фамилии *Шапиро* тоже очень стара, ср. хотя бы мнение нелингвиста Е. П. Карновича в прошлом веке: «...*Шафиров*, собственно *Шапиро*, что означает камень сапфир» (Указ. соч. С. 145). Однако детали и само представление об эволюции форм представляются до сих пор совершенно неразработанными. Так, нам кажется, что вопрос о генеалогии и иерархии форм *Шапиро*, *Сапир* и т. д., очевидно, нельзя решать без учета прямого влияния польск. *szafir* 'сапфир', тем более что сам первоисточник европейских названий камня сапфира — др.-евр. סַפִּיר *sappīr* имеет не «шин» (ש), а «самех» (ס) в начале слова. Таким образом, 1) вариант *Сапир* получил бы объяснение как самый старый, т. е. полнее соответствующий древнееврейскому апеллативу «сапфир»; 2) вариант *Сапгир* может быть понят только как отражение европейского графического образа данного апеллатива, например нем. *Saphir* 'сапфир'; 3) вариант *Шапиро*, *Шафиров* получает объяснение как сложившийся в Польше; наконец, новые варианты — 4) *Сапфиров*, калька и 5) *Штейнсапир*, глосса — служат аргументами в пользу этимологии от названия драгоценного камня. Ср. фамилии *Бриллиант*, *Диамент*, *Перльмуттер*. В отношении *Шапир* / *Сапир* вопрос о влиянии перехода *š* > *s* в северо-западном (литовском) диалекте идиша, по-видимому, отпадает, так как в основе части вариантов (*Сапир*, *Штейн-сапир*) сознается наличие слова, которое в древнееврейском написании не имело «шин» (ש), т. е. *sappir* 'сапфир'. Написание и в немалой степени произношение древних элементов словаря, как известно, оберегается традицией и в новоеврейском. В части форм на *Ш-* мог сказаться польский консонантизм, ср. польск. *szafir* 'сапфир', что говорит о прозрачности этимологии фамилии *Шапиро* / *Сапиро* в течение длительного времени. Консонантизм апеллатива *szafir* должен рассматриваться в одном ряду с консонантизмом других заимствований из средненемецкого в польский, ср. польск. *szukać* : нем. *suchen* и др.

Ша́хматов (*M. Benson*. Указ. соч. P. 140) — русская фамилия, которая в этой форме и с таким ударением осмысливается как производное от названия игры, однако есть факты, заставляющие интерпретировать историю и этимологию этой знаменитой фамилии иначе и сложнее. В современной своей форме фамилия *Шахматов* известна уже давно, ср., помимо иных данных, приводимых далее, также упоминаемый в словаре Тупикова князь *Иван Шахматов*, мастер селитряного дела, в Суздале, 1641 г. (*Н. М. Тупиков*. Словарь. С. 890).

Прежде чем мы обратимся к истории и этимологии в собственном смысле, интересно поставить вопрос о возможностях внутренней реконструкции при этимологизации фамилий, — вопрос, думается, еще более актуальный, чем при апеллативной этимологии, так как в ономастике мы лишены поддержки, которую в лексике оказывают значения слов. Суждения в области внутренней реконструкции тем надежнее, чем разнообразнее варианты форм. Относительно современным и вместе с тем оригинальным вариантом к *Ша́хматов* мы считаем фамилию *Шихма́тов*. Аргументация или доказательства будут сообщены далее. Сейчас же можно констатировать наличие в форме *Шихма́тов* иного вокализма, иного ударения и этимологической непрозрачности. В связи с этим современная прозрачность формы *Ша́хматов* (: *ша́хматы*) вправе вызвать у нас сомнения, иначе говоря, представляется необходимым доказать ее (как и выдвинутое родство с *Шихма́тов*) или опровергнуть. Из носителей фамилии *Ша́хматов* особую известность получил русский филолог А. А. Шахматов (1864—1920), данные о его происхождении представляют ценность для нас в связи с вопросом о его фамилии. Предки А. А. Шахматова — саратовцы, как пишет сам ученый в автобиографии, см. кн.: А. А. Шахматов. Л., 1930. С. 4. Старинный род саратовских дворян Шахматовых знатностью тем не менее не отличался, хотя, судя по документам XVII в., они были московскими дворянами. Будучи «пропущены во всех родословных», Шахматовы, однако, с раннего времени известны своей активностью на восточных окраинах Московского государства. См. *Е. А. Масальская*. Повесть о брате моем А. А. Шахматове. Часть первая. «Легендарный мальчик». М., 1929. С. 29 и другие места. Сообщаемый в этой же книге семейный анекдот дяди известного ученого о том, что Шахматовы — происхождения из Персии (с. 16 книги), большой ценности не имеет, так как навеян народно-этимологической близостью фамилии *Шахматов* и слов *шах*(*маты*), действительно персидского происхождения.

Тем не менее искать корни фамилии *Шахматов* надо, действительно, на Востоке. В русской истории известно лицо по имени *Шахматъ*, им оказывается не кто иной, как князь татарский, шурин хана Тохтамыша, упоминаемый в летописи под 6890 (= 1382) г. (Указатель к первым осьми томам ПСРЛ... Т. II. СПб., 1898. С. 341). Этот *Шахматъ* чаще упоминается как *Шихматъ*, 1382 г. (там же. С. 345), а также в более полной форме *Шихъ-Ахматъ*, *Шиахматъ*, 1382 г. (ПСРЛ. Т. XIV, 2-я пол. Указатель к Никоновской летописи. Пг., 1918. С. 154). В этой последней форме с вариантом дана, как мы считаем, по сути дела и этимология имени *Шахмат* и направление его развития через контракцию внутренних слогов этого сложного имени. Летописи, излагавшие события русской истории XIV, XV, XVI вв., пестрят всеми мыслимыми формами этого имени: *Шигъ-Ахметъ*, *Шихъ-Ахматъ*, *Шиахматъ*,

Шихматъ, *Шахматъ*, *Шихоматъ*, *Шигъ Ахметъ*. Татарское имя *Шихъ Ахматъ* русских летописей объясняется сложением титула *шäiх* 'слуга мечети, настоятель монастыря' (раннее заимствование из арабского; см. *В. В. Радлов*. Опыт словаря. Т. IV. СПб., 1911. Стб. 995) и имени *Ахмат*. Помимо очевидности сложения в этих старых формах, ср. такую современную бесспорно татарскую по происхождению фамилию, как *Шаяме́тов* (*M. Benson*. Указ. соч. P. 140), представляющую параллель к *Шахматов* и основанную на том же сложении. Интересно попутно отметить, что имя *Ахмат* / *Ахмет* вообще широко выступает в составе таких по своему генезису мусульманских имен-сложений данного имени с предпосланными ему титулами или обозначениями социального характера 'господин', 'служитель', 'раб', ср., с одной стороны, включения такого рода в состав фамилий России — *Кулахме́тов*, *Сейдаме́тов*, *Шаяме́тов* (*M. Benson*. Указ. соч. P. 70, 112, 140), а также и *Шихма́тов*, *Ша́хматов*, хотя и обрусевшие вполне. Из летописных упоминаний, с другой стороны, сюда относятся такие имена татар, как *Кичим-Ахметъ*, *Козя-Ахматъ*, *Сеитъ-Ахметъ*, *Сиди-Ахметъ* и *Шихъ-Ахматъ* во всех своих формах, отмеченных выше. Стойкость этих сложений и широта их распространения не могут не удивить исследователя. Например, мусульманское имя, сохраненное в летописной форме имени татарина *Сеитъ-Ахметъ*, а также в современной фамилии *Сейдаме́тов*, встречает нас и на другом конце Европы, в Испании, в прозрачной форме *Сид Амет Бененхели*, имя ученого мусульманина, от лица которого рассказывается в книге Сервантеса история о похождениях Дон-Кихота.

Что касается фамилии *Шихма́тов*, этимологическая связь с которой как с более архаической формой, выдвинутая для фамилии *Шахматов* выше, теперь может считаться доказанной, то именно носители фамилии *Шихматов* документально известны как потомки татарских мурз, начавших переходить в православие в середине XVI в. (*Е. П. Карнович*. Указ. соч. С. 178).

Ш е м я́ к и н, Ш е м я к о в (*M. Benson*. Указ. соч. P. 141) — фамилия, основанная на старом русском личном имени, хорошо известном из истории и из народного словесного творчества, — *Шемяка*. К настоящему времени названная фамилия является единственным живым продолжением этого имени, которое было вытеснено из живого употребления под напором христианских личных имен. Интерес, представляемый для нас этими именем и фамилией, значительно повышается тем обстоятельством, что они сохраняют не дошедший до нас в прямой функции апеллатив весьма древнего вида **ши-мяка* (ср. *ши-ворот*) < **ši-męka*, собственно, 'тот, кто мнет шею (другому)', 'забияка', ср. образование *коже-мяка*, а также, между прочим, фамилию *Рожемяков* (*M. Benson*. P. 106) < **рожe-мяка* с близкой исходной семантикой.

ЗАМЕТКИ ПО ЛЕХИТСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ

польск. *gruczoł* ‘железа, *glandula*’; польск. *wątpić* ‘сомневаться’; польск. диал. *pydy* ‘коромысла для ведер’; польск. *krnąbrny*; польск. *tłum*; словин. *dvjĩgə*; *Osobłoga*

Уже давно принято выделять в составе западнославянской группы языков такую более компактную совокупность, как лехитские языки, куда входят польский, а также вымерший полабский и остатки поморских диалектов (словинский, кашубский). Их своеобразие изучалось почти исключительно в плане грамматическом, главным образом — фонетическом, т. е. в полном соответствии со взглядами на преобладающие критерии характеристики языков и их отношений в предшествующем и современном славянском языкознании. Что касается лексического аспекта проблемы, то он еще совершенно не разработан. Вместе с тем постепенная эволюция взглядов на лексику и ее свидетельства в столь общих вопросах заставляет внимательно отнестись к лексическому материалу славянских языков в плане выявления различных, в том числе древних, региональных связей. В этом относительно новом плане лексические связи лехитских языков изучены еще очень недостаточно: не собран материал, а следовательно, не может быть речи и об обобщениях. Определенные успехи, накопленные по этимологии лехитских языков, сосредоточены в другом аспекте и отличаются несколько односторонним направлением; это прежде всего достижения в области этимологии польской лексики. Все остальное, что относится к этимологизации остатков полабской лексики и более или менее оригинальных образований в составе словаря кашубско-словинских диалектов (в первую очередь статьи Лоренца), носит очень случайный и разрозненный характер.

С точки зрения принципиальной, было бы полезно освободиться в этой области славянского языкознания от некоторых привычных и в известном смысле удобных по причине своей стройности воззрений на исходную однородность древнего славянского словарного состава. Более современной и правильной нам кажется точка зрения о значительной первоначальной автономности словарного состава древних славянских диалектов. Не считая необходимым вдаваться в подробное изложение общих вопросов в этой статье, мы укажем только на актуальность, которой, по нашему мнению, обладает изучение в таком плане славянской лексики в разных районах славянской языковой территории. Возвращаясь к лехитской языковой группировке, отметим, что собственное своеобразие последней и ее внутриславянская ситуация не могут считаться достаточно выясненными, пока не проделана работа над соответствующим лексическим материалом. Нижеследующие заметки следует рассматривать как примеры, иллюстрирующие различные аспекты лехитской этимологии. Так, нами разбираются внутриславянские изолексы большой древности; только лехитские или только польские слова, в том числе новообразования, как основные приметы лексической оригинальности исторического польского языка или какого-либо другого лехитского диалекта; местные дославянские архаизмы лексики; иноязычные заимствования; заимствования из других индоевропейских субстратов.

1. Польск. *gruczoł* 'железа, glandula'

Это польское слово известно в значениях 'железа в живом организме', 'шишка, болезненное утолщение', 'затвердение под кожей, с нагноением', 'сросшиеся между собой, спутанные ответвления древесных корней, трудно поддающиеся выкорчевыванию' [1]. Данное характерное слово можно считать в общем правильно проэтимологизированным, имея в виду сближение с чеш. диал. *hrč* 'шишка нарост', приводимое еще Брюкнером [2]. Славский обстоятельно анализирует это польское слово, значительно расширяя круг сравниваемых форм. Он относит сюда также морав. *grča* 'шишка, сук', сербохорв. *грча* 'сук', словен. *gŕča* 'сук, нарост, утолщение, шишка; вымя; глыба' [3]. Славский в целом прав, считая исходное для перечисленных слов праславянское **gr̥čь* очевидным вариантом праславянского **kr̥čь*, откуда, например, рус. *корчить* и т. д. Польск. *gruczoł*, которое уже с XV в. известно в своем на-

[1] *J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki.* Słownik języka polskiego. T. I. S. 920 (далее —Warsz.).

[2] *A. Brückner.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957. S. 159.

[3] *F. Sławski.* Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1. Kraków, 1956. S. 358—359.

стоящем оформлении, Ф. Славский вместе с тем, по-видимому, считает продуктом специально польского словообразовательного развития, указывая наряду с ним диалектные формы без суффикса *-oł*: *grucza* 'железа; шишка, горб'. Что касается остальных славянских языков, то Славскому в них известны только формы без суффикса *-elъ*, ср. выше. Впрочем, праславянский фонетический вариант **gṛ̥čь* Славский определяет как специфически характерный для южнославянских языков, привлекая для сравнения также болг. *гръ́чка* 'судорога', которое еще сохраняет тесную связь с исходным глагольным значением 'корчить'. Отсюда следует, что значения 'утолщение, нарост, шишка, железа' свойственны измененным формам этого этимологического гнезда только в польском, чешском, словенском, сербохорватском языках или, по крайней мере, в части их диалектов (в восточнославянском близкие формы отсутствуют).

Однако дальнейшее ознакомление со славянским диалектным словарным материалом заставляет нас прийти к несколько отличному выводу, причем новые, довольно полные лексические соответствия дают возможность считать форму на *-elъ* древним самостоятельным производным именем, обладающим интересным собственным географическим ареалом, тогда как формы без упомянутого суффикса отступают на задний план как второстепенные и неполные соответствия. Так, полное соответствие польскому *gruczoł* мы видим в болг. диал. (Тетевен) *гр́чел* м. 'нагърчена, сгърчена част от конци или прежда' (Сборник за народни умотворения, XXXI. С. 254). Совершенно ясно, что как болгарское, так и польское слово продолжают тождественное праслав. **gъrčelъ* — слово весьма ограниченного, регионального распространения. Точный характер формального соответствия показывает древность данного суффиксального производного. Значения слов, не будучи идентичными, тем не менее очень близки, причем значение 'скомканная, спутанная часть ниток или пряжи' (болг.) тесно примыкает к одному из значений польского слова, а именно: 'сросшиеся между собой, спутанные ответвления древесных корней'. Оба этих местных семантических варианта нетрудно признать разновидностями некоего общего значения 'комок' (ср., например, остальные значения польского слова). Все говорит о том, что здесь можно видеть некоторого рода с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о - л е к с и ч е с к у ю п о л ь с к о - б о л г а р с к у ю изоглоссу или старый параллелизм эпохи праславянских диалектных отношений. Менее вероятно было бы предполагать тут факты позднего, инновационного происхождения. Против этого говорит также еще одно, правда, уже несколько стертое соответствие — цслав. **дрочелик** ср. р. ὄγχοι massa, tumor[4]. Кстати сказать, от внимания польских этимологов ус-

[4] *F. Miklosich.* Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1865. S. 176.

кользнуло то обстоятельство, что на близость польск. *gruczoł* 'железа' и только что приведенного цслав. *дрочелиѥ* 'опухоль' указал, разбирая различные славянские названия для железы, опухоли, еще Будилович в своем известном труде по сравнительной славянской лексикологии [5]. Это рус.-цслав.*дрочеиѥ*, являясь, по-видимому, словом в конечном счете болгарского происхождения, могло быть результатом весьма индивидуального развития первоначальной праславянской формы **gъrčelьje*, т. е. дальнейшего производного формы, лежащей в основе польск. *gruczoł* и упоминавшегося выше современного болгарского народного слова *гр́чел*. Представляя известные трудности в том, что касается формы, церковнославянское слово одновременно с этим очень ценно по своей оригинальной семантике.

2. Польск. *wątpić* 'сомневаться'

Данное слово в еще большей степени, чем предыдущее, характерно для польского словаря, поскольку нигде за пределами польского языка не встречается. В его этимологии, как это часто делается, исходили из молчаливого постулата его настоящего значения как основного и исходного, подыскивая соответственно этому подходящие словообразовательно-этимологические связи. Такую умозрительную в своей сущности этимологию находим в словаре Брюкнера, который выделяет здесь приставку *wą-* и глагольный корень *tĭp- / tep-,* относя сюда же польск. *dowcip* 'остроумие', укр. *дотепа* [6]. Еще раньше развернуто трактовал это слово в таком смысле Бодуэн де Куртенэ [7]. В указанном месте Бодуэн де Куртенэ, на аргументах которого мы остановимся несколько подробнее, справедливо оспаривал объяснение Малиновского: *wątpić* от основы числительного *dw(a).* Кроме того, Бодуэн де Куртенэ правильно отмечал, что выяснению структуры польского слова не поможет проведение аналогии с синонимичными терминами в других языках, например: *zweifeln*, лат. *dubitare*. Оригинальное происхождение польск. *wątpić* 'сомневаться' этот ученый представлял себе таким образом: с помощью приставки *wą-* был произведен глагол с той же основой, что и в словен. *tipati* 'щупать, касаться', только с корневым гласным в ступени редукции. Отсюда слово *wątpić* 'сомневаться', по мнению Бодуэна де Куртенэ, первоначально

---

[5] *А. Будилович.* Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Исследования в области лингвистической палеонтологии славян. Ч. I. Вып. 1. Киев, 1878. С. 250.

[6] *Brückner.* Op. cit. S. 605.

[7] *J. Baudouin de Courtenay.* Szkice językoznawcze. T. 1. Warszawa, 1904. S. 390—391. Удачной называет эту этимологию В. В. Лопатин (см. Этимологические исследования по русскому языку. IV. M., 1963. С. 40—41).

значило ни больше, ни меньше как 'ощупывать кругом, касаться с разных сторон' и т. п.

Этимология Бодуэна де Куртенэ представляется нам, однако, уязвимой с точки зрения словообразования и морфологии. Если бы при этом у нас даже не было никаких дополнительных фактических указаний в этом отношении, нельзя не обратить внимания на то, что эта этимология предполагает образование глагола *wątpić* от какой-то иной глагольной основы с помощью *wą-*, хотя последнее, как известно, представляет собой исключительно приименный префикс. Показательно, что примеры на приставку *wą-*, которые приводит в данной связи сам Бодуэн де Куртенэ, — сплошь именные образования: *wąwóz*, *wądół*, *wągroda*.

Этот недостаток в аргументации, видимо, лучше чувствовал Брюкнер, который производил глагол *wątpić* сначала от имени **wątpa* и лишь в последнем выделял упомянутый префикс *wą-*; впрочем, этому имени Брюкнер совершенно явно отводил лишь роль промежуточного звена в рамках все той же глагольной семантики, кроме того, зна́ком звездочки при слове **wątpa* давал понять, что считает его незасвидетельствованным.

Поэтому обратимся непосредственно к самому материалу. Самый большой словарь польского языка сообщает об интересующих нас словах следующее: *wątpić*, стар. *wętpić* 'колебаться, сомневаться, питать сомнения, не быть уверенным, не доверять; отчаиваться (в чем-либо)' (Warsz., VII. S. 481). Далее, там же читаем диал. *wątpie*, pl. tantum, с отсылкой к слову *wąp*, старое, наконец, само это *wąp*, *wąpie* 'внутренность, утроба, желудок', 'живот, кишки, требуха; легкие' (Warsz., VII. S. 478— 479). Сюда же примыкают некоторые дополнительные данные, взятые нами из лексики польских диалектов, например: куявск. *wąpia*, *wątpia*, мн. число, ср. р. 'внутренности, кишки, требуха' [8], закрочимск. *wątpia* 'внутренности' [9].

Как видим, соответствующее именное образование реально существует. Близость приведенных выше старых и диалектных именных форм к нашему глаголу не ограничивается случайным, алфавитным соседством в словаре. По нашему убеждению, это ближайше родственные формы, а глагол *wątpić* образован от имени, реальные варианты которого достаточно представлены здесь. Отыменный, несамостоятельный характер глагола *wątpić*, столь несомненно выраженный в его формальных особенностях (наличие неглагольной приставки), заставляет нас перенести поиски корней его семантики целиком на исходное имя. Трудность заключается в том, что формально близкое имя связано с данным производным глаголом какой-то довольно сложной семантической связью, из-за чего обычно проходили мимо их близости.

[8] *O. Kolberg*. Lud. Seria IV. Kujawy. Cz. II. Warszawa, 1867. S. 278.

[9] Słowniczek zpod Zakroczymia (wieś Pieścidła) // Wisła. 1. 1887. S. 319.

Имя, которое едва ли является новообразованием и для которого можно предположить древнюю форму **ǫtъpьje*, **ǫtъpьja*, мн. число, по-видимому, с самого начала обозначало внутренности, кишки, требуху. На образовании и соответственно — этимологии этого слова сказалось, вероятно, то, что оно выступило в функции технического термина, отразившего существенную, броскую особенность обозначаемого: только легкие, как известно, всплывают, если их бросить в воду, остальные внутренности, в отличие от них, тонут. Примеры того, как это отразилось на соответствующем терминообразовании индоевропейцев, хорошо известны, и здесь нет надобности их перечислять. Речь идет об обычном обозначении легких в разных языках как "легких, плавучих". В нашем же примере мы предполагаем обозначение остальных внутренностей как противопоставленных легким в этом качестве. Поэтому слово **ǫtъpьje* можно объяснять как сложение именной приставки *ǫ* — с основой *tъp-*, собственно — ступенью редукции основы глагола *topiti* 'топить, погружать'.

Нужно признать, что как раз формы от последнего глагола отличаются в славянских языках строгим единообразием вокализма. Однако вполне возможно предположить, что и это единообразие вокализма и единообразие исторически известного значения ('погружать в воду') не есть единственные изначальные свойства данного слова. Об этом говорят родственные балтийские формы и прежде всего — лит. *tàpti* 'стать, становиться', которые сближали со слав. *top(nǫ)ti*, *topiti* Зубатый, а в недавнее время — Станг [10]. Балтийский же имеет и ступень редукции от этой основы, а именно лит. *tupė̃ti* 'сидеть (согнувшись), сидеть на корточках' [11].

Предыдущие замечания имели главным образом цель показать, что имя **ǫtъpьje* было с самого начала образовано как региональное польское (диалектное лехитское) название разных внутренностей, кроме легких, т. е. — что важно — оно не явилось результатом каких-то предшествующих переосмыслений. Время его образования нужно отнести к эпохе праславянских диалектных отношений, поскольку более поздние новообразования с префиксом *ǫ-* маловероятны. Об относительной архаичности имени **ǫtъpьje* в этом смысле говорит и положение слова *wątpie* в польской лексике как слова старого или диалектного, одним словом, по всем признакам — образования реликтового. Завершая эти наблюдения, мы определим исходное, этимологическое значение имени **ǫtъpьje* как 'осевшее, опустившееся (на дно)', указывая одновременно на соотносимость его с глаголом **vъ-tъpiti*. Произведению это-

[10] *J. Zubatý.* Studie a články. Sv. I. Č. I. Praha, 1945. S. 231—232; *Chr. S. Stang* // NTS. XVI. 1952. S. 259.

[11] См. несколько иначе: *E. Fraenkel.* Litauisches etymologische Wörterbuch. Heidelberg, 1962. T. II. S. 1141—1142.

го имени от какой бы то ни было глагольной основы *tip-* противоречит то обстоятельство, что тогда мы ждали бы в польском форм вроде **wąćpie* и соответственно — **wąćpić.*

Итак, остается пара: польск. *wątpie* 'внутренности' и откровенно отыменное *wątpić* 'сомневаться'. Обычные источники значения 'сомневаться' в различных языках — это значения 'колебаться между двумя мнениями' и 'размышлять, думать', например, в рус. *сомневаться* (книжного, церковнославянского происхождения). Польский термин 'сомневаться' не подходит ни под одну из названных двух возможностей, хотя в принципе значения 'думать, размышлять' и могут оформляться в инновационном порядке из экспрессивных выражений типа 'работать какой-либо частью тела', ср. рус. *мозговать,* лит. *galvóti* 'думать': *galvà* 'голова'. Впрочем, нельзя не видеть, что выбор здесь ограниченный, что относится в первую очередь к органам тела ниже диафрагмы, которые в представлении людей влияли на настроение, но не на мышление. Поэтому сейчас мы не видим иной возможности объяснить семантическое развитие польского слова *wątpić* 'сомневаться', кроме предположения исходного значения 'гадать', первоначально — 'гадать по внутренностям', ср. упомянутое выше польск. *wątpie* 'внутренности'.

3. Польск. диал. *pydy* 'коромысла для ведер'

Этот узкий диалектизм польской лексики, известный нам только из плоцкого областного словарика [12], не нашел еще отражения в этимологических словарях польского языка и как будто не был объектом этимологизации. Между тем здесь совершенно ясно представлено заимствование адстратного происхождения. Речь может идти о западнобалтийском слове, однокоренном с др.-прус. *pijst* 'нести', 3-е л. ед. числа *pīdai* 'несет', откуда, как полагают, заимствовано и лит. *pýdyti* 'быстро нести (тяжелую ношу)' [13]. Из всех балтийских языков польский ранее других вступил в контакт с древнепрусским, так что в констатации древнепрусского источника польского диалектного слова, к тому же употребляемого в Северной Польше (Плоцк), нет ничего удивительного. Однако имеются данные, которые усложняют складывающуюся картину и именно поэтому заслуживают особого внимания. Точный прототип названного польского диалектного слова в древнепрусском словаре пока не известен, хотя один только этот факт легко может быть признан случайным

---

[12] *St. Ciszewski.* Kilka prowincjonalizmów płockich // Wisła. T. III. Warszawa, 1889. S. 72; ср. Warsz., V. S. 448.

[13] *R. Trautmann.* Die altpreussischen Sprachdenkmäler. 2. Teil. Göttingen, 1910. S. 398; *E. Fraenkel.* Указ. соч. I. S. 584—585.

ввиду общеизвестной скудости и крайней неполноты дошедших до нас письменных остатков древнепрусского языка. Тем не менее решительно предпочесть заманчивую древнепрусскую этимологию польск. диал. *pydy*, pl. tant. 'коромысла для ведер' не позволяет нам реальное наличие немецкого диалектного слова на территории бывшей Восточной Пруссии *pēde* 'Eimertrage, Wassertrage', т. е. 'коромысла для ведер'. Такое почти полное тождество формы и значения польского и немецкого слов может объясняться заимствованием в польский немецкого слова, которое, естественно, в свою очередь непосредственно заимствовано из древнепрусского языка, что не является чем-то необычным для местных немецких диалектов. В таком случае польск. диал. *pydy* могло быть занесено из немецкого, восточнопрусского сравнительно недавно, ср. субституцию нем. *ē* > польск. *y*.

4. Польск. *krnąbrny*

На этот раз мы имеем дело со словом, которое является одновременно исключительно польским и вместе с тем, по-видимому, древним образованием. Польск. *krnąbrny* отмечено в современном языке в значениях 'упрямый, непослушный, дерзкий, строптивый', например, применительно к детям, животным (Warsz. II. S. 554). В старопольских текстах это слово известно с первой половины XV в. в ряде формальных вариантов *krnąbrny*, *knąbrzny*, *krąbrny*, *krnąbny* 'непослушный, упрямый, мятежный, дерзкий, наглый, arrogans, insolens, protervus, rebellis', 'неисправимый', 'incorrigibilis'[14]. Его происхождение остается темным, о чем можно судить по сведениям в словаре Брюкнера (с. 267), который ограничивается указанием на вероятность вторичного появления одного из *-r-* по ассимиляции.

Темный характер структуры этого слова в польском и отсутствие близких форм за пределами польского языка затрудняет этимологию, поэтому тут едва ли можно говорить об однозначном решении. Однако есть основания полагать, что здесь представлено сложение, вторую часть которого можно идентифицировать довольно надежно, видя в ней отглагольное прилагательное с праславянской формой **brьdьnъ* от глагола **bresti* 'брести, идти с некоторым трудом, пробираясь через что-либо'. Слово *krnąbrny* относится к сфере моральной терминологии, обозначая определенные аномалии, нарушения норм поведения. Полностью это отрицательное значение оказалось возможным выразить только с помощью присоединения к **brьdьnъ* другого, наиболее трудно идентифицируемого компонента. Примеры употребления **bresti*, **broditi*, польск. *brodzić*, а особенно их производных в моральной терминоло-

[14] Słownik staropolski. T. III. Z. 5. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1962. S. 387.

6. Заказ № 2419.

гии известны, ср. польск. *zbrodnia* 'преступление', причем и тут нарушение, преступление обозначает не сама основа, а дополнительная морфема (*z*-).

Все слово *krnąbrny* мы производим из гипотетической праформы **kъrno-brъdьnъjь* (польск. *ą* < *o* в результате вторичной назализации), первый компонент которого — слав. **kъrnъ*, собственно — 'увечный, хромой, глухой', в высшей степени отличался способностью образовывать сложения с различными именами, вследствие чего получались термины, обозначающие увечие или недостаток того, что выражено основным именем: **kъrnouxъjь*, **kъrnonosъjь*.

5. Польск. *tłum*

Данное, в общем, совершенно ясное слово, которое означает 'толпа, масса людей, толчея, давка', 'большое количество, масса' (Warsz. VII. S. 68), показалось желательным упомянуть здесь, поскольку оно, как и некоторые другие наши примеры, может быть отнесено к числу только польских (лехитских) элементов словаря, обладающих значительной древностью. В то время как в других славянских языках относительно широко представлено праслав. **tьlpa*, **tъlpa* (ср. цслав. *тлъпа*, рус. *толпа*, чеш. *tlupa*), польский имеет самостоятельное **tьlmъ* (*tłum*), неизвестное, например, уже чешскому языку. Дальнейшие этимологические балтийские и прочие связи этих славянских слов известны, они в полной мере относятся и к польскому, и здесь нет смысла говорить об этом подробно. Мы хотели бы только акцентировать самостоятельность польской формы во внутриславянском плане. Так, если Брюкнер, принимая во внимание наличие в других славянских языках формы **tъlpa*, полагал необходимым производить польск. *tłum* прямо от нее, т. е. из **tŭlp-m*, мы считаем это абсолютно излишним и искусственным. Имея свое древнее производное от той же основы, польский язык, видимо, никогда не знал производного **tьlpa*, известного другим праславянским диалектам.

6. Словин. *dvjĩgə*

Выдающийся исследователь поморских славянских диалектов Ф. Лоренц приводит в своем словинском словаре восточнословинское слово *dvjĩgə* ср. р. «das Joch, in welchem zwei Ochsen ziehen»[15]. С первого взгляда видно, что это сложное слово, составленное из таких известных компонентов, как слав. **dъva* 'два' и **jьgo* 'иго, ярмо'. Правда, при этом обращает на себя внимание характерный вид сложения и его компонентов, а именно присоединение как

[15] *Fr. Lorentz.* Slovinzisches Wörterbuch. I. Teil. SPb., 1908. S. 222.

бы усеченной основы числительного, отсутствие соединительного гласного и в связи с этим — весьма нерегулярный вид данного сложения с точки зрения его модели в целом. Так, среди прочих сложений с этим числительным данное сложение стоит совершенно особняком в словаре словинских диалектов. Словинский сохранил продолжение славянского названия ига — *vjĩgə*, но, как видим, оно имеет довольно своеобразную протезу *v-*, которая, надо полагать, развилась достаточно рано. Тем более интересно, что и эта особенность отсутствует в сложении *dvjĩgə*, еще раз подчеркивая нерегулярный характер последнего.

Все это может служить указанием на раннее образование этого слова, которое было бы неверно расценивать как позднее местное образование, лишенное интереса в сравнительном славянском плане. С другой стороны, хотя словинский (ныне вымерший) и обладал признаками деградирующего наречия, пополняющегося в последнее время своего существования главным образом за счет окружающего немецкого языка, причем на каждом шагу приходится считаться с немецким влиянием и немецким заимствованием, тем не менее именно в этом случае со словом *dvjĩgə* немецкое влияние маловероятно. Мы не можем назвать немецкое слово, которое подошло бы здесь как источник для калькирования (нем. Zweigespann неадекватно, кроме того, оно относится преимущественно к упряжке л о ш а д е й). Немаловажно также и то, что словин. *dvjĩgə,* как и все древнее гнездо слав. **jьgo*, всегда было связано с терминологией вола и его упряжи, но не лошади, в чем следует признать реликт культуры, архаическое наследие в области семантики слов и реалий. При этом если в терминологии конской упряжи и повозки языковые и культурные немецкие влияния известны и неоспоримы, то как раз терминология воловьей упряжи никогда такого влияния не испытывала, поскольку последняя была у славян на положении древнего собственного культурного достояния, а не инновации.

Точно так же нельзя недооценивать того обстоятельства, что классическое периферийное положение словинского по отношению к остальной славянской языковой территории не могло не выразиться в сохранении и наличии ряда архаизмов, в том числе лексических. Другая крайность и переоценка значения периферийности здесь тоже была бы нежелательна, но факт остается фактом: уже одного сравнения с «континентальными» польскими диалектами достаточно, чтобы видеть, что словинские диалекты сохранили отдельные славянские древности, утраченные польскими диалектами. Так, польский язык не сохранил славянского слова **jьgo*, видимо, когда-то существовавшего в его диалектах, ср. топоним *Igo-łomia*. Ср., далее, кашуб. *jigoe*, словин. *vjĩgə*, *jigəi̯că* то же, полаб. *jeiǵü'*. На основании изложенного выше мы заключаем, что не только эти непроизводные названия ига, ярма, но и разобранное

выше словинское название парного воловьего ярма — *dvjīgɵ* представляет собой также своеобразный местный, периферийный архаизм словинского.

Значение данного изолированного словинского слова повышается тем обстоятельством, что мы в состоянии указать для него близкое соответствие за пределами славянских языков — лат. *bīgae, -ārum* ж. р. pl. tantum 'двойная упряжка' < **bi-iugae* < **du̯i-i̯ugai̯*[16], т. е. из тех же компонентов, что и словинское слово. Близость долатинского * *du̯i-i̯ugai̯* и праславянского диалектного **dъvigo*, правда, не позволяет видеть в них продолжения совершенно единой индоевропейской праформы. Предположение об общей инновации также пока необязательно, но в любом случае это интересный пример параллельного развития.

7. *Osobłoga*

Проблематика лехитской этимологии неразрывно связана, как и в любом другом аналогичном случае, с использованием свидетельств местной ономастики, которая иногда является единственный показателем языковых отношений. Название силезской реки *Osobłoga* объяснялось недавно как продолжение мессап. **Ap-sa*, собственно 'река'[17]. Эта этимология оставляет без объяснения вторую часть гидронима, что делает крайне проблематичным и утверждения автора относительно первой части. Прежде чем абстрагировать один из компонентов этого очевидного сложения, надо, по-видимому, попытаться изучить условия, которые стали базой для их совместного употребления, так как в случае расшифровки мы, вероятно, получим элементарный контекст, свидетельствами которого пренебрегать неразумно. Название реки в Юго-Западной Силезии имеет форму польск. *Osobłoga*, чеш. *Osoblaha*. Нельзя не обратить внимания на то, что второй компонент названия тождествен по форме польск. *błogi* 'блаженный' < праслав. **bolgъ* 'хороший, добрый'.

Если мы отправимся в своих рассуждениях от этого наблюдения, то в результате получим более простую и вместе с тем более полную этимологию названия реки, не игнорируя при этом фактора иноязычного участия в образовании данного гидронима, самого по себе очень правдоподобного (ср. хотя бы дославянскую этимологию самого этнонима силингов, который лег затем в основу славянских названий Силезии, и другие данные по ономастике этой территории). Польск. *Osobłoga*, чеш. *Osoblaha* могут отражать праслав. диал.

---

[16] *Walde—Hofmann.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1938. 1. S. 105.

[17] *T. Milewski.* The relation of Messapic within the Indo-European family // Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965. S. 213.

(v)oso-bolg-, дублетное или глоссирующее название с внутренней формой 'bonum + bonum', причем **voso-*, восходя в конечном течете к и.-е. **u̯esu-s* 'добрый, хороший', могло продолжать соответствующее конкретное слово иллирийских или родственных диалектов, ср. известные иллирийские собственные личные имена *Ves-cleves*, *Veselia*. Существенно отметить, что славянский практически не сохранил этой индоевропейской основы.

В то время, когда статья уже находилась в печати, вышел новый выпуск Этимологического словаря Ф. Сплавского, где польск. *krnąbrny* (см. выше) объясняется как заимствование из ср.-в.-нем. *krumb* 'кривой'. См.: *F. Sławski.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Zesz. II. Kraków, 1966. S. 112.

К СРАВНИТЕЛЬНО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОЮЗА *А* И СОЧЕТАНИЙ С НИМ В ПРАСЛАВЯНСКОМ

Исследуемый ниже материал мы рассматриваем, исходя из убеждения, что изучение контекстов словоупотребления призвано сыграть решающую роль не только при толковании живых значений слов, но и при их этимологизации. Настоящая заметка посвящена реконструируемому праславянскому состоянию, а именно — следующим лексемам в праславянской реконструкции: **a*, **a bo*, **a če*, **a ni*, **a le*, **a li*, **a si* / **a se*, **a že*. Ограниченные размеры статьи ‘вынуждают нас выделить здесь некоторые основные вопросы, опустив подробности анализа отдельных форм.

Этимологизация союза **a* до сих пор обычно производилась вне строгой зависимости от тех элементарных сочетаний, в которых этот славянский союз выступает, надо полагать, с достаточно раннего времени. Далее мы стремимся показать, что привлечение упомянутых словосочетаний при этимологизации праслав. **a* в функции союза, хотя и представляет формально некоторое расширение объекта исследования, на деле налагает ограничения на выбор этимологического решения и тем самым приближает нас к установлению, видимо, наиболее точной этимологии. Таким образом, есть основания думать, что определенное игнорирование этимологами контекстно-синтаксических моментов не проходит даром и негативно сказывается на результатах их исследований, сообщая последним зыбкость. Подобная ситуация в этимологической литературе проистекает, видимо, от недооценки древности ряда словосочетаний, в которые вступает союз **a*, от мнения (выражаемого подчас), что мы имеем здесь дело с относительно молодыми конструкциями (см. ниже). Именно это последнее мнение мы хотели бы подвергнуть сомнению, а отчасти и критическому пересмотру.

Разумеется, детали общей картины (поскольку речь идет о реконструкции, т. е. об операции с неизбежно гипотетическим результатом) ясны в разной степени, что объясняется их определенной хронологической многослойностью или же локальным вторичным развитием. Например, мы находим возможным говорить о праслав. **a bo*, но ограничение его продолжений только западнославянскими языками (словац. *abo* 'или', в.-луж. *abo*, н.-луж. *abo* то же, ст.-польск. *abo* 'или; ли; ибо'; восточно-славянские примеры едва ли свободны от западнославянского влияния) дает нам основание оставить данную конструкцию в стороне от главной аргументации статьи. То же можно повторить и о союзном словосочетании **a le* (чеш., словац., в.-луж., н.-луж., польск. *ale* — главным образом в противительном значении, при сомнительной древности и исконности украинского и белорусского соответствий), а также об отрицательном **a ni*.

Праславянский союз **a*, обладавший как противительными, так и присоединительными функциями (ср. значения 'а, но', 'и', а также близкие практически во всех славянских языках, примеры чего, пожалуй, здесь излишни) этимологизировался различными способами. Весьма распространено объяснение праслав. **a* из падежной формы местоимения и.-е. **e-* / *o-*, точнее — из аблатива ед. ч. **ēd* / **ōd*, ср. др.-инд. *ā́t* 'затем, потом; также, и' [1]; сюда же примыкает этимология праславянского союза **a* из и.-е. **i̯o-*, также местоименная основа [2]. Обычно принято также считать праслав. **a* родственным лит. *ō* [3], но это последнее само заимствовано из восточнославянских языков. При этом симптоматично, во-первых, отсутствие близких соответствий в других балтийских языках, а во-вторых (что особенно интересно в плане задач настоящей статьи) — изолированному положению лит. *o* в литовской лексике противостоит редкая активность слав. **a*, образующего с ранней поры достаточно устойчивые сочетания **a bo*, **a by*, **a če*, **a ono*, **a le*, **a li*,

---

[1] *F. Miklosich.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. I. Wien, 1886; *W. Vondrák.* Vergleichende slavische Grammatik. Bd. I. Göttingen, 1906. S. 78; *J. Zubatý.* Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. Bd. XVIII. S. 243; *E. Berneker.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908—1913. S. 22; *A. Мейе.* Общеславянский язык. М., 1951. С. 389; *A. Brückner.* Słownik etymologiczny języka polskiego. I. Kraków, 1957; *Fr. Sławski.* Słownik etymologiczny języka polskiego. T. I. Kraków, 1956. S. 23; *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1964. С. 55; *L. Sadnik, R. Aitzetmüller.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Lief. I. Wiesbaden, 1962. S. 1—2; *J. Pokorny.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern, 1949. S. 284.

[2] *T. Maretić.* Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti, LXXXVI. 1887. S. 84.

[3] Ср. *A. Meillet.* Mémoires de la Société de linguistique de Paris. 1907, № 14. P. 387; *E. Fraenkel.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg; Göttingen, 1962. S. 514—515.

**a ni*, **a si* / **a se*, **a ti*, **a to*, **a že*. Лишь для последнего может быть назван некоторый эквивалент в лит. *ogi*, но и здесь мы имеем дело скорее всего с кажущейся корреспонденцией, поскольку лит. *ogi* образовано, видимо, не без влияния литовского же *ẽgi*. Итак, ни одно из перечисленных славянских словосочетаний не имеет балтийских соответствий. Это не равнозначно в наших глазах молодости названных славянских конструкций, тем более что есть возможность опереться на некоторые соответствия им в других индоевропейских языках, допускающие мысль о древнем оформлении. На этих соответствиях мы и остановимся несколько подробнее, опуская здесь изложение прочих известных этимологий славянского союза **a* (ср. сближение с алб. *o* 'или', греч. ἤ 'или', др.-инд. *a* 'также; близ, к'; наконец — теория междометного происхождения нашего союза).

Праслав. **a če* мы реконструируем из болг. *а че* 'после, и затем' (отмечено в словаре Н. Герова), чеш. *ač* 'хотя', словац. диал. *ači* 'или', н.-луж. *ac* 'ли; хотя; как', ст.-польск. *acz* 'если; хотя; потому что; что; ли', 'но; несмотря на то, что', рус.-цслав.*аче* 'сколь, насколько' (если последнее — не из праслав. **atje*, континуанты которого подчас перекрещивались с нашим **a če*). Обычно говорят о праслав. **ače*, но мы считаем более целесообразным трактовать его как словосочетание **a če*, а не единое слово, особенно если речь идет о праславянском периоде. Исследователи видят здесь сложение союза **a* и древней энклитики местоименного происхождения **če*[4]. Прозрачность состава, видимо, освобождала от необходимости прослеживать более древнюю историю. Тем не менее, имеются налицо по крайней мере параллелизмы в виде аналогичного сочетания родственного материала в других индоевропейских языках. Ср. лат. *atque*, *adque* 'с другой стороны, более того', 'однако', 'как, и'[5]. Сближение праслав. **a če* и лат. *atque* / *adque*, представляющее собой одновременно тождество минимальных контекстов и включающее этимологическое тождество *če* = *que* есть вместе с тем и этимология для праслав. **a*, которое логично отождествить этимологически с лат. *at* 'с другой стороны, а, но'. Ср. пример из Павла Феста, приводимый в латинском этимологическом словаре Эрну — Мейе, где очень ярко видно функциональное тождество со слав. *a*, рус. *a*: Scipio est bellator, at Marcus Cato orator 'Сципион — воитель, а Марк Катон — оратор'. Сюда же лат. *ad* 'при, у, к', которое вместе с лат. *at* (см. выше), а также, по-видимому, праслав. **a* восходит к и.-е. **ad*, предлогу и послелогу с

---

[4] См. *Vondrák*. Указ. соч. Bd. II. Göttingen, 1908. S. 491—492; *Berneker*. Там же; *Brückner*. Там же; *Sławski*. Там же; V. *Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. S. 15; *Sadnik—Aitzetmüller*. Там же.

[5] Подробности о латинском слове см.: *A. Ernout, A. Meillet*. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 3-e éd. T. 1. Paris, 1951. P. 94—95.

присоединительным значением[6]. Попутно заметим, что колебание *t* / *d* в абсолютном исходе индоевропейского слова — не такая уж редкость, аналогии могут быть указаны, в частности, из разряда именных корней — основ на согласный, ср. хотя бы и.-е. **pot-* / **pod-* 'сам, господин'. Что касается количества гласного, который был скорее всего кратким в и.-е. **ad/t*, то в славянском, вполне вероятно, имело место эмфатическое удлинение **ăd* > **ā*, оправданное в условиях фразы. Любопытно отметить, что сближение слав. *а* и лат. *at*, *et* встречается в литературе[7], но не привлекло достаточного внимания исследователей, не будучи в достаточной мере обоснованным.

В целях дальнейшего обоснования этого сближения приведем еще дополнительные факты, на этот раз — из этимологического анализа праслав. **a si* / **a se*. Данное словосочетание мы восстанавливаем для праславянского периода на базе чеш. *asi* 'примерно, возможно' (также с уступительной функцией), словац. *asi* то же, кашуб.-словин. *áu̯s* 'и' и рус. просторечн. *ась*, ответ, отклик на обращение. В целом, распространение **a si* на славянской территории (чеш., словац., кашуб.-словин., рус.) позволяет говорить о реликтовом характере конструкции, а не о свежей инновации, как полагают некоторые авторы[8]. Относительно происхождения *a si*, особенно — его второго компонента, среди ученых нет единства мнений. Наименее вероятна этимология, согласно которой **a si* — сложение союза **a* и формы дательного падежа единственного числа энклитического возвратного местоимения **si* 'себе'. Функция *si* была бы при этом неясной. Садник и Айцетмюллер, развивающие эту точку зрения, неудачно ссылаются при этом на усилительную функцию *si* и на соответствующие рассуждения Вайяна[9], поскольку Вайян имеет в виду усилительную функцию *si* при глаголе, ср. болг. *спи си* 'спит себе'. Две другие этимологии *si* в составе словосочетания **a si* — от указательного местоимения **sь* и от древнего оптатива **si* < и.-е. **sīt* 'да будет' — заслуживают внимательного изучения. Эти этимологии не исключают одна другую, как полагают Садник и Айцетмюллер, решительно отклоняющие мысль об оптативе, выдвигаемую Бернекером, Голубом — Копечным, Махеком и др.[10]. Решение проблемы требует правильной группировки материала. При этом **a si*, лежащее в основе чешских и словацких наречий со значением

---

[6] См., с отличиями в трактовке, *Pokorny* 1, 3.

[7] См., например, *J. Holub, Fr. Kopečný.* Etymologicky slovnik jazyka českého. Praha, 1952. S. 59.

[8] Ср., например, *Sadnik—Aitzetmüller.* Указ. словарь. S. 1, 4.

[9] *A. Vaillant.* Grammaire comparée des langues slaves. T. II. Lyon; Paris, 1954—1958. P. 447.

[10] *Berneker* 1, 21; *Holub—Kopečný* 61, 331; *Machek* 19.

приблизительности, возможности (см. выше), явно содержит во втором компоненте продолжение древнего оптатива. Небезынтересно отметить, что из латинского оптатива *sīt* 'пусть будет' развились на романской почве совершенно аналогичные наречия со значениями возможности, предположительности, ср. франц. *soit* 'возможно, положим'. Ср. другие явные следы оптативного **si* в славянском: польск. *ktoś* 'кто-нибудь' (полезно при этом обратить внимание на функциональную дублетность польск. *ktobądź* 'кто-нибудь' с императивом *bądź* 'будь' во второй части), словен. *bodisi*, тавтология из императива и оптатива, ср. еще свободное *si* в древнесловенских Фрейзингенских памятниках[11], далее — ст.-слав. **кша** 'utinam'[12]. Имеются основания сближать праслав. диал. (чеш.-словац.) **a si* с лат. *etsī* 'и однако', 'даже если', 'хотя' как соответствующие конструкции, а также как сочетание этимологически родственных компонентов, причем лат. *et*, *at (ad)* = слав. **a*; лат. *sī* 'если' (которое трудно отрывать от оптатива лат. *sīt*, см. выше) = слав. **si*[13]. Что же касается кашуб.-словин. *åå's* и рус. *ась* (значения см. выше), то для них можно реконструировать праслав. **a se* несколько особого происхождения, где первый компонент опять-таки тождествен разобранным выше случаям праславянского союза **a*, а второй — форма среднего рода указательного местоимения **sь* 'этот'[14]. И эта конструкция, продолжающая условно и.-е. **ad k̂e* может быть сравнена целиком с лат. *ecce* 'вот, смотри' < *ed ce*[15]. Определенные трудности разграничения праслав. **a si* и **a se* заставляют рассматривать их вместе.

Заключительный вывод из вышеизложенного: из этимологий праслав. **a* союзного может быть оставлена лишь та, которая не противоречит употреблению **a* в очевидно древних контекстах **a če*, **a si*, **a se*, т. е. сближение праслав. **a* с лат. *et*, *at*, *ad* как с этимологически родственным словом. По той же самой причине должны быть отвергнуты этимология **a* из индоевропейского аблатива и междометная этимология. Поскольку подобные ситуации в этимологической практике не представляют исключения, не будет лишним также более общий вывод, вытекающий из конкретной вышеизложенной этимологической заметки: приемлема только такая этимология слова, которая не противоречит употреблению этого слова в установимых древних контекстах.

---

[11] *F. Bezlaj.* Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967. S. 143.

[12] *Г. А. Ильинский.* Праславянская грамматика. Нежин, 1916. С. 488.

[13] О латинских словах см. иначе: *Ernout—Meillet.* I, 361—362; II, P. 1097—1098; *A. Walde.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910. S. 707; *Walde—Hofmann.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1938. S. 421.

[14] См. Фасмер I, 95.

[15] См. о последнем, без упомянутого сближения, *Walde—Hofmann* I, 390.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ikì, pliẽnas

Лит. *ikì*

В Этимологическом словаре литовского языка Э. Френкеля литовское слово *ikì*, выступающее в функции предлога с родительным падежом имени в значении ʽдо, вплоть до’, этимологически возводится к индоевропейской местоименной основе *i̯o*[1]. Там же автор повторяет свои прежние толкования случаев возможных контаминаций *lìg* и *ikì*, изложенные в специальной монографии[2]. Результатом означенной контаминации явилось, как полагает Френкель, новое *likì* в той же функции. Этому содействовало, по мнению ученого, естественное оглушение конечного звонкого в *lìg* перед словами на начальный глухой. Впрочем, мысль о смешении литовского *lýg* (оглушенный вариант — *lýk*) и *ikì* во всем существенном изложена еще в классическом труде Эндзелина[3].

Казалось бы, ничто не препятствует тому, чтобы эта точка зрения считалась единственно возможной, и это, по-видимому, имеет место в современной балтистике (по крайней мере, мне пока неизвестны другие этимологии названного литовского предлога). Однако есть факты, ранее как будто не привлекавшиеся в связи с этими балтийскими образованиями и, тем не менее, способные поколебать традиционные воззрения на литовский предлог и на возможность предполагавшихся контаминаций. Я имею в виду кашубско-

[1] *E. Fraenkel.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. I. S. 183.

[2] *E. Fraenkel.* Syntax der litauischen Postpositionen und Präpositionen. Heidelberg, 1920. S. 232 след.

[3] *И. Эндзелин.* Латышские предлоги. I. Юрьев, 1905. С. 77.

словинский предлог *lĭk'ī* (с родительным падежом) 'до, вплоть до' [4]. Ясно, что ни этот предлог весьма изолированного диалекта прибалтийских славян, ни примыкающее к нему кашубско-словинское наречие *lĭk* 'всегда' (там же), удивительно похожие на якобы контаминационное литовское *lýk*, *lìk* 'до', не допускают того тонкого объяснения, которое применялось вышеназванными учеными для литовского слова, по той простой причине, что ни основы **līg-* 'равный, прямой', ни сколько-нибудь подходящей формы от и.-е. **i̯o-* не знали ни прибалтийские, ни какие-либо другие славяне.

Существует другая реальная возможность толкования кашубско-словинского предлога *lĭk'ī* 'до', которая перспективна еще и потому, что подходит, как мне кажется, и для литовского предлога *ikì* 'до' и *likì* в том же значении. Следует оговорить, что проникновение из литовского языка в кашубско-словинский, по всей видимости, исключено. Остается налицо разительная близость формы и значения литовского слова и кашубско-словинского слова, которую надлежит объяснить. Наиболее вероятным кажется мне заимствование из немецкого, где есть богатая значениями группа слов с общим корнем: нижненемецкие формы *licken* и подобные 'быть похожим, походить' [5], ср. далее приставочные др.-сакс. *gilīk(o)*, нидерл. *gelijk* (при нововерхненемецком литературном *gleich* 'равный, одинаковый' [6]), наконец, шведское *lik*, датское *lig*, др.-исл. *lîkr* 'равный, одинаковый, вероятный, хороший, полезный' [7]. Интересно отметить, вслед за названными известными словарями, дальнейшее родство этого германского **līka-* и литовского *lýgus* 'равный, ровный'. В формальном отношении наиболее близко кашубско-словинскому *lĭk'ī* 'до' нижненемецкое диалектное (прусское) *licken* (см. выше), особенно если иметь в виду краткость корневого гласного и наличие глухого взрывного *k*. Можно сказать, что оно же близко нашему слову и семантически и, хотя мы не можем пока указать абсолютно точного немецкого прототипа данного прибалтийско-славянского диалектизма, все же основное значение немецкой лексики 'равный, одинаковый; быть похожим' настолько емко и прежде всего — столь близко к идее сравнения, приближения (вспомним хотя бы оттенки англ. *anything like* ... 'что-то о к о л о'), что предположение о заимствовании из соответствующей немецкой диалектной служебной формы представляется вполне реальным. Вероятно оно и в географическом плане: достаточно вспомнить положение словинского реликтового диалекта накануне его ассимиляции среди местных немецких диалектов.

---

[4] *F. Lorentz*. Pomoranisches Wörterbuch. I. S. 459.

[5] *H. Frischbier*. Preussisches Wörterbuch. Ost- und westpreussische Provinzialismen in alphabetischer Folge. II. Berlin, 1883. S. 26.

[6] *Kluge—Götze*[15]. S. 270.

[7] *H. S. Falk, A. Torp*. Norw.-dänisches etym. Wb. I^2. S. 642—643.

Итак, есть основания думать, что кашубско-словинское *lĭk'ī* (предлог с родительным падежом) 'до' произошло в результате заимствования близкого по форме немецкого диалектного (plattdeutsch) служебного слова со значением приближения. Из того же или аналогичного нижненемецкого источника произошла, видимо, и часть называвшихся выше литовских форм, прежде всего — лит. *likì*, которое, как наиболее полную форму, я считаю, вопреки известной точке зрения, первоначальным, в то время как более краткое *ikì* обязано этой своей краткостью как раз своей роли проклитики. Обратное умозаключение, мне кажется, было бы трудно доказать. Семантические и фонетические особенности этих литовских форм могут быть объяснены точно так же, как и в случае с кашубско-словинским (см. выше).

Наряду с этим не подлежит сомнению исконность литовского *lýg* и латышского *līdz* (в синонимичном значении 'до'), родственных лит. *lýgus* 'равный', о котором уже приходилось упоминать. Наблюдаемое при этом в данной группе предлогов своеобразное столкновение двух разнородных продолжений индоевропейского **līg-* — исконно балтийского *lýg* и относительно поздно заимствованного, по-видимому, из нижненемецкого в литовский *likì* — не такой уж редкий случай, как можно было бы подумать на первых порах. Достаточно сослаться на общеизвестный в сравнительном языкознании пример сосуществования исконно индоевропейского *-medùs* и заимствованного германского *-mìdus* — названия меда в литовском языке.

Лит. *pliẽnas*

Литовское название стали, родственное однозначным латышскому и древнепрусскому словам (лтш. *pliens*, др.-прус. *playnis*), до сих пор как будто не имеет этимологии[8]. Правда, Френкель в своем названном словаре цитирует сближение Траутмана с др.-исл. *fleinn* 'крюк, острие', др.-англ. *flán* 'багор, острие, копье', но его собственное отношение к этому сравнению можно охарактеризовать как молчаливо сдержанное. Специальные работы последних лет на самом различном языковом материале показали, что этимологизация такой специфической лексики, как названия стали, может быть успешной лишь при условии учета технологических особенностей процесса изготовления стали, которые имели важнейшее культурное значение и не могли, хотя бы косвенно, не отразиться на формировании соответствующей лексики. Между прочим, это первое условие (внимание к моментам материальной культуры при исследовании терминов материальной культуры) важно также в плане лингвистической

[8] *E. Fraenkel.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. I. S. 623: «Etymologie nicht sicher».

методологии, так как логически подводит нас к необходимости учитывать второе, уже чисто лингвистическое условие — не приступать к иноязычным, отдаленнородственным сближениям, прежде чем не обследована ситуация внутри данного языка и его соответствующей лексики с требуемой полнотой.

Лит. *pliẽnas* 'сталь', по моему мнению, самым ближайшим образом родственно таким литовским словам, как *plė̃nis*, мн. *plė̃nys*, *pléinė* 'пепел, пленка на тлеющих углях', *plė̃nėti*, *pléinėti* 'покрываться пленкой пепла, золы (о тлеющих углях)', лтш. *plẽne* 'белая пленка пепла на угольях', *plienis* 'пепел', др.-прус. *plieynis* 'пепел, зола'. Все это семейство разнообразных слов с основой *pl-/pel-* и разными расширителями включает также названия пленки, плевы, шелухи, мякины и прочие близкие[9]. Как видно, среди этих форм можно без труда указать практически полностью тождественные, вплоть до апофонической ступени огласовки корня, нашему названию стали — *pliẽnas*. Что же касается реальной стороны, то достаточно сослаться на то, что среди старинных, традиционных способов получения стали видное место занимал способ получения из окалины, путем последовательного нагревания, охлаждения и отделения чешуек окалины[10].

[9] *E. Fraenkel* Litauisches etymologisches Wörterbuch. I. S. 615—616; *K. Būga*. Rinktiniai raštai. I. Vilnius, 1958. S. 288.

[10] Ср. работу: *И. Г. Денисов*. Уклад 'сталь' // Этимология. 1966. М., 1968. С. 159 и след., особенно с. 163; там же прочая литература.

ЗАМЕТКИ ПО ЭТИМОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ [1]

Практически этимология каждого слова (если иметь в виду древнюю лексику) связана со сравнительной грамматикой, и эта связь почти всегда сложна и многопланова, поскольку этимология представляет собой комплекс действий, опирающихся на комплекс сведений из сравнительной грамматики (мы умышленно говорим о связи, а не о зависимости этимологии от сравнительной грамматики, поскольку, как это в общем известно и как мы показываем это ниже на некоторых дополнительных примерах, этимология питала сравнительную грамматику и она может еще многое уточнить и дополнить в детальной картине славянского языкового развития, которую дает современная сравнительная грамматика). Каждая этимология оперирует фактами сравнительной фонетики, морфологии и словообразования, и нижеследующие заметки не делают в этом исключения. Вместе с тем в одной из них на первый план выдвинут момент сравнительной фонетики (I), в других — сравнительной морфологии (II) и, наконец, — словообразования (III).

I

Первую свою заметку мы посвящаем, в основном, словам, объединяемым реконструированной праславянской формой **lъkno*, хотя определенную роль в числе доказательств здесь играют также другие этимологические случаи с близкой фонетической особенностью.

Чеш. *leknín* 'Nymphaea, кувшинка', ст.-чеш. *lekno* (*bílé*, *žluté*) 'кувшинка (белая, желтая)' [1], словац. *lekno* 'Nymphaea, кувшинка' [2] представляют собой

[1] Příruční slovník jazyka českého; *J. Gebauer*. Slovník staročeský. Díl II. S. 223.

слово, распространенное, в сущности, только в пределах чешско-словацкой языковой группы. Брюкнер указывает еще на форму *lekno* в польских местных названиях [3]. Если не считать словен. *lekno* 'Nymphaea, кувшинка', которое заимствовано в словенский из чешского [4], то станет ясно, что мы имеем дело со словом ограниченного распространения, охватывающим лишь небольшую часть славянской языковой территории. Праслав. **lъkno*, которое можно восстановить на базе известных нам слов, по-видимому, не оставило следов в остальных западнославянских языках и, должно быть, никогда не было известно ни восточным, ни южным славянам. Слависты-этимологи уже давно определили древний, праславянский характер этого слова, убедительно реконструируемого для древней эпохи как **lъkno*, а также обратили внимание на почти полное тождество этого славянского названия водного растения, кувшинки и лит. *lùknė* 'желтая кувшинка' [5]. Это бесспорное сравнение заняло подобающее ему место в современных этимологических словарях [6], но дальнейшая увязка и интерпретация пары слав. **lъkno* : лит. *lùknė* вызывает различные замечания, а в плане общей сравнительно-исторической фонетики славянских языков остается неиспользованным даже это сближение, о чем — далее.

Некоторые авторы не идут дальше констатации близости слав. **lъkno* и лит. *lùknė* (например Бернекер), полагая, видимо, не без основания, что эта идентификация — уже серьезное достижение. С другой стороны, Френкель в своем литовском этимологическом словаре включает лит. *lùknė* 'желтая кувшинка' (и близкородственное чеш. *lekno*) в более широкую совокупность слов, вплоть до того, что слово *lùknė* оказывается внутри довольно обширной гнездовой словарной статьи с заглавным *lùknas* 'с рогами, торчащими прямо в стороны', куда включены еще *lùkinti* 'размягчать путем постукивания, обколачивания'; *lukénti*, *luknóti* 'пить, глубоко погрузив клюв в воду (о голубях)'; далее — лтш. *lukns* 'гибкий, подвижный'; *ļukt* 'слабо свешиваться'; *ļuks* 'обвислый'; *luksêt* 'идти сгорбившись'; *luksît*, *ļuksît* 'жадно есть (особенно о собаках)'; прусск. *Lockeneyn*, гидроним; лит. *Lùknas*, название озера; *Lùknė*; название реки; лтш. *Lukna*. Френкель склонен допускать этимологиче-

[2] Slovník slovenského jazyka. II. S. 28.

[3] *Brückner*. S. 309.

[4] *Berneker*. I. S. 749; *Pleteršnik*. I. S. 507; *F. Bezlaj*. Slovenska vodna imena. I. Ljubljana, 1956. S. 326.

[5] См.: *Berneker*. I. S. 749, вслед за Маценауэром и Розвадовским.

[6] *Machek*. S. 262; *Fraenkel*. I. S. 389—390. — В Словаре Голуба и Копечного (*Holub—Kopečný*. S. 202), помимо упомянутого сравнения, делается попытка сблизить чеш. *leknín*, *lekno* и сербохорв. *локвањ* м. 'желтая кувшинка', но последнее, будучи производным от слова *локва* 'лужа', представляет собой явную кальку нем. *Seerose* 'кувшинка', букв. 'озерная роза', и с чешским словом не связано.

скую близость всех этих слов к назализованному индоевропейскому корню *lenk- / *lonk- 'гнуть'. Трудно охарактеризовать сразу весь собранный Френкелем материал, однако обращает на себя внимание семантическая и стилистическая разнородность этих слов, наличие среди них экспрессивных образований. Понятны поэтому колебания Махека, который затрудняется в выборе между дальнейшим сближением чешского и литовского названий кувшинки с лит. *lùknas* 'расходящийся в стороны' или с лтш. *lukns* 'гибкий'.

Кувшинка — характерное растение закрытых водоемов, прудов, болот, поэтому, обращаясь к исследованию образования одного из старых названий кувшинки, мы должны будем действовать с учетом своеобразия названий, касающихся болот, болотной флоры. Мы не беремся за выполнение этой трудной задачи, специально изучавшейся различными исследователями прошлого и в настоящее время. Стоит лишь отметить, что в номенклатуре болот и окружающего их мелколесья часто выделяется такой семантический признак, как 'свет', 'светлое'. Иными словами, здесь сыграло роль примерно то же противопоставление, которое отразилось в различии наименований 'лес' и 'поле'. В связи с этим нам кажется полезным развить точку зрения, которая наметилась уже у Брюкнера, а именно то, что упомянутые чеш. *lekno* и лит. *lùknė* — от названия болота. Правда, Брюкнер при этом не оставался последовательным: он сближал эти названия с основами польск. *łkać*, *łykać* («...od moczaru, 'łkającego, łykającego'...»), а с другой стороны, допускал сближение с лит. *laukas* 'поле', лат. *lūcus* 'роща', нем. *Loh*[7]. Мы попытаемся примирить семантическую мотивировку «от болота» и формальное сближение с последними обозначениями поля, рощи в различных индоевропейских языках. Названные выше лат. *lūcus* 'роща', нем. (стар.) *Loh* 'роща, низкорослый лесок', сюда же нидерл. *loo*, англ. *lea* (в топонимии), наконец, упоминавшееся лит. *laukas* 'поле' убедительно возводятся к и.-е. *leuk- / *louk- 'свет, светлое'. Трир, оставивший глубокий след в языкознании своими ранними трудами о смысловых полях в лексике, выпустил относительно недавно целую книгу, посвященную этимологизации терминов леса, точнее — столь важной в истории человеческой культуры переходной полосы между лесом и полем, лугом, нивой. В этой книге, которая носит характерное название «Этимологии из низколесья, подлеска», разбираются в специальном разделе практически все интересующие нас названия, производные от и.-е. *leuk- / *louk-[8]. На большом материале Трир показывает природу названий, мир понятий и организацию хозяйства, при котором побеги, ветки и сучья деревьев и кустарни-

---

[7] *Brückner*. S. 309.

[8] *J. Trier*. Holz. Etymologien aus dem Niederwald (= Münstersche Forschungen. Heft 6). Münster; Köln, 1952. S. 144 ff.

ков низколесья подрезаются, обламываются и собираются на корм скоту, топливо и другие нужды. Вскрывается и основная внешняя примета переходной полосы низколесья: «Die Bäume stehn also licht und weitständig», которая сыграла решающую роль в формировании соответствующей терминологии, например производных от и.-е. **leuk-* / **louk-* 'свет'. Среди производных от этого корня в разных индоевропейских языках, собранных Триром, не хватает одного слова, существенного в плане нашей настоящей заметки да, пожалуй, и в плане исследований Трира по терминологии низколесья. Это лат. *lignum* ср. р. 'дерево, дрова' в противоположность другому латинскому названию дерева — *māteriēs* 'строительный лес'. Мы объясняем, вслед за Отрембским, лат. *lignum* из **luk-no-m* от и.-е. **luk-* / **leuk-* 'свет, освещать', с последующим озвончением **luc-no-* > **lugno-* / **ligno-*[9]. Понятийный мир экономики низколесья, в двух словах затронутый выше, позволяет здесь не прибегать к примитивному осмыслению 'дрова' < 'источник света', а видеть в **luk-no-m* некое подобие более широкой первоначальной семантики — 'связанное с низколесьем'. Ср. у Даля: «Лес строевой… от 6 до 12 вершков в отрубе; дровяной, мелкий или негодный в стройку». Нетрудно заметить, что именно к этой первоначальной семантике лугового, болотного низколесья может быть отнесено слав. **lъkno*, название болотного растения, которое, кстати, и в вокализме корня, и в форме суффикса, и в грамматическом роде обнаруживает еще более полную близость к лат. *lignum*, чем к лит. *luknė* (производное на *-i̯ā* **lukni̯ā*), с которым слав. **lъkno* объединяет вторичная конкретизация перво-

[9] *J. Otrębski.* La contamination dans le développement du vocabulaire latin // LP. III. 1951. P. 51. В остальном господствует точка зрения, согласно которой *lignum* произведено от глагола *legō* и означало первоначально 'собранное' (см.: *Walde—Hofmann.* I. P. 799—800; *Ernout—Meillet*[3]. I. P. 637). Но эта точка зрения воспроизводит, в сущности, народную этимологию, представленную еще у Варрона: ab legendo ligna… Это объяснение принимает и Ю. В. Откупщиков в своей книге «Из истории индоевропейского словообразования» (Л., 1967. С. 23, 194 и др.). Откупщиков подвергает подробному критическому анализу названную этимологию Отрембского. В ответ на конкретные замечания Откупщикова можно указать, что значения 'дрова' и 'свет' могут соприкасаться, ср. рус. *лучина* : *луч*, а также то, что выше говорилось о семантике терминов низколесья; далее, варианты *i* / *u* охватывают в латинском больше разных случаев, чем приводит Откупщиков, ср. хотя бы *silva* < **sulva*; в нашем случае *i* < *u* могло произойти еще на стадии **lucnom*, до озвончения. Типологически важно, что значительная часть звукосочетаний *-gn-* в латинском вторична, таковы *signum* < *sec-*, *dignus* : *dic-*. К этимологии *lignum* обращается В. В. Мартынов в своей работе: Анализ по семантическим микросистемам и реконструкция праславянской лексики // Этимология. 1968. М., 1971. Он признает родственными лат. *lignum* и слав. *lěsъ*, причем *lignum* возводит к **lik̑-no-m*. Эта этимология, предполагающая ряд допущений, кажется нам более проблематичной.

начального более общего семантического признака: 'кувшинка, болотное растение' [10].

Теперь мы можем перейти к центральному моменту настоящей заметки. В плане консонантизма характерно наличие в слове **lъkno* (а, возможно, также и **lǫk*(ъ)*no* [11]) звукосочетания *-kn-*. Соответствия в других индоевропейских языках (лит. *luknė* и лат. *lignum* < **luknom*) обнаруживают то же самое сочетание согласных, что придает этому факту значение архаической приметы. Ее значительности не умаляет то очевидное обстоятельство, что *-k-* и *-n-* принадлежат разным морфемам, первое — корню, второе — суффиксу; их соседство от этого не становится менее древним. Интересно после этого ознакомиться с состоянием вопроса о судьбе сочетания *kn* в славянских языках.

---

[10] Картина сложности проблемы была бы, видимо, неполной, если бы мы не обсудили еще одну, значительно более гипотетическую, возможность. Речь идет о внутриславянских связях описанного выше слова **lъkno*. Со стороны семантики можно указать на то обстоятельство, что в качестве названий растения Nymphaea нередко бывают употреблены названия сосудов, правда, в основном это — относительно поздние местные названия кувшинки: рус. диал. *кубы́шка*, *кубышки*, *кубанцы*, *самоварчики*, *кувшины*, *кувшинчики*, *кувшинцы*, блр. *горлачики*, *жбанки* то же, укр. *збанок*, *збаночки*, *глечики* то же (см.: *В. А. Меркулова.* Очерки по русской народной номенклатуре растений. М., 1967. С. 31; там же: «...плоды растения похожи на миниатюрные сосуды...»). Это вызывает в памяти название сосуда, представленное в следующих славянских формах: сербохорв. (стар.) *лукно* 'мера для хлеба', словен. *lókno*, *lukno* 'налог с прихожан в пользу церкви', ст.-чеш. *lukno* 'мера для хлеба или меда', словац. диал. *lukno* — в близком значений, н.-луж. *luknaško* 'ящик в ларе', др.-рус. *лукъно* 'кадочка, лукошко', рус., *лукно́*, *луко́шко* 'свернутый из осиновой драни круглый ящик с крышкою' (олонецк.), 'корзина, сплетенная из бересты' (псковск.), ст.-укр. *лукно* 'короб, кузов' (XVI в.). Все эти формы объединяют обычно вокруг праслав. **lǫk*<ъ>*no*, правдоподобно этимологизируя эти названия плетеных сосудов от **lǫčiti* (см.: *Berneker*. I. S. 740; *Фасмер*. II. С. 532). Впрочем, Махек считает слово неясным (*Machek*. S. 278). Авторы не вполне уверены в реконструкции, допуская древнее отсутствие ъ. Назализация гласного в слове такого звукового состава (*-kn-*) могла оказаться вторичной, подобные примеры известны. Брюкнер, кроме этого, указывает принципиальную возможность дублетов *lǫk-* и *luk-* (*A. Brückner*. *N-* und *U*-Doubletten im Slawischen // KZ. XLII. 1909. S. 354—355). Брюкнер же склонен считать форму *lukno* древнейшей (правда, не отделяя ее от **lǫk-* 'вязать, плести'). Итак, праслав. **lъkno* 'Nymphaea, кувшинка' и **lukno* 'плетеный сосуд' как бы оказываются формально и семантически близкими образованиями, хотя реальность реконструкции **lǫkъno*, повторяем, продолжает затруднять здесь определение первоначальных связей.

[11] Сюда, по-видимому, не относится словен. *lûknja* 'дыра', сербохорв. *lùknja* 'дыра, отверстие', *lȕknja* то же, которое считают заимствованным из австр.-бав. *Lucken* 'дыра'. См.: *Berneker*. I. S. 744; *H. Striedter-Temps*. Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Berlin, 1963. S. 173; *H. Striedter-Temps*. Deutsche Lehnwörter im Serbokroatischen. Berlin, 1958. S. 157.

Нельзя сказать, чтобы этот вопрос совершенно не пользовался вниманием специалистов по сравнительной грамматике. Почти каждый из авторов известных пособий по сравнительной грамматике славянских языков и по праславянскому языку высказал свое мнение по этому поводу. Отдельные ученые рассматривали вопрос даже монографически. Обстоятельно трактует судьбу *-kn-* в праславянском Ильинский[12]. В специальном разделе (§ 206. Взрывные согласные перед *n*) своей «Праславянской грамматики» он обсуждает такие примеры, как *lono* < **lokno*, *luna* < **lukna*, *blьsnǫti* < **blьsknǫti*, *rěsnъ* < **rěsknъ*, справедливо оценивая первые два из них как сомнительные. Ср. у него же далее: «И в отношении вопроса о выпадении *k* 〈...〉 перед *n* еще не достигнуто в науке полного единства во взглядах. Более или менее согласно ученые признают выпадение *k* перед этим сонантом лишь после *s* (ср. Leskien, Handbuch[5] § 32, 8, Соболевский, Дцсл. яз. 129 sq.), но в других случаях или совсем отрицают возможность такого выпадения, или допускают его условно, например в сочетании трех согласных, как, например, в слове **loukšna* (ср. Meillet Et. 131); в пользу же сохранения его при других условиях указывается на формы вроде *mьlknǫti*, но при этом забывают, что его *k* могло быть восстановлено под влиянием форм прич. *mьlkъ*, *mьlkъlъ* и т. п. Впоследствии Соболевский ЖМНПр. CCXCIX 84 sq. не только признал факт выпадения *k* в слове *lukna* 〈...〉 но и стал допускать (а за ним и Mikkola BB XXII 246) такое выпадение даже для звука *g* в том же положении, ссылаясь, главным образом, на современную речь *двинуть* при *двигать*, *тронуть* при *трогать*. Но неужели эти два слова (из которых второе совсем не имеет соответствий в других славянских языках) больше значат, чем свидетельство инославянского *dvignǫti*? И неужели многочисленные примеры сохранения *g* перед *n* в других словах (например, в *ognь*, *stьgna*, *gnesti* и пр., ср. Meillet Et. 130) также не имеют значения?».

В отличие от Ильинского, Мейе очень краток: «Сохранились также сочетания *kn* и *gn*: **млькнѫти** 'молчать', **стєгно** 'бедро', **гнєтѫ** 'я давлю', ср. др.-англ. *cnedan*; **огнь** (и чаще **огнь҃**), ср. скр. *agníḥ*, лат. *ignis*, лит. *ugnìs*»[13]. Примерно так же однозначно выражено мнение Микколы (с отличием в некоторых примерах): «...*k* и *g* сохранились перед *n*: примеры: *okno* 'окно' от парадигматической формы к *oko* 'глаз', ср. арм. *akn* 'глаз' — *mьlknǫtī* 'замолчать'... — *stьgno* 'бедро, ляжка' (ст.-слав. **стьгно**...) наряду со *stęgno*... — *ognь*...»[14]. Нахтигал почему-то приводит только один пример на группу *kn*, и

[12] *Г. А. Ильинский*. Праславянская грамматика. Нежин, 1916. С. 263—264.

[13] Цит. по изд.: *А. Мейе*. Общеславянский язык. М., 1951. С. 113.

[14] *J. J. Mikkola*. Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen. II. Teil. Konsonantismus. Heidelberg, 1942. S. 163.

причем довольно неудачный: *těsnъ* < **těsk-nъ*[15] (здесь уместно говорить не столько о судьбе *kn*, сколько об упрощении группы из трех согласных, что способно лишь увести от темы). Глубоко оригинальны и вместе с тем спорны суждения Вайяна: «Группа *gn* сохранилась: ст.-слав. **огнь** (**огн҃ь**) 'огонь', санскр. *agníḥ*; **двигнѫти** 'двинуть', аор. **двигъ**; в начале слова **гнида** 'гнида', лтш. *gnīda*, др.-исл. *hnit*... Группа *kn* тоже регулярно представлена в производных образованиях, как, например, ст.-слав. **выкнѫти** 'научиться', аор. **-выкъ**. Но это, несомненно, не древнее явление, и глухое сочетание *kn* должно было вести себя иначе, чем звонкое сочетание *gn*, которое, видимо, подверглось ассимиляции в **ñn*, а затем было восстановлено. В древнепрусском, как и в латинском, *kn* переходит в *gn*: *sagnis* 'корень', лит. *šaknìs*. В славянском *lono* 'лоно, чрево', вероятно, обозначало полу одежды ниже пояса, как *skutŭ* ⟨...⟩, и оно представляется в таком случае тождественным др.-прусск. *lagno* 'штаны', древнее множественное число среднего рода: это должно быть производное **lokno* от балто-славянского корня **lek-*, лтш. *lèkt* 'прыгать, лететь', а славянский ассимилировал сочетание с носовым *kn* > **nn*, откуда *n*»[16]. Слишком коротко изложен этот вопрос у С. Б. Бернштейна: «Сочетания "взрывной согласный + *n*, *m*" встречались очень редко. Можно привести надежный пример на [gn-]: *gnet-*. В примере *tisknǫti* слогораздел, возможно, шел между [k] и [n]...»[17]. К сожалению, здесь осталась неиспользованной специальная работа Мареша[18] по данному вопросу, удобная тем, что в ней собран целый ряд примеров на *gn-*, которые не имеет смысла не считать надежными. Работа Мареша — его доклад на московском (IV) Международном съезде славистов — представляет для нас первоочередной интерес и в отношении проблемы *kn* в славянском, поскольку в ней автор со всей основательностью обобщил современное состояние вопроса в науке. Именно это обобщение Мареша, а равно и его выводы побудили нас взяться за пересмотр данной проблемы сравнительной фонетики, опираясь, главным образом, на материалы этимологии.

Собственно, в статье Мареша анализируется переход (смягчение) *gn* > *gń* в славянских языках, его условия и древность. Материал по проблеме *gn* (*kn*)

[15] *R. Nahtigal.* Slovanski jeziki. 2 izd. Ljubljana, 1952. S. 12.

[16] *A. Vaillant.* Grammaire comparée des langues slaves. T. 1. Phonétique. Lyon; Paris, 1950. P. 92—93. — Между прочим, слав. *lono* сейчас едва ли целесообразно этимологизировать каким-либо иным способом, кроме как из **log-sn-o*, ср. свидетельство близкого образования **ложєсна** (**logesnā*).

[17] *С. Б. Бернштейн.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 140.

[18] *F. V. Mareš.* Vývoj skupiny *gn* (*kn*) v období slovanské jazykové jednoty // Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Praha, 1958. S. 109.

представлен у автора рядом *agnę, *ognь, *gnida, *gniti, ст.-слав. **кънигы**, *gnetǫ, *gnesti, *gněvъ, *gnězdo, *gnědъ, *gnětiti, *gnatъ, *gnojь, *gnusъ. Очевидно, что все это примеры на gn. Как выясняется далее, такой состав материала оказывается не случайным, ибо Мареш считает, что «старые сочетания kn в очень древнюю эпоху все сплошь изменились в gn (ассимиляция по звонкости); некоторые слова, перечисленные здесь, являются доказательством этого: gnatъ, gnetǫ, gnědъ, gnět'ǫ и gnida. Слово knigy, вероятно, заимствовано, и причем — уже после перехода kn > gn. Но до перехода kn > kń»[19]. Приписывать особый доказательный вес в вопросе о переходе kn > gn словам, называемым Марешем, нельзя.

Достаточно справки в этимологических словарях, чтобы увидеть, что здесь не все ясно и что этимологические связи, говорящие о древности группы gn в этих словах, пожалуй, более очевидны. Мареш не прав, говоря о древнейшем славянском переходе kn > gn, якобы предшествующем переходу gn > gń (см. еще с. 121 его работы). Выше мы подробно разобрали пример слав. *lъkno, который, как и его родство с лит. lùknė, известен славянской науке уже довольно давно. Нашей целью было обратить внимание на документируемую внешними свидетельствами древность сочетания kn (а не -kъn-!) в этом славянском слове. Опираясь на эту форму, мы полагаем, что славянскому не был известен переход kn > gn.

Можно назвать и другие примеры, свидетельствующие о том же.

Польск. piękny, чеш. pěkný, словац. pekný, луж. pěkny 'красивый' — исключительно западнославянские формы, что не мешает считать их древним образованием. Они продолжают *pęknъjь, лежащее в основе всех перечисленных форм, ср. словац. pekný < *päkný[20]. Носовой гласный корня обязан здесь своим происхождением вторичной назализации, следовательно, можно говорить о более древнем *pekn-. Древность оформления *pekn- (не *pekъn-!) и одновременно — древность группы kn в этом слове показывает наличие варианта *pekrъ, прослеживаемого в производных формах[21]. Этот последний имеет близкие соответствия за пределами славянского, на что давно обращено внимание, ср. готск. fagrs, англ. fair 'прекрасный' — из догерманского *pokrós. Мена суффиксов, или древних расширителей основы, r / n носит, таким образом, дославянский характер.

Чеш. liknavý 'медлительный, вялый' представляет собой производное от адъективной, по-видимому, основы likn-, известной в славянском практически только из чешского, ср. ст.-чеш. liknovati sě 'сторониться, опасаться',

---

[19] *F. V. Mareš.* Указ. соч. S. 116.

[20] *Holub—Kopečný.* S. 269.

[21] *Brückner.* S. 142.

словац. *liknovat' sa* 'отлынивать, бояться', производное от упомянутой адъективной основы. Махек предполагает здесь позднее оформление суффиксом *-n-*: **likní* < *lichní*, однако это совершенно невероятно [22]. Еще Бернекер, выделив **liknavъ*, обращал внимание на формант *-n-* в некоторых его индоевропейских соответствиях: др.-инд. *rēkṇas* ср. р. 'блага, богатство', авест. *raēxənah-* ср. р. 'наследство', др.-в.-нем. *lēhan*, др.-англ. *lǣn*, др.-исл. *lān* ср. р. 'лен, владение землей' [23]. Мы можем сюда добавить еще лит. *liẽknas* 'стройный, статный (о фигуре, росте)', которое в формально-грамматическом отношении (— прилагательное) особенно близко адъективному слав. **likn-*. Древнее значение исходного индоевропейского корня **leik*^{u}*-* 'оставаться' объединяет значения 'стройный' (лит.) и 'медлительный, вялый' (чеш.) в конечном счете так же, как, например, корень **sta-*, который встречается в русских словах *статный* и *отсталый* и т. п. Важно, что и здесь, в слав. **likn-*, мы наблюдаем древность и сохранность на славянской языковой почве сочетания согласных *kn*. В дальнейшем обсуждение судьбы *kn* в славянских языках (в том числе сравнительно с группой *gn*) можно будет вести только при учете разобранных выше слов **lъkno*, **liknavъ*, **pęknъjь* и их древних этимологических связей.

Но уже и теперь ясно без лишних слов, что древнее сочетание согласных *kn* в славянском сохранялось, не упрощаясь, не озвончаясь и практически не претерпевая ни одного из приписываемых ему изменений.

II

Во втором своем этимологическом фрагменте мы будем говорить о целой группе слов, объединяемых вокруг реконструируемой праславянской формы **sěra*. Этот случай замечателен также сложностью своей фонетической истории, еще неясной в деталях индоевропейского и славянского развития. Однако в конечном счете нас интересуют здесь выводы морфологического характера.

Похоже, что старославянские в узком смысле тексты, древнемакедонские, древнеболгарские памятники не отразили слова **sěra*, как о том можно судить по изданному Л. Садник и Р. Айцетмюллером «Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten» ('s-Gravenhage, 1955). Миклошич в своем «Древнеславянско-греческо-латинском словаре» [24], известном также широтой кон-

[22] Ср.: *Machek*. S. 269—270.

[23] *Berneker*. I. S. 718, 710—711, со ссылкой на Мейе.

[24] *F. Miklosich*. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862—1865. P. 972.

цепции старославянского, дает **сѣра** *f.* 'θεῖον sulfur', но, как о том говорит знаменательный круг текстов, содержащих это слово (Минеи и Прологи сербской редакции церковнославянской письменности, включая довольно поздние тексты, а также русско-церковнославянские памятники), мы не имеем пока оснований говорить о наличии старославянской лексемы **сѣра**.

Каково же положение в лексике современных живых языков, наиболее близких к языку старославянских памятников письменности — болгарского и македонского? В толковом словаре болгарского языка [25] упоминаются *сяра* ж. 'химически елемент, твърдо чупливо тяло с лимоненожълт цвят; симпур', *серен* (прил.) 'който се отнася до сяра или съдържа сяра' и *серей* м. 'засъхнала пот по вълната на овцете', 'вода, в която е парена непрана вълна'. В болгарских народных говорах, судя по имеющимся у нас данным, широко распространены следующие характерные значения соответствующих слов и их производных: *сера* ж. 'нечистотия по вълната' [26], т. е. 'грязь, нечистота на овечьей шерсти'; *серей* м. 'засохший пот на овечьей шерсти', откуда прил. *серейлиф* 'който съдържа серей': *серейлива вуна* [27]; *с'ара* ж. 'особена мазнина, която съдържа вълната, преди да бъде изпрана' [28], т. е. 'особенный жир, который содержится в овечьей шерсти перед тем, как ее вымоют'. В македонском находим *сера* f., диал. *сара* f., *серej* m. 'masnoća prvog mleka (kod žene i kod stoke)', 'masnoća po vuni ovaca', т. е. с двумя значениями — 'молозиво' и 'жир на шерсти овец' [29].

Обширный материал по интересующей нас лексике представляют сербохорватский язык и особенно его народные диалекты. Вук Караджич дает в разной диалектной огласовке *сѐра* f. (вост.), *сӣра* (зап.), *сјѐра* (юж.) 'вода, в которой вымыли шерсть' [30], ср. диал. (Косово и Метохия) *сӣрина* ж. 'вода у којој је била потопљена непрана вуна' [31]. Обзор большого числа интересующих нас форм по диалектам находим в известной монографии П. Ивича о диалекте галлипольских сербов [32]: *сӣра* («*вóда ди се попа̏ри ву̏на*»), *сӣрјава*

[25] *Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров*. Български тълковен речник. София, 1955.

[26] Село Иваняне, Софийский округ. Дипломная работа. Рукопись. Софийский университет. — Выписка сделана мной в январе—феврале 1965 г. в Софии.

[27] *М. Сл. Младенов*. Лексиката на ихтиманския говор // Българска диалектология. Проучвания и материали. Кн. III. София, 1967. С. 163.

[28] *Г. Горов*. Странджанският говор // Българска диалектология. Проучвания и материали. Кн. I. София, 1962. С. 136.

[29] Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања / Ред. Б. Конески. Скопје, 1961 след.

[30] *Вук Стеф. Караџић*. Српски рјечник, s. v.

[31] *Гл. Елезовић*. Речник косовско-метохиског дијалекта. Св. II. Београд, 1935, s. v.

[32] *П. Ивић*. О говору галипољских Срба. Београд, 1958. С. 70—72, 419.

во́да. Далее, там же: «Здесь (имеется в виду слово *сера*. — *О. Т.*) форма на *е* является обычной, так, она имеется у Вука, Броза—Ивековича и Гл. Элезовича (см. на слова *сѐра*, *сѐрљива*). Экавские формы отмечены также во Вране (*серав*), Алексинаце (*сераивља вуна*), Кнежеваце и окрестностях (*сера*), Болевачском округе (*серав*) и Хомоле (*серавна вуна*). Этому соответствует — если говорить о ѣ — и крашованское *sẹrľa*. Формы на *и* обнаружены в призренско-тимокском диалекте только в самых северных районах, около Тупижницы (*сира*) и на Среднем Тимоке (*сира*, *сираив*), но зато на косовско-ресавской территории они преобладают. Они есть в Косове и Метохии (*сѝрина*, *сирљѝва ву̏на*), в Левче и Темниче (*сѝра*), в Глоговаце близ Светозарева (*сира̏ива во̏да*) и около Заечара (на границе с тимокским диалектом, *сирајив*)».

Значению и употреблению слова *сера* посвящена небольшая полезная заметка В. Мичовича, который сообщает дальнейшие сведения по сербохорватским народным говорам [33]. Согласно Мичовичу, *сјѐра*, *сѐра*, *сѝра* в разных частях Сербии обозначает обычно воду, в которой вымыли овечью во́лну и которая после этого обладает мыльными свойствами. То же самое значение указывается для словообразовательных вариантов *сјѐравина*, *сјѐрина*, *сѐрај*, *сѐрина*, *сѝревина*; немытая шерсть обозначается прилагательным *сјѐрава*, *сѐрава*. Кроме этих значений, названный автор указывает, что в Черногории (как и в Македонии, см. выше) данное слово значит еще 'молозиво, первое молоко (у овцы, козы, коровы, кобылы)', 'первое молоко у женщины'.

По словенскому языку, в отличие от болгарского, македонского и сербохорватского, мы не располагаем почти никакими данными. Можно назвать лишь производную форму словен. *sêrec*, род. *serca*, которую Плетершник толкует как 'žverlo, der Schwefel', т. е. 'сера' [34]. В словаре Плетершника это значение приведено третьим, после значений 1) 'der Greis'; 2) 'der Schimmel', тогда как ясно, что слово *sêrec* в этих двух значениях произведено от цветообозначения *sêr* 'grau', 'blond' и к слав. **sěra*, обсуждаемому нами, не относится (о чем см. также ниже).

Чешский знает форму и значение *síra* f. 'žlutá, hořlavá látka' [35], т. е. 'сера, sulfur', из словацкого же ни в одном из упоминавшихся выше значений форма **sěra* (или близкая) нам не известна. Дошедшие до нас материалы полабского языка не содержат рефлекса праславянского слова **sěra* вообще, но ввиду их скудости едва ли целесообразно делать из этого отсутствия свиде-

[33] *В. М. Мићовић*. О значењу речи *сјера* (*сера*, *сира*) // Наш језик. Нова серија. Књ. 1. Св. 5—6. Београд, 1950. С. 208—209.

[34] *Pleteršnik*. II. S. 470.

[35] Příruční slovník jazyka českého, s. v.

тельств какие-либо выводы. Нижнелужицкий знает *sera* f. 'die erste Milch der Kuh unmittelbar nach dem Kalben, die Biestmilch, colostra, молозиво'[36], а также *syrik* m. 'Schwefel'[37], в верхнелужицком находим *syra* ж. 'ungesottene Milch, die erste Milch nach dem Kalbe, colostrum'[38], слово, бесспорно, испытавшее формально-семантическую аттракцию прилагательного *syry* 'сырой, невареный, некипяченый', откуда вторичное значение *syra* — 'ungesottene Milch', при первичном 'colostra, молозиво, первое молоко коровы'. В польском известно слово *siara* ж. 'colostrum, молоко у роженицы, молозиво', 'молозиво, молоко в вымени коровы во время отела, перед отелом и сразу после него', диал. 'овечье молоко'[39], а также *siarka* ж. 'химический элемент, der Schwefel', 'tłusta ziemna żywica, mająca w sobie kwas kuperwasowy; pali się błękitnym płomieniem'[40].

Переходя к свидетельствам восточнославянских языков, мы можем констатировать, что между соответствующими примерами из древнерусской письменности и современными данными живых восточнославянских языков непосредственная тесная связь не всегда установима. И. И. Срезневский в «Материалах для словаря древнерусского языка» (т. III, стб. 899) выделяет следующие значения и примеры для слова **сѣра**: 'горючее вещество, смола, сера'. — **Жегѫще пещь сѣроѭ и пеклом и изгрѣбьми и лозіємь** (νάθαν καὶ πίσσαν καὶ στιππύον καὶ κληματίδα). Дан. III. 46 (Упырь). **Напрѧглъ єси стрѣлы с чемеремъ и съ сѣрою горѧчею на головꙋ свою**. Злат. цеп. XIV в. (Бусл. 481)… — 'жир'. — **Възя Даниилъ смолѫ и сѣрѫ и влънѫ и възвари въкѫпь, и сътворивъ гомолѫ, въвръже въ оуста зміѭ** (ἔλαβεν ὁ Δανιὴλ πίσσαν καὶ στέαρ καὶ τρίχας). Дан. XIV. 27 (Упырь).

В современном толковом словаре под редакцией Ушакова русское слово *сера* толкуется как 1. 'металлоид, легко воспламеняющееся вещество желтоватого или сероватого цвета, применяемое в медицине и технике'; 2. 'жирное, густое вещество желтого цвета, образующееся в ушной раковине'. Сто́ит также привести (в выдержках) содержание соответствующей статьи в словаре Даля: *се́ра* ж. 'одно из простых (несложных, неразлагаемых) веществ, плавкое и сильно горючее ископаемое вулканического происхождения… сера горючая… / *се́ра*, *се́рка*, вост. и сиб. мастика, юж. топленая смола лиственицы, которую жуют заобычай, как лакомство, и чтоб зубы белели. Льнет, как сера к сучку. // Мылистое вещество (щелочно-жирное), отделяемое природой в

---

[36] *E. Muka*. Słownik dołnoserbskeje rěcy. II. S. 403.

[37] *B. Šwjela*. Dołnoserbsko-němski słownik. Budyšin, 1963. S. 408.

[38] *Pfuhl*. S. 702.

[39] Słownik warszawski. T. VI. Warszawa, 1915. S. 87—88.

[40] *S. B. Linde*. Słownik języka polskiego. T. V. Warszawa, 1812. S. 224.

ушном проходе… Серное молоко, черный бус, пыль, добываемая из раствора… // *Серни́к*, ворга, накипь смолы на сосне, ели, самотеком; накипь смолы на живом дереве… // *Серянка*, первый поток смолы, при сидке, вишневого цвета, лучшая. // *Серянка* и *серни́ца*, *серосмо́лье*, засмолок, пророст, или место в хвойном дереве, из которого сочится смола…[41]. К этим данным, почерпнутым Далем, как это видно, в основном из живого народного языка, можно добавить еще рус. диал. *сера́* 'смола деревьев' (олонецк.)[42], *сера* 'смола древесная на коре хвойных деревьев' (яросл.)[43]. В украинском известно *сiра* ж. 'сера', *сiрка* 'сера', 'серка в ушах'[44], ср. в словаре П. Белецкого-Носенко *си́рка* ж. 'горючая сера, сера в ушах'[45]. Еще в «Лексиконе славеноросском» Памвы Берынды с его выразительно украинской толкующей частью читаем: *жупель*, *сѣ́ра*, *сѣ́рка*[46]. В белорусском языке слово *се́ра*, согласно современным лексикографам[47], адекватно русскому слову *сера* в его литературно-общенародном употреблении.

Прежде чем обратиться к выяснению происхождения слова *sěra*, нам, как видно, необходимо будет внимательно изучить значения и употребления всех относящихся сюда конкретных славянских форм в их взаимосвязи. Это требуется тем более, что степень самостоятельности отдельных значений и употреблений весьма велика, вплоть до того, что они с трудом укладываются в единый «семантический спектр» единого слова **sěra*, а самый факт реального существования такого единого славянского слова **sěra* начинает в результате этого обретать черты некоей иллюзии или фикции.

С этой целью мы, опираясь на более подробный перечень форм, их значений и прочих особенностей, приведенный выше, составили таблицу, в которую входит краткий перечень всех более или менее самостоятельных значений и указание на их распределение по славянским языкам. Прочие детали этой таблицы будут понятны из дальнейшего изложения. Составляя ее, мы ориентировались, помимо прямых лексикографических свидетельств славянских языков, также на некоторые внеславянские этимологические сведения и типологические аналогии как в плане развития лексики, так и в плане связи

---

[41] *Даль*^{2}. IV. С. 380—381.

[42] *Куликовский*. С. 117.

[43] *Мельниченко*. С. 183.

[44] *Гринченко*. IV. С. 127, 128.

[45] *П. Бiлецький-Носенко*. Словник української мови / Підготував В. В. Німчук. Київ, 1966. С. 327.

[46] См. издание: Лексикон словенороський Памви Беринди / Підготовка тексту В. В. Німчука. Київ, 1961. С. 38.

[47] См., например, «Русско-белорусский словарь» под ред. Я. Коласа и др. (М., 1953) и более новый «Белорусско-русский словарь» (М., 1962).

реалий. Расположение, последовательность значений в таблице отражают наше понимание возможного направления «филиации идей», лежащей в основе этой части славянского словаря. Мы не настаиваем, естественно, на абсолютной неопровержимости именно такого порядка следования значений, но основной смысл его, причем значение 1-е считается более древним, архаическим, чем значение 9-е, кажется нам правильным.

№ пп.	Значения	Языки														
		ст.-слав.	болг.	макед.	сербохорв.	словен.	чеш.	словац.	полаб.	н.-луж.	в.-луж.	польск.	др.-рус.	рус.	укр.	блр.
1	‘молозиво’			+	+					+	+	+				
2	‘овечье молоко’											+				
3	‘στέαρ, твердый жир’												+			
4	‘жиропот на шерсти овец’		+	+												
5	‘вода, в которой вымыли овечью шерсть’		+		+											
6	‘жирное выделение в ушах’													+	+	
7	‘древесная смола’													+		
8	‘νάφθα ≈ горная смола’												+			
9	‘sulfur, сера’		+			+	+			+		+	+	+	+	+
Слово не встречено вообще		0						0	0							

При чтении таблицы могут быть учтены следующие коррективы. Похоже, что слово болг. *сяра* в значении ‘sulfur, *сера*’ — принадлежность только литературного болгарского языка, что приводит к постановке вопроса о русском происхождении данной формы (подведенной затем под действующие в болгарском литературном языке закономерности ятевого произношения? — Ср. *сяра* : *серен*). Здесь же уместно напомнить о сомнительности словенской формы *serec* ‘Schwefel’, далее — о том, что народными названиями серы в южнославянских языках являются совсем другие слова: в болгарском — это *си́мпур*, в сербохорватском основное название серы — *су̑мпор* (оба последних названия — относительно поздние балканские романские элементы). В словенском обычным названием серы служит германизм *žveplo*, что вместе с сомнительностью словенского продолжения праслав. **sěra* очень напоминает нам ситуацию в старославянских текстах, где нет слова **sěra* и представлено **жоупелъ, зюпелъ** ‘сера’, т. е. мы вынуждены признать, что в этом случае (как и во многих других) лексическая ситуация в старославянских текстах носит,

скорее, «паннонский» характер. Таким образом, отметки наличия значения 'сера, sulfur' у продолжений праслав. **sěra* в некоторых южнославянских языках в нашей таблице не имеют такого же полноценного значения, как в других случаях. Если добавить, что одно из ранних заимствованных названий серы — ст.-слав. **жоупелъ**, словен. *žveplo* заимствовано именно южными славянами (рус. *жýпел* — церковнославянизм!)[48], поскольку древние южнославянские диалекты, видимо, не имели подходящего слова для обозначения вещества sulfur, то станет ясно, что значение 'сера, sulfur' вообще не следует ассоциировать с собственно южнославянскими продолжениями праслав. **sěra*.

Далее, переходя к западнославянским данным, схематично отраженным в таблице, мы должны иметь в виду, что и здесь не следует огульно принимать наличие значения 'сера, sulfur' у прямых продолжений праслав. **sěra*. За вычетом чеш. *síra* '(горючая) сера', остальные однокоренные западнославянские названия серы явно приспособлены вторично для обозначения серы, для чего потребовался особый словообразовательный акт, ср. производный характер таких названий серы, как н.-луж. *syrik*, польск. *siarka*. Это показывает нам также, что прямое продолжение праслав. **sěra* на западнославянской языковой почве не могло быть использовано для обозначения серы. Для этого имелись, очевидно, веские причины, которыми мы займемся несколько ниже.

Восточнославянские данные обращают на себя внимание тем, что именно здесь праслав. **sěra* прямо употреблено в значении 'sulfur'. Словообразовательных средств для выделения этого значения тут не потребовалось, во всяком случае, сколько-нибудь серьезной роли не играли (укр. *сірка* — явная аккомодация польск. *siarka* 'сера'). Причины этого положения мы также попытаемся выяснить далее. Здесь следует пока отметить, что в сложной древнерусской языковой стихии несомненно русским значением слова *сѣра* является 'сера, sulfur', ср. выше пример из «Златой цепи» XIV в. у Срезневского. В то же время цитаты из церковнославянского сочинения с четкими южнославянскими особенностями языка содержат примеры слова *сѣра* в таком значении, которое, хотя и стоит у нас как древнерусское под № 3 ('στέαρ, жир'), явно связано с типично южнославянским значением 'жиропот овец'. Ср. другой пример из Срезневского: **Възя Даниилъ смолѫ и сѣрѫ и влънѫ**... (ἔλαβεν ὁ Δανιὴλ πίσσαν καὶ στέαρ καὶ τρίχας), — где для нас значительно соседство слова *сѣра* (как названия жира) и названия овечьей волны.

По приведенной выше таблице можно сделать также следующие наблюдения и выводы (с учетом только что изложенных поправок). Значение 'молозиво (первое молоко)' распределено таким образом, что охватывает часть

[48] См.: *V. Kiparsky*. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen (= Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B. T. XXXII). Helsinki, 1934. S. 124.

южнославянских (македонский, сербохорватский) и часть западнославянских языков (серболужицкие, польский), т. е. такие общности, для которых совместные новообразования, инновации не типичны. К вопросу о древности значения 'молозиво' у праслав. **sěra* мы еще вернемся потом. Остаются еще некоторые «инсулярные» группы значений в таблице, причем значения 'жиропот на шерсти овец' и 'вода, в которой вымыли овечью шерсть' как бы тяготеют к южнославянской группе значений 'молозиво', а значения 'смола' (и близкие) — к значению 'сера, sulfur'. Эти связи также могут быть использованы при обосновании предлагаемой диахронической иерархии значений у продолжений праслав. **sěra*.

В отношении этимологии праслав. **sěra* мы считаем удачным сближение этого славянского слова и лат. *serum* 'сыворотка'[49]. Несмотря на значения лат. *serum* и алб. *hirrë* 'сыворотка' (которое некоторые ученые также относят сюда) и др.-инд. *kṣīra* 'молоко', мы все-таки воздержались бы от того, чтобы предполагать, что все эти индоевропейские слова вместе с праслав. **sěra* входили в одно семантическое поле 'молоко'. У этих слов есть серьезные словообразовательные и морфологические отличия, которые заставляют говорить о том, что здесь представлены самостоятельные производные от одного общего корня в разных языках. О специальной морфологической связи между праслав. **sěra* и лат. *serum* еще будет сказано ниже. Особую способность выступать в значении 'сыворотка' (или близком значении 'маслянистая жидкость', ср. случаи **sěra* 'молозиво' и **sěra* 'вода, в которой вымыли овечью шерсть') гарантировала, в частности, для праслав. **sěra* и лат. *serum* их связь с и.-е. **ser-* 'течь', а отнюдь не древняя концентрация этих слов вокруг

---

[49] Это сравнение мы встретили впервые у минской лингвистки Г. Ф. Вешторт (*Г. Ф. Вештарт.* Да рэканструкцыі палескай назвы малака // Беларуская лексікалогія і этымалогія / Праграма і тэзісы дакладаў міжрэспубліканскай канферэнцыі па беларускай лексікалогіі і этымалогіі, 19—23 лютага 1968 г. Мінск, 1968. С. 23—24) и в статье В. В. Мартынова (*В. В. Мартынов.* Анализ по семантическим микросистемам и реконструкция праславянской лексики // Этимология. 1968. М., 1971). Остальные соображения названных авторов устраивают нас в меньшей степени, ср., в частности, о блр. *сырадóй* 'парное молоко'. Менее удовлетворительна и семантическая реконструкция, при которой праслав. **sěra* и его значения ограничиваются микрополем 'молоко', а другие значения, также весьма важные и в плане семантической эволюции этого слова и в культурном отношении, оказываются вне поля зрения исследователя. Считать, что в праслав. **sěra* представлено древнейшее славянское название молока (Г. Ф. Вешторт), нет достаточных оснований. Необходимость охарактеризовать семантическую эволюцию праслав. **sěra* во всей совокупности значений ('жир', 'смола', 'сера' и др.), а также их исходную базу с точки зрения этимологии и культурной типологии, наряду с выделением некоторых новых моментов сравнительной фонетики и морфологии, — все это и побудило нас взяться за исследование данного слова.

празначения 'молоко'. Этимологическая связь лат. *serum* 'водянистая жидкость после створаживания молока, сыворотка' и родственного ему греч. ὀρός 'сыворотка' (с ионической псилозой < **soros*, с отличием вокализма) с корнем и.-е. **ser-* 'течь' (др.-инд. *sárati* 'течет, спешит', *saráḥ* 'жидкий') давно уже представляется лингвистам очевидной [50]. Обозначение смолы, смолистой жидкости (ср. соответствующие значения праслав. **sěra* в отдельных славянских языках) производными от глагола 'течь' — явление естественное, ср. такие названия смолы как цслав. **текль, точеница** [51].

Обозрение прочих существующих, в том числе — старых, этимологических объяснений славянского слова **sěra* мы считаем более удобным поместить после выяснения некоторых принципиальных вопросов из области отношений славянской и некоторых явно однокоренных индоевропейских форм. В ряду сравниваемых с *sěra* выше приводится также древнеиндийское название молока *kṣīra*. Своеобразие анлаута — группа согласных — ставит последнюю форму в особое положение. Сюда же примыкают такие иранские названия молока, как осет. *axšir*, памирск. *xšir*, н.-перс. *šīr* [52]. Число близких форм с усложненным анлаутом может быть пополнено, причем — названиями с более широкими значениями: др.-инд. *kṣaram* 'вода', *kṣárati* 'течет, струится, растекается', авест. *γžaraiti* 'течет, вскипает'. Надо заметить, что сближение лат. *serum* и др.-инд. *kṣaram*, *kṣarati* предлагалось на правах альтернативного решения еще Бругманом, причем и сам автор и другие ученые — составители этимологических словарей воспринимали это как нечто расходящееся с обычной реконструкцией для лат. *serum* индоевропейского корня **ser-* (ср. в упомянутом словаре Вальде: «Abweichend... Brugmann»; в словаре Буазака: «...autre avis chez Brugmann...»). Такое восприятие тесно связано с выдвинутой Бругманом теорией об особом индоевропейском спиранте, получившем своеобразные рефлексы в различных индоевропейских языках. К нашему случаю эта теория имеет самое прямое отношение. Например, в новом индоевропейском этимологическом словаре Покорного существует специальная статья с заглавным словом **g^{u}hđer- / *g^{u}đer-* 'течь', откуда др.-инд. *kṣárati* 'течет, струится', *kṣara-m* 'вода', авест. *γžaraiti* 'течет' [53].

[50] См.: *Walde* ². P. 704—705; *Ernout—Meillet* ³. II. P. 1093—1094; *J. B. Hofmann*. Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. München, 1949. S. 239; *Boisacq* ⁴. P. 716; *Hj. Frisk*. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 15. Heidelberg, 1965. S. 425.

[51] См.: *F. Miklosich*. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum; цит. по кн.: *А. Будилович*. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Ч. 1. Киев, 1878. С. 122—123.

[52] См. сведения о них: *O. Schrader*. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Strassburg, 1901. S. 541—542.

[53] *Pokorny*. I. S. 487.

В том же словаре есть статья с заглавным и.-е. **ser-* 'течь, быстро двигаться', объединяющая уже известные нам др.-инд. *sárati* 'течет, спешит', *sará-* 'жидкий', греч. ὀρός, лат. *serum* 'сыворотка свернувшегося молока' [54]. Нам думается, что реконструкция Покорного, навеянная идеями Бругмана, искусственно усложняет реальное положение дела. Оставив ее и непосредственно соотнеся, например, две засвидетельствованные формы — др.-инд. *kṣárati* и *sárati* (обоснование см. ниже), мы можем трансформировать это отношение в отношение двух индоевропейских форм: **kserati* и **serati*.

В последнее время вопросом о «спирантах Бругмана» подробно занимался у нас Вяч. Вс. Иванов [55]. Интересно отметить, что он оспаривает не только существование спирантов типа *ghđ* и *kþ*, как понимал их Бругман, но и наличие в индоевропейском особых согласных фонем типа k^s, которые предполагал вместо них Бенвенист. К сожалению, разбирая этот важный вопрос, Иванов оперирует слишком небольшим материалом; по сути дела, он ограничивается только индоевропейскими названиями земли и медведя. Однако и на этом ограниченном материале он приходит к очень значительному выводу. Вяч. Вс. Иванов видит в анализируемых словах не спирант Бругмана и не аффрикату Бенвениста, а соседство двух разных согласных фонем (переднеязычного смычного и задненёбного). Так, греч. ἄρκτος 'медведь', хеттск. *ḫartaggas* производится из и.-е. **ṛdkos*, где *-ko-* представляет собой суффикс. Предполагая также в нашем случае наличие форманта, мы находим, что аналогичные идеи применительно к большому числу весьма близких типологически случаев высказывались уже давно. Так, И. Схрейнен, специально изучавший вопрос, приходит в статье «Преформанты» на материале пар слов *aper* : *veprĭ*, *ìlgas* : *dlŭgŭ*, *ašarà* : δάκρυ, *ásthi* : *kostĭ* к следующему выводу: «Я полагаю, что мне удалось показать, что, помимо преформанта *s*, в начале корня имеются еще другие подвижные компоненты, в частности *u̯*, задненёбный и зубной» [56]. Приведенные пары соответствий позволяют автору прийти к заключению, что эти преформанты могут быть выявлены в корнях разной структуры — как с согласным, так и с гласным началом слова.

Ничто не мешает нам рассматривать аналогичным образом и уже упоминавшуюся пару др.-инд. *kṣárati* : *sárati*, в остальном (за вычетом преформанта *k-*) тождественную по форме (ср. выше реконструкцию и.-е. **kserati* : **serati*) и по значению — 'течь, струиться'. Здесь нет, во-первых, оснований решать вопрос в плане чистой фонетики, как нет, во-вторых, и видимой надобности

---

[54] *Pokorny*. I. S. 909—910.

[55] *Вяч. Вс. Иванов*. Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы (сравнительно-типологические очерки). М., 1965. С. 24 след.

[56] *J. Schrijnen*. Präformanten // KZ. XLII. 1909. S. 111.

предполагать в формах *kṣárati*, *kṣīra* и др. особый древний спирант или аффрикату, вообще — особую фонему. Подобно тому как Вяч. Вс. Иванов справедливо рассматривает свои примеры под углом зрения индоевропейской морфологии и словообразования, отводя прежние теории об особой индоевропейской фонеме в соответствующих словах, точно так же мы толкуем пару *kṣárati* : *sárati* как морфолого-словообразовательные варианты, отказываясь от особой реконструкции $g^{u}hđer$- (Покорный) для первого из них.

Слав. *sěra* может одинаково отражать индоевропейский анлаут **ks*- (с ранним упрощением *ks*- > *s*-, ср. раннее упрощение **pt* > *t*, чем объясняется то, что характерный переход *ks* > слав. *x* здесь не состоялся), как и еще более древний анлаут *s*-, без преформанта. Кстати, столь же двусмысленна в отношении своего древнего анлаута и латинская форма *serum*, которая может скрывать в себе и древнюю форму **kserom*, как, например, по-видимому, лат. *sitis* 'жажда' < **ksitis* в его отношении к греч. φθίσις и др.-инд. *kṣiṇā́ti* 'уничтожает'. Здесь будет нелишним упомянуть, что вопросу об и.-е. k^s в славянском посвятил одну из своих последних статей В. Махек [57]. Он характеризует современное состояние изучения проблемы и, в частности, пишет: «...с помощью k^s... передают случаи, когда, говоря кратко, в греческом представлено *kt*, а в санскрите — *kṣ*. Абсолютно достоверные случаи немногочисленны... например τέκτων / *tákṣan*..., κτίσις... : *kṣiti*- 'жилье'». То, что после бругмановских *kþ*, *gđ* лингвисты предпочитают теперь говорить о единой фонеме типа k^s (Кюни, Бенвенист), автор считает прогрессом. Специально же свою статью Махек посвящает поискам начального k^s в славянском. Его примеры: слав. *sědlo* 'земельная собственность', ср. санскр. *kṣetra*- 'почва, земля', греч. κτίσις 'основание', авест. *šiti*- 'жилье'; слав. *sěnь* '(просторное) помещение', ср. греч. κτοίνᾱ 'жилье, округ', арм. *šēn* 'населенное место'; слав. *sesti* / *sedati sę* 'трескаться, лопаться', ср. санскр. *kṣádate* 'разрезает, делит', греч. κτηδών, мн. κτηδόνες 'осколки дерева, шерстинки, волокна'. Заключение автора: «Трактовка k^s отлична от **ks* (т. е. от *k*, за которым следует действительное *s*; в последнем случае получилось бы *x* перед *a*, *o*, *u*, *y*, *ъ* и *š* — перед *e*, *ě*, *i*, *ь*), но эта трактовка совпадает с судьбой *k̂* (*k* "палатального")... Ясно, что в славянском *k̂* и k^s подверглись смешению». Говоря преимущественно о начальном и.-е. k^s в славянском, Махек, таким образом, коснулся непосредственно нас интересующего вопроса. Однако констатация начального *ks*, которую предпочитаем мы, не повторяя здесь аргументов и словесных пар, уже приведенных выше, разумеется, еще не означает неизбежности развития *x* в славянском; этот вопрос теснейшим образом связан с относительной хронологи-

[57] *V. Machek*. Mots slaves à k^s indo-européen // Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kuryłowicz. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965. P. 192 след.

7. Заказ № 2419.

ей славянских и дославянских звуковых процессов. Что же касается слов, этимологизируемых Махеком в этой статье, то нам кажется, что они могут быть объяснены иначе.

Старые и новые этимологические толкования славянского слова *sěra* объединяет такая общая черта, как семантическая неполнота славянских данных: этимологизируя слово *sěra*, обычно имеют в виду значение 'sulfur, сера', удивительным образом оставляя без внимания все прочие (чрезвычайно многочисленные и разнообразные, как мы стремились показать выше) значения этого слова. Иногда делается исключение для значения 'молозиво' у польского соответствия, но и оно только упоминается и остается неиспользованным в общей связи (см., например, у Брюкнера и Махека). Любопытно, что свежая попытка рассмотреть слав. *sěra*, так сказать, с другого конца его семантического спектра, выделив значение 'молозиво' (см. выше Вешторт, Мартынов), привела в свою очередь к тому, что в положении игнорируемого оказалось значение 'сера, смола'. Не говорит ли это о том, что исследователи интуитивно склонны видеть здесь по меньшей мере два разных слова **sěra*? В настоящей заметке мы стремимся показать, что наука имеет здесь дело с о д н и м чрезвычайно емким словом, проделавшим богатую эволюцию, отдельные этапы которой, несмотря на разную степень их относительной древности, хорошо сохранились в живых свидетельствах разных славянских языков. Изучить слово во всей совокупности его семантического содержания очень важно для его этимологии, потому что первоначальный семантический признак слова, устанавливаемый этимологически, должен так или иначе объяснять все существенные значения слова. Если этимология, объясняя одни значения, не объясняет или вступает в противоречие с другими значениями многозначного слова, то это может служить сигналом ошибочности этимологии. В нашем случае с относительно давнего времени при ограниченном учете значений (обычно принималось во внимание только 'sulfur, сера') праслав. **sěra* производили обычно от прилагательного *sěrъ* 'glaucus, серый' [58]. Ясно, что, если мы будем серьезно считаться со всеми известными нам значениями слова *sěra*, то этимологизация «по цвету» отпадет как неудовлетворительная. «Лимонно-желтый», т. е. «светлый», цвет химической, минеральной серы еще можно было бы как-то с натяжкой примирить с содержанием цветообозначения 'серый', но значение 'sulfur, сера' как раз не может быть признано древнейшим у слав. *sěra*. Ему, несомненно, предшествовало более широкое зна-

---

[58] *Miklosich*. S. 295; *А. Будилович*. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Исследования в области лингвистической палеонтологии славян. Ч. 1. Рассмотрение существительных, относящихся к естествознанию. Киев, 1878. С. 55—56, 292.

чение 'смола (горная, древесная)', а здесь реалии представляли уже такое разнообразие цветов и их оттенков — от светлого до темного, что однозначная цветовая этимология окончательно утрачивает убедительность (см. ниже подробнее о плане реалий). Формально-фонетические моменты, контролируя этимологию, тоже устанавливают ошибочность толкования от цветообозначения, но здесь это играет, по нашему мнению, скорее вспомогательную роль. Так, например, совершенно очевидно, что упоминаемое цветообозначение цслав. **сѣръ**, словен. *sêr*, рус. *серый*, укр. *сiрий*, польск. *szary*, чеш. *šerý*, н.-луж. *šery* может быть объяснено только из корня с дифтонгом *oi* и начальным согласным *x-*, который, возможно, продолжает дославянское **skoiro-*, ср. готск. *skeirs* 'ясный'[59]. Слав. *sěra* имеет, во-первых, совершенно отличный консонантизм (исконное *s-*), а во-вторых, характеризуется наличием долгого гласного *ē* (а не дифтонга), ср. сербохорв. *cjȅра*, рус. *сéра*. Осознание этих древних различий между названием цвета и названием серы заставляет современных этимологов отказаться от мысли о родстве слов *серый* и *сера*[60]. Дальнейшие суждения ученых носят, однако, как правило, характер неуверенных догадок. Махек признает слав. *sěra* неясным, практически таково же мнение Фасмера, который даже поднимает вопрос о заимствованном происхождении слова (к чему вернемся несколько далее). Статья *сяра* в этимологическом словаре Младенова очень эклектична, поскольку это слово относится там и к тур. *sary* 'желтый' («арийско-алтайский корень») и к цветообозначениям рус. *сéрый*, польск. *szary*, чеш. *šerý*, словен. *šêr*, сербохорв. *sjer*. лтш. *sērs*, санскр. *śārá-s* 'пестрый, разноцветный', англосакс. *hār* 'серый' и, наконец, в очень необязательной форме, мимоходом — к и.-е. **ser-*, санскр. *sárati*, лат. *serum*[61]. Таким образом, уже у Младенова, по сути дела, представлено, хотя и весьма сбивчиво, столь заинтересовавшее нас сравнение слав. *sěra* и лат. *serum*. Однако устранены еще не все формальные препятствия, стоящие на пути принятия исконно индоевропейской этимологии слав. *sěra*, в основном уже изложенной выше. Фасмер в своем этимологическом словаре пишет следующее: «Неясно отношение **sěra* к др.-рус. **цѣрь** 'сера' (Пов. врем. лет под 946 г.), которое хотел связать с ним уже Миклошич EW 295. Колебание в

[59] Ср., например: *А. Мейе.* Общеславянский язык. С. 80; *A. Vaillant.* Grammaire comparée des langues slaves. I. P. 50; см. еще: *H. Petersson.* Einige Tier- und Pflanzennamen aus indogermanischen Sprachen // KZ. XLVI. 1914. S. 128 ff; *W. Prellwitz* // BB. XXX. 1906. S. 176; *B. Čop.* Etyma balto-slavica. IV // Slavistična Revija. 12. 1959—1960. S. 178—181; *W. Belardi. Axš-aina-*, *axša-ina-* o *a-xšai-na-*? // AION. 1961. S. 35. Примеч. 2.

[60] *Vasmer.* II. S. 611; *Machek.* S. 445.

[61] *Младенов.* С. 626 (*сяра*), 578 (*сéрей*, *сер*, *сери*, *Серава*). — Как видим, Младенов первым из этимологов включил в круг относящихся сюда форм название жира на шерсти овец (болг. *сéрей*).

начале слов, возможно, объясняется заимствованием» [62]. Речь идет о том месте летописи, где рассказывается: **Волга же раздаꙗ воемъ по голуби комуждо, а другимъ по воробьеви, и повелѣ комуждо голуби и къ воробьеви привѧзывати цѣрь, ѡбертывающе въ платки малы, нитъкою поверзывающе къ коемуждо ихъ.** — Перед нами знаменитый летописный рассказ о хитроумной мести княгини Ольги древлянам. Его содержание общеизвестно и, казалось бы, ясно вплоть до деталей, тем не менее центральный момент, важный с разных точек зрения, остается недостаточно ясным. Мы имеем в виду значение слова **цѣрь**. Срезневский толкует его уверенно как 'сера' [63]. Проверить это утверждение сличением с другими примерами употребления слова практически невозможно, так как в древней письменности данное слово встречается только один раз в приведенном контексте [64]. Слово **цѣрь** m. 'sulfur, uti explicatur in lex. acad.', т. е. 'сера, как объясняется в словаре Академии', приводит и Миклошич в своем «Старославянско-греческо-латинском словаре» [65], создавая тем самым иллюзию принадлежности этого слова к старославянскому словарному составу, но в распоряжении у Миклошича был все тот же один пример из русской летописи. Карамзин, толкуя это место летописного рассказа, говорит, что Ольга распорядилась привязать к голубям и воробьям т р у т с с е р о й. Как бы то ни было, форма слова **цѣрь** продолжает оставаться загадочной, резко отличной от слова **сѣра** и, обладая такими внешними особенностями, как наличие **ц** перед **ѣ**, может давать повод для весьма отличных реконструкций или этимологий, что делает понятной реакцию Фасмера на различие в анлауте между **сѣра** и **цѣрь** (см. выше).

Дальнейшие поиски в древнерусских лексических материалах не дают желаемых результатов. Можно упомянуть пример из Библии Геннадия, который, однако, при более пристальном рассмотрении сюда не относится: …**и ѡставъшим оумножатьс҃ на земли. и еще на неи есть десѧтины полѧнна, и пакы бѹдеть на събраніе акы *церь. и желѧть* егда испадеть ис плюскы своеѧ** [66]. Выделенное в цитате место отвечает словам греческого текста Библии ὡς τερέβινθος καὶ ὡς βάλανος. При этом слово *церь* (чаще *церъ*, см. *Срезневский*. Материалы. Т. III. Стб. 1439) выступает в роли названия дерева, разновидности дуба, которое заимствовано из лат. *cerrus*. Местами слово *церъ*

[62] *Vasmer*. II. S. 611.

[63] *Срезневский*. III. Стб. 1460.

[64] Картотека «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.» (ИРЯ АН СССР) знает опять-таки один уже известный нам пример в том же контексте: …**и къ воробьеви привѧзати цѣрь**… (Лаврентьевская летопись 1377, л. 16 об., под 946 г.).

[65] *F. Miklosich*. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. P. 1108.

[66] Геннадиевская Библия 1499 г. Ис. VI, 12—13. Цит. по картотеке «Малого словаря древнерусского языка XI—XVII вв.» (ИРЯ АН СССР).

(*церь*) употребляется для передачи греч. τερέβινθος 'терпентинное дерево Pistacia terebinthus', как и в цитированном нами месте древнерусского перевода Библии. Др.-рус. **цѣрь** 'сера?' продолжает, таким образом, по-прежнему оставаться особняком в древнерусском словаре, как и среди лексики церковнославянской письменности в целом. Обращаясь к показаниям живых славянских языков, мы наталкиваемся на любопытное слово *цир* м. в значении 'сера горючая' в первом словаре украинского языка нового времени Белецкого-Носенко [67]. Автор относит эту форму к живому укр. *сірка* 'сера', однако тут же указывает тот единственный источник, из которого он почерпнул это якобы украинское *цир*, — «у преподобного Нестора». После этого признания форма *цир* (собственно *ціp*) со всеми ее живыми, народными чертами оказывается в наших глазах не более как аккомодацией летописного древнерусского **цѣрь**, полученного книжным путем.

Несколько неожиданное подтверждение реальности единичного летописного **цѣръ** мы получаем из лексических материалов по современным живым русским народным говорам, ср. рус. диал. смолен. *церь* м. 'наплывы смолы на дереве' [68]. Это важнейшее свидетельство помогает решить положительно проблему подлинности летописного hapax'а **цѣрь**, одновременно прямо указывая на народный восточнославянский характер слова, а также его своеобразной фонетической формы. Лексическое значение смоленского диалектизма — 'наплывы смолы на дереве' — дает, как кажется, возможность предпринять уточнения и в отношении лексического значения др.-рус. **цѣрь**, которое тоже, видимо, обозначало не серу и не «серяную нитку» (как толкует древнее слово, опять-таки на основании того же летописного примера, Даль), а, возможно, насохший наплыв смолы на стволе дерева или напоминающую его древесную губку (аналогию восприятия 'губка' < 'наплыв, натек' ср. в нем. *Schwamm* 'губка' : *schwimmen* 'плыть, плавать'), трутовик, вырастающий на древесном стволе. В соответствующем эпизоде летописного рассказа реальнее всего представить себе, что именно тлеющий трут завертывался в платочки и нитками привязывался к птицам.

В итоге мы получили диахроническое тождество форм др.-рус. **цѣрь** = рус. диал. (смолен.) *церь*. Но решив одни задачи (вопрос подлинности древнерусского слова, его народно-диалектная основа и реальное значение), мы пока вынуждены признать, что на данном этапе еще не преодолена основная трудность, поскольку неизвестна еще собственная этимология слова **цѣрь** и

---

[67] *П. Білецький-Носенко*. Словник української мови / Підготував до видання В. В. Німчук. Київ, 1966. С. 382.

[68] *А. И. Иванова*, *М. А. Кустарева*, *Б. А. Моисеев*. Материалы для «Смоленского областного словаря» // Уч. зап. Смоленского пед. ин-та. Вып. IX. Кафедра русского языка. Смоленск, 1958. С. 152.

его отношение к слав. *sěra*. На первый взгляд может даже показаться, что предыдущие наши уточнения привели к тому, что **цѣрь**, видимо, не означавшее буквально 'сера', удалилось от слова **сѣра** 'sulfur и т. д.'. Но получаемая семантическая дистанция ('наплыв, нарост на дереве' — 'sulfur, сера') сама по себе вовсе не знаменует семантической неродственности, напротив, как одно из проявлений редкой полисемантичности в общем укладывается в шкалу семантического спектра слова *sěra* ('древесная смола' — 'сера' и т. д., см. выше). Не видя, таким образом, препятствий к семантическому сближению слов **цѣрь** и **сѣра**, мы должны будем целиком сосредоточиться на их необычном фонетическом различии, от выяснения природы которого единственно зависит собственная этимология формы **цѣрь**. Конечно, при любом состоянии наших сведений было бы неправильно закрывать глаза на значительную внешнюю близость **цѣрь** и **сѣра**, при их семантической близости, выявленной выше. Однако различие анлаутов **ц-** : **с-** настолько существенно, а известные источники образования **ц** перед **ѣ** настолько отличны от **с-**, что без достаточных оснований вопрос об особом происхождении или даже иноязычном заимствовании не может быть снят или обойден молчанием. Русские народные говоры обнаруживают ряд случаев перехода *с-* > *ц-* в начале слова перед гласным. Минуя такие из этих случаев, которые требуют оговорок или допускают иное толкование (вятск. *черп* 'серп' (Даль[3] IV, 1322); череповецк. *цепить* 'сыпать' (Герасимов), где *ц-* могло явиться результатом вторичного переразложения приставочного **от-сыпить*), остановимся подробнее на двух примерах, интересных к тому же своей принадлежностью к смоленским областным говорам: *цуглéй* (твер., смолен.) 'глина'[69] < **суглей*, ср. *суглинок*; *цóпуха* 'верхняя часть печи'[70] < *сопуха*, также известного из диалектов. Второй пример представляет собой достаточно древнее именное образование, судя по близким или тождественным названиям дымохода в других славянских языках, ср. чеш. *sopouch*, ст.-чеш. *sopúch*, диал. *sopóch*, *sopuch*, словац. *sopúch*, польск. *sopuch*, *sopucha*, укр. *сóпýх*. Особенно для нас важно здесь то обстоятельство, что аналогичный русскому диалектному переход начального *s-* > *c-* широко представлен также в чешских народных формах данного слова: *capuch*, *capouch*, *copouch* и т. д.[71]. Это дает нам право смотреть на переход *s-* > *c-* в начальной позиции перед гласным в условиях, которые пока не поддаются более близкому определению (возможно, экспрессивность употребления, приводящая к усилению начального согласного

[69] Опыт. С. 252.

[70] *В. Н. Добровольский*. Смоленский областной словарь. С. 972. — Указанием на рус. диал. *цóпуха*, *цуглéй*, *цепить*, *черп* я обязан В. А. Меркуловой.

[71] См. эти и другие примеры: *Macnek*. S. 464.

s > *c*, т. е. *ts*-), как на славянский фонетический процесс. Допущение экспрессивного момента сообщает этому явлению черты ахронии, что, с другой стороны, означает возможность его осуществления как в современных народных диалектах, так и в древнюю эпоху. География явления (которую мы, правда, не имели возможности изучить здесь сколько-нибудь полно) не позволяет предположить, скажем, дорусское субстратное происхождение.

Все вышеизложенное означает в нашем случае, что др.-рус. **цѣрь** произошло из ***сѣрь**, близкородственного изучаемому нами слав. *sěra*. Вероятность такого толкования слова **цѣрь** повышается тем, что мы фактически можем трактовать форму ***сѣрь** как реальное слово, а не как абстрактную реконструкцию. Мы имеем в виду цслав. **сѣрь** m. 'ἐρυσίβη, rubigo' [72], т. е. 'ржавчина (на ржи), медвяная роса', а также сербохорв. *sijer* m. 'slatka rosa, koja pada po drveću i biļu… medļika, što pada u proļeće na lipu, a u jesen na vrijes… (Mehltaupilze, erysiphe)' [73]. Попутно заметим, что акцентная характеристика последней формы также говорит о ее близости к слав. *sěra* (ср. сербохорв. *sijer* при упоминавшемся выше акцентологически тождественном *cjȅpa*), а не цветообозначению *sěrъ*, несмотря на такие обозначения-синонимы, как рус. *ржавчина*, лат. *rubigo*, греч. ἐρυσίβη (по цвету). Здесь нелишним кажется краткое ознакомление с сущностью природного явления, носящего название *медвяная роса*, и близкими феноменами, в чем нам помогут сообщения исследователей народного быта и специальные информации из области биологии растений. «*Медóвая* или *медвяная роса*, болезнь растений, причем они покрываются сладковатым, липким потом, который обращается в ржавчину; нападает особенно при наливе хлебов на рожь, и колос гибнет. Медовая падь, мох, который любят пчелы» [74]. «*Пóмох*, м. [рус. диал., вятск.]. Как говорят: “падает на хлеб медвяная роса”, преимущественно на яровое. Эта-то медвяная роса и есть “помох”. Хотя после помоха хлеб и идет в рост, но колос, метелка остаются пустыми» [75]. «*Медвя́ная росá* (*падь*) — сладкие выделения на листьях многих растений, появляющиеся в результате жизнедеятельности тлей, червецов и других насекомых, питающихся соками растений. Иногда медвяная роса бывает чисто растительного происхождения (например, на листьях боярышника и дуба). Выделения тлей скапливаются на листьях в виде прозрачных сладких капель. В их состав входят… спирты, декстринообразные вещества, азотистые вещества, минеральные соли. Эти

---

[72] *F. Miklosich*. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. P. 972; *Срезневский*. III. Стб. 899.

[73] RJA. XIV d. Zagreb, 1955. S. 917.

[74] *Даль*[3] II. С. 313.

[75] *Васнецов*. С. 233.

выделения впоследствии часто заселяются сапрофитными микроскопическими грибками почти черного цвета. Падевый мед из медвяной росы вызывает у зимующих пчел понос, приводящий их к гибели. Медвяной росой называют также конидиальную стадию заболевания злаков спорыньей (Claviceps purpurea), сопровождающуюся выделением на цветках сахаристой жидкости»[76]. «*Мильдью* (англ. mildew), ложная мучнистая роса винограда, — опасная болезнь виноградной лозы. Вызывается грибком (Plasmopara viticola)... Первоначально болезнь появляется на листьях в виде желтоватых "маслянистых" пятен, которые затем покрывают весь лист. С нижней стороны листа на пятнах образуется белый мучнистый налет (органы спороношения гриба — конидиеносцы с конидиями)...»[77].

Слав. **sěrь* '(болезнетворные) выпоты, пятна, грибковые наросты' родственно слову **sěra* и формально и семантически. Разнообразная конкретная семантика этих двух форм, как и разных конкретных живых продолжений праслав. **sěra*, совершенно непротиворечиво укладывается в общее первоначальное значение исходного **sěr-* 'течь, жидкость, маслянистая, жирная жидкость'. Однако ввиду исключительной сложности случая важно показать там, где это осуществимо, диахроническую иерархию разных значений слова **sěra*. О наличии такой иерархии, о различной степени древности разных значений этого слова мы уже коротко упоминали выше. На этом целесообразно задержаться специально, поскольку эти факты интересны и для языкознания, этимологии, и для культурной истории. Мы можем утверждать, что значение 'смола' развилось вторично из значения 'жир (на шерсти овец)', а значение 'сера, sulfur' производно от значения 'смола' или вместе с последним восходит к значению 'жир'. Не настаивая на универсализации этих семантико-этимологических наблюдении, мы вместе с тем укажем, что они распространяются, помимо семейства **sěra*, еще на ряд этимологически неродственных примеров.

В греческом жиропот овец, жир с грязью на нестриженой овечьей волне носил названия οἴσπη f., οἰσπώτη f., οἰσύπη f., οἴσυπος m.[78]. Интересно отметить, что в форме τὸ οἰσύπον n. это слово обозначало ладан, как о том свидетельствует Плиний[79]. Этимологически οἰσύπον, οἰσύπη может быть связано только с названием овцы и производится из *ὀϝι-σύπη[80], что говорит в пользу безус-

[76] БСЭ². Т. 26. С. 610.

[77] Там же. Т. 27. С. 489.

[78] *H. G. Liddell, R. Scott.* A Greek-English lexicon / A new ed. Vol. II. Oxford [б. г.] P. 1210.

[79] Там же.

[80] *Hj. Frisk.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 14. Heidelberg, 1963. S. 370.

ловной первичности значения 'жир на шерсти овцы' и вторичности значения 'ладан'. Кстати, о ладане: «*Ладан* или *ладон* — два вида смол: I) *ладан обыкновенный* — Olibanum, представляет высушенный сок многих растений семейства Burseraceae (Boswellia Carterii, Boswellia serrata и др.), растущих в Восточной Африке, в земле Сомали и пр. ... Отборный ладан представляет круглые или продолговатые куски, подобные каплям, светло-желтые или розоватые, с восковым блеском; сверху они обыкновенно покрыты пылью от трения друг о друга, обладают приятным бальзамным запахом и бальзамным горьким, острым вкусом; при растирании обращается в порошок белого цвета. Простой сорт представляет менее чистые, более крупные и темные куски. Ладан при растирании с водой образует эмульсию, при нагревании размягчается, не плавясь и распространяя при этом сильный приятный, бальзамический запах, при дальнейшем нагревании загорается и горит сильно коптящим пламенем. Состав: 1) камедь, около 30%, 2) смола — 56%... 3) эфирное масло... 4) горькие вещества, минералы и пр. Употребляется ладан, главным образом, для воскуривания при религиозных обрядах и в медицине при изготовлении некоторых пластырей, зубных паст, эликсиров... II) *Ладан росный* — Benzoë, получается из надрезов коры растущего на о-вах Суматра, Ява и Борнео, а также в Сиаме невысокого дерева Styrax Benzoin (семейство Styraceae)... Сиамский росный ладан (в слезках) представляет светлые желтовато-розовые плоские куски от 1 до 5 *см* длиною, при 5—8 *мм* толщины, очень хрупкие, чрезвычайно приятного... запаха... При 75—90° Цельсия плавится, образуя прозрачную, бесцветную жидкость... Суматрский росный ладан, Benzoë Sumatra, представляет похожую на мрамор серо-бурую, хрупкую, блестящую массу, в которую вкраплены молочно-белые зерна, наподобие миндалин... Состав: 1) бензойная кислота... 2) коричная кислота... 3) бензиловый эфир... 4) коричный эфир... 5) стирол... 6) ванилин 7) смола, до 80%... 8) минеральные и посторонние вещи, немного... Употребляется росный ладан, благодаря своему приятному запаху, в медицине и парфюмерии...» [81].

Значит, переход значений 'жиропот овец' > 'смолистое вещество' может считаться документированным. Как формировались термины для обозначения серы в разных языках? Индоевропейские языки знают некоторые довольно древние по своему образованию названия серы. Таковы в германском готск. *swibls*, др.-в.-нем. *swëbal*, совр. нем. *Schwefel*, англосакс. *swefl*. В латинском сера называлась с древнего времени *sulpur*, в другом древнем италийском диалекте — сабинском — сера носила особое название *nar*, ср. и тождественный гидроним *Nar*, там же [82]. Обратимся к этимологии этих синонимов.

---

[81] Новый энциклопедический словарь Акционерного Общества Брокгауз—Ефрон. Т. 23. Пг. [б. г.]. Стб. 883—884.

[82] *O. Schrader*. Указ. соч. S. 745.

В словаре Покорного на базе германских и латинского слов реконструируется и.-е. **suelplo-s* 'сера'[83]. При этом говорится (очень кратко) о народно-этимологическом влиянии на эту форму со стороны основы **suel-* 2 'палить, жечь'. Оставаясь последовательными и снимая это вторичное наслоение, мы получим первоначальное **slp-l-o-s*, которое лежит в основе германского и латинского слов для серы. Нам кажется очевидным родство и даже тождество реконструированного и.-е. **slplo-s* и др.-инд. *sr̥prá-* 'смазанный маслом', а также далее — др.-инд. *sarpís-* ср. 'коровье масло, топленый жир', греч. ἔλπος ἔλαιον, στέαρ (Гесихий), алб. *gjalp* 'коровье масло', др.-в.-нем. *salba*, совр. нем. *Salbe* 'мазь', тохар. А *sälyp*, тохар. В *ṣalype* 'жир, масло', которые все объединяются вокруг и.-е. **selp-* 'жир, масло'. Менее ясно этимологически сабин. *nar* 'сера', однако и здесь бросается в глаза возможность явной корневой этимологической связи с основой **ner-*, выступающей в ряде старых европейских названий проточных вод, рек. Покорный приводит гидронимы др.-прусск. *Narus*, лит. *Nār-upė*, иллирийск. Νάρων, рус. *Неретва*, далее — апеллативные лексемы лит. *nérti*, ст.-слав. **нырѭ, нырѣти**[84]. В основе всех этих слов лежит, конечно, идея жидкости (и погружения в жидкость). Отсутствующее в данном перечне речное название *Nar* из Древней Италии Шрадер связывал с сабин. *nar* 'сера', объясняя гидроним как название сернистой воды, реки, но, вероятно, связь была обратной — 'сера' < 'жидкость', подобно тому как слав. *sěra* 'sulfur' < '(маслянистая) жидкость' и и.-е. **sl̥plo-s* 'сера' < 'жирный, маслянистый'.

На вычленение значения 'сера' из более широкого древнего 'смолистая, жирная жидкость' указывают самые различные факты: данные языка, старые представления, наконец, научные сведения по технологии добывания и по химии серы. Так, в церковнославянских текстах **сѣра** выступает, помимо значения 'θεῖον, sulfur, сера', также в значении 'ἄσφαλτος, bitumen', т. е. 'горная смола'. По данным словаря Линде, старинные польские сочинения XVIII в. о полезных ископаемых характеризуют серу как «жирную земную смолу» (см. выше). Донаучные представления, отразившиеся на формировании народной терминологии, находят объяснение и оправдание также с позиции современных научных сведений о сере. Из специальных исследований мы узнаем, что «обычно осадочные месторождения серы имеют пластовую или линзообразно-пластовую форму, располагаясь вблизи месторождений нефти или скоплений каких-либо битумов»[85]. Ср. также далее: «Сера встречается в природе

[83] *Pokorny*. I. S. 1046.

[84] Там же. S. 765—766. Сабинского названия серы Покорный в этой связи не упоминает.

[85] *М. А. Менковский*. Природная сера. М.; Л., 1949. С. 10.

в соединении с другими химическими элементами, а также в чистом виде. Сера отличается резко выраженным полиморфизмом. Однако у всех разновидностей серы в условиях земной коры... устойчивой формой является α-сера... Цвет α-серы обычно соломенно-желтый, но в зависимости от примесей (чаще всего битумов) изменяется до желто-бурого, коричневого и почти черного»[86].

Таков путь, проделанный словом *sěra* к значению 'sulfur' в различных живых славянских языках. Это последнее значение выделилось и определилось, в общем, достаточно четко, несмотря на наличие и здесь (как и в плане химических реалий) разного рода более древних «примесей», уводящих исследователя к истокам формирования значения и термина. В новых условиях носители живого языка, при их естественном незнании истории развития слов и их значений, могут неизбежно представлять себе соотношение отдельных значений совсем иначе. При этом может сказываться доминирующая роль вторичного значения 'сера, sulfur'. Возможно, таким примером служит рус. *сера* 'жирное густое вещество желтого цвета, образующееся в ушной раковине'. В ушной сере присутствует и сера химическая (sulfur), подобно тому как она присутствует в о в с е м ж и в о м о р г а н и з м е и его выделениях, в частности в слюне, желудочном соке, молоке, моче. Можно ли считать, что ушная сера, или ушная пробка, куда входят, помимо органической серы, также выделения потовых и сальных желез[87], называется серой потому, что заключает в себе вещество sulfur? — Очевидно, нет. В случае с ушной серой перед нами предстает снова реликт древнего значения и употребления слова сера вообще — 'жирная, маслянистая жидкость'. Элементы этого исходного празначения сохраняют и польск. *siara* 'молозиво, первое молоко после отела, после родов' и приводимое Далем рус. *серянка* 'первый поток смолы', что сближает их с лат. *serum* 'сыворотка'.

Сравнение **sěra* : *serum* интересовало нас до сих пор, главным образом, в плане семантическом и фонетическом. Мы не считаем, что нам удалось добиться полной ясности в названных планах; в частности, не совсем ясна функция долготы славянского корневого гласного, хотя самый факт наличия продления корневого вокализма в славянском не вызывает особого удивления, поскольку аналогии здесь известны. Более перспективно изучение морфологической сущности отношений слав. **sěra* и лат. *serum*. Ведь совершенно очевидно, что славянская форма соответствует, строго говоря, не лат. *serum*, а его множественному числу — лат. **sera*. Лишь в этом последнем

[86] Там же. С. 29.

[87] Ср. БСЭ. Т. 38. 1955. С. 535 след.; Ухо // БМЭ. Т. 29. Кратко изложенными здесь сведениями о сере в организме я обязан своему отцу — врачу Н. М. Трубачеву.

случае тождество будет практически полным (слав. **sěra* = лат. **sera*), с той существенной оговоркой, что члены этой пары различаются по грамматической функции, так как это есть тождество славянской формы единственного числа и латинской формы множественного числа. При этом со славянской стороны представлено единственное число женского рода, а с латинской стороны — множественное число среднего рода. Казалось, можно было бы уже считать, что этимологическое содержание случая *sěra* : *serum* исчерпано, а их различия, в частности слав. *-a* : лат. *-um*, сводятся к незначительным моментам формообразования, которыми можно пренебречь как несущественными. Но внимательное изучение убедительно показывает, что и в этом примере, как и во многих других, второстепенные детали формы сохраняют подчас память о принципиально важных отношениях. Во всяком случае, пример отношений слав. **sěra* : лат. *serum*, как нам кажется, наглядно показывает недопустимость поспешных выводов, а заодно демонстрирует и всю сложность проблемы.

Собственно говоря, придя к определению тождества слав. **sěra*, ед. ч. ж. р. = лат. **sera*, мн. ч. ср. р., мы фактически тем самым назвали интересующую нас проблему сравнительной морфологии. Ее содержание отнюдь не исчерпывается этой парой слов, как увидим далее, хотя здесь оно наблюдается наиболее четко, а сам пример изучается нами достаточно подробно, почему представилось удобным поместить его в центре исследования затронутой проблемы. Существительное женского рода **sěra* фигурирует в славянском как непроизводная форма, исходная, основная для разных словоизменительных, морфологических форм этого слова. В этом смысле положение имени **sěra* среди прочих основ на *-a* в славянском вполне типично. Увидеть изначальность такого состояния позволяют лишь внешние данные, в первую очередь — родственная латинская форма. Вторичность, производность лат. **sera* (форма множественного числа от существительного среднего рода *serum*) показывает, что положение в славянском — это результат эволюции каких-то более древних отношений.

Мы уже заметили выше, что слав. **sěra* представляет собой типичную славянскую основу на *-a*. Значит, вопрос об оформлении конца основы **sěra* нельзя решить в отрыве от судьбы других славянских *-a*-основ. Обратимся к литературе по сравнительной грамматике славянских языков. Миклошич, собравший в первом капитальном труде по этой области языкознания огромный фактический материал о славянских именных основах и суффиксальных типах имен, об именной флексии [88], к сожалению, еще не ставит вопроса о гене-

[88] *F. Miklosich.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. 2. Bd. Stammbildungslehre. Wien, 1875; 3. Bd. Wortbildungslehre. Zweite Ausgabe. Wien, 1876.

зисе славянских именных основ на индоевропейском фоне. Практически ничего по интересующему нас здесь вопросу мы не находим и у Вондрака, который, говоря об образовании именных основ, выделяет, в частности, основы на *-a* в виде раздела «Суффикс *-a*», где речь идет о праязыковом *-ā*, часто служившем приметой женского рода (в противоположность мужскому, сконцентрировавшему свои образования вокруг типа на *-o*)[89]. Вондрак уделяет, далее, внимание корневому аблауту имен на *-a* в их отношении к другим типам именных основ, а также к глагольным основам. Несколько больше дает «Праславянская грамматика» Ильинского, ср. в ней специальный параграф 244 «Трансформация корней-основ», где автор пишет: «Весьма значительное число корней-основ превратилось в основы на *-a-*: *jucha* < иде. **i̯ōus-*, ср. лат. *jus*, др.-инд. *yūš*; **serda* < иде. * *k̂r̥d-*, ср. лат. *cor*...; *noga* < иде. **nogh-*, ср. греч. ὄνυξ..., лат. *unguis*; *voda* < иде. **u̯odōr/n-*...»[90]. Далее, там же, в гл. XLV («Основы на *-ā-*, *-iā-* и *-i-*») упоминается, помимо возможности происхождения конечного *-ā* из расширения корней-основ (см. выше), еще следующее: «Весьма многочисленный в праславянском языке класс имен на *-ā-* состоит, главным образом, из потомков индоевропейских односложных и двусложных баз на *-ā*. Так, например, *tьma* возникла из базы **temā-*, *sova*, — из **k̂eu̯ā-* 'кричать', *korā* — из **kerā-* 'резать' и т. д.». Мы не собираемся здесь обсуждать одинаково подробно все мысли Ильинского насчет происхождения славянских *-a*-основ, но нельзя не отметить как положительный факт, что у него имеются вполне осознанное стремление выяснить индоевропейские истоки этого типа славянских именных основ и собственная теория о происхождении отдельных групп имен на *-a* в славянском. Мейе также обращает внимание на то, что, например, от корневого атематического и.-е. **k̂erd-* произошло, с одной стороны, производное ст.-слав. **срьдьце**, а с другой стороны — ст.-слав. **срѣда**, правда, он никак не комментирует этот последний случай. Говоря об именном суффиксе *-ā-* как формативе женского рода, Мейе отмечает значение этого суффикса для образования производных от существующих имен, главным образом для образования прилагательных. В соответствующем разделе своей известной книги об общеславянском языке Мейе выделяет, по сути дела, два существенных эпизода в истории *-ā*-основ в славянском и индоевропейском: отмеченное уже на примере **срѣда** распространение с помощью *-ā-* старых нетематических корневых имен, куда он еще относит ст.-слав. **вода** и **тьма** (см. иначе о последнем Ильинский, выше), и перевод *o*-основ женского рода в *-a*-основы, ср. и.-е. **snuso-* > **снъха**, и.-е. **bherəĝo-* > **berza*[91].

[89] *W. Vondrák*. Vergleichende slavische Grammatik. I. Bd. Lautlehre und Stammbildungslehre. Göttingen, 1906. S. 398 ff.

[90] *Г. А. Ильинский*. Праславянская грамматика. С. 306, 349 след.

[91] *А. Мейе*. Общеславянский язык. М., 1951. С. 273, 276, 278.

Вайян, обратившийся к этому вопросу позже Мейе, ограничивается лишь несколькими словами по этому поводу: «Тип на *-ā-* представляет собой суффиксальный тип, который служил для характеристики женского рода в отношении основ на *-o-* и который, с другой стороны, давал именительный-винительный падеж множественного числа среднего рода на *-o…*»[92]. Характеристика, даваемая Вайяном, охватывает основные интересующие нас здесь категории (женский род на *-a* и множественное число среднего рода на *-a*), но подобное статическое перечисление едва ли может дать правильную идею о связи форм. Нахтигал ничего не говорит о генезисе славянского типа на *-a*, а подбор примеров у него ограничивается случаями совпадения *-ā*-основ женского (и мужского) рода в славянском и других индоевропейских вроде слав. *mьgla* : греч. ὀμίχλη и др.[93]. В посмертно опубликованной последней части «Праславянской грамматики» Микколы проводится не вполне явствующее из материала разграничение *-ā*-основ на первичные и вторичные, причем к первичным *-ā*-основам отнесены слав. *voda*, *žena*, *struga* 'струя', *sluga*, а ко вторичным — *snъxa*, **voldyka*, **orkyta*[94].

Итак, резюмируя современное состояние вопроса в славистической науке, мы можем сказать, что тип основ на *-a*, кроме большого числа собственно славянских новообразований, которые, так сказать, не имеют индоевропейского прошлого и в которых мы имеем дело со вторичной, местной продуктивностью типа на *-a*, включает также некоторое количество дославянских, индоевропейских именных образований на *-a*. Часть последних составляют случаи, грамматическая характеристика которых практически не подверглась изменению: и.-е. **mĭghlā*, ед. ч. ж. р. > греч. ὀμίχλη, слав. *mьgla*, ед. ч. ж. р. В то же время существует еще некоторое количество случаев, уточнением или инвентаризацией которых славистика как будто специально не занималась и относительно которых известно, что они представляют собой расширение более древних нетематических корней-основ или получены в результате перехода более древних основ другого типа в *-ā*-основы. Само собой понятно, что такие квалификации, как «расширение», «переход», «перевод», еще ничего не объясняют и прежде всего не отвечают на вопрос, п о ч е м у и.-е. **serom* отразилось в виде слав. **sěra*, а и.-е. **k̑erd-* перешло в слав. **serda*.

Между тем в сравнительной индоевропеистике уже давно была предпринята серьезная попытка выяснить интересующие нас отношения, поэтому стоит пожалеть, что ее результаты не нашли должного отклика в сравнитель-

---

[92] *A. Vaillant.* Grammaire comparée des langues slaves. T. II. Morphologie. Première partie: flexion nominale. Lyon; Paris, 1958. P. 79.

[93] *R. Nahtigal.* Slovanski jeziki. 2 izd. Ljubljana, 1952. S. 50 след.

[94] *J. J. Mikkola.* Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen. III. Teil. Formenlehre. Heidelberg, 1950. S. 32.

ной грамматике славянских языков. В 1889 г. знаменитый индоевропеист И. Шмидт опубликовал монографию об образованиях множественного числа индоевропейских имен среднего рода[95]. Эта книга практически полностью сохраняет свое научное значение и сейчас, немногим менее ста лет после ее издания. И сейчас труд Шмидта может быть рекомендован для самого тщательного изучения каждому, кто интересуется индоевропейской предысторией соответствующего формообразования в славянском. К тому же в книге собрано и осмыслено немало славянских примеров, что делает ее также источником для исследования проблемы в чисто славистическом плане, особенно если принять во внимание состояние вопроса в славистической литературе и несобранность славянского материала. По этим причинам нам кажется полезным изложить важнейшие мысли автора и привести наиболее интересные выдержки из упомянутой книги.

Указывая на такую древнюю особенность ряда индоевропейских языков, как согласование именительного падежа множественного числа среднего рода в качестве подлежащего с глагольным сказуемым в форме единственного числа (греческое правило τὰ ζῶα τρέχει и сходные явления в индо-иранских языках), Шмидт обратил внимание на то, что причина явления коренится не в особых представлениях или понятиях, а исключительно в форме слов. «Причина наличия сказуемого в единственном числе должна быть в образовании множественного числа среднего рода, т. е. именительный падеж множественного числа имен среднего рода должен быть собирательным существительным единственного числа, тогда как именительные падежи множественного числа мужского и женского рода представляют собой подлинные флексионные плюрали»[96]. «Благодаря этому формы множественного числа среднего рода, в противоположность аналогичным формам двух остальных родов, определяются как собирательные имена единственного числа, восходящие к праязыку»[97]. «В ранний, недоступный для нас период индоевропейского праязыка дело обстояло так же, как в примере лат. *acina*, мн. ч. от *acinus*, которое фактически выступает во флексии единственного числа в аблативе *ebriosa acina ebriosioris* у Катулла... *acina*, *loca* были первоначально собирательными формами единственного числа по отношению к *acinus*, *locus*, подобно тому как *terra* 'земля' является собирательным в отношении к оск. *terúm* 'огороженный участок земли'... *opera*, *-ae* — собир. к *opus*... ст.-слав. **слама** ж. 'солома' — собир. к лтш. *salms* 'соломинка', нем. *Halm*, лат. *culmus*, греч. κάλμος; санскр. *híma*, ст.-слав. **зима**, лит. *žiemà* 'зима' — со-

---

[95] *J. Schmidt.* Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889.
[96] *J. Schmidt.* Die Pluralbildungen... S. 2.
[97] Там же. S. 5.

бир. к санскр. *himá-s* 'холод'...»[98]. «Для происхождения форм именительного падежа множественного числа среднего рода на *-ā* из собирательных существительных женского рода единственного числа важно еще одно обстоятельство. Слова неоднократно выступают одновременно как имена среднего рода и как имена женского рода, частично таким образом, что оба рода представлены в одном языке, частично — так, что в одном языке — один род, в другом — другой... вед. *tána-m* и *tánā* ж. 'потомство'; *vána-m* 'дерево, лес' и *vánā* 'палочка для добывания огня трением'...»[99]. «Романские языки превратили многие латинские имена среднего рода в имена женского рода, восприняв латинское множественное число как женский род на *-a*, в чем сказалось исключительно заблуждение, вызванное внешним видом, например ит. *la foglia* 'лист' и т. п. ... С другой стороны, нельзя сомневаться в том, что φρᾱ́τρᾱ — это та же самая форма, которая в санскрите имеет значение множественного числа к *bhratrám* и т. д. ... Таким образом, в образовании именительного-винительного пп. множественного числа среднего рода должна заключаться причина, побуждавшая одну и ту же форму выступать в одном случае как множественное число среднего рода, а в другом случае — как единственное число женского рода без заметного различия в значении»[100].

И. Шмидт подробно разбирает типы образований множественного числа от разных индоевропейских основ среднего рода. Опуская здесь то, что прямо не относится к нашему предмету, выделим лишь следующее. Согласно Шмидту, к тематическим основам среднего рода на *-o-*, *-i-*, *-u-* при образовании форм множественного числа присоединялся суффикс *-a*, что давало в случае с *-o*-основами *-ā* долгое[101]. Так протекало формообразование в основах среднего рода на тематический гласный («Erste Pluralbildung»). Нетематические индоевропейские именные основы среднего рода на согласный также в ряде примеров обнаруживают расширение *-ā* при образовании множественного числа, хотя регулярным было лишь удлинение последнего гласного основы во множественном числе («Zweite Pluralbildung»). Вот примеры Шмидта, показывающие *-ā*-суффиксацию множественного числа консонантных основ среднего рода: санскр. *yū́ṣ* — лат. *jūs* — ст.-слав. юха, готск. *jēr* — ст.-слав. ꙗра 'весна'; санскр. *hṛd-*, авест. абл. ед. *zeredā*, греч. χῆρ, др.-прусск. *seyr*, лат. *cord-* — ст.-слав. срѣда 'середина' < **serda*. «Все эти основы, расширенные с помощью *-ā*, трактуются как имена женского рода. Мена рода не мотивируется никаким ощутимым изменением значения»[102].

---

[98] Там же. S. 9—10.
[99] Там же. S. 21.
[100] Там же. S. 22.
[101] Там же. S. 38.
[102] Там же. S. 117.

Мы подходим к конечной цели настоящего раздела статьи. Оставляя в стороне примеры, обладающие полным внешним подобием описанным, но объясняемые как-либо иначе (ср. рус. *межа*, праслав. **medja*, ед. ч. ж. р., при др.-прусск. *median*, ср. р., где можно видеть независимые рефлексы разных родовых форм прилагательного, ср. лат. *medius*, *-a*, *-um*), назовем, нисколько не претендуя на полноту перечня, ряд славянских именных *-a*-основ женского рода, соотносимых с индоевропейскими именами среднего рода. При этом мы частично пополняем сведения о славянских данных, которыми располагал Шмидт, отмечая, какие именно формы уже были им охарактеризованы в описанном смысле: праслав. **spina* (рус. *спина* и родств.), ж. р. ед. ч. — лат. *spinum*, ср. р.; болг. *кола́* 'телега, повозка', ж. р. ед. ч. — праслав. **kolo*, ср. р.; болг. *врата́* 'дверь', ж. р. ед. ч. — др.-прусск. *warto*, ср. р. (И. Шмидт, с. 38, соотносит балтийское слово только со ст.-слав. **врата**, pl. tant.); ст.-слав. **слама**, ж. р. ед. ч. — нем. *Halm*, лат. *culmus* (см. выше, И. Шмидт); ст.-слав. **зима**, ж. р. ед. ч. — санскр. *himá-s* (И. Шмидт, см. выше); ст.-слав. **юха**, ж. р. ед. ч. — санскр. *yū́ṣ* (И. Шмидт, см. выше); ст.-слав. **ꙗра**, ж. р. ед. ч. — готск. *jēr* (см. выше); ст.-слав. **срѣда**, ж. р. ед. ч. — и.-е. **k̂erd-* (см. выше); ст.-слав. **ѫза**, ж. р. ед. ч. — лат. *angōs*, санскр. *áṁhas* (И. Шмидт. С. 143); ст.-слав. **слава**, ж. р. ед. ч. — **слово**, греч. κλέος, др.-инд. *śrávas* (И. Шмидт, там же); наконец, праслав. **sěra*, ж. р. ед. ч. — лат. *serum*, ср. р.

Понятно, что словообразовательный аффикс *-ā* сам по себе старше, чем регулярное закрепление его за определенной морфологической категорией (грамматикализация, морфологизация элементов словообразования — одна из важных универсалий языка, с чем постоянно приходится считаться сравнительной грамматике). Тем не менее в слав. **sěra* и аналогичных примерах мотивация приращения этого аффикса наилучшим образом объясняется при сравнении славянской *-a*-основы с более древней родственной основой на *-o-*, на согласный, главным образом среднего рода, к которой основа на *-a* относилась первоначально как множественное число к единственному. Наличие тенденции вторичной сингуляризации древней формы множественного числа на *-ā* доказывается сравнительно молодыми примерами, где эта тенденция проявилась уже в течение диалектной эволюции внутри славянского, ср. болг. *кола́*, *врата́* (выше). Таким образом, мы можем говорить об этимологически плюральных основах на *-a* как об одном из источников славянских имен женского рода на *-a*. Сравнение лат. *serum* и слав. **sěra* пополняет тем самым материал по проблеме neutrum pluralis = femininum singularis в индоевропейском и славянском.

III

Темой настоящей, последней заметки является словообразование, или, если так можно выразиться, сравнительное словообразование, связь которого со сравнительной грамматикой и с этимологией не нуждается в доказательстве. Нижеследующие наблюдения относятся исключительно к лексике полабского языка, которая в ряде примеров рассматривается в сравнении с другими славянскими. Эти наблюдения оформились в ходе работы по отбору и праславянской реконструкции полабской лексики для подготавливаемого «Этимологического словаря славянских языков».

Несколько слов об источниках. Основным нашим источником во время упомянутой работы был новый «Полабско-английский словарь» К. Полянского и Дж. Сенерта [103], обладающий преимуществами наиболее полного собрания дошедшей до нас лексики вымершего полабского языка. Этот словарь уже известен нашей лингвистической научной общественности, в советских лингвистических изданиях опубликованы рецензии на него [104]. Кроме того, был, естественно, использован монографический труд П. Роста [105], до сих пор остающийся благодаря своим высоким научным качествам важным подспорьем при исследовании полабского языка в целом.

Итогом отбора праславянского слоя полабского языка (причем остались в стороне многочисленные местные относительно поздние заимствования из нижненемецкого языка) явилась словарная картотека, насчитывающая около 1500 слов. Мы не рассчитывали в относительно небольшой заметке ознакомить читателя с полным списком вероятных праславянских лексем полабского словарного состава. Здесь достаточно будет сказать, что значительная часть этих реконструкций оказывается тождественной соответствующим формам других славянских языков. Описывать этот компонент полабского словаря также не имеет здесь смысла, поскольку мы не сможем указать среди этих образований практически почти ничего специфически полабского, что нас сейчас в первую очередь интересует. Опуская перечень нехарактерных, с точки зрения полабского языкового своеобразия, лексем, которые играют роль более или менее однородного фона, мы в дальнейшем останавливаемся только на том, что в каком-либо отношении (этимология корня, характер основы, суффиксация, тип сложения, семантика) выделяется на упомянутом

---

[103] *K. Polański, J. A. Sehnert.* Polabian-English dictionary. The Hague; Paris, 1967.

[104] *А. Е. Супрун.* Новый полабский словарь // Сов. славяноведение. 1967. № 6. С. 90—92; *О. Н. Трубачев* [Рец. на кн:] *K. Polański and J. A. Sehnert…* // Этимология. 1967. М., 1969. С. 327 след.

[105] *P. Rost.* Die Sprachreste der Draväno-Polaben im Hannöverschen. Leipzig, 1907.

праславянском однородном фоне, который, практически не варьируя, представлен в каждом из остальных славянских языков. Это означает, что в своих наблюдениях по полабской этимологии и словообразованию мы будем говорить о праславянских лексических диалектизмах полабского. Последних не так много, но этого и следовало ожидать, поскольку мы имеем в своем распоряжении лишь остатки языка. Тем не менее в этих остатках заключено немало поучительного с точки зрения праславянской лексической реконструкции и в плане общей языковой эволюции славянского. Полный перечень оригинальных полабских образований на уровне праславянской реконструкции будет дан в конце. Как увидим, отклонения полабского от праславянского однородного фона носят, главным образом, словообразовательный характер. Словообразовательными, словоформительными по существу являются и те случаи, где на помощь должна прийти этимология. Мы начнем именно с этих последних, так как их меньшинство.

Полаб. *jeseråi* им.-вин. мн. 'ость колоса' отражает более древнее **jesery*[106], форма plurale tantum, соответствия которой из других славянских языков нам практически неизвестны (о польск. *jesiora* см. специально ниже). Предприняв некоторые уточнения в реконструированной форме, мы получим **esery* мн., по всей вероятности, — древнее слово, местный лексический диалектизм праславянского времени (начальное *j-* мы расцениваем как протезу, вторичное наращение в условиях фразовой фонетики славянского). Утверждение о древности описанного слова **esery* и его значения 'ость колоса' мы основываем на его исключительной близости и родстве с нем. *Ähre* 'колос', др.-в.-нем. *ahira*. Немецкое слово продолжает и.-е. **ak̑erā*, к которому вполне закономерно может быть возведено и праслав. **osera* / **esera*, представленное в более ограниченной грамматически форме **esery*, мн. (полаб. *jeseråi*). Замечательна также семантическая близость немецкого и полабского слов, к тому же важно, что это близость исконного родства, а не обычного заимствования. Тождество нем. *Ähre* и полаб. *jeseråi* настолько очевидно, что не требует специального этимологического обоснования. Со стороны славянского, полабская форма тоже может трактоваться как прозрачная в словообразовательном отношении: реконструируемое праслав. **esera* < **osera* представляет собой расширение основы **os-*, представленной в славянских именах **ostь*, **osъtъ*, обозначающих ость колоса, колючие сорняки и рыбью кость, а также в древнем прилагательном слав. **ostrъ* 'острый' (с индоевропейским расширением *-r-*). Значение 'рыбья кость' выступает также у такого производного от упомянутой основы, как польск. *jesiora* 'рыбья кость', обычно — во множественном числе — *jesiory*, которое зафиксировано, точнее говоря, в кашуб-

[106] *Polański—Sehnert*. P. 74.

ско-словинских диалектах, а не в континентально-польских говорах. На тождество формы этого слова и отмеченного выше полабского обратили внимание давно [107], но значение кашубско-словинской формы уводило мысль исследователей исключительно в сторону «рыбьих» терминов: в качестве ближайшего индоевропейского соответствия называлось только лит. *ešerỹs*, *ašerỹs* 'окунь' [108], как видим, — с самостоятельным развитием особого значения.

Полаб. *lekănaićă* ж. толкуется в полабских текстах с помощью немецких эквивалентов *Hüner-Geyer*, *Hüner-Habicht*, *Weihe*, *Küchen Weihe* [109]. Предпринимаемая для этого слова праполабская реконструкция **lekanica* у Полянского—Сенерта этимологически явно недостаточна. Как будто очевидно, что в этом слове представлено в разрушенном виде сложение, вторым компонентом которого служит *-kanica*, форма, производная от слав. **kan'a*, ср. польск. *kania* 'коршун', как последнее видел уже Рост [110]. Этот ученый, правда, смотрел на полабское слово скорее как на искусственное образование на базе упомянутого древнего славянского названия коршуна **kan'a*. С нашей точки зрения, полаб. *lekănaićă* (подлинные написания в текстах см. у Роста) продолжает праполабское сложное слово **pilekanica*, где реконструируемый первый компонент **pile-* (с последующей апокопой первого слога *pi-*) соответствует засвидетельствованному полаб. *pailą* (в транскрипции Полянского—Сенерта) 'утенок, гусенок'. Тогда праполабское сложение **pile-kanica* точно осмысляется как 'коршун-цыплятник', и вместе с тем становится видна его первоначальная функция — кальки немецкого названия вроде одного из его эквивалентов в полабских памятниках — *Kücken Weihe*. Калька осуществлена уже в собственно полабский период развития, и слово тем самым не имеет отношения к праславянскому.

Полаб. *pąpil* m. 'овод, шмель' Полянский и Сенерт производят из более древней формы **pępelь* [111]; Рост, приводящий также все фактические написания слова в полабских текстах, толкует его из первоначального корня *pąp-*, ср. в.-луж. *pumplička* 'eine Art Schlupfwespe', *pumpotać* 'brummseln' [112]. Из этого можно заключить, что Рост предполагает здесь местное ономатопоэтическое происхождение. Звукоподражательные мотивы при обозначении, в частности, шмеля, как мы знаем, не исключены, но некоторый материал позволяет искать здесь иную, пожалуй, даже более прозрачную и очевидную этимологию с четким словообразовательным принципом, который, заметим,

[107] *Sławski*. I. S. 565 (с литературой).
[108] *Sławski*. I. S. 565; *Fraenkel*. I. S. 125.
[109] *Polański—Sehnert*. P. 88.
[110] *P. Rost*. Указ. соч.. S. 168. Примеч. 23.
[111] *Polański—Sehnert*. P. 108.
[112] *P. Rost*. Указ. соч. S. 73. Примеч. 6. S. 406.

отсутствует в этимологии Роста — *pąpil* < *pąp-* (*-il* отсекается без специальной аргументации).

Реконструированную праполабскую форму названия овода и шмеля **pępelь* мы объясняем как результат вторичной диссимиляции из *-pelpelь*. Последнее образование представляет собой полную редупликацию корня, причем эта редуплицированная праславянская основа выступает в разных славянских языках прежде всего в роли названий птицы, также подвергнутых разного рода диссимиляциям, но довольно легко сводимых к древнему **pelpelъka*, **pelpelica*. Специфика полабского слова проявилась в оригинальной эволюции формы (особый результат диссимиляции) и в оригинальном развитии значения ('овод', 'шмель'). Говоря об оригинальной диссимиляции в полаб. *pąpil* (< **pępelь* < **pelpel-*), нельзя не вспомнить очень близкие формальные аналогии балтийского, прежде всего — др.-прусск. *penpalo* 'перепел' < **pelpalo*, при лит. *píepalas* [113]. Этим, наверное, не исчерпываются следы праформы **pępel-* < **pelpel-* в славянских диалектах к югу от Балтийского моря. В связи с этим наше внимание привлекает, например, нижненемецкое слово *Pampanischke* 'Coccinella septempunctata, божья коровка', еще не получившее окончательного объяснения. Исследователь кашубско-словинских и прочих славянских диалектов балтийского Поморья Ф. Хинце признает: «*Pampanischke* ist am unklarsten» [114]. Автор допускает происхождение этого названия божьей коровки из искажения славянского названия *panevečka* — то же или *p*^{u}*óṕelečka* с тем же значением в немецкой языковой среде. Возможно, однако, что мы и здесь имеем перед собой местное славянское продолжение, реликт древнего **pępelь*, претерпевшего преобразования и словопроизводные изменения.

Полаб. *prüst'au*, форма родительного падежа единственного числа мужского рода имени, которое соответствует в полабских текстах немецкому *Loderasche* 'пылающий жар, горящая зола' [115]. Полянский и Сенерт снабжают эту форму в своем словаре древней реконструкцией **prošьku*, смысл которой на праславянском или праполабском уровне неясен (если имеется в виду форма, близкая польск. *proszek* 'порошок', то ее древний вид был бы **poršьkъ*), что наводит на мысль о неточности или ошибке. По нашему мнению, форма косвенного падежа *prüst'au* отражает соответствующую падежную форму от праслав. **pryskъ*, продолжения которого известны в ряде сла-

---

[113] См.: *Fraenkel*. I. S. 586 (там же — литература).

[114] *F. Hinze*. Pomoranische Bezelchnungen des Marlenkäfers im hinterpommerschen Plattdeutsch // ZfS. IX. 1964. S. 351.

[115] *Polański—Sehnert*. P. 117. — В материалах Роста эту форму не удалось обнаружить.

вянских языков как раз в значении 'жар, горячая зола', ср. польск. *prysk* 'жар, горячая зола', рус. *прыск* 'жар угольный, порск, особенно в кузнечном горну' (Даль), укр. *прúсок* (род. *прúску*) 'горячая зола с огнем' (Гринченко). Дальнейшая этимологическая принадлежность этого праслав. о **pryskъ* к глагольному семейству **pryskati* / **bryzgati*, **pъrskati*, звукоподражательному по своему происхождению, не может ни у кого вызывать сомнения. Таким образом, в нашем случае с полаб. *prüst'au* речь идет не столько об этимологии, сколько об этимологической поправке к полабской лексикографии. Разумеется, мы отдаем себе отчет в особой сложности всех подобных вопросов для полабского, где этимология обязана действовать в тесном контакте с филологией и текстологией полабских письменных памятников. Полянский и Сенерт сочли необходимым транслитерировать слово как *prüst'au*, причем с помощью знака *ü* они обычно передают звук, восходящий к древнему *o*, тогда как рефлекс древнего *y* передается обычно (в средней позиции) как дифтонгическое сочетание. Нам трудно сейчас решить, какие обстоятельства сыграли в отмеченном нами отклонении решающую роль, но сравнение и этимология как будто подсказывают здесь наиболее верный вывод. Словообразовательная характеристика и мотивация при нашем объяснении также представляются наиболее полными.

Полаб. *t'ösör* m. 'крупа, Grütze' признается Полянским и Сенертом как слово неизвестного происхождения: «origin unknown» [116], ср. еще и прилагательное полаб. *t'ösărenā* 'крупяная' (там же). Вместе с тем авторы дают для полабского существительного реконструированную древнюю форму: **kosorь*. На этом слове стоит задержаться, потому что оно интересно в словообразовательном и этимологическом отношениях не только само по себе, но также и тем, что, будучи словом довольно изолированным, оно, как кажется, может пролить свет на некоторые формы, широко распространенные в славянских языках. Прежде всего надо напомнить, что уже давно было указано на несомненное родство полабского названия каши, крупы и слав. *kaša*, рус. *каша* и т. д.[117]. Для этого, правда, вовсе необязательно, как увидим далее, реконструировать для полаб. *t'ösör* праформу, максимально близкую к *kaša*, а именно **košorь*. Предварительное свидетельство о родстве слов **kaša* и **košorь* (в праславянской реконструкции) можно усматривать, между прочим, в том факте, что полабский, зная слово **kosorь* и обладая нужными контекстами для употребления названия каши и крупы в своих памятниках, не знает слова **kaša*. В остальных славянских языках положение примерно обратное. Теперь о форме **kosorь*. Основным барьером на пути к этимологии этого слова в по-

[116] *Polański—Sehnert*. P. 156.

[117] *B. Szydłowska-Ceglowa*. Zdobywanie i przygotowywanie żywności u Połabian // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. II. Warszawa, 1957. S. 420, 432.

лабском является его оригинальное значение 'крупа, каша'. Если отвлечься на некоторое время от этого конкретного лексического значения, то сразу бросается в глаза разительная близость праполаб. **kosorь* и таких слов, как ст.-слав. **косоръ**, болг. *ко́сер* 'кривой садовый нож', сербохорв. *кѐсӣр* 'садовый нож, тесак для рубки сучьев, прутьев', диал. *kosor*, др.-рус. *косоръ*, *косорь*, рус. *коса́рь*, *косы́рь*. Этимология и словообразование этого слова прозрачны: это производное от глагольной основы **kos*(*iti*) с суффиксами *-orъ*, *-orь*, *-erь*, *-arь*, *-yrь*, обозначающее орудие для рубки, измельчения. Близость структуры и общее сходство этих слов и праполаб. **kosorь* не случайны: мы считаем, что в последнем представлено этимологически и словообразовательно тождественное **kos-orь,* обозначающее на этот раз самый продукт измельчения. Такой принцип наименования, как знаем, положен и в основу других названий пшена, крупы в разных языках: слав. *krupa*, *pьšeno*, нем. *Grütze* и т. д. Крупа — это измельченное, порушенное зерно. Решив этим способом этимологию полаб. *t'ösör* (**kosorь*) и выявив ее ярко словообразовательный характер, мы должны вернуться к констатации родства **kosorь* и **kaša*, бегло высказанной выше. Эти оба слова действительно родственны, как справедливо отмечалось другими исследователями ранее, но признание их родства требует одновременно жесткого пересмотра всех известных этимологий слова **kaša*. Ясно, что форма **kosorь* может быть только производным с суффиксом *-orь* от глагольной основы **kos*(*iti*). Преимущественный, избирательный характер словообразовательной связи этого суффикса (или суффиксальной группы, см. выше) именно с этой ступенью корня **kes-* / **kos-* исключает всякую другую этимологию. Переходя к форме **kaša*, мы считаем возможным — в изменение своей прежней точки зрения об этимологии этого слова[118] — настаивать на родстве, словообразовательно-морфологической связи с **kos*(*iti*) также и для **kaša*. При этой связи вокализм и консонантизм формы **kaša* получают осмысление как функционально обусловленные особенности: продление корневого *-o-* в исходной глагольной основе **kos-*, знаменующее производный характер нового имени, и *j*-овый суффикс, служащий для той же цели: **kaša* < **kasja*[119]. Реально-семантическая мотивация уже упоминалась выше: крупа — это измельченное, порушенное зерно. Принципиальное различение между крупой и кашей из нее не было, видимо, обязательным, кашу обозначали названием для крупы, как это видно из со-

[118] См.: *О. Н. Трубачев.* Из истории названий каш в славянских языках // Slavia. Ročn. XXIX. 1960. S. 8.

[119] Слово *каша* увязывал с этимологически близким славянскому **kos*(*iti*) литовским *kasýti* 'скрести' еще Потебня (у Преображенского I. С. 302). Позднее эта точка зрения оспаривалась.

существования обоих значений — 'крупа' и 'каша' — у продолжений праслав. **kaša* в разных славянских языках. Естественно считать, что значение 'крупа, измельченное зерно' старше.

Полаб. *vrex* m. 'орех' считают возможным прямо увязывать с праславянской реконструкцией **orěxъ*[120], общей для всех прочих славянских форм. Между тем реальные написания в полабских текстах (*frīg*, *wrech*, *wrêch*, *wrochay*) и обычные отражения начального *o-* в полабском (передаваемые Ростом через *vüö-*, а в Словаре Полянского—Сенерта — через *vi-*) препятствуют безоговорочному сближению полабского названия ореха и формы **orěxъ*. Как увидим далее, число неясных словообразовательных моментов, связанных с этимологизацией славянского названия ореха в литературе, не ограничивается сказанным. Достаточно будет указать на разницу в анлаутах между слав. **orěxъ* (рус. *opéx* и родств.) и ближайшего к нему лит. *riešutas*, которая до сих пор остается необъясненной (имеющиеся в этимологических словарях и литературе глухие ссылки на заимствование данных слов как культурных терминов нельзя считать объяснением, тем более что перечисленные слова имеют все признаки народных славянских и балтийских названий, а вовсе не культурных терминов, под которыми надо понимать бродячие лексемы с широким, трудно ограничимым ареалом и стертыми признаками языкового происхождения). Отношение полаб. *vrex* и праслав. **orěxъ* мы трактуем как отношение одного приставочного образования к другому приставочному же образованию и вносим поправки в реконструкции, получая соответственно праполаб. **vъrěxъ* и праслав. **o(b)rěxъ* (для прочих славянских). Тогда делается понятным и отношение славянских форм к балтийским, в частности к лит. *riešutas*. Литовская форма не имеет префиксов, но зато обладает суффиксом, четко указывающим на ее производность (а не уменьшительность!). И в балтийском и в славянском название ореха получено путем словопроизводства от этимологически одной и той же основы, представленной в лит. *rìšti* 'связывать, развязывать' и в слав. **rěšiti* '(раз)вязать' (эти последние глаголы нельзя разрывать этимологически, несмотря на неясные моменты консонантизма). В лит. *riešutas* 'орех' суффиксальное словопроизводство с помощью *-utas* от глагольной основы абсолютно аналогично лит. *degùtas* 'смола, деготь' — от глагола *dègti* с суффиксом *-utas*. В славянском мы имеем почти повсеместно префиксальный тип **o(b)rěxъ* (с судьбой префикса, аналогичной случаю **o(b)rǫžьje*) и локально — также префиксальное полаб. *vrex* < **vъrěxъ*. Наша этимология — **obrěxъ*, **vъrěxъ* < **rěšiti* и *riešutas* : *rišti* основана на том непреложном факте реального плана, что эти названия оформились в первую очередь как обозначения лесного ореха, ле-

[120] *Polański—Sehnert*. P. 179.

щины (Corylus), а плоды этого последнего произрастают характерными связками, кучками, ср. у Даля: «...гранкой зовут также сросшиеся в кучку русские орехи, как родятся они на одном общем стебле». И в этом последнем примере этимологизация полабского слова (проясняющая, как видим, и некоторые общеславянские вопросы) принимает специфически словообразовательное направление. Есть основания полагать, что прочие сближения наших названий ореха, не приводимые здесь, но легко доступные в известных этимологических словарях, не могут считаться достоверными.

В заключение настоящей заметки приведем еще список специфических в словообразовательном отношении полабских лексем в транскрипции Полянского—Сенерта и в праславянской реконструкции: *bezaikă* 'бегун' (**běžika*), *bledaićă* 'бледность' (**blědica*), *bǫkăr* 'выпь' (**bǫkarь*), *brąсaikă* 'музыкальный инструмент' (**bręčika*), *dověk* 'ястреб' (**davikъ*), *drizal* 'пояс' (**deržьlь?*), *d'ujěk* 'врач' (**gojikъ*), *gnevoi* мн. 'железы' (**gněvy*), *grauk* 'дерево груши' (**grukъ*), *x́raud* 'бич; смычок' (**kr'udъ*), *x́audaićă* 'мелочь, что-либо нестоящее' (**xudica*), *jagraićă* 'игра' (**jьgrica*), *jeserâi* мн. 'ость колоса' (**esery*), *klanaikă* 'тот, кто бранится' (**klьnika*), *kort'ětüc* 'крот' (**korkotočь*), *laipaika* 'живодер' (**lupika*), *lâzaikă* 'лжец' (**lъžika*), *lozaikă* 'жаба' (**lazika*), *maudaikă* 'мелкая деталь сохи или плуга' (**mudika*), *ḿolě* прил. мн. 'мелкие' (**mělyji*), *pajaikă* 'пьяница' (**pijika*), *påkně* 'падает' (**pъknǫti*), *pąpil* 'овод, шмель' (**pępelь*), *peraikă* 'прачка' (**perika*), *perdojaikă* м. 'торговец' (**perdajika*), *pǫkăvaićă* 'жерлянка огненная' (**pǫkavica*), *prül'otü* 'весна' (**prolěto*), *prüst'au* род. ед. м. (**pryskъ*), *skocaikă* м. 'жеребец' (**skačika*), *svait'öråk* 'синица' (**svikorъkъ*), *tåcaikă* м. 'ткач' (**tъčika*), *tribaikă* м. 'тот, кто грабит граблями' (**terbika*), *tücaikă* ж. 'крот' (**točika*), *t'ölåt* 'доска' (**kolъtь*), *t'ösör* м. 'крупа, каша'(**kosorь*).

Поскольку ранее такой отбор для полабского как будто не производился, очевидно, что эти сведения, при всей их немногочисленности, представят интерес сами по себе. Но очевидно также и значение словообразовательной характеристики оригинальных образований полабского для более детального и точного представления о славянской перспективе и эволюции в целом. Вспомним о разысканиях имен деятеля с суффиксом *-ika* в славянских языках. Известно мнение, что этот тип словообразования утратил продуктивность в славянском [121]. В недавнее время эта проблема занимала двух исследователей болгарского словообразования. Некоторые соображения по этому поводу приведены в статье Славского, указывавшего на древнеболгарские (старославянские) **лжика, близжика** [122]. Мирчев, оставляя в стороне такие на-

[121] См.: *W. Vondrák*. Vergleichende slavische Grammatik. I. 1924. S. 614.

[122] *F. Sławski*. Słowotwórstwo bułgarskie na tle prasłowiańskim // Z polskich studiów slawistycznych. 2. Warszawa, 1963. S. 79—90.

звания растений, как болг. *любика*, ср. *иглика*, *метлика* и др. (которые, естественно, не относятся к разряду имен деятеля), привел новые примеры из болгарского народного языка: *уходика* 'незамужняя девушка', *споенжика* 'близкая родственница' [123]. Но достаточно обратиться к нашему списку специфических полабских образований, чтобы относительная хронология активности типа имен деятеля на *-ika* в славянском приобрела несколько иной смысл, ср. праформы **běžika*, **bręčika*, **klьnika*, **lupika*, **lъžika*, **lazika*, **mudika*, **pijika*, **perika*, **perdajika*, **skačika*, **tъčika*, **terbika*, **točika*. Скудные остатки полабского языка, оказывается, обнаруживают настоящее богатство в области производных имен деятеля на *-ika*, говорящее о длительной продуктивности этого типа имен в полабском. Замечательно разнообразие основ и значений этих слов: здесь есть и названия разных животных (по активному качеству), названия орудий и, конечно, в первую очередь — названия занятий человека и различных его качеств, действий, пороков. Эти и аналогичные им образования, их историю и функции в разных славянских языках и диалектах, их взаимоотношения с омонимическими суффиксальными типами (названия растений на *-ika* / *-ica*) еще предстоит изучить, поскольку до сего времени проблема только затрагивалась и у исследователей не было всего материала и четкого представления о синхронном отношении типов (имена деятеля на *-ika* / *-ica*: названия растений на *-ika* / *-ica*) и о диахронической эволюции (*-ika* ↔ *-ica*, а также возраст разных образований).

Перспективный способ изучения проблем такого рода — это исследование славянского словообразования в целом (или его фрагментов) через призму словообразования одного из славянских языков. Об этом свидетельствует, помимо опытов других ученых, также предпринятая нами выше попытка.

[123] *K. Mirčev*. Zur bulgarischen Wortbildung // Die Welt der Slaven. Jg. XI. 1966. S. 233 ff.

ЗАМЕТКИ ПО ЭТИМОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ [2]

Настоящая статья примыкает к работе под таким же названием в томе «Этимология. 1968», не будучи, однако, ее продолжением в полном смысле слова. Их объединяет главным образом план (фонетика I, морфология II, словообразование III) и поиски средствами этимологии резервов реконструкции, которые могут быть использованы также и для сравнительной грамматики.

I

Соответственно намеченному выше плану, мы начнем с краткой заметки по сравнительной фонетике в свете некоторых этимологических наблюдений. Известно, что базой любого этимологического исследования служит историческая фонетика, прежде всего — совокупность аксиоматических правил относительно так называемых регулярных переходов звуков, исторических звукосоответствий. Едва ли нужно соглашаться с поверхностным суждением о том, что исследовательские возможности здесь исчерпаны; это неверно хотя бы потому, что еще далеко не выявлен в полном объеме лексический состав славянских языков и диалектов. Верно, однако, и то, что действительная фонетическая история лексики славянских языков гораздо сложнее и, конечно, не исчерпывается стройным рядом регулярных звукосоответствий. Непреложностью этого факта вызваны различные теории экспрессивных фонетических изменений сначала в определенных разрядах лексики («детские слова», элементарное родство), а потом и в неограниченном количестве вполне стандартной лексики языка (ср. работы Коржинека, Махека, Копечного, Ливера и некоторых других ученых, близких к чешской этимологической школе, работы которой требуют порой критиче-

ского отношения). При всех возможных различиях, эти концепции трактуют один предмет — нерегулярные фонетические изменения. Но нетрудно заметить, что понятие нерегулярных фонетических изменений — в не меньшей степени, чем понятие регулярных изменений — порождено концепцией семьи родственных языков или диалектов. «Нерегулярное», с точки зрения основных магистральных характеристик данной генетической языковой группы, оказывается совершенно регулярным в плане основных закономерностей какой-либо иной языковой группы. Дело обстоит в таких случаях просто там, где вскрывается влияние иноязычных субстратов или адстратов, т. е. когда изолированное звуковое изменение сразу обретает регулярность как известная черта языка-источника.

Но есть также случаи, когда мы не вправе говорить о каком-то иноязычном влиянии, а если это все-таки иногда и делается, то не без риска допустить ошибку. Так, например, историческая фонетика славянских языков не знает регулярного перехода *tl*, *dl* > *kl*, *gl* и говорит только о сохранении *tl*, *dl* или об упрощении их в *l*. На этом примерно основании болг. *гръкля́н* 'горло' попадало в число древних балтийских элементов контактного происхождения в составе южнославянской лексики (ср. лит. *gurklỹs* 'зоб, горло' с таким же характерным «балтийским» переходом *tl* > *kl*). Но знакомство с лексикой разных славянских языков и диалектов все больше приводит к мысли, что мы здесь имеем дело с фонетической особенностью, которая спорадически встречается в различных словах почти на всей славянской языковой территории и с соответствующим балтийским фонетическим явлением не связана никаким другим образом, кроме общей аналогии. Переход *tl* > *kl* известен в балтийских языках как регулярное и характерное фонетическое изменение, но уже наличие близкого перехода в италийских языках, в латинском (*tl* > *cul*) не позволяет считать названное изменение специфически балтийским. Очевидно, на тех же общих антропофонетических основаниях базируются и спорадические славянские случаи *tl* > *kl*. В силу каких-то причин они не получили развития и поэтому остались за рамками исторической фонетики славянских языков в суммарном понимании. Насколько права при этом суммарная историческая фонетика и не сказывается ли здесь ограниченность метода данного раздела сравнительной грамматики, — другой вопрос. Этимологическое исследование, этимология отдельного слова идет дальше, критерии частоты и характеристики получают здесь несколько иной смысл; так, доказанное единичное или редкое изменение с точки зрения этимологии ничуть не менее важно и реально, чем доказанное регулярное изменение. Подобный атомизм этимологического исследования — не слабость, а сила этимологии, и его едва ли следует преодолевать или изживать. Он обеспечивает максимум информации о происхождении слова, чего в полном объеме уже не

может дать суммарная историческая фонетика, будучи, так сказать, первой ступенью абстракции.

Близкие вопросы исследовал на различном языковом материале В. И. Абаев, который определяет подобные явления как перекрестные изоглоссы[1], что, возможно, подходит для изучения фактов близкородственных или территориально-смежных диалектов, в иных же случаях способно скорее дать повод к недоразумениям, поскольку нельзя полностью лишать понятие изоглоссы линейного смысла. Я имею в виду затрагиваемый ниже переход *dv* > *b* в славянском и в латинском. Конечно, в этом случае ни о какой изоглоссе говорить не приходится, удобнее же всего говорить и здесь об осуществлении некоторых общих антропофонетических потенций, завершившихся ассимилятивным упрощением группы согласных. Что касается латинского языка, то осуществление в его истории фонетического изменения *du̯* > *b* ни у кого сомнений не вызывает и может быть продемонстрировано на ряде очевидных примеров, прежде всего — для начала слов: лат. *bis* < и.-е. **du̯is*, *bi-* < **du̯i-*, лат. *bonus*, др.-лат. *dvonus*, *bellum*, наряду с *duellum*[2]. Отклонения касаются иных позиций (например, *-du̯-* внутри слова в латинском), споры ведутся вокруг частностей, например указывается на сомнительность отражения *-du̯-* > *-в-* после *-r-* в латинском, ср. факт сохранения сочетания *-rdu-* в *arduus*, тогда как лат. *sordus* объясняется из **sordhos*[3].

Если обратиться к пособиям по сравнительной грамматике славянских языков, то создается впечатление, что в славянском отсутствуют какие бы то ни было аналогии названному процессу. А. Вайян прямо характеризует сочетание *dv* как устойчивое сочетание согласных в славянском[4]. Действительно, приводимый им там известный пример ст.-слав. **лѧдвиѩ** 'ляжки' : лат. *lumbī* то же наглядно показывает разницу славянской и латинской трактовки. Но уже одной ссылки на в.-луж. *zběhać* 'поднимать' — при слав. **dvigati* — достаточно, чтобы показать возможность исключений: слав. *dv-* дало в верхнелужицком слове *-b-*, аналогично латинскому звукоизменению (см. выше). Правда, здесь, по сути, приходится говорить об изменении *zdw* > *zb*, что несколько ослабляет показательность примера. Поэтому целесообразно обратиться к следующему примеру, который как до чистоте названного фонетического изменения, так и по масштабам распространения заслуживает специ-

---

[1] *В. И. Абаев.* О перекрестных изоглоссах // Этимология. 1966. М., 1968. С. 247 след.

[2] *F. Sommer.* Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Heidelberg, 1902. S. 228—229; *K. Brugmann.* Grundriss². I. S. 322.

[3] *M. Niedermann.* Etymologische Forschungen // IF. XV. 1903—1904. S. 119.

[4] *A. Vaillant.* Grammaire comparée des langues slaves. T. 1. Phonétique. Lyon; Paris, 1950. P. 85—86.

ального внимания. Речь идет о названиях дерна красного, бирючины, свидины в ряде славянских языков: сербохорв. *сви̏ба* ж. р. 'свидина, дерен красный Cornus sanguinea', *сви́ба*, *сӣба* то же, словен. *svíba* то же, чеш. *svíd*, *svída* то же, словац. *svíb* 'свидина', польск. *świdwa*, *świd*, *świdzina* то же, в.-луж., н.-луж. *swid*, полаб. *swaid*, рус. *свиди́на* 'дерен красный Cornus sanguinea', укр. *свид* м. р., *свиди́на* ж. р. то же. Корневую часть славянского слова уже давно правдоподобно объяснили, сблизив с названием того же растения в древнепрусском — *sidis*, а также с лит. *svidùs* 'яркий, светлый', *svidėti* 'блестеть', англосакс. *sviotol* 'ясный, явный', лат. *sīdus/-eris* 'светило'[5]. Хуже обстоит дело с толкованием вариантов конца основы *d / dv / b*. На этот счет мнения исследователей расходятся довольно существенным образом. Так, Махек и некоторые другие авторы строят гипотетический ряд **svida* > **svidva* > **svidba* > **svib-*[6]. Исход *-d-* при этом принимается как древнейший. Фасмер, напротив, использует формы на *-b-* и польские формы как указание на древнюю основу на *-ū-* **svidy* / **svidъve*. Для этого последнего предположения достаточные аргументы, как нам кажется, отсутствуют. Элемент *-v-* (с вариантом *-ъv-*, ср. рус. *свидо́вник* 'свидина') можно считать суффиксальным наращением, о древности которого могут быть различные суждения, ср. также ниже. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что среди сближаемых со славянским названием данного растения этимологических соответствий (перечень — выше), кроме синонимичного древнепрусского названия, остальная лексика достаточно далека семантически (ср. преобладающие значения 'светлый, ясный'). Не отводя этих широких сравнений, правдоподобие которых нами было в целом признано выше, мы хотели бы взвесить возможность еще одного дополнительного сближения, а именное лат. *vīburnum* 'кустарниковое растение, калина'. Латинское слово до сих пор признавалось неясным этимологически[7], причем высказывалось мнение о заимствованном происхождении как этого, так и сравниваемого с ним по типу образования латинского названия другого растения — *laburnum*, при возможном влиянии на их суффиксальный исход со стороны этрусского, ср., например, *Sāturnus*. Едва ли это убедительно, если вспомнить такие древние латинские образования с тождественным исходом, как *taciturnus*, *nocturnus*, относительно которых как будто никто не ставит вопрос о заимствовании. Основа *vīb-urnum* могла бы быть объяснена из более древнего *(*s*)*u̯ei̯du̯-*, откуда и слав. **svidva*,

---

[5] *Miklosich*. S. 331; *Trautmann*. BSW. S. 296; *Vasmer*. II. S. 592; *J. Schindler* // Die Sprache. XII. 1966. S. 70; *V. Machek* // ZfslPhl. XXXIII. 1966. S. 172 (предлагает здесь особую этимологию — слав. **svidva* — лит. *sedulà* 'свидина Cornus sanguilnea').

[6] *V. Machek*. Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954. S. 171; *P. Skok*. Etimologijski rječnik hrv.-srpsk. jez. Рукопись. Загреб.

[7] *Walde*[2]. S. 832; *Ernout—Meillet*[3]. II. S. 1294.

разобранное выше. В плане реалий дерен красный (свидина, глог) и калина — кустарниковые растения со сходными качествами цветков, плодов и древесины.

Наиболее важный результат предложенного сближения для нас в данной связи — это отражение предполагаемого сочетания *du̯* в виде *b* и в латинском, и в славянском названии. Такое отражение представлено, как уже известно, не во всех славянских формах этого названия растения, а только в сербохорватском, словенском и словацком (см. выше). В остальных славянских формах, надо полагать, *du̯* развилось в *dъv*, что давало возможность, с одной стороны, четкого сохранения обоих согласных, а с другой — отделения *-ъv-*, ср. формы названия с исходным *-d-*. Фонетическая судьба названия растения Cornus sanguinea в славянских языках поучительна тем, что помогает как бы в миниатюре и вместе с тем контрастно увидеть эволюцию сочетания *du̯* в славянском вообще. Если взглянуть на сочетание *du̯* с более общей точки зрения, то станет ясным, что *dv* и, скажем, *tv* не совсем одинаковы в смысле своей устойчивости, как понимают их обычно слависты-компаративисты[8]. Так, наиболее устойчиво из них, видимо, сочетание *tv* (сильный, глухой + сонорный), и ассимилятивный результат *tv* > **p*, скорее всего, невозможен в славянском. В отличие от него, сочетание *dv* (звонкий = слабый + сонорный) не обладает той степенью прочности, отсюда возможность случаев ассимилятивного уподобления, попытка выявления которых в славянском, при поддержке латинских аналогий, изложена выше.

Следует ожидать естественного возражения, что, за вычетом одного-двух названных выше достаточно проблематичных по своей древности примеров, славянский практически не знает фонетической эволюции *du̯* > *b*. Однако из этого не следует, что нужно игнорировать вообще эти неосуществленные начальные потенции, заложенные в самом сочетании звуков, можно даже полагать, что изучение изолированных примеров перехода *dv* > *b* поможет лучше понять, почему в огромном большинстве случаев *dv* сохранилось в славянском. Нам кажется допустимым высказать предположение, что подобно тому, как, согласно Экблому, причина сохранения праславянского сочетания *dl* в западнославянских языках коренилась в раздельной артикуляции [d • l], точно так же сочетание *dv* с достаточно раннего времени выступало в славянском как *d • v* или *dъv*, причем этому краткому гласному элементу ъ нельзя приписывать никакого этимологического значения, признавая за ним лишь позиционную, вставочную функцию. Между прочим, и здесь может пригодиться типологическая аналогия латинского материала, в котором, как известно, последовательность звуков *du̯* давала *b*, ср. *bis* из и.-е. *du̯is*, но индо-

[8] Ср.: *A. Vaillant*. Указ. соч. I. P. 85—86; *С. Б. Бернштейн*. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 140.

европейский вариант *duu̯ō (природа среднего -u- здесь та же, что и у промежуточного гласного в славянском, см. выше) отразился только как duo 'два', а не *bō[9]. Сказанное имеет самое прямое отношение к вопросу о реконструкции праславянской формы числительного 'два'. Представляется возможным восстанавливать как *dva, так и более традиционное праслав. *dъva, в котором ъ не так уж обязательно возводить непосредственно к упомянутому индоевропейскому варианту *duu̯ō, так как не исключена возможность, что здесь наблюдается в наиболее законченном виде реализация все той же тенденции «укрепления» первоначального чистого сочетания dv, ср. тот факт, что уже литовский с его dù 'два' из *dvuo показывает местный, славянский характер развития ъ в слав. *d(ъ)va.

Таким образом, с помощью изложенной выше заметки мы хотели бы привлечь внимание к изолированным фонетическим явлениям и процессам, во-первых, как слабоизученным источникам единственно возможного подчас этимологического объяснения слова, а во-вторых, как к средству глубже проникнуть в механизм самих регулярных процессов. Регулярными, или типичными, для латинского являются, как известно, переходы oi̯ > ū, sr > br, du̯ > b, в то время как в славянском те же исходные сочетания звуков регулярно эволюционируют совсем к другим фонетическим результатам: oi̯ > ě (ē), sr > str, du̯ > dv. Но это не исключает возможности в отдельных, нередко изолированных примерах славянского проявления «латинского» (а равно и какого-либо другого) пути развития, что мы наблюдаем в случаях перехода oi̯ > слав. y (близкое толкование корневого гласного в слове ryba находим у Топорова[10], о некоторых старых и новых примерах oi̯ > y мы рассчитываем сообщить в другом месте), а также в случаях du̯ > слав. b, рассмотренных в предшествующей заметке.

II

В настоящей заметке этимологические наблюдения используются для выяснения некоторых фактов сравнительной морфологии. Начнем с двух древнерусских (русско-церковнославянских) слов, прежде, насколько известно, не подвергавшихся этимологизации.

Первое из них — *громы*, вин. п. мн. ч. от особого слова *громъ*; представлено у Срезневского (Материалы I, 597), как это часто имеет место в данном словаре, в виде неоговоренной реконструкции, см. **громые: ѿ кладꙋщихъ**

[9] *F. Sommer*. Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. S. 228.

[10] *В. Н. Топоров*. Из праславянской этимологии // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. I. М., 1960. С. 11.

громы. Втз. XVIII. 3 по сп. 1499 г. (θύματα, immolationes; = *требы* — по сп. XIV в.). Смысл и грамматическая характеристика компонентов фразы говорят в пользу нашего чтения: **громы** (см. выше), а не прилагательные **громыѥ**. Условия употребления этого редкого слова помогает прояснить такое очевидное производное от него, как отмеченное там же у Срезневского *громьница* 'гостиница': **громница телесемъ** ἡ καπηλεῖα τοῦ σώματος (Ио. Злат. Сборн. XV в.). Семантическая общность, объединяющая форму *громы* как название жертвы и производное *громьница*, обозначающее, в сущности, харчевню, ср. свидетельство греческого эквивалента, выше, служит в наших глазах основанием для реконструкции праслав. **gromъ*, нетематического причастия страдательного настоящего времени, ср. тип **kotomъ*, **vedomъ*. Образовано от чистой ступени редукции **gr-*, получившей дальнейшее развитие в слав. **gъrdlo*, ср. полную огласовку **ger-* в слав. **žer-* и т. п. Таким образом, наряду с праслав. **gromъ* I 'гром, грохот' можно говорить об особом праслав. **gromъ* II 'жертва', ср. синонимичное **žьrtva*, отглагольное имя с другой ступенью вокализма того же корня.

Как уже упоминалось, существует возможность классифицировать **gromъ* II как нетематическое страдательное причастие настоящего времени. Дославянский морфологический архаизм в этом случае ограничивался бы только особой ступенью глагольного вокализма **gr-*, при обычном для славянского парном отношении **žer-* / **žьr-*. Другая возможность, которую также стоит упомянуть, как бы раздвигает рамки возможного сохранения архаизма дославянской эпохи: индоевропейское причастие **gᵘromenos* / *gᵘromnos* с возможным также отражением и.-е. *-mn-* в слав. *-m-*. Наконец, третья возможность позволяет допускать здесь наличие первоначального имени и.-е. **gᵘrōmos* (ср. греч. βρῶμη ж. р. 'пища'), грамматикализованного вторично в таком случае в славянском как причастие страдательное настоящего времени. Мы наблюдаем здесь, таким образом, как бы взаимодействие фонетической эволюции и морфологического осмысления.

Говоря об архаизмах славянской морфологии на индоевропейском фоне, нельзя, естественно, не упомянуть о проблеме гетероклитических имен с основой на *-r* / *-n*. Несмотря на остаточный характер этих образований, а также на обозримость соответствующего материала в славянском [11], исследование этого вопроса сохраняет свою актуальность. Любопытно отметить, что известны еще не все языковые факты, имеющие самое прямое отношение к названной проблеме. Ср., например, кашубско-словинское *kamor* м. р. 'камень' [12], по-

[11] См. один из последних обзоров: *H. Bräuer*. Slavische Sprachwissenschaft. III. 2. Berlin, 1969. S. 109—112.

[12] *B. Sychta*. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. II. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1968. S. 129.

8. Заказ № 2419.

видимому, отражение древнего варианта с основой на *-r*, ср. др.-инд. *aśmará-* 'каменный', др.-исл. *hamarr* 'скала, утес', др.-в.-нем. *hamar*, совр. нем. *Hammer* 'молот'. До сих пор, насколько известно, в научной литературе обсуждалась только соответствующая основа *-n* — слав. **kamy* / **kamene*.

Нуждаются в дальнейшем изучении словообразовательно и морфологически обособленные продолжения других индоевропейских основ на *-r* / *-n* в славянском. Один из таких случаев — отношение слав. **dъbno* и **dъbrъ* — мы попытаемся кратко разобрать ниже.

Праслав. **dъbno* продолжается в болг. *дъно́* 'дно', 'пень', сербохорв. *дно̏* 'дно', словен. *dnò* то же, чеш., словац., в.-луж., н.-луж., польск. *dno* 'дно', полаб. *danü* то же, цслав. *дъно*, рус. *дно*, укр. *дно* 'дно'. Праслав. **dъbrъ* дало ст.-слав. **дьбрь, дъбрь** φάραγξ 'овраг, долина', словен. *deber* 'лощина', чеш. *debř* 'долина', ст.-польск. *debrz*, польск. *debrza*, *debra*, рус. *дебрь* ж. р., укр. *дебрь* 'овраг, долина, лес'. На родство **dъbno* и **dъbrъ*, равно как и на их своеобразное суффиксальное оформление *-r* / *-n*, приближающееся к гетероклитической парадигме с тем же исходом основы, обращено внимание уже давно. В этимологическом плане праслав. **dъbno* обычно производят из и.-е. **dhubnom* и сравнивают с лит. *dùgnas* 'дно' (из **dubnas*), лтш. *dubens*, *dibens* 'дно, глубина', галльск. *dubno-* 'мир', др.-ирл. *domun* то же, далее — прилагательное лит. *dubùs* 'глубокий', готск. *diups*, нем. *tief*, др.-ирл. *domain*, кимр. *dwfn* то же. Праслав. **dъbrъ* связывают, в первую очередь, с лит. *dùburas* 'промоина в русле', *dubur̃ys* 'глубина', др.-ирл. *dobar*, др.-кимр. *dubr* 'вода', долатинским *Tiberis*, *Thybris*, глоссовым (иллирийским?) δύβρις θάλασσα, фрак. Δέβρη, Δόβηρος, местные названия [13].

Слишком частные семантические реализации ('вода', 'углубление в русле', 'лощина') не должны заслонять от нас преимущественной связи **dъbn-* / **dъbr-*. Это парадигматическое единство предполагало также древнюю общность значения. Остается решить, какого рода была семантическая первооснова этого бесспорно древнего образования. Высказывалось мнение, построенное, однако, как кажется, на чисто умозрительном вероятии, что значение 'земля, мир' развилось из более первоначального 'дно, почва' [14]. Впрочем, тут следует напомнить другое давно высказанное наблюдение о возможности влияния на значение ст.-слав. **дъно** со стороны и.-е. **bhudhno-* 'дно' (др.-инд.

---

[13] *Miklosich*. S. 54; *Р. Ф. Брандт* // РФВ. XXII. 1889. С. 114; *А. И. Соболевский* // РФВ. LXIV. 1910. С. 115; *Berneker*. I. S. 242, 245—246; *J. Charpentier* // Glotta. 9. 1918. S. 44[2]; *К.-О. Фальк* // Scando-Slavica. IV. 1958. S. 271; *P. Kretschmer* // Glotta. 22. 1934. S. 216; *D. Detschew*. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957. S. 123, 144; *Фасмер*. I. С. 490, 519.

[14] *C. D. Buck*. Words for world, earth and land, sun // Language. 5. 1929. P. 221.

budhnáḥ 'дно, почва', авест. *bunō*)[15]. Таким образом, исконность значения 'дно' у праслав. **dъbno* и формы, предшествовавшей ему, вызывает сомнения.

Возможно, ключ к более глубокому пониманию истоков образования славянских слов и их индоевропейского прошлого даст обращение к известному древнеармянскому парному обозначению неба и земли, в основу которого при всей огромности дистанции, отделяющей армянское слово от славянского, мог быть положен тождественный принцип употребления этимологически тождественной индоевропейской морфемы. Имеются в виду арм. *erkin* 'небо' и *erkir* 'земля', древние производные от числительного арм. *erku* 'два' < и.-е. **du̯ō* / **du̯ei̯-*[16]. Яркая парадигматическая общность армянских названий земли и неба, объединенных одним корнем и единой суффиксацией *-n* / *-r*, находит полное подтверждение в древнем понятийном единстве соответствующих представлений, и прежде всего — древнего восприятия видимого; э т о г о м и р а к а к д в у х т в е р д е й — земли и неба; парное противопоставление небо — земля известно в фольклоре[17]. Армянское соответствие (или вернее — свободная параллель) ценно для нас в данном случае своим указанием на возможность н е п р и д ы х а т е л ь н о г о н а ч а л а индоевропейского слова, лежащего в основе слав. **dъbno*, а именно и.-е. **dubhn-*. Между прочим, здесь может быть также использовано свидетельство другого слова, не привлекавшегося ранее для сравнения со слав. **dъbno* — др.-лат. *dubinus* 'δισσός 'двойной', глоссовое[18] слово, которое может продолжать и.-е. **dubh(i)no-*, связанное, с одной стороны, совершенно отчетливо с числительным **du̯ō*, а с другой стороны, потенциально представляющее собой такую же тематизацию первоначально нетематического, консонантного **dubhn-*, как и слав. **dъbno* с основой на *-o*.

Разумеется, важно взвесить все обстоятельства — как поддерживающие традиционную этимологию слав. **dъbno* — от и.-е. **dheubh-* / **dhubh-* 'долбить, глубокий', так и ослабляющие ее. Картина оказывается довольно сложной. Так, в балтийском наблюдается парное наличие как имени, так и соответствующего прилагательного: лит. *dùgnas* 'дно' — *dubùs* 'глубокий'; сходное соотношение есть в кельтском, ср. др.-ирл. *domun* 'мир' — *domain* 'глубокий'. Но уже в славянском имеется имя **dъbno* 'дно', но нет прилагательного, далее, в германском, наоборот, есть прилагательное готск. *diups*,

---

[15] *A. Meillet* // MSL. 12. 1903. S. 430.

[16] *Гр. Ачарян*. Корневой словарь армянского языка. Т. 1. Ереван, 1928—1930. s. vv. *erkin*, *erkir* (на арм. языке; автор считает эту этимологию народной); ср. еще: *В. В. Иванов* // Этимология. 1967. М., 1969. С. 47 след.

[17] *Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров*. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. С. 100 след.

[18] *Walde—Hofmann*. I. S. 375.

нем. *tief* 'глубокий', но нет имени той же основы с производным значением 'дно' (или 'твердь, мир, вселенная'). В латинском, если не считать упомянутого обособленного *dubinus* 'двойной', нет ни однокоренного прилагательного 'глубокий', ни существительного с очерченным выше кругом значений. Таким образом, складывается впечатление, что как формально-этимологическое, так и понятийное соотнесение слав. **dъbno* 'дно' и и.-е. **dhubh-* 'глубокий' строится на фактах скорее исключительных, а не регулярных. Кстати сказать, в терминах семантического поля понятия 'дно' и 'глубокий' едва ли можно безоговорочно характеризовать как взаимно обусловленные, вопреки естественным бытовым ассоциациям на этот счет. См. специальный параграф 'дно' в известном семантическом словаре Бака[19]. Герм. **grund-* 'дно' развило также семантику 'равнина, поле', что говорит о превалирующем смысловом оттенке 'плоскость', откуда скорее производится значение 'мель, мелкий'[20], чем 'глубина, глубокий'. Вообще соотношение терминов 'дно' и 'глубокое дно, глубина, бездна' обращает на себя внимание как раз своей антонимичностью в разных языках, ср. нем. *Grand* и отрицание *Abgrund*, аналогично — слав. **dъbno* и **bezdъbna*.

Мы приходим, таким образом, к выводу, что понятийной первоосновой слав. **dъbno*, и.-е. **dubhnom* послужило архаическое восприятие дна, почвы, земли как одной из д в у х твердей, причем с архаичностью понятийного, семантического плана сочетается архаичность словообразовательно-флективного плана, а именно следы *-r/-n*-основы в слав. **dъbno* : **dъbrъ*.

Нижеследующие этимологии касаются слов, в образовании которых, так же как и в предыдущем случае, затруднительно строгое разграничение между морфологическим и словообразовательно-лексическими процессами, что не раз приходится наблюдать в действительно архаических образованиях. Остановимся сначала на названии мяса, которое, несмотря на то что снискало у некоторых авторов репутацию трудно анализируемой первичной вокабулы[21], даже на стадии славянского сохраняет, по нашему мнению, четкость структуры и определенные возможности внутренней реконструкции. Речь идет о праслав. **męso* (рус. *мя́со*, сербохорв. *мēсо*, польск. *mięso* и др.), которое и без помощи индоевропейских соответствий можно определить как продолжение более древнего **mēms-* или **mēməs-*. Звуковой состав последнего, очевидно, непервичен и обязан своим происхождением редупликации **me-em-s* или

[19] *C. D. Buck*. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago, 1949. P. 855—856.

[20] *H. S. Falk, A. Torp*. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. T. I. 2. Aufl. Heidelberg; Oslo; Bergen, 1960. S. 352—353.

[21] Ср. сборник статей: *Э. Бенвенист*. Очерки по осетинскому языку. М., 1965. С. 71—72 (русский перевод термина в данном издании не вполне точен).

**m-emə-s-*. Более простое имя, содержащее вместе с тем непервичный, производный *-o*-вокализм, указал Бенвенист в индоевропейском названии плечевого сустава — **ōmso-*[22]. Суженная семантика этого последнего слова генетически базируется на исходном более общем значении 'сырое мясо (вообще)'. Имя **ōmso-* обозначало, по-видимому, наиболее броский, существенный по виду и качествам кусок сырого мяса. Сюда же в свою очередь производное (ср. и окситонное, наконечное ударение) греч. ὠμός 'сырой', др.-инд. *āmáh* то же, прилагательное. Обычно считается, что из перечисленных индоевропейских форм в славянском отразилось только редуплицированное и.-е. **mēms-*, откуда произошло слав. **męso* (см. выше), сближаемое с др.-инд. *māsám*, готск. *mimz*, арм. *mis*, алб. *mish*, др.-прусск. *mensa*, *menso*, лит. *mėsà*[23], диал. *mensà*[24]. Потребность в проверке и этого привычного положения в науке вынуждает нас обратиться к небольшому эксперименту. И.-е. **ōmsos* или **oməsos* дало бы закономерное **ǫsъ* в славянском. Славянские языки, насколько известно, не знают такого названия плеча, плечевого сустава. Но с другой стороны, в них широко распространено слово с формой **ǫsъ* (рус. *ус*, польск. *wąs* и др.), обозначающее ус, усы, реже бороду. Существующие этимологии этого слова не могут нас удовлетворить; это, с одной стороны, — сближение с др.-прусск. *wanso* 'первая растительность на лице', которое само, по всей видимости, заимствовано из соседних славянских диалектов, с другой стороны, — ряд сближений с индоевропейскими словами, обозначающими волосы, пушок на бороде, ресницы и т. п., которые слишком определенно предполагают праформу с *-i*-вокализмом и корнем **u̯ei̯-u̯-* 'вить(ся)', чтобы не показаться сомнительными, поскольку ясно, что имя с корневым *-o*-вокализмом слав. **ǫsъ* едва ли может иметь что-либо общее с др.-ирл. *find* 'волосы', греч. ἴονθος 'молодая бородка', др.-в.-нем. *wint-brâwa* 'ресница'[25], которые продолжают названное выше и.-е. **u̯ei̯-u̯-*, расширенное формантами *-endho-* / *-ondho-*. Этимологические сближения вроде описанных выше часто строятся на близости или сходстве значений, без учета своеобразной эволюции, которая могла привести к этим значениям. Ниже мы коснемся одного семантического перехода, который подтверждается семантическими же аналогиями, а кроме того, опирается на безупречность формально-фонетического соответствия и.-е. **ōmsos* / **oməsos* и слав. **ǫsъ*. Следует обратить

[22] Там же.

[23] *G. Meyer* // BB. VIII. 1883. P. 190; *H. Pedersen* // IF. V. 1895. P. 56; *W. Cimochowski* // LP. 1. 1949. P. 179; *J. J. Mikkola* // BB. XXII. 1897. P. 241—243; *Berneker*. II. S. 43—44.

[24] *Z. Zinkevičius*. Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966. S. 79, 27.

[25] См. с дальнейшей литературой: *Vasmer*. III. S. 189—190.

внимание на такую семантическую деталь, как фактическое отсутствие или позднее появление термина 'усы' в ряде языков, связанное с этим первоначальное неразличение названий для усов и бороды и — нередкое в таких случаях ввиду большей древности более общего значения и термина 'борода' — вторичное заполнение пустующего места термина 'усы' с помощью новообразования, каково, например, нем. *Schnurrbart*, или путем заимствования, ср. болг. *муста́к* 'ус' (из греческого, откуда оно проникло и в ряд других европейских языков). Точное формально-фонетическое соответствие и.-е. **ōmsos* 'плечо' : слав. **ǫsъ* 'ус' имеет в наших глазах характер родства с эволюцией лексического значения 'плечо' > 'волосы до плеч' > 'борода и усы до плеч'. Полную семантическую аналогию названному процессу видим в слав. **bъrkъ*, откуда, с одной стороны, польск. *bark*, *barki* 'плечи' (старшее значение), с другой стороны, — сербохорв. *бр̑к* 'ус', рус.-цслав. *брьчьхъ Вероникинъ* 'созвездие Волосы Вероники'. Здесь необходимо вспомнить проницательную догадку Топорова об отражении в русском фольклорном имени сказочного змея *Усыня* соответствия др.-инд. *áṁsa-*, др.-греч. ὦμος, лат. *umerus* 'плечо', позднée переосмысленного по-новому[26]. Легкой модификации (см. выше) достаточно, чтобы получить таким образом ту же этимологию, к которой мы пришли выше: слав. **ǫsъ* 'ус' < и.-е. **ōmsos* 'плечо'.

Следующий пример интересен тем, что обеспечивает путем сравнения славянских форм с некоторыми, в том числе — весьма отдаленными, индоевропейскими, восстановление состояния глубокой, дограмматической древности. Имеется в виду слав. **nozdri*, рус. *нóздри* и родственные. Слав. **nozdri* не может продолжать более древнюю форму **noz-dri*, о чем свидетельствует родственное лит. *nasraĩ* pl. tant. 'пасть'. Отсюда единственно возможная предыстория славянского слова — **nozdri* < **nozri*, со вставным *-d-* в группе согласных. Этимологическое родство и тождество слав. **nozdri* и лит. *nasraĩ* дает нам основание отвергнуть те этимологии славянского слова, которые построены на иных реконструкциях, ср. гипотезу о древнем сложении **nos-dьra*[27], необязательную ввиду позднего характера соответствующих изменений в укр. *ні́здря* (*o* > *i* во вновь закрытом слоге), далее — предположение о наличии здесь производного с суффиксом и.-е. *-dhr-*[28] или с суффиксом *-r-*[29]. От-

[26] *В. Н. Топоров*. Из наблюдений над этимологией слов мифологического характера // Этимология. 1967. М., 1969. С. 16—17.

[27] *Vasmer*. II. S. 225.

[28] *K. Brugmann*. Alte Wortdeutungen in neuer Beleuchtung // IF. XVIII. 1905—1906. S. 436—438; *K. Brugmann* // Grundriss². II. 1. S. 381.

[29] *A. Meillet*. Etudes I. P. 129. Из прочей литературы по этимологии этого слова см.: *A. Bezzenberger*. Etymologien // BB. I. 1877. S. 341; *G. Iljinskij*. [Рец. на ст.:] *E. Zupitza*. Zur Herkunft des slavischen *-z-*. KZ. XXXVII. S. 396—398 // RS. VI. 1913.

вергаемые этимологии не могут удовлетворительно объяснить даже названных выше близкородственных слов; тем более что, как увидим ниже, они отпадают, как только возникает необходимость объяснить характер связи с некоторыми отдаленнородственными индоевропейскими формами, остававшимися по большей части в тени.

Объясняя, в согласии с рядом авторов, *-zdr-* < *-str-* < *-sr-* в славянском слове как очевидную в общем, хотя, может быть, и не вполне регулярную фонетическую эволюцию, весьма напоминающую нам процесс озвончения слав. *-znь* < и.-е. *-sn-* в аналогичных условиях соседства с сонорным согласным[30], мы реконструируем для слав. **nozdri* индоевропейскую праформу **nosrī*. Интересно отметить, что к тождественному и.-е. **nosrī* восходит имеющее четко отличную грамматическую функцию германское имя женского рода — нем. *Nüster* 'ноздря', ср.-н.-нем. *noster* (через посредство формы **nustrī*). На этом круг обычных сопоставлений замыкается, дальше идут различные индоевропейские формы названия носа. Одна из них, как правило, выпадала из поля зрения в силу своих не до конца понятных особенностей, хотя имеет к этому самое прямое отношение. Речь идет о греч. ῥίς, род. п. ῥῑνός 'нос', слове, которое резко отличается от общеиндоевропейской консонантной основы **nā̆s-* / **nos* с этим значением, прослеживаемой в др.-инд. *nas-* ж. р., авест. *nāh-*, лат. *nāris*, лит. *nósis*, слав. **nosъ*[31]. Греческое слово не имеет удовлетворительной этимологии. Его считают неясным по происхождению, видя в нем местную замену и.-е. **nos-*, которое, согласно господствующему мнению, не сохранилось в греческом языке[32]. Правда, возникает вопрос, уместно ли считать местной заменой слово с явно архаическими чертами? Дело в том, что греческое название носа — бесспорно древнее слово, имя с основой на согласный: ῥίς / ῥῑνός. Не выходя за рамки элементарных закономерностей греческой исторической фонетики, можно реконструировать элементы более древней парадигмы склонения — им. п. *ῥινς (с последующим падением *-n-* перед свистящим), род. п. ῥῑνος. Существующие этимологии не объясняют ни консонантного характера греческого слова, ни согласного элемента *-n-* в его составе. Раннегреческое *ῥινς / ῥῑνός закономерно продолжает более древнее **srīns* / **srīnós*. Этимология от и.-е. **ser-* 'течь'[33], приемлемая для начала основы, оставляет без внимания ее исход, а как раз здесь, по нашему мнению, ключ к разгадке.

S. 225; *A. Bajec*. Besedotvorje slovenskega jezika. I. Ljubljana, 1950. S. 22; *Shevelov*. A prehistory of Slavic. P. 147; Etymologický slovník slovanských jazyků. Ukázkové číslo / Red. E. Havlová. Brno, 1966. S. 47—48.

[30] *F. Liewehr*. Über expressive Sprachmittel im Slavischen // ZfS. I. 1956. S. 17.

[31] *Mayrhofer*. II. S. 146; *Pokorny*. I. S. 755.

[32] *Frisk*. II. S. 659.

[33] *Boisacq*^{4}. P. 842; Hofmann. S. 299.

Есть основания полагать, что греческое слово близко по морфемному составу к слав. **nozdri*. Характер этой близости, как нам кажется, поможет уяснить кое-что неясное и в славянском слове. Уже Махек[34] пытался связать слав. **nozdri* с греч. ῥῖνες, но он весьма своеобразно понимал при этом **nozdri* как первоначальное сложение **nos*(*o*)-*srīnes*, что многое оставляет необъясненным и потому неубедительно. Со стороны семантической определенным указанием на историческую близость слав. **nozdri*, рус. *ноздри* и греч. ῥίς / ῥῖνός может служить тот факт, что плюраль αἱ ῥῖνες означает 'ноздри'. Со стороны формальной, слав. **nozdri* допустимо, в соответствии со сказанным выше, реконструировать как древнее **nos-srī*, тогда как греческое слово (ср. прежде всего полную форму косвенного падежа ῥῖνός) можно восстанавливать как **srī-nos*. Совершенно очевидно, что **nos-srī*, **srī-nos* представляют собой одни и те же индоевропейские корневые морфемы, расположенные в различной последовательности. О компоненте **nos-* см. выше, в то время как **srī* — расширенно и.-е. **ser-* 'течь, жидкость, слизь', что уже и раньше предполагалось для ῥίς / ῥῖνός (Гофман). Но особенно важно отметить следующее: 1) оба варианта (видимо, диалектные) — **nos-srī* (германский, балтийский, славянский) и **srī-nos* (греческий) — флективно не оформлены, *-ī* в **nos-srī* относится к основе, будучи словообразовательным формантом в производном от редуцированного варианта корня **ser-/sr-*. Словообразовательная, а не флективная сущность этого элемента видна также из наличия его внутри сложения **srī-nos*; 2) как балтийская флексия мн. ч. *-ai* (*nasrai*), так и слав. *-i* в **nozdri* в свете вышесказанного — не что иное, как вторичное использование в функции регулярной грамматической флексии первоначального исхода именной основы (*-ī-* недифтонгическое). Равным образом преобразования второго компонента варианта **srī-nos* в греческом ῥῖνός привели к полной аннигиляции его как первоначального самостоятельного полнозначного именного корня: результат был полностью переосмыслен как падежные окончания, морфологические форманты: **srī-n-s* (им. п.), **srī-n-o-s*. При всех отличиях, эволюция славянской и греческой форм шла в одном направлении: грамматикализация лексических, «дограмматических» элементов.

И.-е. **nosrī* с древней долготой в исходе и исконным значением множественности, естественным в обозначениях парных предметов, образующих целое (ср. лит. *dùrys*, слав. **dvьri* и т. п., см. по этому вопросу специальное исследование Мейе[35]), должно было бы отразиться в виде лит. **nasrýs*, но парадигма, к которой принадлежит современное лит. *dùrys*, несет

[34] *Machek*. S. 328.

[35] *Meillet*. Etudes. I. P. 176—177.

во множественном числе ударение не на флексии. Может быть, этим и была вызвана перестройка в иную парадигму — *nasraĩ*, формально — множественное число от основ на *-*o*-, к которым не принадлежит ни одно из продолжений и.-е. **nosrī*. Отсюда один возможный вывод — это то, что форма лит. *nãsras* 'рот' образована ad hoc, как бы для «реабилитации» плюраля *nasraĩ*. Точно так же новым и вторичным по отношению к мн. ч. **nozdri* (ст.-слав. **ноздри**) явилось ед. ч. рус. *ноздря́*, польск. *nozdrza*, болг. *ноздра*[36]. Здесь логичнее, между прочим, ожидалось бы **ноздрь* с основой на *-i-*, ср. *дверь* < мн. *двери*.

Итак, типично дограмматическая индоевропейская форма **nos-srī*, где в исходе — словообразовательный формант *-ī*, претерпевает совершенно различную грамматическую, морфологическую реализацию в относительно близкородственных ветвях индоевропейского. При этом и.-е. **nos-srī*, отражается в славянском как плюраль, в германском формализуется как имя женского рода на *-ī*, в литовском же полностью утрачивает древний долгий гласный в исходе, перестроившись как форма множественного числа регулярного вида.

III

В плане исторического словообразования, особенно задач его сравнительного изучения, важная вспомогательная роль этимологии не требует доказательств. Именно этимология обеспечивает подчас идентификацию морфемного состава слова, идет ли речь о полнозначных морфемах или об аффиксах. Эта область исследования актуальна еще и потому, что мы до сих пор не имеем полного инвентаря славянских словообразовательных морфем. При этом если с суффиксами дело обстоит благополучнее и с времен Миклошича более или менее известен круг славянских суффиксов и — с некоторым приближением — их абсолютное количество, то значительно менее удовлетворительно обследованы префиксы. Исключение составляют, пожалуй, превербы, глагольные приставки, изучаемые обычно в тесной связи с проблематикой глагольной морфологии. Их относительная изученность распространяется и на соотносительные с глагольными префиксами именные префиксы, например **vъ-* : **ǫ-*, **sъ* : **sǫ*, **po-* : **pa-*. Однако изученность именных префиксов резко отстает от соответствующих глагольных. Если же, далее, обратиться к чисто именной префиксации в славянских языках, то мы вступим в сферу практически изолированного этимологизирования. До недавнего времени, например, были возможны прямо противоположные выска-

[36] *A. Vaillant*. Grammaire comparée des langues slaves. T. II. 1-ère partie. Lyon; Paris, 1954. P. 312.

зывания по вопросу, есть ли в славянском слова (имена) с *k*- префиксальным. Несмотря на наличие определенного материала, свидетельствующего о существовании *k*- префиксального (в вариантных огласовках *ka*-, *ko*-, *kǫ*-), до сих пор возможны этимологии, вопреки всякой очевидности членящие то или иное слово противоположным образом (ср. для примера различные этимологические объяснения слова **kǫdelь*, рус. *кудель*). С этим связана полезность систематических опытов инвентаризации (на этимологической основе) редких типов славянских именных префиксальных сложений. В качестве примера одной из редких славянских словообразовательных префиксальных моделей можно назвать модель «*a*- + корень», которой мы касаемся в другом месте. Ограниченная продуктивность или ранняя утрата продуктивности оттеняет такие особенности этих образований, как древность образования, оправдывающая использование некоторых внешне далеких индоевропейских параллелей. Ниже мы останавливаемся на редкой славянской префиксальной модели «*jь*- + корень». В нашем распоряжении нет абсолютно полного материала, речь будет идти, с одной стороны, об одном-двух примерах, где предшествующее исследование не исключало наличия названного префикса, а с другой стороны — о некоторых примерах, ранее в этом плане как будто не толковавшихся.

Праслав. **jьverь*, откуда болг. *ѝвер* 'щепка', сербохорв. *ȉвēр* то же, словен. *ivér* 'щепка, заноза', чеш. *ivera*, *jivera*, словац. *very*, польск. *wiór*, мн. *wiory* 'щепа, стружка', полаб. *jevér* 'щепка', рус. диал. *и́верень* 'щепа, осколок', укр. *íвер*. Не только Миклошич, но и Бернекер предпочитает в своих словарях говорить применительно к этому слову о протезе (Vorschlag) неясного характера *jь*-/*i*-. Членение слова облегчается возможностью довольно четкого выделения корня -*ver*-, соотносительного со славянским глаголом **verti* с семантикой 'продевать, просовывать' [37]. Пожалуй, ближе всего подошел к верному решению, по нашему мнению, Петерссон, который видит в начальном элементе нашего слова приставку, т. е. морфологический формант [38]. Ниже мы остановимся на идентификации этой приставки, а также на некоторых связанных с этим сравнительно-исторических соображениях. Другим заметным словом практически общеславянского распространения, включающим эту приставку, является **jьvьlga*, откуда ст.-слав. (др.-болг.) **влъга**, болг. *авли́га* 'иволга Oriolus galbula' [39], сербохорв. *ву̏га* 'ремез', словен. *vólga* 'иволга', чеш. *vlha*, польск. *wilga*, *wywielga* то же, рус. *и́волга*, укр. *ìволга*,

[37] *Berneker*. I. S. 439; *Фасмер*. II. С. 114.

[38] *H. Petersson*. Baltische und slavische Wortstudien // Lunds Universitets Årsskrift. Bd. 14. № 31. Lund, 1918. S. 52.

[39] *Георгиев* и др. Български етимологичен речник. I. С. 2.

волга то же. И здесь мнение исследователей разделяется между гипотезой об *i-* протетическом[40] и гипотезой об особой приставке (Петерссон). Прочие этимологии[41] мы тут опускаем. Нам кажется целесообразным предпочесть и несколько развить приставочную этимологию. В пользу приставочного характера *jь-* в этом, как и в предыдущем слове, свидетельствует подударность данного элемента (рус. *и́верень*, *и́волга*, впрочем, родственные формы последнего затемнены в смысле ударения), свойственная как раз старым именным префиксам. Кроме того, о приставочном качестве начального *jь-* в составе, в частности, последнего славянского слова недвусмысленно говорит, по нашему мнению, до сих пор неверно объяснявшаяся польская форма названия птицы — *wywielga*. Начало польского слова не происходит ни от редупликации древнего корня, ни от протетического развития *w-*; его следует читать как префикс *wy-*, что ценно для нас, далее, и при попытке функционально-семантической реконструкции исследуемой здесь приставки *jь-*, которая, думается, была синонимична приставке *vy-*, откуда и возможность замены. О приставке *vy-* известно, что она функционально близка и практически синонимична другой славянской приставке — *jьz-*. Тем самым мы получаем довольно логичную конфронтацию слав. *jь-* и *jьz-*. О префиксе *jьz-* писалось много; здесь достаточно сказать, что это весьма типичный славянский глагольно-именной префикс с преобладающей регулярной функцией преверба, глагольной приставки. Как бы ни был мал наш материал по образованиям с префиксом *jь-* (см. также ниже), он позволяет говорить об исключительно приименном характере этого последнего. Любопытные и, видимо, старые именные сложения с этим префиксом могут быть указаны в составе старой восточнославянской гидронимии: *Ивода*, название реки и озера в бывшей Новгородской губ.; *Ивод*, приток Ветьмы в бывшем Брянском уезде; *Идолга*, река с двумя притоками, *Малая Идолга*, в бассейне Медведицы, на Дону[42]. Гидронимы *Ивода*, *Ивод* прозрачны по составу: из приставки *и-* и именной основы *вод-*, *вода*. Название *И́долга* (известное мне, кстати, из живого употребления именно с таким ударением) представляет собой сложение той же приставки с именной, адъективной основой *долг-*, ср. *долгий*. Аналогично этому слав. **jьvьlga*, рус. *иволга* — сложение приставки *jь-*, рус. *и-* и корня **vьlg-*, обозначающего влажность, сырость[43]. Сближение префиксов *jь-* и *jьz-*

---

[40] *Brückner*. S. 621.

[41] *Фасмер*. II. С. 114; *J. Endzelin*. Germanisch-baltische Miszellen // KZ. LII. 1924. S. 123.

[42] Цит по: Wörterbuch der russischen Gewässernamen / Zusammengest. von A. Kernd'l, R. Richhardt und W. Eisold unter Leitung von M. Vasmer. Bd. II. Berlin; Wiesbaden, 1963. S. 115—116, 120.

[43] См.: *Фасмер*. II. С. 114, вслед за Брюкнером.

этимологически перспективно благодаря обнаруживаемой при этом возможности выявить строение *jьz-*, так сказать, средствами славянского языкового материала. Славянский префикс *jьz-* представляет собой форму редукции **ĭĝh-* от представленного в большинстве индоевропейских языков полного префикса с той же функцией **eĝhs* (откуда греч. ἐξ, лат. *ex* 'из' [44]). Типологически вероятно, что полная индоевропейская форма префикса построена из дейктического элемента *e-* и частиц *-ĝh-*, *-s-*. Такую членимость показывает латинский вариант известного нам предлога-приставки *ē-* наряду с упомянутым полным *ex*. Интересно, что реминисценцию о таком же членении самостоятельно сохранил славянский, обнаруживающий, наряду с *jьz-*, родственное ему более простое и первоначальное *jь-*. Такая парность употребления названных более простой и более сложной форм индоевропейской приставки в славянском и в латинском — параллелизм, заслуживающий дальнейшего изучения. Один из путей изучения описанных славянско-латинских сходств — это сравнительный анализ славянских именных сложений вроде *иволга*, *иверень*, *Идолга* с простым *jь-* в составе, с одной стороны, и латинских экзоцентрических сложений вроде *ē-linguis* 'у кого язык торчит наружу' [45] с простым *e-* — с другой стороны.

[44] *Pokorny*. I. С. 292—293.

[45] См. о них: *K. Brugmann*. Der Kompositionstypus ἔν-θεος // IF. XVIII. 1905—1906. S. 127.

ИЗ ПРАСЛАВЯНСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ: ИМЕННЫЕ СЛОЖЕНИЯ С ПРИСТАВКОЙ *А*-

Сравнительно с праславянской фонетикой и морфологией праславянское словообразование изучено еще совершенно недостаточно. Так, например, здесь не описаны и даже не выявлены полностью целые категории, — ситуация, очевидно, невозможная в фонетике и морфологии даже наиболее ранних, дописьменных эпох. Настоящая статья, базирующаяся на материале реконструкции праславянского словарного фонда всех славянских языков, содержит попытку полной инвентаризации состава одной из старых словообразовательных моделей славянского — префиксальных сложений с *а*-, а также их словообразовательно-этимологической характеристики. Насколько известно, эта словообразовательная модель монографически еще не описывалась и не исследовалась в литературе. Впрочем, само существование таких образований — факт известный, равно как и некоторое количество примеров в древних и современных славянских языках. Бесспорно верной остается и старая этимологическая идентификация этого слав. *а*- с др.-инд. *ā*- в функции приблизительности, некоторого наличия качества, греч. ὠ-, ἠ- примерно с тем же значением, в конечном счете из и.-е. **ē-/*ō-* [1]. Известно далее, что образования с данным префиксом в славянских языках — непродуктивный и немногочисленный разряд слов, состоящий исключительно из существительных.

Эта черта непродуктивности служит для нас основанием, позволяющим, в частности, относить соответствующие образования к праславянской древности. Конечно, мы не хотели бы пользоваться этим критерием абсолютно

---

[1] См.: *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908. S. 441 (там же более старая литература; далее — Berneker); *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd III. Heidelberg, 1958. S. 475 (далее — Vasmer).

формально и безоговорочно. Не исключена и здесь, в этой в целом довольно архаической группе, возможность относительно поздних образований. Ср., возможно, серб.-цслав. ꙗгѵгнивъ : ст.-слав. гѫгнивъ 'косноязычный', болг. *я-вдовúца* 'вдова, вдовица', остроумно сравненное Бернекером с греч. ἠ-ίθεος 'холостой, холостяк' < **ē-u̯idheu̯os*. Ниже мы тоже приводим, наряду со старыми примерами, названия, которые могут вызвать сомнения. Если смотреть на данную модель словообразования как на архаизм, логично признать актуальными поиски более полных соприкосновений между славянским и другими индоевропейскими языками, т. е. соответствий, которые бы не ограничивались означенным префиксом, но охватывали бы и оформленную таким образом основу. Хочется думать, что изложенные ниже наблюдения помогут лучше представить если не лексическое значение, то во всяком случае функцию префикса, который характеризуется в славянских языках строго определенным и весьма ограниченным по своим возможностям употреблением. Это особенно ясно при сравнении славянского *а-* префиксального с положением в индоиранских языках, где родственное *ā* помимо функций приставки может фигурировать и как свободный предлог; весьма свободно еще употребление родственной морфемы и в греческом, где известны как именные, так и глагольные сложения: ὠ-κεανός, но ὤ-ρυομαι. В сравнении с этими данными особенности, присущие большинству славянских примеров (прииименной характер употребления, забвение лексического значения, непродуктивность), говорят о развитии в направлении формализации и представляются вторичными.

Обратимся к рассмотрению материала.

Праслав. **ablonь* с упомянутым префиксом мы реконструируем на основе рус. диал. (арханг.) *я́булонь* ж. р. 'болонь в дереве', ср. хотя бы синонимичное рус. *зáболонь* с той же корневой морфемой, но иным суффиксом. Рус.-цслав. абрѣдь 'акрида, ἀκρίς, locusta', ꙗбрѣдик 'саранча', польск. диал. *jabrząd* м. р. 'вид тополя', *jabrzędzie* то же, словац. диал. *jabrátka* мн. ч. ср. р. 'сережки (на вербе, иве)', *jäbrať* ж. р. собир. то же, сюда же словен. *âbranek* м. р. 'сережка на орешнике, ольхе, сосне; весенняя гроздь винограда', ст.-чеш. *jabřadek* м. р. 'побег виноградной лозы' — все они вместе объединяются вокруг праслав. **abręd-*, **abrěd-* (не говоря о различных суффиксальных оформлениях). В данном примере представлено сложение известного нам префикса с основой **bręd-* / **brěd-*, родственной прежде всего лит. *brę́sti*, *bréndau* 'набухать, созревать', откуда эволюция семантики славянских слов может быть схематически передана как: 'нарост' → 'побег, цвет растения, плод'; 'нарост' → 'рога животного; усики насекомого', сюда же этимологически родственные лит. *bríedis*, лтш. *briêdis* 'лось, олень', иллирийск. (мессап.) βρένδον 'олень', алб. *brî*, *brîni* 'рог, рогá'. Описанная этимология этой группы слов практически общепринята, поэтому мы опускаем здесь перечень

литературы, а также более отдаленные соответствия [2]. С некоторым сомнением мы относим к числу сложений с этой приставкой рус. диал. *я́дера* 'сварливый, неуживчивый человек', собственно — **adera*, ср. рус. *драть*. Показательно в этом смысле ударение на исконно долгом гласном, что соответствует изложенной этимологии.

На основании польск. диал. *jaducha* 'кашель, удушье; чахотка', укр. диал. *я́духа* 'удушье', *йаду́ха* 'одышка' следует восстановить праслав. **aduxa*, сложение приставки *а-* и основы **dux-*. Любопытно указать на функциональное тождество нашей приставки и приставки *za-* в синонимичном **zaduxa*. Ударение укр. *я́духа* говорит о древней долготе приставочного гласного, что подтверждает нашу этимологию и реконструкцию **a-duxa* (ср. аналогию предшествующего случая) и одновременно делает сомнительным объяснение, встречаемое в литературе: из **ję-dux* от **jęti* 'брать, захватывать' [3]. Некоторые второстепенные производные от разобранного сложения мы здесь опускаем. Интересно и, несмотря на свое относительно неширокое распространение, скорее архаично рус. диал. (сев.-великорус.) *я́голово*, *я́глово*, *я́гло* ср. р. 'скотина, убитая хищным зверем', в котором мы видим сложение префикса *а-* с именной основой *голов-*, ср. в первую очередь др.-рус. *голова* в значении 'убитый'. Менее убедительна как в формальном, так и в семантическом отношениях этимология Мошинского — к **jagla*, **jaglo* 'толокно, просяная каша' < 'еда, пища вообще' и к **agoda* [4]. Сербохорв. *jȁnād* ж. р. 'тенистое место' продолжает старое именное сложение **apadь* с функцией префикса, опять-таки близкой *za-* в **zapad-*, на что уже обращалось внимание в литературе именно применительно к данному случаю [5].

Большая группа славянских производных объединяется вокруг праслав. **arębъ* и **arębь*: болг. *я́ребица* ж. р. 'куропатка', макед. *jaребица* ж. р. 'куропатка', сербохорв. *jарѐбица* ж. р. 'куропатка', словин. *jarebica*, *jerebica* ж. р. 'куропатка', чеш. диал. *jeřabice* ж. р. 'рябчик', словац. *jarebica* ж. р. 'куропатка'; словен. *jerebíka* ж. р. 'рябина', далее — словен. *jerebína* ж. р. 'мясо куропатки', 'плод рябины', чеш. *jeřabina* ж. р. 'рябина', словац. *jarabina* ж. р. 'рябина', в.-луж. *wjerjebina*, н.-луж. *jerjebina* ж. р. 'рябина', польск. *jarzębina* 'рябина'; сербохорв. *jȁрēб* м. р. 'горная куропатка', словен. *jarȇb*, *jerȇb* м. р. 'куропатка (самец)', чеш. *jeřáb* м. р. 'рябина', польск. *jarząb*

[2] Словенское слово впервые отнес сюда Безлай, см.: *F. Bezlaj*. Etimloški doneski. 1. Slovensko *abranek* // Slavistična revija. 1958. XI. S. 169—172; *F. Bezlaj*. Etimološki slovar slovenskega jezika (Poskusni zvezek). Ljubljana, 1963. S. 7.

[3] Berneker I. S. 429; Vasmer III. S. 484.

[4] *K. Moszyński*. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław, 1957. S. 227.

[5] Berneker I. S. 441; Vasmer III. S. 475.

м. р. 'рябина', 'вид тополя', 'рябчик; чеш. диал. *jařabý* 'пестрый', словац. *jarabý* 'пестрый, рябой (обычно о птицах)'; чеш. *jeřábek* м. р. 'рябчик', польск. *jarząbek* м. р. 'рябчик', 'рябина', сюда же укр. *оря́бок* м. р. 'рябчик'; рус.-цслав. **ꙗрѧбь** 'куропатка' (некоторые второстепенные производные в отдельных славянских языках мы здесь опускаем). Для этого семейства слов характерно наличие разных самостоятельных значений — 'название птицы', 'название дерева', но все они объединяются вокруг обозначений цвета, представленных в виде прилагательных **arębъjь*, а также **rębъjь*, рус. *рябо́й* и др. Членение **a-ręb-* не оставляет никаких сомнений[6], а то обстоятельство, что сама именная основа связана сложными отношениями с другими, в частности — неназальными вариантами, представляет собой особую этимологическую проблему, которой мы в этой статье не касаемся. Что касается начала славянского названия, то оно, будучи совершенно определенным префиксом, наводит на мысль о вторичной грамматикализации в данном конкретном примере уже на славянской почве. Это предположение вызвано сравнением с родственными индоевропейскими формами (греч. ὀρφνός 'мрачный, темный' и др.), объединяемыми вокруг индоевропейского названия цвета **ĕreb(h)-*, **ōrob(h)-*[7]. Дело в том, что на индоевропейском уровне мы имеем здесь дело с гласной протезой чисто фонетического характера, с помощью которой избегался *r-* в анлауте (черта, известная из разных языков и типологически весьма древняя). Такая констатация означала бы, как нам кажется, перспективу дальнейшего проникновения в механизм функционирования славянской словообразовательной модели имен с приставкой *a-*.

Среди давно известных примеров на *a-* префиксальное обычно фигурирует серб.-цслав. **ꙗскѹдь** τὸ στόμα διεσταλμένος, собственно — **askǫdь*, сложение с основой прилагательного **skǫd-*. Равным образом можно счесть достоверной известную этимологию ст.-слав. **ашоуть**, наречие, δωρεάν, μάτην, *gratis*, *sine causa*, *frustra* 'без причины, напрасно, даром, излишне', ст.-чеш. *jěšut* ж. р. 'тщетность, ничтожность' как сложения **a-šutь*, включающего нашу приставку *a-*[8]. Особую форму рус.-цслав. **ошоуть**, **ошоути** в том же значении следует считать сложением с другой приставкой (такая префиксальная вариантность известна и для случаев **abrědъ*, **arębъ*). Прочие этимологии этого слова, подробнее разбираемые нами в другом месте, мы здесь опускаем.

---

[6] Vasmer III. S. 495. — Трудно согласиться с авторами, которые отрывают **(j)ręb-* от **ręb-* и относят первое из них к **jar-* 'весна', здесь якобы в качестве названия молодого, годовалого существа (*A. Meillet et A. Vaillant.* Notules I. Le slave commun **jarębĭ* et le suffixe *-b* // RES. XIII. 1933. P. 102—103).

[7] *J. Pokorny.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd 1. Bern, 1959. S. 334.

[8] Berneker I. S. 33; *V. Machek.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. S. 177.

Своеобразную этимологическую дилемму представляет собой не рассматривавшееся ранее в научной литературе слово — укр. диал. *я́вида* м. р. ‘черт’, к которому примыкает близкородственное этимологически и семантически рус. диал. (арханг.) *я́видь* ж. р. ‘змея, которая водится в тундрах’. Возможно двоякое объяснение настоящего случая. С одной стороны, это может быть префиксальное сложение разбираемой нами модели **a-vid-*, включающее известный нам префикс *a-* и основу глагола **viděti*. С другой стороны, нельзя не учитывать факта существования лит. диал. *óvaidas* ‘страшный шалун, сорванец, сорвиголова’, близкого по форме и по значению, которое этимологизируется из сложного **ovi-vaidas* ‘являющийся наяву’ [9]. Это напоминает нам о возможности происхождения славянского слова из этимологически тождественного **avi-vid-* ‘тот, кто привиделся наяву’, первый компонент которого представляет собой основу глагола праслав. **aviti*, рус. *явить*.

Рус. диал. (псков., твер., осташк.) *я́водь* ж. р. ‘струя, быстрина’ объясняется, согласно мнению Я. Калимы у Фасмера [10], как сложение приставочного рус. *я-* (< праслав. **а-*) и именной основы *вод-*, ср. *вода́*. Менее вероятна другая этимология, реконструирующая в первом компоненте *(*j*)*ę-*, ср. праслав. **ęti*, рус. *вз-ять* и др. [11]

В нашем суммарном перечне с анализом был отмечен ряд случаев, еще не обсуждавшихся в литературе и не служивших объектом этимологизации. На одном таком примере (завершающем наш список) мы остановимся подробнее.

В картотеке «Малого древнерусского словаря XI—XVII вв.» Института русского языка Академии наук СССР находим слово *яворъ* в совершенно оригинальном употреблении, не имеющем ничего общего с распространенным омонимичным названием явора, вида клена. Значение этого единственного пока известного нам примера особого слова *яворъ* нигде не идентифицируется и не описывается, но о нем можно составить определенное представление косвенным путем на основании контекста достаточно пространной цитаты, имеющейся в упомянутой картотеке: ...**коси**^{т} **на триста копе**^{н} **и яворы г**^{с}**не с той нѣговы полѧны ро**^{з}**вози**^{л} **а было на неи се**^{м} **яворо**^{в} **а ка**^{к} **г**^{с}**не тꙋ землю паше**^{т} **и лꙋги коси**^{т} **и яворы ро**^{з}**вози**^{л} **томꙋ се**^{м} **лѣ**^{т}... (Правая Рязанского писца Покр. м-рю, № 81. 1523—1524 гг.). Отсюда как будто явствует, что слово *яворъ* означало ‘кладь сена (приспособленная для перевозки)’, ср. указание на то, что именно я в о р ы развозились с полян и лугов. Наши

---

[9] *K. Būga.* Rinktiniai raštai. T. I. Vilnius, 1958. S. 370—371; T. II. S. 451—452; *E. Fraenkel.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg; Göttingen, 1962. S. 519.

[10] Vasmer III. S. 478.

[11] Berneker I. S. 429.

данные говорят о том, что это изолированная лексема, полные соответствия которой неизвестны ни из русского, ни из других славянских языков. Вместе с тем есть основания полагать, что перед нами древнее слово. Др.-рус. *яворъ* 'кладь сена', ранее как будто не этимологизировавшееся, мы объясняем как сложение приименного префикса *а-* и основы **vorъ*, отглагольного производного от **vьrěti* 'запирать', которое широко встречается в славянской лексике как в связанном виде (**zavorъ*, **otvorъ*, **obvora*, ж. р.), так и в свободном употреблении — **vorъ*, ср. польск. *wór* 'мешок'. Семантика этой основы вполне соответствует видимому значению др.-рус. *яворъ* 'увязанная кладь'. Для дальнейшего сравнения с реконструируемым **avorъ* II 'увязанная кладь' (при этом имеется в виду, что за **avorъ* I мы принимаем праславянскую форму омонимичного названия дерева, упоминавшегося выше) целесообразно привлечь греч. ἄορον-μοχλόν, πυλῶνα, θυρωρόν. Κύπριοι (Гесихий). В греческом этимологическом словаре Фриска это диалектное кипрское название дверного запора сближается в первую очередь со ст.-слав. **за-воръ** в том же значении [12]. Однако думается, что еще более близким соответствием греч. ἄορον, вин. п. ед. ч. от *ἄορος, является праслав. диал. **avorъ* II в описанном выше значении. Фриск анализирует греческое слово как **sm̥-u̯oros*, но исходный для этого имени греческий глагол ἀείρω 'связывать' встречается последовательно т о л ь к о с приставкой σύν (что было бы при условии упомянутой этимологии плеоназмом), а разные случаи употребления именной основы -αορ- показывают долготу -α-, что также говорит против объяснения -α- < *-m̥-* и скорее в пользу **ā-u̯oros*. Предложенная нами этимология дает полное лексико-словообразовательное греческо-славянское соответствие для одного из разбираемых в настоящей статье именных сложений с приставкой *а-*. Правда, обычно праслав. *а-* префиксальное трактуется как продолжение и.-е. **ō* / **ē* и соответствие греч. ω-, что сообщает определенную проблематичность сближению праслав. **avorъ* II с греч. *ἄ-ϝορος. В остальном функциональное тождество праславянских префиксальных сложений **a-vorъ* и **za-vorъ*, близко напоминающее случаи **aduxa* : **zaduxa* и **apadь* : **zapadь* (см. выше), позволяет нам поставить **avorъ* II в один ряд с прочими известными случаями употребления этого префикса.

[12] *Hj. Frisk.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 2. Heidelberg, 1954. S. 117.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД СТРАТИГРАФИЕЙ РАННЕЙ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ТОПОНИМИИ

Подобно тому как начальная древнерусская летопись занимает выдающееся место среди источников по истории и этногенезу всех славянских народов, точно так же в исследовании всей славянской топонимии в целом выдающееся место принадлежит материалу восточнославянской (русской, украинской, белорусской) топонимии. Мы утверждаем это, считаясь с тем фактом, что сама восточнославянская топонимия изучена еще недостаточно, далее — с тем, что слависты разных стран склонны придавать ключевое значение другим славянским территориям, которые, к тому же, оказываются лучше исследованными.

Значение исторического изучения топонимии не нуждается в доказательствах, и это хорошо поняли (едва ли не раньше лингвистов) историки. Действительно, говорим ли мы о древнейшей прародине славян или о последующих славянских племенных миграциях раннеисторического времени, мы должны внимательно учитывать показания топонимии. Восточнославянская топонимия многослойна, как практически и всякая другая исторически сложившаяся естественная топонимия. Наличие в ней, кроме основного славянского слоя, также балтийских, иранских, финно-угорских, тюркских и других инородных элементов хорошо известно. Однако было бы, наверное, заблуждением считать, что внутри славянского слоя восточнославянской топонимии мы имеем дело с однородными в этнолингвистическом отношении образованиями.

Эта статья посвящена славянскому компоненту восточнославянской топонимии и при этом — конкретно стратиграфии, описанию слоев славянских образований восточнославянской топонимии. Речь идет не об оформлении украинской, белорусской, русской топонимии из первоначально единой

древнерусской (= восточнославянской) топонимии, как это казалось бы естественным понимать в свете известных положений восточнославянского исторического языкознания. Мы по возможности старались исходить из понятия древнедиалектного континуума, предшествовавшего известному триединому членению восточного славянства. Судить о таких обширных проблемах исторического славяноведения через призму топонимии, к тому же в рамках небольшой статьи, можно, естественно, только в предварительном порядке, хотя бы в плане постановки вопроса. Тем не менее, это представилось нам интересным и целесообразным, поскольку речь идет о слабо разработанной проблематике. Только систематическое исследование ранней восточнославянской топонимии на фоне широких сравнений с топонимией других славянских территорий способно дать материал для решения важнейших вопросов славянской языковой и этнической истории и одновременно приблизить нас к конкретному изучению праславянской топонимии.

Существующие единичные работы, выдвигающие мысль об инославянских включениях в древнерусской топонимии, не получили отклика в нашей литературе и, можно думать, недостаточно известны нашей филологической общественности, как, например, исследования Буяка и Чекановского, хотя, казалось бы, работы этих польских ученых (см. о них подробнее ниже) должны были оказаться в центре внимания нашей науки, потому что в них рассматривается столь важный для русской (и восточнославянской) исторической диалектологии вопрос о радимичах и вятичах. Помимо этих исследований ученых-нелингвистов, а также помимо различных суждений других историков и археологов, мы имеем несколько весьма фрагментарных разработок древневосточнославянской топонимии в лингвистической литературе, ср. статьи Клейбера и Роспонда о названиях некоторых городов Древней Руси, Арумаа — об одном словообразовательном типе восточнославянской гидронимии [1]. Фрагментарность некоторых из этих работ не могла не сказаться отрицательно на их научных результатах. Так, тезис Арумаа о преимущественно восточнославянском характере гидронимических образований на эпентетическое *l'*, поддержанный А. П. Корепановой [2], нуждается по меньшей мере в проверке на материале словообразования топо- и гидронимии других славянских территорий, но уже сейчас можно сказать, что такие безусловно

[1] *Б. Клейбер*. Два древнерусских местных названия // Scando-Slavica. V. С. 132 и след.; *Б. Клейбер*. Искоростѣнь // Scando-Slavica. VI. С. 124 и след.; *С. Роспонд*. Значение древнерусской ономастики для истории (К этимологии топонима *Киев*) // ВЯ. 1968, № 1. С. 103 и след.; *P. Arumaa*. Die ostslavischen Gewässernamen mit l' epentheticum // Festschrift für Max Vasmer. Wiesbaden, 1956. S. 47.

[2] *А. П. Корепанова*. Словообразование гидронимов бассейна Нижней Десны / Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1969. С. 12.

древние тождества, содержащие *l'* epentheticum, как вост.-слав. *Тушемля* — сербохор. *Тушимља*, др.-рус. *Теребовль* — чеш. *Třebovle*, заставляют говорить об общеславянском типе на *l'* epentheticum.

В силу специфики отражения в древнерусских текстах до нас дошли в более или менее систематичном виде письменные свидетельства прежде всего о названиях городов. Поэтому, говоря о ранневосточнославянской топонимии, мы в подавляющем большинстве случаев имеем в виду названия городов. К названию древнего города, естественно, близко примыкает название урочища или того или иного водного объекта, подчас не нашедшего отражения в памятниках письменности, что объясняет принципы привлечения упоминаемых и разбираемых нами далее названий. Основной же материал, на котором мы строим свои наблюдения по стратиграфии ранневосточнославянской топонимии, — это названия древнерусских городов, настоятельно нуждающиеся в этимологизации и в славистическом лингвистическом анализе. Основными научными достижениям в области исследования древнерусских городов и частично — их ономастики мы обязаны нашим историкам и археологам, в особенности — М. Н. Тихомирову и Б. А. Рыбакову, к фундаментальным трудам которых должен обращаться каждый лингвист, интересующийся данной проблемой[3]. Вполне понятно, что накопленный историками материал требует лингвистической критики, о чем см. также ниже.

Дошедшая до нас в письменных свидетельствах ранняя восточнославянская топонимия обладает довольно своеобразным обликом, и вместе с тем в ее составе даже при первом знакомстве легко выделяется слой общеславянских элементов. Под этими последними уместно понимать древнеславянские элементы широкого распространения без четких местных признаков, т. е. некоторый аналог «древнеевропейской гидронимии» Краэ. Мы имеем в виду не банальные случаи топонимического употребления общеславянской нарицательной лексики, а исключительно топонимические образования, ср. вост.-слав. *Дорогобуж* — чеш. *Drahobuz* — сербохорв. *Драгобужд*, где представлено посессивное иотовое производное от личного имени собственного **Dorgobǫdъ*. Другой пример общеславянского элемента в ран-

---

[3] См. *М. Н. Тихомиров*. Древнерусские города. 2-е изд, доп. и перераб. М., 1956; *Б. А. Рыбаков*. Схематическая карта населенных пунктов домонгольской Руси, упоминаемых в русских письменных источниках // История культуры Древней Руси. Домонгольский период. I. Материальная культура / Под общ. ред. Б. Д. Грекова и М. И. Артамонова; *Б. А. Рыбаков*. Древнерусский город по археологическим данным // Изв. АН СССР. Серия история и философии. Т. VII. № 3. 1950. С. 239 и след.; *Б. А. Рыбаков*. Вщиж — удельный город XII века // КСИИМК. XLI. 1951. С. 56 и след.; *Б. А. Рыбаков*. Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж // По следам древних культур. Древняя Русь. М., 1953.

ней восточнославянской топонимии — название реки *Лупоголова* в бассейне Верхнего Поднепровья, которое единственно правильно может быть понято как сложение глагольной и именной основ с древней семантикой 'лупить, срывать голову', сюда же сербохорватские топонимы *Лупоглав*, *Лупоглаво*, словен. *Lipoglav*, *Luppoglau*, ст.-чеш. *Lupiglaa* у баварского географа [4].

Для ранней восточнославянской топонимии древнедиалектной эпохи вполне актуальным остается также выделение восточнославянских элементов, т. е. таких, которые объясняются только из восточнославянской апеллативной лексики. Пожалуй, наиболее яркий пример мы видим в названии древнерусского города *Вздвиждень* / *Здвиждень* / *Звиждень*, упоминаемого летописью еще в XI в. [5], в знаменитом летописном рассказе об ослеплении Василька (Лаврентьевская летопись под 1097 г. = ПСРЛ. Т. 1. М., 1962. С. 262). Миклошич ошибочно толковал форму **Звиждени городѣ**, сближая ее с названием *Звенигород* и ст.-слав. **звьнѣти** 'звенеть' [6], тогда как на самом деле мы имеем здесь суффиксальное производное от названия реки *Здвижа*, чисто апеллативного и к тому же исключительно украинского локализма по своей природе. Лексема *здвиг*, *здвиіж* 'топь, трясина' известна как раз только в говорах украинской части Восточного Полесья [7], следовательно, той территории, на которой стоял летописный *Вздвиждень*, ср. и «Схематическую карту» Б. А. Рыбакова (цит. выше).

Исследуя названия городов Древней Руси, нельзя упускать из виду наличие следов несомненного западнославянского, польского происхождения, в особенности среди названий червенских городов, из которых мы здесь упомянем *Белз* и *Шеполь*. *Белз*, название города на древнем восточнославянско-польском пограничье (польск. *Bełz*), имеет явные признаки полонизма, поскольку исконная восточнославянская форма от исходного **bъlzъ* имела бы вид **болз*, укр. **бовз* [8].

Территориально недалекий *Шеполь* (см. Б. А. Рыбаков, цит. карта), известный в летописи с XI в.[9], обнаруживает в своем названии совершенно недвусмысленные польские или западнославянские фонетические черты, отра-

---

[4] Ср., с отличиями в толковании, *F. Bezlaj.* Slovenska vodna imena. II. del. Ljubljana, 1961. S. 279; *F. Bezlaj.* Onomastika in leksikologija // Onomastica jugoslavica. I. Ljubljana, 1969. S. 12—13; *S. Rospond.* Struktura pierwotnych etnonimów słowiańskich // Rocznik slawistyczny. T. XXIX. Cz. I. S. 11.

[5] *М. Н. Тихомиров.* Указ. соч. С. 33.

[6] *F. Miklosich.* Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen. II. Wien,1874. S. 122.

[7] *Н. И. Толстой.* Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969. С. 183.

[8] *О. Н. Трубачев.* Названия рек Правобережной Украины. М., 1968. С. 280.

[9] *М. Н. Тихомиров.* Указ. соч. С. 34.

жая, во-первых, упрощение первоначального зап.-слав. **všepol*, ср. чеш. *Všebor* > *Šebor*, *Všeslav* > *Šeslav* [10]. Во-вторых, название *Шеполь* содержит типичную западнославянскую форму местоимения 'omnis' — *vše-* < *vьxe-* < *vьse-*. Таким образом, исконно восточнославянское название имело бы в этом случае форму **Всеполь* (словообразовательная модель др.-рус. *Треполь*, *Триполье*).

Особое же внимание надо обратить на такие восточнославянские названия, которые не имеют связей в восточнославянской ономастике и нарицательной лексике и, не будучи заимствованиями, обнаруживают, с одной стороны, южнославянские ассоциации, с другой стороны — западнославянские ассоциации. Если факты такого рода действительно представлены в восточнославянской ономастике (см. ниже), то интересно предпринять попытку их лингвистической и географической группировки. К числу названий с южнославянскими ассоциациями мы относим названия городов *Мозырь*, известно в летописи с XII в. [11], *Канев*, известно приблизительно с того же времени [12], название реки *Рыла* в Курской области, откуда назван город *Рыльск*, тоже известный с XII в.[13].

Топоним *Мозырь*, недостаточно ясный этимологически на восточнославянской почве, обнаруживает практически полное тождество со словенским местным названием *Mozirje*, ср. еще словен. диал. *mozȋrje* 'болото' [14]. Название города *Канев* тождественно сербохорватскому топониму *Kanjev* [15], Восточнославянский гидроним *Рыла*, по-видимому, соответствует болгарскому названию гор *Рила* [16]. Названия *Мозырь*, *Канев* и *Рыла* / *Рыльск* находятся более или менее точно в зоне Среднего Поднепровья. Раньше уже указывалось на связь ряда речных названий Среднего Поднепровья, Побужья и Поднестровья с южнославянской ономастикой [17].

Главный вопрос для настоящей статьи (в том числе и по количеству привлеченного материала) представляют восточнославянские названия с западнославянскими ассоциациями. Особое положение этой последней проблемы объясняется также тем, что ее разработка имеет свою историю в научной литературе. В русской лингвистической литературе это прежде всего проблема «ляшского» происхождения древнерусских племен радимичей и вятичей и

---

[10] См. *J. Svoboda*. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha, 1964. S. 84.
[11] *М. Н. Тихомиров*. Указ. соч. С. 38.
[12] Там же. С. 37.
[13] Там же. С. 38.
[14] *F. Bezlaj*. Slovenska vodna imena. II. del. S. 37.
[15] См. *О. Н. Трубачев*. Указ. соч. С. 284.
[16] *А. И. Ященко*. Гидронимический словарь Курской области / Дисс. … канд. филол. наук (машинопись). Л., 1964.
[17] *О. Н. Трубачев*. Указ. соч. С. 272.

«ляшских» черт в русских народных говорах. Эта проблема изучалась, главным образом, А. А. Шахматовым в ряде работ и притом — с чисто лингвистической стороны, хотя и на базе анализа летописных сообщений. Шахматов широко оперирует летописными сведениями, говорящими, по его мнению, прежде всего о польском, ляшском происхождении радимичей (**быша же радимичи отъ рода ляховъ**...), правда, в его исторической концепции взаимоотношений и перемещений радимичей и вятичей немалую роль играет конструкция, т. е. построение, основанное больше на логических рассуждениях, чем на прямом летописном факте, ср. мысль Шахматова о первоначальном сидении вятичей далеко на юге, вплоть до Азовского моря, с последующей миграцией к северо-западу и оттеснением радимичей — единственно ляшских племен Древней Руси, по Шахматову. В тесной связи с ляшским происхождением последних и как польское влияние Шахматов рассматривает великорусское диалектное смешение шипящих и свистящих, белорусское цеканье и дзеканье, русское диалектное отвердение *р* и сохранение старого *дл* вместо обычного его упрощения в *л*. Таковы, с небольшими колебаниями (главным образом в том, что касается взаимоотношений самих радимичей и вятичей), представления Шахматова по данному вопросу [18].

Остается удивляться, почему Шахматов, при своем постоянном, основательном интересе к плану исторической географии, оставил без внимания «язык земли» — топонимию, использованием которой потом так широко занялись в основном польские историки. Шахматов же совершенно не коснулся вопроса о составах топонимии Польши и тех земель, где, по летописи, сидели радимичи и вятичи.

Историки и археологи славянских стран уже давно обращаются к проблеме этногенеза радимичей и вятичей. Здесь достаточно назвать выдающегося чешского археолога и исследователя славянских древностей Л. Нидерле. Основой анализа Нидерле, как, естественно, и других исследователей проблемы, служит один и тот же рассказ древнерусской начальной летописи, который мы приведем полностью ввиду его краткости и важности:

Радимичи бо и Вятичи ѿ Ляховъ· бяста бо ·в҃· брата в Лясѣх. Радимъ· а другому Вя^тко// и пришедьша· сѣдоста Радимъ на Съжю· [н]прозв[а]шася Радимичи· а Вятъко сѣде съ родомъ своимъ по Ѡцѣ· ѿ негоже прозвашася Вятичи·... (Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1. М., 1962. С. 12).

---

[18] *А. А. Шахматов*. Древние ляшские поселения в России // Славянство. Спб., 1911. № 4. С. 9 и след.; *А. А. Шахматов*. Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916. С. 56 и след., с. 101—102; *А. А. Шахматов*. Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919. С. 37—38.

Нидерле тоже придает серьезное значение этому летописному сведению, но для него вопрос *действительно ли радимичи и вятичи были польского происхождения?* не решен окончательно, и, допуская с некоторыми критическими оговорками правдоподобность такой версии, он заключает: «Впрочем формула “радимичи и вятичи от ляхов” не обязательно значит, что они пришли из Польши и представляли собой непосредственно польские племена, но скорее только то, что они пришли от ляхов, т. е. из польских краев. Похоже, в самом деле, на то, что предки радимичей, как и дреговичей, первоначально сидели в славянской прародине рядом с поляками, будучи под польским влиянием, образуя как бы переходный пояс от поляков к русским, откуда они распространились на восток и вклинились между остальными северными и южными русскими племенами» [19]. Но особенный интерес проявили к судьбе радимичей и вятичей польские историки и прежде всего — Ф. Буяк, посвятивший вопросу целое исследование [20]. Обобщив результаты предшествующих авторов, в их числе — археолога Рыбакова и, главным образом, А. А. Шахматова, Буяк отстаивает мысль, что радимичи в буквальном смысле от (рода) ляхов, т. е. польское племя. При этом он аргументирует свое положение, широко привлекая, в отличие от других ученых, топонимию соответствующих земель. Нельзя не признать, что эти материалы в целом заслуживают самого внимательного изучения, поэтому мы даем ниже сопоставления Буяка (с. 80 и след., причем первый член пары — название из радимичской или вятичской области, а второй член — польское название): *Будогощь — Bydgoszcz, Хотымль — Chotom, Чичерск — Cieciersk, Чериков — Czeruchy, Дроков — Drochowo, Гомии (Гомель) — Chomęc, Лучин — Łączyno, Мглин — Głowino (Mglow), Пропошеск — Przypust, Радомль — Radzim, Рясна — Raszny, Речица — Rzeczyca, Стрежев (Стрешин) — Strzyżew, Жеремин — Żeromin, Жерынь — Żerań, Быхова — Biechowo, Сырск — Syrsko, Sirsko, Скварск — Skwary, Унеча — Unieck, Вендорож — Wendrogow, Белев — Bielewo, Бельск — Bielsk, Дебрянск / Брянск — Dobrzyń, Брынь — Brańsk / Breńsk, Ярышев — Jaroszewo, Калуга — Kaługa, Карачев — Kroczewo, Кром / Кромы — Kromnów, Козельск — Kozielsk, Любынск — Lubin, Мценск — Pomcino, Мещеск / Мезеческ — Mieszczk, Перевитеск — Przywitowo, Росус — Rosos, Руза — Ruziec, Сереньск — Szreńsk, Серпейск — Sierpc, Тула — Tuł, Czarnotuł, Kozietuły, Przytuły, Вердерево — Wirdelew, Воротынск — Wrotynia, Воин — Wojny, Москва — Moskiew, Коломна / Коломно — Kołomia, Серпухов — Sierzputy, Воробьин — Wróblewo, Wróblin, Вщиж — Uściąż / Uściądz, Куява — Kujawa,*

[19] *L. Niederle*. Rukověť slovanských starožitností. Praha, 1953. S. 168.

[20] *F. Bujak*. Skąd przyszli Radymicze i Wjatycze na Ruś? // Światowit. T. XX. Warszawa, 1949. S. 59—114.

Ретяжи — *Raciąż*, *Красносельск* — *Krasnosiele*, *Загробской стан* — *Zagroba*, *Холм*, *Холмец*, *Красный Холм* — *Chełmno*, *Chełmy*, *Chełmiec*, *Неготино* — *Niegocino*, *Хомутово* — *Chomętowo*, *Глазово* — *Głazowo*, *Гостичи* — *Gościce*, *Гощь* — *Goszczk*, *Лунево* — *Łuniewo*, *Городня* — *Grodnia*, *Ямно* — *Jamne*, *Ливны* — *Liwin*, *Рехта* — *Rzachta*.

Огромное большинство польских названий Буяк собрал для этого списка на территории Мазовша и Хелминской земли. При оценке собственных сопоставлений автор вполне здраво рассудил, что доказательным может считаться не то или иное соответствие, а весь комплекс названий, случайность повторения его исключается и едва ли где-нибудь в другой части славянской территории может быть обнаружена вся эта совокупность в полном составе.

Тем не менее, все зависит от точности отбора соответствий, и здесь, к сожалению, сказалось то обстоятельство, что автор не является лингвистом. Фонетически и этимологически неточные соответствия должны быть поэтому в первую очередь сняты, что едва ли послужит ослаблению доказательной силы данного перечня, некритично приводимого полностью отдельными польскими учеными[21]. Так, к неточным относятся (в порядке перечня) *Чичерск* — *Cieciersk* (ожидалось бы польск. **Czyczersk*, **Czeczersk*); *Гомель* — *Chomęc* (польская форма — не что иное как иотовое производное от основы *chomęt-*, с которой *Гомель* не может иметь ничего общего); элементарно неприемлемо, далее, сопоставление *Рясна* — *Raszny*; сопоставление *Белев* — *Bielewo* не считается с древними формами русского названия — Блеве и др., возможно, дославянского происхождения[22]; сближение *Серпухов* — *Sierzputy* отпадает ввиду того, что польское название — особого, видимо, балтийского происхождения, тогда как рус. *Серпух-ов* обнаруживает отчетливо русское, славянское словообразование от славянской же основы; изолированное сближение *Рехта* — *Rzachta* тоже ни о чем само по себе не говорит, так как *Рехта* нельзя отрывать от сосуществующих с ним в Верхнем Поднепровье вариантов *Ректа*, *Реста*, *Риста*, *Рышты*, которые, скорее всего, — дославянского, балтийского происхождения[23]. Привислинское *Rzakta* / *Rzachta* тоже, по-видимому, примыкает к этому балтийскому ареалу и для выводов о перемещении радимичей и вятичей использовано быть не может. Далее, как признает и сам автор, те из соответствий, которые произведены от употребительных нарицательных слов и от известных личных имен, не имеют сами по себе доказательной силы (см. с. 89 работы Буяка). Поэтому мы

---

[21] *J. Czekanowski.* Wstęp do historii Słowian. Wyd. 2. Poznań, 1957. S. 197.

[22] См. *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 167, 177.

[23] *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев.* Указ. соч. С. 204—205.

опустим в этом перечне *Речица* (известно в разных частях славянской территории), *Калуга* (чистый апеллатив), *Росус* (собственно, по-видимому, — *Россошь*, ср. украинские топонимы типа *Росош*, перерезающие всю Украину с запада на восток и имеющие продолжения как на западе, в Польше, так и на востоке, в России, с семантикой 'развилка' или 'раскидистое дерево' [24]), *Воин*, *Холм*, *Дебрянск* (как и его польское соответствие у Буяка, представляет собой независимое производное от широко распространенного у славян апеллатива, обозначающего 'овраг, ущелье'). Не останавливаясь здесь на некоторых других случаях, когда исключительность ареала, предполагаемая польским ученым, по меньшей мере сомнительна и заслуживала бы проверки, мы не видим необходимости сохранить в списке те радимичско-вятичские топонимы, соответствия которым из польской топонимии, подобранные Буяком, похожи, скорее, на случайные созвучия: *Чериков*, *Дроков*, *Мглин*, *Быхова*, *Мценск*, *Руза*, *Серпейск* (их предполагаемые польские параллели см. выше).

Можно, однако, выделить пары: *Будогощь* — *Bydgoszcz*, *Хотымль* — *Chotom*, *Вендорож* — *Wendrogow*, *Сереньск* — *Szreńsk*, *Тула* — *Tuł* (и другие польские образования этого гнезда, см. выше), *Вердерево* — *Wirdelew*, *Воротынск* — *Wrotynia*, *Москва* — *Moskiew*, *Коломна* / *Коломно* — *Kołomia*, *Вщиж* — *Uściąż* / *Uściądz*, *Куява* — *Kujawa*, *Ретяжи* — *Raciąż*.

На некоторых из них мы остановимся специально ниже, поскольку сам автор оставляет свои сопоставления фактически без лингвистических комментариев, колеблется там, где, на наш взгляд, идет речь о перспективных сравнениях (например сближая *Коломна* — *Kołomia*, он нерешительно добавляет: «...если это не совершенно различные слова», с. 85 статьи), и вообще ставит довольно механически в один ряд ценные сравнения и ошибочные, случайные. При первом же взгляде на оставленные нами в списке соответствия обращает на себя внимание их очевидная старина, отсутствие здесь заметных новообразований и продуктивных типов и, наоборот, присутствие древних антропонимических основ, включая довольно редкие корни (*Вендорож*, *Вердерево*).

Любопытно отметить, что этимологи, занимавшиеся названием *Москва* [25], прошли мимо его близости с названием деревни *Moskiew* у южных границ Мазовша, привлекая для сравнения более отдаленную западнославянскую ономастику и апеллативную лексику (не говоря о балтийских, финских и прочих сравнениях). Польск. *Moskiew*, как и русская форма, продолжает ста-

---

[24] Ср. *Ю. О. Карпенко.* Рошош (Роша), Рошешний, Росошани Чернівецької області та споріднені топонімічні назви УРСР // I республіканська топонімічна нарада. Тези доповідей та виступів. Київ, 1959. С. 56 и след.

[25] См. *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1967. С. 660.

рую основу на *-ū-*. Равным образом, без упоминания близкого польского топонима *Tuł*, но лишь путем соотнесения с апеллативным рус. *тула́* 'прибежище', *тули́ть* этимологизируют название города *Тула*[26]. Особую важность для нас представляет случай с названием *Коломна*, когда сравнение с польским топонимом у Буяка подводит к этимологии, а также включает это образование в более широкую совокупность с западнославянскими ассоциациями. *Коломна* — название города, известное с конца XII в., — нельзя производить от рус. диал. *коло́мень* 'окрестность', как обычно думают[27], так как слово *коломень* образовано от *коло* с суффиксом *-мень*, который не знает формы *-мн-*. Форму *Коломна* мы объясняем из первоначального праславянского **kolo-tyja*, субстантивно-глагольного сложения (ср. нарицательное польск. *kołotyje* 'глубокие колеи, выбоины, наполненные водой'[28]), которое на русской почве закономерно изменилось в **коломъя* (*-ъ-* напряженное) > **коломья* с вторичным, неорганическим развитием эпентетического *-н-* после *-м-* или, как это еще трактуют, — с выделением мягкости *-м-* перед непередним гласным в особую артикуляцию *-н-*, что типично для ряда украинских диалектов (например *сімня*, *вимня*)[29], но выступало также, по-видимому, с достаточно раннего времени и в русских говорах. Об этом, между прочим, свидетельствует этимология слова *скамья́*, диал. *скамля́* (Даль), укр. *скам'я́*, *скамня́*, *скамна́*, заимствованного через греческое посредство из лат. *scatna*, мн. ч. от *scatnum* 'скамья'. О ранней вариантности исходов *-мья/-мня/-мна* объективно свидетельствует горномарийск. *skatńa*, заимствованное из русского[30]. Таким образом, мы объясняем форму *Коломна* из **коломня* как окончательную утрату мягкости или как морфологическое смешение твердой и мягкой основ на базе омонимии форм косвенных падежей[31]. Вероятность реконструкции в данном случае древнего географического термина со словообразовательной моделью «именная основа + *-tyja*» и распространением на части восточнославянской и части западнославянской территории подтверждается достаточно красноречиво формой гидронима *Челомна*, правого притока Упы[32]. Название *Челомна*, насколько нам известно, вообще до сих пор не этимологизировалось: оно может быть истолковано по той же схеме, что и *Коломна* (см. выше): *Челомна* < **челомня* < **челомья* < **челомъя* < **čelo-tyja*

[26] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. III. S. 150.

[27] *М. Фасмер.* Указ. словарь. Т. II. С. 294. Предложено еще Далем.

[28] *F. Miklosich.* Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen. II. Wien, 1874. S. 42.

[29] *Л. Э. Калнынь.* Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем в славянских языках. М., 1961. С. 54.

[30] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. II. S. 632.

[31] В свете сказанного, вариант *Коломно* вторичен морфологически.

[32] *Г. П. Смолицкая.* Список рек бассейна реки Оки (рукопись).

'(поток, в котором) чело моют', ср. этимологически тождественную украинскую фамилию *Челомей*[33].

Этимологически удачна содержащаяся у Буяка беглая идентификация *Вщиж* и *Uściąż* / *Uściądz*, название деревни на Висле, в Пулавском повяте (с. 35 статьи Буяка). Древнерусский город Вщиж (Въсчижь, Въщижь, Вощижъ, Вжищ, Щиж), известный с 1142 г.[34], ныне село на реке Десне неподалеку от Брянска, известный своим кратковременным возвышением в истории Древней Руси, неоднократно привлекал внимание историков. Этимологией его названия лингвисты как будто не занимались. В своей распространенной форме название *Вщиж* выглядит довольно темным, поэтому будет интересно познакомиться с суждением на этот счет известного исследователя материальных древностей Вщижа Б. А. Рыбакова, который подошел близко к истинной этимологии этого названия: «Название города Вьсчижь должно было произноситься в древности как Усчиж, так как летопись дает нам много примеров такой замены: Въсвять — Усват, Въслонимь — Условим, Въсохь — Усох и т. п. Возможно, что имя городка дано по ручью (ныне безымянному), у устья которого он расположен. Современное народное название тождественно летописному Усьчиж»[35]. И далее: «В эту новую эпоху (переход от юхновской культуры к роменской, с VIII в. н. э. — *О. Т.*) по соседству с древним святилищем, на другом берегу устья ручья, на высоком и просторном мысу возникло большое село "Вьсчижь" (может быть, Устьчиж?)»[36]. Мы реконструируем название *Вщиж* как **Устижь*, производное от основы *уст-*, *устье* с суффиксом *-иж-*, встречающимся в старой восточнославянской топонимии и гидронимии, ср. *Велиж*, *Велижа*, *Мстиже*[37], *Семижа*[38], *Гостижа*, *Очижа*, *Серижа*, *Добрижа*[39]. За некоторыми сомнительными исключениями, это, по-видимому, старые славянские названия, распространенные по Десне, притокам Верхнего Днепра вплоть до Западной Двины. Сюда же, вероятно, примыкают с суффиксом *-еж- Мележа* (в Поочье), *Сенеж*, озеро в Подмосковье (последнее название этимологизировалось, едва ли убедительно, из финско-

---

[33] *Ю. К. Редько.* (Сучасні українські прізвища. Київ, 1966; Довідник українських прізвищ. Київ, 1969) не дает фамилии *Челомей* / *Чоломий*/*-ей*.

[34] *М. Н. Тихомиров.* Указ. соч. С. 349.

[35] *Б. А. Рыбаков.* Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж // По следам древних культур. Древняя Русь. М., 1953. С. 100.

[36] Там же. С. 113.

[37] Russisches geographisches Namenbuch / Hrsg. von M. Vasmer. Bd. II. Lief. I. Wiesbaden, 1965. S. 24; Wörterbuch der russischen Gewässernamen / Unter Leitung von M. Vasmer. I. Berlin; Wiesbaden, 1961. S. 276, 334.

[38] Россия / Под редакцией В. П. Семенова. Т. IX. СПб., 1905. С. 358.

[39] *В. Н. Топоров*, *О. Н. Трубачев.* Указ. соч. С. 153

го), а на юге — *Любеж*, *Теребеж*, *Трубеж*, в то время как производных на *-иж-* к югу от Припяти и Десны мы не знаем.

Этимология названия *Вщиж* служит примером того, как необходимо топонимической этимологии учитывать данные диалектологии. Выше уже указывалось (Б. А. Рыбаков) на зафиксированную памятниками письменности вариантность начальных *у-* и *в-* для целого ряда топонимических названий. Именно ее и отразило название *Вщиж* на Брянщине, диалекты которой знают (как знали, по-видимому, и в начале нашего тысячелетия) билабиальное *w-* < *в-* перед последующим согласным и проистекающую отсюда вариантность *у-* этимологического и *в-*. Точно так же возможна в местных диалектных условиях интенсивного смягчения групп согласных и замены свистящих шипящими (откуда, например, брян. диал. *шл'имáк*, *брушн'úцы*, *чалéшн'ик*) вариантность *ст'/шч*, восстановление *ст'* на базе известного *шч*, *щ* (например *аб'аст'úт'* 'пообещать', выведенное из *обещáть*[40]), наконец — обратное явление, когда на месте закономерного *ст'* (**Устиж*) развилось *щ*, как в нашем случае: *Вщиж*, современное народное *Усьчиж*. Польск. *Uściąż*, тождественное нашему *Вщиж* этимологически, содержит суффикс с носовым гласным, что может быть вызвано вторичной назализацией или может представлять вариант суффиксального оформления.

Наконец, специального упоминания требует еще одно наблюдение называвшихся выше польских ученых — популярность топонимических образований с суффиксом *-ьsk-* как на Севере Польши, так и в России — на древних радимичско-вятичских землях. В последнее время славянским топонимам на *-ьsk-* посвятил целую монографию Роспонд. Здесь нас интересует тот вывод автора, который как раз провозглашает общую продуктивность топонимического типа на *-ьsk-* для Севера Польши и в первую очередь — Северной Руси[41]. Конечно, тут обращает на себя внимание то обстоятельство, что границы ареала продуктивности отмеченного типа у Роспонда гораздо более расплывчаты, во всякой случае они значительно шире, чем область исключительно мазовецко-радимичско-вятичских схождений у Буяка, продуктивность топонимического *-ьsk-* охватывает, по Роспонду, почти всё севернославянское пространство. Названные выше проблемы (сепаратные западнославянско-древнерусские топонимические связи, эволюция продуктивности топонимического *-ьsk-* и смысл этой эволюции) претерпевают различную трактовку с течением времени, особенно же — с притоком нового материала. Всё это бу-

[40] *А. Б. Пеньковский.* Фонетика говоров Западной Брянщины / Канд. дисс. (машинопись). Т. II. Владимир, 1966. С. 91, сн. 2; с. 104.

[41] *S. Rospond.* Słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem *-ьsk-*. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1969. S. 367, 387.

дет непрерывно уточнять, конкретизировать, менять картину этих отношений, бесспорно интересных и крайне важных для познания древнедиалектных связей восточнославянских народов и их языков.

Ниже, в заключение статьи, мы хотели бы дополнить обсуждавшиеся ранее западнославянско-восточнославянские топонимические связи некоторым новым материалом, который, как нам кажется, может повлиять на «ляшскую» проблему, по крайней мере — на ее топонимический аспект. Нами выделяется еще несколько сепаратных соответствий, которые как бы подключаются к польско-восточнославянским схождениям рассмотренного вида, одновременно меняя их характер. С восточнославянской стороны соответствия эти приходятся на уже знакомую территорию былых радимичских и вятичских земель, с заметной группировкой в Подмосковье, где, как известно, проходила северная граница вятичей [42]. С западнославянской стороны новые соответствия приходятся частью на Польшу, особенно же заметное сгущение наблюдается в Чехии, в самом узком смысле слова. Уже изучение приводившегося выше списка Буяка наталкивало на мысль о том, что отдельные соответствия не менее убедительно могут быть прослежены на чешском материале (ср., например, для русского гидронима *Унеча*). Ниже характеризуются несколько исключительно чешско-восточнославянских топонимических пар, которые замечательны не количеством, а своим оригинальным образованием от малоизвестных или вообще неизвестных в свободном апеллативном, антропонимическом употреблении основ у восточных славян, что как бы гарантирует давнюю потерю продуктивности и древность самих образований, а также, в свою очередь, — интенсивность языковых отношений, стоящих за этими фактами ономастики. Если намечаемые здесь поиски находятся на правильном пути, то это могло бы позволить по-иному, шире взглянуть на путь радимичей и вятичей, а именно — не «от рода ляхов», а из ляшских, западных краев (ср. выше Нидерле). Но переходим к самим соответствиям.

Люберцы — название станции Рязанской железной дороги в непосредственной близости от Москвы, бывшее удельное село, «в далеком прошлом — деревня *Либерицы*» [43]. Более или менее проблематично близкую форму наблюдаем еще только в названии озера *Любероцкое*, *Любороцкое*, близ устья Мсты, бывшая Новгородская губерния [44]. Но полное историческое тождество подмосковному топониму *Люберцы* обнаруживает чеш. *Libořice*, в XIV в. — villa *Luboricz*, сюда же польский топоним *Luborzyce* и более отдаленный —

[42] *А. В. Арциховский.* Курганы вятичей. М., 1930. С. 128.

[43] Все Подмосковье. Географический словарь Московской области / Под ред. Н. А. Солнцева. М., 1967. С. 166—167.

[44] *M. Vasmer.* Wörterbuch der russischen Gewässernamen. III. S. 160.

Luborcza[45]. Тождество западнославянской и русской форм охватывает общность корня, суффиксального словообразования и грамматической формы (топонимический плюраль). Что касается основы, то известные нам исторические словари и картотеки не знают формы **люберъ/ь*, от которой произведено, совершенно очевидно, *Люберцы*. Чеш. *Libořice*, напротив, построено на базе вполне реального мужского личного имени собственного *Libor* < *L'ubor*, которое представляет собой, по нашему мнению, сокращенную форму от двуосновного личного собственного имени **L'uboradъ*, известного в ряде славянских языков (прибалт.-слав. *Luborad*[46], ср. н.-луж. *Luboraz*, польск. *Luboradz*[47], юж.-слав. *Љуберажда*[48]). Отношение краткого *L'ubor* к полному **L'uboradъ* аналогично польск. *Sobor* : чеш. *Soběraz*. Перед нами несомненно остатки древних словообразовательных связей, поскольку чешский, зная форму *Libor*, не сохранил полного **L'uboradъ*[49]. Но популярность краткого *Libor* / **Liber* в чешском языке и его топонимии особенно велика, что видно по разнообразию производных местных названий: *Libořice*, *Libeř*, сюда же мы относим название города в Северной Чехии *Liberec*[50]. Перегласовке *'*u* > *i* в чешском мы не придаем в данном случае особого значения как критерию относительной хронологии. Достаточно сопоставить более раннее *Либерицы* с современным *Люберцы* и вспомнить варианты огласовки *любить* / *либо* / *любой*, чтобы понять, что здесь представлены колебания вокализма, а не этапы односторонней исторической эволюции.

Люблино — топоним на периферии Большой Москвы: в прошлом — подмосковный город, а еще в середине XIX в. — усадьба без постоянного населения. Здесь мы также наблюдаем древнее и вместе с тем отчетливо славянское по своему составу производное (*Любл-ино*), на этот раз — от антропонимической основы **любля*, прямых свидетельств которой в доступных

[45] *A. Profous.* Místní jména v Čechách. D. II. Praha, 1949. S. 599.

[46] *Ф. Лоренц.* О померельском (древнекашубском) языке до половины XV столетия // ИОРЯС. Т. XI. Кн. 1. СПб., 1906. С. 92.

[47] *J. Svoboda.* Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha, 1964.

[48] *Й. Заимов.* Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967. С. 7.

[49] *J. Svoboda.* Указ. соч. S. 83.

[50] См. так уже *F. Miklosich.* Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. Manulneudruck. Heidelberg, 1927. S. 158. Сейчас в чешской науке обычно считается, что чешская форма *Liberec* — ассимиляция немецкого названия того же города *Reichenberg* (*A. Profous.* Указ. соч. II. S. 582—583), что нам не кажется достаточно убедительным. Столь же преобладающей является точка зрения на имя *Libor* как на производное с суффиксом *-or* (*F. Miklosich.* Указ. соч. S. 7; *J. Svoboda.* Указ. соч. S. 32, 171; *V. Šmilauer.* Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha, I960. S. 41).

русских исторических словарях и картотеках обнаружить не удалось. В то же время западнославянский топонимический материал содержит полные соответствия: польск. *Lublin*, чеш. *Liblín*[51], построенные на базе личного собственного имени, которое тоже известно у западных славян в прямых свидетельствах, не говоря о многочисленных топонимических производных. За исключением словенцев, это имя неизвестно также и южным славянам[52]. Таким образом, *Люблино* в средней полосе России паспортизуется совершенно отчетливо как образование с западнославянскими ассоциациями.

Луховицы — название города в юго-восточной части Подмосковья, ср. чеш. *Louchov* (в XIV в. — *in Luchaw*), название деревни[53]. Произведено и в том и в другом случае, в конечном счете, от гипокористической сокращенной формы личного имени *Luch* с *-ch* суффиксальным, продуктивным в функции гипокористического форманта как раз у западных славян[54]. Едва ли требуется считать исходной для чешского названия *Louchov* форму *Lúkov*, как это делает Профоус. Формы на *k* вместо *ch* в средневековых документах — еще недостаточное подтверждение, ср. запись *Cotun* (XIV в.) для чешского топонима *Chotouň*[55], где исконность наличия *ch-* не подлежит сомнению.

Ниже мы скажем о нескольких терминах бесспорно западнославянской ориентации, объединенных общей словообразовательной моделью и единым вторым компонентом сложения *-ryja*. По своему типу и даже по фонетической эволюции в восточнославянских условиях они очень напоминают рассмотренный нами выше тип со вторым компонентом *-mija* (*Коломна* ~ *Коломия*, *Челомна*). Речь идет прежде всего о старом московском микротопониме *Чертолье*, сюда же *Чертолье* — название валуна в русле Днепра ниже Орши[56], затем *Черторой* в бассейне реки Упы, правого притока Оки[57], *Черторой* / *Черторыя* / *Черторея* — название рукава Десны при впадении в Днепр, *Черторыйск* — название древнерусского города на Волыни[58], наконец — польск. *Czartoryja* — озеро в бассейне реки Вислы, ближе к верхнему

[51] *F. Miklosich.* Die Bildung… S. 158; A. Profous II, 592—593.

[52] *F. Bezlaj.* Slovenska vodna imena. I. del. Ljubljana, 1956. S. 347

[53] A. Profous II, 671—672.

[54] *S. Rospond.* Słowiańskie hipokorystyka imienne typu *Rasz*, *Rach*, *Ral* i t. p. // Sprawozdania Wrocławskiego towarzystwa naukowego. 1963. 18A. S. 49. Данное наше сближение несколько ослабляется ввиду наличия ряда гидронимов *Лух*, *Луха*, *Луховец*, *Луховка* в бывших Костромской и Ярославской губерниях (*M. Vasmer.* Wörterbuch der russischen Gewässernamen. III. S. 146), ср. еще город *Лухъ* (*Лукъ*), с XV в.

[55] A. Profous II, 44.

[56] Россия. Т. IX. Цит. изд. С. 13.

[57] *Г. П. Смолицкая.* Список рек бассейна реки Оки (рукопись).

[58] *М. Н. Тихомиров.* Древнерусские города. М., 1956. С. 34.

9. Заказ № 2419.

течению [59]. Сюда же примыкают польск. *Złotoryja*, чеш. *Řeporyje*, *Břehoryje* с общим вторым компонентом. Форма *Черторыя* продолжает **Čьrto-ryja* : *ryti* 'рыть', варианты *Черторой* и *Чертолье* в Верхнем Поднепровье и Поочье восходят соответственно к **Čьrtoryjь* и **Čьrtoryje*, ср. р. Первый компонент сложения мы связывает с **čьrtъ* 'черт, дьявол' [60], причем любопытно отметить, что этот древний апеллатив почти неизвестен у южных славян, зато широко представлен у западных и восточных.

Сюда примыкают еще несколько образований, что говорит об относительной продуктивности сложений с древним *-ryja*, *-ryje* в Восточной Европе в раннюю эпоху славянского заселения: *Свинорье*, в бассейне Сожа, < **Свинорье* < **Svino-ryje* [61], сюда же *Свинорой* / *Свинорской* — левый приток Оки [62]. Семантика и этимологическая прозрачность образования не вызывают здесь никаких вопросов. Более затемнен этимологически, хотя, в конечном счете, тоже не вызывает сомнений относительно своего происхождения случай с названием города *Копорье*. Расположенный на крайнем северо-западе территории древней восточнославянской колонизации, топоним *Копорье* связан ощутимыми узами с землями к югу, ср. сюда же гидроним *Капорка*, левый приток Угры, в бассейне Оки [63]. Мы этимологизируем название *Копорье* как **Копоръе* (с -ъ- напряженным) — из сложного **Kopo-ryje*, в первом компоненте которого представлено имя **kopa* или **kopъ* с вероятным значением 'земляная насыпь, холм', практически неизвестное у восточных славян в этом значении, ср., например, достоверное чеш. и польск. *kopa* 'бугор, куча'.

Для топонима северо-востока Средней полосы России *Смердово* могут быть указаны старые соответствия в виде чеш. *Smrdov*, ряд названий деревень и небольших пунктов на Юго-Востоке Чехии [64], а также польск. *Smardów*. Отапеллативный характер образования этих названий ясен, но любопытно напомнить, что нарицательное слово **smьrdъ* 'простой человек, крестьянин, подневольный человек' известно только на севере славянства (русский, украинский, белорусский, польский, полабский), старославянские тексты (кроме Супрасльской рукописи) его не знают, неизвестно это слово также остальным

---

[59] Hydronimia Wisły / Część I. Pod red. P. Zwolińskiego. Wrocław; Warszava; Kraków, 1965. S. 51.

[60] См. иначе — к 'черта', 'чертить'; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. III. S. 329; еще более проблематично ставит это название в связь с названием крота Брюкнер, см. *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957. S. 266.

[61] *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев*. Указ. соч. С. 220.

[62] *Г. П. Смолицкая*. Список рек бассейна реки Оки (рукопись).

[63] Там же.

[64] *A. Profous, J. Svoboda*. Místní jména v Čechách. D. IV. Praha, 1957. S. 119.

южнославянским языкам. Не менее интересно, впрочем, и то обстоятельство, что данного апеллатива не знает и чешский язык, в свете чего образование чешского топонима *Smrdov* выглядит достаточно архаичным, как и его соответствие в восточнославянской топонимии. *Жестово*, название населенного пункта к северу от Москвы, находит точное соответствие в названии деревни *Žestov* в Южной Чехии, упоминаемом с XIII в. Этот случай тоже демонстрирует контрольное значение подобных соответствий, определяющих выбор этимологии — от имени собственного *Žest*[65], что подтверждается и явно посессивным характером производного, как и в примере со словом *Смердово*. Идентификация с чешским названием позволяет отвести иные объяснения и для русской формы *Жестово*, например возможное сближение с названием листового железа — *жесть* (русский тюркизм)[66]. Бессуффиксность вскрываемой адъективной основы *жест-* (при обычном русском *жестк-ий*, *жесток-ий*) тоже говорит в наших глазах о древности отношений.

Название реки *Пшевка*, правого притока Дични, левого притока Зуши, в бассейне Оки[67], пожалуй, наиболее ценно как чешско-восточнославянское соответствие. Особенно стоит при этом обратить внимание на название близлежащего села *Пшево*[68], от которого произведено в данном случае название небольшой речки. Топоним *Пшево* в Верхнем Поочье мы отождествляем с названием чешского города *Pšov*, существовавшего на территории древнейшего освоения в Северной Чехии. По этому городу окрестное древнечешское племя получило название *Pšovanę* 'пшоване' (в 1086 г. упоминается как *Pssouane*)[69]. Письменные свидетельства X—XI вв. гарантируют древность, даже архаичность этого чешского топонима. Заслуживает упоминания тот факт, что подобно тому как русское селение *Пшево* находится на реке *Пшевка*, старочешский город *Pšov* — при реке *Pšovka* (в XIII в. — *Pshowka*). Как и в рассмотренных нами выше *Смердово*, *Жестово*, в топониме *Пшево* едва ли есть основания видеть что-либо другое, кроме образования, указывающего на принадлежность. В соответствие со сказанным мы толкуем рус. *Пшево* и чеш. *Pšov* как производные с суффиксом *-ov-* от названия лица или личного собственного имени. Примерно к этому склонялся чешский топонимист Профоус, которого, однако, смущало отсутствие свидетельств о существовании имени **Pьšь*[70]. Опуская здесь другое, менее вероятное толкование

[65] Там же. S. 836.
[66] Жестово известно, между прочим, производством изделий из жести.
[67] *Г. П. Смолицкая.* Список рек бассейна реки Оки (рукопись).
[68] *Г. П. Смолицкая.* Там же.
[69] *L. Niederle.* Rukovět slovanských starožitností. Praha, 1953. S. 125.
[70] A. Profous III, 498—499.

Профоуса, упомянем о попытке этимологии чешского названия *Pšov*, принадлежащей Роспонду[71]. Польский ономаст видит единственную возможность объяснения этой формы в реконструкции *Pšov* < *Pščov* < *Plščov* < *Plъščev* с исходным **plьsk-* или даже **blьsk-* 'блестеть, сиять', якобы от блеска водной поверхности, поскольку речь идет обычно о названиях мест, расположенных у воды (автор приводит некоторые польские названия, содержащие группу *šč*). Однако думается, что, вопреки мнению Роспонда, сюда не относятся рус. *Псков* и польские местные названия *Pszczyna*, *Pszczew*. Во всяком случае мы не видим причин, которые должны были бы помешать сохранению формы **Пщево* на русской почве. Остается объяснить чеш. *Pšov* и тождественное ему рус. *Пшево*, *Пшевка*[72] как производное от основы **pьx-*, **pьš-*. Эта основа с первоначальной семантикой 'пихать, толкать' (ср. живые глагольные формы в разных славянских языках) представлена в старых образованиях восточнославянской топонимии, ср., например, название реки *Пахра*, правого притока реки Москвы, сюда же *Пахорка*, тоже правый приток Москвы. Как показывает название левого притока реки Москвы — *Пехорка*[73] (так уже в «Книге Большому Чертежу»), исходной является форма **Пьх-ъра*, производное с *-r-* суффиксальным от основы **pьx-* (ср. еще словообразование гидронима *Вехра* в бассейне Верхнего Днепра). Но функциональное отличие производных с суффиксом *-ov-* от производных на *-r-* слишком очевидно, и ясно также, что задачей первых из них было обозначать принадлежность, владение. Кстати, Миклошич на основании источников прямо говорит о чешских личных собственных именах *Pech*, *Peš*, *Pešek*[74], которые могли лечь в основу топонима *Pšov*. Равным образом идентичное имя должно было послужить к образованию русского топонима *Пшево*, однако характерно отсутствие свидетельств о близком русском имени.

Боршев / *Боршево* — название деревни на реке Битюг Бобровского уезда бывшей Воронежской губернии, *Боршева* — деревня Бронницкого уезда Московской губернии, сюда же, далее, *Боршевка* в Скопинском уезде Рязанской губернии, *Боршевицы* — деревня в Псковском уезде[75] — мы сближаем, наряду с топонимами юго-восточной периферии Польши *Borszów*, *Borszowice*, с

---

[71] *S. Rospond.* Miscellanea onomastica slavogermanica // Onomastica Slavogermanica. II. P. 77—78.

[72] См. еще *M. Vasmer.* Wörterbuch der russisches Gewässernamen. III. S. 825.

[73] *Н. А. Здановский.* Каталог рек и озер Московской губернии. М., 1926. С. 34, 41.

[74] *F. Miklosich.* Die Bildung... S. 85; древность отношений не позволяет безоговорочно производить *Pech*, *Peš* от *Petr* (*J. Svoboda.* S. 181).

[75] Russisches geographisches Namenbuch / Hrsg. von M. Vasmer. Bd. I. Lief. 3. Wiesbaden, 1964. S. 512.

названием чешской деревни *Boršov*[76]. Рус. *Боршев* и чеш. *Boršov* представляют все ту же словообразовательную модель с посессивной функцией. Дальнейшие связи могут быть прослежены только на чешской почве, где они совершенно прозрачны: *Boršov* произведено «от употребительного личного имени *Boreš*» (Профоус). Старочешское имя *Boreš*, *Borše*, как и польское имя *Borsza*, связаны с антропонимической основой *bor-*[77], широко представленной в славянских личных именах с компонентами *Bori-* и *-borъ*, возможно такие, что славянское **borъš-*, лежащее в основе западнославянского имени, является сокращенной формой этих двуосновных имен. Важно сказать, что, хотя русская антропонимия и знает абсолютно аналогичные гипокористики вроде *Ратша*, *Путьша*, имя **Борша* нам неизвестно. Поэтому топоним *Боршев* на русской почве лишен этимологической прозрачности.

Сюземка — название правого притока реки Вытебеть, правого притока Жиздры в бассейне Оки, там же — деревня *Сошемка*[78], и ниже по Оке, в бассейне Угры, гидроним *Сезема* — мы связываем непосредственно с местным названием *Sezemice*, встречающимся на Юго-Востоке Чехии и в других частях страны, а также специально — с топонимом *Sezímky* на Севере Чехии[79]. С этим последним наши окские названия *Сюземка*, *Созeмка* объединяет такая черта, как общность словопроизводного форманта *-ка*. Главная же общность чешских и восточнославянских названий — в словообразовательно-этимологической общности основы **se-zem-* 'эта земля', т. е. '(люди, селение) этой земли', ср. чешское личное имя собственное *Sezema*, сюда же польск. *Zesema*, полабское местное название *Sezemov*[80], русские фамилии *Сеземов*, *Сиземов*[81]. Русские фамилии как будто лишены апеллативной опоры в словаре современного русского языка и его говоров. Нам известно только русско-церковнославянское *сеземьць* 'туземец' от той же основы, но с иным расширением, ср. к последнему предположительно — древнерусская фамилия *Сезинцовъ*, 1691 г., помещик в Хотмышском уезде (в известном словаре Тупикова), если последняя — от **Сеземцевъ*. Не лишена интереса следующая ономасиологическая деталь, которая, вероятно, могла бы пролить свет на мотивы такого называния, в частности — географических объектов. Так, чешский ономаст Свобода связывает реконструируемую семантику чешских топонимов 'жители этой земли' с тем фактом, что селения под этим названием

---

[76] A. Profous. I. 1947. S. 128.
[77] *F. Miklosich.* Die Bildung... S. 36.
[78] *Г. П. Смолицкая.* Список рек бассейна реки Оки (рукопись).
[79] *V. Šmilauer.* Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha, 1960. S. 37—38.
[80] *J. Svoboda*. Указ. соч. S. 85.
[81] *О. Н. Трубачев* // Этимология. 1966. М., 1968. С. 28.

расположены по самому краю территории наиболее раннего заселения Чехии, откуда древний смысл: 'люди, с которыми пришелец встретился как с первыми обитателями'[82]. Если мы, помня эту черту, обратимся к восточнославянским соответствиям *Сезема*, *Сюземка*, *Соземка*, то относительная периферийность этих последних названий, расположенных по меридиональному верхнему течению Оки, сравнительно с территорией древнейшего обитания восточных славян, обретет дополнительный смысл.

Ниже мы коснемся двух однородных, до настоящего времени не объясненных удовлетворительно случаев, дающих дополнительный материал для реконструкции древнего состава восточнославянской антропонимии на базе известной топонимии. *Сураж* — название города в Брянской области, толковавшееся раньше как вторичное перенесение названия города в Крыму: др.-рус. *Сурожь* < **Судожь* 'Судак'[83], — мы этимологизируем как производное с иотовым суффиксом приналежности от мужского личного имени собственного **Sǫradъ*, достоверно реконструируемого в чешском — **Surad*[84], но не сохранившегося в русском (русские источники не знают имени собственного **Сурадъ*). Эту этимологию поддерживает аналогичная следующая. *Збараж* — название города на Юго-Западе Древней Руси, известного с самого начала XIII в.[85]. Существующее спорное объяснение «из личного имени первоначально с формантом *-еж*»[86] игнорирует вариант *Збыраж*, известный в письменных источниках, который мы считаем наиболее авторитетным с точки зрения этимологии. Топоним *Збараж* / *Збыраж* мы этимологизируем как иотовое производное с функцией принадлежности от мужского личного имени собственного **Sъbyradъ* или **Jьzbyradъ* (континуанты того и другого должны были рано совпасть на украинской почве). Здесь также может быть указано чешское личное имя собственное *Sbyrad*[87] и больше того — иотовое производное в топонимической функции *Zběraz*[88], т. е. образование целиком тождественное вост.-слав. *Збараж* / *Збыраж*. Древнерусское личное имя собственное **Събырадъ* / **Збырадъ* / **Избырадъ* также не дошло до нас в письменных свидетельствах. В то же время нельзя не отметить созвучия словообразовательной модели этого и предшествующего личного имени типу имен,

[82] *J. Svoboda*. Там же.

[83] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. III. S. 49; ср. об этом *В. А. Никонов*. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 399.

[84] *J. Svoboda*. Staročeská jména a naše příjmení. S. 83.

[85] *М. Н. Тихомиров*. Древнерусские города. М., 1956. С. 41.

[86] *В. А. Никонов*. Указ. словарь. С. 145.

[87] *J. Svoboda*. S. 83.

[88] *F. Miklosich*. Die Bildung… S. 103, 179.

популярному с древности как раз у западных славян — чехов и поляков[89]. Становится также еще более очевидной важность углубленного изучения топонимических материалов для более полного познания такого важного при изучении культуры разряда имен, как личные собственные имена древнейшего периода. Неслучайно как раз гидронимия донесла до нас в связанном виде память о таких реликтах антропонимии у восточных же славян, как *Чамыслъ, *Жеримыслъ, о которых уже писалось в другом месте.

На этом мы заканчиваем свой небольшой очерк, который никак не претендует на полноту освещения предмета, но должен лишь рассматриваться как своего рода приглашение к дальнейшему систематическому изучению, основанному на возможной полноте привлечения источников. Нельзя сомневаться, что ряд специальных соответствий подобного рода, охватывающих только часть славянских языков, может быть продолжен и значительно увеличен, ср. рус. *Розваж* : чеш. *Rozvad*, польск. *Rozwad*; рус. *Пестово* : чеш. *Pístov* (с XIV в.), польск. *Piastowo*, *Piastów* (апеллативная первооснова известна преимущественно западным и восточным славянам); рус. *Хилково* (сюда и древнерусские антропонимы *Хилковъ*, *Холковъ*) : польск. *Chełkowo*, ст.-польск. *Chilcowo*, чеш. *Chelčice*.

Таким образом, мы проанализировали группу старых восточнославянских топонимов, которые (1) произведены от антропонимических или апеллативных основ, неизвестных в свободном употреблении в восточнославянских языках (*Люберцы*, *Люблино*, *Луховицы*, *Пшево*, *Боршев*, *Сезема* / *Сюземка*, *Сураж*, *Збараж*); (2) представляют собой, с точки зрения восточнославянского языкового материала, чисто топонимические образования по особым древним словообразовательным моделям (например, сложения *Коломна*, *Коломыя*, *Челомна*, *Копорье*, *Свинорье*, *Чертолье*, суффиксальное производное *Вщиж*); (3) находят преимущественно в западнославянских языках (в польском и чешском) полные и точные соответствия с той характерной особенностью, что западнославянские параллели не ограничиваются топонимией, но имеют достоверные западнославянские языковые истоки как в антропонимии, так и в апеллативной лексике.

В географическом плане обследованная восточнославянская топонимия простирается от украинской Волыни через устье Десны на северо-восток, достигая особенной кучности в Верхнем и Среднем Поочье. Эти последние земли первыми из славянских племен освоили вятичи, и названные нами древние топонимы не могут не быть связаны с вятичским расселением. Свидетельства начальной русской летописи о приходе вятичей и радимичей за-

[89] Достаточно ознакомиться хотя бы с перечнем примеров у Миклошича, см. *F. Miklosich*. Указ. соч. S. 103.

служивают доверия, но должны изучаться во всеоружии современной науки, которая в состоянии проверить и дополнить это ценное свидетельство древнерусского летописца. Вопрос бесспорно должен решаться комплексом этногенетических дисциплин — истории, археологии и языкознания. Наша статья посвящалась почти исключительно лингвистическому анализу ономастических данных, в том числе и относящихся к проблеме радимичей и вятичей. Конкретным результатом данной попытки можно, как кажется, считать ряд ономастических этимологий, а также указание, что особенному сгущению топонимов западнославянской ориентации в современном Подмосковье и в примыкающем более широком Поочье отвечает сгущение их корреспонденций прежде всего в Чехии. Это следует понимать таким образом, что в миграции вятичей и радимичей на восток и северо-восток бесспорно принимали участие древние западнославянские племена, причем далеко не одни только ляшские племена. Среди них должны были быть представлены и древнечешские племена.

Кажется, у ономастики больше шансов на успех в решении этого вопроса (проблема этногенеза радимичей и вятичей), чем, например, у истории и даже у языкознания в специальном смысле слова, поскольку тысячелетняя языковая эволюция в лоне восточнославянских диалектов свела на нет, растворила оригинальные языковые особенности вятичей и радимичей, и мы можем сейчас только догадываться об этих отличиях языка. Фактическая однородность многих важных языковых характеристик нынешних обитателей вятичских земель с другими русскими и белорусскими диалектами находится как бы в противоречии с данными летописи, но мы наблюдаем здесь лишь конечный результат ассимиляции того языкового состояния, которое отразилось в законсервированном виде в топонимии.

ЛИТОВСКОЕ *NASRAĨ* 'ПАСТЬ': ЭТИМОЛОГИЯ И ГРАММАТИКА

(Тезисы)

Кажется очевидным, что *nasraĩ* — мн. ч. от ст.-лит. *nãsrus* 'рот' и, в конечном счете, произведено от названия носа — лит. *nósis*. (Ср. Trautmann. BSW 193—194; Fraenkel I, 485.) Однако этимологическая доистория показывает совсем иное направление словопроизводства, а также позволяет поиному взглянуть на развитие вокализма корня и генезис флексии.

В согласии с большинством исследователей мы считаем, что лит. *nasraĩ* исконно родственно слав. **nozdri*, рус. *нóздри* и т. д. Для славянского слова это важно как свидетельство вставочного характера *-d-* в первоначальном **nozri*. Для литовского слова это тождество важно при реконструкции конца слова, который, как мы считаем, сохраняет более первоначальный вид в славянском соответствии. Чтобы аргументировать — с вынужденной краткостью — отвергаемые здесь прочие этимологии славянского слова, укажем лишь, что ни гипотеза о сложении **nos-dьra* (см. Vasmer II, 220), необязательная ввиду позднего характера соответствующих изменений в укр. *ніздря*, ни предположение о наличии здесь производного с суффиксом и.-е. *-dhr-* (Brugmann. Grdr II, 1, 381) или с суффиксом *-r-* (*Meillet*. Etudes I, 129) не принимаются нами по той причине, что они не могут объяснить всех очевидно родственных образований, о которых — ниже.

Нем. *Nüster* ж. р. 'ноздря', ср.-н.-нем. *noster* из **nustrī* продолжает и.-е. **nosrī*, тождественное слав. **nozri* практически во всем, кроме грамматической функции. На этом круг обычных сопоставлений замыкается, дальше идут различные формы названия носа. Одна из них, как правило, выпадала в силу своих не до конца понятых особенностей, хотя имеет сюда самое пря-

мое отношение. Мы имеем при этом в виду греч. ῥίς, род. п. ῥῑνός, резко отличающееся от консонантной основы и.-е. *nā̆s-*, прослеживаемой в др.-инд. *nas-* ж. р. 'нос', авест. *nāh-*, лат. *nāris*, лит. *nósis*, слав. **nosъ* (см. о них Mayrhofer II, 146; Pokorny I, 755). Греческое название носа считают неясным, местной заменой индоевропейского названия (см. Frisk II, 659), между тем как оно может быть реконструировано как именная консонантная парадигма **srīns* / **srīnos*. Этимология от и.-е. **ser-* 'течь' (Boisacq[4], 842; Hofmann, 299), приемлемая для начала основы, не может объяснить ее исхода, а как раз здесь, по нашему мнению, ключ к разгадке. Полную форму косвенного падежа греч. ῥῑνός мы предлагаем читать как **srī-nos*, дофлективное сложение названия носа и производного с суффиксом *-ī* от редуцированного варианта упомянутого выше корня **ser-*. Если описанная последовательность корневых морфем **srī-nos* представлена в греческом названии носа (ср. особенно значение греч. αἱ ῥῖνες 'ноздри'), то естественно будет предположить, что в названных выше славянском, немецком и литовском названиях ноздрей, пасти представлены абсолютно те же корневые морфемы, только в иной последовательности — **nos-srī*. Этот факт словообразовательно-лексического отличия можно отнести к эпохе индоевропейских диалектных отношений, весьма архаичных ввиду ф л е к т и в н о й н е о ф о р м л е н н о с т и.

Вернемся к литовским словам. Лит. *nósis* отражает и.-е. **nās-* с удлиненным вокализмом именительного падежа как самостоятельной, эмфатически употребленной формы. Для лит. *nasraĩ*, как и для нем. *Nüster*, и для слав. **nozdri* можно говорить только о кратком и.-е. *ă* или, скорее, — об *ŏ*, как о том свидетельствуют германские формы и — не в последнюю очередь — греч. ῥῑνός. Эта краткость вокализма, необъяснимая из литовского, вытекает из связанного употребления **nŏs-* в и.-е. диал. **nos-srī*.

И.-е. **nos-srī* с древней долготой в исходе и исконным значением множественности, естественным в обозначениях парных предметов, образующих целое (ср. лит. *dùrys*, слав. **dvьri* и т. п., см. *Meillet*. Etudes I, 176—177), должно было бы отразиться в виде лит. **nasrýs*, но парадигма 2, к которой принадлежит лит. *dùrys*, несет во множественом числе ударение не на флексии. Может быть, этим и была вызвана перестройка в *nasraĩ*, формально — множественное число от основ на **-o-*, к числу которых не принадлежит ни одно из продолжений и.-е.**nos-srī*. Отсюда один возможный вывод — это то, что форма *nãsras* образована ad hoc, как бы для «реабилитации» плюраля *nasraĩ*. Точно так же новым и вторичным по отношению к мн. ч. **nozdri* (ст.-слав. **ноздри**) явилось ед. ч. рус. *ноздря́*, польск. *nozdrza*, болг. *ноздра* (см. *Vaillant*. Gramm. comp. II, 1, 312). Здесь логичнее, между прочим, ожидалось бы **ноздрь* с основой на *-и-*, ср. *дверь* < *двери*.

Итак, типично дограмматическая индоевропейская форма **nos-srī*, в исходе — словообразовательный формант *-ī*, претерпевает совершенно различную грамматическую, морфологическую реализацию в относительно близкородственных ветвях индоевропейского. При этом и.-е. **nos-srī* отражается в славянском как plurale tantum, в германском формализуется как имя женского рода на *-ī*, в литовском же полностью утрачивает древний долгий гласный в исходе, перестроившись как плюраль регулярного вида.

ОБ ОДНОЙ РЕДКОЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ

До настоящего времени мы лишены полного инвентаря славянских словообразовательных морфем. При этом если с суффиксами дело обстоит благополучно и со времен Миклошича более или менее известен круг славянских суффиксов и — с некоторым приближением — их абсолютное количество, то префиксы обследованы значительно менее удовлетворительно. Исключение составляют, пожалуй, превербы, глагольные приставки, изучаемые в тесной связи с проблематикой глагольной морфологии. Их относительная изученность распространяется и на соотносительные с глагольными префиксами именные префиксы, например *vъ- : *ǫ-, *sъ : *sǫ, *po- : *pa-. Однако изученность именных префиксов резко отстает от соответствующих глагольных. Если же, далее, обратиться к чисто именной префиксации в славянских языках, то мы вступим в область практически изолированного этимологизирования. До недавнего времени, например, были возможны прямо противоположные высказывания по вопросу, есть ли в славянском слова (имена) с *k-* префиксальным. Несмотря на наличие определенного материала, свидетельствующего о существовании *k-* префиксального (в вариантных огласовках *ka-*, *ko-*, *kǫ-*), до сих пор возможны этимологии, членящие то или иное слово противоположным образом, вопреки всякой очевидности. Ср. для примера различные этимологические объяснения слова *kǫdelь, рус. *кудель*. Бесспорна полезность монографических описаний (на этимологической основе) редких типов славянских именных префиксальных сложений. В качестве примера одной из редких славянских словообразовательных префиксальных моделей можно назвать модель «*a-* плюс корень», которой мы касаемся в другом месте. Ограниченная продуктивность или ранняя утрата продуктивности оттеняют такие особенности этих сложений, как

древность образования, оправдывающая использование некоторых внешне далеких индоевропейских параллелей.

В настоящей заметке мы кратко коснемся редкой славянской префиксальной модели «*jь*- плюс корень». В нашем распоряжении нет полного материала, поэтому речь идет, с одной стороны, об одном-двух примерах, где предшествующее исследование не исключало наличия названного префикса, а с другой стороны — о некоторых примерах, ранее в этом плане как будто не толковавшихся.

Праслав. **jьverъ*, откуда болг. *úвер* 'щепка', сербохорв. *ѝвēр* то же, словен. *ivér* 'щепка, заноза', чеш. *ivera*, *jivera*, словац. *very*, польск. *wiór*, мн. *wiory* 'щепа, стружка', полаб. *jevér* 'щепка', рус. диал. *úверень* 'щепа, осколок', укр. *íвер*. Не только Миклошич, но и Бернекер предпочитают в своих словарях говорить применительно к этому слову о фонетической протезе (Vorschlag) неясного характера *jь-/i-*. Членение слова облегчается возможностью довольно четкого выделения корня *-ver-*, ср. славянский глагол **verti* с семантикой 'продевать, просовывать' [1]. Кажется, ближе других подошел к верному решению Х. Петерссон, который видит в начальном элементе нашего слова приставку, т. е. морфологический формант [2]. Ниже мы остановимся на идентификации этой приставки, а также на некоторых связанных с этим сравнительно-исторических соображениях.

Другим заметным словом практически общеславянского распространения, включающим эту приставку, является **jьvьlga*, откуда ст.-слав. (др.-болг.) **влъга**, болг. *авлúга* 'птица иволга Oriolus galbula' [3], сербохорв. *вȕга* 'ремез', словен. *vólga* 'иволга', чеш. *vlha*, польск. *wilga*, *wywielga* то же, рус. *úволга*, укр. *ìволга*, *волга* то же. И здесь мнение исследователей разделяется между гипотезой об *i*- протетическом [4] и гипотезой об особой приставке (Х. Петерссон). Прочие этимологии [5] мы тут опускаем. Нам представляется целесообразным предпочесть и несколько развить приставочную этимологию. В пользу приставочного характера *jь*- в этом, как и в предыдущем слове, свидетельствует подударность данного элемента (рус. *úверень*, *úволга*, впрочем, родственные формы последнего затемнены в отношении ударения), свойственная как раз старым именным префиксам. Кроме того, о приставочном качестве

[1] *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908. Bd. I. S. 439; *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. М., 1966. Т. II. С. 114.

[2] *H. Petersson*. Baltische und slavische Wortstudien // Lunds Universitetes Årsskrift. Bd. 14. № 31. Lund, 1918. S. 52.

[3] *В. Георгиев* и др. Български етимологичен речник. Св. I. С. 2.

[4] *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. M. Kraków, 1957. S. 621.

[5] См.: *М. Фасмер*. Указ. соч.; *J. Endzelin*. Germanisch-baltische Miszellen // KZ. LII. 1924. S. 123.

начального *jь-*, в частности в составе последнего славянского слова, недвусмысленно говорит, по нашему мнению, до сих пор неверно объяснявшаяся польская форма названия птицы — *wywielga*. Начало польского слова не происходит ни от редупликации древнего корня, ни от протетического развития *w-*; его следует читать как префикс *wy-*, что ценно для нас и при попытке функционально-семантической реконструкции исследуемой здесь приставки *jь-*, которая, думается, была синонимична приставке *vy-*, откуда и возможность замены. О приставке *vy-* известно, что она функционально близка и практически синонимична другой славянской приставке — *jьz-*. Тем самым мы получаем довольно логичную конфронтацию *jь-* и *jьz-*. О префиксе *jьz-* писалось много; здесь достаточно сказать, что это весьма типичный славянский глагольно-именной префикс с преобладающей регулярной функцией преверба, глагольной приставки. Как бы ни был мал известный нам материал по образованиям с префиксом *jь-* (см. также ниже), он позволяет говорить об исключительно приименном характере этого последнего. Любопытные и, видимо, старые именные сложения с этим префиксом могут быть указаны в составе старой восточнославянской гидронимии: *Ивода*, название реки и озера в бывшей Новгородской губернии; *Ивод*, приток Ветьмы, бывший Брянский уезд; *Идолга*, река с двумя притоками *Малая Идолга* в бассейне Медведицы на Дону[6]. Гидронимы *Ивода*, *Ивод* прозрачны по своему составу: из приставки *и-* и именной основы *вод-*, *вода*. Название *Йдолга* (известное мне, кстати, из живого употребления именно с таким ударением) представляет собой сложение той же приставки с именной, адъективной основой *долг-*, ср. рус. *долгий*. Аналогично этому слав. **jьvьlga*, рус. *иволга*, приводимое выше, — сложение приставки *jь-*, рус. *и-* и корня **vьlg-*, обозначающего влажность, сырость[7].

Сближение префиксов *jь-* и *jьz-* этимологически перспективно благодаря обнаруживаемой при этом возможности выявить строение *jьz-*, так сказать, внутренними средствами славянского языкового материала. Славянский префикс *jьz-* толкуют как форму редукции **ĭĝh-* от представленного в большинстве индоевропейских языков полного префикса с той же функцией **eĝhs* (откуда греч. ἐξ, лат. *ex* 'из'[8]). Типологически вероятно, что полная индоевропейская форма префикса построена из дейктического элемента *e-* и частиц *-ĝh-*, *-s-*. Такую членимость показывает латинский вариант известного нам предлога-приставки *ē-*, наряду с упомянутым полным *ex* (правда, в сущест-

[6] Цит по: Wörterbuch der russischen Gewässernamen / Von A. Kernd'l, R. Richhardt, W. Eisold unter Leitung von M. Vasmer. Bd. II. Berlin; Wiesbaden, 1963. S. 115—116, 120.

[7] См.: *М. Фасмер*. Указ. соч. (вслед за А. Брюкнером).

[8] *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. 1949. S. 292—293.

вующей литературе преобладает как раз не словообразовательно-морфологическая, а эвфоническая трактовка: лат. *ex-* > *e-* перед некоторыми согласными начала основы слова). Интересно, что реминисценцию о подобном членении самостоятельно сохранил славянский, обнаруживающий, наряду с *jьz-*, родственное ему более простое и первоначальное *jь-*. Такая парность употребления названных простой и сложной форм индоевропейской приставки в славянском (*jь-* : *jьz-*) и в латинском (*ē-* : *ex-*) — параллелизм, заслуживающий дальнейшего изучения. Один из путей изучения описанных славянско-латинских сходств — это сравнительный анализ славянских именных сложений вроде *иволга*, *иверень*, *Идолга* с простым *jь-* в составе, с одной стороны, и латинских экзоцентрических сложений вроде *ē-linguis* 'тот, у кого язык торчит наружу' [9] с простым *e-*, с другой стороны.

[9] См. о них: *K. Brugmann*. Der Kompositionstypus ἔν-θεος // Indogermanische Forschungen. Bd. XVIII. Berlin, 1905—1906. S. 127.

ЗАМЕТКИ ПО ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ НАРИЦАТЕЛЬНЫХ И СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

рус. диал. *чичер*, сербохорв. *чи̏ч*, *ци̏ч*; др.-рус. *очюнной* (рус. *очень*), в.-луж. *cuni*, словин. *cãnï*; укр. *Говерла*; вост.-слав. *Суходров*

Рус. диал. *чичер*, сербохорв. *чи̏ч*, *ци̏ч* и родственные

Русское слово, названное в заглавии данной первой заметки, неизвестно литературному языку и существует только в составе лексики ряда народных говоров (главным образом — южновеликорусских, см. ниже обзор примеров). Приходится констатировать, что ясность относительно этимологии этого слова еще не достигнута. Собственно говоря, его происхождения очень бегло касались только Преображенский и Фасмер. Первый из них сближает рус. *чичер* с санскр. *śiśira-* 'холод, холодное время', но случайность этого сближения была очевидна и его автору, который говорит о нем как о «любопытном совпадении», тем более что древнеиндийский пример помещен им недвусмысленно в ряду форм от и.-е. **k'el-* [1]. Фасмер отвергает сближение Преображенского; сам он при этом ограничивается сравнением с рус. диал. *чи́чега*, *чи́чела*, *чи́чала* 'иней, изморозь, мокрый снег' [2], но последнее засвидетельствовано как слово исключительно северновеликорусское, конкретно — олонецкое. Географическая отдаленность от ареала слова *чичер* (см. ниже) заставляла отдельных исследователей искать истоки олонецкого диалектного

[1] Преображенский II, 319.
[2] Vasmer III, 344.

слова в карельск. *tšipšu* 'мокрый снег' (см. Калима у Фасмера, там же, который, впрочем, эту этимологию оспаривает). Обособленность распространения, формы (отчасти — семантики) и, вероятно, происхождения заставляет нас оставить пока вопрос о северновеликорусском слове в стороне и сосредоточить внимание на слове *чичер*, тем более что оно не получило достаточного освещения в этимологической литературе и, видимо, не считается древним (так, оно пропущено в «Славянском этимологическом словаре» Бернекера).

Перейдем к обзору форм интересующего нас слова: *чи́чер* м. р., *чи́чера* ж. р. (тульск, орл., тамб., рязанск.) 'резкий, холодный осенний ветер с дождем, иногда и со снегом'[3], *чи́чер* 'пурга с ветром, дождливая изморозь, мелкий дождь с ветром'[4], *чи́чер* м. р. 'холодный ветер с изморозью и дождем; осенний дождь с холодным ветром' (донск., орл., тамб.), 'метель' (тульск.)[5], *чи́чер* 'суморозь'[6], *чи́чер* 'осенний холодный ветер с дождем и снегом; северный ветер'[7], *чи́чер* (ч'и́ч'ар) м. р. 'резкий холодный ветер на открытом месте': «...Ло́шъд'и т'ип'е́р' н'а вы́йдут' из л'е́су, там ч'и́ч'ар вон како́й, а з'д'ес' [в лесу] т'и́ха. На ч'и́ч'ир'и — е́тъ йа ду́май, бур'а́ така́йа, ч'и́ч'ар заву́т'...»[8]. Слово *чичер* в значении 'резкий, холодный ветер' встречается, между прочим, в повести С. Есенина «Яр»[9]. По-видимому, трудно объяснить происхождение и состав слова *чичер*, оставаясь в пределах русского материала. Созвучные гидронимы *Чечера*, *Чечора*, *Чичора*, *Чичара* в бассейнах рек Сожа, Десны и др. имеют особое, как обычно считают, — балтийское происхождение[10] и едва ли помогают разъяснению этимологии апеллатива *чичер*. Образование апеллатива от гидронима в данном случае кажется маловероятным, как, впрочем, и прямое заимствование слова *чичер* из балтийского. В последнем нас, в частности, убеждает, помимо отсутствия подходящего источника в лексике балтийских языков, существование некоторых родственных форм в славянской лексике, например сербохорв. *чи̏ч* м. р. 'сильная стужа, холод', в словаре Вука — *ци̏ч*, *цић* м. р. (черногорск.) в выражении: *пукао*

---

[3] Даль[2] IV, 609.

[4] *Миртов*. Донской словарь. С. 359.

[5] Опыт. С. 259.

[6] *Е. Будде*. К диалектологии великорусских наречий. Исследование особенностей рязанского говора // РФВ. XXVIII. 1892. С. 68.

[7] *Диттель*. Сборник рязанских областных слов // ЖСт. VIII. 1898. С. 226.

[8] Деулинский словарь. С. 599.

[9] См. словарик, составленный А. А. Есениной, в изд.: *С. Есенин*. Собр. соч. в 3 т. Т. 3. М., 1970. С. 344 (Примечания).

[10] *В. Н. Топоров*, *О. Н. Трубачев*. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 219 (там же прочая литература).

цич (о большом холоде, морозе), также *ćić* м. р. 'иней' [11]. Эта лексика тоже, в свою очередь, пропущена в словаре Бернекера, возможно, не без влияния мнения авторов Загребского академического словаря сербохорватского языка, относивших сербохорватское слово к экспрессивным образованиям вроде сербохорв. *cičati*, *ciknuti*. Между тем сравнение сербохорв. *чи̑ч* 'сильная стужа, холод' (формы вроде *ćić* могут содержать вторичную, экспрессивную палатальность) и рус. *чичер* (см. выше) показывает старый суффиксальный производный характер русского слова и делает вероятным древнее образование непроизводного сербохорватского слова.

На основании сравнения упомянутых сербохорватского и русского слов, распространенных на изолированных и не соседствующих друг с другом территориях, можно допустить отражение в названных словах архаизма: рус. *чичер* < **kīker-* или, скорее, **kei̯ker-*. Эту последнюю реконструированную форму мы считаем этимологически родственной и словообразовательно наиболее близкой лит. *kaĩkaras* 'высокий и сутулый', 'лодырь' [12] и др.-инд. *kekara-* 'косой, косоглазый' [13]. Далее, сюда же относятся лат. *caecus* 'слепой; темный' и близкородственные др.-ирл. *caech* 'одноглазый', готск. *haihs* то же[14]. Они продолжают и.-е. **kai-ko-*, производное с суффиксом *-ko-* от **kai-* 'один, единственный' [15].

Из этой семантической первоосновы хорошо объясняются значения 'одноглазый', 'косоглазый', 'слепой' перечисленных выше слов (литовские значения 'сутулый', 'разболтанный', 'ленивый' укладываются в более широкую семантическую рубрику 'наделенный недостатком, в частности физическим'). На первых порах отнесение сюда же русского слова *чичер* представляется по меньшей мере затруднительным семантически. Однако почти для всех примеров употребления этого русского диалектного слова наиболее характерно значение 'резкий, холодный ветер' или близкие ('осенний холодный ветер' и т. п., см. выше). Подобно тому как форму рус. *чичер* мы вправе возвести к более древнему **kei̯ker-*, современное его значение 'резкий, холодный ветер' мы могли бы объяснить как эволюцию из более древнего 'слепящий, слепой ветер'. На такую мысль наводит нас вскрытие диахронической семантический модели 'слепой' → 'холодный, северный ветер' в некоторых индо-

---

[11] RJA. II. С. 136.

[12] Fraenkel I, 202. Отношение рус. *чичер* : лит. *kaĩkaras* в вокализме суффикса аналогично отношению слав. **večerъ* : лит. *vãkaras*.

[13] A Sanskrit-English dictionary… / By M. Monier-Williams. Oxford, 1964. P. 308.

[14] Mayrhofer I, 264 (с сомнением ввиду позднего характера свидетельств древнеиндийского слова); Walde—Hofmann I, 129; Ernout—Meillet[3] I, 147 (без древнеиндийского слова).

[15] Pokorny I, 519—520.

европейских языках: греч. καικίας 'северовосточный ветер', сближаемое при этом обычно с лат. *caecus* 'слепой' [16], лат. *aquilō* 'северный ветер' — лат. *aquilus* 'темный' и др. [17].

Как уже было сказано ранее, рус. *чичер* может продолжать и.-е. **kei̯ker-*, в то же время привлеченная индоевропейская лексема 'слепой' обнаруживает такую особенность вокализма, как наличие гласного *a* (лат. *caecus*, др.-ирл. *caech*), характеризующего нередко корень слов, обозначающих недостаток или болезнь [18]. Экспрессивная функция этого неапофонического индоевропейского *a* могла сглаживаться путем последующих апофонических выравниваний или ассимиляций; последнее могло иметь место в дославянском **kei̯ker- < *kai̯ker- / *kai̯kor-*.

Изложенная выше гипотеза по этимологии рус. *чичер* (и сербохорв. *ч̏ӣч*) может представить интерес в плане дальнейших поисков отражений и.-е. **kai-* 'один, единственный' в славянском, где до сих пор они указывались в формах **cělъ*, **cěglъ*.

Др.-рус. *очюнной* (рус. *очень*), в.-луж. *cuni*, словин. *cȃnï*

Типично русское слово, не имеющее, как обычно полагают, соответствий в других славянских языках, — наречие *очень* насчитывает к настоящему времени целый ряд этимологий в литературе и, можно сказать, еще не получило удовлетворительного объяснения до сих пор. Нас не могут удовлетворить этимологии *очень* от *око*, от *очнуться*, *очутиться*, из **отъчьнь* [19]. Более древней и одновременно этимологически наиболее авторитетной формой слова является древнерусская огласовка *очунь*. А. С. Львов, ранее объяснявший *очень* из *очунь* 'дурно', 'чрезвычайно', 'весьма', наречия от глагола **очүнѣти** [20], пришел позднее к заключению, что *очунь* — существительное с суффиксом *-нь* от глагола *очути*, ср. *дань* : *дати*. По мнению А. С. Львова, от существительного *очунь* было образовано прилагательное *очюнной* 'дурной' (Иван Грозный, 1578 г.). Переход *очунь* из существительных в разряд наречий автор сравнивает с аналогичным переходом слов *страх*, *жаль* [21]. Доводы

---

[16] Frisk I, 753—754; Hofmann, 128: сомнения по поводу этой этимологии см., в частности, Boisacq[4], 390—391.

[17] См. Walde—Hofmann I, 129.

[18] См. об этом Ernout—Meillet[3] I, 147.

[19] См. Vasmer II, 295.

[20] *А. С. Львов*. Из лексикологических разысканий // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. X. М., 1956. С. 68 и след.

[21] *А. С. Львов*. Из лексикологических наблюдений. 2. Еще раз об этимологии *очень* // Этимология. 1965. М., 1967. С. 194—195.

А. С. Львова логичны, но исходят из молчаливого допущения, что речь идет о русском новообразовании. Привлечение родственных данных из других славянских языков, к которым мы обратимся ниже, меняет оценку явлений. В нижеследующих примерах можно заранее выделить устойчивость элемента *-n-* (*-н-*), по А. С. Львову, — вторичного суффикса. Все сравниваемые ниже слова — прилагательные. В русских формах мы также видим прилагательные: полное — *очюнной*, и краткую адвербиализированную форму *очюнь*. Родственные формы находим в западнославянском: в.-луж. *cuni* 'мягкий, нежный', 'тонкий' [22], словин. *cа̑nï* 'красивый, хорошенький' [23], *cënï* то же [24]. Верхнелужицкую и кашубско-словинскую формы может объединить вместе с древнерусской формой *очюнной* только праславянская реконструкция **otjunъjь* — прилагательное, полученное сложением префикса *ot-* и основы *jun-*. Дальнейшая история форм в западнославянском привела к переразложению, вследствие чего *о-* было осмыслено как префикс и затем отделено, и новым началом слова оказалось *tj-* > зап.-слав. *c-*. Благодаря Махеку мы можем в деталях проследить это развитие на одном этимологически родственном образовании, которое вместе с тем настолько обособилось от наших прилагательных, что сам Махек упустил из виду наличие этих этимологически родственных соответствий. Непосредственным предметом анализа Махека послужило чеш. диал. (зап.-морав.) *coun* 'молодой побег, отросток' [25], также *cun*, с одной стороны, и ст.-чеш. *ocún* 'растение Colchicum' — с другой. Если в первом издании Этимологического словаря Махека мы читаем под *coun* помету «неясное» [26], то во втором его издании это слово убедительно проэтимологизировано как тождественное *ocún* < **otjunъ*, первоначально — 'молодой отросток, побег вообще' [27]. Специальное внимание Махек уделяет при этом функции префикса *ot-*, принимая для него здесь значение 'вновь, опять' (со ссылкой на аналогии в балтийском) из первоначального значения взаимности, т. е. в любом случае — значение более древнее, чем теперешнее разграничительное. Махек приходит к выводу, что в ст.-чеш. *ocún* 'растение Colchicum' (а также в чеш. диал. *coun* 'молодой побег, отросток') представлено субстантивированное прилагательное особого типа [28]. Если Махек приходит к констатации адъективного характера данного образования лишь путем

---

[22] Pfuhl. S. 63; Jakubaš. S. 71.
[23] *Lorentz*. Slovinz. Wb. 1. S. 98.
[24] *Lorentz*. Pomor. I. S. 90.
[25] *Bartoš*. Slov. S. 40.
[26] Machek^1. S. 61.
[27] Machek^2. S. 89.
[28] Там же. S. 408.

реконструкции, то тем более ценны для нас свидетельства в.-луж. *cuni*, словин. *cȃnï*, *cënï*, др.-рус. *очюнной*, функционирование которых в качестве прилагательных очевидно и не требует доказательств. Не должна вызывать принципиальных возражений как будто и реконструкция **otjunъjь* для этих прилагательных (см. выше). Что касается семантики названных прилагательных и возможного характера ее связи со значениями слав. **junъ* 'молодой, юный', то здесь намечаются определенные отличия. Связь значений западнославянских прилагательных — в.-луж. 'мягкий, нежный', 'тонкий', словин. 'красивый, хорошенький' — со значением 'молодой' может быть, кажется, принята как самоочевидная. Древнерусское значение 'дурной', думается, развилось из 'чрезвычайный, сильный' (ср. значения *очунь*, *очень*), а последнее опять-таки восходит к значению 'молодой', в чем мы согласны с Р. Ф. Брандтом, который, в отличие от Миклошича и ряда более поздних исследователей, именно так, в частности, объяснял ст.-слав. **оуни҇и** melior (Супр.): 'моложе' → 'сильнее, лучше'[29]. Требует оговорки и функция префикса *ot-* в реконструированном прилагательном **otjunъjь*: не исключено, что мы здесь имеем своего рода суперлатив (ср. значение родственного др.-инд. *áti* 'чрезвычайно, очень', авест. *aiti-*) 'очень молодой, юный' → 'нежный', 'красивый'; 'сильный, чрезвычайный'.

Укр. *Говерла*, название горы в Карпатах

Говерла — так называется наивысшая вершина (2058 метров над уровнем моря) Украинских, Лесистых Карпат. Другие попытки этимологизации оронима *Говерла* нам неизвестны. Это название может продолжать более раннее **оверла* (со вторичным развитием протетического придыхания перед этимологически чистым начальным гласным[30]) < **ob-vьrtla*. Близкое этимологическое соответствие находим только в сербохорватской апеллативной лексике: *ȍvȓļ* м. р. 'вид женского головного убора', ср. пословицу *Gizdavoj nevi ne možeš* ***ovrļ*** *oko glave obmotati*; сюда же, далее, *Ovr̀ļe*, топоним в Далмации, *Ovrļica*, местное название в Боснии; *ovr̀ļina* ж. р. 'женский головной убор, кичка'. Любопытно здесь отметить и форму с протетическим *h- hovrlica* ж. р. 'старинный жен-

[29] *Р. Ф. Брандт*. Дополнительные замечания к разбору Этимологического словаря Миклошича. Варшава, 1891. С. 177—178. — Иначе см. Miklosich. S. 372; Vasmer III, 184 (с литературой); *Sadnik-Aitzetmüller*. Handwörterbuch. S. 325.

[30] См. о протезе *г-* перед *о-* в украинских диалектах: *J. Ziłyński*. Opis fonetyczny języka ukraińskiego. Kraków, 1932. C. 108; *І. Панькевич*. Українські говори Підкарпатської Руси ї сумежних областей. Ч. 1. Praha, 1938. С. 107; *Г. Ф. Шило*. Явище протези в слов'янських мовах // ВСЯ. Кн. II. Львов, 1949. С. 231, 233—234; *Ф. Т. Жилко*. Нариси з діалектології української мови. Київ, 1955. С. 111.

ский головной убор в Винодоле' (с XIII в.)[31]. Метафорическое употребление названия женского головного убора, кички в качестве названия горы кажется естественным. Этимологическое тождество *Говерла* : сербохорв. *ovr̥* представляет интерес в ряду других карпатских «южнославянизмов» украинского[32].

Восточнославянский гидроним *Суходров*

Речь идет о названии малой реки, левого притока Шани, левого притока Угры, в бассейне Оки. Гидроним известен в целом ряде вариантов — *Суходров*, *Суходрев*, *Суходровь*, *Суховъ-ровъ* в списках, картах и документах древнего и нового времени[33]. Относя часть вариантов названия за счет народно-этимологических переосмыслений (таковы, по нашему мнению, *Суходрев*, *Суховъ-ровъ*), выделяем как наиболее авторитетный этимологически, т. е., главным образом, не отражающий явной тенденции осмысления и вторичной ассоциации, вариант *Суходров*. Перед нами — гидронимическое сложение, которое можно лучше понять, сопоставив с практически тождественным сложным гидронимом на территории Литвы: в старых записях — *Савсдравы*, *Совздровисъ*, современное лит. *Saũdravas*[34], далее — *Sausdrãvas*, *Sausdrãvė*[35]. В литовском гидрониме выделяется компонент *saus*- 'сухо-', этимологически идентичный начальному *Сухо*- русского гидронима. Второй компонент лит. *-drav*- так же точно соответствует рус. *-дров*, дополнительно подтверждая наличие здесь особого этимона, не связанного ни с дровами, ни с древом (см. вторичные варианты русского гидронима, выше). Это особая гидронимическая основа, выступающая, в частности, и на восточнославянской территории, ср., например, название реки *Адров* / *Одров*, в Поднепровье, как, впрочем, и на балтийской территории, ср. др.-прусск. *Drawe*, название ручья. Своеобразие случая *Суходров* состоит в том, что полное соответствие ему находим в балтийской гидронимии, но второй его компонент не находит опоры ни в славянской, ни в балтийской апеллативной лексике (созвучные лексемы со значениями 'дрова', 'дерево' в славянских языках, 'борть, дупло'

---

[31] RJA IX, 499; RJA III, 673.

[32] См. в целом об этой проблеме вступительную статью к изд.: *С. Б. Бернштейн*, *В. М. Иллич-Свитыч*, *Г. П. Клепикова*, *Т. В. Попова*, *В. В. Усачева*. Карпатский диалектологический атлас. М. [б. г.], ротапринт.

[33] Книга Большому чертежу, или Древняя карта Российского государства. 2-е изд. СПб., 1838. С. 119; Книга Большому чертежу. Подготовка к печати и редакция К. Н. Сербиной. М.; Л., 1950. С. 119. Сведения о гидрониме *Суходров* и вариантах взяты из работы: *Г. П. Смолицкая*. Список рек бассейна реки Оки (рукопись).

[34] *K.-O. Falk*. Wody wigierskie i huciańskie. I. Uppsala, 1941. S. 191.

[35] Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963. S. 143.

и т. д. в балтийских языках здесь явно не подходят). По-видимому, здесь налицо реликты индоевропейской именной отглагольной основы, прослеживаемой в старой гидронимии разных индоевропейских территорий (иллирийск. *Dravos*, польск. *Drwęca*, галльск. *Druentia*, др.-инд. *Dravantī-* : *drávati* 'бежит, течет' < и.-е. **dreu̯-*[36]).

[36] Обзор форм см. Pokorny I, 205.

ЕЩЕ РАЗ МЫСЛИЮ ПО ДРЕВУ

«Темные места» «Слова о полку Игореве» продолжают по-прежнему привлекать внимание исследователей — лингвистов и литературоведов, славистов и тюркологов и т. д., ср., например, в самое последнее время заметки этнографа Н. И. Гаген-Торн [1]. Темных, или загадочных, мест действительно много в небольшом по объему тексте великой поэмы. Их многостороннюю проблематику можно свести к двум узловым моментам, неизбежно присутствующим в трактовке каждого случая: членение на слова и соотнесение слов «Слова» с лексикой, известной из других источников. Последний момент едва ли не самый трудный, потому что очень часто и имена, и слова, встречающиеся в «Слове», не встречаются более нигде. Сюда примыкают примеры, свидетельства о которых за пределами «Слова» проблематичны или оспариваются, по крайней мере, частью авторов. Такой характер имеет и интересующий нас здесь гапакс *мыслию по древу*: **Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы.**

Кажется, ничто не мешает видеть здесь (*мыслію*) падежную форму от известного слова *мысль*. Так читают это место те прежние и современные исследователи, по мнению которых этим словом здесь обозначается воображение [2]. Как будто такое толкование подтверждается словоупотреблениями **мыслію смыслити, мыслію прелетѣти, мыслію... мѣритъ** и близкими в тексте «Слова» [3], передающими умственный, мысленный взор, образ, мысль и

[1] *Н. И. Гаген-Торн*. Некоторые замечания о «темных местах» «Слова о полку Игореве» (заметки этнографа) // Сов. этнография. 1972, № 2. С. 51 и след.

[2] Срезневский II. Стб. 217; см. специально: *В. Л. Виноградова*. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 3. Л., 1969. С. 123.

[3] *В. Л. Виноградова*. Там же.

далее — замысел, умысл. Прочие древнерусские данные, а также значение и употребление современного русского слова *мысль* в свою очередь поддерживают это толкование. За малым, казалось бы, исключением: словоупотребление основной цитаты (...**растѣкашется мыслію по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы**) по-прежнему сопротивляется объяснению от *мысль* 'воображение, умственный образ, мысль'. Не случайно поэтому все сторонники этого последнего толкования главную свою аргументацию направляли против упомянутого места «Слова» и его возможного иного понимания. Надо отдать должное остроумию и учености этих авторов, видевших здесь (в зависимости от индивидуальной концепции) то мифическое дерево, то древо познания, мудрости, то струнный музыкальный инструмент [4]. Однако все эти построения отличает сложность, которая снижает их убедительность. До сих пор не удалось опровергнуть простого и очевидного наблюдения, сделанного еще ранними исследователями «Слова», что здесь представлен параллелизм з р и т е л ь н ы х образов животных, птиц, явлений природы [5]. Однако гиперкритицизм, развернутый в литературе вокруг этого места, возымел свое действие, чем объясняется постепенное исчезновение со страниц исследований по древнерусской лексике толкований слова *мысль* как названия зверька, белки [6].

Как в каждом старом, запутанном вопросе, спор о действительном значении *мыслию* (*по древу*) нельзя, наверное, решить простым предпочтением одной из двух противоположных точек зрения. Мы решительно возражаем против отождествления этого слова с *мысль* 'воображение, мысленный образ', но

---

[4] *В. Л. Виноградова.* Указ. соч. С. 120—122 (с подробной литературой).

[5] Подробная история вопроса и старая литература, посвященная последней точке зрения, см.: *В. Л. Виноградова.* Указ. соч. С. 124—125.

[6] Так, в «Хрестоматии по истории русского языка» С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова (Ч. 1. 2-е изд. М., 1952. С. 371. Словарь) прямо указано на наличие формы *мысь* 'мышь' в «Слове о полку Игореве». Но уже в «Очерках по истории русского литературного языка старшего периода» С. П. Обнорского (М.; Л., 1946), в специальном разделе о лексике «Слова», это название обойдено молчанием. Правда, чтения *мысью* 'мелким зверьком' придерживается, например, П. Я. Черных (Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956. С. 172), из современных авторов — еще В. В. Мавродин (Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XIV. М.; Л., 1958. С. 61 и след.), но в новой книге Ф. П. Филина «Происхождение русского, украинского и белорусского языков» (Л., 1972), широко исследующей древние лексические диалектизмы, слово *мыслию* (*мысью*) не упомянуто вообще. Ничего не говорит об этой форме в «Слове» М. Фасмер в своем «Этимологическом словаре русского языка». Крайняя точка зрения, отвергающая чтение *мыслию* (*мысию*) 'белкой', представлена в статье: *В. Л. Виноградова.* Растекаться мыслью по дереву // Русская речь. 1971, № 1. С. 81 и след.

мы не можем согласиться и с чтением *мысью*, так как последнее игнорирует («улучшает») засвидетельствованную форму (*мыслию*) и не может быть принято по соображениям исторической фонетики, о чем будет сказано далее.

Кстати, о слове *мысь*. Еще в прошлом веке было указано на существование в Опочецком уезде Псковской губернии народного диалектного слова *мысь* 'белка'. В словаре Даля приводится *мысь* ж. псков. 'белка, векша' (Т. II. 2-е изд. С. 365). Сам лексикограф едва ли считал названное слово странным, как полагает П. Я. Черных, во всяком случае во втором издании словаря при слове не стоят ни вопросительный знак, про который говорит П. Я. Черных, ни другие знаки авторского сомнения. Высказывалось мнение (А. А. Потебня, П. Я. Черных, М. Фасмер, В. Л. Виноградова), что *мысь* — это диалектная форма слова *мышь*. Но здесь коренится явное недоразумение: ведь отсутствие фонологического различения *ш* и *с*, принимаемое авторами в этом псковском диалектном слове, непременно должно было бы выразиться в тождестве значения, тем более что речь идет о слове, которое знает только одно значение в масштабах всей славянской языковой семьи (**myšь* 'мышь') и даже индоевропейской. Но как раз значения четко различаются: *мышь* 'мышь' — *мысь* 'белка'. Диалектная форма *мысь* 'белка' продолжает особое древнее слово[7]. Постараемся решить, какое именно. Старая форма **mysь* сохраниться не могла, она закономерно перешла бы в **myšь* (это наглядно демонстрируют отношения и.-е. **mūs* — слав. **myšь*). Форма **myslь* равным образом не должна была бы сохраниться[8], но дала бы **mylь*, потому что *s* после *i*, *ū̆*, *r*, *k* перед сонантом результировало в славянском в нуль звука, о чем говорят очень надежные примеры: праслав. **žila*, рус. *жила* < **gīslā*, ср. лит. *gýsla* 'жила, сухожилие'; праслав. **luna*, рус. *луна* < **louksnā*; праслав. **čьrnъ*, рус. *чёрный* < **kĭrsno-*. Примирить между собой формы рус. диал. *мысь* и др.-рус. *мыслию* (тождество которых не вызывает у нас сомнения) можно при том условии, что между *-s-* и *-l-* находился зубной *-t-*. Реконструируемое **mys-tl-* затем упростилось в **myslь* подобно тому, как это произошло в **лѣторасль** < ***лѣторастль**; наступила омонимизация с **myslь* 'мысль, воображение', затемнившая первоначальное положение вещей и содействовавшая вытеснению слова **myslь* 'мелкий зверек, белка', которое с дальнейшим упрощением в *мысь* просуществовало в псковских говорах до XIX в.

---

[7] Отсутствие слова *мысь* в словарных картотеках (см. *В. Л. Виноградова* // Русская речь. 1971, № 1. С. 83) еще ни о чем не говорит, слова утрачиваются, что касается указания того же автора на отсутствие формы *мысь* в памятниках Древней Руси, то там и не должно было быть этой формы ввиду ее вторичности.

[8] В омонимичном **myslь* 'идея, воображение' *-s-* сохранилось, потому что не следовало непосредственно за *-y-*, ср. этимологии из **mūd-sl-* или из **mṇt-sl-*.

Раннепраславянское **mys-tl-*, или, вернее, **mūs-tl-*, фонетически обязательная праформа для др.-рус. *мыслию* и рус. диал. *мысь*, содержит в первом компоненте **mūs-* 'мышь', что представляется убедительным со стороны формы и значения. Встает вопрос о функции и происхождении компонента *-tl-*. На первых порах может показаться, что мы имеем здесь дело с суффиксом, но этому противоречит, во-первых, ранняя эволюция суффиксального *-tl-* > *-dl-* в славянском [9] и преимущественно отглагольный характер производных имен на *-dl-* [10], во-вторых. Следовательно, *-tl-* в нашем слове скорее всего не является суффиксом. Ответ на вопрос о его природе, как и о составе всего образования, дает внешнее сравнение с родственной лексикой других индоевропейских языков. Так, мы полагаем, что раннепраславянское название мелкого зверька **mūstlĭ* родственно лат. *mūstēla* 'ласка', 'каменная куница'. Этимологическое отождествление славянского и латинского названий животных носит характер двустороннего этимологического решения, поскольку самый факт отождествления помогает выяснить этимологию как славянского, так и латинского слова. Об истории изучения темного славянского (древнерусского) слова говорилось выше. Что касается лат. *mūstēla*, то оно признавалось до сих пор в литературе неясным [11]. Сомнений не вызывало, пожалуй, только наличие *mūs* 'мышь' в первом компоненте [12]. «Но для следующего компонента приемлемое сближение отсутствует» [13]. Действительно, существующие в литературе этимологические сближения второго компонента *mūs-tēla* столь умозрительны и произвольны, что могут быть здесь опущены без колебания, интересующегося соответствующими данными читателя можно отослать к богатому библиографией словарю Вальде—Гофмана. Именной суффикс *-tela* в латинском нам неизвестен [14], в чем можно видеть сходство словообразовательной характеристики с раннепраславянским **mūstlĭ*. Существуют латинские отглагольные и отыменные производные с

---

[9] Подробно об этом см. *О. Н. Трубачев*. Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянском и некоторых других индоевропейских диалектах // Этимология. М., 1963. С. 37 и след. (там же остальная литература).

[10] Исключения из преимущественной отглагольности имен на *-dl-* (*-tl-*) вроде **gъrnidlo* 'горнило', 'место для горна, печи' также далеки от нашего названия зверька, потому что имеют специфическое значение названия места.

[11] *A. Walde*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch / 3. Aufl. von J. B. Hofmann. Bd. II. Heidelberg, 1954. S. 135; *A. Ernout*, *A. Meillet*. Dictionnaire étymologique de la langue latine. T. II. 3e éd. Paris, 1951. P. 754—755.

[12] Walde—Hofmann. Там же.

[13] Там же.

[14] Ср. ошибочно *И. Х. Дворецкий*, *Д. Н. Корольков*. Латинско-русский словарь / Под общ. ред. С. И. Соболевского. М., 1949. С. 570: mustēla, ae f (demin. к mus.).

суффиксом *-ēla*[15]: *suādēla* 'убеждение, увещевание' (*suādeo* 'советовать, предлагать'), *nītēla* 'блеск, блестка' (*niteo* 'лосниться'), *candēla* 'свеча' (*candeo* 'блистать, сиять'), *fugēla* 'бегство' (*fŭgio* 'убегать'), *querēla* 'жалоба' (*quĕror* 'жаловаться'). Не исключено, что исход слова *mūstēla* подвергся влиянию этих суффиксальных производных на *-ēla-*[16], ср., *nitēla* в значении 'полевая мышь'[17], но изначальное присутствие суффикса *-ēla-* и членение *mūs-t-ēla* в высшей степени сомнительно. Латинский не знает производных с суффиксом *-t-* от консонантной основы *mūs*, *mūris* 'мышь' типа лат. *ōs-t-ium*, др.-инд. *óṣ-tha-*, ст.-слав. ѹс-т-а; случай лат. *musta* представляет собой обратное производное, полученное путем переразложения[18]. Старым прилагательным от лат. *mūs* является лат. *mūrīnus* 'мышиный, крысиный' < и.-е. *mūsīnos > слав. **myšinъ*. Сказанное сильно подрывает реконструкцию для лат. *mystēla* производного с суффиксом *-t-* **mus-t-*, сомнительную и для других индоевропейских языков. Мы имеем в виду осет. *mystulæg* 'ласка (зверек)', которое В. И. Абаев ярко и убедительно в целом сблизил с однозначным лат. *mustela*[19]. Наращение *-t-*, имеющееся в осет. *myst* 'мышь' должно, видимо, объясняться особо. Исход *-æg* в *mystulæg* является широко популярным осетинским (иранским) суффиксом, что же касается основы осет. *mystul-*, то мы рассматриваем ее в тесной связи с лат. *mūs-tela*, а также слав. **mys-tl-ь*, которые, судя по всему, возникли как двуосновные сложения (тип сложения ср. лат. *mus-cerda* 'мышиный помет'), а не как суффиксальные производные. Поэтому мы воздержались бы от трактовки элемента *-ul-* в осет. *mystulæg* как уменьшительного суффикса, предлагаемой В. И. Абаевым[20], иначе мы не сможем объяснить структуры других вышеназванных родственных форм.

Таким образом, вероятно, что второй компонент *-tel-/-tl-* в названных словах является второй полнозначной основой. Единственную возможность этимологизации этой основы мы видим в сближении с и.-е. **tel-/*tl-* 'поднимать, нести', ср. др.-инд. *tulayati* 'поднимает', др.-лат. *tulo*, *tulere* 'нести', лат. *tuli*, перфект (супплетивный к *fero* 'несу', *lātus* (**tlātos*), причастие, *tollo*, *tollere* 'поднимать', греч. ἀνα-τέλλω) 'поднимаюсь', тохар. *täl-* 'поднимать, нести, носить'[21].

---

[15] Полные сведения на этот счет можно почерпнуть из обратного словаря латинского языка: *O. Gradenwitz*. Laterculi vocum latinarum. Leipzig, 1904. P. 292.

[16] Ср. *A. Walde*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910. S. 504.

[17] *Ernout, Meillet*. Там же.

[18] *Walde—Hofmann*. Там же.

[19] *В. И. Абаев*. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965. С. 28.

[20] Там же. С. 80, 130—131.

[21] *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Bern; München, 1959. S. 1060—1061.

Семантика 'носить', 'носиться' органически близка к 'лететь, летать'. Ср. словоупотребление в русском переводе Библии (Быт. 1, 2): *...и Дух Божий носился над водою*; в польском переводе Вульгаты: *a Duch Boży unosił się nad wodami*[22]. И.-е. **mūs-t(e)l-* обозначало бы носящегося, летающего зверька. В других индоевропейских языках это название закрепилось за лаской (лат., осет.), в славянском диалекте оно, видимо, означало белку-летягу, ср., между прочим, научное название последней — Pteromys, буквально что-то вроде 'летучая мышь' (греч.). Мы приходим тем самым к довольно старому толкованию реликта *мыслию* в «Слове о полку Игореве», но на основе новой аргументации. Само собой разумеется, что при этом следующий далее в «Слове» контекст *по мыслену древу* надо считать позднейшим или испорченным местом, что, впрочем, уже высказывалось в литературе.

Разъяснение одной загадки истории языка приводят к новым загадкам, еще не выясненным. Такими последствиями чревато и толкование др.-рус. *мыслию* 'белкой', праслав. **mys-tl-ь* от и.-е. **tel-* 'носить(ся)'. Почему было утрачено **tel-* в славянском? Как относится оно к исторически засвидетельствованному слав. **letěti*? Какова в таком случае действительная этимология **letěti*? Как правильнее объяснить некоторые особенности этого последнего (например, отсутствие именного *-o-* вокализма: *letъ*, а не **lotъ*)? Случайно ли морфологическое сходство семантически близких греч. ἀνα-τέλλω (*τέλ-i̯ω) 'поднимаюсь' и 'слав. **letjǫ* 'лечу' (и там и тут — презентная форма на *-i̯-*)? Как видим, загадка становится задачей, но это уже тема для другой работы.

[22] См. о польской цитате с этим глаголом специально: *Т. Лер-Сплавинский*. Польский язык. М., 1954. С. 123.

НЕСКОЛЬКО ДРЕВНИХ ЛАТИНСКО-СЛАВЯНСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ

В предлагаемой работе анализируются некоторые факты этимологии, словообразования, сочетания слов и морфем, объединяющие латинский и славянский. Связь между латинским и славянским принято рассматривать в общем ряду родственных связей древних индоевропейских диалектов между собой. Насколько известно, никто не ставил вопрос о преимущественном или исключительном характере древних языковых отношений латинского и славянского. По-видимому, считается, что материал для этого отсутствует. В известной книге В. Порцига [1] раздел «Италийские языки и славянский» занимает одну-две страницы (из словообразования и лексики там приведены соответствия лат. *ōstium* : слав. *ustьje*, названное «сходным явлением», лат. *mortuus* : слав. *mьrtvъ*, новообразование, толкуемое автором как влияние западных индоевропейских языков на славянский, далее — лат. *hospes*, *hospitis* : слав. *gospodь*, культурный термин лат. *secūris* : слав. *sekyra*, лат. *cāseus*: слав. *kvasъ*). Очевидно, что поверхностный перечень Порцига далек от полноты и не может служить достаточным основанием для тех или иных суждений по названному вопросу [2].

Сама методика исследования латинско-славянских связей разработана еще недостаточно (примером может служить статья Я. Сафаревича об италийско-славянских языковых связях [3], где лексический материал рассматри-

---

[1] *В. Порциг*. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964. С. 197 и след.

[2] Попутно отметим следующее небезынтересное высказывание автора: «Особых соответствий, связывающих италийские языки с балтийским, нет» (*В. Порциг*. Указ. соч. С. 199).

[3] *J. Safarewicz*. Rocznik slawistyczny. T. XXIII. Cz. 1, 1964.

вается по грамматическим категориям, что вряд ли можно считать удачной исследовательской процедурой, поскольку при этом неизбежно упускается из виду лексико-семантическая специфика слов и групп слов).

Нас здесь интересуют в первую очередь исключительные или преимущественные связи латинского и славянского в лексике, носящие древний характер. При этом не всегда легко провести различие между общим архаизмом и общей инновацией. В ряде случаев этот вопрос остается открытым. Показательной для общих языковых переживаний обычно считается только общая инновация, а не общий архаизм, однако в этом видна определенная недооценка условий сохранения общего архаизма; этими условиями тоже могли быть совместность языковых переживаний, языковой контакт. Весьма поучительно в типологическом отношении сослаться при этом на так называемую «теорию холодильника», Kühlschranktheorie В. Кипарского, выдвинутую этим ученым для объяснения оборота nominativus cum infinitivo в русском языке типа *земля пахать*, *печка топить*, *душа спасать*[4]. Кипарский пришел к заключению, что корни этой конструкции уходят в глубокую древность как в финно-угорском, так и в индоевропейском, но в то время как в большинстве индоевропейских, славянских языков именительный падеж при инфинитиве был заменен винительным прямого объекта, русские (преимущественно северновеликорусские) диалекты лучше сохранили старый оборот под влиянием сходного оборота в соседних или субстратных финских языках. Существенно, что сохранение общего — или в данном случае сходного — архаизма оказалось возможным именно вследствие языкового контакта, иначе говоря — общий архаизм свидетельствует о языковых контактах.

Таким образом, не считая необходимым проводить навязчивое разграничение между общей инновацией и общим архаизмом, подчас затруднительное при решении вопросов большой древности, мы, естественно, отдаем себе отчет в бесспорной важности выявления общих новообразований. Из выдвигавшихся нами ранее латинско-славянских лексико-словообразовательных параллелей к совместным инновациям могут быть отнесены следующие: слав. **gъrnidlo* 'горнило, вместилище печи' (рус.-цслав. *гърнило*) — народно.-лат. **furniculum* (откуда, например, совр. франц. *fournil* 'пекарня', 'прачечная')[5]; слав. **gъrnьсь* 'глиняный сосуд, горшок' — лат. *fornix*, вин. п. *fornicem* 'свод, арка'[6]; слав. **dъvigo* (словин. *dvjĩgə* 'ярмо для двух волов') —

[4] *V. Kiparsky*. Gibt es ein finnougrisches Substrat im Slavischen? // Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B. T. 153, 4. Helsinki. 1969. S. 19 (там же остальная литература).

[5] *О. Н. Трубачев*. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966. С. 196.

[6] *О. Н. Трубачев*. Ремесленная терминология... С. 197.

лат. *bīgae* ж. р. мн. ч. 'двойная упряжка' < **du̯ii̯ugai̯*[7]. Сюда примыкает предложенная нами в самое последнее время преимущественно латинско-славянская (с участием осетинского) параллель слав. **mystlь* 'мелкий зверек, белка-летяга' (ср. реликт *мыслию по древу* в «Слове о полку Игореве», рус. диал., псков., *мысь* 'белка') — лат. *mūstēla* 'ласка'[8], общая инновация или, может быть, общий архаизм, если учитывать реликтовый характер элемента **tel-*/*-*tl-* < и.-е. **tel-* 'носить(ся)' в обоих образованиях[9].

Интересные примеры старых словообразовательно-лексических параллелизмов латинского и славянского дал В. Н. Топоров: слав. **domosěd-* — лат. *domisēda*, слав. **vele-l'ub-* — лат. **uolub-* (откуда *uoluptas*)[10].

Мы представляем себе латинско-славянские лексические соответствия, или параллелизмы, как словообразовательно-разветвленные. Раньше уже приходилось называть примеры такого рода, когда параллелизм, многократный по своей природе, охватывает производящую основу (слав. **gъrnъ* — лат. *furnus*) и производное или производные (соответственно: **gъrnьcь*, **gъrnidlo* — *fornicem*, **furniculum*). Как видим, архаизмы и инновации могут образовывать сложные переплетения, и именно эта сложность придает получаемой картине или фрагменту языковых отношений как бы привкус реальности, которого нас лишает более ригористическое решение проблемы (или архаизм — или инновация...). Словообразовательная инновация может вырастать на базе общего архаизма в буквальном смысле, ср. производные от общей индоевропейской праформы с суффиксами *-*tl-*, *-k-*, которые являются отнюдь не банальными инновациями (отсюда слав. **gъrnidlo*, **gъrnьcь*, лат. **furniculum*, *fornix*, о которых — выше). Далее, словопроизводная инновация способна содействовать консервации, сохранению также архаической производящей основы, в иных случаях она сигнализирует древнее наличие последней косвенно. Ср. слав. **košь* (ст.-слав. **кошь** κόφινος), **koslь* (рус. *кошéль*) — лат. *quālus* (**quas-lo-*) 'плетеная корзина', уменьшительное *quasillus* 'корзиночка' (в литературе по этимологии обычно почему-то игнорируется эта специальная общность *-l-* производного, охватывающая латин-

[7] *О. Н. Трубачев*. Заметки по лехитской этимологии // Исследования по польскому языку. М., 1969. С. 305.

[8] *О. Н. Трубачев*. Еще раз мыслию по древу // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974.

[9] В. И. Абаев (*В. И. Абаев*. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965. С. 28, 80, 130—131) сравнил лат. *mūstela* и осет. *mystulæg* 'ласка', но толковал оба слова, в отличие от нас, как деминутивы.

[10] *В. Н. Топоров*. Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам // Этимология. 1972. М., 1974. — См. его же статью о слав. *istъ* — лат. *iste*: КСИС 25, 1958. С. 80 и след.

ский и славянский). В последнем случае латинская производная форма лишь косвенно указывает на древнее наличие непроизводного архаизма **quas-*, тогда как славянский богаче, в нем сохранились и архаизм без *-l-*, и производная инновация на *-l-*.

В связи с основной темой настоящей статьи мы хотели бы обратить внимание на интересный славянский оборот **vĕno dati*. Основной наш материал, документирующий это словосочетание, происходит из русско-церковнославянских и древнерусских текстов: ...**аще ли инꙋ поиметь себѣ и потребныꙗ и ризы и вѣно ея дасть еи**... (Исх. XXI. 7—11); здесь **вѣно дати** значит 'дать приданое'[11]. Довольно богатый дополнительный материал, иллюстрирующий это словоупотребление, приводит «Словарь древнерусского языка XI—XIV веков» под редакцией Р. И. Аванесова (вып. I, рукопись, Институт русского языка АН СССР) и особенно — картотека этого Словаря, хранящаяся в Институте: **вѣно даꙗти за нѧ по силѣ имѣньꙗ ихъ** (Рязанская кормчая 1284 г., л. 278 в—г); **мужь оубогъ сы все вѣно даті долъженъ есть** (Рязанская кормчая 1284 г., л. 285 а); ...**и вѣно прежебрачныи даръ даꙗти за нѧ. по мѣрѣ имѣньꙗ ихъ** (Кормчая Варсонофиевская, конец XIV в., л. 273 а). Картотека «Словаря древнерусского языка XI—XIV веков», содержащая исчерпывающую выборку примеров с **вѣно** из «Рязанской кормчей», «Кормчей Варсонофиевской» и Мерила Праведного, насчитывает также немало других выражений, которые — прямо или косвенно — восходят к инфинитивному обороту **вѣно дати** (**вѣно даꙗти**): **не дадыи вѣна, даномоу за ню вѣну, жена, не давъшиꙗ вѣна, оць вѣно даꙗ**. Ближайшим преобразованием конструкции **вѣно дати** являются предложные обороты **въ вѣно дати, за вѣно дати**: ...**дасть и Фараось въ вѣно дщери своеи** (Иис. Нав. XVI. 10)[12]; **и оженися Владимиръ царицею Анною и дастъ Корсунь царема за вѣно**... (Рогожский летописец, 15. XV в.); **тоть городъ... въ вѣно данъ королевнѣ**... (Польские дела III, 803. 1571 г.)[13]. Картотека Древнерусского словаря XI—XVII вв., кстати сказать, кроме производного **вѣноданый, приданый**, ἐπίπροιχος, προιχῷος, *dotatus*, *dotalis* из «Лексикона треязычного» Ф. Поликарпова 1704 г., дает только преобразованные обороты с предлогами **въ вѣно, за вѣно** (**вдасть, данъ, дати**): **тѣмже и въ вѣно да ки Римь** καὶ ἐν τοῖς προιχίοις ἐδωρήσατο αὐτῇ τὴν Ρώμην (Откровение Мефодия Патарского I. XII—XIII вв.). И уже как откровенная порча этих преобразованных приставочных конструкций предстают случаи вроде: **дасть и фараосъ въ завѣино дщери своеи** (ἐν φερνῇ) (Иис.

[11] Срезневский I. Стб. 486—487.

[12] Там же.

[13] Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1. М., 1974.

10. Заказ № 2419.

Нав. XVI. 10)[14]; **дасть и фараѡ въ смѣино дщери своки**... (Иис. Нав. XVI. 10)[15].

Основной оборот **вѣно дати** всегда оставался ясным и прозрачным по составу, что следует из наличия синонимичных конструкций с заменой глагола: **аще мѹ҆ж приемъ вѣно въсхощеᵗ** / **кже по ѡбычаю вѣно створити** / **своеи ѡбрѹчеиіі хотѧщи** / **за нь поити**... (Рязанская кормчая 1284 г., л. 276 л. — Картотека «Словаря древнерусского языка XI—XIV веков»). Примерно о том же свидетельствует соотносительная с **вѣно дати** конструкция **взѧти вѣно** в той же кормчей, употребленная в ситуации, в которой жена желает развестись с мужем, оскорбленная несправедливым обвинением в прелюбодеянии.

Прозрачность оборота **вѣно дати**, иллюзия почти полной свободы сочетания слов в нем оборачивается роковым образом для исследователя в том смысле, что лексикографы почти без исключения проходили мимо этого факта языка (словаря и фразеологии), интуитивно опуская его, видимо, по мотивам принадлежности к подвижной стихии речи. Мы полагаем, что эта иллюзия обманчива и что перед нами — древнейшая правовая конструкция-формула. Молчание словарей русского языка на этот счет есть лишь лексикографический дефект. Так, например, если ни словарь Даля, ни «Словарь русских народных говоров» (ни другие доступные нам русские словари) не приводят выражения *вено дать*, оно, тем не менее, достоверно известно в русских народных говорах. Южновеликорусский говор деревни Голяковка Мглинского района Брянской области знает *вено дать* 'дать приданое за невестой': *за ёю такóе вéна багáтае дáли*[16].

Значение 'дать приданое' было, таким образом, господствующим у этого оборота, судя по приведенным примерам из древнерусско-церковнославянских памятников и далее — вплоть до современных русских народных диалектов. Но оно не единственное и даже не самое древнее, если взглянуть на это словосочетание из более далекой временнóй перспективы. Кроме внешних данных, к которым мы обратимся ниже, есть прямые свидетельства об этом и в древнерусском: **и то вьсе даси вѣно гн҃оу моемоу лусимахоу**...[17]. Здесь **вѣно** — не «прежебрачный дар», 'приданое', каковым оно вы-

---

[14] Срезневский I. Стб. 904.

[15] Срезневский III. Стб. 450.

[16] Этой информацией я обязан И. Ф. Протченко, уроженцу этих мест. Кстати, «Словарь русских народных говоров» (Гл. ред. Ф. П. Филин. Вып. 4. Л., 1969. С. 114) указывает *вéно* 'приданое' из курских, рязанских говоров, а производное *вéнница* 'невеста с приданым' — из брянских говоров, т. е. главным образом южновеликорусских, и только один пример — из бывшей Нижегородской губернии (Ардатов).

[17] Успенский сборник XII—XIII вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. Под ред. С. И. Коткова. М., 1971. С. 240 (л. 137 а—б).

ступает в сочетании с глаголом **дати** обычно в древнерусских кормчих книгах; оно значит в данном случае 'плата, выкуп' [18], откуда **вѣно дати** — 'уплатить, дать выкуп, выкупить'.

Некоторое количество соответствий может быть приведено из словарей других славянских языков: польск. *dać wiano*, ср. пример из «Идиллий» польского поэта Зимоwill, приводимый как словарем Линде, так и Варшавским словарем: *Za wieńcem dają wiano* [19]. Два примера оборота *dać wiano*, точнее — преобразованного *dać na wiano* 'дать (на) приданое', приводит из польских народных говоров Я. Карлович [20]: *Nie frasuj sie dziewcyno, dam sto złotych na wino. Da na bogate wiano* (*krowy*). Довольно хорошо был, по-видимому, представлен оборот *věno dáti* в значении 'дать приданое' в старочешских правовых и летописных текстах, ср.: *věno dáti nevěstě* (Хроника Далимила); *dal za věno zeti svému* (Там же [21]).

Сведениями о распространении этого оборота в южнославянских языках мы не располагаем. Конечно, на основании недостатка сведений или упомянутой выше неполноты словарей еще нельзя заключать прямо об отсутствии оборота **věno dati* в соответствующих языках вообще. Неслучайно, однако, с другой стороны, как раз в южнославянских языках крайне слабо представлено само имя **věno*: указывают на болг. стар. диал. *вéнó* 'выкуп за невесту', 'приданое' и на следы производного ст.-слав. **вѣнити** 'продавать' в македонских солунских говорах [22]. Далее, **věno* сохранилось, как явствует из предыдущего, в восточнославянских языках (во всяком случае, в русском и украинском), из западнославянских особенно выделяется чешский, где это гнездо более всего развито и где до сих пор представлены слова *věno* 'приданое', *věnovati* 'дарить', 'жертвовать', 'посвящать' и оборот *dáti věnem* 'дать в приданое'. Тем не менее, мы не преследуем цели выяснения географии оборота **věno dati* в славянских языках. Для нас здесь важно другое — то, что имеющиеся данные говорят о бесспорной праславянской древности оборота **věno dati*.

На эту констатацию мы можем опереться, чтобы перейти теперь к внешнему сравнению с лат. *uēnum dare* 'продавать'. Сближение и идентификация слав. **věno dati* и лат. *uēnum dare*, *uēnum dō* настолько очевидны, что кажется странным, если они не были предложены до сих пор. Мы выдвигаем это тож-

[18] Срезневский I. Стб. 486—487.

[19] Linde [изд. 1] VI. S. 180; Варшавский словарь VII. С. 534.

[20] *J. Karłowicz*. Słownik gwar polskich. VI. S. 99.

[21] Jungmann V. S. 69; Kott IV. S. 622—623.

[22] *К. Мирчев*. Един мним западнославянизъм в старобългарските паметници // Slavia occidentalis. 12. 1933. С. 135; *Георгиев* [и др.]. Български етимологичен речник. Свезка II. София, 1963. С. 134; *А. С. Львов*. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966. С. 219.

дество и пытаемся ниже обосновать его, поскольку оно не встретилось в известной нам литературе, между тем как важность его и необходимость не нуждаются в особых доказательствах [23]. Латинское выражение *uēnum dare*, рано свернутое в одно слово *venundare*, *vendere* (признак значительной идиоматизации), состоит из имени *uēnum* 'продажа', которое иногда толкуют как винительный от незасвидетельствованного **uēnus* [24], и глагола *dare* 'дать'. Словосочетание это своеобразно, можно сказать, — иррационально с точки зрения латинского словоупотребления, ибо оно значит 'давать продажу'. На это обратил внимание Бенвенист, специально занимавшийся латинской и родственной индоевропейской лексикой купли-продажи: «...эта тесная связь, установившаяся между *uēnum* и *dare* принадлежит к числу наиболее своеобразных фактов: понятие 'продать' определяется в латинском как 'дать определенным образом', с уточнением *uēnum*» [25]. Бенвенист не только не вспоминает о слав. **věno dati*, но вообще исходит из молчаливого убеждения, что славянский не знал соответствия лат. *uēnum*. Например, лат. *uēnum* он возводит к и.-е. **wes-* 'покупать', которое, по его мнению, охватывает хеттский, индоиранский, греческий, латинский, армянский, тогда как в славянском, балтийском, греческом, кельтском и индоиранском представлено в этом значении и.-е. **k^{w}r-* [26]. Бенвенист в данном случае стоит на той же позиции, что и другие этимологи-латинисты (ср. Вальде—Гофман), считающие, что между слав. **věno* и лат.

---

[23] Уже после того как настоящая статья была написана и представлена в качестве доклада на конференции по индоевропейскому языкознанию в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (12—14 декабря 1972 г.), В. Н. Топоров любезно предоставил мне возможность ознакомиться с рукописью его работы о праслав. **věno*, **věniti*, где излагается весьма близкая точка зрения. В частности, праславянское выражение **věno dati* возводится к индоевропейскому фразеологизму типа **u̯ēsn- / *u̯ōsn-dō-*. Заслугой В. Н. Топорова является то, что он указывает на продолжения этого оборота, помимо славянского и латинского (см. выше), также еще в греч. (гомер.) ὦνον ἔδωκε, др.-инд. *vasnam dadāti*. Правда, тем самым фактически как бы ослабляется наш тезис об исключительности славянско-латинского соответствия **věno dati — uēnum dare*, однако сочетание этого соответствия с параллелизмом **věniti — uēnum ire*, *uēnire* (см. о нем ниже) все-таки замечательно. В. Н. Топоров в названной работе обратил внимание и на связи слав. **věniti* с лат. *uēnum eo*, *uēnīre* 'продаваться', но он рассматривает их в общем ряду с греч. ὠνέομαι, др.-инд. *vasnayati*, хеттск. *uššanii̯a-*, глаголов близкой семантики, производных на *-i̯e- / -i̯o-* от имени **u̯ēsn- / *u̯ōsn-*. Интересно отметить совпадение наших взглядов с В. Н. Топоровым о слав. **věniti* как первоначальном сложении (о составе сложения см. далее).

[24] Walde—Hofmann II. S. 753—754.

[25] *É. Benveniste*. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I. Économie, parenté, société. Paris, 1969. P. 125.

[26] *É. Benveniste*. Там же. P. 127.

uēnum нет родства. Мы теперь склоняемся к мысли, что из двух основных индоевропейских этимологий слав. **věno* наиболее вероятно именно сближение с латинским словом, а конкурирующее сближение слав. **věno* с греч. ἔδνον 'приданое' (и далее — др.-в.-нем. *widomo*, нем. *Wittum* 'приданое')[27] должно быть все-таки оставлено и отнесено к разряду случайных сходств типа лат. *deus* : греч. θεός. Дело здесь не в фонетических трудностях, потому что фонетически **věno* объяснимо из **u̯ednom* с ранним упрощением сочетания *dn* в славянском, и, наоборот, с определенными фонетическими препятствиями приходится считаться этимологии **věno* : *uēnum*, потому что славянский, в отличие от латинского, не знает заместительного удлинения типа **u̯esn-* > **u̯en-*, кроме того, *-s-* в этой позиции не должно было ни перейти в *-x-*, ни выпасть, вопреки А. И. Соболевскому[28]. Единственный выход — принять вместе с Брюкнером[29] для славянского праформу **u̯ē-no-m*, без *-s-*, которое было в вариантной праформе **u̯es-no-m* латинского и некоторых других родственных названий. В остальном же обе этимологии слав. **věno* почти одинаково солидны и имеют сильные стороны, аргументы за и против кажутся уже исчерпанными, так что остается или смириться с особой трудностью этимологической дилеммы **věno*, как сделал Фасмер[30], или предпринимать комбинации из обеих этимологий[31], если по-прежнему все внимание сосредоточивать на одном слове, игнорируя контекст. Но яркий и устойчивый контекст употребления лат. *uēnum*, с одной стороны, и тождественный устойчивый контекст слав. **věno*, с другой стороны, показывают нам ошибочность устоявшейся изолирующей трактовки славянского слова.

Как мы видели, этимологические словари упоминают латинское и славянское слова рядом друг с другом нередко только затем, чтобы отвергнуть их родство. В тождестве словосочетаний *uēnum dare* — **věno dati* мы видим контекстное подтверждение этимологического тождества *uēnum* = **věno*. Этимология славянского слова должна исходить из факта наличия этого древнего, видимо, дославянского, индоевропейского контекста-формулы. Не соответствующие упомянутому общему латинско-славянскому контексту этимологии должны быть отвергнуты, а уже одно это резкое ограниче-

[27] Так см. Walde—Hofmann, там же; *О. Н. Трубачев*. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959. С. 144 (с литературой); *F. Froehde*. Zur lateinischen Lautlehre // BB. XVI. 1890. S. 212; Machek[2]. S. 683; *G. Shevelov*. A prehistory of Slavic. Heidelberg, 1964. P. 194.

[28] *А. И. Соболевский*. Русско-скифские этюды // Изв. ОРЯС. XXVII. 1924. С. 327.

[29] Brückner. S. 610—611.

[30] Фасмер I, 291.

[31] *Ю. В. Откупщиков*. Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967. С. 243—244.

ние выбора этимологического решения для слав. **veno* нельзя не считать прогрессом. Сравнение контекстов *uēnum dare* — **věno dati* обоюдно плодотворно. Чем оно полезно для славянского слова, мы показали. Но оно поучительно и для латинского. Латинское словосочетание сильно идиоматизировано (ср. его эволюцию в сторону цельного слова *vendere*), бóльшая свобода сочетания слав. **věno dati* говорит о его архаизме. То, что в латинском уже парадоксально со стороны смысла и нуждается в семантической реконструкции (ср. выше Бенвенист — о значении *uēnum dare* 'давать продажу'), в славянском еще хранит первоначальную ясность: **věno dati* 'давать плату'. Установившаяся традиция рассматривать латинский как более архаическую индоевропейскую ветвь в области древней индоевропейской терминологии и фразеологии подлежит пересмотру и проверке на конкретном материале и в ряде случаев этой проверки не выдерживает. Латинский насчитывает немало примеров перестройки более древнего состояния, сохраняемого другими языками. В качестве примера, также одновременно интересного для реконструкции древней индоевропейской лексики и фразеологии, упомяну две различные реализации семантической модели 'ухо склонить / приклонить', т. е. 'слушать': 1) древняя — и.-е. **k̂l-ou̯s-* в славянском, балтийском, германском и некоторых других (примеры известны); 2) видимо, более новая — **ou̯s-k̂l-* в лат. *aus-cul-to*[32].

Древняя глагольная лексика (и фразеология), связанная со слав. **věno*, не ограничивается вышеупомянутым **věno dati*, поскольку есть еще глагол **věniti*, откуда прежде всего — др.-рус., рус.-цслав. **вѣнити** 'продавать', ср. известную евангельскую цитату: **не два ли оуто врабьꙗ на ссарии вѣнима юста**? (Мф. X. 29)[33]. Впрочем, в церковнославянских текстах имеются явные следы иного, медиального употребления этого глагола, неверно толкуемые или совсем не толкуемые в словарях. Например: **вѣномъ да ю вѣнить собѣ женѣ** (Исх. XXII. 16. XIV в.). Это место приводится в словаре Срезневского[34] на то же значение 'продавать, vendere, πωλεῖν', что и предшествующий пример. А между тем ясно, что здесь речь идет об обязанности выкупить веном, ср. более полную цитату из «Рязанской кормчей» 1284 г., л. 260 г, приводимую «Словарем древнерусского языка XI—XIV веков» (вып. 1): **аще прѣльстить кто двцю неѡбручѥноу и спить с нею вѣномъ да вѣнить ю собѣ женоу**. Формульность изречения (ср. figura etymologica **вѣномъ вѣнити**)

---

[32] Из этого следует, что мы не согласны с однословной реконструкцией и.-е. **kleu-* 'слышать' у В. М. Иллич-Свитыча (*В. М. Иллич-Свитыч*. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971. С. 18).

[33] Срезневский I. Стб. 486—487.

[34] Там же.

говорит также о его древности. Некоторая неопределенность, широта значения, наблюдаемая у глагола **вѣнити**, может быть отнесена отчасти за счет древнего значения лексической основы **vĕn-*, относившегося и к купле и к продаже, отчасти же — за счет морфологических моментов. Последние выражаются в упомянутой медиальности оборота **вѣномъ да ю вѣнить собѣ женѣ** 'пусть он выкупит веном ее себе в жёны' и на редкость напоминают греч. ὠνέομαι (**u̯osn-ei̯-o-mai̯*) 'приобретать (за деньги), покупать' с той разницей, что медиальность греческого глагола выражена морфологически, а в славянском от нее остались лишь следы в семантике. Внешне **вѣнити** — это глагол на *-iti*. Глаголы на *-iti* ассоциируются обычно в славянском с каузативным и отыменным значением, хотя справедливо признается, что это скорее вторичная функция глаголов на *-iti*. Непервоначальность каузативного значения у глаголов на *-iti*, значительно большая древность у них иных значений, например итеративного, подтверждается указаниями прочих индоевропейских языков [35], в частности балтийских. Как говорит Вайян, «можно заметить, что вся эта маленькая группа каузативов на *-iti* не имеет соответствий в балтийском и кажется новой в славянском» [36]. Не случайно, например, литовский для выражения каузативности прибегает к морфологическим инновациям, вводя форманты *-dyti*, *-inti*, и если славянский глагол на *-iti* формально тождествен литовскому на *-yti*, то почти регулярно они расходятся по значению: славянскому каузативу противостоит литовское итеративное или смежное значение, полное тождество отмечается лишь для славянских итеративов.

Вернемся к своему славянскому примеру. Цслав. **вѣнити** в притче Христа о воробьях выступает как каузатив-деноминатив 'продавать что', в примере **вѣномъ да ю вѣнить собѣ** — в остаточном медиальном значении 'купить себе', и это значение было древнейшим из двух. Вопрос о структуре и образовании слав. **vĕn-iti* — это частный вопрос из проблемы формирования славянских глаголов на *-iti* и индоевропейских с формантом *-ei̯-*. Скорее всего, у этого глагольного форманта был ряд источников, и мы не собираемся говорить здесь обо всех. Однако предположительная предыстория одного из таких глаголов — **vĕniti* в том смысле, в каком мы ее себе представляем, может как будто содействовать прояснению некоторых моментов, касающихся всего типа глаголов.

---

[35] *K. Brugmann*. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Straßburg, 1904. S. 535—536.

[36] *A. Vaillant*. Grammaire comparée des langues slaves. T. III. Le verbe. Paris, 1966. P. 417. Ср.: *E. Frenkelis*. Baltų kalbos. Vertė S. Karaliūnas. Vilnius, 1969. S. 79—80 (считает литовский глагольный формант *-inti* древним); *Chr. S. Stang*. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsö, 1966. S. 326.

Мы имеем в виду еще одно латинско-славянское соответствие, или параллелизм, который предлагаем как гипотезу: слав. **věniti* — лат. *uēnum īre*. Это глагольное словосочетание, также рано свернутое в один глагол лат. *uēneō*, *uēnīre*, значит 'продаваться, быть проданным', и его толкуют как страдательный коррелят к упоминавшемуся выше *uēnum dō*, *uēnum dare*[37]. В чем сущность параллелизма слав. **věn-iti* — лат. *uēnum īre*, *uēnīre* и в чем состоит его значение для истории славянского слова? Из сказанного выше, как нам кажется, следует, что семантическая реконструкция слав. **věniti* показывает как бы ретроспективное нарастание у него страдательного значения (от более позднего активного через промежуточное медиальное). Это страдательное значение налицо у лат. *uēnum īre* 'продаваться'. Если взглянуть на эти же отношения с точки зрения лексической семантики, то можно говорить о ретроспективном нарастании лексического значения 'идти'. Иначе говоря, в начале эволюции стояло значение 'идти', и это касается не только лат. *uēneō*, *uēnīre*, для которого это очевидный факт, но и слав. **věn-iti*, для которого это значение лишь реконструируется (здесь бо́льшая архаичность — на стороне латинского). Реконструируемое с помощью лат. *uēnum īre* значение слав. **věn-iti* лучше характеризовать не в терминах развитых залоговых отношений, а в плане лексической семантики: что-то вроде современного *идти на продажу*[38].

Нижеследующее латинско-славянское сближение отлично семантически. Но его объединяет с рассмотренными такая общая любопытная черта, как наглядный переход от словосочетания к слову — сложению, или — ретроспективно, в плане реконструкции — столь занимающий в последнее время исследователей-индоевропеистов переход от слова к древнему тексту. Если выше речь шла о правовой терминологии, то теперь мы обратимся к одному из названий окружающей природы: слав. **pola voda* — лат. *palūs* / *palūdis*. Праславянскую форму мы реконструируем на основании рус. *по́лая вода́* (также *полово́дье*, *полово́дица*) 'вешний поем по вскрытии рек, разлив по ледоплаве'[39]. Наши данные по собственно русской истории выражения близки, так сказать, к нулю: например, нам неизвестны древнерусские свидетельства употребления слов *полая вода*, *половодье*, неизвестны, впрочем, и разыскания по истории этих выражений. Кажется, что перед нами еще один случай, когда

[37] *É. Benveniste*. Указ. соч. P. 125, 134; Ernout—Meillet s. v. *uenus*, *-m*.

[38] Предлагаемое здесь, таким образом, объяснение глагольного форманта слав. *-iti*, и.-е. *-ei̯-*, которое сводится к этимологическому отождествлению последнего с полнозначной глагольной основой слав. *iti*, и.-е. **ei̯-* 'идти', находит некоторую аналогию в толковании глагольных *-n*-формантов из первоначального глагола со значением 'идти делать нечто' (см. *А. Б. Долгопольский*. Ностратические этимологии и происхождение глагольных формантов // Этимология. 1968. М., 1971. С. 237 и след.).

[39] Даль [2] III, 266.

прозрачность и внешне свободный характер славянского словосочетания как бы усыпляют бдительность исследователя, вызывая у него иллюзии чего-то местного и позднего. Архаизмы ищут преимущественно среди редких и темных языковых явлений, не замечая порой архаизма самых распространенных слов и прозрачных словосочетаний. Повседневность и поздняя письменная фиксация сделали свое дело и в случае со словами *половодье*, *полая вода*. Иногда касались этимологии основы *пол-*, *поло-*[40], но никому не приходило в голову задаться вопросом о древности всего выражения *полая вода* (*половодье*).

Внешним оправданием такой практики служила, по-видимому, ясная взаимосвязь основ. Не задерживаясь поэтому на самой связи, переходили к компонентам (или компоненту, потому что с компонентом *вода*, *-водье* все было ясно) и дальнейшую этимологизацию проводили уже изолированно. Однако недооценка или попросту игнорирование характера связи между компонентами *пол-* и *вод-* предопределило неудачу этимологий компонента *пол-*, хотя нельзя сказать, что он не пользовался вниманием этимологов. Изолирующий этимологический подход лишал исследователей возможности сделать исчерпывающие выводы даже в наивыгоднейшей для этого ситуации. Так случилось с Эндзелином, который ближе других подошел к истинному решению и уже дал разрабатываемое нами сближение *половодье* — лат. *palūs*[41], но его совершенно не интересовал второй компонент латинского слова. Кстати сказать, ему не удалась и этимология первого компонента обоих слов, так как сближение рус. *поло-водье* у Эндзелина с лтш. *pali*, *paļi* 'наводнение', лит. *am̃palas* 'наледь, вода на льду' нужно признать неудачным. Эти балтийские имена тесно связаны с активным в балтийских языках глаголом лит. *pìlti* 'лить, сыпать', лтш. *pilt*, *pilêt* 'капать' и являются собственно балтийским продуктом этого глагольного гнезда. Уже это показывает мнимый характер близости лтш. *pali* и рус. *половодье*, несмотря на близость их значений. В славянском не было ничего похожего на балтийское глагольно-именное гнездо лит. *pìlti* и родственных. Родство изолированного слав. **pьlnъ* 'полный' : лит. *pìlnas* не меняет дела и едва ли может служить для нас основанием предполагать соответствующий праславянский глагол, не говоря уж о производном имени с корневым вокализмом *-о-*. *Половодье*, конечно, не связано с рус. *полный*, вопреки Френкелю[42]. Если говорить сначала о русских и славянских родственных связях слова *половодье*, то можно указать только на рус. *полый*, исключив предварительно упомянутую балтийскую лексику (лит. *pìlti*, *am̃palas*) также из родственных связей последнего.

---

[40] См. Фасмер III, 312—313 (*полово́дье*; *водопо́лье*).
[41] *J. Endzelin*. Baltica // KZ. XLIV. 1911. S. 65.
[42] Fraenkel I, 592 (s. v. *pìlti*, с литературой).

Что касается семантической реконструкции слав. **pola voda*, то это будет не «полная вода» (что отдавало бы народной этимологией), а 'широкая вода'. На этом кончаются возможности собственно славянской этимологии и можно перейти к латинскому соответствию. Сближение слав. **pola voda* и лат. *palūs* программирует выбор этимологии латинского слова, но упрек в произвольном предпочтении одной этимологии всем остальным здесь был бы неуместен, потому что только это сближение удовлетворительно объясняет все слово полностью, удовлетворяя одновременно прочим критериям. Прежде всего со стороны значения лат. *palūs* — это название с т о я ч е й в о д ы, б о л о т а, л у ж и. Семантическое родство со слав. **pola voda*, рус. *полая вода* более чем очевидно, потому что при половодье бросается в глаза широкий простор воды, а не ее течение (оно может в зависимости от условий даже отсутствовать, и полая вода при этом с т о и т). В связи с этим мы отклоняем умозрительные этимологии лат. *palus* от **pel-* 'течь', а также от другого **pel-* 'серый', далее — лит. *pélkė* 'болото'[43], и сближаем его в пределах родственного латинского материала исключительно с латинским наречием *palam* 'открыто', первоначально значившим, как полагают, 'широко распространяясь' и, в свою очередь, убедительно сближенным в этимологической литературе с рус. *полый*[44]. Со стороны формы лат. *palūs*, род. п. *palūdis*, ж. р. — сложение с исходом на согласный древнего вида **pal-ūd-s*, **pal-ūdos*, во второй основе которого содержится индоевропейское название воды с вокализмом корня в ступени редукции[45].

Отношения пары *uēnum dare* — **věno dati* повторяются здесь в еще более яркой форме: слабая идиоматизация, свободное сочетание компонентов (*полая вода*, *половодье*, *водополье*) в славянском и сильная спайка компонентов, вплоть до забвения этимологии, — в латинском. Славянское словосочетание **pola voda* дает, таким образом, ключ к верной этимологии латинского слова. Сближение с латинским лишь наглядно показывает древность славянского сочетания слов. Лексическое значение этих форм и его реальный субстрат (низменный, плоский ландшафт, широкие разливы) могут заинтересовать историков как славянских, так и латинских древностей. Важность соответствия **pola voda* — **pal-ūd-s* в наших глазах нисколько не ниже от того

[43] Walde—Hofmann II, 243 (с подробной литературой).

[44] Там же. II, 237.

[45] Несомненное для нас отнесение компонента *-ūd-* к названию воды принимается далеко не всеми, см. Walde—Hofmann II. S. 243. Об индоевропейском названии воды см. *Э. Бенвенист.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955. С. 44, 51; *В. Порциг.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964. С. 214; *J. Kuryłowicz.* Indogermanische Grammatik. Bd. II. Akzent. Ablaut. Heidelberg, 1968. S. 215 (о чередовании **ud-* / **u̯ed-* / **u̯od-* в названии воды).

обстоятельства, что это общий архаизм латинского и славянского. Было бы полезно исследовать условия и причины его сохранения именно в этих двух ветвях индоевропейского. Правда, оказывается, сходное словосочетание *palḫ i-waatar* 'широкая вода' есть также в хеттском, на что мне указал В. Н. Топоров (устно), по этот факт заслуживает особого изучения.

В свое время нам приходилось обращать внимание на близость латинских отглагольных существительных на *-tio* (*-tionem*) и славянских отглагольных существительных на *-tъje*[46]. Эта латинско-славянская словообразовательно-морфологическая параллель выражается, в частности, еще и в том, что в славянском, как и в латинском, соответствующие отглагольные существительные оказываются образованными на базе страдательных причастий прошедшего времени (соотносительность и функциональная близость отглагольных существительных такого типа к славянским инфинитивам вроде ст.-слав. **пропѧтиѥ** : **пропѧти** оказываются вторичными, как вторичны и сами инфинитивы балто-славянского вида). К этим наблюдениям, сообщенным несколько лет назад и касавшимся сближений ст.-слав. **при-ѩтиѥ** 'прием' : лат. *emptlo* 'купля' и подобных, сейчас могут быть добавлены черты дополнительного словообразовательно-морфологического сходства, интересные тем, что они базируются на той же самой производящей глагольной основе — претеритальном страдательном причастии на *-t-*.

В латинском, как и в славянском, существует такая словообразовательная категория, как прилагательные с суффиксом *-iv-* от причастий упомянутого типа. Здесь наблюдаются близкие образования, среди них нас особенно заинтересовали следующие: слав. **dativъ* (рус.-цслав. **дативыи** 'способствующий, служащий': **по истинѣ добры възвращению бо и спсению боудоуть разоумѣвающимъ дативы** — (Ио. екз. Бог. 318[47]) — лат. *datīvus* (*datīvum*, по сведениям словарей — начиная с Тацита, ср. *dātiō* ж. р. 'дарение'[48], позднее обычно *datīvus casus* 'дательный падеж'); слав. **-ętivъ* (рус.-цслав. **приѧтивыи** 'принимающий, способный принимать'. — Панд. Ант. XI в. л. 277[49]) — лат. *ēmptīvus* (начиная с Павла Феста[50]); слав. **stativъ* (распространено в большинстве славянских языков, с легкими морфологическими отклонениями и, как правило, — субстантивированное, в значении 'ткацкий станок или его часть') — лат. *statīvus* 'стоячий, неподвижный', сюда же субстантивированное *statīva*, род. п. *-ōrum*, мн. ч. ср. р. 'военный стан, лагерь', 'остановка в пу-

---

[46] *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря (проблемы и результаты) // Славянское языкознание. VI МСС. Доклады советской делегации. М., 1968. С. 377—378.

[47] Срезневский I. Стб. 634—635.

[48] Walde—Hofmann I, 361.

[49] Срезневский II. Стб. 1504.

[50] Walde — Hofmann I, 400.

ти, привал'[51]; слав. **sětivъ* (нам известно только субстантивированное рус. стар., диал. *сетиво* 'лукошко, корзина для посевного зерна'. — «Мышкинский месяцеслов» 1779 г.[52]) — лат. *sătīvus* '(о растениях) посевной, разводимый (т. е. культурный, как противоположность дикорастущим)'.

Как видим, здесь есть образования от достоверно праиндоевропейских глаголов **dō-* 'давать', **stā-* / **stə-* 'стоять', **sē-* / **sə-* 'сеять' (латинский обобщил краткие варианты обоих последних корней)[53], **em-*. В славянском эти образования немногочисленны, среди них имеются примеры старой субстантивации, что само по себе говорит о древности прилагательных. В латинском модель приобрела широкую вторичную продуктивность[54], однако для нас, естественно, представляют интерес лишь упомянутые старые производные, параллелизм которых к славянским формам не случаен.

[51] *О. Н. Трубачев*. Ремесленная терминология в славянских языках. С. 123.

[52] *Г. А. Богатова*. Материалы по русской исторической лексикологии в «Губернских ведомостях» // Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971. С. 240.

[53] Ernout— Meillet^3 II, 1091.

[54] В этом можно убедиться, обратившись к обратному словарю латинского языка: *O. Gradenwitz*. Laterculi vocum latinarum. Leipzig, 1904. P. 537—539 (где приводятся прилагательные на *-tivus*).

СНОВА О НАЗВАНИИ *СУЗДАЛЬ*

В современной научной литературе по этимологии и ономастике это название древнего русского города не оставлено без внимания, но результат остается неизменно отрицательным: слово *Суздаль* с редким единодушием признано неясным по происхождению [1]. Поиски при этом велись, как правило, в одном направлении, несмотря на сопутствующую этим попыткам неудачу (обстоятельство, которое само по себе вправе заставить исследователя задуматься над верностью традиционно избираемого пути!). В двух словах это выглядит так: название *Суздаль* неясно, непрозрачно, оно находится на территории с древним финским субстратом, следовательно, мы имеем здесь дело с нерусским названием. Правда, при этом упускалось из виду ни много ни мало — возможность сохранения и консервации (именно в условиях периферийной области и присутствия иноязычного субстрата и адстрата) собственно русских формаций в ономастике, утраченных естественно меняющимся русским языком. Из научной литературы версия о якобы финском происхождении названия *Суздаль* перекочевала в нашу популярную краеведческую литературу и беллетристику (В. Солоухин, Л. Успенский), превратилась в «ходя-

---

[1] См. *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. III. М., 1971. С. 797 (там же критика объяснения А. А. Шахматова из неизвестного фин. **susudal*); *В. А. Никонов*. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 397 (отмечает обилие «фантастических этимологий», среди которых попадаются и сближения с *сух дол*, с глаголом *судить*, с греческой лексикой, наконец этимология Европеуса от эст. *suzĩ* 'волк'; заключение автора: «серьезное исследование не начиналось»); *С. Роспонд*. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // Восточнославянская ономастика. М., 1972. С. 30, 54 (выделяет в др.-рус. *Суздаль* / *Суждаль* формант *-аль*, в то же время видит здесь адаптацию «какого-то иноязычного (угро-финского?) названия»).

чую истину». Беда в том, что в роли ходячей истины выступила при этом далеко не лучшая научная версия. А существовала ли лучшая научная версия? Она существовала.

Еще в 1859 г., на заседании философско-исторического отделения Венской Академии наук 11 декабря, Ф. Миклошич доложил свой труд «Образование славянских личных собственных имен», первую часть серии, опубликованной затем в течение 1860—1874 гг. Весь этот труд уже в следующем веке был переиздан отдельной книгой ввиду его неумирающей научной ценности, которую он полностью сохраняет и в наши дни. Даже сейчас, во время относительно высокого развития славянской ономастики, книга Миклошича пока не заменена новыми исследованиями столь же всеобъемлющего охвата и богатства языкового материала. Сравнивая дело Миклошича и современный уровень славянской ономастики, думаешь не об отсталости этой отрасли нашей современной славистической науки (что было бы не совсем справедливо), а о том, что только сейчас, пожалуй, мы по-настоящему можем понять величие научного подвига крупнейшего славянского лингвиста Ф. Миклошича. Собственно говоря, исключительное значение Миклошича признается всеми, его достижения с благодарностью используются. Тем не менее, даже этой, лучшей части научного наследия Миклошича не вполне удалось избежать забвения, вернее сказать, мы имеем в виду примеры поверхностного чтения его классических произведений по славянской ономастике — факт, достойный удивления и побудивший нас написать эту заметку.

Дело в том, что все писавшие о названии *Суздаль* прошли мимо характерного своей лаконичностью замечания, которым у Миклошича завершается раздел 380: «*sъd*, *съд*, *zd*, *зд* componere, condere: Vgl. *suzdalj* russ.[2]». Сейчас можно только восхищаться проницательностью, которая нашла выражение в такой краткой форме. Но забытое замечание, будучи высказано вскользь и так давно, конечно, нуждается сейчас, для того чтобы обрести научную убедительность, в более полном раскрытии, комментировании и даже в некоторой реставрации, при которой ценная сущность должна быть очищена от заведомо устаревших за 120 лет деталей. В результате мы получаем едва ли не лучшее подтверждение пословицы, которая гласит, что новое — хорошо забытое старое… Впрочем, пример с именем *Суздаль* в духе нижеследующей трактовки интересен не только сам по себе, как одно из старинных русских названий, но и в плане географии славянской лексики и словообразования.

Необходимая реставрация, упомянутая выше, касается наблюдаемого у Миклошича смешения форм *sъd* и *zd*, первую из которых мы, естественно,

[2] *F. Miklosich.* Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsname. Drei Abhandlungen. Manulneudruck aus Denkschriften der Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Wien, 1860—1874. Heidelberg, 1927. S. 103.

понимаем как сложение приставки *съ-* и корня *d(ě)-* и отделяем ее как неродственную от миклошичевского *zd*; эту последнюю корневую форму сейчас принято передавать как *zьd-*, связанное количественным чередованием с *zid-*, ср. ст.-слав. **зьдати, зиждя**; κτίζειν, οἰκοδομεῖν (Супр.). Дальнейшие индоевропейские родственные связи этого слова, восходящего к и.-е. **dheiĝh-* '(глиняная) стена, месить (из глины), мазать (глиной)', достаточно хорошо известны. Это означает, что современная научная ревизия позволяет разделить цитированный нами параграф Миклошича (см. выше) на два: в один попадает не интересующее нас здесь *sъ-d-* с примерами Миклошича на личные собственные имена др.-рус. *Незда*, болг. (без приставки *sъ-*) *Неда*;. в другой относим *zьd-* с примерами, справедливо поставленными у Миклошича рядом — польск. *zdun*, собственно 'горшечник', далее — *Zdunów* и рус. *Суздаль*. Соположение Миклошичем этих слов, несмотря на всю его краткость, поддается также некоторой дальнейшей однозначной расшифровке. Во всяком случае, ясно, что Миклошич словообразовательно членил *Су-здаль* как образование с приставкой *су-*. В восточнославянской топонимии и гидронимии эта словообразовательная модель представлена единичными древними образованиями. Не ставя здесь перед собой задачу дать исчерпывающий перечень таких образований, мы только укажем на определенное структурное сходство нашего топонима *Су-зда-ль* и такого знаменитого (в другой связи) восточнославянского речного и местного названия как *Супрасль*, правый приток Нарева и населенный пункт на нем[3], собственно, белорусизация первоначального *Супрясль* праслав. **sǫ-prę̨d-slь*[4]. Досадно, что в наиболее полном известном нам очерке о сложениях с именной приставкой *sǫ* в славянских языках[5] совершенно не учтены данные ономастики с этим формантом.

Слово *Су-зда-ль* (собственно, **sǫ-zьda-lь*) правильно образовано в древнерусском языке с помощь вышеназванной именной приставки *су-* и суффиксального *-ль* от глагола **създати**, *создать*, ср. аналогичные отношения парных префиксальных имен и глаголов *сувой — свить*, *сугроб — сгребать / сгрести* в русском языке. На этом можно было бы и остановиться, считая свою задачу по возрождению миклошичевской славянской этимологии названия *Суздаль* выполненной. Однако, как обычно бывает, решение одной, даже небольшой и конкретной задачи влечет за собой постановку (а иногда и решение) других научных задач. Одной из причин забвения этой этимологии

---

[3] *M. Vasmer*. Wörterbuch der russischen Gewässernamen / Zusammengestellt von W. Eisold und A. Kernd'l. Lief. II. Berlin; Wiesbaden, 1967. S. 445.

[4] См. *М. Фасмер*. Указ. словарь III. С. 805 (вслед за С. Яшунским).

[5] *Р. М. Цейтлин*. Материалы для изучения значений прииментой приставки *sǫ-* в славянских языках // Уч. зап. Ин-та славяноведения. Т. XVII. М., 1959. С. 208 и след.

Миклошича был, кроме упомянутого невнимательного чтения, а также своеобразной предвзятости, продиктованной топонимическим контекстом Древней Северо-Восточной Руси с ее субстратным финским населением, такой немаловажный фактор, как отсутствие в известном нам русском и славянском словарном составе апеллатива **суздаль*. В самом деле, нельзя же, например, считать таковым чисто случайно созвучное слово *су́здыль* м. р. 'сухой, худой человек', отмеченное в белорусских могилевских говорах новым словарем Белькевича [6], для которого допустимо предполагать совершенно другое происхождение, возможно, из балтийской формы, близкой лит. *sausuõlis* 'сухое дерево'. Утрата того или иного слова из апеллативного словарного состава языка — явление не такое уж редкое, в исследовательской практике встречаются случаи бесследного исчезновения апеллативов, существование которых мы вправе предполагать, в частности, на основании ономастических данных. Понятно, что при этом значение ономастики неизмеримо возрастает. Именно с такой ситуацией мы сталкиваемся на примере имени собственного *Суздаль*, оказывающегося важным свидетельством утерянного апеллатива рус. *суздаль*. Наш уважаемый юбиляр профессор Владимир Шмилауэр, идя в какой-то мере по стопам Миклошича, опубликовал «Příručku slovanské toponomastiky», своеобразный репертуар апеллативных основ и производных от них топонимов во всех славянских языках, в части II этого справочника приведен славянский апеллатив *zьdь* 'стена (преимущественно каменная)' и дан обзор топонимов с этой основой [7]. Интересно отметить, что из восточнославянских языков автор называет только русский апеллатив *зодчий* 'Architekt' и не дает ни одного топонима. Думаю, что после изложенного мною выше эта лакуна явно нуждается в восполнении. Восточнославянские языки знали топонимы с основой *zьd-*, доказательством чего служит древнее название *Су́-здаль*. Показание ономастики ценно тут еще и потому, что выявляет народный характер этой основы, в употреблении которой рано возобладали переносные, метафорические значения, идущие от книжной, церковнославянской стихии и, возможно, способные внушить кому-то мысль о занесенности извне всего этого словарного гнезда. Развернутая выше этимологизация названия города *Суздаль* дает мыслям иное направление. На базе топонима мы реконструируем исконно русское апеллативное *суздаль*, а также его примерное значение 'глинобитная или кирпичная постройка'. Парный глагол **съзьдати** имел первоначально конкретное значение 'слепить из глины', отсюда его употребительность, например, в церковных сказаниях о создании человека из глины. Характерно толкование одного из азбуковников XVII в.: **зданіє, еже есть**

[6] *І. К. Бялькевіч*. Краёвы слоўнік усходняй Магілёушчыны. Мінск, 1970. С. 425.
[7] *V. Šmilauer*. Příručka slovanské toponomastiky. Díl druhý: *M—Ž*. Praha, 1964. S. 526.

глинянъ сосудъ, или храмина[8], т. е. слово *здание* первоначально могло обозначать все слепленное из глины, начиная от посуды и кончая постройкой, домом, «зданием» в современном понимании.

Здесь как бы встречаются, переходят друг в друга гончарство и градостроительство, точнее — строительство из кирпича. Начало последнего (пусть в скромных размерах) следует считать более древним, чем обычно думают, имея в виду, главным образом, пóзднее широкое кирпичное строительство. Но уже X в. знал кирпичное дело на Руси. Укажем, что древнерусский язык имел исконные, незаимствованные обозначения не только для дикого камня (др.-рус. **камень, камы, камение**), но и для кирпича (др.-рус. **плита**). Древний плоский и тонкий кирпич напоминал черепицу и бесспорно происходил из нее, ср. эволюцию значений, например, у польск. *cegła* 'кирпич', нем. *Ziegel* то же — из лат. *tēgula* 'кровельная черепица'. Связь черепицы с черепком, глиняным сосудом также совершенно очевидна как в плане реалий, так и в плане лексико-этимологическом (ср. лексическое гнездо слав. **čerpъ*). Таким образом, в подтверждениях древних связей гончарства и кирпичного зодчества нет недостатка. Для обоих ремесел един древнерусский глагол **зьдати**. То же самое действительно и для имени деятеля др.-рус. **зьдъчии**: обозначался этим словом умелец, который «**здалъ домы**», был, по сути дела, кирпичных дел мастером, хотя он же выступал и как горшечник[9]. Этимологизация названия *Суздаль* требует привлечения этих разнообразных культурно-исторических сведений, и только на их фоне она приобретает обязательный характер.

Фронтальное каменное строительство в Суздале известно лишь с XV в., тогда как сам город значительно древнее, его первое упоминание (не основание!) датируется 1024 г. Древний Суздаль рос, естественно, как город преимущественно деревянный. Но известно, что название в языке осуществляется не по типичному или преобладающему признаку, как ожидалось бы, а по признаку наиболее броскому и контрастному. В этой связи на фоне деревянных «новостроек» Северо-Восточной Руси ранней поры резко выделялся каменный храм в Древнем летописном Суздале — первый каменный дом на всем Северо-Востоке XI в.; в этой же связи в роли контрастного, культурно отмеченного (merkmalhaftig, markiert, marqué) признака выдвинулась, по-видимому, и какая-то новаторская строительная техника, которая, наверное, и

---

[8] Пример взят из картотеки «Словаря русского языка XI—XVII веков», ИРЯ АН СССР, Москва.

[9] Известный словарь Срезневского (т. I, s. v.) толкует **зьдъчии** только как 'горшечник', что верно, хотя и недостаточно, потому что сами примеры и цитаты словаря подсказывают другое значение, формулируемое нами: 'кирпичных дел мастер'.

дала имя Суздалю в отличие от других известных, ближних и дальних городов и весей. О том, какая это могла быть строительная техника, нам помогают догадаться археологические находки, потому что в районе Суздаля археологи нашли древнейшую печь для обжига кирпича. Этот объект локализуется на берегу местной речки Каменки, название которой, образуя как бы минимальный парный топонимический контекст-глоссу с названием самого города (*Каменка* 'каменная речка' — *Суздаль* 'глинобитная или кирпичная постройка'), замыкает собой круг доказательств изложенной выше этимологии.

СЛАВЯНСКИЕ И БАЛТИЙСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

слав. **xlębь* 'затвор, запор, сточное отверстие' ~ балт. **sklemb-* 'скользить'; слав. **bergt'i* ~ лит. *gerbti*; лит. *petrẽlė* 'божья коровка' — блр. *пэтрык* / *пятрок* / *пятрук* / *пятрусь* 'божья коровка'

Обращаясь к такой теме, как славянские и балтийские этимологии, исследователь чувствует себя обязанным дать некоторые разъяснения насчет того, как он понимает балто-славянские языковые отношения, как толкует факты близости балтийского и славянского языкового материала, какое место им отводит в общей картине этих отношений. Близость славянских и балтийских языков, конечно, велика и, как нам кажется, еще не полностью выявлена, если говорить только о задачах лексико-этимологической идентификации; правда, уже давно замечено, что между этими языками также много несходств и различий, видеть которые нам до известной степени мешает действительно впечатляющая масса накопившихся сходств. Изучение балто-славянских языковых (в частности — лексических) отношений закономерно приводит к концепции, которую можно кратко изложить в следующих словах: не будучи особо тесно связаны начиная с самой ранней праиндоевропейской эпохи (ср. показательное отсутствие ряда общих балто-славянских архаизмов и заметные лакуны балто-славянских соответствий разной природы в культурно-исторически важных разделах словаря, охватывающих производственную лексику, социальные отношения и окружающий ландшафт), балтийские и славянские языки никогда не переживали стадии балто-славянского единства, но в ходе исторических передвижений сблизились территориально и, развившись уже к этому моменту в совершенно оригинальные и самостоятельные диалектные группы,

начали то длительное и необыкновенно плодотворное языковое взаимодействие, которое не прекращается и в наши дни.

Из сказанного следует, что мы близки к той концепции славяно-балтийских языковых отношений Я. Эндзелина, которая представлена в его «Славяно-балтийских этюдах». Теория балто-славянского единства может объяснить лишь часть фактов, известных нам, кроме того, она приводит к обеднению вероятной реальной картины отношений, как бы налагая запрет на положительное решение вопросов близости или общности, например, славянского с латинским и, возможно, с другими членами индоевропейской семьи.

Иными словами, мы стремимся взглянуть на славянско-индоевропейские связи шире, рассматривая балто-славянские отношения как один из эпизодов (или аспектов) диалектных и ареальных связей внутри индоевропейского. Тема «Славянские и балтийские этимологии» не означает, таким образом, в нашем понимании, исключительности этих связей, ее следует понимать лишь как рабочую постановку проблемы (в общем ряду таких, как славянские и германские этимологии, славянские и латинские, славянские и иранские и т. п.). Изложенные выше мысли основываются на убеждении, что славянский (как, впрочем, и балтийский) представляет собой преобразованное продолжение своей оригинальной диалектной модели индоевропейского.

Хотелось бы подчеркнуть, что концепция балто-славянских языковых отношений не делается от этого менее плодотворной. Предстоит еще проделать огромную работу по изучению того, какие именно балтийские факты в состоянии прояснить темные элементы славянской лексики, слово- и формообразования и — наоборот. Ниже этимологизируются примеры того и другого рода, включая один случай заимствования-кальки.

Слав. **xlębь* 'затвор, запор, сточное отверстие' ~ балт. **sklemb-* 'скользить'

В церковнославянских памятниках русского извода встречается известное слово **хлѧбь**, значения которого толкуются в литературе так: **хлѧбь** 'водопад, стремнина': **Бездьна бездьноу призываѥть и въ гла҇ хлѧбии твоихъ вс҄ѧ высоты твоꙗ и вълны твоꙗ по мнѣ преидоша** (εἰς φωνὴν τῶν καταῤῥακτῶν) (Псалт. Симон. д. 1280 г., пс. XLI. 8). **Ни Ниловъ хлѧбии оудрьжати хытрость какаѧ же** (οὔτε τοὺς Νειλῴους καταράκτας ἐπισχεῖν μηχανή τις) (Гр. Наз. XI в., 282). **Аще хлѧби с҄творить Бг҃** (καταράκτας) (Георг. Ам. (Увар.), л. 119); 'поток': **Хлѧби н҃бсныꙗ** (οἱ καταῤῥάκται τοῦ οὐρανοῦ) (Быт. VII. 11, по сп. XIV в.). В образных выражениях: **Твои бл҃жныи ꙗзыкъ хлѧбии повелѣнии истачаꙗ, ꙗретичьскоую льсть крѣпъко по-**

таплѧꙗть (καταράκτας δογμάτων) (Мин. 1097 г., л. 76). **Хлꙗби ѿврьзи глѫбинѣ словесьнѣи** (Мин. Пут. XI в., 35). **Аще затвориши нб҃о, кто отъврьзеть, и аще отврьзеши хлѧби, кто оудрьжить** (καταῤῥάκτης) (Гр. Наз. XI в., 314). **И азъ ѿверзу вамъ хлѧбі нбⷭ҇ныꙗ** (Пов. врем. лет. 6576 г. [1]). В словаре Даля приводится слово *хлябь* ж. р. 'простор / пустота, глубь, глубина; пропасть, бездна, с понятием о подвижности жидкой среды, в коей она заключена' [2] и диал. (зап.) *хля́ба* ж. р. 'дождь с мокрым снегом'. Второе из них — слово экспрессивное, звукоподражательное, как и соответствующий глагол *хля́бать* 'качаться, шататься, стучать, бренчать от неплотной пригонки вещи' (Даль), их форма и возникновение тесно связаны с близкими по употреблению словами *хлопать*, *ляпать* и к рассматриваемому нами здесь слову не относятся, как мы это постараемся далее показать. Собственно говоря, что касается современного русского языка, правильнее будет сказать, что в нем нет слова *хлябь*, а есть лишь цельная образная цитата из церковнославянского текста Святого писания — *разверзлись* (*отверзлись*) *хляби небесные*. К ее значению и толкованию мы еще вернемся. Вообще слово, по-видимому, не является восточнославянским (укр. *хляби* 'отвір', приводимое у Г. Петерссона, ниже, нуждается в проверке). Западнославянские соответствия нам неизвестны (о семантических эквивалентах в польских библейских текстах мы еще будем говорить в дальнейшем). Из южнославянских сюда относятся ст.-слав. (др.-болг.) **хлѧбь** καταῤῥάκτης (Синайская Псалтырь и Супрасльская рукопись) и сербохорв. стар. *hl̥eb* ж. р., также *hl̥ȅp* м. р. 'cataracta', 'плотина, запруда, шлюз', 'водопад', *hleb* ж. р., с примером из Псалтыри XVIII в.: *bezdno bezdna priziva u glasu h l e b i h tvojih* [3].

Остается неясной народно-диалектная основа этой, по-видимому, первоначально южнославянской лексемы, поскольку перед нами — исключительно книжные случаи с библейской семантикой. Книжный характер, тем не менее, не мешает нам видеть здесь реальное слово древнего происхождения. Правда, круг значений как бы замкнут и задан библейской тематикой переводного греческого или латинского текста Ветхого Завета, более того, основные наиболее известные контексты словоупотребления рано фразеологизированы и вошли в систему религиозной символики. Однако внимательное изучение тех же контекстов с привлечением некоторых дополнительных, оставшихся, так сказать, в тени, а также греческих и некоторых прочих семантических эквивалентов в духе типологии реалий и значений позволяет выйти из этого замк-

[1] Срезневский III. Стб. 1376.

[2] Даль[2] IV. С. 554.

[3] RJA. XI. S. 633—634. — Ср. еще *J. Schütz*. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. Berlin, 1957. S. 72: *hleb* 'водопад; отверстие, бездна, глубина'.

нутого круга и провести правдоподобную реконструкцию первоначального значения с одновременной этимологизацией слова.

Но сначала — о существующих в литературе этимологических объяснениях. В свое время Г. Петерссон предложил для объяснения происхождения ст.-слав. **хлѧбь** catarrhacta, fores этимологическую альтернативу: 1) с первоначальным значением 'отверстие, жерло' — к цслав. **склабити сѧ** 'открывать рот, скалиться' < праслав. **skolb-*, ср. норв. диал. *skolp* 'выдолбленная, полая чурка' < и.-е. **sqelb-* 'раскалывать', причем в **хлѧбь** представлена назализация; 2) с первоначальным значением 'течь, лить(ся)' родственно ср.-в.-нем. *slamp* 'кутеж, попойка', нидерл. *slemp* 'лакомая еда', англ. *slump* 'падать, шлепаться в сырость или грязь'[4]. Строго говоря, нас не удовлетворяют ни первая, ни вторая возможность, но справедливость требует признать, что при первом предположении автор исходил из объективных семантических предпосылок. Прежде чем мы займемся доказательством этого положения с помощью новых аргументов, которые, как нам кажется, должны дать единственно приемлемую убедительную новую этимологию, укажем на то, что все последующие этимологические комментаторы слова **хлѧбь** как раз развивали и поддерживали в основном вторую альтернативу, изложенную у Г. Петерссона. Так, очень близко к нему подходит уже Бернекер: *chlębь*... «Можно было бы вспомнить о ср.-в.-нем. *slamp* 'пьянство', н.-в.-нем. *schlampen* 'хлебать', нижненем. *slempe* 'помои', нидерл. *slempen* 'пировать'. Или славянское слово основывается на самостоятельном звукоподражании?»[5]. Та же исходная идея влаги, сырости, топи заложена в этимологии А. Брюкнера, предположившего родство **хлѧбь** с лит. *klampà* 'топь, болотистое место', *klim̃pti*, *klimpstù* 'вязнуть'[6]. Ср., далее, этимологию В. Махека, который возводил **хлѧбь** к **glęb-* / **glǫb-*, сюда же слав. **glǫbokъ* 'глубокий'[7].

Для исследования особенностей ст.-слав. **хлѧбь** интереснее всего обратиться к соответствующим местам в русской церковнославянской литературе разных эпох, где можно найти богатый и поучительный материал, во-первых, недостаточно отраженный и неточно истолкованный в известном словаре Срезневского, а во-вторых, позволяющий многое фактически добавить к семантической истории ст.-слав. **хлѧбь**, которая оставалась бы скудной и неполной без привлечения данных русской письменности. Ниже для этой цели специ-

[4] *H. Petersson.* Studien über slav. *ch* // AfslPh. XXXV. 1914. S. 378—379.

[5] Berneker I. S. 388.

[6] *A. Brückner* // KZ. LI. S. 229.

[7] *V. Machek.* Untersuchungen zum Problem des anlautenden *ch-* im Slavischen // Slavia. XVI. 1939. S. 199—200. — Подробную литературу см. Фасмер IV. С. 248—249 (точка зрения автора близка к Бернекеру); см. также *G. Shevelov.* A prehistory of Slavic. Heidelberg, 1964. P. 135.

ально выписаны цитаты из Картотеки «Словаря русского языка XI—XVII вв.» Института русского языка АН СССР: **г҃ь б҃ъ ѿвръзе х л а́ б ї и нб҃ные** (Dominus Deus aperuit catarrhactas coelestes. Кн. Енохова, 1. XIII (XV) в.); ...**и҆ прольꙗсѧ на землю дож҄дь ѿ нб҃съ и҃ х л ѧ б и нб҃ныѧ́ ѿврьзошасѧ и҆ безд҄ны и҆спꙋ́щаа́хоу во́ды мно́гы зѣло** (Палея Ист. XV (XII) в.); **х л я б и небесннии — облацы дождевнии** (Алф. 446, XVII в.). **А где съ вышшаго мѣста къ нижшеи дна части вода стекаетъ, аще велика будетъ низкость, глаголется то мѣсто х л я б и, или врата водяные, гдѣ со стремленіемъ и быстриною рѣка въ низъ рѣется** (Геог. Ген. 212).

Центральный вопрос настоящего исследования — что такое *хляби*? Вопрос этот актуален не только в этимологическом плане, но и в реально-семантическом (какая реалия имелась в виду?), с последнего мы и начнем. Имя **хлѧбь, хлѧби** управляется в церковнославянских текстах глаголом **отъврѣсти / отъврьсти** 'открыть, отворить', ср. еще выражения **отъврѣсти ракꙋ, двери, оуста** = 'открыть гроб, двери, рот (т. е. нечто первоначально закрытое, замкнутое)'. В переводных текстах словом **хлѧбь** передавалось греч. καταῤῥάκτης (соответствующее место в латинской Библии просто содержит заимствованное catarrhacta и не помогает разъяснению вопроса). Греческое слово имело значения 'водопад' и 'опускная дверь или решетка', 'опускная или подъемная дверь', ср. еще καταῤῥακτὴ θύρα 'опускная или подъемная дверь'. Сразу отметим, что оба значения греческого слова гораздо ближе друг к другу, чем кажутся, если представить себе, что в основу понятия водопада мог лечь такой признак как 'преграда', общий и для понятия 'дверь, решетка' (этимологической связи с καταράσσω 'низвергать' здесь не касаемся). Весьма вероятно, далее, что значение имени рано фразеологизировалось и абстрагировалось уже в само́м греческом, откуда объясняется в общем смутное представление о реальном семантическом содержании выражения οἱ καταῤῥάκται τοῦ οὐρανοῦ. Тем не менее, этой естественной тенденции забвения древнего конкретного смысла, с другой стороны, противостояла своеобразная (весьма смутная) традиция сохранения каких-то реликтов этого значения. Во всяком случае, первое явление мы наблюдаем в словаре Срезневского, где **х л ѧ б и н҃бсныꙗ** οἱ καταῤῥάκται τοῦ οὐρανοῦ толкуется как 'поток' (см. выше), а второе живет в переводческой традиции на разных языках и каким-то образом дожило до наших дней. Ср. русский перевод Библии синодального издания 1912 г., где соответствующее место книги «Бытие» (VII, 11) звучит следующим образом: «...в сей день разверзлись все источники бездны, и о к н а н е б е с н ы е отворились» (описание потопа).

Любопытно в связи с этим отметить, что, например, в польских переводах Библии соответствующие места передаются с последовательной конкретностью и при этом — весьма отлично от русских переводов. Так, то, что в

русско-церковнославянских переводах передано с помощью слова **хлѧби** (а у Срезневского, далее, получило толкование 'водопад, стремнина' и даже 'поток'!), переводилось по-польски словом *upusty*, мн. ч. от *upust* 'сток', 'шлюз', 'плотина'. «Бытие» VII, 11: *przerwały się żrzódła przepaści, i u p u s t y n i e b i e s k i e otworzone są*. Wuj[8]. Псалом XLI, 8: (греч.) εἰς φωνὴν τῶν καταῤῥακτῶν; (цслав.) **бездьна бездьнꙋ призываѥть и въ глаⷭ҇ хлѧбии твоихъ**...; (рус. Библия, синод. изд. 1912 г.) *бездна бездну призывает голосом в о д о п а д о в твоих*; (сербохорв. Псалтырь XVIII в.) *bezdno bezdna priziva u g l a s u h l e b i h tvojih* (см. выше); (польск. стар.) *przepaść przepaści wzywa w h u c z e n i u p r z e d c h l i n* (a b o u p u s t ó w) *Twoich*. Biblia Leopolity[9]. Леополит дает, как видим, даже два варианта перевода, не оставляя у нас никаких сомнений в том, что здесь речь идет о пропускных отверстиях, или стоках, а не о водопадах и стремнинах, ср. и отмеченные в словарях значения стар. сербохорв. *hl̥eb*, *hl̥̑ēp* 'плотина, запруда, шлюз', о чем как-то забывают. Предпримем несколько дополнительных уточнений. Выше приведен пример из Палеи, почерпнутый из Картотеки «Словаря русского языка XI—XVII вв.», представляющий, в наших глазах, большой интерес наглядным различением значений и функций слов **хлѧби**, *бездна*, *вода* в пределах одной и той же фразы: ...**и хлѧби нбⷭ҇ныѧ̑ ѿврьзошасѧ и̑ безⷣны и̑спꙋща̑ахоу во́ды мно́гы зѣло**. Другой, взятый нами на выбор, пример относится к сравнительно позднему времени на рубеже XVII—XVIII вв. (из «Географии генеральной» 1718 г.), но позднее время фиксации с лихвой возмещается здесь самобытными моментами лексико-семантической характеристики и той редкой свободой от библейского фразеологического штампа, которая выдвигает этот пример на одно из первых мест по важности среди наших аргументов: ...**глаголется то мѣсто хляби, или врата водяные**... (полностью цитата приведена выше). Комбинация показаний всех этих контекстов неумолимо ведет к заключению, что **хлѧбь** первоначально обозначало затвор, (регулируемый) сток. Такого рода простейшие затворы для воды с древности известны в ирригационных сооружениях, распространены они и при водяных мельницах, и последнее, наверное, ближе подходит к условиям жизни древних славян. Видимо, из этой производственной сферы позаимствована была лексика, а с нею и символика для передачи лексики и символики библейских текстов. «Водяной с п у с к, — читаем у Даля (IV, 301), — труба или желоб, спускающий воду на мельничное колесо». Рус. *спуск* очень близко к польск. *upust* 'сток; шлюз; плотина' (см. выше), ср. в польском переводе Библии: ...*i upusty niebieskie otworzone są*. Порусски мы сказали бы: *открылись с п у с к и небесные*. Следовательно, принятый церковью современный русский перевод (...*и о к н а небесные*

[8] Варшавский словарь VII. С. 341.

[9] Там же.

отворились; см. выше) очень приблизителен, как, впрочем, и русский перевод слов псалма XLI, 8: *бездна бездну призывает голосом водопадов твоих.* Характер и качество перевода свидетельствует нам о забвении того факта (языка, культуры и истории), что хляби — это врата водяные, а не природные водопады и уж тем более не «простор, пустота, глубь, глубина; пропасть, бездна, с понятием о подвижности жидкой среды, в коей она заключена...».

После того как «простор» неуловимого значения слова *хлябь* удалось путем семантической реконструкции заменить конкретным '(водяной) затвор, запираемый спуск', можно попытаться ограничить и простор для этимологических решений, ибо только критерии, ограничивающие выбор этимологии, обеспечивают ей наибольшее вероятие. Связь с водой здесь не изначальна, ср. хотя бы любопытное «сухопутное» употребление корня *хляб-* в рус. диал. *перехля́бина* 'перехват (преимущественно на носу)': *нос с перехлябиной*[10], где явственно проступает, так сказать, семантический момент 'запор'. Господствующая этимология слав. **xlębь*, основанная на идее сырости и влаги (см. выше), должна быть оставлена по семантическим причинам. Но она не удовлетворяет нас и по фонетическим причинам, так как не может сколько-нибудь убедительно объяснить наличие славянского *x-*: для происхождения *x-* < *s-* здесь как будто не было фонетических условий (требуется предшествование *i*, *u*, *r*, *k*), для перехода *x-* < *k-* отсутствовали условия семантико-стилистические, так как такой переход спорадически осуществлялся в экспрессивной лексике (*хлопотать* < **klopotati*), а **xlębь*, *хлябь* не было экспрессивной лексемой. Остается такой источник для слав. *x-* как *sk-* (через стадию *ks-* > *x-*, как известно)[11].

Подобно тому как слав. **xlędnǫti* 'лишиться сил' признано родственным лит. *sklę̃sti*, *sklendžiù* 'скользнуть в сторону', а слав. **xlǫdъ* 'прут, жердь' — лит. *sklañdas* 'жердь, кол в заборе', точно так же слав. **xlębь* 'затвор, запор' через стадию **sklemb-* родственно лит. *sklem̃bti*, *sklembslù*, *sklembaũ* 'соскользнуть в сторону'. Этимологически тождественное лит. *sklem̃bti*, *sklembiù*, *sklembiaũ* 'срезать наискось, заострять', 'стесывать'[12] представляет собой семантическое развитие более древнего значения, представленного в *sklem̃bti*, *sklembstù* 'соскользнуть'. Обратим внимание на то, что и в другом вышеупомянутом литовском глаголе *sklę̃sti*, *sklendžiù* представлено значение 'сколь-

---

[10] *И. Смирнов.* Кашинский словарь // Сб. ОРЯС. LXX, № 5. С. 128.

[11] Об источниках слав. *x-* писалось много, ср., например, в недавнее время: *В. М. Иллич-Свитыч.* Один из источников начального *x-* в праславянском // ВЯ. 1961, № 4. С. 94. — Кажется, нет серьезных оснований возводить слав. *x-* к и.-е. *x-*, как делают отдельные ученые, см. *W. Merlingen.* Idg. *x* // Die Sprache. IV. 1958.

[12] *M. Niedermann, A. Senn, F. Brender, A. Salys.* Wörterbuch litauischer Schriftsprache. III. Heidelberg, 1957. S. 698.

знуть в сторону' (непереходное); этот же глагол в переходном употреблении имеет значение 'задвигать (засов, задвижку)', 'запирать (дверь)'. Здесь, в синхронном употреблении, как бы уже дана схема семантической эволюции, потому что значение 'запирать, задвигать (засов)' явно развилось из значения 'скользить', ср. параллельные в какой-то мере рус. *совать* : *засов*. Лит. *sklem̃bti* родственно этимологически лит. *sklę̃sti*, *sklendžiù*[13] и представляет собой, собственно говоря, вариант основы, расширенный другим суффиксом-детерминативом (**sklen-b-* : **sklen-d-*). Примерно такие же суффиксальные вариации наблюдаем в слав. **xlębъ* : **xlęd-* / **xlǫdъ* (значения см. выше), которые восходят к старшим **sklen-b-* : **sklen-d-*. Конечно, в славянском наблюдаются свои отличия, например, обнаруживаются следы значения 'запор', которое, насколько мне известно, не развилось в балтийском, зато в балтийском представлен глагол с подходящим отправным значением, не обнаруживаемый сколько-нибудь убедительно в славянском материале. В этом примере славянский и балтийский взаимно проясняют состояние и стадии эволюции своих форм, но для нас очевидно, что эти стадии различны, а эволюция в обеих группах самобытна.

Слав. **bergt'i* ~ лит. *ger̃bti*[14]

Славянское слово, представленное в заглавии этой заметки праславянской формой **bergt'i*, широко распространено только в восточнославянских языках. Сюда относятся др.-рус. **берегѹ**, **беречи** 'беречь'[15], рус. *берéчь* 'охранять; сохранять, предохранять', диал. *берéчь* 'угощать, ухаживать'[16], ст.-укр. *берегти*[17], укр. *берегтú* 'беречь, хранить'[18], блр. *берагчы́* 'беречь'. Из других славянских языков можно назвать только цслав. **брѣшти**, **брѣгѫ** μέλειν curae esse[19] и сербохорв. стар. (XIII—XVII вв.) *brijèći* 'беречь, хранить, соблюдать'[20].

Праславянский глагол **bergǫ*, **bergt'i* с его характерным для индоевропейских глагольных основ *-e-*вокализмом носит характер древнего образования, на что в свое время обратил внимание А. Мейе[21]. Лексическое глаголь-

---

[13] Fraenkel II. S. 810.

[14] Краткая версия излагаемой ниже этимологии уже опубликована в составе «Этимологического словаря славянских языков» (Вып. 1. М., 1974. С. 189—190).

[15] Срезневский I. Стб. 69.

[16] Говоры Прибалтики. С. 28.

[17] Тимченко I. С. 83.

[18] Гринченко I. С. 51.

[19] Miklosich LP s. v.

[20] RJA. I. S. 64.

[21] *A. Meillet* // MSL. 14. 1907. P. 384; *А. Мейе*. Общеславянский язык. М., 1951. С. 174.

но-именное гнездо **berg-* / **borgъ* / **bьrg-* сохраняет очевидные следы также в тех славянских языках, которые, например, утратили глагол **bergt'i*, но обнаруживают производное от глагола имя с классическим гласным *-o-* в корне (**borgъ*), как, например, в западнославянских языках, где это имя обозначает 'кладь сена'. Продемонстрированное богатство корневой апофонии может говорить только об исконно славянском происхождении глагола **bergt'i*, который считается, далее, родственным германскому глаголу с близким значением: готск. *bairgan*, др.-в.-нем. *bërgan*. Таков главный итог этимологической славистики и индоевропеистики [22]. Более углубленные поиски истоков самого глагола в индоевропейском, попытки осмыслить его как некое производное от имени и.-е. **bherĝh-* 'гора, убежище' [23] мы здесь оставляем в стороне как не имеющие прямого отношения к нашей теме. Если верить современной этимологической литературе, балтийские соответствия славянскому в данном случае на редкость скудны: указывают только на родство с лит. *bìrginti* 'беречь, скупиться' [24]. Но уже характер литовского глагола и его огласовки свидетельствует красноречиво о том, что перед нами — реликт развитых апофонических отношений (ступень редукции) и что для какого-то более раннего времени можно предполагать наличие апофонического ряда. Трансформируя славянские отношения в балтийское состояние, мы получим **berg-* / **barg-*. Но глагол **bergti* неизвестен, например, в литовском, нет там и имени типа **bargas*, **barga* или **bargė*. Что произошло в языке? Были ли вообще когда-нибудь такие образования в балтийском? О том, что они на самом деле существовали, говорит нам не только апофонический реликт лит. *bìrginti*. Еще более убедительно говорит о том же забытое как славистами, так и балтистами блестящее этимологическое сближение, выдвинутое добрых 120 лет тому назад С. Микуцким [25]: рус. *берегу*, *беречь* и лит. *gerbti* 'чтить, почитать, уважать, ценить'. Сразу становится ясным, что упомянутая глагольно-именная основа в балтийском претерпела в своих основных апофонических формах метатезу, т. е. лит. *gerbti* < **bergti*, ср. и дальнейшее, акцентуационное соответствие славянского и балтийского циркумфлекса: рус. *берегý*, *берéчь*, сербохорв. *brijèći* и лит. *gerbti*. Точно так же лит. *garbė̃* 'честь' — метатеза первоначального **bargė* с вокализмом *-o-*; сюда примыкает глагол со вторичным, именным вокализмом — лтш. *gãrbêt* 'хорошо обращаться, беречь', *gãrbît* 'беречь, щадить' из **bargît*, **bargêt*. Тождество значений славянских и

---

[22] Miklosich. S. 10; Berneker I. S. 49; Trautmann BSW. S. 31; Фасмер I. С. 153; Sadnik-Aitzetmüller. Lief. 4. S. 271.

[23] Pokorny I. S. 141.

[24] Fraenkel I. S. 44.

[25] *С. Микуцкий* // Изв. ОРЯС. Т. IV. СПб., 1855. С. 409.

балтийских слов при этом не требует доказательств, но их словообразовательно-морфологическая эволюция, как видим, глубоко оригинальна. Существующие этимологии литовских и латышских слов [26] нас не убеждают.

Лит. *petrẽlė* 'божья коровка' — словообразовательно-семантическая калька блр. *пэтрык* / *пятрок* / *пятрук* / *пятрусь* 'божья коровка'

Необычайно богатое словообразовательными вариантами название божьей коровки в белорусских говорах — *пэтрык*, *пятрок*, *пятрук*, *пятрусь* и т. д. — несет на себе печать вторичного осмысления в связи с именами людей и святых, ср. такую крайнюю стадию как *петра-паўла* в значении 'божья коровка' [27]. Эти формы никак нельзя отрывать от блр. *бедрык* и *бедарка* в значении 'божья коровка', далее — от близких форм других славянских языков: укр. *бедрак*, *бе́дрик* [28], польск. *biedronka*, *biedrzonka* 'божья коровка' [29], чеш. *bedruňka* 'божья коровка', диал. *bedrunka* то же [30], словац. *bedrunka* [31].

Это древнее славянское название насекомого, в этимологию которого, подробно анализируемую нами в «Этимологическом словаре славянских языков» (вып. 1, s. v.), мы здесь не будем вдаваться. В данном случае нас интересует природа связи преобразованных упомянутым образом блр. *пэтрык* и др. (выше) и лит. *petrẽlė* 'божья коровка'. На связь этих слов указал уже Махек, но, похоже, что он трактовал их отношения в духе обычных для него корреляций по звонкости—глухости, в остальном считая неясным всю группу [32]. Между тем литовское слово (кстати, пропущенное в словаре Френкеля), в сущности прозрачно по структуре и калькирует белорусское название, повторяя его внутреннюю форму, модель: 'маленький Петр'.

---

[26] Fraenkel I. S. 147: *gerbti* относит ряд ученых к лит. *gìrti* 'хвалить, прославлять'; сам автор говорит о родстве лит. *gerbti* 'чтить' с лтш. *ģè̃rbt* 'ухаживать, украшать, наряжать', далее — с др.-прусск. *gīrbin* 'число', ст.-слав. жрѣбии, причем развитие зна чений якобы шло от 'зарубка', 'число' через 'считать' к 'чтить'. Но давно указано на заимствование лтш. *ģè̃rbt* из нем. *gerben* 'готовить, наряжать', 'дубить' (Кипарский у Френкеля), а др.-прусск. *gīrbin* и ст.-слав. жрѣбии также не имеют сюда отношения.

[27] *Л. Ф. Шаталава.* Назва «божай кароўкі» (Coccinella septempunctata) у беларускіх гаворках // З жыцця роднага слова. Мінск, 1968. С. 166 и след.

[28] Гринченко I. С. 36—37.

[29] Варшавский словарь I. С. 148.

ДВЕ ЛИТОВСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ НА ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ ФОНЕ

sáugoti, saugùs; ū́mas, ūmà

1.

Литовские слова *sáugoti* 'стеречь, беречь, охранять', *saugùs* 'надежный', 'осторожный, предусмотрительный' и близкородственное им лтш. *saũdzêt* 'беречь, стеречь' до настоящего времени не имеют приемлемого этимологического объяснения [1]. В самом деле, нельзя считать удовлетворительными ни с фонетической, ни с семантической точек зрения существующие сближения со слав. **xovati* (укр. *ховáти* 'прятать, скрывать', польск. *chować* то же и др.) [2] или с герм. **seuka-* (готск. *siuks*, др.-исл. *sjúkr*, англосакс. *sēoc*, англ. *sick*, др.-в.-нем. *sioh*, нем. *siech* 'больной, болезненный') [3]. При этом не получает убедительного истолкования значение 'осторожный', которое является для балтийского лексического гнезда основным, хотя и не первичным, как мы постараемся это показать дальше. Наиболее простым и, кажется, адекватным способом объяснения является интерпретация *sáugoti*, *saugùs* как сочетания возвратного местоимения и глагольного корня: *sau-goti* буквально 'идти себе', *sau-gus* 'идущий себе'. Рус. *идти себе*, замечательное своей аналитически выраженной

---

[1] *E. Fraenkel.* LEW. Bd. 2. S. 764: «Etymologie unklar».

[2] *E. Berneker.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 400. — Сближение дано со знаком вопроса.

[3] См. мнение Цупицы и Фика у Френкеля (LEW. Bd. 2. S. 764). В германских этимологических словарях это сближение даже не упоминается и даются другие объяснения германского слова. См. *F. Kluge.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20 Aufl. Berlin, 1967. S. 707; *J. de. Vries.* Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 2 Aufl. Leiden, 1977. S, 479.

медиальностью, передает действия человека сосредоточенного и тем самым — потенциально осторожного. Лексико-семантические и грамматические условия возникновения значения 'осторожный', 'проявлять осторожность' (→ 'стеречь') в литовском были, по-видимому, похожими. Конечно, соблазнительно в свете новой предлагаемой нами этимологии поставить лит. *sau-gu-s* '*идущий себе' → 'осторожный' в один ряд с такими индоевропейскими композитами, как литовское же *žmo-gù-s* 'человек' (← '*по земле ходящий'), греч. πρές-βυ-ς 'старейшина' ← '*впереди идущий', объяснив, таким образом, второй компонент *-gu-s* в *saugus*, *žmogus* как нулевую ступень вокализма и.-е. $g^{u}\bar{a}$- 'идти' с вокализацией лабиального тембра индоевропейского лабиовелярного согласного $g^{u} > gu$, что само по себе тоже интересно. Но архаичный вид прилагательного *saugus* обманчив, оно вторично и отглагольно, о чем говорит прозрачность связи его с литовским глаголом *saugoti*, а также выделяемая в их составе живая, употребительная форма возвратного местоимения *sau*. Очевидно, структура этих образований, хоть и укрывшаяся от взоров этимологов, продолжала оставаться активной, прозрачной вплоть до относительно недавнего времени (terminus post quem здесь мог бы быть переход *savi* > *sáu* в новолитовском). При всем при том здесь продолжает жить весьма древняя модель словообразования и формообразования, модель, которая легла, по-видимому, еще в основу индоевропейской медиальной глагольной парадигмы. Имеется в виду объяснение медиальных глагольных окончаний греч. -μαι, -σαι, -ται, др.-инд. *-se*, *-te* из и.-е. **moi* 'мне', **soi* 'себе', **toi* 'ему', дат. п. ед. ч. личных местоимений, а также типологическое сопоставление греч. κεῖ-μαι и рус. *лежу себе*[4]. Это объяснение раскрывает способ образования индоевропейского среднего залога, а также его исходный материал, но главное — обращает наше внимание на параллельное существование аналитической модели среднего залога типа рус. *лежу себе*, *иду себе*, типологически более архаической, чем классический индоевропейский медиум, а для ряда языков — и единственной. Лит. *saugoti* можно понимать именно как такой неразвившийся медиум.

2.

Лит. *ū́mas*, ж. р. *ūmà* (диал.) в жемайтских говорах — 'сырой, свежий, непросохший'[5], и это его значение следует считать первоначальным как семан-

---

[4] *V. I. Georgiev*. Die Entstehung der indoeuropäischen Verbalkategorien // Linguistique balkanique. 1975. Vol. 18, 3. S. 42 n. a.; idem. Morphologische Untersuchungen I. Probleme der indoeuropäischen Verbalflexion // Linguistique balkanique. 1978. Vol. 21, 4. S. 23.

[5] Значение 'внезапный, быстрый, поспешный', характерное для аукштайтских говоров литовского (ср. и литературное *ūmùs*), — результат метафорического переноса.

тически, так и этимологически. В рамках литовского и балтийского нас в этом убеждает очевидное отношение апофонии, связывающее *ū́mas* и *vémti* 'извергать содержимое желудка, рвать', т. е. в сущности 'выделять сырость'. Аналогичной апофонией на балтийской почве связаны между собой, например, лит. *ū́kana* 'туман' и *vãkaras* 'вечер' [6]. Предложенное объяснение формы *ū́mas*, кажется, полнее и поэтому предпочтительнее, чем отнесение к семье лит. *áudra* 'буря' [7], оперирующее слишком кратким корнем при определенной недооценке детерминатива *-m-*, который здесь весьма древен, как увидим ниже. Дело в том, что глубокими индоевропейскими соответствиями обладает не только лит. *vémti*, лтш. *vem̃t* 'рвать' (др.-инд. *vámiti*, греч. ἐμέω, лат. *vomere*, как известно). Не менее почтенное этимологическое соответствие можем указать и для лит. *ū́mas* 'сырой, непросохший' — др.-инд. *umā́* 'лен', до сих пор считавшееся не объясненным удовлетворительно [8]. Др.-инд. *umā́* довольно точно соответствует лит. *ūmà*, форме женского рода прилагательного 'сырая'. Культурно-исторические данные подтверждают это тождество, а тем самым — и древность литовского значения 'сырой, мокрый'. Как известно, мочка льна — необходимая стадия в его обработке. Это нашло отражение в этимологии некоторых названий льна со вскрываемым первоначальным значением 'сырой' или 'моченый'. В поддержку предлагаемой здесь идентификации др.-инд. *umā́* 'лен' — лит. *ūma* 'сырая', которая оказывается этимологией для древнеиндийского названия льна, уместно вспомнить старое, но незаслуженно забываемое толкование и.-е. **lĭ̄no-m* / **lei̯no-m* 'лен' ← 'политое, увлажненное' [9], откуда лат. *līnum*, греч. λίνον, готск. *lein*, др.-в.-нем. *līn*, слав. ***льнъ**, лит. *linaĩ* (мн.), лтш. *lini* 'лен'.

---

[6] *E. Fraenkel*. Bd. 2. S. 1159.

[7] *E. Fraenkel*. Bd. 2. S. 1162.

[8] *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1956. Bd. I. S. 108. Форму *kṣumā* надо понимать скорее как Reimwort, причем вероятие заимствования невелико.

[9] См. мнение Фика в кн.: *A. Walde*, *J. B. Hofmann*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 811: «Zu **lei-* 'gießen', vom Wässern der Leinpflanze». Об этой индоевропейской этимологии уже не вспоминают: *E. Berneker*. Bd. I. S. 754; *M. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. М., 1967. Т. 2. С. 481; *E. Fraenkel*. Bd. I. S. 373.

ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ ГЛАГОЛЬНОГО СУППЛЕТИВИЗМА: ПРАСЛАВ. **-nĕti* 'НЕСТИ, ПРИНОСИТЬ'

Явление парадигматического супплетивизма хорошо известно в сравнительной грамматике славянских и других индоевропейских языков. Оно представляет собой безусловно древнюю особенность как именного, так и глагольного словоизменения, и можно сказать, что эта особенность всегда привлекала внимание исследователей. Классическим примерим древней супплетивной глагольной парадигмы может служить индоевропейский глагол со значением 'нести'. Как известно, и.-е. **bher-* 'нести' выступало в дуративно-презентной функции, тогда как в функциях других глагольных времен оно восполнялось этимологически совершенно особыми основами — и.-е. **(e)neḱ-*, **t(e)l-*, включая этимологически неясные случаи: греч. φέρω 'несу, ношу', буд. οἴσω, аор. ἐνεγκεῖν, ἐνεῖκαι, а также τλῆναι, ταλάσσαι, лат. *ferō* 'несу, ношу', перф. *tulī*[1].

При всей своей очевидной древности явления супплетивизма не обязательно изначальны, сложение супплетивной парадигмы из первоначально самостоятельных лексем можно установить иногда по письменным свидетельствам, ср. хотя бы вовлечение форм особого глагола др.-лат. *tulō*, *tulere* 'носить, приносить' (первонач. 'поднимать, выдерживать тяжесть'), *tetulī* в сферу грамматических форм упомянутого глагола *ferō*, откуда супплетивный

[1] *Hj. Frisk*. Griechisches etymologisches Wörterbuch. II. S. 1005; *A. Walde, J. B. Hofmann*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. II. S. 688: *tollō*. О явлении супплетивизма в целом см. *H. Osthoff*. Vom Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1900; *K. Brugmann*. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1904. S. 295—296.

перфект последнего *-tulī*[2]. Равным образом письменная история наблюдает факты разрушения, нивелировки супплетивности, когда лексическая самостоятельность основ получает преобладание над их грамматическими связями. Так, и.-е. **bher-* и **(e)nek̂-*, супплетивную близость которых мы видим в греческом (выше), предстают перед нами в славянском совершенно самостоятельными лексемами с особыми значениями **berǫ*, **bьrati* 'брать' и **nesti* 'нести', и только старые отглагольные именные производные вроде **bermę* 'бремя, ноша' показывают, что и славянский сохраняет память о старых супплетивных отношениях еще и.-е. **bher-* и **(e)nek̂-*. Что же касается основной славянской глагольной лексемы со значением 'нести', то она представляется исследователям внутренне единой, в результате утраты указанного старого значения, основой **bher-*, **bьrati* в славянском (и аналогично в балтийском)[3]. И, однако, в славянском до сих пор существуют формы, которые требуют иного объяснения, хотя они, насколько нам известно, еще не были соответственно истолкованы, будучи как бы затенены формами глагола **nesti*, в сфере активности которого они находятся. Короче говоря, налицо пример явной супплетивности, к тому же привлекательный своей этимологической перспективой.

Речь идет о сербохорватском, где наряду с формами *nèsti*, *nèsem* 'нести, несу', и как бы им подчиненные, есть формы аориста *nijeh* и инфинитива *-nijeti* (только с приставками), *-nêt* (экавский вариант), *-nîti* (икавский вариант), ср. *zànijeti* 'понести, забеременеть'. Этимологический словарь Скока в этом случае, как и в большинстве других, не делает попытки отклониться от традиции и характеризует этимологически лишь форму *nèsti*[4], а формы *nijeh*, *nijeti* только приводит, обходя полным молчанием их существенные отличия. Но совершенно ясно, что именно в последних формах мы имеем не какое-либо новообразование, а самобытное сохранение языкового факта большой древности. Несмотря на то, что сербохорватские формы лишены соответствий в других славянских языках, у нас имеется полное право на базе указанных сербохорватских форм и их диалектных вариантов реконструировать праслав. **nĕti*. Уже с первого взгляда ясно, что эта особая праформа не имеет этимологически ничего общего с и.-е. **nek-* и его продолжениями в лит. *nèšti*, др.-инд. *naśati*, греч. ἐνεγκεῖν, лат. *nanciscor*, *nactus*, с которыми обычно связывают слав. **nesǫ*, **nesti*.

Праслав. диал. **nĕti*, восстанавливаемое нами на основании показаний единственного славянского языка (практика, которая принципиально

---

[2] Walde—Hofmann. Указ. соч.

[3] *A. Vaillant*. Grammaire comparée des langues slaves. III. Le verbe. Paris, 1966. P. 144, 210.

[4] *P. Skok*. Etymologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. II. Zagreb, 1972. S. 512.

11. Заказ № 2419.

допускается нами в работе над «Этимологическим словарем славянских языков»), ведет свои истоки из индоевропейского, что вполне соответствует реликтовому характеру **něti*. Семантика и форма этого слова позволяют этимологизировать его как исконно родственное др.-инд. *náyati* 'вести', авест. *nayeiti* 'приносить, вести', др.-перс. *a-naya* 'вел, приносил', ср.-перс. *nītan* 'вести, гнать', хеттск. *nāi-*, *ne-* 'направлять, вести'. В свете изложенных выше данных неудивительно, что в этимологических словарях, содержащих сведения об этой индоевропейской основе, славянские данные отсутствуют[5]. Между тем как именно славянский, получая этимологию путем сравнения с перечисленными индоевропейскими, главным образом индоиранскими, словами, сам, в свою очередь, существенно проясняет эти последние, особенно их общую праиндоевропейскую реконструкцию, поскольку как раз индоиранские формы двусмысленны фонетически и могут отражать как **nei̯-*, так и **nai̯-*. Праслав. **něti*, в котором *ě*, очевидно, отражает древний дифтонг (ср. выше), допускает только реконструкцию и.-е. **nai̯-* (или **noi̯-*). Такую поправку, видимо, и следует учесть отныне вместо праформы и.-е. **nei̯-*, **nei̯ə-*, **nī-*, принимаемой, например, Покорным[6], не знавшим о сербохорватских продолжениях, и отражающей, возможно, местные апофонические ряды.

---

[5] *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. S. 760; *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. II. S. 137.

[6] *J. Pokorny*. Указ. соч.

ETYMA BALTICO-SLAVICA CONTROVERSA: *kúokštas* ≠ **kustъ*

Список спорных балто-славянских этимологий [1] можно продолжить. При этом пересмотру приходится подвергать такие старые известные лексические тождества, как, например, сравнение литовского слова *kúokštas* и рус. *куст*. Это сближение дает, со ссылкой на Гейтлера, уже Траутман в своем словаре [2]. Бернекер еще не знает такой этимологии и сообщает другие попытки [3]; впрочем, уже в дополнениях и поправках к словарю Миклошича находим близкое указание: «...*kustŭ*: — Man vergleicht lit. *kaukštas*» [4]. Этимологическое сближение лит. *kúokštas* и рус. *куст* можно считать сейчас общепринятым в литературе, оно приводится в основных этимологических словарях и курсах по сравнительной грамматике [5].

Лит. *kúokšta*, *kúokštas* приводится со значениями 'горсть, пучок, связка', а также 'куст', сюда же *kúokštė*, *kúokšta*, *kúokštis* 'капуста с неплотно прилегающими листьями', *kúkštas* 'тонкий шест с прикрепленным к нему пучком соломы (как пограничный, межевой знак)', *kúkštis* 'маленькая кучка сена' [6]. Русское слово однозначно: *куст* 'всякое многоствольное, низменное расте-

---

[1] Ср. статью «Из балто-славянских этимологий» (Этимология. 1978).

[2] *R. Trautmann*. Baltisch-slavisches Wörterbuch. S. 139.

[3] *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch I. S. 652.

[4] *F. Miklosich*. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. S. 427.

[5] *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch I. S. 312; *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. II. С. 432; *Chr. S. Stang*. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsö, 1966. S. 75; *V. Kiparsky*. Russische historische Grammatik. Bd. III. Heidelberg, 1975. S. 40 (Russische Wörter balto-slavischer Herkunft [mindestens 2500 Jahre alt]).

[6] Fraenkel. Там же.

ние; многолетнее растение с деревянистым стволом, малорослее дерева' [7]. То же можно повторить о древнерусском (засвидетельствовано достаточно рано, с XII в.). Полезно лишь отметить отсутствие четкого противопоставления между кустом и деревом: **А обводъ тои земли отъ рѣкѣ отъ Волхова Виткою ручьемъ вверхъ на Лющикъ, да Лющикомъ ко кресту, а отъ креста до Коровеи прогонъ, а Коровьемъ прогономъ на ольху, а отъ ольхи на еловои кустъ** (Грам. иг. Ант. д. 1147 г.) [8].

Но основным для лит. *kúokštas* является значение 'пук, пучок, клок (например, волос, шерсти)', а применение к кустарниковому растению кажется вторичным и фигуральным (основное название куста в литовском языке — *krū́mas*), столь же фигуральным можно считать отнесение русского слова *куст* ко всему 'кустообразному'. Этот как бы случайный характер семантической встречи обоих сравниваемых слов делается очевидным, если выделить именно основные их значения, каковыми оказываются 'свободный (или вторично прикрепленный) пук, пучок' (лит. *kúokštas*) и 'неподвижно сидящее в земле растение' (рус. *куст*). Думается, что как раз основные значения слов имеют решающую важность для выяснения их этимологии. Конечно, зная прихотливость хода семантических изменений слов, мы прежде всего должны будем поинтересоваться типологией порождения и отношений значений 'пучок' и 'куст'. К сожалению, известный словарь Бака (C. D. Buck) оставил этот фрагмент семасиологии без внимания, и нам остается лишь посильно восполнять в этой маленькой заметке отсутствующее фундаментальное обследование. Проверка этимологии синонимов со значением 'куст' показала, что значение 'куст' сформировалось из первоначальных значений 'торчащее' (лат. *frutex*, нем. *Busch*), 'короткое' (нем. *Strauch*), 'кучное' (лит. *krūmas*, слав. **kǫpa*, **kǫpina*), 'корневое, коренящееся' (лит. *kẽras*, лтш. *cers*, слав. **kъrъ*), 'стоячее' (нем. *Staude*) (см. словари Вальде—Гофмана, Клюге, Френкеля, Бернекера). Четкой противопоставленности понятий 'куст' — 'дерево' как будто не наблюдается, в пользу этого говорит и, как правило, относительно вторичное появление общего термина 'дерево', а с другой стороны — неявное различение понятий 'куст, кустарник' и 'чаща, лес' (ср., например, синонимичность слов *miškas*, *giria* и *krúmas* на одной из карт лексического тома нового Атласа литовского языка) и, наконец, симптоматичные явления нейтрализации противопоставления 'куст' — 'дерево' в упоминавшемся древнерусском примере **еловои кустъ** (XII в.). В то же время есть как будто данные для того, чтобы говорить о противопоставленности или, точнее, — об отсутствии родства понятий 'куст' и 'пучок'. Короче говоря, лексемы 'куст' и лек-

[7] Даль[2] II, 226.

[8] *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. Стб. 1381.

семы 'пучок' реализуются скорее всего из разных первооснов и этимологически, как правило, не связаны.

Изложенные семантические допущения находят поддержку в формально-фонетической характеристике и этимологии лит. *kúokštas* и рус. *куст*, которые нам теперь представляются этимологически неродственными словами. Еще Траутман, давая этимологическое тождество *kúokštas* — *куст*, признавал: «Праформа (Grundform) недостоверна (рус. *у* может продолжать также и.-е. *au*)». Строго говоря, заглавную праформу **kōukšta-*, выдвинутую Траутманом, нельзя считать балто-славянской, она отражает особенности только литовского слова. Только лит. *kúokštas* имеет рефлекс индоевропейского акутированного долгого дифтонга *ōu* ряда *-u-* (ср. *kúkštas*, выше) и в целом лит. *kúokštas* реконструируется как суффиксальное производное **kōuk-sto-*, корень которого связан сложной, еще индоевропейской апофонией с **keuk-* / **kouk-*. Ничего этого нельзя сказать о русском слове *куст*, где прежде всего нет ни древней долготы, ни акутового ударения, поэтому этимологизировать так же рус. *куст*, как производное **kouk-sto-*, было бы в этих условиях натяжкой. Отсутствие древних данных и двоякий генезис русского *у* [u] позволяет допустить здесь две возможные реконструкции: **kousto-* или **konsto-*. Любопытна акцентология русского слова: если современное *куст* (*куста́*, *кусту́*... *кусты́*) с наконечным ударением на флексии[9] вызывает мысль о наличии здесь суффиксального производного, то уже поэзия XVIII и XIX вв. обнаруживает ударения *ку́ста*, *ку́стом*, а свидетельства текста XVII в. (Учение и хитрость ратнаго строения... 179а: *ку́сты*) окончательно доказывает здесь старшинство накоренного ударения[10]. Русское слово, судя по всему, не было суффиксальным производным, как литовское. Накоренное ударение этого краткого слова с краткостью (или нормальной ступенью) корневого вокализма нуждается при этом в особом объяснении. По-видимому, мы имеем здесь сложение **ku-sto-*, образованное из особого префикса местоименного происхождения (*ka-*, *ku-*, *kǫ-*) и именной формы *sto-* глагольной основы *sta-* / *sto-* 'стоять', ср. **prostъ*. При таком этимологическом решении тождество *kúokštas* — *куст*, объяснявшее, надо признать, более или менее удовлетворительно до сих пор только балтийское слово, не может быть сохранено. Поиски наиболее адекватной этимологии для русского слова вырывают его из этой пары, при всем том что древность этого слова в славянском как возможного самобытного праславянского диалектизма не вызывает сомнений. И словообразовательная модель, и акцентология получают при этой этимологии как будто приемлемое осмысление. Добавим также, что отыскиваются, далее, и

---

[9] *V. Kiparsky*. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962. S. 20.
[10] Там же. S. 72—73.

индоевропейские параллели, ср. древнеиндийское название растения *kúṣṭha-* 'Saussurea lappa'. Майрхофер толкует его «aus einer fremden Quelle» [11], хотя это абсолютно излишне, ввиду полного тождества с др.-инд. *kúṣṭhā-* 'торчащий конец, например горловина корзины', которое в том же словаре связывается с др.-инд. *kúṣṭha-* 'Lendenhöhle(?)' с присовокуплением нерешительных догадок насчет и.-е. **keuk'-* 'stechen, spitz sein' [12]. Между тем кажется вполне возможным видеть здесь сложение оценочного префикса *ku-* с именной формой глагольного корня *sthā-* 'стоять'; индийские слова получают при этом этимологию и перспективу более широкого сравнения. Др.-инд. *kúṣṭha-* и рус. *куст* реконструируются из первоначального обозначения кустарника как определенным образом стоящего, торчащего из земли, несколько приниженно в сравнении с деревом.

[11] *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I. S. 246.

[12] Там же. S. 246—247.

ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРАСЛАВЯНСКОМУ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ: ГЕНЕЗИС МОДЕЛИ НА *-ĔNINЪ*, **-JANINЪ*

Рассматриваемые ниже вопросы весьма сложны, так как затрагивают лексику, словообразование, морфологию, т. е. грамматику, а также лексическую и функциональную семантику и разные уровни употребления слов — апеллативный и ономастический. Естественно, что все это тесно связано, в конечном счете, с этимологией. Если добавить, что данная категория, характеризующаяся теперь бесконечностью, в начале своего развития отличалась не только конечностью, но и единичностью, то это представит интерес также для наблюдений над общей эволюцией языка. В неменьшей степени побудила заняться изучением вопроса противоречивость существующих в литературе высказываний и анализов, которые способны затемнить сущность важного вопроса, заслуживающего монографии, а не только краткого и вынужденно неполного очерка.

Производные имена с формантом *-ěninъ*, **-janinъ* в славянских языках представляют собой открытый ряд и, можно сказать, неисчислимы теперь по своей продуктивности. От мысли дать подробный перечень их в краткой статье мы заранее отказываемся, но это едва ли выполнимо и для специальной монографии. Определенное представление дает материал, собранный у Миклошича (графика сохраняется)[1]: ст.-слав. *efesêninъ*, *efešaninъ*, *farisêjaninъ*, *galilejaninъ*, *izrailьtêninъ*, *kirinêjaninъ*, *kritêninъ*, *krištaninъ*, *midêninъ*, *nazarêninъ*, *nazarjaninъ*, *rimljaninъ*, *rumêninъ*, *samarêninъ*, *samarjaninъ*, *slovêninъ*, *graždaninъ*, *selêninъ*, *seljaninъ*, *mirêninъ*, *zemljaninъ*; словен. *dobrovčanin*, (без *-in*:)

[1] *F. Miklosich.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Bd. II. Stammbildungslehre. Wien, 1875. S. 129 и след.

deželan, *dvoran*, *gorčan* < *goričan*, *krajnščan*, *meščan*, *rimljan*, *seljan*, *veščan*; болг. *гражданин*; сербохорв. *aradjanin*, *banaćanin*, *bečanin*, *bošnjanin*, *brdjanin*, *budljanin*, *vinkovčanin*, *gračanin*, *grbljanin*, *dobroćanin*, *podunavljanin*, *carigradjanin*, *carogradjanin*, *banjanin*, *dubrovčanin*, *varošanin*, *goranin*, *gradjanin*, *kućanin*, *mještanin*, *ostrvljanin*, *seljanin*, *pučanin*; укр. *дворянин*, *крилошанин*, *міщанин*, *селянин*, *галичанин*, *львовянин*, *римлянин*; рус. (у Миклошича — вместе с др.-рус.) *крилошанинъ*, *изборчанинъ*, *олончанинъ*, *полянинъ*, *римлянинъ*, *селянинъ*, *поселянинъ*, *сельчанинъ*, *огнищанинъ*, *москвитянинъ*, *островитянинъ*, *островлянинъ*, *семъянинъ*, *чужанинъ;* чеш. *dvořenín*, *dvořan*, *krajenín*, *krajan*, *měštěnín*, *měšťan*, *římĕnín*, *říman*; польск. *dworzanin*, *grodzanin*, *grodzianin*, *mieszczanin*, *młodzianin*, *młodzian*, *włościanin*, *ziemianin*, *lipszczanin*, *rzymianin*, *warszawianin*; в.-луж. *doľan*, *hořan*, *poľan*, *zemjan*; н.-луж. *kšajan*.

Совершенно ясно, что материалы Миклошича, опубликованные более ста лет назад, могут иметь только иллюстративное значение, но не отражают практически для всех славянских языков ни полного состава, ни нынешних тенденций (взять хотя бы современную популярность форманта *-чане* в русском[2]). Большинство слов на *-ěninъ*, *-janinъ* — оттопонимические образования либо целиком принадлежат этнонимии. Вообще значительный пласт этих имен вдается в ономастику, в чем убеждает хотя бы знакомство с русскими фамилиями *Устюжанинов*, *Трубчанинов*, *Гречанинов*, *Волчанинов*, *Зерчанинов*, *Турчанинов*, *Лучанинов*, *Ельчанинов*, *Вельчанинов*, *Мещанинов*, *Зеренинов*, *Персиянинов*, *Селянинов*, *Полянинов*, *Армянинов*, *Мирянинов*, *Дворянинов*, *Горянинов*, *Обольянинов*, *Смольянинов*, *Сурьянинов*[3]. Кроме фамилий от известных или прозрачных имен на *-анин*, *-янин*, здесь есть и образованные от неизвестных или темных апеллативов: **зерчанин* (**озерчанин*?), **обольянин*. Из истории славянства известно довольно много племенных названий с этим суффиксом (ср. в унифицированной праславянской транскрипции): **beržane*, **bužane*, **bobr'ane*, **čerzpěněne*, **dědošane*, **dervjane*, **dokšane*, **lędjane*, **lǫčane*, **milьčane*, **moravjane*, **poľane*, **pomor'ane*, **pьšev(j)ane*, **rěčane*, **sěver'ane*, **slověne*, **smolěne*, **sъlęžane*, **sprev(j)ane*, **stodor'ane*, **strumjane*, **terbovjane*, **vislěne*, **vъkr'ane*, **velyn'ane*[4]. Еще больше известно этниконов (названий жителей) с этим формантом, ср., например, на Балканском Юге, по материалам большой работы Заимова: *Дечани*, *Дивляни*, *Иваняне*, *Кривогащани*, *Неволяне*, *Пиране*, *Пищане*, *Поибрене*, *Селене*, *Селяни*, *Сиряни* и мно-

---

[2] *В. И. Супрун.* Суффикс *-анин* в славянской этнонимии // Вопросы филологии. Вып. VII. Л., 1978. С. 47 (с дальнейшей литературой).

[3] *V. Vascenco.* Nume de familie şi prenume ruseşti. Dicționar invers. Bucureşti, 1975. P. 96.

[4] *О. Н. Трубачев.* Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // ВЯ. 1974, № 6. С. 55.

гие другие на славянских (Болгария, Македония) и неславянских (Греция, Румыния) территориях [5].

В сравнительных и исторических грамматиках и специальных исследованиях по славянскому словообразованию уделяется достаточно внимания производным с суфф. -*ěninъ*, -*janinъ*. Не претендуя на полноту, приведем ряд характеристик. Вондрак предпочитает говорить отдельно о суфф. -*janinъ* < -*iōn*- (ср. лит. *kiemionis* 'деревенский житель', *Tilžionìs* 'житель г. Тильзита', греч. οὐρανίων, этнонимы вроде *Suessiōnes*), а также о суфф. -*ěninъ*, ср. (вслед за Зубатым) лат. *Tibrēnus*, *Alfēnus*, *aliēnus*; для последнего суффикса Вондрак допускает влияние прилагательных на -*ěno*- [6]. Мейе кратко характеризует имена на -*an*- как основы на согласный, тематизация которых осуществляется с помощью суфф. -*inъ* (*гражданинъ*), соответствующего лит. -*ynas*, др.-инд. -*īna*-, греч. -ῖνος, лат. -*īnus* [7]. Вайян очень обстоятельно изучал эту модель с морфологической и словообразовательной стороны, ср. его объяснение атематического дательного и творительного падежа множественного числа на *-*jēn-m* > -*jęm*- > -*jěm*- / -*jam*- — др.-рус. *Полями*, *Критями*, т. е. 'полянами', 'критянами', словен. *Goričam* 'горцам', откуда аналогически — локатив на -(*j*)*ахъ*, стар. -(*j*)*asъ*: ст.-чеш. *Doľas*, *v Polas*, др.-рус. *Поляхъ* 'полянах'. Ср. атематический дательный падеж множественного числа основ на -*n*- в германском: готск. *attam* 'отцам' < **attan-m*. Таким образом, имена на -*jan*- сохраняли во множественном числе атематические формы основ на согласный. Суфф. -*jan*- Вайян сближает с лит. -*ėnas* (*Tilžẽnas*, *kalnẽnas* 'горец'), лтш. -*ẽns*, отмечая, правда, что балтийский здесь не обнаруживает следов атематической флексии. Для балто-славянского Вайян реконструирует исход *-*ēn*, который якобы «добавлялся» в славянском к -*j*- подобно греч. οὐρανίων. Балтийскому неизвестно сингулятивное -*inъ*, присоединяемое к слав. -*jan*-; это -*inъ* не связано с *inъ* 'один', но соответствует лит. -*ýnas* в производных *kaimýnas* 'сосед' и др. Весьма существенны отмеченные Вайяном колебания вариантов суфф. -*ěn*-, -*jan*-, -*an*- в зависимости от предшествующих звуков: *Galilěaninŭ*, *Izdrailěninŭ*, но *Italjan*-, *seljan*- (Амартол), *Agarěn*-, *Jerusalimlěn*-, *Rimlěn*-, *Etiopěn*- (вар. -*plěn*-), *Soluněn*-, *Eǵvpten*, *Indjan*- (Амартол), *Persěninŭ*, но *Peloponišan*-, *Afrikjan*-, но *Fračaninŭ*, *Frugěne* [8]. Кипарский очень суммарно рассматривает модель на -*анин*, -*янин* в русском, толкуя этот формант как ре-

---

[5] *И. Заимов.* Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967.

[6] *W. Vondrák.* Vergleichende slavische Grammatik. Bd. I. Göttingen, 1906. S. 422.

[7] *A. Meillet.* Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. 2 partie. Paris, 1905. P. 312, 448—449; *А. Мейе.* Общеславянский язык. М., 1951. С. 294, 338.

[8] *A. Vaillant.* Grammaire comparée des langues slaves. T. II, part. 1. Lyon; Paris. P. 188—189, 216—217, 308—311; T. IV. Paris, 1974. P. 337—338.

зультат слияния двух индоевропейских суффиксов: лат. *-iānus* и *-ēnus*, лит. *-(j)onis* и *-ėnas*, лтш. *-āns* и *-ēns*. По фонетическим причинам (*ě* после шипящих и мягких исходов > *'a*) вариант *-jan-* возобладал. Сингулятивный суфф. *-inъ* тождественен *inъ* 'один'[9]. Отрембский, со своей стороны, генетически разграничивал *-ěn-* и *-jan-*, судя по его отождествлению славянского этнонима **slověne* и литовского названия деревни *Šlavė̃nai* на реке *Šlavė̃*[10]; суфф. *-jan-* этот ученый объяснял как образование от основ на *-ja* (с и.-е. *ā*, а не *ō*, почему сближение с греческим типом Οὐρανίωνες 'небожители' отпадает), ср. отношение *земля* → *земляне*[11]. Бернштейн упоминает тип **gordjēninъ* как сформировавшийся на базе согласных основ типа **rudmen-*, **molden-*, но без характеристики дефектной парадигмы на *-(j)aninъ* и самого форманта[12]. В «Очерке праславянского словообразования» *-ěn-*, *-jan-* характеризуются как форманты основ на согласный, сохранивших консонантную флексию только во множественном числе, с «точными соответствиями» в литовском *-ėnas*, *-ionis*; *-jan-* сближается еще с исходом греч. οὐρανίων, хотя вслед за этим говорится о первичности *-ěn-* и вторичном обобщении *-jan-*[13]. В общем, распространенная точка зрения «от Лескина до наших дней» о близости образования др.-болг. *солоунѣн-инъ* и лит. *Tilžė̃nas* как «типичной балто-славянской формации» отражена у Дуриданова[14]. Айцетмюллер, сообщая известные сведения об остатках консонантного склонения у имен на *-'an / i̯an-*, обращает вместе с тем внимание и на некоторые проблематичные моменты. Генезис и взаимоотношение *-ěn-* и *-jan-* для него неясны и лишь напоминают греч. Ἕλληνες — Οὐρανίωνες, однако в греческом ι принадлежит основе, что для славянского невероятно; лит. *-ion-* в *Tilžionìs* представляет собой лишь имитацию слав. *-jan-*[15]. Бошкович, анализируя имена типа **gordjaninъ*, считает исходной форму **gordjanъ* как первую тематизацию на *-ъ* < *-o-s*, а форму **gord-jan-inъ* называет второй тематизацией, причем суфф. *-inъ* предохраняет от деформации первоначально атематическую основу[16]. Последний по вре-

[9] *V. Kiparsky.* Russische historische Grammatik. Bd. III. Heidelberg, 1975. S. 187.

[10] *J. Otrębski.* Die Herkunft der Bezeichnung *Slověne* // LP 1958. 7. S. 263 и след.

[11] *J. Otrębski.* Kirchenslavisches *vъ Vislěchъ* // Symbolae linguisticae in honorem G. Kuryłowicz. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965. S. 223—226.

[12] *С. Б. Бернштейн.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974. С. 167.

[13] Słownik prasłowianski. T. I. 1974. S. 119, 129; T. III. 1979. S. 17.

[14] *И. Дуриданов.* Към стратиграфията на именните типове в славянските и балтийските езици // Славянска филология. Т. XII. София, 1973. С. 31.

[15] *R. Aitzetmüller.* Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg; Brno, 1978. S. 104—105.

[16] *Р. Бошковић.* Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници // *Р. Бошковић.* Одабрани чланци и расправе. Титоград, 1978. С. 96—98.

мени известный нам исследователь проблемы — В. И. Супрун — вычленяет в составе суфф. -*анин* сингулятивное -*ин*, производя его от и.-е. **oin-* 'один', соотношение -*jan-* и -*ěn-* считает не выясненным, сближая -*ěn-* вслед за предыдущими исследователями с греч. -ην-, а -*jan-* возводя к и.-е. **-iōn-*; имена на -*анин* отличает «специфическая флексия» во множественном числе. Исходной формой Супрун называет -*jan-* [17].

На основании этих исследований затруднительно составить себе единое представление об этой словообразовательной модели имен. Изложенные выше суждения на редкость противоречивы и неполны, не все авторы вспоминают даже о том, что перед нами представители парадигмы склонения на согласный, причем в ретроспективе надо говорить не о дефектной парадигме (сохранение остатков консонантной флексии во множественном числе), а о полной консонантной парадигме на -*en* (ед. ч.) — -*ene* (мн. ч.). Эволюция склонения на согласный складывалась естественным путем — в направлении деконсонантизации, которую вовсе не обязательно понимать узко в рамках действия славянского закона открытого слога. Здесь имела место довольно универсальная тенденция, как свидетельствуют проявления деконсонантизации в языках, совершенно не затронутых упомянутым законом, например в литовском, где так же, как в славянском, консонантная флексия на -*n-* сменяется в ряде случаев склонением на -*i-* [18]. Перестройка исхода основы наметилась прежде всего в именительном падеже единственного числа как наиболее слабой позиции, подверженной изменениям и «не прикрытой» (у консонантных основ) флексией. Говоря о перестройке в этой позиции, важно обратить внимание и на другую ее сторону, превратно освещавшуюся либо вовсе не освещавшуюся раньше: вокализм форманта. Дело в том, что за первоначальный вид изучаемого форманта следует принять -*en*, а долгота гласного, так или иначе отличающая известные варианты -*ěn*(*inъ*), -*jan*(*inъ*), — это характеристика, которая должна получить объяснение. Природа этой долготы — продление, восходящее в принципе еще к индоевропейской эпохе. Условия происхождения долготы гласного коренятся в парадигме склонения, которая рано вызвала появление того, что названо у Бругмана «doppelte Vokalquantität», в данном случае -*ē̆n*. Бругман обратил внимание на отношение греч. φρήν, -ένες, αὐχήν, -ένες и высказал наблюдение: «Во всех формантах на -*n-* (-*en-*, -*i̯en-*, -*u̯en-* и -*men-*...) в большинстве языковых групп обнаруживается в сильных падежах родовых имен двойное количество гласного (-*ŏn-* :

[17] *В. И. Супрун.* Указ. соч. С. 41 и след.

[18] *Chr. S. Stang.* Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsø, 1966. S. 219; *Brugmann K.* Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. II. Teil 1. Strassburg, 1906. S. 286.

-*ōn*-), которое должно быть унаследовано с древности»[19]. Смысл продления вокализма форманта в именах типа греч. ποιμήν (основа косвенных падежей — ποιμεν-) 'пастух' заключается в дополнительном различении равнооформленных падежей — прежде всего именительного и звательного, причем инновация (продление) обычно закрепляется за именительным. Таким образом, вокализм славянского форманта -*ěn*(*inъ*), -*jan*(*inъ*) имеет еще индоевропейские истоки.

Попутно заметим, что этим путем — из индоевропейского парадигматического функционирования — лучше объясняются славянские формы вроде *korěnь* (в сербохорватском, древнерусском), для которых Вайян предполагал деназализацию вторичного носового гласного, а критиковавший его Бошкович — древние огласовки **korē*(*n*), **kamē*(*n*)[20], что, конечно, еще не является объяснением. Напрашивающаяся обычно мысль о связи нашего форманта -*ěn*(*inъ*) и суффикса прилагательных -*ěnъ* встречает возражение, что для второго суффикса исходные условия были все-таки иные, так как имеющаяся там долгота возникла как словообразовательное продление (врддхи) в производном — *kaměnъ* 'каменный' от *kamen*- 'камень', цслав. **можданъ** 'мозговой' (**mozgēno*-) от **мождени** вин. мн. 'мозг, мозги', в то время как продление в нашем -*ē̆n* > -*ěn*(*inъ*), -*jan*(*inъ*), как выяснилось, — парадигматического, морфологического характера. В связи с этим важно констатировать, что славянские консонантные основы отражают сохранение не только индоевропейского типа ἄχμων — **kamy*, но и индоевропейского типа ποιμήν. Наши компаративисты обычно отдают предпочтение первому из них, реконструируя — видимо, излишне прямолинейно — именительные падежи единственного числа **pьrsty*, **pręsly*, **strьgy*, **bredy*, **plety*, **gnety*[21]. Но, по-видимому, корректнее оперировать формами номинатива **elenь*, **sьršenь*, **stepenь*, **sęženь*, **pьrstenь*, **pręslenь*, **stьrženь*, **pletenь*[22], не смущая себя идеей их аккузативного происхождения; это лишь вторичная омонимия первоначально разных флексий им. п. ед. ч. м. р. **-en-ĭ* (перевод в -*i*-основы) — вин. п. **-en-m̥*. Деконсонантизация основ мужского рода на -*en* осуществлялась через включение их в основы на -*i*-.

Таким образом, мы подходим к вопросу о способе тематизации первоначально консонантных основ типа праслав. **gordjaninъ*: основа на согласный

---

[19] *K. Brugmann.* Op. cit. S. 293.

[20] *Р. Бошковић.* Српскохрватско *korěnь* // *Р. Бошковић.* Одабрани чланци и расправе. С. 399 и след.

[21] *С. Б. Бернштейн.* Указ. соч. С. 169 и след.

[22] Вайян, например, избегает реконструкции номинативов типа **pьrsty*, неоправданно предполагающих **-ō*(*n*), см.: *A. Vaillant.* Grammaire comparée... T. II, part. 1. P. 197 и след.

gordjan-* стала *-i*-основой **gordjanь* (gordjanĭ*), ср. аналогичную судьбу других названий лиц с основой на согласный — **gospodь* (и.-е. **ghost-pot-*), имен на *-tel-* → *-telj-*. Ошибочны поэтому утверждения, что первой тематизацией имен типа **gordjan-* был перевод их в основы на *-o-* **gordjanъ* (Бошкович, выше). Вторичность форм чеш. *krajan*, польск. *Krakowian* была понятна еще для Миклошича. Именно признание промежуточной формы на *-i-* **gordjanь* (ср. в этом смысле лит. *palikuonìs* 'потомок' и под.) помогает правильно понять дальнейшую суффиксацию **gordjan-inъ*, как наложение родственной морфемы *-inъ* на *-i*-исход, ср. полную аналогию **gospodь* — **gospodinъ*.

Эволюция раннепраславянского исхода *-ěni-* в направлении к засвидетельствованным *-ěninъ*, **-janinъ* ознаменовалась смягчением предшествующих согласных (после палатализации задненёбных), а также, видимо, своеобразной антеципацией мягкости *-anĭ-* → *-jan-*, межслоговой ассимиляцией по мягкости, что особенно проявилось в случаях вроде **gordjaninъ*, вместо ожидавшегося **gorděninъ*, а это было также возможным результатом, ср. четкую рефлексацию праслав. **slověninъ* при полном отсутствии **slovjaninъ*, которое дало бы в ряде славянских языков *l'* epentheticum. Колебания, отмеченные Вайяном (выше), и другие соображения, в частности уже указанная другими исследователями невозможность возведения слав. *-jan-inъ* к индоевропейскому *-i̯-ano-*, *-i̯-on-* и т. д., — все вместе взятое (включая растущую продуктивность именно варианта *-jan-*) говорит в наших глазах о вторичном, более позднем характере этого варианта суффикса, о том, что это продукт славянского фонетического развития, а не элемент древнего словообразования. Изначальным было только *-ě̆n* → *-ěni-*.

Пересмотр истоков и эволюции славянского именного форманта *-ěn-* (*-jan-*) оказывается весьма радикальным по своим результатам, затрагивающим природу, относительную хронологию и связи этого форманта. Возникают новые проблемы. Вскрываемый, с одной стороны, еще индоевропейский характер долготы суффиксального гласного (продление в падежной парадигме склонения на согласный) вступает, с другой стороны, как бы в противоречие с трактовкой этой долготы в собственно славянском вплоть до исторически недавнего времени, до современных живых языков. Мы располагаем важными данными о первоначальной безударности *-ěn*(*inъ*), *-jan*(*inъ*), а это может свидетельствовать о древней краткости либо, скорее всего, о циркумфлексной интонации слога *-ěn-* (*-jan-*). К сожалению, мне неизвестны специальные исследования об этом суффиксе в плане славянской и индоевропейской акцентологии. Имеющиеся на этот счет высказывания в более общей литературе, кажется, проходят мимо существа дела. Кипарский в книге об ударении в русском литературном языке относит, например, ударение *гражданúн* — *грáждане* к колебаниям, в остальном конструкция «старое по-

стоянное ударение на суффиксе» (*египтя́нин*, *израильтя́нин*, *поселя́нин*, *прихожа́нин*, *россия́нин*), но ср., впрочем, *ри́млянин*, *филисти́млянин* и «явно старшее ударение» *христиани́н*[23]. Эта характеристика неудовлетворительна исторически. Более адекватно наблюдение того же автора в его русской исторической грамматике: «Старому типу ударения с сохранением места ударения производящего слова (*во́логжанин* 1755 г.) противостоит более поздний тип с ударением суффикса *-jan-* (*вологжа́нин* 1960 г.), а в единственном числе единично также и сингулятивного суффикса (например *христиани́н*), ср. Görner 1967, 66 (имеется в виду работа: *F. Görner*. Das slavische Suffix *-jān-*, Sg. *-jān-īn* in russ. Ethnika // Die Welt der Slaven. XII. 1967. S. 59—66. — *О. Т.*)»[24]. Но в конечном счете придется признать неудовлетворительной и эту характеристику (старое постоянное накоренное ударение). В этом отношении красноречивые показания дает ономастика, ср. преобладающее ударение в русских фамилиях *Трубчани́нов*, *Гречани́нов*, *Зерчани́нов*, *Турчани́нов*, *Селяни́нов*, *Смольяни́нов*[25], сюда же былинное отчество *Микула Селяни́нович*, далее — ударение в апеллативах *дворяни́н*, *мещани́н*. С другой стороны, полного внимания заслуживает остаточная акцентная парадигма рус. *гражданин* — мн. *гра́ждане* (при собственно русском акцентно инновационном *горожа́нин* — *горожа́не*), которую следует признать безусловно старой, а не относить к «колебаниям» непонятно какого происхождения (Кипарский, выше). Все это говорит о безударности суффиксального элемента *-ěn-* (*-jan-*) в праславянском. Если учесть, что следующий за ним сингулятивный суфф. *-inъ*, видимо, обладал древней акутовой долготой (ср. индоевропейские соответствия выше, а также доказательства подударности *-inъ* в языках с подвижным ударением), мы получаем возможность говорить здесь о переносе ударения с предшествующего циркумфлексного слога на акутовый в духе закона Фортунатова — де Соссюра. Циркумфлексная долгота слав. *-ěn-* (*-jan-*) < и.-е. *-ē̆n* вынуждает внести коррективы в индоевропейские реконструкции, к которым иногда прибегают, предполагая в ст.-слав. **граждане** наряду с лит. *pirmio* 'первенец', мн. *pirmuones*, авест. (Гаты) *mąθrān-* 'пророк, проповедник' суффикс с ларингальным **-hn-*[26]. Это было бы равнозначно признанию здесь старой акутовой интонации, но в литовском исход *-no* характеризуется как раз циркумфлексной интонацией, о том же говорят и наши данные о модели

[23] *V. Kiparsky*. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962. S. 152—153.

[24] *V. Kiparsky*. Russische historische Grammatik. Bd. III. Heidelberg, 1975. S. 187.

[25] *V. Vascenco*. Op. cit. P. 96.

[26] *J. H. Jasanoff*. The nominative singular of *n*-stems in Germanic // Indo-European studies. III / Ed. by C. Watkins. Cambridge (Mass.), 1977. P. 157.

gordjaninъ* в славянском. Здесь не было старой долготы, поэтому наметившееся выше противоречие между индоевропейским и славянским снимается. Такое утверждение имеет далеко идущие последствия, потому что тем самым снимается и «точное соответствие в балтийском» — акутированное лит. *-ёnas*, принимаемое многими исследователями, несмотря на отмечавшиеся другие его несоответствия славянскому консонантному, нетематическому *-ěn-*. Балтийские соответствия не удовлетворяют пересмотру: *-ionis* сохраняет значение лишь как слепок со слав. *-jan-* (см. выше Айцетмюллер), слепок тем более поучительный, что он отразил и факт перевода в *-i*-основы, не всегда легко прослеживаемый в самом славянском; этнонимы на *-en- в* балтийском красноречиво отсутствуют, за вычетом др.-прусск. *Pomesani* (po-medi̯an-*), *Pogesani* (**po-gudi̯an-*), словообразовательное оформление которых обязано, конечно, сильному периферийному польскому влиянию, ср. и польскую фонетическую черту *u* > *e* в *Pogesani*.

Парадокс славянской словообразовательной модели на *-ěninъ*, *-janinъ* состоит в ее возрастающей продуктивности, точнее сказать, в том, что эта древняя модель словопроизводства с доказанным индоевропейским происхождением представлена почти исключительно славянскими новообразованиями, среди которых ни одно не имеет соответствий за пределами славянского. Их состав по-прежнему заслуживает внимательного изучения по той причине, что кажется все еще недостаточно исследованным. Наибольшим вниманием традиционно пользуются производные на *-ěne*, *-jane* этнонимов, племенных названий, названий жителей. Более полная инвентаризация производных и рассмотрение производящих основ и семантики приводит к уточнениям и в этой области. Что касается древнерусского материала, он представлен в удобной форме в известном обратном словаре к «Материалам» И. И. Срезневского, который имеет смысл привести здесь почти целиком: *гражданинъ*, *гражанинъ*, *посажанинъ*, *побережанинъ*, *слобожанинъ*, *горожанинъ*, *тържанинъ*, *бѣжанинъ*, *люжанинъ*, *кличанинъ*, *уличанинъ*, *пълчанинъ*, *коньчанинъ*, *волочанинъ*, *слободьчанинъ*, *вълъчанинъ*, *ловьчанинъ*, *городьчанинъ*, *сельчанинъ*, *дворьчанинъ*, *межурѣчанинъ*, *крилошанинъ*, *клирошанинъ*, *посошанинъ*, *городищанинъ*, *огнищанинъ*, *мѣщанинъ*, *словѣнинъ*, *граженинъ*, *землꙗнинъ*, *дворꙗнинъ*, *скитѣнинъ*, *сѣмиꙗнинъ*, *островлꙗнинъ*, *бѣглꙗнинъ*, *поселꙗнинъ*, *бѣжлꙗнинъ*, *мирꙗнинъ*, *морꙗнинъ*, *вьсꙗнинъ*, *селѧнинъ*, *украинѧнинъ*, *пирѧнинъ*, *соборѧнинъ*; *бережане*, *мукобрꙗне*, *поморꙗне*.

Кроме названий жителей и племенных названий с этим формантом (*горожанинъ*, *посажанинъ*, *слобожанинъ*, *уличанинъ*, *коньчанинъ*, *сельчанинъ*, *межурѣчанинъ*, *селѧнинъ*, *словѣнинъ*, *бережане*, *поморꙗне* и др.), которых, действительно, много и всегда было много, по данным письменности, в

приведенном выше списке могут быть указаны также примеры отличной функции и семантики: *бѣглıанинъ* 'беглец' (Изъ иных волостей много бѣглянъ вбѣжаша въ городъ. Соф. I л. 6894 г. — Срезневский I, 213; СлРЯ XI—XVII вв. I, 86); *бѣжанинъ* 'беглец' — Срезневский I, 216; СлРЯ XI—XVII вв. I, 90: 'беженец'. 1382 г.: А въ градѣ въ Москвѣ тогда затворилъся князь Остѣи, внукъ Олгѣрдовъ, съ множествомъ народа, съ тѣми елико осталося гражанъ и елико бѣжанъ съ волостей збѣжалося. Рог. лет., 144); *кличанинъ* 'пугающий на охоте зверей криком или шумом' (В се же лѣто бы҃с Всеволоду ловы дѣющю звѣрины за Вышегородомъ, заметавшимъ тенета и кличаномъ кликнувшимъ, спаде превеликъ змии ѿ нбсе. Пов. вр. л. 6599 г. — Срезневский I, 1222); *ловьчанинъ* (Потомъ волостели мои не въѣзжають, ни чяшници мои, ни ключници, ни поѣздове, ни ямникъ, ни боровникъ; а ловчане мои въ Тишь не въѣзжають. Жал. гр. в. к. Ряз. Ол. Ив. д. 1402 г. — Срезневский II, 40); *люжанинъ* 'мирянин' (Ефр. крм. Апл. 24; Уст. крм.: простъ людинъ. — Срезневский II, 95); *пиранинъ* 'участник пира' (Егда алчьни бѫдѫть пиране, съ многою сластью ѧдать. Златоструй 48. — Срезневский II, 934)[27]; *пълчанинъ*, *полчанинъ* 'воин' (Благовѣрныи царь... со всѣми своими государевыми полчаны поиде... Пов. о прих. ц. Ив. Вас. в Новг. 7078 г. — Срезневский II, 1752)[28]; *сѣмиıанинъ* 'домочадец, слуга' (Ни азъ, ни семьянинъ мои, ни дѣтищь мои, ни коуря мое. Прол. XV в. — Срезневский III, 893); *тържанинъ*, *торжанинъ* 'торговец' (Блаженъ чл҃вкъ, иже купуєть мл҃ти даже ся не разидуть торжане (πρὶν λυθῇ ἡ πανήγυρις). Ефр. Сир. XIV в. — Срезневский III, 1055).

Эти примеры содержат указание не на территориальное происхождение или принадлежность к месту, а на связь с сословием (*люжанинъ*), группой людей (*сѣмиıанинъ*), предприятием (*пиранинъ*, *тържанинъ*), занятием (*ловьчанинъ*), характерным действием (*бѣглıанинъ*, *бѣжанинъ*, *кличанинъ*). Последние замечательны своей четкой соотнесенностью с глаголами, ср. контексты: елико бѣжанъ... збѣжалося; кличаномъ кликнувшимъ (выше). Продемонстрированная широкая мотивация имен на *-ěninъ*, *-janinъ* подтверждает возможность пересмотра и даже окончательного решения проблемы некоторых производных с этим суффиксом, традиционно толкуемых от местных и водных названий. Это касается названия славянских племен и народов — **slověne*, **slověninъ*. Прежде всего из предыдущей части нашей работы довольно ясно следует, что тождество **slověne* — лит. *Šlavė̃nai* (Отрембский) не

[27] Здесь следует обратить внимание на южнославянское местное название *Пиране*, ст.-серб. *Пираны* (XIV в.), которое Заимов толкует от названия пырея (*И. Заимов.* Указ. соч. С. 159).

[28] Ср. сюда сербохорв. *pučanin* 'civis' : *puk* 'populus', уже приведенное выше, по Миклошичу.

может быть сохранено. Думается, что такая же судьба ожидает концепцию, согласно которой **Slověne* образовано от названия реки **Slova*[29].

На основании рассмотренных аналогий отглагольных др.-рус. *бѣжанинъ*, *кличанинъ* наиболее перспективной сейчас представляется этимология Якобсона[30], только в усиленном глагольном варианте — не от имени **slovo* (основа **sloves-*!), а от глагола **slovǫ*, **sluti* '(понятно) говорить' ~ (мед.) 'быть громко окликаемым', ср. др.-рус., рус.-цслав. *слꙋти*, *словꙋ* 'считаться', 'называться', 'славиться'. Можно предположить, что базой для такого наименования послужила figura etymologica типа **словѣномъ словущимъ* 'так как славяне ясно говорят' или — медиальный вариант— 'поскольку славяне (так) кличутся'. В общем эта этимология приобретает новых сторонников в современной литературе, а также дополнительную аргументацию. Как нередко бывает, вновь обретают вероятие сближения и объяснения, казалось бы, навсегда отвергнутые наукой. Так, изложенная отглагольная этимология имени **slověne* < **slovǫ*, **sluti* неизбежно включает в круг родственных форм **slava* 'слава; устная, громкая молва'. Автор этих строк обращал уже внимание на близость **slověne* и Σταυανοί, названия народа между галиндами-судинами и аланами (Ptol. Geogr. III, V, 9), причем последнее читается как индоиран. **stavana-* 'хвалимый' и заодно — как перевод-калька славянского **slověne*[31].

---

[29] См. *Фасмер* III. С. 664—665 (с литературой); *K. Moszyński.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957. S. 138 и след. В последнее время ср. еще: *O. Kronsteiner.* Sind die *slověne* «die Redenden» und die *němьci* «die Stummen»? Zwei neue Etymologien zum Namen der Slaven und der Deutschen // Sprache und Name in Österreich. Festschrift für W. Steinhauser zum 95. Geburtstag. Wien, 1980. S. 339 и след. Автор возвращается к той точке зрения, что имя *славяне* — от гидронимов *Славута*, *Славка* и др. на *Слав-*; при этом «говорящими» оказываются не славяне, а реки. Это последнее новшество интерпретации, а также отнесение сюда же названия птицы — *соловей* (праслав. **solvьjь*!), что маловероятно фонетически, едва ли может быть принято.

[30] *R. Jakobson.* Marginalia to Vasmer's Russian Etymological Dictionary (Р—Я) // International Journal of Slavic linguistics and poetics. 1959, 1/2. P. 271; здесь впервые обращается внимание на аналогию *словѣне* — *кличане* и на оппозицию *словѣне* — *нѣмци*.

[31] *О. Н. Трубачев.* «Старая Скифия» (Ἀρχαίη Σκυθίη) Геродота (IV, 99) и славяне. Лингвистический аспект // ВЯ. 1979, № 4. С. 41—42. Близкое понимание **slověne* — **slovo*, правда, без признания отглагольности **slověne*, но с верным отрицанием его генезиса из nomen originis (название от географического объекта), уже выдвигалось в литературе, см. подробнее *Трубачев О. Н.* Там же. Однако прочие допущения цитируемого там автора излишни или ошибочны в свете нашего анализа. Так, теперь мы знаем, что суффикс *-ěninъ* образует не только производные от географических объектов (см. выше), поэтому (а также по другим соображениям развития форм, выше) излишне предположение здесь особого суффикса *-ěno-s*, якобы типа *bratěnъ*, *sestrěnъ*.

Славянами достаточно рано называлась не только вся совокупность родственных славянских племен (или бóльшая их часть, если сделать реальное допущение о вторичной славянизации некоторых инородных этносов), славянами назывались и отдельные, в том числе небольшие, племена и народности, поэтому тезис об этнониме **slověne* как самоназвании, автоэтнониме остается непоколебленным.

Первые упоминания имени **slověne* надо датировать не VI, а II в. н. э. Сюда относится уже называвшееся Σταυανοί, прошедшее индоиранскую языковую адаптацию, сюда же принадлежит и название народа Σουοβηνοί в общем вполне сносно и более непосредственно отражающее слав. **slověne*, хотя и относимое в описании Птолемея слишком далеко на восток. Разумеется, упоминание, письменная фиксация не однозначно с появлением, образованием имени, которое произошло, вероятно, значительно раньше. Важно лишь отметить факт существования этнонима **slověne* и функционирования суффиксальной модели на *-ěninъ*, *-ěne* уже во II в. н. э. Интересно, однако, отметить, что и это древнейшее абсолютно датируемое славянское производное с суфф. *-ěninъ* не имеет соответствий за пределами славянских языков, в принципе не отличаясь в этом от всех практически остальных производных этой словообразовательной модели. Кроме одного. Дело в том, что в плане относительной хронологии **slověne* оказывается не самым древним образованием на *-ěninъ*, *-ěne*. Индоевропейские связи, свидетельствующие о более отдаленной глубине и древности образования, обнаруживаются у праслав. **sedľaninъ*, **sedľane*. Так мы реконструируем праславянскую форму для ст.-слав. **селꙗнинъ** γεωργός, agricola (Supr., Miklosich Lexicon 837), болг. *сéлянин* 'крестьянин', сербохорв. *сељанин* 'деревенский житель' (Караджић), словен. *selján* 'деревенский житель, крестьянин', др.-рус. *селянинъ* 'житель, сельский житель, земледелец' (Срезневский III, 331), рус. *селянúн*, укр. *селянúн* 'поселянин, крестьянин', блр. *селянíн* 'крестьянин'. Только отсутствием прямых западнославянских соответствий можно оправдать реконструкцию **selěninъ*, **seľaninъ*, которая оказывается неверной, как только мы обратим внимание на звуковой состав родственных западнославянских форм, которые вторично вытеснили форму **sedľaninъ*: чеш. *sedlák* 'крестьянин', словац. *sedliak*, польск. *siodłak* то же. В основе лежит слово, которое можно идентифицировать как праслав. **sedlo* (отличное от **sedъlo* 'седло'), которое Махек определяет как 'земледельческое хозяйство с домом', откуда ст.-слав. **село**, рус. *село* и др., и на базе которого было образовано старое производное с суфф. *-jan-*[32].

Мы знаем, что реконструировать следует **slověnь* с наложением сингулятивного *-inъ*, иначе необъяснима консонантность основы и ее замена.

[32] Machek². S. 539.

В дальнейшей реконструкции мы расходимся с Махеком, поскольку производим это праслав. **sedlo* от и.-е. **sedlom*, родственного лат. *sella* 'сидение' < **sedlā*.

Праслав. **sedl'an*(*inъ*) представляет собой типично славянское производное **sedl-ěn-* (дополнительная мягкость *l'* и связанное с ней изменение в **sedl'an-* вызваны, скорее всего, вторичным морфологическим воспроизводством в условиях прозрачности целого), замечательное, однако, тем, что у него есть индоевропейское соответствие, или параллель, на которую мне приходилось указывать и ранее[33]: греч. Ἕλλην, мн. Ἕλληνες, самоназвание греков, первоначально — название одного племени в Фессалии. Греческий этноним, нередко признаваемый этимологически неясным, был поставлен Георгиевым в этимологическую связь с Ἕλλα, названием храма Зевса в Додоне, из и.-е. **sedlā*, ср. лат. *sella* 'сидение, стул'[34].

История имени Ἕλληνες была сложной. Эту форму принято считать ионической, поскольку указывают дорическое Ἕλλᾱνες. Однако убедительность родства Ἕλληνες и Ἕλλα и — далее — наличие апеллативного ἕλλα 'сиденье' в лаконском (ἕλλα· καθέδρα. Λάκωνες. Hesych.) вызывает вероятие «доризма» Ἕλληνες и этимологического, не «ионического» η < **ē* в нем. К этому следует добавить отмеченное в той же Додоне название Σέλλοί (вар. Ἑλλοί), с которым тоже уже сближали Ἕλληνες[35], и соответствие сохраненного и.-е. *s* регулярному греческому spiritus asper, что, в свою очередь, возводимо к особому этническому компоненту в греческом, лишь впоследствии подвергнутому «ионизации». Дорический, в частности лаконский на Пелопоннесе, определенно связан с палеобалканскими индоевропейскими языками. И.-е. **sedl-ēn-*, которое можно реконструировать для Ἕλληνες, оказывается догреческим в описанном выше смысле (для неиндоевропейского происхождения нет данных). Следы ведут к фракийскому, поскольку производные на *-ěn-* : *-ian-* были характерны больше всего для фракийской этнонимии: Γετηνοί, Βεσσοπαρηνοι, Καρπιανοί, *Moriseni*, *Petoporiani*. Значит, по-видимому, можно заключить о существовании догреческо-(дорийско-, палеобалканско-, фракийско-)славянской словообразовательно-лексической параллели или изоглоссы *sedlḗne-s* → Ἕλληνες, **sedl'ane*. Полезно отметить соответствие консонантного характера основ греческого и славянского слов и общий рисунок фонетики и словообразования.

[33] См.: Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963. С. 77.

[34] *V. Georgiev.* La toponymie ancienne de la péninsule balkanique et la thèse méditerranéenne // LB. 1961. III. Fasc. 1. P. 18 (без славянского соответствия).

[35] Frisk I. S. 498—499; Chantraine 1—2. P. 340—341.

Очевидно, мы можем считать праслав. **sedl'aninъ* древнейшим производным этой модели. Разрыв во времени образования между ним и прочими на *-ěninъ* (выше) мог быть значительным, но, во-первых, словообразовательная модель, представленная одним словом, вполне возможна [36], а во-вторых, если это слово было столь емко семантически и социально необходимо для развивающегося славянства как **sedl'aninъ*, **селıанинъ**, *селянин*, соответствующая модель имела все шансы на длительную продуктивность в будущем.

[36] Ср.: *V. Urbutis*. Žodžių darybos teorija. Vilnius, 1978. S. 139: о ситуации в словообразовании, когда корень употребляется и как самостоятельная основа, а аффикс уникален.

ЗАМЕТКИ ПО СЛАВЯНСКОЙ ОНОМАСТИКЕ

Работая уже довольно долгое время не в сфере чистой ономастики, а в направлении этимологии и ономастики, я на собственном опыте научился ценить несравненную важность лексических данных ономастики, потому что ономастика — это тоже лексика. Правда, это лексика без лексического значения, но зато это лексика в истории. Некоторые факты лексической истории языка мы знаем только благодаря ономастике. Самостоятельное значение этих свидетельств ономастики по сравнению с историей апеллативной лексики языка делается все более очевидным. Обращает на себя внимание (и мы еще займемся этим ниже), что бесспорно славянский пласт старой восточнославянской гидронимии производит впечатление «не совсем восточнославянского» (не на все 100%). Это, можно сказать, универсально славянская черта старого гидронимикона. И в болгаро-македонской гидронимии мы находим ряд бесспорно славянских, но не свойственных для болгаро-македонской апеллативной лексики, элементов (ср. *I. Duridanov*. Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle. Köln; Wien, 1975. S. 319—320: об отражении исчезнувших соответствий ст.-слав. **аштеръ**, праслав. **boxъ*, ст.-слав. **брьна**, праслав. **bystrъ*, **čьrxъ*, ст.-слав. **чрьмьнъ**, ***драга**, *дрęзга*, **дрьзъ**, праслав. **glazъ*, ст.-слав. ***храпа**, праслав. **klopotъ*, **kykъ*, **kys-*, **lazъ*, **lǫkavъ*, **lǫkъ*, **makrъ*, праслав. **matica*, ст.-слав. ***метлоуха**, праслав. **močar-*, ст.-слав. ***пласа**, праслав. **pьlžь*, **poniky/ъve*, ст.-слав. ***раздолъ**, **pęca*, прасл. **ropotъ*, **ruka* ‘ручей’, **sěrъ*, ст.-слав. **слатина**, праслав. **slopъ(a)*, **sopotъ*, **sǫtoka*, **strъžьnъ*, ст.-слав. ***състанъкъ**, праслав. **sъstavъ*, **sъtъka*, **suja*, **svibъ*, **svidъ*, ст.-слав. ***сыгавъ**, праслав. **tъrta*, ст.-слав. **тоуръ**, праслав. **ujinъ*, ст.-слав. ***вранъ**, ***врѣло**, праслав. **žvęgъ*, **žely/-ъve*, **žuželъ*). Точно так же, например, в гидронимии Савы находятся следы славянских лексем, которые неизвестны в местной живой апеллативной лексике, ср. Prekopa, Timenica,

(*E. Dickenmann.* Studien zur Hydronymie des Savesystems. Bd. I. Budapest, 1939. S. 31; Bd. II. Heidelberg, 1966. S. 208). Это говорит о такой известной нам ценимой особенности ономастики (прежде всего — гидронимии) как ее архаичность. При этом южнославянские гидронимы могут обнаруживать соответствия не в южнославянской, а в западнославянской или в восточнославянской апеллативной лексике, и, наоборот, восточнославянские гидронимы в ряде случаев обнаруживают свои прототипы только за границами восточнославянского — в западнославянской или южнославянской апеллативной лексике, как мы это увидим ниже на примере украинских гидронимов. Ясно, что в эпоху формирования этих гидронимов с о с т а в л е к с и к и соответствующих диалектов — южнославянских, восточнославянских, западнославянских — был другим, нежели теперь.

Разумеется, основу славянской гидронимии всех стран образует единый фонд славянских лексических основ и словообразовательных моделей, благодаря которому эту гидронимию всюду можно признать славянской. Это, в первую очередь, водные термины, хотя и не только одни они. Понятно, что даже в совокупном славянском гидронимиконе ангажирована, так сказать, не более как часть всего славянского лексического апеллативного состава. По своей семантике и сфере употребления многие апеллативы просто не требовались для обозначения водных объектов. Но при этом полезно допустить и возможность обратного: некоторые слова с самого начала были созданы только для нужд ономастики, специально — гидронимии, и для них в таком случае не действителен тезис об апеллативном прошлом всякого гидронима. Иногда такие генуинные гидронимы бывают распространены достаточно широко, без видимых диалектных рубежей, что, хотя бы частично, наделяет славянскую гидронимию чертами наддиалекта. Так, для вост.-слав. *Морица*, зап.-слав. (реликтовое) *Müritz*, чеш.-морав. *Mořice*, польск. *Morzyca*, *Morzyce* (обзор форм см. *J. Udolph.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979. S. 216) мне лично неизвестен апеллатив **morica*. Вполне возможно, что с самого начала существовала только онома **Morica*, довольно архаичная в словообразовательном отношении: производное на *-ica*, или, вернее, *-ca* от нерасширенной основы **mori* (в славянских языках широко представлено расширение на *-o* **mor'e* < **mori̯o-*). Было бы интересно предпринять специальное исследование в целях выявления по ономастическим (гидронимическим) данным элементов славянского наддиалекта, существование которого предполагается, например, с другой стороны, у истоков высокого (ритуального, эпического) стиля славянской речи или того, что принято еще называть литературным языком, где находят место и применение обороты и словообразовательные модели, плохо прослеживаемые в территориальных народных

диалектах. Вопрос об ономастическом (гидронимическом) аспекте такого наддиалекта не случаен. Говоря так, мы имеем в виду возможность пересмотра статуса так называемой «alteuropäische Hydronymie» Г. Краэ. По мысли этого ученого, древнеевропейская гидронимия была додиалектна (voreinzelsprachlich) для ряда индоевропейских языков Европы. Будем ли мы правы, если во всех случаях станем так архаизировать эти европейские гидронимические образования без четких диалектных признаков? Понятие наддиалектной (übereinzelsprachlich) гидронимии кажется и в этом случае более емким и перспективным методологически и ареально (компактность зоны древнеевропейской гидронимии лучше объясняется ее наддиалектным статусом, а не преддиалектным происхождением, в противном случае ожидалось бы больше вторичных территориальных лакун, разрывов, и проявилось бы действие лингвогеографической антитезы «архаичная периферия» — «прогрессивный, инновационный центр», чего не наблюдаем).

Возвращаясь к славянскому, мы заключаем, таким образом, что славянская ономастика, в том числе гидронимия, складывается из общего апеллативного фонда, наддиалектных генуинных оном (изначальных гидронимов), а также значительного количества лексических диалектизмов. Состав и взаимоотношения последних весьма интересны и постоянно привлекают наше внимание при работе над реконструкцией праславянского лексического фонда. Углубленному изучению в этой области помогают такие капитальные труды, как двухтомный словарь Франце Безлая «Slovenska vodna imena» (I—II. Ljubljana, 1956; 1961). Со времени выхода этой книги в свет прошло уже около 20 лет, но важность и полезность ее сведений по истории, диалектологии и этимологии словенской гидронимии приобретает для нас все большую очевидность, особенно благодаря тому отрадному факту, что гидронимия разных славянских стран постепенно — хотя и медленно — кодифицируется. Опубликован ряд гидронимических словарей Польши, совсем недавно издан весьма фундаментальный Словарь гидронимов Украины. С каждой новой публикацией такого рода мы вновь возвращаемся к почтенному уже упомянутому труду Безлая, получая драгоценную возможность сравнения, а нередко и разъяснения загадок и проблем науки. Например, сводка материалов о гидрониме *Wierzyca*, левый приток Нижней Вислы, стар. *Verissa* (1192 г.), явно венетском (северноиллирийском) названии с характерным суффиксом *-issa* (см. *E. Rzetelska-Feleszko*, *J. Duma*. Nazwy rzeczne Pomorza między dolną Wisłą a dolną Odrą. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1977. S. 133—134), позволяет увидеть также иллирийское происхождение словенского названия реки *Versa*, приток Юдрии (ср. *F. Bezlaj*. Slovenska vodna imena. II. S. 295, где иначе). Не менее интересно читать новый «Словник гідронімів України» (коллектив авторов под ред. К. К. Целуйко. Київ, 1979), имея в руках «Slovenska

vodna imena» Безлая. Возможность взаимного прояснения наблюдается при этом, например, при сравнении *Čajna*, приток Зили в Каринтии (Bezlaj I, S. 109), и *Поча́йна*, приток Днепра в Киеве (Словник гідронімів України. С. 445). Словенский и восточнославянский гидронимы, очевидно, этимологически родственны, и эта констатация помогает существенному прояснению их обоих. Почайна — незначительная по протяженности, но знаменитая в истории Древней Руси река. В Почайне совершился основной акт крещения Руси: ...**и снидесѧ весь народъ мужи и жены на почаину рѣку. і младеньци**... (Прилуцк. прол. XIV—XV вв. Т. 2, 190 в. — Картотека СДР, ИРЯ АН СССР, Москва). Древняя Почайна отличалась, видимо, удобным и достаточно просторным устьем, о чем свидетельствуют летописные известия еще до крещения Руси, например эпизод 955 г.: **Ѿвѣщавши же ѡлга реч къ посолм. аще ты рци тако* постоиши оу мене в Почаинѣ. яко* азъ в Суду то тогда ти вдамъ. и Ѿпусти слы си рекши** (Ипатьевская летопись Л. 25). Ироническая отповедь мудрой княгини Ольги императорским послам с предложением п о д о ж д а т ь (**постоиши**) в Почайне, как заставили в свое время и ее выжидать в гавани Константинополя, проливает свет на весь исторический фон, обусловивший образование названия. Река Почайна получила название по своему замечательному устью, где суда могли останавливаться и пережидать (а также и поджидать в укромной засаде), ср. др.-рус. *почаяти* 'ожидать' (*Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка II. Стб. 1324). Хотя лексема 'ожидание, ожидать' едва ли относится к частым в гидронимии, тем не менее обозначение реки или ее устья по месту, удобному для ожидания, укромного поджидания, месту незаметному, потаенному вполне возможно. В свете сказанного словен. *Čajna* восходит к **čajьna* или *(*ne*)*čajьna*, производному от того же глагола, ср. словен. *čájati* 'ждать' (иначе см. Bezlaj, там же). Ср. гидроним *Očajno* в бассейне Савы (*E. Dickenmann*. Studien zur Hydronymie des Savesystems. II. S. 55). Семантически изначально смежным оказывается и словенский гидроним *Tajna* с исходной апеллативной семантикой 'укромная, потаенная' (ср. *Bezlaj*. Slovenska vodna imena. II. S. 253: «Nejasno ime»).

Богатейшим и до сих пор еще не использованным с должной систематичностью резервом сохранения и выявления древней славянской лексики может служить украинская гидронимия, территория распространения которой в известной степени совпадает с древнейшей установимой территорией обитания славян, методологически менее точно именуемой также традиционно «прародиной славян», что отражает наивную иллюзию, будто «рождение славян» — это единый акт с единым местом действия. Здесь мы не будем касаться этого не нового, но по-прежнему актуального вопроса, предполагая специально высказаться по этому поводу в другом месте. Этому посвящена

большая монография молодого западногерманского слависта Ю. Удольфа, уже упомянутая бегло выше, — книга, свидетельствующая об огромном трудолюбии автора, интересная по материалу и ряду сопоставлений, карт и т. п., но уязвимая со стороны методологии и далеко идущих выводов. Сама исходная идея автора, что прародина славян обязательно представляет собой пространство с наиболее «чистой» славянской гидронимией, где больше всего гидронимов от исконно славянских «Wasserwörter» (**rěka*, **potokъ*, **jьzvorъ* и т. п.), — идея ненадежная и наивная. Исследователи гидронимии зон колонизации, например Балканского полуострова, отмечают широкое обращение к этим гидрографическим апеллативам как к способу обозначения «безымянных» или прежде незнакомых рек, вод также в зоне экспансии, что сильно обесценивает этот тезис Ю. Удольфа. Не существует стерильно чистых или однородных территорий ни в этническом, ни в гидронимическом отношении. Заметим, что это не снимает с повестки дня задачу исследования древнейшей территории славян, но делает ее более сложной.

Новый Словарь гидронимов Украины своим богатым материалом очень помогает более глубокому изучению украинской гидронимии как при исследовании праславянской территории, так и при реконструкции возможных утрат в словарном составе. Для выяснения последнего важного вопроса была предпринята проверка в картотеках «Этимологического словаря славянских языков» с целью определить наличие апеллативных восточнославянских соответствий тем украинским гидронимам (по данным Словаря гидронимов Украины), которые, очевидно, восходят к древним исконно славянским апеллативам ограниченного (диалектного) распространения. Результаты произведенной проверки могут представить интерес и поэтому сообщаются ниже.

Бéзуд, река на правобережье Припяти (Словник гідронімів України. С. 38). Очевидно, продолжает древнее прилагательное **bezudъ* 'увечный', не сохранившееся, насколько нам известно, вообще ни в одном славянском языке; существует лишь производное сербохорв. *bèzudan*, словен. *brezúden*, чеш. *bezúdný*, рус. книжн. *безýдный* в том же значении (последнее см. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 2. С. 48).

Корнорíг, *-рóгу*, река в бассейне Тетерева, ст.-укр. *Корнорогъ*, 1584 г. (Словник. С. 272); соответствия в лексике русского, украинского, белорусского языков и диалектов нам неизвестны. Тем не менее, этот украинский гидроним отражает праславянское лексическое сложение **kъrnorogъ*, прил. 'с обломанным рогом', засвидетельствованное апеллативно в сербохорв. *крњорог* 'mutilus cornu' (в словаре Вука Караджича), а также макед. *крнорог* то же.

Міхúдра, река в бассейне Серета (Словник. С. 366). Гидроним четко сохраняет праславянское нарицательное слово **měxydьra* 'дерущая, рвущая ме-

хи'. Любопытно отсутствие соответствий в известной нам лексике восточнославянских языков.

Мóкра(я) Бóбрадь, название реки в низовьях Сулы, Полтавская область (Словник. С. 369), содержит производное от названия бобра с суффиксом *-адь*, неизвестное нам из лексики славянских языков.

Молокúш, левый приток Днестра (Словник. С. 373), может быть продолжением праславянской лексемы **molkyšь*, предположительно обозначавшей топь, болото. Примеры из лексики нам неизвестны, не знает их для производного на *-yšь* и Ю. Удольф, специально исследовавший гнездо праслав. **molka* 'топь, топкий, сырой луг' в гидронимии (см. *J. Udolph.* Op. cit. S. 211).

Мóриця, Морица, гидроним в Путивльском районе Сумской области (Словник. С. 374), допускает реконструкцию праславянского **Morica*, характеристику которого см. выше.

Обитíк, род. п. *-óку*, гидроним в бассейне Самары, а также производные *Обитíчка, Обитíчна* — все на левобережье Днепра (Словник. С. 392—393), восходят к праславянской диалектной лексеме **obitokъ*, ср. блр. диал. (зап.-полесск.) *обыток* 'речной остров' (последнее цит. по: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. I. Мінск, 1978. С. 4).

Піщадь, река бассейна Тисы (Словник. С. 426). Название отражает апеллативное **pěsъčadь*, однако без соответствия в известной нам лексике восточнославянских языков и диалектов.

Стýбла, Стубель, приток Горыни; *Стýбло*, приток Стыри, а также яр в бассейне Северского Донца (Словник. С. 535), с апеллативными соответствиями практически только в южнославянском, ср. др.-серб. *стубль* 'puteus' (Даничич), словен. *stúblo* 'труба из ствола дерева', болг. *стýбел* 'выдолбленный ствол дерева, приставленный к устью источника для стока воды' (см. подробнее *О. Н. Трубачев.* Названия рек Правобережной Украины. М., 1968. С. 137; *J. Udolph.* Op. cit. S. 524).

Тóлотий, название яра в бассейне Северского Донца, Харьковская область (Словник. С. 568). Это название заслуживает пристального внимания как примечательный архаизм. Нам представляется возможным реконструировать на его базе праслав. **teltъ*, по-видимому, связанное с лит. *tìltas* 'мост'. До сих пор, кстати сказать, славянское соответствие этому балтийскому слову не было известно (я не говорю о формально более далеком **tъlo*, рус. *тло*). Украинский гидроним *Толотий* имеет все приметы правильного славянского страдательного причастия прошедшего времени на *-to-*, ср. рус. *мóлотый* : *молóть* < праслав. **meltъ* : **melti*. Характер аналогичного причастия обнаруживает и упомянутое лит. *tìltas* 'мост'. Сходство между укр. *Толотий* и лит. *tìltas* идет дальше, поскольку оба отглагольны и оба, заметим, лишены исходных глаголов, которые имели бы вид: укр. **толоти*, праслав. **telti*, лит.

**telti*. Праславянская лексико-морфологическая база восстанавливается для гидронима *Толотий* довольно надежно, парадигматически, но факт остается фактом: в известной нам лексике славянских языков соответствующий апеллатив не засвидетельствован. Однако создавшаяся изоляция имени *Толотий* в славянской апеллативной лексике вторична, и у нас нет права видеть здесь, скажем, проникновение из балтийского. Об этом говорят существенные различия в употреблении: балтийское слово было рано субстантивировано, ср. его древнее проникновение в фин. *silta* в том же именном значении 'мост', тогда как форма *Толотий*, по сути дела, — местоименное прилагательное (на базе причастия, см. выше); ничего подобного балтийский не обнаруживает. Семантика 'мостовой', или 'мощеный' восстанавливается для названия *Толотий* с достаточным вероятием. Семантическими аналогиями могут служить такие украинские гидронимы, как *Містки́*, *Місто́к*, собственно 'Мостки, Мосток', *Мосте́ць*.

Закончить по достоинству наш перечень украинских гидронимов, перспективных для реконструкции утерянных или слабо представленных славянских лексем, можно названием *Усоріг*, *Усоро́г*, река в Черниговской области (Словник. С. 581). Мы восстанавливаем с его помощью алеллативное праславянское **ǫsorogъ*, прилагательное архаического вида (чистая безаффиксная основа) с приблизительным значением *'усорогий'. В доступных восточнославянских лексических материалах такой апеллатив неизвестен. Ср. выше *Корноріг*.

KOBYLA — *CABALLUS* — ΚΑΒΆΛΛΗΣ

Праслав. **kobyla* — слово, не имеющее славянской этимологии и лишенное близких, родственных форм более простой структуры в славянских языках (ст.-польск. *koba* 'кобыла', Sł. stpol. III, 306, представляет собой вторичное местное сокращение от **kobyła*). Отсутствуют вообще сколько-нибудь существенные варианты формы, так как все локальные видоизменения вроде *kobula*, *kobola* (словац. диал.), синкопы (в.-луж. *kobła*) восходят, как и все вообще формы в славянских языках к праслав. **kobyla* с ударением на среднем слоге, ср. рус. *кобы́ла*, сербохорв. диал. (чак.) *kobȉla*. Праслав. **kobyla* происходит из **kabūlā*, совершенно изолированного в славянском словарном составе. Сложность этимологии (и древнейшей истории) слова **kobyla* состоит как раз в том, что усилиями этимологов разных поколений всячески упрочивался миф об исконном славянском и индоевропейском родстве слова **kobyla* то со словами **konь*, **komonь*, то даже с и.-е. **eḱu̯os*. Чистейшей конструкцией ad hoc является, например, восстановление на базе **koby-la* основы на *-n* **koby* < **kobō(n)* и сближение с **konь*, которое якобы из **kones* < **komnes* < **kobnes*, первоначально родительный падеж единственного числа к **kobō(n)*, сюда же **komonь* из **kobonm̥*, первоначально винительный падеж единственного числа (см. *M. Vasmer*. ZfslPh. IX. 1932. S. 141; Фасмер II, 269, там же предыдущая литература). Следует иметь в виду, что лат. *cabō*, *-ōnis* и *cabōnus* 'caballus (magnus)' (в глоссах) — краткая форма от *caballus* (Walde—Hofmann I, 125; *V. Pisani* // Paideia. XXI, 3. 1966. S. 171: «vox nihili»), во всяком случае не *caballus* образовано от *cabōnem*, и это весьма существенно, потому что форму лат. *cabō* нередко используют как раз в обратном смысле — как родственную параллель для постулируемого **kobō(n)* + *-la* > слав. **kobyla* (Фасмер, выше). Еще менее уместно говорить о славянском слове как «инфильтрации италийского **kabō-la* (ср. лат. *cabō*, *-ōnis* 'лошадь')» (см. *Мартынов*.

Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия // VIII МСС. Доклады. Минск, 1978. С. 24). Разумеется, не может рассчитывать на убедительность теория родства слав. **kobyla* и и.-е. **ek̂u̯o-* 'лошадь', которое якобы в состоянии II, по Бенвенисту — **Hkow-*, расширено суфф. *-ūl-*, а потом из **kowūlā* получено слав. **kobyla* (*Š. Ondruš* // Actes du X[e] Congrès International des linguistes. IV. Bucarest, 1970. S. 655). Иногда связывают со слав. **kobyla* еще лит. *kumēlė* 'кобыла', но здесь основным словом (и значением) является лит. *kumelỹs* 'жеребенок' с веским этимологическим соответствием в др.-инд. *kumārá-* (*ku-māra-*) 'младенец, новорожденный, мальчик, юноша, сын' (см., вслед за Шарпантье, Fraenkel I, 309), что делает невозможным сближение с **kobyla*. Этимологические идентификации лат. *caballus* и слав. **kobyla* как исконно родственных форм представляются ничем иным, как отчаянными попытками, например толкование лат. *caballus* как североитальянской, лигурийской формы из **cab-n̥-los* с последующим отождествлением со слав. **kobyla*, см. *P. Skok* // ZfslPh. VIII. 1931. S. 408—409 («*kobyla* = ligur. *caballa* wäre eine slav.-ligur.-kelt. Wortparalellele»); ср. *Skok*. Etim. rjecn. II. S. 143, где указывается на связь слов **konь* и **kobyla* с доиндоевропейским субстратом. Однако об исконном характере слова в кельтском (галльск. *Caballos*, личное имя собственное) говорить не приходится, как, впрочем, и в латинском; в свое время Мейе видел в наличии согласного *b* и выразительного вокализма *a* признаки заимствованного, даже неиндоевропейского происхождения. (См. *A. Meillet* // BSL. 27, 2, 1927. S. 130; Ernout—Meillet I[3], 143). Кельтская и латинская формы сами заимствованы, и их фонетические особенности, указанные выше, объединяют их с греч. καβάλλης· ἐργάτης ἵππος, глоссой Гесихия, в свою очередь, свидетельствующей, что и для греческого языка это слово было, скорее, чужим (Walde—Hofmann: «Ein altes Wanderwort»; Frisk I, 749: «ein asiatisches Wanderwort»). Впрочем, греческое καβάλλης оказывается на одну существенную фономорфологическую черту богаче, чем его латинское и кельтское соответствия, что как бы сигнализирует об относительно большей близости греч. формы к искомому первоисточнику и вместе с тем объединяет ее с праслав. **kobyla*: мы считаем таковой особенностью наличие у греч. καβάλλης *-ā*-основы (ср. и слав. **kobyla*, но не лат. *caballus*!), сюда же ономастическое подтверждение в греч. Καβαλλᾶς, личное имя собственное (IV в. до н. э., Эфес, см. *Chantraine*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. P. 1—2, 477).

Правда, если по исходу основы *-ā* греческое и славянское слова весьма близки друг к другу, то в вокализме корня отличие слав. **kobyla* (**kabūlā*) от греч. καβάλλης (**kăbăllā-*), как и от лат. *caballus*, весьма серьезно. Так что поскольку речь может идти о заимствовании (а другую возможность для греческого и латинского слов, как, впрочем, и для славянского, трудно сейчас

предположить), оно, похоже, осуществлялось в греческом и славянском разными путями, причем в славянском — не через посредство греческой формы. Ясно одно — греческое слово тоже изолировано этимологически в греческом словарном составе, и попытки найти для него греческую этимологию обречены на неуспех, ср., например, предложение Кноблоха объяснять καβάλλης от καταβάλλειν 'сбрасывать', откуда καβάλλης первоначально — 'строптивая лошадь, сбрасывающая седока' (*J. Knobloch*. Wörter und Sachen im nachrömischen Europa. 1. Einige Benennungen des Pferdes // Arbeiten zur Frühmittelalterforschung / Herausg. von K. Hauck. Bd. I. Wörter und Sachen im Lichte der Bezeichungsforschung. Berlin; New York, 1981. S. 44), но как объяснить тогда элементарное противоречие между этим гипотетическим значением и реальным значением слова καβάλλης — ἐργάτης ἵππος 'рабочая лошадь', т. е. лошадь с м и р н а я? В греческом словарном составе можно еще считаться с сосуществованием (и влиянием со стороны?) диал. (аттич.) κόβᾱλος 'грузчик, носильщик' (ср. точку зрения Грегуара и Кокко, см. *C. R. Sleeth*. [Рец. на кн.:] *V. Cocco*. *Caballus*: studio lessicografico ed etimologico. Coimbra, 1945 // Word. 2. 1946, № 1. P. 95—97; правда, это последнее слово, в свою очередь, является этимологически темным, см. *Chantraine*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque 1—2, 550).

Весьма самостоятельно слав. **kobyla* по отношению к лат. *caballus* и греч. καβάλλης в своей семантике и морфологической функции: латинское и греческое слова — имена мужского рода, хотя обозначают они скорее деградацию мужских качеств животного — 'рабочая лошадь', 'мерин'. В отличие от них, славянское слово, будучи именем женского рода, воплощает как бы квинтэссенцию женских качеств лошади-самки, ее плодовитость, силу. Все это — сигналы особых и далекоидущих связей слав. **kobyla*, причем, конечно, не с фин. *hepo* (род. п. *hevon*) 'лошадь', *hevonen* 'жеребец' (особенно если *h-* здесь в духе преобладающей финской фонетической эволюции восходит к шипящему). Связи слав. **kobyla* ведут на индоеропейский Юг, которым для древних славян могли быть только Балканы (с Малой Азией, как тылом и зоной экспансии балканских индоевропейцев). По-видимому, сразу придется отвести гипотезу о догреческом (пеласгийском) происхождении **kobyla* из пеласг. *καβυλλης < и.-е. **ghabheli-*, а καβάλλης, *caballus* < и.-е. **ghabhol-*, ср. др.-ирл. *gabul* 'сук с развилкой', нем. *Gabel*, др.-в.-нем. *gabala* 'вилы', откуда *caballus* первоначально будто бы 'G a b e l pferd' (?) (*A. J. Van Windekens*. Herkunft von gr. καβάλλης, lat. *caballus* usw. // KZ. 76. 1959. S. 78—80). Оставляя здесь несколько в стороне объяснение и территориальную привязку формы греческого и латинского слов (вокализм *a* — *a*), считаем иллирийский источник слав. **kobyla* недостаточно обоснованным. Нет также никаких оснований предполагать здесь скифское или сколько-нибудь ранние иранские влияния, аргументируя их таким несомненно поздним словом, как тюрк. *käväl* (*at*)

'быстроходная, породистая лошадь', перс. *kaval* 'скверная лошадь, кляча' (*A. Nehring*. Die Wortsippe von gr. καβάλλης // Die Sprache. 1. 1949. S. 164—170), хотя эта малонадежная этимология уже проникла в словари.

Ответственным за проникновение слова **kobyla* (**kabūlā*) к славянам нужно, очевидно, считать индоевропейское население восточной части Балканского полуострова — фракийцев. В этой связи уже обращалось внимание на большое сходство слав. **kobyla* и названия фракийского селения близ современного города Ямбол в Болгарии — Καβύλη (Гарпократ, Демосфен, Птолемей, эпиграфика), *Cabyle* (Евторопий, Аммиан Марцеллин), см. *Г. Х. Христов*. Тракийският град Кабиле (БЕ. XXXI. 1981. С. 132) со ссылкой на важную роль лошади в быте и культе фракийцев; там же критика толкования Καβύλη из и.-е. **gu̯ebh-* с семантикой 'болото, сырость', см. последнее: *И. Дуриданов*. Езикът на траките (София, 1976. С. 38—39). Возможно, здесь сложилось и апеллативное лексическое значение слова **kabūlā* — 'лошадь, кобыла', что особенно важно, так как это значение выступает у славян с самого начала. Его истоки идут дальше во времени и пространстве, как это видно из связей с фракийской ономастикой и ее дальнейшими связями (ниже), причем возникает вероятие первоначальной семантической сложности, явствующей из нижеследующих сопоставлений.

Здесь уместно вспомнить о названии горы Κύβελα в Фригии (Малая Азия), с которым еще в античную эпоху связывали имя фригийской богини-матери Κυβέλη — Кибелы (с культом и именем которой лишь вторично, как полагают, сблизилось имя северносирийской богини Κυβήβη, *Kubaba*). Древнефригийские эпиграфические тексты именуют Кибелу матерью (*mater-*), а также *matar kubeleya* (VI в. до н. э.), что означало, вероятно, 'Мать (горы) Кибела', ср. точный эквивалент греч. μήτηρ ὀρεία 'горная матерь', которым иногда обозначают богиню-мать. Из сопоположения однозначных фригийских и греческих выражений вытекает естественный вывод, что в названии Κύβελα скрывается фригийский апеллатив 'гора'. (См. подробно *C. Brixhe*. Le nom de Cybèle. L'antiquité avait-elle raison? // Die Sprache. XXV, 1. 1979. P. 40 и след.). Действительно, фригийское слово 'гора' может продолжать и.-е. **keubh-*, **koubh-*, **kubh-* 'возвышение, бугор, вершина' (ср. не очень прозрачный материал, собранный у: Pokorny I. S. 591). Но это еще не все. Древность не только формы **kabūlā*, но и значения 'лошадь', гипотетически доведенная выше до фракийского, может быть, по-видимому, прослежена до места, связанного с культом богини Кибелы во Фригии. Вероятно, не кто иной, как фригийская богиня-мать Кибела, носила обозначение *po-ti-ni-ja i-qe-ja* 'госпожа коней' в микенско-греческом пилосских текстов, иначе — *a-si-wi-ja* 'азийская (богиня)', ср. греч. πότνια ἵππων 'госпожа, хозяйка коней', а также четкие данные о почитании богини на лошади в Малой Азии. (См. *В. В. Ива-*

нов. Древнейшие культурные и языковые связи южнобалканского и малоазийского ареалов // Доклады и сообщения сов. делегации. III Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы (Бухарест, 4—10 сент. 1974). М., 1974. С. 5.). Приведенное выше соположение фригийск. *matar kubeleya* = μήτηρ ὀρεία 'горная матерь' может быть, таким образом, дополнено соположением *matar kubeleya* = πότνια ἵππων 'госпожа коней', 'мать коней', что позволяет обнаружить уже у фригийск. *kubela*, *kubeleya* значение 'лошадь', 'лошадиная, конская' и вовсе не означает отказа от толкования 'гора, горная'. Культ малоазийской богини-матери был связан с горой и одновременно с лошадью, что очень напоминает синкретизм значения ряда действительно древних случаев. Вместе с тем здесь нельзя не вспомнить того, что для обозначения лошади в хеттской письменности употреблялась шумерская идеограмма *ANŠU.KUR.RAMEŠ*, собственно 'горные ослы'. Возможно, что и в фригийск. *kubela*, *kubeleya* мы имеем обозначение 'лошадь' как 'горная', своеобразная малоазийская культурная калька.

Возвращаясь к слав. **kobyla*, заметим, что оно отражает непосредственно не фригийск. *kubela*, а скорее всего — фрак. **kabūlā*, родственное слово в другом родственном индоевропейском языке, контакты с которым (фракийским) были для праславян реально возможны в придунайских районах. Отношения фригийского и фракийского слов заслуживают еще изучения (ср. возможные возражения со стороны концепции «передвижения согласных» во фракийском), но они все-таки объяснимы (различная огласовка суфф. *-ula* : *-ela*; фрак. *kab-* < **kaub-* : **kub-*?). Говорить о заимствовании **kabūlā* во фракийский из фригийского не позволяет достаточная самобытность фракийского названия. Впрочем, допустимо предполагать влияние упомянутой семантической кальки 'лошадь' < 'горная'. На Среднем Дунае одомашнивание лошади прослеживается археологически очень рано — в V—IV тысячелетиях до н. э. Этот район не был закрыт и для вторичных влияний малоазийского коневодства (см. *S. Bökönyi*. The earliest waves of domestic horses in East Europe // The journal of Indo-European studies. № 6. 1978. P. 17 и след., с картой).

Фригийско-фракийские культурные влияния, связанные с почитанием матери-богини и развитым коневодством, шли в разных направлениях. Ср. сходный с малоазийской Кибелой культ галльской Эпоны, выразительно конской богини. Но, кроме этих периферийных схождений, влияния проявляются фрагментарно — главным образом в лексике. И греч. καβάλλης, лат. *caballus* с их сниженной семантикой ('рабочая лошадь, мерин'), восходящие тоже, по-видимому, к фракийскому, ничего не сохранили от важного культа. В слав. **kobyla*, значение которого передает плодовитость и жизненную силу (ср. даже сам женский род славянского слова), еще можно нащупать рудименты этой культовой предыстории.

Из литературы: Berneker I, 534; *J. Loewenthal*. AfslPh. XXXVII, 1920. S. 378 (объясняет из первоначального названия масти — и.-е. **kåbūlā́* 'Rappstute'); Brückner, 241; *Oštir*. Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen. S. 9, 11, 19, 60—61; *Otrębski*. Studia indoeuropeistyczne. S. 177 (**ko-by-la* : **by-ko-*); *Трубачев*. Дом. жив. С. 49 и след.; Sławski II, 306—307; Machek², 264 («Psl. *kobyla*: souvisi jistě s lit. *kumẽlė* 'kobyla' (záměna retných *b/m*) a dále s lat. *caballus* 'kůň', *cabo* 'valach', ale tvoření slova není jasné; snad i komoň (z **kob-*) souvisí. Má se za to, že to jsou slova původu turkotatarského; o lat. *caballus* a ř. καβάλλης se má zpravidla za to, že jsou od Ilyrů...»); *B. Čop*. Linguistica. XIII (Ljubljana, 1973). S. 66; Георгиев. БЕР, 2, 501—503 (повторяется, вслед за некоторыми другими авторами, без конкретизации, ссылка на возможность заимствования из Малой Азии, где иногда приводятся созвучные этниконы — названия жителей); *E. Dickenmann*. Das Pferd in russischen Nomina appellativa und Nomina propria (Heidelberg, 1977). S. 23, 90 ff; *Г. Ф. Одинцов*. Из истории гиппологической лексики в русском языке (М., 1980). С. 55 и след.

К ИСТОРИИ ОДНОЙ СЕМЕМЫ XVII ВЕКА: 'ОБЛЕГЧИТЬ' → 'УЛАДИТЬ, УСТРОИТЬ ДЕЛО' (польск. *załatwić*, др.-рус. облєгчитисѧ)

Увы, коллегиального правления на Руси давно нет! Новое лихое бедствие надвинулось на страну — бумагописание и бумагочитание...

Чиновники писали, читали, снова писали и к написанному руку рабски и нижайше прикладывали... Словам россиянина отныне никто не верил — требовали с него бумагу...

Над великой Российской империей порхали бумаги, бумажищи и бумажонки. Их перекладывали, подкладывали, теряли. Вместе с бумагой на веки вечные терялся и человек: теперь ему не верили, что он — это он. — Да нет у меня бумаги, — убивался человек. — Где взять-то? — Вот видишь, — со злорадством отвечали, — ты, соколик, и доказать себя не мочен, и ступай от нас...

Мы тебя не знаем!

В. Пикуль. Слово и дело. Роман-хроника времен Анны Иоанновны

Наше время — эпоха великих «взрывов»: взрыв демографический, взрыв информационный. Но, быть может, самый ранний из них — взрыв делопроизводства и канцеляризма, спутник-отражатель централизованной власти и государственности нового времени. И хотя сам этот феномен — делопроизводство и канцеляризм — чуть ли не старше самого письма, его пышный расцвет приходится на новое время, длится не ослабевая и сейчас, принимая новые формы. Возможно, эта тема заслуживала бы особого внимания лингвиста, но перед настоящей заметкой стоит частная, скромная задача — вы-

делить одно-два слова, которые сигнализируют средствами двух близких языков (может быть, впервые в истории каждого языка соответственно) этот пик делопроизводства в плане социально-бытовом и негативную реакцию на него со стороны индивидов, получившую, как всегда, преломленное и вместе четкое языковое отражение. По свидетельству историков общества, делопроизводственный максимум был достигнут Русским государством в XVII в.: «Для XVII в. можно говорить об обилии актов, до сих пор не изученных, до сих пор не освоенных» [1]. О бурном развитии центрального и местного делопроизводства в Русском государстве XV—XVII вв. говорит лингвист, историк русской деловой речи [2], отметивший такую особенность деловой речи, как наличие в ней формул, новых фразеологизмов. Одному из фразеологических контекстов речи, продиктованному возросшей сложностью внеязыковой действительности, обязано своим возникновением и интересующее нас слово, а точнее — его содержание, семема, ее новая, лексикализовавшаяся сущность. Собственно говоря, в формальном плане речь пойдет о старом слове. Это — древнерусское (resp. русско-церковнославянское) **обльгъчити** ‘облегчить’ (Мин. 1096 г. сент. 72), **обльгъчати, облегчати** ‘облегчать, давать отдых’ (Изб. 1073 г. Жит. Фед. Ст. 46), **обльгъчатися, облегчатися** ‘делаться легким’ (Пчел. И. Публ. б. л. 27) [3]. Богато представлен этот глагол в Картотеке Древнерусского словаря Института русского языка, на базе которой составляется «Словарь русского языка XI—XVII вв.»: ...**и ꙗрьмъ ти грѣховьныи обльгчитьсѧ** (Изб. Св. 1076 г., 63[2]); ...**не бо ны ѿбльгъчить въ страшьныи ѿнъ дн҃ь** (Златоструй XII в. 26); **и обльгъчавъ** (вар.: **избывъ болѣзни**) **отъ болѣзни львъ. въставъ отъиде** (Ж. Сав. осв. XIII в. καὶ κουφισθεὶς τῆς ὀδύνης); **ѿ҃блегчаи нн҃ѣ ꙗремижe възложи ѿц҃ъ твои на ны** (3 Цар. XII. 9. Библ. Генн. 1499 г.); ... **и облегчится тягота земли вашеи и ұмножится обилье на неи** (Моск. лет. к. XV в. С. 216);... **князь бы велики свое сердце облегчилъ**... (Митр. Иона, 1452—1453 гг.); **и Гарабұрда говорилъ**... **чтобъ госұдарь велѣлъ цѣны облегчити**... (Пам. дипл. МГ III, 420. 1566 г.); **таино послалъ** (Аввак.) **к нимъ воды святыя, велѣлъ ихъ ұмыть и напоить, и имъ бѣднымъ Христосъ облегчилъ** (Авв. Ж. 110). Все эти примеры и употребления едва ли требуют комментария, поскольку здесь проявляется основное значение ‘освободить, избавить от тяжести’ либо элементарная, первичная метафора этого основного значения — ‘освободиться от

[1] *М. Н. Тихомиров*. Приказное делопроизводство в XVII веке. Лекция 1-я // *М. Н. Тихомиров*. Российское государство XV—XVII веков. М., 1973. С. 350.

[2] *В. Я. Дерягин*. Русская деловая речь на Севере в XV—XVII вв. / автореф. докт. дисс. М., 1980. С. 1.

[3] *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. Стб. 528.

болезни и тому подобной тяготы’. В общем направлении этой метафорики обретается и употребление **власы облегчити** ‘подстричь’ (Пов. Ап. Тир. XVIII в. ~ XVII в.). Основное и для современного языка значение ‘освободить от тяжести’ вполне сохраняется и является, по сути дела, единственным значением слова; все остальное, отмеченное выше, — не более как употребления, более или менее обусловленные контекстом. Ср. лексикографическое соположение глагольно-именной лексики этого гнезда и польских соответствий: *улжение* — *облегчение*, *улже* — *облегчи*, *ульжение* — *полегчание* (Алф. 446. XVII в. 236. Картотека ДРС). В общем и основном русское слово *облегчи́ться* на всем протяжении своей истории сохраняет эту классическую прозрачность мотивированности подобно лат. *ex-onerō*, *-āre* (: *onus*, *oneris* ‘груз, тяжесть’) ‘выгружать, разгружать; освобождать, избавлять; опорожнять’ (stomachum), *exonerare conscientiam* ‘облегчить свою совесть’ [4]. Ничем принципиально не отличается даже такой частный случай употребления нашего глагола: **Волга рѣка** 200 **или более источниковъ и рѣкъ пріемлетъ въ себя прежде неже въ море каспійское облегчитъ себя** (Геогр. Ген. 1718 г. 194. Картотека ДРС) — случай, близко напоминающий англ. *to empty* ‘опорожнять(ся)’, также в значении ‘впадать, вливаться, изливаться (о реках)’.

Тем любопытнее примеры, где на смену этой традиционной прозрачности и однозначности выступает особое употребление: **Олофернъ великій желаніе имѣетъ тя у вечери своей видѣти, чего ради и мя къ тебѣ послалъ есть, моляще, да къ нему облегчишься** (Юдифь 1674 г. 190. Картотека ДРС). Помимо этого единственного примера в Картотеке ДРС — самого раннего известного нам примера на данное употребление, в письменности конца XVII в. благодаря недавним публикациям стали известны и другие случаи такого рода: **Прошу гсдрь приѧцтва твоево пожалуі облехчис ка мнѣ х празникꙋ ѧ на млсть твою надежен прашꙋ гсдрь млсти побѣі челом моим словомь батькꙋ Андрею Дмитревичю**… (И. И. Киреевскому от Д. Яблочкова. 18 октября 1691 г.); **Прошу гсдрь млсти твоеи пожалуи облехчис ка мнѣ а я на млсть твою надежен пожалуи гсдрь извол прислат запис мою купчею на вотчину**… (И. И. Киреевскому от Д. Яблочкова. 19 ноября 1691 г.); **Блгодетел моі гсдрь Іван Івановичь**… **прошꙋ гсдрь млсти твое пожалуі не остав моево прошениѧ ѡблехчис ко мнѣ к имениницы имениноі пирох скушат**… (И. И. Киреевскому от Д. Яблочкова. 5 октября 1691 г. [5]).

Хотя перед нами образцы частной переписки, они буквально пронизаны фразеологизмами деловой речи, и автор писем, Митька Яблочков, несмотря

---

[4] *И. Х. Дворецкий*. Латинско-русский словарь. 2-е изд. М., 1976. С. 395.

[5] Последние три примера из кн.: *С. И. Котков*, *Н. П. Панкратова*. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII—XVIII века. М., 1964. С. 19—20.

на бытовые подробности (**к имениницы имениноі пирох скушат**), озабочен делами и стремится решить их при содействии адресата, которого приглашает для этого к себе «облегчиться». Сама Митькина сложная жизнь сделала маркированным употребление таких слов и понятий, как 'легкий, облегчить'. Неразрывность обоих планов (сложность жизни и лексика, обозначающая облегчение) и логичное кульминирование их в соответствующих неологизмах кажутся очевидными. Исследователь русских писем XVII в. С. И. Котков отмечает это употребление слова *облегчиться* как новшество XVII в. [6]. Приводимые им примеры («**пожалуй облехчись ко мне и о всем... перегаворим**») помогают прояснению семантики этого слова *облегчиться* 'прибыть по делу, прибыть, чтобы устроить дело', хотя автор склонен толковать все эпистолярные приглашения «облегчиться» как 'будь легок на помине (?), соберись, поспеши' [7]. Нам это не кажется наиболее верным прочтением; странно, что ссылка на русское диалектное, тверское (у Даля) *облегчитесь* 'потрудитесь сделать что' (разрядка наша. — *О. Т.*) не была использована автором как дополнительное важное указание на то, что акцентировался не ускоренный приезд, а деловой характер визита.

Слово *облегчиться* 'прибыть по делу; потрудиться сделать' не пустило глубоких корней. Не успев возникнуть, оно вскоре, видимо, было оттеснено; неологизм быстро стал архаизмом, историзмом. Сказалась критическая близость Петровской эпохи, которая круто ломала и делопроизводство, и его терминологию, но симптоматичности допетровского речевого канцеляризма это не умаляет. Напротив, в его неологической сущности переломность эпохи выразилась органичнее, лучше, чем в иных многочисленных заимствованиях. Тем более что, по-видимому, абсолютно независимое и неодновременное подтверждение приходит из такого родственного языка, как польский. Этот случай — не стандартный для polono-rossica в обычном смысле: здесь нет ни заимствования из польского в русский, ни много обсуждавшейся посредствующей роли польского в передаче русскому европеизмов, нет здесь и русского влияния на польский. Польск. *załatwić* 'уладить, устроить, осуществить' и рус. стар. *облегчиться* 'прибыть по делу' слишком разнятся конкретно языковой формой. Их сближает общность более высокого порядка — сходное развитие семемы ('сделать легким' → 'устроить дело') и в основе всего — сходные условия жизни. При всем отличии *załatwić* и *облегчиться* их породило общее усложнение и ускорение ритма жизни нового времени, на которое сходным образом прореагировали два родственных языка.

Историко-этимологические данные о польском слове гласят, что с XVI в. засвидетельствовано *łatwić* 'делать легким, облегчать', ср. совр. польск. диал.

[6] *С. И. Катков.* Сказки о русском слове. М., 1967. С. 70—71.

[7] Там же.

u̯atfić 'устраивать'. Что же касается уже упомянутого польск. *załatwić* 'устроить, сделать дело, осуществить', то из словаря Линде еще в XVIII в. это слово известно также в значении 'сделать более легким, облегчить' [8]. Следовательно, и по своей хронологии, как и по словообразованию, польск. *załatwić* — самобытное явление. Но факт остается фактом: первоначальная семема 'делать легче, облегчить' (включая ее прямофигуральные употребления и переносы) изменилась в нем качественно в семему 'сделать дело', как примерно и в рус. стар. *облегчиться* (XVII в.). Это не банальное схождение. Недаром в сопредельном и близко родственном чешском эта вторичная семема реализовалась совсем по-другому — *jednat*, *objednat*, хотя идея упрощения (*jednat* : *jeden*) чего-то первоначально сложного просматривается и здесь. Другие языки, может быть, и не проявили вообще такой чуткости, т. е. не зарегистрировали своими средствами этот грозный пик бумагописания и бумагочитания, столь усложнивший дела человеческие, а продолжали выражаться по-старинному, по модели figura etymologica или ее напоминающей — совр. рус. (*с*)*делать дело*, нем. *Geschäft machen*, *Sache verrichten*.

---

[8] *F. Sławski*. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. V. S. 45—46.

ИЗ ПРАСЛАВЯНСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ: **krosno*

Семантическую реконструкцию и даже этимологию слов существенно определяют их значения, живые до сих пор в языках и диалектах, в том числе — наиболее релевантные из этих значений. Характерным примером такой внутренней или описательной ориентации этимологической и семантической реконструкции оказывается праслав. **krosno*, широко известное в славянских языках: болг. *кросно́* 'навой на ткацком станке', диал. *кросно́* то же (Българска диалектология III, 93, 235), *крусно́* то же (Родопски напредък V, 4, 1907, 158), макед. *кросно* 'навой', сербохорв. диал. *кро̏сно* 'навой ткацкого станка', *кро̏сна* мн. 'ткацкий станок', словен. *krósna* мн. 'ткацкий станок', также диал. *krosna* (Slovenski etnograf III—IV, 1951, 149), чеш. *krosna*, *krůsna* ж. р. 'заплечная корзина', диал. *krosna* мн. 'ткацкий станок', словац. *krosná* мн. 'ткацкий станок', в.-луж. *krosna* мн. 'ткацкий станок', полаб. *krösnă* мн. 'ткацкий станок', ст.-польск. *krosna* мн. 'ткацкий станок', польск. *krosna*, *krośna* мн. то же, также *krosno*, диал. *krosna* мн., кашуб. *krosna* мн. 'ткацкий станок' (*Sychta*. Słownik gwar kaszubskich [II, 260]), др.-рус. **кросна** мн. 'холст' (XVI в.), 'ткацкий станок' (1677 г.), 'в ткацком станке — вал, на который навивают основу, навой' (XV в.) (Словарь русского языка XI—XVII вв. 8, 74), рус. *кро́сна* мн. 'ручной ткацкий станок', диал. *кро́сно* то же, 'домотканое полотно', *кро́сна́* мн. 'деревянный брусок, на который наматывается основа', укр. *кро́сно*, мн. *кро́сна* 'ткацкий станок', 'рама', диал. *кро́сна* мн. 'станок', 'основа, навитая на станок', блр. *кро́сны* мн. 'ткацкий стан', диал. *кро́сны* мн. 'ткацкий станок', 'пряжа (на станке)'.

Еще Бернекер высказал мысль о родстве **krosno* и **kreslo* / **krěslo*[1], мысль, как увидим ниже, в общем верную и подготовленную, вероятно, старым ягичевским сближением слав. **krosno* с лит. *krãsė* 'стул, кресло'[2], хотя последнее само нуждается в более осторожном этимологическом комментарии в плане выяснения балто-славянских отношений. Однако со времени Бернекера этимологизация **krosno* дальше не продвинулась, так и остановившись на замкнутом сравнении **krosno* — **kreslo* / **krěslo*[3].

Отсутствие у данной этимологии необходимой глубины в смысле вскрытия глагольной (или именной) мотивации слов **krosno* и **kreslo* / **krěslo* сильно ослабляло само это сближение; оставался неясным вопрос членения обоих сравниваемых слов, причем исследователи нередко выделяют в **krosno* суффикс *-no*[4], хотя с равным успехом здесь может быть выделено *-sno*, формант, известный в славянском словообразовании[5].

Поиски мотивирующей основы приводили к самым разнообразным результатам: от глагола **kresati*, ср. также греч. κρέκειν 'бить, ударять', κρόκη 'у т о ч н а я нить'[6], хотя греческая лексика — это прежде всего терминология утка́ (wątku), а слав. **krosno* — термин ткацкой о с н о в ы, что существенно для этимологии (см. ниже). Далее, слово **krosno* объясняли от рус. *кропать*[7]. Хэмп этимологизировал **krosno* как **krəs-nó-* со ступенью редукции от **krēs-* 'создавать, образовывать', относя сюда же лат. *creō*[8]. Совсем другим представляет себе это исходное **krēs-* / **kros-* Шустер-Шевц, который производит его от и.-е. *(*s*)*ker-* 'резать, острый'[9]. Можно еще упомянуть этимологию **krosno* < **krod-s-no* от названия стропила, балки[10], но это будет всего лишь еще одно случайное сближение слов, поскольку случайны и все другие, перечисленные выше.

Неудачи существующих этимологий **krosno* коренятся в слабости осмысления семантики слова, имея в виду даже не столько отсутствие нужного

---

[1] Berneker 1, 624. Сокращения основных словарей и журналов здесь по большей части те же, что приняты в нашем «Этимологическом словаре славянских языков».

[2] *V. Jagić* // AfslPh II. 1877. S. 397.

[3] Brückner, 270; Фасмер II, 382; Sławski III, 139; *L. Bezlaj-Krevel*. Slovenska tkalska terminologija // Jezik in slovstvo. XIII. 3. 1968. S. 86; Skok. Etim. rječn. II, 209; Bezlaj. Etim. slovar sloven. jez. II, 100; Български етимологичен речник III, 20; *Schuster-Šewc*. Hist.-etym. Wb. der ober- und niedersorb. Spr. 9. S. 681—682.

[4] F. Sławski. Там же; *E. Hamp* // RS. XXX, 1. P. 43—44.

[5] См. так уже *А. Соболевский* // РФВ. LXX. 1913. С. 87.

[6] *A. Bezzenberger* // Bezzenbergers Beiträge. XXVII. 1902. S. 170.

[7] А. Соболевский. Там же.

[8] E. Hamp. Там же.

[9] Schuster-Šewc. Там же.

[10] Skok. Там же.

внимания к семантической типологии, сколько просто недостаточный учет особенностей значения и употребления слов. Таков главный недостаток старой этимологии **krosno* — κρέκω, κρόκη (см. выше; терминология и семантика ткацкой основы и утка́ не различаются, что не допустимо). Славский предполагает у **krosno* первоначальное значение 'стояк', исходя из молчаливого допущения, что **krosno* обозначало ткацкий станок, а ряд индоевропейских названий ткацкого станка восходит к и.-е. **stā-*, **stə-* 'стоять'[11]. Но эта типологическая аналогия теряет силу, как только мы обратим внимание на то обстоятельство, что **krosno*, как правило, не обозначает и, по-видимому, никогда не обозначало ткацкого станка в целом. На это указал Махек: «Je zřejmé, že krosno nebyl původně ani stav nebo stávek»[12]. Мы оставляем в стороне реконструкцию и этимологию Махека — **krosno* < **krob-sno*, но его семантическое замечание очень важно, и оно вполне согласуется с нашими наблюдениями над употреблением слова в славянских языках и диалектах, а также над его этимологией, включая родство с **kreslo* / **krěslo*. Дело в том, что **krosno* — это часть ткацкого станка, а конкретно — навой, т. е. вал, брус, на который навивается, наматывается полотно, основа (см. обзор значений выше). Правильным обозначением всего ткацкого станка является форма множественного числа **krosna*, поскольку при этом имеются в виду два навоя как база типичного ткацкого стана, ср. и известное наблюдение Мейе, что два предмета, составляющих одно целое, обозначались в индоевропейских языках не двойственным, а именно множественным числом (исключений, т. е. употреблений формы ед. ч. **krosno* как обозначения всего ткацкого станка, немного, как видно особенно из более подробного обзора в выпуске 13 «Этимологического словаря славянских языков» s. v. **krosno*, и эти употребления, очевидно, вторичны и нередко отличаются семантическими ограничениями, специализацией, ср. рус. диал. *кро́сно* 'ручной ткацкий стан').

Ясно одно: первичным значением **krosno* является 'навой, вращаемая часть ткацкого стана'. В связи со сказанным единственно возможной представляется формальная реконструкция и этимология **krosno* < **krot-sno* от и.-е. **kret-* / **kert-* 'вращать, крутить', ср. др.-инд. *karttar* 'прядильщик', алб. *kjerthull* 'мотовило', ср.-ирл. *ceirtle* 'моток', если говорить только о терминах прядения и ткачества из этого гнезда[13]. Как известно, в славянском к этому индоевропейскому гнезду обычно относят назализованное **krętati*, **krǫtiti*, однако мы настаиваем на реконструкции — очевидно, более архаичного —

[11] F. Sławski. Там же.

[12] Machek^2, 295.

[13] См. Pokorny I, 584, s. v. **kert-*, *kerət-*, *krāt-*.

неносового **krot-* (хотя теоретически допустима возможность диссимилятивного **krosno* < **krǫt-sno* от распространенного назального **kręt-* / **krǫt-*) по ряду соображений, из них на первом месте — родство **krosno* с **kreslo* / **krěslo*, где реконструкция неназального и.-е. **kret-* 'вращать, крутить' кажется еще более очевидной, включая семантику плетения, скручивания. Надо также считаться и с возможностью прямых продолжений неназального и.-е. **kret-* 'вращать, крутить' в праславянском, куда, как нам теперь представляется, принадлежит преобразованное семантически слав. **krotiti*.

Соответствующие коррективы должны быть внесены также в прежние сближения **krosno* с **krajь*, **kroma* [14].

[14] *О. Трубачев*. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966. С. 17, 126—127.

GERMANISCH-SLAWISCHE ANALOGIEN, **ruda* UND **želězo**

Das Thema der baltisch-slawischen Beziehungen, das für die Forschung so unerschöpflich und reich ist, verliert an Sicherheit und Klarheit, wenn wir an eine Typologie der Ethnogenese denken. Der Grund dafür ist die äußerst lang währende Nachbarschaft beider Idiome und die daraus entspringende schwierige Unterscheidung zwischen Urverwandtschaft und eventueller Frühentlehnung. Was die soeben erwähnte Typologie der Ethnogenese betrifft, so ist sie wohl der einzige und bis jetzt leider kaum begangene Weg zur Erschließung der slawischen Sprach- und Stammesentwicklung. Das Hauptproblem dabei ist, daß das, was als einzigartig aufgefaßt wird, nicht als kontrollierbar oder beweisbar gelten kann. Einen deutlicheren (weil freieren) Charakter haben zum Beispiel germanisch-slawische Parallelen oder Analogien, denen nun unser Interesse gilt, um so mehr. als der Gegenstand selbst hier noch ganz ungenügend erforscht ist. Das Ethno-kulturelle und das Sprachliche sind dabei aufs engste miteinander verknüpft. Die Spuren der alten Germanen im Norden der DDR und der BRD sowie in Dänemark (gewöhnlich als das Territorium der germanischen Urheimat verstanden) kommen nicht sofort zum Vorschein, wohl erst mit dem Auftreten der Jastorfkultur um die Mitte des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung. Man sieht darin aber mit Recht keinen Terminus post quem und keinen Grund zur absoluten Datierung der germanischen Stammesbildung.

Diese Ideen von der Kontinuität der germanischen Stammes- und Kulturentwicklung könnten u. E. auch in der slawischen Urgeschichte genutzt werden. Man ist sich in der slawischen Archäologie darüber einig, daß offensichtlich slawische

* Vortrag, gehalten im November 1985 vor der Sprachwissenschaftlichen Kommission der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.

Merkmale erst die Prager Kultur seit der Mitte des ersten nachchristlichen Jahrtausends zeigt. Es fehlt dabei aber oft an der Beherzigung dieser nützlichen Idee der kontinuierlichen Entwicklung, welche mehr der Natur der Dinge entspräche. Die Analogie mit dem Germanischen ist lehrreich in dem Sinne, daß wir auch die slawische Stammesbildung absolut zu datieren nicht berechtigt sind, gleichgültig, ob wir sie mit der Prager Kultur zusammenbringen oder, was noch ungewisser ist, ob wir sie mit noch späteren Daten verknüpfen, beispielsweise mit der zufälligen Erwähnung des Stammesnamens der Anten, der zum letzten Mal im beginnenden 7. Jahrhundert genannt wird.

Des weiteren muß gesagt werden, daß die berühmte Theorie der sekundären Indoeuropäisierung des nichtindoeuropäischen Alteuropa vom Osten her, wie sie von Marija Gimbutas vertreten wird [1], jetzt aus der Sicht des Germanischen und Slawischen widerlegt werden kann. Es läßt sich eine zweite Analogie zwischen dem Germanischen und Slawischen aufstellen, die das Fehlen von Spuren einer Zweisprachigkeit betrifft. Solche Spuren wären zu erwarten, wenn entsprechende indoeuropäisch-nichtindoeuropäische Kontakte bestanden hätten, d. h., falls es eine Indoeuropäisierung des nichtindoeuropäischen Alteuropa gegeben hätte. Bis jetzt gelang es jedoch nicht, derartige Kontakte nachzuweisen. Was das Germanische betrifft, so können weder die germanische Lautverschiebung noch die etymologisch dunklen Wörter dieses Sprachzweiges überzeugend auf ein vorindoeuropäisches Substrat zurückgeführt werden. Jedenfalls kann man wohl nicht behaupten, daß die etymologisch dunklen Wörter des Germanischen eine nichtindoeuropäische Struktur aufweisen.

Eventuelle Spuren einer oben genannten indueuropäisch-nichtindoeuropäischen Zweisprachigkeit im Slawischen sind in höchstem Maße strittig und unwahrscheinlich. Die Suche nach einer «ureuropäischen» (praevropský). Schicht im slawischen Wortschatz durch V. Machek [2] ist als verfehlt zu betrachten. Es ist bezeichnend, daß sich unter diesen Versuchen keine einzige überzeugende Etymologie befindet (daher erübrigen sich Beispiele).

Eine indoeuropäische Invasion in das nichtindoeuropäische Alteuropa anzunehmen, wie das M. Gimbutas tut, ist nicht denkbar ohne Spuren in Gestalt von Lehnwörtern und anderen eventuellen Einflüssen. Man muß dabei in Betracht ziehen, daß die angenommenen Ereignisse (eine riesige Eroberung und die Überlagerung einer hohen Ackerbau- und Handwerkskultur durch eine niedrigere

[1] Siehe *M. Gimbutas*. The Three Waves of the Kurgan People into Old Europe, 4500—2500 Millenium B. C. // Archives suisses d'anthropologie générale. Genève, 1979. P. 43; ferner zuletzt: *M. Gimbutienė*. Baltai priešistoriniais laikais. Vilnius, 1985. S. 41 ff.

[2] Vgl. z. B. in: *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.

Nomadenkultur) von nachhaltiger Wirkung bleiben mußten und daß in der ethnischen Tradition und im ethnischen Gedächtnis alle diese Erschütterungen nicht gänzlich der Vergessenheit anheimfallen konnten.

Eine weitere Analogie zum Germanischen hilft uns, ein besseres Verständnis der räumlichen Veränderungen des urslawischen Siedlungsgebietes zu gewinnen, möglicherweise auch der Wanderungen der Urslawen selbst. Es geht dabei hauptsächlich um eine uralte eigenartige Rückbewegungstendenz von Norden nach Süden (Nord ↔ Süd), von der nicht allein die Slawen erfaßt worden sind. Ich meine damit nich nur die bekannte Wolochen-Episode der altrussischen Nestorchronik, in der über die keltische Invasion in die mittleren Donauländer berichtet wird und die dadurch verursachte Wanderung der Slawen an die Weichsel, also nach Norden. Es gab auch ältere Beispiele im indoeuropäischen Mitteleuropa für solche Wanderungen nach Norden und erst danach in den Süden. Eines ist die Landnahme von Skandinavien durch die Germanen: Obwohl Skandinavien (und zwar dessen südlicher Teil) manchmal in die Urheimat der Germanen einbezogen wird, wurde es erst infolge einer sekundären Eroberung germanisch. Das zeigt uns die Etymologie von germanisch **skadinaujō* (aus dem latinisierten *Sca(n)dinavia* bei Plinius dem Älteren), das eigentlich 'böses Ufer' = «Schadenau» heißt. So nennt man seine Heimat nicht, wohl aber eroberte fremde, feindliche Länder. Die Germanen wohnten früher südlicher, was auch durch ihre Kontakte mit den Kelten bewiesen wird. Die Kelten ihrerseits aber waren seit alters her im Süden der jetzigen BRD beheimatet. Dann setzte im Leben der Germanen sowie auch der Illyrer (Nordillyrer, Illyroveneter), deren geographische Namenspuren bis an die Ostsee reichen, diese Nordwanderung ein. Was war die Ursache? Vielleicht ergaben sich eben zu dieser Zeit neue Lebensräume im Norden nach der letzten Eiszeit. Vielleicht nicht nur das. Aber eines ist klar: Die Rückbewegung Nord-Süd, die in sich auch Rückwanderungen einschließt, war wohl das größte historische Geschehen im Leben der altindoeuropäischen Stämme Zentraleuropas. Alle Datierungen der modernen indoeuropäischen Sprachwissenschaft sind überzogen. Man darf natürlich nicht außer acht lassen, daß sich noch vor dem Jahre 4000 v. u. Z. nördlich der Sudeten und Karpaten eine ursprüngliche Vereisungszone erstreckte, ein Umstand, der eine nördlichere Urheimat für die Germanen wie für die anderen Indoeuropäer wohl ausschließt. Nicht alle Indoeuropäer drangen so hoch in den Norden vor wie die Germanen, die Illyroveneter und später die Slawen. Bedeutend südlicher waren die Kelten, die Altitaliker und die Urgriechen geblieben, im wesentlichen wohl auch die Balten (die letzteren vermutlich bis zur Eisenzeit). Von besonderem Interesse ist daher die Feststellung, daß die Slawen keine ursprünglichen Siedler des Weichsel- und Oderraumes waren. Jedenfalls waren sie hierher nicht als die ersten Indoeuropäer gekommen, sondern zumindest als Nachfolger der indoeuropäischen Illyroveneter, deren Namenschatz sie teilweise ererbt hatten. Die Germanen und die Sla-

wen waren Neuankömmlinge im Raum zwischen Oder und Weichsel, und das spiegelt sich vielleicht in der von ihnen diesem Land gegebenen Definition mit dem Prädikat 'magna' (zu terra) wider, die von einer sekundären Expansion zeugen kann, vgl. Magna Germania, angelsächsisch Mæghbaland **, polnisch Wielkopolska.

Diese nördliche Wanderung mehrerer indoeuropäischer Stämme hatte ihren Ausgangspunkt und ihr Zentrum wohl in Mitteleuropa und an der mittleren Donau. Es ist in diesem Zusammenhang nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, daß die Archäologen ihrerseits von einer gleichgerichteten Expansion der Trichterbecherkultur sprechen, die sie mit der Kultur der Indoeuropäer gleichsetzen, indem sie diese Trichterbecherkultur nur vom Süden nach dem Norden in ihrer Ausbreitung bestimmen und dabei mit absoluten Daten versehen (so zuerst in Böhmen um das 4. Jahrtausend v. u. Z. und erst viel später, nämlich um 3000 bis 2300 v. u. Z., in Dänemark und Südschweden).

Aller Wahrscheinlichkeit nach verloren die nach Norden vorgerückten Indoeuropäer die Verbindung mit ihren früheren Heimatländern nicht ganz. Es blieb dort vielleicht auch ein Teil der Bevölkerung zurück, und alle ethnischen Traditionen wurden natürlich von den auswandernden Stämmen sorgfältig bewahrt. Das macht uns auch die nach Süden gerichteten Rückwanderungen der Germanen wie der Slawen verständlich.

In letzter Zeit wurde viel über Gewinnung und Verarbeitung der Metalle und über Metallnamen geschrieben. Unsere Aufmerksamkeit gilt in diesem Zusammenhang den Eisenbezeichnungen, und zwar wegen der Wichtigkeit dieses Metalls und der Eisenzeit, die — in der Mitte des 1. vorchristlichen Jahrtausends einsetzend — eigentlich bis in unsere Tage dauert. Die Möglichkeit der Datierung des Eisennamens als einer baltisch-slawischen Kontaktinnovation soll dabei betont werden.

Es stellt sich heraus, daß die Germanen anfangs nur das Raseneisenerz gekannt haben, wodurch die frühgermanische Eisenbezeichnung erklärt wird, die im finnischen Lehnwort *rauta* 'Eisen' belegt ist und die weiter in altisländisch *raudi* ** 'Eisen; Raseneisenerz, Erz', eigentlich 'das Rote' vorliegt.

Ähnlich verhielt es sich damit bei den Slawen. Die alten Russen, die noch keine später entdeckten Erzfunde kannten, auch keine Rohstoffeinfuhr, gewannen das Eisen eben in der Form, in der es ihr wald- und sumpfreicher Boden überall bot — aus Raseneisenerz. Später geriet diese Rohstoffquelle in Vergessenheit. Aber man muß sich dessen bewußt bleiben, daß unsere älteste Eisenterminologie, den Eisennamen eingeschlossen, ein Produkt der Raseneisenerzzeit ist. Sonst verlieren wir den Beweggrund für diese Benennungen.

Das slawische Wort **ruda* 'Erz' war ursprünglich ein Adjektiv weiblichen Geschlechts: 'rot; rotbraun'; das Femininum war bedingt durch den Gebrauch in

** Die Orthographie folgender Wörter ist typographisch nicht exakt wiedergebbar: *Mæghbaland*, *raudi*, *hapalki*, *hawalki*, *rkina*, *vōrnā*, *vōrnъ*. — *Anm. der Red.*

einer alten Wortfügung — urslawisch *ruda zemja* 'rotbraune Erde', womit die rote Eisenerde gemeint war. Einen ähnlichen Fall der Substantivierung des Adjektivs haben wir in russisch dialektalem *руда* 'Blut', eigentlich verkürzt aus einem tabuistischen Ausdruck[3] **ruda voda* 'rotes Wasser' (vom Blut). Also bezeichneten unsere Urahnen mit urslawisch **ruda* eine rote Art von Erde, aus der sie das Eisen gewannen. Auch jetzt bedeutet z. B. obersorbisch, niedersorbisch *ruda* nicht nur 'Erz' überhaupt, sondern auch 'Raseneisenerz'. Es ist also klar, daß sich das Wort **ruda* ursprünglich nur auf die eisenhaltige Erde bezog und in keinem Zusammenhang mit anderen Metallen stand, auch nicht mit Kupfer (wie unten weiter ausgeführt).

Darin äußert sich ein interessanter kultureller und sprachlicher germanisch-slawischer Parallelismus: Sowohl die alten Slawen als auch die alten Germanen gewannen ursprünglich das Eisen aus Raseneisenerz; sowohl die einen als auch die anderen gebrauchten das indoeuropäische Wort **roudh-* 'rot' eben zur Bezeichnung des Raseneisenerzes.

Unannehmbar ist deshalb die alte Deutung von russisch *руда* usw. als einer Entlehnung aus sumerisch *urudu* 'Kupfer'. Diese zufällige Gleichung war eigentlich immer problematisch, weil der Ablaut *rud- / reud- / roud-* allein schon die indoeuropäische Zugehörigkeit der Wurzel von **ruda* beweist. Wie oben angedeutet, haben wir in ursl. **ruda* ein etymologisch gut erläutertes Wort vor uns, dessen Deutung einen sicheren sachlichen Hintergrund besitzt. Unser **ruda* 'Erz, Raseneisenerz' und sumerisch *urudu* 'Kupfer' haben nichts miteinander zu tun. Darum sind die neuen Versuche, die Deutung von russisch *руда* aus dem Sumeriaclien wiederzubeleben, u. E. nicht als geglückt anzusehen. Ich meine T. V. Gamkrelidze und Vjač. Vs. Ivanov, die Autoren einer Reihe von Artikeln über die Urindogermanen, die jetzt ein umfangreiches zweibändiges Kompendium in Tbilissi herausgegeben haben[4], sowie besonders Ivanovs Buch über die Geschichte der Metallbezeichnungen in den slawischen und in den Balkansprachen[5]. Diese Wissenschaftler können keine neuen konkreten sprachlichen Argumente zugunsten der obengenannten formalen Gleichung beibringen und schenken den innerslawischen und innerindoeuropäischen Deutungsmöglichkeiten von **ruda* nicht die gebührende Aufmerksamkeit.

Trotz ähnlicher Verfahren der Eisengewinnung aus Raseneisenerz bei den Germanen und Slawen, wie wir sie oben dargelegt haben, gingen beide Stammesgruppen eigene Wege bei der Ausbildung der Eisenterminologie. Die Lage

---

[3] Vgl. *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. III. М., 1971. С. 513.

[4] *Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов*. Индоевропейский язык и индоевропейцы. I—II. Тбилиси, 1984.

[5] *Вяч. Вс. Иванов*. История славянских и балканских названий металлов. М., 1983.

kompliziert sich aber dadurch, daß die mächtigen Kelten mit ins Spiel kommen, die die Germanen und die Slawen gerade im Bereich der Eisengewinnung und -verarbeitung beeinflußten. In diese Epoche fällt das Aufblühen der keltische Provenienz aufweisenden Hallstattkultur (nach dem Fundort Hallstatt unweit von Salzburg benannt). Diese Gegenden wurden von den nach Osten vordringenden Kelten überflutet, die dann das nahe Noricum, Pannonien, die Länder um die mittlere Donau, also das unserer Meinung nach mutmaßliche urslawische Wohngebiet[6], einnahmen. Es sieht so aus, als ob die Urslawen — von dieser Expansion der Kelten gedrängt, teilweise auch zusammen mit den Kelten — nach Südpolen und an die Weichsel zogen, ja sogar noch weiter nordöstlich ins mittlere Dnepr-Gebiet, was archäologisch, aber auch ortsnamenkundlich nachgewiesen wurde.

Für die Germanen waren die kulturell entwickelten Kelten fast stets die Gebenden. Der germanische Eisenname kam in den Norden aus dem keltischen Süden. Die Slawen ihrerseits verdanken den Kelten ebenfalls vieles auf verschiedenen Gebieten, worüber ich hier leider nur weniges sagen kann. Es wird die Meinung vertreten, daß die Raseneisenerzmetallurgie bei den Slawen auch von den Kelten stammt. Reste altkeltischer Eisenhütten findet man in Südpolen unweit des jetzigen Nowa Huta. Die Slawen haben jedoch im Unterschied zu den Germanen ihre Benennung für das Eisen nicht von den Kelten entlehnt, sondern aus eigenen Sprachmitteln gebildet: ursl. **želězo*, russisch *железо* usw.

Die Etymologie des slawischen Eisennamens, die einen zentralen Platz in vorliegendem Beitrag einnimmt, fügt sich sehr gut in die obenerwähnte Episode der Raseneisensteinkultur ein und verdient es, speziell hervorgehoben zu werden, um so mehr, als bis in die jüngste Zeit hinein immer neue Hypothesen über den Ursprung von slawisch **želězo* aufgestellt werden. Die Tatsache, daß die alten Metallnamen leicht als Kulturlehnwörter verstanden werden, darf nicht verallgemeinert werden. Das könnte ein Irrweg sein. Diese Frage ist besonders für ethnogenetische Untersuchungen äußerst wichtig. Es ist kein Zufall, daß der slawische Name des Eisens mit dem entsprechenden baltischen übereinstimmt oder nahe verwandt ist, vgl. die oben angedeuteten Ausführungen über die Möglichkeit der Datierung dieser wohl eisenzeitlichen gemeinsamen Benennung und ihre Bedeutung für die baltisch-slawischen Sprachbeziehungen überhaupt. Andererseits sind die Namen für das Kupfer (slaw. **mědь*) bei den Slawen und Balten ganz verschieden, was möglicherweise durch die unterschiedlichen sprachlichen Überlieferungen beider Zweige aus einer älteren Epoche, nämlich der Bronzezeit, bedingt sein könnte.

---

[6] Vgl. *О. Н. Трубачев.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание. IX МСС. Киев, сентябрь 1983. Доклады сов. делегации. М., 1983. С. 231—270, ferner die Serie von Aufsätzen: Языкознание и этногенез славян // ВЯ. 1982, № 4. С. 10—26; № 5. С. 3—17; 1984. № 2. С. 15—30; №. 3. С. 18—29; 1985. № 4. С. 3—17; № 5. С. 3—14

Im obenerwähnten Buch von Vjač. Vs. Ivanov wird lit. *geležìs* 'Eisen', lett. *dzèlzs* dass., apr. *gelso* zusammen mit slaw. **želězo* und gr. χαλκός als ein sehr frühes Lehnwort aus dem 3. Jahrtausend v. u. Z. erklärt. Als gemeinsame Quelle dafür wird ein Wort aus der nichtindoeuropäischen Hatti-Sprache in Altanatolien genannt — *hapalki* ** oder *hawalki* ** 'Eisen'. Wie dort dargelegt wird, ist der Wortlaut *ha-* ein Präfix, das merkwürdigerweise in den Fällen fehlt, wo diese Eisenbezeichnung wirklich in die anderen Nachbarsprachen im Südkaukasus übernommen wurde (georgisch *rkina* ** 'Eisen', armenisch erkat dass.).

Als Metall kannten die alten Indoeuropäer nur die Bronze, im 3. vorchristlichen Jahrtausend war die Verwendung von Metallen wahrscheinlich überhaupt noch unbekannt. Die Wirtschaft jener entfernten Zeit bediente sich deshalb auch noch nicht des Eisens und kannte so natürlich auch nicht seine fremden Namen. Dies ist auch ein Gegenargument gegen A. Meillet und seine Nachfolger, die in slaw. **želězo* traditionell ein nichtindoeuropäisches oder östliches Lehnwort sehen.

Man könnte die Deutung von slaw. **želězo* aus hattisch *hapalki* ** nur durch die Annahme rechtfertigen, daß die vorderasiatische Kultur und speziell die Metallurgie einen besonders großen Einfluß auf die Slawen gehabt hat. Doch eine solche Annahme kann nicht die linguistische Argumentation ersetzen. Die erwähnte Etymologie hält jedenfalls einer ernsthaften Prüfung durch die bekannten linguistischen Tatsachen nicht stand. Ebensowenig kann sie begründet werden durch die Tatsachen der europäischen Kultursituation. Slaw. **želězo*, balt. **gel(e)ž-* und das Hatti-Wort *hapalki* ** entsprechen elementar lautlich einander nicht. Es kann hier auch von keiner Entlehnung die Rede sein, vgl. den stimmhaften Wortanlaut von indoeuropäisch dialektal **ghel(e)ĝh-*, der für das Slawische und Baltische anzusetzen ist, während das erwähnte altanatolische Wort mit stimmlosem [χα] anlautet, ganz zu schweigen von dem Präfixschwund, den das Wort für 'Eisen' bei der angeblichen Entlehnung aus der Hatti-Sprache in die Nachbarsprachen erlitten haben müßte.

Aber es gibt noch gewichtigere Gegenargumente. Der schwächste Punkt bei der Etymologisierung von slaw. **želězo* als einem Kulturlehnwort aus irgendeiner anderen Sprache besteht darin, daß man die Deutung des anklingenden russ. Wortes *железá* 'Drüse' schuldig bleibt. Dieser bezeichnende Mangel übrigens aller Etymologien[7] des Wortes **želězo* als Lehnwort entscheidet sozusagen alles: Mit der richtigen Erklärung des Wortes *железа* 'Drüse' steht und fällt die richtige

[7] Nichts über den Drüsennamen sagt z. B. Henry Leeming, wenn er in Rocznik slawistyczny, Bd. XXXIX. 1978. S. 7 ff. seine Hypothese bietet über slaw. **želězo* als einer Zusammensetzung der Farbbenennung **žel-* 'gelb' und *-ěz-* mit, diphthongischem Jat aus gotisch aiz 'Bronze, Kupfer'. Alles sehr zweifelhaft! 'Eisen' aus 'gelbes Kupfer' oder 'gelbes Erz' — das widerspricht allem, was wir vom Eisen als schwarzem Metall und von seiner Benennung wissen, vgl. altindisch *śyāmam áyas*, *kālāyasá*, *kṛshnāyas* 'schwarzes Metall' (vom Eisen) gegenüber 'klarem, rotem Metall', *lohitāyas* (vom Kupfer).

Beurteilung des Metallnamens *железо*. Bei der Deutung des Wortes *железо* ist mit dem Wort *железа* zu beginnen und nicht umgekehrt. Andernfalls geraten wir in eine etymologische Sackgasse. Dieses Beispiel ist lehrreich, weil hier ein Kulturwort (der Name eines wichtigen Metalls) nicht durch Entlehnung aus einer anderen Sprache hergeleitet wird, sondern sich sozusagen aus dem lokalen, umgangssprachlichen Wortschatz «rekrutiert», was nicht nur etymologisch, sondern auch methodologisch interessant ist.

Wir nehmen an, daß die Wörter *железо* 'Eisen' und *железа* 'Drüse' urverwandt sind. Daß der Zusammenhang zwischen beiden Wörtern alt ist, sieht man an dem Parallelpaar lit. *geležìs* 'Eisen': *geležuonys*, *geležuones* pl. 'Drüse'. Nicht von ungefähr wurde für das Wort *железа* 'Drüse' von Dal', der Lexikograph und Arzt gleichzeitig war, in seinem Wörterbuch [8] die Umschreibung mit 'Klümpchen' oder 'Knaueichen' (клубочек) angesetzt. Es findet sich wohl niemand, der auch für *железа* 'Drüse im lebendigen Organismus' ernsthaft einen vorderasiatischen Ursprung behaupten wird, dabei ist aber die Verwandtschaft von *железо* und *железа* ganz augenscheinlich. Das hat seine Ursache in der Sprache und der Kulturgeschichte. 'Drüse im lebendigen Körper' ist die primäre Bedeutung; davon ist durch sekundäre Motivierung die von uns untersuchte Bedeutung 'Eisen als Metall' entstanden. Um zu verstehen, wie diese semantische Ableitung zustande kam, muß man sein Augenmerk auf das von uns schon oben erwähnte altertümliche Kulturstadium der Raseneisenerzgewinnung richten.

Es gibt zwischen den Bedeutungen 'Eisen als Metall' und 'Drüse im lebendigen Körper' keine unüberbrückbare Kluft, jedenfalls nicht für diese frühe Zeit: Das Raseneisenerz kommt in Gestalt eines oder vieler Klümpchen vor. Vgl. dazu das deutsche Wortpaar: *Druse* 'verwittertes Erz' und *Drüse* (im lebendigen Körper). Zu russ. *железо* und *железа* gesellt sich noch russ. *желвак* 'Beule'. Schon V. Dal' wußte um diese Wortverwandtschaft. Zu diesem Ergebnis war auch ich bei meinem früheren Deutungsversuch von *железо* im Jahre 1957 gelangt: Danach war slaw. **želězo* eine suffixale Ableitung der Wurzel **žel-* 'etwas Hartes, Beulenartiges'[9]. Nur war ich mir damals noch nicht des ganzen Zusammenhanges mit der Raseneisenerzkultur bewußt, und auch die Verbindung mit *железа* 'Drüse' war damals noch nicht vollkommen durchdacht. Man beschreibt das Äußere des Raseneisenerzes als Gebilde von dichten, schweren Erdklumpen rotbrauner Farbe.

Merkwürdigerweise findet in den neueren Studien über das Frühindoeuropäische und die Frühindoeuropäer das Eisen — darunter Meteoriteisen, Erzgrubeneisen und dessen Verarbeitung — genügend Beachtung, aber gerade das Rasen-

---

[8] Vgl. *В. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955. С. 530.

[9] *О. Н. Трубачев*. Славянские этимологии 1—7 // Вопросы славянского языкознания. Вып. 2. М., 1957. С. 31—34.

eisenerz blieb wenig beachtet, obwohl diese Nichtbeachtung eine Verkennung nicht nur der richtigen Etymologie, sondern auch der ethnogenetischen Zusammenhänge nach sich zieht. Dabei wird in Vorderasien vergeblich das gesucht, was uns in Form des Raseneisenerzes allerorts sozusagen zu Füßen liegt. Für unsere etymologischen Ziele ist eigentlich nicht die weitere Wortbildungsanalyse von **žel-* (Wurzel), *-ěz-o-* (Suffix) von Bedeutung als vielmehr die Tatsache, wie sich die Beziehungen von *железо* und *железа* zueinander gestalten, sowie der Umstand der Motivierungsweise des einen Wortes durch das andere. Die semantische Beziehung *железа* → *железо* haben wir schon beleuchtet, doch die Hauptsache ist noch zu erläutern: der Vokalismus und der Akzent. Es kommen hier, besonders bei den *железа*-Entsprechungen, merkwürdige Nachahmungen der teltalternationen (russ. dial., ukr., bruss. *залоз(к)а*, tschech. *žláza*, skr. *žlijèzda*, bulg. *жлеза́*, slov. *žléza*) vor, aber das wichtigste ist, daß das Wort *железа* im ganzen einen sehr altertümlichen Kurzvokalismus aufweist, wie auch die Reduktionsvarianten in poln. *zołza*, os. *žałza*, ns. *załza* lehren. Demzufolge ruht der ursprüngliche Akzent auf der Endsilbe in russisch *железа́*, vgl. auch skr. *žlijèzda*, mit gesetzmäßiger Übertragung der Betonung von einer kurzen oder zirkumflektierten Silbe (Schleifton in Akk. Sing. *же́лезу*) auf eine Sible mit Stoßton (hier die ursprünglich lange nominative Endungssilbe *-a*). Im Wort *железо* dagegen haben wir die Betonung stets auf der Wurzel, die mit der Vokallänge im Suffix (urslawisch **želězo*) zusammenfällt, was wir als eine Akutlänge — eigentlich eine Dehnung im abgeleiteten Wort — anzusehen geneigt sind. Die Beziehungen **želězo* — **žel(e)za* erinnern uns dabei an das bekannte Paar *воро́на* 'Krähe' (Akutlänge in der Ableitung **vōrna* **) — *во́рон* 'Rabe' (Schleifton urslawisch **vōrnъ* **). Zugestanden sei, daß sich die Einzelheiten unterscheiden (*ворона* : *ворон* ist eine reine tort-Formel). Die Hauptsache ist, daß die Länge (Jat') in **želězo* eine Innovation ist (man nahm das auch früher an, denn der Vokalismus der baltischen Entsprechungen besagt das ebenfalls); diese Länge hat den Charakter einer abgeleiteten Dehnung *e* → *ě* (in dieser Frage gab es früher keine Klarheit; dies betrifft ebenfalls die Verwandtschaft von *железо* : *железа*). Ein diphthongischer Ursprung des Jat' in **želězo* ist somit ausgeschlossen. Die baltischen Formen weisen stets den kurzen Wurzelvokalismus auf — in den beiden Varianten **gelž-* und *gelež-*. Merkwürdigerweise kamen die Beziehungen zwischen 'Drüse' und 'Eisen' im Baltischen ganz anders zum Ausdruck als im Slawischen, und zwar äußerst eigenartig: Auf die abgeleitete Form **geležōn-* wurde die primäre Bedeutung 'Drüse' übertragen und auf die primäre Form **gel(e)ž-* die sekundäre, abgeleitete Bedeutung 'Eisen'.

О 'РЯБЧИКЕ', 'КУРОПАТКЕ' И ДРУГИХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПРАРОДИНЫ И ПРАЭКОЛОГИИ[1]

Хеннинг Андерсен, профессор славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, известный своими трудами по исторической и описательной фонетике, морфологии, типологии и лингвистической географии славянских языков, выступил на этот раз в несколько новой для себя области, если иметь в виду предпринятые им интенсивные разыскания в области этимологии слов — названий рябчика и куропатки в славянских языках. Однако проявленная им при этом широта взгляда, равная и глубокая заинтересованность во многих, подчас весьма различных, аспектах исследования, высокая теоретичность с одновременным очень пристальным вниманием к конкретному факту — будь то языка или истории культуры, иными словами — все лучшие качества, проявленные и накопленные опытом предшествующих работ этого датско-американского ученого, делают чтение этой новой его работы остроинтересным и поучительным. Обратившись в данном случае к преимущественно традиционной, этимологической, тематике, Андерсен намеренно трактует ее в подчеркнуто современной манере, давая понять, что для его задач это не центральный, а как бы о д и н и з м н о г и х аспектов исследования. Это находит свое выражение в том, что этимология (все же занимающая видное место в авторской методике) не вынесена в заглавие статьи, где сделан нарочитый акцент на включенности (всей) лингвистики в культурологию и даже на модной теперь экологии. Нельзя не отдать должное

[1] Нижеследующая статья основана на чтении английского оригинала: *H. Andersen*. A glimpse of the homeland of the Slavs: ecological and cultural change in prehistory. Непосредственно к нему восходят и все цитаты в моем переводе. — *О. Т.*

автору — даже будучи вынуждены признать крайними или преувеличенными ряд его утверждений (о чем специально ниже), согласимся, что столь же, пожалуй, часто именно его трактовка, его острые наблюдения расчищают путь к реконструкции славянского языкового и культурного прошлого в самом широком смысле.

Поскольку новая работа Х. Андерсена довольно обширна и вследствие этого труднообозрима, для начала напомню ее основные положения. Наблюдательный автор прежде всего констатирует факт некоторой избыточности славянской терминологии, относимой к позднепраславянскому времени, а именно наличие двух названий для ‘рябчика Bonasa bonasia’: **jerębĭ* и **lěščarŭka*, и двух — для ‘куропатки Perdix perdix’: **jerębĭ* и **kuropŭty*[2]. Андерсен прав, полагая, что вскрытая им таким образом синонимия и полисемия требуют специального объяснения. При этом отмечается, что **lěščarŭka* ‘рябчик’ и **kuropŭty* ‘куропатка’ представляют собой (практически до сих пор) «прозрачные образования», в отличие от затемненного (opaque) **jerębĭ*: **lěščarŭka* ‘рябчик’ — производное от **lěščarĭ* ‘заросли орешника’ (рябчик любит обитать в орешнике), причем вполне уместно указывается на семантическую параллель нем. *Haselhuhn* ‘рябчик’, англ. *hazel-grouse*, *hazel-hen* то же — соответственно от *Hasel*, *hazel* ‘орешник’; далее, упоминается привычная семантическая реконструкция **kuropŭty* как ‘куриная птица’, что, впрочем, автором потом в сущности пересматривается. С этимологической прозрачностью и **lěščarŭka* и **kuropŭty*, тем не менее, связывается идея инновации, для первого — в масштабах балканского славянства, для второго — у западных и восточных славян, хотя автор не может не признать наличия продолжений **kuropŭty* также в словенском и сербохорватском. Наверное, Андерсен прав также, упрекая этимологов в том, что они до сих пор не задумывались, п о ч е м у **jerębĭ* стало названием таких р а з н ы х птиц, как куропатка и рябчик; сам он считает, что на куропатку оно перенесено вторично. Отмечается и такая существенная (экологическая) деталь, как дополнительное распределение обеих птиц по отношению друг к другу: рябчик — птица лесная, а куропатка — наоборот, птица степей. Весьма пластично рисуется автором картина постепенной миграции к северу именно куропатки, что связано с культурным расширением степи за счет лесов. Здесь, как и в ряде других аспектов, автор касается и вопроса славянской прародины, считая, что предки славян жили в лесах Восточной Европы, знали рябчика и не знали куропатку, с которой наиболее южные из них могли познакомиться как со степ-

---

[2] Сохраняем здесь авторское предпочтение несколько архаизирующей реконструкции преимущественно французской школы Мейе—Вайяна, оставляя за собой право более привычной трактовки *ŭ* как ъ, *ĭ* как ь.

ной птицей и перенесли на нее название рябчика — **jerębĭ* (эти разные птицы внешне похожи). Более южные славяне, как уже сказано, нарекли 'рябчиком' 'куропатку' (**jerębĭ*), а «потом», встретив в лесах Балкан рябчика, назвали его новым **lěščarŭka*.

Привычное объяснение родственной лексической группы рус. *рябчик* ~ *рябина* ~ *рябой* как основанной на определении цвета заменяется у Х. Андерсена совсем иным направлением семантического развития, причем 'рябина' реконструируется как первоначально 'рябчиковая ягода', а само 'рябой, пестрый' — как 'рябчиковый', что подкрепляется аналогией англ. *pied* 'пестрый, разноцветный' на базе *pie* 'сорока'. Мысль о том, что в основе всей семьи слов лежит название птицы, ученый аргументирует эффектным наблюдением, согласно которому шире всего представлены родственные названия 'рябчика' — в славянском, восточнобалтийском и германском, далее идут названия 'рябины' — в славянском и части восточнобалтийского, притом что значение 'рябой, пестрый' фигурирует только в славянском. Небезынтересно замечание, что *(*je*)*rębina* 'рябина' — единственное прозрачно мотивированное название среди прочих названий деревьев, хотя именно рябина — святое дерево у ряда индоевропейских народов, чего автор не может сказать о рябчике. Свою точку зрения он имеет и на словообразовательно-морфологическое членение, понимая *erimbi-* / *rimbi-* (протоформу слав. **jerębĭ*) как производное с индоевропейским суффиксом *-n̥-bho-* от и.-е. *h_1*er-* 'птица', все вместе — якобы уменьшительное 'птичка', сюда же *er-il-a-* / *ar-il-a-* 'орел'. Любопытны и культурологические суждения о том, что первоначальными пасхальными яйцами (весенний праздник плодородия) были яйца рябчика. Нельзя пройти мимо курьезного этимологического прочтения рус. *ку́рочка ря́ба* как «the grouse hen, рябчиковая курочка», хотя приводимая тут же англосаксонская аналогия «Little Red Hen», кажется, выглядит мотивированной как раз со стороны цвета, а не со стороны рябчика. Весьма смелы авторские построения относительно связи герм. **erpa-* 'коричневый' < сев.-зап.-и.-е. *(h_1)*erb-* / *(h_1)*r̥b-* 'рябчик' с греч. ἔρεβος 'мрак' etc. от и.-е. *$h_1 reg^w$- 'темный', для чего автор вспоминает даже гипотезу о «темематических» смычных (слав. *mediae* вместо и.-е. *tenues* и т. д.) в очень спорной книге австрийца Хольцера. Итогом этих рассуждений является вывод о том, что название рябчика могло быть заимствовано из индоевропейского диалекта — предтечи германского, балтийского и славянского, поглощенного этими последними «в лесах Восточной Европы»... Когда автор заявляет, что «каково бы ни было происхождение (названия рябчика. — *О. Т.*), оно семантически не мотивировано (т. е. лексически изолировано) в славянском, балтийском и германском праязыках», — складывается впечатление, что его (Х. Андерсена) анализ достиг критической точки, не говоря о внутренних противоречиях

(см. выше его же этимологию слав. **jerębĭ* 'рябчик' от **$h_1$er-n̥bho-* 'птичка'?). Правда, констатируется такая индоевропейская особенность, как аблаут — протослав. *ērb(ā)-*, протобалт. *ērb-ē-* и т. д. (детали спорны). Вместе с тем протослав. *raiba-* etc. и праслав. **(je)rębŭ* рассматриваются как чужеродные апофонические ряды, причем первое вытеснялось вторым.

Здесь временно расстанемся с 'рябчиком' и посмотрим, как автор решает вопрос с 'куропаткой' (вторая половина работы). Позднепраславянская реконструкция **kuropŭty* 'куриная птица' вызывает у него сомнения как со стороны формы, так и со стороны содержания: отклонений вроде **koro-*, **kor-*, **kro-* гораздо больше, чем обычно постулируемого **kuro-*. Бегло высказанная им самим здравая мысль о реальности табуирующих искажений охотничьей терминологии одиноко повисает в воздухе. Андерсен склоняется к тому, что изменения типа *koro-* > *kuro-* осуществились по народной этимологии, причем признаются периферийность и изолированность случаев **kuro-* (? — До сих пор именно эта лингвогеографическая черта обычно считалась сигналом первичности). Примерно то же и буквально на тех же основаниях утверждается о замене **pat-* на **pŭt-*. Автор прав, упрекая нас, этимологов, в том, что мы упустили из виду этимологию и реконструкцию Вайяна — **kropaty* ж. р. 'куропатка' < прил. **kropatŭ* 'пестрый, пятнистый', но в дальнейшем все же станет ясно, что это не более как вопрос неполноты библиографии. Сам Андерсен на этой этимологии тоже больше не настаивает, высказывая другие оригинальные соображения. Его протославянская реконструкция — *karp-ā-ta-*, типа *bard-ā-ta-* 'бородатый', откуда производное на *-ū*-основу женского рода *karp-āt-ū-* (приводятся в качестве подтверждений отадъективные производные на *-ū-* праслав. **pĭstrū* < **pĭstry* 'форель', **suxŭ* > сербохорв. *suhva*, но ни одного случая на *-atъ* > *-aty* / *-atъve* среди них нет). Дальнейшая, в том числе семантическая, реконструкция задает автору немало хлопот на избранном им направлении. Его внимание привлекает гнездо протослав. *kurpā-tēi* 'драть, щипать, резать', откуда и праславянское название обуви **kŭrpĭ*. Дело в том, что серая куропатка — птица мохноногая. Ее научное название — Lagopus, что по-гречески значит 'зайцелапая'. В этом смысле Андерсен и понимает реконструированное им протослав. *karpā-tā-*, хотя его самого смущает полученный при этом полный вокализм (для обувного термина праслав. **kŭrpĭ* обычен нулевой вокализм корня). Terminus post quem для сближения **kuropŭty* с **kurъ*, **kura* 'курица' — введение домашнего куроводства у славян, которое, надо сказать, датируют довольно рано, до начала нашей эры.

Весь протославянский ареал с формой *erimbi-* на западе и *rimbi-* на востоке, по Андерсену, непротиворечиво локализуется, согласно традиции, между Верхней Вислой и Средним Днепром, южнее Припяти, в южной части лесной зоны. Большое значение наш автор придает «абсолютной экологиче-

ской границе лесной и степной зон» для семантического переноса протослав. (*e*)*rimbi*- 'рябчик' > 'куропатка', а также для момента пересечения славянами этой границы с с е в е р а н а ю г. Размышляя в русле традиционных представлений о среде обитания славян, Андерсен полагает, что «семантический перенос с 'рябчика' на 'куропатку' является неопровержимым свидетельством доисторического события, когда одна часть славян начала заселять степь и повернулась спиной — в культурном и лингвистическом смысле — к лесной среде обитания своих предков». Соглашаясь с Ф. П. Филиным, когда тот специально говорит об отсутствии в славянских языках общей лексики для степной флоры, фауны и т. д. [Филин 1962: 112, 119—120], наш автор вместе с тем вынужден признать: «Но предложенный здесь анализ двух праславянских слов для куропатки — типичной представительницы степной фауны — показывает, что стоит обратить больше внимания на лексическое содержание этой терминологии». Запомним эту авторскую мысль, считая, со своей стороны, что спор между «лесной» и «степной» (лесостепной) концепциями славянской прародины отнюдь не закончен, он продолжается, стимулируемый новыми плодотворными импульсами вроде новой статьи X. Андерсена. Есть еще немало рутинно недооцениваемых или не получивших адекватной характеристики языковых фактов, как, например, отсутствие старого, праславянского названия для такой лесной птицы, как 'глухарь Tetrao urogallus', что успел с достаточной объективностью отметить наш автор, сторонник «лесной» прародины славян. Можно, конечно, сослаться на то, что глухарь — обитатель «северных частей лесной зоны», и Андерсен делает это. Но недвусмысленная дискуссия может быть продолжена и применительно к более южным зонам, также имеющим вероятное отношение к древним местам проживания славян.

Прежде чем изложить наши замечания о предмете исследования Андерсена в более связной форме, позволим себе обратить внимание на название еще одной птицы, не рассматривавшееся автором, тем более что это название, кажется, даст возможность увереннее судить о материале статьи Андерсена, а может быть, и о «степной» (южной) версии славянской прародины в целом. Я имею в виду название 'дрофы Otis tarda', относимое нами к праславянскому лексическому фонду в реконструированной праформе **dropъty*, род. п. **dropъtъve*, см. [ЭССЯ, 5: 125—126]. Речь идет о широко распространенном слове, причем затемненность ряда форм говорит, скорее, в пользу его древности, а корректность принимаемой нами реконструкции подтверждается отдельными реально засвидетельствованными формами, в первую очередь — старочешской (ниже). Значение в основном всюду одно и то же — 'дрофа Otis tarda' (отклонения явно вторичны и иррелевантны): болг. *дро́пла* (Геров: *дро́плю*), сербохорв. *дрȍпља*, словен. *drôplja*, ст.-чеш. *droptva*, чеш.

drop м. р., словац. *drop* м. р., польск. *drop* м. р., род. п. *dropia*, рус. *дрофá*, укр. *дрохвá*, блр. *драфá*. Фонетическое развитие исхода слова пошло по линии упрощения / упрощений *p(t)v* > *f'* или *p∅*, или же различных диссимиляций с результатом *pl(j)*, *pj*. Первоначальное состояние при этом просматривается достаточно четко, и это немаловажно для наших задач: речь идет о гетероклитической основе на *-ū* / *-ъve* и даже точнее — о сложении со вторым компонентом *-pъty* / *-pъtъve*. Первый компонент сложения — *dro-*, к глаголу **derǫ*, **derti* / **dьrati* 'драть', фигуральное употребление которого 'быстро бежать, удирать' имеет еще (пра)индоевропейскую древность, прочие детали, связанные с первым компонентом, здесь не столь важны. Первоначальное значение всего сложения **dropъty* в целом будет 'быстро бегающая птица'. В смысле исторического словообразования (как, впрочем, и в целом ряде других отношений) очевидно праславянское **dropъty* / *dropъtъve*, несомненно, стоит рядом с **kuropъty* / **kuropъtъve* как двучленный композит с основой на *-ū*. Конечно, можно бы было возразить, что формальный рисунок у **dropъty* несколько иной, чем у **kuropъty*, хотя бы в том отношении, что формы типа **dropotka*, **dropatka* характерным образом отсутствуют. Допустимо высказать предположение, что здесь сказались морфологические и прежде всего акцентуационные различия: в случае с **dro-pъty* с его сверхкратким первым компонентом первоначальное ударение так и осталось на исходном гласном всего сложения, ср. рус. *дрофá* и другие однородные восточнославянские свидетельства. В случае с **kuro-pъty* с полным вокализмом первого компонента существовали предпосылки для выработки (особенно после падения редуцированных) более нейтрального варианта со смещенным к середине сложного слова постоянным ударением типа «нового акута». Так появились рус. *куропáтка* и многочисленные другие аналогичные формы, — весьма вторичный продукт из предыдущего **кýрóпатка* и даже более первоначального **кýрóпотка*, **кýрó-пътъка*. Об этом могут свидетельствовать формы др.-рус. *куропоть* (XVII в.), рус. диал. (сев.-великорус.) *кýропоть*, *кýропть* ж. р., см. данные в [ЭССЯ, 13: 127—128], русская фамилия *Куроптев*, продолжающая архаичную огласовку апеллатива. Возвращаясь к не совсем обычной — для восточнославянского и некоторых других славянских — рефлексации *ъ* > *а* в *куропáтка* etc., уместно отнести ее за счет охарактеризованной выше стабилизации ударения, сославшись при этом еще на аналогичные нарушения «стабилизационного» характера: *кошáчий*, *лягушáчий*, стар. *лягýшечий*, ср. [Kiparsky 1962: 259], где высказана однозначная отсылка последних к основам на *-ęt-*, но наличие здесь исходных форм на *-ьк- кóшка*, *лягýшка* и отмеченного колебания свидетельствует против такой однозначности.

Означенная рядоположенность **kuropъty*, **dropъty*, прежде всего — их принадлежность к гетероклитической основе на *-ū* / *-ъve*, имеет отнюдь не ин-

новационный, скорее — архаический словообразовательно-морфологический характер. Это имеет самое прямое отношение к образованию и происхождению **kuropъty*, *куропатка*, спорность трактовки которого у Х. Андерсена уже была намечена выше, начать хотя бы с этой его гипотезы о вторичном преобразовании исхода некоего условного прилагательного на *-atъ* по модели *-ū* / *-ъve* и столь же гипотетического предположения о переосмыслении *...patъ* > *pъt-* и вынужденного принятия серии «народных этимологий», призванных оправдать осмысление первоначального однокоренного прилагательного **korp-atъ* как двукорневого композита **kuro-pъty*. Таким образом, ясно, что на этимологию и праисторию славянского названия птицы **kuropъty* мы смотрим существенно иначе, чем Х. Андерсен. Речь должна идти не о «сближении» **kurъ*, **kura* 'петух, курица', а об образовании **kuro-pъty* от **kurъ*. Конечно, домашняя курица Gallus domesticus к нам импортирована извне (со Средиземноморского Юго-Запада? с Иранского Юго-Востока?), хотя было это очень давно. Означает ли это, что заимствовано было и слово **kurъ*? Тот факт, что оно было употреблено при образовании названия д и - к о й птицы куропатки, делает это сомнительным. Остается напомнить то, что было сказано на этот счет раньше: «Вообще не следует смешивать факт относительно позднего культурного заимствования и распространения курицы как домашней птицы в Европу с Востока (курица как «персидская птица» в Греции) с древним наличием звукоподражательного наименования, вторично употребленного о домашней курице. Относительная древность и исконность слав. **kurъ* подтверждается старым его употреблением в топонимии и гидронимии, ср. *Кур*, *Курица*, *Курец* в русской гидронимии, болг. *Курец*» [ЭССЯ, 13: 130]. Оттуда же приведем цитату из, как всегда, несколько аподиктичного, но проницательного Брюкнера: «Во всяком случае слово *kur* — праславянское и притом извечное. Литва его не знает». Локализовав тем самым смущающий фактор культурного куроводства (о значении которого Андерсен много говорит, и мы также далеки от того, чтобы умалять это значение), мы можем поставить вопрос о семантической реконструкции праслав. **kuropъty* как 'горластая, шумная птица'[3]. Его вскрываемая при этом как бы описательность (иносказательность?) едва ли нужно обязательно толковать как в чистом виде неологизм (новая реалия = новое название). Здесь, похоже, налицо элемент охотничьего табу, о необходимости учета которого применительно к куропатке уже было бегло упомянуто выше, в том числе самим Андерсеном, который мысль эту, к сожалению, бросил, не развив. А возможно, перед нами как раз один из примеров табуирования названия куропатки; дру-

[3] Экспрессивность обозначенной куропатки идет еще дальше в «классических» языках: греч. πέρδιξ, буквально 'Farzerin, п...унья', аналогично — κακκάβη.

гой пример того же — серия наименований куропатки по цвету, от *(*e*)*rębъ* / *(*a*)*rębъ*, о чем мы будем еще говорить. Для того чтобы вводить одно и другое, не кажется необходимым для славян вторгаться в степную зону извне, из более северных лесов, как это эффективно рисует нам автор. Ведь в сущности для этого достаточно было извечно жить в степях, а скорее, похоже, в зоне лесостепи, луговой растительности, и при этом выражать свою вполне понятную озабоченность результатами жизненно важной охоты описанными выше актами обновления (alias табуирования) своей терминологии. Что речь шла изначально о степных пространствах как среде обитания, выглядит вполне правдоподобно после того, что уже сказано о дрофе, с характерной дефиницией последней в русской толковой лексикографии: 'крупная степная птица семейства журавлиных'.

Итак, резюмируя то, что, по нашему мнению, послужило культурно-экологической мотивацией дескриптивного праслав. **kuro-pъty* 'шумная, голосистая птица', в основе называния тут лежит не акт встречи с абсолютно «новым» при пресловутом движении с севера на юг, а извечная потребность в иносказании по отношению ко всегдашнему объекту охоты. Обновленное иносказание, обнаруживающее себя как табуистический по природе феномен, объясняется скорее изнутри языка, сущности называния вообще и из традиций охотничьего языка в частности. Фактор среды обитания, экологии присутствует (мы говорим о степной зоне, например), но его надлежит трактовать не простодушно-прямолинейно, а преломленно, т. е. именно так, как нам подсказывает сам язык.

Руководствуясь этими, как нам представляется, плодотворными мыслями, мы обращаемся к другим лексемам из затронутой сферы. Попытаемся взглянуть на них, исходя из нашего постулата, что славянин знал куропатку изначально, а не встречал впервые и при каких-то внешних обстоятельствах (см. выше о миграции на юг). Таким образом, именно уклончивость как сущность табуистического иносказательного наименования объясняет, кажется, те двусмысленности, совершенно, впрочем, ясные древнему славянскому птицелову, но несколько затрудняющие понимание непосвященным, в чем и был, собственно, смысл всякого подобного называния. По-моему, это дает возможность ответить положительно на вопросы, которые во множестве задал еще вначале Х. Андерсен: почему **arębъ/ь* (у Андерсена: **jerębĭ*) называло столь разных птиц, как куропатка и рябчик? — С точки зрения охотника, sapienti sat. И на вводные недоумевающие вопросы нашего автора (почему и откуда синонимия и полисемия: **arębъ/ь* 'рябчик; куропатка', **lěščarъka* 'рябчик', **kuropъty* 'куропатка') полномочна давать ответы социальная диалектология (описанное выше промысловое табуирование), разве что при условии дополнительного распределения с диалектоло-

гией ареальной, ср. факт сходности принципов называния 'рябчика' (**lěščarъka* : *Hasel-huhn*) и 'куропатки' (**arębъ/ь* : *Reb-huhn*) в части славянских и части германских языков как очевидно вторичное (контактное?) явление. В связи со сказанным, для нас, думаю, отпадает избыточная постановка вопроса Андерсеном о «затемненности» (opacity) праслав. **arębъ/ь* (у автора: **jerębĭ*) как названия птицы. Здесь все кажется ясным как субстантивация прилагательного **arębъ(jъ)* 'рябой, пестрый' в качестве такого названия. Ведь совершенно (синхронно) наглядно и наше *рябчик* есть не что иное, как суффиксальная субстантивация прилагательного *ряб*(*ой*). Апеллировать к мнимой иррелевантности признака 'пестроты' как якобы свойственной слишком многим птицам простительно, наверное, для кабинетного дальтонизма; праславянин в этом разбирался без колебаний (см. выше). Понимание *рябина* как «рябчиковая ягода» и *курочка ряба* как «рябчиковая курочка» (!) мы, конечно, отклоняем как искусственное: издержки усложненного анализа там, где правильное прочтение лежало, так сказать, на синхронной поверхности, потому что и 'рябина Sorbus aucuparia' и фольклорная курочка продолжают восприниматься носителем русского языка так, как были названы вначале — как 'рябые, пестрые'.

Утверждать после всего отмеченного выше (как это делает Андерсен), что название рябчика не мотивировано семантически и изолировано лексически, значило бы не видеть выгод синхронии и одновременно слишком вольно толковать возможности диахронии. Общая перевернутость авторских суждений с ног на голову (не 'рябчик' от 'рябой', а наоборот) и, кажется, чрезмерная доверчивость постулатам новой сравнительной мифологии (трехчастность мира, и 'птицы' обязательно как 'летающие' существа верхнего мира) имплицируют нам авторскую этимологию праславянского названия рябчика: **jerębĭ* как индоевропейский деминутив **h₃n̥bhi-* 'птичка', якобы антонимичное **h₃er-el-* 'орел' («большая птица»?), что, конечно, все в целом очень сомнительно. Дело даже не в том, что в такой индоевропейской диалектной ветви, как балтийская, *-l*-форманты подчеркнуто деминутивны ('орел', выше, как аугментатив проблематичен), а в том, скорее, что и.-е. **er-* / **or-*, действительно вычленяемое в индоевропейских названиях орла, далее — не только в греч. ὄρνις 'птица', но и в ἔρνος 'отпрыск, потомок', естественно отпочковались от глагола с семантикой 'начинаться, рождаться'. И в этом последнем, и в ряде синонимичных примеров приходится считаться с этимологией лексем, обозначающих 'птицу' не как первоначальное 'летун', а 'детеныш, выкормыш'. Эти рассуждения, более подробно изложенные в другом месте [Трубачев 1980, II] или — местах, если иметь еще в виду мою книгу «Этногенез и культура древнейших славян» (М., 1991), где сделана попытка реконструкции восприятия древним славянином птиц («птицы-детки») в рамках более общей

древней идеологии рода и антропоцентризма, — эти рассуждения призваны здесь, главным образом, показать неубедительность членения названия рябчика как **er-imb-i-*. Эта этимология неправомерно разрушает единство древнего апофонического ряда **raib- / *roib- / *remb- / *romb-*, который, по нашему убеждению, представлен в лексике с семантикой рябизны, пестроты, разноцветности. Гласное начало (*a-* и варианты, см. [ЭССЯ, 1: 73 и след.: **arębъ*]) может отсутствовать или присутствовать уже с древних времен, представляя порой трудности для своей функциональной характеристики: префикс или преформант? Что касается корня и его чрезвычайно разнообразных вариантов, то они требуют внимательного учета и трактовки, адекватной их древности и пестроте (чистые гласные дифтонги наряду со смешанными, носовыми дифтонгами и даже редукционными вариантами). Примат значения 'рябой, пестрый и т. п.' не оставляет у нас при этом никаких сомнений, особенно если отдавать себе отчет в потенциальной чрезвычайной лексико-семантической широте соответствующего гнезда, включавшего, по-видимому, далеко не только названия пестрых птиц. Важно по-прежнему считаться с вероятием того, что широкие потенции этого лексического гнезда на редкость удачно наложились на предрасположенность языка древних добытчиков к табуированию, к применению приблизительных атрибутивов. Утверждая это, я имею в виду, например, давний опыт В. Н. Топорова по этимологии праслав. **ryba* [Топоров 1960, 1: 5 и след.]. Сам факт забвения славянским праиндоевропейского названия рыбы, которое могло иметь вид **zъvь*, также не случайно и уже давно ассоциируют с табуистическими мотивами. Поэтому этимология родового названия для 'рыбы' от табуистически маркированного корня **raib- / *roib-* (сам Топоров склонялся к мысли о наличии здесь сочетания *u* с носовым согласным), в наших глазах, сохраняет серьезное значение. При стандартно принимаемом обычно *ū* как источнике славянского *y*, следует считаться с вероятием также других его источников, прежде всего — дифтонгических. Уровень описания и непосредственного наблюдения также подтверждает реальность такого происхождения, начиная от отражения славянского *y* как [ui] в формах, заимствованных в другие языки из славянского, и кончая древним графическим начертанием *y* как кириллического ъı и глаголического ⱏⰹ, т. е. в сущности диграф (и дифтонг) *ŭi*. Все это имеет самое прямое отношение к адекватной трактовке сложного апофонического ряда, куда принадлежат наши *рябой*, *рябчик* (**ręb- < *remb-*), но и *рябец* 'лосось Trutta', далее — укр. *рiбий* (**rěb- < *roib-*), наряду с *рябий* 'рябой', но и *рыба*, **ryba* (**ruib-*), как напоминание нам о том времени, когда праславяне, охотясь за рыбой, именовали ее столь же уклончиво 'пестрой', 'рябой' (думают, что сначала имелись в виду лососевые, ср. [Коломиец 1983: 28—29]), как и разные виды птиц.

* * *

Вот и все пока о ‘рябчике’ и ‘куропатке’ с точки зрения лингвиста-этимолога. За скобкой, несмотря на экскурсы, в основном осталось то, что историю культуры интересует в первую очередь: ареальная проекция затронутых языковых явлений. Хотя здесь в общем удалось определить свою позицию, надеюсь, не впадая в противоречия ни с данными языка в их ареальном выражении (затронутые антитезы лес — степь, север — юг), ни с собственной среднедунайской концепцией прародины славян. Говоря о последней совсем уж кратко, нам больше импонирует мысль о раннем знакомстве славян с природой Венгерской (лесо)степной равнины (ср. самобытный славизм венг. *puszta* ‘степь’ из **pusta*, sc. l. *zemja* ‘пустая (земля)’), а не с аридными степями Северного Причерноморья, во всяком случае — в предскифскую эпоху.

Литература

Коломиец 1983 — *Коломиец В. Т.* Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983.

Топоров 1960 — *Топоров В. Н.* Из праславянской этимологии. RYBA // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 1. М., 1960.

Трубачев 1980 — *Трубачев О. Н.* Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980, № 3.

Филин 1962 — *Филин Ф. П.* Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974; Вып. 5. М., 1978; Вып. 13. М., 1987.

Kiparsky 1962 — *Kiparsky V.* Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962.

Часть IV

ЯЗЫК,
ИСТОРИЯ
И КУЛЬТУРА

РЕПЛИКА ПО БАЛТО-СЛАВЯНСКОМУ ВОПРОСУ

Новую балто-славянскую серию уместно напутствовать самыми добрыми пожеланиями успеха; не менее уместно, как человеку заинтересованному, — высказать по этому случаю свои собственные соображения и, наконец, выразить некоторые надежды в данной области науки. Серьезный уровень обмена мнениями гарантирует серьезная подготовительная работа составителей сборника. Подбор статей и материалов как бы приглашает к деловому и конкретному обсуждению проблем, которые занимают всех нас. Деловое, острое и фундированное материалом обсуждение проблем — это то, что нужно нашей науке, и статьи настоящего сборника служат весьма благодатной почвой для этого. Состав их необычно многоаспектен — от групп крови и культуры до того главного, что делает балтов балтами, а славян — славянами, — их языка. Отрадна широта, которой проникнуты статьи. Не самодовлеющий единственный метод анализа, а свой материал как подступ к большой задаче, как правило, не укладывающейся в одну методику. Такая междисциплинарная солидарность очень нужна современной небывало разросшейся науке. Описание нынешней языковой ситуации совершенно справедливо понимается (и предпринимается) как «возможность сквозь призму настоящего взглянуть и на прошлые этапы…».

«Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем» — это необходимый аспект, без которого, видимо, нельзя изучать эти контакты «в прошлом», иными словами, нынешние контакты балтов и славян — это резерв реконструкции их древних контактов. Больше того, нынешние их контакты, mutatis mutandis, могли бы нам послужить моделью тех балтославянских контактов, которые были 2000 лет тому назад… Не выпячивая отдельных остродискуссионных моментов, можно было бы говорить при этом о контактах родственных диалектов, в от-

13. Заказ № 2419.

ношении к которым не следует слишком преувеличивать ни близость, ни расхождения. Контакты — там, где они действительно возникали, — могли очень постепенно выработать в пограничной зоне то единство способов выражения, которое бывает в условиях языкового союза. Не об этом ли языковом союзе свидетельствует та легкость и достижимость точного перевода с литовского на русский, resp. белорусский и обратно?

Конечно, реконструируя и моделируя древние балто-славянские контакты по нынешним их контактам, мы неизбежно ощутим неравномерность или просто нехватку данных. В наиболее выгодном положении оказывается при этом изучение балто-восточнославянских контактов: они продолжаются и сейчас. Продолжаются и балто-западнославянские, точнее, балто-польские контакты. Но уже контакты балтов с другими частями западнославянской территории остаются в глубокой тени. Скажем иначе: они мертвы, но в исторической их реальности трудно сомневаться. Древние балты, в том числе западные балты, должны были знать великие пути своего времени и проникали, в частности, через Моравские ворота в Моравию, в говорах которой этимология выявила ряд локальных лексических балтизмов, к которым, возможно, причастны зашедшие сюда галинды (или их ветвь). В равной степени мертвы балто-южнославянские контакты, историческая реальность которых доказывается рядом сепаратных балтизмов в южнославянских языках, о чем, кажется, впервые в свое время заговорили именно в Институте славяноведения АН СССР: в болгарском, а также сербохорватском и даже словенском языке. Факт наличия их там крайне интересен, потому что появиться они могли в славянских диалектах еще до того, как те стали южнославянскими, т. е. не менее полутора тысяч лет назад, а скорее, еще раньше. То обстоятельство, что эти южнославянские балтизмы уже выглядят как совершенно обособленные, не мотивированные на славянской почве лексемы, проливает свет на характер балто-славянских контактов в древности: они во многом напоминают современные, когда и балтийский и славянский имеют свою отличную физиономию.

Датировать сложение не только балтийского, но и славянского языкового типа надо, конечно, не I—VI вв. н. э., а гораздо более ранним временем. Славистика, изучающая праславянский язык, добилась в последнее время определенных успехов, к числу которых следует отнести концепцию диалектной сложности праславянского. Типологически поучительно было бы предположить нечто аналогичное и для балтийского языкового пространства в древности, т. е. скорее неоднородности его, чем однородности.

Балтийский язык входит в ареал распространения древнеевропейской гидронимии, некоторым исследователям он представляется даже

центром радиации этой древней гидронимии. Считается, что праславянский язык не входил в ареал древнеевропейской гидронимии, и это очень странно, потому что противоречит постулируемому надъязыковому и наддиалектному характеру названного гидронимического ареала, а также противоречит всем древним связям праславянского с другими индоевропейскими языками Европы, наконец, противоречит и теории выделения праславянского из недр прабалтийского или его западной ветви, которой в материалах сборника уделено немалое внимание. Здесь уместно вспомнить об известных больших различиях в лексике между балтийским и славянским, вместе с тем — о сходствах в древней терминологии славянского именно с языками центральноевропейского района. Сюда же надлежит отнести древние балто-славянские различия в морфологии, из них достаточно назвать такое капитальное, как наличие / отсутствие флексии *-n̥t-* в 3-м л. мн. ч. Порождение праславянского из западнобалтийского представляется в этих условиях слишком чудесным и загадочным. В самом деле, в условиях территориальной близости ожидалось бы гораздо большее сходство «предка» и «потомка», чем то, которое мы реально наблюдаем.

Стремление точно определить предка праславянского языка понятно. Вместе с тем не может не настораживать типологическая уникальность в индоевропейской глоттогонии предполагаемого акта порождения праславянского как некоего уравнения: западнобалтийский + италийский = праславянский (вар.: балто-славянский + иранский = праславянский). Архаизм балтийских языковых данных, как и инновационизм славянских, нередко относителен. Вспомним здесь Брюкнера: «Starożytność znowu języka litewskiego, na którą się wszyscy zawsze powołują, raczej pozorna i przypadkowa, niż rzeczywista, góruje w zachowaniu niektóryh dyftongów: *au*, *oi*, i końcowego *s*, jakie posiadają łacina lub greka; poza tą cechą byle narzecze słowiańskie jest niemal równie "stare", jak litewszczyzna, a nieraz starsze (np. w czasowaniu)» [1]. В славянском часто приходится иметь дело со своего рода о б н о в л е н н ы м и а р х а и з м а м и, отчего их общеиндоевропейская ценность не уменьшается. Да и так ли уж вообще реальны абсолютные архаизмы в той системе отношений, которую представляет собой язык?

Самобытность индоевропейского типа, представленного в праславянском языке, заслуживает, кажется, несколько большего признания. Вероятие происхождения из особых индоевропейских диалектов не исключает достаточно близкого родства с балтийским, помноженного на их ареальные контакты, порождавшие в ряде случаев сближение вплоть до неразличения и возмож-

[1] *A. Brückner*. Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne. Warszawa, 1904. S. 5.

ной двусмысленной атрибуции, которой более всего подошло бы название балто-славянский. В этом смысле даже фамилию *Королюк* можно трактовать как балто-славянскую, если она для одного из авторов предварительных материалов конференции «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом» (М., 1978), если я верно понял, по-видимому, интерпретируется из лит. *Karaliukas*, так сказать, 'mažas karalius' ('маленький король'), тогда как мы ее с неменьшим основанием читаем как славянскую (белорусскую, украинскую) патронимическую производную форму *Корол'-ук*, т. е. 'королевич', «Короленко».

В общем, балто-славянская проблематика вызывала много споров и прежде, едва ли они утихнут и в обозримом будущем. Комплексность подхода, безусловно, скажется здесь в свою очередь; археология, например, принесет свои споры (недавний международный симпозиум 1978 г. в Киеве «Этногенез славян» свидетельствует о том же). Диалог надо продолжать, удовольствовавшись для начала малым соглашением по вопросу, какой термин лучше — *балтский* или все-таки *балтийский*?

СЛАВЯНЕ, ЯЗЫК И ИСТОРИЯ

История славян накрепко связана с Европой. Это одна из реальностей жизни и сознания русских, украинцев, белорусов, болгар, македонцев, сербов, хорватов, словенцев, поляков, чехов, словаков и серболужичан ГДР — всех славянских народов. В Европе их предки — наши предки — приобщились более одиннадцати веков тому назад к великой греко-римской культуре, пополнив круг цивилизованных народов того времени; но в этой же самой Европе они жили и неизмеримо раньше — жили своим строем и умом, со своей самобытной культурой и своим языком. Вклад обеих названных культур и возможность проникнуть в древнейшие судьбы славянства, в самую суть этногенеза — происхождения славянских народов — остро занимает современную науку и, относясь к изучению далекого прошлого, стоит в ряду горячих проблем современности. И это понятно: наше прошлое — в нас сегодняшних. И сегодняшние славяне могут гордиться не только тем, чего они достигли, изменяясь в изменяющемся мире, но также тем, чем привлекательны те толстовские «Казаки», которые, неузнаваемо изменившись в окружении Кавказа, сохранили в неприкосновенности свой язык и веру. Разгаданное наукой замечательное свойство языка, — изменяясь, оставаться самим собой — помогает раздвинуть рамки познаваемой истории. Роль свидетельств языка неоценима и в области изучения прошлого славян, где живучи традиционные, подчас косные воззрения и — наоборот — порой поспешно объявляется отжившим то, что заслуживало бы спокойного изучения, где одни и те же вопросы по-разному решаются в славянских странах и в странах германо-романского Запада, где углубляются свои линии идейной борьбы и в новом обличье — вольно или невольно — возрождаются старые идеи. Ходячие истины бывают популярны, они как две капли воды «похожи» на правду и тоже «путешествуют без виз».

Начать с того, что, при всем прогрессе современной науки, ей далеко не во всем удалось освободиться от традиционных воззрений, сформированных в давних центрах христианской культуры в пределах Римской империи. Эта античная мировая держава отличалась удивительным моноцентризмом культурных интересов. Все, что было вне пределов римского «лимеса», сливалось в безликой массе «варваров» и не очень интересовало римлянина или эллина. Христианская доктрина оказалась еще более жесткой, и великие солунские братья Кирилл и Мефодий, даровавшие славянам письменность, сами полегли в борьбе против «треязычников», прокламировавших, что только на греческом, латинском и древнееврейском надлежит учить вере. Историческая наука базируется на письменных источниках, но эти источники составлялись людьми своего времени и своих интересов. Римские и греческие источники трактуют о славянах, как правило руководствуясь корыстными государственными и военными интересами, как правило — не столько о славянах, сколько — против славян, причем все это — в духе «хороших» требований стиля и учености своего времени, когда славяне нарекались то «скифами», то «гуннами». Кажется, ясно, как важно не принимать на веру многое в подобных реляциях. Тем не менее — и принимали, и унаследовали многое удобное из этого античного видения славян, и такие воззрения живут и здравствуют в серьезных трудах на Западе. Но сказать — только «на Западе» — значило бы упростить реальную сложную картину.

Древние писатели разноречивы: то простодушно рисуют славян кротко бряцающими на кифарах и лирах, не ведающими ни оружия, ни войн (Феофилакт Симокатта), то — дикарями, истребляющими женщин и детей, дабы ловко противопоставить их подлинным христианам (Псевдо-Цезарий), один и тот же авторитетный источник утверждает, что у славян не было опыта взятия крепостей, а несколько выше — пишет, что в Иллирии они взяли «многие крепости» (Прокопий). Книжный образ славянина-анархиста, воюющего пешком и вооруженного двумя-тремя дротиками, странным образом противоречит исторической правде, заключавшейся в том, что регулярные римские конные войска неудержимо пятились перед этими славянами, опасными будто только «во множестве», и тем не менее именно такую картину славян, «опасных, если только их возглавляют авары», обобщает известный французский византинист Лемерль. Но об аварах [1] — потом. Боясь и ненавидя славян и плохо понимая их тактику скифского боя с обманным бегством и засадами, стремились все истолковать к своей выгоде и к поношению якобы трусливых славян (таков рассказ Псевдо-Маврикия, стратега, о славянах, попрятавшихся в воду и дышащих через тростинку, — рассказ, обошедший все школьные хрестоматии мира...).

[1] Не смешивать с дагестанским народом аварцев.

Если бы мы не обратили должного внимания на данные языка, мы просто не знали бы всей исторической правды, которая состоит в том, что славяне ни в чем особенно не отставали от других современников по родоплеменному строю: важно знать, что они имели свои древние названия копья, щита, стрелы. Больше того: сомнительные рассказы древних писателей о пеших славянах, почти не знавших конницы, просто перечеркиваются свидетельствами языкознания о древности славянских названий седла и стремени. А это уже говорит не просто о езде верхом, но о кавалерийских усовершенствованиях, которых Запад долго не знал; при Александре Македонском и Юлии Цезаре и долго спустя там обходились без того и другого, ездили, сидя «охлюпкой», как сказал бы Даль. Такие факты нельзя игнорировать, но их игнорируют. Менандр Протектор включил в свое сочинение речь вождя склавинов (славян), исполненную дерзкого вольнолюбия и обращенную, между прочим, к аварам. Так вот, специалисты обратили внимание, что, в то время как славянские ученые обычно цитируют это место, ученые других стран его опускают. Почему? Не потому ли, что оно не вставляется в устоявшийся образ покорных славянских масс, неспособных к коллективным мероприятиям, подчиненных аварам, от которых славяне будто научились всему этому и, под аварским командованием, заняли Балканы. Здесь все неверно — и исторически, и хронологически, и лингвистически, и даже специалисты на Западе пытаются опровергнуть эту преувеличенную концепцию ига авар, от которых славяне будто столь многое восприняли. Но голос этих специалистов еще слаб, а пока что, не смущаясь неправдоподобием, пишут о рачительных господах-аварах не только в США и в ФРГ. Глубокое удивление и сожаление вызвала у нас недавно опубликованная статья немолодого чехословацкого ученого Людовита Новака «Происхождение славян и их языка», где — черным по белому — написано, что все свои сколько-нибудь значительные миграции славяне осуществили только «под командованием монгольской и тюркской верхушки» (!). Не хочется подвергать сомнению добросовестность отдельных ученых, и все же складывается впечатление, что не всем нужна историческая правда. Некоторым — явно наоборот. В этих акцентах нового времени о временах давно минувших многое не случайно и небезобидно. Не случайно, например, научный миф о древних славянах, не знавших первоначально якобы ни порядка, ни культурного скотоводства и обязанных и тем и другим германцам и аварам-тюркам, хотя и был создан славянским ученым, но — в рамках Австро-Венгерской монархии. Как все это напоминает знакомые более новые научные сценарии о хазарском господстве, благоприятном будто бы для развития восточноевропейской торговли, о «культурном вкладе» ордынского владычества на Руси... Не будем настолько наивны, чтобы полагать, что все это для нас внешнее и серьезного беспокойства не вызы-

вающее. Достаточно вспомнить недавний, бывший всего несколько лет назад острый и представительный диспут двух отделений Академии наук СССР по книге, весьма легковесно ставившей вопрос о конструктивном половецком (кипчакском) вкладе в «Слово о полку Игореве» и в самые основы существования Древней Руси (как будто не было насильственного отторжения от древнерусского государства всего Северного Причерноморья, как будто не было всей кровавой эпохи...). Тогда почему-то не сделали должных научных выводов из дискуссии.

Нужно оградить научную правду от сознательной рутины. Так, общим местом некоторой части исторических сочинений оказывается утверждение о культурной отсталости славян, есть любители поговорить даже об извечной их отсталости. А между тем наука не стоит на месте, она считается не только с феноменом прямолинейного сохранения отсталости, но и с фактами вторичного упадка культуры: под воздействием неблагоприятных условий народы могли бросать земледелие, переходя к кочевому скотоводческому быту, городская культура, случалось, вновь опускалась до уровня сельской. Даже историки сейчас видят, что, когда древний историк Иордан говорит о славянах: «...в м е с т о г о р о д о в у них болота и леса», — он говорит неправду или не всю правду, и это несовместимо с картиной богатой материальной культуры древних славян, восстановимой лингвистически. Достаточно сказать, что у древних и древнейших славян было название города в смысле огражденного поселения (живые по сей день слова *город*, *град* и т. д.), и оно не только праславянское, но и праиндоевропейское. Не модернизируем ли мы соответствующие представления? Нет, необходимо лишь учитывать эволюцию понятия ‘город’. Застывшая концепция, будто до X в. о городах у славян говорить нельзя, стремительно пересматривается в сторону удревнения.

Мы упомянули об индоевропейцах. Это еще более обширная языковая совокупность, куда входят также славяне и их языки, входят как самостоятельная ветвь. После того как великий чех Иосиф Добровский ликующе провозгласил еще в начале XIX в. свое «славяне есть славяне!» — утекло много воды и были накоплены горы лингвистических фактов, говорящих о правоте этих слов. Но вопрос не хотят закрыть, и на новом, качественно более высоком уровне науки нас вновь стремятся вернуть к явно архаической концепции вторичности происхождения славян и их языка от какого-либо другого, «более древнего» языка и народа. Раньше, бессознательно подражая средневековым авторам, выводили, например, славян от скифов, действительно живших на юге России и на Украине в древности. Все знают «Скифов» Блока: «Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами». Это сказано о нас, русских. Но наука еще при жизни Блока внесла поправку насчет «раскосых и жадных очей» (скифы антропологически оказались европеоидами), как и насчет того, что говорили

скифы на иранских наречиях, короче, были предками современных осетин. Но на этом дело не кончилось. С некоторых пор особо муссируется отношение славянских языков к балтийским языкам литовцев, латышей и др., причем с особенным энтузиазмом поднимается не вопрос их близкой связи ввиду давних общений и родства, что казалось бы очевидным, а специфическая концепция, ставящая опять славян в положение некоего производного, на этот раз от — балтов. Ну что же, наука, в конце концов, сделает свой выбор и здесь.

Так что лозунг Добровского — «славяне есть славяне!» — по-прежнему приходится доказывать и отстаивать. Вопрос этот, в самом деле, актуален и в наш век, столь озабоченный, казалось бы, техническими и другими, еще более острыми и тревожными проблемами. Но все же не будем забывать и в наше тревожное сегодня о том, что мы — славяне. Пусть поможет нам в этом неисчерпаемая наука языкознания и истории, помноженная на высокое чувство научной и социальной ответственности. Пусть острее нам будут видны заблуждения прошлого и настоящего. Разве правы были старые исследователи, когда из молчания ранней античности о славянах сделали прямолинейный вывод, что славян привели на Дунай и Балканы авары? Правы ли традиционно сомневающиеся в преданиях нашей «Повести временных лет» о древнем обитании славян на Дунае? Нельзя не отметить активность отдельных западных ученых в их стремлении переместить район поисков прародины славян куда-нибудь подальше на восток (в район припятских болот, например). Иногда это все-таки похоже на тенденцию «вытолкнуть» славян из древней Европы, если угодно — вместе со всеми остальными индоевропейцами, которые многие тысячелетия назад будто бы пришли сюда как некие «всадники ниоткуда» (американский археолог проф. Мария Гимбутас, развернувшая концепцию прихода в Европу с Востока воинственных всадников-индоевропейцев, наталкивается на большое сопротивление фактов языка, истории, археологии). Словом, споры продолжаются. Но нужно, чтобы споры не ослепляли спорящих и не заслоняли реальных достижений, чем сильна наука. Решающее значение приобретает фронтальное исследование максимального числа фактов во всеоружии и на базе современной теории, с целью проверки и дальнейшего углубления теории. Советская наука не остается в стороне от фундаментальных задач, которые здесь стоят также перед сравнительно-историческим языкознанием. Мы уверены, что надежным путем к решению явится осуществляемая уже в течение ряда лет Академией наук СССР реконструкция праславянского лексического фонда в ходе создания впервые в нашей стране Этимологического словаря славянских языков [2].

[2] Выходит с 1974 года, опубликовано (к 1985 году) 12 выпусков. Словарь охватывает древнюю и современную лексику всех славянских языков и их диалектов.

Статья была напечатана в газете «Правда» в декабре 1984 года.

Казалось бы, вопрос исчерпан — и к нему незачем возвращаться. Но не таков, видно, этот вопрос. Я решил, опираясь на данные языкознания и древней истории, проверить и оспорить избитый трюизм об извечной славянской культурной отсталости, а среди читательской публики сразу объявился оппонент, эдакий весьма образованный публичный разоблачитель, который обвинил меня во всех смертных грехах и научных ошибках, а главное — приписал мне желание поставить славян выше других. У меня этого нет и не было.

Я не рассчитывал на всеобщий стопроцентный дружелюбный интерес. И все же: мне захотелось, выйдя за рамки своей специальной науки, поразмышлять с пером в руке о большом, что волновало и призвано волновать сейчас очень многих, живущих не хлебом единым. Естественно, последовали отклики — в виде писем, разговоров при встрече, телефонных звонков, визитов в институт, в котором я работаю. Отклики были разнообразные, но в подавляющем большинстве — положительные. Отклики были и в тот же день, и спустя полгода, ибо лишь спустя полгода добралась до Москвы старая женщина с длинным письмом о нынешних судьбах русского народа, адресованным высокому партийному руководству накануне съезда, а перед этим решила зайти ко мне и трогательно рассказала о наболевшем. Значит, в статье моей высказаны не однодневные мысли и чувства, и это меня радует.

Едва ли можно упрекнуть меня за то, что я своей статьей, скажем, искусственно подогрел национальные амбиции; напротив, я в слишком краткой форме затронул мысли и чувства, самостоятельно возникавшие у многих.

О том, что отнюдь не амбиции обуревают читателей статьи, можно судить по письму, которое я воспроизвожу несколько подробнее, поскольку и сюжет, в нем затронутый, займет нас дальше специально, и настроения, отраженные в нем, довольно типичны. Пишет читательница-москвичка, очевидно филологически образованная. «С большим интересом я прочла Вашу статью в “Правде” от 13 декабря с. г. Статья эта не только глубоко правдива, но и актуальна, так как “реальная сложная картина” имеет-таки место. Чего только не услышишь, причем не по секрету, а прилюдно, на шумном перекрестке: что “Слово о полку Игореве” — подделка, что русский язык — протатаренный (эти “знатоки” к татарским относят такие даже слова, как *князь* и *изба*), что и русские-то — не русские, а некое “смешение”, что “до Петра I был мрак, лавок даже не было, верней, лавки-то были, а вот стульев не было”, что Кирилл и Мефодий это те, “что изобрели мертвый язык”. Эти горе-проповедники порой даже не скрывают своего сожаления, что слепая судьба обрекла говорить их на русском языке. Поэтому они ратуют за эсперанто».

Вот так. Археолог, хорошо знающий страны Ближнего и Среднего Востока, много раз бывавший там, с негодованием говорит о книге Сулейменова,

суть которой в том, что древнерусская поэма «Слово о полку Игореве» якобы зиждется на тюркской языковой основе, что масса насущных слов русского языка — тоже тюркские. А не оскорбляет ли это достоинство русского народа?

Научная проверка таких «этимологий» не оставляет от них камня на камне.

Книга была обсуждена на заседании двух академических отделений, где я и покойный член-корреспондент АН СССР Ф. П. Филин выступали от Института русского языка АН СССР. Выступали там многие другие лингвисты и литературоведы Москвы, Ленинграда, книга была забракована с позиций науки.

В мои намерения не входит давать здесь подробное изложение этого многотрудного научного вопроса. Около года тому назад у меня в институте был молодой зарубежный историк раннего славянства Яков Бачич. Сам он югослав, хорват, но живет и работает в США, в университете города Юджин штата Орегон. Он явился, чтобы засвидетельствовать свою солидарность с моими поисками дунайской прародины славян, и принес с собой свою диссертацию, защищенную в Колумбийском университете, основное содержание которой, кроме положений, созвучных с упомянутыми моими, сводилось к ревизии непрекращающейся традиции принижения самостоятельного исторического прошлого славян в трудах некоторых французских, американских, западногерманских историков. Сделано это им было добротно, с фактами в руках.

Отношение к русскому языку на Западе сложное. На наших совещаниях иногда бывают склонны преувеличивать значение цифровой статистики и в этом вопросе, скажем, сообщают, что в той или иной западноевропейской стране упало количество изучающих русский язык, хотя это не обязательно говорит о падении интереса к русскому языку, скорее — и это тоже надо понимать — тут косвенно отражается проблема дальнейшего трудоустройства в условиях психологической напряженности. Иногда нам подсказывали даже причину (если разобраться — мнимую) недостаточной популярности русского языка: русский язык, дескать, избыточен (избыточный, англ. redundant — структуралистский термин, имеющий в виду излишнее многообразие формального выражения функций, значений, отношений в языке), ну, например, в нем чересчур много падежей, то ли дело — английский (ни одного падежа!). Вот ведь как! Простят китайскому его иероглифику, простят английскому вопиющую избыточность его консервативной орфографии, не вспомнят куда более яркий пример надежной избыточности — финский (пятнадцать падежей), нет, плох именно русский с его шестью падежами, унаследованными в принципе еще от индоевропейской древности! Вместо того чтобы увидеть в этом своеобразие языка, предпочитают говорить о какой-то избыточности.

И все же — угодно это кому или неугодно — престиж русского языка в мире весьма высок, он самый высокий сравнительно с другими славянскими.

Если ограничиться только научными специалистами, то на русском языке читают литературу очень многие ученые, профессионально с русским никак не связанные. Времена лозунга «Rossica non leguntur» («Написанное по-русски не читают») безвозвратно прошли. Разумеется, представлять себе дело так, что все это происходит при всеобщем единодушном одобрении, было бы наивностью. Здесь тоже множество градаций и различий — от обывательских вздохов по поводу того, что в ФРГ, например, трудно прослыть славистом, если овладеешь даже буквально всеми славянскими языками, кроме одного русского, до разных степеней проявления неприязни и враждебности. Объективная оценка подобных проявлений нужна, но порой очень трудна, поскольку сами эти проявления бывают сплошь и рядом небезыскусно преподнесены как объективные характеристики (ср. сказанное выше об «избыточности»), что не стоит принимать за чистую монету, хотя у нас, к сожалению, все еще живет преувеличенная готовность к этому. К тому же в таких «объективных» характеристиках просвечивает и раздражение, переносимое, так сказать, из другой области (политической, социальной или национальной), с чем, конечно, нельзя мириться.

Один пример должен пояснить суть. Профессор Канзасского университета в США Г. Гальтон, прежде живший и работавший в Вене и вообще — выходец из Восточной Европы, написал как-то рецензию на сборник работ А. В. Исаченко (кто такой был в интересующем нас здесь плане умерший несколько лет назад Исаченко, скажем дальше). Тема рецензированного сборника — история, типология, строй русского и славянских языков. Рецензия откликается на проблемы общественного и языкового развития и демонстрирует — вольно или невольно, насколько по-разному можно осветить одни и те же явления. Например, возьмем тот факт, что Русь приняла на себя основной удар татаро-монголов, оградив остальную Европу. Рецензент считает, что ничего подобного на самом деле не было. Когда дело доходит до характеристики русского языка, мы узнаем из рецензии Гальтона, что русский язык, оказывается, вовсе не типичный славянский язык, тем более что его положение периферийно. При этом, однако, остается неясным, что значит «типичный» славянский язык и имеются ли такие в природе. Ведь каждый язык, в сущности, нетипичен, т. е. неповторим, в том числе и русский, и те же самые особенности, которые тут оцениваются как «нетипичные», т. е. оцениваются с привкусом негативности, составляют проблему русского языкового своеобразия, мимо которой предпочел пройти западный рецензент. И так называемая периферийность положения русского языка, тоже обретающая в освещении Гальтона заметный привкус негативной особенности, в современной науке должна объективно расцениваться как преимущество, способствующее сохранению многих древних особенностей языка.

В рецензированном сборнике была переиздана статья Исаченко «Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания». Вернее, она называлась так раньше, в 1953 г., когда вышла впервые в Чехословакии. А будучи переиздана в западном издательстве, работа эта стала называться короче, т. е. без слов «в свете марксистского языкознания». Если одна и та же работа один раз предлагается «в свете марксистского языкознания», в другой раз — уже не «в свете», у нас это квалифицировалось бы как ренегатство. У Гальтона и тут своя трактовка: он считает, что Исаченко не следовало тогда, в 1953 г., поддаваться «марксистской конъюнктуре». Он, видимо, не допускает мысли, что Исаченко был искренним, когда писал в свете марксистского языкознания. А впрочем, в данном индивидуальном случае рецензент мог быть и прав: и в Западной, и в Восточной Европе лингвисты хорошо знали Исаченко как человека скользкого и склонного к конъюнктуре. Личность А. В. Исаченко вспоминается здесь нами как фигура, характерная для разлома эпох, сложная и во многом отрицательная. Сын русских родителей, с детства заброшенный судьбой в Австрию, потом уже в Чехословакии застигнутый послевоенными переменами, он проявил большие способности к языкам и языкознанию, но моральной крепостью и привлекательностью никогда не отличался. Одна из особенностей Исаченко как человека — это довольно открытое и даже рьяное приспосабливание к господствующей доктрине. В 1958 г. на международном съезде славистов в Москве он мог выступить против французского слависта Мазона, порицая того за высказывание, что старославянский язык — это «темное наречие», а в 1970-х гг., избрав прозападную ориентацию, вдруг принялся поливать грязью исторический путь развития русского языка и русского народа. Надо сказать, что неприкрытостью этих своих метаморфоз Исаченко шокировал не только наших читателей и ученых, особенно — при жизни. Несколько лет назад он умер, и тут проявилась любопытная тенденция к его положительной оценке. Создается впечатление, что его беспринципные, а по форме — броские высказывания, его охаивание древнерусских корней современного русского языка, самобытности его развития были оценены по достоинству этими «любителями» русского слова и взяты на вооружение.

В последнее десятилетие своей жизни Исаченко даже основал международный журнальчик «Russian linguistics» («Русское языкознание»), как вскоре выяснилось, с главной целью — следить за новыми советскими научными публикациями по русскому языку и безотлагательно громить их в рецензиях. Последовали уничтожающая рецензия на новую грамматику русского языка 1970 г., пасквиль на «Словарь русского языка XI—XVII вв.». Одним словом, издание зарекомендовало свои интересы совершенно определенным образом. Его нынешние руководители, понявшие, что на одном противостоянии всему

советскому русскому языкознанию «Рашен лингвистикс» долго не протянет, вдруг ощутили усиленный интерес к личным контактам с нашими учеными и учреждениями. Сотрудничество? Прекрасно! Но с кем? — позвольте в данном случае спросить. Разборчивость в таких делах, как знакомство, а тем более — сотрудничество, — вещь не последняя. А люди порядочные во все времена не останавливались и перед тем, чтобы раззнакомиться с теми, кто элементарно нарушает этику. И в нашем внутреннем общежитии, и в международных делах эти критерии сохраняют свою цену. Я говорю это к тому, что прекрасный лозунг «мы за сотрудничество» у нас подчас понимают и используют слишком широко. Для нас, в нашей науке о языке, где идеи и проблемы тесно переплетены с историей общества, с вопросами национальной чести, престижа и достоинства, с необходимыми общечеловеческими критериями, безусловно, очень важно изживать психологическую напряженность, насаждать и поддерживать международное и межнациональное взаимопонимание. Но проверкой всему должен оставаться этический критерий. Не нами замечено, что именно в технически перенасыщенный век этика приобретает решающее значение. Именно потому, что экономика и техника, казалось бы, заслоняют этику и этическое. Именно потому также, что одновременно угрожающе растут делячество, выдаваемое за деловитость, спекуляции всякого рода и буквально на всем, снобизм.

Речь в этих заметках — не о русской или славянской душе. Языкознание исследует внутренний смысл слова, обозначаемый сухим научным термином *семантика*. Однако за словом и за его смыслом всегда стоит нечто большее — коллективный опыт народа, его дух, его подлинное величие — то, что будит в каждом из нас не один только научный интерес, но и дает священное право русскому, славянину любить русское, славянское, и это столь же естественно, как любить своих родителей.

Но нам понятен и дорог также завет великого украинца Шевченко: «Свое знайте и чужого не чурайтесь». Глаза и ум русского, славянина сейчас — как никогда — открыты всему доброму, что есть в нашем одновременно просторном и таком тесном мире, мире, который мы зовем по-русски тем же словом, каким называем и согласие в людях, — словом мир.

СЛАВЯНЕ, ЯЗЫК И ИСТОРИЯ: ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

В декабре 1984 г. в «Правде» была опубликована моя статья «Свидетельствует лингвистика». Тогда мне захотелось, выйдя за рамки своей специальной науки, поразмышлять с пером в руке о том, что волновало многих. Последовали отклики — в виде писем, разговоров при встречах, телефонных звонков, визитов в институт, в котором работаю. Отклики были и в тот же день, и спустя полгода, ибо лишь спустя полгода добралась до Москвы старая женщина с длинным письмом о нынешних судьбах русского народа, адресованным высокому партийному руководству накануне предстоявшего съезда, а перед этим решила зайти ко мне и рассказать еще все своими словами — искренне о наболевшем.

Значит, в статье высказаны не однодневные мысли и чувства, и это меня радует. Но, обрадовавшись, в пору сразу и огорчиться — совсем как в жизни. Та старая русская женщина прибыла в Москву из одной из автономных республик Северного Кавказа, и ее беспокоило более чем скромное положение русских в этих национальных краях. Таково, в двух словах содержание ее письма, и, если не принимать во внимание наивных мест, там содержащихся, ее основная мысль не расходится с научно фундированными представлениями экономистов и социологов на этот счет.

Старушка вовсе не идеализировала русских — ни тамошних, ни других, она знала за ними грехи, прежде всего злободневный сегодня грех пьянства, но она твердо знала и заедающую их скромность (увы, эта поговорка *скромность заела*, кажется, специально придумана русскими про себя).

По-своему созвучны тревогам простой русской·женщины с Северного Кавказа заботы читательницы-москвички, очевидно, филологически образованной:

«Чего только не услышишь, причем не по секрету, а прилюдно, на шумном перекрестке: что “Слово о полку Игореве” — подделка, что русский язык — протатаренный (эти “знатоки” к татарским относят такие даже слова, как *князь* и *изба*), что и русские-то — не русские, а некое “смешение”, что “до Петра I был мрак, лавок даже не было, верней, лавки-то были, а вот стульев не было”, что Кирилл и Мефодий это те, “что изобрели мертвый язык”. Эти горе-проповедники порой даже не скрывают своего сожаления, что слепая судьба обрекла их говорить на русском языке».

Намек здесь более чем понятен. У нас в стране существуют силы и слои, которым весьма импонирует, в частности, идейное построение книги О. Сулейменова «Аз и я», суть которого в том, что древнерусская поэма «Слово о полку Игореве» якобы создана тюрками, далее — что масса насущных слов русского языка — тоже тюркские. А не оскорбляет ли это достоинство русского народа? Если прибавить, что научная проверка сулейменовских «этимологий» не оставляет от них камня на камне, а остается лишь голая тенденциозная идея, то яснее ответа быть не может.

Меня вправе спросить, где я был, когда обсуждалась книга.

Отвечу: там, где обязан был быть, — на том самом заседании двух академических отделений, на котором она обсуждалась. Там я и покойный член-корреспондент АН СССР Ф. П. Филин выступали от Института русского языка АН СССР. Выступали там многие другие лингвисты и литературоведы Москвы, Ленинграда. Книга была забракована с позиций науки. Но у тогдашних руководителей отделения литературы и языка явно перевесили другие настроения. Решили «не обижать» автора, тогда уже известного молодого поэта, и тем самым походя обидели русское культурное прошлое, нашу неподдельную жемчужину — восьмисотлетнее «Слово о полку Игореве». Но я думаю, что и Сулейменову при этом оказали сомнительную услугу, куда лучше было бы, если молодого и уверенного в себе литератора поправили бы тогда во всеуслышание.

Не нуждается в особых доказательствах, что тенденциозные воззрения на языковое и историческое прошлое славян можно встретить отнюдь не только «на Западе». В мои намерения не входит давать здесь подробное изложение этого многотрудного научного вопроса. К тому же, однозначная демаркация на «Запад» и «не-Запад» явилась бы лишь очередным упрощением.

Года три тому назад у нас в институте побывал молодой зарубежный историк раннего славянства Яков Бачич. Сам он югослав, хорват, но живет и работает в США в университете города Юджин штата Орегон. Он принес с собой свою диссертацию, защищенную в Колумбийском университете, основное содержание которой сводилось к ревизии непрекращающегося принижения самостоятельного исторического прошлого славян в трудах некото-

рых французских, американских, западногерманских историков. Сделано им это было добротно, с фактами на руках.

Да, угодно это кому или неугодно — престиж русского языка в мире весьма высок, он самый высокий сравнительно с другими славянскими. Если ограничиться только научными специалистами, то на русском языке читают литературу очень многие ученые, профессионально с русским никак не связанные. Разумеется, представлять себе дело так, что все это происходит при всеобщем единодушном одобрении, было бы наивностью. Здесь тоже множество градаций и различий — от обывательских вздохов по поводу того, что в ФРГ, например, трудно прослыть славистом, если овладеешь буквально всеми славянскими языками, кроме одного русского, до разных степеней проявления неприязни и враждебности.

Один пример. Профессор Канзасского университета в США Г. Гальтон, прежде живший и работавший в Вене и вообще — выходец из Восточной Европы, написал как-то рецензию на сборник работ другого такого же выходца А. Исаченко. Мы узнаем из рецензии Гальтона, что русский язык, оказывается, вовсе не типичный славянский язык, тем более что его положение периферийно. При этом, однако, остается неясным, что значит «типичный» славянский язык и имеются ли такие в природе. Ведь каждый язык, в сущности, нетипичен, т. е. неповторим, в том числе и русский. И так называемая периферийность положения русского языка, обретающая в освещении Гальтона заметный привкус негативной особенности, в современной науке должна объективно расцениваться как преимущество, способствующее сохранению многих древних особенностей языка.

В рецензированном сборнике была переиздана статья Исаченко «Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания». Вернее, она называлась так раньше, в 1953 г., когда вышла впервые в Чехословакии. А будучи переиздана в западном издательстве, стала называться короче — без слов «в свете марксистского языкознания». Если одна и та же работа один раз предлагается «в свете марксистского языкознания», а другой раз — уже «не в свете», у нас это квалифицировалось бы как ренегатство. Впрочем, и в Западной, и в Восточной Европе лингвисты хорошо знали Исаченко как человека скользкого и склонного к конъюнктурщине. Неприкрытостью этих своих метаморфоз Исаченко шокировал не только наших читателей и ученых, особенно — при жизни.

Несколько лет назад он умер, и тут появилась любопытная тенденция. Создается впечатление, что его беспринципные, а по форме — броские высказывания, его охаивание древнерусских корней современного русского языка, самобытности его развития было оценено «любителями» русского слова и взято на вооружение в неглупом расчете на то, что иные бесславные

конкретные обстоятельства жизни покойного со временем поблекнут. Нужное для них останется.

Эти не очень явные, но ощутимые перемены во взглядах на такого человека (а человека от ученого отрывать нельзя) автору приходилось наблюдать и на своих московских знакомых. Люди, раньше откровенно называвшие Исаченко неприятным человеком, впоследствии почтили его посылкой своих статей в его юбилейный сборник, другие, резко критиковавшие его как пасквилянта на все русское, теперь уже с некоторым пиететом вспоминают, что он занимался типологией славянских языков. Чего здесь больше — фрондерства, игры в свое особое мнение или потакания моде, которая, как и во все времена, проистекает откуда-то со стороны?

Разборчивость в таких делах, как знакомство, а тем более — сотрудничество, — вещь не последняя. А люди порядочные во все времена не останавливались и перед тем, чтобы раззнакомиться с теми, кто элементарно нарушает этику. Я говорю это к тому, что в науке о языке, где идеи и проблемы тесно переплетены с историей общества, с вопросами национальной чести, престижа и достоинства, с общечеловеческими критериями, безусловно, очень важно насаждать и поддерживать международное и межнациональное взаимопонимание. Но проверкой всему должен оставаться этический критерий. Не нами замечено, что именно в технически перенасыщенный век этика приобретает решающее значение. Именно потому, что экономика и техника, казалось бы, заслоняют этику и этическое. Именно потому также, что одновременно угрожающе растут делячество, выдаваемое за деловитость, спекуляции всякого рода, снобизм.

Русский народ, который никогда не надо было учить самоотверженности, как известно, принял на себя максимальную тяжесть последних войн, экономических усилий и подъемов. Можно сказать, что он добровольно потеснился, в чем-то сознательно помогал другим нациям и народностям. Долгое время у нас, к тому же, было как-то не принято выносить подобные вещи на обсуждение. А между тем речь идет не о пустяках и не о впечатлениях, а о тенденциях, заметных многим.

Доходит до того, что сейчас в научной литературе, да и в широкой общественности, набрало силу мнение, что якобы неудобно называть нашу начальную письменность и ее язык русскими, поскольку это общее наследие языка и культуры не одних русских, но и украинцев, и белорусов. Вот пример, когда из верной посылки делаются неверные выводы. Ведь Русь X—XI вв. никак иначе сама себя не называла, а только Русью, Русской землей. Начать называть этот ранний период языка и литературы древневосточнославянским значило бы фактически переименовать его.

Украинские и белорусские товарищи не должны беспокоиться за прошлое своих языков и письменных традиций: оно у них было и остается об-

щим с русским. Ясно одно: живущая с древности традиция названий *Русь*, *русский*, *Русская земля* не должна легковесно отменяться или заменяться, ибо подобные замены порой рискуют обернуться злоупотреблением.

Из союзных республик, особенно из Средней Азии, поступают сигналы об ухудшении владения русским языком, и хотя его позиции там важны не сами по себе, а как позиции языка межнационального общения, т. е. средства культуры, в котором должно быть заинтересовано как раз местное население, они — это следует признать — не расширяются, а сокращаются. В свою бытность членом ВАКа мне приходилось слышать о случаях, когда приглашавшийся на комиссию ВАК республиканский научный работник вез с собой и переводчика, через которого объяснялся с экспертами. Советский научный работник, деятель культуры, не знающий русского языка, — это нельзя назвать нормальным явлением.

Но можно ли назвать разговор об этом русификацией? Давно пора считаться с тем фактом, что у нас в стране возник и функционирует языковой союз. Специфика такого явления, как языковой союз, раскрытого наукой XX в., заключается, как правило, в наличии группы контактирующих языков при ведущей, организующей роли одного культурно наиболее влиятельного языка региона (классический пример: балканский языковой союз при аналогичной роли греческого языка). Между тем в наших филологических кругах при обсуждениях упорно требуют говорить о паритетности взаимовлияний не только русского языка на национальные, но и наоборот. Но вдумайтесь, сопоставимые ли это вещи — влияние русского языка на чукотский и — обратно — чукотского на весь русский и т. д., и т. п. Равенство наций и языков неоспоримо, но формально паритетная трактовка реальных межъязыковых и межнациональных отношений оборачивается очередным злоупотреблением нашими справедливыми лозунгами. Нельзя равенство преподносить как уравниловку.

...Более ста пятидесяти лет назад Пушкин написал стихотворение «Клеветникам России», и нет, считаю, в его поэтическом наследии строк, которые звучали бы до сих пор так актуально. Эти стихи в те времена не были до конца поняты читательской публикой. Тогда, как и сейчас, европейская печать старалась подхватить каждый повод для разжигания антирусских настроений. А за полтора столетия патина времени тронула их, во всяком случае — начальную строку, которую нынешний читательский глаз схватывает, боюсь, не во всей ее содержательной полноте:

О чем шумите вы, народные витии...

Народные витии — это ведь не «народные ораторы», как можно было бы понять сейчас, это те, кто присваивает себе право вещать от имени целых наций. Именно в их и им подобных действиях Пушкин увидел злоупотребление

справедливыми национальными лозунгами. Именно против злоупотребления гневно и бесстрашно выступал Пушкин.

Прошло время, а отповедь «Клеветникам России» гремит, как будто написанная вчера.

Подводя предварительные итоги и трезво, безбоязненно оценивая нынешнюю обстановку международного и межнационального общежития, то, как она отражается на судьбах языка, в эволюции национального самосознания, думаю, будет правильно, если мы, филологи, согласимся, что сами еще не вполне осознали меру собственной ответственности. Нынешняя русистика отчасти сдала свои позиции, достигнутые во времена таких ученых, как В. В. Виноградов и Ф. П. Филин. Вернуть эти достижения и идти дальше, смело решая задачи, которые сама жизнь ставит перед нами, — к этому призывает нас пример всей страны, охваченной горнилом перестройки.

СЛАВЯНЕ: ЯЗЫК И ИСТОРИЯ

В разное время в газете «Правда» были опубликованы две мои статьи [1]. Они выросли из моей большой лексикографической практики — я имею в виду многолетнюю работу по созданию «Этимологического словаря славянских языков (реконструкция и объяснение праславянского лексического фонда)», 14 томов которого к настоящему времени уже увидели свет. Я многим обязан этой работе, если говорить об обогащении и углублении своих научных взглядов на прошлое славянских народов, их языков, их древнюю культуру. Но вопрос этот не только научный, и это «не только», пожалуй, и побудило меня обратиться в первую очередь к самому широкому читателю, который вовсе не обязательно читает специальную литературу.

Речь идет о том, что могло помочь сохранить и развивать национальное самосознание, а значит, помочь человеку познать самого себя, что во все времена считалось вершиной всякого серьезного знания, и если в наш технически и экономически ориентированный век заметна тенденция об этом забывать, тем острее надобность писать и напоминать об этом. Те правдинские статьи отражают гордость за свою науку, языкознание, лингвистику, за ее ценные самостоятельные свидетельства об историческом развитии народов и культур — гордость, обостряемую, но и объясняемую тем обстоятельством, что в реляциях руководящих инстанций, по заведенному порядку, собственно языкознание, как правило, забывалось или опускалось, и счет общественных дисциплин, от которых можно чего-то ждать, как мы знаем, обрывался на философии и политэкономии, самое большее — на литературоведении.

Мы, лингвисты, тоже виноваты в этом забвении. Надо многое неустанно разъяснять самому широкому читателю, каждому русскому человеку. Свои

[1] Свидетельствует лингвистика. 1984. 13 декабря; Славяне. Язык и история. 1987. 28 марта.

разъяснения надо начинать с очевидных научных истин — истин, к тому же великих и касающихся каждого, кому близок русский язык, например, с того факта, что русский язык — славянский, что он относится к семье родственных славянских языков, которых насчитывается общим числом 15, имея в виду все — большие и малые, живые и мертвые древнеписьменные языки. Русский язык называют родным больше половины всех говорящих на славянских языках, а людской потенциал связан с богатством языка, на котором говорит народ. Прибавим, что русский — язык с древней письменностью, в этом году исполняется тысяча лет с принятия на Руси христианства и письменной культуры. Разумеется, русская культура берет начало не в том 988 г., когда состоялось крещение Киевской Руси, ее истоки, как и истоки русского народа, уходят в общую славянскую древность, общую прародину славян — предмет наших научных разысканий. Этими немногими словами мы можем охарактеризовать здесь важность славянства для Руси, для России.

Но в дальнейшем Россия сложилась исторически как новый конгломерат разноязыких и разнокультурных народов. Естественным следствием этой общности явилось возникновение русско-национального двуязычия. Русский язык получил при этом роль средства межнационального общения. Как и следовало ожидать, столь сложное взаимодействие знает не одни только благоприятные факторы, но и моменты противодействия, и встречные течения. Встает необходимость объективного научного осмысления и объяснения всей этой картины, всех известных здесь подъемов и спадов (сигналы о неудовлетворительности изучения русского языка в национальных республиках). Отсутствие глубоко научного осмысления роли русского языка и его реальных взаимоотношений с национальными языками ничем не заменимо, оно рано или поздно в самом дурном смысле будет «восполнено» дилетантскими и невежественными кривотолками. Следует признать, что в действительности здесь пока существует разброд, и над научностью осмысления одерживает верх своего рода публицистичность терминов и мышления, причем высказывания о содружестве советских наций и языков имеются в достаточном количестве, а равно и обязательные признания равенства и взаимовлияния. И это пока все, что есть. Хотя о взаимодействии советских наций и языков пишут немало, все же здесь происходит некое топтание на месте. Преобладает статистическое описание и констатация и отсутствует сколько-нибудь глубокий и смелый анализ. Взять хотя бы уже упоминавшееся двуязычие, с наличием которого все как будто согласны. Но как возникает двуязычие и о чем свидетельствует, в частности, известное у нас русско-национальное двуязычие? Почему никто практически не занимается у нас вопросом п р и ч и н н о с т и этого явления?

Ведь двуязычие — естественный атрибут я з ы к о в о г о с о ю з а, о котором во второй из упомянутых выше моих статей было сказано бегло, но от-

нюдь не без оснований, ибо с наличием возникшего в нашей стране языкового союза придется, по-видимому, считаться и теоретикам и практикам нашего социалистического строительства. Альтернатива идее языкового союза — это механическая концепция общения языков между собой, и она, кажется, действительно находит отражение в том, что сейчас пишется по вопросу, но ее несостоятельность неумолимо проявляется и еще будет проявляться во всех контрольных случаях теории и практики, как, например, внешне справедливо паритетное признание влияний русского языка на все национальные и обратно — всех национальных языков на русский. То, что столь формальная трактовка этого важного вопроса по существу неверна, начинают понимать сами практики нашего национального строительства, сознающие, что обратное, столь же сильное влияние всех ста пятидесяти языков нашей страны на русский — малореально (что тогда осталось бы от русского языка?). Оно есть, это влияние, но оно закономерно оседает на периферийях русского языка, в локальных вариантах русской речи, откуда попадает и в язык русских художественных произведений на местные темы, но русский литературный язык существенно не затрагивает. В этом объективно сказывается ведущая роль русского языка как средства межнационального общения. Будь иначе, эта важная роль русского языка была бы затруднена в первую очередь, а в этом вряд ли кто-нибудь особенно заинтересован. Кажется, что именно эта идея языкового союза в нашей стране с русским языком как наиболее авторитетным — идея, кстати, подкрепленная опытом мировой лингвистики — помогает все объяснить научно и объективно, способствует укреплению позиций русского языка в республиках, а главное, делает это без ущерба для национальных языков и для идеи необходимости их собственного развития и процветания.

Сколь неоднозначно восприятие подобных сложных тем широкой общественностью, показывает почта статьи, опубликованной в марте 1987 г. Непростая почта, далекий от гармонии хор голосов, которые вопрошают прошлое и будущее, нетерпеливо стучатся и требуют, требуют ответа. Подняв такую тему, негоже отклоняться ни от ответа, ни от ответственности, и говорить придется со всей, по-видимому, непривычной в таких вопросах открытостью, не чуждой, впрочем, и нашим предкам, потому что, как пишет наш читатель В. П. Воробьев (Челябинск), «шлемы их были без забрал»...

Поскольку беседа в таком духе могла бы представить интерес для большего круга лиц, мне показалось целесообразным дать ее в виде продолжения статьи, заранее извинившись, что вошло в нее не все, а только то, что счел главным или менее известным. Заранее извинившись... Далеко не все читатели (я имею в виду оппонентов) догадываются сделать это, допуская порой убийственные резкости в своих письмах. Покупатель, может быть, всегда

прав, а читатель — нет, не всегда... Перестройка — не перебранка, а гласность, кроме всего прочего, выявила еще один наш дефицит — культуры полемики. Я не призываю к пустому обмену вежливостями и поэтому начинаю с одного из самых сердитых оппонентов — В. Мельника (Киев), настаивающего на том, чтобы «напечатать хотя бы выдержки из писем своих читателей». Прошла неделя после публикации, недоумевал т. Мельник, а разоблачения статьи О. Трубачёва в газете не последовало. «Оказывается, все считается естественным?». С некоторых пор да. Раньше — другое дело, оттого так живуч этот рефлекс — организованно разоблачать и «навешивать». Впрочем, и сейчас навешивают, расскажу об этом дальше.

Отрадно, что не все думают так и даже не большинство. «Статья 〈...〉 не может не вызвать чувства солидарности у тех, кому дороги языковое и историческое прошлое славян, прошлое и настоящее русского языка, его престиж в современном мире», — пишут слушатели факультета повышения квалификации московского пединститута имени В. И. Ленина (десять подписей, преподаватели с разных концов страны). Повышения роли русского языка хотят эти и другие читатели (Б. А. Бекназарян, Сумгаит; В. А. Брынский, Свердловск). «Широкое, глубокое изучение народами русского языка ни в коей мере не означает русификации», — как бы оправдывается Н. С. Сачко (Минск). Не надо удивляться, многие оказываются вынуждены говорить, оправдываясь, эти и подобные им здравые вещи.

Что нужно? А нужно очень многое, говорят наши читатели. Нужны книги по русской истории, нужна, обратите внимание, русская энциклопедия, пишет В. Н. Есипенко, читатель-эрудит, экономист (Раменское, Московская область), большое и умное письмо которого покорило меня своей настоящей ученостью и ясным ви́дением больших проблем. Причем все эти книги должны поступать не так, как у нас бывает («мелькнет — и нет»), а в порядке безлимитного выпуска, замечает А. С. Ткаченко из Нижнего Тагила. Нужна газета «Русская культура», высказывает мысль читатель С. Б. Петров (Москва). Нет в продаже словарей русского языка, свидетельствует А. Т. Молчанов (Кронштадт), и причину этого он видит в том, что «даже государственные учреждения культуры и особенно издательства стали вольно или невольно содействовать приглушению значимости русского языка». Думаю, что он прав. «Очень сильно проигрывает РСФСР, — пишет весьма объективный читатель А. Н. Вейссенберг (Москва), — по сравнению с конституционно равноправными с ней всеми другими союзными республиками тем, что не имеет республиканской академии наук». Рано или поздно, а придется ответить и на этот немаленький вопрос. Нужно, добавим мы, чтобы на Центральном телевидении более видное место было отведено заслуженной передаче «Русская речь», ведущей сейчас довольно мерцательное существование.

Хорошо и то, что в письмах, как в зеркале, отражена кипучая любознательность наших читателей. И пусть даже иногда то, что пишут и утверждают они, живописуя «Русь до Руси» (П. М. Золин, Новгород) или «проторусскую цивилизацию» в Армении (!) (С. Айвазян, Ереван) сильно отдает преувеличением. Что поделаешь с этим неумирающим любительским мечтанием видеть Русь происходящей от этрусков (об этом спрашивает В. М. Курганов, Калинин)? Мне лично даже симпатична такая пытливость со стороны инженера-механика. Делать что-то нужно, конечно, и в этом вопросе, разъясняя, что ни языковой, ни культурной связи между индоевропейцами-славянами и средиземноморцами-этрусками нет. Вообще письма наших хороших читателей заслуживают серьезного чтения. Разве можно отмахнуться, например, когда Я. И. Порецкого (Минск) тревожит «утрата вкуса к филологии». Пора бы и нам встревожиться этим. Л. Н. Писаренко (Москва) и Г. П. Ручьев (Свердловск Ворошиловградской области) затрагивают старую, но не устаревшую тему засилья иностранных слов в русском языке, зато М. И. Смирнов (Воронеж) привлекает наше внимание к мало кому известной судьбе стотысячного русского меньшинства в Румынии. Как бы там ни было, читатель у нас очень культурный («Могу общаться на украинском, французском и испанском языках. Буду изучать и другие языки», — В. И. Пефтиев, Ярославль) и самостоятельный в суждениях (И. Н. Белова, «непрофессионал», Москва: сама уже решила проблему «Славяне, язык и история», и притом много лет назад…).

А больше всего — вопросы, вопросы, вопросы... Интересные, между прочим, вопросы. Я благодарен читателю Л. С. Варнавскому (Ровно), считающему, что моя статья вносит ясность по вопросам, общим для братских народов, вышедших из Киевской Руси, принимаю и его упрек в том, что «все это, к сожалению, мало освещается в прессе, поэтому и блуждают всякие измышления, домыслы». Читатели умеют задавать и такие научные вопросы, ответы на которые только кажутся простыми. Когда и как сложились русский, украинский и белорусский языки, спрашивает Б. И. Шипилин (Надворная Ивано-Франковской области). Самостоятельное развитие каждого из этих языков принято считать с XV в. (раньше — общий для всех трех древнерусский язык). Все было, однако, намного сложнее, и специалисты знают, что ряд собственно русских или украинских, белорусских слов, явлений языка, не будучи общим достоянием, уходит своим началом в гораздо большую, праславянскую древность.

Дальше — больше. «Кто я по национальности?» — спрашивает Ф. Г. Позднякова (Львов). — Часто можно слышать… «вы же украинка, почему вы разговариваете на русском языке?». Успокойтесь, т. Позднякова, ваш случай не единственный, и в этом нет вашей вины, а главное — тут нет ничьей злой воли или политики, хотя некоторым она и мерещится при этом из всех углов.

Вот тут имеется другой пример решения волнующего вас вопроса, так сказать, в «плановом» порядке. «Я знаю одного профессора молодого, — пишет читательница Л. В. Герасимова (Казань), — у которого мать татарка, отец русский, так он и изменил свою национальность с русского на татарина, тогда ему открылась более широкая дорога...».

«Почему вы иллюстрируете белорусскую книгу, а разговариваете на чужом (т. е. на русском) языке?» — такой вопрос случалось выслушивать заслуженному деятелю искусств БССР Н. Т. Гутиеву (Минск), и это в высококультурном регионе сплошного двуязычия — в Белоруссии. Хорошее, искреннее письмо — тоже из Белоруссии — прислал Ю. И. Аверьянов (Минск). Он говорит, что творческая интеллигенция республики беспокоится о судьбе родного белорусского языка. Возвращаясь к затронутому мной в статье стихотворению Пушкина «Клеветникам России», читатель спрашивает: «Как сам т. Трубачев отвечает на вопрос, поставленный А. С. Пушкиным 〈...〉 "Славянские ль ручьи сольются в русском море?"» Да, при Пушкине, т. Аверьянов, казалось, что сольются; еще не существовал практически болгарский литературный язык, сербы еще только начинали вводить в литературу свой народный язык вместо русско-церковнославянского, на котором прежде писали все их грамотные люди. Еще и после Пушкина ученые думали о возможности нового общеславянского языка на русской основе (А. С. Будилович). Так что великий поэт и в этом вопросе предстает перед нами гениальным мыслителем, но никак не пособником империализма, как, похоже, судит В. Ф. Хрустов (химик, МГУ, Москва), относя к их числу заодно и меня. Так было, повторяю, но затем последовало бурное возрождение, расцвет буквально всех славянских национальных литературных языков, и теперь это уже не «ручьи», а великолепное созвездие на европейском и мировом небосклоне. Никакого «слияния» не предвидится, т. Аверьянов, не грозит оно и белорусскому языку с его блестящей современной белорусской советской литературой (я уже не говорю об изумительно богатых народных говорах, словарные сокровища которых активно публикуются стараниями белорусских коллег), надо лишь правильно понять реальную языковую (речевую) ситуацию.

Пытаясь в своей предыдущей статье осмыслит специфику межъязыковых и межнациональных отношений, я прибег к идее языкового союза, которая объясняла бы большую или меньшую податливость языков к влияниям. Говорю об этом здесь, поскольку уже упоминавшийся выше читатель Б. И. Шипилин хочет узнать подробнее о языковом союзе. Жаль, что Н. С. Джидалаев, сам филолог (Махачкала), ничего, кроме моих вредных намерений и профессиональной неграмотности (!), тут не увидел. Да, т. Джидалаев, влияние национальных языков на местную русскую речь и я признаю, и про использование этого у писателей («местный колорит») мне хорошо известно, и за со-

вет почитать толстовских «Казаков» и «Хаджи-Мурата» я вам признателен. Но проблема-то этим не исчерпывается. Русский литературный язык не терпит местных вариантов; английский — терпит: есть американский английский, есть австрийский вариант немецкого литературного языка и так далее, а в русском — нет, и эту его специфику надо не только уважать, но и пытаться научно, объективно осмыслить. В этом выражается централизованность и ведущая роль нашего языка, как я это понимаю, не ассимилятора, а наиболее авторитетного языка языкового союза, возникшего в нашей стране. Зачем поспешно искать аналоги в буржуазном арсенале, как это делает С. И. Слипченко (Хмельницкий), вспоминая концепцию К. Каутского о социально более сильном и более слабом языке. Поэт В. Вагабзаде и профессор С. Алияров (оба — Баку) видят даже здесь у меня «вето на целое направление в советской науке по изучению проблемы языковых взаимовлияний». Нет, разумеется, не «вето», а приглашение разумно различать проницаемость влияний вместо механистического их распространения буквально на все и вся. Лингвист, доктор филологических наук А. И. Домашнев (Ленинград) одобрительно отмечает именно идею языкового союза. Конечно, и подобный союз в каждом случае имеет свою специфику. Классический балканский языковой союз новогреческого, албанского, болгарского, румынского языков, выразившийся в разрушении их падежной системы, неопределенной формы глаголов (на этих языках, например, невозможно сказать ‘делать’, а только описательно — ‘чтобы я делал’ и т. д.), в создании общего фонда слов, насчитывающий уже немало столетий, идет от устного общения. Языковой союз у нас в стране, по-видимому, много моложе, хотя и возник еще, наверное, в рамках старой России, а главное его отличие — в том, что он идет от письменной формы общения (канцелярскую природу имеет межнациональное распространение русской формы фамилий на *-ов* и т. д.). Но и тут существенно создание общего фонда понятий в легко переводимой (калькируемой) форме.

«Вдумайтесь, сопоставимые ли это вещи — влияние русского языка на весь чукотский и чукотского на весь русский», — писал я во второй из упомянутых статей, говоря о паритетности взаимовлияний. Сожалею, что мой пример произвел впечатление некорректного. П. К. Азимову из Ташкента, Е. П. Лисовенко из Ровно, А. Шилейке из Вильнюса показалось, что я подразумеваю целую неравноправную иерархию в отношении украинского, грузинского и других языков. Предыдущими своими словами я старался кратко показать, что был далек от огульных утверждений, и приписывать мне неуважение к другим языкам несправедливо. Надо только развивать в себе чувство реального, а не подавлять его. Отвечая профессору Шилейке, я сознаю, например, наличие в русском языковом прошлом разных слоев влияния литовского языка. По роду своей деятельности я изучал названия рек, заимство-

ванные у предков литовцев Древней Русью в ее постепенном тысячелетнем расселении в верховья Днепра и Оки. Читателям, наверное, будет интересно узнать, что на этом пути русские заимствовали и свое слово *деревня* из литовского названия пашни (в старину говорили «пахать деревню», а для населенного пункта имели свои древние названия — *село*, *весь*). Литовского происхождения и русское, украинское *скирда* и некоторая другая лексика сельской жизни и природы. Но если речь идет об уровне современных литературных языков, то влияния идут от русского к литовскому, начиная с калек типа — с русского *колхоз*.

Читателей волнуют своевременно поднятые, по их мнению, вопросы (Г. И. Козубов, художник, С. В. Ильинский, лингвист, оба из Москвы), и это отрадно. Права, конечно, Л. А. Сухинина (филолог, Долгопрудный Московской области), напоминающая слова, которые не разъединяют, а объединяют нас всех: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...». Она пишет и о национальной гордости великороссов. Вот на этом и остановимся — на вопросе, как часто и правильно ли употребляются слова *русский*, *великорусский*, *великоросс* и что за всем этим стоит в представлении наших читателей. Оказывается, употребляют нечасто и даже охотно заменяют «более подходящими» словами. «Очень редко встретишь термин *русское искусство*, — пишет читатель А. А. Румянцев (Ленинград), — складывается впечатление, что вроде и нет современной русской культуры». Читателя В. Ю. Троицкого (Москва) очень тревожит тенденция замалчивать явления, связанные с национальным характером, самосознанием, достоинством. Полагаю, нужно прислушаться к этим опасениям. Замечательно, например, что первую русскую революцию постепенно «переименовали» (!) в «российскую»; на это обращает наше внимание В. Гущин, историк (Краснодар). Я и сам, недавно заглянув в планы одного столичного издательства, увидел, что она там фигурирует как «российская революция». А ведь *первая русская революция* — термин ленинских времен, и, помнится, в 1955 г. отмечалось ее пятидесятилетие именно под этим правильным названием. Тот, кто предпочитает более расплывчатое название *российский* вместо *русский*, тот и подавно «забыл» про название *великорусский*. Что же, можно лишь пожалеть вместе с читателем А. Н. Вейссенбергом о том, что утрачено название *великоросс*, как известно, имеющее ленинскую традицию. Почему это произошло? Испугались, подумав, раз *велико-*, так нет ли тут чего-то великодержавного? Со всей твердостью разъясняю: название *Великая Россия*, *Великороссия* стихийно возникло как обозначение области позднейшего освоения Древней Руси; более изначальная Русь под действием Великой стала затем называться *Малороссия*. Ни шовинизма, ни пренебрежения к тому, что называлось *мало-*, здесь не было и нет, и все названия типа *Великая Греция*, *Великопольша* —

Малопольша объясняются ходом расселения народов (в том числе Великобритания, которую кельты основали еще до англосаксов со стороны континентальной Бретани). Что уж говорить, когда читатель Г. Прокопенко (Днепропетровск) вообще требует, чтобы мы и язык наш называли не *русский*, а *российский*. Его примеру мы не последуем, но подобными проявлениями нетерпимости как раз и создается в совокупности та ненормальная атмосфера неуверенности, к сожалению, явствующая и из поступивших к нам писем: «Мое имя 〈...〉 прошу не упоминать 〈...〉 в Средней Азии остались мои близкие, поэтому я не подписываюсь» (С. А., Вольск Саратовской области). После этого, надеюсь, ясно, почему я не назвал имя старой женщины, сообщавшей о неудовлетворительном положении русских в северокавказском регионе. Это я говорю для тех читателей, которые проявили подозрение и недоверие: «Почему не написали имя старой женщины с Северного Кавказа?» (К. К. Малиев, Целиноградская область), «мифическая старая женщина...» (А. Шевченко, М. Слабошпицкий, С. Гречанюк из Киева), «членкор поверил старой женщине на слово» (Л. Ратгаузер, Ленинград) и так далее, и тому подобное. Да, представьте себе, я вообще людям привык верить. До чего недоверчивый народ пошел! «Зачем эти русские поехали в эти национальные края, им что — в России земли не хватило?» — вопрошает т. В. Д. Савичев, экономист из Арзамаса, и, похоже, не ощущает бестактности собственного вопроса. Не верит в «более чем скромное положение русских в национальных краях» и Тельнюк С. В., член Союза писателей (Киев). «Это что же — русского человека не берут на работу?» — допытывается он. На самом деле не все так просто, т. Тельнюк, как вы хотели бы представить себе и другим. Вообще почему-то верят больше цифрам, иначе не хватает «четкой, солидной аргументации» (тот же т. Ратгаузер). Не будем, однако, фетишизировать цифры, это заведомое раздолье для приписок, это царство «условных консервных банок» и тому подобного, не будем, во всяком случае, требовать их в первую очередь, в упор не видя живого человека, когда он — вот, перед нами или, по крайней мере, его письмо.

Демографическая ситуация русского народа характеризуется как неблагоприятная В. И. Вороновым (Калининград Московской области), Ю. В. Каменковым (Челябинск), В. М. Мальшиным (Запорожье), начиная с переписи 1913 г. его процентное отношение ко всему населению России понижается (Ю. В. Неженцев, экономист, Москва). Проблемами русского народа надо заниматься больше, убежден А. Н. Климов (Киев).

Как можно было вычитать у меня «призыв к предоставлению представителям русского народа 〈...〉 каких-то особых привилегий» (из письма т. Тельнюка)? Я благодарен тт. Б. Вагабзаде и С. Алиярову за напоминание о словах В. И. Ленина: «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для ка-

кого языка»[2]. Неоспоримые слова, но ведь никто никаких привилегий и не добивается. Речь идет о правах, равных со всеми. А вот есть мнение о фактическом отсутствии равенства русского населения в национальных республиках (Т. Е. Харламова, Семипалатинск, А. Овчинникова, Москва). Это касается и социальной справедливости, и проблем овладения русским языком. Уровень учащихся, приезжающих в учебные заведения России из Средней Азии, Казахстана, безусловно, низок, и атмосфера поблажек «национальным кадрам» дает свои отрицательные плоды (В. И. Кузнецов, старший преподаватель ИПК, Ленинград). Иностранные граждане овладевают русским гораздо быстрее (из письма Б. И. Шипилина). Какого специалиста мы получим после этого? Вот пример — не из национальных краев, а буквально из Москвы и Подмосковья: ученый, слабо говорящий по-русски, тридцать лет (!) преподает в столичном вузе, а попытку исправить положение умело подавляет как «шовинизм», пишет И. И. Остроглазов (Всесоюзный сельхозинститут заочного обучения, Балашиха Московской области). Это не исключение, такие факты свидетельствуют о тенденции паразитировать на интернационализме (из письма В. Гущина).

Как и следовало ожидать — и это совершенно естественно для любого остродискуссионного вопроса современности, — все упирается в этику. Этот момент был верно затронут в моей статье, передал мне в своем устном отклике наш видный филолог член-корреспондент АН СССР Р. А. Будагов. Читатель В. Шупер (географ, Москва) выступил, напротив, со странным заявлением, которое не могу здесь не воспроизвести: «Каждое время имеет свои критерии порядочности и принципиальности». Интересно получается! Я и не подозревал, что возможна подобная конъюнктурная трактовка вечных ценностей, и продолжаю думать, что честность — это всегда честность и ничего больше. И думаю, что я в своем «заблуждении» не одинок. Еще Юлиан Тувим в тяжелые военные годы сложил польскую антифашистскую молитву, где говорится: «Словам, звучащим и так, и иначе, верни единство и правдивость. Пусть вольность только вольность значит, а справедливость — справедливость».

Итак, этика, этичность. Похоже, и ее нам тоже не хватает, как не хватает и упоминавшейся культуры полемики. Этично ли жалобы о положении украинского языка начинать с того, что он «не является государственным» (из письма Ю. Заплетина, Ужгород), Не требует ли данный товарищ привилегий, которых заведомо нет у русского языка? Впрочем, и этого оказывается мало. «Грузинский язык в конституции Грузинской ССР назван государственным», — пишет Е. К. Зоидзе, научный работник из русского города Обнинска

[2] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч. Т. 23. С 150.

Калужской области. Но и у т. Зоидзе выходит, что «русский язык поставлен в особые условия». Кем поставлен? В чем это выражается? Оказывается, грузинская разговорная речь очень «засорена» смесью русских и иностранных слов. Что ж, если это так, сами повышайте культуру своей семьи, своей улицы, своего города, своей республики, а главное — не ищите виноватых и не брюзжите. Надо поднимать роль семьи, указывают некоторые из читателей, и это касается также родного языка. Надо, чтобы в семье говорили с детьми на родном языке. Те, кто так не делает, подрывают традиции национального языка, да и детям своим оказывают сомнительную услугу. Так считает доктор филологических наук Магомет Измаилович Исаев, рассказавший мне о Северной Осетии и о сужении сферы употребления осетинского языка.

Негрузины, считает т. Зоидзе, должны знать грузинский язык. Ведь этак можно всех друзей от своего дома отвадить. И этично ли это — быть столь требовательными к другим и столь снисходительными к себе. К одному и тому же предмету можно подойти иначе, если не выдвигать ультиматумы, а болеть душой за дело, как, например, Сильва Капутикян, которая писала недавно в «Правде» о том, что надо все-таки изучать родной язык в национальных республиках (в данном случае — армянский с его древней, полуторатысячелетней письменной историей). «В украинских городах украинский язык практически вытеснен российским, — пишет Г. Прокопенко. — По всему видно, О. Н. Трубачёва вполне устраивает нынешнее положение украинского языка на Украине». Да, многое из того, что говорите вы, т. Прокопенко, Трубачёву известно. Он получил университетское образование в одном из украинских городов, славистика началась для него на Украине и с украинского языка, на котором он охотно и сейчас говорит с украинцами и украинистами при встречах в Киеве ли, в Москве или в Гарвардском университете. Утверждения же насчет того, что украинский вытеснен русским и что его нынешнее положение устраивает Трубачёва, можно оставить целиком на совести того, кто это утверждает. Кое-что тут не в ладах с исторической правдой. Никто умышленно не вытеснял; города Юга и Востока Украины исстари имеют смешанное население, и некрасиво злобствовать по поводу того, что там распространен русский. Т. Прокопенко начинает с призыва «схаменіться» — одумайтесь, а ведь одуматься-то надо бы ему самому и не множить список претензий по делу и не по делу (пишущие машинки не такие, как надо, почтовых открыток мало), не тешить тех, кому, может быть, кстати размолвки между славянами. Дружба народов — славянских и неславянских — важна сама по себе, да, она есть самоцель, и вспоминать о ней нужно (не только в год 70-летия великого Октября, но и всегда) не затем лишь, чтобы одернуть друг друга. Я имею в виду бесповоротный приговор статье своей: «Такие статьи не укрепляют дружбу народов, а подрывают». А позвольте спросить, то-

варищи Шевченко, Слабошпицкий и Гречанюк, какая дружба народов вам нужнее — настоящая или комплиментарная? Этой последней было у нас предостаточно. Неужели и в эпоху нового мышления у нас не найдется слов откровенных, чтобы сказать друг другу, что у нас так, а что далеко не так, хотя и числилось привычно по статье самой братской дружбы. Самая бескорыстная дружба — это больше давать, чем брать, но пусть каждый, буквально каждый скажет эту истину сперва сам себе и не подсчитывает, сколько недополучил. Все сполна всё получили, надо развивать дальше самим.

Реакция авторов ряда писем явно неадекватна (не буду дальше перечислять несправедливые квалификации по моему адресу, это, в конце концов, не так уж важно), как в выступлении отдельных наших последователей библейского «Экклезиаста», которые точно знают, когда надо «разбрасывать камни», когда «собирать камни», и, умея читать между строк, вмиг «разгадывают», кто это там кидает камни «в противоположную сторону», то бишь «огород» (см. «Вопросы литературы» № 8. 1987. С. 114 и дальше…) и все же не хотелось бы думать, что вышло по изречению: посеешь ветер — пожнешь бурю. Нет, большинство откликов убеждает в другом, в них люди благодарят за пробужденные чувства и мысли, за поддержку, за разъяснения, между прочим, за проявленное мужество. А насчет того, что посеешь ветер… не знаю, но иные застойные взгляды явно пора проветрить, как говорится, «провентилировать», что значит также — обсудить в деловой, спокойной обстановке.

О ЯЗЫКОВОМ СОЮЗЕ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

Сначала, пожалуй, «кое о чем». Наше оживленное время изобилует форумами и «круглыми столами». Об одном «круглом столе» рассказывает «Дружба народов» № 6 за этот год. Мы все привыкли к условности названия (круглая столешница на ножках при этом бывает необязательна...), но, чувствую, начали привыкать и к условности понятия, поскольку, если вернуться к его истокам, то оказывается, что «круглый стол» — это прежде всего равноправное обсуждение разных взглядов. Давно уже — лет 30 тому назад попалась мне на глаза одна зарубежная газетная информация о многострадальном Кипре; журналист, не лишенный чувства юмора (назовем его юмором усталости), рассуждал, что вся беда проистекает от непримиримых различий в терминах, которыми люди обозначают ходовые понятия. Так, на Кипре во всех конфликтных ситуациях греки твердят свое *э́носис* ‘единство’, а турки — *такси́м* ‘раздел’.

Мне в том «круглом столе» не хватает чего-то или, скорее, кого-то: может быть, все-таки греков. Это как раз тот случай, когда «круглому столу» недоставало «круглости», что же касается мыслей о единении вокруг русского языка, то некоторыми собеседниками дружбинского «круглого стола» они были встречены прямо с недружелюбным подозрением и недоверием: русскому языку такая позиция, выходит, вовсе ни к чему, позиция у него и так сильная, а тут вдруг станет еще сильней, что вовсе необязательно и вообще отдает эгоцентризмом... Почему уж тогда сразу не «ассимиляторством»? Все упреки направляются в некое пространство за пределами «круглого стола», за «круглым» же «столом» как-то сама собой установилась приятная атмосфера взаимопонимания вследствие молчаливого согласия: расхождений между собой не замечать и в дефинициях друг друга не поправлять. Проявлять интерес к самосознанию народа? Незачем: у русского народа

14. Заказ № 2419.

и так всего в избытке — и самосознания, и патриотизма, так, по крайней мере, полагает один из собеседников «стола» (И. А. Дедков). Поглощенный своим спором с отсутствующими оппонентами, он сочувственно внимает словам другого собеседника того же «стола», хотя из слов этого другого собеседника (Вяч. Всев. Иванов) все же выходит, что «проблема русского самосознания» — не надуманная, она существует и созвучна поискам своеобразия пути русской культуры. Но не слишком спешите радоваться, а то вы еще, чего доброго, возомните, что нам всем разом можно с головой уйти в проблему русского самосознания. Это князь Николай Сергеевич Трубецкой написал, причем давно и объективно. А в наших с вами устах сейчас это уже будут «опасные тенденции» — я это воспроизвожу, правда, не с «круглого стола» «Дружбы народов», но, смею заверить, при аналогичном обсуждении очень близкой темы. Вообще как остро бывают нужны на Руси непогрешимые варяги! При их упоминании как-то сам собой стихает весь охранительный пафос, право на который заявляют порой с самой неожиданной стороны. Поэтому, я думаю, и мне простится моя апелляция к грекам и туркам.

На этом свои размышления «кое о чем» можно окончить и перейти к вопросу научному, который, как я заметил, стоит лишь упомянуть о нем, вызывает нервную реакцию у отдельных собеседников «круглого стола», а также других столов и их столоначальников. Начнем поэтому с осторожностью. Так, замечено, что, в общем, все вроде считаются с наличием у нас двуязычия, не все, правда, довольны, есть и такие, которые за своих детей опасаются, но не отрицает как будто никто. Все верят, что есть двуязычие, но вера есть вера, она слепа и как таковая старается не омрачать себя мыслями о причинности явления. Однако… quod licet журналисту, нехорошо со стороны лингвиста. Вяч. Всев. Иванов, собеседник означенного «стола», лингвист, называющий меня своим коллегой, спокоен в отношении причин двуязычия, он о причинах вообще не говорит и подтрунивает над Олегом Николаевичем Трубачёвым, ставящим вопрос о языковом союзе. Тут, во-первых, мне и остальным читателям «ДН» снисходительно внушают, что понятие было введено «двумя русскими учеными, которые работали тогда за границей». После этих имен (Трубецкой! Якобсон!), конечно, всякое поползновение самостоятельно мыслить увядает в зародыше. Впрочем, условия принимаю — буду тоже изо всех сил держаться авторитетов, а то, как говорится, в своем отечестве (даже таком большом) несть пророка. Итак, если я правильно понял Вяч. Всев. Иванова, точка зрения О. Н. Трубачева о наличии в нашей стране языкового союза, объединяющегося вокруг русского языка, «является более чем спорной именно в научном плане». Во-вторых (и, видимо, в главных), по Вяч. Всев. Иванову, ни в моих научных статьях, ни тем более — публицистических нет доказательств идеи языкового союза, есть лишь, увы, одна терминология, вводящая

в заблуждение. Правда, сказано в статье О. Н. Трубачёва черным по белому (ДН. 1985, № 5. С. 244), что «двуязычие — естественный атрибут языкового союза» (спрашивается, это тоже голая терминология, которая вводит в заблуждение?), но я в конце концов могу понять Вяч. Всев. Иванова (мало ли что там написал и даже причинно увязал в своей статье О. Н. Трубачёв!) и без дальнейшего сопротивления прибегаю к заграничному авторитету, как и обещал. Лингвист Генри Кахане, фамилия которого, не сомневаюсь, известна Вяч. Всев. Иванову, в своей специальной работе «Типология престижного языка» в американском журнале «Ленгвидж» за 1986 г. недвусмысленно свидетельствует о том, как «длительное влияние престижного языка выражается в стандартизации, создании языкового союза и относительно устойчивой культуры двуязычия». Не нужно шарахаться в ужасе при словах «престижный язык» в разные стороны или — преисполняться обиды, слова эти, повторяю, не мои, а лишь цитируемые мной. Автор разъясняет далее, что «усвоение такого языка мотивируется в первую очередь его отождествлением с образованием». Престижный язык — это «окно в мир». Разве вам это ничем не напоминает положение с русским языком в нашей стране?

Типы языковых союзов отнюдь не исчерпываются теми, которые приводит Вяч. Всев. Иванов (я помню, что от беседы за «круглим столом» нельзя требовать научной полноты, но Вяч. Всев. Иванов, будучи снисходителен к своей собственной научной аргументации, весьма требователен и критичен к публицистике О. Н. Трубачёва). Я бы поправил и дополнил его рассуждения тем, что среди языковых союзов есть еще такие, где на первом плане — не взаимоуподобление фонетики и даже морфологии, а влияния в области лексики, то есть слов и их значений. Так что опрометчиво со стороны Вяч. Всев. Иванова, поговорив вслед за Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном о различиях мягких и твердых согласных в русском и других языках так называемого евразийского языкового союза, утверждать далее, будто «ни в каком ином смысле о языковом союзе, связанном именно с русским языком, пока говорить нельзя». Не приемля, естественно, таких запретительных интонаций, сошлюсь опять на авторитет американского специалиста Кахане, выделяющего прежде всего влияние ведущего языка языкового союза на концептуализацию, т. е. формирование и языковое выражение понятий. Ведь, в сущности, только на этой базе выдвигается в научной литературе также положение о европейском языковом союзе с его подосновой в виде европейской цивилизации и греческим языком (а также — сильно грецизированной латынью) как ведущим (или престижным) языком. На этих идеях зиждется новый «Лингвистический атлас Европы», издаваемый трудами многочисленных европейских (в том числе советских) ученых. Языковой союз Европы функционирует на уровне письменной культуры по понят-

ным (и кратко изложенным мной выше) причинам, и в этом его отличие ог евразийского или балканского языковых союзов, ориентированных на устную форму языков. Этот опыт весьма поучителен для нас, так как многое напоминает нам в нашей стране, в национально-русском двуязычии. Выработка большого числа адекватно в языковом отношении выраженных понятий облегчает относительную легкость перевода, особенно текстов с культурной тематикой, с русского языка на другие наши национальные литературные подобно тому, как относительно легко осуществим перевод с одного европейского литературного на другой европейский литературный язык. Эта легкая переводимость, это функционирование большого числа литературных, книжных и даже канцелярских калек свидетельствует о наличии языкового союза, особенно в сравнении, скажем, с языками другого культурного круга или даже в сравнении с другими (нелитературными, местными диалектными, низовыми, просторечными) уровнями тех же самых языков. И эта мысль о природе языкового союза в нашей стране, идущего от письменной, литературной формы общения, была выражена достаточно ясно в моей статье в «ДН». С несколько большей подробностью в научной аргументации я изложил свои соображения на эту тему также в своем выступлении на общем годичном собрании Отделения литературы и языка АН СССР в марте прошлого года, что было затем довольно подробно отражено в отчете об этом собрании в «Известиях» данного Отделения (1987, № 4). Пользуюсь случаем, чтобы обратить внимание Вяч. Всев. Иванова на эту публикацию, где есть и дальнейшая литература. Я и сейчас убежден в научной и практической применимости идеи языковою союза у нас в стране и соответствующей роли в нем русского языка, роли, кстати, ни для кого не оскорбительной, если правильно расставлять акценты, говоря о нем как о первом среди равных. Я не верю в то, что сопротивление этой идее можно объяснить или оправдать, оставаясь в рамках научного знания. Хотя, как все на свете, можно объяснить и это. Только на этом пути нам не понять мотивов национально-русского двуязычия, к которому уместно постоянно обращаться, раз уж почти все с его фактом согласны, а против очевидности спорить трудно, хотя и пытаются. Так что концепция языкового союза вокруг русского языка в нашей стране действительно опирается на опыт мирового языкознания, как об этом сказано в моей статье. В ней вовсе не обязательно видеть «открытие», не в этом, как говорится, дело, и не вполне справедливо поэтому высокомерно требовать, как это делает Вяч. Всев. Иванов, что пусть тогда О. Н. Трубачёв опубликует свои доказательства, если, мол, претендует на открытие. Не претендует, но считал и считает своим научным долгом обратить внимание на этот феномен нашей действительности. О. Н. Трубачёв, правда, и сам не со вчерашнего дня задумался над проблематикой языковых союзов, исследовал их элементы в западно-

славянско-германских отношениях еще добрых 30 лет назад, да и позднее он всегда пользовался возможностью, чтобы отметить интересные примеры формирования сходных слов и понятий целым рядом языков, входящих в европейский языковой союз (на страницах редактируемой им «Этимологии»). Напомню, что сюда относится, например, указанное еще знаменитым французским филологом Мейе выделение утвердительной частицы *да* из самого разного исходного языкового материала, которое Мейе производил от общности европейской цивилизации, или такой, скажем, употребительный лексико-семантический европеизм, как слово *от-лично* (ср.; немецкое *aus-gezeichnet*, французское *ex-cellent*, венгерское *ki-tűnő*, чешское *vý-borný*), структурно тождественное в самых разноструктурных языках Европы, и, конечно, многое другое.

Я допускаю, что эти наблюдения блекнут (по части открытий) при сравнении с сенсационными *сумками-мумками*, которые путешествующий Вяч. Всев. Иванов обнаружил в местном русском туристическом жаргоне на Кавказе и в Средней Азии, а потом был окончательно потрясен и утвержден в своих подозрениях о могучих влияниях на русский язык, услышав, как московский таксист буркнул что-то вроде *хозрасчет-мозрасчет*. Но ведь каждому грамотному по-русски ясно, что путь этим окказиональным диковинам в литературный язык закрыт, да и в индивидуальных упражнениях такого рода нет никаких влияний извне, это универсальная модель образования экспрессивного слова с рифмованным повтором и обязательным губным согласным в начале второй части слова Чисто русский пример —*тары-бары*, в характеристике которого сошлось большинство выступавших у нас на симпозиуме по славянской этимологии, в чем участвовал, помнится, и Вяч. Всев. Иванов. Такого же рода *хухры-мухры*, *шурум-бурум*, *шуры-муры*, все сплошь — низовая полуарготическая лексика, частью — навеянная извне, а большей частью — своя исконная, на которой наивно было бы строить свои диагнозы и прогнозы, затрагивающие существо языкового строя…

Что сказать еще, чтобы заключить этот обмен мнений, необходимость в котором просто не существовала бы, если бы наряду с прочими несомненными завоеваниями прогресса нынче критически не умножилось количество способов чтения: было нормальное медленное чтение, потом, говорят, появился метод быстрого чтения, а сейчас (другие жалуются, да я и сам вижу) стало модно читать не только между строк, а и просто — зажмурившись. Пример: Вяч. Всев. Иванову «основное направление рассуждений Олега Николаевича ⟨…⟩ напоминает плохие времена» (!)[1]. Лично мне манера «разо-

[1] Полностью выражение В. В. Иванова звучит так: «Так что, к сожалению, все-таки основное направление рассуждений Олега Николаевича, увы, на мой взгляд, научным не назовешь. Я не очень хотел бы такое выражение использовать, оно напоминает плохие времена, но, к сожалению, это так». — *Прим. ред.*

блачать» мои научные заблуждения тоже что-то напомнила и тоже — из нехороших времен, с которыми Вяч. Всев. Иванов себя, конечно, никак не ассоциирует. Полноте, не скромничайте, вы же родом из того самого незабвенного прошлого, от которого отпихиваетесь теперь руками и ногами; те, кто ратует против «навешивания ярлыков» и «публичных доносов», а глядь — и сам навешивает (см. выше, зачем далеко ходить); все те, кто — послушать их — демократ на демократе, плюралист из плюралистов, гуманист, а попробуйте возыметь свое мнение, вразрез с ихней группой, которая еще, к примеру, возомнила себя влиятельной в науке или около науки, попробуйте и вы меня поймете: эти же самые плюралисты обернутся такими душителями инакомыслия... И, наконец, возвращаясь к идее языкового союза, это те, которые недобросовестно играют на вчерашних запретах и на сегодняшнем полузнании: как только услышите, что чиновник от филологии или иной описанный мной выше деятель процедит сквозь зубы: «Но ведь языковой союз — это же ассимиляторство!» — не верьте ему, ибо ему не нужна, не интересна истина, ему главное — упразднить беспокойное инакомыслие. А в чем истина, спросите вы, и на этот вопрос можно ответить просто и честно: ни один из языковых союзов не привел к ассимиляции; при языковом союзе может возникнуть двуязычие, может — многоязычие, как в карпатско-балканском регионе или на Кавказе, но не ассимиляция. Язык имеет свои начало и конец, он тоже смертен, но было бы непростительным шарлатанством ставить зловещий диагноз организму, зная, что организм здоров.

...Неприятно все это действует, когда сам по-прежнему читаешь медленно и внимательно.

МЫСЛИ О ДОХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ СЛАВЯН В СВЕТЕ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

По поводу новой книги: *L. Moszyński.* Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft. Köln — Weimar — Wien: Böhlau Verlag, 1992*

Известный польский специалист по старославянской письменности, постоянно интересующийся также историей религии и религиозной терминологии, профессор гданьского университета Лешек Мошинский представил нам в настоящей книге свой вариант праславянской (дохристианской) картины духовного мира. Автор вполне сознает, сколь ответственна его задача — подвести обдуманный современный итог после исследований А. Брюкнера, С. Урбаньчика, Х. Ловмянского и др., а также с учетом «новой сравнительной мифологии» школы Дюмезиля. Естественно, что он начинает с постановки вопросов, и первый из них — религия или мифология? Его ответ гласит (не только потому, что источники скудны и представлены неравномерно [1]):

---

* Статья представляет собой переработанный (переведенный на русский язык) вариант авторского немецкого оригинала, публикуемого в «Zeitschrift für slavische Philologie» (Bd. 54. 1. 1994) под названием «Überlegungen zur vorchristlichen Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft».

[1] «Хронография» Малалы, пантеон Владимира Святого, свидетельства прочих летописцев, из которых некоторые поддельны или же, возможно, являются вторичными интерполяциями, собственно мифологические зачатки представлены почти исключительно у прибалтийских славян, не без влияния религиозно-политического сопротивления против только еще начинающегося «Drang nach Osten»; кроме этого

«Фактически праславянской мифологии в классическом смысле не было. Так называемая праславянская мифология — это скорее научная фикция...» (С. 2). По мнению Урбаньчика, которого автор цитирует, мы обязаны термином «славянская мифология» традиции или же собственной лени (С. 17). Даже если дело не столь однозначно, ясно одно: теория Жоржа Дюмезиля с ее трехчастным миром людей и богов не подходит безоговорочно к представлениям наших предков. При этом изображение может выглядеть интересно и даже красиво, но не без потерь для объективного знания, в первую очередь — для славянского своеобразия (ср. С. 17).

После некоторых филологических вступительных наблюдений Мошинский занимается тем, что он называет «праславянской полидоксией»: магией, колдовством (*влъхвъ*, *врачь*, *балии*, *диво*, *чудо*), а главным образом — демонологией: праслав. **vьlkod*(*ь*)*lakъ* 'оборотень', которое автор этимологизирует как **vьlko-kud-ьl-akъ* 'похожий на волка' + 'взлохмаченный, кудлатый', далее: **ǫpyrь / ǫpirь* 'привидение', толкуемое Мошинским не совсем вразумительно как 'пернатая плененная душа умершего' (?), тогда как имеется в виду 'revenant, возвращающийся мертвец', который способен покидать свою могилу, т. е. 'нечто вылетающее наверх', при этом *ǫ-* восходит к и.-е. **ana* 'вверх, сверху', в гетеросиллабической позиции — *on-* в праслав. **on-utja* (рус. *ону́ча* 'верхняя обмотка') с сербохорв. *ва̀мпӣр* 'вампир, упырь' в качестве праславянского словообразовательного варианта **vъnъ-pirь/pyrь*, тоже 'улетающее, ускользающее наружу'. За этими существами апокрифическими следуют праслав. **běsъ* и **čьrtъ*, нашедшие — хотя и неодинаковый — доступ также в христианскую терминологию, особенно **běsъ*, главный термин для беса, дьявола. Не удовлетворившись этим вполне, создали для той же цели уже в раннее время еще несколько неологизмов, уклончивых табуистических обозначений: *неприязнь*, калька с др.-в.-нем. *un-holdo*, и *лѫкавыи*, собственно 'ходящий извилистыми путями', не говоря о синонимах, представляющих собой книжные заимствования из греческого и семитского, но ничего общего с праславянской религией не имеющих (см. о них специально дальше в книге Мошинского).

Дальнейший особый вопрос представляет способ обозначения души в славянском. Христианское учение о бессмертии человеческой души не означает, что в понимании некрещеных славян душа человека сразу после смерти умирала, что, к тому же, было бы несвойственно анимистическому мировоззрению. Об исконно праславянских терминах **duxъ*, **duša*, канонизированных христианством, мы еще будем говорить дальше. Здесь отметим лишь,

---

следует учитывать использование при реконструкциях фольклорно-этнографического и тому подобного материала в записях нового времени.

что праслав. **duša*, возведенное христианством в ранг универсального термина для 'бессмертной души', ранее, вероятно, употреблялось преимущественно как обозначение 'живой души', что было также в соответствии с этимологией слова **duša* (*душа живая, дыхание*). Уклончивый, табуистический (с христианской точки зрения, суеверный) взгляд на обозначаемое — вот что было мотивом всех иных названий похождений души после смерти человека. Я имею при этом в виду такие слова, как **navь*, **mana* и др. Похоже, Мошинский недооценил эту разницу между христианским и дохристианским способом ви́дения. Это сказалось на толковании слов, например **navь*. Архаическое обозначение мертвеца (ст.-слав. **навь* νεκρός, *mortuus*: род. п. мн. *из навии* = *отъ мрътвыхъ*. Ио. 12, 9) имеет достоверное праиндоевропейское происхождение. Для меня остается не вполне понятной мысль Мошинского о вторичном распространении этого слова у восточных славян (буквально: «...во время так называемого второго южнославянского влияния?». С. 27). И это при том, что древнейшие летописи, а также народные говоры, великорусские и украинские, обнаруживают довольно порядочное словарное гнездо: *навь*, *навье*, *навий*, *на́вский день* 'день поминовения покойников', *на́вський* (*ма́вський*) *вели́кдень*, *на́вья кость*, укр. *ма́вка* 'некрещеный ребенок женского пола, обращенный после смерти в русалку'. Отсутствие праслав. **navь* в польском заслуживает особого объяснения, но не является «неопровержимым» аргументом против принадлежности этого слова к праславянской демонологии (ср. С. 28). С миром душ умерших связано так или иначе слово *Велес*: некий мифический *Велесъ* упоминается в «Слове о полку Игореве», еще один *veles* — в старочешском ругательстве *k velesu* (что-то вроде 'к черту'). Определенные родственные отношения с лит. *vė̃lės* мн. 'души умерших', *vélnias* 'черт', известные с давних пор, не являются, однако, основанием для того, чтобы объяснять вместе с автором славянское слово как заимствование из балтийского (С. 29—30, 43), тем более, что сам Мошинский несколькими страницами дальше, а также в другом месте [Moszyński 1992. S. 176] настойчиво приписывает его влияниям кельтского, хотя и здесь речь скорее идет об индоевропейских родственных связях. Это своеобразное корневое гнездо будет интересовать нас также в дальнейшем. Кроме нескольких германизмов и латинско-романских элементов различного распространения из понятийной сферы мира духов (польск. *skrzat* и родственные, *strzyga*, *striga*, ст.-слав. *русалиѩ*, откуда рус. *руса́лка*), автор отмечает собственно славянские слова, вероятно, более позднего образования, главным образом в польской форме (*zmora*, *topielica*, *południca*, *dziwozona*), не подвергая их дальнейшему анализу (см. С. 31), что было бы, возможно, интересно в плане истории слов и понятий (включая отношения христианско-дохристианского взаимодействия), ср., например, тему беса полуденного (рус.-цслав.) 'daemon meridionalis'.

О возможно праславянском женском божестве **Mokošь*, др.-рус. (у Мошинского «altostslav») *Мокошь* автор не может нам сообщить ничего нового (С. 32). Мошинский трактует раздельно вышеупомянутый мир духов (II. Праславянская полидоксия. С. 18—37) и собственно мир богов (III. Праславянская религия. С. 38—113), что, кажется, до некоторой степени противоречит его собственному суждению: «Праславянские демоны не стояли между человеком и богом...» (С. 37). Если развить его логически несколько дальше, это суждение обрело бы такую формулировку, что праславянские духи обязательно принадлежали к тому же миру, что и праславянские боги, а историко-типологическим основанием для этого явилось то, что понятие «богов» едва ли было у праславян столь законченно и развито, как в более развитой религии; оно было у них, так сказать, на полпути в этой эволюции. Приблизительно так обстояло дело с варварскими βασιλεῖς, *reges* в античной и средневековой традиции: это не были цари, короли в собственном смысле слова. Наша попытка ослабить оппозицию дух — бог в праславянской культуре дает также дальнейшую перспективу для суждении о предмете в его истории. Ввиду расплывчатости примитивного понятия бога мы вправе усомниться, что процесс протекал точно так (как представил его Дитрих у Мошинского, с. 38—39): «...и.-е. **dei̯u̯os* ‘бог-господин ясного неба’... [>] **bhagos* > **Bogъ* ‘бог-податель’». Но, спрашивается, знали ли вообще прежде древнейшие праславяне это **dei̯u̯os* ‘бог’. Равным образом должно считаться расплывчатым славянское обозначение рая **rajь*. Отсутствие оппозиции рай — ад (не говоря уж о чистилище, purgatorium!) имело своим следствием то, что праслав. **rajь* могло означать только ‘потусторонний мир’ вообще. Сравнивать его по-прежнему с иран. *rāy* ‘богатство, счастье’ (как это делает Мошинский: С. 39. Примеч. 159) теряет всякий смысл. Я обсудил эту проблему подробнее в другом месте [Трубачев 1991: 173—174], сославшись на мнение Мейе о том, что славянское название рая **rajь* имеет ярко выраженный народный характер, а кроме того, указав на то абсолютно игнорируемое обстоятельство, что европейский, международный термин для рая был получен через посредство греч. παράδεισος из совершенно другого иранского источника с исходным значением ‘огороженное место, парк’.

В вопросе об иранских этимологиях древнерусских теонимов *Хорсъ*, *Стрибогъ*, *Сѣмарглъ* Л. Мошинский занял сдержанную позицию, следуя в этом Ю. Induced Речеку (С. 47). Тем больше бросается в глаза готовность Мошинского считать, что кельтские влияния простирались до острова Рюген (С. 50). Но современное языкознание отвечает на вопрос о кельтах на берегах Балийского моря отрицательно (ср., например, решительную критику подобных рассуждений Шахматова у Фасмера [Vasmer 1913: 172 и след.]). Во всей Зарейнской Германии кельты едва ли продвинулись севернее верховьев Эльбы, что

же касается некоторых более северных находок (например, серебряный котел с кельтскими богами, найденный в Дании), то их можно отнести на счет торгового и военного импорта (ср. [U(ntermann) 1979. Стб. 1612 и след.], с картой). При этом не все и в аргументации Мошинского относится к языкознанию в собственном смысле слова, будь то засвидетельствованное у прибалтийских славян и, по мнению Мошинского, кельтское, почитание лошадей или же многоголовость богов (там же), например, *Triglov* у полабских славян, несмотря на то, что автор никак не может решить сам, не скрывается ли в этом образ христианской троицы (С. 59). Поликефалия (вариант: полимастия 'многососцовость') принадлежит, однако, к распространенным представлениям о божествах, ее пытались связать с родовой организацией [Трубачев 1959: 8—9]; дальнейшие соображения о западнославянских групповых божествах см. [Иванов, Топоров 1988б: 450 и след., 454]. Мошинский высказывает предположение, что в имени полабского бога *Prove* vel *Prone* (следовательно, совершенно недостоверном со стороны формы) представлено имя кельтского бога *Borvo* / *Bormo* (С. 52), но против этого объективно свидетельствует славянская по виду форма имени, вероятно, того же самого бога *Poreuithus*, явно образованная с адъективным суффиксом *-ov-itъ*, от *pora* 'время года, жизненная сила'. Неправдоподобность реконструкции и эмендации **Taran-vitъ* (?) из *Turupit* в древнеисландском источнике (С. 55) означают для нас невозможность говорить о каком-то боге по имени **Taranь* из кельтского *Taranis*. Далее, автор склонен видеть в слав. *Veles* заимствование из древнекельтского **u̯el-ēt-s*, откуда древнеирландское *fili* (им.п.) 'ясновидящий, поэт' (род. п. *filed*, дат. *filid*, вин. *fileda*). Но, насколько уже явствует из исторического имени (возможно, кельтского по происхождению) ясновидящей жрицы — *Veleda* — у одного германского племени (по Тациту), заимствованное имя (также в нашем случае) скорее кончалось бы на *-t-* или *-d-*, не говоря о прочих сомнениях со стороны формы, а также семантики (в случае со славянским Велесом речь идет о божестве, а не о поэте или ясновидце). Поэтому целесообразно оставить пока кельтское слово в стороне, а имя *Велес* нам еще потребуется обсудить в более широких связях.

Но сначала обратимся к главному слову как христианской, так и дохристианской славянской религиозной лексики, — прилагательному **svętъ*. Это слово обладает в историческую эпоху во всех славянских языках практически одним-единственным значением 'святой', и его охотно воспринимают как христианское и опрокидывают в праславянскую древность. Но это вряд ли имеет что-нибудь общее с семантической реконструкцией. Так, наш автор неоднократно утверждает, что праславянское **svętъ* первоначально означало 'светлый, блестящий' (С. 60, 93). Один из богов у северо-западных славян носил имя *Svętovitъ*. Это имя, с одной стороны, стоит в ряду двучленных, по

большей части княжеских, личных собственных имен, таких, как рус. *Святослав*, *Святополк*, ст.-польск. *Świętosław*, *Świętopełk*, также и у других славян, с другой стороны — в ряду производных имен с суффиксом *-ovitъ* (см. выше), ср. прежде всего древнеполабские теонимы *Jarovit*, *Rujevit*, *Porevit*. Было бы заблуждением реконструировать на их материале существительное **vitъ* (с каким бы то ни было значением — 'dominus, potens' или 'бытие', ср. с литературой в рассматриваемой книге Мошинского, с. 61). Не менее нелепой представляется попытка усмотреть в нем чуть ли не «верховного бога лехитских славян по имени **Vitъ*» (М. Рудницкий у Мошинского, там же) или, наконец, христианского святого Вита. Эти мифы современной науки отдают чистой народной этимологией и напоминают мне похожий лингвистический анекдот из области далматинско-хорватского (рассказанный мне в свое время в Загребе), а именно: апеллатив *svetiònik* 'маяк', разумеется, из **světidlьnikъ*, сюда же русское *светильник*, некоторые тамошние жители понимали как **svetī Onik* (род. п. *svetog Onika*!) 'святой Оник'... Едва ли удачна еще одна этимология *-vitъ* в составе имени *Svętovit* из первоначального **-viktъ* < и.-е. **u̯eik-t-* или **u̯īk-t-* со значением корня 'жизненная сила', ср. лат. *victima* 'жертва' [Топоров 1988: 40]. Нам кажется более перспективным предполагать в образованиях на *-ov-itъ* своего рода степень сравнения, ср. там же [Топоров 1988: 40] мнение Р. Якобсона о том, что в случаях *Jarovit*, *Rujevit*, *Porevit* мы имеем дело с обозначениями различных ступеней жизненной силы. Тем самым мы возвращаемся к концепции *Svętovit* как суффиксального производного. Этому вполне отвечает констатация, что *Svętovit*, собственно говоря, является эпитетом [Иванов, Топоров 1988а: 421]. Этимология и употребление слова **svętъ* подсказывают нам несколько иное решение, отличное от первоначального значения 'светлый, блестящий', как у Мошинского, выше. И.-е. **ku̯en-to-* (откуда слав. **svętъ*), обнаруживает исходное значение 'набухший, выросший, усилившийся', ср. [Топоров 1988: 17 и passim]. Терминологизированный сакральный характер с оттенком внешнего «сияния» прибавился сюда позже. Мы согласны с Топоровым, что, например, **Svętoslavъ* — «не тот, чья слава "сакральна", но тот, у кого она возрастает, ширится» [Топоров 1988: 40]. Но, может быть, еще явственнее это в случае с именем **Svętopъlkъ* = 'тот, полк (дружина) которого множится'. Широкоупотребительная по сей день русская пословица *Свято место пусто не бывает* (которую следует понимать в том смысле, что «изобильное место не бывает пустым») говорит сама за себя и дышит архаикой. Мы имеем здесь перед собой смысловую оппозицию, едва ли замеченную исследователями, *святой* — *пустой* (т. е. с чертами досакрального, дохристианского употребления и при полном отсутствии признаков блеска). Русское *пустосвя́т* 'исполнитель внешних обрядов для виду' (словарь Даля) уже показывает дальнейшее се-

мантическое развитие. Одним словом, исследуя старую религиозную терминологию и через нее — более древнее состояние культуры, мы нередко рискуем модернизировать и подгонять под свой собственный (христианский) способ ви́дения многое из исследуемого. Что и случилось с Мошинским, который резюмирует свое исследование таким образом (С. 124): «Праславяне имели только одного Бога, которого они представляли себе как “лучезарного подателя” (*svętъ Bogъ*)». Даже если посмотреть на дело чисто филологически, оно представляется далеко не таким простым и однозначным. Возьмем общеизвестное и цитируемое также Мошинским место из Прокопия (De bello Gothico III 14, 23): θεὸν μὲν γὰρ ἕνα, τὸν τῆς ἀστραπῆς δημιουργὸν ἁπάντων κύριον μόνον αὐτὸν νομίζουσιν εἶναι «они (славяне. — О. Т.) имеют одного бога, творца молнии, которого они считают единственным господином всего сущего» (так у Мошинского, с. 66). Но было бы небесполезно для всех дальнейших догадок автора о том, имеем ли мы здесь дело с монотеизмом или энотеизмом, уделить внимание тому факту, что лучшая рукопись Прокопия дает именно чтение: θεῶν (не θεὸν! — О. Т.) μὲν γὰρ ἕνα… (и далее по тексту), т. е. надо читать «**одного из богов**». Ср. [Свод. 1991. С. 12, 182]. Таким образом, что было чрезвычайно характерно для дохристианской, праславянской религии, так это плюраль **bozi* (вин. п. мн. **bogy*, ср. специально русскую начальную летопись о деятельности Владимира в связи с языческим пантеоном и последовавшим затем низвержением богов), а не singulare tantum **Bogъ*, столь привычное для христианского мироощущения. Может быть, именно это культурно-исторически вторичное восприятие побудило автора к построению несколько деланной этимологии праслав. **dadjьbogъ* как некоей формулы приветствия **dadjь Bogъ* ‘дай Бог (тебе счастья)’, своеобразный эквивалент христианского *съпаси Богъ* → рус. *спасибо* (С. 68—69).

Памятуя о подзаголовке книги Мошинского («…в свете славянского языкознания»), мы с сожалением констатируем, что большинство этимологий, предложенных автором, едва ли можно назвать удачными, будь то **tŕno-golvъ* (‘Христос в терновом венце’?! — о языческом боге победы у полабян на основе *Tjarnoglofi* древнеисландской традиции, с. 74—75) или дешифровка **potǫga* < *Podaga*, praepotentia которой упоминается в источниках (С. 79), но *Podaga* (вариант: *pogaga*) заслуживало бы более естественного объяснения, уже предлагавшегося другими исследователями ранее, что-то вроде ‘пожар’, чем выражалась мощь бога. К той же семантической сфере могло бы принадлежать божество северо-западных славян *Pripegala*, если из **Pripěkala*, отглагольное имя от **pripěkati* ‘припекать’. Мошинский смотрит на него иначе, связывая с польск. *opieka* ‘забота, попечение’ (С. 81). Но столь резкие семантические различия одного и того же глагольного корня **pekťi* ‘жечь, печь, жарить’ и ‘заботиться’ зависят главным образом от префикса.

«До сих пор языкознание едва ли привлекалось в исследованиях по дохристианской славянской религии», — таков приговор, выносимый автором (С. 88), и мы должны на этот раз признать его правоту.

Мошинский придерживается мнения, что слова **duxъ* и **duša* не принадлежали к праславянской религиозной лексике (С. 97). Выше мы попытались затронуть проблему похождений души после смерти, насколько они (похождения) могли обозначаться с помощью табуистического древнего словарного состава, служить предметом представлений, а также по возможности прослеживаться и вскрываться лингвистическим путем. То, что до смерти носило название **duša*, продолжает, по праславянским представлениям, жить и после смерти, но только — под новыми именами **navь*, **mana*, **manъ* и, возможно, также другими, ср. еще и.-е. **ăn-*, откуда не только нем. *Ahn* 'предок', но и слав. **vъnukъ* 'внук', этимологически 'того же рода, что и предок, дед, принадлежащий предку, деду' [Трубачев 1959: 74—75]. Существенная деталь: в книге Мошинского я не встретил сло́ва (и понятия) табу ни разу, отчего явно пострадало лингвистическое исследование материала. Равным образом в ряде случаев, кажется, имело место пренебрежение лингвистической типологией. Вот только один пример, который, однако, с тех пор как я его обнаружил, является для меня чудом лингвистической типологии и славянского культурного своеобразия. Внешне тот же самый лексический материал служит предметом обсуждения и у Мошинского в части III, главе 2 «Дохристианская религия славян в свете праславянского словарного состава», параграф *c*) «Проблема ответственности человека после смерти» (С. 97 и след.). Там написано совершенно правильно, что «проблема грядущей ответственности была чужда праславянам. Праславянский словарный состав не содержит слова, обозначающего ад, преисподнюю» (С. 97). Таким образом, не было лексико-понятийной оппозиции между раем и адом, мимо чего автор проходит молча. Но поскольку упраздняется названная оппозиция, а вместо двух четко очерченных понятий остается одно расплывчатое «потусторонний мир, тот свет» (см. об этом уже выше), отпадает надобность и в этом разделении на хорошие и плохие души. Этого не позволяет делать элементарный структурализм, отчего в праславянский потусторонний мир (**rajь*) переселяются все умершие. Иначе мы получим не реконструкцию праславянского состояния, а скорее иррадиацию собственного христианского сознания на собственные научные представления. Но самыми важными, на мой взгляд, остаются дальнейшие типологические различия. На одной стороне мы констатируем эту славянскую ситуацию с наличием собственного названия рая **rajь*, отсутствием заимствования из греч. παράδεισος и с заимствованными названиями ада (*адъ*, *пькълъ*). Совершенно противоположную ситуацию мы наблюдаем на другой стороне — у большинства неславянских народов Европы и в их языках. Лат.

infernum и его продолжения во всех романских языках, нем. *Hölle*, англ. *hell* и т. д. 'ад' показывают нам, что в западном языковом и культурном ареале туземными и дохристианскими были как раз названия ада, преисподней, в то время как понятие и название рай там оказалось импортированным извне вместе с христианизацией [Трубачев 1992. С. 40—41]. Нельзя не высказать своего удивления по поводу того, что столь глубокое различие между Востоком и Западом до сих пор, насколько я знаю, не привлекло внимания.

Среди прочих лингвистических и этимологических неудач книги следует, возможно, выделить анализ лексического семейства *трѣба* 'жертва'. Автор явно пошел по ложному следу, принимая здесь за исходные значения 'чистить', 'корчевать (лес)' (С. 109). Конечно, здесь представлен корень **ter-*, расширенный элементом *-b-* и обладающий основным значением 'тереть, перетирать, истреблять с помощью чего-то острого', но сакральное значение 'жертва' дало не оно. Непосредственно от глагольного значения 'перетирать, истреблять' отпочковалось значение 'острая необходимость, дело' (ср. лит. *reĩkia* 'надо, нужно', *reĩkalas* 'дело', этимологически родственные с значением глагола *riẽkti* 'резать' [Fraenkel 1962: 714]). Праслав. **terba*, цслав. *трѣба* 'victima' < 'necessitas', сюда же польск. *trzeba* 'нужно') является хорошей аналогией этому. Когда Мошинский (там же) толкует слово *трѣбище* как 'очищенное от деревьев, раскорчеванное место', получается еще одна досадная ошибка. Со стороны языка дело ведь абсолютно ясно и однозначно: *трѣбище* — это (также в этимологическом смысле) 'место требы, жертвоприношения, locus victimae', в соответствии со словообразовательный моделью на *-išče* и семантической иерархией. Строго говоря, и ст.-слав. *капище* — не обязательно 'здание' (к трудному вопросу о храмах), как у Мошинского (С. 112), а точнее — 'место того, что называется *капь* ('идол')'.

Что касается обсуждения книги, мы уже близки к цели. Я, конечно, разделяю мнение, что эта тема сложна, трудна и с лингвистической точки зрения обработана еще в очень малой степени. Вызывает сожаление, что наш автор трактовал проблему слишком фрагментарно. И его заявленная лингвистическая позиция осталась, скорее, невыполненным обещанием; у Мошинского, безусловно хорошего филолога, перевесила склонность к историко-филологическому (по большей части традиционному) взгляду на вещи. Но одной письменной традиции для реконструкции языка и культуры недостаточно. Напрасно также объектом критики и сомнений Мошинского сделалось использование этнографического материала. Но главное, в сущности, то, что в его изображении своеобразие праславянской религии оказалось едва ли затронуто.

Остаются уязвимыми для критики и рассуждения автора о том, что мы должны называть религию праславян не языческой (*поганьскъ*), а дохристи-

анской (С. 123, 125). Из этого можно было бы сделать явно опрометчивый вывод, будто речь идет только о немногих столетиях, собственно предшествующих введению христианства, т. е. отрезке времени, которым традиционно любят оперировать историки языка. Но это не так. Следует говорить о самостоятельном, весьма протяженном периоде, значение которого вряд ли можно было бы переоценить, тем более, что его воздействие сохраняло силу и для последующего христианства (ср. то, что сказано выше о понятийной паре рай — ад в двух культурных регионах Европы). Тем самым ставится вопрос о временнóй глубине и о том, что она в исследовании Мошинского, по-моему, недостаточна. Так, интерес исследователя простирается не далее середины I тысячелетия до н. э. или, выражаясь словами самого Мошинского (С. 125): «Очень древние иранские влияния были не столь существенны ⟨...⟩ Скандинавские влияния установить не удается. Протоболгарское влияние было лишь поверхностным. Влиянию кельтской религии подверглись прежде всего западные лехиты». И это все? Как я себе это сейчас представляю, ученый занимается последним периодом развития праславянской языческой религии: уже наличествует понятие бога (богов), не без иранского влияния. Вне поля зрения остался предшествующий период культурной жизни с более примитивным миром духов и характерными нравами и обычаями, но совершенно отличный также по своим языковым и этническим связям, прежде всего славяно-италийским (латинским). Обойти их здесь молчанием было бы едва ли правильно, но тем самым нам придется говорить о другой книге — о моем «Этногенезе и культуре древнейших славян (лингвистические исследования)», вышедшей в 1991 г. [Трубачев 1991]. После прочтения книги Мошинского я нахожу это даже настоятельно необходимым, тем более, что прошедшие после этого годы помогли здесь кое-что добавить или объяснить.

Для краткости я буду придерживаться своего тогдашнего изложения, будучи при этом, однако, вынужден произвести некоторый отбор проблем в интересах, так сказать, продолжения диалога с Мошинским. Итак, по порядку: кельтов я вижу значительно южнее — южнее, чем германцы последних столетий до н. э., чей отпечаток носит имя вольков / волохов (*Volcae* > **Walhōz* > праслав. **volsi* / **volxy*) в их продвижении к славянам в Среднее Подунавье. Значительно дальше на восток и не раньше V в. до н. э. имеют место не только иранско-славянские, но и индоарийско-славянские контакты. Это путь к этимологии **Svarogъ* из др.-инд. *svarga-* 'небо'. Иранская этимология терпит естественное фиаско на факте сохранения этимологического *s-* в начале слова, невозможность исконно праславянской этимологии очевидна из наличия *-r-* внутри слова (если от названия Солнца, то почему тогда не *-l-* ?), то, что пишет об этом слове Мошинский (С. 53—54. Примеч. 226), неубедительно. Наш вышеупомянутый terminus post quem (середина I тысячелетия до н. э.)

для контактов с индоарийским ограничивает более глубокую датировку также и для имени бога солнца *Svarogъ*. После критики неестественно высокоразвитой трехклассовой культуры (пра)индоевропейских племен, по Дюмезилю, Гамкрелидзе и Иванову, я обращаюсь к ключевому (в моем представлении) слову славянской культуры **svojь* 'свой' в контексте родовой идеологии и терминологии, ср. в первую очередь словосочетание **svojь rodъ* 'свой род'. С идеологией рода естественно сочетается земледельческая идеология со своими суевериями. Так следует понимать, как мне кажется, рус. *колду́н*, собственно праслав. **kъltunъ* 'тот, кто спутывает (хлебные колосья — со злым умыслом)'. Памятуя о родовых коннотациях слова **svojь* (и.-е. **su̯e-*), я рассматриваю праслав. **sъ-mьrtь* 'смерть' как эквивалент рус. *своя смерть* — о естественной смерти — со специфической понятийной нейтрализацией и.-е. **su-* I 'suus' и **su-* II 'хороший (в нравственном смысле)' — и то, и другое из первоначального **su-* 'рождение, род'. Тот свет обозначался просто как 'связанное с (или находящееся за) водой' (своего рода *Across the river and into the trees* 'на той стороне реки, в тени деревьев', как у Хемингуэя), ибо примерно таков этимологический смысл праслав. **rajь* (**rōi̯-*: **rei̯-*), а сомнения Фасмера в связи с отсутствием **rajь* в гидронимии объясняются как сакральный запрет.

Когда в центре картины мира помещается **svojь rodъ* (и.-е. **su̯o- geno-* 'свой род'), уместно говорить скорее об антропоцентризме, но не о трехчастной модели мира. Развитые религиозные системы, семья богов, пантеон появляются относительно поздно, во всяком случае, вторично, за ними почти можно наблюдать глазами истории, как, например, за реформой Владимира 980 г. Боги появляются вследствие сублимации низших божеств, и собственно праславянская культура была как раз охвачена этим развитием. Многое при этом осталось незавершенным, как бы на полпути, например **Perunъ* — отчасти бог, а отчасти — чисто нарицательное обозначение грома с молнией, **perunъ*. И в этом сама славянская архаика. Божественность того же Стрибога и Дажбога не следует преувеличивать, это культурные инновации послескифского времени, но все же теонимы (а не формула приветствия!), которые, впрочем, оказались возможны только благодаря расцвету определенного антропонимического типа. Ослепленные блеском более развитых религиозных систем, «героического века» их мифологий (в Древней Индии, Риме и др.), исследователи слишком часто упускают из виду то, что вправе считаться (пра)славянской спецификой. Так, например, *Родъ*, олицетворение человеческого рода, вообще не находит места у Мошинского, но надо признать, что в контексте намеченной выше реконструкции **svojь* (**svojь rodъ*) и других это обрело бы прямой смысл. Похоже, что исследователи религии старшего поколения, навлекшие на себя критику за свою приверженность к этнографии,

понимали дело правильнее. Я имею в виду Гейштора, который, правда, идя по стопам Бенвениста и Р. Якобсона, стремился обязательно вставить славянского Рода в классическую индоевропейскую мифологическую систему [Giejsztor 1982: 156]. Внутреннесемантические аналогии с римским *Quirinus* (**co-vir-* 'мужское содружество'), умбрским *Vofione* (**leudh-*, ср. слав. **ľudьje*), кельтским *Teutates* (*teuta* 'род, народ'), может быть, и не лишены интереса. Особенно много занимается Родом Б. А. Рыбаков, ср. целую главу «Род и рожаницы» в его книге о язычестве древних славян [Рыбаков 1981: 438 и след.], а также его последующую книгу [Рыбаков 1987: 246 и след.]. После специальной работы И. И. Срезневского 1855 г. и исследований А. Н. Веселовского Б. А. Рыбаков тоже уделяет внимание так называемым «рожаницам» русских народных верований, этим «паркам, стерегущим домашний очаг», ср. еще специально [Черепанова 1993: 94 и след.]. Несколько слов об этих существах, поскольку их образ и название все же не привлекли особого интереса исследователей. Может быть, именно потому, что со стороны языка здесь все кажется таким «понятным» и «прозрачным»? В названии рожаниц, кроме женского характера и преимущественно множественной формы (каковая выразительно связана с родовым коллективом и его идеологией), заслуживает внимания грамматическая сторона и ее отношение к лексической семантике слова. Наш автор Л. Мошинский тоже занимался праславянским **rodjanica* в своей статье о славянских названиях чародеев [Moszyński 1993: 104—105]. Но от него ускользнуло своеобразие слова: действительное (активное) лексическое значение при страдательном (пассивном) грамматическом виде, ибо **rodjan-ica* принадлежит к п а с с и в н о й причастной форме прошедшего времени л и ш ь ф о р м а л ь н о. Все говорит за то, что мы здесь имеем, так сказать, функциональный медий (средний залог: пассивная форма + активное значение). И нет никаких оснований для того, чтобы толковать это слово вместе с Мошинским как 'ta, która została urodzona'! Аналогичный медий, как и в *рожан-ица*, наблюдается в слав. **pьjanъ*, рус. *пьян*, *пьян-ица* (тоже в основе страдательное причастие с действительным лексическим значением). Нашей задачей было показать здесь высокую архаичность слова *рожаницы*, которую историки культуры чувствовали, может быть, лучше, чем языковеды.

Вернемся теперь снова к нашей книге об этногенезе и культуре. Периоду более высокой религии и соответственно развитой теонимии (и то, и другое синонимично героическому веку классической древности) совершенно естественно предшествовал период молчаливого поклонения; и пение гимнов героического века — отнюдь не извечная категория. Достаточно сравнить вторичность **pojǫ* 'пою, воспеваю' на основе **pojǫ* 'пою, даю пить' в славянском. Именно этим более архаичным периодом датируется такая выдающаяся

эксклюзивная славяно-латинская изоглосса из области древнейшей религиозной практики, как **gověti* 'поститься', 'хранить молчание', 'воздерживаться', 'благоприятствовать' — лат. *favēre* 'быть благосклонным', 'хранить молчание'. Это можно определить как стадию *favēre*. Так что сначала безмолвное почитание богов или, правильнее сказать, — безымянных сил природы, при полном отсутствии самих имен и терминов. Свидетельство лат. *nūmen* 'безмолвный знак, кивок; изъявление божественной воли; божество' может тоже считаться красноречивым архаизмом стадии *favēre*. И только после стадии *favēre* наступает стадия *hávate*, обычно столь неумеренно обобщаемая современным исследованием. Реконструкцию в собственном смысле при этом путают с транспозицией. В начале всякой культовой и именотворческой деятельности были неизреченность, табу и различные запреты. Только типологически здравое рассмотрение (пра)славянской культуры как самостоятельного диалектного варианта способно оградить от потопа дюмезилевской системы славянскую (как и любую другую!) самобытность. Мошинский, правда, не согласен следовать школе Дюмезиля, но то, что мы получили в его книге, это, собственно говоря, дохристианская славянская религия глазами доброго христианина, и это его благочестивое приношение, похоже, уже в силу одного этого сужения поля зрения отвечает не всем требованиям науки.

После предложенного параллельного чтения двух книг о культуре праславян можно выделить еще несколько вопросов, заслуживающих дальнейшего (хотя бы краткого) обсуждения. Для меня это в первую очередь славяно-латинские изолексы высокой архаичности, предпочтительно из сферы древнейшей религии. Вслед за уже упоминавшейся парой слов **gověti* — *favēre* назову дальше праслав. **manъ* (рус. диал., укр. и блр.) 'привидение' **manъ* (польск. диал.) 'галлюцинация', (рус. диал.) 'нечистый дух, обитающий в доме или в бане' и лат. *mānēs* 'духи умерших'. Ср. еще рус. диал. *манья́* 'привидение, призрак', укр. диал. *маніа́*, блр. диал. *ма́нія* — с тем же значением и лат. *māniae* 'призраки мертвых'. Общность форм и значений при этом столь велика, что мы чувствуем себя вправе говорить здесь об общих началах культа предков, культурном событии, совершившемся намного раньше, чем, скажем, тот гораздо более поздний славяно-иранский культурный обмен из эпохи более развитой религии (о чем выше).

Таковы данные моей книги по этногенезу и культуре 1991 г. С того времени были выполнены еще две работы на тему, а именно доклад на съезд славистов в Братиславе [Трубачев 1993. С. 3 и след.] и его продолжение (в печати). А главное, о чем сто́ит упомянуть (помимо критики наивной «реконструкции» Лейстом и Леманом первой заповеди праиндоевропейского общества «Тебе надлежит чтить богов» (!!), чему я настойчиво противопо-

ставляю свою версию древнейшей заповеди, а именно **ĝnō- su̯om ĝenom* = *znajь svojь rodъ* ‘знай свой род’...), это, собственно, еще одна эксклюзивная славяно-латинская изолекса, почерпнутая из практики работы над Этимологическим словарем славянских языков, и на этот раз тоже из нравственно-религиозной сферы. Со славянской стороны это **nebasъ* (кашубско-словинское ‘негодяй’, рус. диал. ‘грубый’), сравниваемое со знаменитой латинской правовой формулой *ne-fās* ‘грех’, и образующие с ними обоими пару утвердительное праслав. диал. **bas-* (рус. диал. суффиксальные производные со значениями ‘хороший, красивый’) и лат. *fās* ‘божественный закон’. Славянские лексемы из области религии **gověti*, **manъ/a* и **basъ* / **nebasъ* с их латинскими соответствиями следует понимать также как нашу корректуру к заключению Голомба [Gołab 1992: 173], о том что в северо-западном индоевропейском лексиконе религиозные термины отсутствуют.

У нас нет желания ввязываться в дискуссию, отвечает ли праславянская духовная культура больше религии, а не мифологии. Для далекоидущих аналогий с мифологией классического типа как будто нет достаточных оснований. Но и здесь все же сто́ит предпочесть нигилизму дальнейшую работу по реконструкции. Эта дальнейшая работа могла бы выявить дополнительную информацию о местных божествах, а с другой стороны — дополнить наши сведения о так называемых главных божествах, не претендуя при этом на раскрытия целых «мифов». Лучше оставаться при этом на лексико-семантическом уровне, опираясь, разумеется, на здравые этимологии. Возможности последних далеко еще не исчерпаны, бывает, что и результаты, полученные ранее, остаются порой втуне, как та этимология Куриловича: слав. **koščunъ* (и родственное) как калька иранского *astvant-* ‘преходящий, бренный’, буквально ‘к о с т е о б р а з н ы й’ (ср. [Этимологический словарь... 1984. С. 169]) и это — о ч е л о в е ч е с к о й д у ш е! Выходит, что все это гнездо слов, столь весомое в плане христианских этических норм, — **koščunъ* / **koščuna*, **koščuniti*, рус. *кощу́нство* — следует считать дохристианским праславянским. Что касается малоизвестных местных божеств, то я мог бы указать пока на два примера. Один из них, особенно веский в моих глазах ввиду его локализации на Среднем Дунае предположительно праславянского времени, — это имя из римской эпиграфики *Dobrati*(*s*), в надписи II—III вв. н. э. из Нижней Паннонии (Intercisa на Дунае), собственно, праслав. **dobrotь* ‘добро, доброта’, в данном случае персонифицированное (надпись на барельефе с изображением конного божества), см. об этом у меня [Трубачев 1991: 100—101]. Второй из двух моих примеров, возможно, не столь многозначителен, но тоже может быть отнесен к древности. Я имею в виду случаи потенциальной сакрализации праслав. **děva*, притяжательное прилагательное **děvinъ* ‘девичий, девственный’, засвидетельствованные в топонимии. Это,

как правило, обрывистые скалы, труднодоступные (и, возможно, культовые?) места, в их числе — знаменитый Девин в Словакии, при впадении Моравы в Дунай. В отличие от Л. Мошинского, Б. А. Рыбаков специально пишет о нем, о распространении святых гор с такими именами во всем славянским мире и о прочной связи древних ритуальных традиций с ними [Рыбаков 1981: 285]. В качестве параллели можно сослаться на синонимичное греч. Παρθένιον, например, в античном Крыму.

Праславянские имена богов остаются по-прежнему актуальной темой. С апеллативом **bogъ* связана, вероятно, праславянская производная форма **bogytъ*, что-то вроде 'место, посвященное богу', образованная с суффиксом *-ytъ* от **bogъ*; засвидетельствовано прежде всего как названии горы *Богит*, в непосредственной близости от места, где был найден знаменитый збручский идол; см. об этом и о раскопках И. П. Русановой там же [Рыбаков 1987: 250, 251, 767]. Остается сказать, что, например, А. Вайян ничего не знает об этом архаичном производном на *-yt-* (ср. [Vaillant 1974: 700]). В свое время оно ускользнуло и от нашего внимания, я имею в виду гнездо **bogъ* в нашем Этимологическом словаре славянских языков.

Несмотря на то, что выше мы констатировали нарицательное употребление слова **perunъ* 'гром' от праславянского до современности, что, так сказать, ослабляет безусловно божественную природу обозначаемого именем **Perunъ* и ставит его под вопрос, все же многое говорит также в пользу еще праславянской народной веры в этого бога. В пользу этого говорит, например, и своеобразная табуизация имени этого бога с помощью народных вариантов вроде *paron*, *parom*, а также *taron* и др., которые тем самым вряд ли имеют что-нибудь общее с анатолийскими именами бога грома, как, например, хеттск. *Tarḫun-*, и совершенно излишне, например, далее, принимать для западнославянского диалектного *taron* кельтское происхождение, (ср. [Николаев, Страхов 1985. С. 149 и след.]). Одной этой табуизации достаточно, чтобы удостоверить божественный статус Перуна. Попытки уравнять заимствованного Сварога с исконным Перуном, а Велеса, так сказать, лишить божеского сана (и то и другое в вышеназванной книге Л. Мошинского) выглядят все-таки недостаточно обоснованными. Вместо того, чтобы совсем отделять восточнославянский вариант *Волос* и понимать его как преобразование заимствованного имени Βλάσιος, мы видим в нем в согласии с другими исследователями еще праславянские варианты **velesъ* / **velsъ*. Следы имени не только Перуна, но и Велеса широко распространены, в том числе к югу от Дуная [Иванов, Топоров 1988б: 455]. С разных сторон поступают, далее, непротиворечивые указания на то, что, в отличие от Перуна, обитателя скал и возвышенностей, Велес выступает в связи с низинами (ср. [Иванов, Топоров 1974], особенно гл. 2. «Восточнославянское *Velesъ* / *Volosъ* и проблема ре-

конструкции имени и атрибутов противника бога грозы»). Нас здесь интересуют эти «низины», позволяющие увидеть Велеса в более широких связях, а его семантику — в связи с отзвуками различных индоевропейских отношений. Хотя и несколько в тени, но все же не осталась незамеченной исследователями связь имени *Velesъ* с **Velynь* / **Volynь* и даже с *Váruṇa-*. Начнем с этого последнего индийского имени бога, которое до настоящего времени «не объяснено убедительно» [Mayrhofer 1976. S. 151—152], в немалой степени из-за этой двусмысленности индоиранского *-r-*. Р. Якобсону принадлежит идея сравнения имени *Váruṇa-* с лит. *vẽlės* 'духи умерших', *vélnias* 'черт', *Veliuonà* 'богиня духов предков' и, наконец, с др.-рус. *Велесъ* (там же). Сравнение *Велесъ* и *Váruṇa-* принималось во внимание нашими мифологистами, привлекательное, видимо, ввиду параллелизма мифологических отношений **Perunъ* : **Velesъ* = *Indra-* : *Váruṇa-*, ср. [Топоров 1983. С. 50 и след.]. С этой стороны мы получаем отдельные полезные намеки, например, *Váruṇa-* < **Vol-un-*/**Vel-un-*, ср., далее, сюда же *Волынь* < **Vol-ūn-* [Топоров 1993. С. 112. Примеч. 122], однако направление и смысл словопроизводства оставались все же неясными. Это допускало также довольно широкий выбор этимологий, результатом чего явились внешне корректные этимологии, которые не могут нас удовлетворить. Например З. Голомб склонен видеть здесь наличие понятия власти, господства, правда, речь при этом сводится к корневой этимологии: польско-американский лингвист исходит из праформы местного названия **Ve/olyn'i*, которое он прямо связывает с корнем глагола слав. **velěti*, рус. *велеть*, и.-е. **u̯el-* 'хотеть', куда также слав. **velьjь*, **velikъ* 'большой, великий' (первоначально 'мощный'). Принимая за исходное значение 'сила, власть', исследователь толкует топоним др.-рус. *Велынь*, *Волынь* как 'подвластная земля', что-то вроде лат. *dominium* (откуда англ. *dominion*), со ссылкой на праслав. **volstь* 'власть', откуда, например, (др.-)рус. *волость*, и даже чеш. *vlast* 'родина' [Gołąb 1992: 237—238]. Однако у нас есть что возразить на это, особенно ввиду близкого параллелизма имени **Perunъ* и родственных форм, из них прежде всего *Перынь*, культовое место близ Новгорода. Естественно, здесь нет никакого производного на *-yni-*; совершенно очевидно, что речь здесь идет о производном от имени бога *Перунъ*. От последнего абсолютно регулярно образовывалось производное с формантом *-jь*, засвидетельствованное и в летописях в эпоху принятия христианства: *Перунѧ рѣнь* 'Перунова отмель', в районе Днепровских порогов [Етимологічний словник... 1985: 101]. Кроме того, можно принять также более архаичный способ производства с продлением гласного (врддхи), как еще индоевропейский и вполне оправданный в культовых именах. В чистом виде это выглядело бы как **Перынъ* из **Перунъ*. Фактически засвидетельствованное *Перынь* объяснимо как амальгама обеих словообразовательных моделей, ста-

рой и более новой. Другой хороший пример на *Perynъ / *Perunь представлен в болгарском языковом ареале, в названиях гор *Перúн*, *Пирин планина* [Миков 1943: 174]. Таковы показания форм *Perunъ / *Perynъ / *Perynь. Представляется, что и в случае с *Velynь, *Volynь мы имеем дело с аналогичным развитием, засвидетельствованным, правда, фрагментарно: *velunъ → *velynъ / *velynь. Интересно же то, что это имя связано не с понятием власти (см. Голомб, выше), а скорее с древним миром духов и богов. Мы как будто имеем право говорить о праславянском имени *Velunъ 'божество низин', во многих отношениях (в том числе формальном) парном к праславянскому *Perunъ (по нашим мифологистам, эта пара богов имеет вид *Perunъ — *Velesъ), и, что в высшей степени интересно, с индоевропейским соответствием в уже упомянутом др.-инд. *Váruṇa-*. Это открывает перед нами возможность, во-первых, правильнее охарактеризовать здесь отношение форм слав. *-unъ/-ynъ*, чем это делалось до сих пор (Ф. Славский в своем «Очерке праславянского словообразования» [Słownik prasłowiański 1974: 134] оставляет, в сущности, необъясненным отношение *Perunъ* : *Perynъ* : *Perynь*, во всяком случае его характеристика формы *Perynъ* как 'postać starsza' лишена всякой вероятности в смысле славянского развития). Во-вторых, мы как будто вправе принять для праслав. *Velunъ индоевропейскую праформу, а именно *u̯elu-n-, далее, родственно хеттск. *u̯ellu-* 'пастбище, луг (умерших)', см. о последних [Гамкрелидзе, Иванов 1984. С. 823, 824], сюда же Ηλύσιον πεδίον 'Елисейская равнина', потусторонний мир древних, воображавшийся в виде поля, луга, равнины — πεδίον [Wa(chsmuth) 1979. Стб. 1596]. Кроме последнего приведенного названия, продолжающего и.-е. *u̯elu-t-i̯om-, сюда же должны быть отнесены славянские слова со значениями 'холм', 'холмистая равнина' — *ǫ-vьlъ (польск. *Wawel*), *ǫ-valъ (рус. *увáл*) — все с чертами архаики. В качестве славянских названий долины лучше известны *dolъ (с производными) и *dъbrь. Возможно, более архаично название долины, равнины, восходящее к и.-е. *u̯el-n-, откуда, с одной стороны, лат. *vallēs*, *vallis*, а с другой стороны — своеобразная форма в слав. *volynъ/ь, куда относятся, кроме др.-рус. *Велынь / Волынь*, практически только западнославянские формы *Volyně* в Чехии и польск. *Wolin* (стар. *Wollin*) на Балтийском море. Исключительный характер латинско-славянской встречи *vallis* и *Volynь здесь тоже для меня не лишен интереса как еще одно указание на Среднее Подунавье. При этом и семантическое содержание, и словообразование могут порой носить отпечаток вторичности. К числу вторичных можно, вероятно, отнести и отдельные сакральные значения. Вполне возможно, что при этом удается этимологически разоблачить соответствующее обозначение духов или бога как табу: «(дух или божество) из (той) д о л и н ы», что подошло бы для лит. *vẽlės*, *vélnias*, но и для праслав. *Velunъ, *Velesъ, в чем, возможно, заключает-

ся причина, почему это индоевропейское название долины на апеллативном уровне в славянском постепенно пришло в забвение.

В общем и целом я чувствую себя, к сожалению, обязанным высказать скорее отрицательное мнение о книге Мошинского. Хороший замысел автора — представить дохристианскую религию славян в свете славянского языкознания — остался по большей части неосуществленным, и об этом стóит пожалеть, если мы серьезно думаем раскрыть религию и идеологию праславян и прежде всего — ее своеобразие. Будучи поставлены перед дилеммой — внешнее сравнение (в данном случае — метод Дюмезиля) или внутренняя реконструкция, — мы выберем, естественно, последнее.

Литература

Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984.

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відповідальний редактор О. С. Стрижак. Київ, 1985.

Иванов, Топоров 1974 — *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974.

Иванов, Топоров 1988а — *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Свентови́т // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988.

Иванов, Топоров 1988б — *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Славянская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988.

Миков 1943 — *Миков В.* Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943.

Николаев, Страхов 1987 — *Николаев С. Л., Страхов А. Б.* К названию бога-громовержца в индоевропейских языках // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987.

Рыбаков 1981 — *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981.

Рыбаков 1987 — *Рыбаков Б. А.* Язычество Древней Руси. М., 1987.

Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I—VI вв.) / Отв. ред. Л. А. Гиндин, Г. Г. Литаврин. М., 1991.

Топоров 1983 — *Топоров В. Н.* Еще раз о Велесе-Волосе в контексте «основного» мифа // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов Второй балто-славянской конференции. М., 1983.

Топоров 1988 — *Топоров В. Н.* Язык и культура: об одном слове-символе // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1988.

Топоров 1993 — *Топоров В. Н.* Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент **mir-*) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993.

Трубачев 1959 — *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.

Трубачев 1991 — *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.

Трубачев 1992 — *Трубачев О. Н.* В поисках единства. М., 1992.

Трубачев 1993 — *Трубачев О. Н.* Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Доклады российской делегации. М., 1993.

Черепанова 1993 — *Черепанова О. А.* Материалы по славянскому язычеству и мифологии в трудах И. И. Срезневского // Славянские языки, письменность и культура. Сборник научных трудов / Отв. ред. В. В. Колесов. Киев, 1993.

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 11 / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1984.

Fraenkel 1962 — *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—II. Heidelberg, 1962.

Giejsztor 1982 — *Giejsztor A.* Mitologia Słowian. Warszawa, 1982.

Gołąb 1992 — *Gołąb Z.* The origins of the Slavs. A linguist's view. Columbus (Ohio), 1992.

Mayrhofer 1976 — *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. III. Heidelberg, 1976.

Moszyński 1992 — *Moszyński L.* Zagadnienie wpływów celtyckich na staroslowiánska teonimię // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8. Językoznawstwo. Prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratysławie 1993. Warszawa, 1992.

Moszyński 1993 — *Moszyński L.* Kierunki zmian semantycznych prasłowiańskich apelatywów określających przedchrześcijańskich czarowników // Philologia słavica. К 70-летию акад. Н. И. Толстого. М., 1993.

Słownik prasłowiański. T. I / Pod red. F. Sławskiego. Wrocław, 1974.

U(ntermann) 1979 — *U(ntermann) J.* Kelten // Der Kleine Pauly. Bd. 5. München, 1979.

Vaillant 1974 — *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. IV. La formation des noms. Páris, 1974.

Vasmer 1913 — *Vasmer M.* Kritisches und Antikritisches zur neueren slavischen Etymologie. V // Rocznik slawistyczny 6. 1913. S. 172 и след. (= *M. Vasmer.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, hrsg. von H. Bräuer. Bd. I. Berlin, 1971.).

Wa(chsmuth) 1979 — *Wa(chsmuth) D.* Elysion // Der Kleine Pauly. Bd. 5. München, 1979.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА

Диалог одного автора с другим, в данном случае — в такой распространенной своей форме, как ответ рецензируемого рецензенту, с последующим ответом уже со стороны рецензента, в свою очередь, есть вещь естественная для научного обмена и в оправдании не нуждающаяся (сама наука, как говорят, — не что иное, как диалог, в котором ни одна из сторон не может претендовать на абсолютную правоту...). Конечно, «продолжение диалога» рискует перерасти в «затянувшийся диалог», т. е. в «дискуссию», но можно позволить себе пойти и на такой риск, если обсуждаемые предметы того заслуживают или если ожидаемым итогом будет не личный профит того или другого из дискутирующих, а какая-то польза также для науки. Тут, кажется, у нас нет разногласий с Мошинским, который в письме от 14 октября 1995 г., присланном одновременно с рукописью доклада [1], переведенного выше [2], сообщил мне, что думает «że ten “dialog Trubaczowa z Moszyńskim” wniesie do nauki coś pożytecznego».

Если претензия на собственную абсолютную правоту, таким образом, далеко не всегда вызывает сочувствие, то все же у каждого из участников диалога остается неоспоримое право, на котором в любом случае незазорно настаивать, — это право быть правильно понятым. Вот с таких «уточнений» и позволю себе начать свою ответную реплику. Сразу замечу, что, вполне сознавая то обстоятельство, что этот диалог разворачивается не на страницах

---

[1] Как можно понять из названного письма, речь идет о докладе Л. Мошинского на специальной конференции в Баранове (Польша), посвященной праславянским верованиям и организованной Институтом археологии ПАН.

[2] См.: *Л. Мошинский.* Современные лингвистические методы реконструкции праславянских верований // Этимология 1994—1996. М.: Наука, 1997. С. 9—20. — Прим. сост.

журнала по общим проблемам, а в специальном издании «Этимология», я нисколько не вижу в этом обстоятельстве чего-то такого, что ограничивало бы общую перспективу (необходимую всегда!), и даже намерен высказаться об этом особо, поскольку, как оказалось, некоторая ответная критика в мой адрес коснулась именно антитезы «общее — частное» и, более того, была сформулирована как обвинение в предпочтении с моей стороны «частного» «общему».

Мне, например, очень не хотелось бы, чтобы и остальные читатели, ознакомившись с моим развернутым откликом на известную книгу Л. Мошинского о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания, увидевшим свет с течение 1994 г. в журналах «Zeitschrift für slavische Philologie» и «Вопросы языкознания», а теперь еще и в новом американском журнале «Palaeoslavica» III, 1995 (на обложке и титуле неточно: 1994), Cambridge, Mass.[3], — очень не хотелось бы, чтобы читатели пришли к выводу об «отсутствии интереса» у меня к периоду собственно письменной истории и методу, которым обычно исследуют этот период филологи и текстологи, к которым принадлежит Л. Мошинский, но не принадлежит Трубачев, будучи этимологом. Это утверждение (ср. еще далее, в более сильной форме, о «его — [Трубачева. — *О. Т.*] антипатии к сфере исследовательского метода, применяемого мной [т. е. Мошинским. — *О. Т.*]») ни в коей мере не отражает моих «симпатий—антипатий», а вернее сказать — принципов. Не стану я спорить и с трюизмом, к тому же, дважды повторенным, о том, что «нельзя ограничивать лингвистику этимологией», и еще о том, что «лингвистика — это не только этимология». Считая себя в такой ситуации вовсе не обязанным оправдываться дальше, сошлюсь все же, для вящей убедительности, на собственные слова в ситуации очень близкой и потому, думаю, достаточные, чтобы исключить неправильное понимание и слишком свободное толкование. Я готов согласиться, что «цеховые» интересы иногда преувеличенно сильны, что сказывается на групповых мероприятиях вроде специальных конференций. Я столкнулся с этим явственно несколько лет назад на одной подмосковной конференции по историческому словообразованию. Бросалось в глаза, как участники конференции наперебой объясняли все заинтересовавшие их языковые феномены исключительно из исторического словообразования. Выступая потом на конференции, я высказал то, что, наверное, придется повторить здесь, в новой связи: «Установка на решение проблемы силами одного метода, в рамках одного уровня все менее и менее перспективна. Мне уже не раз

[3] Подобного рода «фронтальную» публикацию можно оправдать ссылкой на неуклонное падение и без того скудных тиражей: «Вопросы языкознания» в 1994 г. — менее 2 тысяч, не лучше обстоят дела и за рубежом.

приходилось отмечать не всегда четко осознанную, но оттого не менее явную тягу к межуровневым аспектам исследования (например, в практике международных съездов славистов). Надо продолжить работу и этом направлении. Малополезная доктрина изоморфизма разных уровней языка давала себя знать и на недавней конференции по историческому словообразованию... Стоит задуматься над тем, правильно ли поступают специалисты, решившие посвятить себя словообразованию да, к тому же, собравшиеся в одно место, скажем, на одну конференцию, если они всё или почти всё объясняют из словообразования. Нужно чаще напоминать себе и друг другу, что мы лингвисты и что язык в сущности не знает сечений, придуманных нами для нашего же удобства» [4].

Это, пожалуй, мое главное, принципиальное уточнение в споре с Мошинским. Возможны, конечно, и другие уточнения, может быть, более частные, как, например, эта, оставшаяся для меня непонятной, манера моего оппонента упорно ставить в кавычки выражение «внутренняя реконструкция», употребляемое как название исследовательского приема вовсе не мной одним; как сам прием, так и его название уже относительно не новы, они, можно сказать, прочно вошли в арсенал современного языкознания.

Что еще, может быть, несколько разочаровывает в научном обмене такого рода, так это — характерная отнюдь не только для одного нынешнего диалога — негативная избирательность полемики. Возможно, причина здесь в общечеловеческой слабости, а не в чьих-либо личных упущениях, но нельзя не видеть этого дефицита позитивных констатаций, т. е. распространенного отсутствия признания верного хода противника и одновременно — неверности хода собственного. Ведь от этого зависит корректность игры, что кажется применимым и к научному диалогу. Так, в нынешнем тексте ответа Мошинского упомянуто как-то очень кратко и вскользь «известное разночтение у Прокопия Кесарийского: θεῶν ἕνα — θεὸν ἕνα». В действительности же речь идет отнюдь не о рядовом эпизоде, а об одном из центральных филологических аргументов в вопросе о единобожии древних славян, и именно так — однозначно, а не в духе «разночтения» это подается в книге Мошинского (с. 66). Сделано это, по-видимому, ошибочно. В своей рецензии на вышеназванную книгу я обращаю внимание на то, что как раз лучшая рукопись Прокопия содержит θεῶν μὲν γὰρ ἕνα 'одного из богов', позволяя сделать

---

[4] *О. Н. Трубачев.* Синхрония, диахрония — und kein Ende... Маргиналии к конференции по русскому историческому словообразованию (Звенигород, осень 1989 г.) // Slavia. Ročn. 62. 1993. S. 68—70; особенно 70, где далее говорится на конкретных примерах о необходимости учитывать сложное переплетение также морфологических, фонетических, семантических факторов.

вывод в пользу политеизма праславян, оставаясь при этом исключительно на почве филологии. Досадно, что вместо позитивного признания этого неоспоримого факта, мы получили в ответ умолчание.

Чисто этимологических вопросов в нашем обмене оказалось немного (особенно таких, по которым бы наметилась перспектива дальнейшей дискуссии), и я скажу о них дальше. Впрочем, это нисколько не умаляет важности отдельных затронутых в ходе обмена привходящих, в том числе инодисциплинарных, моментов. Учет (или неучет) культурного контекста отнюдь не безразличен и для этимологии. Вот пример, при рассмотрении которого наш автор проявляет, кажется, лишнюю категоричность. Нелингвистический аргумент Л. Мошинского призван оспорить сразу два этимологических довода Трубачева: сближение праслав. *navь(jь) 'мертвый, умерший' с индоевропейским названием судна, корабля (мотивация: 'умерший' < 'в лодке погребаемый'?) и толкование названия рая *rajь как члена апофонического ряда *rei̯- : *roi̯- : *rōi̯- (ср. *rěka). Мошинский возражает, что здесь допускается ассоциация «явно с чужими верованиями о перевозе умерших через реку, рассматриваемыми Трубачевым как праиндоевропейские, какие бы то ни было конкретные данные о том, что праславяне представляли себе страну умерших, согласно Трубачеву, как расположенную за рекой (своего рода праславянский Стикс?), отсутствуют». — В том, что это возражение по меньшей мере неосмотрительно, нетрудно убедиться, справившись в новейших трудах наших этнолингвистов, ср.: «Славянские древности. Этнолингвистический словарь», s.v. Брод: локус, связанный с представлением о переходе души в иной мир или символизирующий «переходное» состояние индивида... Соотносится с двумя жизненными «переходами» души (см. Переправа через воду)... [5]. Далее там приводится диал. полесск. *брод* в значении 'агония', южнославянские словоупотребления *brod* как синонима переправы на пароме, связь мотива брода с мотивами колодца и моста у разных славян; в Банате устраивают «брод» после похорон, употребляя воду из колодца, а также делают специальную дорожку на берегу реки, причем предусматривается даже «плата за воду».

Вообще славянских данных о тесной связи 'рая' и 'воды' гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд; некоторые из них приведены уже в книге: *О. Н. Трубачев.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования (М., 1991. С. 174, сноска). Существуют и опыты культурной типологии разных представлений о 'рае', которые любопытным образом сводятся к трем типам 'рай' как сад, 'рай' как город, 'рай' как небе-

---

[5] Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995. С. 263.

са[6]. Было бы странно, если бы современный взгляд на этимологию слова *rajь не учитывал этих основополагающих сведений; заметим, что древнему значению 'богатство', имплицируемому популярным сравнением *rajь с др.-иран. rāy-, среди приведенной выше типологии представлений рая не находится места. Ограждение вокруг 'рая-сада' и 'рая-города' (кстати, наиболее взаимно родственных представлений) необязательно мыслилось как '(садовая, городская) ограда, стена'; наиболее естественно и архаично представление именно о водной преграде. Смущающая при этом Мошинского семантическая эволюция (языческое) 'рай для всех' → (христианское) 'рай для праведников' все-таки минимальна. Она, во-первых, лишний раз характеризует языковой такт славянских первоучителей, проявленный ими в бережном использовании древнеславянской дохристианской терминологии, а во-вторых, вполне реально смотрится как вновь структурированный фрагмент лексики и семантики: с приходом христианской идеологии в языке славян возникла оппозиционная пара терминов — (старый термин) 'рай' и (новый термин) 'ад'. Новая специализация старого термина и понятия 'рай' была в таких обстоятельствах вполне очевидной необходимостью. Еще раз повторю, что на основании всего вышеизложенного мы отвергаем этимологию праслав. *rajь из иран. rāy-, «принятую иранистами» (?; у автора при этом ссылка на суммарный обзор славяно-иранских языковых отношений Ю. Речека). Равным образом вынужден повторить (поскольку это упорно игнорируется), что единственный достоверный иранизм, легший в основу европейского и международного названия 'рая' — через греч. παράδεισος — никак не связан с иран. rāy- 'богатство', но восходит как раз к иранскому названию '(огражденного) сада'.

Странно читать суждение Мошинского о том, что вышеупомянутая иранская этимология оказывается неприемлемой для Трубачева «также и по причине его теории этногенеза славян, поскольку праславянам, которых он помещает на Среднем Дунае, нелегко было контактировать с иранцами, локализуемыми им к северу от Крыма, между Нижним Днепром и Доном». Чуть ниже Мошинский, правда, ненароком исправляет эту свою неточность, приводя целую цитату из моей книги по этногенезу, где признаются, естественно, и славяно-иранские отношения — с той разницей, что они знаменуют более позднюю, развитую стадию религии и имеют соответственно более позднюю хронологию, чем отмеченные архаикой славяно-латинские языковые и религиозные связи.

Моей конкретной аргументации по древнейшим славяно-латинским и идеологическим связям Мошинский практически упорно не видит, что, ко-

---

[6] *С. С. Аверинцев.* Рай // Мифы народов мира. Энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. М., 1988. С. 364.

нечно, облегчает ему собственный вердикт: «Локализация праславян на Среднем Дунае вызывает серьезные сомнения, а, по моему убеждению, она просто невероятна». Тогда как я ожидал — для большей убедительности — опровержения принимаемых мной славяно-латинских пар. Мошинский ограничился упоминанием только одной из них, наиболее традиционной, — **gověti* — *favere* и, в сущности, признал стоящий за ней тезис об отражении архаического молчаливого почитания высших сил. Не очень логично тогда выглядит высказанное им сомнение в архаичном и элементарном характере этого фрагмента славяно-латинских языковых отношений. Мне остается только гадать, почему Мошинский обошел молчанием предложенные мной «более свежие» пары слав. **manъ* / **mana* — лат. *mānēs* etc. и особенно слав. **bas-*, **nebasъ* — лат. *fās*, *nefās* и заложенное в них совокупное свидетельство об общности переживания зарождения культа предков и формирования архаичных (в том числе для самого́ латинского) правовых норм. Плохо, если в решающие моменты диалога партнер допускает упомянутый дефицит позитивной констатации, т. е. попросту умолчание. Не аргументируемое при этом отрицание оспариваемых им положений, конечно, не становится оттого убедительнее.

Столь же краток и не более аргументирован и другой вердикт Мошинского: «К числу весьма сомнительных выводов я отношу тезис о заповеди, якобы нормирующей духовную, а также религиозную жизнь праславян, — **Znaji svojь rodъ* ⩽ **g'nō- su̯om g'enom*». Ведь этот вывод существует не сам по себе, он опирается на констатацию функции ключевого слова у слав. **svojь*, далее — на явный примат идеологии рода и на антропоцентризм воззрений древнего славянина, насколько он (антропоцентризм) доступен нашей реконструкции. Неужели Мошинский считает серьезной альтернативой праязыковую заповедь «*Тебе надлежит чтить богов*», сконструированную кабинетными индоевропеистами? И это после того как Мошинский, судя по его предшествующему тексту, видимо, согласился со мной в том, что формирование понятия и термина 'бог' — не только не самое древнее, а, скорее, относительно позднее явление на праязыковой шкале относительной хронологии.

Хотя рассуждения нашего автора вокруг словообразования теонима *Porevitъ* относительно более пространны, все же и они вызывают некоторое удивление, поскольку и здесь, оспаривая наличие суффиксального *-ov-itъ* в целой серии однотипных образований *Jarovit*, *Rujevit*, *Porevit*, он не в состоянии предложить лучшего решения; остальное детали: отношение теонимов и антропонимов на *-ovitъ* (разумеется, первичны антропонимы) или убывание западнолехитских антропонимов на *-ov-itъ* как раз по причине сакрализации этой словообразовательной модели именно у западных лехитов. Раз зашла речь о словообразовании, полезно вновь вернуться к слову **трѣба**. Упорно

связывая напрямую лексемы **трѣба** и **трѣбити** (**лѣсъ**), Мошинский незаметно опускает промежуточные моменты образования слов и значений. Противясь иному пониманию (**трѣба** как первоначальное 'острая необходимость, дело'), он невольно вступает в противоречие с самим собой и привлекаемыми им самим фактами филологии (и теологии), взять, например, древнюю синонимизацию **трѣба** и **дѣло сотонино**, далее — толкование **трѣба** как 'бескровная жертва', что следует понимать как дезактуализацию связей **трѣба** и **трѣбити** 'наносить удары острым': ощущение этой этимологической связи как живой как раз больше подходило бы для значения **трѣба** 'кровавая жертва', но эту возможность мы вместе с Мошинским отвергаем, расходясь с ним в понимании словообразовательно-семантической иерархии, о которой выше. Возможно, следует прислушаться к филологическим наблюдениям Мошинского о семантической неадекватности праслав. **běsъ* и христианского διάβολος 'дьявол, сатана' ('бес' семантически скуднее и ниже рангом).

Не покидая сферы религиозной лексики, коснемся еще одного вопроса словообразования, представляющего общий интерес. Уже в «Примечаниях» к своему нынешнему тексту Мошинский готов оспорить принимаемую мной двойную праформу имени **velesъ* — **velsъ* на том основании, что «в праславянском словарном составе нет других примеров суффиксальной вариантности **-esъ* / **sъ*...». Мы должны постоянно помнить, каким особым материалом мы занимаемся, вступая в область религиозной лексики и теонимии. Сакрализация способна создавать ситуации уникальности в ономастике (вспомним вероятность вытеснения случаев **rajъ* из низовой гидронимии) и в словообразовании. Сейчас мы в силах назвать *-s*-соответствие славянскому *-es*-суффиксу только по ту сторону балто-славянской языковой границы — ятвяжское *bilsas* 'белый', лит. *Bil̃sas*, название озера, ср. слав. **bělesъjь*, рус. *белёсый* и др. (ЭССЯ 2, 63), но в древности могло быть иначе.

Вовсе не претендуя на одностороннее завершение диалога (или дискуссии) и тем самым — вполне допуская, что и у моего польского коллеги найдется, что ответить или о чем поставить вопрос, я намеренно воздержусь от обобщений и «закругляющих» выводов, наоборот закончу еще одним совершенно конкретным наблюдением о названии божества *Tjarnaglofi*, которому в ответе Мошинского отведено очень много места и внимания после критики Трубачева. Случай, надо признать, очень трудный, и едва ли верно видеть в этой скандинавской записи XIII в. правильную транскрипцию празападнолехитского **tr̥̃n-* > **tarn* / *carn* 'терн, колючка', как, кажется, готов сделать Мошинский в своем осмыслении *Tjarnaglofi* как 'терноголовый, tarnogłowy' применительно к Христу. Дело не только в том, что эта ученая этимология будет в лучшем случае вторичным осмыслением, ведь первично тут, в том

числе и по скандинавским сведениям, туземное, языческое, название божества победы у местных славян. Но не следует забывать и о том, что в скандинавской передаче проблематичной по-прежнему славянской формы явно имела место скандинавская языковая субституция, ср. признаки наличия именно скандинавского преломления гласных (*tjarna-* < **terna-*? **tirna-*?), а также возможного приспособления к своим привычным, скандинавским формам языка.

К ОТДАЛЕННЕЙШИМ ИСТОКАМ НАШЕГО САМОСОЗНАНИЯ

Презентация одной книги

Книга *, о которой дальше пойдет речь, вышла в свет в самом конце 1991 г. тиражом в 1000 экземпляров, что заведомо обрекло ее на малую доступность. Но даже если бы издатели расщедрились на тираж, по крайней мере, в 10 или 15 раз больший (что в глазах человека, знающего фактическую сторону дела, не нуждалось бы в оправдании — ведь затрагиваются древние судьбы доброй дюжины языков, народов, культур...), я должен признать, что все равно и тогда оставался бы этот барьер ограниченной доступности. Обычный в таких ситуациях парадокс сводится к тому, что широкое читательское внимание затрудняется библиографическим и операционным аппаратом, столь необходимым автору для аргументации мыслей, которыми он так хотел бы поделиться с читателем. Короче говоря, книга написана для специалистов, как сказано в аннотации к ней: «...для языковедов, историков, археологов, этнографов, всех интересующихся вопросами славянской культуры». Но, думается, что и не только для них одних; было бы обидно, если бы книги писались специалистами для специалистов, т. е. для самих себя... В научной информации наибольшую ценность представляет все же та сердцевина, которая способна заинтересовать наибольшее число людей. За примером далеко ходить не надо; книга, о которой я собираюсь рассказать, излагает некоторые новые для науки взгляды на этническое прошлое славян, в их числе — русских, украинцев, белорусов (славян восточных), а также южных и

---

* *О. Н. Трубачев*. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1991. 271 с.

западных славян. Субъектом описываемых или воссоздаваемых (реконструируемых) отношений оказываемся мы сами (постольку, поскольку в нас продолжается жизнь наших предков), а это, согласимся, не может не интересовать нас. Рано или поздно каждый человек задает себе этот вопрос, — кто он и откуда. Вернее будет сказать, что для самого человека лучше, если вопрос этот он задаст не слишком поздно. Речь идет о самосознании человека, о том, что ему самому было, в общем, всегда едва ли не дороже хлеба насущного. В наше время, не очень богатое хлебом, мы видим тому достаточно подтверждений, вплоть до трагических сигналов.

Бывает, к сожалению, когда из-за недостатка популяризации до широкой читающей публики не доходят факты и идеи, которые того заслуживали бы. Это, конечно, наша, авторская, вина или беда, признаюсь — и моя тоже. Вот поэтому, когда меня пригласили рассказать о вещах мне близких и одновременно представляющих общий интерес, я вспомнил о такой форме, как презентация книги, к которой сейчас время от времени прибегают (главным образом, на политической арене). Тем более, что осенью 1991 г. я уже имел случай беглой презентации своей книги, выступая в Гейдельбергском университете по проблемам культуры древних славян на основании свидетельств их языка и прежде всего — этимологии.

Спектр по-настоящему интересных вопросов здесь огромен, и было бы заблуждением полагать, что все это кануло в безвозвратное прошлое и никого теперь, кроме узких специалистов, не касается. Наша нынешняя культура — лишь маленький отрезок, эпизод продолжительной и непрерывной — в серьезнейшем смысле этого слова — культурной эволюции. Убедить нас повернуться к ней спиной, вообще попрать или, скажем, вдруг начать датировать ее с октября или, чего доброго, с августа — никто не вправе. Если бы речь шла о сущих пустяках, то ими так охотно не спекулировали бы иные политики, как они это делают подчас сегодня на все лады. Удивительные ухищрения можно наблюдать на примере названия *Великороссия*. Давно ли уважаемый читатель встречал его в последний раз в прессе, в политической литературе? В том-то и дело, что и припомнить трудно, а умолчание — метод испытанный. Сначала — посеять подозрение, что *Великороссия* — термин шовинистический, великодержавный, а потому — «не наш», затем постараться спустить эту установку в школьные учебники истории — и дело сделано, еще одной печатью припечатано наше самосознание, получен еще один суррогат вместо подлинного знания. А пытливый взгляд честного историка языка и этноса видит другое: такие названия, как *Велико-россия*, *Велико-британия* никакого самовеличания перед другими странами, другими народами, как это многим до сих пор мнится, не выражают. Их подлинный, изначальный смысл делается понятным из окружающего контекста, потому что названия эти воз-

никли как ориентационные, они как бы знаменуют область вторичной колонизации и ее отношение к области исходной. Так, Великобритания (раз уж мы ее упомянули) образует в указанном смысле пару с Бретанью, исходной областью на материке; древнейшая колонизация острова шла оттуда. И таких примеров довольно много в древней истории разных стран и народов; жаль, что почти все они оказались принесены в жертву политическим спекуляциям и кривотолкам. Проистекающие отсюда искривления национального самосознания и раздор между близкими нациями делают понятным, насколько все это небезобидно. А в сущности тут все довольно просто: и античная Великая Греция — это вторичные поселения греков в Нижней Италии, и Великая Моравия времен наших первоучителей — свв. Кирилла и Мефодия — это область к югу от той Моравии, что в теперешней Чехии. Иногда старая, исходная область начинает в итоге называться «*Малая*», «*Мало-*», что также не следует понимать буквально или оценочно. Например, в составе польских земель Малопольша зовется так именно по той причине, что славяне, предки поляков, освоили ее раньше, чем Великопольшу, расположенную дальше на север. Знать эти примеры необходимо и нам, если мы хотим правильно понимать самих себя, живущих в Великороссии, для которой — для Руси Великой — Русь Малая, Малороссия всегда имела смысл Руси изначальной.

Ушло то время, когда земли к югу от Припяти и Десны звались Русью и возобладало (тоже старинное и объективное) название этих земель за их окраинность — Украина. В живой речи на Украине никто теперь Украину Русью не называет. Следы былого, как нередко бывает в подобных случаях, еще хранятся, впрочем, на собственных периферияx национально-культурного ареала да еще у соседей. На крайнем западе Украины еще сохраняется память называния этих мест Подкарпатской Русью, а жителей — русинами, так же зовут себя по сей день жители небольшого украинского (украинско-словацкого) очага в Югославии. До недавнего времени и поляки употребляли слово Русь для обозначения Украины. Да, память все же стирается, а вакуум знания заполняется его суррогатами. Эти названия, на которые я приглашаю взглянуть лишь как на объективные указатели направления великих миграций прошлого, в нашем случае — с Руси изначальной, Приднепровской на позднейшую Великую Русь (и — никак иначе! Хотя ведь пытаются и иначе — представить дело так, будто великорусы Новгорода Великого прибыли откуда-то с Запада и лишь потом, по пути вниз по Днепру, встретились с довольно чужой Южной Русью...), эти названия — Русь, Малороссия, Великороссия — порядком захватаны грязными руками политиков и ими же, похоже, прежде времени сданы в архив. Цель: искажение и моделирование рядового сознания, как раз выгодно нетвердого по части правильного понимания подлинной истории наших названий, а через них и — своей собствен-

ной истории. Когда я говорю «история», я хотел бы при этом не ограничиваться позитивистским, прямолинейным пониманием истории как только письменной истории, т. е. только того, что черным по белому записано в ее анналах. Во-первых, любая самая богатая письменная традиция обязательно грешит пробелами; кроме того, запись явления и возникновение явления в живой речи — это совершенно разные веши, запись сплошь и рядом случайна, и название всегда появляется намного раньше. В нашей исторической науке, по-моему, не очень утруждают себя правильным пониманием этих различий. Так, Москва (обозначение и обозначаемое) появилась, конечно, намного раньше случайной летописной записи под 1147 г. А ведь с легкой руки историков именно эту дату записи празднуют как дату основания города... Точно так же позитивист готов факт первого упоминания Великой и Малой России в документах константинопольской греческой патриаршей канцелярии XIV в. представить чуть ли не как время и даже — место возникновения названия, тогда как мы здесь имеем дело со случайной записью, упоминанием того, что возникло раньше и в совершенно другом месте. Принципиальную зависимость исторической науки от письменных источников и осторожность ее по отношению ко всякой реконструкции понять можно. Но — этого явно недостаточно для более глубокого постижения всей Истории, значительная часть которой так и не отложилась в письменности. Для этих целей требуются и реконструкция, и широкое сравнение форм, и — не в последнюю очередь — правильная оценка типологии их возникновения, развития и употребления. Все это — задачи современного сравнительного языкознания, которые обретают полную свою актуальность, просто призваны прийти на помощь в большом вопросе генезиса Великой, Малой, Белой Руси, их названий, отделить идеологизированные, политизированные плевелы от самого зерна, прояснить, оздоровить сознание тех людей, которым это небезразлично, потому что это их язык, их народ, их страна.

Я коснулся несколько подробнее эпизода, который может представить общий интерес, а в моей книге, которую я тут как бы «презентую» читателю, он занимает совсем немного места. Мне, кстати, думается, что презентация и не должна сводиться к чинному изложению содержания частей и глав книги. Имея перед собой широкого читателя, носителя исследуемых в книге языков, я просто предлагаю ему несколько произвольный выбор решений, ответов на возникающие вопросы или то, что можно отнести к полезным сведениям. Избрав, таким образом, жанр свободной беседы, я позволяю себе порой также совсем выходить за рамки презентуемой книги, делиться дополнительными впечатлениями и соображениями, главное — лишь бы они были на тему истоков нашего самосознания.

Но сначала — несколько слов о центральном для нас этническом названии, которому и в книге уделяется заслуженно большое место, — об имени *славяне*. Сейчас время всевозможных опросов населения, а я рискну тут предрешить данные опроса, который никем не проводился. Боюсь, что, вздумай кто сейчас опросить достаточно большое число русских людей села или людей «у станка» (интеллектуальные слои оставим в стороне), задав им один-единственный вопрос: сознают ли они себя славянами? — уверенных ответов практически не будет. Вероятно, вопрос вообще останется непонятым. А было так не всегда. То, что мы можем наблюдать сейчас, есть определенная деградация самосознания. Возможно, началась она давно, но довершали, «добивали» ее уже на памяти последних поколений. Люди, чья духовная зрелость пришлась на 1930-е гг., хорошо помнят и свидетельствуют, что слово «славянский» в их представлении было синонимом чего-то реакционного и консервативного. Юмористы и те приложили свою руку («славянский шкаф», «гей, славяне» — очень смешно...). Война приостановила эту свистопляску, но ущерб оказался, похоже, непоправимым. А между прочим, имя *славяне* представляет собой замечательный культурно-исторический феномен, и я пишу об этом в вышеупомянутой книге. Дело в том, что с достаточно раннего времени это имя охватывало всех славян, независимо от их принадлежности к тому или другому славянскому племени или народу. Наличие такого единого самоназвания лучше самых изощренных тестов говорит о существовании единого этнического самосознания, сознания принадлежности к единому славянству. Дальнейшие сравнения лишь подчеркивают замечательность этого феномена, ибо оказывается, что ничего подобного мы не найдем у древних германцев и древних балтов: и у одних, и у других представлены свои группы названий отдельных племен, а общий этноним отсутствовал (привычные нынешние обозначения «германцы», «балты» введены поздно, в научной литературе, ни германцам, ни балтам в древности они известны не были...). А ведь во времена Кирилла и Мефодия (IX в.) тогдашний болгарин, по дошедшим до нас сведениям, сознавал себя еще и славянином, а наш преподобный Нестор-летописец уверенно утверждал, что славянский язык и русский одно есть. Словом, тогда это было живое, народное самосознание, и наш, пусть запоздалый, долг — разъяснять и как-то возмещать последующее оскудение и забвение.

Но у нашей науки, кроме горестной констатации утрат, остается еще немало неиспользованных возможностей, в частности — восстановить забытую историю того, как сложилось имя *славяне*, какие понятия и представления этому сложению сопутствовали и предшествовали. При этом, отбросив маловероятные толкования имени славян («жители по реке Слова», «жители влажных долин»...), высказанные уже современными нам учеными, мы ока-

зываемся вправе завязать плодотворную перекличку с ученым-славистом еще первой половины прошлого века Шафариком. С большой долей вероятности он уже тогда связал имя *славяне* (*словяне*) и *слово*. Сейчас мы можем уточнить, подключив сюда и глагол *слыть*, древнее *слути*, *слову*, собственно «слышаться, быть понятным, говорить понятно». Раскрывается древний смысл имени *славяне* — «ясно, понятно говорящие» (антоним: немцы, собственно «немые, невнятно бормочущие», — обычный для древности принцип обозначения иноязычных иноплеменников). Но «понятно говорящие» — это, в сущности, «свои», «наши», и эта констатация как бы подсказывает нам, что мы в состоянии частично отдернуть пелену, скрывающую от нас древний менталитет наших предков. Их имя — *славяне* — появилось, как мы думаем, на исходе античности, целиком неся на себе признаки древнеплеменного общества. Не преуменьшая значения межплеменных общений и древних торговых путей, все же признаем, что кругозор древнего этноса был довольно узким, обходились простейшей самоидентификацией «мы», «свои, наши» и в сущности еще не прибегали к особому обозначению собственного этноса. Даже когда такое самоназвание появилось, оно все еще носило отпечаток описанного архаического образа мыслей, как мы это наблюдали на примере этимологии: славяне — «ясно говорящие». Да, такой первобытный порог в древней истории славянского племенного общества наблюдается, можно сказать, он доступен нашему современному научному пониманию, — когда сами славяне, естественно, существовали, причем — на своих древнейших местах обитания, о которых — ниже, а обобщающего самоназвания у них еще не было. Ранние античные источники, действительно, ничего не говорят о славянах. Само имя *славяне* (другие их пограничные имена: *венеды*, *анты* — для краткости здесь опускаем, да и к славянам применены они были вторично) достоверно упоминается в VI в. н. э. Конечно, любители прямолинейных заключений делали из одного этого раннего неупоминания вывод, что славян до того в Европе, в поле зрения тогдашнего греко-римского культурного мира, попросту не было... Понятно, что и в первой половине XIX в. к науке охотно примешивали политику. Впрочем, сейчас на это можно взглянуть как на научный миф, одно из великих заблуждений. Славяне издавна жили в самом сердце Европы; это к северу от Карпат, в польские земли, они вступили позже, вторично и их великое расселение на Восток, в Поднепровье и по всей Русской равнине. Предания о древнем житье на Дунае хранит начальная русская летопись, хроники других славянских стран говорят о том же. Великий сын словацкого народа Павел Иосиф Шафарик, а еще раньше знаменитый словенец Ерней Копитар попытались сделать эти воззрения достоянием молодой славистической науки. В их наблюдениях много верного. В своих «Патриотических фантазиях славянина» (1810 г.) Копитар прямо указывает

место «ниже Вены, на Дунае, в Паннонии...», где словаки и словенцы, точнее сказать, их предки «подают друг другу руки». В самом деле, и разрушительное венгерское вторжение более тысячи лет назад не стерло того факта, что и ныне по-прежнему с двух сторон к Венгрии примыкают два народа, до сих пор носящие славянское имя, а сама Венгерская низменность и сейчас покрыта названиями мест и рек славянского происхождения. Имя реки Дунай — не редкость в народных песнях восточных славян; ясно, что они принесли с собой с Дуная эту неизгладимую память о нем. Народная память о Дунае для внимательного глаза есть тоже элемент нашего (уже полузабытого) самосознания. Вторичность распространения славян на прочих обширных пространствах (на юге — до самой оконечности Балканского полуострова, уже на глазах раннесредневековой письменной истории) вряд ли может вызывать теперь сомнения. Зато не существует никаких преданий — ни этнических, ни исторических — об их приходе откуда-то издалека, скажем, на Средний Дунай, который так естественно смотрится как центр всех известных славянских миграций на север, восток и юг. В относительно недавнее время к поискам названных первых славистов приложились новые научные материалы, этимологии слов, изоглоссы, прочнее связывающие древнейших славян с Подунавьем, с западными индоевропейцами (древние италики, кельты, германцы, иллирийцы). Образ определенной концентричности древнейшего славянского ареала (или, как раньше еще любили выражаться, «прародины славян») и более обширного праиндоевропейского ареала, куда славяне, будучи индоевропейцами, понятно, входили, не покидал меня в течение всей работы над книгой; я не успокоился, пока не вынес эту идею концентричности на обложку книги, придав всему изображению характер схематического рисунка этой самой прародины славян на Среднем Дунае (не без борьбы с издательством и его живописцами). Но это все потом, так сказать, в итоге многолетних трудов над темой, обращение к которой поощрял своими находками по части этимологии слов и одновременно безмерно отягощал и затягивал капитальный, впервые в нашей стране выпускаемый мной с сотрудниками «Этимологический словарь славянских языков». В этом рабочем горниле определились и окрепли убеждения о глубоких оригинальных индоевропейских истоках языка славян. Оформилось и неприятие некоторых новейших теорий о позднем, гибридном происхождении праславянского — в виде отпочкования от балтийского языка, в частности. Добавлю, что формирование самостоятельной научной позиции протекало в условиях отнюдь не легких. Не имея ничего против научных споров по существу проблемы, я с немалой горечью и разочарованием наблюдал, какой яростной, неадекватной и притом — групповой реакцией отвечают на научное расхождение, с каким пристрастием ищут в мотивах моих действий (и находят, поелику очень хотят найти!) «ложно

понятый патриотизм» и даже «великодержавный шовинизм»... Нехватка научной аргументации, таким образом, компенсировалась, как видим, и некрасивыми политическими ярлыками и — определенными попытками остракизма («он один так думает, никто больше так не думает!...»). Говорят, в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (ныне: РАН), где подобрался весьма единодушный синклит для осуждения моих научных убеждений, да и случай удобный представился (именно в это учреждение направили для обсуждения ряд моих работ), сохранился стенографический отчет, который нельзя перечитывать без чувства стыда за участников того обсуждения (1988-й г., кругом — перестройка и плюрализм, а тут — откровенный погром за научное инакомыслие...). Ну, что же, наверное, и эти хроникальные листочки приложатся к истории нашего самосознания.

Да, борьбы оказалось, пожалуй, даже многовато — для человека, возлюбившего превыше всего исследование и ни на какие трибуны не рвавшегося. Отстаивать свою концепцию дунайской прародины славян оказалось трудным делом. К тому же, по принципиальным идеям первых славистов с той поры уже многократно прокатился вал позитивизма и гиперкритицизма в европейской науке, и к началу XX в. провидения Копитара и Шафарика, казалось, навсегда были сметены в корзинку «донаучных теорий»... На веру принималось только молчание древних авторов о славянах или первые полупрезрительные обмолвки о них у византийских стратегов и историографов. В Древней Европе к югу от Карпат фактически не осталось для славян места. Ученые немецкой школы дисциплинированно принялись подыскивать место славянам в болотах Припяти. Время совпало с расцветом польских теорий славянского автохтонизма на Висле и Одере. Сейчас эти теории терпят кризис. Трудно полноценно объяснить всю сумму славянских проблем и со стороны припятских болот. Теперь уже слишком многое противоречит и тому, и другому. Прав был историк, сказавший, что история начиналась на Юге. Она и для славян начиналась южнее и много древнее, чем привыкли обычно думать.

Возможно, еще более рутинный подход обозначился в отношении славянской культуры. Почти все за нас здесь решали западные авторитеты, и разрабатывать их идеи, по возможности не отклоняясь, было у нас достаточно, чтобы прослыть светлым умом. Ведущий индоевропеист Мейе считал славянскую культуру обнищавшим вариантом индоевропейской культуры, и все этим удовлетворились, почему-то даже не дав себе труда критически задуматься: а может быть, совсем наоборот — действительно небогатый, простой уровень древних славян и есть тот древнейший культурный вариант, от которого греки, римляне, индоиранцы далеко ушли в своем развитии? Блистательный культуролог Дюмезиль развернул перед ученой Европой и Америкой серию своих красивых реконструкций трехклассового общества и

сложнейшего мира богов у древних (!) индоевропейцев. Наши светлые умы, не привыкшие перечить, принялись отыскивать и то, и другое в древней культуре славян. Не находили, впрочем, многого, но почему-то, не смущаясь, видели в этом одни утраты со славянской стороны. Бедные, забывчивые славяне! Почему-то почти никому не пришла в голову единственно трезвая мысль, что речь может идти о р а з н ы х стадиях культурного развития и что неразумно выдавать за общую древность высокое, а следовательно — позднее развитие античной греко-римской или древнеиндийской культуры. Образовался колоссальный научный тупик, из которого выход был один: конфузливо пятясь назад. По-человечески понять можно, что делать этого никому особенно не хотелось, инерция тупиковая росла, у наших индоевропеистов вышли толстых книги, где культура наших общих индоевропейских предков отождествлялась по своему уровню и характеру — ни больше, ни меньше — с семитской, месопотамской городской цивилизацией Древнего Востока. Там же, поблизости, заодно решили локализовать и прародину индоевропейцев… В этих щекотливых обстоятельствах терпеть научное инакомыслие у себя под боком было, конечно, совершенно невыносимо для светлых умов. Я понимаю первую реакцию на свои достаточно самостоятельные взгляды в том, что касается славянской прародины, славянских и индоевропейских культурных древностей. И все-таки, если исходить не из эмоций, а из фактов, нельзя пасовать перед этим заполонившим нашу научную жизнь эпигонством идей. Это уязвимо этически да, в конце концов, и неинтересно в научном отношении: сколько можно ходить зажмурившись мимо ярких, красноречивых фактов истории языка и культуры! Взять хотя бы один такой игнорируемый факт, что общим культурным переживанием глубокой древности оказывается лексика примитивного культа предков, неожиданно объединяющая древнейших славян и древнейших латинян (народные русские, украинские, белорусские названия призраков и духов умершей родни *-мана*, *ман*, *манья* и латинское *mānes* 'духи предков'). Эта культурная общность уходит в те далекие тысячелетия, когда у наших предков и в мыслях не могло быть ничего похожего на верховного бога Юпитера с его многочисленным блудливым семейством, и совсем другие, архаичные представления о земле и небе владели душами людей. Я лишен возможности развертывать здесь дальнейшие факты и аргументы моей любимой науки — сравнительного языкознания, — но именно оно позволяет через реликты языка и мышления — заглянуть в умы и души древних людей тех отдаленнейших эпох, когда пасует порой почтенная археология, а письменность еще и не зарождалась.

Я бы мог рассказывать еще довольно долго, значит — самое время поставить точку. Ведь для того, чтобы достигнуть убедительности, бывает достаточно небольшого числа верных мыслей и фактов. Вовсе лишнее — оглу-

шать читателя и заваливать его тем и другим. Важно, думаю, чтобы между автором этих строк и мыслящим читателем протянулась и завязалась ниточка понимания. Остальное приложится.

...Прекрасный осенний Гейдельберг. Туман то окутает руины замка на горе, то растает. В уютном особняке международных научных форумов Гейдельбергского университета идет симпозиум. После одного доклада разгорелась дискуссия. Щеголеватый, моложавый и стройный профессор из Бонна убедительно рассуждает: «Славяне научились выражать чувство благодарности только с принятием христианства, как о том свидетельствует их лексика — *спаси-бо(г), благо-дарю* (буквальный перевод греческого εὐχαριστῶ) другие...». Сижу, думаю: верно вроде рассуждает немец, правда, чуточку с апломбом, слишком уверен, нету доли сомнения, без которой — нет живой науки. Случись тут один из наших светлых умов, не сморгнув глазом все бы принял на вооружение. И все же, все же, все же... В перерыве для питья кофию (ах, что за организация, что за порядок и довольство вокруг!) все же подхожу к нему: коллега, я думаю, что вы излишне прямолинейны, когда отказываете праславянам в чувстве благодарности и умении его выразить языком; они располагали такой возможностью... — Откуда вы это знаете? (говорит, между прочим, на отличном русском языке). Я ему в ответ: у меня есть дома кошка и собака, и им известно чувство благодарности. Справедливо ли отказывать в нем праславянам? Но это, так сказать, общий взгляд, типология, я понимаю. Я согласен, далее, с вами, что большая часть терминов, выражающих благодарность, пришла в их язык позже и извне. Но я думаю, что многозначность их древней лексики позволяла славянам выразить необходимые чувства и до этого. Возьмем глагол *помнить* (*помнить зло*, *помнить добро*), обороты типа народного «*мы помним твою доброту, батюшка...*». Вот вам и извечная, своя славянская формула благодарности.

Возражения не последовало, хотя мой немецкий коллега — не из тех, кто уклоняется от споров. Но — не возрази я, не направь его дисциплинированную немецкую мысль в более гибкое русло, так и пребывал бы в сознании своей полной правоты в суждениях о бедных древних славянах. Европой вовсю по-прежнему владеет научный позитивизм и снобизм: всё-то они знают и понимают о нас самих лучше нашего...

СЛАВЯНЕ: ЯЗЫК И ИСТОРИЯ — КАК ОСНОВА ЭТНОГЕНЕЗА

К 20-летию издания: «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» (1974—1994, I—XX, *А—М*)

Опыт автореферата

Огромная тема «Славяне: язык и история» могла, конечно, стать темой специальной книги, хотя надо признать, что такую тему будет трудно вместить в одну книгу. Может быть, поэтому она стала программой жизни; сейчас уже есть основания сказать так, поскольку труды, обнимаемые этой темой (или программой), ведутся и публикуются в течение уже 30 лет.

Сюда относится уже и моя первая крупная монография «История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя» (М., 1959), хотя публикация этимологических исследований (статей) с культурн. исторической проблематикой была начата мною еще раньше — в 1955 г.; в последующие годы — это уже оформившаяся серия «Славянские этимологии», далее — работа с характерным названием «Следы язычества в славянской лексике» (1958 г.) и другие.

Научная сверхзадача «Славяне: язык и история» требовала монографических проработок отдельных, культурно важнейших тематических групп лексики славянских языков — жанр, который в силу различных причин десятилетиями практически не разрабатывался в советском языкознании вообще и отнюдь не только в славистике. В связи с этим сразу вслед за книгой по истории терминов родства (подробнее о ней — ниже) публикуется в 1960 г. моя монография «Происхождение названий домашних животных в славянских

языках» (в том же 1960-м г. выходит большая статья, представляющая опыт культурн. исторической реконструкции важного фрагмента истории культуры народного питания [каша — «жидкий хлеб»] — на базе этимологии, — «Из истории названий каш в славянских языках» в чехословацком журнале «Slavia»). В 1966 г. издается книга «Ремесленная терминология в славянских языках».

Нарицательная лексика языка, т. е. его словарь, основной материал этимологических исследований, бывает неизбежно подвержен утратам, поэтому так важно обращение к ономастике (особенно топонимии, гидронимии, этнонимии), которую составляют первоначальные нарицательные слова языка (или языков), вторично употребленные в роли имен собственных. То обстоятельство, что топонимы, гидронимы, этнонимы обладают такой выгодной чертой, как фиксация на географической карте, и нередко отражают древние нарицательные слова, в ряде случаев уже исчезнувшие из словаря, лишь усиливает интерес к ним исследователя этимологии и этнической, а также культурной истории.

В 1962 г. издается моя (в соавторстве с В. Н. Топоровым) монография «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья». Не предвосхищая изложения основных моментов этой книги, здесь достаточно вспомнить, что, в оценке зарубежной критики, это ономастическое исследование ознаменовало возрождение в советской науке работ такого рода после сорокалетнего перерыва. В 1968 г. выходит очередная моя книга по ономастике — «Гидронимия Правобережной Украины». Начиная с 1974 г., практически ежегодно, выходит выпусками новый «Этимологический словарь славянских языков» (О. Н. Трубачев — не только ответственный редактор всего издания, но и автор текста первых опубликованных 13 выпусков: от А до К, далее — коллективное авторство). Словарь в значительной степени вобрал в себя предшествующий этимологический опыт О. Н. Трубачева и коллектива, работающего под его руководством с 1964 г.: В. А. Меркуловой, Л. А. Гиндина (до 1970), Ж. Ж. Варбот, Л. В. Куркиной, И. П. Петлевой, Г. Ф. Одинцова (с 1970), Т. В. Горячевой. Изданию Словаря предшествовал и до настоящего времени сопутствует выпуск ежегодника «Этимология» (с 1963 г. издано 24 тома). В ежегоднике публиковались серии статей О. Н. Трубачева («Славянские этимологии» 41—47; «Заметки по этимологии и сравнительной грамматике» 24—27; «Славянские и балтийские этимологии» 9—12; «Заметки по индоарике в Северном Причерноморье» и др.), В. А. Меркуловой («Народные названия болезней» I—II, «Русские этимологии» I—VI, «Украинские этимологии» I—II, «Восточнославянские этимологии» I—II), Л. В. Куркиной («Славянские этимологии» I—IV), Ж. Ж. Варбот («К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен» I—

XI), Г. Ф. Одинцова (по гиппологической лексике, лексике оружия), Т. В. Горячевой (по лексике метеорологии).

Так на протяжении многих лет составился цикл работ по славянской этимологии, исторической ономастике и этногенезу славян, обозначенный здесь как «Славяне: язык и история», который в дальнейшем характеризуется более подробно.

Этот цикл, родившийся, так сказать, за письменным столом, отнюдь не уводил ученого от живой жизни, от жгучих проблем современности. Не случайно поэтому именно в последние годы этой работы стали появляться в широкой печати такие замеченные нашей общественностью мои публицистические статьи, как «Славяне. Язык и история» («Правда», 1987 г.), еще раньше — «Свидетельствует лингвистика» («Правда», 1984 г.), «Меняющийся мир и вечные слова» («Литературная газета», 1987 г.). В 1992 г. из докладов на Праздниках славянской письменности родилась книжечка «В поисках единства». Ее завершением стала публикация Фонда славянской письменности и культуры «К истокам Руси» (1993). В общей перспективе они тоже заслуживают упоминания, поскольку, с одной стороны, целиком стоят на платформе описываемых здесь капитальных научных исследований, а с другой стороны, выражают языком публицистики чувства человека и гражданина, а кроме того — гордость за свою науку, стремление доказать и объяснить, как важно для всех нас то, о чем «свидетельствует лингвистика», сколь уникальны и незаменимы ее свидетельства в обширной системе научного знания о человеке, его культуре и истории и в какой большой степени это знание призвано именно сегодня сформировать сознание и самосознание людей.

Этимология и ее возможности по-настоящему еще не оценены наукой XX в., но здесь уместно вспомнить слова французского филолога Антуана Мейе о том, что, хотя обычно думают, что науку двигают вперед новые теории, в действительности же ее успех обеспечивает точное описание фактов — а это в первую очередь словарная работа.

Работа над словарями по все времена считалась тяжелой. Работа над этимологическим словарем трудна вдвойне: если лексикограф — это тот, кто квалифицированно определяет значение слов на основании их живых или письменных употреблений, то лексикограф-этимолог — это вдвойне лексикограф, в его задачи также входит р е к о н с т р у к ц и я д р е в н и х, у т р а ч е н н ы х путей развития значений слов.

Работа по составлению этимологических словарей славянских языков имеет свою длинную, уже столетнюю историю. Опуская здесь целиком такую ее богатую главу, как создание этимологических словарей отдельных славянских языков, в их числе — русского, ограничимся этимологическими словарями, охватывающими материал всех славянских языков в рамках одного

словаря. Можно сказать, что до 1970-х гг. такие словари в нашей стране еще не издавались. Первый «Этимологический словарь славянских языков» вышел сто лет назад в Вене, а более современный, но тоже уже старый и, к тому же, неоконченный «Славянский этимологический словарь» Э. Бернекера издан в самом начале нашего века в Германии. После войны возобновились инициативы продолжения этого последнего словаря, они приняли различные формы в разных странах, например «Сравнительный словарь славянских языков» в Германии, «Этимологический словарь славянских языков» в Чехословакии, но и тот, и другой были впоследствии прекращены в связи с тем, что не удалось гарантировать их завершение в обозримом будущем. К настоящему времени остались только два более или менее родственных словарных академических предприятия — «Праславянский словарь» Польской академии наук в Кракове и уже названный «Этимологический словарь славянских языков» (Праславянский лексический фонд) — в Российской Академии наук (Москва). Различие между ними прежде всего (если опустить здесь некоторую неустойчивость и изменчивость концепции польского «Праславянского словаря») заключается в том, что для «Праславянского словаря» главная задача — отбор и реконструкция лексического состава незасвидетельствованного праславянского языка на основе известных лексических материалов славянских языков с привлечением данных этимологии как вспомогательных, в то время как русский «Этимологический словарь славянских языков» предусматривал с самого начала в принципе равномерное решение двух задач — реконструкцию древнего праславянского словарного состава, лежащего в основе словаря (лексики) всех живых и мертвых славянских языков и их диалектов, а также создание нового, критического свода по этимологии этого реконструированного словарного состава. К решению этой второй задачи уполномочивал определенный опыт, накопленный у нас этим направлением.

Работа над сбором материалов для «Этимологического словаря славянских языков» началась в 1961 г.; именно тогда автор этих строк основал и возглавил специальное структурное подразделение в московском академическом институте — сначала группу, а затем — сектор этимологии и ономастики. Работу над новым Словарем следует разделить на два компонента: сбор материала и авторскую работу. Сбор материала для Словаря осуществлялся коллективом сотрудников Сектора, в том числе и самим О. Н. Трубачевым, который, будучи идейным зачинателем и руководителем, произвел лично также сбор (расписывание) большого фактического — словарного и этимологического — материала нескольких из обследуемых славянских языков. Авторская работа — и это важно отметить — осуществлялась одним Трубачевым и причем — из года в год в объеме всех 13-ти ныне уже вышедших выпусков Словаря, охвативших словарный материал от А до К. Они могут быть

представлены как индивидуальная авторская работа. Объем ее говорит сам за себя: написан и опубликован текст общим количеством 2902 печатных страницы (205,5 авторских листов) и 6696 словарных статей. О четкости организации работы над Словарем свидетельствует редкая ритмичность его публикации: выпуск в год. Эта строгая ритмичность неукоснительно повторялась из года в год и была нарушена только дважды, причем оба раза — по вине издателей, а не автора или составителей: один раз — из-за навязанной свыше политики конъюнктурного умолчания имен ряда зарубежных авторов (случай не такой уж редкий в эпоху до гласности), а другой раз уже чисто по причине типографских черепашьих темпов. Ритмичный выход ежегодного выпуска словаря — обстоятельство, казалось бы, внешнее и даже техническое, но немаловажное; это обстоятельство говорило о возможной у нашего коллектива культуре именно лексикографического труда, оно способствовало укреплению репутации нашей науки и культуры среди зарубежных ученых и шло вразрез с той маркой неорганизованности и расхлябанности, которая, к сожалению, продолжает характеризовать и наши академические труды, в том числе труды словарные, лексикографические из-за неумения исполнителей рассчитать силы и время, порой — из-за недостаточного профессионализма.

Коротко говоря, благодаря организаторским преимуществам, в какой-то степени зрелости и оригинальности концепции (не претерпевавшей зигзагообразной и поспешной эволюции, как в случае с польским «Праславянским словарем») «Этимологический словарь славянских языков» не только отстоял свое лицо и выдержал международную научную конкуренцию в необъявленном соревновании с упомянутым словарем польских коллег, но опередил его и, будучи начат изданием в том же году и даже месяце (декабрь 1974 г.), что и краковский «Праславянский словарь», оставил далеко позади это польское издание, выходящее несравненно медленнее (1 том — примерно в три года) и доведенное в печатном виде еще только до буквы Е (напомним: наше издание — уже до М, включительно). При этом у поляков имелись все данные и даже преимущества для совсем иных, приоритетных темпов и прежде всего — признанно высокий уровень филологических наук в Польше вообще и в частности — в Кракове, одном из мировых гуманитарных центров; кроме того, польский «Праславянский словарь» с самого начала писался (а не только собирался) коллективом авторов, к тому же, достаточно квалифицированных. Ни одно из этих преимуществ польскими учеными в полной мере использовано не было. Отметим здесь — не в последнюю очередь — преувеличенную приверженность польского издания существующим традициям буквально во всем — в этимологиях слов, во взглядах на судьбы древних славян, носителей праславянского языка. В подобной ситуации новому и внешне фундаментальному труду — «Праславянскому слова-

рю» (Краков) — логически отводится роль иллюстратора уже известных в науке положений. На этом фоне резко выделяется высокая эвристичность научных, этимологических позиций, решений, толкований нашего «Этимологического словаря славянских языков», сразу отмеченная в целом достаточно ревнивой зарубежной научной критикой, ср. специальную статью-обзор первых выпусков нашего и польского словарей (Ф. Копечный, ЧССР, на страницах «Вопросов языкознания», четкое положительное мнение американского слависта X. Бирнбаума в новой книге «Праславянский язык», далее — оценка индоевропеиста О. Семереньи, ФРГ, в книге по истории мирового языкознания: *O. Szemerényi*. Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. II. Die fünfziger Jahre (1950—1960). Heidelberg, 1982. S. 150.

Для того, чтобы стать действительно новым словом в науке, а не только максимально полной реляцией о том, что уже было сделано и уже было известно ранее, новый «Этимологический словарь славянских языков» —должен был опираться на новую продуманную теорию, и эта теория была выдвинута Трубачевым («Проспект» 1963 г. и ряд статей). Было выдвинуто и в дальнейшей практике последовательно осуществлено положение о словаре-реконструкции (таким неизбежно представляется новый словарь праславянского лексического фонда, где реконструировано не только фонетическое обличье, но и само местонахождение слов в словарном фонде, не включающем более поздних местных заимствований отдельных языков, наличествующих в достаточном числе, например, в старых словарях Миклошича и Бернекера, которые подходят поэтому под понятие словаря-коллекции). Реконструируемый праславянский лексический фонд трактуется в тесной связи с реконструкцией праславянского языка в целом (и, далее, подводит закономерно к реконструкции этнической истории носителей этого языка — праславян, о чем также ниже). Совершенно логично при этом рассматривать мертвый праславянский язык как язык некогда живой. Этимология не может удовлетвориться идентификацией корней, она трактует потенциально живое слово как единое целое и интересуется цельными (не корневыми) его иноязычными соответствиями, выявление которых далеко еще не исчерпано. Живой язык состоял из массы производных и сложных слов; все такие потенциальные слова вводятся в алфавитный словник нового Словаря. Для них требуется не этимологическая, а словообразовательная характеристика, но одно от другого вообще трудно отделить. В целом задачи нового Словаря понимаются, таким образом, расширительно. И в отношении этимологических решений и в отношении определения праславянской принадлежности слов автор Словаря постоянно размышляет над критериями, направленными на ограничение выбора возможностей, т. е. на повышение строгости избранных решений, однако ясно, что, взяв курс на словообразовательно расчленен-

ный словник, мы усложняем свою задачу и сознательно повышаем момент экспериментальности, гипотетичности отбора лексем и зачисления их в праславянские и при этом ставим себя в положение, когда далеко не всегда легко ответить на вопрос, почему слово сочтено праславянским (в случае с производными ответ нередко гласит, что слово оставлено как потенциально праславянское ввиду отсутствия прямых доказательств противного).

Продолжая работу по преодолению всесильного схематизма в представлениях о древнем языке, авторы опираются на постулат, что живой язык не бывает единым и бездиалектным. Так мотивируется новое в науке положение о праславянском лексическом диалектизме (до сих пор в классическом славяноведении все начиналось с диалектизма фонетического, отчасти — морфологического и на нем в сущности замыкалось). Нивелирующему схематизму господствовавших до недавнего времени воззрений как раз на лексические диалектные различия как на нечто заведомо позднее и вторичное уже в 1960-е г. О. Н. Трубачев противопоставил тезис об автономности праславянских состояний лексики славянских диалектов. Так постепенно создавалась новая отрасль словарного дела — праславянская лексикография, замечательная тем, что ею открывалась совершенно новая в принципе глава лексикографии и ее теории: праязыковая лексикография. Интересно отметить, что благодаря описываемым здесь исследованиям праславянская лексикография оказалась наиболее продвинутой отраслью, сравнительно, например, с зачаточным состоянием прагерманской лексикографии.

Позволю себе, несколько отвлекаясь, дать слово И. Немцу: «В мировом языкознании еще не был по достоинству оценен тот факт, что славянскому языкознанию принадлежит особое первенство — в создании праязыковой лексикографии путем подготовки словарей праславянского языка в этимологических центрах разных славянских стран. На этот факт обратила внимание устами О. Н. Трубачева конференция по славянской этимологии к столетию со дня смерти Ф. Миклошича 30. IX—1. X. 1991 г. в Вене...» (I. Němec. Slovanská etymologie v stém výročí smrti F. Miklošiče // Slavia. Ročn. 61. 1992. Seš. 2. S. 232).

Таким образом, скорее праславянской лексикологии принадлежит вопрос о составе праславянского словаря (лексики). Встают, наконец, или обретают несравненно большую реальность вопросы, ранее вообще никогда не поднимавшиеся (или не поднимавшиеся выше уровня крайне априористичных оценок вроде того, что в польском языке около двух тысяч праславянских слов). Конечно, ответ на вопрос о численности лексикона древнего, не имевшего письменной формы праязыка, особенно на начальной стадии разысканий, не мог не быть априористичным, и цифры, называвшиеся вначале, быстро устаревали. Сейчас ответ представляется более определенным: уже составлен (и опубликован, см. выше) праславянский лексический фонд от А до М, что, по

существующим вероятиям, меньше половины и скорее ближе к одной трети всего праславянского лексикона; если, как известно выше, количество словарных статей в готовом словарном отрезке уже приближается к 10000, тогда, значит, правы те, кто осмеливается допустить численность праславянского лексикона свыше 20000 слов. Ничто не мешает, конечно, тому, чтобы усомниться в подобном предположении сейчас, сочтя его преувеличенным (ср. С. Б. Бернштейн в статье, посвященной 50-летию О. Н. Трубачева, Изв. АН. ОЛЯ. 1981. № 1), но сомнения эти естественны для тех, кто продолжает оставаться в плену старых привычных убеждений и веры в то, что примитивный уровень древней культуры, современной древнему (пра-)языку, обходился скудным запасом слов. Современная гуманитарная наука постепенно преодолевает это предубеждение и допускает большую древность существования богатой идеологии и адекватного лексикона. По поводу возражения, что таким многочисленным запасом слов не мог владеть один носитель, следует решительно заявить, что подобного одного идеального носителя не существует и сейчас, его не было и тогда, в эпоху существования древних диалектов. Нужно исходить из постулата собирательного, коллективного носителя каждого языка.

Если на ожидания получить стройную картину внутриславянских изоглосс новый Словарь дает подчас в ответ сложную, мозаичную картину, нередко подкрепляемую прилагаемыми схематическими картами, то, как оказалось, славянско-индоевропейские изоглоссы в оценке Словаря достаточно рельефны. Особенно показателен балто-славянский аспект этих изоглосс, который, по данным нового «Этимологического словаря славянских языков», отнюдь не противоречит той картине глубоких древних расхождений (при наличии собственных оригинальных синонимов с каждой стороны), которую обнаружили предыдущие исследования Трубачева, особенно «Ремесленная терминология в славянских языках» (см. выше). Традиционная концепция тесных балто-славянских родственных связей постепенно уступает в Словаре место центральноевропейской ориентации славянского.

«Широкий читатель», которому вышеизложенные аргументы, возможно, покажутся слишком специальными и который все еще не до конца понимает, зачем нужен этот Словарь праславянского лексического фонда, может быть, лучше поймет нужду в нем на сравнении с положением в этом отношении в другой стране, во Франции. Там сознательно насаждается культура и знание мертвого латинского языка также на том основании, что латынь — предок родного французского языка; там журналисты с жаром пишут в широкой прессе о «любви к мертвому языку»... И в этом последнем нужно видеть не эстетство, не праздное любопытство, а интерес к корням собственного национального самосознания.

К большой теме этногенеза и прародины славян словарь позволил обратиться значительно позже, только в 1980-е г., хотя интерес к этноисторическим судьбам славян возник еще до публикации словаря, например, в статье 1974 г. «Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян» (Вопросы языкознания, № 6).

Уже в этой статье (начало 1970-х г.) признается: «Отголоски древнего пребывания славян на Дунае существуют и требуют изучения, а не одного лишь скептического отношения. Интерес к ним в науке будет, возможно, еще усиливаться». Там, далее, кстати, формулируется и типологическая универсалия сравнительной этнонимии и ономастики: обозначения стран и народов с компонентом Великий, Великая, например, Великая Греция, Великобритания, Великороссия, всегда относятся к области вторичной колонизации, а не к метрополии и никакого оценочного величия не подразумевают. Там же, наконец, обосновываются новые этимологии славянских племенных названий вроде дулебов и ставится, кажется, впервые проблема типа праславянского этнонима, в итоге чего автору представилось — еще до постановки им самим позднее вопроса о среднедунайской прародине славян, — что «несомненна древняя определенность или по крайней мере близость иллирийской, фракийской и славянской языковых территорий». Важен также нижеследующий тезис этой статьи 1974 г.: «Общеизвестный факт древнего наличия единого самоназвания **slověne* говорит о древнем наличии адекватного единого этнического самосознания, сознания принадлежности к единому славянству, и представляется нам как замечательный исторический и культурный феномен».

Но по-настоящему новая постановка проблем и их, по сути, монографическая трактовка развернулись в серии журнальных публикаций О. Н. Трубачева под общим названием «Языкознание и этногенез славян» [I]. — ВЯ. 1982, № 4. С. 10—26; [II] — ВЯ. 1982, № 5. С. 3—17; [III] — ВЯ. 1984, № 2. С. 15—30; [IV] — ВЯ. 1984, № 3. С. 18—29; [V] — ВЯ. 1985, № 4. С. 3—17; [VI] — ВЯ. 1985, № 5. С. 3—14.

Здесь впервые предпринимается попытка охарактеризовать дунайско-балканскую миграцию славян как некое подобие реконкисты, «обратного завоевания», побуждаемого памятью о реальном былом житье славян на (Среднем) Дунае, ср. фольклорную популярность Дуная даже у восточных славян, никогда на памяти письменной истории не живших на Среднем Дунае.

Удивителен — и по-своему ценен — факт отсутствия памяти о приходе славян издалека (сохранение воспоминаний об этнических миграциях даже при отсутствии письменности — вещь возможная на протяжении тысячелетий).

Рассматривая также целый ряд типологически важных аспектов проблемы, приходим к выводу, что (1) постулат территориально ограниченной прародины неудовлетворителен так же, как (2) унитаристский постулат якобы изначально бездиалектного праязыка, что (3) праславянский — живой язык со всеми атрибутами сложности живого языка, (4) чисто славянская гидро- и топонимическая область нереальна, наряду со славянскими всегда присутствовали и неславянские этнические элементы. Изначальность балто-славянской языковой близости подвергается сомнению, общим является название железа, но железо — самый поздний металл древности (балто-славянские контакты не древнее эпохи железа?). Особенно уязвима наиболее современная теория происхождения славянского из балтийского, наталкивающаяся на сопротивление языкового материала (нельзя, например, вывести весьма архаичные славянские ряды чередования гласных из инновационных балтийских рядов).

Балты — не извечные жители Верхнего Поднепровья, ср. их ономастические связи с дако-фракийским субстратом восточной части Балканского полуострова и Анатолии, отражающие контакты, по-видимому, 3-го тысячелетия до н. э. Ранний ареал балтов был ближе к Балканам, видимо, их восточной части.

Ввиду углубления датировок и расширения перспектив поисков индоевропейских древностей в славянском вопросе о «датировке появления» праславянского языка теряет свою конкретность. Этимологические разыскания выдвигают на первый план центральноевропейские связи славян (преимущественно с древними италийцами), причем балты оставались длительное время в стороне. Лишь после миграций балтов и славян намечается их сближение, приводящее к позднейшему соседству.

Уязвимы выдвинутые в последнее время теории балтоцентристской ориентации всего индоевропейского комплекса Европы; более вероятна относительная периферийность балтийского. Постепенно становится ясно, что славянская проблематика в гораздо большей степени является продолжением индоевропейской, чем принято было думать; для проблемы славянской прародины весьма существенны указания о связи древнеиндоевропейского ареала также с дунайским регионом.

Так созрела концепция возрождения старой (еще донаучной) теории, или традиции, древнего обитания славян на Дунае, и это легло в основу книги «Этногенез и культура древнейших славян». (М., 1991). Среднеднепровский славянский ареал (откуда затем вышли все восточные славяне) рассматривается в книге как периферия, а не как центр всего славянского этноязыкового пространства. Вторично освоены были славянами и польские территории, по свидетельствам ономастики, вопреки польской автохтонистской теории вислодерской прародины славян. *И польские, и серболужицкие земли заселялись славянами с Юга.*

В жизни праславян существовал период, когда макроэтноним *славяне* еще не требовался (этнонимия вообще относительно молодая категория). Этот период отсутствия у славян на Дунае макроэтнонима ученые неправильно истолковывали как отсутствие славян на Дунае. О древнем наличии славян по Среднему Дунаю, т. е. в Венгрии, говорит разнообразная древняя славянская топонимия страны и ряд других данных (ареал склавен по Иордану, VI в., распространение пражской керамики).

Предания о волохах и их нашествии на дунайских славян (NB!) «Повести временных лет» отдаленно отражает кельтскую экспансию, а также (что не менее важно) частичный уход этих славян на север, на Вислу. Ясно, что волохи «Повести временных лет» — это не «пастухи римлян» в более позднем понимании бродячего восточнороманского населения. Невры, известные Геродоту, были, видимо, кельтами, более того — тождественными волькам / волохам (= 'волкам'), о чем повествует и упомянутый Геродотом их ритуал годичного обращения в волков.

Далее, автор критически излагает и комментирует современный диалог между археологией и сравнительным языкознанием (хронология абсолютная и относительная, т. е. типологическая, древняя «диалектология» культуры, постепенно все больше занимающая археологов — не без влияния со стороны языкознания). Попытки точно датировать «появление» праславянского языка теряют свою актуальность в языкознании. Правда, умами многих ученых еще владеет традиция поздно датировать все славянское, считать славянский «молодым языком».

Однако можно думать, что, например, балто-славянские языковые отношения постэтногенетичны для праславянского как уже сложившегося языкового типа с процессами, отличными от балтийских (палатализация, эволюция долгих гласных, ассибиляция палатальных и в том, и в другом выглядят и протекают по-разному).

Именно славяно-кельтские контакты, разработка их следов и их локализация, кажется, могли бы помочь выработать компромиссный вариант между такими принципиально разными концепциями, как польская автохтонистская теория славянской прародины на Висле и Одере и новый, современный вариант дунайской прародины славян, выдвигаемый Трубачевым.

По-прежнему много внимания уделяется критике постулатов, с которыми работают ученые, говоря откровеннее — с мифами сравнительного языкознания и истории культуры, начиная с урока негативного влияния прямолинейной идеи изоморфизма разных уровней языка. Это следующие постулаты, или «мифы», нуждающиеся в демифологизации: 1) уже упоминавшееся «додиалектное» единство каждого праязыка, 2) «небольшая прародина», 3) одновременность появления этноса и этнонима. Надо сказать, что сейчас как ни-

когда ощущается необходимость проверки и преодоления прямолинейных заключений по всему циклу наук о человеке. Экспансия этноса, как оказывается, отнюдь не синонимична ускоренному развитию в языковом плане, а малая подвижность этноса вовсе не означает архаичности его языка, а ведь на отождествлении первого и второго было построено множество концепций. Точно так же в археологии распространение изделий еще не есть распространение, миграция самих людей, как это нередко до сих пор упрощенно понимают, преуменьшая меновую торговлю, культурное влияние, моду в давние времена. Накопился большой критический материал против статичности социальной и этнической истории индоевропейцев, в их числе славян, в трудах Дюмезиля и его школы (тезис мнимо изначальной трехчастности древнего общества, его трехклассовости — жрецы, воины, скотоводы-земледельцы: этому статизму должна быть противопоставлена н е р а в н о м е р н о с т ь развития разных индоевропейских ветвей и то, что в этом смысле Трубачев называет «диалектологией» культуры: прибегая к лингвистическому понятию). Странное впечатление производит и концепция американского археолога М. Гимбутас, по которой в «Древнюю Европу» V тысячелетия до н. э. с культурно развитым, но социально нерасчлененным населением (?) будто бы пришли извне более примитивные культурно, но почему-то социально дифференцированные скотоводы-индоевропейцы. Все это уже априори крайне маловероятно, поэтому не так уж важно, далее, откуда в таком случае теоретики ведут индоевропейцев — из Восточной Евразии или из Малой Азии. Не без формального влияния дюмезилевской школы наметилась тенденция фетишизировать число т р и, будь то три класса, три племени, три части этноса. Мы видим, что в концепции Гимбутас сказывается крайняя недооценка собственных (внутренних) стадиальных возможностей и в целом — н е п р е р ы в н о с т и э в о л ю ц и и индоевропейской Европы.

Этой концепции противопоставляются теории раннего индоевропейского племенного образования в Центральноевропейских, Придунайских районах. Кстати, именно здесь наблюдается концентричность культурных и лингвистических ареалов разных эпох. Здесь наличествуют и выявляются все атрибуты и механизм развития ареала с его центром и перифериями. Естественно, что концепция непрерывного развития в Европе предполагает самобытное происхождение многих языковых процессов, например, развития индоевропейского. Циклическая эволюция и.-е. *e* → *a* в части диалектов с последующей возвратной заменой *a* → *e* в другой части делают возможным внутреннее (без внешних импульсов и влияний) осмысление причин русского аканья, которое не следует вырывать из общего контекста. Есть вероятия в пользу предположения, что сатемная группа языков, т. е. языков, проведших инновацию, занимала относительно срединное положение среди прочих индоев-

ропейских, и это немаловажно в вопросе о локализации праславянского как языка-сатем. Сам характер рефлексации индоевропейского палатального *k*, отдаляя славянский от балтийского, среди других языков-сатем сближает его с балканско-индоевропейским и иранским.

Из Среднедунайских районов интерес представляют — на предмет локализации древнейшего славянского языкового ареала — как Паннония к западу от течения Дуная, так и Потисье — на восток от Дуная. Знаменательно, что и раньше взоры ученых обращались на Паннонию как на центр ряда славянских фонетических инноваций.

Весьма показательно, что в число периферии при этом попадают не только восточнославянские, но и собственно польские земли. Следует иметь в виду, что центр лингвистического ареала — величина весьма стабильная, поэтому трудно допускать, чтобы центр инноваций, да, к тому же, фундаментальных и многочисленных, сам как бы плавал и неустойчиво перемещался (скажем, в Паннонию — с севера, из-за Карпат). Это также служит, пусть косвенно, идее поиска славянской прародины южнее Карпат.

Центр древнего индоевропейского этноса в Среднем Подунавье определяется также как бы векторным способом — примерно посередине между тремя крупными скоплениями (видимо, миграционными) индоевропейских гидронимов в низовьях Рейна, в Италии и Прибалтике, выступающих здесь как периферии ареала. Это наблюдение также небезразлично для локализации праславянского ареала. Концентричность обоих ареалов представляется весьма правдоподобной. Кроме того, Трубачев использует здесь этимологические изоглоссы, позволившие ему в исследовании о славянской ремесленной терминологии выдвинуть положение о Центральноевропейском культурном районе с участием в нем древних славян, древних италийцев и германцев.

В опровержение упомянутого выше этнографического положения о том, что этнос будто бы начинается с самоназвания, в книге приводится ряд методологических и типологических соображений, наоборот, в пользу того, что самоназвание отражает уже развитое этническое самосознание, которому, разумеется, предшествует длительный период существования этноса в условиях более древних форм самосознания и простейших самоидентификаций типа ‘мы’, ‘люди’. Возобладавшая в последнее время (хотя на самом деле очень старая) этимология этнонима *славяне* как ‘ясно говорящие’ (т. е. ‘свои’, ‘наши’, в конечном счете) очень правдоподобно характеризует этот этноним в духе развиваемых здесь идей — и как относительно новый, и как выросший на базе доэтнонимической психологии (‘свои, наши люди’, ‘говорящие на ясном языке’). Нельзя признать удачной мысль, что до того как называться «славянами», славяне звались «венедами»; этот последний — иноязычный — этноним всегда оставался локальным, периферийным (западным).

И этимологический словарь, и работа по этногенезу Трубачева строится на убеждении, что экскурсы в глубокую — не только свою, но и чужую — древность, эволюцию языка и вскрываемых способов обозначения, а также самообозначения, при всей специальности проводимых для этого исследований и их аппарата, служат углублению нынешнего национального самосознания. Сложность и тонкость задач требует тонкой методики, хорошего владения реконструкцией, которая, к сожалению, нередко подменяется транспозицией, т. е. исторической тавтологией. Историзм выражается в правильном понимании неизначальности самоочевидных нынешних явлений, как, например, привычное деление славян на восточных, западных и южных. Ясно, что последнее — продукт длительной и непрямолинейной эволюции. Нет оснований отождествлять эти три позднейших группы славян с тремя именами славян у Иордана — венеды, склавены, анты. Ни венеды, ни анты не были самоназваниями славян, эту функцию могло выполнять (да и то, не извечно, как мы это теперь понимаем) название *славяне* (*склавены*, *склавины* в византийско-римской литературе). Все это говорит о необходимости дальнейшей теоретической работы в плане совершенствования этнолингвистических и социолингвистических критериев праязыковой и праэтнической проблематики. Только на этом пути можно осознать, наконец, искусственность имеющих хождение этимологий вроде *славяне* = 'жители влажных долин' (?!).

Теория этногенеза настоятельно требует обращения к типологическому аспекту, причем более показательны отношения менее соседские, т. е. более чистые и не затемненные «помехами» длительного общения. Смысл типологии этногенеза — выявить неуникальность славянской эволюции, поскольку всякая уникальность вправе вызывать сомнения. Типологически наиболее эффективны германо-славянские аналогии. Так, поучителен отказ археологов датировать появление германского этноса, ср. аналогичное вероятие и для славянского: непрерывность эволюции; замечательно, далее, что ни германские языки, ни славянские не хранят никаких следов индоевропейско-доиндоевропейского билингвизма, что помогает отрицательно оценить теорию М. Гимбутас об индоевропеизации неиндоевропейской «Древней Европы». Динамику славянского ареала, его подвижку Юг — Север также помогают понять германские аналогии, ср. миграции германцев с Юга современной Западной Германии на Север, после чего, как известно, последовали возвратные миграции (память о древних местах обитания).

Отдельные новые части наблюдений формулируются как двуаспектные: «Этногенез славян и индоевропейская проблема», что, впрочем, подошло бы и как подзаголовок ко всему труду в целом, включая продолжающееся московское издание «Этимологического словаря славянских языков».

БЕСЕДА О ЦРНОМ И БЕЛОМ ХЛЕБУ*

Наш језик и наша култура прожети су поштовањем према хлебу. *Хлеб наш насушни* — с правом зовемо то што обезбеђује наше свакодневно бивствовање. Говорећи о духовним тежњама, ми и ту не заборављамо хлеб: *не живи човек само због хлеба*. Све оно најбоље, без чега се не може проћи, ми називамо речју хлеб (*то је мој хлеб; ексер је хлеб градитељства*). Сликовни језик народних говора није случајно назвао речју *хлебац* цветни прах који скупљају пчеле. Лексика руског језика везана за хлеб је огромна, што се да објаснити давном и развијеном културом земљорадње и ратарства. Језик није заборавио и оне који праве хлеб, нпр. руска реч *хлебник* — онај који пече или продаје хлеб, а од њега надимци, имена, презимена руских људи, називи руских села — староруско *Хлѣбникъ*, руско *Хлебников*, *Хлебниково*.

Реч *хлеб* је врло стара. Ипак историја језика и културе поуздано зна да се она није увек употребљавала, већ се појавила пре хиљаду и нешто година код наших предака — Словена, за означавање важне новине — хлеба од киселог теста. Наш старији хлеб је био другачији — то су биле пресне лепиње. Није случајно да старе књиге и касније разликују *квасни*, *кисели хлеб* од *пресног*. Ново се није примало одмах: тек од XI до XII века Словени су свугде прешли на хлеб од киселог теста. До данашњег дана део становништва бивше Југославије назива хлеб посебном речју — *крух*. И овде се назире још већа старина. Њу памти и руски језик: «Домострој» (XVI век) још памти «укрухи, сирѣчь хлѣбцы пшеничны». То је и најстарији назив пресног хлеба; он је брзо постајао тврд, био је крт, и њега је погодније било *ломити* него резати (*ломљење хлеба*), краће речено, он се *крунио* (*мрвио*), одакле и потиче етимологија речи *крух* (староруско *оукроухъ хлъба* биће од *крошить*, *крушить*).

---

* С руског превео Љубинко Раденковић.

А какав је био хлеб наших предака? Црни? Бели? Зашто ми тако кажемо: «црни хлеб»? Има ли овде грешке или потцењивања ражаног хлеба? — питамо се. Не, то није грешка. То је наша историја која се одразила и у нашем језику и вреди о њој нешто испричати, бар укратко.

Пре хиљаду година кренула је пшеница с југа на север, а заједно с њом и раж, у почетку као коров, али, како се каже, са бољом будућношћу. Што се ишло даље на север тиме су се јасније уочавала корисна својства скромне и ненаметљиве ражи. Прву, најстарију рунду у одржавању и прилагодљивости добила је раж. Очигледно је раж најстарије хлебно зрно код Словена. И не само код Словена. Називима сродним нашој речи *раж*, називају га сродни балтијски и германски народи: литавско *rugys*, немачко *Roggen*. Ево и одговора какав су хлеб јели наши древни преци: они су јели ц р н и х л е б. Али продужавала се акултурацја пшенице; безимени селекционар — народ постепено ју је привикавао на север и хладноћу. Пшеница је такође одавно распрострањена код Словена, па и код Старих Руса. Истина, ипак касније је дошла од ражи, њен назив је млађи и јасан: *пшеница* значи «млевено жито». Тај назив се укоренио, мада би природније било очекивати за златасту лепотицу пшеницу одговарајуће називе, као: «бела» или «белица». Тако је, између осталог и називају у низу других језика. Пшеница даје бело брашно, бели хлеб. Њему су се постепено привикавали и стари житељи наших, климатски суровијих држава. Упознавајући друге државе, они су с пажњом бележили, на пример: «Турки хлебъ ядятъ белiй по ихъ языку якмень, вина не пютъ...» («Турци бели хлеб једу, на њиховом језику јакмењ, вино не пију...»). Само тако, путем уобичајеног поређења, почела је употреба и израза *црни хлеб*. Природно, док је такав хлеб био једини, није било потребе да се потенцира његова тамна боја. Репутација благороднијег хлеба постепено се везивала за бели, пшенични. Историја црног хлеба добијала је социјално обележје, и то не само код нас — о томе сведочи и француски филм о сељацима и радницима под називом Ц р н и х л е б. Такво је значење француског *pain noir*.

Упоредо с историјом иде географија: јужније, благодатније земље давно су навикле на бели хлеб, северније су се сродиле с црним. Када се крајем XVIII века револуционарна Француска сукобила на немачкој граници с непријатељском коалицијом, оштроумни савременик Гете је запазио — како је бели и црни хлеб био као бојни поклич између напријатељских логора. Ево какве је оштроумне стихове тим поводом, испевао велики песник:

Nein, hier ist es keine Not:
schwarze Mädchen, weites Brot;
Morgen in ein ander Städtchen,
schwarzes Brot und weiße Mädchen.

(Нема оскудице овде, заиста нема:
црне девојке — бели хлеб,
сутра — у други градић
црни хлеб — беле девојке.)

Истина, црно — то је често синоним нечег лошег, што се не уважава (сви знају шта значи «*Держать кого в черном теле*» («Некога лоше хранити и одевати, лоше се према њему односити»), *радити на црно* итд. Зато и свима нама, јужњацима који су одрасли на белом хлебу, и северњацима, верним црном хлебу, савремена наука с новом снагом саветује: водите и цените црни хлеб од брашна крупно млевеног. И с уважавањем га зовите својим именом: ц р н и х л е б.

РАЙ

РАЙ — место загробного пребывания душ праведников в вечном блаженстве. Раньше этого значения и употребления, канонизированного христианством, слово имело более расплывчатое (и более древнее) значение 'огражденный, отгороженный сад, парк', сохранившееся отчасти в старой письменности, см. «Словарь русского языка XI—XVII веков» (ркп.). Слово общеславянское (имеющееся во всех славянских языках) и праславянское, восходящее к дохристианской древности. Глубокая народность слова *рай* находится в полном соответствии о исконно славянской, незаимствованной его природой. Попытки этимологии из иранского следует признать неудачными (отсутствие религиозных признаков у называвшегося иранского первоисточника); международным, в основном — западноевропейским, стало совсем другое название «рая» иранского происхождения, распространившееся через посредство греч. παράδειυος 'рай'. Наиболее адекватна этимология, сближающая слово *рай* и гнездо *роять* / *рой* / *река*, причем вскрывается первичная связь значения слова *рай* с п р о т о ч н о й   в о д о й, очевидно, образовывавшей преграду, которая отделяла 'рай' от мира живых, по древним представлениям. Связанность рая с водой, потоками неоднократно отпечаталась в фольклоре, народной, в том числе древней культуре.

Таким образом, из основных ассоциативных представлений (рай — сад; рай — город; рай — небеса) представление о рае как отгороженном саде должно быть признано древнейшим.

Для выявления славянского (и русского) культурного своеобразия важен ряд нижеследующих положений, не привлекавших должного внимания: христианство в славянских странах переняло у наших предков-язычников слово *рай* и не заимствовало, к удивлению, греческого названия рая, в отличие от германских, романских и других народов Европы. Оппозиция 'рая' и 'ада'

была усвоена вместе с христианством; этому предшествовало расплывчатое представление наших предков-праславян об ином мире по ту сторону водной преграды. Далее, внимание культурологов главным образом сосредоточивается на отличии восточнохристианской, православной модели загробного мира (рай — ад) от западнохристианской, католической (рай — чистилище — ад), откуда делаются выводы о большей якобы гуманности западных представлений. Но древность и народность понятия 'чистилище' (лат. purgatorium) сомнительны. Гораздо важнее другое, более фундаментальное отличие, не привлекшее внимания: у большинства неславянских народов Европы ситуация с номенклатурой рая и ада принципиально противоположна славянской. На Западе Европы, как уже сказано, понятие и название 'рая' заимствовано с приходом христианства из греческого, а народными, дохристианскими там оказываются как раз названия 'ада' как 'нижнего, пещерного мира'. Унаследованность светлого понятия 'рай' от своей народной языческой, дохристианской древности, кстати, до сих пор все еще объединяет всех славян — католиков и православных, и культурную значимость этого феномена трудно переоценить. Кардинальное культурнотипологическое отличие двух христианских регионов Европы — западного и восточного — в этих двух параметрах (народность идеи и термина «ад» на Западе и наоборот — народность идеи и термина «рай» на Востоке) до настоящего времени практически еще не ставилось на обсуждение, тогда как оно достойно всестороннего изучения, взять хотя бы, например, наблюдаемую светлость православия и оптимизм нашей церковной архитектуры как возможное проявление наследия нашего же (славянского) язычества, не знавшего посмертного возмездия.

Литература

Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II СПб., репринтное издание. М., 1992;

С. С. Аверинцев. Рай // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.II, изд. 2-е. М., 1988. С. 363 и след.

М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. I, М., 1987. С. 435 (*рай I*);

О. Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 173—174,

О. Н. Трубачев. В поисках единства. М., 1992. С. 40—41;

О. Н. Трубачев. Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания // ВЯ. 1994, № 6. С. 8.

РУСЬ. РОССИЯ

Очерк этимологии названия *

Чрезвычайную важность этимологии (происхождения) названия *Русь* не только для специальной лингвистической дисциплины, но и для всей древнерусской (восточнославянской) истории вообще, для русского национального самосознания поняли давно. Ср. высказывание крупнейшего польского слависта А. Брюкнера: «Тот, кто удачно объяснит название Руси, овладеет ключом к решению начал ее истории».

Относительно давно также поняли необходимость решать этот вопрос не изолированно, а в комплексе с другими данными. Впрочем, это понимание не гарантировало от ложных умозаключений, что наблюдается на примере норманистской теории происхождения имени *Русь* вкупе с соответствующим истолкованием истории русского государства.

Противопоставленная норманистской — южная — версия происхождения названия *Русь* в некоторых своих вариантах очень стара, практически не имеет автора и, что немаловажно, отнюдь не нацелена против норманистской теории (см. о последней ниже), поскольку высказывалась до ее появления: ср. утверждение о природе названия *Русь* как первоначального цветообозначения в «Истории российской» Татищева (ум. в 1750 г.). Однако изолированный характер отдельных подобных утверждений лишал их убедительности, особенно перед лицом возобладавшего на длительное время комплекса норманистских аргументов.

В настоящее время накопились данные, благоприятствующие тому, чтобы вернуться к донорманистской версии, но уже — на современном уровне. Со-

---

* Статьи из материалов Русской энциклопедии.

временная редакция южной версии этимологии *Русь* основывается на гораздо более многочисленном комплексе аргументов, сравнительно с норманистской (варяжской, древнешведской) версией, включая такой важный параметр, как значительно бóльшая временнáя глубина (древность абсолютных датировок).

Сюда относятся хорошо согласуемые с суммарным наблюдением о направлении хода человеческой истории («история начиналась на юге») свидетельства древних историков о продвижении славян-антев в Северное Причерноморье и Приазовье уже в IV—VI вв. н. э. (Иордан, Прокопий Кесарийский). В это время, несмотря на значительные передвижения народов, сохраняется еще древнее население Боспорского царства и прилегающих районов Приазовья и Причерноморья, где, по свидетельству языкознания, племена синдо-меотов и тавров говорили на диалектах индоарийской принадлежности, отличных от языка иранских скифов, сарматов, аланов. Сейчас имеются основания говорить также об отражениях местных индоарийских реликтов в местном славянорусском, что имеет немалое значение для относительной хронологии и одновременно открывает новые подходы к старой и спорной проблеме Азовско-Черноморской Руси. Реальность последней на Юге и Юго-Востоке, кроме упомянутых индоарийско-русских языковых встреч, определенно подтверждается архаичностью уже собственно русской (восточнославянской) топонимии и гидронимии Приазовья и Подонья, чем опровергается слишком поздний характер исторических датировок и обычно базирующееся на нем неверие исследователей в раннее славянское присутствие. Население юго-восточной зоны (Азовско-Черноморская Русь) имело сложный состав. Вероятно, именно здесь начал свое распространение на север, к славянам, этноним *Рус*, *Русь* (для сравнения: примерно из этого же, приазовско-предкавказского, района пришли к славянам первоначально инородные этнические названия хорватов и сербов). Вероятие южных истоков имени *Русь* подсказывают и письменные исторические свидетельства о том, что, например, Новгородский Север еще в XII в. не включался в понятие Руси. На Юге (Дон, Предкавказье) необходимо считаться с существованием некоеге народа *Hrōs* (Захария Ритор, 555 г.). *Рус* — в непосредственной близости к Таманскому полуострову, ср. также приморский мореходный народ Ῥῶς, набегавший в IX в. на Византию со стороны Таврики (Крыма). Близ Таматархи-Тмутаракани упоминается в XII в. город Ῥωσία, практически там же еще раньше, в начале X в., восточные географы помещают остров Русия (ар-Русия), остров русов (упорные стремления современных историков локализовать этот объект далеко на севере неверно характеризуют географические представления ранних восточных авторов).

Отводя попытки исконно русской этимологии *Русь* — от географических названий (*Старая*) *Руса*, *Неруса*, *русло* или от *русый* 'светловолосый', мало-

вероятные ввиду явно вторичного вхождения этнонима *Русь* в собственно славянский регион, мы обращаем внимание на то, что само это вхождение состоялось с Юга, с которым связана и особая древность свидетельств, и разнообразие взаимосвязанных форм, непротиворечиво объясняемых на упоминавшемся индоарийском языковом субстрате (а не на иранском, как иногда думают), а также практически единственная возможность раскрыть древнее значение и употребление прототипа имени *Русь*. Формы, родственные древнеиндийским *roká-*, *ruk-* 'свет, блеск', *rukṣá-* 'блестящий', просматриваются в *Rocas*, названии народа у Черного моря (Иордан), *Rhocobae*, название города, там же (Плиний), *Rosso Tar*, место на западном берегу Крыма в средние века, Ῥευέιναλοί, название племени (декрет Диофанта, II в. до н. э.), обнаруживая разнообразие фонетики и словообразования и читаемое значение 'светлый, белый'. (Сюда также — с вторичным переосмыслением в связи с греч. χρυσός 'золото' — название северо-западного побережья Черного моря у Константина Багрянородного, X в.: Χρυσὸς λεγόμενος; ср. и Χρυσή, название северопонтийской области у Евсевия, IV в.; обе последние формы — со знаменательным народным упрощением *ks* > *ss* в индоарийском прототипе). И греки, и днепровские славяне, похоже, понимали древнюю семантику индоарийских обозначений Северо-Западного Причерноморья как 'Белой, Светлой стороны', ср. греч. Λευκὴ ἀκτή 'белый берег' и др.-рус. **Бѣлобережье** — об устье Днепра и его округе. И в данном случае обращает на себя внимание эта подключенность русскославянской этнической памяти к традиции употребления термина 'белый, светлый' в качестве обозначения страны света 'западный', восходящей к древнему уходу большинства индоарийцев на Юго-Восток, причем 'Белая / Западная сторона' (Сев. Причерноморье) оставалась у них как бы за спиной. В этом контексте делается понятным словоупотребление «ко княземъ нашим свѣтлым рускым» в договоре Олега с греками 911 г. Есть и другие признаки сохранения понимания древнего значения *Русь* как 'светлая сторона'.

Только «Южная» версия этимологии *Русь* способна убедительно раскрыть природу «двойственной огласовки корня» *у* / *о*: *Русь* — *Россия*. Для этого достаточно указать на то, что обе разновидности изначально представлены на юге и коренятся в специфически индоарийском продукте чередования гласных *о* (*au*) : *u* в формах *Rok-* (**rauk-*), *Ruk-*, *Ruks-*, *Russ-*, *Ross-* (см. выше). До недавнего времени эта «двойственность» нередко считалась необъясненной.

Попутно полезно назвать еще один случай «затемнения» проблемы, который уместно обозначить как «западную версию» (в отличие от нашей, южной, и от северной, норманистской). При этом имеются в виду употребления этнонима *Rugi(i)* как несколько эфемерного названия руси в ученой европейской литературе средневековья. По своей природе это не что иное, как перенос более известного книжникам Центральной Европы названия германского

16. Заказ № 2419.

племени ругов на менее известный народ Восточной Европы. Другой аналогичный перенос — *Ruteni* 'кельтское племя в Аквитании' → 'славянская русь'. К собственному происхождению (этимологии) имени *Русь* эти «похожие» названия не имеют никакого отношения, несмотря на предпринимавшиеся попытки (Х. Ловмяньский, О. Прицак). Показательно для нас лишь то, что эти литературные переносы тоже осуществлялись с юга на север.

Опираясь на изложенные факты, можно считать подготовленной концепцию переноса названия некоего (северопонтийского, таврического, индоарийского) народа *Рос* на Русь славянскую, сначала ближайшую, Азовско-Донскую, затем днепровскую и так вплоть до «Руси» варяжской. Тон задавал влиятельный и более престижный Юг (отнюдь не только в узком понятии Византии), и именно в орбите этого этнокультурного влияния конституировалась Русь как этнос. Это в основном подтверждается и критическим пересмотром лингвистической (этимологической) основы норманистской теории. Удобным переходом к ней от изложенного выше представляется оценка летописного словоупотребления **мы отъ рода руска** (или: **рускаго**), вложенного в уста послов Руси, носивших в основном скандинавские (варяжские) имена, что правильно было бы характеризовать как представительскую, дипломатическую формулу (Гедеонов). Послы-варяги, безусловно, выдавали себя за русь. Впрочем, в эпоху недостаточно стабильной этнической самоидентификации, когда слабой позицией оказывалось подчас этническое самоназвание (вплоть до его отсутствия, так, этноним *шведы*, *свеи* этимологически означает не что иное, как 'свои', т. е. в сущности — отсутствие развитого этнонима), более или менее регулярное употребление представительской формулы было, возможно, трудно отличить от фактического (вторичного) самоназвания.

Дело в том, что формула **мы от рода русского**, успешно опробованная в Византии, на Юге, вполне логично могла применяться и на Севере, так сказать, при возвращении варяжского контингента домой. Это обстоятельство все еще недооценивается, хотя именно так могло возникнуть финское *Ruotsi* 'Швеция', из которого норманисты (школа Томсена) объясняют *Русь* как заимствование, будто бы первоначально обозначавшее исключительно шведов-варягов, тогда как на самом деле вероятно лишь то, что этим словом обозначались варяги, отслужившие на русской службе. Фин. *Ruotsi* получает, таким образом, объяснение как заимствование из нашего *Русь* или, вернее, из его прототипа **Ruksi* / **Rutsi* / **Russi* (индоарийские истоки этого последнего указаны выше).

Касаясь норманистской версии этимологии *Русь*, важно выделить, что постулируемого ею племени *Ros* в Скандинавии не удалась обнаружить. Предлагаемые взамен шведские *rops-menn* или *rops-karlar* 'гребцы, морепла-

ватели', точнее — их первая часть, суть всего лишь ученые конструкты, поскольку и норманисты констатируют, что шведы сами так себя не называли. В этих условиях распространенное мнение, будто так назвали их финны, не выдерживает критики. Кстати, финское *Ruotsi* (перенесенное, по-видимому, на Швецию вторично) финской этимологии не имеет. Скандинавский первоисточник также весьма сомнителен. Не случайно поэтому заключение Отрембского о норманской этимологии Руси в словаре Фасмера: «Эта концепция является одной из величайших ошибок, когда-либо совершавшихся наукой». В этой связи весьма поучительно, что в саамский, занимающий окраинное положение, слово, близкое к финскому *Ruotsi*, было заимствовано исключительно в значении 'русский, Россия; русский язык' (вторичность переноса финского *Routsi* на Швецию). Восточнофинские языки (удмуртский, коми-зырянский), также географически периферийные, со своей стороны, знают близкое слово только в значении 'русский'. Изначальность (архаичность) именно этого значения представляется очевидной, по крайней мере, начиная с той праформы названия *Русь*, которая укоренилась в славянском Подонье и особенно — Среднем Поднепровье к началу второй половины I тысячелетия н. э.

Литература

Д. Т. Березовець. Про ім'я носіїв салтівської культури // Археологія. Т. XX. 1970.
В. А. Брим. Происхождение термина *Русь* // Россия и Запад. Пг., 1923. Т. I.
С. А. Гедеонов. Варяги и Русь. Ч. I—II. СПб., 1876.
Г. Ф. Ковалев. О происхождении этнонима *Русь* // Studia Finlandensia. Т. III. Helsinki, 1986.
Х. Ловмяньский. Русь и норманы. М., 1985.
О. И. Прицак. Происхождение названия *Rūs* / *Rus'* // ВЯ. 1991, № 6.
И. И. Срезневский. Русское население степей и южного поморья в XI—XIV вв. // ИОРЯС. Т. VIII. 1860.
Д. Л. Талис. Топонимы Крыма с корнем *Рос-* // Античная древность и средние века. Вып. 10. Свердловск, 1973.
В. Томсен. Начало Русского государства. М., 1830.
О. Н. Трубачев. *Indoarica* в Северном Причерноморье.
О. Н. Трубачев. К истокам Руси. М., 1993.
О. Н. Трубачев. В поисках единства. 2-е изд., доп.: гл. V. По следам Азовско-Черноморской Руси.
М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка / Перевод с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 2-е изд. Т. III. М., 1987. С. 522—523: *Русь*: т. IV. М., 1987. С. 855.
И. П. Шаскольский. Вопрос о происхождении имени *Русь* в современной буржуазной науке // Критика новейшей буржуазной историографии. Л., 1967.
J. Otrębski. Rusь // Lingua Posnaniensis. VIII. 1960.
S. Rospond. Pochodzenie nazwy *Rusь* // Rocznik slawistyczny. T. XXXVIII. Cz. I. 1977.

РУССКИЙ — РОССИЙСКИЙ. ИСТОРИЯ, ДИНАМИКА, ИДЕОЛОГИЯ ДВУХ АТРИБУТОВ НАЦИИ

Когда меня попросили выступить на тему, мне вспомнились прочитанные несколько лет назад в одном толстом журнале (помнится, это был «Новый мир») посмертные записки одного литератора, вновь ставшего популярным после 1985 г. (помнится, это был Даниил Хармс). Там были, в частности, рассуждения, для меня, лингвиста, досужие и даже невежественные. Может быть, не стоило бы и вспоминать, но я все-таки позволю себе это. Суть рассуждений касалась популярного и сейчас вопроса о русской «странности»: «странным» тому литератору показалось у русских то, что они именуются не существительным, как якобы нормально для других народов (англичанин, немец, француз), а прилагательным: русские. Однако, имей он чуть более знаний или просто — внимания к небрежно затронутому им вопросу, то писатель, думаю, согласился бы, что дело обстоит иначе. Названия (самоназвания) наций, народов вообще, как правило, адъективны: все эти *Español*, *Italiano*, *Français*, *Deutsch*, *American*, *Magyar*, *Suomalainen* — прилагательные, а значит, они типологически однородны с нашим самоназванием *русский*, *русские*, а не отличны от него, и эту черту, кажется, тоже имеет смысл удержать в памяти, вместо того, чтобы соблазняться услышанным понаслышке.

Наше вступление прямо связано с национально-языковой атрибутикой, которой предстоит заняться. Специфика «русского» случая, к сожалению, не исчерпывается отмеченной простой ситуацией, но, напротив, предъявляет нам свои сложности, суть которых — употребление синонимов. Другие примеры национально-языковой атрибутики в смысле синонимики, конечно, тоже известны, достаточно назвать *hrvatski ili srpski jezik*, испанский или кастильский, с их известной неустойчивостью. Русская специфика на этом фоне

сохраняет свое своеобразие, со своими, подчас неправильно толкуемыми и понимаемыми, тенденциями.

Собственно говоря, вначале всё было относительно просто. От главного этнонима *Русь*, *русь*, более глубокой этимологией которого мы занимаемся в других местах[1], очень рано было образовано этническое определение *русский*, *русьскыи* с неограниченным полем употребления. Это прежде всего обозначение страны — весьма устойчивое название *Русьская земля*, ср. в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона Киевского: **Похвалимъ же и мы... великааго кагана нашеѣ землѣ Володимѣра, вън ка старааго Игорѧ, сына же славьнааго Свѧтослава, ... не въ худѣ бо и невѣдомѣ земли владычьствоваша, нъ въ Русьцѣ, же вѣдома и слышима есть вьсѣми четырьми коньци землѣ**[2]. И так теоретически — с X в. и более ранних веков, ср. **по всеи земли Русьстѣи** (Церк. устав. Влад. 12. XIII XI в. — Картотека Древнерусского словаря, далее — КДРС, из которой почерпнуты в большинстве своем наши сведения, особенно ценные для нас ввиду невключения этнонимов в существующие древнерусские словари). Примеры показывают универсальность употребления слова *русский* от Владимира Святого практически до Петра I: *рускіе товары*, *руские города*, *по орѣху рускому величиною*, *съ версту рускую*, *замокъ русскій*, *желѣзный*, *в руских странах*, *русское двойное вино*, *рускіе люди*, *руской лес: сосна, ель, береза, дуб, вяз, ясень, рябина, липа, ивняг*; *князи рустии*, *руские серебряные деньги*, *митрополитъ русьскый*, *кобылка рыжа руская*, *русская телѣга*, *Русскій Переяславль* (не уточняя датировок, отмечу лишь, что большинство данных КДРС принадлежит к XVII в. и другим поздним векам). С этими данными согласны и показания других источников, например «Памятники южновеликорусского наречия» (отказные книги), изданные С. И. Котковым и Н. С. Котковой (М., 1977, passim): *руских воров*, *с рускои стораны*, *на рускои сторонѣ*. Показательна возможноеть употребления *русский* на самом высоком политическом уровне: «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русьскаго», 90-е гг. XIV в.[3]. В духе упомянутой универсальности словоупотребления *русский* могло обозначать и то, что мы сейчас назвали бы церковнославянским переводом Грамматики и Псалтыри начала XVI в.[4], и явно просторечный, живой «русской природной язык» протопопа Аввакума.

[1] *О. Н. Трубачев.* Русь, Россия. Очерк этимологии названия // Русская словесность. 1994, № 3. С. 67—70 (с дальнейшей литературой).

[2] *Иларион.* Слово о Законе и Благодати / Сост. В. Я. Дерягин; реконструкция древнерусского текста Л. П. Жуковской. М., 1994. С. 72.

[3] История русской литературы. Т. I. Л., 1980. С. 163.

[4] *D. S. Worth.* The origins of Russian grammar. Notes on the state of Russian philology before the advent of printed grammars. Columbus, Ohio, 1983. P. 76: *рускиі языкъ*; *Ф. П. Филин.* Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 109.

Всё шло к тому, чтобы и последующим нашим векам передать это широкое и незамутнённое словоупотребление *русский* наших более ранних столетий, ср. М. Д. Чулков, «Абевега русских суеверий», В. А. Левшин «Русские сказки» — из предпушкинской эпохи, склонности языка народного бытописания Г. Р. Державина [5], не говоря о языковых предпочтениях самого Пушкина, к чему обратимся специально позже.

Здесь время взглянуть на языковую сторону вхождения Руси в Европу, ее, так сказать, европейской интеграции, на терминологизацию этого феномена, который, при всем обнаруженном к нему интересе, не получил окончательной характеристики. Для прототипов европейского названия нашей страны вполне подходили уже известные *Русская земля*, *Русь*, активно, кстати, употреблявшиеся ещё в первых наших (рукописных) газетах, «Вестях-курантах», первой половины XVII в. Ничто не мешало, например, тем же голландцам, перенявшим у нас приблизительно тогда же название забытой богом Новой земли — *Nowaja zembla*, перенять и наше главное самоназвание, *Русская земля*. Правда, тогда предпочли, по-видимому, перевод, каковым и явилось немецкое *Rußland*, собственно, *Русская земля* и его варианты. Но другой, древнейший, вариант нашего самоназвания — *Русь* — очень рано получил в Центральной Европе удобное осмысление как плюраль: *Russi*, *Ruzzi* (так у анонимного Баварского географа IX в.), совершенно в духе распространенных тогда же и там же других этнических плюралей. Перспектива у этих этнических плюралей была одна — превращение в названия стран на *-ia* книжно-письменной преимущественно латинской традиции средневековой Европы. Оттуда ведет свое начало название нашей страны в форме *Russia*, ограниченно проникшее и в нашу письменность: **гсдрю црю великомꙋ кнзю Михаилꙋ Ѳедоровичю всеа Рꙋсии**... 1626 г. [6]. Можно сказать, что значительная часть европейских стран сохранила такую форму названия России от того времени: сюда относятся франц. (*la*) *Russie*, англ. *Russia*. И наши южные братья-славяне зовут нас именем той же формы: сербохорв. *Русија*, болг. *Русия*. Последнее особенно любопытно, потому что как раз с Юга, из Византии, объясняют обычно принятую у нас форму на *-о-*: *Россия* из греч. Ῥωσσία (Фасмер III. С. 505). Ссылки при этом на канцелярию Константинопольского патриарха понятны, по-гречески выглядит и ударение *Россúя*, ср. у Кариона Истомина, 1694 г. КДРС: *велика часть есть асiи / держава в ней и Россiи*. Уже чтение греч. ω двусмысленно: возможно *-о-*, возможно в позднее время и в диалектах *-и-*. Дальше весомость обретает европейский контекст, участие

[5] История русской литературы. Т. I. Л., 1980. С. 605, 644.

[6] Вести-куранты. 1600—1639 гг / Изд. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова. М., 1972. С. 73—74.

в котором Византии — после 1453 г. (взятие Константинополя турками) — все-таки минимально. Европейский контекст достаточно сложный. Начать с того, что необходимо рассматривать совокупность из трех форм: *Россия — российский — россияне*. Кроме нас, вся эта триада представлена у поляков: *Rosja — rosyjski — Rosjanie*. Уже стандартные украинские формы *Росія — російський — росіяни* едва ли имеют бо́льшую временну́ю глубину и, возможно, навеяны польским. «Малоруско-німецкий словар» Е. Желеховского и С. Недільского (Т. II. Львів, 1886) дает только *руський*, *руский* (значения опускаю), но не знает ни *російський*, ни *росіяни*. Остается добавить, что для белорусов мы по-прежнему *рускія* мн. 'русские', и это тоже архаизм.

Остальное — инновации, целая группа инноваций. Заимствованный, в основном западный, характер названия *Россия* довольно очевиден; об этом говорило бы удвоение *-ss-* как поздне-латинский способ нейтрализации озвончения интервокального *-s-* (исходная греческая запись обладает одинарной сигмой). Ударение «греческого» вида тоже не очень показательно ввиду реальности старопольекого *Rosyja*, типа *Azyja — Azja*, как о том говорит производное от него *rosyjski*, ср. ст.-польск. *Maryja* (позднее — польск. *Maria*) в 1-й строке *Bogurodzica, dziewica, Bogiem slawiona Maryja...* Так что все сводить к влиянию русской формы на польскую, как делает Фасмер, не кажется убедительным. В названии *Россия* представлено искусственное образование (ср. Brückner. S. 463), следы которого ведут на Запад. Любопытно, что думал на этот счет Даль (2-е изд. Т. IV. С. 114): «...только Польша прозвала нас Россией, россиянами, российскими, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кириллицу свою и пишем русский!».

КДРС не знает россиян раньше эпохи Петра, зато потом они встречаются у Ломоносова, в рассуждении о «высоком» штиле [7], и у Карамзина, «Из записок одного молодого Россиянина» (1792 г.) [8]. Печать искусственности лежит и на этом образовании, несмотря на то, что модель на *-(j)aninъ* — вполне славянская, ср. кратко ниже.

Обращаясь к слову *российский*, отметим его нехарактерность для живого среднего стиля. Ни в одном из известных мне четырех томов «Вестей-курантов» с 1600 по 1650 г. *российский* не отмечено ни разу, безгранично господствует *русский*, идет ли речь о простых людях, боярах, послах, царевнах, гонцах, рубежах, подданных. Ср. то же по данным книги С. И. Коткова «Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII вв.» (М., 1970, passim). Искусственный атрибут *российский*, напротив, зарекомендовал себя сначала претензиями на высокое, «царское» словоупотребление, ср. ад-

[7] История русской литературы. Т. I. Л., 1980. С. 536.
[8] Там же. С. 748.

ресат послания Ивана Грозного «во все Российское царство», 1564 г.[9], «Новая повесть о преславном Российском царстве», 1610—1611 гг.[10], *благолепие росийское*, «Сказание Авраамия Палицына», 1620 г. (КДРС), *Царство Росийския державы* (Космография 1620 г., КДРС), *Росийское государство* в сочинении Котошихина, в грамоте Михаила Федоровича 1614 г. (КДРС). Вместо *Руская земля*, читаем *росискую землю* (Волокол. пат. 2, КДРС). Наблюдается распределение: *кнзеи росииских*, но *русских людеи*, *руских вестях* (7)[11]. Дело порой доходит, явно вторично, до смешения: *грамотку... российским письмом грамотки русским же письмом*. Посольство Толочанова, середина XVII в. (КДРС), причем *российское* равно *русскому* и семантически, и функционально. Выученик Славяно-греко-латинской академии Ф. Поликарпов помещает в своем «Лексиконе» 1704 г. характерное: «Рускій, зри россійскій», последнее же находим у него как бы в дополнениях пропущенных слов, ставлшаѧсѧ реченіѧ: російскій, *rutenus*[12]. Явная избыточность атрибута *российский* благоприятно сказалась на его карьере, в унисон патетическому сочинительству и сочинителям. Этой моде, удаляющейся от ровного стиля посольской канцелярии, воздали обильную дань на рубеже эпох многие, в их числе и Поликарпов, от дальнейших опытов которого разумный Петр ждал «не высоких слов славенских, но простого русского языка». Известно, что И. А. Мусин-Пушкин так сформулировал Ф. Поликарпову критику царя: «Посольского приказу употреби слова»[13]. Но дело было сделано, и совершенно избыточное *российский* начало свой триумфальный ход уже не только в витиеватом высоком стиле, но буквально вытесняя атрибут *русский* в его фондовых значениях, и если Кантемир еще пишет о сложении *стихов русских*, а Сумароков — «о *русском языке*», и Тредиаковекий — о «простом *русском языке*», то Ломоносову этого явно недостаточно, он заявляет о правилах *российского стихотворства* (1739 г.), позднее пишет «*Российскую грамматику*» (1755 г.), говорит о «*российском языке*». Мода на все «российское» наступает в патетическом и героическом XVIII в. широким фронтом — от «Истории российской» В. Н. Татищева, *Российской земли* в известной оде Ломоносова 1747 г., комедии «*Слава российская*» (еще при жизни Петра) вплоть до *российских матросов* и *российских кавалеров*, героев популярных повес-

[9] История русской литературы. Т. I. Л., 1980. С. 282.

[10] Там же. С. 300.

[11] Грамотки XVII — начала XVIII века / Изд. Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова; под ред. С. И. Коткова. М., 1969, passim.

[12] *F. Polikarpov.* Leksikon trejazycnyj. Dictionarium trilingue. Moskva, 1704 / Nachdruck und Einleitung von H. Keipert, O. Sagner. München, 1988 (= Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O. Horbatsch, G. Freidhof und P. Kosta. Bd. 79). S. 598, 798.

[13] История русской литературы. Т. I. Л., 1980. С. 380.

тей. Сюда же, разумеется, «Древняя *Российская вивлиофика*» и «Опыт исторического словаря о *российских писателях*» просветителя Н. И. Новикова, словоупотребление *российский гражданин* у Княжнина и такой венец искусственного словотворения, как название национальной героической поэмы М. М. Хераскова «Россияда». Нельзя пройти мимо этих опытов трактовки также и всего древнерусского как «древнего российского», так что есть повод говорить не только и не столько об известии словес и патетике, но и о своеобразной модернизации. Составители тома I «Истории русской литературы» (Л., 1980) почему-то так и не заметили, что в этом вытеснении *русского российским*, о чем в этой «Истории» вообще — ни слова, обозначилась тенденция смены общественной парадигмы, как мы назвали бы это сейчас. О какой смене общественной парадигмы идет речь — это вопрос, уже выходящий за рамки моего нынешнего сообщения, но остается фактом эта тенденция, это мироощущение, пришедшее вместе с XVIII в., когда ряду отечественных деятелей стало как бы тесно в Русской земле, их манили, как Карамзина, «священный союз всемирного дружества» «всех братьев сочеловеков» [14].

Опыты вытеснения *русского российским* того времени легли на почву, а точнее сказать — на арену обширной деятельности иллюминатов, просветителей, иначе говоря — масонов. У Екатерины II были, видимо, свои резоны увидеть в этой деятельности не одну лишь пользу. Важна ли была борьба синонимов *русский — российский* на общем, казалось, неизмеримо более значительном общественно-историческом фоне, и, короче, заметил ли кто-нибудь вообще ту игру синонимов или все прошли мимо, не заметив, как наши литературоведы по XVIII веку? Нет, всё оказалось гораздо тоньше и многозначительнее. По-настоящему великие деятели и художники доказывают это нам практикой своего творчества. Это и *народ русский* как субъект карамзинской «Истории государства Российского», и его же «Письма русского путешественника» 1790-х гг. Радищев, язык которого считают темным, в предельно ясной форме высказался о *русском человеке* как вершителе *Истории Российской* [15].

И, наконец, подлинное раскрытие всей искусственности эксперимента с *русским — российским* XVIII в. смог дать нам, как мы того и ожидали от него, наш Пушкин. Мы смеем это утверждать, даже не имев возможности обратиться именно сейчае к картотеке Большого академического словаря в Петербурге, но имея, к счастью, под рукой «Словарь языка Пушкина» (т. III. М., 1959), фиксировавший количество словоупотреблений. И вот результат: в

---

[14] История русской литературы. Т. I. Л., 1980. С. 748.

[15] Ср. цитату из «Путешествия» Радищева: *Г. Н. Моисеева.* Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980. С. 96.

языке Пушкина *российский* прил. к *Россия*; *русский* встретилось 53 раза, а *русский* как прилагательное и существительное в общей сложности — 572 раза, в десять раз больше! Пушкин, сам будучи сыном XVIII в., не обманулся поверхностной модой предшественников, кстати, им высоко чтимых, и показал, что он также и в этом разумный консерватор. *Россиянин*, кстати, у Пушкина отмечено только в десяти примерах.

Я резюмирую эту часть своих наблюдений над терминологическим феноменом вхождения нашей страны в Европу, считая долгом отметить, что, при всей искусственности терминов *Россия*, *российский*, наши далекие предшественники в общем правильно восприняли их как символы нашей европейской интеграции, иначе трудно было бы понять остальное отмеченное выше. Но спрашивается, было ли это единственно возможным способом? То, что это не так, показывает опыт других стран, дальних и ближних. Германия, например, сохранила свое старинное и очень национальное самоназвание *Deutsch-land*, буквально 'Народная земля', латинское *Germania* немецкая культура применяет лишь в смысле «Германии» Тацита; Англия сама себя по-прежнему называет Англской землей, землей англов, *Eng(l)-land*, а не *Anglia* по-латински, т. е. по принципу 'Русская земля', хотя названия стран и областей по латинской модели на *-ia* широко популярны в англоязычной культуре, ср. названия американских штатов *Pennsylvania*, *Georgia*, *Virginia*. Обратимся к славянским странам и с интересом отметим, что самая латинизированная из них, Польша, как раз продолжает именовать себя по принципу, оставленному нами, — *Polska* (sc. lic. *ziemia*) 'Польская (земля)'! По тому же славянскому принципу называется соседняя Словакия — *Slovensko*. Нашу Россию там называют *Rusko*. Несмотря на мощное влияние западных соседей Чехия так и не приняла латинское название *Bohaemia*. Хорватия, называемая нами (и всей Европой) по образцу латинских названий стран на *-ia* (в частности, *Croatia*; точно так же мы «латинизируем» *Чехия*, *Словакия*, прежде — *Чехословакия*), упорно сохраняет славянский способ самообозначения — *Hrvatska*. Аналогично, на *-ska*, оформлялось в старину и название Сербской земли, и Болгарской, в новое время мы имеем там *Србија* и *България*, что напоминает нам известные центральноевропейские инновации на *-ia*, но пикантность вопроса в том, что на Юге нельзя исключать воздействия не только однотипных греческих образований на -ία, но и, скажем, турецкого самоназвания *Türkiye* 'Турция' (при всей возможной неясности отношений последнего к центральноевропейским названиям стран на *-ia*).

Чему еще может научить нас славянский, славистический опыт? Сербские образования *Србијанац* 'серб из внешних, более отдаленных областей', сюда же *србијански*, *Србљанин*, *lingua seruiana* 'сербский язык' (в письменности Дубровника XV—XVIII вв.) способны, наконец, подсказать нам пра-

вильное употребление нашего *россиянин*, история которого, разумеется, не кончилась полтора века назад. Хуже того, и *россиянин*, и *российский* сейчас, может быть, как никогда употребляются крайне неточно. Небрежностью это можно назвать далеко не всегда и уж, конечно, не в тех случаях, когда оба слова — *россиянин* и *российский* — наделены отчетливой идеологической, политической установкой — вытеснить, заменить слово *русский*. Довольно длительное время вытеснению *русского*, как известно, служило и великолепно использовалось *советское*. Сейчас это прошло, но *русское* восстанавливается (если восстанавливается вообще!) с большими, искусственно чинимыми трудностями, и на сей раз препоны русскому возрождению чинятся весьма искусно, с помощью ставших модными *россиян* и всего *российского*, вплоть до отдельных ведомственных предписаний употреблять *российский* вм. *русский*. Если еще принять во внимание, что на всех углах нам твердят со всей мощью СМИ о вхождении в новую Европу и мы имеем дело с очередной европейской интеграцией, то параллели из прошлого, рассмотренные выше, могут пригодиться. Не повторяя подробно то, что писал или говорил по этому поводу в других местах, все же укажу на концептуальность атрибута *русский* (русский язык, русская литература, русская культура, русская языковая картина мира, наконец, русский языковой союз, о котором я также писал, но здесь не могу отвлекаться). Всего этого с точностью не выразить словом *российский*, не вызвав непоправимой подмены понятий, не совершив грубой языковой ошибки. Между словами *российский* и *русский* отсутствует отношение взаимозаменяемости; *русский* этнично, а *российский* благодаря своей прямой зависимости от *Россия* имеет сейчас свой, только ему присущий, административно-территориальный статус. В отличие от *русского*, *российский* и *россиянин*, к тому же, — шире (может включать и нерусского россиянина), семантически расплывчатее (возможно, этим и привлекает мозги, работающие на европейскую интеграцию?).

Какая бы то ни было интеграция, запрограммированная на дезинтеграцию (в нашем случае — России), вызывает у нас глубокие сомнения. Именно среди нынешних апологетов *российского* (за счет *русского*) приходилось встречать деятелей, способных даже при обсуждении проекта закона о языках сначала — РСФСР, потом — Российской Федерации поступиться и государственным, и межнациональным статусом русского языка во имя, порой, совершенно мифических суверенитетов. Наблюдаемая рецессивность словоупотребления *русский* в пользу *российского* является плодом подобного просвещения. Пример: высокий государственный деятель в стране, на протяжении нескольких лет так и не решившийся публично произнести слово *русский* (разве что за исключением одиозного упоминания про «русский бунт, бессмысленный и беспощадный»). Я готов, впрочем, допустить, что мы име-

ем дело в повседневной практике не с одними только проявлениями недоброй воли и тенденцией растворить русское в российском. Не меньше случаев простого недопонимания, и именно с ними нужно работать и разъяснять. Я допускаю, например, что языковое (и прочее) различие между *русский* и *российский* часто просто не понимают на Западе, как не понимают его и наши расплодившиеся доморощенные переводчики с английского и на английский, когда переводят, например, Российская федерация — Russian Federation; адекватно только — Federation of Russia (иначе получается «Русская федерация»).

Можно продолжить изучение оппозиции *русский* — *российский* (а мы здесь имеем перед собой в настоящее время оппозиционную пару терминов) и дальше в плане лингвистической теории и типологии, в плане языкового перевода, приравняв, например, более широкое *российский* к нем. *ungarländisch* (параллельного **rüßländisch* как будто еще не существует), а более специальное *русский* — к нем. *ungarisch*, имея в виду то вполне подходящее как параллель обстоятельство, что и старое королевство Венгрию населяли не одни венгры, но и словаки, хорваты, валахи. Позволительно взглянуть на оппозицию *русский* — *российский* как на оппозицию по семантической маркированности, когда один из терминов — маркированный (иначе — признаковый, интенсивный), а другой, соответственно, — немаркированный, «неотмеченный», беспризнаковый, экстенсивный. Похоже, в нашем случае маркированным будет *русский*, более определенный, четкий термин, а немаркированным — более расплывчатое, менее четкое *российский*. Наше наблюдение кажется нам небесполезным, тем более, что исследователь (один из исследователей) проблемы маркированности отмечает, со своей стороны, что именно маркированность относится к числу наименее инвентаризированных формальных признаков языка. С автором (а это был датско-американский лингвист X. Андерсен) нельзя не согласиться, потому что о нашей терминологической паре *русский* — *российский* он, например, даже и не думал, когда изрекал эти справедливые суждения: «...отношения маркированности присутствуют во всех случаях, где язык предоставляет своим носителям возможность выбора» [16].

[16] *H. Andersen.* Markedness theory — the first 150 years // Markedness in synchrony and diachrony / ed. by O. Miseska Tomic. Mouton de Gruyter. Berlin; New York, 1989 (= Trends in linguistics. Studies and Monographs 39 / Ed. W. Winter). P. 41.

СЛОВО О «РУССКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» И НЕКОТОРЫХ БИБЛЕЙСКИХ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ[1]

Не имея ни возможности, ни намерения вдаваться здесь в историю вопроса, ни тем более — предрекать его будущее, скажу лишь, что эта общественная инициатива родилась в годы последней нашей смуты, родилась (если иметь в виду внутреннюю сторону проекта) из собственной славистической словарной практики. Проект носит название «Русская энциклопедия» (РЭ), а не Российская, и это отличие концептуально, ибо *русский* и *российский* — разные слова и понятия: русский язык, русская литература, русская культура называются только так и не могут быть переименованы при всем чьем-либо желании. И это очень важно для нас, потому что, говоря о РЭ, мы говорим прежде всего о русской культуре, тогда как *российское* — это все, что связано с Россией, и его административно-территориальный смысл ясен, если в своих суждениях не идти от лукавого. Потому что лукавили, когда почти всё русское заменили «советским», лукавят теперь, в годы смуты, когда едва высвободившееся из-под советской атрибутики русское спешно нарекают по возможности «российским», а то и «евразийским». В этих играх в слова́ гораздо больше политики, чем может показаться на первый взгляд.

Возвращаясь к концепции РЭ, отметим, что она задумана как универсальная, а не специальная (отраслевая) энциклопедия, каких много в наше время. Это усложняет нашу задачу, но культура — понятие универсальное. РЭ призвана отобразить русскую картину мира, имея в виду русскую языковую (лингвистически релевантную) картину мира, т. е. не только «всё о России»,

---

[1] Выполнено по приглашению Императорского Православного Палестинского общества в сентябре 1994 г.

но и рецепцию множества феноменов мира внешнего, что тоже входит, с большей или меньшей степенью органичности, в бездонное понятие русской культуры. Сказав о русской языковой картине мира, мы как бы определили возросшую роль филолога в создании проектируемой энциклопедии, — мысль, которой мы руководствовались при написании также нижеследующих заметок. Тема заметок не позволяет давать волю своим чувствам, и все же как не сказать о том смешном и горестном впечатлении, которое оставляет раздуваемый средствами массовой информации образ русского фашизма, ими же и слепленный. Ведь правда не в этих происках, а в неизменно пророческих словах пушкинской речи Достоевского: «Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности». Задев вопрос о параметрах русской культуры, назовем их кратко: это открытость миру, или космизм, далее — софийность, или интерес к вечным вопросам, и соборность, или примат коллективного начала. Последнее любопытно вскрывает, например, филологический (этимологический) анализ ключевого слова славянской и русской культуры — *свой*, *свои* (люди).

Оставаясь универсальной, РЭ, по-видимому, должна будет остановиться на усредненности подачи информации, адресованной широкому читателю. Что касается такого филологического по своей сущности вопроса, как словник энциклопедии, неизбежно констатируется факт, что словник РЭ априори недоступен нашему непосредственному наблюдению именно по причине отмеченной универсальности. Говоря кратко (а за этой краткостью стоит опыт многосложной реконструкции праславянского лексического фонда для всех славянских языков), в случае с универсальной РЭ реален только путь двухступенчатого построения всего словника. Он мыслится как сумма частных словников отдельных дисциплин, осуществляемых силами специальных секций, числом в два-три десятка. Не стану их здесь перечислять, это выглядело бы как приблизительный реестр наук, с теми или иными оговорками. Опущу и перечень типов статей, сам по себе достаточно традиционный. Важнее сказать, что центр тяжести предлагается переместить на секции, придав им свободу в выработке и трактовке своих словников. Свой предмет знают всегда лучше специалисты, а не центральный штаб какого бы то ни было уровня. У последнего хватит своих координирующих функций, среди них — сведéние мини-словников секций отдельных дисциплин в единый макро-словник будущей РЭ. Но до этого идеального этапа сейчас далеко, еще не заработали все секции или хотя бы их большинство, и речь пока идет о некоем трудноосуществимом идеале, впрочем — идеале продуманном. Он называется академический проект «Русская энциклопедия».

Эта общественная (повторюсь) инициатива, рассчитанная на деятельность общественных секций, может находить и находит уже сейчас выход в

сериях и рубриках журнальных публикаций (в журналах «Народное образование», 1990 г., «Русская словесность» и некоторых других). Еще эффективнее издание тематических сборников в форме словарей под грифом «Русская энциклопедия». В 1994 г. вышел первый такой сборник, носящий все атрибуты РЭ: «Русская ономастика и ономастика России. Словарь». М.: «Школа-пресс», 1994, тираж 50 000, около 150 статей. Это тематическое направление РЭ должно быть продолжено, и мы отчасти делаем это в своих нынешних заметках (о чем — ниже). Ждет своей публикации «Археологический словарь (славяно-русские древности)», специальный пробный том «Русская энциклопедия: *Р*—» (100 статей). Конечно, это пока капли в море информации. Человек требовательный вправе спросить: нужно ли все это и насколько вообще действенны наши усилия? Но, как бы мы ни отвечали на этот вопрос, должно быть ясно, что ни ныне живущее, ни, тем паче, последующее поколение не удовлетворилось бы, скажем, четвертым изданием «Большой Советской энциклопедии», даже если в нем кое-что подправить ad hoc и переименовать в «Большую Российскую энциклопедию» (как, собственно, и сделали, во всяком случае, издательство «Советская энциклопедия» в «Российскую энциклопедию» уже переименовали[2]). Боюсь, ничего глубокого и принципиально нового мы от такого переименования не дождемся. Готов поручиться, что это будет все та же плохо закамуфлированная боязнь, как бы русская специфика, избавь бог, собой что-то другое не заслонила и не перевесила. Но спрашивается, какая еще более достойная задача может быть у подобной энциклопедии, если не презентация и, более того, раскрытие специфики русской культуры. И негоже вливать в ветхие мехи вино новое. Одним словом, нужна Русская энциклопедия. Эта истина, думаю, пребудет, даже если наши нынешние фактические результаты будут признаны откровенно недостаточными, чего я вовсе не исключаю, как не исключаю и того, что те, кто пойдет в этом деле дальше нас, продолжит, надеюсь, с того места, где остановились (или остановимся) мы, при обязательной презумпции, что речь идет о людях, честно помышляющих о русской культуре, а не об эксплуататорах и узурпаторах идеи.

Я не сказал еще о независимости нашей общественной инициативы («выше нас только небо!»), чем я горжусь больше, чем всеми мыслимыми способами официальной регистрации нашего проекта (не буду сейчас о них). Идеальный взгляд на вещи необходим, без него ничего бы не было, ради чего

---

[2] От внимания читателя, надеюсь, не ускользнуло (см., например, газ. «Известия»), каким скандалом на наших глазах оборачивается предприятие «Большой российской энциклопедии», этого эпигонского продолжения БСЭ, с убогим вакуумом вместо концепции.

стоило бы огород городить. Но реальная жизнь властно требует свое: средства на материальную поддержку секций (периодическую или разовую), на содержание одного-двух сотрудников-координаторов (пока что — только одного), на предоплату нашего издательского плана. Ясно, что без поддержки финансистов и деловых людей не обойтись. Отрадно, когда в этом мире находятся умные и честные люди, протягивающие нам руку помощи, хотя финансовая состоятельность здесь и сейчас — более, чем когда-либо и где-либо, — величина непостоянная. Ограничусь сказанным, дабы иметь возможность сообщить нижеследующие заметки — род пробных статей для РЭ, которым также придаю значение, продолжая в них линию русской ономастики, намеченную уже в вышеупомянутом сборнике РЭ (см. мое «Предисловие главного редактора»). Я имею в виду сказанное там об ономастике, имени собственном, как визитной карточке культуры. Следует добавить, что, помимо функции называния, этикетирования предметов культуры, картины мира, в нашем случае — русской культуры, русской языковой картины мира, ономастика способна открыть путь к главному — к показу специфики русского культурного отражения, и это тем более существенно, что речь пойдет о понятиях и объектах, кажущихся географически внешними и далекими, тогда как на самом деле они — некоторые из них — давно вошли в плоть и кровь нашей культуры и языка, чего порой не находим в других языках и в других культурах.

Мои нынешние сюжеты касаются Святой земли, Палестины, Святого писания, эпохи обоих Заветов: *Варавва*, *Иордан*, *Палестина*, *Филистимляне*.

* * *

Вара́вва. — В «Большой советской энциклопедии» всех трех изданий отсутствует, как и в «Советском энциклопедическом словаре» (М., 1980). Впрочем, не упоминается и в некоторых предреволюционных энциклопедиях, например в Большой энциклопедии под ред. С. Н. Южакова (СПб., ряд изданий), где встречается, однако, *Варавва* в качестве фамилии, но о фамильном употреблении — ниже. Любопытно, что русское издание «Нового энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза — И. А. Ефрона (т. 9. СПб., б. г., с. 530), хотя и помещает статью об интересующем нас Варавве, но характеризует его, скорее, в духе западной исторической, отчасти — мифологической школы, о чем у нас ниже. Лейпцигский «Брокгауз» (Brockhaus' Conversations-Lexikon. Bd. 2. Leipzig, 1882) соответствующей статьи не имел.

Речь идет о персонаже истории последних дней Иисуса Христа, известном как Варавва. Это личное имя собственное фигурирует в наших древней-

ших евангельских текстах: ст.-слав. **Варава**, **Варавва**[3], рус.-цслав. и рус. **Варавва**, *Вара́вва*. Оно является передачей визант.-греч. Βαραββᾶς, вин. п. Βαραββᾶν[4]. В славянских традициях, ориентирующихся на западное христианство, приняты формы, восходящие к лат. *Barabbas*. Специфично отсутствие личного имени *Варавва* в действующем русском антропонимиконе[5]. Соответствующая фамилия встречается: укр. *Вара́ва*[6], блр. *Вара́ва*, *Вара́ўка*[7], притом что бытует мнение о необычности этой фамилии, ср. неоднократные замечания на этот счет у Горького в «Жизни Клима Самгина»: «Странная фамилия — Варавка...». Из западнославянской антропонимии сюда примыкает польская фамилия *Barabasz*, представляющая собой усвоение лат. *Barabbas*, и хотя современный словарь польских фамилий ее не дает[8], старопольским источникам она известна[9]. С Запада фамилия *Барабаш* давно распространилась на Украину и в Белоруссию[10].

По обстоятельствам, о которых — ниже, доступ в установившийся фонд общеевропейских (первых) личных собственных имен имени *Barabba(s)* был закрыт[11]. Функционирование фамилий объясняется тем, что последние образуются не от одних только крестных личных собственных имен, но и от прозвищ, а специфических прозвищ-ругательств это библейское имя, оказывается, дало достаточно, — особенно от исходного лат. *Barabbas*. Ср. сюда чеш. *baraba* 'оборванец', при чешском же *Barabáš* 'Варавва'[12]; словен. *barâba*

---

[3] *Р. Јовићевић*. Лична имена у старословенском језику. Београд, 1985 (= Фил. фак-т Београдског универзитета. Монографије, књ. LVI), с. 14.

[4] Novum testamentum graece curavit // Eb. Nestle, Er. Nestle et K. Aland, editio 25, United Bible Societies. London, 1975: κατὰ Μαθθαιον 27; Μαρκ. 15; Λουκ. 23; Ἰωανν. 18.

[5] *Н. А. Петровский*. Словарь русских личных имен. Около 2600 имен. М., 1966.

[6] *Ю. К. Редько*. Довідник українських прізвищ. Київ, 1968. С. 81.

[7] *М. В. Бірыла*. Беларуская антрапанімія. 2. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі. Мінск, 1969. С. 82.

[8] *K. Rymut*. Nazwiska Polaków. Wrocław, etc., 1991.

[9] Słownik staropolskich nazw osobowych pod red. W. Taszyckiego. T. I, zesz. 1. Wrocław, etc., 1965. S. 87.

[10] *Н. М. Тупиков*. Словарь древнерусских личных собственных имен (= Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Русского археологического общества. Т. VI). СПб., 1903. С. 95; *М. В. Бірыла*. Беларуская антрапанімія. 2. Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі. Мінск, 1969. С. 40, — с неверной тюркской этимологией.

[11] Ср. его отсутствие также в *G. Tibón*. Diccionario etimologico comparado de nombres propios de persona. Mexico, 1956.

[12] *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971. S. 46.

'негодяй, мерзавец'[13]; хорв. *baràba* 'негодяй, бездельник', с характерным указанием, что «в других балканских языках не засвидетельствовано»[14].

Каждое из четырех Евангелий повествует о стремлении Пилата соблюсти обычай на еврейскую пасху и отпустить одного из осужденных на смерть. Единственно этим обстоятельством объясняется то, что мы вообще знаем, что был некий Варавва. Возникшая тогда же дилемма — отпустить Иисуса Христа или Варавву — получает завуалированное продолжение вплоть до современности. При этом противостоят друг другу, обобщенно говоря, две основные точки зрения. Первая из них — православного богословия — говорит, что в ответ на призыв Пилата ослепленный народ пожелал освободить Варавву, явного разбойника и убийцу[15]. Вторая точка зрения, которую можно назвать западнохристианской и даже шире — иудеохристианской, оказывается как раз в том, чтобы по возможности выставить в выгодном свете Варавву, якобы лицо очень известное и популярное[16]. Для этого, например, Ренану потребовалось противоречить собственной концепции исключительной ценности повествования четвертого Евангелия (от Иоанна) о последних месяцах жизни Иисуса[17] только потому, что оно делает Варавву вором. Логично, что Ренан придает большое значение разночтению прозвища «Варавва» или «Вар-Раввин». Вспомним, что и упомянутый выше Брокгауз—Ефрон не преминул назвать это разночтение: «сын учителя» и «сын отца», поставив на первое место как раз проблематичное «сын учителя». В том же духе трактует данный сюжет известный фильм Дзефирелли «Иисус из Назарета» (Jesus of Nazareth. Directed by F. Zefirelli): Варавва изображен как борец за свободу Иудеи против римской оккупации, и именно поэтому будто бы народ на площади требует ему пощады. Иерусалимской толпе льстят, снимая вполне реальный трагизм Нового Завета, а именно то, что местная толпа не поняла и отвергла мессию, существо высшее, и предпочла ему низменного убийцу. Именно за это толпу свободно агитировали (в своих интересах) первосвященники и старейшины (Матфей 27; Марк 15). Сомнительно, чтобы первосвященники домогались пощады политическому преступнику, замешанному в антиримском возмущении.

Укрепиться в православном (ортодоксальном) понимании вопроса помогают языкознание, ономастика. Разночтение должно уступить место 'едино-

---

[13] *F. Bezlaj.* Etimološki slovar slovenskega jezika. I. Ljubljana, 1976. S. 11.

[14] *P. Skok.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 1. Zagreb, 1971. S. 110; *M. Šimundić.* Rječnik osobnih imena. Zagreb, 1988. S. 28.

[15] Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 1. СПб., 1992. Стб. 439.

[16] *Э. Ренан.* Жизнь Иисуса. М., 1991. С. 256—257.

[17] Там же. С. 22, 57.

чтению': Βαραββᾶς, *Barabbas* как арамейское (сирийское) *bar abba* 'сын отца'. *Варавва* не было личным именем в настоящем смысле, что ясно и из слов греческого Нового Завета — ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς (Марк 15) 'так называемый Варавва', цслав. **нарицаемый Вара́вва**, особенно же удачно в синодальном издании русской Библии: *некто, по имени Варавва*. То, что представлено в арамейском *bar abba* — своеобразный семитский status constructus со значением 'сын отца', — может быть истолковано в духе лингвистической типологии, как «квазиотчество»[18] укр. *ба́techькович* в его характерном полупрезрительном, фамильярном употреблении, когда действительного отчества не знают или не хотят знать. Названная примета уводит нас в мир преступности, мир, где прибегают к кличке, ч т о б ы с к р ы т ь и м я[19], ср. специальное указание на з а п р е т и м е н у к а т о р ж а н[20]. В итоге мы приходим к тому, что давно есть в четвертом Евангелии (Иоанн 18, 40): «Варавва же был разбойник». В поэтический гомеровский вердикт, столь полюбившийся всем («...Между людьми не бывает никто безымянным...» Одиссея, песнь VIII), вносится, таким образом, конкретная поправка в духе знаковой теории: отсутствие знака (отрицательный знак) функционирует как знак, в нашем случае — б е з ы м я н н о с т ь и с п о л ь з у е т с я к а к и м я, ибо нечаянно прославившийся криминальный субъект в сущности был безымянен. Косвенно это подтверждают указания на неединичность клички *bar abba*, как, например, свидетельство Филона (эпоха Иисуса Христа) о шутовском царе по имени *Karabas* (порча из *Barabbas*), персонаже иудейского новогоднего праздника[21], в котором едва ли нужно вместе с Древсом[22] видеть расщепление солярного божества *Варавва* (старая конъектура — Иисус Варавва). После этой реплики в адрес уже мифологической школы (так называемая «сенсация Древса») можно резюмировать, что образ и рифмованное имя Карабаса-Барабаса пронесли через века репутацию еще одного злодея, чтобы запечатлеться в детских сказках нашего времени.

Иорда́н ~ Бетшеа́н / Бейса́н / Вифса́на / Скифполь. — Все издания «Большой советской энциклопедии», сообщая физико-географический минимум (Иордан — крупнейшая река Палестины), о названии реки говорят еще меньше: БСЭ[1] и БСЭ[2] приводят еще арабское названия Иордана — *Шериат-*

---

[18] Ср. о понятии *Е. С. Отин*. Иван // Русская энциклопедия. Русская ономастика и ономастика России. М., 1994. С. 88.

[19] *В. А. Никонов*. Имя и общество. М., 1974. С. 22.

[20] Там же. С. 26.

[21] *A. Drews*. Die Christusmythe. Jena, 1910. S. 40.

[22] Там же. S. 41.

эль-Кебире, *Нахр-эш-Шария*; БСЭ[3] и «Советский энциклопедический словарь» не дают и этого, обходя также молчанием происхождение и историю основного названия реки, важные для истории Палестины в целом. Мало отличаются в этом отношении дореволюционные и зарубежные энциклопедии, добавляя греческую форму Ἰορδάνης и др.-евр. *Yardēn*[23]. Это привело к тому, что последнее — ירדן *Yardēn* — молчаливо принимается за исходное и исконное, следствием чего явились попытки объяснить происхождение названия из семитского также в специальной ономастической и этимологической литературе[24]. Однако история была более сложной. Несмотря на возможное отражение в древнеегипетском *Jrdn*, X в. до н. э.[25], семитское происхождение названия реки Иордан сомнительно. Было обращено внимание на явную двучленность имени в индоевропейском духе и, прежде всего, на индоевропейскую принадлежность компонента *-dan*[26]. Но основа **danu-* 'река' отличается не вообще индоевропейской, а наоборот — выразительно диалектной, иранской, принадлежностью. Ее наличие отмечают как вторичный импорт из иранского, занесенный уже греческим расселением в собственно Грецию и в Западную, нехеттскую, Малую Азию, где встречаются гидронимы на -δανος и даже ʽΙάρδανος[27]. Что касается палестинского гидронима Иордан, то в связи с ним, возможно, стоит прямое вторжение с севера в Сирию и Палестину не вообще арийцев и не арийцев из Митанни[28], а собственно иранских скифов в VII в. до н.э. Обычно оставляемый без объяснения первый компонент названия Yardēn, Ἰάρδανος, Иордан допустимо также квалифицировать как индоевропейский или даже специально древнеиранский, генетически связанный с русским *яр* 'крутой берег', 'овраг', сюда, далее, диалектное *яруг* 'ручей в овраге', др.-рус. *яруга* (Слово о полку Игореве), польск. диал. *jar* 'долина, углубленное место'. Индоевропейскую, нетюркскую, природу рус. *яр* обосно-

---

[23] Большая энциклопедия / Под ред. С. Н. Южакова. Т. 10, б. г. С. 311; Brockhaus' Conversations-Lexikon. Bd. 9. Leipzig, 1884. S. 884; Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. Bd. 2. München, 1979. Стб. 1439—1440.

[24] *В. А. Никонов.* Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 159; *L. Kiss.* Földrajzi nevek etimológiai szótára[4]. I. Budapest, 1988. 661. old.

[25] Die ägyptischen Listen palästinensischer und syrischer Ortsnamen in Umschrift und mit historisch-archäologischem Kommentar herausgeg. von A. Jirku (= Klio, Beiheft XXXVIII, N. F. Heft 25). Leipzig, 1937. S. 50.

[26] *Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984. С. 917; *О. Н. Трубачев.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 34, сноска.

[27] *Л. А. Гиндин.* Население гомеровской Трои. Историко-филологические исследования по этнологии Древней Анатолии. М., 1993. С. 168.

[28] *Т. В. Гамкрелицзе, Вяч. Вс. Иванов.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984. С. 917; *Т. Барроу.* Санскрит. М., 1976. С. 30 и след.

вывает Ларин [29]. Здесь можно лишь указать на то, что овражистый древнерусский Юг был вотчиной скифского иранства. Рабочую этимологию названия Иордан — «река в овраге» — логично сопоставить с данными физической географии, которая характеризует русло реки Иордан как «сирийский р о в» или «иорданский р о в», глубокую расселину. Внимание русской духовной мысли с ранних пор приковано к Иордану, ср. обстоятельное описание, оставленное в начале XII в. Даниилом, Русской земли игуменом, который уподобляет ширину и глубину быстро и «лукаво (вар.: *лукарево*, *лукорявo*)» текущего Иордана родному Снову на Руси [30], притоку днепровской Десны, на Черниговщине. Игумен Даниил сообщает ценные сведения и об источниках Иордана: «Іорданъ же поиде изъ моря Тивиріадскаго, оть двою источнику кипить зѣло чюдно; имя источнику единому Іоръ (вар.: *Еръ*), а другому имя источнику Данъ; и оттуда поиде Іорданъ двѣма рѣками изъ моря Тивиріадьскаго ⟨…⟩ и поидета рѣцѣ тѣ разно себѣ мало, яко полъверсты вдалѣе, и потомъ сонметася обѣ рѣцѣ въ едину рѣку и то ся зоветь Іорданъ по имени двою источнику». — Оставляя здесь в стороне форму Дан, связанную, возможно, с обозначением самого верховья Иордана, обратим внимание на информацию о свободной форме *Иор*, обычно известной в составе более сложного названия *Yarmûk*, *Jarmucha*, греч. Ἰερμοχώς [31], левого притока реки Иордан.

Иордан как первоначальная крещенская купель христианства оставил глубокий след в русской православной, а также народной культуре и языке, ср. распространение именно в русских народных говорах формы *иорда́нь*, *ерда́нь*, особенно близкой к греч. Ἰορδάνης, источнику нашего слова, замечательного своими значениями: 'праздник крещения', 'крещенская прорубь', 'купель', 'колодец, из которого вытекает ручей — исток Волги'.

Бетшеа́н / *Вифса́на*. — Это географическое название места к западу от реки Иордан и к югу от Тивериадского озера, отмечаемое дореволюционными энциклопедиями [32], пропущено во всех советских энциклопедиях. Тем самым пропущен, кажется, важный подтвердительный момент в вопросе об от-

[29] *Б. А. Ларин.* Об архаике в семантической структуре слова (*яр* — *юр* — *буй*) // *Б. А. Ларин.* История русского языка и общее языкознание (Избранные работы). М., 1977. С. 89 и след., 94.

[30] Житье и хоженье Данила Русьскыѧ земли игумена 1106—1108 гг. / Под ред. М. В. Веневитинова // Православный Палестинский сборник. Т. 1. Вып. 3. СПб., 1883. С. 45; 9-й вып. Т. III. Вып. 3. СПб., 1885. С. 99—100.

[31] *M. Avi-Yonah.* Gazetteer of Roman Palestine (= Qedem. Monographs of the Institute of Archaeology. The Hebrew University of Jerusalem. 5). 1976. S. 68.

[32] Большая энциклопедия / Под ред. С. Н. Южакова и П. Н. Милюкова. Т. 5. СПб., 1901. С. 174—175.

ражении следов скифского вторжения, затронутом в ст. ИОРДА́Н. Это название, дожившее до нашей современности в форме *Beisan*, увязываемое некоторыми авторами с *Btšir* древнеегипетских документов и с эпохой до обретения земли обетованной [33], ясно только в своем компоненте *Bet-* 'дом', тогда как второй компонент *Bet-še'an*, *Beišān*, בישאן Βαιθσάν [34] характеризуется противоречиво, предположительно как чужеродный [35] или же попросту как этимологически неясный [36], с распространением этого заключения и на такое любопытное название данного места, как *Scythopolis*, Σκυθίον πόλις. Кажется априори сомнительным отнесение возникновения этого города и названия к эпохе эллинизма, III в. до н. э. [37], когда в городе мог стоять скифский наемный гарнизон [38].

Скорее всего, за этим названием стоят более древние исторические реалии, уже затронутые в ст. ИОРДА́Н, а именно — вторжение скифов вплоть до Сирии, Палестины и границ Египта, известное Геродоту и другим источникам и состоявшееся во времена фараона Псамметиха, до 600 г. до н. э. [39]. В то время как на Востоке, в Вавилоне, было известно обозначение скифов, принятое у персов, — *saka-* (Herod. VII. 64), западнее — в Малой Азии и Передней Азии — употреблялись и другие обозначения этих завоевателей, отчасти — более близкие европейским скифам. Одно из них, по-видимому, закрепилось в северопалестинском топониме *Bet-še'an*, вторая часть которого может быть прочтена как иранское, скифское **xšayān*, род. п. мн. 'саев, сайский', имея в виду сарматское название племени Σαιοι, близ Ольвии, от иран. *xšay-* 'сиять, блистать; властвовать', см. о нем [40], что близко напоминает царскую символику, известную у днепровских скифов: Βασίλειοι (Herod.). Даже если принимать во внимание значительность непрерывной традиции на

[33] Die ägyptischen Listen palästinensischer und syrischer Ortsnamen in Umschrift und mit historisch-archäologischem Kommentar herausgeg. von A. Jirku (= Klio, Beiheft XXXVIII, N. F. Heft 25). Leipzig, 1937. S. 16—17.

[34] *M. Avi-Yonah.* Gazetteer of Roman Palestine (= Qedem. Monographs of the Institute of Archaeology. The Hebrew University of Jerusalem. 5). 1976. S. 93.

[35] Ср.: Die ägyptischen Listen palästinensischer und syrischer Ortsnamen in Urnschrift und mit historisch-archäologischem Kommentar herausgeg. von A. Jirku (= Klio, Beiheft XXXVIII, N. F. Heft 25). Leipzig, 1937. S. 16—17.

[36] Der Kleine Pauly. Bd. 5. München, 1979. Стб. 243.

[37] *M. Avi-Yonah.* Gazetteer of Roman Palestine (= Qedem. Monographs of the Institute of Archaeology. The Hebrew University of Jerusalem. 5). 1976. S. 93.

[38] Meyers Konversations-Lexikon, 5. Aufl. Bd. 2. Leipzig; Wien, 1896. S. 912.

[39] Der Kleine Pauly, Bd. 5. München, 1979. Стлб. 241; Herodoti Historiae, recognovit C. Hude, ed. 3. T. 1. Oxonii, 1976: 1. P. 104—105.

[40] *В. И. Абаев.* Словарь скифских основ // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М. 1979. С. 309—310.

Ближнем Востоке, то и тогда возможное вторичное скифское осмысление, народная этимология *Bet-še'an* как 'дом, город саев / царских скифов' позволяет интерпретировать семантически идентичное название того же места *Scythopolis* 'город скифов' убедительнее, чем это делалось до сего времени, например в немецких энциклопедических справочниках: 'дом покоя' или 'дом башмаков' («Haus der Ruhe oder Haus der Schuhe?» [41]).

Палестина́ ~ Филисти́мляне. — У страны — колыбели религии единого Бога и христианства не было единого туземного названия [42], феномен, достаточно хорошо известный из ономастики. Другая, парадоксальная, сторона этого феномена в том, что если основное, семитское, заселение региона совершалось с востока, юго-востока и северо-востока, то единое название Палестина, пришло с запада. И это явилось результатом самого древнего индоевропейского вторжения и этноязыкового влияния из рассматриваемых в этой серии «библейских» статей. Вторжение индоевропейских «народов моря», филистимлян (греч. Φιλιστείμ), др.-евр. *pəlištī* (m, мн. ч.), откуда позднее и обобщилось греко-латинское, а затем всеобщее название страны, имело место в XIII—XII вв. до н. э., т. е. почти одновременно с израильским исходом из Египта. Основные моменты этого освещены не только в старых русских энциклопедиях [43], но и в советских, причем — статьями таких специалистов, как В. Струве [44], И. М. Дьяконов [45], М. А. Коростовцев [46], И. Д. Амусин [47]. Израильтяне в земле обетованной вверглись в конфликты с воинственными филистимлянами, о чем неоднократно свидетельствует Библия, и это сформировало отрицательный, специфически ветхозаветный, взгляд на филистимлян, о чем еще ниже. Библия содержит и другие важные сведения о филистимлянах, в частности, она сополагает имена *Филистимляне* и *Кафторим* (Быт. 10), как бы уже предопределяя этим основы их индоевропеистической интерпретации, потому что др.-евр. *Kaphtōr-im*, мн. ч. 'критяне' и особенно древнееврейское название острова Крит (откуда Библия ведет и филистимлян) — *Kaphtōr* — получает полное и безупречное толкование как правильное индо-

---

[41] Brockhaus' Conversations-Lexikon. Bd. 2. Leipzig, 1882. S. 910—911: Bethsean, Bethsan.

[42] Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. II. СПб. (repr.: М., 1992). Стб. 1740.

[43] Большая энциклопедия / Под ред. С. Н. Южакова. СПб., 1904. Т. 14. С. 622: Палестина; Т. 19. С. 216: Филистимляне.

[44] БСЭ^1. Т. 57. М., 1936. Стб. 381: Филистимляне.

[45] БСЭ^3. Т. 17. М., 1974. С. 289: «Народы моря».

[46] БСЭ^3. Т. 19. М., 1975. С. 116.

[47] БСЭ^3. Т. 27. М., 1977. С. 406.

европейское имя деятеля *kap-tor-*, ср. лат. *captōres* 'охотники', в данном случае — 'каперы, пираты, морские разбойники', откуда затем уже более близкое нашей номенклатуре др.-евр. *k^e^ret* 'Крит', *k^e^ret-im* 'критяне'[48]. Народы моря, естественно, жили морским разбоем, поэтому и по существу другим названием тех же Кафторим служило имя Филистимляне, или, более точно, то, что скрывается за названием давнего населения Греции и Эгейской области, — Πελασγοί, пеласги (первоначально *Πελαστοί, пеласты), отразившееся в др.-егип. *Prst* и др.-евр. *pelištīm*, вплоть до имени Палестины, сначала — ее юго-западного берега, «сектора Газа». Это был особый индоевропейский народ (по Георгиеву) или выходцы из иллирийских, западнобалканских индоевропейцев, см., вслед за Будимиром[49].

Несмотря на возражения (Георгиев: «народная этимология»), название индоевропейцев-пеластов логично связывать с греч. πέλαγος 'море', диалектным названием моря как 'гладкого, ровного, плоского'[50], ареально привязанным, видимо, к древним иллирийским диалектам, сюда же албанское *pellk* 'лужа, водоем'[51]. Тогда название Палестины и филистимлян-пеласгов объяснимо из индоевропейского **pelǝg-stā-* 'в море (на глади) стоящие', сложение типа древнеиндийского *ratheṣṭha* 'на колеснице стоящий'. В свете известных данных трудно удовлетвориться мнением, что «народы моря» — это «условное обозначение» (Дьяконов), современный исторический термин[52]. Более вероятно, что перед нами ближневосточная семантическая калька индоевропейского **pela(g)-stā-* еще с древнеегипетских времен, ср. упоминание Рамзеса III (XII в. до н. э.) о разрушении Каркемиша «народами моря»[51].

Понятие «филистимляне» практически не занимало никакого места в духовном мире русского народа. Причина: определенная традиция дистанции православия от Ветхого Завета. Положения не изменило и книжное заимствование слова *филúстер* 'мещанин, обыватель', лишь обедненно передающего немецкое *Philister*, которое со времен Лютера значило прежде всего 'фили-

[48] *В. И. Георгиев.* Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (родственные отношения индоевропейских языков). М., 1958. С. 108; *V. I. Georgiev.* Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee. Roma, 1966. P. 218—219.

[49] *R. Katičić.* Ancient Languages of the Balkans. Part 1. The Hague; Paris, 1976 (= Trends of Linguistics. State-of-the-Art Reports 4). P. 69—70, 77.

[50] *Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984. С. 673.

[51] *A. Mayer.* Die Sprache der alten Illyrier. Bd. II: Etymologisches Wörterbuch der illyrischen Sprache. Wien, 1959 (= Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse. Schriften der Balkankommission. Linguistische Abteilung. XVI). S. 88 ff.

[52] Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. Bd. 5. München, 1979. Стб. 65 и след.: Seevölkerwanderung.

стимлянин' и употреблялось также в значении 'противника Слова Божия', т. е. врага, в духе западного христианства (до и после Реформации), солидаризуясь с Ветхим Заветом. Нет в русском и ничего похожего на это немецкое бранное *Krethi und Plethi* 'сброд и сволочь', тоже с лютеровских времен, хотя означает это ни больше ни меньше как 'критяне и филистимляне', наемные херефеи и фелефеи из стражи израильского царя Давида (2-я Книга Царств [52]).

Разборчиво исключив из своего духовного ветхозаветного наследия стереотип ненавистного инородца-филистимлянина, русская духовная культура, с другой стороны, не только бережно сохранила понятие 'Палестина', но и наделила его очень теплыми коннотациями 'отечества, отчизны, родины' (народное в наших палестинах 'у нас на родине', Даль).

[51] Die ägyptischen Listen palästinensischer und syrischer Ortsnamen in Umschrift und mit historisch-archäologischem Kommentar herausgeg. von A. Jirku (= Klio, Beiheft XXXVIII, N. F. Heft 25). Leipzig, 1937. S. 22.

[52] *И. М. Дьяконов*. Предыстория армянского народа. История Армянского нагорья с 1500 по 500 гг. до н. э. Хурриты, лувийцы, протоармяне. Ереван, 1968. С. 104, прим. 68.

ЧЕРЕЗ ЛЕКСИКУ — К ЭТНИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ НАРОДОВ

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten…
Goethe. Faust

Вы вновь ко мне, туманные виденья…

Век XX заканчивается. О нем будут напоминать не только две мировые войны, но и замечательные культурные события, к которым хочется отнести также 12 международных съездов славистов, начиная с 1-го, 1929 г., по 12-й, в нынешнем году, в Кракове.

Мое поколение пришло в науку после воины, и московский IV Международный съезд славистов 1958 г. был нашим первым съездом. Его отличали массовость, богатство новых инициатив и участие живых классиков науки: Фасмер (Германия), Кипарский (Финляндия), Мазон, Вайян (Франция), А. Белич (Югославия), Гавранек (Чехословакия), Лер-Сплавинский (Польша), Р. Якобсон (СССР, Чехословакия, США), Стендер-Петерсен (Дания), Виноградов (СССР). Классики скоро ушли, оставив нашей науке преемственность, воплощением которой служили съезды. Наверное, ничего не следует преувеличивать, и не вся культурная общественность заметила то, что для нас остается великими культурными вехами. Возвращаясь после варшавского съезда 1973 г., я был сконфужен тем, что мои случайные попутчики-варшавяне ничего об этом съезде не слышали. Вспоминается: мой старший коллега и руководитель говаривал, что ученый должен иметь этакую глупенькую веру в науку. Да, нужна вера, цельное и в чем-то молодое чувство, из разряда тех, что советовал Николай Васильевич Гоголь забирать с собой, не бросать, «не подымете потом»… Но и — трезвость оценки и самооценки. Всему этому учили съезды, развертывая перед нами панораму про-

блем. Вечная проблема отношений языка и местных диалектов, того, как из говоров вырастает язык, какие изоглоссы (соответственные явления) бороздят пространство языка, как язык живет и насколько способна его грамматика порождать новые явления, например вид славянского глагола. Не одним только узким специалистам полезно знать, как ведет себя смешанный язык: его морфология бедна. Язык с богатой морфологией не может быть смешанным. Богатый язык славян не мог быть продуктом смеси ни с балтийским, ни с иранским (скифским), и это дебатировалось на славистических съездах.

Каков объем церковнославянского наследия в русском литературном языке и каковы вообще суждения о деятельности Кирилла и Мефодия? Старославянский книжный язык — создание этих первоучителей славян или — все было гораздо тоньше? И где был его первоначальный ареал — в окрестностях Солуни (Фессалоники) или он включал и среднедунайскую Паннонию? Надо считаться с тем вероятием, что до изобретения равноапостольными братьями письма какой-то культурный язык здесь уже существовал. Все новаторы и реформаторы литературных языков обычно опираются на местную деловую, культурную речь. Изучая эти вопросы, нельзя не видеть значение данных словаря, лексики. Теоретики языкознания не всегда ценили эти данные. Именно съезды славистов повернули стрелку славистического компаса в сторону словаря и слова. Отсюда исходят ощутимые импульсы, побуждающие дальнейшее развитие целых дисциплин — сравнительно-исторической лексикологии и лексикографии. Выход исторических словарей в славянских странах активизируется. Праславянский язык деятельно реконструируется также в области словаря. Одновременно, в 1974 г., начинается публикация академических словарей праславянского лексического фонда — у нас и в Польше. Трибуна славистических конгрессов не остается в стороне от этих больших предприятий. Наше издание лидирует. Сравнение, сравнительность получают огромный приток материала. Все это, увы, — не без привкуса польско-русского соперничества. А эпохальность происходящего в том, что именно мы, славянская филология, впервые вообще в мировой науке вторгаемся в неисследованную область праязыковой лексикографии. В Западной Европе, в германистике подобные опыты еще не предпринимались. Через лексику — к культуре, к этническому прошлому народов.

Верность направления не гарантирует, впрочем, успеха, и мы наблюдаем эти искания на наших съездах, когда исследователи порой не уверены в самобытной древности слов *душа*, *грех*, *святой* в отдельных частях славянского мира, и готовы допустить, что их туда принесли миссионеры. Наличие этой высокой лексики еще у праславян приходится доказывать. Приходится с фактами в руках терпеливо показывать, что христианство умело гибко перенимать многое у славянского язычества. Непрерывность культурного разви-

тия — вот что мы противопоставляем близорукой культурной «трансплантации», которая и у нас склонна была датировать «начало древнерусской культуры» лишь с 988 г., с крещения Руси, закрывая глаза на то, что самые «частотные» религиозные слова христианства *бог*, *вера*, *святой*, *дух*, *душа*, *рай*, *грех*, *закон* были взяты не из языка Византии, а из собственного языка неглупых людей, язычников-славян. Святые Кирилл и Мефодий уже з а с т а л и эту нужную лексику для главных понятий и использовали е е, а не заимствования или новоиспеченные новообразования. И в этом их величие.

На съездах славистов спорят о толкованиях слов, и последующие без конца возвращаются к продолжению этих споров. Напряжение дебатов порой может затухать, но это ни о чем еще не говорит, наоборот, косвенно свидетельствует, что работающие поглощены работой, а не дебатами. Прекрасный пример — 1950—1980-е гг. как время расцвета этимологических словарей славянских языков, а споры по этимологии на съездах стихают. Работающим некогда.

Сравнение, сравнительность пронизывает все научное языкознание, а отсюда и всю филологию. Взаимный интерес лингвистики и литературоведения друг к другу призван объединить филологию. Компаративистика охватывает в с ю филологическую науку, с ее общим интересом к слову. Это единство филологии давалось не без труда. Еще наши учителя сочувствовали модному расколу на отдельные дисциплины. И объединяющая, цементирующая роль в немалой степени принадлежит съездам славистов. У нас единство филологии полнее всего воплощают традиции акад. В. В. Виноградова, с их вниманием также к тексту.

Впрочем, по-прежнему наша беда — «узкий» специалист, который не так уж часто задумывается даже над единством языкознания. Мы вполне страдаем от того, что у нас угрожающе расплодились «чистые русисты», т. е. русисты без знания (остальной) славистики. Объем самой славистики / славяноведения меняется, привлекается некоторый корпус исторических и археологических знаний, без учета которых нельзя исследовать такие комплексные темы, как этногенез, прародина славян, но все еще слышны нарекания историков, не совсем довольных недостатком внимания и своего места на тех же съездах. Впрочем, славистика наших дней обогатилась формированием новой междисциплинарной отрасли — этнолингвистики, заявившей о себе и на съездах славистов.

Интерес к тексту, как в общем понятно, объединяет всю филологию. Конечно, одно дело — наблюдаемый текст, совсем другое — текст реконструированный, который более всего сопротивляется усилиям и (ограниченным) возможностям сравнительной филологии и языкознания, так много сделавшего в области реконструкции древнего слова. Тем не менее направление по-

исков по восстановлению древнего текста, наверное, в целом избрано верно и приносит все же плоды, приближающие нас к ответу на вопрос, что это был за текст. Это мог быть и устно повторяемый, рецитируемый закон, это могла быть басня. Таково мнение славистов и индоевропеистов.

Методологически важно сосредоточить внимание, помимо сравнительности, заголовочной, так сказать, для всей нашей науки, еще и на категории единства. Дело в том, что жизнь и сама наука непрерывно учат нас тому, что живое единство — это сложное единство, единство частей, идет ли речь о единстве филологии или единстве языка, скажем, о древнерусском языковом единстве. Но мы, видно, плохие, невнимательные ученики, пренебрегающие преподносимыми нам уроками в угоду модным концепциям. Адекватному пониманию сложных единств мы, видите ли, предпочитаем мифологизированное упрощение и однобокую информацию, бездоказательно отрицаем мало-мальски сложное единство, а то и растаскиваем его на гетерогенные компоненты, раз уж пошло такое модное поветрие. А ведь как актуально судил, в принципе, о том же еще апостол Павел в I в.: «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?... А если бы все были один член, то где было бы тело?...» (I послание к коринфянам, гл. 12).

А тем временем небрежение к постулатам собственной науки и мифологизация односторонней информации уже загнали в тупик целую проблему древненовгородского диалекта, с этой пресловутой концепцией «новгородско-западнославянского родства» вкупе с концепцией гетерогенности всего древнерусского языка. Умение в упор не замечать основное положение лингвистической географии — общие архаизмы не показательны для исходной общности — поистине удивительно. Ведь и на съездах нам твердят о том же. И уж коль несть пророка в своем лингвистическом отечестве, можно сослаться на авторитеты в антропологии (В. П. Алексеев, Т. И. Алексеева) — об исключительном морфологическом сходстве всех краниологических серий русского народа, их принадлежности единому гомогенному (заметьте — не гетерогенному!) типу. И это тоже голос с одного из наших съездов.

Мы не случайно избрали тему сравнительности. Сравнивать глубоко свойственно человеку (так и хочется сказать: comparare humanum est). И сам человек без натяжки подошел бы под психолингвистическое определение Homo comparans, человек сравнивающий. Ведь и Сын человеческий в Евангелиях «говорил притчами (поучительными сравнениями)». Сравнение язы-

ков и форм как самый точный метод языкознания не могло не произвести глубокого впечатления на человеческую мысль и прежде всего — на другие отрасли филологии, на литературоведение. Конечно, это по большей части то, что называется переносным словоупотреблением, метафорой, о склонности к которой «человека сравнивающего» и его языка никогда не следует забывать, и мы еще будем иметь случай упомянуть. В таком сравнении практически нет генетической базы, за малым исключением, каковым являются стеммы, родословные рукописных списков в текстологии. Все же остальное — скорее, сопоставительность, типология.

К сожалению, другая плодотворная идея современного теоретического сравнительного языкознания — идея внутренней реконструкции — осталась незамеченной нашими историками-литературоведами, и это тем досаднее, что литературоведение имеет дело с однотипными культурно-историческими эпизодами, а отдельные исследователи стихийно уже подошли к трактовке в духе внутренней реконструкции, если иметь при этом в виду логику внутрикультурного развития, идеологию сознательной архаизации в случае с так называемым «вторым южнославянским влиянием», толковавшимся — в духе своего названия — большей частью односторонне, за счет внешних импульсов. Дин С. Ворт (США) в заметном докладе об этом культурном феномене на Руси на IX Международном съезде славистов 1983 г. в Киеве, кажется, удачно нащупал внутрикультурные мотивы архаизации языка и письма и был веско поддержан нашей Л. П. Жуковской. Сторонники «трансплантации», в частности болгарского литературного влияния, выступили против. Надо иметь в виду, что культурная Европа того времени (2-я пол. XIV в.) знала и другие синхронные случаи «кампаний» за чистоту слова, чистоту наследия, сходные умонастроения носились в воздухе, а типологический (независимый) параллелизм при этом весьма вероятен.

Интереснейший, в духе времени, феномен представляет собой междисциплинарное взаимодействие, типологически плодотворное там, где решение задачи, не выходя за рамки одной дисциплины, затруднительно. Классический (крайний) случай такого сотрудничества лингвистики и этнографии увенчался, как известно, созданием новой дисциплины «на стыке» —этнолингвистики, ср. прежде всего труды школы покойного Н. И. Толстого. При всей краткости моего сообщения, я, со своей стороны, все же назову один пример того, как обращение к собственно этнографии, этнолингвистике помогает разорвать своеобразный circulus vitiosus, возникший в «чистой», так сказать, этимологии. Праслав. **zǫbъ*, рус. *зуб* и т. д. родственно лит. *žambas* ‘острый выступ’, *žembti* ‘разрезать’, др.-инд. *jambhate* ‘хватать, кусать’, *jambha* — ‘зуб, клык’ и др., почему обычно толкуют это значение ‘зуб’ из первоначального ‘раздробитель’. Но сами эти смежных (глагольные) значения

как бы замыкаются на ‘зуб’: *разрезать*, *хватать*, *кусать* (зубом); вот он, circulus vitiosus (заколдованный круг)! Значение ‘зуб’, как правило, вторично, уже на славянском языковом уровне обнаруживается родственная лексика, ничего общего с зубом не имеющая, ср. рус. *зябнуть*, *про-зябать*, *знобить*. Поэтому еще в молодости я предложил толкование для зуб: индоевропейское **gon-bhos* ‘выросшее, родившееся’, **gen-* ‘рождать(ся)’. Но на этом все и остановилось, пока в самые последние годы поиски не возобновились уже в этнолингвистической аргументации, при неоценимой поддержке С. М. Толстой. Народные толкования снов единогласно свидетельствуют: выпавший зуб во сне предвещает смерть, и так — у всех славян. Народная культура помнит то, что уже «забыл» язык, причем «зуб выпал» оказывается иносказанием более древнего смысла: «рожденный умер». Все остальное — вторичные напластования.

Вообще тема междисциплинарного взаимодействия очень плодотворна и заслуживала бы более неторопливого рассмотрения. Некоторые аспекты опробованы давно и систематически, как, например, привлечение данных топонимии и гидронимии в археологических исследованиях (ср. работы В. В. Седова, в том числе его доклады на съездах славистов). Интересен пример переклички биологии развития (ботаники) и этимологии, которым мы обязаны нашему выдающемуся ботанику Н. И. Вавилову, заметившему, что на Среднем Востоке название «рожь» (в иранских языках) расшифровывается как «терзающая пшеницу / ячмень». К этому мы смогли позднее добавить, что и более северное название уже аккультурированной ржи все еще несет на себе след се прошлого как более южного сорняка, ср. слав. **rъžь*, рус. *рожь*, лит. *rugiai*, нем. *Roggen* — из индоевропейского **rugh-* ‘рвать, разрывать’.

Еще один пример, курьезный, но положительный, — пример того, как лексикография моделирует беллетристику, художественную литературу. Ясно, что подобное оригинальное «междисциплинарное взаимодействие» возможно только в высококультурной стране, при национальном престиже филологии и словарного дела. Тогда нас не очень удивит, что именно в такой стране — Сербии, где успешно издается богатый и лексикографически корректный «Речник књижевног и народног српскохрватског језика», уже опередивший по ряду показателей знаменитый столетний Rječnik в Загребе, именно в Сербии, повторяю, мог появиться «Хазарски речник» (Хазарский словарь) Милорада Павича, «роман-лексикон» на 100000 слов». (Београд: Просвета, 1994. 568 s.). Я не могу входить в детали этого произведения в кафкианском жанре, но не могу и пройти мимо выраженного в нем высокого уважения к профессии составления словарей: «Поверьте, много опаснее, о господин, составлять из рассеянных слов словарь о хазарах, здесь, в этой тихой башне, чем отправиться на войну на Дунай, где уже колотят друг друга австрийцы с турками…»

И — это, пожалуй, все, что я могу себе здесь позволить, будучи вынужден резко сократить иные примеры откровенно отрицательного междисциплинарного взаимодействия, совсем в духе обобщенной классической формулировки взаимодействия, которую дал ученый-праксеолог Котарбинский в своем «Трактате о хорошей работе»: «Два субъекта взаимодействуют, если по крайней мере один из них помогает или мешает другому». Но, как говорится у Твардовского, «я не то еще сказал бы — про себя поберегу...».

«Поберегу про себя» здесь и свое особое мнение об уровнях языка, учение о которых несколько закостенело из-за авторитетного постулата изоморфизма уровней (фонетики-фонологии, словообразования, морфологии, семантики). Отмечу лишь, не без удовлетворения, что разные съезды славистов и их участники, внимательные к материи языка, помогали расшатывать старую догму. Есть цитаты, которые без особого ущерба можно опустить, но есть и высказывания, которые необходимо зачитать, что называется, сняв при этом шляпу. Вот слова нашего яркого, незабвенного исследователя В. А. Никонова на IV Международном съезде славистов: «Два методологических положения не учитываются исследователями: 1. Очаг явления видят там, где его примеры всего гуще. В действительности чаще наоборот: явление торжествует не там, где оно возникло, а лишь вырвавшись на колонизационный простор. 2. Названия сравнительны. В сплошных лесах бессмысленны названия *лес*. Названия *русский брод* и т. п. часты не в области сплошного русского заселения, а на его былых рубежах, в зоне этнической чересполосицы. Пренебрежение к этой относительной негативности влечет к горьким ошибкам...». — Какой жестокий удар по изоморфизму! И — какой триумф сравнительности!

Чтобы уж покончить здесь с этим, укажу лишь на то, чем грешат практически все периодизации истории литературных языков, построенные на прямолинейных отождествлениях типа «до монгольского ига», «после Октябрьской революции», «общественная смута» = смута в языке (?). Это, может быть, и легче, чем вскрывать эволюцию собственно языкового и литературного материала, но в основе своей все это вульгарно-социологично и с постулатом преломленного отражения и близко не имеет ничего общего. Надо больше размышлять о всевозможных тенденциях компенсационного развития, о которых на наших съездах говорилось, хотя и недостаточно.

Раз уж ход наших раздумий опять вернул нас к истории культуры и литературы, затрону еще один нарочито затуманенный вопрос — проблему Возрождения у славян, в особенности — у славян русских. Ведь, в общем, правы те, кто отрицает Возрождение на Руси, где до XVII в. доминировала религия. Несколько вымучен и тезис о «Предвозрождении». Только адриатические городские республики, потом Чехия и Польша затронуты этим. Труды славистических съездов постепенно проясняют и сущность ренессансного «гума-

низма», которую слишком сглаженно толкуют как «возврат к античности». Нет, это откровенное возрождение греховного, плотского человека. Можно представить, какой ересью это было в глазах православного христианства. Иногда нам пытаются даже нашего Максима Грека представить как «итальянского гуманиста» в бытность его в Италии, а он, по собственному признанию, сбежал оттуда, от «проповедников нечестия», на православный Восток. Наша письменность вплоть до XVIII в. не знала ни о какой «античности», а под «еллинством» понимала язычество: «...Богодухновении отцы наши... жидовство же и еллинство, и латынство, ариянство и люторство, и кальвинство обличиша» (1666 г. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 5. С. 47). «Возрождение» есть не что иное, как кризис западного христианства, кризис, перед которым православие устояло. Сторонники культурной «трансплантации» пытаются, однако, внушить нам некий комплекс неполноценности, хотя, между прочим, в западной науке довольно громко звучат трезвые суждения Риккардо Пиккио о противодействии традиций православных славян. Это и есть главная причина, почему, скажем, у нас в России ни в XVI, ни в XVII вв. не было своего Яна Кохановского, что отмечается, не без чувства превосходства, польскими литературоведами. Ян Кохановский с его культом «языческого тела» был бы у нас тогда просто не ко двору и в лучшем случае сошел бы за соблазн схизматиков. Если отнестись внимательно к сказанному выше, то одним культурологическим мифом стало бы меньше. Имеет место неточное, избыточное употребление терминов, поспешный перенос на славян, причем не только понятия «Возрождение», но и классического термина «рабство» (подробнее — в моей книге по этногенезу [1]), далее — феодализм, средневековье. Все эти упрощающие переносы происходят с ущербом для раскрытия собственной, внутренней специфики.

Излишний ригоризм порой надуманных дихотомий (язык — речь, строгость — нестрогость, etc.), слава Богу, постепенно теряет актуальность. Хочется думать, что это не упадок, а зрелость науки. И на наших съездах говорят о постепенном переходе «от закрытых структур к открытым». Эталону «открытой структуры» более всего соответствуют словарный состав, лексика, хотя бы по одному тому́, что перед ними пасовали структуралисты, эти «охотники за системностью». Теоретики вновь обращаются к словарю.

...А начиналось все очень «круто». Прокламация непримиримой дихотомии «синхрония — диахрония» не на шутку встревожила крупнейших представителей целостной науки о языке. Этой дихотомией тяготились с самого начала и структуралисты. Пражский лингвистический кружок, чьи «Тезисы»

[1] Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1991.

17. Заказ № 2419.

вышли к открытию I Международного съезда славистов 1929 г., выступил, собственно, против этой дихотомии. Правда, борьба эта оставляла непроходящий привкус эклектизма, но ценно было главное: ригористическая синхрония, этот никем никогда не достижимый «миг между прошлым и будущим», — обречена. И это получало все новые подтверждения, когда взамен прокламированной ригористичности стало оборачиваться банальной метафоричностью, приличной разве что для человеческого языка вообще, для поэзии, но не для «одно-однозначного» языка науки, вспомним хотя бы эти «синхронные срезы» (!) в два века (!). Я настаиваю на том простом наблюдении, что дихотомия «синхрония — диахрония» неслучайно «смотрится» в одном ряду с другими метафорическими преувеличениями. Говорят, что вплоть до открытия Куриловичем сохранного ларингального в хеттском взгляды раннего Соссюра о консонантном коэффициенте почти 50 лет считались «чистой ересью». Кто знает, не сочтут ли наши потомки великой ересью нашего XX в. эту обременительную дихотомию синхронии — диахронии?...

Филология и в ней — сравнительность останутся навсегда.

СЛАВИСТИКА НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА

В конце августа — начале сентября 1998 г. в Кракове (Польша) прошел XII Международный съезд славистов, последний в XX в. [1]. Он собрал славистов из 41 страны. В делегации России был 101 человек, количественно она уступала только делегации страны-организатора. В общей сложности на нынешний съезд съехались свыше 1200 человек. Собравшимся предстояло выслушать около 900 докладов, не говоря о многочисленных выступлениях в так называемых тематических блоках.

Год 1998 был особым для Польши и истории ее культуры, это был год Мицкевича, со времени рождения которого исполнилось 200 лет. Эта выдающаяся дата наложила отпечаток на краковский конгресс, можно сказать, начиная с его открытия: на первом пленарном заседании самым первым докладом был прочитанный польским профессором Ю. Маслянкой: «Славянские литературы в парижских лекциях Адама Мицкевича». За ним шли еще три пленарных доклада принципиального характера, поскольку они во многом предваряли тематику и секционных докладов, и дебатов съезда в целом: О. Н. Трубачев (Россия) «Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду»; X. Андерсен (США) «Диалектная дифференциация общеславянского языка»; С. Грачотти (Италия) «Две Славии: проблемы терминологии и проблемы идей».

Проведение конгресса было сопряжено для Польши с рядом трудностей, вплоть до стихийных бедствий: годом раньше страна пережила гигантское наводнение, равного которому не было, говорят, последнюю тысячу лет. Только на фоне этих и неизбежных других трудностей преимущественно экономического характера можно попытаться оценить сложность задач, сто-

[1] Очередной, XIII Международный съезд славистов решено провести в 2003 г. в Любляне, Словения.

явших перед польскими организаторами. Теперь, когда трудности преодолены и сам конгресс уже позади, можно по достоинству оценить понимание, проявленное в Польше абсолютно всеми, кто имел отношение к этому важному мероприятию, начиная, разумеется, с председателя Международного комитета славистов проф. Я. Сятковского (Варшава), председателя Оргкомитета по проведению XII Международного съезда славистов проф. Л. Суханека и заместителя председателя Оргкомитета проф. Е. Русека (оба — Краков) и кончая властями предержащими, включая сюда также довольно многочисленных, как выяснилось, спонсоров конгресса. Результатом был завидно высокий уровень конгресса. Достаточно сказать, что он проводился под патронатом главы государства — президента Польской Республики Александра Квасьневского, который не ограничился, как это бывает, письменным приветствием, но прибыл лично и выступил на открытии 27 августа. Президент сказал, между прочим, следующие важные, на наш взгляд, слова: «Я уверен, что славянский фактор вскоре внесет в нашу старую Европу новую динамику, что он укрепит ее идентичность и поможет окончить исторические споры». В адрес съезда поступило также апостольское благословение Папы Римского Иоанна Павла II.

Если сказать в двух словах о составе участников съезда, то среди них были и ветераны, к которым можно отнести участников всех послевоенных съездов начиная с московского, 1958 г., и молодежь, в том числе немало новичков, для которых участие в XII Международного съезда славистов представило международный дебют.

Одно из стойких впечатлений от съезда — необъятность нашей науки или наук, эта silva scientiarum, если использовать образ silva rerum «лес вещей», вынесенный из посещения музея Ягеллонского университета в Кракове. Поскольку вся эта добрая тысяча докладов и сообщений со своими темами, проблемами и материалами могла быть о другом, ясно, что затронутой оказалась лишь малая часть огромного знания. Впрочем, и к этой малой части удалось прикоснуться лишь в незначительной степени. Охватить и усвоить все произнесенное на съезде, его 21 тематическом блоке, его 20 с лишним комиссиях не смог бы никто. До известной степени выручает испытанный источник — литература, в данном случае — литература съезда, сборники докладов делегаций, довольно большое количество отдельных оттисков, получаемых в кулуарах съезда и на заседаниях.

В секциях языкознания (секций фольклористики, литературоведения и культурологии я не касаюсь) тематику съезда составляли следующие проблемы:

1. Этногенез славян. Палеославистика. Прародина славян. Славянская этимология. Праславянский язык и его диалекты. Славянские древности в свете этнолингвистики.

2. Языковые контакты. Славянско-славянские контакты. Славянско-неславянские контакты (baltica, germano-slavica, hungaro-slavica, balcanica...). Современные языковые контакты на территории славянства.

3. Конфронтативные исследования и типология языков. Конфронтация двух и более славянских языков. Славянско-неславянская конфронтация. Методология типологических исследований (Фонетика и фонология. Морфология. Словообразование. Синтаксис. Семантика. Грамматическая система. Лексические системы. Лексикология, фразеология, лексикография).

4. Ареальные исследования славянских языков. Нынешнее состояние славянских диалектов. Ономастика. Состояние сохранности славянских диалектов. Язык славян за пределами славянского ареала. Язык национальных меньшинств. Смешанные и переходные диалекты. Социальные диалекты (жаргон, сленг, арго). Ономастика.

5. Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое развитие). Новейшие языковые изменения в славянстве. Современные социально-политические изменения и язык (социолингвистические проблемы). Интернационализация и терминологизация современных национальных языков. История литературных славянских языков.

6. Значение славянского языкового материала для теории языка. Новейшие направления в языкознании: генеративная грамматика, когнитивная лингвистика, лингвистика текста. Традиция и инновации в славянском языкознании и их значение для языковых теорий. Интердисциплинарные исследования: языкознание и информатика, математика, теория коммуникации, психология, социология и т. д.

Среди тематических блоков лингвистического характера можно особо отметить следующие:

Библия в культуре славян. История славистики. Грамматика национального мифа. Компьютерная обработка средневековых славянских рукописей и ранних печатных книг. Диахроническая фонология и диалектология. Восточнославянская фонетика и эволюция редуцированных. Грамматика и значение во времени. Историко-этимологическое изучение славянских фразеологических систем. Язык и национальное меньшинство. Праславянская ономастика. Проблемы глагольной префиксации в славянских языках. Проблемы типологии и конфронтативного изучения в грамматическом описании славянских языков. Русский язык в постсоветский период. Семантика славянского вида. Славянская этимологическая лексикография сегодня. Изменения в современных славянских языках (1945—1995).

Временной, хронологический диапазон исследований, представленных на съезде, был огромен. Исследователей интересовало все — от так называемых «массмедиа» наших дней до индоевропейских диалектов тысячи лет назад. Огромный съезд помогал высвечивать и большие, и малые проблемы. И, пожалуй, самую большую долю в это внесла российская делегация XII Международного съезда славистов. Как и раньше, наши словари — исторические, этимологические, диалектные, общеязыковые, экспериментальные — и на этот раз остаются в центре внимания мировой славистической

общественности. Большой интерес вызвал целый ряд докладов некоторых наших известных ученых, за каждым из которых стоит собственное научное направление: Г. А. Золотова «Новая русская грамматика: идеи и результаты»; А. В. Бондарко «Идеи Р. О. Якобсона и проблемы грамматической семантики»; Е. А. Земская (в соавторстве) «Активные процессы в словообразовании современных славянских языков (на материале русского и польского языков)».

Особого упоминания заслуживает доклад А. А. Зализняка «Проблемы изучения берестяных грамот». Одобрение вызывает то, что автор к настоящему времени разумно редуцировал первоначальные прямые ассоциации древненовгородских архаических особенностей с западнославянскими. В целом же предложенный самобытный языковой (фонетический, лексический) материал был снабжен добротной научной интерпретацией, и если детали этой интерпретации не всегда кажутся окончательными, то это вполне естественно для научного диалога.

Съезд дал сгусток информации, порой ускоряющей осмысление того, что не так обращает на себя внимание в повседневном разрозненном информационном потоке. Наша задача — попытаться осмыслить то, что как бы высветил съезд.

В последнее время отмечается явное смещение интереса исследователей с формальной структуры языка на его содержательные стороны (план содержания) и «внешние» (этнокультурные, историкокультурные социокультурные и т. п.) функции языка. В связи с этим стоит обратить внимание на то, какие темы «косяком» пошли на нынешнем съезде: Б. Вигерс (Голландия) «О моделировании детской картины мира в русской повествовательной литературе»; Е. Бартминьски (Польша), И. Сандомирская (Швеция), В. Н. Телия (Россия) «Родина в польской и русской языковой картине мира»; Ж. Ж. Варбот (Россия) «Славянские представления о скорости в свете этимологии (к реконструкции славянской картины мира)»; А. Ф. Журавлев (Россия) «К реконструкции древнеславянского мировидения (о категориях “доли” и “меры” в их языковом и культурном выражении)».

Не будет преувеличением сказать, что эта тенденция вполне проявилась на минувшем съезде, причем выступающие возвращаются мысленно к началу 1980-х гг., когда «большинство ученых стало поддерживать определение языка как когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникации», по словам Е. С. Кубряковой, которая относит это явление к новым парадигмам в лингвистике и, в свою очередь, говорит о формировании языковой картины мира. Ну, что тут можно сказать ввиду этих правильных в общем рассуждений? Можно, конечно, попытаться поправить хронологию — не начало 1980-х, а раньше. Но дело также не в этом. Исторически неглубокий дескриптивизм оказался в ситуации, о которой лучше всего сказано в Библии: «Бывает

нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1, 10). И вновь вспоминается метафора из работы одного русского лингвиста, живущего и работающего в Чехии, «языкознание — это наука возвратов». Один из таких крупных возвратов, не вполне осознанных нами именно как возврат, мы имеем перед собой в наблюдаемом триумфе семантики в форме когнитивизма, этой в целом полезной концепции языковой картины мира, собственно, — плата за долгие годы формализма.

Сравнительно-историческое языкознание никогда не отворачивалось от семантики, от содержательной стороны, от внешнего мира и культуры человека. Нынешний бурный поворот всех к этим аспектам да еще оснащенный новой терминологией, — феномен понятный, но заслуживающий трезвой оценки. В конце концов, наш А. С. Будилович больше века назад в своих панорамных исследованиях быта славян «по данным лексикальным», О. Шрадер с фундаментальными исследованиями индоевропейских реалий, В. Хен в богатейшей книге о культурных растениях и домашних животных через призму языка да и многие другие помышляли уже давно и, надо сказать, на бо́льшую глубину в принципе о том же[2]. Но убедительнее, думаю, будет пример с нашим современником, к тому же — участником нашего съезда: 80-летний краковский профессор Францишек Славский, бодрый и неутомимый на всех заседаниях, выступил с докладом «Пятьдесят лет над этимологией». Начав исследовательскую работу в 1937 г., ученый неизменно преследовал цель реконструкции мотивации и первичного значения, а сейчас он сообщил нам, что подумывает над этимологической обработкой лексики праславянской культуры. За стенами его кабинета воцарялся структурализм и формализм, полнозначное значение изгонялось и вновь возвращалось с триумфом, но этот человек, сохранивший удивительно здравый смысл, не менял ориентации.

Коснувшись работ по славянской этимологии на съезде, я могу с удовлетворением констатировать, что на секции «Этногенез славян. Палеославистика. Прародина славян. Славянская этимология. Праславянский язык и его диалекты. Славянские древности в свете этнолингвистики» преобладала деловая оживленность, дискуссии, хоть и вынужденно краткие, как и везде на съезде, были конкретными и насыщенными. Специфика всех перечисленных специальностей, отраженных в работе секции, — в том все они — от археологической этногенезологии до молодой еще этнолингвистики — оперируют этимологией, в немалой степени базируются на ней, на этимологии нарица-

[2] A propos, поскольку речь идет постоянно о концептах, уместно вспомнить, что на съезде ставился вопрос о потребности в новом словаре славянской лингвистической терминологии (Г. А. Золотова).

тельных и собственных имен. Второе обстоятельство, которое хотелось бы выделить, — это то, что мы и наши коллеги разных возрастов пришли на съезд не с пустыми руками: вышел в свет 24-й выпуск нашего «Этимологического словаря славянских языков (Праславянский лексический фонд)» (под ред. О. Н. Трубачева. — М., 1997), если иметь в виду нас, «ветеранов»; вышел пробный выпуск нового этимологического словаря сербского языка, если говорить об этимологической молодежи (Етимолошки одсек Института за српски језик САНУ. Огледна свеска. Београд, 1998). Неслучайно председательствовавший на заседании тематического блока по современному состоянию этимологической лексикографии Ф. Славский назвал в качестве итогов выход этих двух томов. Вообще можно отметить и то, что этимологическая лексикография на предыдущих съездах славистов так широко не обсуждалась. Итогов, разумеется, было больше — и по этимологической лексикографии, и по собственно этимологическому исследованию, включая более широкие лексикологические и лингвогеографические подходы. Традиционным вниманием пользовались работы по тематическим группам лексики. Кроме доклада Л. В. Куркиной «К реконструкции древних форм земледелия у славян» и упомянутого уже доклада Ж. Ж. Варбот, сюда относятся доклады И. Янышковой (Чехия) «Этимологическо-ономасиологический анализ славянских названий деревьев», А. П. Непокупного (Украина) «Славянская терминология возвышенного рельефа в индоевропейском аспекте», Е. Русека (Польша) «Названия профессий в старославянских памятниках».

Тематический блок «Славянская этимологическая лексикография сегодня» принес нам разнообразную новую информацию. Из докладов М. Белетич, А. Ломы и коллег (Белград) и Т. Тодорова (Болгария) мы поняли, какие обширные пласты заимствованной и другой местной балканской лексики предстоит обработать в новом белградском словаре и в продолжающемся уже три десятилетия софийском (и то и другое — на обширном славянском фоне). Весьма импонирующие успехи и опыт современной трактовки этимологизируемого лексического материала на обширном лингвогеографическом славянском фоне продемонстрировали белорусские исследователи, работающие не только над продолжением известного «Этимологического словаря белорусского языка» (вышло 8 томов), но и над новым компактным однотомником: коллективный доклад сделали М. Абрагимович, Г. Цыхун, И. Лучиц-Федорец и др. («Межславянские изолексы в белорусских этимологических словарях»).

В качестве признака неисчерпанных потенций этимологии хочется указать на функционирование на съезде особого тематического блока «Историко-этимологическое изучение славянских фразеологических систем». В блоке участвовали ряд докладчиков и дискутантов, из них выделим доклад А. Ив-

ченко (Украина) «На пути к фразеологическому этимону: этимологический анализ славянской фразеологии». На близкую тему был доклад Р. Эккерта (Германия) «Что дают балтийские языки для исторической фразеологии славянских языков?». Любопытно отметить (и это прозвучало в дискуссии), что в неменьшей степени и балтийская фразеология как бы проясняется порой через наличие кучных славянских свидетельств.

Какие бы возмущения в магнитном поле языкознания вообще, а славистики — в частности ни происходили, наш компас никогда не выходил из строя, магистральное направление оставалось прежним, а исследовательский интерес к праславянской проблематике оставался заглавным. Как уже сказано выше, праславянский комплекс и на этом съезде открывал программу. На мой взгляд, «праславянские» доклады на съезде не содержали откровений, впрочем, весьма вероятно, что они на них и не претендовали. Пафос докладчика порой не выходил за рамки сдержанного, хотя и запоздалого, ропота по поводу разрыва между праславянской моделью и «живым» языком, откуда якобы проблематичность «всех» реконструкций (К. Штайнке (Германия) «Праславянский язык: фикция и / или реальность?»). Достаточно часто применялась схема привычного, но, согласимся, упрощенного отождествления членения праславянского ареала или грамматического строя с засвидетельствованным племенным членением (Э. Айхлер (Германия) «Самая западная периферия славянской языковой общности»), с засвидетельствованным грамматическим строем (М. Л. Ремнева (Россия) «О грамматических характеристиках праславянских диалектов на поздних этапах развития»). Однако апеллирование к оговоркам старых классиков («на поздних этапах развития»), а тем паче — это удивительная вера во вторичную и даже позднюю (?) диалектизацию праславянского языкового пространства, кажется, мало продвигают дело. Откровенно кабинетным упражнением отдает представленная в одном докладе очень условная концепция праславянского языкового пространства, где все диалекты одинаково переходные (отличаются только одной чертой) (Г. Хольцер (Австрия) «Об общеславянском диалектном континууме»).

При желании можно говорить о некотором кризисе в изучении праславянского, хотя наличие кризиса ограничивается, очевидно, лишь все еще сильными младограмматическими традициями. Нельзя отрицать вместе с тем, что гораздо большую перспективность и объяснительную силу обретают при этом другие направления, преследующие цель всемерного насыщения праславянской модели лексическим материалом, широким фронтом ведущие праславянскую лексическую реконструкцию, постулирующие изначальность диалектного членения и тем самым — статус праславянского как живого языка. Работы над «Этимологическим словарем славянских языков» в Москве и над «Праславянским словарем» в Кракове приобретают при этом ре-

шающую роль. Нельзя сказать, чтобы это направление с его широкими выходами в праславянско-индоевропейские изоглоссы (изолексы) прозвучало на съезде адекватно, скорее всего — нет. И все же один съездовский доклад весьма напомнил нам наш постулат (да и базирующуюся на нем всю практику составления нашего «Этимологического словаря славянских языков», хотя докладчик explicite решил ограничиться дополнениями и поправками к краковскому словарю) — об автономности праславянских состояний отдельных славянских языков / диалектов: Л. Кралик (Словакия) «Из исследования праславянского лексического фонда в словацком языке».

К проблематике праславянского логично примыкала проблема прародины славян и ономастика в своей праславянской части. Нельзя сказать, чтобы и тут мы услышали много нового, может быть, по той причине, что на съезде были представлены имена и концепции, уже раньше хорошо известные научной общественности. Секция «Этногенез славян» начиналась пленарным докладом В. В. Мартынова (Белоруссия) «Прародина славян. Лингвистическая верификация». Автору нельзя отказать в последовательности, с которой он вот уже более 30 лет отстаивает локализацию славянской прародины в бассейнах Одера и Вислы. Новым на этот раз было его стремление, опираясь на факты предполагаемых славянских заимствований в древнеанглийском языке, привязать время и место древнейших германо-славянских контактов к основанию Ютландского полуострова, не позднее V в. н. э. (ибо, как известно, уже в V в. англы и саксы переселились на Британские острова). Как и прежде, остается невыясненным вопрос о южных границах воображаемого висло-одерского ареала праславянства. Автору этих заметок, исповедующему дунайскую теорию прародины славян, запомнилось оживление в зале после прозвучавшего в ходе дискуссии вопроса-реплики одного из участников, почему докладчик считает, что заимствования от славян к древним германцам состоялись именно тогда и там, тогда как известно, что в более древнее время германцы сидели значительно южнее, на Юге нынешней Германии, и могли воспринимать славянские влияния со Среднего Дуная.

О прародине славян говорили еще специально в один из последующих дней съезда, говорили весьма традиционно и причем — каждый свое: Ф. Славский (Польша) «Прародина славян»: гипотетические воззрения, связанные с суждениями Я. Розвадовского и З. Голомба, — где-то «на север от Черного моря», и В. Маньчак (тоже — Польша) «О прародине славян»: последовательная защита висло-одерской концепции на основе подсчетов лексической близости текстов на языках, при полном игнорировании ареальной лингвистики и ономастики. Вопросов больше, чем ответов…

В связи с праславянской проблематикой упомянем ряд наиболее заметных съездовских докладов: К. Рымут (Польша) «Праславянская ономастика».

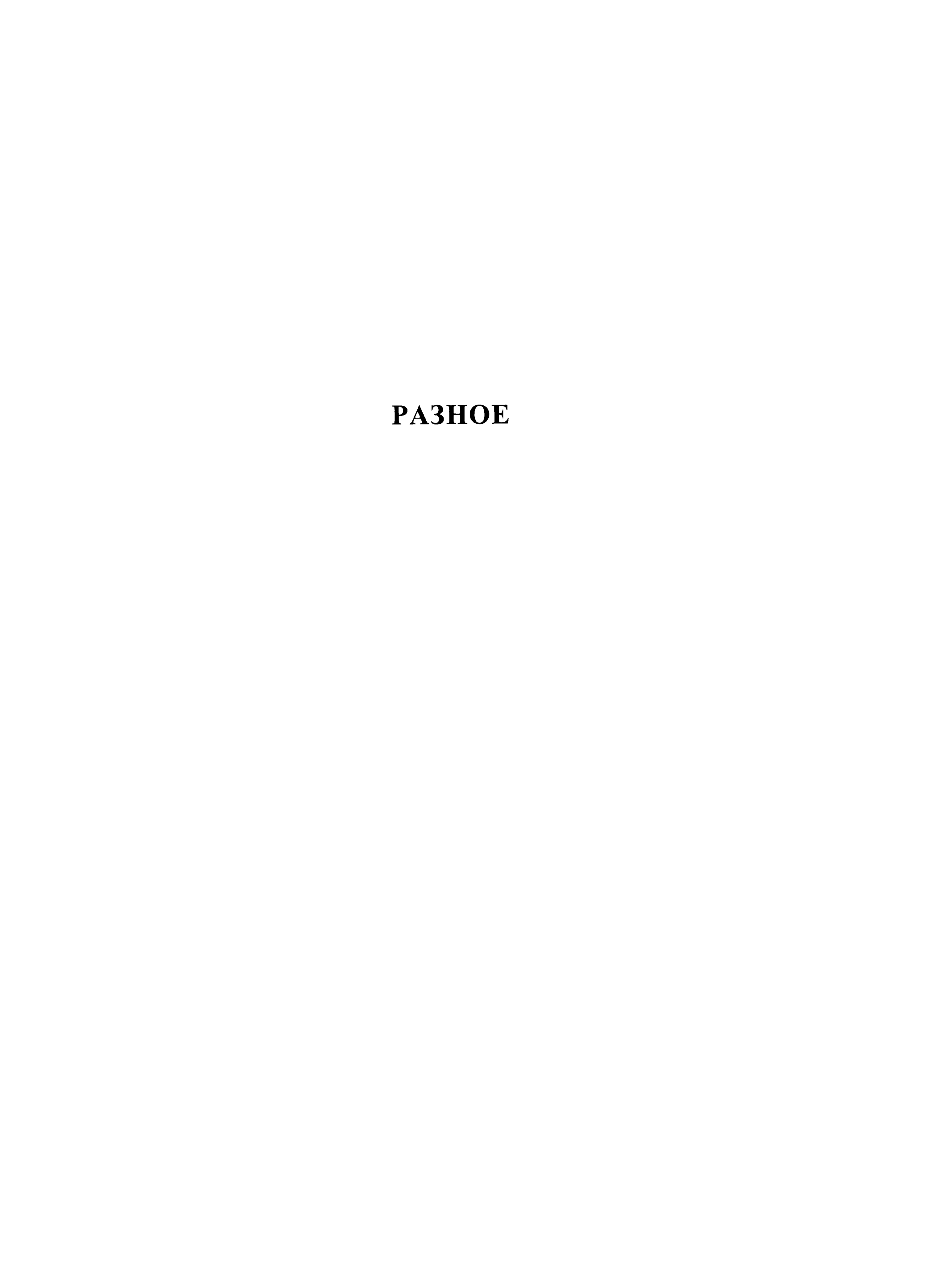
Автор в широкой степени учитывает трактовку праславянских двуосновных личных собственных имен как цельных образований, а не только их корней. Ю. Удольф (Германия) в обширнейшем докладе «Древнеевропейская гидронимия и праславянские водные названия» от своего предыдущего представления территориально ограниченной прародины славян постепенно перешел к концепции весьма обширного гидронимического ареала «между Припятью, Карпатами, Днепром и Нижней Вислой». Вообще на съезде была очень достойно представлена заслуженная польская ономастика.

Остановлюсь особо на привлекшем большое внимание участников богатом материале, проблемно насыщенном и наглядно объединяющем древнее наследие и современное состояние народной культуры в области антропонимии — докладе С. М. Толстой и покойного Н. И. Толстого «Имя в контексте народной культуры». В оживленной дискуссии было высказано замечание, что, при всей универсальности номинации (вспомним еще гомеровское: «Между людьми не бывает никто безыменным». Одиссея), все же проскальзывает одно заметное исключение — феномен «безымянность как имя», когда нарочитая безымянность закрепляется за отверженцем общества, преступником как его знак (См.: *О. Н. Трубачев*. Библейские статьи из Русской энциклопедии: Варавва // Palaeoslavica. 1997. V. Boston; Massachusetts. P. 327 и след.).

После широких филологических, а также, главным образом, сравнительно-исторических, этимологических и смежных с ними наблюдений по работе XII Международного съезда славистов попробуем остановиться на одном из ярких выступлений специалистов по современному языкознанию. Я имею в виду упоминавшийся выше коллективный доклад Е. А. Земской, О. П. Ермаковой (Россия), З. Рудник-Карват (Польша). Речь идет о новых процессах интернационализации, активизации соответствующих формантов и моделей, в целом — об исключительно новых тенденциях, например в духе все того же роста аналитизма и черт агглютинативности. Приводятся кое-какие примеры, вроде препонируемых английских *шоп-*, *топ-*, *шоу-*, *брейк-*, но их могло быть гораздо больше, причем из числа, казалось бы, самых возмутительных и вместе с тем внедряемых через СМИ ежедневно, ежечасно: вспомним англоподобные *ленор-белье*, *памперс-ребенок* из телереклам, да и тот же *Горбачев-фонд*. Они и им подобные производят впечатление совершенно чужеродных, неадаптированных слепков с английского, ср. там вполне регулярные сложения *body-building*, *shoptour* и др. По нашей печати их гуляет уже довольно много, ср., например, *арт-рынок*, *кэш-память*. Конечно, здоровое движение души и хороший языковой вкус подсказывают нам без колебаний осудить эту макаронистику. А дальше следует самое курьезное: именно сравнительно-сопоставительный фон и более или менее широкая языковая компетенция, на

которые мы готовы опереться в своем справедливом пуризме, остужают наше рвение, предоставляя свидетельства совершенно аналогичных образований с достаточно раннего времени практически у всех славян на уровне народной речи, вспомним в первую очередь такой агглютинат, как *белозер-палтус-рыба* из знаменитой старинной русской «Повести о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове». Вполне поучительны аналогичные примеры из истории других славянских языков и культур.

Так прошел XII Международный съезд славистов, свой обзор которого мы всячески стремились не превратить в перегруженный всеми фактами и именами отчет. Что предпочтительнее — другой вопрос, но нам показалось важнее выделить главные впечатления и остановиться на основных уроках съезда.



РАЗНОЕ

РАБОТЫ В. И. АБАЕВА В ОБЛАСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ И ЭТИМОЛОГИИ

Свои первые исследования по этимологии Василий Иванович Абаев написал и опубликовал очень давно, когда автора настоящей статьи еще не было на свете. Одно это обстоятельство способно вызвать у нас чувство благоговейного уважения. Оценивая эту замечательную научную деятельность, отметим ту ее особенность, что в ней практически не виден период ученичества. Одна из первых этимологий Абаева — «Осетинские этнические термины *iron*, *allon*» (Яфетический сборник V, 1927) — это также и одна из лучших его статей, она не только вводит в гущу проблем иранистики, но и определяет дальнейшее направление дискуссии, а главное — раз и навсегда решает этимологию реликтового этнонима *allon* — из др.-иран. **Varyā-na-*.

Интересы Абаева-этимолога всегда отличались широтой: в поле зрения исследователя — весь грамматический строй языка, все элементы образования слов. Но бесспорное предпочтение он все же отдает полнозначной лексике, демонстрируя нам свое умение восстанавливать стертое значение слов и стоящие за ними фрагменты древней культуры. Думаю, что это лучшие в нашей литературе, классические образцы полифункциональной этимологии, когда восстанавливается происхождение слов, а в них — история народа, его быта. Здесь следует назвать прежде всего две старые статьи Василия Ивановича, которые как бы перекликаются своими темами, словами и реалиями — о названиях веселящих напитков, которыми подкреплялись древние Нарты: «Значение и происхождение слова *æluton*» и «Значение и происхождение слова *rong*» (обе статьи — в известном сборнике «Осетинский язык и фольклор» М.;Л, 1949). Осет. *æluton* толкуется как древнее название необыкновенно питательного пива, этимологически производное от герм. **alut* 'пиво',

слово в принципе североевропейское, как и известная реалия, им обозначаемая. Четкая этимология на фольклорно-этнографическом фоне — одна из тех, которые потом лягут в основу скифо-европейских изоглосс Абаева. В отличие от алутона, божественный хмельной напиток ронг имеет этимологию, уходящую в исконную иранскую древность — **frāna-ka-* 'духовитое, спиртное (питье)'.

Чтение этих этюдов доставляет высокое наслаждение, сложные этимологические задачи решаются в них автором на базе всесторонних знаний закономерностей языка и народного быта, показаний лингвистической географии, фактов контактирующих языков. Убедительная аргументация, изящный стиль, все вместе согрето личными интонациями и даже семейными воспоминаниями, придавая научному повествованию особенную неповторимость. Такие вещи надо рекомендовать для чтения и изучения. Художественность исполнения как бы заставляет на какой-то момент забыть, что перед нами строго доказанные научные истины, основанные на принципах и критериях. Раз мы упомянули слово «принципы», ясно, что разговор принял нешуточный оборот тем более, если речь пойдет о принципах этимологического исследования. Ох, уж эти «принципы этимологических исследований»! Помню, в свое время некоторым коллегам доставляло удовольствие пугать меня «принципами этимологических исследований» и настаивать на том, чтобы я сперва детально разработал эти принципы, а уж потом можно будет этимологизировать, сколько душе угодно. Помню, что ощущал внутреннее сопротивление и что было немножко стыдно за это. (Считаю уместным о ней сказать, так как причину таких терзаний понял не сразу; думаю, что некоторые коллеги до сих пор не поняли этого вполне.) Я не очень верю в особые принципы этимологического исследования. В этимологии полностью применимы принципы и законы сравнительно-исторического языкознания и лингвистической типологии. А некоторые исследователи продолжают поиски точных рекомендаций: «Если данный этимон, будучи очевидным в принципе, обнаруживает фонетические затруднения, исследователь должен искать более "экономное" решение...» — Почему «экономное» значит лучшее? А, может быть, как раз показательная «неэкономная» сложность, скрывает, например, пережиточный архаизм, перекрестную изоглоссу? Далее цитирую того же зарубежного коллегу: «Если данный этимон, будучи очевидным в принципе, расходится с правилами словообразования, исследователь должен искать более экономное решение...». — Ну, что сказать по этому поводу, если для этимологии вскрытие иных, непродуктивных, даже «неправильных» способов словообразования как раз и есть правило. — «Если этимон требует допущения непривычного семантического развития, исследователь должен вновь проверить фонетический и морфологический аспекты толкования...» — И эти сло-

ва не могут не вызвать возражения: этимология сплошь и рядом вскрывает неожиданные для нас истоки значений, в этом ее высший смысл.

Очевидно, некоторые авторы в своем усердии путают принципы этимологического исследования с детально разработанной инструкцией, как делать хорошие этимологии, где на каждый случай есть особый пункт... А принципы — это не параграфы инструкции, они должны быть простыми, как у В. И. Абаева в статье «О принципах этимологического словаря» (Вопросы языкознания, 1952, № 5) *: этимология есть часть исторической лексикологии, основным принципом этимологического исследования и сравнительно-исторического метода является принцип системы, критерии — фонетический, морфологический, семантический, необходимо изучать вклад отдельных диалектов, языковая действительность сложна, звуковые законы должны учитываться, но слепая вера в них неуместна; важно знание реалий, знание истории. Кратко? Да, кратко, но верно, хотя и немножко разочаровывает поклонников элегантных теорий. Следуя примеру В. И. Абаева, назовем столь же кратко принципы этимологического словаря, которые, как известно, он разработал и продвинул далеко вперед на материале осетинского языка, создав впервые историко-этимологический словарь, труд, почти не нуждающийся в популяризации. Этот известный всем «Историко-этимологический словарь осетинского языка», уже близкий к завершению (начиная с 1958 г. вышло три тома), подчинен простой и великой задаче — дать младописьменному языку с древней родословной не только этимологию, но и историю как для его исконно иранского наследия, так и для субстратных и заимствованных элементов лексики на фоне всех доступных внелингвистических данных истории, этнографии и культуры. Реконструкция здесь органически объединена с разнообразной документацией, освещены оба новоосетинских диалекта, вообще осуществлен смелый и искусный опыт комбинации двуязычного, филологического (документированного), историко-этимологического и реального, т. е., мы бы сказали, энциклопедического принципа в одном труде.

Упоминавшаяся статья «О принципах этимологического словаря» вышла еще до того, как был отдан в печать 1-й том «Историко-этимологического словаря осетинского языка». В том далеком 1952 г., говоря об этимологической работе в Советском Союзе, В. И. Абаев был вынужден признать, что «в области составления этимологических словарей наше языкознание сильно

* Полезно отметить недавний выход нового, переработанного самим автором варианта этой статьи в издании Австрийской академии: *V. I. Abaev.* Die Prinzipien des etymologischen Wörterbuchs // Veröffentlichungen der Kommission für Linguistik und Kommunikationstorschung. Anhang I, Heft II. Wien, 1980: Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse. Sitzungsberichte. Bd. 368.

отстает. Из языков Советского Союза только армянский имеет полный этимологический словарь, составленный советским ученым Р. Арчаряном (на армянском языке)» (указ. статья, с. 69). С того времени произошли изменения, и масштабы их велики и отрадны. Завершается издание словаря Абаева, которому мы обязаны и примером инициативы, и множеством идей; выходит этимологический словарь тюркских языков (отдельно вышел чувашский этимологический словарь и планируется новый этимологический словарь этого языка), есть уже этимологические словари картвельских, адыгских языков, этимологический словарь коми языка, начато печатание марийского этимологического словаря, ожидается выпуск этимологического словаря мордовских языков, даже всеохватный ностратический словарь на этимологической основе вышел в нашей стране. Многое сделано по славянским языкам, имея в виду и первый опыт праязыковой этимологической лексикографии, и наши хорошие ожидания в области украинского и белорусского языков. Состояние русской этимологической лексикографии известно, и я не буду на нем останавливаться. Эти фундаментальные сдвиги в науке не могут не радовать Василия Ивановича, как и всех нас; они показывают, что все эти долгие десятилетия он шел верным путем; что его добрые начинания подхвачены и умножены.

Основным исследовательским инструментом, главной формой труда Абаева была и остается этимология слова. Здесь средоточие его новаторства, генерирование идей и осуществление открытий в науке. Как и во всем у Абаева, новое выглядит доступным, понятным, притом облечено в изящную, точную языковую форму, а не завуалировано в замысловатые одежды, только отвлекающие внимание. Простота принципов не грозит упрощением, напротив, это лучшее средство перейти не мешкая, к сути дела, вскрыть сложность там, где ее не видели. Отметим здесь учение Абаева о том, что не существует «чистых» диалектов, что в этимологии надо считаться с наличием перекрестных связей и изоглосс. Сравним его статью «О перекрестных изоглоссах» (Этимология. 196». М., 1968) и более раннюю — «Древнеперсидские элементы в осетинском языке» (в кн.: Иранские языки. I 1945.). Эти идеи обретают актуальность в новых праязыковых и этногенетических поисках науки, когда оказывается недостаточным мыслить только макрокатегориями — исконное и заимствованное — и становится очевидной необходимость сложной концепции самой исконной основы в виду вероятия того факта, что реальная величина праязыковой эпохи — это не язык-монолит и не макродиалект, а локальный родоплеменной диалект. Говоря словами Василия Ивановича: «Не естественнее ли думать, что “чисто мидийское” состояние— такая же фикция, как “чисто персидское”, и что на территории Мидии никогда не было единого и монолитного мидийского языка, а было, как и сейчас, множество

диалектов и говоров с перекрещивающимися изоглоссами?» (О перекрестных изоглоссах, с. 251).

Отметим, далее, то место, которое в работах Абаева о происхождении слов занимает семантическая типология, например, в статье «Как русское *уклад* 'сталь' помогло выяснить этимологию осетинского *ændon* 'сталь'» (Этимологические исследования по русскому языку, I. М., 1960).

Для Абаева-этимолога характерно стремление выйти в мир реалий, этот гриммовский обертон, выйти на просторы этнической истории: «от истории языка к языку истории» (Язык и история// Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968). Именно Абаеву принадлежит последовательная историко-лингвистическая концепция глоттогенеза и этногенеза осетин как сплава иранской языковой основы и кавказского субстрата, развернутая на научной сессии по проблеме этногенеза осетин 1966 г. и еще раньше — в работах знаменитого сборника «Осетинский язык и фольклор». Не будет преувеличением, если мы признаем, что, благодаря этимологическим трудам Абаева, этногенез осетин изучен сейчас у нас лучше, чем этногенез ряда других народов. Этот горный народ Кавказа ведет свое начало с причерноморских равнин, от скифов, сарматов и аланов. Сама логика науки привела Абаева к занятию скифским языком, вслед за такими предшественниками, как Мюлленгоф, Миллер, Фасмер. Работая здесь почти исключительно с эпиграфической антропонимией, Василий Иванович проявил себя как первоклассный этимолог-ономаст. Так возник «Словарь скифских основ». Зенитом скифской темы Абаева можно считать такой ее аспект, как «скифы и лингвистическая Европа». Здесь ученым сказано особенно много нового. Современная методика изоглосс позволила многократно увязать иранцев-скифов с европейскими славянами, балтами, германцами и италиками. Книга 1965 г. «Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада» открывается убедительной этимологией осет. *mal* 'глубокая стоячая вода' из и.-е. **mori*, известного названия моря у большинства индоевропейцев Европы, чуждого всем прочим иранцам. О европейской этимологии осет. *æluton* 'пиво' мы уже упоминали; она нашла свое место в длинном ряду европеизмов осетинского. К этимологическим скифо-европейским изоглоссам примыкает сделанное Абаевым в 1964 г. открытие субстратной скифской природы аспирации *g* > γ, *h* на части славянской языковой территории. К скифо-европейским изоглоссам принадлежит, может быть, одна из самых ярких этимологий Абаева — «Происхождение латинского *Vulcanus*», причем лат. *Vulcanus* получает объяснение как производное от чисто латинского **vulcus*, **volcus* 'волк', вытесненного другой известной формой. Полное соответствие имени римского бога-кузнеца Абаев обнаруживает в осетинском *Wærgon, Kurd-Alæ-Wærgon*, также обозначавшем божественного кузнеца и тоже производном от утрачен-

ного осет. **wærg* 'волк'. Здесь затронуты важнейшие Проблемы этимологии и мифологии двух индоевропейских народов. Неудивительна поэтому возникшая затем дискуссия о связи двух слов, в которой некоторые сомневались, как, например, Э. Бенвенист и В. Майд, другие пытались примирить сомнения, как И. Кноблох, но никому не удалось серьезно поколебать эту абаевскую этимологию.

Таким образом, тематика этимологий Абаева чрезвычайно широка, она выходит за рамки собственно осетинского и иранских языков. Славянская и русская этимология постоянно получают ряд новых решений в его трудах (серия «Из историй слов» и другие статьи). Достаточно вспомнить, сколь фундаментален его «Опыт этимологии славянского **мѣдь**» (1957 г.), хотя спор о происхождении этого, по-видимому, относительно позднего, только славянского слова этим не кончился. От внимания Абаева не ускользают порой совершенно редкие и малоизвестные диалектизмы русского словаря. Нужно обладать большим даром этимологических комбинаций и редкой остротой зрения, чтобы в рус. диал. (новг.) *да́вись* 'одногодок' увидеть полученное через коми-пермяцкое посредство (с переходом *l* > *v*) осет. *dalys* / *dalis* 'годовалый барашек'. Мы читаем это в «Историко-этимологическом словаре осетинского языка». Вообще словарь этот давно по праву стал книгой для чтения всех интересующихся этимологией.

Нас, естественно, интересует сама методика работы Василия Ивановича над своими этимологиями. Конечно, это тонкий и трудный вопрос, и в своем кратком слове мы невольно ограничимся отдельными наблюдениями. Но и они могут быть полезны, поскольку в тех случаях, когда В. И. Абаев неоднократно возвращается к объяснению одних и тех же слов, работу автора довольно удобно наблюдать и видеть достигаемое при этом совершенствование. Один такой пример — осет. *kosart* / *kusart* 'заколотое для трапезы животное', которое Абаев первоначально объяснял целиком из древнееврейского *kašer*, *košer* 'ритуально дозволенная пища' в условиях аланско-хазарских контактов, но позднее модифицировал свою точку зрения под влиянием убедительной исконно иранской реконструкции **kau-šavra* от *kauš* — 'резать' у Бенвениста. Другой пример — прекрасная этимология *allon* < *aryāna-*, которую мы уже упомянули в самом начале. Она убедительна как в 1927 году, так и в нынешнем 1980-м, но в варианте 1927 г. имелся маленький дополнительный штрих: автор отнес сюда же северокавказский гидроним Ἀλόντα(ς) 'Терек' у Птолемея, в котором тоже находили имя аланов и аффикс множественности *-ta*. Однако в «Историко-этимологическом словаре осетинского языка» (т. 1) s. v. *allon* название Ἀλόντας уже опущено, и с этим нельзя не согласиться: в птолемеевское время (не позднее II в. н. э.) вряд ли уже совершился переход *an* > *on*, да и аффикс множественности *-ta* маловероятен в гид-

рониме. В результате устранения всего лишнего статья об *allon* стала компактнее и лучше.

Это, разумеется, детали, хотя мелочей, как известно, не существует, именно из таких деталей складываются этимологии aere perennius. И все же более важным нам всегда кажется более общее. Умением видеть и извлекать общее из частного Абаев как этимолог отличается в выдающейся степени. Вот почему, говоря о его конкретных этимологиях конкретных слов, так легко переходишь вслед за автором к суждениям из области происхождения языка и народа.

И последнее: сильная натура человека и ученого дает о себе знать в главном — в верности теме. Абаев-этимолог был и остается исследователем реликтов скифского языка. Ученый не устает думать о составе словаря скифских основ. В результате из этого словаря удаляется личное имя собственное Στανακος как не получившее подтверждения (см.: Историко-этимологический словарь, т. III, с. 146, сноска). И в самое последнее время ученый выступил в печати с новой гипотезой об отражении в геродотовской записи Γεωργοι скифского **gau-varga-*, т. е. не ‘земледельцы’, а ‘скотоводы’. Пожелаем же маститому 80-летнему юбиляру, чтобы никогда не кончался этот его скифский поход.

КНИГА В МОЕЙ ЖИЗНИ

Олег Николаевич Трубачев — известный славист, член-корреспондент Академии наук СССР, член-корреспондент Югославянской Академии в Загребе, член Советского комитета славистов — автор уникального этимологического словаря, снискавшего широкую известность. В его «Этимологическом словаре славянских языков» реконструируется праславянский лексический фонд. Автор свободно пользуется при реконструкции всеми 15 славянскими языками в их современном и древнем виде.

О. Н. Трубачев рассказывает о той роли, которую играют книги в становлении современного ученого, как бы отвечая на все вопросы «Анкеты».

Пришло время, и эти вопросы задали также мне. Какой-то свой ответ на них в той или иной форме готов, наверное, у каждого из нас, коль скоро все мы учились по книгам, да и сейчас большую часть новой информации черпаем из книг, хотя иные горячие головы уже толкуют о новых формах и источниках информации в будущем.

«Книга в моей жизни?» — это, конечно, вопрос, обращенный к нашему детству, отрочеству и юности, а не только к зрелому возрасту, и я рад отметить, что мое детство в этом смысле (да и в других отношениях) сложилось счастливо. Я вырос в семье, где любили книгу. Это было в 1930-е гг., в довоенном Сталинграде. Отец, молодой тогда врач, собирал библиотеку из русской и мировой художественной классики. Возможности для этого были небольшие, условия жизни — скромные, ничего похожего на нынешний «взрыв» библиофилии и библиомании, разумеется, не было, любители и ценители книг знали друг друга подчас наперечет, также как и букинистов и переплетчиков. Отец, например, сам мог переплести книгу. Он ездил в магазины, брал иногда с собой и меня, и книги постепенно занимали свои места в большом стеклянном шкафу. Их, я думаю, никогда не было очень много, возможно, не больше тысячи, но они систематически и умело подбирались.

Та довоенная наша библиотека погибла в Сталинграде осенью 1942 г., поэтому не все, находившееся в ней, успело найти путь к мальчишескому сердцу. И все-таки я сумел много взять от этой библиотеки. В ней были русские и советские издания — их выпускали ЗИФ («Земля и фабрика»), КОГИЗ и, конечно, «Academia», — а также многотомные собрания сочинений авторов, которые никогда и нигде потом мне в таком количестве не встречались, например, английского автора приключенческой литературы капитана Мариетта.

Надо ли говорить, с каким увлечением я поглощал тогда эти «морские приключения», к тому же хорошо иллюстрированные. Именно благодаря его роману «Корабль-призрак» я еще тогда приобщился к распространенному сюжету мировой литературы и культуры — легенде о Летучем голландце. И сейчас еще, когда, бывает, машинально прочтешь и расшифруешь литеры FD (Flying Dutchman — Летучий голландец) на парусах яхт соответствующего класса, где-то краем сознания проплывет это леденящее, мрачноватое повествование капитана Мариетта.

Вообще приключенческой классики было у нас много: в том числе, разумеется, Ф. Купер, Жюль Верн, тоже ЗИФовский, очень комплектный (так его потом у нас никогда не переиздавали) и сопровожденный большим количеством отличных иллюстраций французских художников. Смешно сказать, но когда мне — уже для каких-то нынешних научных изысканий — понадобился малоизвестный роман Жюля Верна «Упрямец Керабан», то его нашли в Москве только по межбиблиотечному абонементу, в Библиотеке им. В. И. Ленина, и только… в издании ЗИФ. Так что мне передали как бы привет из детства.

Начал я свои книжные воспоминания с «приключений» и «путешествий», потому что ничего так не любил, как их. В моем детском сознании эти два дорогих для меня слова даже слились и как бы синонимизировались. В жизни это получило свое преломление. Путешественником и моряком я не стал (хотя о последнем определенно мечтал), но манящая экзотика закладывала основу будущих интересов, питала фантазию и через нее — интуицию. С детства полюбил географию, а, по словам моего старого близкого коллеги, которого теперь уже нет в живых, если ребенок проявил интерес к географии, значит, полюбит филологию. Так я, видимо, пришел в филологию, а в этимологии, в которой профессионально работаю, без фантазии и интуиции нечего делать (впрочем, это, кажется, можно сказать и о многих других науках).

До серьезной русской классики в те далекие годы я еще не дорос, но, конечно, успел полюбить сказки — и «Сказки» Пушкина, и трехтомник Афанасьева, и многие другие. Надо сказать, что в 1930-е гг. у нас умели изумительно издавать книги, в том числе и этого рода. Как прекрасны, например, были «Сказки» Перро с дивными иллюстрациями (до сих пор помню обложку и гравюры).

В то время очень активно издавались наши национальные эпосы, и я читал с интересом и армянского «Давида Сасунского», и калмыцкого «Джангара». А тогдашний юбилей Руставели! Он породил чудесное иллюстрированное издание поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Но фантастика, так называемая научная, меня трогала мало, с недоверием читал имевшегося у нас Уэллса и «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого.

С признательностью храню память о милой дешевенькой серии «Книга за книгой». Именно благодаря ей запали в душу и «Роланд-оруженосец» Жуковского, и «Тёма и Жучка» Гарина-Михайловского, и «Стойкий оловянный солдатик» Андерсена, и множество другого хорошего. «Книга за книгой» имела, судя по всему, широкую издательскую программу. Она предоставила возможность прикоснуться к творчеству нидерландского писателя Мультатули — прочитать книжечку «Саиджи и Адинда».

Вспоминаю, как ввиду моего неестественно тихого поведения меня находили обычно склонившимся над книгой, особенно если это была «книжка с картинками». Незаметно для себя я учился быть усидчивым, а усидчивость — добродетель не последняя для того, кто создает словари, что я и делаю сейчас, работая над многотомным «Этимологическим словарем славянских языков», первым в нашей стране (ранее мною подготовлен — переведен и дополнен — четырехтомный «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера). Тогда же я на практике, не сознавая этого, постигал великую истину, что книга — vehiculum informationis, что можно посетить Африку и побывать в Древнем Риме (помню, меня потряс «Спартак» Джованьоли), не покидая комнаты. Это тоже воспитывало навыки будущего кабинетного ученого. Хорошее изучение литературы — верный и наиболее экономный способ изучения предмета.

Я забыл сказать, что в доме у нас царила аккуратность, отчего у меня выработалась стойкая неприязнь ко всякому «живописному беспорядку», «рабочему беспорядку» на письменном столе; я не верю, что за этим всегда стоит творчество и богатство мыслей. К книгам это имело самое прямое отношение: они не пачкались, не мялись, не загибались, не клались куда попало. Это был культ книги (причем необязательно старой и редкой, об этом — далее). Поэтому книгу и не давали кому угодно. Это была семейная библиотека (сейчас охотно популяризируют опыт семейных библиотек, превращаемых в районные, поселковые, словом, — публичные, тут, конечно, возможны разные мнения). На меня, на отца производили тягостное впечатление случаи потребительского, небрежного отношения к книгам.

Воспоминания уходят в то прошлое, когда притягательный стеклянный шкаф был аккуратно закрыт, из-за стекла манили толстые корешки книг. Какие же это были книги? Среди них — «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, как

известно, виртуозно переведенный на русский язык и хорошо изданный, с иллюстрациями непревзойденного Гюстава Доре. Я себе просто не представляю этого писателя иллюстрированным кем-нибудь другим.

Так и запомнились автор и художник в своей неразрывной конгениальности. Возрожденческая жизнь бьет ключом на этих картинках.

За стеклянной дверцей шкафа стояли книги, знакомство с которыми тогда было и останется навсегда для меня прекраснейшим переживанием моей жизни: «Жизнь Робинзона Крузо» Дефо и «Путешествия Гулливера» Свифта. Это замечательные издания «Academia» с иллюстрациями Гранвиля. Прекрасный художник-иллюстратор объединил обоих писателей, не питавших при жизни друг к другу добрых чувств (особенно Свифт), как мне стало известно много позже. Не все иллюстрации Гранвиля, как и Доре, подходили для детских глаз, особенно в книге язвительного Свифта, но мастерство художников покоряло детскую душу, и я полюбил эту жизнь и эту природу, принялся рисовать пальмы, корабли, оружие, предметы и — как мог — людей.

До сих пор мне зрительно памятен тщательный гравюрный штрих Гранвиля, кафтаны с обшлагами, башмаки с пряжками. С натуры я никогда рисовать не учился, но гранвилевские рисунки срисовывал с таким тщанием и упорством, что взрослые обратили на это внимание, хвалили, показывали друг другу. Я считаю невозможным издавать «Робинзона Крузо» и «Гулливера» с какими-то иными иллюстрациями, это только погубит достигнутое единство образов. Если добавить, что я тогда подолгу играл в Робинзона Крузо, лежа с ружьем в засаде среди нарисованных и вырезанных из бумаги пальм, то станет понятным, что содержание книг стало содержанием и моей жизни. Величие трудов и терзаний Робинзона Крузо детская душа почувствовала раньше, чем ум научился понимать.

Ученый Свифт был интересен мне и позже, как этимологу, своим остроумным выдумыванием для великанов имен на кельтской (ирландской) основе, а также пародийными рассуждениями насчет споров об этимологии названия летающего острова Лапута (позже я прочел это и по-английски).

Из того же стеклянного шкафа извлекался, к моей радости, двухтомный «Дон Кихот» Сервантеса издания «Academia», иллюстрированный уже упоминавшимся Доре. Был в хорошем довоенном издании и Шекспир, если говорить о современниках Сервантеса. К слову сказать, Сервантес и Доре тоже образовывали неповторимое классическое единство. Так получилось, что я, не прочитав еще «Дон Кихота» по-испански, читал его, кроме русского, еще и (частями) в польском и литовском переводах, и всякий раз это были книги, иллюстрированные Доре. Мне непонятны поэтому попытки иных художников заменить Доре в новых изданиях «Дон Кихота». Это невозможно.

Прекрасное сопереживание возникает у нас, когда мы знакомим с этими сокровищами своих детей. Так было, например, при чтении сыну детского издания «Робинзона Крузо». Тогда вновь я почувствовал эту подлинную поэму труда и добрых помыслов (когда сам маленький, то многого не видишь за пальмами и дикарями). В одну из прогулок с сыном мы купили в магазине «Букинист» на Ленинском проспекте «Робинзона Крузо» издания «Academia» 1932 г., несколько потрепанного, помню, за 3 рубля. Лет 20 назад это еще было возможно. А сейчас, говорят, тех изданий «Academia» не найти, а полная коллекция книг «Academia» — это редчайшая вещь!

До сих пор речь шла в основном о семейной библиотеке, о книгах в стеклянном шкафу. Но я читал тогда, разумеется, не только свои, но и книги городской библиотеки. Одной из них, если не ошибаюсь, была крупноформатная книга «Черногорские сказки и легенды». Они затронули меня тоже очень глубоко. Новые сюжеты, имена, новые слова (из этой книги мне, видимо, впервые врезалось в память слово пучина — о море). До войны были прочитаны и близкие мне по духу и содержанию «Песни западных славян» Пушкина. Пушкинские строчки сами укладывались в детской памяти, эпический их тон очаровывал, а незнакомые прежде слова и имена только разжигали интерес: два могучих бея побранились; Стамати был стар и бессилен, а Елена молода и прекрасна... Разумеется, на всю жизнь и наверняка еще с тех лет запомнился страшный пушкинский вурдалак — слово и образ. Я много думал, уже став филологом, о слове вурдалак, даже пытался его (ошибочно) этимологизировать в начале своей ученой карьеры. Конечный, отстоявшийся итог этих размышлений о вурдалаке нашел отражение в подготовленном мною словаре Фасмера. Но сейчас речь о другом — пожалуй, о зачатках интереса к славянству, которые заронили эти хорошие книги. Дело в том, что перед самой войной мне встретились в детском журнале и запомнились эпические стихи черногорского поэта Радуле Стийенского. Я хранил о них теплое воспоминание долго и бережно.

На этом впору и кончить воспоминания о книгах моего детства и перейти к книгам отрочества и юности.

С годами число книг в поле моего зрения, естественно, росло, хотя события жизни не благоприятствовали спокойному чтению. Шла Отечественная война, и семья переезжала на новые места жительства. Чтение в то время не могло не быть случайным. В доме приютившего нас дяди, врача-хирурга, в Горьком были прочитаны в 1942—1943 гг. и запомнились «Илиада» Гомера в переводе Гнедича (очень хорошее дореволюционное иллюстрированное издание). В одном толстом журнале тех военных лет попалось описание Грюнвальдской битвы в отрывке из «Крестоносцев» Г. Сенкевича, и это чтение стало событием для меня, предварившим позднейшее прочтение в ори-

гинале практически всех крупных романов этого необыкновенного польского писателя.

Тяжелая война воспитывала и славянское чувство, отнюдь не в ущерб библиофильскому интернационализму. Замечу, что моим первым иностранным языком был немецкий. А мое серьезное изучение языков началось на Украине, куда мы переехали после ее освобождения нашими войсками. Тогда мне было 14 лет. До этого — в 12 лет — прочел «Войну и мир» Толстого, так сказать, в первом приближении, чтобы вернуться к нему потом, когда мог читать там на французском письма и длинные пассажи.

Украинский город Днепропетровск поразил обилием осевшей в букинистических магазинах трофейной литературы на иностранных языках. Занималась новая мирная жизнь, а с ней крепли и ширились новые интересы. Меня и раньше влекло ко всему написанному не по-русски. Латинские буквы я пытался употреблять сам, для передачи русских слов, это была моя детская игра. Написанное на иностранных языках диковинными сочетаниями букв слово привлекало и было непонятным, вызывая стремление его «узнать». Так обретало форму мое путешествие в незнаемое. Узнавать в новом обличье уже знакомое — увлекательное занятие. Так были прочитаны вновь, но уже на немецком, с удивлением и захватывающим интересом, помогавшим одолевать трудности, знакомые немецкие сказки. Тот монументальный немецкий «Märchenbuch», преодоленный в 15-летнем возрасте, запомнился на всю жизнь.

Чудесное узнавание старых знакомых — сказок и сказочников — одухотворяло тонким романтизмом все это сугубо самостоятельное занятие, включая заучивание слов, и требовало большой усидчивости, буквально «прикипания к стулу». Немецким словарным составом я овладел действительно основательно, и это пригодилось позже.

В 1945—1946 гг. мне приходилось читать, порой без системы, весьма трудные, даже труднейшие книги. Всякий хороший педагог пришел бы от этого в ужас, но я после «Книги сказок» (неадаптированной, правда) начал «Фауста» Гете... Конечно, прочитать к 16 годам в оригинале полного «Фауста» значило понять в нем едва ли одну четверть. Но затем я перечитывал его вновь и вновь; в конце концов, прочитал немецкий текст четыре раза.

Возможности перечитывать Гете были — он перебывал у нас в нескольких немецких изданиях. Сначала — 15-томное собрание его художественных сочинений, затем — роскошное, в нескольких больших томах, абсолютной сохранности, иллюстрированное лучшими немецкими художниками, издание поэта, вышедшее к 50-летию со дня смерти — в 1882 г. в Штутгарте.

В 1947—1948 гг. удалось приобрести полные собрания сочинений Шиллера и Гейне в превосходных немецких изданиях большого формата. Я про-

чел их целиком. Особенно (т. е. больше, чем Гете) я любил как поэта прямодушного и романтичного Шиллера. В этом издании он открылся мне не только как автор баллад, поэм и драм, но и как историк («История Тридцатилетней войны», «История отпадения Нидерландов от испанского правительства»). Надо ли говорить, какая это была школа в изучении немецкого языка, в познании Германии, в эстетическом воспитании.

О том, что Шиллер — поэт юности, уже сказано другими. Гейне я любил как-то меньше, чем Гете и Шиллера. Тем не менее пища для ума и сердца имелась первоклассная. Посещая букинистические магазины и приобретая редкие книги по очень недорогой тогда цене, мы с отцом вскоре собрали неплохую библиотеку европейских классиков — в оригинале.

Больше всего было немецкой литературы — несколько сот томов Гете, Гейне, Шиллера, Виланда, Лессинга, Клейста, Кернера, Шамиссо и ряд других; собрания сочинений философов — Гегеля и Шопенгауэра; книги по всемирной истории, искусству; был даже четырехтомник Фрица Ройтера. Большую часть собранной немецкой классики я прочел тогда же — на свежую, молодую голову. Был еще на немецком языке, т. е. в переводе, образцово изданный Генрик Ибсен в 20-ти томах. Я много читал Ибсена именно в этом издании. Мы собрали оригинальные издания французской литературы (Расин, Мольер, Лафонтен; «Жиль Блаз» Лесажа, «История крестовых походов», «История французской литературы» Г. Лансона), и я, надо сказать, успел тогда же, в студенческие годы, много одолеть из этого; было немало английской (хотелось бы особенно отметить оксфордский 12-томник Шекспира).

Как видно из рассказанного, мое вхождение в филологию продолжало осуществляться с помощью книг, особенно благодаря проявившейся склонности к языкам. Кончая среднюю школу, я уже свободно читал по-немецки, по-польски и регулярно занимался чтением на французском и английском языках. Приобретенный тогда скромный чешско-русский словарь под редакцией П. Г. Богатырева 1947 г. — «памятник» начавшемуся интересу к чешскому языку; приобрел я и учебник болгарского языка С. Б. Бернштейна 1948 г. Старый польско-русский словарь издания 1931 г., купленный году в 1946-м, служил мне очень исправно, но рано перестал удовлетворять, а потому поля его страниц были покрыты моими тогдашними «дополнениями». Это по большей части толкования редких слов и географических названий, встреченных в прочитанных студентом романах Сенкевича на польском языке.

Охотно приобретались тогда отдельные книги на итальянском языке. В связи с этим приходилось обращаться к учебникам итальянского и испанского языков (правда, серьезно углубиться в них я не успел). Даже был приобретен учебник японского языка в двух частях Холодовича, но тоже без особого результата: Восток меня мало привлекал.

Пережив потерю первой нашей библиотеки в Сталинграде, отец с новым жаром, поддерживаемым уже моими интересами, принялся собирать вторую семейную библиотеку. Она и на этот раз количественно не была большой, но подобрана была неплохо и имела ряд ценных изданий. В те годы необычайно широко развернулась издательская деятельность. По подписке можно было приобрести за короткое время несколько десятков собраний сочинений лучших русских и зарубежных писателей.

Хочется добрым словом упомянуть деятельность нашего Издательства иностранной литературы в те годы, выпустившего в оригиналах много классики. Купер, Байрон, Диккенс, Золя и другие в советских изданиях тоже активно покупались и читались мной тогда. Книгу «Жерминаль» Золя по-французски, помню, я прихватил с собой даже в летнюю уборочную пору в колхоз, будучи студентом. И как символ книжных интересов тех лет вспоминается диковинная книжка, изданная в дореволюционной России и выуженная нами из букинистических развалов (почему-то она была в обложке тома свода законов Российской империи), — сказка «Мать» Андерсена на 26 языках. Эта печальная мудрая сказка, которую прочел в некоторых переводах, послужила воспитательным средством против юношеской гордыни.

Ни одна библиотека, как бы велика она ни была, не может удовлетворить вполне своего читателя или собирателя. Я имею в виду и тех своих знакомых московских ученых, которые ухитряются в двухкомнатной квартире держать библиотеку в 5 тысяч томов, а в трехкомнатной — даже 30 тысяч томов! Не может удовлетворить одна библиотека, даже государственная, научного работника, исследователя, как не удовлетворяют, я уверен, своих владельцев названные мной для примера две частные библиотеки, но задавить и выжить человека из собственного жилья они могут вполне. О себе скажу, что я слишком хорошо понимаю, как много нужно книг на самом деле, а потому давно приучил себя обходиться библиотечным и межбиблиотечным абонементом. Словом, «почитание книжное» (по Ярославу Мудрому) и книжное собирательство — вещи все-таки разные, хотя я не хотел бы обязательно бросить тень на последнее. Создание хороших библиотек — по-своему прекрасное дело, но в нем есть риск, даже если это не снобизм. Если разобраться, создание библиотеки — это большое самостоятельное дело, оно поглощает и сковывает силы, требует времени, места. Как это ни парадоксально, создание даже целенаправленных научных библиотек отвлекает от занятий наукой, такие примеры тоже известны. Так что приходится выбирать.

Последние 10 лет я совсем не приобретаю художественную литературу, а научную приобретаю с большим выбором, единицами, а библиотека растет, полок не хватает! Дело в том, что я состою в научном обмене с немалым кругом лиц и получаю от них, а также от тех, с кем даже и не состою в таком об-

мене, еженедельно, если не ежедневно, довольно много новинок. Дарственные экземпляры составляют к настоящему моменту уже значительную часть моей библиотеки. Этот научный книжный обмен с коллегами очень ценен и оперативен, книги, которые я получаю таким путем, не сразу появляются в московских библиотеках.

Так я незаметно перешел на разговор о научной библиотеке. Я выбрал (не вчера) свой путь, а с ним и свой тип личной библиотеки. Но главное, что при этом надо иметь в виду, — это то, что, помимо личных словарей, справочников и прочей подсобной научной литературы, у меня, у каждого из нас, работников науки, есть в обороте то, что можно назвать библиотекой читаемой литературы, или, точнее, литературы абонируемой, которая лишь временно занимает мой стол и книжные полки, хотя в моей жизни, в моих исканиях играет важную роль.

Библиотечные книги дарили мне радость и в раннем детстве, я уже говорил об этом. В студенческие годы я, конечно, более систематично обращался в библиотеку (главным образом, университета, факультета). Замечу только, что это не было преобладающим источником моего чтения и учения. Основная масса русской классики, необходимой для студента-филолога, у меня имелась дома. Помню, что я стремился прочесть как можно больше произведений западноевропейской литературы в оригинале и прибегал при этом нередко к помощи университетской библиотеки, читая Мопассана, Барбюса, Роллана, Гауптмана и других, если их не было дома. Стремление студента-русиста читать изучаемую литературу по возможности в оригинале, может быть, и отдавало, как сейчас сказали бы, «пижонством», но в нем присутствовали и интерес к книге, и требовательность к себе.

Москва, годы аспирантуры, дальнейший научный путь вдали от родительского дома многое переменили в привычном образе жизни. Публичная библиотека, библиотека института стали надолго основными поставщиками книжных знаний, даже впоследствии, когда я предпочитал работу над книгами в своем кабинете. Конечно, радужные представления молодого человека о богатстве столичных библиотек сменились зрелыми суждениями научного работника, познавшего и разочарования. Главный источник огорчения — некомплектность периодических или многотомных изданий. Именно нужного тебе тома нет — им кто-то раз и навсегда «поинтересовался». Это всегда очень досадно.

Бывают, наверное, в нашей жизни какие-то «заколдованные» по своей недоступности нужные книги. Так у меня было с Плинием. Я никакими судьбами не мог получить через московские библиотеки книги IV—VI его «Естественной истории». Для курьеза отмечу, что и в ряде европейских университетов, когда я отыскивал Плиния на полках филологических и исторических

семинаров, книги IV—VI всякий раз отсутствовали. Что же, я понимаю тех, кто меня опередил: эти книги, наверное, самые интересные во всей плиниевской энциклопедии древних знаний. Я рад, что мне, наконец, удалось прочесть в них то, мимо чего многие проходили. Но, чтобы сделать это как следует, пришлось добыть своего Плиния, специально списавшись с зарубежными коллегами (по счастью, «Естественная история» как раз вновь переиздавалась). «Свой» латинский Плиний и «свой» греческий Геродот в лучших изданиях смотрят на меня с полок (к прочтению и пониманию последнего я тоже приложил свою исследовательскую руку). Они — мои спутники и добрые помощники в путешествии в незнаемое, когда я ищу следы древнего неописанного языка и этноса в античном Северном Причерноморье.

Я лексикограф, составляю и издаю, как уже было сказано, особые книги — словари. Предрасположение к этому обозначилось, думаю, рано, еще в школе. Под влиянием своих упорных занятий немецким языком я вознамерился делать свой немецко-русский словарь, который, как мне казалось, должен был отличаться от существующих, даже составил (в тетрадке) большой начальный кусок этого словаря. Разумеются, это была компиляция из других знакомых словарей, но с посильными моими дополнениями из прочитанного.

У человека, который не только читает книги, написанные другими, но и сам их пишет, отношение к книгам особое. Книга, с одной стороны, для меня — лелеемый, оберегаемый предмет (усвоенное с детства «не загибать углов, не пачкать...»), с другой стороны — это орудие моего повседневного труда. Натренированный глаз, читая, выхватывает ошибки автора или издателей, рука привычно держит карандаш, делая на полях легкие пометы, необходимые для заострения внимания, особенно при повторном чтении и использовании книги для работы. Пометы различные — от лаконичных птичек-галочек и нотабене до порой довольно подробных примечаний, которые потом входят частями текста в мои работы. Такие дополнения-приписки есть и на полях книг, вышедших из-под моего пера. Иногда это реакция досады в свой адрес — своевременно не сообразил описать, объяснить так, как сейчас представляется совершенно очевидным. Простейший пример. В моем русском переводном издании «Этимологического словаря русского языка» Фасмера оставлено необъясненным слово в следующей словарной статье: «*Катетка* — небольшой головной платок, астрах. Темное слово». Абсолютно ясно (теперь), что это не что иное, как диалектный вариант слова *кокетка* (как это раньше не догадался? Случаи смешения мягких *к* и *т* обычны в русских народных говорах. Еще с детства и тоже с Нижней Волги мне знакомо слово *пашкет,* местное видоизменение литературного *паштет*). Так и останется эта карандашная приписка в моем личном Фасмере, а это, если хотите, маленькая, но этимология, истолкование ранее не объясненного слова. Одно

дело — бесспорная заповедь не портить книг, а другое дело — грамотные карандашные пометы на полях автора, исследователя, владельца книги.

О моей работе над переводом словаря Фасмера хочется рассказать особо.

Как известно, «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера был выпущен издательством «Карл Винтер» в Гейдельберге в 1950—1958 гг., т. е. четверть века тому назад. Этимологические словари имеют свою судьбу, они стареют, как люди, которые их пишут, они тоже не бессмертны. Их благополучие и продолжительность жизни зависят от того, как с ними обращаются и хорошо ли их «питают», — я имею в виду издания и дополнения. При этом, естественно, ни одно новое издание, ни одно дополнение не вправе считаться совершенным и полным, наиболее естественный ход вещей — это когда за хорошим следует лучшее (не будем сейчас говорить о возможности обратного). Прежде чем рассказать о своем опыте, я хотел бы отметить, касаясь собственного перевода и дополнений к словарю Фасмера, что полностью отдаю себе отчет в тех или иных недостатках или неровностях этой работы. Сейчас, наверное, я сделал бы кое-что иначе, объяснил бы еще некоторые случаи, оставшиеся тогда неясными, но многое я и сегодня оставил бы как есть, и это, конечно, приносит удовлетворение от сознания правильности выбора или решения.

Инициатива издания русского Фасмера в стране русского языка находит свое начало если не в предложениях московского съезда славистов (IV Международный съезд славистов 1958 г.), то, во всяком случае, в том прекрасном духе этого съезда и последующего за ним времени. 72-летний профессор западноберлинского университета Макс Фасмер прибыл в Москву (уже во второй раз после войны, первый раз был в 1956 г. в связи с Международным комитетом славистов), принял участие в конгрессе, был глубоко потрясен теплым приемом. У нас все еще помнят его трогательную речь в актовом зале Московского университета.

Короче говоря, вскоре возникла идея русского перевода его словаря. Издательство иностранной литературы предложило мне заняться переводом, в январе 1959 г. был заключен договор, и я принялся с воодушевлением за дело. В апреле 1961 г. работа была окончена, и рукопись в 3200 машинописных страниц, примерно 160 авторских листов (оригинальный текст плюс этимологические и литературные поправки и дополнения переводчика), была передана редакции языкознания издательства. Те два года были для меня, молодого кандидата филологических наук, отличной школой.

Определенная подготовка для такой работы у меня была. Несколько лет уже были посвящены этимологическим исследованиям; близкое знакомство с только что опубликованным этимологическим словарем Фасмера позволило мне выступить с докладом об этом словаре на специальном заседании в Ака-

демии наук СССР в 1959 г. (см.: Вопросы языкознания. 1960, № 3). Своевременность выхода словаря Фасмера в свет, высокий научный уровень труда, богатый словник (диалектная лексика, включение украинских и белорусских слов, серия статей по ономастике, особенно украсивших этот словарь, богатая библиография, трезвый этимологический анализ, непредвзятость) — таков был тогдашний вывод.

С окончанием перевода словаря Фасмера трудности не кончились. Скорее, наоборот. Перевод мог бы выйти из печати значительно раньше, на самом же деле публикация длилась 9 лет (1964—1973). Дело оказалось новым и не совсем обычным, издательские планы, как всегда, были перегружены, русский Фасмер нуждался в специальной печати, требовалась академическая типография.

От издательства «Карл Винтер» пришел запрос (переданный мне устно профессором Гертой Хютль-Ворт), действительно ли мы планируем у себя русское издание словаря Фасмера — в Федеративной Республике Германии намеревались предпринять второе издание. Первое немецкое издание Фасмера насчитывало 2000 экземпляров, если не ошибаюсь. Наше русское было в десять раз больше. К сожалению, сам Фасмер не дожил до его выхода. Но еще перед смертью, в 1962 г., он узнал о намерении издать его словарь на русском языке. Несколько озабоченный этим, он написал академику В. В. Виноградову, тогдашнему академику-секретарю Отделения литературы и языка АН СССР. Как только я узнал о его опасениях, послал ему образец своего перевода с примерными дополнениями в квадратных скобках.

Но вернусь к своей домашней библиотеке. В моем обиходе нет и никогда не было книг рукописных, старопечатных, редчайших. Согласен с тем, что их поиски — это тоже род путешествия в незнаемое, со своими колумбами и со своими прекрасными открытиями. Я работаю и ищу в другом измерении — во времени, когда еще не было книг, не было письма — даже у греков или у еще более древних цивилизаций. Может быть, поэтому у меня спокойное отношение к старым книгам: в сравнении с праславянскими и праиндоевропейскими древностями все это — новая литература. Углубление в реконструируемые тысячелетия наделяет иным видением кардинальных проблем. Взять хотя бы проблему литературного языка: в представлении специалистов по письменной истории литературный язык — это обязательно язык письменной литературы. При этом недооценивают тот факт, что литература — это прежде всего не письменность, «буквенность» (таково в самом деле начальное значение латинского litteratura), а словесность, которая всякий раз начинается как устная словесность, что главнейшая особенность ее возникновения и употребления — наддиалектность. Гомеровские поэмы — это уже литература, литературный язык, только со временем обретшие письмен-

18. Заказ № 2419.

ную форму. Такое понимание исторического места книг и книжности приходит не сразу, и к нему более восприимчивы исследователи дописьменных эпох. Русисты и специалисты близкого профиля, как я заметил, не расположены к такому пониманию, оно их шокирует...

Таким образом, редкие книги я созерцал только в музеях и в чужих собраниях. Впрочем, не только в музеях. Помню, увидел прижизненное издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, причем увидел при потрясающих, можно сказать, обстоятельствах — в руках одной студентки, моей сокурсницы, известной среди нас своим отставанием и неуспеваемостью. Студентка глядела в небрежно раскрытую книгу, сидя в университетском клубе, и ответила на мой изумленный вопрос (я понял, что передо мной — запрещенный уникум конца XVIII в.), что книга из университетской библиотеки. Жалею, что не поинтересовался последующей судьбой этой книги...

На этом месте я хотел бы и расстаться с внимательным читателем, выразив убеждение, что книголюбие, как и все на свете, кроме общих представлений и стандартных правил, облекается у каждого из нас в индивидуальную форму, обретает своеобразие и отличия, и эти последние, думается, представляют наиболее живой интерес.

Мигель де Унамуно

Грамматика пейзажа,
в которой, не дыша,
с травой и с тенью кряжа
спрягается душа!
Не чудо, а наука.
Лишь тем, кто в это вник,
понятен с полузвука,
природа, твой язык.

Перевод с испанского С. Гончаренко

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЛИНГВИСТИКА

В СССР впервые создается «Этимологический словарь славянских языков»

Издательство «Наука» публикует словарь отдельными выпусками. В ходе работы над ним изучается происхождение громадного количества слов из всех славянских языков. Руководитель этого научного предприятия член-корреспондент АН СССР О. Н. Трубачев посвятил ряд своих работ значению данных языков для познания ранней истории славян и вклада древнего славянства в европейскую и мировую культуру. Публикуем его статью.

История славян накрепко связана с Европой. Это одна из реальностей жизни и сознания русских, украинцев, белорусов, болгар, сербов, хорватов, словенцев, македонцев, поляков, чехов, словаков и серболужичан ГДР — всех славянских народов. В Европе их предки более одиннадцати веков тому назад приобщились к великой греко-римской культуре. Но в этой же самой Европе они жили значительно раньше. Возможность проникнуть в древнейшие судьбы славянства остро занимает науку и, относясь к изучению прошлого, стоит в ряду горячих проблем современности. И это понятно: наше прошлое — в нас сегодняшних.

Разгаданное наукой замечательное свойство языка — изменяясь, оставаться самим собой — помогает раздвинуть рамки познаваемой истории. Роль свидетельств языка неоценима и в области изучения прошлого славян. Здесь живучи еще традиционные, подчас косные воззрения и наоборот — порой поспешно объявляется отжившим то, что заслуживало бы спокойного изучения. Здесь одни и те же вопросы по-разному решаются в славянских странах и в странах германо-романского Запада. Здесь углубляются свои линии идейной борьбы и в новом обличье — вольно или невольно — возрожда-

ются старые идеи. Ходячие истины как две капли воды «похожи» на правду и тоже «путешествуют без виз».

Начать с того, что при всем прогрессе современной науки ей далеко не во всем удалось освободиться от традиционных воззрений, сформированных в давних центрах Римской империи. Эта античная мировая держава отличалась удивительным моноцентризмом культурных интересов. Все, что было вне пределов римского «лимеса», сливалось в безликой массе «варваров» и не очень интересовало римлянина или эллина. Христианская доктрина оказалась еще более жесткой, и великие солунские братья Кирилл и Мефодий, даровавшие славянам письменность, полегли в борьбе против «треязычников», прокламировавших, что только на греческом, латинском и древнееврейском надлежит учить вере.

Историческая наука во многом базируется на письменных источниках, но эти источники составлялись людьми своего времени и своих интересов. Римские и греческие источники трактуют о славянах, как правило, руководствуясь корыстными государственными и военными интересами, как правило, не столько о славянах, сколько против славян, причем все это — в духе «хороших» требований стиля и учености своего времени, когда славян нарекали то «скифами», то «гуннами». Кажется, ясно, как важно не принимать на веру многое в подобных реляциях. Тем не менее и принимали, и унаследовали многое удобное из этого античного видения славян, и такие воззрения живут и здравствуют в серьезных трудах на Западе. Но сказать только «на Западе» — значило бы упростить реальную сложную картину.

Древние писатели разноречивы: то простодушно рисуют славян кротко бряцающими на кифарах и лирах, не ведающими ни оружия, ни войн (Феофилакт Симокатта), то — дикарями, истребляющими женщин и детей, дабы ловко противопоставить славян подлинным христианам (Псевдо-Цезарий). Один и тот же источник утверждает, что у славян не было опыта взятия крепостей, а — несколько выше — пишет, что в Иллирии они взяли «многие крепости» (Прокопий).

Если бы мы не обратили должного внимания на данные языка, мы просто не знали бы всей исторической правды, которая состоит в том, что, славяне ни в чем особенно не отставали от других современников по родо-племенному строю. В частности, они имели свои древние названия копья, щита, стрелы. Больше того: рассказы древних писателей о пеших славянах, почти не знавших конницы, просто перечеркиваются свидетельствами языкознания о древности славянских названий седла и стремени. А это уже говорит не просто о езде верхом, но о кавалерийских усовершенствованиях, которых Запад долго не знал. При Александре Македонском, Юлии Цезаре и много позже там ездили, сидя «охлюпкой», как сказал бы Даль.

Такие факты нельзя игнорировать, но их игнорируют. Менандр Протектор включил в свое сочинение речь вождя склавинов (славян), исполненную дерзкого вольнолюбия и обращенную, между прочим, к аварам. Так вот, специалисты обратили внимание, что в то время как славянские ученые обычно цитируют это место, ученые других стран его опускают. Почему? Не потому ли, что оно не вставляется в образ покорных славянских масс, неспособных к коллективным действиям, подчиненных аварам и под аварским командованием занявших Балканы?

Здесь все неверно — и исторически, и хронологически, и лингвистически. Даже специалисты на Западе пытаются опровергнуть эту преувеличенную концепцию ига авар, от которых славяне будто столь многое восприняли. Но голос этих специалистов еще слаб, а пока что, не смущаясь неправдоподобием, пишут о рачительных господах-аварах не только в США и в ФРГ.

Не хочется подвергать сомнению добросовестность отдельных ученых, и все же складывается впечатление, что не всем нужна историческая правда. Некоторым — явно наоборот. В этих акцентах нового времени о временах давно минувших многое не случайно и небезобидно. Не случайно, например, научный миф о древних славянах, не знавших первоначально якобы ни порядка, ни культурного скотоводства и обязанных и тем и другим германцам и аварам-тюркам, хотя и был создан славянским ученым, но — в рамках Австро-Венгерской монархии. Как все это напоминает более новые научные сценарии о хазарском господстве, благоприятном будто бы для развития восточноевропейской торговли, о «культурном вкладе» ордынского владычества на Руси…

Не будем настолько наивными, чтобы полагать, что все это для нас внешнее и серьезного беспокойства не вызывающее. Достаточно вспомнить бывший всего несколько лет назад острый и представительный диспут двух отделений Академии наук СССР по книге, ставившей вопрос о конструктивном половецком (кипчакском) вкладе в «Слово о полку Игореве» и в самые основы существования Древней Руси (как будто не было насильственного отторжения от древнерусского государства всего Северного Причерноморья, как будто не было всей этой кровавой эпохи).

Нужно оградить научную правду от сознательной рутины. Так, общим местом некоторой части исторических сочинений оказывается утверждение о культурной отсталости славян, есть любители поговорить даже об извечной их отсталости. А между тем нельзя не видеть, что, когда недоброжелательный к славянам историк Иордан говорит о них: «Вместо городов у них болота и леса»,— то это несовместимо с картиной богатой материальной культуры древних славян, восстановимой, в частности, лингвистически. Достаточно сказать, что у древних и древнейших славян было название города в смысле

огражденного поселения (живые по сей день слова *город*, *град* и т. д.) и оно не только праславянское, но и праиндоевропейское.

Индоевропейцы — еще более обширная языковая совокупность, куда входят также славяне и их языки, входят как самостоятельная ветвь. После того как великий чех Иосиф Добровский ликующе провозгласил еще в начале XIX в. свое: «Славяне есть славяне!», утекло много воды, и были накоплены горы лингвистических фактов, говорящих о правоте этих слов. Но вопрос не хотят закрыть, и на новом, качественно более высоком уровне науки нас вновь стремятся вернуть к архаической концепции вторичности происхождения славян и их языка от какого-либо другого, «более древнего» языка и народа.

Раньше, подражая средневековым авторам, выводили, например, славян от скифов, действительно живших на Юге России и на Украине в древности. Все знают «Скифов» Блока: «Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами». Это сказано о русских. Но наука еще при жизни Блока внесла поправку насчет «раскосых очей» (скифы антропологически оказались европеоидами). Говорили же скифы на иранских наречиях, короче, были предками современных осетин. Но на этом дело не кончилось. С некоторых пор муссируется отношение славянских языков к балтийским, причем с особенным энтузиазмом поднимается не вопрос их близкой связи ввиду давних общений и родства, а специфическая концепция, ставящая опять славян в положение некоего производного, на этот раз от — балтов.

Нельзя не отметить активность отдельных западных ученых в их стремлении переместить район поисков прародины славян куда-нибудь подальше на восток (в район припятских болот, например). Иногда это похоже на тенденцию «вытолкнуть» славян из Древней Европы, если угодно — вместе со всеми остальными индоевропейцами, которые многие тысячелетия назад будто бы пришли сюда как некие «всадники ниоткуда». Но американский археолог Мария Гимбутас, развернувшая концепцию прихода в Европу с Востока воинственных всадников-индоевропейцев, наталкивается на большое сопротивление фактов языка, истории, археологии.

Так что лозунг Добровского — «Славяне есть славяне!» — по-прежнему приходится доказывать и отстаивать. Вопрос этот, в самом деле, актуален и в наш век, столь озабоченный, казалось бы, более острыми проблемами. Пусть поможет нам в этом неисчерпаемая наука языкознания и истории, помноженная на высокое чувство научной в социальной ответственности. Пусть острее нам будут видны заблуждения прошлого и настоящего.

Словом, споры продолжаются. Но нужно, чтобы споры не ослепляли спорящих и не заслоняли реальных достижений, чем сильна наука. Решающее значение приобретает фронтальное исследование максимального числа фактов во всеоружии и на базе современной теории, с целью проверки и дальнейшего углубления теории.

Эти заметки — не о русской или славянской душе. Языкознание исследует внутренний смысл слова, обозначаемый сухим научным термином «семантика». Однако за словом и за его смыслом всегда стоит нечто большее — коллективный опыт народа, его дух, его подлинное величие — то, что будит в каждом из нас не один только научный интерес, но и дает священное право русскому, славянину любить русское, славянское, и это столь же естественно, как любить своих родителей.

Но нам понятен и дорог также завет великого украинца Шевченко: «Свое знайте и чужого не чурайтесь». Глаза и ум русского, славянина сейчас — как никогда — открыты всему доброму, чт. е. в нашем одновременно просторном и таком тесном мире, мире, который мы зовем по-русски тем же словом, каким называем и согласие в людях, — словом *мир*.

[Ответ читателю]

С. Р. Тохтасьеву (не знаю имени и отчества)

Редакция «Правды» передала Ваше письмо мне для ознакомления.

Ваше письмо адресовано в редакцию, но затрагивает меня в такой степени, что требует моего ответа.

Странно читать Ваш протест против утверждения, что античные источники трактуют о славянах. Как же можно игнорировать славянство венетов / венедов первых веков н. э., их тождество со склавенами и антами, видимое и для Иордана, далее — суобенов Птолемея? Разве эти сведения Плиния, Тацита, Птолемея, Псевдо-Цезаря, латинского писателя Иордана и греческого Прокопия — не античное видение славян, которое, по Вашему мнению, никогда не существовало.

Действительно, в одном месте у меня вышла неточность, указанная цитата («Вместо городов...») принадлежит Иордану, это тем более досадно, что в моей картотеке давно имеется литература к этому месту: В. Д. Королюк. «Вместо городов у них болота и леса»... (К вопросу об уровне славянской культуры в V—VI вв. «Вопросы истории» 1973, № 12, С. 197 и сл.) То, что здесь случайно наслоился Псевдо-Маврикий, можно отчасти объяснить тем, что и в «Стратегиконе» последнего о склавенах и антах говорится очень близкое, что живут они в лесах и болотах. Вообще образ этот скорее из разряда общих мест античной литературы и принадлежит не только Иордану, так, значительно более ранний Аппиан, когда пишет о паннонцах, указывает, что у них нет городов, нет единства и порядка.

Ваше утверждение, что не скифы, а сарматские племена были предками осетин, просто не продумано. Это был о д и н древний диалектный континуум,

ср. хотя бы раздел В. И. Абаева «Скифо-сарматские наречия» (Основы иранского языкознания. М., 1979) и там же, с. 272: «Это население было известно классическим авторам под названием "скифы" и "сарматы". Его остатком являются современные осетины на Кавказе». Так что, уличая меня в «анахронизмах», следовало быть осмотрительнее. Не следовало и бросаться огульными упреками вроде «здесь все неправильно или неточно» по поводу того, что я говорю о седле на Западе. Ср. хотя бы Kluge [20]. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache 625, s. v. Sattel, о том что «германцы Цезаря и (изображений) колонны Траяна и Марка еще не знают его (седла)»; 743, s. v. Stegreif: «В классической древности реалия (стремя) отсутствует, лишь после переселения народов появляется она в VII в. со стороны Византии». Как нетрудно понять, езда без опоры на стремена и есть эта самая езда «охлюпкой». Никакой там греческий эфиппий 'мягкое седло-попона' я и не думаю отрицать. Вообще я как-то считаю себя вправе претендовать на более культурный тон и уровень реплик оппонента, чем тот, который Вы без удержу демонстрируете, ну, о тоне — в конце.

Конница в войске древних славян не преобладала, это известно и свойственно для всех земледельческих цивилизаций, в отличие от номадов, живущих разбоем.

Если бы Вы располагали большим славянским лингвистическим опытом, то не стали бы безапелляционно утверждать, что слово **sedъlo* не достоверно праславянское и что другие примеры этой словообразовательной модели неизвестны. Приведу на всякий случай праслав. **svьrdьlo*, но дело не в этом, а как раз в глубоко праславянском характере формантов *-ьlъ*, *-ьla*, *-ьlo*, *-ъlъ*, *-ъla*, *-ъlo*, вплоть до наличия суффиксальной апофонии типа *-ъl-/-yl-*. Зачем же так легкомысленно и грубо спорить?

Так что с седлом не так все просто. Герм. **sadula* неисконно, к востоку же от германского реально известно только слав. **sedьlo/*sedъlo*, где исконны и корень и суффикс, так что ссылки исследователей на фракийский источник или на иранский (было бы **hadura-*) пока беспредметны.

Да, слав. **konь*, вероятно, заимствовано; как верно намекаете Вы, опираясь на собственную начитанность, не кто иной как я предложил этимологию **konьkъ*, **konikъ* из кельт. *conco-*, *canco-* 'скакун' и вовсе не утаиваю коварно этого от бедных широких читателей «Правды»: в газетной статье трудно сказать много. Я еще и заимствование *коровы* из кентумного языка принимаю (используйте и это), а коневодство и скотоводство у славян считаю все-таки исконным, ср. наличие у них своих древних названий детенышей домашних животных (названия же взрослых особей разных пород сплошь и рядом заимствовались в ходе культурных общений).

Я вообще не думаю спорить против заимствований, и Ваши неуравновешенные нападки неуместны, достаточно почитать мой «Этимологический

словарь славянских языков» в его этимологической части. Вернее так: не почитав его внимательно, некорректно бросаться в спор со мной, а тем более — приписывать мне всякое.

Откуда Вы читали, что я стремлюсь возвысить славян над всеми остальными? Нет, только поставить вровень, отстоять самостоятельность, достоинство — историческое и этногенетическое.

Вас возмутил («наиболее») пассаж о Мемандре Протекторе. Вы настроены не верить здесь ни одному моему слову: о каких специалистах, умалчивающих о речи славянского вождя, говорит автор, уж не о себе ли самом? Успокойтесь, если можете, конечно.

См. *J. Bacić.* The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Ph. D. 1983. Columbia university, 1983. University microfilms International. Ann Arbor, Michigan, 1984. P. 245-246: «The ⟨…⟩ speech delivered by King Daurentius and his princes to the Avar envoys is regularly included in works on this period of Slavic history written by Slavic scholars, while it is ignored by those who are not of Slavic origin. Thus, Jirecek quotes it as evidence that the Sklabenoi were “ein freiheitliebendes, trotziges und übermütiges Volk”[1] ([1] Geschichte der Serben. P. 74)». Так что будьте поосторожнее с Вашими квалификациями и эмендациями («сам сочинил ⟨…⟩ правило, сформулированное еще Фукидидом»). Далеко не все думают, как Вы, об этом, а Даврентий, имя того вождя, вообще весьма подлинное праслав. **Dobręta*, что сообщает эпизоду правдоподобие.

Вот и достаточно на сей раз о науке. Теперь — о тоне и манере спора. В том способе, в каком Вы без раздумий прибегаете к грубейшей политической демагогии, стремясь противопоставить написанное мной и — борьбу за мир, далее — авторитет газеты «Правда», вы, думаю, не одиноки. Сейчас водится немало неодогматиков, которые не остановятся ни перед какой политической клеветой против инакомыслящих. А я для вас — инакомыслящий, это главное, что переполняет Вас непристойной злобой, именно это, а не расхождения в филологических мнениях. Вы, разумеется, из тех, кто будет равнодушно взирать, как Сулейменов всю Русь дилетантски проэтимологизирует из тюркского, что Вам до этого. А я из тех, кто считает своей благородной задачей отстаивать самобытное прошлое славян средствами языкознания подобно тому, как югославско-американский исследователь Бачич делает это (и тоже понимает важность и нужность этого) средствами истории. Есть и другие, кто думает так. Я вижу, что моя статья была нужна, она написана честно и научно правильно (обвинения в корифейском тоне мог высказать только человек злой, предубежденный и не знающий меня). На этом можно кончить.

О. Трубачев

МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР И ВЕЧНЫЕ СЛОВА

Будучи приглашен однажды сказать слово о словарях в Лексикографическом семинаре перед студентами Государственной Академии Славянской Культуры, я крепко задумался об этом предмете, потому что работа над словарями уже забрала половину моей жизни, а это вовсе не значит, что говорить будет легко, напротив, — колеблешься, не знаешь, с чего начать, а раз начав, впору убояться идущих на тебя валом мыслей, реальностей, проблем, притом, что все это заслуживает, требует, чтобы сказано было о нем достойно, в достойных выражениях.

Каждый пишущий, наверное, согласится, что писать становится не легче, а труднее, именно сейчас, во времена массовой культуры, всевластья массовых средств информации, в эпоху массового употребления хороших и красивых слов и всяческого ускорения нашей жизни и деятельности.

Грозное убыстрение темпа всего, что мы делаем и говорим, пишем, печатаем, читаем, несет не одно лишь благо, но и отрицательные синдромы. А человек приспосабливается к частоте и суете, к этой ускоренной оборачиваемости лексического фонда, он уже целую отрасль словарного дела успел организовать — небывалые прежде частотные словари. Там можно почерпнуть сведения о том, какие слова мы употребляем слишком усердно, а какие наоборот — редко. Некоторые слова, добавим, перестали употребляться совсем. Они выпали из речи, из современных массовых текстов, на которых по большей части построены частотные словари.

За наиболее частотными и порой, увы, избитыми словами стоят нередко понятия вечные и прекрасные. Эти понятия страдают и в чем-то проигрывают от поношенности словесных одежд, в которые мы их день за днем одеваем. Об этом надо думать, тем более, что язык обладает синонимами, их тоже изучают, собирают. Так возникли словари синонимов. Что же, вещь, наверное,

полезная для массового читателя, служащего, мающегося над литературным слогом документа, для редактора, пребывающего в вечном страхе, чтобы одно слово не повторялось более трех раз на странице, для рядового литературного сотрудника, наконец (я всячески старался избежать упоминания «рядового литератора», но почему бы не заглянуть правде в глаза, так что — и для последнего тоже). Совсем не так, думаю, работает Мастер слова, ему эти частотные и синонимические словари не указ, у него все синонимы — в голове, а вся частота лексем — в сердце, он может и не афишировать, как говорят, этих своих самодовлеющих качеств, но факт остается фактом, и именно это делает его Мастером. Он способен и на гораздо большее, многим совершенно недоступное и загадочное: я имею в виду воссоздание, оживление забытых, утраченных смыслов слов, которое — пусть не часто — встречается в выдающимся образом организованной художественной речи. Тестом гениальности такого мастера художественного языка, как Лев Толстой, могут служить его слова о Стиве Облонском. У Толстого сказано, что Стива чувствовал себя «физически веселым». Толстой едва ли знал об этимологическом родстве русского слова *веселый* и латышского *vesels* 'здоровый', но он проницательно увидел эту потенцию употребления слов *веселье*, *веселый*, не дав себя сбить нынешним значением эмоциональной игривости, банальным и этимологически не первоначальным для этого русского слова. Так что не выдающимся поэтам, не им предназначены словари рифм (есть и такие, они собственно, сродни научным обратным словарям, а эти последние зародились в недрах классической филологии как вполне практическое пособие в прочтении дефектных греческих и латинских надписей, когда по уцелевшему концу слова нужно бывало восстановить его осыпавшуюся часть).

Но — если литературный язык и его лексикон развиваются и расцветают в немалой степени благодаря вершинным индивидуальным творческим достижениям, то живет он и его культура главным образом в употреблении массового читателя и носителя. Этот последний и есть главный адресат перечисленных нами видов словарей. Вообще само появление и существование специальных видов словарей есть, разумеется, ответ на возрастающие и все более утончающиеся потребности человека читающего, нашего современника. Они, эти ответы, родились в исследовательских лабораториях словарной индустрии, причем некоторые из них сохранили свое лабораторное предназначение (я имею в виду словообразовательные, грамматические, фразеологические, словари антонимов, паронимов), другие в большей степени обращены уже к широкому читателю (орфографические, орфоэпические словари). Но все равно и в том, и в другом, и в третьем случае речь идет, конечно, о частных словарях, и об их надобности нужно судить без излишней экзальтации, не преувеличивая ее, эту надобность. Вообще ничего не стоит преувеличи-

вать. Даже синонимы, синонимия — эта важнейшая категория словаря и языка, важность которой видна во многом, читаем ли мы, переводим ли с языка на язык или исследуем язык как специалисты, — это тоже категория, имеющая свои пределы. Я говорю это к тому, чт. е. не только вечные, неустаревающие понятия, словесные выражения которых устаревают, но и вечные слова. Интересно отметить, что изнашиваемость и обрастание синонимами больше свойственно для лексики, обозначающей человеческое общество, этот вечно меняющийся мир, и всякие примыкающие сюда понятия, и, наоборот, у слов *солнце*, *день*, *свет*, *земля* в сущности нет синонимов в настоящем смысле (поэтические иносказания вроде пушкинского «дневное светило» для солнца лишь подтверждают своей условностью мою мысль). Бессинонимичность, так сказать, экологической лексики, этих вечных слов, обозначивших вечные явления природы раз и навсегда, покуда жив русский язык, — в моих глазах, если хотите, проявление великой мудрости народа, коллективного носителя языка, который таким неброским, но очень точным способом схватил и выразил разницу между своим скоротечным существованием, вся главная сила которого — в воспроизведении себя, своего потомства, своего языка, и тем, что вечно, что было до нас, будет после нас.

Так и со словарями, хотя только что прозвучавшая аналогия, я согласен, не очень соразмерна; однако и тут мы видим рой специальных, частных и, скажем, не претендующих на долговечность словарей вроде тех, о каких мы упоминали (самые массовые — орфографические живут от реформы до реформы, от издания к изданию), а с другой стороны, или, вернее, в центре всего того, что мы бегло назвали словарной индустрией, возвышаются словари языка, т. е. словари в собственном, изначальном смысле. Правда, человеческая мысль не сразу, лишь в итоге долгого развития пришла к высшему типу словаря — толковому, или объясняющему словарю одного языка. Этот тип, по-видимому, останется главным и в будущем, независимо от технологии составления — ручной или машинной. Толковый словарь национального языка, этот наиболее совершенный продукт лексикографической теории и практики, сам развился и произошел из переводного — как правило, двуязычного словаря, насколько известно, древнейшего из всех доныне существующих типов словарей. Собственно, древнейший вид словаря — вообще — это список непонятных слов другого языка с переводом на свой язык (вспомним аналогичные древнерусские азбуковники). Двуязычная лексикография, начавшись, таким образом, в глубокой древности, неизменно процветает и сейчас. Неслучайно существует мнение, что главное, чего ждет от языковедов широкая общественность, — это словари. Даже в большей степени, чем грамматики. Как это ни странно на первый взгляд, составить переводной двуязычный словарь, где лексика одного языка переводится эквивалентной лексикой другого

языка, — в целом легче, чем составить словарь одноязычный толковый. Это видно из того факта, что толковые словари — младшие ровесники своих национальных языков. В Европе они — не старше XVII в. Это видно также из того, как постепенно, не сразу толковый словарь языка освобождался от атрибутов двуязычности, каковыми оставались переводы значений слов на другой авторский язык региона (так, в Польше, Чехии — на латинский, немецкий; словарь болгарского языка Н. Герова, сам по себе толковый, включает регулярно русские эквиваленты, переходный тип — от дву- и трехъязычного к толковому одноязычному имеет еще сербохорватский словарь Вука Караджича). В одном пункте толковая лексикография европейских языков сохранила атрибут двуязычности до сих пор, я имею в виду потребность четкого определения названий животных и растений. В самом деле, если определить русское слово *лютик* как 'растение Ranunculus sceleratus', т. е. с международным толкованием на научной латыни, по линнеевской системе, то гораздо меньше шансов спутать его с чем-нибудь другим, сравнительно с многословным описанием, хотя бы в известном четырехтомном «Словаре русского языка»: л ю т и к. Травянистое растение с ядовитым соком и, преимущественно, желтыми цветками. Ведь и сурепка — тоже 'травянистое растение с желтыми цветками' (тот же словарь), а одна из сурепок горька, и вообще «растения эти схожи, потому путаются», как сказано у Даля о видах сурепки. Помню, когда я пытался на одном обсуждении указать на расплывчатость подобных описаний, мне возразили в том духе, что, мол, «латынь из моды вышла ныне». В этом наша толковая лексикография шагнула, таким образом, дальше других европейских, представляя наиболее законченный тип толкового словаря. Замечу, что при этом не обошлось без некоторых курьезных потерь или, по крайней мере, неточностей. Так, упоминавшийся четырехтомный словарь определяет *лань* как 'парнокопытное млекопитающее рода оленей, отличающееся стройностью тела и быстротой бега', а также 'самка этого животного'. Между прочим, Даль, наш первый «Толковый словарь живого великорусского языка», был, пожалуй, более точен, когда писал о том, что лань «вообще самка оленя, корова» и лишь «ошибочно» — вместо чубарый олень, Cervus dama, т. е. Даль не брезговал и научной латынью, когда она требовалась. В других языках для чубарого оленя, лани Cervus dama есть особые названия: нем. *Damhirsch*, чеш. *daněk*. Вообще с названиями оленей не повезло не только нашей лексикографии (слабо отражено, например, интересное слово *косуля*, я писал о нем специально в новых дополнениях к III—IV томам нового издания словаря Фасмера; у Даля дано только вторичное по своей форме *козуля*), но и словарному составу, ср. тот факт, что одним словом *олень* мы обозначаем совершенно разных животных — оленя благородного Cervus elaphus и северного оленя Rangifer tarandus.

Но это — к слову, а вообще именно описание значений слов синонимичными средствами того же языка, которое мы видим в современных толковых словарях, дало толчок теориям семиотики («всякое значение есть перевод знака в другую систему знаков») и трансформации. Для нас сейчас желательно задержаться мысленно лишь на феномене перевода. Почему? Потому что во мнении некоторых теоретиков необходимость перевода означает сама по себе, что мы уже имеем дело с другим языком. Правильно ли это? Для тех, кто так утверждал, древнерусский язык был «другим языком» в отношении к современному русскому языку, но, думаю, что это мнение нельзя принять в столь безоговорочной, заостренной форме. Ведь феномен перевода, т. е. передача значения слова, особенно слова менее понятного, синонимическими средствами языка описания, наблюдается сплошь и рядом в рамках толкового словаря современного русского языка, а значит — в рамках одного и того же языка. Просто при передаче значений древнерусских слов приходится прибегать к несколько большему числу отличных синонимов, но это различие, согласимся, не носит принципиального характера. Оно говорит прежде всего о том, что мы вступили в другой, более отдаленный период жизни того же языка и фактор времени языковой эволюции дает о себе знать сильнее, по мере нашего углубления в древность. Вот почему — и я хотел бы отметить это особо — я считаю научно правильным название «Словарь русского языка XI—XVII веков», таким же правильным, как известная современная концепция непрерывного развития русской письменности и литературы с X—XI по XX в.

Русская лексикография идет своим путем, не повторяя западноевропейский опыт. В то время как там нередко история и этимология слов, как впрочем, и лексика народных говоров, бывают слиты воедино с лексикой современного литературного языка, у нас существует традиция трактовать все эти аспекты раздельно. Это я говорю единственно для того, чтобы нас морально не очень угнетала цифра 450000 словарных статей оксфордского словаря английского языка. В сумме всех разновидностей (этимологические, исторические, диалектные, толковые словари) и русская лексикография наберет не меньше. Наше столетие оставит читателю, исследователю словари, по которым можно будет проследить историю слова от праславянского состояния до его новейшего употребления конца XX в.. «Этимологический словарь славянских языков» (вышло 24 тома) реконструирует праславянский лексический фонд. Происхождение русских слов дают этимологические словари русского языка, назову один из них — «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера, вышедший недавно уже в третьем издании в моем переводе с дополнениями, а также с новым послесловием. Историю слова по письменным источникам можно проследить в «Словаре русского языка XI—XVII в.» (вышло 23 тома). С 1980-х гг. в Петербурге начал печататься Сло-

варь русского языка XVIII века, а с начала 1960-х гг. — капитальный «Словарь русских народных говоров» (вышел 31-й том), начатый еще Ф. П. Филиным, своего рода «второй Даль».

Вышеизложенное, может быть, не совсем похоже на «Похвальное слово о словарях», хотя, не скрою, такой замысел и посещал меня вначале, и — как образцы на недосягаемой высоте — мне мерещились Похвальные слова первоучителям славян Кириллу и Мефодию, чью светлую память, кажется, начинает регулярно отмечать и наша культурная общественность, но они — эти Похвальные слова — так и остались недосягаемыми, ибо писавшие их не ведали сомнений в святости тех великих, кто сложил первые буквы и перевел первые книги в ту героическую эпоху, когда еще не было никаких словарей. Мы же, как сейчас принято, стараемся объективизировать свои суждения о предмете, видим, как нам кажется, не одни плюсы, но и минусы во всем, о чем судим, хотя при этом (кто знает?), быть может, от нас порой ускользает человеческий фактор — если не «святости», то настоящего, трудного подвижничества тех, кто делал словари вчера и кто делает их сегодня.

МЫ — НАРОД СОФИЙНЫЙ

И я, оглядев и осмотрев всех,
увидел одну,
ту, что прекраснее всех...,
имя которой было София, значит
Мудрость, и ее я выбрал.

Житие Константина-Кирилла,
гл. III

...Мы — народ софийный...

П. А. Флоренский. Из письма
1 авг. 1912 г., Сергиев Посад

Русская энциклопедия — это портрет нынешней культуры России и ее истории, ансамбля ее наук — исторических, филологических, философских и богословских, ее этнографии, литературы, всех ее искусств, военного дела, экономики, включая сельское и лесное хозяйство, строительство, архитектуру и технические науки, географию, геологию, биологию, медицину, экологию, естественные науки — физику, химию, математику, педагогику, юриспруденцию.

Но Русская энциклопедия — это также рецепция (восприятие) русской культурой всего значительного, чт. е. в мировой культуре. Иначе и быть не может, отвечаем мы тем, кто хотел бы замкнуть русскую культуру, Русскую энциклопедию на себя и в себе, сектантски твердя, будто Русская энциклопедия — это «русские о русских»... А друзья русской культуры во всем мире — разве они не помогают строить здание русской культуры, разве они не откликнутся на дело Русской энциклопедии? И можем ли мы о них за-

бывать? Но, кроме дружеской атмосферы, которая так нужна Русской энциклопедии, позволительно вспомнить и о космизме русской культуры — ее открытости миру, а тем самым — о ее чуждости всяческому герметизму. Нам видится в этом сильная черта культуры, не случайно все более привлекающая к себе внимание людей мыслящих и непредвзятых. Как пример я назову здесь значительную научную сессию «Русский космизм и ноосфера», недавно прошедшую при Московском физико-техническом институте.

Раз уж мы заговорили как бы о параметрах русской культуры (и о них естественно говорить, предваряя деятельность в связи с Русской энциклопедией), то в их числе следует назвать, наряду с космизмом, и софийность, т. е. всегдашнюю обращенность к бытийным вопросам и никогда не прекращающиеся поиски ответов на них. Это говорит не только о созерцательном и не всегда и не самом деятельном русском складе ума, но и о той неотъемлемой внутренней свободе, о которой не грех напомнить тем, кто повадился отказывать нам и нашей истории в свободе внешней.

Ну, и наконец — соборность русской культуры, ее тоже надо назвать в этом ряду, поскольку она сделалась предметом интереса — здорового и в еще большей степени нездорового. Я не берусь здесь исчерпывающе объяснить понятие соборности, безусловно весомое и сложное по причине отнесенности и к русскому традиционному быту, и русскому складу ума, надеясь, что наши философы и филологи еще прояснят нам ее сущность. Одно можно утверждать определенно — это наличие здесь устойчивой антитезы выраженному индивидуализму и эгоизму.

Космизм, софийность, соборность... Я далек от мысли утверждать, что ими исчерпывается дух русской культуры, еще более того далек от мысли зачислить эти черты в самые замечательные из всех вообще возможных. Просто чем больше я размышляю на эту тему (а смею заверить, в своих размышлениях о духе русской культуры я опираюсь и на собственные научные поиски древнейших этнических и культурных судеб славянства), тем более адекватными русскому этнокультурному типу представляются мне именно эти параметры. Как бы то ни было, мы унаследовали их — со всеми плюсами и минусами, они всегда с нами, как бы ни камуфлировала их жизнь. И ясно, что речь идет о крупной и самобытной культуре, в которой всегда можно почерпнуть и силу, и жизненную уверенность. Порой кажется, что это самое незыблемое, что у нас еще осталось... Над всем прочим или почти над всем нависла девальвация.

Речь к тому, что Русская энциклопедия сейчас нужна как никогда. Русская энциклопедия — которой у нас нет и в сущности не было. В разное время за последние два года и в разных изданиях я высказывал свои соображения по этому поводу. У нас, у русских, это далеко не первый случай,

когда мечтания «обгоняют действительность». Что сейчас можно еще сказать, особо не повторяясь и как бы взнуздав свою мечту с целью приведения ее в некоторое соответствие с действительностью, которая складывается, увы, тоже «по-нашенски»? Будет ли образован в составе новой Российской академии наук институт Русской энциклопедии — небольшое научное учреждение в поддержку этой большой общественной инициативе (ведь в Казанском филиале АН СССР существует сектор татарской энциклопедии...)? Будет ли преодолен нынешний режим наименьшего благоприятствования, раскол, разброд, безденежье?... Наименьшее благоприятствование — это я о тех, кто питает, деликатно говоря, «очень личное» чувство к русской культуре, лелеет мысль о ее «археологичности» и — чтоб при этом никаких русских энциклопедий. Больше я о недоброжелателях говорить не буду. Далее следуют «друзья», такие, с которыми, как говорится, враги не нужны. «Друзья» эти взломали все мои стереотипные представления о русском этнокультурном типе, сменили, во всяком случае, софийность на бешеную предприимчивость, скромный научно-общественный совет — на фешенебельный «центр», пока еще осененный лозунгом Русской энциклопедии, но уже, как говорится, подымай планку выше, — ни дать ни взять совместное предприятие, «джойнт венчер» (так, кажется, на огоньковском английском?). Перспективы? — «Мы просто обречены на успех»... «Будем делать деньги на сопутствующих изданиях»... «Заграница нам поможет, особенно один симпатичный миллионер»... «Русская энциклопедия? Да, да, хотя это уже не издание, это — движение...»... «И вообще, сперва сделаем энциклопедии для крымских татар, для всех народов Северного Кавказа, они почти готовы, провернем международную элитарную школу-лицей»... «и встречу в Сочи»... Все почти стенографически точно.

Вы верите этой галиматье, читатель? Я тоже не верю, но мне не до шуток. При подобной неустойчивости психики слишком большая деловитость опасна социально. Да и дефицит культуры никаким краснобайством не прикрыть. Что еще сказать о «друзьях» Русской энциклопедии? Встретив сопротивление нижеподписавшегося, краснобаи ушли в свой «центр», предварительно дезорганизовав совет, но не забыли при этом прихватить финансовый счет совета Русской энциклопедии, переведя его на свой «центр» (виноват, забыл, что он именуется «культурным» и теперь даже, кажется, «всесоюзным»). Это я к тому, читатель, чтобы вы знали, откуда там у них с тех пор высокооплачиваемые ставки. Так сказать, штришок к портрету. Не для того, конечно, народ слал свои рубли и жертвовали спонсоры, поверившие в Русскую энциклопедию... Жаль всех, конечно, ибо на этом пути не обрящете вы Русскую энциклопедию. И концепции не дождетесь. Хотя субъекты эти пугают доверчивых, что они не ту еще концепцию РЭ придумают, вот и слов-

ник (нет, хуже — рубрикатор) генеральный, один на всех, значит, спустят, но все недосуг, «встреча в Сочи» поджимает.

Русская энциклопедия тут, естественно, ни при чем. Оставим криминальный (хотя не придуманный!) сюжет. Концепции энциклопедий не в «движениях» и на «встречах» вырабатываются, а по старинке, в тиши кабинетов. И хорошо — когда опыт сходный имеется и что-нибудь похожее на устойчивость-усидчивость. И не сверху, как в агропроме, все это должно идти, а снизу, от специалистов, которые сами лучшим образом все знают, особенно, если организовались в секции по специальностям. Генеральный словник? Он потом сложится — как объективнейшая сумма всех десятков специальных отраслевых словников, из реализации которых составится универсальная Русская энциклопедия. Впрочем, об этой своей концепции двухступенчатой модели словника будущей Русской энциклопедии я уже писал в широкой печати.

Где мы сейчас находимся? Действительность руками доморощенных и не очень чистоплотных бизнесменов отбросила нас назад. Это сбило с толку часть энтузиастов и спонсоров, нанесло ущерб идее. Бизнесменам этим, видать, нечего терять, как нам когда-то рассказывали о пролетариях. Тем же, кто болеет за Русскую энциклопедию, а не о своем самоутверждении печется, стоит серьезно задуматься о невозвратимо теряемом времени. Но не все потеряно. Остались еще энтузиасты, прибывают новые, надеемся, что и у старых глаза откроются, что не о «встречах» и «школах-лицеях» они мечтали, а все же о заглавной, так сказать, идее. По сему случаю предлагается из небедного арсенала старой русской культуры и общественной жизни взять для примера практику «малых дел». Не оставлять втуне усилия секции Русской энциклопедии, не останавливаться им в самом начале пути, больше того — максимально сократить путь от авторов (а их у Русской энциклопедии немало, и это подороже всякой валюты), организовать скорейший выход самых разных материалов на самые разные энциклопедические темы. Назовем эти статьи «пробными», ознаменовав тем их предварительный характер. Самое оперативное и осуществимое, что мы можем сделать уже сейчас для нашей великой задачи — это открыть рубрики «Русская энциклопедия — начало пути» в наших ведущих журналах. Такая рубрика с начала 1990-го ежемесячно функционирует в журнале «Народное образование», имеется договоренность с журналом «Художник». Пользуюсь приятным долгом, чтобы адресовать слова благодарности журналу «Слово», также открывающему такую рубрику на своих страницах. А теперь слово — специалистам, им, как всегда, есть что сказать к нашему вящему духовному обогащению.

БЕСЕДЫ О МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ТРУДА

Под методологией, кроме привычного понимания философско-гносеологического познания, подразумевается также совокупность приемов исследования, исследование средств познания [1]. О таком методе образно сказал Котарбинский: «О методе мы будем говорить только тогда, когда кто-либо, делая что-либо каким-либо способом, одновременно знает, что он делает это именно этим способом» [2].

Методологию научного труда, по-видимому, надо разделить на методы учебы и методы зрелого научного труда, и мы так и поступим, хотя совершенно очевидно, что, раз начавшись, учеба не должна кончиться никогда, а настоящую творческую учебу не всегда можно отличить от самостоятельного труда.

Вопросы, обсуждаемые далее, относятся к тому, что сейчас называют еще науковедением, но, говоря о них, я остаюсь лингвистом, обсуждаю вопросы, важные, как я думаю, для лингвистов, тем более, что именно эта область науковедения разработана недостаточно.

Когда пригласили меня выступить перед молодежью Института о подготовке молодого ученого, методике научной работы, я встретил это предложение со смешанным чувством, хотя и с некоторым удовольствием. Колебался — и продолжаю колебаться — я оттого, что считаю творческий научный процесс делом прежде всего индивидуальным, готовых советов на этот счет

---

[1] См.: Науковедение: проблемы развития науки. М., 1979. С. 37; Методология исследования развития сложных систем. Естественно-научный подход / Под ред. К. О. Кратца и Э. Н. Елисеева. Л., 1979. С. 64

[2] *T. Kotarbiński.* Traktat o dobrej robocie. Wyd. 5. Wrocław Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1973. S. 86.

не имею да и вообще не люблю советовать. Разве что, достигнув известного возраста (как говорил поэт, «на полпути земного бытия...» — Nel mezzo del cammin' di nostra vita), имею что сказать и по этому вопросу и готов этим ненавязчиво поделиться с вами.

Прочитанное, продуманное на эту тему, а также почерпнутое из собственного опыта кажется удобным предложить как две беседы, из которых первая называется «Трактат о хорошей работе», а вторая — «Образованный ученый». Итак, —

Беседа 1-я: «Трактат о хорошей работе»

Весной 1962 г. в Варшаве, на улице Новый свят, недалеко от памятника Копернику сопровождавший меня польский коллега указал мне на шедшего нам навстречу сухонького пожилого человека: «Это Тадеуш Котарбинский, экс-президент Польской Академии наук, специалист по праксеологии, науке о труде». Такой науки я ранее не слыхал, потому, наверное, и запомнил немедленно — от удивления — этот термин, у нас, кажется, по-прежнему малоизвестный. Несколько позднее, но тоже давно я узнал, что существует книга Котарбинского — «Трактат о хорошей работе». Это название показалось необычным вдвойне: во-первых, сейчас как-то не пишут «трактаты» или, по крайней мере, не называют их так (один из редких примеров, известных в нашей науке, — так называемый «Трактат» Витгенштейна), во-вторых, я раньше не наталкивался на современные ученые труды, без обиняков повествующие о том, чт. е. хорошая работа. Все это звучало забавно, несколько старомодно и вместе — заманчиво, однако не настолько, чтобы, бросив все дела, немедленно разыскать эту книгу. Все мы уверены, что в общем-то знаем, что такое «хорошая работа», во всяком случае вначале — уверены вполне. Наше внимание обращено на конкретные работы и дела, а тут — какая-то хорошая работа «вообще». Прочту потом, пообещал я сам себе. Так прошло лет десять, пока я, наконец, не выполнил этого обязательства. Сейчас я думаю, что в общем все правильно, и «Трактат о хорошей работе» Котарбинского — одна из тех книг, которые не нужно спешить прочесть прежде времени, но прочесть раз в жизни все-таки нужно, как полезно прочесть Библию, где сказаны эти подходящие к случаю слова Экклезиаста: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни...»

Но вернемся к «Трактату о хорошей работе». Свою книгу Котарбинский посвящает праксеологии, «или общей теории эффективного действования»[3]. В наших беседах мы еще не раз упомянем с благодарностью имя Котарбинского, его правила, советы, аналогии и предостережения. Но если это — общая теория, то уместен вопрос, как обстоит дело с ее применением в близкой нам области знания, короче — нас не может не интересовать разработка проблем культуры филологического труда. Увы, литература об этом небогата. Книги о культуре труда лингвиста на русском языке мне попросту неизвестны. Правда, покойный библиограф и известный теоретик русской литературы Н. Ф. Бельчиков (не смешивать с Ю. А. Бельчиковым, которого в стенах нашего Института знают лучше) выпустил «Пути и навыки литературоведческого труда»[4], где есть и о выборе темы, и о собирании материала, об источниках, а также о том, что наука способна порождать радость. Хорошая, полезная книга, но она не заменит отсутствия такой книги о труде языковеда. Здесь снова пришла на выручку память. Уже размышляя на тему нынешней беседы, я вспомнил, как без преувеличения больше 20 лет тому назад видел в руках одного товарища, еще в Институте славяноведения, скромную, тощую книжицу с плохим безнаборным шрифтом, по-чешски, издание Карлова университета: *V. Šmilauer.* Technika filologické práce[5]. Я знал профессора Шмилауэра с 1958 г. Мне рассказывали в Праге, какой это требовательный наставник студентов и молодых диссертантов, с каким вдохновенным педантизмом водит он питомцев сам на учебные экскурсии. Этот образ строгой любви к ученикам запомнился мне, хотя в последующие годы я читал книги Шмилауэра о другом — об ономастике и заселении Чехии и т. д., которые принесли их автору заслуженную славу слависта и богемиста с мировым именем. Но пришло время вернуться к той его книжечке о технике филологической работы. Уверяю, она стоит вашего внимания. Вряд ли кто-нибудь из вас слышал о ней раньше, а она не пропала, не затерялась, как некоторые другие книги в библиотеке, и по-прежнему хранится в Институте славяноведения и балканистики РАН. По-прежнему на скверной бумаге, плохим ротапринтом и ничтожным тиражом автор беседует с молодым читателем о неизменно важных вещах и делает это мудро и с блеском, так что будет справедливо, если мы предоставим ему слово в сегодняшней беседе, сообщая наряду с этим также и иные мнения. Книжка начинается с «Гигиены умственного труда». Автор рекомендует нам: «Не перенапрягать свои силы. Особенно этого не должен делать молодой человек (после 30 лет

---

[3] *T. Kotarbiński.* Указ. соч. S. 7
[4] *Н. Ф. Бельчиков.* Пути и навыки литературоведческого труда. 2-е изд.. М., 1975
[5] *V. Šmilauer.* Technika filologické práce. Praha, 1955

это уже не так опасно)»[6]. Правда, специалисты безжалостно утверждают, что «способности человека, имеющие значение для научной работы (подвижность нервной системы, память и т. п.), начинают ухудшаться с 22—25 лет...»[7]. Компенсировать и сдерживать это ухудшение способна только тренировка, работа. Заметим, что эти 22—25 лет, не самые мудрые, может быть, в нашей творческой жизни, имеют решающее значение в усвоении нами языков. Другие специалисты (возможно, оптимисты), в свою очередь, говорят, что наш мозг всегда работает с недогрузкой, даже когда нам субъективно кажется, что голова «разламывается» от перегрузок. Выходит, что перегрузок-то, говоря объективно, не бывает, и большинство из нас, того не сознавая, занимается тем, что сейчас так порицается на транспорте: гоняет ценную емкость почти порожняком. И еще одно: «Чем больше духовной работы индивид совершает, тем позднее старится его мозг»[8].

Об устройстве рабочего места читаем у Шмилауэра такие слова: «Вряд ли имело бы смысл рассказывать здесь, что идеальный цвет стен — серо-зеленый, что вращающаяся этажерка для книг очень удобна, в то время как вы по большей части бываете рады, если у вас есть хоть какой-то уголок для спокойной работы». Кстати, у выдающегося французского индоевропеиста Антуана Мейе была, говорят, в кабинете такая вращающаяся этажерка, с которой он брал этимологические словари, не вставая с кресла. Не буду говорить об усовершенствованиях наилучшей организации труда, потому что я не знаю их и в жизни ими не пользуюсь, но об этом хочу сказать довольно твердо: культура рабочего места, кабинета существует для того главным образом (эстетические моменты для краткости опускаю), чтобы быстро найти, достать, дотянуться, не вставая с кресла, не отвлекаясь, не убивая время на поиски. Рабочий стол, заваленный не нужными сейчас, накопившимися за много времени бумагами, производит тягостное впечатление. Конечно, и это индивидуально; мне возразят, что можно проводить время бесплодно за идеально прибранным столом и, наоборот, продуктивно работать в обстановке кажущегося хаоса. И все-таки лишнее есть лишнее. Котарбинский говорил: «Существуют два основных способа добиваться чистоты работы — либо... минимально мусорить, либо максимально убирать»[9]. Судите сами, что экономнее. Экономнее, например, сразу писать чисто, разборчиво, без помарок: переписывать не придется, машинистка меньше наделает ошибок. По-моему, многие добровольно задают себе казнь египетскую, переписывая с чернови-

---

[6] Там же. S. 8

[7] Науковедение: проблемы развития науки. Цит. изд. С. 209.

[8] *К. Ломб*. Как я изучаю языки. М., 1978. С. 31.

[9] *T. Kotarbiński*. Указ. соч. S. 120.

ков. Всех интересует «содержательная сторона», а не хороший почерк, с каллиграфией мы распрощались позже, чем с ораторским искусством, но, кажется, столь же бесповоротно. После слов о культуре не хочется употреблять слово «автоматизация», но придется, потому что, пишет Котарбинский, «автоматизация образа жизни нужна людям творческим именно для того, чтобы иметь возможность посвящать максимум собственной энергии делам, которые их главным образом занимают, а не расходовать ее на то, что можно урегулировать и получить ценой минимального напряжения» [10]. Вопрос этот трудный, упирающийся в наш быт. Правда, автоматизация (отдельных, вспомогательных действий) — это еще и признак мастерства. Здесь мы не говорим о другой — производственно-технической автоматизации научно-технической революции, которой человек как таковой вынужден противостоять, в чем ему призваны помочь гуманитарные знания и науки.

Жизнь молодого специалиста так или иначе запрограммирована в общей деятельности коллектива. И хотя мы говорим здесь об основе основ — индивидуальной работе, работе индивидуума над собой и над материалом, коллективная форма работы затрагивает практически каждого. У нее свои законы, своя специфика. Категории «хорошей работы» (как, впрочем, и плохой) применимы к ней во всей сложности. О коллективной работе наиболее всеобъемлюще высказался праксеолог Котарбинский: «Два субъекта взаимодействуют, если по крайней мере один из них помогает или мешает другому» [11]. А если этим делом (помогает или мешает…) занимаются уже не один, не два, а несколько человек? Вспомним о коллективах авторов грамматик, составителей словарей, о благополучных, а также о неблагополучных коллективах… Что ни говори, коллектив — это всегда сложно. Коллективные формы работы у нас по понятным причинам пользуются особым вниманием, но, надо сказать, их специфика и возможности в науке изучаются всюду. Мы еще будем, вероятно, говорить о них дальше, об их плюсах и минусах, например, о болезненных следствиях нарушения стабильности коллектива. При нашей любви к реорганизациям нам хорошо бы запомнить такое изречение Котарбинского: «Первая стадия реорганизации — паралич» [12]. Любителям переходить из коллектива в коллектив в благородных поисках лучших условий напомню еще одно трезвое изречение Котарбинского, точнее — Януша Корчака, цитируемого Котарбинским, о том, что лучше недостатки известного коллектива, чем достоинства нового, т. е. неизвестного [13]. Но коллектив обладает замеча-

[10] *T. Kotarbiński* Указ. соч. S. 163.
[11] Там же. S. 93.
[12] Там же. S. 236.
[13] Там же. S. 147.

тельными потенциями преемственности и сохранения традиций; только при коллективной форме работы, увы, можно закончить труды, превосходящие силы и продолжительность жизни одного человека. Примеры известны хотя бы из истории лексикографии. И все-таки коллектив лишь воплощает собирательно то, что нужно для любой, в том числе индивидуальной научной работы: это постоянство в осуществлении цели.

Выбор темы — это всегда сложно: порой в этом виден не только научный работник, но весь человек. Важно уметь ограничиться. Хорошо, если практицизм при этом не заслоняет от нас интересов науки.

Облюбовав тему исследования, приступаем к изучению литературы вопроса: она может быть маленькой, но может быть и очень большой. Следует помнить, что «литература вопроса» и сам «вопрос» — это понятия отнюдь не совпадающие. Допускаю, что это не всегда легко, и четкость разграничения бывает затруднительна (так обстоит дело, по-видимому, в классической филологии). И все же, как пишет Шмилауэр, усердное изучение одной литературы в ущерб самостоятельному исследованию фактов способно породить, самое большее, компиляцию [14]. Сейчас существует множество библиографий и библиографий библиографий, есть детальные справочники, существуют громадные институты научной информации и так называемые информационно-поисковые системы. Обольщаться не стоит. В решительный момент все это может очень просто подвести: книги нет, статью не могут найти, источник ищут безуспешно, как ищут по моей просьбе до сих пор всем сектором ИНИОН один материал, который мне бы очень пригодился для нынешней беседы — сатирическое стихотворение «I am a model of a modern linguistician» («Лингвист я образцовый, модерновый...)» в британском журнальчике «The Incorporated linguist». Лет 12 назад я точно видел там своими глазами эти забавные стихи, помню смутно содержание, но ни год, ни номер не запомнил и не записал. Не могу же я библиографировать все подряд, да и не знал, что мне это потом понадобится. Обратился к библиографам, и вот вам результат.

Если вы специалист в данной области науки, проблеме или готовитесь стать таковым, ни одна библиография для вас не достаточна. Следите за литературой, читайте журналы, составляйте свою библиографию, заводите картотеку или картотеки, советует Шмилауэр [15]. Так складывается ваша эрудиция, а эрудиция — дело индивидуальное.

«Своя картотека» — вещь тоже индивидуальная. Тут определяющими являются не международные стандарты, а наши личные вкусы и привычки; одни все записывают в тетрадку, другие применяют карточки, третьи — лис-

[14] *V. Šmilauer* Указ. соч., S. 12.
[15] Там же, S. 20.

ты в папках. Вся картотека известного «Словаря кашубских диалектов на фоне народной культуры» Б. Сыхты, к моему изумлению, помещалась в голове автора, который попросту работал без картотеки, потому что все помнил... Каждый метод имеет удобства и неудобства: тетрадные листы нельзя перетасовать, карточки — можно, но у них маленькая площадь, и каждую карточку надо еще паспортизировать, легко потерять, листы в папках трудно обозримы. Словарная работа строится почти исключительно на картотеках. В своей индивидуальной работе я привык комбинировать картотечный способ и листы в папках. Для частных потребностей, как говорит Шмилауэр, под картотечные ящики годятся и обувные коробки.

По вашей специальности или проблеме пишут не только в советской литературе, но и за рубежом, не только по-русски, но и на других языках. Желательно уметь все это прочесть и разобраться. Лингвист — не обязательно полиглот. Но поток научной информации не только многоводен, он еще и многоязык. Русисту надо читать на других славянских языках; каждому лингвисту необходимо уметь читать на основных западноевропейских языках (древникам и классикам нужны классические языки, чего мы здесь пока не касаемся). Эта жестокая необходимость быть «полиглотом для себя» не должна нас отпугивать. Существуют факторы, которые сильно облегчают задачу. Как говорит Шмилауэр, «для этого не нужно длительной подготовки и учебы; профессиональный язык весьма стандартен... Главное — не бояться» [16]. Конечно, без «длительной подготовки» возможно чтение на языке, генетически близком уже известному языку; скажем, владение русским языком позволяет осилить текст на любом другом славянском языке, знание французского языка весьма облегчает понимание текста на близкородственном итальянском.

Отвлекаясь от утилитарных нужд, следует признать такие переходы от языка к языку крайне полезными для наглядного приобщения к идее языковой эволюции и многообразия через ни с чем не сравнимую прелесть собственного наблюдения. Чем больше будет таких личных знакомств с языками, тем лучше для языковеда. Конечно, это всего лишь скромное «чтение со словарем», но его значения не стоит преуменьшать. С одной стороны, со словарем неразрывно связано всякое серьезное чтение, уж мы-то лингвисты, хорошо знаем это. С другой стороны, частотность обращения к словарю постепенно меняется (в зависимости от порогов знания), делается менее заметной. Известно наблюдение, что при встрече с новым словом в иноязычном тексте иногда не следует инстинктивно хвататься за словарь, стоит попытаться угадать сначала самому его значение на основе контекста, ситуации, словообра-

---

[16] *V. Šmilauer.* Указ. соч.. S. 25

зования и, наконец, — собственной интуиции. А развитие последней важно уже не только для усвоения языка, но и для исследования языка. Недаром говорят, что большинство слов приходит «само собой» из чтения, а не из словаря[17]. Конечно, при этом имеется в виду доброкачественное, заинтересованное, творческое чтение и не одних только текстов по специальности. Работы на другом языке по своей специальности читаются и понимаются без большого труда, что на практике как бы подтверждает тезис о международности науки. Но было бы жалко ограничивать свое знакомство с языком только текстами по специальности; мы не достигнем при этом той полноты самообогащения, которая наступает от чтения лучших писателей. В целом усвоение языка (языков) дарит нам то переживание успеха, которое так нужно исследователю и вкус к которому необходимо развивать у себя. Могу сказать о себе лично с уверенностью, что в научное языкознание я пришел через увлечение иностранными языками. А если предаться воспоминаниям, то в детстве меня более всего поразили латинские буквы и я вовсю принялся транслитерировать ими русские слова и играл, подписывая таким образом рисунки с разными приключениями, что мне казалось надписями «на иностранном языке». Может быть, с того все и началось. Позднее приходилось проводить и менее детские эксперименты с иностранными языками. Кстати, свой первый иностранный язык — немецкий — я изучал простейшим способом. В возрасте примерно 15 лет, в летние каникулы я засел добровольно за толстенную, неадаптированную, изданную в Германии прошлого века «Книгу сказок» и читал ее со словарем, выписывая и заучивая по 60—70 слов ежедневно. В общем это был неплохой эксперимент на загрузку памяти. Переводчица К. Ломб считает этот способ менее популярным, называет «зазубриванием» и определяет примерную норму 20—30 слов в день[18]. Лично мне это дало очень солидную базу твердого активного фонда немецкой лексики. Думаю, что только после этого новые слова начали приходить «сами собой». Французским и английским овладевал уже значительно легче, практически — самостоятельно и исключительно путем чтения художественной литературы. Тщательное заучивание вокабул хорошо тренировало и специализировало память и довольно долго поддерживало ее в хорошей форме. Уже в возрасте 27 лет, когда явилась перспектива командировки в Венгрию, я решил форсированно заняться венгерским языком и вспомнил свой метод — 60—70 слов наизусть ежедневно. Помню, знакомые выражали сомнение, дескать, одно дело в 15 лет, другое — в 27. Но я все-таки повторил опыт в полном объеме в течение трех-четырех месяцев и мог в момент поездки понимать содержание

[17] *К. Ломб.* Указ. соч. С. 64.
[18] Там же. С. 63.

небольших текстов и газетных заметок, а это ведь финно-угорский язык с другим типом, структурой и чужой основной лексикой. На практике это не так уж и пригодилось, но ознакомиться с иносистемным языком было и полезно, и интересно. Правда, овладеть глубоко венгерским языком не пришлось, но ведь полное овладение языком — вещь вообще недостижимая. Но запоминание и тщательное заучивание написания и произношения большого количества слов — прекрасная школа эмпирии, о которой хорошо сказано: «Основа всякого знания — это эмпирия и точное наблюдение фактов и явлений; они сами приводят к общим идеям, теоретическим синтезам и творческим гипотезам — правда, не всегда, не на каждом этапе работы, а главное — не у каждого» (Ян Розвадовский) [19].

В эпоху расцвета общих теорий не каждый любит и не каждый умеет работать с фактами, конкретные примеры плохо воспринимаются на слух, утомляют при чтении, придумано даже выражение «ползучий эмпиризм». И, однако, факты цементируют науку, в то время как теории изменчивы, они развиваются и по спирали и по кругу. Теорию можно сдать в архив, признать, что полностью устарела, но нельзя сдавать в архив факты. Впрочем, они и там не устарели бы как единственное, пожалуй, что не боится длительного хранения. Сейчас начинает возрождаться благое сознание единства филологии, а совсем недавно ревнители чистоты и самостоятельности языкознания не хотели слышать про филологию. Времена меняются, и вполне возможно, что сейчас те же самые люди одобрительно кивают головами, слушая разговоры о единстве дисциплин, изучающих культурный контекст... Но что-то при таких зигзагах утрачивается, как, например, малоизвестная ныне филологическая акрибия, приверженность к тщательной работе с письменным фактом, умение делать черновую работу, видеть «мелочи», не пропускать ошибки. Зато все хорошо разбираются, что престижно, а что не престижно (престижные занятия, престижная профессия, престижная роль), и уж, конечно, черновую, техническую работу не принято считать престижной (прекрасный повод для производственного конфликта!). А между прочим, черновую работу необходимо делать хорошо в интересах прогресса всей дисциплины. Как говорил еще Микеланджело Буонарроти: «Не презирайте мелочей, ибо от мелочей зависит совершенство, а совершенство — не мелочь» [20].

Но совершенство — это очень громко, почти несбыточно даже в конце большого свершения, это редко достижимая гармония фактов. Путь к нему труден. «Думать трудно», говорил академик В. В. Виноградов. Как праксеология представляет себе ступени творческого труда? Совершенно четко: под-

[19] *V. Šmilauer*. Указ. соч. S. 37.
[20] *T. Kotarbiński*. Указ. соч. S. 24.

готовка, вынашивание (в оригинале — польск. *inkubacja*, англ. *incubation*), озарение (англ. *illumination*, переданное у Котарбинского целым польским словосочетанием), проверка, уточнение [21]. И это все? А потом, снова: подготовка, вынашивание, озарение, проверка, уточнение? Нет, до тех пор, пока этим занимаются, слава богу, не машины, а люди, в определенный момент срабатывает психологическая усталость (это — когда все проверено, уточнено, отрецензировано, обсуждено, сдано, возвращено обратно, доработано, вновь сдано, но еще не издано), наступает естественное состояние, когда «уже все равно». И опять описание неполно, потому что самый сложный труд, труд затянувшийся и пока не дождавшийся удачного финала, освещен, хоть краткими, переживаниями успеха, если только это действительно творческий труд. Всегда ли это совпадает с публикацией? Нет, не всегда. Приходилось сталкиваться с людьми, которые боятся публикации, не любят читать корректуру, опасаются критики по выходе в свет, одержимы боязнью изменения status quo и т. д. А есть еще такие творческие личности, которые только тогда и познают чистое творческое счастье, когда пишут, а написав и, особенно, напечатав, начинают испытывать неудовлетворение. Словом, не так все просто и у сложившихся профессиональных исследователей, но о профессионализме специально — в следующий раз, а сейчас ограничимся беглым обзором элементарных требовании к хорошему труду, хорошей работе.

Первое требование — ясность. Ее противоположности — «ученого тумана» — рекомендует избегать Шмилауэр, который пишет: «Чтобы сохранить ясность понимания у нашего читателя, мы не должны колебаться объяснять даже элементарные понятия; давайте никогда не будем говорить “как хорошо известно” о вещах, которых мы до недавнего времени не знали сами»... [22] Хотя это одна из тем нашего следующего разговора, все же замечу здесь кратко, чт. е. ясность, а есть еще искусная имитация ясности — так называемая «элегантность» описания, но о ней — позже.

Следом за ясностью идет простота, умение просто излагать сложные явления, а не наоборот — усложнять простые вещи. С простотой связывают определенные выгоды исследования, так как простое действие — это экономное действие, а большая простота означает правдоподобие гипотезы [23].

Там, где есть ясность и простота, там уместна и краткость, и Шмилауэр напоминает нам изречение древних Μέγα βιβλίον — μέγα κακόν «большая книга — большое зло» [24]. Это тоже трудно и не все могут. «К старости люди тол-

---

[21] *T. Kotarbiński.* Указ. соч. S. 281.
[22] *V. Šmilauer.* Указ. соч. S. 40.
[23] *T. Kotarbiński.* Указ. соч. S. 125, 167.
[24] *V. Šmilauer.* Указ. соч. S. 39.

стеют»,— иронизировал акад. В. В. Виноградов по поводу 2-го, сильно расширенного издания одного курса «Введение в языкознание».

Вообще перечисленные требования отнюдь не банальны, а наоборот, актуальны для пишущих. Казалось бы, меньше сделать и написать легче, чем больше, но умеренностью, чувством меры, умением вовремя поставить точку обладают не все зрелые ученые. Полезно помнить, что оптимум — это не максимум, внушает нам Котарбинский вслед за Аристотелем [25].

Все мы работаем в институте или институтах, деятельность которых регулируется планом. Самый совершенный план всегда априорен, самая разумная творческая деятельность на разных этапах обнаруживает непредсказуемые ускорения, а чаще — замедления. Причины этого замедления должны внимательно изучаться, но здесь бывает много такого, что заслуживает полного понимания и уважения, когда речь идет о творчестве. Нашим планам постоянно не хватает гибкости, у нас слишком фетишизируется срочность или досрочность выполнения, а всегда ли при этом мы думаем о качестве? (Говорим мы о ней, положим, много.) Вот и приходит на память «притча о промокашке» у Котарбинского: «Вот, например, из уст знатока бумажной промышленности услышали мы попытку объяснения того, почему на нашем рынке, по крайней мере до 1952 г., имелись только плохо действующие сорта обыкновенной промокательной бумаги для промокания чернил. Промокашка, — говорил упомянутый специалист,— требует рыхлости, а эта последняя, в свою очередь, требует на определенной стадии производства медленного темпа обработки, в то время как предприятия старались отличиться количеством произведенных листов и поэтому с ущербом для качества изделия увеличивали темп производства» [26]. Дело было давно, и притом в Польше, но как нам это все знакомо!

Мы исходим из презумпции, что молодой специалист любит свое дело, свою тему, в зрелые годы, оставаясь специалистом узким, он, наверное, еще более укрепляется в этом. Нормальному человеку вообще свойственно любить свое дело и, вероятно, себя в своем деле. Но надо знать свои слабости, которые с возрастным склерозом могут, к тому же, прогрессировать. Шмилауэр, вслед за Бодуэном де Куртенэ, предостерегает нас против этой «слоновой болезни» в филологии: «Предмет, изучаемый со слишком большой любовью, вырастает под микроскопом мелочного исследования сверх необходимой меры и переоценивается в сравнении с другими... Кто возьмется за кельтский язык, находит его следы повсюду» [27]. Это одна из распространенных ошибок в науке вообще; между прочим, в геологии ее называют провин-

---

[25] *T. Kotarbiński.* Указ. соч. S. 213.

[26] Там же. S. 123—124.

[27] *V. Šmilauer.* Указ. соч. S. 38.

циализмом [28]. На тему ошибок мы еще будем говорить, беседуя об «образованном ученом». А пока будем держаться самых элементарных понятий. Элементарнейшее из них — это оппозиция Труд и Лень. Английский физик Б. Пиппард пишет: «Ибо наш самый большой враг не студент-нигилист, а инертность: самый ужасный грех не Гнев, а Лень» [29]. Мы давно знаем, что лень — мать всех пороков, но необходимо заметить, что современная лень тоже не стоит на месте, она сильно модернизировалась. Типичный ее нынешний представитель — это молодой человек, который уверен в своих способностях сам, а иногда уверил и окружающих, все может сделать, «стоит только захотеть», но почему-то так и не делает, впрочем, даже твердо знает, почему не делает, и вообще все твердо знает о себе и о других, лучше других; не спешит заняться делом, особенно «лишним», с его точки зрения, иронически смотрит на тех, кто «вкалывает», не щадя себя. Его не по годам развитому умению все взвесить только удивляешься. Уж он-то прекрасно разбирается, что престижно, а что ниже его достоинства. Он обычно ни в чем не сомневается, не подозревая, насколько это важно — уметь сомневаться для ученого и искателя. Ясно, что ученого из него не выйдет, как говорится, ни при какой погоде, хотя, заметьте, в этом виноваты будем, скорее, все мы, чем он сам, если, конечно, послушать его. Но в научных сотрудниках при наших-то бесконкуренционных условиях и мягких конкурсах он просидит долго.

Однако вернемся к ученичеству. Оно несовместимо с ленью; но рассмотрим опасности, которые таит в себе усердное ученичество. Тот же самый Пиппард справедливо указывает: «Индивидуальные привычки в мышлении у классиков науки слишком часто брались как пример для подражания менее одаренными людьми... успешное развитие и новшества становились стереотипными традициями, в которых несущественное выставлялось на первый план как образец. Это явное дилетантство» [30]. Мы подходим к обсуждению огромных по важности вопросов морали в науке.

Из них первый — отношение учителя и ученика, цели их обоих. «...Учитель работает с мыслью о том, чтобы сделать свое участие излишним», сказано об этом у Котарбинского. Иначе у него же это еще называется тенденцией к сокращению вмешательства, взамен которой рекомендуется наблюдение в чистой форме, причем ученик максимально предоставляется самому себе; руководство не должно быть навязчивым. Цель ясна: самостоятельность. Действительно, нет ничего важнее, как приучить будущего ученого к самостоятельному образу мышления.

[28] Методология исследования развития сложных систем. Цит. изд. С. 256.

[29] Образованный ученый. М., 1979. С. 33.

[30] Воспитание профессионализма // Образованный ученый. С. 35.

Даже в настоящее время, когда готовность молодого поколения к самостоятельности в суждениях на любую тему стремительно возросла, не нужно смешивать эту готовность с подлинной самостоятельностью, которая дается трудом, размышлениями, наконец, временем, самостоятельно потраченным на науку, а вовсе не одним желанием перечить старшим. Думается, что под показной ершистостью обычно прячется самый смирный эпигон. Эпигоны и эпигонство — распространенное явление, тем более досадное, что на первых порах и долгое время потом эпигонство может пользоваться репутацией прогресса и развития науки; вдвойне досадное, потому что — по природе своей суетливое и нескромное — оно может заслонять собой подлинных продолжателей, занятых настоящим делом. Таким образом, отношение учителя-инициатора и ученика-эпигона характеризуется обычно со стороны последнего фетишизацией аксессуаров, формальных моментов, аппаратуры. И это понятно: неспособный развивать на том же уровне содержательную сторону понятий и учения, эпигон цепляется за форму. Вот вам мысль Котарбинского на этот счет: «В общем и целом умный и творческий инициатор имеет на определенном этапе аппаратуру, худшую, чем оборудование у подражателя». Ближе к нашей специальности заметим, что нынешний эпигон до недавнего времени рта не раскрывал без того, чтобы произнести слово система. Эпигонство досадно еще и потому, что содействует обеднению фактического богатства, унаследованного от учителя-инициатора, очень часто безвинно при этом страдающего. Так, идейное содержание «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра отнюдь не исчерпывается понятиями системы и синхронии, получившими особую популярность у его продолжателей, но дает нам также совершенно другие стимулы, о чем будет специально сказано в следующей беседе. Эпигонство — это потеря гибкости, потому что «эпигоны, — как сказал Котарбинский, — подражают мастеру не в том, что существенно, например, не стараются поступать столь же пластично, как он, перед лицом изменчивых обстоятельств, но под гипнозом слов оставленного им текста, содержащего рекомендации, хорошие для его времени, применяют те же самые рекомендации к настоящему моменту, чего бы он никогда не сделал».

А в результате страдает качество. Нет понятия более конкретного и термина более повседневного и самого житейского, не покидающего страницы сегодняшних газет, о чем бы ни говорилось, однако в основе его лежит такая всеобъемлющая абстрактная идея, что этому уместно посвятить два слова, говоря сегодня о хорошей, т. е. качественной, работе. Дело в том, что нынешние официальные документы выглядели бы несравненно более громоздкими, а все оценочные производственные и бытовые характеристики — иными, если бы в свое время Платон не предпринял блестящий акт, объединив в нем философский и языковой неологизм и создав на базе греческого местоиме-

ния-прилагательного ποῖος 'какой, каковой' производное ποιότης как абстрактное обозначение этого «каковства» вообще и в частности, после чего Цицерон передал (калькировал) греческое ученое слово латинским *qualitas* от *qualis* 'какой, каковой', откуда пошло франц. *qualité* и т. д.[31]. Русское *качество* продолжает русско-церковнославянское **качьство**, которое явилось непосредственной калькой-переводом греч. ποιότης славянскими словообразовательными средствами. При этом семантический переход в сферу оценочного оказался у славянского слова вторичным от первоначального значения сущности, естества (ср. примеры в «Материалах» Срезневского, т. 1, стб. 1201, где толкование *qualitas*, т. е. *качество*, слишком прямолинейно). Таким образом, первоначально слово **качьство** было скорее отвлеченным субститутом более конкретных названий сущностей, например др.-рус. *комоньство* от *комонь*, *женьство* от *жена*, *въдовьство* от *въдова*, *мужьство* от *мужь*. Трудно представить себе, какие сложности в коммуникации повлекло бы за собой сохранение древнего положения до введения философско-лингвистического неологизма с обобщенным значением «качество». Несомненно, великая сила привычки приучила бы находить естественным и то и иное положение, и все различие понятно только с нынешних вершин развития языка и только тем, кто пытливо проникает в сущность его развития и предпочел науку о нем всем другим наукам.

В этом вопросе между нами, лингвистами, не может быть споров; мы сознательно избрали языкознание делом своей жизни. Но общеметодологические и общеэтические проблемы стоят в современности перед всеми нами так остро, что лучшие из нас, задумываясь над ними, порой приходят к неожиданным ответам. Наш выдающийся языковед В. И. Абаев в день своего 75-летия, отвечая на приветствия и поздравления, сказал: «Если бы меня сейчас спросили, какая наука важнее всего в наше время? Языкознание? — я ответил бы: нет. — Физика? — Нет, не физика. Сейчас для нас важнее всего этика». Эти раздумия ученого, встречающего в нынешнем году уже свое 80-летие, кажутся как нельзя более актуальными. Порой думается, что этика у нас находится в таком же запущенном состоянии, как упоминавшиеся выше каллиграфия и ораторское искусство. Но здесь для наших целей достаточно остановиться на нравственных сторонах научного труда и делового общения.

Знание изучаемого вопроса есть одновременно знание своего места в его исследовании. «Мы должны, далее, иметь в виду, — пишет Шмилауэр? — что мы не первые, кто работает над данной проблемой либо в данной проблемной области, что до нас уже делали наблюдения и думали, и что об этом

[31] *P. Chantraine* // Etymologie / Hrsg. von R. Schmitt. Darmstadt, 1977. S. 396.

19. Заказ № 2419.

существуют письменные свидетельства»[32]. Далее, у него же: «Мы не должны думать, что наука начинается с нас или с нашего учителя»[33]. Нам кажется, что мы открыли что-то новое. Спокойно, лучше проверить, помня, что говорится у Экклесиаста (1, 10): «Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас». Отстаивая свое новое, мы бываем запальчивы, и нам тут же делает замечание хороший педагог Шмилауэр: «Полемику… вообще целесообразно вести умеренно; чужие мнения вовсе не обязательно всякий раз тут же опровергать»[34].

Но есть одна сфера научных, деловых и бытовых отношений, на которую всем нам необходимо обратить первостепенное внимание, ибо все мы одинаково страдаем от проявлений необязательности всякого рода. Для дистанции возьмем сначала то, что пишет Котарбинский. А пишет он вот что: «…наше польское общество еще очень неразвито, в значительной степени по причине недостаточного внимания к общим ценностям хорошей работы… необязательность царит у нас везде и составляет одну из главнейших причин наших отношений в сфере хорошей работы… Как функционировать в коллективе с такими людьми?»[35]. Злые языки рассказывают фразу-анекдот, будто Котарбинский говорит: «Я-то знаю, что такое хорошая работа, но знают ли это поляки?». Будем справедливы и самокритичны: с обязательностью и хорошей работой вообще у нас дела обстоят не намного лучше. Здесь самое время вспомнить о скромности. В науке и около нее, в среде молодых, полных сил и энергичных работников появился свой тип деловых людей, «умеющих жить». Им, конечно, все это ни к чему. «Но скромность не такое уж старомодное качество ученого. Скорее всего, ей еще предстоит войти в моду…». Эти прекрасные, несколько отдающие ностальгией слова принадлежат ныне покойному акад. Н. В. Белову, кристаллографу и геохимику[36]. Самореклама и конъюнктурное проворство не свидетельствуют о большом уме и не могут ввести в заблуждение людей понимающих. «Начать какую-то “звонкую” работу гораздо легче, чем ее закончить», читаем мы у того же автора (там же). Зачинать надо в тиши. Недаром самая удачная этимология слова *затеять* — это, пожалуй, сближение с *таить*, *тайна*, как то подтверждает неожиданная находка родственной этому изолированному восточно-славянскому слову формы в сербохорв. диал. *истиjати* (черногор.) ‘изжарить на слабом, медленном огне’, причем реконструируется словообразовательно-

[32] *V. Šmilauer.* Указ. соч. S. 11.
[33] Там же. S. 14.
[34] Там же. S. 43.
[35] *T. Kotarbiński.* Указ. соч. S. 222.
[36] Методология исследования развития сложных систем. С. 297

семантическая пара праслав. **zatějati* ‘начать исподволь готовить’ — **jьztějati* ‘окончить укромно’. Над этим стоит подумать — и в этимологическом плане, и в этическом. Те, кто начинает без шума, скромно, как раз полны сознания ответственности. И в обществе и в науке возник большой дефицит чувства ответственности. И опять верно пишет акад. Н. В. Белов о том, что «стремление уйти от серьезных проблем, требующих, быть может, всей жизни, ощущается и у нас» [37].

Мы уже говорили об экспериментах на загрузку памяти. Себя вообще полезно проверить, хотя бы для того, чтобы поверить в себя. Когда же еще и делать это, если не в молодости! Обидно бывает за людей, которые с самого начала ограничили и оградили себя: этого они не смогут и то им не по силам. Откуда они это знают? А вот опытные преподаватели советуют давать задачи, которые кажутся неразрешимыми, более того, — такие, которые вообще не имеют конечных решений [38]. Вот что в связи с этим говорит Котарбинский, цитируя слова из «Автобиографии» Дж. С. Милля: «Ученик, от которого никогда не требуют ничего такого, чего он не может сделать, никогда не сделает всего, что может» [39].

Свое место в науке, свое лицо, гордость и самостоятельность дерзаний — об этих вещах надо не забывать с самого начала. Пусть в нашем багаже, кроме унаследованного и усвоенного богатства, всегда будет и свое, до чего дошли сами. Механически откладывать выработку своих идей «на потом» нельзя безнаказанно. Образно говоря, эвристические потенции нашего ума могут быть довольно высоки именно на стадии духовной невинности. Полезно ознакомиться с тем, что пишет об этом физик Б. Пиппард, уже упоминавшийся нами [40]: «...в те годы я оставался невежественным (как, впрочем, остался невежественным по сей день) по существенной части тех самых идей, на которые ссылаются как на высшие достижения науки. Мне следовало бы стыдиться самого себя, но я не стыжусь, отчасти из-за естественной привычки, отчасти и потому, что я, думаю, не мог бы усвоить этих идей, не потеряв невинности, которая позволила мне чуть-чуть двинуть науку, когда я пытался взглянуть на скромные проблемы по-своему, а не глазами других...».

Пока я готовлю эти беседы, на моем письменном столе, на видном месте стоит фото скульптуры Ивана Мештровича «Человек, который пишет»: пишущий сидит в несколько условной позе — колени вместе, как на древневосточных изображениях, столь же условно передано, как он пишет что-то на

[37] Методология исследования развития сложных систем. С. 297.
[38] Образованный ученый. С. 43—44.
[39] *T. Kotarbiński* Указ. соч. S. 175.
[40] Образованный ученый. С. 46.

тяжелых, как кирпич, скрижалях. Вечность и величие работы пишущего — вот что, наверное, имел в виду художник. На этом условности кончаются: перед нами вполне реальный портрет (кстати, это автопортрет самого Мештровича), пишущий не молод, но и не стар, он увлечен занятием. Одухотворенность его лица не мешает нам видеть, что он крепко сложен. Когда подумаешь о растущем потоке информации, растущей сложности современной науки и современной жизни с ее стрессами, дистрессами и самообслуживанием, то понимаешь, как нужны такие сильные руки и мощная шея каждому настоящему соискателю звания «Образованный ученый».

> Цена всякого знания определяется его связью с нашими нуждами, стремлениями и поступками, иначе знание становится балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки разве только пустому кораблю, который идет без всякого ценного груза.
>
> (В. О. Ключевский)

Беседа 2-я: Образованный ученый

Собственно говоря, название это не придумано мной, оно представляет собой перевод с английского — «The educated scientist» — названия публичной лекции английского физика Б. Пиппарда, включенной в переводной сборник с таким же названием[41]. Само выражение это кажется избыточным: образованный ученый? Но ведь ученый не может не быть образованным. Так-то оно так, но в современном мире ученых стало очень много, и уже одно это обстоятельство сигнализирует о возможном снижении общего уровня. Среди ученых все больше появляется людей, которых Пиппард относит к категориям «средний исполнитель», «средний ученый».

Два слова о терминологии. В противоположность русскому языку с его единым обозначением *наука* (кстати, слово еще праславянского происхождения) и единым названием деятеля — *ученый*, в английском существуют два — *scholar* 'ученый-гуманитарий', 'схоласт' и *scientist* 'ученый-естественник, специалист по точным наукам'. Соответственно этому производное scholarship означает 'пассивная ученость, эрудиция', а коррелят science значит 'точная наука', 'действенные знания'. Насколько можно понять Пиппарда, *scientist* — это более уважаемое лицо, чем *scholar*, поэтому переводчик пытается перевести последнее по-русски не то как «грамотей», не то как «школяр». У Пиппарда, конечно, свой ход рассуждений: «Должен ли ученый быть исследователем, который посвящает свою жизнь открытию новых ис-

[41] *Б. Пиппард.* Образованный ученый / Пер. с англ. А. В. Митрофановой. М., 1979.

тин, или, быть может, это ученый муж, хорошо сведущий в том, что уже открыто? Это только предполагаемые аспекты его возможного будущего, но он может быть подготовлен и для деятельности технолога, администратора, чиновника, учителя, или же, что наиболее вероятно, для его карьеры окажутся полезными качества сразу нескольких специалистов: и ученого, и администратора, и учителя…»[42].

Разумеется, нас интересует больше всего место ученого-гуманитария. Мы убеждаемся с огорчением, что физик Пиппард несправедлив к гуманитариям и проявляет по отношению к ним типичную заносчивость технократа. Он, например, говорит о склонности гуманитариев к «интеллектуальной неуравновешенности» и критиканству вследствие «чрезмерной учебы в той области, где невозможны категорические суждения»[43]. Далее там же: «В научных вопросах мы представляем тот авторитет, за которым студенты могут следовать без стыда, и этим мы в корне отличаемся от ученых-гуманитариев». Здесь налицо противоречие самому, себе, потому что, согласно Пиппарду: «…настоящая физика и техника начинается там, где ⟨…⟩ уравнения уже не имеют конечных решений»[44]. Следовательно, ни категоричность суждений, ни конечность решений в настоящей науке не следует переоценивать. Однако миф о том, что гуманитарии — это в основном адепты каких-то зыбких и туманных знаний, очень живуч. В большой и в целом интересной книге Дж. Бернала «Наука в истории общества»[45] о гуманитарных науках говорится мало и местами очень недальновидно. Начнем с того, что филологию он вообще забывает. С этим, впрочем, нередко мы встречаемся и у нас, когда материалы об общественных науках, например, в наших газетах обрываются, как правило, не доходя до филологии и уж тем более — языкознания. Еще античность завещала нам, что знания человека о себе и своем обществе (надматериальные, т. е. немедицинские, скажем) — высшие знания вообще («познай самого себя»). Бернал пишет, что общественные науки — самые молодые и несовершенные, он не уверен даже, насколько их можно сейчас называть науками (видимо, и этот почтенный британец заколебался, отнести ли их к science или к scholarship). Более того, он сочувственно передает мнение тех, кто полагает, что «общественные науки представляют собой остроумные, но безрезультатные слова. Они годятся для выбора темы диссертации и для получения ученой степени, годятся, чтобы занять преподавательское место, работать в рекламном бюро или в ученом совете»[46]. Вот даже как! В даль-

[42] Там же. С. 37.
[43] Там же. С. 48.
[44] Там же. С. 44.
[45] *Дж. Бернал.* Наука в истории общества. М., 1956.
[46] Там же. С. 530.

нейшей критике общественных наук у Бернала находим и верные замечания, например о переплетении наблюдателя и наблюдаемого [47]; он согласен признать, наконец, и сложность объекта и ввиду специфики объекта очень скептически судит о применении к общественным наукам математического метода или метода биологического с проистекающими отсюда упрощениями и ложными выводами [48]. В целом же это типичный образец критики извне, когда сам автор находится в одном лагере с теми, кто разделяет и поддерживает миф о том, что язык и другие предметы гуманитарных наук — это собрание фактов, которые можно понять без всякой науки вообще.

Критики извне, думая, что они критикуют современные гуманитарные науки, на самом деле воюют с давно минувшим прошлым, так что надо еще сперва разобраться, с чем мы имеем дело — с действительным отставанием гуманитарных наук или с отсталостью критики. Мнение о том, что нынешнее состояние гуманитарных наук напоминает положение естественных наук до Галилея и Ньютона, в том смысле, что в гуманитарных науках якобы по-прежнему «нет достаточно планомерного и контролируемого эксперимента — критерия практики при их применении» [49], следует признать глубоко устаревшим. Вот что пишет профессиональный лингвист — англист Г. Пильх: «Традиционная дихотомия между искусствами (arts) и науками (sciences) неприменима к языкознанию. По традиции языкознание зачисляют в искусства, изучающие древние тексты и историю языков. Однако его методы носят экспериментальный характер, направленный на построение доказуемых гипотез. Они могут подтверждаться с формальной точностью» [50]. Но уже более чем полвека тому назад экспериментальность научного языкознания обосновал Л. В. Щерба в статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», где он пишет: «Но, построив из фактов ⟨...⟩ некую отвлеченную систему, необходимо проверить ее на новых фактах ⟨...⟩ Таким образом, в языкознание вводится принцип эксперимента» [51]. Щерба указывает, что без эксперимента почти невозможно заниматься такими отраслями языкознания, как синтаксис, лексикография и стилистика [52], и заключает словами: «...я здесь лишь впервые теоретически обосновываю то, что практически, вероятно, многими делалось» [53].

Было время (оно еще не совсем окончилось до сих пор), когда назвать данную науку искусством (возможный дополнительный предикат: «как это

[47] Там же. С. 531.
[48] Там же. С. 537.
[49] *Дж. Бернал.* Наука в истории общества. М., 1956. С. 530.
[50] *H. Pilch.* Empirical linguistics. München, 1976. P. 190.
[51] Отделение общественных наук. Изв. АН. М., 1931, С.121
[52] Там же. С. 122.
[53] Там же. С. 129.

все нестрого!») — значило нанести большой моральный ущерб. В нас самих от тех времен еще сидит остаточный комплекс неполноценности. Помню, что на мою психику угнетающе действовали высказывания, что этимология до сих пор остается по большей части ars, а не scientia. Сейчас, положим, этого уже не слышно, но не в том сила. Мы можем сейчас даже великодушно вернуться к рассмотрению этого вопроса и сказать: да, в данной отрасли науки есть элемент искусства, как есть в ней и основа точного знания. И констатируем мы это не в осуждение слабостей данной дисциплины, а как признание ее глубины. Потому что послушайте, что говорит физик Пиппард: «...физика — это нечто намного большее, чем набор законов, применение которых дело элементарного навыка. Физика — прежде всего живое творение рук и мозга, которое передается более примером, чем зубрежкой. Она воплощает искусство решать проблемы материального мира. И поэтому физике надо учиться, но учиться как искусству» [54].

Величайший и до сих пор недостаточно еще оцененный эксперимент языкознания — это словарь, лексикография, ибо последняя является преимущественным практическим критерием выделения слова и определения его значения, чт. е. конечная цель научного языкознания. Лексикография заимствована у языкознания практически всеми прочими науками и использована в них вторично как форма кодификации их собственных терминов и метаязыков (языков описания). Одно это придает языкознанию исключительную важность в системе всех наук, а не одних только гуманитарных. Но не будем сейчас настаивать на выделении языкознания из этих последних, а тем более — из филологии. Изоляционизм (а мы еще будем говорить о нем) принес больше ощутимых бед, чем воображаемых достижений. Поэтому нас тревожит, например, отставание в оценке всех гуманитарных наук, а не одного только языкознания. Мы как-то привыкли (и не мыслим это себе иначе), что патенты (авторские свидетельства) за открытия в области гуманитарных наук не выдаются. Конечно, я понимаю, одна из возможных причин в том, что ожидаемый эффект тут трудно выразить экономически, подсчитать, например, в рублях, тем более — сделать это адекватно. Но разве это не свидетельствует косвенно о фундаментальном характере гуманитарных исследований? Разве другие фундаментальные исследования всегда легко выразить в рублях в смысле ожидаемого эффекта? Едва ли это возможно без большого практического огрубления. В науковедении раздаются голоса, что общие подсчеты «рентабельности науки в целом, очевидно, лишены какого-либо экономического смысла, поскольку к науке в целом неприменимы такие категории, как "цена", "рентабельность", "стоимость" и т. п. ⟨...⟩ На этом основании многие

[54] *Б. Пиппард.* Образованный ученый. С. 31.

ученые (например, Д. Бернал, М. В. Келдыш) вообще отрицают какую-либо возможность точного определения экономического эффекта науки» [55].

Не в этом гордость гуманитария. То, что о гордости гуманитария говорить уместно и нужно, я хотел бы подтвердить высказываниями ученых двух совершенно разных специальностей. Акад. А. Е. Ферсман: «Когда точное и положительное знание захватит в своем победоносном шествии самого человека, тогда во всей красоте будущее будет принадлежать тому, что сейчас мы называем науками гуманитарными ⟨...⟩ Снова к самому человеку, к его познанию и творческой мысли вернется наука, и прекрасны будут ее достижения на пороге нового мира, когда из того, что сейчас называем мы homo sapiens (человек разумный), создается homo sciens (человек знающий)». И академик Д. С. Лихачев: «Стало банальным говорить о том, что в XX в. расстояния сократились благодаря развитию техники. Но может быть, не будет трюизмом сказать, что они еще больше сократились между людьми, странами, культурами и эпохами благодаря развитию гуманитарных наук» [56].

Однако нельзя сказать, чтобы развитие гуманитарных наук в век техники походило на триумфальное шествие. Утилитарные нужды решили судьбу классической филологии в системе образования. Обычно это считается проявлением демократизации. Но вот О. Семереньи в элегической статье «Latein in Europa» приводит мнение английского историка Тойнби: «Наивысшее достоинство, которое я нахожу в “классическом” образовании, состоит в том, что его предметом является человек и его дела» [57]. В результате этого необратимого процесса мы хуже знаем по-гречески и по-латыни, менее свободно ориентируемся в греко-римском наследии, которое все равно пронизывает европейскую цивилизацию, несмотря на отмену классического образования. В результате мы меньше можем объяснить, тогда как «объяснять — дело филолога» [58].

Впрочем, стремительная технизация, не благоприятная для гуманитарных наук, неожиданно сама оказывается вынуждена апеллировать к различным гуманитарным аспектам. То, что представители разных наук заговорили сейчас о «языке науки», само по себе говорит, что без науки о языке не обойтись.

Не случайно в одном из последних номеров журнала лондонского института языкознания была опубликована статья, точнее лекция, проф. П. Стри-

---

[55] Науковедение: проблемы развития науки. М., 1979. С. 227—228.

[56] *Д. С. Лихачев.* Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 355.

[57] Latein in Europa // Latein und Europa. Traditionen und Renaissancen / Herausgeg. von K. Buchner. Stuttgart. S. 40.

[58] Пушкин в странах зарубежного Востока. М., 1979. С. 153.

венса о профессии лингвиста[59]. Проф. Стривенс показывает себя неплохим лексикографом, он подробно разбирает семантику терминов «лингвист» и «профессия». В число профессий, связанных с языком, он включает специалистов письменного и устного перевода, лексикографов и составителей тезаурусов, преподавателей иностранных языков, специалистов по культуре письма, системам письма и орфографии, по культуре речи и дефектам речи, фонетистов, исследователей речевой коммуникации, специалистов по языку машины, по теоретическому и описательному языкознанию, работников в области национальной языковой политики и планирования, особенно в развивающихся странах, и т. д. По мнению Стривенса, мы живем в эпоху большого интереса общественности к вопросам языка; важность языковых профессий в современном обществе — в управлении, иностранных делах, торговле, интеллектуальных вопросах не оставляет для него никаких сомнений. «...В повседневных интересах огромного числа людей язык занимает центральное место, если даже это может быть не всегда явным или признанным. Таким образом, в той или иной форме спрос на "лингвистов" растет»[60]. Автор ставит вопрос «What is a linguist» и формулирует в ответ шесть отдельных значений этого слова: лингвист 1 — «спикер при безмолвствующем вожде в западноафриканских обществах во время церемоний»; лингвист 2 — «учащийся или преподаватель современных языков»; лингвист 3 — «разговорное название полиглота»; лингвист 4 — «переводчик письменный или устный» (с пометой: особенно нужны в современном обществе); лингвист 5 — «специалист по грамматике, в том числе описательной»; лингвист 6 — «специалист по языкознанию». «Заметьте,— говорит тут проф. Стривенс,— что вполне возможная вещь, хотя, как я полагаю, и нежелательная, — быть специалистом по языкознанию, не зная ни одного иностранного языка». Он упоминает еще слово *linguistician*, употребляемое лингвистами-практиками пренебрежительно о лингвистах-грамматиках или теоретиках. Столь же дотошно разобрав признаки профессии (не всякий может стать...; нужна подготовка; поддержание профессионального уровня; общественное сознание; регламентация), автор заключает, что профессия лингвиста существует, ибо она отвечает всем этим ДП. Эта лекция-статья Стривенса была адресована к переводческой аудитории, на их стороне и симпатии автора (он подчеркивает, что переводчики «особенно нужны»); лингвисты в подлинном смысле слова, т. е. специалисты по научному языкознанию — мы с вами, стоят по шкале Стривенса на последнем месте («лингвист 6»). Их к тому же практики драз-

---

[59] *P. Strevens* The profession of the linguist // The incorporated linguist. 1979. № 3. Vol. 18. P. 76.

[60] Там же.

нят нехорошим словом *linguistician*, которому у нас нет эквивалента. Но именно на их плечах лежит основная работа по научному исследованию языка, работа большой трудности, от которой так или иначе зависит практика.

Поэтому главное наше слово — о теории. Обостренное внимание к онтологической сущности науки, свойственное для нашего времени, объясняет небывалый общий интерес к проблемам общего языкознания, к которому сейчас как бы повернуты лицом все специальные отрасли нашей науки. Одним из специалистов частной отрасли языкознания является и автор этих строк, который не избирал делом всей жизни общую теорию и не с нее начинал (и может быть, что греха таить, даже какое-то время недооценивал общее языкознание как таковое, с увлечением работая на уровне фактов; помнится, мой уважаемый научный руководитель даже порицал меня за это: дескать, все хорошо идет у аспиранта Трубачева, не интересуется он только общим языкознанием).

Начинал я в свое время с опытов самостоятельного исследования на уровне фактов и по сей день считаю, что этот путь самый верный для созревания самостоятельного научного работника, и наоборот — для меня остается загадкой, как можно сложиться в самостоятельную творческую личность, если тема твоей диссертации — чужие научные воззрения. Могу сказать, что, лишь пройдя школу фактического исследования, лишь после этого я с отрадой ощутил у себя возрождение интереса к общей теории, и интерес этот оказался осмысленным и избирательным. Опыт фактического исследования помогает самостоятельно ориентироваться и в общих теориях, а это немаловажно, потому что ориентироваться стало не так легко. Вам известно, что XX в. — век крайнего разветвления теорий общего языкознания. Было бы долгим делом одно их простое перечисление, да это и не входит в наши задачи. Положение усложняется тем, что между теориями идет борьба, вплоть до взаимоотрицания. На смену структурализму, который незаметно стал «классическим» и разделился на несколько разновидностей, частично приходит генеративный метод. Сама смена теорий объективно объясняется сложностью изучаемого предмета — языка — и непрекращающимися поисками. Конечно, более новая теория не значит более совершенная, хотя само движение теоретической мысли знаменует определенную неудовлетворенность прежней теорией. Очевидно, надо развивать в себе умение критически, здраво — в меру сил — оценивать то положительное, что способна дать каждая теория наряду с тем спорным или просто неприемлемым, что в ней содержится. Оставляя в стороне трансцендентальные моменты в аргументации генеративистов, исследователи других направлений обращают внимание и на некоторые положительные возможности: «Мысль о том, что часть производных всякий раз в акте речи вновь производится по имеющимся правилам (типам словообразования), а не припоминается как окончательные слова языка, тоже не является

целиком ошибочной. Ее только нужно было бы больше согласовать со взглядами функционалистов на функционирование производных. Истина, должно быть, где-то посередине»[61]. В структурализме к числу положительных достижений следует отнести системно-структурный анализ оппозиций и дифференциальных признаков, констатацию элементов семиотики в языке (языковой знак), но, как отмечалось в литературе, исследование связей целого при этом сильно отставало[62]. Структурализму так и не удалось преодолеть жесткость дихотомической концепции синхрония — диахрония, смена синхронных срезов всегда оказывалась лишь суррогатом концепции полнокровной языковой эволюции. Идея эволюции, мотивы эволюции — все это оказывалось за пределами возможностей структурализма, но, согласимся, всегда интересовало и будет интересовать языкознание.

Не так уж далеко то недавнее прошлое, когда раздавались голоса, что структурализм — это единственно научное языкознание. Не будем злопамятны, нас всех интересует структура языка. Просто нужно честно признать ограниченность применения также этого метода, который дал наиболее законченные и красивые образцы описания фонологии, но попытки некоторых ученых перенести эти приемы описания на другие уровни языка, «фонологизировать» и их, в общем, не оправдали себя. Меньше всего приемы структурного описания оказались применимыми в лексике, которая упорно сопротивлялась попыткам структурирования, как некая асимметричная и неисчислимая громада. Дело сводилось к отдельным оппозициям лексем, но что это значит перед лицом незамкнутого множества лексем! Я говорю это, опираясь на свой опыт исследования групп лексики. Не здесь ли зародилась идея, что язык — это «система систем», строго говоря, идея недоказуемая. Можно сказать, что лексического теста структурализм все-таки не выдержал. А если учесть, что все прочие уровни языка манифестируются только через лексику (семантика, словообразование, морфология, фонетика-фонология), то это довольно серьезно. Я далек от мысли предложить «лексикализировать» на этом основании все уровни хотя бы потому, что это сопряжено с методологически уязвимой идеей описания менее многочисленных единиц через более многочисленные, но ясно одно: лексика — это эталон асимметрии, а сущность языка, по-видимому, асимметрична, и в этом причина его постоянных изменений. Ни для древнего, ни для нового состояния языка неблагоразумно говорить о всеобъемлющей и тем более — о непротиворечивой системе. Система симметрична, симметрия устойчива; не было бы стимулов движения, ничто бы не сдвинулось с места.

---

[61] *V. Urbutis.* Zodži darybos teorija. Vilnius, 1978. S. 50.

[62] См.: *Г. С. Щур.* Теории поля в лингвистике. М., 1974. С. 15.

Мы знаем и ежедневно убеждаемся, что в языковой действительности это не так. Всегда есть налицо элементы системы, но целое в принципе асимметрично. И не надо его упрощать или подменять собственными моделями. Таким образом, существует ряд научно-лингвистических методов или теорий. Два из них мы упомянули, кратко назовем и другие. Все мы согласны с тем, что язык есть выражение, реализация нашего сознания, что он является средством коммуникации. По поводу ответа на вопрос, что такое язык, такой радикальный антисоссюрианец, как В. Маньчак, пишет: «Странным и вместе чреватым последствиями является факт, что языковеды дают на этот кардинальный вопрос, как правило, туманные или ошибочные ответы, повторяя, например, вслед за Платоном, что язык — это орудие взаимопонимания ⟨...⟩ или за Соссюром, что язык является системой знаков. В то время как в действительности язык не что иное, как устные и письменные тексты, т. е. попросту все, что говорится и пишется» [63]. Конечно, реплика Маньчака тавтологична («язык есть язык...»), и она одновременно служит нам предостережением, что не нужно спорить запальчиво и не по существу. Да, язык социален, да, он реализуется в виде текстов (ср. с высказываниями Л. В. Щербы о «текстах» как «языковом материале» [64]), да, в языке наличествуют элементы системы, да, разные элементы языка наделены разной степенью знаковости, да, язык обнаруживает потенции порождения слов и форм по активным правилам и моделям. Обязательно ли эти утверждения противоречат друг другу? Нет, все они более или менее правильно характеризуют разные стороны языка, и вместе с тем ни один из исследовательских методов или теорий не может претендовать на главную роль по той простой причине, что неисчерпаемое богатство языка превосходит возможности одного метода, и это давно пора понять приверженцам одной теории. Сходные наблюдения можно встретить у представителей других наук, например: «...системный подход может успешно выполнять свои методологические функции в науке, не обязательно выступая в форме теории» [65]. Явление богаче закона, согласно материалистической диалектике. Что же говорить о таком всеобъемлющем явлении, как язык! Об этом забывают ревнители чистоты, скажем, структурного метода, когда им, например, приходится запоминать, что объяснительная сила резко возрастет со вводом исторического аспекта, в противном случае остается «строгое», но малопродуктивное описание. Главное для нас — сам язык и полнота нашего проникновения в него всеми доступными методами.

---

[63] *W. Mańczak.* Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970. S. 6.

[64] *Л. В. Щерба.* Указ. соч. С. 121.

[65] Науковедение: проблемы развития науки. С. 77.

В исследовательской практике и в научном обмене мнений, в усвоении научной информации приходится считаться с тем, что вместо достаточно гибкого и широкого методологического подхода к языку весьма распространены односторонние концепции и изложения. Так, и сторонники и оппоненты Соссюра хорошо помнят, что у него сказано: «Язык есть система знаков, выражающих понятия»[66]. Почему-то и те и другие не придают должного значения его же слонам: «...язык есть факт социальный»[67]. Дальше мы еще коснемся других положений этой книги, на которые полезно обращать внимание сегодня.

Работая в целом на иных направлениях, я в то же время считаю, что возможности системно-семиотического подхода отнюдь не исчерпаны, что их можно и следует развивать. Так, Соссюр, например, практически не обратил внимания на особую знаковость (сверхзнаковость) имени собственного, на ее способность к возрастанию по мере забвения лексико-семантического субстрата. Знание эквивалентной передачи этих знаков одного языка и культуры средствами знаков другого языка и культуры — неизменно острый вопрос. Когда лет 35 тому назад наш чехословацкий коллега Ольдржих Лешка делал сообщение в Институте славяноведения АН СССР на хорошем русском языке, он все упоминал там о каком-то «коданьском» структурализме и не все присутствующие сразу разобрались, что это копенгагенский структурализм, только по-чешски (kodaňský). Довольно давно по телевидению транслировался многосерийный французский фильм «Жан-Кристоф»; из него мы узнаём, что брата Жана-Кристофа обокрали в Майансе, дело было в Германии, но такого города в Германии нет, а есть Майнц, по-французски — Mayence. Эта ономастика настроена на французского читателя и зрителя; не слишком образованные переводчики не посчитались с этим. В плане передачи таких имен-знаков, настройки их, так сказать, на русского читателя, а не на французского этому роману у нас с самого начала не повезло: он продолжает называться у нас по-французски — «Жан-Кристоф», а надо — «Иоганн Кристоф», ведь герой — немец, а главное — эти немецкие имена в русском культурном обиходе вполне приемлемы, в отличие от французского культурного обихода. Теоретическое положение об особом характере знаковости имен собственных (их Sprachbezogenheit, языковая ориентация) имеет, таким образом, отражение на практике. Неучет его приводит к логической ошибке: умножаются сущности, о чем я уже писал[68]; кроме того, происходят помехи на культурном уровне. Близкое положение о том, что не существует исключительной антитезы «зна-

[66] *Ф. де Соссюр*. Курс общей лингвистики. М., 1977. С. 54.
[67] Там же. С. 44.
[68] ВЯ. 1978, № 6.

ки» — «не-знаки», но есть «знаки в большей или меньшей степени», находим в книге О. С. Ахмановой [69]. Но, как верно заметили авторы упомянутой книжечки, главный объект языкознания — значение [70], и сознательный учет существующих методов вовсе не предполагает их смешения [71], и в этом — тонкость интердисциплинарного подхода. Стоит ли говорить, что такая опасность особенно велика в эпоху расцвета моделирования, когда начинают изучать свою модель и метод вместо объекта и происходит уже упоминавшееся смешение наблюдателя и наблюдаемого.

«Независимость отрасли науки» и ее крайние формы нам, в общем, известны на конкретных примерах, и поэтому не лишено интереса изложение этого вопроса в уже известной нам книге Котарбинского «Трактат о хорошей работе»: «В сфере человеческого умения, например изящных искусств, спорта, игр, повторяется ситуация, когда мастера в данной отдельной отрасли увлекаются лозунгом ее независимости от других искусств и учета только того, что свойственно для нее 〈...〉 Этому сопутствуют изоляционистские лозунги вроде “искусство для искусства”, истолкования языковых явлений исключительно языковыми причинами и т. д. Постепенно в такой изолированной специальности наблюдается тенденция к непревзойденным рекордам 〈...〉 возникают периоды парадоксальности, экстравагантности либо из-за остывания интереса к типичным проблемам, либо из-за исчерпания новых непарадоксальных возможностей. Против тяжелой болезни наступающего затем бесплодия главное лекарство — порвать с изоляционизмом, установить связь с другими сферами деятельности» [72].

Значит, изоляционизм — это всегда плохое в первую очередь для самих изоляционистов, и чем умнее исследователь, тем быстрее он должен это понять и постараться выйти из тупика. Наш лозунг поэтому — интердисциплинарный союз и взаимообогащение методов, дисциплин, наук. Интердисциплинарный подход всегда осуществляется при преобладающем значении какой-то одной дисциплины. Например, при общности источников у языкознания и истории примат в их прочтении остается за языкознанием. Неверное словоделение у историков ведет к ошибочному историческому комментированию. Например, в книге «Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962—1976 гг.)» [73] приводится грамота № 481 (XIII в.): **поклонъ.**

---

[69] *O. Akhmanova, R. F. Idzelis.* Linguistics and semiotics. Moscow, 1979, P. 100.

[70] Там же. P. 7, 23

[71] Там же. P. 13.

[72] *T. Kotarbiński.* Traktat o dobrej robocie. Wyd 5. Wrocław; Warszawa; Krakow; Gdańsk, 1973. S. 315.

[73] Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962—1976 гг.). 1978. С. 74—76.

Ѿловцакоѡстаѳиипослиграмотꙋѡжекꙋны, насьть. инаимитꙋ. арожекаковъ. зѾидꙋбхдастьловъта. ковъ. змꙋть. Членение и интерпретация в книге: *Поклонъ от ловца ко Остафии. Посли грамоту оже куны на сеть и наимиту. А роже, каковъ Зеиду бо(гъ) дасть ловъ, тако възмуть* «...а что касается ржи, то ее возвращение зависит от того, какой бог даст Зеиду улов». Зеид характеризуется как «непашенный ловец». Однако членить следует иначе:...*а роже како възѣиду(ть) бо(гъ) дасть, ловъ тако възмуть* «а рожь как взойдет, бог даст лов, так возьмут». Никакого «непашенного ловца Зеида» в Новгороде не было, это имя неизвестно составителям также из других источников.

Пробираясь между Сциллой интердисциплинарности и Харибдой специализации, исследователь должен помнить об опасных крайностях. Очень верно сказано, что «чрезмерная специализация грозит ученому потерей интеллектуальности, разрывом связей с общечеловеческой культурой, из которой возникла и с которой в действительности тесно связана современная наука»[74]. «Развитие ученого, — пишет Котарбинский, — 〈...〉 должно напоминать клепсидру. Начинаться оно должно с широкой энциклопедической базы, после чего должна последовать концентрация специализации и, наконец, затем снова постепенное расширение круга проблем»[75]. Великолепно сказано у Котарбинского о том, что он называет «горизонтами мысли»: «Как всем известно, успех в специальной работе зависит от достаточного овладения собственной специальностью, а она требует, чтобы ограничивались ею. Такое ограничение создает угрозу, что сам человек сделается ограниченным человеком 〈...〉 Теперь мы хотим поднять эту тему применительно к интеллектуальным специальностям 〈...〉 И здесь мы также видим принципиальное решение не в возврате к какому-то индивидуальному пантехнизму, к совокупному компетентному практикованию во многих далеких специальностях, а в углублении определенной специальности и расширении, таким образом, горизонтов мысли. Не выглядывать в мир каждый раз через другое окно, а присматриваться ко всем явлениям мира всегда через одно и то же окно»[76]. То, что вам рассказывалось выше об ориентации в общих теориях, тоже есть не что иное, как попытка взглянуть на широкий мир общих проблем языка через свое окно этимологии и лексикологии, тем более что это делалось не так уж часто.

Мы с вами условились с самого начала смотреть на вещи широко. Для нас с вами образованный лингвист — это филолог, гуманитарий, ему небезраз-

---

[74] Методология исследования развития сложных систем. Естественно научный подход. Л., 1979. С. 292.

[75] Там же. С. 215.

[76] *T. Kotarbiński.* Указ. соч. S. 286.

лично место гуманитарных наук в кругу всех наук, он гордится своим делом, он не согласен на второстепенную роль для своей науки, свою профессию лингвиста он не променяет ни на какую другую; он хорошо знает свою узкую специальность, но пытливо интересуется всем языкознанием. Он увлеченно работает, и очень не хотелось бы ему мешать, но все-таки давайте зайдем в его воображаемый кабинет и посмотрим, как он пишет, какими путями добивается лучшего понимания проблемы со стороны читателя, какими методами и понятиями оперирует в своей исследовательской практике, как разбирается в сложном, изменяющемся мире идей, насколько сознательно (или просто привычно?) обращается он хотя бы с некоторыми важными категориями, наконец, как он умеет ошибаться. Обо всем подробно не скажешь, да и не нужно.

Начнем со стиля. Каков стиль, таков и сам наш образованный ученый. Мы пишем, чтобы быть понятыми, следовательно, мы заинтересованы писать просто. Однако распространена тенденция писать утонченно, не без сложностей, так сказать для избранных, которые способны оценить эти сложные термины, символы, формулы. Не протестуя против элегантности, мы возражаем против показной элегантности. На ее оборотную сторону обращает внимание известный уже нам Пиппард, сказанное им равно касается и нас, лингвистов: «Эта элегантность прельщает, однако на практике она не добавляет начинающему физику сил для решения задач, а скорее уводит его в сторону от понимания элементарных истин» [77]. Такой культ элегантности ведет к сильно развитому формализму, а «опасность сильно развитого формализма заключается в его уникальности», — говорит Пиппард и продолжает далее: «Таким образом, эти методы могут быть крайне сильными для решения разрешимых задач, но они не порождают в воображении аналогий, которые могли бы привести к решению неразрешимых задач» [78]. За примерами у нас далеко ходить не нужно. Несмотря на попытки формализовать этимологическую процедуру (А. С. Росс, Я. Рудницкий, Л. Киш), в этом деле не продвинулись дальше констатаций известного: можно формализовать (изложить, записать формульно) известную этимологию, но не существует формул, порождающих новые, ранее неизвестные этимологии. Некоторые мои коллеги, которые в конце 1950-х — начале 1960-х гг. вели разговоры, что вот, мол, скоро этимологии начнет выдавать машина, думаю, давно убедились в несерьезности этих разговоров. На смену человеку-лексикографу едва ли придет машина-лексикограф, даже если об этом и продолжают разговаривать люди, не сделавшие сами ни одного словаря. Им бы следовало помнить, что словарь — это воплощенный критерий лингвистических теорий, и сложное и тонкое де-

[77] *Б. Пиппард*. Образованный ученый. С. 41.

[78] Там же.

ло лексикографии — это не какая-нибудь вспомогательная операция, которую просто формализовать.

Уже в самом начале говорилось, что есть ученые-регистраторы и ученые-исследователи. Думается, что сейчас, после распространения методов синхронного описания, первых стало даже больше. Но науку двигают в конечном счете вторые. Собственно, сейчас в науке просто описания — без исторической глубины или без анализа — котируются невысоко. Приведу только два, но зато довольно ярких высказывания. Пиппард прямо и образно говорит о «недоброжелательном уважении, которое вызывает просто аккуратное описание явлений» [79]. Другие естественники прямо отвергают «неправдоподобную точность» описания, предпочитая ей «объективную неопределенность», и толково объясняют причину такой своей позиции — постоянное развитие объекта познания [80].

Нужно ли говорить, что мы тоже имеем дело с развивающимся объектом. Если в основе описания лежат статические представления, а сам объект изучения является развивающимся, ясно, что одних статических представлений недостаточно; необходимо перейти к представлениям более высокого порядка — динамическим, но переход этот не для всех и не всегда легок [81]. Достаточно сказать, что накопленные современной лингвистической типологией наблюдения, важные для исследователя, как правило, ориентированы на статику. Но типология страдает статичностью как бы вынужденно, а классический структурализм возводит статичность в принцип, что уже выглядит сейчас как признак старения теории. Соссюр писал: «Лингвистика уделяла слишком большое место истории; теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения...» [82]. Уже здесь у Соссюра имплицитно заложена идея цикличности развития науки и как бы неизбежности последующего возврата к истории на новом уровне. Об ограниченности статической, якобсоновской типологии неплохо сказано у А. С. Мельничука: «Таким образом, эти авторы пытаются перенести на доисторические этапы формирования систем вокализма данные, характеризующие языки с уже сформировавшимся вокализмом. Ясно, что такой подход логически несостоятелен» [83].

Еще Соссюр указал, что статика (синхрония) сопряжена с определенными упрощениями объекта исследования [84]. Столь же универсальной можно

---

[79] Там же. С. 29.

[80] Методология исследования развития сложных систем. С. 90—91.

[81] Там же. С. 49.

[82] *Ф. де Соссюр.* Указ. соч. С. 115—116.

[83] *А. С. Мельничук.* О генезисе индоевропейского вокализма // ВЯ. 1979. №5. С. 13.

[84] *Ф. де Соссюр.* Указ. соч. С. 134.

сейчас считать констатацию большей объяснительной силы у диахронического исследования. Знаменитые соссюровские дихотомии язык — речь, синхрония — диахрония сыграли свою роль в науке и постепенно утрачивают былую теоретическую актуальность. Но классический труд Соссюра не покидает рабочего стола лингвиста. Кроме Соссюра — теоретика синхронической лингвистики с его страниц сейчас все чаще обращается к нам Соссюр — тонкий знаток истории языка. Эти части его книги читаются сейчас со все более острым интересом, как, например, неизменно актуальная глава о реконструкциях, которые характеризуются как цель любого сравнения, регистрация успехов науки и надежная процедура. Любая письменная традиция, даже такая, как латинская, имеет пробелы и нуждается в реконструкции. Конечно, Соссюр имеет в виду только фонетическую реконструкцию; о семантической реконструкции вопрос встал много позже. Эта последняя зависит от успехов семантической типологии, а здесь еще предстоит многое сделать.

Мы уже упоминали о слабостях статической типологии. Необходимо указать также на предельность, неуниверсальность универсалий. Бóльшая стабильность морфологии, чем лексики, оказывается иногда исследовательской привычкой, а не универсалией. «Специалист-индоевропеист удивится, увидев, что на африканской территории лексика имеет абсолютное преимущество над морфологией» [85].

Мы — за историческое языкознание и глубоко верим в его еще не исчерпанные потенции, обогащенные структурно-типологической методикой. Но необходимо трезво сознавать, что наша наука не может объяснять всегда всё и притом совершенно однозначно. Множественность решений вообще свойственна для наук объясняющих, в том числе точных и естественных.

Образованный, мыслящий лингвист трезво отнесется к любой надвигающейся на него волне моды (а моды в науке ах как сильны, и устоять против них бывает трудно и зрелым мужам науки, о женах я уж не говорю). Сейчас, когда язык готовы растворить в едином контексте культуры, настоящий лингвист останется лингвистом, он продолжает искать ответы в материале языка, в лучших достижениях своей науки. Он должен уметь находить там, где другие давно не ищут или привыкли искать другое. Неразумно одной прямолинейности противопоставлять другую, лишь бы свою, и настаивать снова, как это делали не так давно, на имманентности развития языка. Язык не закрыт для внешних влияний. Но он отражает и преломляет их своеобразно. Даже лексика предметов материальной культуры знает много чисто лингвистических парадоксов. Еще Виктор Ген искренне удивлялся: «Достопри-

---

[85] Problemi della ricostruzione in linguistica. Atti del Convego internazionale di studi. Pavia, 1—2 ottobre 1975. Roma, 1977. P. 207.

мечательно, что слово Butter, butter 'сливочное масло' пришло к большинству народов Западной и Центральной Европы окольным путем с Понта Евксинского через Грецию и Италию — две страны, которые почти не знали и не ценили продукт, обозначенный этим словом»[86].

Настоящий лингвист не покоряется предвзятым суждениям. Он подвергает их сомнению и часто находит подтверждение своим сомнениям. Например, что бурные эпохи в истории не обязательно отражаются в резких фонетических изменениях (а так обычно думают), что литературный язык не всегда и не везде связан с наличием письменности, чему пример — Гомер; что диалектные различия объясняются не расселением, а фактором времени. Эти отнюдь не избитые решения, важные для этногенеза, лингвистической географии, исследования литературных языков, можно найти в «Курсе» Соссюра[87].

Огромной, зыбкой массой расстилаются перед исследователем словообразование и семантика современного языка. Их исследование является актуальным, но вместе с тем тонким делом, изобилующим парадоксами и предъявляющим требования не только к уму и кругозору, но и к чувству юмора исследователя. Синхронное словообразование, если о нем вообще возможно говорить, принимая во внимание процессуальную природу термина и понятия «словообразование», должно пониматься в тесной связи с диахроническим словообразованием. На первый план выдвигается функционирование и — в каком-то объеме — порождение в речи. Как говорил еще Соссюр: «Таким образом, формы сохраняются, потому что они непрерывно возобновляются по аналогии...»[88] Здесь кратко, парадоксально, но метко схвачено то, о чем теперь пишутся большие книги. Но отличие слов от фраз в речи в том и заключается, что фразы — большей частью новые, а большинство слов — уже известные (слышанные), на что обращает внимание теоретик синхронного словообразования Урбутис[89]. Исследователь синхронного словообразования тяготеет к актуальному языковому сознанию, и Соссюр называет это субъективным анализом: «С точки зрения субъективного анализа, суффиксы и основы обладают значимостью лишь в меру своих синтагматических и ассоциативных противопоставлений...»[90]. Как определить при этом границы объективного научного анализа? Углублять ли его в этимологию и историю, поскольку это может уберечь от грубых ошибок, произвола и субъективизма,

[86] *V. Hehn.* Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe. Amsterdam, 1976. P. 129.

[87] *Ф. де Соссюр.* Указ. соч. С. 183, .231-232, 203, 245.

[88] Там же. С. 207.

[89] *V. Urbutis.* Указ. соч. S. 51.

[90] *Ф. де Соссюр.* Указ. соч. С. 223.

оставив описательное словообразование и «динамическую синхронию» за функционированием? Многим хочется провести черту здесь между синхронией и диахронией, но удалось ли это кому-нибудь в чистом виде? Корректно ли говорить о словообразовании или деривации заимствований или лучше все-таки видеть здесь включение в какой-либо ряд, т. е. адаптацию [91]? Но настоящий лингвист, на своем опыте знающий, что вопросов всегда бывает больше, чем готовых ответов, не спешит и тут с готовыми суждениями и осуждениями. Он внимательно приглядывается к описательному (функциональному) словообразованию и словоупотреблению, дающему выгоды непосредственного наблюдения. Среди таких наблюдений встречаются методологически чрезвычайно важные, например о несовпадении семантической и формальной мотивации [92].

Образованный лингвист не знает очень многого и старается никогда не забывать об этом. Но и это не спасает его от ошибок. Самые опытные и образованные делают ошибки, часто весьма досадные, особенно — для них самих. Ошибаться свойственно человеку, но это плохое утешение. Собственно, прав на ошибку у нас не так-то много. Ни сложность предмета, ни высокий полет мысли никогда не извиняли неточностей в анализе или опечаток в книге. Надо воспитывать у себя точный глаз. Терпеливо читая и перечитывая, «что я там такое написал», мы всегда найдем у самих себя с чем поспорить, что исправить, а что и просто вычеркнуть. Придирчивая автотекстология — хорошая школа борьбы с верхоглядством. Что же касается самих ошибок, в науковедении предпринимались опыты описания «характерных ошибок науки». Это уже упоминавшийся в нашей первой беседе провинциализм, т. е. стремление ученого перенести признаки своей области на другие области знания; «стремление к нахождению различий при обнаружении нового и утрата целостного представления о предмете исследования»; «избыточность информации»; «подмена общего частным, главного — второстепенным, определяющего — случайным»; «переоценка роли эксперимента» [93]. Хотя это перечисление ошибок было первоначально адресовано не нам, а геологической науке, оно заслуживает также нашего понимания. В пункте о переоценке роли эксперимента содержится, между прочим, поучительная рекомендация не полагаться излишне даже на успешный эксперимент и безукоризненную модель; смысл в том, что рафинированность условий их построения как раз мешает увидеть всю сложность объективной действительности. Занятно читать, далее, как сами электроэнергетики предостерегают против излишней веры в

[91] *V. Urbutis.* Указ. соч. S. 115.
[92] Там же. С. 75, 83.
[93] Методология исследования развития сложных систем. С. 256.

могущество вычислительной техники, так как и она «приводила к ошибочным представлениям — будто бы можно вычислить развитие сложной системы во всех ее деталях...» [94].

Творческий исследователь, искатель не может полностью ни предсказать, ни предвидеть результат своей работы. Но он обязан представить детальный план. В сущности, это конфликт, выйти из которого поможет только разумный компромисс, учитывающий интересы и требования обеих сторон — работника и учреждения [95]. В интересах эффективности творческого труда план не должен поглощать все активное, творческое время личности. Кто-то говорил, что плановая работа должна занимать лишь одну треть активного времени; не знаю, скорее всего это индивидуально. Долговременные, трудоемкие лингвистические работы, как, например, словари, требуют в целом больше. Но и неустанное перо лексикографа необходимо периодически откладывать в сторону, чтобы подумать на другие научные темы. Что сказать о досугах? Большая наука, к сожалению или к счастью, не любит отпускать своих людей. Лично я давно отказался от намерения освободить свои субботу — воскресенье от научных занятий. Говорят, «мозг не отдыхает». Но жизнь так сложилась, интерес берет верх, а организм, я думаю, тоже привык (что ему остается делать?). Нашим громоздким коллективным плановым работам сопутствуют большие канцелярские издержки. Все стонут от отчетности. «Отчетность пожирает время», — признает Котарбинский [96]. Львиную долю времени при коллективных работах забирает общение между работающими. Просто человеческое общение превратилось в роскошь. А эмоции? О них ни в коем случае нельзя забывать, они напомнят о себе сами, ведь наука — борьба мнений, а следовательно, и эмоций. «Но даже и между подлинными учеными, принадлежащими к разным школам, в какой-то мере поддерживается состояние необъявленной войны» [97]. Таким образом, образованный ученый, если он живет и работает по полной программе, живет трудно.

Наш образованный ученый может многое: работать на овощной базе, таскать и грузить мешки и ящики, работать на уборке урожая (реалии 1970—1980 гг.) Но его место — за рабочим столом. В интересах науки. В интересах общества. Берегите образованных ученых — и мужчин и женщин.

---

[94] Там же. С. 257.

[95] *T. Kotarbiński.* Указ. соч. S. 286.

[96] Там же. С. 236.

[97] Методология исследования развития сложных систем. С. 298.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЛОВАРЯХ И ЛИЧНОСТИ ЛЕКСИКОГРАФА

Мои размышления навеяны докладом В. И. Абаева «Как нам улучшить этимологические словари» на симпозиуме по этимологии, исторической лексикологии и лексикографии 1984 г. и судьбой «Историко-этимологического словаря осетинского языка» 1958—1989 гг. Кажется, совсем недавно мне выпадала честь лично приветствовать Василия Ивановича Абаева сначала по поводу его 75-летия, затем — 80-летия. Тема моего приветствия, облеченного в форму доклада, была — «Абаев и этимология». Я не стал менять тему и к его девяностолетию (1990 г.). Не потому, что сегодня и так меняется столь многое (рубль наш насущный, идеология общественная, идеология политическая), что порой нравственным кажется сохранить долю консерватизма, т. е. сдержанности в отношении перемен, а иными словами — человеческого в себе. Но не только внешними или личными соображениями объясняю я свою верность теме. Меня побуждает к этому мой предмет, точнее, лицо нашего высокочтимого юбиляра. Сам Василий Иванович постоянно учит нас примером своей жизни не отрывать деятельность ученого от всей его нравственной личности. Полагаю возможным поэтому и свои размышления о словарях и словарниках начать с личности Абаева-этимолога.

В лингвистике есть понятие инварианта — некоего ядерного элемента, который, будучи отовсюду окружен вариациями, изменениями, сам изменениям не подвержен. Что может произойти с нами, если мы умеем в жизни только одно: варьировать? Я думаю, наше будущее в этом случае неплохо прогнозирует этимология и история значения одного польского глагола — *zwariować* 'сойти с ума, ошалеть, взбеситься', а первоначально — 'сварьировать'... Так что безудержно варьировать небезопасно. Мне больше импонирует семантика и символика другого глагола — латинского *perseverare*

'преодолевать жестокие, неблагоприятные обстоятельства, самому укрепившись и став твердым'. Как видим, и из этимологии можно почерпнуть нравственный урок. Не ошибусь, если скажу, что фигура Абаева, человека и ученого, покоряет нас именно своей инвариантностью в истории наших общественных и научных течений.

Совсем не смешно, когда в нашей неспокойной действительности, особенно среди тех, кто быстро «варьирует», появился крикливый тип людей, требовательно зовущих всех, буквально всех к покаянию. Будем снисходительны к этим людям: как правило, это те, кто не так уж много сделал в жизни, поэтому возможность поучить других их приятно возбуждает. Ведь замечено, что учат, «как надо» работать, как правило тех, кто работал больше других. Этот небезопасный сорт поучателей и призывателей к покаянию, кажется, даже получил у нас меткое название «литературных чекистов». Не будем их недооценивать, при всякой перестройке такие всплывают на поверхность, они мешают (и мешали) жить хорошим работникам науки, как Василий Иванович Абаев, Федот Петрович Филин и, конечно, многим другим. Вот и нашему Василию Ивановичу в день его славного 90-летия, конечно, вспоминается другая — лингвистическая — «перестройка» 40 лет назад, когда, между прочим, от него, уже знаменитого ученого и сложившегося уникального специалиста, назойливо требовали, чтобы он покаялся и перестроился. Возблагодарим судьбу, что этого не произошло, что нравственная тема «perseverare», скажем так, обозначила эту жизнь, вопреки всем и всему. Не будь этой несбиваемой верности своему собственному нравственному императиву, вряд ли мы имели бы, что имеем, и прежде всего — этот magnum opus, «Историко-этимологический словарь осетинского языка», да и самого его создателя как личность в науке. Такая личность в науке украсит любую науку, и отрадно сознавать, что это наше достояние, нам, которых почти что убедили, что мы оскудели именно личностями.

Том I своего Словаря Василий Иванович выпустил уже немолодым, 58-летним человеком. Сколько было в истории науки примеров, что на этом история словаря и кончалась, и всегда нашлось бы тому множество серьезнейших оправданий. Словарь был первый в своем роде, с двойной задачей — историко-этимологический, ничего подобного до сих пор по осетинскому языку не было (остается добавить, что по десяткам остальных иранских языков нет до сих пор). Абаев работал один, у жизни было предостаточно шансов оборвать эту нить, риск был огромен. Конечно, эти трудности сказались: том II Словаря увидел свет только через 15 лет после I-го; еще через 6 лет последовал выход III тома, и лишь через 10 долгих лет после III-го вышел в прошлом году завершающий том — IV-й. Я так говорю, потому что все мы ждали этого завершения, мы «болели» за Словарь Абаева, мы — это те, кому

небезразлична этимология и история иранских и других индоевропейских языков, этногенез народов — носителей этих языков. Я знаю, как называется то, что сделал Абаев: это подвиг в четырех томах. Говорю это с полным знанием дела, поскольку сам, с небольшим коллективом, работаю над многотомным «Этимологическим словарем славянских языков». Разумеется, все решает ответ на вопрос, как это было сделано. Словарь Абаева подтвердил и без того высочайшую научную репутацию Василия Ивановича: как говорится, magna cum laude. Это полезно иметь в виду, потому что сам автор, демонстрировавший и на чествованиях самоиронию («делать этимологические словари интересно и легко, надо только каждый день писать несколько строк и так — сорок лет...»), однажды сказал, думаю, слишком строго: «Не могу сказать: “полная неудача”. Но можно говорить о неполной удаче. Словарь мог бы содержать больше общегуманитарной (исторической и этнографической и пр.) информации» [1].

Что же, советами Василия Ивановича, как улучшить наши словари, нельзя пренебрегать, и мы к ним еще вернемся. Но, как говаривал наш славянский черноризец Храбр в своем «Сказании о письменах» добрых тысячу с лишком лет назад, — проще потом исправить, нежели впервые сделать. Печатавшийся на протяжении 30 лет, созданный впервые в мировой иранистике и не оборвавшийся, доведенный до завершения одним человеком, — эти характеристики «Историко-этимологического словаря осетинского языка» всегда и во всем мире будут вызывать почтительное удивление.

Но можно по-человечески понять и Василия Ивановича: он собой не вполне удовлетворен и не удовлетворится, видимо, никогда. Довольна собой только посредственность. Недаром греками было высказано мнение, что назвать себя ὄλβιος ‘блаженный, счастливый’ не вправе живущий, для этого якобы необходимо подведение всего жизненного итога; это мнение, между прочим, обосновывалось ими этимологически — ὄλβιος из ὅλος βιος ‘вся, целая жизнь’; версия не такая уж наивная, если принять возможную у ионических греков утрату густого придыхания (псилоза ὄλος < ὅλος), однако новые этимологические словари греческого языка предпочитают считать слово темным, забыв о догадке древних.

Впрочем, тут надо сказать об одном признании, ибо это признание счастливого человека. Василий Иванович с глубоким удовлетворением говорит, что примерно 1000 экземпляров его Словаря разошлась в Осетии, значит, Словарь приобретали для своих библиотек далеко не одни только лингвисты, которых там, естественно, не так много.

---

[1] *В. И. Абаев.* Как можно улучшить этимологические словари // Этимология. 1984. М., 1986. С. 7.

А что касается пожеланий автора по улучшению этимологических словарей, они — в следующем. Нужно больше внимания этногенетическим процессам, говорит Василий Иванович. «Что такое этимологический словарь? Это — самый глубинный аспект исторического словаря. А что такое этногенез? Это самый глубинный вариант истории народа»[2]. Субстрат и прародина, как понимает Абаев, находятся в отношениях дополнительного распределения: где нет первого, там следует искать второе. Нужно внимательно учитывать лингвогеографические ареалы и их эволюцию, изоглоссы, связывающие области с близкими явлениями. Все это пища для истории языка, истории культуры. Новое слово, которое сказал здесь сам Абаев, — это перекрестные изоглоссы, приоткрывающие действительную картину многодиалектной сложности каждого языка уже в его древнем состоянии. Это положение весьма актуально, если иметь в виду, что по сей день теоретики оперируют по большей части понятием изначального бездиалектного единства языка. Отметим и такое пожелание Василия Ивановича, как призыв: «больше внимания звуковой символике». И это понятно. Глубинный взор такого этимолога, как Абаев, проникает сквозь толщу условного, мотивированного, образованного как бы «по соглашению» (θέσει), как сказал Сократ у Платона (диалог «Кратил»), говоря словами археологов, — весь культурный слой языка. Но у истоков языка всегда был и будет слой естественно возникших звукосимволов (кратиловские φύσει), и живой язык никогда не утрачивает способности воспроизводить это свое «кратиловское» начало.

Семантика также, как правильно считает Василий Иванович, далее, заслуживает с нашей стороны большего внимания. Верно замечено, что здесь обречены на неудачу все чересчур общие регламентации. Все они могут быть оспорены; языковая действительность всегда богаче их. «Семантика, — заметил Василий Иванович, — дама капризная. Ей присущи черты “женской логики”. От нее всегда можно ожидать каких-нибудь сюрпризов»[3]. Что ж, верно сказано — и о семантике, и о «женской логике». Надо воспринимать и семантику языка и женскую природу вместе с присущей ей логикой такими, как они есть, а там, где не хватает средств науки, призывать на помощь жизненный опыт, здравый смысл, наконец — искусство. Вообще: антитеза наука — искусство во многом надуманна, меж ними нет полярной оппозиции, и сам Василий Иванович, выступая на своем 90летии, весьма уместно вспомнил итальянское возрожденческое понятие gaia scienza ‘веселая наука’ (мы бы сказали — наука с элементами искусства).

Бесспорно принят должен быть, далее, призыв Василия Ивановича: «Больше внимания реалиям исторической жизни народа, его материальной и

---

[2] *В. И. Абаев.* Указ. соч. С. 8.

[3] Там же. С. 21.

духовной культуре». Здесь сам автор вспоминает свой прекрасный этюд 1957 г. о славянском *mědь*, название металла, меди, в котором он увидел первоначальное название страны Мидии, опираясь в этом не только на язык, но и на сведения археологии и истории о давней добыче металлов в Закавказье. Я назвал абаевский этюд о меди прекрасным, с таким же правом можно назвать его красивым, ибо красивое есть убедительное не только в искусстве, а и в науке (к вопросу о снятии упомянутой антитезы между ними). Как красива, например, постановка Абаевым славянского **мѣдь**, как он полагает, первоначально этнического названия ('Мидия'), в этнический — и одновременно словообразовательно-морфологический — ряд основ на *-ĭ-*: **Русь, чудь, водь, жмудь, весь, ливь, емь, сумь, пермь, Скуфь** 'Скифия' (всё это народности и страны Древней Восточной Европы). Другой почтенный иранист говорит (правда, кажется, не зная об этой абаевской находке): «Всюду, где мы встречаем подлинно иранское производное в функции названия страны, представлено образование с суффиксом женского рода *-ĭ-*, именительный падеж на *-iš-*: *H^vārazmiš*, *Bāxtriš*, *Harahvatiš*» [4]. Кто лишен чувства прекрасного, тот обречен не только в искусстве, но и в науке. Из личных ассоциаций: не так давно один оппонент упрекнул меня в наличии у меня «красивых построений». Мне жаль моего оппонента: сам того, конечно, не желая, он сделал мне комплимент.

А теперь — еще об одном упреке Василия Ивановича, который он адресовал всем нам, кто числит себя этимологами, а значит, и себе самому, мастеру в этой науке. «В этимологии, — рассуждает Василий Иванович, — в отличие от других областей языкознания, переживших в наш век подлинную революцию, наблюдается методологический застой» [5]. Застой… Все дело в том, в чьих устах прозвучали эти слова, — в устах строгого к себе и другим подвижника науки, каков Абаев, или, боже упаси, конечно, если возьмет их «на вооружение» кто-то из «литературных чекистов», особенно если умыслит он «поприжать» этимологию и этимологов.

О существе проблемы: не всякий застой есть стагнация, как говорится. Это во-первых. Занимаясь сопоставлением этимологических словарей с историческими словарями и того, что о них думают другие лингвисты, со своими наблюдениями, я пришел в свое время к выводу, что большинство важных семантических изменений фондовой лексики состоялось еще до появления письменности и вскрывается этимологически (это относится не только к младописьменным языкам, но — что интересно — также к древнеписьменным, в их числе и таким, письменность которых насчитывает более тысячи лет, на-

---

[4] *O. Szemerényi*. Iranica V // Acta Iranica: Monumentum H. S. Nyberg. II. Teheran; Liège, 1975. P. 348—349

[5] *В. И. Абаев*. Указ. соч. С. 8.

пример славянским, и даже таким, как греческий, письменная история которого до наших дней исчисляется тремя с половиной тысячелетиями), а на долю так называемых исторических словарей приходится уже период покоя. Покой есть жизнь, а не смерть, наиболее плодотворная, быть может, фаза жизни, созвучная со свойством языка оставаться самим собой, даже изменяясь. Покой не чужд насыщению и обновлению сил, как раз наоборот. То, что имеет место в этимологии, лично я назвал бы именно этим более одобрительным словом: деятельный покой, а не «застой». Развивая мысль, скажу (что говорил, помнится, и ранее, на 80-летии нашего юбиляра), что этимология не должна иметь «своих особых принципов», они для нее едины с принципами и законами всего сравнительного языкознания (эти принципы можно сейчас сформулировать следующим образом: сравнительное языкознание плюс лингвистическая типология плюс внутренняя реконструкция, но это не поколеблет основ — да и зачем их колебать всуе, это уж кому что нужно: кому-то, возможно, «нужны великие потрясения», а нам нужна хорошая этимология...). Чтобы покончить с тем, что я обозначил выше пунктом «во-первых», добавлю, что лично меня жизнь моя научная все более учит склониться к некоему аналогу того, что в русской философии называется русской школой всеединства Вл. Соловьева, убедительно выступившего еще в прошлом веке со своей «Критикой отвлеченных начал». Разве каждый из нас не имел серьезного повода убедиться, что и у нас преувеличенно «строгие» методы, наши лингвистические «отвлеченные начала» не самодостаточны, а скорее ограничены, исчерпаемы, что язык один, наука о языке едина, что мы не только этимологи, а прежде всего лингвисты.

Теперь скажу кратко о том, что «во-вторых» — о том, что называют революцией «в других областях языкознания». При всех минусах нынешней нашей переходной эпохи мы должны быть благодарны ей в главном: она открыла нам глаза на самоистребляющую суть всяческих революций, на их способность к самооткату. Разве не подвергаются практическому пересмотру краеугольные положения соссюрианской революции в языкознании, разве постепенно не утрачивает свою актуальность, например, эта антитеза языка и речи? Разве не утрачивает доказательность тезис о том, что весь язык есть система, т. е. якобы нечто неподвижное, «où tout se tient»? Разве выдерживает испытание временем и материалом куриловичевский изоморфизм всех уровней языка — фонетики / фонологии, словообразования / морфологии, семантики (вплоть до синтаксиса — у нынешних генеративистов и трансформатологов)? Разве не логичнее сейчас говорить об «анизоморфизме» уровней языка, об их автономии? Эти уроки жизни умудряют, правда, отбирая порой лишние силы. Что ж, на то они и уроки жизни. Да и мы в этимологии все же сегодня не «у разбитого корыта» (это — к вопросу о феномене «самооткатно-

сти» революций в жизни и в науке, которые, слава богу, не «перестроили» этимологию в худую сторону). Думаю, что и о всеобогащающей силе жизненных уроков дает нам повод вспомнить замечательное нынешнее 90летие ученого и человека.

Итак, повторяю, мы сегодня отнюдь не «у разбитого корыта». Наша этимологическая лексикография, как и наши этногенетические исследования, котируются высоко во всем мире. Если наша философия вместе с нашей новейшей историей легли как бы в затяжной дрейф, то в филологии, главным образом лингвистической, нашими учеными сохраняются передовые позиции. Ученая деятельность Василия Ивановича Абаева и ее мировой престиж доказывают это. Научный вес и значение его исследований всегда далеко выходят за рамки, скажем, специального осетиноведения, что проистекает от исключительного авторского умения за частным увидеть общее, поставить материю родного языка в связь с широким кругом других языков и культур. Читательская аудитория Словаря Абаева и других его известных трудов соответственно тоже широкая и состоит далеко не из одних только иранистов и осетиноведов. К последним, например, не принадлежит автор этих строк, славист, имеющий честь причислять себя к постоянным читателям всего выходящего из-под пера Василия Ивановича. Так и недавно вышедший, завершающий том IV Словаря Абаева прочтут, внимательно просмотрят с пользой для себя специалисты по самым разным языкам — не только славянским, у которых с иранскими языками так много общих проблем, но и по балтийским, по латинскому, по германским, которые участвуют в «скифо-европейских изоглоссах», выявляемых Василием Ивановичем. А сколько захватывающих сюжетов из истории культуры тут еще ждет своих будущих исследователей? Им облегчит путь изучение таких блестящих прецедентов в этой области, как абаевское исследование осетинского *Wærgon*, имени бога-кузнеца, в его связях с латинским именем равнофункционального персонажа — *Volcānus* (и то и другое на базе культа волка и его забытого названия **volcus*, **vulcus* в латинском, где, как известно, возобладало инодиалектное по происхождению *lupus*, и равным образом утраченное осетинское *wærg* 'волк'; сохранились и там и тут производные *Volcanus*, *Wærgon*, что чрезвычайно поучительно). За подобными встречами слов стои́т очень многое из прошлого самих народов. И здесь по-прежнему остается немало неразведанного и манящего. Мы по-прежнему представляем себе слишком схематично и неизбежно упрощенно, скажем, те же древние славяно-иранские отношения как отношения двух монолитов, здесь найдется работа и для этимологии, и для лингвистической географии. Я не буду сейчас останавливаться на своей давней уже попытке вскрыть заинтересовавший меня эпизод древних диалектных славяно-иранских лексических связей, который я обозначил тогда как polono-

iranica. Как не менее интересный пример совсем противоположного рода — а именно когда предпринимается попытка обосновать, вопреки сложившейся традиции, как раз неиранский генезис славянского слова, обычно зачислявшегося в иранизмы, позволю себе кратко упомянуть еще не опубликованное исследование, которое автор, молодой польский ученый К. Витчак из Лодзи, прислал в редактируемый мной сборник «Этимология». Суть его в том, что загадочное древнерусское имя божества *Ръглъ* (засвидетельствованы формы: *Ръгла*, *Ръглу*, в сочетании с другим именем *Сима*, *Симу*, *Сѣма*), обычно читаемое как некое слитное *Сѣмарьглъ*, *Симаръглъ* («Повесть временных лет») и объясняемое в литературе весьма различными способами, в том числе и как заимствование иранского демонического имени *Симург*, польский автор этимологизирует как самостоятельное местное исконное славянское соответствие древнеиндийскому *Rudrá-*, божество буйства и природных сил, — ниоткуда, повторяю, не заимствованное, но преобразованное на Новгородском Севере в форму *Ръглъ* закономерным фонетическим путем из праславянского **Rъdlъ*, восходящего, далее, к индоевропейскому **rudlos*, к которому возводится, в свою очередь, и имя индийского Рудры, в иранском языковом материале, кстати, неизвестного. Как бы то ни было, этот образчик не только смелой, но и довольно расчетливой этимологической комбинаторики демонстрирует далеко не исчерпанные ресурсы этимологии и реконструкции древней культуры и этноязыковых отношений.

Нам, не иранистам, хорошо видно глобальное значение этимологического осетиноведения. Этнолингвистическая реконструкция исторического прошлого небольшого народа на Северном Кавказе уводит в такие дали и обретает масштабы, которые поражают воображение. Распространение скифов в Древней Евразии от Карпат на Западе до Алтая на Востоке с глубоким проникновением в Переднюю Азию на Юге, еще бóльшая экспансия летучего сарматско-аланского элемента в Западной Европе — не только до островков вроде Alainville [этимологически — 'город аланов'] во Франции, к югу от Парижа, о чем упомянул проф. Ж. Лазар в приветственной речи на 90-летии В. И. Абаева, но и дальше, вплоть до Британских островов, а на Дальнем Востоке — до островов Японии, ибо на обеих этих периферийх находят следы скифско-сарматского культа меча[6]. Можно сказать, что древняя история не знала другого такого примера. И вот — все прошло, как в библейском

---

[6] О скифском культе меча, воткнутого в землю, и восходящей к нему рыцарской традиции круглого стола короля Артура см. специально [*C. Scott-Littleton.* From swords in the earth to the sword in the stone: a possible reflection of an Alano-Sarmatian rite of passage in the Arthurian tradition (1) // Homage to G. Dumézil / Ed. by E. C. Poloine. Washington (D. C.), 1982. (Journal of Indo-European studies. Monograph № 3).

Экклезиасте. Но золото скифов поныне лежит в земле. Другие народы давно населяют эту землю, но до сих пор называют они реки Юга Украины и России этимологически скифскими, сарматскими, аланско-осетинскими именами. Трудно представить себе, что это может измениться в каком-либо отдаленном будущем. Скифский мир с его языком и культурой не исчез без следа, он растворился и ушел в нас, живущих и населяющих эти обширные пространства. Это — часть нашего самосознания, часть нас самих. Я не стану цитировать Блока, скажу лишь, что нет дела почетнее и труднее, чем дело раскрытия истоков, питающих наше самосознание, где наряду со многими другими началами навсегда отпечаталось также скифское. В этом — глубинный смысл этимологии 'науки об истинном', то, что выносится за скобку ее исследовательских процедур и громоздких знаний. Пожизненно выполнять с неизменным успехом эту работу способны лишь немногие. Тем выше наша благодарность ныне здравствующему Мастеру великой науки Этимологии.

* * *

Эти мысли излагались и оглашались осенью 1990 г., впрочем, их приуроченность только к этому моменту времени, наверное, не нужно преувеличивать. Более того, автор даже склонен охотно повторить их и сейчас, в данном, несколько отличном корпусе, и это тем более, что опубликовать их, как предполагалось, и там, где предполагалось, не представилось возможным по суровым и объективным обстоятельствам, усложнившим всю жизнь обеих Осетий в последовавшие годы. Тема эта не нова, она остается центральной и для вышеизложенного моего выступления на славном юбилее ученого, да и вообще она стоит того, чтобы к ней возвращаться почаще — к человеческому (и жизненному) фактору в словарном деле. Я знаю, что многие, скорее, согласятся с этим, хотя допускаю возможность и иных мнений вроде того запомнившегося однажды негативного высказывания, что составлению словарей присуща будто бы неизбежная рутина... Не стану комментировать этого мнения, скажу лишь, что знаю, что́ может чувствовать лексикограф в своей повседневной работе, где непредсказуемого порой больше, чем предсказуемого, и идущий на вас вал слов и значений обеспечивает это вполне и всегда. А этимолог-лексикограф (и я уже говорил это в другом месте) — лексикограф вдвойне, он несет ответственность и за письменную, и за дописьменную традицию, и на спасительную р у т и н у (этимологически — 'проторенную дорожку') при этом рассчитывать особо не приходится. Поэтому — да простят лексикографу р а д о с т ь — от каждодневного малого продвижения труда, конец которого при этом еще не виден; от редкого одоления тех пре-

делов, на которых остановились достойные и не худые родом предшественники. Так, выпуск 19 нашего «Этимологического словаря славянских языков» (М., 1992. С. 250—251) наконец миновал зловещее слово *morъ* 'мор, чума, эпидемическая, смертельная болезнь', на котором весьма символически еще в начале века навсегда остановился одноименный словарь Эриха Бернекера (ум. в 1937 г.). Причины, говорят, были: грянувшая вскоре Первая мировая война, в которой автор участвовал, да и усердие критиков... Принимая и продолжая эту эстафету из почтенных рук (Германия, где выходил словарь Бернекера, имела репутацию классической страны этимологии и этимологических словарей), мы встречаем 20-летие с начала выпуска своего нового и более обширного словаря (1974—1994) изданием его 20-го выпуска, с тревогой вглядываясь в пока сокрытое от нас будущее нашего дела.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

[О Михаиле Федоровиче Мурьянове (1928—1995)]

Автора статьи «Рождение трагедии “Моцарт и Сальери”» не стало 6 июня 1995 г. В тот же день обращением к слову Пушкина началось заседание редколлегии «Словаря русского языка XI—XVII вв.», членом которой состоял и Михаил Федорович Мурьянов — литературовед, сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. В последние 10 лет жизни он объединял целое направление Пушкин и Древняя Русь, успешно исследуя традиции в сложении символов, аллегорий, метафор, в конечном счете — в сложении русской культуры.

Для Мурьянова — автора докторской диссертации «Гимнография Киевской Руси» (1986) — понятие средневековой культуры всегда было сложным. Оно реконструировалось им и по романо-германским рукописям (1966), и по фрагментам латинских рукописей VIII—X вв. (1966), и по древнерусским письменным текстам — их реальному (1976) и словарному комментированию (*хлябь* — 1980, *искрь* — 1981, *сыр* — 1987, *сила* — 1989), а также путем изучения семантической эволюции (*хлеб насущный* — 1980, *сим победиши* — 1987 и др.).

В арсенале работ Мурьянова, относящихся к средневековой культуре, — символика росписи Нередицкой церкви (1974), миниатюра старофранцузского легендария (1972), надписи на Соловецком колоколе (1976). Органично входят в творчество тех лет «Реальный комментарий “Скупого рыцаря”» (1971), «Отражение символики артуровского цикла в русской культуре XVIII в.» (1976), «Пушкин и Песнь Песней» (1974) и даже «Символика чеховской “Чайки”» (1975). Понять эпоху можно, лишь раскрыв ее символы и обстоятельства рождения шедевров.

Михаил Федорович подвижнически трудился для достижения столь трудной цели и постоянно контролировал себя, задаваясь вопросом: «Следует ли взламывать совершенство в поисках его прежнего (текстологически) менее совершенного состояния?». Круг чтения Мурьянова-исследователя уникален, а стиль его изложения изыскан. О культуре Мурьянова-автора скажу лишь, что мое редакторское зрение, не скрою, весьма утомленное чтением иных неряшливых рукописей, просто отдыхало и наслаждалось ввиду полного отсутствия в его текстах опечаток или описок.

Конечно, диалог продолжается, остаются темные в этимологическом отношении слова и выражения. Есть пища и для споров с Мурьяновым-исследователем. Но эти споры всегда плодотворны, они побуждают задуматься и сосредоточиться на неясном во имя выяснения. Как тонко, например, все, что написано Мурьяновым о слове *раскаяние* в пушкинском языке, в том числе и критика того, что данное существительное пропущено в «Словаре языка Пушкина», где учтен лишь глагол *раскаяться*, толкуемый к тому же «безрелигиозно». Далее, он установил, что слово *раскаяние* было пропущено и в известных «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, хотя оно встречается в текстах древнерусской письменности XI—XII вв. Весьма убедительно и точно комментируется Мурьяновым семантическая история слова *торжество*: сначала — обоюдная купля-продажа, с последующим выделением победного обертона. Любопытны и его наблюдения о словах, которые, являясь фондовыми для нас, отсутствуют у Пушкина, будь то слово *космос* (у Пушкина — только в сложении *космо-полит*, в «Евгении Онегине» единственный раз) или слово *культура*, не встретившееся в пушкинском языке ни разу (яркий пример того, как терминология закономерно «запаздывает» и слова идут не в авангарде, а в арьергарде процесса образования самих понятий). Вообще Мурьянов-исследователь демонстрировал безграничное филологическое трудолюбие, что позволило ему накопить богатейшие библиографические сведения.

Он предпринимал экскурсы в сравнительно-историческое языкознание (можно сослаться на собранные им сведения о лексеме *лебедь* у славян и германцев, сопоставление образности лебедя в северных культурах сравнительно с тем, что известно об этом в Библии, в средиземноморском регионе). Такой подход, может быть, экзотичный для пушкиноведения, едва ли оказывается избыточным для Мурьянова, поскольку благодаря ему многого удалось достичь. Он стремился к раскрытию со всей полнотой темы «Пушкин и Русь» — и делал это неукоснительно и в большом, и в малом. Многократно — при тонком и глубоком анализе гапаксов и трудных мест пушкинского поэтического языка и лексикона, в первую очередь, — Мурьянов предстает перед нами как серьезнейший историк культуры.

20. Заказ № 2419.

Умение прийти к значительным обобщениям на материале весьма частных филологических и культурно-исторических этюдов отличает Мурьянова-исследователя. В вопросе об александрийском столпе он стал на сторону бельгийского ученого Грегуара, понимая это как образ античного Александрийского маяка (Фароса), хотя и оказался в оппозиции академику М. П. Алексееву. Думаю, Мурьянов и Грегуар правы в главном: русское прилагательное *александрийский* возможно образовать только от *Александрия*, а от личного имени *Александр* закономерным производным будет *александров* либо *александровский*. Этюды Мурьянова содержат также массу дополнительной культурной информации, в чем видится их неоспоримая притягательная сила для читателя. И каждый такой этюд — это заметный шаг к адекватному пониманию пушкинского слова и пушкинской мысли.

АЛЕКСАНДР САВВИЧ МЕЛЬНИЧУК

К 75-летию со дня рождения

В этом году исполняется 75 лет академику Национальной академии Украины, члену-корреспонденту АН СССР (с 1981 г.), а ныне — Российской академии наук, Александру Саввичу Мельничуку. Его путь к вершинам науки и культуры чрезвычайно характерен для Украины XX столетия, когда выходец из крестьянской среды, уроженец южноукраинского села, при всех известных тяготах и страшных поворотах судьбы родной Украины, все же нашел свой путь не только к высшему образованию (он окончил два вуза), но и к международному признанию в науке. Все последние десятилетия А. С. Мельничук отдал работе в Киевском академическом институте языкознания, где с самого начала определились его стойкие научные интересы к очень широкому спектру сравнительно-исторического языкознания. Широко образованный человек (можно без преувеличения сказать — один из самых образованных в современном научном мире Украины), знаток многих языков, с определенной склонностью к общенаучным и философским вопросам, А. С. Мельничук умело выбирает актуальную тематику для своих исследований и исследований коллективных, которыми он руководит. Результат — книги, оставившие след в истории славистической научной мысли, среди них монография о развитии предложения в славянских языках, известное коллективное «Введение в сравнительное изучение славянских языков». Во всех трудах А. С. Мельничука неизменно присутствует это органичное и умелое сочетание задач и материалов украиноведения, самого широкого славяноведения и общего теоретического языкознания.

Но при всей широте своих научных интересов, которую здесь можно лишь кратко наметить, ярче всего научный потенциал А. С. Мельничука рас-

крылся в его исследованиях по этимологии словарного состава славянских языков. Ему принадлежат многочисленные конкретные исследования о происхождении слов и целых корневых групп, где его смелая мысль не останавливается перед проникновением в очень глубокие, в сущности — глоттогонические пласты языковой истории. Здесь отрадно отметить авторское сотрудничество А. С. Мельничука в московском ежегоднике «Этимология», начиная с 1960-х гг., и в совместных международных симпозиумах по славянской этимологии.

Главное детище А. С. Мельничука на этом поприще — возглавляемое им коллективное создание «Этимологического словаря украинского языка» в семи томах (вышли три тома: Т. 1. Киев, 1982; Т. 2— 1985; Т. 3 — 1989). Специалисты сразу оценили основательность и подлинно академический уровень этого словаря, вобравшего в себя также все богатство накопленных материалов по истории и диалектологии украинского языка. Подготавливавшийся и выходивший примерно параллельно канадско-украинский труд на ту же тему Я. Рудницкого, так и не оконченный изданием и «оставшийся торсом» (как говорят о подобных случаях на Западе), не идет ни в какое сравнение по глубине и масштабности разработки с киевским изданием, которое остается для нас первым академическим этимологическим словарем украинского языка. Можно лишь пожелать, чтобы задержка с этим главным изданием А. С. Мельничука, наметившаяся еще в предшествующие годы (трудности набора, недостаточная полиграфия), не затягивалась на годы и годы, что в нынешней ситуации на Украине — слишком реальная опасность.

В советский период нашей истории заслуги А. С. Мельничука были замечены и отмечены (уже упомянутое избрание в АН СССР, награждение всесоюзным орденом в один из предыдущих юбилеев ученого). Наступившая полоса «нестроения» и отчуждения не может поколебать традиции добрых отношений наших научных центров и нашего глубокого уважения к людям, определяющим подлинный авторитет Украины в современном научном мире.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О НИКИТЕ ИЛЬИЧЕ ТОЛСТОМ

Моим воспоминаниям о Н. И. Толстом уже много лет. Знакомство наше и общение, имевшее место первое время почти исключительно в стенах тогдашнего Института славяноведения АН СССР, восходит к началу 1950-х гг.. Институт занимал несколько комнат в третьем, кажется, этаже академического здания на улице Волхонка, 14. Вспоминается, например, одно заседание сектора славянского языкознания, руководимого нашим общим учителем, Самуилом Борисовичем Бернштейном. Заседание происходило в институтской библиотеке, дело было в 1953 г.. К сожалению, воспоминания обрывочны, на секторе обсуждались какие-то проблемы, люди выступали, и вот там, скорее всего, впервые я видел и слышал Толстого. Он тоже выступал и что-то говорил — молодой (30 лет), высокий, худощавый, задолго до появления своей толстовской бороды. Живые глаза, приветливый, склонный к контакту («контактный», как говорят сейчас), расположенный к улыбке и шутке, — таким он запомнился и таким оставался всегда, до конца жизни. Первые впечатления оказались не только стойкими, но и удивительно верными: я и позднее не встречал, пожалуй, ни в ком столь располагающей, дружелюбной свободы человеческого общения, отзывчивости, готовности всегда и во всем помочь. Остается добавить, что дам неизменно покоряла эта его красивая старомодная галантность, умение преклонить колено и поцеловать ручку и все это — непринужденно, полушутливо, с тактом, все — как положено настоящему, живому русскому comme il faut, с которым мы имели честь общаться в его лице.

Этот цельный образ распространяется и на все последующие годы, но память возвращается к ранним воспоминаниям, особенно дорогим, потому что им — 40 или почти 40 лет.

21. Заказ № 2419.

Знавшие Толстого, думаю, согласятся, что он обладал в выдающейся степени чувством самоиронии и что с годами эта черта в нем даже усилилась, — явный признак крупной личности и широкой натуры. Эта способность судить о себе с усмешкой и критично, безусловно, оставила по себе теплую память у его друзей. Один штрих — из времени приблизительно 1954 г. после его работы над кандидатской темой о кратких и полных прилагательных в старославянском языке. Приверженность молодого слависта этой действительно узловой проблеме, а также, возможно, проявленное нежелание с ней расстаться вызвали критическую реплику руководителя диссертанта, которую сам Толстой потом охотно повторял в разговоре: по его словам, Самуил Борисович предостерегал против навязчивой ассоциации типа «Толстой и прилагательное». Возникающий при этом смешной лингвистический каламбур сам Никита, естественно, не без удовольствия обыгрывал, поскольку фамильное имя *Толсто́й* — генетически прилагательное (прозвище), отличающееся своим архаизмом (ударение) от современной стандартной формы — *то́лстый*. Правда, этот шутливый пассаж разговора Толстой заканчивал уже совершенно серьезно, как бы оправдывая свою невольную верность теме: «Ведь так важно знать проблематику». И в этом был весь Толстой, так что ошибется тот, кто в его постоянной самоиронии, усмешке в собственный адрес вздумал бы увидеть только проявление легкости, тем паче — легковесности, хотя порой казалось, что он сам провоцирует именно такое восприятие, например, рассказывая, как он увлекся структурализмом «по легкомыслию». Эти, в частности, его рассказы восходят ко временам IV Международного съезда славистов в Москве 1958 г.. Тогда в значительной части нашей лингвистической общественности царил определенный энтузиазм по поводу структурных методов изучения языка, проблемы машинного перевода с большим подъемом обсуждались с трибун славистического съезда. Кстати, Толстой принимал самое активное участие в организации и проведении московского съезда славистов. Но, возвращаясь к структурализму и позиции Толстого, следует отметить глубоко серьезную и личную продуманность, которая привела его потом к собственной постановке проблем структурной типологии лексики и семасиологии. Конечно, можно соглашаться или не соглашаться с основополагающей структуралистской идеей изоморфизма языковых уровней и опытов «фонологизации» всех нефонологических уровней, в частности семантического (десемантизация — семантизация — транссемантизация), можно не разделять полностью анализ семем как составленных из элементарных сем, но когда и то и другое выполнено с таким пристальным учетом диалектологии и лингвистической географии и с таким знанием добротного фактического материала, как это имеет место у Толстого, ясно, что перед нами серьезное исследование (исследования), требующее серьезного

чтения и отношения. Вообще — чтобы «покончить» с этим экскурсом в структурализм в настоящих мемуарных и вынужденно обрывочных записках прежде всего о личности Толстого, следует спокойно признать (необходимая для этого временнáя дистанция уже представляется достигнутой), что в каждом из нас, хоть, наверное, в разной степени, засели зерна структурализма, непротиворечиво согласующиеся с исследовательской практикой (оппозиции всякого рода, нейтрализация оппозиций, etc.), и было бы неблагодарностью отрицать это.

Но интересная тема самоиронии Толстого еще далеко не исчерпана, поэтому — еще один штрих, тоже памятный мне тем, что рассказан самим Никитой. Дело было опять-таки давно, никак не позже 1960 г.. Предысторией послужило то, что Толстой, родившийся и выросший в Югославии, Сербии, вывез оттуда превосходное практическое знание сербского языка. И вот както раз С. Б. Бернштейн на своем секторе, видимо, в ходе какого-то живого обсуждения, заявил, что Толстой не знает сербского языка, вызвав шок в слушателях (слушательницах): «Как же так? Никита знает сербский язык…»,—на что Самуил Борисович, по-своему резонно, отвечал: «Знать язык значит знать его историю и диалектологию». Замечательно, что молодой Толстой рассказывал об этом с выраженной готовностью признать правоту этого сурового, но, применительно к исследователю-лингвисту, справедливого мнения: практического знания языка недостаточно, более того — профессиональному лингвисту оно необходимо далеко не в первую очередь. Ну, и еще один штрих, почти мимолетный жест, позволяющий судить, что Толстой сохранил эту человеческую черту до последних лет жизни. Преподнося дружески свою книгу 1988 г. «История и структура славянских литературных языков», он как бы шутя обмолвился: «Можете, не читая, выбросить» (!). И эти озорные слова небрежно обронены о книге, за которой стоит более чем двадцатилетний опыт поисков по истории древнеславянского литературного языка и его отдельных славянских идиомов, — о книге, ломающей въевшиеся представления об однодиалектной базе литературных языков, более того — об «искусственной» природе этих языков, и расчищающей дорогу для концепции о междиалектности и наддиалектности литературных языков, иными словами, в теории литературных языков трудно назвать аспект более актуальный и подход более незаурядный. Воистину, если кто вообще имел право так иронизировать, то только сам автор о своем детище, да и то едва ли.

Впрочем, этот ряд так и нельзя считать замкнутым, закрытым; он шутил над собой до конца (каков в колыбельку, таков и в могилку…). Задуманный, возглавляемый и осуществленный под руководством Н. И. Толстого том I этнолингвистического словаря в пяти томах «Славянские древности» ((А—Г) Москва: Международные отношения, 1995) был передан мне с дорогой для

меня дарственной надписью: «...от Никиты сей первый блин». Но не комом вышел первый блин, нет, не комом, и можно было бы заслуженно долго говорить о самобытности также пути, приведшего Толстого в лексикографию, но не станем делать этого здесь, да это и трудно: перед нами не только фундаментальный, но и интердисциплинарный, выходящий за рамки языкознания в этнографию, этнологию, историю культуры словарь слов-понятий *ведьма*, *веник*, *венок*, *верба*, *верх—низ*, *веселье*, *ветер*, *вино*, *вол*, *волк*, *ворота*, *восток—запад*, *время* и др. Уже простое перечисление этих словарных позиций, за которыми на каждом шагу стоит авторское участие самого Н. И. Толстого и его соратников по созданию новой отрасли славяноведения — славянской этнолингвистики и среди них ближайшей к Н. И. Толстому — Светланы Михайловны Толстой, действует внушительно. Можно только грустно порадоваться, что по причине избранной нами в нашем «Этимологическом словаре славянских языков» латинской транскрипции словарный отрезок на *V*- ждет нас (или наших продолжателей) далеко впереди и весь кладезь материала на *В*- этнолингвистов-толстовцев еще будет использован и осмыслен в нашем собственном словаре...

Я не дерзну отнести себя к числу ближайших друзей Толстого, были, наверное, и ближе, и их было всегда много вокруг этого человека, обладавшего даром привлекать к себе людей. Но несомненный факт дружбы между нами, в общем редко и мало чем омрачавшейся, а главное — оставившей неизгладимый след в моей жизни, сто́ит того, чтобы сказать об этом особо. Начну, пожалуй, с конца, с нашей последней с ним встречи.

...Уже в канун нового, 1996 г., стало известно, что Толстого положили в больницу — в одну, потом — в другую, диагнозы были противоречивыми, время шло, настраивало все это невесело. Но в конце марта Толстой вдруг появился на годичном собрании нашего Отделения литературы и языка, и было это воспринято — мной, по крайней мере (может, по незнанию действительно серьезной ситуации), как добрый знак. Он к тому времени сильно потерял в весе, но одновременно казался бодрым — не знаю, возможно, только казался. Я подошел, мы обнялись по старой привычке, я что-то ему говорил о 22-м выпуске своего Словаря, которого, к сожалению, с собой не захватил, не зная, что встречу его, а он — он говорил о настоящей мужской дружбе, для последней встречи (а встреча оказалась, повторяю, последней) — слова самые главные.

В конце концов он был щедр на дружеские проявления к очень многим. Ценя и любя книгу, будучи настоящим библиофилом и собирателем богатой славистической библиотеки, он и тут готов был поделиться последним. Мне памятен его рассказ, как в дни IV съезда славистов в Москве он подарил одной малоизвестной английской славистке, Элизабет Хилл, всю свою кол-

лекцию курсов славянской палеографии разных авторов. «Второго такого собрания я больше никогда иметь уже не буду», — говорил он потом. Эти книжные дары сочетались у него с чутко улавливаемой потребностью другого именно в этой книге, как, например, случилось со мной, в 1950-е гг. — начинающим славистом-этимологом, который был несказанно обрадован и тронут, вдруг получив антикварный экземпляр этимологического словаря болгарского языка Ст. Младенова (София, 1941) в дар от Никиты Толстого, вернувшегося из диалектологической экспедиции в Болгарию.

Его знали и любили очень и очень многие, он был популярен и у нас, и в разных странах, в первую очередь, разумеется, в славянских. Какую-то роль играло при этом прямое родство с великим Толстым, но сводить все только к нему было бы ошибочным упрощением. Вот два конкретных примера на эту тему; оба воспоминания связаны с Польшей... 1973 г., VII Международный съезд славистов. По вестибюлю перед актовым залом Варшавского университета ходит размеренными шагами Ежи Курилович. Встретившись со мной (мы познакомились в 1962 г., во время первого моего выезда в Польшу), он обращается ко мне с единственным вопросом — внук или правнук Льва Толстого Никита Ильич Толстой. Второй случай, пожалуй, колоритнее. В 1980 году нам с Г. А. Богатовой случилось посетить пожилого уже Б. Сыхту, получившего широкую известность благодаря изданному им богатейшему многотомному «Словарю кашубских диалектов на фоне народной культуры». Этот старенький католический ксендз, доживавший последние годы жизни в заштатном городке Пельплин под Гданьском и заинтересовавший нас своей уникальной словарной практикой (похоже, весь свой фундаментальный словарь он создал без всякой картотеки), в свою очередь, живо интересовался Толстым как лексикологом-этнолингвистом, но делал он это в склеротически забывчивой манере, неоднократно на протяжении нашего разговора повторяя один и тот же вопрос и получая на него, естественно, один и тот же ответ: «A czy jest w Moskwie, proszę pana, taki pan profesor Tołstoj? — Tak jest, znam go osobiście, on jest własnie moim przyjacielem...». После короткой паузы — опять так же оживленно: «A czy jest w Moskwie...».

Надо ли говорить о том, как его любили и привечали в родной ему Югославии, причем, кажется, не в одной только Сербии, его родине. Тесные связи он поддерживал и с хорватскими коллегами и со славистами остальных югославских республик. Здесь нельзя не упомянуть об одном казусе в дни VIII съезда славистов в Загребе 1978 г., о котором сам Толстой, смеясь, рассказывал во время одной тогдашней нашей встречи. Видите ли, загребские слависты отнеслись настолько серьезно к приезду Толстого, что даже поспорили, кому из них его встречать, а в результате никто его не встретил вообще. Невольно приходит в голову bon mot И. Н. Голенищева-Кутузова, проживше-

го часть жизни, как и Н. И. Толстой, в русской эмигрантской среде в Югославии: «Русские по неорганизованности были бы на первом месте в мире, если бы не было югославов...». Нет, они очень любили и почитали Толстого, одна из ведущих газет страны даже вышла во время загребского славистического съезда с аншлагом: «Tito u Ljubljani, Tolstoi u Zagrebu», т. е. пребывание Толстого в Загребе ставилось в одну строку с визитом тогдашнего президента тогдашней СФРЮ И. Броз-Тито в Любляну...

Упоминание об Илье Николаевиче Голенищеве-Кутузове, видном филологе-литературоведе, близком Н. И. Толстому и семье Толстых, тесно увязывается в моей памяти, скорее, с гораздо более ранним, IV, московским, съездом славистов и временем, непосредственно ему предшествовавшим [1]. Тогда я, как и другие рядовые сотрудники, был в авральном порядке привлечен к участию в подготовке IV Международного съезда славистов и порой беспорядочно толклись в номере гостиницы «Метрополь», отведенном под штаб оргкомитета, — научные сотрудники, функционеры иностранного отдела Президиума АН СССР вперемежку с работниками КГБ (или МГБ?). С благодарностью храню память о том, как меня, человека молодого и нервно-резковатого, Толстой оберегал от бесцеремонной нахрапистости чиновников иностранного отдела, подчеркивая, что я — «без пяти минут кандидат наук». Ну, словом, в этот штаб, где я маялся, люди входили и выходили, бывал там и Голенищев-Кутузов, привлеченный для встреч прибывающих зарубежных славистов, на которые ездили и Н. И. Толстой (временами даже с отцом, Ильей Ильичом Толстым), ездил и я. Тема эпохального IV Международного съезда славистов — огромная, этот съезд, для нас, научной молодежи, принес общение с еще живыми корифеями науки — Р. О. Якобсоном, М. Фасмером, А. Мазоном, А. Вайяном, А. Стендер-Петерсеном, Б. Гавранеком, А. Беличем, Т. Лер-Сплавинским, Э. Петровичем и другими, из наших — В. В. Виноградовым, эта тема заслуживала бы особого разговора и мемуарного изложения. Но сейчас мой рассказ о другом. Продолжая выделять толстовскую тему, повторю лишь, что съезд (или его подготовительные кулуары) свел, познакомил меня с Ильей Ильичей Толстым, недавно (в 1957 г.) издавшим свой «Сербскохорватско-русский словарь», а за годы подготовки съезда (заседание Международного комитета славистов в 1956 г.) мне удалось впервые с участниками посетить толстовскую Ясную Поляну.

Одно из ярких впечатлений дружеского общения оставила теплая многолюдная встреча на квартире Толстого в 1957 г., летом. Он тогда жил еще не на Большой Ордынке, а по другому адресу. Друзей-товарищей собралось до-

[1] К большому моему сожалению, возможен как бы взаимонаплыв воспоминаний о подготовке IV МСС и заседания МКС 1956 года (см. ниже).

вольно много, но я сейчас уже не очень твердо помню всех участников: из старших были уже упоминавшийся И. Н. Голенищев-Кутузов и, кажется, С. К. Шаумян, а из тогдашней лингвистической молодежи — В. К. Журавлев, Л. А. Гиндин, В. Н. Топоров, Вяч. Всев. Иванов, из иностранцев, если не ошибаюсь, — Славомир Вольман из Праги, больше — не помню. Атмосфера была, повторяю, теплая, Альберт (Кондратьевич) Кошелев веселил компанию песнями под гитару. Засиделись далеко за полночь и расходились, шли группой по тихой Москве уже на рассвете, часа в три утра. О чем говорили в столь долгой беседе — все осталось за пеленой времени… Лишь сохранилось прочно в памяти это впечатление чего-то неповседневного и интересного. Второй раз я был в этом доме у Толстых еще в 1960 г., зимой. Была как бы встреча с Ф. В. Марешем, приехавшим еще из Праги, были также отец и мать Никиты Ильича. Но главное, о чем не забыть сказать, это крупные для меня события в моей жизни и крутые перемены, случившиеся примерно около этого времени, состоявшиеся, это хочется всячески подчеркнуть, благодаря дружескому участию Толстого.

Хотя я продолжаю думать, что идея или инициатива перевода и издания у нас русского Фасмера определенным образом восходит к инициативам московского съезда славистов, все же она стала мне известна лично от Толстого в виде предложения взяться за этот перевод. Предложение было связано с Издательством иностранной литературы (позднейший «Прогресс»), где редакцию языкознания возглавлял В. А. Звегинцев, который скорее всего тогда не подозревал о моем существовании, значит, благая мысль привлечь меня для этого дела целиком принадлежит Толстому. Надеюсь, я не подвел Толстого, и русский Фасмер мной был исполнен за два с небольшим года (четырехтомник издавался «Прогрессом» в первом издании долго и неповоротливо, почти десять лет, во втором издании — в 1986—1987 гг., а совсем недавно, в 1996 г., словарь вышел третьим, фототипическим, изданием в петербургском издательстве «Азбука»). Я не буду распространяться о том, как и сколь напряженно я работал, воспоминания об этом мной в свое время уже были опубликованы на страницах «Вопросов языкознания». Здесь хочется добавить личное, не высказанное в тот раз. Добрый Никита, уговаривая меня взяться за это дело (разговор конца 1958 — начала 1959 гг.) и заботясь о том, чтобы трудности и объемы меня не отпугнули, рисовал картину примерно так: «Олег, вы ведь можете этим заниматься просто вечером, за чаем…».

А весной 1961 г., когда огромная машинопись русского перевода «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера, с дополнениями, была готова, заполнила целый чемодан и в таком виде была отвезена и передана В. А. Звегинцеву, я уже начинал работать в другом академическом учреждении — Институте русского языка. Я пришел в Институт с созревшим и

обдуманным планом — организовать работу по созданию у нас впервые этимологического словаря славянских языков. Это был правильный шаг, и за многие истекшие с тех пор годы я ни разу не пожалел об этом переходе. Выполнить задуманное можно было, лишь пойдя на прямой контакт с академиком В. В. Виноградовым, организатором (с 1958 г.) и тогдашним директором Института. Я был, мягко выражаясь, «не вхож» к В. В. Виноградову, но тут мне помог Толстой, достаточно близкий к Виктору Владимировичу, и чрезвычайно облегчил мою задачу, после того, как, проникшись моими интересами и замыслами, которыми я с ним откровенно поделился, немедленно отправился с этой миссией к Виноградову. Тот откликнулся положительно, и моя судьба была решена. Надо ли говорить, что всякий раз, когда я возвращаюсь мыслью к этому поворотному моменту своей судьбы, я испытываю чувство самой глубокой признательности к Никите Толстому — за дружбу, за проявленное понимание, за дипломатичность. Но о дипломатичности (тема при разговоре о Толстом тоже не последняя) — потом. Между прочим, именно Толстой помог мне советом при комплектации самого первого состава сотрудников группы Этимологического словаря славянских языков, порекомендовав взять Л. А. Гиндина, с которым мы потом работали вместе добрый десяток лет.

Так завязалась, практически с тех еще ранних лет, эта дружба двух коллег, двух научных работников, в которой непродолжительные встречи и контакты сменялись периодами заочного обмена публикациями, иногда — телефонными звонками, участием в общих мероприятиях. Мне приятно вспомнить, что он читал доклад на нашем первом международном симпозиуме по славянской этимологии (январь 1967 г.). Я нашел еще в те годы в Толстом внимательного читателя, а порой и редактора своих работ (ответственный редактор моей книжки о происхождении названий домашних животных в славянских языках 1960 г.; сразу назову и последний случай такого сотрудничества с ним — ответственный редактор книги по этногенезу и культуре древнейших славян — 1991 г.).

Бывали случаи, когда он буквально вступался за меня, за мое научное достоинство, а его авторитет делал такое заступничество весьма эффективным. Что-то в этом роде случилось в Софии, на X Международном съезде славистов 1988 г.. К тому времени Толстой был уже академиком АН СССР и председателем Советского комитета славистов. В этом качестве (после утверждения программы съезда на предшествующем заседании Международного комитета славистов, как это обычно бывает) он, помнится, ориентировал меня, что мой доклад на съезде утвержден как пленарный. Однако по приезде в Софию я был неприятно удивлен новым изменением программы: мне предписывалось выступать в другое время и в другом месте, уже на секции, а это

означало, кроме прочей досадной путаницы, что я вправе рассчитывать лишь на половинное время доклада. Будучи в некоторой растерянности, граничившей с решением отказаться вообще выступать, я, думаю, правильно расценил все это как закулисные предсъездовские интриги и поделился с Толстым, сказав, что мне следует, наверное, отказаться от мысли втиснуть свою пленарную тему «Славянская этимология и праславянская культура» в пятнадцатиминутный регламент. Толстой не только согласился со мной, но и увидел в этом определенную некорректность болгарской стороны в отношении принятых на Международном комитете славистов решений. Вместе с С. Вольманом, если не ошибаюсь, они связались с болгарским оргкомитетом и восстановили все, как планировалось прежде. Понятно, что это теплых чувств к болгарским организаторам не прибавило.

И еще в том памятном для меня 1988 г. вступился за меня Толстой — за мои достоинство и честь, когда в Институте славяноведения и балканистики АН СССР обсуждался цикл моих работ под общим названием «Славяне, язык и история», выдвинутых на госпремию. Я не стану здесь вдаваться в причины того, почему обсуждению придали погромный характер, могу лишь понять, что рассчитывались за инакомыслие («никто так не думает, один он так думает» — это о концепции дунайской прародины славян; «граничит с шовинизмом» — это о лингвогеографической идее русского языкового союза в СССР, вполне созвучной мыслям Н. С. Трубецкого, которого за это никто в шовинизме не укорял). Не буду говорить об оппонентах, дело прошлое; кстати, один из них недавно уже приносил мне извинения. Гораздо приятнее и важнее для меня то, что в мою поддержку там выступили С. Б. Бернштейн, Н. И. Толстой, И. Г. Добродомов и ныне уже покойные Л. А. Гиндин и Г. Ф. Одинцов.

Я имел возможность не раз и не два на себе почувствовать, как Толстой искренне и от души радовался успеху ближнего и, наоборот, сострадал несчастью. Когда на академических выборах в июне 1992 г. я уехал из Отделения, не дожидаясь результатов («будет опять, как всегда»), а вышло иначе, и хватились меня искать, в телефонные поиски включилось все семейство Толстых, даже его милые дочери... Потом вскоре, числа 18-го июня, удачно совпало, что Толстой посетил наш Институт — мы встретились на защите докторской славистической диссертации А. Ф. Журавлева, а потом и Толстой, и Д. Н. Шмелев зашли ко мне, и мы немножко выпили коньяку, а Толстой — и это очень похоже на него — картинно встал рядом со мной, выпрямился и произнес из Писания: «Нынѣ отпущаеши раба Твоего, Господи!» — А я в ответ — совсем уже невпопад (бывает, когда расслабишься): «Нынѣ же прѣбудеши съ мною в раи» (евангельские слова, обращенные к сораспятому разбойнику благоразумному). Потом я, наверное, слишком уж часто, говорил

всем «спасибо», на что Дмитрий Николаевич Шмелев назидательно заметил: «Вы никого не обязаны благодарить!».

В 1993 г. состоялся XI Международный съезд славистов в Братиславе, последний, в котором Толстой весьма активно участвовал и был полон сил. Из тогдашних братиславских контактов запомнилось: мы с Толстым приглашены в телецентр, едем в машине, а напористая телевизионная дама обращается то к одному, то к другому с предварительными вопросами, как бы готовя нас к тому, о чем каждый будет говорить перед телеобъективом. Вопрос ко мне: «Господин профессор, как вы думаете, откуда славяне пришли на Дунай?» — Я в ответ: «Думаю, что они ниоткуда не приходили!» — Никита (с живостью): «Олег, а вы так и скажите!». Ну, я так и сказал...

Толстому совершенно не свойственно было безучастное равнодушие, он весь светился дружеским участием, таким и остался в нашей, моей памяти. Из относительно недавнего времени: мы сидим на каком-то заведомо длинном заседании, Толстой понимающе смотрит на меня и вдруг говорит, наверное, уловив тоску в моем взоре: «Олег, а ведь вам совсем необязательно здесь сидеть!». Редко кто другой так проницательно понял меня, то, что я тягощусь заседаниями и предпочел бы проводить время иначе.

Эта доброта, как и отзывчивость на добро, на доброе слово были органически присущи ему как личности, но были тут, по-видимому, и глубокие фамильные, толстовские корни. Помню и считаю неслучайными слова Льва Николаевича Толстого, которые услышал от Никиты Ильича: «Если мне скажут: "Лёв Николаевич, какие у вас жемчужные зубы", — а у меня во рту всего один зуб, да и то гнилой, то завтра я буду искать этого человека, чтобы он мне повторил то же самое».

Толстой умел вовремя, в нужный момент вспомнить о человеке, привлечь его для участия в деле. И это всегда стоило того и было интересно. В 1988 г. был учрежден Фонд славянской письменности и славянских культур, и Толстой стал его первым председателем, что, надо сказать, очень одухотворило эту зыбкую общественную организацию. Я с удовольствием вспоминаю именно это короткое время его председательства, и то, как он говорил свое проникнутое гуманизмом слово на учредительном заседании Фонда во Дворце молодежи на Комсомольском проспекте (сдерживая отдельные экстремистские поползновения, он уместно напоминает слова первоучителя славян, св. Кирилла, сказанные тем на венецианском диспуте с треязычниками: «Не идеть ли дождь от Бога на все равно?»), и то, как мы с ним участвовали в праздновании Тысячелетия крещения Руси в Новгороде (1988), потом в выездной кирилло-мефодиевской сессии Фонда в Киеве (1989), после чего Толстой сложил с себя полномочия председателя, утомленный писательскими дрязгами. А я, получив заряд воодушевления на празднике Тысячелетия, все

еще продолжал начатую тогда серию «В поисках единства» и некоторое время выезжал с Фондом на праздники славянской письменности, потом перестал выезжать. Не в укор будь сказано председателю Фонда В. М. Клыкову, с которым у Толстого до конца сохранились добрые и добрососедские отношения (оба жили на Б. Ордынке), Фонд толстовские традиции не сохранил.

Эта любезность и необычайная отзывчивость Толстого, готовность к контакту порой даже с теми, кого, казалось, и близко к себе подпускать не стоило, вызывала у меня иногда, не скрою, внутренний спор, но весьма возможно, что названная черта непротиворечиво укладывалась именно в толстовский вариант широты натуры, а также более, чем вероятно, что он отдавал себе и тут трезвый отчет сам во всем, сознательно не избегал и таких контактов, шел на это в интересах дела. Я заговорил о дипломатичности Толстого, о качестве, которым он (думаю, со мной согласятся) был наделен в высокой степени, обладая и терпимостью, и гибкостью, и мудрым расчетом. Незаурядные качества — если за ними стоит благородство побуждений, а это как раз был случай Толстого, который, любя науку и благоволя к людям науки, руководствовался бескорыстными и высокими помыслами. Я уверен, что он и сам задумывался о дипломатии и дипломатичности в своей жизни и в жизни научной. Ведь не спроста же, наверное, он вспоминал как-то в разговоре об одном своем дальнем предке, стольнике Толстом — первом русском дипломате.

Именно такие люди, с такими качествами души и ума призваны руководить наукой, занимать высокие организаторские посты и должности. Никита Ильич Толстой отлично смотрелся как главный редактор журнала «Вопросы языкознания», как глава научных направлений, как председатель комитета славистов, в последние годы жизни — как член Президиума Академии и в более ранние годы — как руководитель экспедиций в дорогое его сердцу Полесье.

Кроме упомянутой бытовой дипломатии, он прекрасно владел и тем, что называется дипломатикой, высоким стилем и культурой делового письма, документа. Но он одновременно был в высшей степени живым человеком, чутким к скромным радостям жизни. Мимолетный эпизод из старых воспоминаний, никак не позже 1964 г.. Мы сидим в ЦСБ библиотеки имени Ленина, каждый — над своими словарями. Окно в помещении открыто, снаружи доносятся детские голоса. Вдруг Толстой, улыбаясь, говорит: «А все-таки мальчишки кричат уже по-весеннему...».

...Он был трогательно дружен с собаками. Вспоминается живший давно в квартире Толстых спаниель Малыш с шелковистыми вислыми ушами, породистый и интеллигентный. «Очень умная собака! — восхищался Самуил Борисович Бернштейн. — Может диссертации писать». Когда пришло время и Малыш умер, Никита сам отнес его на руках и похоронил. А в последние

годы жизни Толстого семья призрела, уже на Б. Ордынке, одну совсем беспородную, уличную черненькую собачку. Мы приглашены к ним на масленицу 1992 г.. В доме гости, под ногами путается собачка, жмется к хозяину, а Толстой ей назидательно-ласково говорит: «Надо вести себя прилично…».

Вопреки всей своей дипломатичности, он мог порой просто взорваться в ответ на искусственно кем-то создаваемые сложности в нашей и без того сложной жизни — здоровая реакция здорового организма. Есть в нашей аэрофлотской практике такое не очень гуманное правило — не пускать пассажиров по мере их прибытия на свои места, а предварительно сбивать в кучу, томить людей неопределенное время и только после этого пускать. Этот человекоотстойник даже название имеет соответствующее — *накопитель*, как будто речь идет об осадке каком-нибудь, как в сантехнике. Однажды я явился невольным свидетелем того, до какой ярости, до какого белого каления довела Никиту Ильича унизительная необходимость ждать битый час в таком накопителе. Буквально пылая гневом и со словами «Это черт знает что такое!» он ворвался после этого в салон первого класса авиарейса Москва — София и не сразу отошел или пообещал отойти с одним условием: «если мне здесь дадут выпить водки». Юмор и веселое отношение к жизни всегда в конечном счете выручали этого человека, хотя — дипломатия дипломатией и юмор юмором, но порой он, наверное, просто изнемогал от накопившейся огромной усталости, от назойливого внимания людей, от бестолковой организации. И я прекрасно понимаю его. Помню, какой раздраженный и явно огорченный неудачным днем, он буквально ввалился в нашу братиславскую гостиницу в тот момент, когда мы, остальные, уже направлялись на вечерний прием по случаю окончания съезда славистов. А ему было впору рухнуть от усталости, что он, по-видимому, и сделал. Перед окончанием приема все-таки появился среди нас.

Не надломленным и усталым он запомнился мне, нет — веселым и по-молодому озорным. И хотя то, о чем я вспоминаю далее, имело место в давние уже, молодые его годы, но именно в этом — весь Толстой со своим умением озорно обыграть ситуацию… В конце июня 1965 г., после благополучного завершения моей докторской защиты, решено было отметить событие банкетом в ресторане «Узбекистан» на Неглинной улице (кухня там считалась хорошей). Но к вечеру того дня над Москвой разразился страшный ливень, и речка Неглинка, захлебнувшись в своей подземной трубе, сорвала крышки люков и наводнила улицу. Помню точно, что на свой банкет я шел по колено в воде, неся туфли в руках. Парадный ход оказался закрыт и частью уже затоплен, пришлось перелезать через чугунную ограду. Люди, лучше ориентировавшиеся в Москве, добирались посуху дворами и арками. Несмотря на стихийное бедствие, народу пришло много. И вот в ресторане по-

явился Толстой. Он шел, высокий, в длиннополом плаще, на голову нахлобучен капюшон, шел через весь ресторан, бодро шлепая босыми ногами по ковру, и капюшон не мог скрыть довольного выражения его лица... Он наслаждался впечатлением, произведенным на сидящий вокруг ресторанный люд.

Этот жизнерадостный, крепкий дух обитал в крепкой, жизнелюбивой плоти. Его худоба, несколько подчеркнутая ростом выше среднего, пронзительной живостью взгляда и некоторой как бы изможденностью лица, были обманчивы: на самом деле это был сильный физически человек, выносливый, хорошо плававший (и через Припять в Полесье, по рассказам, и в Черном море — это уже на моих глазах, когда мы съехались в Крыму осенью 1983 г., после IX, киевского, Международного съезда славистов, и провели вместе несколько незабываемых часов у нас, в санатории «Украина», и в Гурзуфе, где жила мать А. Ф. Журавлева, в доме которой остановились Толстые). Показательно, что Толстой обходился без всякого там санаторного лечения и вообще не докучал врачам, полагаясь на свои силы. Он и в год своего 70летия (1993) легко, одним махом, забрасывал свое тело на верхнюю полку четырехместного купе, в котором мы ехали со своими женами в Братиславу. Кстати, светлое воспоминание оставил сам акт празднования его 70летия в июне 1993 г. в нашем Отделении. Звучали приветствия, сам юбиляр прочитал научный доклад в улыбчивой, ненавязчивой манере, как бы приглашая собравшихся сильно не напрягаться, а в конце, уже совсем придя в веселое расположение, выразил надежду, что вот теперь все перейдут в другое помещение и смогут там выпить с ним водки. Он знал толк в вине, а точнее — в водке или водках, не довольствовался магазинным ассортиментом и творил одному ему известные настойки на травах и при случае угощал ими друзей — дома, в дороге, в заграницах. Он был жизнелюбив, не упускал случая ввернуть соленое словцо, но никогда, ни при каких обстоятельствах не покидала его эта завидная толстовская одухотворенность.

Но и этот здоровый, крепкий организм все же исподволь подтачивался — и заложенными в нем генами, и жизнью. Во время недавней сравнительно встречи он прозрачно пожаловался — я так понял — на кишечное недомогание, и вспомнилось, что еще летом далекого 1958, перед IV Международного съезда славистов, я посещал его, когда он лежал в барачных помещениях старой Боткинской больницы (фамильную слабость желудка еще у Л. Н. Толстого отмечали биографы, например, В. Шкловский). Помню, у кровати Никиты сидел там еще Илья Ильич и сердито отчитывал меня: «Ну, что вы все ходите, ходите...». Я так понимаю, мне заодно попало за то, что Толстого и там стремились посетить его многочисленные друзья...

70 лет есть 70 лет, и какие-то сигналы, видимо, давали себя знать. Он и к этому готовился достойно. Одно довольно свежее воспоминание: зима, фев-

раль 1992, мы с Г. А. Богатовой находимся в санатории «Узкое». Совершенно неожиданно узнаем, что туда же, дней на десять, нагрянули Е. П. Челышев и Н. И. Толстой с супругами (исключительно по настоянию Челышева: «надо перерваться»). Теплая встреча вокруг 23-го февраля, бравые воспоминания Е. П. Челышева о Параде Победы... Но и — лечебные мероприятия. Г. А. Богатова и Н. И. Толстой встречаются у процедурного кабинета (уколы). Толстой галантен и улыбчив, как обычно, но в его словах сквозит грусть: «Я знаю, что старость надо встречать достойно...».

И опять — о духе этого необыкновенного человека. Нет, широту и щедрость его натуры, его открытость и общительность (еще давно покойный Иллич-Свитыч говаривал: «У Толстого есть эта общественная жилка»), его готовность к диалогу и с «теми» и с «этими» не следует путать с некой, всеядностью. Модный среди части нынешней интеллигенции протеизм (переменчивость убеждений), смена взглядов и убеждении ему были несвойственны, Толстой и тут был красиво старомоден. Я во всяком случае слышал из его уст, что власовцы и власовство для него чужды, предатель есть предатель. Честь фронтовика, которым он себя сознавал, оставалась священной для него. Уже будучи членом Президиума РАН, он отказался участвовать в акции поддержки высшего лица государства, имея свое собственное мнение о действиях этого лица. Осенью 1992 г. на заседании Отделения Толстой вдруг сказал мне с теплой улыбкой, что читал мою статью «Унаследовано от Кирилла и Мефодия» в «Правде» от 15 сентября 1992 г., которой я разразился в знак протеста против мерзкого и невежественного писания некой Павловой-Сильванской в «Независимой газете», замаравшей и панславизм, и славян вообще, и межславянскую взаимность, и затравленных Западом сербов, дорогих сердцу Толстого. «Ведь это я должен был бы написать», — сказал он мне. А я был обрадован такой оценкой и приятно удивлен — ну, хотя бы потому, что не относил Толстого к читателям «Правды». Что ж, признаем, что мы, т. е. и я тоже, мало знали этого человека, и в чем-то недооценивали смелость, независимость его суждений. Я думаю, что он был глубоко патриотичен, и позволю себе привести еще одно воспоминание ad hoc. 1993 г., все съехались в Братиславу на съезд славистов, который начнется завтра-послезавтра. Встречи, приветствия... Никита Ильич утром в столовой университетского общежития, тоже со всеми раскланивается (он, как известно, был подчеркнуто вежлив). И вдруг — совершенно неожиданная реакция на появление одного вальяжного украинского слависта-литературоведа, которому Толстой, изменившись в лице, отказался подать руку, будучи возмущен дошедшими сообщениями о его антирусских высказываниях («оккупанты»...). Было неловко смотреть на этого, обычно уверенного в себе, человека, слушать, как он оправдывался перед Толстым.

Его уход от нас — не следствие старости и старческих недугов. Ужасно сознавать, что этой трагической нелепостью он поплатился за собственное мужество, за презрение к болезням, за беспечную веру в собственные силы, но и — за косность нашей академической медицины, которая так пока (в наше время!) и не удосужилась развернуть гематологию в медицинских учреждениях РАН, и нас продолжают слать от Понтия к Пилату, а там оказывается, что время упущено безвозвратно. Непростительный, преступный трагизм этой медицинской бюрократии — в том, что лейкемия, оказывается, излечима... Меня два лета подряд, в Шереметьеве, посещали уже давние немецкие друзья — известный мюнхенский славист профессор Йозеф Шютц и его жена Эрика. Они «заболели» русской культурой и историей. Вот и в прошлом августе завернули к нам после очередного своего русского тура. На этот раз разговор зашел о поразившей всех кончине Толстого; говорили по-немецки, фрау Эрика не знает русского языка.

«Aber die Leukämie ist heilbar», — успела укоризненно заметить она. Лейкемия излечима...

Но оттого, что мы знаем, на кого возложить вину, легче не станет. Нам предстоит еще не раз и в полной мере осознать невосполнимость этой утраты. Нам — всем, кто работал с ним в «Вопросах языкознания» и кто, как автор этих строк, продолжает верить и надеяться, что человеческий феномен Толстого никогда не улетучится из нашей памяти и выручит еще не раз в трудные минуты. Одно обидно: никто ни в редакции, ни на редколлегии уже больше не спросит нас своим очень индивидуальным франкофонным прононсом про наш «портфёль...».

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ Г. А. ИЛЬИНСКОГО

Научное наследие Григория Андреевича Ильинского чрезвычайно богато и разнообразно. Поражает своей широтой круг его интересов: издание древних памятников южнославянской письменности и всестороннее исследование их языка и палеографических особенностей, вопросы, связанные с деятельностью Кирилла и Мефодия, монографическая обработка важных проблем сравнительной грамматики славянских языков как в области фонетики, так и в области морфологии, завершенная таким крупным синтетическим исследованием, как «Праславянская грамматика», и, наконец, постоянные, деятельные разыскания в области исторической лексикологии и этимологии. Последняя область особенно привлекала Г. А. Ильинского на всем протяжении его жизни; он пользуется широкой известностью в значительной степени именно как этимолог.

Слависты, практически занимающиеся этимологией, и в первую очередь составители этимологических словарей знают по собственному опыту, что обработка огромного количества словарных статей невозможна без отражения этимологии Г. А. Ильинского, без оценки его вклада в изучение слов. Положения не меняет и то обстоятельство, что, как известно, многие этимологии Г. А. Ильинского оспариваются исследователями. Даже те этимологии Г. А. Ильинского, которые отвергаются последующими исследователями, играют несомненную положительную роль, так как их изучение существенно облегчает выбор правильного решения. Чтение этимологической продукции Г. А. Ильинского вообще очень обогащает, и в этом также заключается одно из ее важных достоинств. Здесь имеется в виду первоклассное знание Г. А. Ильинским лексики славянских языков во всем многообразии ее диа-

лектных различий и во всей ее семантической сложности. Знание лексики в соединении с универсальностью научных интересов, с поразительной осведомленностью Г. А. Ильинского в специальной литературе и вообще в литературе, в текстах на славянских языках и диалектах придают высокую познавательную ценность его этимологиям. Обладая редкой работоспособностью, Г. А. Ильинский опубликовал очень много трудов по славянской этимологии. Число работ Г. А. Ильинского почти не поддается полному учету, потому что они рассеяны по многим периодическим изданиям и юбилейным сборникам. Кроме русских лингвистических журналов, Г. А. Ильинский, поддерживавший оживленные научные связи со многими зарубежными славистами, печатался также почти во всех ведущих европейских лингвистических органах. По плодовитости его можно поставить рядом с такими этимологами, как А. Брюкнер и И. Зубатый, — его современниками, с которыми его также сближает сходство в отдельных моментах этимологического исследования. Подобно двум названным ученым, Г. А. Ильинский ставил перед собой задачу объединения в будущем своих этимологических исследований в этимологическом словаре. Ни литовский этимологический словарь И. Зубатого, ни этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского так и не были завершены. Однако Г. А. Ильинский успел проделать в этом направлении большую подготовительную работу, о чем свидетельствует рукопись, имеющаяся в его архиве.

Эта рукопись представляет собой в полном смысле слова этимологический словарь славянских языков. Слова обработаны в ней постатейно, с обязательным возведением к общеславянской форме. Статьи расположены в алфавитном порядке. Большинство статей имеет предельно четкую структуру: общеславянская форма или другая условная заглавная форма слова, за чем следует перечисление форм по отдельным славянским языкам с указанием их значений; после этого — как правило, с абзаца — помещается снабженная символом < гипотетическая исходная форма с пояснениями, касающимися фонетико-морфологического, словообразовательного и семантического развития; здесь обычно находит выражение точка зрения самого Г. А. Ильинского. Затем — тоже с абзаца — следует подробное изложение точек зрения, представляющихся автору неверными. Эта часть систематически выделяется красным карандашом на всем протяжении рукописи. Рукописи придан строго единообразный вид. Текст написан на одинаковых листах крупного формата, с одной стороны листа[1]. На одном листе помещено не более одной статьи.

[1] При этом в качестве писчего материала очень часто используются, судя по обратной стороне многих листов, прежние систематические записки и, по-видимому, курсы лекций самого автора по истории славянских стран и славянских литератур, черновики этимологических заметок и т. п.

Единообразие выражается и в последовательном применении одинаковой структуры статей (см. выше). Совершенно последовательно соблюдается употребление системы вспомогательных символов, а также сокращений, причем, кроме общеупотребительных в лингвистической литературе условных знаков и некоторых латинских аббревиатур названий грамматических категорий, четко проводится сокращенное обозначение русских названий привлекаемых языков. Имеются некоторые специально принятые автором сокращения морфологических терминов: *УС* (удлиненная ступень), *РС* (редуцированная ступень). Последовательность соблюдения всех этих сокращений настолько абсолютна, что, несмотря на отсутствие объяснительного списка условных сокращений, в них нетрудно разобраться после некоторого ознакомления с текстом.

Знакомство с данной рукописью свидетельствует, может быть, с еще большей очевидностью, чем изучение печатных работ Г. А. Ильинского, о высокой культуре этимологического труда. По-видимому, Г. А. Ильинский работал над созданием этимологического словаря славянских языков длительное время, по крайней мере несколько лет, о чем говорят, кроме описанных выше особенностей, определенным образом свидетельствующих о стадии работы, также внушительные размеры труда: вся рукопись размещается в 26 папках [2]. О хронологических рамках выполнения Г. А. Ильинским этой работы можно судить приблизительно. По отдельным датам, попадающимся в тексте на обратной стороне листов, можно заключить, что написание словаря приходится в основном уже на начало 1930-х гг. Примерно об этом же говорит последняя по времени литература, использованная в словаре: *A. Brückner.* Słownik etymologiczny języka polskiego (1927); *K. Lokotsch.* Etymologisches Wörterbuch der europäischen… Wörter orientalischen Ursprungs (1927); *A. Walde.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen / Hrsg. von J. Pokorny (1927—1932); Revue des études slaves. T. XII (1932).

Несомненно, что в случае своевременного выхода в свет сразу после подготовки (т. е. около 20 лет назад) этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского принес бы значительную пользу как подробный справочник по славянской этимологии, в значительной степени отражающий современное состояние науки. Словарь Г. А. Ильинского интересен с различных точек зрения. Прежде всего, это второй после работы Э. Бернекера этимологический словарь славянских языков, хорошо отражающий литературу за период после выхода словаря Э. Бернекера (второе, неизмененное издание

[2] Настоящее описание составлено на основании изучения только части названной рукописи, а именно — первых десяти папок (около 5000 листов), содержащих буквы *А*, *В*, *С*, *Д*, *Е*, *F* (*G* отсутствует), *I*, *J*, *K*, *L*.

в 1924 г.). Между прочим, в описываемом словаре Г. А. Ильинского встречаются также ссылки на подготовленное им второе издание его «Праславянской грамматики» (например, ПГ^2 5 — см. под *akъ*), как известно, так и не увидевшее свет (первое издание в 1916 г.). Далее, словарь Г. А. Ильинского, в отличие от словаря Э. Бернекера, доведен в общем до конца. Словник Г. А. Ильинского весьма богат. Достаточно сказать, что тогда как словарь Э. Бернекера (*A — morъ*) содержит немногим более 2500 слов, словарь Г. А. Ильинского приблизительно в тех же рамках (*A—L*) содержит около 5000 слов. В целом же нужно отметить, что Г. А. Ильинский при составлении словаря следовал во многом методам Э. Бернекера как в разработке структуры словарной статьи, так и в отборе слов. В словарь Г. А. Ильинского включено очень много поздних заимствований отдельных славянских языков, не носящих общеславянского характера, например: *abá*, *abaka*, *abeceda*, *abrikos*, *adamant*, *admiral*, *apelsin*, *arbuj*, *artillerija*, *benzoja*, *diadema*, *diafragma*, *dialektъ*, *faeton* и т. п. При значительной полноте словника в словаре, однако, имеется пропуск ряда слов.

Что касается существа этимологий, помещаемых в словаре, то для них характерны в целом недостатки, отличающие многие из известных опубликованных этимологических толкований Г. А. Ильинского, тем более что, предлагая оригинальные решения, он в большинстве случаев использует в словаре свои печатные работы. Это, главным образом, излишний схематизм в понимании развития славянских форм, выражающийся в обязательном отсечении корня и возведении его к индоевропейской форме с неким обобщенным значением. Вследствие такой практики собственно словообразовательный анализ славянского слова смазывается: автор стремится, минуя эти стадии, скорее связать славянское с индоевропейским. Надо сказать, что делается это не всегда интересно, тем более что возникает впечатление известной предвзятости, усиливаемое характерной для Г. А. Ильинского антипатией к объяснению славянских слов заимствованием. Так, польск. *bryl*, укр. *бриль* 'широкая соломенная шляпа', правдоподобно объясненное еще Я. Карловичем в «Словаре иностранных слов» из итальянского *ombrello* 'летний зонтик', Г. А. Ильинский ведет от и.-е. **bhrū-* 'иметь овальную, выпуклую форму' и считает исконным славянским словом. Рус. диал. *будара* он объясняет из и.-е. **bheudh-* «быть полым, овальным». Польск. *ciekawy* 'любопытный', укр. *цікáвий* Г. А. Ильинский объединяет общеславянским *cěkavъ*, производя последнее из и.-е. **koi-k-* 'резать, отделять, различать; узнавать', в то время как украинское слово, конечно, заимствовано в позднее время из польского, откуда также происходит рус. диал. *чекавый*, польское же слово состоит в прямом родстве с *cieć*, рус. *течь* и т. д. Известная прямолинейность в понимании фонетико-морфологической истории слов заставляет Г. А. Ильинского производить, например, слав. *červъjь*, ст.-слав. **чрѣвьи** не из *červo*, **чрѣво**

'живот', т. е. 'мягкая обувь из кожи живота', а прямо из и.-е. **(s)ker-* 'отрезанный кусок кожи', причем форманты *-v-ьjь* попросту отсекаются и оставляются без объяснения. Для известного позднего заимствования из греческого языка рус. *кровать* допускается возможность происхождения из балто-слав. **koru̯ŏt-*. рус. диал. *кума* 'лихорадка, трясучка' отрывается от формы *кума* с общенародным значением и производится из и.-е. **kou-m-* 'гнуть, клонить, качать', хотя очевидно, что использование слова *кума* в данном случае для обозначения болезни есть не что иное, как эвфемистическое иносказание, примеры чего хорошо известны в каждом языке. Местами в словаре встречается путаное изложение; попадаются ошибки, носящие, очевидно, случайный характер.

Наибольший интерес в описываемом словаре представляют, разумеется, оригинальные этимологии Г. А. Ильинского, причем именно те из них, которые не фигурировали в его опубликованных работах и познакомиться с которыми можно только в данной рукописи ученого. При ознакомлении с рукописью удалось отобрать некоторое количество этимологических статей, по-видимому, не публиковавшихся Г. А. Ильинским. Естественно, что при этом обращалось внимание особенно на те этимологии, которые, помимо оригинальности, представляли интерес также и в иных отношениях и менее затронуты перечисленными выше типичными недостатками ряда других этимологий Г. А. Ильинского. Некоторые из отобранных оригинальных этимологических статей представляются тем более ценными, что при сравнении их с соответствующими статьями, например в новом «Русском этимологическом словаре» М. Фасмера, обращает на себя внимание более богатое содержание статьи или наличие более вероятного толкования у Г. А. Ильинского.

В этой связи может оказаться желательным ознакомление читателя с некоторыми взятыми на выбор этимологическими статьями описываемого словаря. Приводимые ниже выдержки представляют собой дословные цитаты из различных мест текста рукописи Г. А. Ильинского. Чтобы облегчить понимание текста, раскрыты некоторые условные сокращения.

* * *

acě conj: др.-цслав. ацѣ 'хотя', др.-рус. ацѣ 'если'

< окаменевшей формы местоимения *akъ*.

Ошибочно Berneker [Slavisches etymologisches Wörterbuch][3] (I 22) разлагает эту форму на *a* + *cě*.

---

[3] Вставки в квадратных скобках применены мной в некоторых случаях, чтобы облегчить понимание ссылочной части текста Г. А. Ильинского. Сноски мои. — *О. Т.*

alynьja f: рус. диал. (владим., костром.) *алынья* 'корова'

< и.-е. **ōl-ūni-* 'рогатое животное'; ср. кимр. *elain* 'оленья самка' из **el-n̥nī* (Ильинский, Slavia, II 254).

Шахматов (О полногласии, 103, Очерк [древнейшего периода истории русского языка], 5, 262) выводил этимологизируемое слово чисто фонетически из корня **ol̄-n-*, что, конечно, неверно [4].

biritjь m: ...цслав. *биришть* 'глашатай, пристав', словен. *birìč* 'судебный служитель, полицейский', чеш. *biřič* 'глашатай, сыщик, палач', в.-луж. *běric*, *běrc*, н.-луж. *běric*, др.-рус. *бирю́чь* 'глашатай, пристав', укр. *бирич*, рус. диал. *бири́ч*, *бирю́ч*...

Не образовано ли *biritjь* от слав. *birъ* 'подать'? [5]

bosъ m: рус.-цслав. *босъ* 'бес', др.-рус. *босъ* 'стремительный, хищный, бурный', др.-рус. *босовъ* (Слово о полку Игореве); укр. *бусо-вір* 'идолопоклонник, язычник', 'чародейный'; чеш. диал. *bosorkyně* 'чародейка', укр. *босорка́ня* 'колдунья, ведьма'; чеш. диал. (морав.) *bosorovai* 'колдовать'

< и.-е. **bhōso-* 'существо, бурно и шумно двигающееся; дух; злой дух'; см. *běsъ*.

Нет основания считать укр. *босорка* и т. п. заимствованием из мадьярского *boszorka* (Skok. Archiv für slavische Philologie. XXXV 350): последнее скорее само заимствовано из славянского (о прилагательном *босъ*, *босовъ* неверно сказано у Мелиоранского: ИОРЯС. VII 2, 284; см. также Корш. Известия. VIII 4, 33).

brosnь f: польск. *brośń* 'плесень', блр. *броснъ* 'плесень', *броснелый* 'плесневый', *броснець* 'покрываться плесенью'

< и.-е. **bhrŏ̄k̂-* 'светлый', ср. др.-инд. *bhrāśatē* 'пылает, светит'.

Brückner [Słownik etymologiczny języka polskiego] (41) не отделяет этимологизируемое слово от *bronъ*; см. этимологию. — Неясно Miklosich [Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen], 22.

brotь f: чеш. *brot*, род. падеж *broti* 'сок, краска, багрянец', др.-чеш. *brotec* 'rubia herba, radix eius est rubea', чеш. *brotiti* 'красить'; цслав. *брошть* 'крап, марена', болг. *брошт*, сербохорв. *brȍć*, словен. *bròč*; укр. *брочи́ти* 'красить', словен. *bróčiti*.

< и.-е. **bhre-t-* 'жар, печь, варить' (параллельного *bhreg-*; ср. *braga* и *bhrek-*; ср. *bročь*); ср. др.-в.-нем. *bruoten* 'сидеть на яйцах', *brātan* 'жарить',

---

[4] Эта словарная статья основана на печатных материалах Г. А. Ильинского, но представляет интерес, поскольку в словаре М. Фасмера (*M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953) слово *алынья* отсутствует.

[5] Приписано карандашом, видимо, позднее. Здесь и в дальнейшем опущенная часть статьи (...) содержит сводку известных в литературе объяснений.

22. Заказ № 2419.

лат. *frĕtum* 'кипение, бурление, жара': основное значение нашего имени было 'корень, который при варке дает красную краску'.

Ошибочны гипотезы: 1) о заимствовании этимологизируемого слова из ср.-лат. *bractea* 'пурпур' (Jokl. Zborník u slavu Jagića. 485; Vasmer. Rocznik slawistyczny. IV 169) — cлóва малоупотребительного и имеющего значение вторичное: оно развилось в нем под влиянием *blattea*; 2) об исконном родстве с греч. βρότος 'кровь', βροτόω 'спрыскивать кровью' (Berneker, I 88); 3) о происхождении из **mrok-*, **mroktįo-*, т. е. от основ, от которых будто бы образована семья лат. *fracescere*; 4) о происхождении из **brok-*, **broktįo-* 'жидкость' (Rozwadowski. Rocznik slawistyczny/ II 78). У Miklosich'a (22) слово не объяснено.

bystrъ adj: ...[6]

cě conj: др.-цслав. **цѣ** 'καίτοι, καίπερ, εἴπερ'

< и.-е. *k^{u}oi*, loc. sing. местоимения *k^{u}o-*, ср. лит. *kai-po*, *kai-p*, *kai-pogi*. — Неточно Miklosich, 152: Persson. Indogermanische Forschungen. II, 205.

Другие (Brugmann. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. C20, Berneker, I 122) сближают с греч. καί 'и, также'.

cěriti vb: болг. *церя́* 'лечу', *цяр* 'лекарство'

< и.-е. **koi-* 'быть крепким, здоровым'; см. *cě-lъ*.

čata f: словен. *čâta* 'засада', польск. *czata* 'засада, ночная стража, передовой пост', др.-польск. 'нападение, наезд', укр. *ча́та* 'форпост, ночная стража'; pl. *ча́ти* 'засада, патруль', польск. *czatować* 'сторожить', укр. *чатува́ти* 'караулить, производить рекогносцировку'

< **čakta*, см. *čakati*.

Miklosich (Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen, 10) выводил из мадьярского *czata* 'pugna', которое из слав. *četa*, в «Etymologisches Wörterbuch» (35) он относил к *četa*; см. этимологию слова; Berneker (I 137) и Brückner (73) стоят за первую альтернативу.

čekati vb: болг. *че́кам* 'жду', сербохорв. *čȅkati*, чеш. *čekati*, польск. *czekać*, укр. *чека́ти*, рус. *быть на чеку*; — удлиненная ступень ст.-цслав. **чакати**, болг. *ча́кам*, ст.-сербохорв. *čakati*, словен. *čákati*, др.-чеш. *čakati*, в.-луж. *čakać*, нижне-луж. *cakaś*, др.-польск., польск. диал. *czakać*, чеш. *čáka* 'надежда'; редуцированная ступень др.-чеш. и современное *počkati* 'подождать', 2-е лицо повелит. накл. *po-čkej*, польск. *po-czkaj*; сербохорв. *čéčati* 'сидеть на корточках'

---

[6] В соответствующей статье Г. А. Ильинский отказывается от своей старой этимологии *bystrъ* — к *bъdrъ* 'бодрый' и под. (см. *Г. Ильинский.* Славянские этимологии // Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin, 1908. С. 291—292), которая, как известно из этимологической литературы, числится за ним до сих пор, и присоединяется к общепринятому объяснению *bystrъ* < и.-е. **bhūs-* 'шуметь, бурлить'; ср. др.-исл. *bysia* и др.

< и.-е. **kek-* ‘гнуться, сгибаться, подстерегать’; значение ‘ждать’ развилось в охотничьем языке из ‘сидеть или стоять согнувшись в ожидании добычи’; ср. др.-в.-нем. *hohon* ‘сгиб колена’, ирл. *coss* ‘нога’, лат. *coxa* ‘бедро’, авест. *kaša* ‘плечо’, др.-инд. *kákṣa* ‘подмышка’ ∾ См. *čeka*, *čekanъ*.

Meillet (Etudes, 163) и Brückner (75) видят в этимологизируемом слове расширение корня *ča-* в *čajati* (см. этимологию слова), причем *čekati* возникло из *čakati* диссимиляцией двух *a*; напротив, Лось (РФВ, XXIII 75), Zubatý («Listy filologické», XXVIII 33) и Berneker (I 134) рассматривают *čekati* как удвоенное образование, отожествляя причастие *čekanъ* с др.-инд. *cakānas* ‘желанный’. К этому мнению присоединяется Berneker (I 134), который привлекает сюда же латышек. *kârs* ‘жадный, похотливый’, др.-в.-нем. *huora* ‘развратная женщина’, ирл. *cara-* ‘друг’, лат. *cārus*, авест. *kajeiti* ‘желает’, др.-инд. *kājamanas* ‘желающий, любящий’, *cājamānas* ‘желающий’, *ā́-cakē* и пр.; в частности, *čakati* возникло будто бы из *če-kati* под влиянием *cajati*; впрочем *čakati* может скрывать *kē*, интенсивная редупликация типа др.-инд. *dā-dharti* ‘держит’.

— Неясно Miklosich, 30.

čerda: рус. диал. (псков.) *чередá* ‘опрятный одеждою’, словен. диал. (хорут.) *čriditi* ‘очищать, полоть (кукурузу)’, *čriediti*, рус. диал. (арханг.) *чередúть* ‘очистить, выпотрошить (птицу, рыбу)’, (пермск.) ‘очищать (пшеницу)’, (псковск.) *чередить* ‘мести, вытирать (комнату)’

< и.-е. **(s)kerd-* ‘резать, скрести’; ср. лит. *(s)ker̃sti* ‘резать, колоть (свиней)’, лтш. *škèrst* ‘щепить, резать (труп)’, лит. *skardùs* ‘крутой’, *skar̃dis* ‘крутой берег’. См. *skъrdъ*, *ščerda*.

Зеленин (Известия, VIII 4, 257) сближает этимологизируемое слово с греч. κέρδος, лат. *cerdo*[7].

чит m: рус. диал. (вологодск., вятск., арханг.) ‘мелкий дождь, ситник, бус’, *чúтать* ‘моросить’ : *чúтает* ‘моросит’

< и.-е. **(s)keit-* ‘отделять, цедить, щепить’, см. *cěditi*, *čisti*.

Meckelein (Finnisch-ugrische Etymologien, 69) и Kalima (Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, 248) выводят этимологизируемое слово из фин. *siite*, которое в действительности заимствовано из русского.

čьrnъ adj: др.-цслав. **чрьнъ** ‘черный’…

< и.-е. **k*^{e}*r-no-* ‘черный’, чередовавшееся с **k*^{e}*r̥s-*; ср. лит. *kéršas* ‘с черными и белыми пятнами’, *kéršė* ‘пестрая корова’, *karšìs* ‘свинец’; швед., норв. *harr* ‘пепел’; контаминацией **k*^{e}*r̥n-* и **k*^{e}*r̥s-* возникло *k*^{e}*r̥sno-*; ср. прусск. *kirsnan*, лит. *Kirsnà* название речки, др.-инд. *kr̥ṣṇás* ‘черный’.

---

[7] *М. Фасмер* (см. указ. словарь. Bd. III. 1956. S. 320) объединяет *чередить* ‘учреждать’ и *чередить* ‘чистить, подметать’.

Обыкновенно (Schmidt, Vokalismus, II 33, Fick, Etymologisches Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, I 190; Miklosich, 34, Mikkola, Bezzenbergers Beiträge, XXII 245, Hirt, Bezzenbergers Beiträge, XXIV 253, Berneker, I 170, Ильинский. Звук *ch* в славянских языках, § 107, Trautmann [Baltisch-slavisches Wörterbuch], 134, Brückner, 72) выводят этимологизируемое слово из *čьrchnъ* < и.-е. **kr̥sno-*.

děgati vb: словац. *děgat'* 'пихать; кутать'

< и.-е. **dheig-* 'колоть, толкать, торчать'; ср. лит. *díegti* 'колоть', лтш. *diegt*, лит. *díegas* 'росток', *dáigas*, лтш. *diẽgs*. — О литовских словах см. Буга. Известия. XVII, I 32, Trautmann, 49.

doganъ m: словац. *dohan* 'курительный табак', *doháň*: — удлиненная ступень чеш. *dahněti* 'пылать'

< и.-е. **dhegh-* 'гореть'; см. *degъtь*.

droiti sę vb: рус. диал. (псков.) *дройться* 'о рыбе, крутиться от опьянения после мочки в речке или зернах конопли'. Низшая ступень сербохорв. *zàdrijaka-* 'здоровяк'

< и.-е. **d(e)rei-* 'драть, драться'? [8]

dukъ m: рус. диал. *дук* 'ямка, лунка, в которую дубинками вгоняют шар, чурку', польск. диал. *ducza*, *duca* 'углубление в середине верхнего жернова; углубление вообще (в хлебе, в земле)', укр. *ду́ча*; польск. *duczka* 'трубка в бочке', укр. *ду́чка* = *ду́ча*, юж.-в.-р. (курск.) *дучка* = *дук*; польск. диал. *duczaj*, *ducaj* 'отверстие в середине верхнего жернова', укр. *дучей*, юж.-в.-р. (курск.) *дуча́й*; чеш. *dučeje* 'водопад', др.-польск. *duczaja* 'витая трубка'; словац. *dúčel* 'трубка', *dúčela*, др.-польск. *duczał* 'трещина во льду', *duczała*, *ducoła*; польск. *dukwieć* 'ślęczeć'

< и.-е. **douk-* 'рвать, щепить, долбить', ср. лит. *duksmė̃* 'отрепье', *dúkšta* 'веха', алб. *nduk* 'рву, вырываю волосы'.

Ошибочно сближение *dučejě* и т. п. с итальянским *doccia* 'водопроводная труба' (Matzenauer, Cizí slova ve slovanských nářečích, 149, Berneker, I 232); ср. Brückner, 102. — Неясно о *duczaja* Miklosich, 52 [9].

dvigъ m…

< и.-е. **dhu̯eig(h)-* 'трясти, двигать' < и.-е. **dh-ŭ* 'дуть, трясти, приводить в движение'; ср. греч. θῡ́ω 'вторгаюсь, спешу', др.-инд. *dhuvati* 'трясет, выдергивает, приводит в движение'.

Другие сближения: 1) с др.-в.-нем. *zwangan* 'колоть, щипать', ирл. *dedaig* 'oppressit' (Windisch. Kuhns Zeitschrift. XXIII 207, Stokes. BB. XXI 128);

---

[8] Слово *дройться* у М. Фасмера (указ. соч.) отсутствует.

[9] Ср. *M. Vasmer*. Указ. словарь. Bd. I. S. 379: «*дук* — 'Grube beim Spiel *клюшки*, in die der Ball getrieben werden muß', Terek — G. (RFV 44, 91). Unklar».

2) с др.-в.-нем. *zwigōn* 'щемить' (Uhlenbeck, PBB, XXII 542); 3) с др.-в.-нем. *wīh-han* 'уступать', др.-инд. *vēyas* 'дрожание, энергичное движение', *vējate* и другими образованиями от **u̯ei-g-*, соединившегося еще в дославянское время с префиксом *ad-* и утратившего начальное *a-* (Berneker, I 240). — Неясно Miklosich, 53, Преображенский, I 175, Brückner, 114.

dъbolь m: словац. *dbol* 'улье' (собственно 'выдолбленный древесный ствол'), *dbolec*

< и.-е. **dhŭbh-* 'быть полым', см. *dъbrь*.

Štrekelj (AfslPh, XXVIII 499) видит в этимологизируемом слове новообразование из сочетания **ze zdbolu*; см. *stvolъ*.

icha f: словен. *íha* 'буря', *íhati* 'ворчать'

< и.-е. **eis-* 'шуметь, кричать'; ср. лит. *aišióti* 'выть (о сове)'.

izokъ m: ст.-цслав. *изокъ* 'цикада, кузнечик, сверчок', рус.-цслав. и др.-рус. *изокъ*

< и.-е. **oiĝ(h)-* 'звучать, шуметь, трещать, стрекотать'; ср. лит. *áižėti* 'трескаться, лупиться', *áiženotis*, *aižýti* 'лущить (горох), снимать кожуру', *eiženóti* 'трескаться, лопаться', *eĩžti* 'шелушить', *ìžti* 'лущиться, разрушаться', *ižús* 'рыхлый, рассыпчатый'.

Matzenauer (LF, VIII 15) сближал этимологизируемое слово с лит. *šókti* 'прыгать' (Потебня. К истории звуков. IV 62) с греч. αἴξ 'коза', а Berneker (I 440; ср. также Преображенский, I 266) выводит его из *iz-oko-* 'насекомое с выступающими глазами'. — Неясно Miklosich, 97.

**jasmy* m: рус. *ясме́нник* 'растение Asperula (odorata)'; …

< и.-е. **oik̑m-* 'нечто острое'; ср. прусск. *aysmis* 'копье', лит. *iẽšmas* 'вертел', лтш. *ìesms*, греч. αἰχμή 'острие копья'. — Schmidt. Vokalismus. I 76, Meillet. Mémoires de la Société de linguistique de Paris. VIII 299, Walde. KZ. XXXIV 477, Trautmann 4 (все без русского слова).

klěviti vb: рус. диал. (арханг., холмог., шенк., вятск., великоуст., иркут., уржум., яросл.) *клеви́ть* 'побуждать к плачу'; — сильная ступень рус. диал. (вологодск., арханг., холмог., шенк.) *кливи́ть* 'побуждать к плачу'

< и.-е. **klei-u̯-* 'шуметь, кричать', распространения корня **klei-* в *klikъ*, см. этимологию.

lava f: рус. *ла́ва* 'казачий строй в нападении полукругом в одну шеренгу'; польск. *ob-ława* 'порядок войска в походе; выгон зверя: тенета'; укр. *обла́ва* 'толпа, окружающая что-либо'; рус. *облава* 'выгон зверя большим количеством людей', *облавщик* 'загонщик'

< и.-е. **lōu-* 'рвать, хватать, охотиться'. — См. *loviti*. Matzenauer (399, Miklosich, 218), неуверенно Преображенский (I 628) и Brükner (371) выводят *oblava* из ср.-в.-нем. *abelouf* (н.-в.-нем. *Ablauf*); рус. *лава* Преображенский (I 426) относит сюда неуверенно.

lotiti vb: словен. *lotíti se* 'приниматься, браться за что'; — удлиненная ступень сербохорв. *l̀atiti* 'схватить', ∾ *se* 'приняться' (— *posla* 'за дело'), 'заступиться', словен. *látiti se*; словен. *látati se* 'предпринимать, стараться', сербохорв. *l̀aćati* 'приниматься, хватать', словен. *lȃčati se*

< и.-е. **lŏ̄-t-* 'вожделеть, хотеть, хватать'; ср. др.-инд. *lā́ti* 'хватает, схватывает' < *lŏ̄-*; ср. его параллельные расширения *lŏ̄d-*, *lŏ̄s-*, *lŏ̄g-*.

— Неточно Berneker (I 694), неясно Miklosich (174).

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: *O. Szemerényi.* Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages with special reference to Indian, Iranian, Greek and Latin (Acta Iranica. Textes et mémoires, V. VII. Extrait. Édition Bibliothèque Pahlavi. Téhéran; Liège, 1977)

Несколько раньше выхода этой своей обобщающей монографии об индоевропейских терминах родства О. Семереньи писал в статье на близкую тему: «Оживление вокруг системы индоевропейских терминов родства», которая вызывала столько интереса в прошлом столетии и еще в начале этого столетия, постепенно, как будто, затихло. Еще выходят различные исследования большего или меньшего объема, но речь в них идет едва ли о приобретении новых знаний, а самое большее — о новых интерпретациях (антропологического толка) уже известных данных. И, однако, в этой области есть, как мне кажется, еще много проблематичных моментов, которые ждут разъяснения и даже дают решение в руки, если строго соблюдать аспекты и требования словообразования [1]. В то самое время, когда писались эти слова насчет затишья в исследовании терминов родства, другой западногерманский индоевропеист Р. Нормье (R. Normier, Саарбрюкен) в каких-нибудь двухстах километрах от О. Семереньи (Фрайбург) заканчивал свою работу об индоевропейских терминах родства, а двумя годами раньше (1975 г.) вышла в Чехословакии книга В. Шаура об этимологии славянских терминов родства [2]. Таким образом, упомянутое затишье иллюзорно, точнее сказать, его нет совсем, и книги о на-

[1] *O. Szemerényi.* Das griechische Verwandtschaftsnamensystem vor dem Hintergrund des indogermanischen Systems // Hermes. Bd. 105. Heft 4. Wiesbaden, 1977. S. 385.

[2] См. мою рецензию: Этимология. 1976. М., 1978. С. 166—167.

званиях родства пишутся сейчас не реже, а даже чаще, чем во времена Дельбрюка. Другое дело — это то, что, помимо собственно лингвистических работ и даже несколько заслоняя собой эти последние, выходили в свет разные антропологические системы, где много сложных схем и свободных аналогий, много говорится о самих системах родственных отношений и очень мало лингвистического содержания. Делать прямые заключения от родственных отношений людей к структуре самих слов, обозначающих эти отношения, так же неверно, как по данным археологии судить о прошлом языка. Язык отражает внеязыковую действительность, но отражает своеобразно, поэтому в исследовании терминов родства мы вновь должны уделить главное внимание не антропологии и не системам родства австралийцев, а этимологии и словообразованию названий родства.

Далее, парадоксально, но до сих пор остается фактом, что индоевропеистика моделирует свои представления об индоевропейском на базе классических (включая индоиранские) и западноевропейских языков и в очень малой степени — на славянских данных. Это можно, не колеблясь, сказать об индоевропейских реконструкциях Бенвениста и Трира. Семереньи лучше знает и больше учитывает балтийские и славянские языки, но и у него сказывается это «special reference to...» (а по сути дела — preference of...) части языковых фактов, что, конечно, ослабляет некоторые «окончательные решения». Поэтому мы в своей рецензии на новую важную книгу Семереньи остановимся главным образом на вопросе адекватности лингвистических (этимологических, словообразовательных, семантических) реконструкций и толкований.

Индоевропейская лексика родственных отношений стара, как сам индоевропейский, даже в отдельных элементах старше индоевропейского языкового типа как такового, поэтому мы должны думать также о достижимой глубине реконструкции. Ясно, что ниже определенного предела реконструкция не поддается уже никакой проверке. Такова, например, этимология лат. *piscis* и т. д. 'рыба' < и.-е. **ap-isko-* 'водяная' (Тиме). Не менее сомнительна реконструкция и.-е. **pri̯i̯o-* 'близкий, милый', 'свободный' < **per-* 'дом' (см., вслед за Ришем, Szemerényi, p. 122), если, во-первых, соответствия последнему, кроме анатолийского, известны, пожалуй, только в египетском (!). Во-вторых, трудно все-таки отрицать естественный характер словообразовательной связи и.-е. **pri̯i̯o-* и **prei̯-*. К последнему пространственному наречию-предлогу-префиксу относятся лит. *prie*, слав. *pri*. До конца не изученные отношения лит. *prie* и лтш. *pie* предостерегают нас от слишком решительных выводов, ср. и возможный параллелизм др.-инд. *priyá-* и лат. *pīus*.

Древность и словообразовательно-морфологическую, типологическую широту индоевропейских терминов родства иллюстрирует наличие в ней не только классических ранне- и позднеиндоевропейских атематических и тема-

тических моделей развитого словообразования, но и совершенно иных, простейших типов: **pa*, **ma*, *papa*, *mama*. Назвать эти последние слова Lallwörter, nursery-type words еще не значит решить проблему. Эмоциональность употребления, постоянная репродукция этих слов в их «неизменном», ахроническом виде (рус. *папа* звучит почти так же, как анатолийск., палайск. *papa-* тысячелетия назад) не должны заслонять факта их глубокой и преимущественной древности, сравнительно с морфологически оформленным **pater*, **pəter*, производным от «детского» *pa*. Было бы упрощением считать, что этот словообразовательный акт состоялся абсолютно во всех языках, даже в тех, где нет никаких следов и.-е. **pəter* как в анатолийских (Szemerényi, p. 7).

Архаизм последних именно в том и состоит, что они остались при названиях отца простейшего типа — *atta-*, *papa-*. Автор не очень уверен в том, что слав. **stryjь* восходит к и.-е. **pəter* или его производному (там же) и, кажется, совсем упускает из виду еще один вероятный славянский его континуант — болг. *пáстрок* 'отчим' < и.-е. **pō-pətor-* [3]. Автор справедливо негодует по поводу нередких и сейчас попыток истолковать и-е. **pəter* как некий эпитет, имя деятеля 'защитник, покровитель' (Szemerényi, p. 9). Однако для нас осталось неясным принципиальное отличие этой семантической реконструкции от той, которую автор предлагает для и.-е. **dhugəter* — 'the person who prepares a meal' (Szemerényi, p. 22). В таких случаях лучше писать ignoramus. Со стороны словообразования, очень сомнительно производство **dhugəter* с суфф. *-ter* от вокатива **dhugə* (там же), идея, которую автор повторяет в случае с названием жены брата мужа: **i̯enəter* зв. п. **i̯enə* (Szemerényi, p. 92). Логичнее, конечно, и тут признать полную неясность основы. Впрочем, более внимательная проверка значения ('жена брата мужа', 'жены братьев по отношению д р у г к д р у г у') позволяет нащупать четкую семантическую идею оппозиции, которая хорошо согласуется с противопоставительным формантом *-ter-*. Поскольку в данном случае оппозиция выражается и в значении слова, кажется возможным высказать предположение о соответствующей этимологии корня слова: **ī-nə-ter*, где **ī-* / *i̯e-* — указательное местоимение, *-nə-* < *-no-* — энклитика, ср. др.-инд. *yatarā́-* 'который из двух' в качестве базовой конструкции. Кажется, что изложенная гипотеза лучше учитывает специфику употребления и особенности системы. Таким образом, если *papa* и *mama* — это, так сказать, дограмматические термины родства, то **īnəter*, **i̯enəter* — целиком морфолого-словообразовательная конструкция, сложность которой может говорить о ее позднеиндоевропейской хронологии. Другие образования на *-ter* занимают промежуточное положение, и этимология их по-прежнему неясна. Это относится, например, к **bhrāter-*, о котором

[3] *О. Н. Трубачев.* История славянских терминов родства. М., 1959. С. 53.

можно сказать несомненно только то, что оно принадлежит к именам на *-ter-*. Едва ли можно считать удачным поэтому авторское членение **bhrāter* 'принеси огонь' (так Szemerényi, p. 25).

Я не буду подробно излагать анализ термина 'сестра' (Семереньи членит не **sue-sor*, а **su-esor*, согласно своей теории об и.-е. **esor* 'женщина', гласное начало которого остается для нас неясным), упомяну лишь интересный пассаж (начиная со с. 42) о выделяемом здесь корне **su-* 'род, семья' и производном отсюда притяжательном местоимении **suo-*. Разъяснению первоначальных отношений здесь весьма помогают удачно используемые Семереньи архаические особенности употребления этого местоимения именно в славянском, ср. рус. *я — свой, мы — свой*, т. е. независимо от лица, что в большинстве языков подверглось вторичной перестройке типа *я — мой, мы — наш*.

Правда, в других случаях автор не полностью учитывает индоевропейское наследие в славянском, например, его утверждение о том, что и.-е. **auo-* встречается в балто-славянском только в производных формах и только в значении 'дядя' (Szemerényi, p. 47), необходимо поправить, указав на известное прямое продолжение в н.-луж. *wowa*, в.-луж. *wowka* 'Großmutter, бабушка', ср. лат. *ava* 'бабка'.

В книге Семереньи довольно много новых и, я бы сказал, дерзких этимологий. Например, и.-е. **suek̂uros* он толкует как первоначальное **sue-k̂oru-s* 'глава рода, семьи' (Szemerényi, p. 65; относительно **sue* см. выше, а второй компонент — к греч. κορυφή 'голова, верхушка' и далее — к и.-е. **k̂erəs-*). Не все они убедительны; слав. **ženixъ*, пóзднее производное с суф. *-(i)xъ* от глагола **ženiti*, вовсе нет необходимости реконструировать, вслед за автором, как и.-е. **g^{u}eni-is-o-* 'ищущий жену' (Szemerényi, p. 74) тем более, что славянский знает только расширенную глагольную основу **jьskati*. В целом, книга читается с живым интересом и будит мысль своими — иногда экстравагантными — решениями, каково, например, объяснение и.-е. **g^{u}en-*, **g^{u}enā* 'жена' как производного от **g^{u}u-*, **g^{u}ou-* 'корова' (следуют иллюстрации из современных английских романов и древних классиков, см. Szemerényi, p. 76 и след.). Автор не упускает случая подискутировать, в частности с Бенвенистом, подвергая сомнению положения, введенные последним в научный обиход, ср. вопрос о значении и.-е. **dom-* 'социальная ячейка, семья' или 'дом, строение' (Szemerényi, p. 96 и след.). В работе Семереньи обсуждается огромный материал, выходящий за рамки темы или связанный с ней маргинально[4]. Огромный пассаж посвящен племенному и социальному

---

[4] Между прочим, греч. δοῦλος, микен. *do-e-ro* 'раб' Семереньи почему-то реконструирует как **doselo-* (Szemerényi, p. 101), хотя это мало что дает. Ср. иную попытку: *О. Н. Трубачев.* История славянских терминов родства. С. 37, примеч. 144: из

названию *ārya-*. Автор готов в итоге допустить для него заимствованное, неиндоевропейское происхождение (Szemerényi, p. 146). Но прежде чем углубляться в угаритские тексты в поисках переднеазиатского источника этого термина, необходимо принять к сведению факт, что севернопонтийские иранцы, например сарматы, по свидетельству древних, называли сами себя *arya* — *Arii*, что делает упомянутую догадку сомнительной.

Из числа общих выводов автора («Conclusions and confrontations») остановимся на его рассуждении об употреблении вокатива в роли номинатива (Szemerényi, p. 153). Кроме известных примеров из древних и живых языков, здесь фигурируют собственные примеры Семереньи: весьма проблематичный звательный падеж **dhugə* (якобы в основе и.-е. **dhugə-ter*) и **i̯ene* — от **i̯enā*, им. п. (в **i̯enəter*), кроме того — в высшей степени сомнительный конструкт **ōšve* (> лит. *úošvis* 'тесть'), якобы из спайки звательного оборота **ō švešure!* 'о, свекор!' (там же, с. 154). Обращает на себя внимание, что автор дает в реконструкциях всегда исходы *-tēr*, *-ōr* с долготой. Вторичность долготы здесь очевидна, она должна быть объяснена (старый номинатив с краткостью *-ter*, *-or* получил функцию вокатива, после чего в роли номинатива выступает новая форма с долготой *-tēr*, *-ōr*[5]), а главное — снята при реконструкции. Вот почему целесообразно реконструировать первоначальное и.-е. **pəter*, **māter*, **bhrāter*, **su̯esor*. Живо полемизируя против теорий реконструкции классификаторских систем родства и системы Омаха у индоевропейцев, автор склоняется (вслед за Леви-Строссом) к признанию у них авункулата («особое родственное чувство привязанности или боязни, существующее в бесчисленных культурах между племянником и дядей по матери...», см. Szemerényi, p. 184). Дальше (с. 190) живописно изображается, как материнские дядья, обычно не живущие в той же семье, время от времени наезжают и, случается, дарят при этом подарки, и как все это приятно (их приезд всегда желателен, к ним обращаются, называя 'dear uncle', а дядьев по отцу — просто, сухо 'uncle'...).

Автор резюмирует, определяя индоевропейское общество как патриархальное, патрилинейное, патрилокальное и «патрипотестальное» (Szemerényi, p. 206). Существование матриархата он либо подвергает сомнению, либо неохотно допускает только для «додоиндоевропейских времен» (там же, с. 158). Семереньи демонстрирует полную осведомленность в работах по антропологии, прекрасно разбирается во всех четырех системах Омаха и сам составляет схемы. Не будучи антропологом, я бы не хотел непрофессионально спорить, но все же укажу автору на один релевантный факт из истории индоевропей-

---

**dhoi̯-elo-* 'ребенок', ср. лат. *fīlius*, лтш. *dēls* 'сын', т. е. семантически — 'дитя, младенец' → 'раб'.

[5] Ср.: *J. Kuryłowicz.* L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956. P. 143 и сл.

ского общества, который я тщетно искал и не нашел в книге Семереньи: Σαυρομάται Γυναικοκρατούμενοι 'женовладеемые савроматы' (Scyl. Caryand. 70; Plin. NH VI, 19). Трудно отрицать, что один этот факт стоит многих схем и не соответствует таким дифференциальным признакам, как патриархальность, патрилинейность, патрилокальность, «патрипотестальность»... Как раз наоборот. Эту черту савроматов / сарматов нельзя ни объявить неиндоевропейской, ни отнести за счет субстрата, логичнее и проще видеть здесь реликт индоиранской и индоевропейской древности. Но, повторяю, эту сторону работы Семереньи я здесь не анализирую, ограничиваясь только лингвистическим планом, потому что считаю, что именно этот план — словообразование, этимология, лексическая семантика — остается главным и решающим в исследовании терминов родства, которое обогатилось теперь интересной, хотя и спорной в деталях, книгой О. Семереньи.

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Литература

Байкоў—Некраш(эвіч) — *М. Байкоў, Е. Некрашэвіч.* Беларуска-расійскі слоўнік. Мінск, 1925
БД — Българска диалектология
БЕ — Български език
БЕР — Български етимологичен речник. Св. I—. София, 1962—.
БМЭ — Большая медицинская энциклопедия
БСЭ — Большая советская энциклопедия
БТР — *Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев и др.* Български тълковен речник. София, 1973
Вост(оков) — *А. Х. Востоков.* Словарь церковно-славянского языка. I—II. СПб., 1858.
ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
ВЯ — «Вопросы языкознания»
Геров — *Н. Геров.* Рѣчникъ на блъгарскый языкъ съ тлъкувание рѣчи-ты на блъгарски и на русскы. Ч. I—V. Пловдивъ, 1895—1904; Ч. VI (= *Г. Панчевъ.* Допълнение на българския рѣчникъ от Н. Геровъ). Пловдивъ, 1908. (Переизд.: София, 1975—1978)
Гринч(енко) — *Б. Д. Гринченко.* Словарь украинского языка. Т. I—IV. Киев, 1907—1909
ДН — «Дружба народов»
Дом. жив. — *О. Н. Трубачев.* Домашние животные
Донск. словарь — Словарь русских донских говоров / Авт.-сост. З. В. Валюсинская, М. П. Выгонная и др. I—III т. Ростов-на-Дону, 1975—1976
Жив. Стар. — «Живая Старина»
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЖСт — «Живая старина»
И(зв.) АН ОЛЯ — Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка
Изв. ОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук

ИЛ — «Иностранная литература»
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИРЛ — «История русской литературы»
И-С — *В. М. Иллич-Свитыч, Д. Толовски.* Македонско-русский словарь. М., 1963
Ист.-этимол. словарь — *В. И. Абаев.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I—IV. М.; Л., 1958—1989
Картотека ДРС — Картотека «Словаря русского языка XI—XVIII вв.» (Ин-т русского языка РАН, Москва)
Картотека СДР — Картотека «Словаря древнерусского языка» (Ин-т русского языка РАН, Москва)
Опыт — Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852
ОЯФ — *В. И. Абаев.* Осетинский язык и фольклор. Т. I. М.; Л., 1949
ПС — Праславянский словарь
РФВ — «Русский филологический вестник»
РЯШ — «Русский язык в школе»
Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
Свод — Свод древнейших письменных известий о славянах
СИИЯРС — Сравнительно-историческое изучение языков разных семей
Сл. Сред(него) Урала — Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. А. К. Матвеева. Т. I—VII. Свердловск, 1964—1988
Словн. староукр. мови XIV—XV ст. — Словнік староукраїнської мови XIV—XV ст. I—II. Київ, 1977—1978
Словн. укр. мови — Словнік української мови. I—IX. Київ, 1970—1978
Слоўн. паўночн.-заход. Беларусі — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі и яе пагранічча: у 5 т. / Уклад. Ю. Ф. Мацкевіч, А. І. Грынавецкене, Я. М. Рамановіч і інш. Мінск, 1978—1986.
СлРЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. / Сост. Н. Б. Бахилина, Г. А. Богатова и др. Гл. ред. С. Г. Бархударов. Т. 1—. М., 1975—
Срез(невский) — *И. И. Срезневский.* Материалы для словаря древнерусского языка. I—III. СПб., 1893—1903 (репринт 1958, 1989 гг.)
СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1—23), Ф. П. Сороколетов (вып. 24—30). Вып. 1—. Л., 1966—
Ст.-слав. сл. — Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994
Сцяшковіч, Грод. — *Т. Ф. Сцяшковіч.* Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск, 1972.
Терм. род. — *О. Н. Трубачев.* История славянских терминов родства. М., 1959
Тр. Славян. комис. АН СССР — Труды Славянской комиссии Академии наук СССР
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. I—. М., 1974—
AASF — Annales Academiae Scientiarum Fennicae
AfslPh — Archiv für slavische Philologie
AO — Archiv Orientální

BB — Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen
Bezlaj. Etim slovar sloven. jez. — *F. Bezlaj.* Etimološki slovar slovenskega jezika. Knj. 1—. Ljubljana, 1977—
BNF — Beiträge zur Namenforschung
BPTJ — Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
BrSł — *A. Brückner.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927 (1970)
BSL(P) — Bulletin de la Société linguistique de Paris
BSOSAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies
ČMS — Časopis Maćice Serbskeje
Dab. žod. — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
Etym. slovn(ík jaz. č. a slov.) — *V. Machek.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957 (2. vyd. — 1968; 1971)
Etym. Wb. der deutsch(en) Sprache — *F. Kluge.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 15. neubearbeitet Aufl. Berlin, 1951
EWA — *M. Mayrhofer.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd. I—. Heidelberg, 1986—
FUF — Finnisch-Ugrische Forschungen
Hist.-etym. Wb. der ober- und niedersorb. Spr. — *H. Schuster-Šewc.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bd. 1—. Bautzen, 1978—
IF — Indogermanische Forschungen
JP — Język Polski
KEW — *F. Kluge.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 15. neubearbeitet Aufl. Berlin, 1951
KEWA — *M. Mayrhofer.* Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953
Kluge — *F. Kluge.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 15. neubearbeitet Aufl. Berlin, 1951
KSz. — Keleti Szemle
KZ — Kuhn's Zeitschrift — Zeitschrift für vergleichende Sprachforchung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen
LF — Listy Filologické
Lorentz. Pomor — *Fr. Lorentz.* Pomoranisches Wörterbuch. I—IV. Berlin, 1958—1975
LP — Lingua Posnaniensis
MSL — Mémoires de la Société de Linguistique de Paris
Mucke L.- u. Formenl. — *K. E. Mucke.* Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen Sprache. Leipzig, 1891
Muka I, II — *Э. Мука.* Словарь нижнелужицкого языка. Вып. I. Пг., 1921; *E. Muka.* Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow. II. Praha, 1928
Mūlenb.-Endz. — *K. Mūlenbachs, J. Endzelīns.* Latviešu valodas vārdnīca. Sēj. I—IV. Rīgā, 1923—1932
Norw.-dänisches etym. Wb. — (Норвежско-датский этимологический словарь)
NTS — Norsk Tidskrift for Sprogvidenskap
PBB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.
Pfuhl — *Dr. Pfuhl.* Łužicki serbski słownik. Budyšin, 1866

Plet. — *M. Pleteršnik.* Slovensko-nemški slovar. I—II. Ljubljana, 1894—1895
RÉS(l). — Revue des Études Slaves
REW — *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—III. Heidelberg, 1953—1958
RIO — Revue Internationale d'Onomastique
RO — Rocznik Orientalistyczny
SJS — Slovník jazyka staroslověnského. D. I—IV. Praha, 1958—1995
Skok. Etim. rječn. — *P. Skok.* Etimologijki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. I—IV. Zagreb, 1971—1974
Sł. gw. p. — Słownik gwar polskich
Sł. polszcz. — Słownik polszczyzny
Sł. stpol. — Słownik staropolski
UAJb. — Ural-Altaische Jahrbücher
Vaillant. Gramm. comp. — *A. Vaillant.* Grammaire compare des langues slaves. Vol. I—V. Lyon; Paris, 1950—1977.
Vasmer. Slaw. etymol. Wb. — *M. Vasmer.* Slawisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. 1—4. Heidelberg, 1950—1958.
Warsz. — *J. Karlowicz, A Kryński, W. Niedźwiedzki.* Słownik języka polskiego. T. I.
WS — Współczesni Słowianie
ZfS. — Zeitschrift für Slavistik
ZfslPh — Zeitschrift für slavische Philologie
Zool. Anz. — Zoologischer Anzeiger

Источники

Аввак. — Книга Пророка Аввакума (Ветхий Завет)
Авв. Ж. — Житие протопопа Аввакума
Библ. — Библия
Библ. Генн. — Геннадиевская Библия
Быт. — Бытие (Ветхий Завет)
ВМЧ — Великие Минеи Четьи
Геогр. Ген. — География Генеральная
Гр. Наз. — Григорий Назианзин
Дан. — Книга Пророка Даниила (Ветхий Завет)
Еккл. — Книга Екклесиаста (Ветхий Завет)
Жит. Меф. — Житие Мефодия
Жит. Нифонт. — Житие Нифонта
Жит. Порф. — Житие Порфирия
Ж. Сав. осв. — Житие Саввы Освященного
Златостр. — Златоструй
Злат. цеп. — Златая цепь
Иер. — Книга Пророка Иеремии (Ветхий Завет)
Изб. — Изборник
Изб. Св. — Изборник Святослава

Иис. Нав. — Книга Иисуса Навина (Ветхий Завет)
Иов. — Книга Иова (Ветхий Завет)
Ип(атьевск). л(ет). — Ипатьевская летопись
Исх. — Исход (Ветхий Завет)
Кн. Тул. и Каш. заводов — Книга Тульских и Кашинских заводов
Лавр. лет. — Лаврентьевская летопись
Лев. — Левит (Ветхий Завет)
Мин. — Минеи
Мин. чет. апр. (февр.) — Минеи Четьи за апрель (февраль)
Мих. — Книга Пророка Михея (Ветхий Завет)
Моск. лет. — Московская летопись
Остр. ев. — Остромирово Евангелие
Палея ист. — Палея историческая (Книга бытия небеси и земли)
Панд. Ант. — Пандект Антиоха
Пат. Син. — Патерик Синайский
Переясл. лет. — Переяславская летопись
Пов. бел. клоб. — Повесть о Новгородском белом клобуке
Пов. врем. лет. — Повесть временных лет
Прилуцк. прол. — Прилуцкий Пролог
Прол. — Пролог
Псалт. — Псалтырь
ПСРЛ — Полное собрание русский летописей
Пчел. — Пчела
Радзив. лет. — Радзивилловская летопись
Соф. I л. — Софийская 1-я летопись
Суд. Ив. III — Судебник Ивана III
Супр. — Супрасльская летопись
3 Цар. — Третья книга Царств (Ветхий Завет)

Языки и диалекты

авест. — авестийский
австр.-бав. — австрийско-баварский
алан. — аланский
алб. — албанский
алт. — алтайский
анатолийск. — анатолийский
англ. — английский
англосакс. — англосаксонский
арм. — армянский
арханг. — архангельский
аттич. — аттический
афган. — афганский
балт. — балтийский
бартанг. — бартангский
беломорск. — беломорский
белудж. — белуджский
блр. — белорусский
болг. — болгарский
брет. — бретонский
брян. — брянский
вахан. — ваханский
вед. — ведийский
венг. — венгерский
вепс. — вепсский
верхненем. — верхненемецкий
вестфальск. — вестфальский

визант. — византийский
визант.-греч. — византийско-греческий
витебск. — витебский
владим. — владимирский
в.-луж. — верхнелужицкий
внеслав. — внеславянский
вогульск. — вогульский
водск. — водский
воеводинск. — воеводинский
вологодск. — вологодский
ворон. — воронежский
вост.-балт. — восточнобалтийский
вост.-иран. — восточноиранский
вост.-лит. — восточнолитовский
вост.-макед. — восточномакедонский
вост.-остякск. — восточноостякский
вост.-слав. — восточнославянский
вост.-словац. — восточнословацкий
вост.-ср.-нем. — восточносредненемецкий
вост.-чеш. — восточночешский
вышневолоцк. — вышневолоцкий
вятск. — вятский
галльск. — галльский
герм. — германский
гол. — голландский
горномарийск. — горномарийский
готск. — готский
греч. — греческий
греч. гомер. — гомеровский греческий
греч. ион. — ионийский греческий
гуцульск. — гуцульский
дигор. — дигорский
доланск. — доланский
дои.-е. — доиндоевропейский
донск. — донской
дороманск. — дороманский
др.-англ. — древнеанглийский
др.-болг. — древнеболгарский
др.-булг. — древнебулгарский
др.-венг. — древневенгерский
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
др.-греч. — древнегреческий
др.-евр. — древнееврейский
др.-егип. — древнеегипетский
др.-инд. — древнеиндийский
др.-иран. — древнеиранский
др.-ирл. — древнеирландский
др.-исл. — древнеисландский
др.-кимр. — древнекимрский
др.-лат. — древнелатинский
др.-н.-нем. — древненижненемецкий
др.-перс. — древнеперсидский
др.-прусск. — древнепрусский
др.-рус. — древнерусский
др.-сакс. — древнесаксонский
др.-серб. — древнесербский
др.-сканд. — древнескандинавский
др.-тюрк. — древнетюркский
др.-фриз. — древнефризский
др.-чеш. — древнечешский
др.-чув. — древнечувашский
дунайско-булг. — дунайско-булгарский
евр.-нем. — еврейско-немецкий
жем. — жемайтский
закрочимск. — закрочимский
зап.-брет. — западнобретонский
зап.-герм. — западногерманский
зап.-морав. — западноморавский
зап.-полесск. — западнополесский
зап.-слав. — западнославянский
зап.-укр. — западноукраинский
зырянск. — зырянский
и.-е. — индоевропейский
икавск. — икавский
иллирийск. — иллирийский
ингуш. — ингушский
инд. — индийский
индоар. — индоарийский
индоиран. — индоиранский
иран. — иранский
ирл. — ирландский
исл. — исландский
ит. — итальянский
ишкашим. — ишкашимский
йидга-мундж. — йидга-мунджанский
казан. — казанский
казанско-тат. — казанско-татарский
калининск. — калининский
камасинск. — камасинский

карельск. — карельский
карельско-олонец. — карельско-олонецкий
ион. — ионийский
кашуб. — кашубский
кашуб.-словин. — кашубско-словинский
кельт. — кельтский
кимр. — кимрский
кипрск. — кипрский
колым. — колымский
костромск. — костромской
критск. — критский
курск. — курский
куявск. — куявский
лат. — латинский
лесб. фессал. — лесбосский фессалийский
ливск. — ливский
лит. — литовский
лтш. — латышский
луж. — лужицкий
люд. — людиковский
макед. — македонский
манихейско-согд. — манихейско-согдийский
мансийск. — мансийский
марийск. — марийский
мессап. — мессапский
мидийск. — мидийский
микен. — микенский
младоавест. — младоавестийский
молд. — молдавский
морав. — моравский
морд. — мордовский
моск. — московский
мундж. — мунджанский
н.-болг. — новоболгарский
н.-в.-нем. — нововерхненемецкий
н.-луж. — нижнелужицкий
н.-перс. — новоперсидский
народно-лат. — народно-латинский
нем. — немецкий
ненец. — ненецкий
нидерл. — нидерландский
нижег. — нижегородский
нижненем. — нижненемецкий
новг. — новгородский
новогреч. — новогреческий
новонем. — новонемецкий
норв. — норвежский
общеслав. — общеславянский
олонецк. — олонецкий
ольшанск. — ольшанский
оренбургск. — оренбургский
орл. — орловский
орошор. — орошорский
осет. — осетинский
оск. — оскский
осташк. — осташковский
памирск. — памирский
пеласг. — пеласгский
пензенск. — пензенский
пермск. — пермский
перс. — персидский
перс.-мидийск. — персидско-мидийский
пехлев. — пехлевитский (пехлеви)
печор. — печорский
пинеж. — пинежский
полаб. — полабский
полесск. — полесский
польск. — польский
порт. — португальский
прагерм. — прагерманский
праполаб. — праполабский
прапольск. — прапольский
прарус. — прарусский
праслав. — праславянский
прафин. — прафинский
прибалт. — прибалтийский
протобалт. — протобалтийский
протослав. — протославянский
прусск. — прусский
псков. — псковский
разложск. — разложский
ранненоповерх.-нем. — ранненововерхненемецкий
резьянск. — резьянский
родопск. — родопский
ром. — романский
рум. — румынский

рус. — русский
рус.-цлав. — русско-церковнославянский
руш. — рушанский
рязанск. — рязанский
ретороманск. — ретороманский
сабин. — сабинский
сак. — сакский
сангличи-ишкашим. — сангличи-ишкашимский
санскр. — санскрит
сарат. — саратовский
сарыкольск. — сарыкольский
сев.-великорус. — северновеликорусский
сев.-зап.-и.-е. — северозападноиндоевропейский
сев.-остякск. — североостякский
сев.-польск. — севернопольский
селькуп. — селькупский
серб. — сербский
сербохорв. — сербохорватский
серб.-цслав. — сербско-церковнославянский
сиб. — сибирский
симб. — симбирский
скиф. — скифский
скр. — санскрит
слав. — славянский
словац. — словацкий
словен. — словенский
словин. — словинский
смолен. — смоленский
согд. — согдийский
ср.-англ. — среднеанглийский
ср.-брет. — среднебретонский
ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий
ср.-греч. — среднегреческий
ср.-ирл. — среднеирландский
ср.-лат. — среднелатинский
ср.-нидерл. — средненидерландский
ср.-н.-нем. — средненижненемецкий
ср.-перс. — среднеперсидский
стародуб. — стародубский
ст.-блр. — старобелорусский
ст.-лит. — старолитовский
ст.-лтш. — старолатышский
ст.-нем. — старонемецкий
ст.-польск. — старопольский
ст.-рус. — старорусский
ст.-серб. — старосербский
ст.-слав. — старославянский
ст.-укр. — староукраинский
ст.-чеш. — старочешский
тавги-самоедск. — тавги-самоедский
тамб. — тамбовский
тат. — татарский
твер. — тверской
телеутск. — телеутский
теренг. — теренгский
тихв. — тихвинский
тохар. (A, B) — тохарский (A, B)
тульск. — тульский
тур. — турецкий
туркм. — туркменский
тюрк. — тюркский
удм. — удмуртский
узб. — узбекский
уйгур. — уйгурский
укр. — украинский
ульян. — ульяновский
умбр. — умбрский
фин. — финский
фрак. — фракийский
франц. — французский
фригийск. — фригийский
фриульск. — фриульский
фриз. — фризский
хеттск. — хеттский
хорв. — хорватский
хотан.-сак. — хотаносакский
хорезм. — хорезмийский
христианско-согд. — христианско-согдийский
цслав. — церковнославянский
чак. — чакавский
череповецк. — череповецкий
черногорск. — черногорский
чеш. — чешский
чеш.-морав. — чешско-моравский
чеш.-словац. — чешско-словацкий
чув. — чувашский

швед. — шведский
шенк. — шенкурский
шугн. — шугнанский
эст. — эстонский
энгадинск. — энгадинский
эрзя-морд. — эрзя-мордовский
юж.-в.-р. — южновеликорусский
юж.-макед. — южномакедонский
юж.-остякск. — южноостякский
юж.-слав. — южнославянский
ягн. — ягнобский
язг. — язгулямский
яросл. — ярославский
ab(ul)g. — altbulgarisch
afg. — afganisch
ahd. — althochdeutsch
ai. — altiranisch
aind. — altindisch
airan. — altiranisch
alb. — albanisch
a(lt)preuß. — altpreußisch
altthrak. — altthrakisch
apers. — altpersisch
apoln. — altpolnisch
apr(euß). — altpreußisch
aruss. — altrussisch
asächs. — altsächsisch
asl(aw). — altslawisch
avest. — avestisch
balt. — baltisch
b(elo)russ. — belorussisch
bulg. — bulgarisch
dän. — dänisch
engl. — englisch
finn. — finnisch
gall. — gallisch
gemeinslaw. — gemeinslawisch
germ. — germanisch
got. — gotisch
gr(iech). — griechisch
idg. — indogermanisch
illyr. — illyrisch
indoar. — indoarisch
iran. — iranisch
lat. — lateinisch
lett. — lettisch
lit. — (литовский)
maked. — makedonisch
mhd. — mittelhochdeutsch
mittelir. — mitteliranisch
nhd. — neuhochdeutsch
norw. — (норвежский)
nsorb. — niedersorbisch
osorb. — obersorbisch
polab. — polabisch
poln. — polnisch
polsk. — (польский)
psl. — (праславянский)
russ. — russisch
russ.-ksl. — russisch-kirchenslawisch
serbokroat. — serbokroatisch
skr. — sanskrit
slav. — (славянский)
slaw. — slawisch
sloven. — (словенский)
slowak. — slowakisch
slowen. — slowenisch
slowinz. — (словинский)
sogd. — (согдийский)
tsch(ech). — tschechisch
tscheremiss. — (черемисский)
ukr. — ukrainisch
ungar. — ungarisch
ursl. — urslawisch
vorslaw. — vorslawisch
wruss. — weissrussisch

Грамматические термины

аор. — аорист
буд. — будущее (время)
вин. (п.) — (винительный падеж)
гл. — глагол
дат. (п.) — дательный падеж
дв. ч. — двойственное число

ед. (ч.) — единственное (число)
ж. (р.) — женский (род)
зв. (п.) — звательный (падеж)
им. (п.) — именительный (падеж)
им.-вин. — именительно-винительный
импф. — имперфект
кауз. — каузатив
л. — лицо
м. (р.) — мужской (род)
мн. (ч.) — множественное (число)
муж. — мужской
наст. (вр.) — настоящее (время)
несврш. — несовершенный (вид глагола)
перф. — перфект
прил. — прилагательное
прич. — причастие
прош. (вр.) — прошедшее (время)
род. (п.) — родительный (падеж)
сврш. — совершенный (вид глагола)
ср. (р.) — средний (род)
страд. — страдательный
суфф. — суффикс
сущ. — существительное
твор. (п.) — творительный (падеж)
уменьш. — уменьшительный
demin. — deminutivum
fem. — (ж. р.)
mehr. — mehrzahl
pl. — plural
pl. t(ant). — pluralia tantum

Другие

антич. — античный
б. г. — без года
библейск. — библейский
букв. — буквально
вар. — вариант
вм. — вместо
вост. — восточный
ГПБ — Государственная публичная библиотека
губ. — губерния
дер. — деревня
диал. — диалектный
ДП — дифференциальные признаки
др. сп. — другой список
жарг. — жаргонный
зап. — западный
знач. — значение
ИНИОН — Институт научной информации по общественным наукам АН СССР (РАН)
Инт-т лит. яз и лит-ры АН Лит. СССР — Институт литовского языка и литературы Академии наук Литовской ССР
Ин-т славянов. — Институт славяноведения
ИРЯ — Институт русского языка
кратк. — краткий
л. — лист
ЛГУ — Ленинградский государственный университет
лет. — летопись
литер. — литературный
м. б. — может быть
МГУ — Московский государственный университет
междунар. — международный
митр. — митрополит
МКС — Международный комитет славистов
МСС — Международный съезд славистов
н. э. — наша эра
народн. — народное
об. — оборот (листа)
обл. — областной; область
общ. — общий
отд. отт. — отдельный оттиск
ПАН — Польская Академия наук
последн. — последний
просторечн. — просторечный
пс. — псалом

РГБ — Российская государственная библиотека
редк. — редкий
рец. — рецензия
родств. — родственный
с. — село
САНУ — Сербская Академия наук
с. г. — сего года
сев. — северный
синод. изд. — синодальное издание
сл. — словарь
след. — следующий
собир. — собирательно
собр. соч. — собрание сочинений
сов. — советский
совр. — современный
ср. — сравни
ст(ар.) — старый
стб. — столбец
стереотип. — стереотипный
т. ж. — там же
тр. — труды
тыс. — тысяча; тысячелетие
у. — уезд
уч. зап. — ученые записки
филол. — филологический
цит. — цитируется; цитированный
чел. — человек
юго-вост. — юго-восточный
юж. — южный
яз. — язык
dial. — dialektisch (диалектное)
Jh. — Jahrhundert
L. — London
N. Y. — New York
Pr. — Praha
SPb. — Sankt-Petersburg
vgl. — vergleiche
Wb. — Wörterbuch
zob. — zobacz

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Вместо предисловия. О настоящем (Слово, сказанное по случаю торжества жизни) — Новая книга России. М., 2000. № 12. С. 41—44.

Часть 1.
Принципы этимологических исследований

Задачи этимологических исследований в области славянских языков: Актуальные проблемы славяноведения — Крат. сообщ. Ин-та славяноведения. 1961. № 33—34. С. 202—210.

Этимологические исследования — Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968. С. 91—105

Этимология и текст — Современные проблемы литературоведения и языкознания. М., 1974. С. 448—454.

Этимология — Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8. Стб. 984—986.

Этимологические исследования и лексическая семантика — Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.С. 147—179.

Этимология славянских языков — Вестник АН СССР. М., 1980. № 12. С. 80—85.

Реконструкция слов и их значений — ВЯ. М., 1980. № 3. С. 3—14.

Приемы семантической реконструкции — Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988. С. 197—222.

Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду — ВЯ. М., 1998. № 3. С. 3—25.

Часть 2.
Этимологическая лексикография

Памяти К. Буги: К 30-летию со дня смерти — Молодежь Литвы. 1954. № 237

Принципы построения этимологических словарей славянских языков — ВЯ. 1957. № 5. С. 58—72

Лингвистическая география и этимологические исследования — ВЯ. М., 1959. № 1. С. 16—33

К вопросу о реконструкции различных систем лексики — Лексикографический сборник. М., 1963. Вып. VI. С. 3—16

О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) — Славянское языкознание. V Международный съезд славистов (София, сентябрь, 1963): Докл. сов. делегации. М., 1963. С. 159—196.

О составе праславянского словаря (Проблемы и результаты) — Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август, 1968): Докл. сов. делегации. М., 1968. С. 366—378.

«Молчать» и «таять». О необходимости семасиологического словаря нового типа — Проблемы индоевропейского языкознания: Этюды по сравн.-ист. грамматике индоевроп. яз.. М., 1964. С.100—105.

Лексикография и этимология — Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов (Варшава, август, 1973): Докл. сов. делегации. М., 1973. С. 294—313.

Словообразование, семантика, этимология в новом «Этимологическом словаре славянских языков». 1—3 — Slawische Wortstudien. Leipzig, 11.—13.10.1972. S. 27—34

Этимологический словарь славянских языков и Праславянский словарь: (Опыт параллельного чтения) — Этимология, 1976. М., 1978. С. 3—17.

Этимологические исследования восточнославянских языков: Словари (1978) — ВЯ. М., 1978. № 3. С. 16—25

Из работы над русским Фасмером: К вопросам теории и практики перевода — ВЯ. М., 1978. № 6. С. 15—24.

Die urslawische Lexik und die Dialekte des Unslawischen — Zeitschrift für Phonetik. 1981. Bd. 34, H. 4. S. 468—478.

Историческая и этимологическая лексикография — Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984. С. 23—36.

Праславянская лексикография: Памяти Федота Петровича Филина — Этимология, 1983. М., 1985. С. 3—19.

О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема омонимов подлинных и ложных и семантическая типология — Теория и практика этимологических исследований. М., 1985. С. 6—15.

Послесловие ко второму изданию «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. 2-е изд., стеретип. М.: Прогресс, 1986. Т.1. С. 563—573.

Праславянская ономастика в Этимологическом словаре славянских языков. Вып. 1—13 — Этимология, 1985. М., 1988. С. 3—10.

Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме — Русская региональная лексика XI—XVII вв. М., 1987. С. 17—28.

Этимологическая лексикография и история культуры — Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики: Всесоюз. науч. конф., Москва, 20—23 мая 1991 г.: Доклады. - М., 1991. Ч. 1. С. 264—277.

Славянская этимология вчера и сегодня — Научн. докл. высшей школы. Филол. науки. 1993. № 2. С. 3—18

Синхрония, диахрония — und kein Ende... Маргиналии к конференции по русскому историческому словообразованию (Звенигород, осень 1989 г.) — Slavia. 1993. Ročnik 62. S. 65—75.

Маргиналии к новому «Этимологическому словарю древнеиндоарийского языка» М.Майрхофера — ВЯ. 1994. № 3. С. 81—91.

Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода — Этимология, 1991—1993. М., 1994. С. 3—23.

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд — Вестник РГНФ. 1997. № 2. С. 116—121.

Из работы над ЭССЯ 26 — Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 1. С. 306—315.

Часть 3.
Славянская и индоевропейская этимология

Славянские этимологии 1—7 — Вопр. слав. языкознания. 1957. Вып. 2. С. 29—42.

Славянские этимологии 8—9— Езиковедски изследвания в чест на академик Стефан Младенов. София: Изд. Бълг. АН, 1957. С. 337—339.

Slawische Etymologien 10—19 — Zeitschrift für Slavistik. 1958. Bd. 3, H. 5. S. 668—681.

Slawische Etymologien 20—23 — Zeitschrift für Slavistik. 1959. Bd. 4, H. 1. S. 83—87.

Славянские этимологии 24—27 — Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София: ВАН, 1960. С. 137—143.

Славянские этимологии. 28. Болгарское диалектное *мăкă* 'скот' — Этимологические исследования по русскому языку. М., 1960. Вып. 1. С. 87—89.

Славянские этимологии. 40. Слав. *gotovъ* — Prace filol. 1964. T. 28. S. 153—156.

Славянские этимологии. 41—47 — Этимология 1964. М., 1965. С. 3—12.

Наблюдения по этимологии лексических локализмов (Славянские этимологии 48—52) — Памяти Макса Фасмера (1886—1962) — Этимология, 1972. М., 1974. С. 20—41.

К этимологии слова *собака* — Крат. сообщ. Ин-та славяноведения. 1955. № 15. С. 48—55.

Из истории табуистических названий — Вопр. слав. языкознания. Вып. 3. С. 120—126.

Еще раз об этимологии слова *росомаха* — Крат. сообщ. Ин-та славяноведения. 1960. № 28. С. 74.

Следы язычества в славянской лексике: 1. *trizna*, 2. *pěti*, 3. *kobь* — Slav. rev. 1958. Letn.11, № 3/4. S. 219—231.

Три литовских этимологии: 1. *kaktà*, 2. *šiáudas*, 3. *lopšỹs* — Lingua Posnaniensis. 1960. T. 8. C. 236—242.

Из истории названий каш в славянских языках — Slavia. 1960. Ročn. 29, seš. 1. S. 1—30.

Несколько русских этимологий: (*Бардадым, будоражить, норка, околоток, харя, худощавый, шушун*) — Этимологические исследования по русскому языку. М., 1961. Вып. 3. С. 41—51.

О племенном названии *уличи* — Вопр. слав. языкознания. 1961. Вып. 5. С. 186—190.

О праславянских лексических диалектизмах сербо-лужицких языков — Сербо-лужицкий лингвистический сборник. М., 1963. С. 154—172.

Fr. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego, t. II, zesz. 2(7). *Kaznodzieja — klimkować.* Kraków, 1961 — Этимология. Исследования по русскому и другим языкам. М., 1963. С. 282—283.

Słownik starożytności słowiańskich. Ensyklopedyczny zarus kultury Słowian od czasów najdawniejszych / Pod redakcją W. Kowalenki, G. Labudy i T. Lehra-Spławińskiego, t. I, część 1: *A—B.* Wrocław; Warszawa; Kraków, 1961 — Этимология. Исследования по русскому и другим языкам. М., 1963. С. 284—286.

Заметки по старославянской этимологии (*боляринъ, врачь*) — Этимологические исследования по русскому языку. М., 1963. С. 160—168.

Этимологические мелочи — Этимология: Принципы реконструкции и методика исслед. М., 1965. С. 131—133.

Заметки по этимологии и ономастике: (На материале балто-герм. отношений) — Питання ономастики: (Матеріали II. Респ. нар. з питань ономастики). Київ, 1965. С. 16—24.

Заметки по литовской этимологии (I. *lytìs*, II. *jùк*, III. *asla*, IV. *kũdikis*, V. *nét*) — Symbolae linguisticae: In honorem G. Kuryłowicz. Wrocław etc., 1965. S. 331—334.

Из славяно-иранских лексических отношений — Этимология 1965: Материалы и исслед. по индоевроп. и др. яз. М., 1967. С. 3—81.

Из материалов для этимологического словаря фамилий России: (Русские фамилии и фамилии, бытующие в России) — Этимология 1966: Пробл. лингвогеографии и межъяз. контактов. М., 1968. С. 3—53.

Заметки по лехитской этимологии — Исследования по польскому языку: Сб. ст. М., 1969. С. 296—306.

К сравнительно-этимологической характеристике союза *а* и сочетаний с ним в праславянском — Вопросы филологии: К 70-летию со дня рождения И. А. Василенко. М., 1969. С. 332—336.

Этимологические заметки — Donum Balticum: To prof. Ch.-S. Stang on the occasion of his 70th birthday, 15 March 1970 / Ed. by V. Rucke-Dravita. Stockholm, 1970. S. 544—547.

Заметки по этимологии и сравнительной грамматике [1] — Этимология, 1968. М., 1971. С. 24—67.

Заметки по этимологии и сравнительной грамматике [2] — Этимология, 1970. М., 1972. С. 3—20.

Из праславянского словообразования: именные сложения с приставкой *а-* — Проблемы истории и диалектологии славянских языков; Сб. ст. к 70-летию В. И. Борковского. М., 1971. С. 267—272.

Этимологические наблюдения над стратиграфией ранней восточнославянской топонимии— Мовознавство. 1971, № 6. С. 3—17 (на украинском языке).

Литовское *nasraĩ* 'пасть': Этимология и грамматика: (Тезисы) — Baltistica i priedas. V, 1972. С. 225—226.

Об одной редкой словообразовательной модели — Русское и славянское языкознание: К 70-летию Р. И. Аванесова. М., 1972. С. 257—260.

Заметки по этимологии некоторых нарицательных и собственных имен — Этимология 1971. М., 1973. С.80—86.

Еще раз мыслию по древу — Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: К 80-летию С. Г. Бархударова. М., 1974. С. 22—27.

Несколько древних латинско-славянских параллелей — Этимология, 1973. М., 1975.

Снова о названии Суздаль — Zpravodaj Mistopisne komise ČSAV. Ročnik XVI. 1975.

Славянские и балтийские этимологии — Этимология, 1975. М., 1977. С. 3—12.

Две литовские этимологии на индоевропейском фоне: 1. *sáugoti*, *saugùs*; 2. *ū̃mas, ūmà* — Baltistica. Vilnius, 1980. T. XVI(2). C. 116—119.

Об одном случае глагольного супплетивизма: праслав. **-nĕti* 'нести, приносить' — В чест на академик Владимир Георгиев: Езиковедски проучвания. София, 1980. С. 273—274.

Etyma baltico-slavica controversa: *kúokštas* ≠ **kustъ* — Acta Balt.- Slav. 1981. T. 14. S. 273—276.

Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на *-ěninъ*, **-janinъ* — Этимология, 1980. М., 1982. С. 3—15.

Заметки по славянской ономастике — Onomastica Jugoslavica. 1982. Vol. 9. S. 159—165.

Kobyla — *caballus* — καβάλλης — Zbornik u čast Petru Skoku o stotoj obljetnici rodennia (1881—1956). Zagreb, 1985. S. 505—509.

К истории одной семемы XVII в.: 'Облегчить' → 'уладить, устроить дело' (польск. *załatwić*, др.-рус. *облегчитися*) — История русского языка и лингвистическое источниковедение. М., 1987. С.233—236.

Из праславянской этимологии и лексико-семантической реконструкции: **krosno* — Slawistyczne Studia Językoznawcze. Warszawa, 1987. S. 427—430.

Germanisch-slawische Analogien **ruda* und **želězo* — Letopis In-ta serb. ludospyt. Rjad A. 1987. Sv. 34. S. 38—44.

О 'рябчике', 'куропатке' и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии — ВЯ. 1996. № 6. С. 41—48.

Часть 4.
Язык, история и культура

Реплика по балто-славянскому вопросу — Балто-славянские исследования, 1980. М., 1981. С. 3—6.

Славяне, язык и история — Писатель и время: Сб. док. прозы. М., 1986. С. 315—324.

Славяне, язык и история: Возвращаясь к теме — Правда. 1987. 28 марта .

Славяне, язык и история — Дружба народов. 1988. № 5. С. 243—249.

О языковом союзе и еще кое о чем — Дружба народов. 1988. № 9. С. 261—264.

Мысли о дохристианской религии славян в свете славянского языкознания (по поводу новой книги: *Leszek Moszyński.* Die vorchristliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenshaft. Köln; Weimar; Wien: Bühlau Verlag, 1992 — ВЯ. 1994. № 6. С. 3—15.

Продолжение диалога — Этимология, 1994—1996. М., 1997. С. 20—26.

К отдаленнейшим истокам нашего самосознания. Презентация одной книги — Paleoslavica. 1994. II. P. 313—324.

Славяне: язык и история — как основа этногенеза: К 20-летию издания «Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд» (1974—1994, I—XX, A—M) (1995) — Јужнословенски филолог LI. Београд. 1995. С. 291—304.

Беседа о црном и белом хлебу — Расковник. Београд. 1996.

Рай — Русская словесность. 1996. № 3. С. 7.

Русь. Россия. Очерк этимологии названия — Русская словесность. 1994. № 3. С. 67—70.

Русский — российский. История, динамика, идеология двух атрибутов нации — Русская нация: Историческое прошлое и проблемы возрождения. М., 1995. С. 28—36.

Слово о «Русской энциклопедии» и некоторых «библейских» энциклопедических статьях — Выполнено по приглашению Императорского Православного Палестинского общества в сентябре 1994 года.

Через лексику — к этническому прошлому народов — Новая деловая книга. 1998. № 5. С. 5—8.

Славистика на пороге XXI века — Рус. яз. в школе. 1999. № 1. С. 95—100.

Разное

Работы В. И. Абаева в области исторической лексикологии и этимологии — Поэтика жанра: Межвуз. сб.: К 80-летию В. И. Абаева. Орджоникидзе. 1980. С. 43—49.

Книга в моей жизни — Альманах библиофила. М., 1984. Вып.16. С. 11—24.

Свидетельствует лингвистика: (О создании в СССР «Этимологического словаря славянских языков») — Правда. 1984, 13 дек.

Меняющийся мир и вечные слова — Отечественные лексикографы XVIII—XIX вв.: Материалы для хрестоматии. 1998. С. 9—14.

Мы — народ софийный — Слово.1991, № 1. С. 24—25.

Беседы о методологии научного труда. 1. «Трактат о хорошей работе» — Рус. словесность. 1993. № 1. С. 3—12.

Образованный ученый — Рус. словесность. 1993. № 2. С. 3—13.

Размышления о словарях и личности лексикографа — Историко-культурный аспект лексикографического описания русского языка. М. 1995. С. 113—122.

Послесловие: *М. Ф. Мурьянов.* Рождение трагедии «Моцарт и Сальери» — Вест. РАН. Сер. лит. и яз. 1996. Т.66. № 1. С. 68—69.

Александр Саввич Мельничук (к 75-летию со дня рождения) — Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1996. Т. 55. № 4. С. 91—92.

Мои воспоминания о Никите Ильиче Толстом — ВЯ. 1997, № 2. С. 5—15.

Этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского — ВЯ. 1957. № 6. С. 91—96.

Рецензия на работу О. Семереньи (исследования по терминологии родства и.-е. языков): *O. Szemerényi.* Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages with special reference to Indian, Iranian, Greek and Latin — Acta Iranica. Textes et mémoires, V. VII. Extrait. Édition Bibliothèque Pahlavi. Téhéran; Liège, 1977.

Олег Николаевич Трубачев

ТРУДЫ ПО ЭТИМОЛОГИИ
Слово. История. Культура

Том 2

Издатель А. Кошелев

Художественное оформление переплета Ю. Саевича

Оригинал-макет подготовлен В. Гусевым

Подписано в печать 10.10.2004. Формат 70 x 100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 53,54. Тираж 1000. Заказ № 2419.

Издательство «Языки славянской культуры».
ЛР № 02745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: Lrc@comtv.ru

Отпечатано с готовых пленок
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

*